This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD·VNIVERSITY·

РАНІЕ

НІЙ

ГЕЙНЕ.

ОРОЕ.

афическимъ очеркомъ

нберга.

ъ портретовъ Гейне.

3

Ь ТРЕТІЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1904 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1904.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ГЕНРИХА ГЕЙНЕ.

Heine, H.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

Подъ редакціею и съ біографическимъ очеркомъ

Петра Вейнберга.

Съ приложеніемъ двухъ портретовъ Гейне.

3

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1904 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1904

831.7
H46lve
ed.2
v.3

Артистич. заведеніе А. Ф. МАРКСА. Измайл. пр., № 29.

САЛОНЪ.

Часть вторая

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Я долженъ обратить особенное вниманіе нѣмецкаго читателя на то обстоятельство, что эти страницы были написаны сначала для французскаго журнала Revue des deux Mondes, и съ опредѣленною современною цѣлью. Онѣ принадлежатъ къ тому обозрѣнію хода нѣмецкой умственной дѣятельности, нѣкоторыя части котораго я уже представилъ французской публикѣ, послѣ чего онѣ появились и на нѣмецкомъ языкѣ, какъ дополненія къ «Исторіи новой изящной литературы въ Германіи». Требованія періодической прессы, недостатокъ въ научныхъ вспомогательныхъ средствахъ, французскія неблагопріятныя условія, недавно обнародованный въ Германіи законъ о печатаніи нѣмецкихъ сочиненій за границей, который представился случай примѣнить только ко мнѣ, и тому подобныя стѣсненія не позволили мнѣ представить различныя части этого обозрѣнія въ хронологическомъ порядкѣ и подъ общимъ названіемъ. Такимъ образомъ, эта книга, несмотря на свое внутреннее единство и внѣшнюю законченность, остается только отрывкомъ большого цѣлаго.

Родинѣ посылаю самый дружескій привѣтъ.

Писано въ Парижѣ, въ декабрѣ 1834 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Когда первое изданіе этой книги вышло изъ-подъ типографскаго станка, и я взялъ въ руки одинъ экземпляръ его, то немало ужаснулся изуродованіямъ, слѣды которыхъ обнаруживались повсюду. Тутъ не доставало прилагательнаго, тамъ періода, цѣлыя страницы были выпущены безъ всякой связи, такъ что не только терялся смыслъ, но и исчезало то, что хотѣлъ сказать авторъ. Скорѣе боязнь высшаго начальства, чѣмъ страхъ Божій, водила рукою изуродователей, и тщательно вычеркивая все политически щекотливое, она оставляла нетронутымъ даже самое смѣлое въ томъ, что имѣло отношеніе къ религіи. Такимъ образомъ, направленіе этой книги, бывшее собственно патріотически-демократическимъ, пропало, и изъ нея непривѣтно повѣялъ на меня совершенно чуждый духъ, напоминающій схоластическія теологическія словопренія и глубоко противный моей гуманно толерантной натурѣ.

Сначала я льстилъ себя надеждою, что при второмъ изданіи я пополню эти пробѣлы; но теперь такое возстановленіе текста невозможно, ибо во время большого пожара въ Гамбургѣ оригиналъ-рукопись сгорѣла въ домѣ моего издателя. Моя память слишкомъ слаба для того, чтобы я могъ пополнить недостающее по одному воспоминанію, и, кромѣ того, болѣзненное состояніе глазъ не позволяло мнѣ заняться тщательнымъ пересмотромъ книги. Довольствуюсь тѣмъ, что вновь перевожу и вставляю нѣкоторыя болѣе значительныя по объему мѣста изъ французскаго изданія, напечатаннаго прежде нѣмецкаго. Одно изъ этихъ мѣстъ, перепечатанное въ множествѣ французскихъ газетъ, служившее предметомъ многихъ споровъ, а также обсуждавшееся въ прошлогоднемъ собраніи французской палаты депутатовъ графомъ Молэ, однимъ изъ знаменитѣйшихъ государствен-

ныхъ людей Франціи, помѣщено мною въ концѣ этого новаго изданія, и изъ него можно видѣть, есть ли въ немъ что-нибудь общее съ униженіемъ Германіи передъ иностранцами, въ которомъ, какъ увѣряли нѣкоторые честные люди, я провинился. Когда я выражалъ негодованіе на старую, официальную Германію, эту заплѣсневѣвшую филистерскую страну—которая, однако, не произвела ни одного Голіаѳа, ни одного великаго человѣка — то мои слова умѣли представить въ такомъ видѣ, какъ будто тутъ рѣчь шла о дѣйствительной Германіи, великой, таинственной, такъ сказать анонимной Германіи германскаго народа, спящаго монарха, скипетромъ и короною котораго играютъ морскія кошки. Такіе намеки эти честные люди могли дѣлать тѣмъ легче, что въ теченіе долгаго періода я почти не имѣлъ возможности высказывать мой дѣйствительный образъ мыслей, особенно, въ то время, когда появились декреты союзнаго сейма противъ «молодой Германіи», направленные преимущественно противъ меня и поставившіе меня въ исключительно стѣснительное положеніе, неслыханное въ лѣтописяхъ рабства печати. Когда впослѣдствіи я получилъ возможность нѣсколько приподнять свой намордникъ, мысли, однако, продолжали оставаться подъ нимъ.

Предлагаемая книга есть отрывокъ и должна тоже остаться отрывкомъ. Говоря по совѣсти, мнѣ было бы пріятно, если-бъ она вовсе не появилась въ печати. Дѣло въ томъ, что послѣ появленія ея многія мнѣнія мои о многихъ вещахъ, особенно по вопросамъ религіознымъ, значительно измѣнились, и многое такое, что я утверждалъ тогда, противорѣчитъ теперь моимъ лучшимъ убѣжденіямъ. Но стрѣла не принадлежитъ стрѣлку послѣ того, какъ онъ спуститъ ее съ лука, и слово не принадлежитъ говорящему послѣ того, какъ оно слетѣло съ его устъ, а тѣмъ болѣе, когда разнесено по свѣту печатью. Правда, я могъ бы, какъ дѣлаютъ многіе писатели въ подобныхъ случаяхъ, прибѣгнуть къ смягченію выраженій, къ закрытію мысли фразою; но я всею душою ненавижу двусмысленныя слова, лицемѣрные цвѣты, трусливые фиговые листы. Но у честнаго человѣка во всевозможныхъ обстоятельствахъ сохраняется неотъемлемое право открыто сознаваться въ своемъ заблужденіи, и я безстрашно пользуюсь здѣсь этимъ правомъ. Поэтому я открыто объявляю здѣсь, го все, относящееся въ настоящемъ моемъ сочиненіи къ ликому вопросу о божественномъ началѣ, точно такъ же жно, какъ необдуманно. Точно такъ же необдуманно, какъ

жно утвержденіе мое со словъ школы, что деизмъ въ тео-
іи совершенно истребленъ и только жалкимъ образомъ про-
вляется въ мірѣ явленій. Нѣтъ, неправда, что критика
азума, разрушавшая доказательства бытія Божьяго, извѣст-
ыя намъ со времени Ансельма Кентерберійскаго, положила
онецъ и самому бытію Божьему. Деизмъ живетъ, живетъ самою
ивою жизнью, онъ не умеръ, и меньше всего его убила
овѣйшая нѣмецкая философія. Эта пауковая берлинская
алектика совершенно безсильна, она и кошку убить не въ
остояніи... Я испыталъ на собственномъ тѣлѣ всю без-
асность ея ударовъ; она все бьетъ и бьетъ, а люди, испыты-
ающіе эти удары, все-таки остаются въ живыхъ. Привра-
икъ Гегелевской школы, сердитый Руге, утверждалъ нѣ-
огда самымъ категорическимъ образомъ, что онъ убилъ меня
ою привратническою палкою въ журналѣ «Hallische Jahr-
ücher», а между тѣмъ, въ это самое время я прогуливался
о парижскимъ бульварамъ, свѣжій, здоровый и безсмерт-
ѣе, чѣмъ когда-либо. Бѣдный, славный Руге! Впослѣдствіи
ъ самъ не могъ воздержаться отъ честнѣйшаго хохота,
огда здѣсь въ Парижѣ я сознался ему, что никогда въ
аза не видѣлъ этихъ смертоносныхъ «Jahrbücher», и какъ
и полныя, румяныя щеки, такъ и хорошій аппетитъ, съ
оторымъ я глоталъ устрицы, убѣдили его, что названіе
упа уже совсѣмъ не подходило ко мнѣ. Дѣйствительно, въ
время я былъ еще здоровъ и свѣжъ, я находился въ
нитѣ моего жира и былъ такъ высокомѣренъ, какъ царь
авуходоносоръ до своего паденія.

Ахъ! нѣсколько лѣтъ спустя произошла тѣлесная и духов-
ая перемѣна. Сколько разъ съ тѣхъ поръ думалъ я объ
сторіи этого вавилонскаго царя, который считалъ самого
бя богомъ, но жалостно палъ съ высоты своихъ мечта-
й, пресмыкался по землѣ, какъ звѣрь, и ѣлъ траву (вѣро-
но, это былъ салатъ).

Въ великолѣпно грандіозной книгѣ пророка Даніила на-
одится это сказаніе, которое я рекомендую для назидатель-
аго соображенія не только доброму Руге, но и гг. Фейер-
ху, Даумеру, Бруно Бауэру, Герстенбергу и всей прочей
атіи, этимъ возводящимъ себя въ боги безбожникамъ. Да
вообще въ Библіи есть много прекрасныхъ и достопри-
ечательныхъ разсказовъ, которые были бы достойны вни-
анія этихъ господъ; напримѣръ, уже въ самомъ началѣ
азсказъ о запрещенномъ деревѣ въ раю и о змѣѣ, малень-
имъ приватъ-доцентѣ, который, уже за шесть тысячъ лѣтъ

до рожденія Гегеля, прочелъ весь курсъ гегелевской философіи. Этотъ синій чулокъ безъ ногъ показываетъ весьма умно, какъ абсолютное заключается въ тождествѣ бытія и знанія, какъ человѣкъ становится божествомъ посредствомъ познаванія... Ева поняла во всей демонстраціи только одно— что плодъ запрещенъ, и вслѣдствіе запрета вкусила этого плода. Но едва скушала она соблазнительное яблоко, какъ потеряла свою невинность, свою наивную непосредственность, она нашла себя слишкомъ обнаженною... и потребовала себѣ платье . . . Странно, что какъ только въ женщинѣ возникаетъ мыслящее самосознаніе, ея первая мысль— о новомъ платьѣ! И этотъ библейскій разсказъ, особенно рѣчь змѣя, также не выходитъ у меня изъ головы, и я готовъ бы поставить ихъ эпиграфомъ къ настоящей книгѣ, подобно тому, какъ часто передъ воротами садовъ знатныхъ особъ выставляются доски съ предостерегающею надписью: «Здѣсь устроены силки и самострѣлы».

Въ моей послѣдней книгѣ, въ «Романцеро», я уже сказалъ о переворотѣ, происшедшемъ въ моемъ умѣ, по отношенію къ божественнымъ вопросамъ.

Съ тѣхъ поръ многіе обращали ко мнѣ съ благочестивою настойчивостью запросы, какимъ путемъ пришелъ я къ такому духовному просвѣтлѣнію. Набожнымъ этимъ душамъ, повидимому, ужасно хочется, чтобы я представилъ въ ихъ распоряженіе какое-нибудь чудо, и имъ весьма желательно бы узнать, не узрѣлъ ли я, подобно Савлу, яркій свѣтъ по дорогѣ къ Дамаску, или не проѣхался ли я, какъ Валаамъ, на ослицѣ, которая вдругъ открыла ротъ и заговорила по-человѣчески. Нѣтъ, благочестивые умы, я никогда не ходилъ въ Дамаскъ, о Дамаскѣ только и знаю я, что недавно тамошнихъ евреевъ обвинили въ томъ, что они ѣдятъ старыхъ капуциновъ, да и самое имя города, быть-можетъ, осталось бы для меня совершенно неизвѣстнымъ, не прочти я «Пѣснь Пѣсней», гдѣ царь Соломонъ сравниваетъ носъ своей возлюбленной съ башнею, обращенною къ Дамаску. Точно также никогда не видѣлъ я осла — именно четвероногаго — говорящаго по-человѣчески, между тѣмъ, какъ встрѣчалъ немало людей, которые каждый разъ, какъ раскрывали ротъ, говорили по-ослиному. Дѣйствительно, ни видѣніемъ, ни неземнымъ экстазомъ, ни голосомъ съ неба, ни какимъ-нибудь чудеснымъ сномъ или другимъ чудомъ былъ я приведенъ на путь спасенія, и моимъ просвѣтлѣніемъ я обязанъ простому знакомству съ книгой.

Книгой? Да, и это старая, простая книга, скромная, какъ природа, и естественная, какъ она; книга, такая же безпритязательная и обыденная, какъ солнце, согрѣвающее насъ, и хлѣбъ, насыщающій насъ; книга, глядящая на насъ такъ же привѣтливо, съ такою же благословляющею добротой, какъ старая бабушка, читающая ежедневно эту книгу милыми дрожащими губами и съ очками на носу; и эта книга называется также просто — книга, Библія. Справедливо называютъ ее также священнымъ писаніемъ; кто потерялъ своего Бога, тотъ снова найдетъ Его въ этой книгѣ, а кто никогда не зналъ Его, на того повѣетъ изъ нея дыханіе божественнаго слова. Евреи, понимающіе толкъ въ драгоцѣнностяхъ, очень хорошо знали, что дѣлали, когда во время пожара второго храма оставили на жертву огню золотые и серебряные жертвенные сосуды, канделябры и лампы, даже первосвященническую ризу съ большими драгоцѣнными камнями, — и спасли только Библію. Она была истиннымъ сокровищемъ храма и, слава Богу, оно не погибло жертвою пламени, или Тита Веспасіана, злодѣя, который, какъ разсказываютъ раввины, такъ дурно покончилъ жизнь. Одинъ еврейскій священникъ, живш\u0456й въ Іерусалимѣ за два столѣтія до пожара второго храма, въ блестящій періодъ Птолемея Филадельфа, и называвшійся Іисусъ бенъ-Сирахъ сынъ бенъ Елеазаръ, написалъ собраніе гномовъ «Мешалимъ» и высказалъ въ немъ о Библіи мысли своего времени. [illegible] привести здѣсь его прекрасныя [illegible] и вмѣстѣ съ тѣмъ [illegible] свѣжи, какъ будто [illegible] и гласятъ такъ:

«[illegible]

[illegible]

КЪ ИСТОРІИ РЕЛИГІИ И ФИЛОСОФІИ ВЪ ГЕРМАНІИ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

Въ послѣднее время французы думали, что узнали Германію путемъ ознакомленія съ произведеніями нашей изящной литературы. Но этимъ они только поднялись изъ состоянія полнаго незнанія къ знанію поверхностному. Потому что до тѣхъ поръ, пока они не узнаютъ значенія въ Германіи религіи и философіи, произведенія нашей изящной литературы останутся для нихъ только нѣмыми цвѣтами, а вся нѣмецкая мысль—непривѣтной загадкой.

Приступая теперь къ сообщенію нѣкоторыхъ объяснительныхъ свѣдѣній объ этой религіи и этой философіи, я, сколько мнѣ кажется, предпринимаю полезное дѣло. Задача эта нелегка для меня. Тутъ прежде всего приходится избѣгать выраженій языка школы, французамъ совершенно незнакомаго. Но въ то же время я не настолько изучилъ тонкости теологіи, а равно и метафизики, чтобы быть въ состояніи формулировать ихъ совершенно просто и совершенно кратко, соображаясь съ потребностями французской публики. Поэтому я буду говорить только о большихъ вопросахъ, обсуждавшихся въ нѣмецкой теологіи и философіи, буду освѣщать только соціальную важность ихъ и всегда имѣть въ виду ограниченность моихъ собственныхъ средствъ къ уясненію дѣла и способность пониманія французскаго читателя.

[illegible]икіе нѣмецкіе философы, которые случайно бросятъ [illegible]ь на эти страницы, презрительно пожмутъ плечами [illegible]дѣ скуднаго объема всего того, о чемъ я здѣсь говорю. [illegible] благоволятъ они подумать, что немногое, сказанное

мною, выражено совершенно ясно и просто, тогда какъ ихъ произведенія, хотя весьма основательныя, неизмѣримо основательныя, весьма глубокомысленныя, поразительно глубокомысленныя, точно въ такой же степени непонятны. Что̀ пользы народу въ запертыхъ хлѣбныхъ амбарахъ, когда ключи отъ нихъ не у него? Народъ алчетъ знанія и благодаритъ меня за кусочекъ духовнаго хлѣба, который я честно раздѣляю съ нимъ.

Я думаю, что не отсутствіе таланта мѣшаетъ бо̀льшей части нѣмецкихъ ученыхъ говорить популярнымъ языкомъ о религіи и философіи. Полагаю, что тутъ причиною боязнь результатовъ собственнаго мышленія, которые они не смѣютъ сообщить народу. Я не боюсь этого, потому что я не ученый, я самъ народъ. Я не ученый, я не принадлежу къ семистамъ мудрецамъ Германіи. Я стою вмѣстѣ съ массою предъ вратами ихъ мудрости, и когда оттуда проскальзываетъ какая-нибудь истина, и когда эта истина доходитъ до меня, этого достаточно: я пишу ее красивымъ почеркомъ на бумагѣ и отдаю наборщику, тотъ переноситъ ее въ свинецъ и передаетъ печатнику, печатникъ печатаетъ ее, и тогда она принадлежитъ цѣлому міру.

Религія, которую мы исповѣдуемъ въ Германіи, есть христіанство. Мнѣ поэтому надо здѣсь сказать—что̀ такое христіанство, какъ оно сдѣлалось римскимъ католицизмомъ, какъ изъ этого послѣдняго вышелъ протестантизмъ, а изъ протестантизма—нѣмецкая философія.

Начиная съ рѣчи о религіи, я заранѣе прошу всѣ набожныя души отнюдь не тревожиться. Не бойтесь ничего, набожныя души! Никакія профанирующія шутки не оскорбятъ вашего слуха. Онѣ, во всякомъ случаѣ, еще полезны въ Германіи, гдѣ предстояло въ данную минуту нейтрализировать силу религіи. Мы тамъ именно въ такомъ же положеніи, въ какомъ вы были до революціи, когда христіанство находилось въ неразрывнѣйшемъ союзѣ съ старымъ режимомъ. [illegible] не могъ быть разрушенъ [illegible] первое еще сохраняло свое вліяніе на массу. [illegible]

насчетъ Библіи, этой священнѣйшей книги человѣчества, весь лексиконъ философскихъ стрѣлъ, выпущенныхъ имъ противъ клерикализма и духовенства—все это ранило только смертную плоть христіанства, а не его внутреннюю сущность, не его глубокій духъ, не его вѣчную душу.

Ибо христіанство есть идея, и какъ таковая, неразрушима и безсмертна, подобно всякой идеѣ. Но что такое эта идея?

Именно потому, что эта идея все еще неясно понята и что внѣшнія вещи до сихъ поръ принимаютъ за главную суть, мы не имѣемъ еще исторіи христіанства. Двѣ противоположныя партіи пишутъ каждая исторію церкви и постоянно противорѣчатъ одна другой; но ни одна, ни другая еще ни разу не высказала опредѣлительно, что такое собственно идея, которая служитъ христіанству средоточіемъ, которая стремится проявить себя въ символикѣ христіанства—какъ въ догматѣ, такъ и въ культѣ—и во всей его исторіи, и обнаруженіе которой произошло въ дѣйствительной жизни христіанскихъ народовъ. Ни католическій кардиналъ Баронiусъ, ни протестантскій гофратъ Шрекхъ не открываютъ намъ, что такое собственно была эта идея. И вы можете проштудировать всѣ фольянты Манзіевскаго собранія соборныхъ постановленій, Ассеманіевскаго кодекса литургій и всю Historia ecclesiastica Сакарелли—вамъ все-таки не уяснится, что такое собственно была идея христіанства. Что же вы видите въ этихъ исторіяхъ восточной церкви и западной? Въ первой, въ исторіи церкви восточной, вы не находите ничего, кромѣ догматическихъ утонченностей, въ которыхъ снова даетъ себя знать древне-греческая софистика; во второй, въ исторіи церкви западной, не находится ничего, кромѣ дисциплинарныхъ, касающихся интересовъ церкви споровъ, причемъ древне-римская юридическая казуистика и древне-римская наука управленія государствомъ снова вступаютъ въ свои права съ новыми формулами и принудительными средствами. Дѣйствительно, какъ съ Константиномъ спорили о «логосѣ», такъ въ Римѣ спорили объ отношеніи между свѣтскою и духовною властью, и какъ тамъ боролись за «гомоузіосъ», такъ тамъ за инвеституру. Но
зантійскихъ вопросовъ, въ родѣ того—односущенъ ли
оузіосъ») логосъ Богу - Отцу, или почему голодалъ
осъ, вслѣдствіе отсутствія пищи, или потому, что хо-
голодать—у всѣхъ этихъ вопросовъ на заднемъ планѣ
придворныя интриги, и разрѣшеніе зависитъ отъ того,
гъ шипѣться и хихикаться въ апартаментахъ Sacri

Palatii, кто падетъ въ борьбѣ — Евдоксія или Пульхерія, ибо эта вторая дама ненавидитъ Несторіуса, обличающаго ея любовныя интриги, а первая ненавидитъ Кирилла, котораго защищаетъ Пульхерія; все сводится, въ концѣ концовъ, къ бабьимъ и евнушьимъ сплетнямъ, и въ защитѣ или преслѣдованіи догмата собственно защищается или преслѣдуется человѣкъ, а въ человѣкѣ партія. Точно то же дѣлается на западѣ. Римъ хотѣлъ господствовать; «когда пали его легіоны, онъ послалъ въ провинціи догматы»; всѣ религіозные споры имѣли источникомъ римскія узурпаторства; дѣло шло о томъ, чтобы упрочить верховную власть римскаго епископа. Этотъ епископъ къ истинно религіознымъ вопросамъ относился всегда очень небрежно, но чуть только совершалось нападеніе на права церкви, онъ металъ громы и молніи; онъ не особенно много диспутировалъ о св. Троицѣ, но очень много о послѣдствіяхъ исидоровскихъ декреталій; онъ централизировалъ свою власть каноническимъ правомъ, назначеніемъ епископовъ, приниженіемъ свѣтской власти, монашескими орденами, целибатомъ и т. п. Но развѣ это было христіанство? Развѣ чтеніемъ этихъ исторій мы можемъ уяснить себѣ идею христіанства? Что такое эта идея?

Какъ эта идея исторически вырабатывалась и обнаруживалась въ мірѣ внѣшнихъ явленій, это можемъ мы увидѣть уже въ первыя столѣтія по Р. Х., если прослѣдить безъ всякихъ предразсудковъ и предубѣжденій исторію манихеянъ и гностиковъ. Хотя первыхъ признавали еретиками, а вторыхъ поносили, и церковь осудила тѣхъ и другихъ, но это не помѣшало удержаться ихъ вліянію на догматъ, изъ ихъ символики развилось католическое искусство, и ихъ образъ мыслей проникъ собой всю жизнь христіанскихъ народовъ. Манихеяне въ послѣднихъ выводахъ своихъ не очень отличаются отъ гностиковъ. Ученіе о двухъ началахъ, добромъ и зломъ, ведущихъ между собою борьбу, обще и тѣмъ, и другимъ. Манихеяне заимствовали это ученіе изъ древнеперсидской религіи, въ которой Ормуздъ, свѣтъ, враждебно противопоставленъ Ариману, тьмѣ. Собственно гностики вѣрили скорѣе въ пресуществованіе добраго начала и возникновеніе начала злого объясняли эманаціею, поколѣніями эоновъ, которые, чѣмъ болѣе отдалялись отъ своего первобытнаго источника, тѣмъ больше и мрачнѣе ухудшались. По ученію Церинтуса, Создатель нашего міра былъ не высшій Богъ, а только эманація Его, одинъ изъ эоновъ, деміургъ, котораго добрая натура постепенно извращалась и который те-

перь, какъ злое начало, враждебно противопоставленъ началу доброму, непосредственно исшедшему изъ высшаго Бога логосу. Это гностическое міровоззрѣніе имѣетъ родиной Индію, и оно привело вмѣстѣ съ собой ученіе о воплощеніи Бога, объ умерщвленіи плоти, о духовномъ погруженіи въ самого себя, оно породило аскетически созерцательную монашескую жизнь, которая есть чистѣйшій цвѣтъ христіанской идеи... Ученіе о двухъ началахъ видимъ мы выступающимъ всюду: врагомъ добраго Христа является злой сатана; міръ духа имѣетъ своимъ представителемъ Христа, міръ матеріи—сатану; Христу принадлежитъ наша душа, сатанѣ—наше тѣло; и согласно этому, весь міръ внѣшнихъ явленій, природа, по своей первобытной сущности есть зло, и сатана, князь тьмы, старается посредствомъ его вовлекать насъ въ погибель, и такимъ образомъ мы должны отрекаться отъ всѣхъ чувственныхъ радостей жизни, должны подвергать истязаніямъ наше тѣло, достояніе сатаны, для того, чтобы душа тѣмъ прекраснѣе возносилась въ свѣтлое небо, въ лучезарное царство Христа.

Это міровоззрѣніе, составлявшее собственно идею христіанства, съ невѣроятною быстротой распространилось по всему римскому государству; во все продолженіе среднихъ вѣковъ длились страданія, выражавшіяся то въ горячечномъ неистовствѣ, то въ мертвенной апатіи, и мы, люди новаго времени, до сихъ поръ еще все чувствуемъ въ членахъ судороги и слабость. Если иные изъ насъ и выздоровѣли уже, то они все-таки не могутъ освободиться отъ общаго лазаретнаго воздуха, и чувствуютъ себя несчастными, какъ горсть здоровыхъ среди огромнаго большинства больныхъ. Со временемъ, когда человѣчество снова обрѣтетъ свое полное здоровье, когда возстановится миръ между душою и тѣломъ, и они снова проникнутся другъ другомъ въ первобытной гармоніи, тогда едва ли будетъ для кого-нибудь понятна искусственно созданная прежнимъ ученіемъ вражда между ними. Болѣе счастливыя и болѣе прекрасныя поколѣнія, плодъ свободныхъ союзовъ по добровольному выбору, будутъ грустно улыбаться при воспоминаніи о своихъ бѣдныхъ
[illegible]цкахъ, которые мрачно воздерживались отъ всѣхъ наслаждній этой прекрасной земли и, благодаря умерщвленію
[illegible]лой, яркой чувствительности, обратились чуть не въ хо-
[illegible]ныя привидѣнія! Да, я утверждаю положительно, наши
[illegible]омки будутъ прекраснѣе и счастливѣе насъ. Ибо я вѣрю
[illegible]шествіе впередъ, я вѣрю, что человѣчество предназна-

Palatii, кто падетъ въ борьбѣ — Евдоксія или Пульхерія, ибо эта вторая дама ненавидитъ Несторіуса, обличающаго ея любовныя интриги, а первая ненавидитъ Кирилла, котораго защищаетъ Пульхерія; все сводится, въ концѣ концовъ, къ бабьимъ и евнушьимъ сплетнямъ, и въ защитѣ или преслѣдованіи догмата собственно защищается или преслѣдуется человѣкъ, а въ человѣкѣ партія. Точно то же дѣлается на западѣ. Римъ хотѣлъ господствовать; «когда пали его легіоны, онъ послалъ въ провинціи догматы»; всѣ религіозные споры имѣли источникомъ римскія узурпаторства; дѣло шло о томъ, чтобы упрочить верховную власть римскаго епископа. Этотъ епископъ къ истинно религіознымъ вопросамъ относился всегда очень небрежно, но чуть только совершалось нападеніе на права церкви, онъ металъ громы и молніи; онъ не особенно много диспутировалъ о св. Троицѣ, но очень много о послѣдствіяхъ исидоровскихъ декреталій; онъ централизировалъ свою власть каноническимъ правомъ, назначеніемъ епископовъ, приниженіемъ свѣтской власти, монашескими орденами, целибатомъ и т. п. Но развѣ это было христіанство? Развѣ чтеніемъ этихъ исторій мы можемъ уяснить себѣ идею христіанства? Что такое эта идея?

Какъ эта идея исторически вырабатывалась и обнаруживалась въ мірѣ внѣшнихъ явленій, это можемъ мы увидѣть уже въ первыя столѣтія по Р. Х., если прослѣдить безъ всякихъ предразсудковъ и предубѣжденій исторію манихеянъ и гностиковъ. Хотя первыхъ признавали еретиками, а вторыхъ поносили, и церковь осудила тѣхъ и другихъ, но это не помѣшало удержаться ихъ вліянію на догматъ, изъ ихъ символики развилось католическое искусство, и ихъ образъ мыслей проникъ собой всю жизнь христіанскихъ народовъ. Манихеяне въ послѣднихъ выводахъ своихъ не очень отличаются отъ гностиковъ. Ученіе о двухъ началахъ, добромъ и зломъ, ведущихъ между собою борьбу, обще и тѣмъ, и другимъ. Манихеяне заимствовали это ученіе изъ древнеперсидской религіи, въ которой Ормуздъ, свѣтъ, враждебно противопоставленъ Ариману, тьмѣ. Собственно гностики вѣрили скорѣе въ пресуществованіе добраго начала и возникновеніе начала злого объясняли эманаціею, поколѣніями эоновъ, которые, чѣмъ болѣе отдалялись отъ своего первобытнаго источника, тѣмъ больше и мрачнѣе ухудшались. По ученію Церинтуса, Создатель нашего міра былъ не высшій Богъ, а только эманація Его, одинъ изъ эоновъ, деміургъ, котораго добрая натура постепенно извращалась и который те-

перь, какъ злое начало, враждебно противопоставленъ началу доброму, непосредственно исшедшему изъ высшаго Бога логосу. Это гностическое міровоззрѣніе имѣетъ родиной Индію, и оно привело вмѣстѣ съ собой ученіе о воплощеніи Бога, объ умерщвленіи плоти, о духовномъ погруженіи въ самого себя, оно породило аскетически созерцательную монашескую жизнь, которая есть чистѣйшій цвѣтъ христіанской идеи... Ученіе о двухъ началахъ видимъ мы выступающимъ всюду: врагомъ добраго Христа является злой сатана; міръ духа имѣетъ своимъ представителемъ Христа, міръ матеріи—сатану; Христу принадлежитъ наша душа, сатанѣ—наше тѣло; и согласно этому, весь міръ внѣшнихъ явленій, природа, по своей первобытной сущности есть зло, и сатана, князь тьмы, старается посредствомъ его вовлекать насъ въ погибель, и такимъ образомъ мы должны отрекаться отъ всѣхъ чувственныхъ радостей жизни, должны подвергать истязаніямъ наше тѣло, достояніе сатаны, для того, чтобы душа тѣмъ прекраснѣе возносилась въ свѣтлое небо, въ лучезарное царство Христа.

Это міровоззрѣніе, составлявшее собственно идею христіанства, съ невѣроятною быстротой распространилось по всему римскому государству; во все продолженіе среднихъ вѣковъ длились страданія, выражавшіяся то въ горячечномъ неистовствѣ, то въ мертвенной апатіи, и мы, люди новаго времени, до сихъ поръ еще все чувствуемъ въ членахъ судороги и слабость. Если иные изъ насъ и выздоровѣли уже, то они все-таки не могутъ освободиться отъ общаго лазаретнаго воздуха, и чувствуютъ себя несчастными, какъ горсть здоровыхъ среди огромнаго большинства больныхъ. Со временемъ, когда человѣчество снова обрѣтетъ свое полное здоровье, когда возстановится миръ между душою и тѣломъ, и они снова проникнутся другъ другомъ въ первобытной гармоніи, тогда едва ли будетъ для кого-нибудь понятна искусственно созданная прежнимъ ученіемъ вражда между ними. Болѣе счастливыя и болѣе прекрасныя поколѣнія, плодъ свободныхъ союзовъ по добровольному выбору, будутъ грустно улыбаться при воспоминаніи о своихъ бѣдныхъ дкахъ, которые мрачно воздерживались отъ всѣхъ насланій этой прекрасной земли и, благодаря умерщвленію юй, яркой чувствительности, обратились чуть не въ хоныя привидѣнія! Да, я утверждаю положительно, наши омки будутъ прекраснѣе и счастливѣе насъ. Ибо я вѣрю шествіе впередъ, я вѣрю, что человѣчество предназна-

чено для счастья, и такимъ образомъ возлагаю на благость Божества больше надеждъ, чѣмъ тѣ набожные люди, которые думаютъ, что Оно создало людей только для страданій. Уже здѣсь на землѣ хотѣлось бы мнѣ, посредствомъ благодатной силы свободныхъ политическихъ и промышленныхъ учрежденій, установить то блаженство, которое, по ученію набожныхъ людей, должно наступить только въ день страшнаго суда, въ небѣ. . . . . .

Но, можетъ-быть, человѣчество осуждено на вѣчное страданіе, народы, быть-можетъ, навѣки осуждены на то, чтобъ ихъ топтали ногами жестокіе деспоты, эксплуатировали сильные пособники этихъ тирановъ и осмѣивали, и поносили ихъ лакеи.

Ахъ, въ этомъ случаѣ слѣдовало бы стараться сохранять прежнее міровоззрѣніе, даже будучи убѣжденнымъ въ его неосновательности, слѣдовало бы въ рясѣ католическаго монаха и босикомъ пробѣгать по Европѣ, и проповѣдывать ничтожество всѣхъ земныхъ благъ и отреченіе отъ нихъ, и утѣшать бичуемое и поносимое человѣчество надеждой на обрѣтеніе всѣхъ семи небесъ послѣ смерти. . . . .

. . . . . .

Продолжительность существованія ученій всегда зависѣла отъ потребности въ нихъ. Въ теченіе восемнадцати вѣковъ, христіанская религія была благодѣяніемъ для страждущаго человѣчества; она была высшимъ откровеніемъ, божественнымъ, святымъ дѣломъ. Все, что она совершила на благо цивилизаціи, укротивъ сильныхъ и укрѣпивъ кроткихъ, связавъ народы однимъ чувствомъ и однимъ языкомъ, все, что защитники ея приписали ей славнаго, все это еще ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ великимъ утѣшеніемъ, которое она разливала между людьми. Вѣчная священная хвала символу пострадавшаго Бога, Спасителя съ терновымъ вѣнцомъ, распятаго Христа, кровь Котораго была какъ бы цѣлительнымъ бальзамомъ, пролившимся въ раны человѣчества. Особенно поэтъ съ благоговѣніемъ признаетъ повергающее въ трепетъ величіе этого символа. Вся система символовъ, высказавшаяся въ средневѣковомъ искусствѣ и средневѣковой жизни, будетъ во всѣ времена возбуждать изумленіе поэтовъ. Дѣйствительно, какая колоссальная послѣдовательность въ христіанскомъ искусствѣ, особенно въ архитектурѣ! Эти готическіе храмы, въ какой они гармоніи съ культомъ, и какъ хорошо проявляется въ нихъ идея самой церкви! *Все* здѣсь возносится къ небу, все измѣняетъ свою субстан-

цію: камень пускаетъ вѣтви и листья и становится деревомъ; плодъ виноградной лозы и хлѣбнаго колоса дѣлается кровью и плотью; человѣкъ становится божествомъ, божество—чистымъ духомъ! Какой драгоцѣнный и неистощимо плодотворный матеріалъ для поэта—христіанская жизнь среднихъ вѣковъ! Только эта жизнь могла породить на нашей землѣ порядокъ вещей, заключающій въ себѣ такіе смѣлые контрасты, такія пестрыя скорби и такія причудливыя красоты, что при взглядѣ на нихъ кажется, какъ будто ничего подобнаго никогда не существовало въ дѣйствительности, и что все это—колоссальная лихорадочная грёза... Въ то время сама природа, казалось, облекалась въ фантастическій костюмъ, но хотя человѣкъ, погруженный въ глубину своихъ отвлеченныхъ умозрѣній, сердито отворачивался отъ нея, она все-таки иногда пробуждала его голосомъ такимъ таинственно сладкимъ, такимъ ужасающе нѣжнымъ, такимъ волшебно обаятельнымъ, что человѣкъ невольно слушалъ, и улыбался, и пугался, и даже неизлѣчимо заболѣвалъ. Мнѣ приходитъ здѣсь на память исторія базельскаго соловья, и такъ какъ вы, безъ сомнѣнія, ея не знаете, то я вамъ разскажу ее.

Въ маѣ 1433 г., во время базельскаго собора, отправилось прогуляться въ лѣсъ, близъ города, общество духовныхъ лицъ, прелаты и доктора, монахи всѣхъ цвѣтовъ, и они диспутировали о трудныхъ богословскихъ вопросахъ, и разбирали, и доказывали, или спорили объ аннатахъ, о правѣ преемничества, объ изъятіяхъ, или изслѣдовали, стоялъ ли Ѳома Аквитанскій, какъ философъ, выше Бонавентуры, и мало ли о чемъ еще? Но вдругъ, посреди своихъ догматическихъ и отвлеченныхъ преній, они умолкли и остановились, какъ вкопанные, подъ цвѣтущею липою, гдѣ соловей ликовалъ и рыдалъ въ самыхъ мягкихъ и нѣжныхъ мелодіяхъ. У ученыхъ мужей стало при этомъ на душѣ такъ сладостно, въ схоластически казуистическія сердца проникли теплые звуки весны, ихъ чувства очнулись отъ тупого зимняго сна, они переглянулись въ восторженномъ изумленіи; наконецъ, одинъ изъ нихъ остроумно замѣтилъ, что это все кажется ему не совсѣмъ каноническимъ, что этотъ соловей, ень можетъ быть, дьяволъ, что дьяволъ этотъ хочетъ вратить ихъ своимъ обольстительнымъ пѣніемъ отъ хріанской бесѣды и увлечь къ сластолюбію и другимъ искузльнымъ грѣхамъ,—и онъ началъ заклинать его, вѣроятно, гребительною въ то время формулою: «adjuro te per eum, venturus est judicare vivos et mortuos, etc. etc.!» На

это заклинаніе, говорятъ, птичка отвѣчала: «да, я нечистый духъ!» и со смѣхомъ улетѣла. Тѣ же, которые слушали ея пѣніе, въ тотъ же день захворали и вскорѣ умерли.

Эта исторія не требуетъ комментарій. Она вполнѣ носитъ на себѣ страшный отпечатокъ того времени, которое обзывало чертовщиной все, что было пріятно и сладостно. Даже соловей былъ оклеветанъ, и при его пѣніи открещивались. Истинный христіанинъ-католикъ прогуливался среди цвѣтущей природы съ тщательно замкнутыми чувствами, какъ отвлеченное привидѣніе. Объ этомъ отношеніи христіанина средневѣковаго къ природѣ я, можетъ-быть, впослѣдствіи буду говорить подробнѣе, когда для уясненія ново-романтической литературы, долженъ буду обстоятельно разбирать католическія германскія вѣрованія. Теперь ограничусь замѣчаніемъ, что французскіе писатели, введенные въ заблужденіе нѣмецкими авторитетами, впадаютъ въ большую ошибку, предполагая, что въ средніе вѣка народныя вѣрованія были одинаковы во всей Европѣ. Только [illegible]

среди игръ и плясокъ. Даже бѣдная Діана, несмотря на ея цѣломудріе, не была гарантирована отъ такой же участи, и ее обвиняли въ бѣганьи ночью по лѣсамъ съ ея нимфами, откуда и преданіе о свирѣпомъ войскѣ, о дикой охотѣ. Здѣсь еще вполнѣ сказывается гностическое воззрѣніе объ ухудшеніи того, что было нѣкогда божественнымъ, и въ этомъ измѣненіи прежняго народнаго вѣрованія проявляетъ себя наиболѣе глубокомысленно идея первобытнаго христіанства.

Національное вѣрованіе въ Европѣ, на сѣверѣ еще болѣе, чѣмъ на югѣ, было пантеистическое; его мистеріи и символы исходили изъ поклоненія природѣ, во всякой стихіи чтили существо сверхъестественное, во всякомъ деревѣ дышало божество, всѣ явленія внѣшняго міра были обоготворяемы. Католицизмъ перевернулъ это воззрѣніе и, вмѣсто обоготворенія природы, демонизировалъ ее. Но свѣтлые, скрашенные искусствомъ образы греческой миѳологіи, которая господствовала вмѣстѣ съ римскою цивилизаціей на югѣ, не такъ легко было обратить въ сатанинскія безобразныя личины, какъ боговъ германскихъ, въ созданіи которыхъ не принимало, конечно, участія никакое художническое чувство, и которые уже искони были такъ же угрюмы и сердиты, какъ самъ сѣверъ. Отъ этого у васъ во Франціи не могли создать такого страшнаго и мрачнаго царства дьявола, какъ у насъ, и міръ духовъ и волшебниковъ принялъ у васъ болѣе свѣтлую форму. Какъ прекрасны, свѣтлы и ярко цвѣтны ваши народныя легенды въ сравненіи съ нашими, этими выродками, состоящими изъ крови и тумана, такъ мрачно и жестоко скалящими зубы на насъ! Наши средневѣковые поэты, преимущественно выбиравшіе тѣ сюжеты, которые вы или придумали, или впервые обработали въ Нормандіи и Бретани, можетъ-быть, съ умысломъ придавали своимъ произведеніямъ сколь возможно больше этого свѣтлаго старинно-французскаго духа. Но въ нашихъ національныхъ стихотвореніяхъ и нашихъ устныхъ народныхъ сказаніяхъ сохранялся тотъ мрачный сѣверный духъ, о которомъ вы едва можете составить себѣ понятіе. У васъ, такъ же, какъ и у насъ, нѣсколько разрядовъ стихійныхъ духовъ, но наши настолько же отличаются отъ вашихъ, насколько нѣмецъ не похожъ на француза. Какъ демоны вашихъ фабліо и волшебныхъ романовъ ярко-красивы и осо-бенно опрятны въ сравненіи съ нашею сѣрою и часто сьма нечистоплотною сволочью духовъ! Ваши феи и сти-

хійные духи, откуда бы вы ихъ ни взяли, изъ Корнваллиса или изъ Аравіи, вѣдь совсѣмъ натурализированы у васъ, и французскій духъ отличается отъ нѣмецкаго настолько же, насколько денди, прохаживающійся въ желтыхъ лайковыхъ перчаткахъ по boulevard Coblence, отличенъ отъ неуклюжаго нѣмецкаго носильщика. Ваши русалки, напримѣръ Мелюзина, непохожи на нашихъ точно такъ же, какъ непохожа принцесса на прачку. Какой ужасъ объялъ бы фею Моргану, если бы она встрѣтила нѣмецкую вѣдьму, совершенно нагую, вымазанную мазью, и летящую верхомъ на помелѣ, къ шабашу на Брокенъ. Эта гора не свѣтлый Авалонъ, но мѣсто сходки всего, что только есть отвратительнаго и дикаго! На вершинѣ ея возсѣдаетъ сатана въ образѣ чернаго козла. Каждая вѣдьма подходитъ къ нему, держа восковую свѣчу, и цѣлуетъ его въ ту заднюю часть, гдѣ кончается спина. Потомъ, всѣ эти адскія сестры пляшутъ вкругъ него хороводомъ и поютъ: Donderemus, Donderemus! Козелъ блеетъ, ликуя несется адскій канканъ. Когда вѣдьма въ пляскѣ теряетъ башмакъ, это для нея недобрый знакъ: это значитъ, что быть ей сожженной въ этомъ году. Но дикая, истинно берліозовская музыка шабаша разгоняетъ всѣ тревожныя предчувствія, и когда бѣдная колдунья просыпается утромъ отъ своего опьянѣнія, то видитъ себя нагою и измученною, въ золѣ у потухшаго очага.

Лучшія замѣтки объ этихъ колдуньяхъ можно найти въ «Демонологіи» надежнаго и высокоученаго доктора Николая Ремигіуса, уголовнаго судьи его свѣтлости герцога лотарингскаго. Правда, этотъ проницательный человѣкъ имѣлъ самые лучшіе случаи для изслѣдованій надъ колдуньями, потому что велъ ихъ процессы, и при немъ одномъ въ Лотарингіи болѣе восьмисотъ женщинъ было возведено на костеръ, какъ уличенныя въ колдовствѣ. Эта улика преимущественно состояла въ слѣдующемъ: имъ связывали руки и ноги и опускали въ воду; если онѣ шли ко дну и тонули, то признавались невинными, но если держались, плавая на водѣ, то ихъ признавали виновными и жгли. Такова была логика того времени.

Основною чертою въ характерѣ нѣмецкихъ демоновъ представляется то, что отъ нихъ отнято было все идеальное, и что безобразное смѣшивалось въ нихъ съ низкимъ. Чѣмъ неуклюже интимнѣе они связаны съ нашимъ домашнимъ бытомъ, тѣмъ страшнѣе производимое ими впечатлѣніе. Нѣтъ ничего непріятнѣе нашихъ привидѣній, нашихъ ко-

больдовъ и домовыхъ. Преторіусъ, въ своемъ Antropodemus, посвящаетъ этому предмету страницу, которую я выписываю изъ сочиненія Добенека:

«Древніе могли сказать о домовыхъ только то, что они были настоящіе люди, съ виду похожіе на маленькихъ дѣтей, одѣтые въ пестрыя платьица; нѣкоторые прибавляютъ, что они ходятъ иногда съ воткнутымъ въ спину ножомъ, или другимъ инструментомъ, смотря по тому, чѣмъ ихъ зарѣзали или убили. Потому что суевѣрные думаютъ, что это должны быть души людей, убитыхъ въ домѣ. И болтаютъ много разсказовъ о томъ, что домовые такъ хорошо услуживаютъ служанкамъ и кухаркамъ и такъ ими любимы, что многія изъ этихъ послѣднихъ очень привязываются къ нимъ и горячо желаютъ видѣть и призывать ихъ. Но эти духи неохотно поддаются ихъ желаніямъ, возражая, что ихъ нельзя видѣть безъ ужаса. Однако, когда похотливыя служанки настаиваютъ, домовые назначаютъ въ домѣ уголокъ, гдѣ они покажутся, но нужно при этомъ принести съ собой ведро холодной воды. Часто случалось, что такой кобольдъ ложился нагишомъ на полу, съ большимъ ножомъ, торчавшимъ въ спинѣ. И испуганная служанка падала безъ чувствъ. Тогда маленькое существо вскакивало, брало воду и окачивало человѣка, чтобы привести его въ себя. Служанки послѣ этого потеряли охоту, и ужъ болѣе никогда не напрашивались видѣть маленькаго химгена. Кобольды всѣ носятъ особыя имена, но обыкновенно зовутся химами. Говорятъ также, что они исполняютъ всевозможныя домашнія работы за слугъ и служанокъ, къ которымъ благоволятъ,—чистятъ и кормятъ лошадей, готовятъ въ конюшнѣ подстилку, все обмываютъ, содержатъ порядокъ въ кухнѣ, присматриваютъ вообще за домомъ, обо всемъ заботятся, и скотъ тоже жирѣетъ и поправляется подъ ихъ надзоромъ. Для этого необходимо, чтобы прислуга очень ласкала кобольдовъ, ни въ чемъ имъ не досаждала, никогда не издѣвалась надъ ними и никогда не отказывала въ любимыхъ ими блюдахъ. Когда кухарка беретъ одно изъ этихъ маленькихъ существъ въ свои тайные помощники, то должна
[illegible]й день, въ извѣстный часъ и въ опредѣленное мѣсто,
[illegible]ть ему хорошо приготовленное и вкусно приправленное блюдо и уходить, не оглядываясь; послѣ того,
[illegible]жетъ вдоволь полѣниться, вечеромъ пойти пораньше
[illegible] работа ея съ утра все-таки будетъ готова. Но
[illegible]да она забудетъ свою обязанность, не принесетъ

въ назначенный часъ поѣсть домовому, то бываетъ принуждена одна исполнять свою работу, и ничего у нея не спорится. То она обварится кипяткомъ, то разобьетъ горшки и посуду, прольетъ или уронитъ на полъ кушанье, и т. д., за что хозяинъ и хозяйка дома ее непремѣнно бранятъ, а кобольдъ, между тѣмъ, трунитъ и подсмѣивается. И такіе кобольды имѣютъ привычку оставаться въ домѣ даже и при перемѣнѣ прислуги. Бываетъ даже такъ, что уходящая служанка препоручаетъ кобольда своей преемницѣ и очень совѣтуетъ ей угождать также ему. Когда же та не дѣлала этого, на нее сыпались бѣды, и она въ свой чередъ принуждена была вскорѣ оставить домъ».

Слѣдующій анекдотъ, можетъ-быть, одинъ изъ самыхъ страшныхъ:

У одной служанки много лѣтъ былъ домашній духъ—невидимка, садившійся подлѣ нея у очага, гдѣ она ему отвела уголокъ и бесѣдовала съ нимъ въ долгія зимнія ночи. Однажды служанка попросила Гейнцхена (такъ звала она духа) показаться ей хоть разъ въ настоящемъ своемъ видѣ, какимъ создала его природа. Но Гейнцхенъ отказалъ. Наконецъ, однако, онъ согласился и сказалъ, чтобы она сошла въ погребъ, куда онъ явится. Служанка взяла свѣчу, спустилась въ подвалъ, и тамъ, въ открытой бочкѣ, увидѣла мертваго ребенка, плававшаго въ своей крови. А много лѣтъ назадъ, эта самая служанка тайно произвела на свѣтъ ребенка, зарѣзала его и спрятала въ бочку.

Нѣмцы, однако, такъ созданы, что лучшія свои шутки почерпаютъ въ ужасномъ, и народныя повѣрья о кобольдахъ часто полны забавныхъ подробностей. Особенно забавны исторіи о Гюдекенѣ, кобольдѣ, разыгрывавшемъ свои шутки въ XII вѣкѣ, въ Гильдесгеймѣ, и о которомъ много говорится въ нашихъ волшебныхъ романахъ и за прялками. Въ одной старой хроникѣ находится слѣдующее, уже не разъ перепечатывавшееся, свѣдѣніе о немъ:

«Въ 1132 году, въ гильдесгеймскомъ епископствѣ показывался нѣкоторое время многимъ людямъ весьма шаловливый духъ въ видѣ крестьянина въ шапкѣ, отчего поселяне звали его на саксонскомъ нарѣчіи Hüdeken (шапочка). Этотъ духъ любилъ водиться съ людьми, то показываться имъ, то становиться невидимкой, задавать вопросы и давать *отвѣты*. Онъ никого не обижалъ безъ причины. Но когда *надъ нимъ насмѣхались*, или иначе оскорбляли его, онъ *отплачивалъ за зло* съ лихвою. Когда графъ Бургардъ

де-Лука былъ убитъ графомъ Германомъ Визенбургскимъ, а землѣ его грозила опасность стать добычею мстителей, Гюдекенъ разбудилъ отъ сна епископа Бернарда гильдесгеймскаго и сказалъ ему слѣдующія слова: «Вставай, лысая голова! Визенбургское графство покинуто вслѣдствіе убійства его господина, и ты можешь легко завладѣть имъ». Епископъ поспѣшно собралъ своихъ воиновъ, напалъ на владѣнія преступнаго графа и, съ разрѣшенія императора, присоединилъ ихъ къ своей епархіи. Духъ часто и непрошеный предупреждалъ упомянутаго епископа о грозившихъ опасностяхъ и особенно часто являлся въ кухнѣ его дворца, гдѣ бесѣдовалъ съ поварами и оказывалъ имъ разныя услуги. Такъ какъ съ Гюдекеномъ мало-по-малу очень свыкались, то одинъ молодой поваренокъ позволялъ себѣ дразнить его и даже обливать грязной водой всякій разъ, какъ онъ являлся. Наконецъ, духъ попросилъ главнаго повара или кухмистера запретить неучтивому мальчику его шалости. Поваръ отвѣчалъ: «Ты духъ, а боишься мальчишки!» на что Гюдекенъ сказалъ съ угрозой: «Если ты не хочешь наказать этого мальчика, я тебѣ чрезъ нѣсколько дней покажу, какъ я его боюсь!» Вскорѣ послѣ того, мальчику, обидѣвшему духа, случилось спать одному въ кухнѣ. Духъ схватилъ его, задушилъ, разорвалъ на куски и побросалъ ихъ въ горшки, стоявшіе на огнѣ. Когда поваръ замѣтилъ эту продѣлку, то сталъ проклинать духа, и тогда Гюдекенъ на другой день перепортилъ всѣ жаркія на вертелѣ, обливъ ихъ ядомъ и кровью жабъ. Мщеніе повело повара къ новымъ ругательствамъ, послѣ чего духъ увлекъ его на заколдованный мнимый мостъ и сбросилъ въ глубокій ровъ. Въ это же время онъ ночью прилежно обходилъ городскія стѣны и башни и принуждалъ часовыхъ къ строгой бдительности. У одного горожанина была невѣрная жена, и однажды, отправляясь въ дорогу, онъ шутливо сказалъ Гюдекену: «Добрый другъ, поручаю тебѣ жену мою; смотри за ней хорошенько». Лишь только мужъ пустился въ путь, невѣрная жена стала созывать одного за другимъ своихъ любовниковъ. Но Гюдекенъ не допустилъ ей ни одного и каждаго сбрасывалъ съ кровати на Когда хозяинъ возвратился изъ путешествія, духъ о встрѣтилъ его и сказалъ: «Радуюсь твоему возвра-, оно освобождаетъ меня отъ тяжелой службы, которы мнѣ задалъ. Я съ несказаннымъ трудомъ сохражену твою отъ дѣйствительной измѣны. Но прошу

тебя больше не поручать ее моему присмотру. Я лучше возьмусь беречь всѣхъ свиней въ саксонской землѣ, чѣмъ женщину, которая коварно старается попадать въ объятія своихъ любовниковъ».

Для исторической точности я долженъ замѣтить, что головной уборъ Гюдекена отличается отъ обыкновенной одежды кобольдовъ; они большею частью одѣты въ сѣрое и носятъ красный колпачокъ. По крайней мѣрѣ, въ такомъ нарядѣ встрѣчаютъ ихъ въ Даніи, гдѣ они водятся еще въ наибольшемъ числѣ. Прежде я полагалъ, что кобольды предпочли Данію ради красной каши, ихъ любимаго кушанья. Но молодой датскій поэтъ, г. Андерсенъ, съ которымъ я имѣлъ удовольствіе познакомиться нынѣшнимъ лѣтомъ въ Парижѣ, положительно увѣрилъ меня, что ниссены, какъ называютъ въ Даніи кобольдовъ, больше всего любятъ овсянку съ масломъ. Разъ, что кобольды завелись въ домѣ, они неохотно оставляютъ его. Однако, они никогда не являются, не предупредивъ о своемъ приходѣ, и показываютъ хозяину дома о своемъ намѣреніи поселиться у него слѣдующимъ образомъ. [illegible]

Эти злодѣянія возникали не прямо благодаря католической церкви, но косвенно, потому что эта церковь коварно исказила древне-германскую національную религію, что пантеистическое міровоззрѣніе нѣмцевъ она передѣлала въ пандемоническое, что прежнія святыни народа она превратила въ отвратительную чертовщину. Но человѣкъ неохотно разстается съ тѣмъ, что было дорого ему и его предкамъ, и его убѣжденія, даже изуродованныя и обезображенныя, втайнѣ продолжаютъ прочно льнуть къ нему. Вотъ отчего эти народныя вѣрованія, какъ они ни извращены, просуществуютъ въ Германіи, быть-можетъ, еще дольше, чѣмъ католичество, потому что оно не имѣетъ, какъ они, корней въ народности. Во времена реформаціи очень скоро исчезла вѣра въ католическія легенды, но отнюдь не исчезло вѣрованіе въ чары и въ колдовство.

Лютеръ уже не вѣритъ въ католическія чудеса, но все еще вѣритъ въ существованіе дьявола. Его «Застольныя рѣчи» наполнены любопытными разсказами о продѣлкахъ сатаны, кобольдахъ и вѣдьмахъ. Ему самому въ тяжелыя минуты нерѣдко казалось, что онъ лично борется съ дьяволомъ. Въ Вартбургѣ, гдѣ онъ переводилъ Новый Завѣтъ, онъ такъ сильно былъ возмущенъ дьяволомъ, что бросилъ ему въ голову свою чернильницу. Съ тѣхъ поръ дьяволъ имѣетъ сильное отвращеніе къ чернилам, но еще болѣе къ типографской краскѣ. Въ этихъ «Застольныхъ рѣчахъ» есть много забавныхъ анекдотовъ о лукавствѣ дьявола, и я не могу удержаться, чтобы не передать вамъ одинъ изъ нихъ.

«Докторъ Мартинъ Лютеръ разсказываетъ, что однажды нѣсколько хорошихъ пріятелей сидѣли въ кабакѣ. Между ними былъ одинъ парень, грубый и дикій, и онъ сказалъ, что если бы кто-нибудь далъ ему добрую кружку вина, онъ продалъ бы тому свою душу.

«Черезъ нѣсколько минутъ входитъ какой-то человѣкъ, садится подлѣ него, пьетъ съ нимъ и, между прочимъ, говоритъ тому, кто вызвался взять на себя такъ много:

«Слушай, ты сейчасъ говорилъ, что если бы кто-нибудь
тебѣ добрую кружку вина, ты бы продалъ ему свою
у?»

Тотъ еще разъ повторилъ: «Да, охотно, а сегодня раемъ, покутимъ и будемъ веселы».

ловѣкъ, который былъ самъ дьяволъ, сказалъ: «ладно», рѣ потомъ исчезъ. Когда пьяница прогулялъ цѣлый

тебя больше не поручать ее моему присмотру. Я лучше возьмусь беречь всѣхъ свиней въ саксонской землѣ, чѣмъ женщину, которая коварно старается попадать въ объятія своихъ любовниковъ».

Для исторической точности я долженъ замѣтить, что головной уборъ Гюдекена отличается отъ обыкновенной одежды кобольдовъ; они большею частью одѣты въ сѣрое и носятъ красный колпачокъ. По крайней мѣрѣ, въ такомъ нарядѣ встрѣчаютъ ихъ въ Даніи, гдѣ они водятся еще въ наибольшемъ числѣ. Прежде я полагалъ, что кобольды предпочли Данію ради красной каши, ихъ любимаго кушанья. Но молодой датскій поэтъ, г. Андерсенъ, съ которымъ я имѣлъ удовольствіе познакомиться нынѣшнимъ лѣтомъ въ Парижѣ, положительно увѣрилъ меня, что ниссены, какъ называютъ въ Даніи кобольдовъ, больше всего любятъ овсянку съ масломъ. Разъ, что кобольды завелись въ домѣ, они неохотно оставляютъ его. Однако, они никогда не являются, не предупредивъ о своемъ приходѣ, и докладываютъ хозяину дома о своемъ намѣреніи поселиться у него слѣдующимъ образомъ. Ночью они наносятъ въ домъ множество мелкихъ щепокъ, а въ посуду, гдѣ хранится молоко, разбрасываютъ скотскій наметъ; если хозяинъ не выброситъ этихъ щепокъ и поѣстъ съ своей семьей это загаженное молоко, кобольдъ навсегда поселяется у него. Одинъ бѣдный ютландецъ, наконецъ, сталъ такъ тяготиться безпокойнымъ присутствіемъ у себя одного изъ этихъ кобольдовъ, что рѣшился выѣхать изъ своего дома, сложилъ свои скудные пожитки на телѣжку и отправился въ сосѣднюю деревню, чтобы поселиться тамъ. Но какъ-то оглянувшись дорогой, онъ замѣтилъ красный колпачокъ и головку кобольда, выглядывавшаго изъ пустой бочки и дружески закричавшаго ему: wi flutten (мы переѣзжаемъ)!

Можетъ-быть, я слишкомъ долго остановился на этихъ мелкихъ демонахъ, и пора перейти къ крупнымъ. Но всѣ эти сказанія иллюстрируютъ вѣрованія и характеръ нѣмецкаго народа. Эти вѣрованія были въ прошедшихъ столѣтіяхъ такъ же сильны, какъ и вѣра въ церковь. Когда ученый докторъ Ремигіуси окончилъ свое большое сочиненіе о вѣдьмахъ, онъ счелъ себя такъ глубоко изучившимъ свой предметъ, что вообразилъ, будто самъ можетъ заниматься колдовствомъ, и, какъ добросовѣстный человѣкъ, не преминулъ донести на себя суду, какъ на колдуна, вслѣдствіе какового признанія онъ и былъ сожженъ.

Эти злодѣянія возникали не прямо благодаря католической церкви, но косвенно, потому что эта церковь коварно исказила древне-германскую національную религію, что пантеистическое міровоззрѣніе нѣмцевъ она передѣлала въ пандемоническое, что прежнія святыни народа она превратила въ отвратительную чертовщину. Но человѣкъ неохотно разстается съ тѣмъ, что было дорого ему и его предкамъ, и его убѣжденія, даже изуродованныя и обезображенныя, втайнѣ продолжаютъ прочно льнуть къ нему. Вотъ отчего эти народныя вѣрованія, какъ они ни извращены, просуществуютъ въ Германіи, быть-можетъ, еще дольше, чѣмъ католичество, потому что оно не имѣетъ, какъ они, корней въ народности. Во времена реформаціи очень скоро исчезла вѣра въ католическія легенды, но отнюдь не исчезло вѣрованіе въ чары и въ колдовство.

Лютеръ уже не вѣритъ въ католическія чудеса, но все еще вѣритъ въ существованіе дьявола. Его «Застольныя рѣчи» наполнены любопытными разсказами о продѣлкахъ сатаны, кобольдахъ и вѣдьмахъ. Ему самому въ тяжелыя минуты нерѣдко казалось, что онъ лично борется съ дьяволомъ. Въ Вартбургѣ, гдѣ онъ переводилъ Новый Завѣтъ, онъ такъ сильно былъ возмущенъ дьяволомъ, что бросилъ ему въ голову свою чернильницу. Съ тѣхъ поръ дьяволъ имѣетъ сильное отвращеніе къ чернилам, но еще болѣе къ типографской краскѣ. Въ этихъ «Застольныхъ рѣчахъ» есть много забавныхъ анекдотовъ о лукавствѣ дьявола, и я не могу удержаться, чтобы не передать вамъ одинъ изъ нихъ.

«Докторъ Мартинъ Лютеръ разсказываетъ, что однажды нѣсколько хорошихъ пріятелей сидѣли въ кабакѣ. Между ними былъ одинъ парень, грубый и дикій, и онъ сказалъ, что если бы кто-нибудь далъ ему добрую кружку вина, онъ продалъ бы тому свою душу.

«Черезъ нѣсколько минутъ входитъ какой-то человѣкъ, садится подлѣ него, пьетъ съ нимъ и, между прочимъ, говоритъ тому, кто вызвался взять на себя такъ много:

«Слушай, ты сейчасъ говорилъ, что если бы кто-нибудь ъ тебѣ добрую кружку вина, ты бы продалъ ему свою »

тъ еще разъ повторилъ: «Да, охотно, а сегодня ра-емъ, покутимъ и будемъ веселы».

Человѣкъ, который былъ самъ дьяволъ, сказалъ: «ладно», орѣ потомъ исчезъ. Когда пьяница прогулялъ цѣлый

тебя больше не поручать ее моему присмотру. Я лучше возьмусь беречь всѣхъ свиней въ саксонской землѣ, чѣмъ женщину, которая коварно старается попадать въ объятія своихъ любовниковъ».

Для исторической точности я долженъ замѣтить, что головной уборъ Гюдекена отличается отъ обыкновенной одежды кобольдовъ; они большею частью одѣты въ сѣрое и носятъ красный колпачокъ. По крайней мѣрѣ, въ такомъ нарядѣ встрѣчаютъ ихъ въ Даніи, гдѣ они водятся еще въ наибольшемъ числѣ. Прежде я полагалъ, что кобольды предпочли Данію ради красной каши, ихъ любимаго кушанья. Но молодой датскій поэтъ, г. Андерсенъ, съ которымъ я имѣлъ удовольствіе познакомиться нынѣшнимъ лѣтомъ въ Парижѣ, положительно увѣрилъ меня, что ниссены, какъ называютъ въ Даніи кобольдовъ, больше всего любятъ овсянку съ масломъ. Разъ, что кобольды завелись въ домѣ, они неохотно оставляютъ его. Однако, они никогда не являются, не предупредивъ о своемъ приходѣ, и докладываютъ хозяину дома о своемъ намѣреніи поселиться у него слѣдующимъ образомъ. Ночью они наносятъ въ домъ множество мелкихъ щепокъ, а въ посуду, гдѣ хранится молоко, разбрасываютъ скотскій наметъ; если хозяинъ не выброситъ этихъ щепокъ и поѣстъ съ своей семьей это загаженное молоко, кобольдъ навсегда поселяется у него. Одинъ бѣдный ютландецъ, наконецъ, сталъ такъ тяготиться безпокойнымъ присутствіемъ у себя одного изъ этихъ кобольдовъ, что рѣшился выѣхать изъ своего дома, сложилъ свои скудные пожитки на телѣжку и отправился въ сосѣднюю деревню, чтобы поселиться тамъ. Но какъ-то оглянувшись дорогой, онъ замѣтилъ красный колпачокъ и головку кобольда, выглядывавшаго изъ пустой бочки и дружески закричавшаго ему: wi flutten (мы переѣзжаемъ)!

Можетъ-быть, я слишкомъ долго остановился на этихъ мелкихъ демонахъ, и пора перейти къ крупнымъ. Но всѣ эти сказанія иллюстрируютъ вѣрованія и характеръ нѣмецкаго народа. Эти вѣрованія были въ прошедшихъ столѣтіяхъ такъ же сильны, какъ и вѣра въ церковь. Когда ученый докторъ Ремигіуси окончилъ свое большое сочиненіе о вѣдьмахъ, онъ счелъ себя такъ глубоко изучившимъ свой предметъ, что вообразилъ, будто самъ можетъ заниматься колдовствомъ, и, какъ добросовѣстный человѣкъ, не преминулъ донести на себя суду, какъ на колдуна, вслѣдствіе какового признанія онъ и былъ сожженъ.

Эти злодѣянія возникали не прямо благодаря католической церкви, но косвенно, потому что эта церковь коварно исказила древне-германскую національную религію, что пантеистическое міровоззрѣніе нѣмцевъ она передѣлала въ пандемоническое, что прежнія святыни народа она превратила въ отвратительную чертовщину. Но человѣкъ неохотно разстается съ тѣмъ, что было дорого ему и его предкамъ, и его убѣжденія, даже изуродованныя и обезображенныя, втайнѣ продолжаютъ прочно льнуть къ нему. Вотъ отчего эти народныя вѣрованія, какъ они ни извращены, просуществуютъ въ Германіи, быть-можетъ, еще дольше, чѣмъ католичество, потому что оно не имѣетъ, какъ они, корней въ народности. Во времена реформаціи очень скоро исчезла вѣра въ католическія легенды, но отнюдь не исчезло вѣрованіе въ чары и въ колдовство.

Лютеръ уже не вѣритъ въ католическія чудеса, но все еще вѣритъ въ существованіе дьявола. Его «Застольныя рѣчи» наполнены любопытными разсказами о продѣлкахъ сатаны, кобольдахъ и вѣдьмахъ. Ему самому въ тяжелыя минуты нерѣдко казалось, что онъ лично борется съ дьяволомъ. Въ Вартбургѣ, гдѣ онъ переводилъ Новый Завѣтъ, онъ такъ сильно былъ возмущенъ дьяволомъ, что бросилъ ему въ голову свою чернильницу. Съ тѣхъ поръ дьяволъ имѣетъ сильное отвращеніе къ чернилам, но еще болѣе къ типографской краскѣ. Въ этихъ «Застольныхъ рѣчахъ» есть много забавныхъ анекдотовъ о лукавствѣ дьявола, и я не могу удержаться, чтобы не передать вамъ одинъ изъ нихъ.

«Докторъ Мартинъ Лютеръ разсказываетъ, что однажды нѣсколько хорошихъ пріятелей сидѣли въ кабакѣ. Между ними былъ одинъ парень, грубый и дикій, и онъ сказалъ, что если бы кто-нибудь далъ ему добрую кружку вина, онъ продалъ бы тому свою душу.

«Черезъ нѣсколько минутъ входитъ какой-то человѣкъ, садится подлѣ него, пьетъ съ нимъ и, между прочимъ, говоритъ тому, кто вызвался взять на себя такъ много:

«Слушай, ты сейчасъ говорилъ, что если бы кто-нибудь
тебѣ добрую кружку вина, ты бы продалъ ему свою
»
гъ еще разъ повторилъ: «Да, охотно, а сегодня ра-
мъ, покутимъ и будемъ веселы».
овѣкъ, который былъ самъ дьяволъ, сказалъ: «ладно»,
ѣ потомъ исчезъ. Когда пьяница прогулялъ цѣлый

день и, наконецъ, совсѣмъ напился пьянъ, тотъ же человѣкъ, дьяволъ, возвратился, и сѣлъ подлѣ него, и говоритъ прочимъ гулякамъ: «Почтенные господа, какъ вамъ кажется, когда кто купитъ лошадь, принадлежатъ ли ему сѣдло и уздечка?» Всѣ сильно испугались. Но человѣкъ опять сказалъ имъ: «Что же, отвѣчайте начисто». Тутъ они съ нимъ согласились и отвѣтили: «Да, сѣдло и уздечка также принадлежатъ ему». Тогда дьяволъ беретъ этого дикаго, грубаго парня и уноситъ его черезъ крышу, и никто никогда не узналъ, куда онъ дѣвался».

Какъ ни глубоко я уважаю нашего великаго учителя Мартина Лютера, мнѣ, однако, кажется, что онъ вовсе не понялъ характера дьявола. Дьяволъ отнюдь не смотритъ на плоть съ такимъ пренебреженіемъ, какъ въ этомъ разсказѣ. Сколько бы дурного ни разсказывали о чортѣ, но признать его спиритуалистомъ не могъ и не можетъ никто.

Не понявъ въ такой степени образъ мыслей чорта, Лютеръ еще менѣе понялъ образъ мыслей папы и католической церкви. При моемъ строгомъ безпристрастіи, я долженъ и ихъ защитить отъ обвиненій этого слишкомъ ужъ требовательнаго человѣка. Да, если бы меня спросили по совѣсти, я сознался бы, что папа, Левъ X, былъ собственно гораздо разумнѣе Лютера, и что Лютеръ совсѣмъ не понялъ конечныхъ основаній и цѣлей католической церкви. Лютеръ именно не понялъ, что идея уничтоженія чувственности находилась въ слишкомъ большомъ противорѣчіи съ человѣческой натурой для того, чтобы она могла когда-нибудь вполнѣ осуществиться въ жизни; онъ не понялъ, что католицизмъ былъ какъ бы конкордатомъ между духомъ и матеріею, вслѣдствіе чего самодержаніе духа провозглашается въ теоріи, но на практикѣ матерія пріобрѣтаетъ возможность пользоваться всѣми своими уничтоженными правами. Отсюда умная система уступокъ, которыя католическая церковь дѣлала въ пользу чувственности, хотя постоянно въ такихъ формахъ, которыя клеймили все, что дѣлала чувственность; и оправдывали всякое узурпаторство духа. Тебѣ позволяется слѣдовать нѣжнымъ внушеніямъ своего сердца и обнимать красивую дѣвушку, но ты долженъ сознаваться, что это былъ постыдный грѣхъ, и въ этомъ грѣхѣ обязанъ ты принести покаяніе. Что отпущеніе грѣха давалось за деньги—это было столько же благодѣтельно для человѣчества, сколько полезно для католической [illegible]. Церковь эта взимала, такъ сказать, пеню за каж-

дое плотское наслажденіе, и такимъ образомъ возникла такса на всѣ сорты грѣховъ, и явились разносчики, которые отъ имени римской церкви продавали отпущенія всякаго таксированнаго грѣха, и однимъ изъ такихъ разносчиковъ былъ Тецель, противъ котораго прежде всего выступилъ Лютеръ. Наши историки думаютъ, что этотъ протестъ противъ торговли отпущеніями грѣховъ было событіе маловажное, и что только римское упорство довело Лютера, который сначала ратовалъ только противъ одного злоупотребленія церкви, до нападенія на весь авторитетъ этой церкви въ лицѣ ея высшаго главы. Но тутъ-то они и заблуждаются: торговля отпущеніями не была злоупотребленіемъ; это былъ результатъ всей церковной системы, и нападая на нее, Лютеръ нападалъ на самую церковь, и она естественно должна была осудить его, какъ еретика. Левъ X, тонкій флорентинецъ, ученикъ Полиціано, другъ Рафаэля, греческій философъ въ тройственной коронѣ, надѣтой на него конклавомъ, быть-можетъ, за то, что онъ имѣлъ болѣзнь, происходящую отнюдь не отъ монашескаго воздержанія и въ то время бывшую еще очень опасною — какъ этотъ Левъ Медичи долженъ былъ смѣяться надъ бѣднымъ, цѣломудреннымъ, наивнымъ монахомъ, который воображалъ, что Евангеліе есть хартія христіанства и что эта хартія должна быть правда! Онъ, быть-можетъ, совсѣмъ не замѣчалъ, чего хотѣлъ Лютеръ, потому что въ ту пору былъ слишкомъ занятъ постройкою церкви св. Петра, издержки которой покрывались именно деньгами отъ продажи индульгенцій, такъ что, собственно говоря, деньги на сооруженіе этого храма давалъ грѣхъ, и храмъ этотъ, такимъ образомъ, сдѣлался какъ бы памятникомъ чувственнаго наслажденія, подобно той пирамидѣ, которую построила египетская публичная женщина на деньги, заработанныя ею проституціею. Объ этомъ храмѣ можно было, пожалуй, сказать скорѣе, чѣмъ о кельнскомъ соборѣ, что онъ построенъ дьяволомъ. Этого тріумфа спиритуализма, выразившагося въ томъ, что самъ сенсуализмъ долженъ былъ сооружать свои великолѣпнѣйшіе храмы, что именно множествомъ уступокъ, дѣлавплоти, пріобрѣтались средства для возвеличенія
го не понимали на нѣмецкомъ сѣверѣ. Потому что
ло гораздо возможнѣе, чѣмъ подъ знойнымъ небомъ
уществованіе христіанства, не дѣлающаго чувствен-
малѣйшихъ уступокъ. У насъ, сѣверянъ, болѣе
кровь, и мы не имѣли надобности въ такомъ ко-

личествѣ отпущеній плотскихъ грѣховъ, какое посылалъ намъ отечески заботливый Левъ. Климатъ облегчаетъ намъ практикованіе христіанскихъ добродѣтелей, и 31 октября 1517 г., когда Лютеръ прибилъ свои тезисы къ дверямъ Августинской церкви, городской валъ въ Виттенбергѣ былъ уже, вѣроятно, покрытъ льдомъ, и тамъ можно было кататься на конькахъ—удовольствіе очень холодное, а слѣдовательно не грѣхъ.

Выше я, можетъ-быть, уже неоднократно употреблялъ слова спиритуализмъ и сенсуализмъ; но здѣсь эти слова не относятся, какъ у французскихъ философовъ, къ двумъ различнымъ источникамъ нашего познаванія; я употребляю ихъ, какъ выходитъ уже само собой изъ смысла моей рѣчи, скорѣе для обозначенія тѣхъ двухъ различныхъ воззрѣній, изъ которыхъ одно хочетъ возвеличить духъ тѣмъ, что стремится разрушить матерію, между тѣмъ какъ другое старается защитить естественныя права матеріи отъ незаконныхъ покушеній на нее духа.

На эти начала лютеранской реформаціи, въ которыхъ уже проявляется весь духъ ея, я также долженъ обратить особенное вниманіе читателя, такъ какъ здѣсь во Франціи на реформацію смотрятъ съ прежнимъ старымъ предубѣжденіемъ, которое распространилъ Боссюэтъ своею «Histoire des variations» и которое находитъ себѣ мѣсто даже у нынѣшнихъ писателей. Французы понимали только отрицательную сторону реформаціи, они видѣли въ ней лишь борьбу съ католичествомъ и иногда воображали, что по ту сторону Рейна вели эту борьбу изъ-за тѣхъ же причинъ, какъ и по сю сторону, во Франціи. Но причины эти тутъ и тамъ совершенно иныя. Въ Германіи борьба съ католичествомъ была ничто иное, какъ война, начатая спиритуализмомъ, когда онъ увидѣлъ, что пользовался лишь титуломъ власти и царствовалъ только de jure, тогда какъ сенсуализмъ, по своему, традиціонному способу дѣйствовать исподтишка, пользовался дѣйствительною властью и господствовалъ de facto. Продавцовъ индульгенцій прогнали, прелестныхъ сожительницъ духовенства замѣнили холодными законными женами: тамъ и сямъ возникъ враждебнѣйшій плоти пуританизмъ. Напротивъ того, во Франціи борьба съ католицизмомъ въ XVII и XVIII вѣкахъ была войною, предпринятою сенсуализмомъ, когда онъ увидѣлъ, что господствуетъ de facto, а между тѣмъ спиритуализмъ, настаивавшій на своемъ господствѣ de jure, осмѣивалъ всѣ его

дѣйствія, какъ беззаконныя, и клеймилъ ихъ самымъ жестокимъ образомъ. Вмѣсто того, чтобы бороться, какъ въ Германіи, цѣломудренно серьезно, Франція вела войну посредствомъ циническихъ шутокъ, и, взамѣнъ богословскихъ диспутовъ Германіи, здѣсь сочиняли веселыя сатиры. Предметомъ этихъ сатиръ обыкновенно было указаніе противорѣчій, въ которыя впадаетъ человѣкъ съ самимъ собой, когда хочетъ стать вполнѣ духомъ; и тутъ появились во множествѣ прелестнѣйшіе разсказы о праведныхъ личностяхъ, которыя невольно подчинялись своей животной натурѣ, или затѣмъ старались сохранить въ неприкосновенности личину своей святости и прибѣгали къ лицемѣрному ханжеству. Уже королева наварская изобразила въ своихъ повѣстяхъ такіе нравы; сношенія монаховъ съ женщинами составляютъ ея обыкновенную тему, цѣль ея — не только заставить насъ хохотать, но и наносить удары католическому монашеству. Самый злой цвѣтокъ всей этой комической полемики, безспорно, «Тартюфъ» Мольера; потому что эта комедія направлена не только противъ іезуитства того времени, но противъ самого католицизма, даже противъ спиритуализма. Дѣйствительно, ужасъ, наводимый на Тартюфа обнаженною грудью Дорины, слова его:

Le ciel défend, de vrai, certains contentements,
Mais on trouve avec lui des accomodements...

все это осмѣивало не только обыкновенное ханжество, но и вообще ложь, порождаемую неисполнимостью идеи порабощенія плоти духомъ; осмѣивалась здѣсь вся система уступокъ, которыя спиритуализмъ долженъ былъ дѣлать сенсуализму. Несомнѣнно, янсенизмъ имѣлъ гораздо болѣе поводовъ, чѣмъ іезуитство, оскорбляться представленіемъ «Тартюфа», и Мольеръ долженъ быть такъ же невыносимъ для нынѣшнихъ методистовъ, какъ былъ невыносимъ католическимъ ханжамъ своего времени. Именно тѣмъ и великъ Мольеръ, что, подобно Аристофану и Сервантесу, онъ осмѣиваетъ не только временныя случайности, но и вѣчно смѣшное, коренныя слабости человѣчества. Вольтеръ, всегда нападавшій только на временное и несущественное, стоитъ
мъ отношеніи ниже Мольера.
такое осмѣяніе, какъ Вольтеровское, уже выполнило
анціи всю свою миссію, и тотъ, кто хотѣлъ продол-
ее, дѣйствовалъ настолько же несвоевременно, на-
неумно. Ибо если бы уничтожить послѣдніе видимые
католицизма, могло бы легко случиться, что идея

его укрылась бы въ новую форму, какъ бы въ новое тѣло, и въ этомъ превращеніи отягощала бы насъ еще непріятнѣе, чѣмъ въ ея теперешней, разрушенной и дискредитированной формѣ. Да, есть хорошая сторона въ томъ, что спиритуализмъ имѣетъ своими представителями вѣроисповѣданіе и духовенство, изъ которыхъ первое потеряло уже свою лучшую силу, а второе находится въ прямой оппозиціи со всѣмъ либеральнымъ энтузіазмомъ своего времени.

Но почему мы не на сторонѣ спиритуализма? Развѣ въ немъ столько дурного? Розовое масло драгоцѣнная вещь, и склянночка его доставляетъ отраду, когда приходится печально проводить дни въ замкнутыхъ комнатахъ гарема. Но нежелательно все-таки намъ, чтобы были растаптываемы и уничтожаемы всѣ розы земной жизни для добыванія нѣсколькихъ капель розоваго масла, какъ бы благотворно ни дѣйствовали онѣ. Мы скорѣе похожи на соловьевъ, которые охотно тѣшатся самой розой и которымъ красота ея цвѣтущаго румянца доставляетъ такое же блаженное наслажденіе, какъ и ея невидимый ароматъ.

Я выше сказалъ, что въ Германіи борьбу съ католичествомъ началъ собственно спиритуализмъ. Но это можетъ относиться только къ началу реформаціи. Едва спиритуализмъ сдѣлалъ проломъ въ ветхомъ зданіи католической церкви, какъ сенсуализмъ устремился оттуда съ такъ долго сдерживавшеюся пылкою горячностью, и Германія стала дикою шумной ареной упоенія свободой и жажды наслажденій. Угнетенные крестьяне нашли въ новомъ ученіи умственное оружіе для веденія войны съ аристократіей, желаніе такой войны существовало уже цѣлыхъ полтора столѣтія. Въ Мюнстерѣ сенсуализмъ обѣгалъ нагой по улицамъ въ образѣ Іоанна Лейденскаго и ложился съ своими двѣнадцатью женами на громадной постели, которую еще и теперь показываютъ [illegible] Монастырская [illegible] [illegible] времени [illegible]

ные мотивы, и послушаешь ее, такъ тутъ дѣло шло только о томъ, чтобы узаконить самую наглую чувственность и ограбить церковныя имущества. Конечно, для того, чтобы побѣдить, духовные интересы всегда должны заключать союзъ съ интересами матеріальными. Но чортъ такъ странно смѣшалъ карты, что насчетъ намѣреній нельзя больше сказать ничего вѣрнаго.

Высокія особы, собравшіяся 17-го апрѣля 1521 года въ Вормсѣ, въ имперской залѣ, вѣроятно, имѣли въ сердцѣ мысли, противоположныя словамъ ихъ устъ. Тутъ возсѣдалъ юный императоръ, облекавшійся въ свою новую багряницу съ юношескимъ наслажденіемъ властью и тайно радовавшійся тому, что предметомъ самыхъ чувствительныхъ нападеній сдѣлался гордый римлянинъ, такъ часто унижавшій и обижавшій предшествовавшихъ императоровъ и до сихъ поръ еще не отрекшійся отъ своихъ притязаній. Съ своей стороны представитель этого римлянина втайнѣ радовался разъединенію, возникавшему между тѣми нѣмцами, которые такъ часто вторгались въ прекрасную Италію и грабили ее, какъ пьяные варвары, и продолжали грозить ей новыми нашествіями и грабежами. Свѣтскіе князья радовались тому, что съ помощью новаго ученія они могли наложить руку на старыя церковныя имущества. Высокіе прелаты уже раздумывали, не жениться ли имъ на своихъ кухаркахъ и потомъ завѣщать своимъ потомкамъ мужского пола свои курфиршества, епископства и аббатства. Депутаты городовъ радовались новому расширенію своей независимости. Всякій имѣлъ здѣсь что-либо выигрывать, и всѣ тайно помышляли о земныхъ выгодахъ.

Былъ тамъ, однако, человѣкъ, заботившійся, я увѣренъ, не о себѣ, но только о божественныхъ интересахъ, представителемъ которыхъ онъ выступалъ. Человѣкъ этотъ былъ Мартинъ Лютеръ, бѣдный монахъ, избранный Провидѣніемъ для разрушенія той всемірной власти Рима, о которую разбивались уже самые сильные императоры и самые смѣлые мудрецы. Но Провидѣніе очень хорошо знаетъ, на какія плечи оно кладетъ свое бремя; тутъ нужна была не [illegible]о нравственная, но и физическая сила. Для такого [illegible]аго дѣла требовалось тѣло, закаленное съ юности мо[illegible]кими строгостями и цѣломудріемъ. Нашъ дорогой [illegible]ь былъ тогда еще худъ и очень блѣденъ, такъ что [illegible]ле упитанные господа, засѣдавшіе на сеймѣ, глядѣли [illegible] состраданіемъ на жалкаго человѣка въ его черной

рясѣ. Но на самомъ дѣлѣ онъ былъ полонъ силы и здоровья и такъ крѣпокъ нервами, что отнюдь не смутился при видѣ этой блестящей толпы, да и легкимъ его надо было имѣть много силы, ибо послѣ произнесенія длинной защитительной рѣчи ему надлежало повторить ее по-латыни, такъ какъ императоръ не зналъ верхне-нѣмецкаго языка. Я не могу удержаться отъ досады всякій разъ, когда вспомню объ этомъ обстоятельствѣ; потому что нашъ любезный учитель Мартинъ Лютеръ стоялъ у открытаго окна, на сквозномъ вѣтру, между тѣмъ какъ потъ катился по его лицу. Длинная рѣчь, конечно, сильно его утомила, и въ горлѣ у него вѣрно очень пересохло. Этому человѣку, должно-быть, теперь сильно пить хочется, подумалъ, конечно, герцогъ брауншвейгскій; по крайней мѣрѣ, пишутъ, что онъ послалъ Лютеру въ гостиницу три мѣры лучшаго эймбекскаго пива. Никогда я не забуду этого благороднаго поступка члена брауншвейгскаго дома.

Во Франціи составили о героѣ реформаціи такое же ложное понятіе, какъ и о ней самой. Главная причина этого заблужденія заключается въ томъ, что Лютеръ былъ не только величайшимъ человѣкомъ нашей исторіи, но и самымъ истымъ нѣмцемъ ея, что въ его характерѣ самымъ величавымъ образомъ соединились всѣ добродѣтели и недостатки нѣмцевъ, что онъ и лично представляетъ собою удивительную Германію. Потомъ онъ имѣлъ качества, рѣдко соединяемыя и которыя мы обыкновенно считаемъ даже враждебными другъ другу противоположностями. Онъ былъ вмѣстѣ и мистическій мечтатель, и практическій человѣкъ дѣла. Его мысли имѣли не только крылья, но и руки, онъ говорилъ и дѣйствовалъ. Онъ былъ не только языкъ, но и мечъ своего времени. Былъ онъ также въ одно и то же время холодный схоластическій діалектикъ и восторженный, упоенный словомъ Божіимъ, пророкъ. Тягостно проведя цѣлый день въ догматическихъ преніяхъ, онъ бралъ подъ вечеръ свою флейту, и созерцалъ звѣзды, и расплывался въ мелодіяхъ и набожности. Тотъ самый человѣкъ, который могъ ругаться, какъ торговка, умѣлъ быть мягкимъ, какъ нѣжная дѣва. Иногда онъ бывалъ дикъ, какъ ураганъ, низвергающій дубы, иногда становился кротокъ, какъ зефиръ, нѣжно ласкающій фіалку. Онъ былъ исполненъ благоговѣйнѣйшей боязни Бога, самопожертвованія во славу св. Духа, могъ совершенно погрузиться въ чистѣйшій духовный міръ; но въ то же время онъ отлично

зналъ блага здѣшняго міра и умѣлъ цѣнить ихъ, и изъ его устъ излетѣла знаменитая поговорка: «Кто не любитъ вина, женщинъ и пѣсенъ, остается дуракомъ всю свою жизнь». Онъ былъ вполнѣ человѣкъ, я сказалъ бы даже— абсолютный человѣкъ, въ которомъ духъ и матерія разъединены. Называть его спиритуалистомъ такъ же ошибочно, какъ и называть его сенсуалистомъ. Въ немъ было нѣчто первобытное, чудесное, непостижимое, то, что мы находимъ во всѣхъ избранныхъ натурахъ, что-то ужасающе наивное, что-то неуклюже умное, что-то возвышенно ограниченное, что-то неодолимо демоническое.

Отецъ Лютера былъ рудокопомъ въ Мансфельдѣ, и ребенокъ часто спускался съ нимъ въ подземную мастерскую, гдѣ растутъ могучіе металлы и бьютъ самородные ключи; и юное сердце, можетъ-быть, невѣдомо для себя, всосало самыя тайныя силы природы, или, быть-можетъ, даже находилось подъ чарами горныхъ духовъ. Отъ этого, можетъ-быть, пристало къ нему столько земляныхъ осадковъ, столько скалистыхъ обломковъ страсти, въ чемъ немало упрекаютъ его. Но этотъ упрекъ несправедливъ, безъ этой земной примѣси онъ не могъ бы сдѣлаться человѣкомъ дѣла. Чистые духи не умѣютъ дѣйствовать. Развѣ мы не узнаёмъ изъ ученія Юнга Стиллинга о привидѣніяхъ, что духи, хотя могутъ становиться совершенно ясно и опредѣлительно видимыми, могутъ, какъ живые люди, ходить, бѣгать, плясать и дѣлать всевозможныя движенія, но не въ состояніи сдвинуть съ мѣста ничего вещественнаго, какой-нибудь маленькій ночной столикъ.

Слава Лютеру! Вѣчная слава дорогому человѣку, которому мы обязаны спасеніемъ благороднѣйшихъ благъ нашихъ и милостями котораго мы живемъ по сей день! Намъ не подобаетъ жаловаться на ограниченность его воззрѣній. Карликъ, взобравшійся на плечи гиганта, можетъ, конечно, видѣть далѣе самого великана, особенно если онъ вооружится очками; но для высоты кругозора не достаетъ возвышеннаго чувства, исполинскаго сердца, которое мы не можемъ себѣ усвоить. Еще менѣе подобаетъ намъ произно-
огій приговоръ надъ его недостатками; эти недо-
принесли намъ болѣе пользы, чѣмъ добродѣтели ты-
ихъ. Тонкость Эразма и кротость Меланхтона ни-
не подвинули насъ такъ много впередъ, какъ
ися иногда божественная грубость брата Мар-
заблужденія его, о которыхъ я упомянулъ, при-

несли драгоцѣннѣйшіе плоды, плоды, доставляющіе отраду всему человѣчеству. Со дня сейма, на которомъ Лютеръ отрицаетъ власть папы и объявляетъ открыто, что «ученіе его должно опровергать самою Библіею или доводами разума»—въ Германіи начался новый вѣкъ. Цѣпи, которыми святой Бонифацій приковалъ нѣмецкую церковь къ престолу римскаго первосвященника, разбиты. Эта церковь, составлявшая прежде нераздѣльную часть великой іерархіи, распадается на религіозныя демократіи. Въ самой религіи происходитъ измѣненіе; исчезаетъ индійско-гностическій элементъ, и мы видимъ, какъ снова возвышается элементъ іудейско-деистическій. Начинается господство евангелическаго христіанства. Необходимѣйшія притязанія матеріи не только принимаются во вниманіе, но и узаконяваются... Священникъ становится человѣкомъ, онъ женится и производитъ на свѣтъ дѣтей, согласно Божьему завѣту . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . Люди стали добродѣтельнѣе и благороднѣе. Протестантизмъ имѣлъ благодѣтельнѣйшее вліяніе на ту чистоту нравовъ и ту строгость въ исполненіи обязанностей, которую обыкновенно мы называемъ моралью; онъ даже принялъ въ нѣкоторыхъ общинахъ направленіе, благодаря которому, въ концѣ концовъ, онъ сливается воедино съ этою моралью. Особенно бросается намъ теперь въ глаза отрадная перемѣна въ жизни духовныхъ лицъ. Съ безбрачіемъ исчезаютъ пороки и распутство монаховъ. Между протестантскими монахами находимъ мы нерѣдко добродѣтельнѣйшихъ людей, къ которымъ сами древніе стоики относились съ уваженіемъ. Надо обойти пѣшкомъ бѣднымъ студентомъ сѣверъ Германіи, чтобы узнать, сколько добродѣтели и—прибавлю къ слову добродѣтель прекрасный эпитетъ—добродѣтели евангельской, скрывается иногда въ скромномъ жилищѣ пастора. Какъ часто, въ зимніе вечера, я находилъ тамъ гостепріимный пріемъ, я, чужестранецъ, безъ всякой другой рекомендаціи, кромѣ голода и усталости. И когда, хорошо поѣвши и хорошо выспавшись, я на другой день собирался отправляться далѣе, старый пасторъ выходилъ ко мнѣ въ шлафрокѣ и напутствовалъ меня благословеніемъ, которое никогда не приносило мнѣ несчастія, а добродушно словоохотливая жена пастора совала мнѣ въ карманъ бутерброды, не менѣе услаждавшіе меня; въ отдаленіи молчаливо стояли хорошенькія дочки пастора съ зарумянившіи-

мися щеками и синими глазами, согрѣвавшими своимъ робкимъ огнемъ даже по воспоминанію мое сердце во весь длинный зимній день.

Лютеръ, высказавъ положеніе, что ученіе его должно опровергать только самою Библіею или доводами разума, предоставилъ этимъ человѣческому разуму право истолковывать Библію, и онъ, этотъ разумъ, былъ признанъ за верховнаго судью во всѣхъ религіозныхъ вопросахъ новаго ученія. Отсюда произошла въ Германіи такъ-называемая свобода духа, или, какъ ее тоже называютъ, свобода мышленія. Мышленіе стало правомъ, и рѣшенія разума сдѣлались законными. Конечно, много вѣковъ до того уже говорили и мыслили довольно свободно, и схоластики разсуждали о такихъ предметахъ, что мы удивляемся, какъ ихъ могли даже касаться въ средніе вѣка. Но это происходило вслѣдствіе различія, полагавшагося между богословскою и философскою истиною—различія, съ помощью котораго тщательно охраняли себя отъ ересей; и происходило это притомъ лишь въ университетскихъ аудиторіяхъ и на готической мудреной латыни, для народа совершенно непонятной, такъ что церкви нечего было опасаться для себя большого вреда отъ этихъ преній. Она, однако, никогда собственно не дозволяла такого образа дѣйствій и отъ времени до времени дѣйствительно сжигала какого-нибудь бѣднаго схоластика. Теперь же, со времени Лютера, не дѣлали уже никакой разницы между истиною богословскою и философскою, и безбоязненно диспутировали въ публичныхъ мѣстахъ и на нѣмецкомъ языкѣ. Князья, принявшіе реформацію, узаконили эту свободу мысли, и важнымъ, міровой важности продуктомъ ея явилась нѣмецкая философія.

Дѣйствительно, нигдѣ, даже въ Греціи, человѣческій умъ не могъ выражаться такъ свободно, какъ онъ выражался въ Германіи, съ половины послѣдняго вѣка до французскаго нашествія. Особенно въ Пруссіи господствовала безграничная свобода мысли. Маркграфъ бранденбургскій понялъ, что онъ могъ сдѣлаться законнымъ королемъ Пруссіи только съ помощью протестантскаго начала, и потому долженъ былъ поддерживать протестантское свободомысліе.

Съ тѣхъ поръ, правда, все измѣнилось, и естественный глава нашей протестантской свободы мысли сошелся съ ультрамонтанской партіей для подавленія ея, и для этого пользуется часто оружіемъ, которое папство впервые выдумало и обратило противъ насъ—цензурой.

Странно! Мы, нѣмцы, самый сильный и самый умный народъ. Наши династіи сидятъ на всѣхъ престолахъ Европы, наши Ротшильды господствуютъ надъ всѣми биржами міра, наши ученые царствуютъ во всѣхъ наукахъ, мы изобрѣли порохъ и книгопечатаніе; а между тѣмъ, кто у насъ выстрѣлилъ изъ пистолета, долженъ заплатить три талера штрафа, а когда мы хотимъ напечатать въ «Гамбургскомъ Корреспондентѣ» объявленіе: «моя милая супруга разрѣшилась отъ бремени дочкой, прекрасною, какъ свобода!» г. докторъ Гофманъ беретъ свой красный карандашъ и вычеркиваетъ слово «свобода».

Долго ли это продолжится? Не знаю. Но знаю, что вопросъ о свободѣ печати, о которомъ теперь такъ горячо спорятъ въ Германіи, знаменательно связанъ съ выше высказанными замѣчаніями, и я думаю, что рѣшеніе этого вопроса не будетъ затруднительно, если сообразятъ, что свобода печати есть ничто иное, какъ слѣдствіе свободы мысли, а слѣдовательно, протестантское право. За права подобнаго рода Германія пролила уже много лучшей своей крови, и очень можетъ случиться, что ее вновь заставятъ выйти въ бой.

То же самое примѣнимо къ вопросу объ академической свободѣ, который приводитъ въ страстное волненіе умы въ Германіи. Съ тѣхъ поръ, какъ заподозрѣли, будто въ университетахъ господствуетъ наиболѣе политическое возбужденіе, именно свободолюбіе, съ тѣхъ поръ со всѣхъ сторонъ внушаютъ государямъ, что необходимо подавить эти учрежденія, или по крайней мѣрѣ превратить ихъ въ обыкновенныя учебныя заведенія. И вотъ сочиняютъ всяческіе планы, и спорятъ за и противъ. Но всѣ явные противники университетовъ, равно какъ и всѣ тѣ ихъ явные защитники, какихъ мы слышали доселѣ, повидимому, не поняли конечныхъ основаній этого вопроса. Первые не понимаютъ, что молодежь вездѣ и при всякихъ условіяхъ восторженно стоитъ за интересы свободы и что въ случаѣ закрытія университетовъ, эта восторженная молодежь въ другихъ мѣстахъ и, можетъ-быть, въ союзѣ съ молодежью торговаго и ремесленнаго сословій, заговоритъ тѣмъ энергичнѣе. Защитники университетовъ стараются доказать только то, что съ паденіемъ университетовъ погибнетъ и цвѣтъ науки въ Германіи, что именно академическая свобода полезна для ученія, что она дастъ молодымъ людямъ такой прекрасный случай получать разностороннее образованіе, и т. д. Какъ будто

здѣсь имѣетъ какое-нибудь значеніе, будетъ ли больше или меньше нѣсколькими греческими вокабулами, или нѣсколькими грубыми выходками! . . . . . .

. . . . . .

Недоразумѣніе существуетъ какъ со стороны бѣдныхъ профессоровъ, открыто защищающихъ университеты, такъ и со стороны правительственныхъ чиновниковъ, открыто на нихъ нападающихъ. Католическая пропаганда въ Германіи понимаетъ значеніе университетовъ, эти набожные обскуранты самые опасные враги нашей университетской системы, но они дѣйствуютъ противъ нея съ помощью лжи и коварства; и даже когда какой-нибудь изъ нихъ трогательно притворяется, что хочетъ дѣйствовать въ пользу университетовъ, то и тутъ открывается іезуитская интрига. Эти трусливые лицемѣры отлично умѣютъ выигрывать то, что здѣсь ставится на карту; ибо съ университетами пала бы протестантская церковь, которая со времени реформаціи коренится только въ нихъ, такъ что вся исторія протестантской церкви послѣднихъ вѣковъ состоитъ почти только изъ богословскихъ преній университетскихъ ученыхъ Виттенберга, Лейпцига, Тюбингена и Галле. Консисторіи суть только слабый отблескъ богословскаго факультета, съ уничтоженіемъ этого послѣдняго онѣ теряютъ всякую почву и свой характеръ и попадаютъ въ зависимость отъ министерствъ или даже полиціи.

Но не будемъ слишкомъ предаваться этимъ грустнымъ соображеніямъ, тѣмъ болѣе, что должны еще поговорить о томъ избранномъ мужѣ, которымъ такъ много великаго было совершено для нѣмецкаго народа. Я выше показалъ, какимъ образомъ онъ насъ довелъ до высшей свободы мысли. Но этотъ Мартинъ Лютеръ доставилъ намъ не только свободу движенія, но также и средства двигаться, именно, духу онъ далъ тѣло. Мысли онъ далъ и слово. Онъ создалъ нѣмецкій языкъ.

Это совершилось его переводомъ Библіи.

Дѣйствительно, божественный творецъ этой книги, повидимому, зналъ, такъ же хорошо, какъ и мы, что выборъ переводчика вовсе не пустая вещь, и онъ самъ избралъ своего переводчика, и одарилъ его чудною силою переводить съ языка мертваго, какъ бы уже погребеннаго, на другой языкъ, который еще долженъ былъ родиться.

Имѣли, правда, Вульгату, которую понимали такъ же, какъ и Септуагинту, которую уже могли понимать. Но знаніе

еврейскаго языка въ христіанскомъ мірѣ было вполнѣ потеряно. Только евреи, укрывавшіеся тамъ и сямъ по уголкамъ свѣта, хранили еще традиціи этого языка. Какъ привидѣніе, охраняющее сокровище, ввѣренное ему еще при его жизни, такъ эта умерщвленная нація, этотъ народъ-привидѣніе, сидѣлъ въ своихъ мрачныхъ гетто и оберегалъ тамъ еврейскую Библію; и въ эти проклятые закоулки тайкомъ пробирались германскіе ученые, чтобы овладѣть сокровищемъ, чтобы пріобрѣсть знаніе еврейскаго языка. Когда католическое духовенство замѣтило, что съ этой стороны грозила ему опасность, что народъ могъ дойти этимъ окольнымъ путемъ до истиннаго слова Божія и открыть римскіе подлоги, оно захотѣло подавить и израильскія преданія и вознамѣрилось уничтожить всѣ еврейскія книги, и тогда на Рейнѣ началось гоненіе на книги, противъ котораго съ такою славою боролся нашъ благородный докторъ Рейхлинъ. Дѣйствовавшіе тогда кельнскіе богословы, и преимущественно Гохштратенъ, были отнюдь не такими умственно ограниченными людьми, какими представляетъ ихъ мужественный сподвижникъ Рейхлина, рыцарь Ульрихъ фонъ-Гуттенъ, въ своихъ Litteris obscurorum virorum. Дѣло шло объ уничтоженіи еврейскаго языка. Когда Рейхлинъ одержалъ верхъ, Лютеръ могъ начать свое дѣло. Въ письмѣ, написанномъ въ то время къ Рейхлину, онъ, повидимому, уже чувствовалъ всю важность побѣды, одержанной этимъ послѣднимъ, и одержанной въ трудномъ зависимомъ положеніи, тогда какъ самъ онъ, августинскій монахъ, былъ совершенно независимъ; очень наивно говоритъ Лютеръ въ этомъ письмѣ: Ego nihil timeo, quia nihil habeo.

Но какъ Лютеръ дошелъ до того языка, на который онъ перевелъ Библію, я до сихъ поръ не могу понять. Древне-швабское нарѣчіе совершенно исчезло съ рыцарскою поэзіей времени Гогенштауфеновъ. Древне-саксонское нарѣчіе, такъ называемое Plattdeutsch, господствовало только въ одной части сѣверной Германіи и, несмотря на всѣ попытки, никогда не могло сдѣлаться пригоднымъ для литературныхъ цѣлей. [illegible] перевода [illegible] въ Саксоніи теперь. [illegible] саксонскій, и [illegible] верхнимъ [illegible] литературнымъ языкомъ. Но [illegible] частительнѣе [illegible] сихъ

поръ держится во Франціи. Нынѣшній саксонскій языкъ никогда не былъ народнымъ нѣмецкимъ говоромъ, равно какъ не былъ имъ и силезскій, ибо тотъ и другой образовались отъ примѣси славянскаго. Поэтому, я чистосердечно сознаюсь, что не зналъ, какъ произошелъ языкъ Лютеровой Библіи. Но я знаю, что съ помощью этой Библіи, которую юное книгопечатаніе, черное искусство, въ тысячахъ экземпляровъ разсѣяло въ народѣ, языкъ Лютера въ нѣсколько лѣтъ распространился по всей Германіи и сдѣлался общимъ литературнымъ языкомъ. Этотъ литературный языкъ до сихъ поръ еще господствуетъ въ Германіи и даетъ этой религіозно и политически раздробленной странѣ литературное единство. Эта неоцѣнимая заслуга вознаграждаетъ насъ за то, что этотъ языкъ, въ теперешнемъ его видѣ, лишенъ отчасти той внутренней силы, которую мы обыкновенно находимъ въ языкахъ, образовавшихся изъ одного только діалекта. Но слогъ Библіи Лютера отнюдь не лишенъ этой внутренней силы, и эта старая книга—вѣчный источникъ обновленія для нашего языка. Всѣ выраженія и обороты, находящіеся въ Лютеровой Библіи, чисто нѣмецкіе, писатели всегда могутъ употреблять ихъ; а такъ какъ эта книга находится въ рукахъ бѣднѣйшихъ людей, то они не нуждаются ни въ какихъ ученыхъ указаніяхъ, чтобы умѣть выражаться литературно.

Это обстоятельство повлечетъ за собою весьма удивительныя явленія, когда вспыхнетъ у насъ политическая революція. Свобода получитъ возможность говорить всюду, и ея языкъ будетъ библейскій.

Оригинальныя сочиненія Лютера не менѣе способствовали установленію нѣмецкаго языка. Страстностью своей полемики они глубоко проникли въ сердце своего времени. Тонъ ихъ не всегда приличный. Но вѣдь религіозныя революціи и не совершаются съ помощью флеръ д'оранжа. Для раскалыванья грубыхъ пней иногда потребны грубые клинья. Въ Библіи, изъ уваженія къ присутствію тамъ божественнаго духа, языкъ Лютера всегда сохраняетъ нѣкоторое достоинство. Напротивъ того, въ своихъ полемическихъ сочиненіяхъ онъ впадаетъ въ плебейскую грубость, которая часто настолько же непривлекательна, насколько грандіозна. Его выраженія и образы подобны тутъ тѣмъ гигантскимъ каменнымъ изваяніямъ, которыя мы находимъ въ египетскихъ или индійскихъ храмахъ, и которыхъ рѣзкій колоритъ и причудливое безобразіе въ одно и то же время

насъ привлекаютъ и отталкиваютъ. Въ этомъ странномъ, скалистомъ слогѣ смѣлый монахъ является намъ иногда, какъ религіозный Данте, какъ проповѣдникъ Горы, который, стоя на ея вершинѣ, сбрасываетъ на головы своихъ противниковъ пестрыя глыбы своихъ рѣчей.

Удивительнѣе и значительнѣе этихъ прозаическихъ сочиненій стихотворенія Лютера, пѣсни, вырывавшіяся изъ его души въ борьбѣ и тревогахъ. Они похожи иногда на цвѣтокъ, возросшій на скалѣ, иногда на лунный лучъ, трепетно блещущій надъ взволнованнымъ моремъ. Лютеръ любилъ музыку, онъ даже написалъ трактатъ объ этомъ искусствѣ, и оттого его пѣсни необыкновенно мелодичны. Въ этомъ отношеніи онъ также заслужилъ прозвище эйслебенскаго лебедя. Но всего менѣе кроткимъ лебедемъ является онъ въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ, гдѣ воспламеняетъ отвагу своихъ друзей и самъ восторгается до самой дикой воинственности. Пѣсня, съ которой онъ вступилъ въ Вормсъ, сопровождаемый своими сподвижниками, была настоящею боевою пѣснью. Старый соборъ задрожалъ отъ этихъ новыхъ звуковъ, а вороны испугались въ своихъ темныхъ гнѣздахъ на вершинахъ башенъ. Эта пѣсня, Марсельеза реформаціи, до нашихъ дней сохранила свою внушительную силу, и, быть-можетъ, вскорѣ, въ подобныхъ же битвахъ, грянемъ и мы эти громкія и закованныя въ желѣзо старыя слова:

«Богъ наша сильная крѣпость, наша охрана и оружіе: онъ спасетъ насъ отъ всѣхъ бѣдъ, обрушившихся теперь на насъ. Старый злой врагъ теперь принялся за дѣло серьезно, большая сила и много коварства—его жестокое оружіе, и нѣтъ ему подобнаго въ мірѣ.

«Сила твоя не поможетъ, скоро ты погибнешь: за насъ бьется мужъ правды, самъ Господь его избралъ. Хочешь знать его имя? То Іисусъ Христосъ, Господь Саваоѳъ, нѣтъ иного Бога, кромѣ Него, Онъ намъ дастъ побѣду.

«И если-бъ свѣтъ былъ полонъ чертей, и они вздумали пожрать насъ, мы все-таки не боимся, наше дѣло, въ концѣ концовъ, удастся. Хотя царь здѣшняго міра и очень гнѣвается на насъ, онъ не причинитъ намъ вреда. Онъ осужденъ: одно словечко можетъ низвергнуть его.

«Слово они не посмѣютъ тронуть, и мы за него не скажемъ спасибо. Слово между насъ съ его духомъ и дарами. Пусть берутъ они наше тѣло, скарбъ нашъ, честь, чтей, жену, пусть берутъ, ничего они изъ того не добудутъ: царство все-таки останется за нами».

Я показалъ, насколько мы обязаны нашему дорогому доктору Мартину Лютеру свободой мысли, въ которой новѣйшая литература нуждалась для своего развитія. Я показалъ, какимъ образомъ онъ также создалъ для насъ слово, языкъ, на которомъ эта новая литература могла выражаться. Те-

перь я долженъ еще прибавить, что онъ самъ и открываетъ эту литературу, что она, и особенно изящная литература, начинается съ Лютеромъ, что его духовныя пѣсни—первыя важныя проявленія ея, и что онѣ запечатлѣны уже ея опредѣленнымъ характеромъ. Кто пожелаетъ говорить о новѣйшей нѣмецкой литературѣ, долженъ поэтому начинать съ Лютера, а не съ нюрнбергскаго мѣщанина, Ганса Сакса, какъ дѣлали по недобросовѣстному недоброжелательству нѣкоторые романтическіе литераторы. Гансъ Сакс, этотъ трубадуръ почтеннаго цеха сапожниковъ, чьи мейстерзингерскія пѣсни суть только неуклюжія пародіи прежнихъ пѣсней миннезингеровъ, а драмы — неуклюжія передѣлки старыхъ мистерій, этотъ педантъ-шутъ, съ тяжелымъ усиліемъ подражающій свободной наивности среднихъ вѣковъ, очень можетъ-быть, послѣдній поэтъ прежняго времени, но ужъ ни въ какомъ случаѣ не первый поэтъ времени новѣйшаго. Чтобы доказать это, мнѣ достаточно въ опредѣленныхъ словахъ выразить противоположность между нашею новою и старою литературой.

Такимъ образомъ, разсматривая нѣмецкую литературу, процвѣтавшую до Лютера, мы находимъ:

1) Ея матеріалъ, ея сущность, представляетъ, какъ и средневѣковая жизнь, смѣшеніе двухъ разнородныхъ элементовъ, которые въ долговременномъ поединкѣ такъ сильно сплелись между собою, что, наконецъ, расплылись другъ въ другѣ: германской національности и индогностическаго, такъ-называемаго католическаго, христіанства.

2) Разработка, или, вѣрнѣе, духъ разработки матеріала въ этой древней литературѣ романтическій. Несправедливо приписываютъ этотъ же характеръ матеріалу этой литературы, всѣмъ явленіямъ среднихъ вѣковъ, возникшимъ отъ слитія двухъ вышеупомянутыхъ элементовъ—германской національности и католическаго христіанства. Потому что, подобно тому, какъ нѣкоторые писатели среднихъ вѣковъ разрабатывали греческую исторію и миѳологію совершенно въ романтическомъ духѣ, точно также можно представлять въ классической формѣ средневѣковые обычаи и легенды. Такимъ образомъ, выраженія «классическій» и «романтическій» относятся только къ духу обработки. Обработка классична, когда форма изображеннаго вполнѣ тождественна съ идеею того, что̀ хотѣли изобразить, какъ это мы видимъ въ художественныхъ произведеніяхъ грековъ, гдѣ вслѣдствіе того въ этомъ тождествѣ мы находимъ и величайшую гармонію

торитетахъ основывались всѣ мнѣнія того времени; поэтъ шелъ съ увѣренностью мула по краямъ безднъ сомнѣнія, и въ его произведеніяхъ господствовали смѣлое спокойствіе, блаженная увѣренность, сдѣлавшіяся невозможными потомъ, когда сокрушилась глава всѣхъ авторитетовъ, авторитетъ папы, и за нимъ погибли всѣ другіе. Вслѣдствіе этого всѣ средневѣковыя стихотворенія имѣютъ одинъ и тотъ же характеръ, и кажется, что ихъ сочинилъ не отдѣльный человѣкъ, а цѣлый народъ; они объективны, эпичны и наивны.

Въ литературѣ же, расцвѣтшей съ Лютеромъ, мы находимъ особенности, совершенно противуположныя:

1) Ея матеріалъ, подлежащій обработкѣ сюжетъ, есть борьба реформаціонныхъ интересовъ и мнѣній съ старымъ порядкомъ вещей. Новому духу времени та смѣшанная вѣра, которая возникла изъ слитія двухъ упомянутыхъ элементовъ—германской національности и индогностическаго христіанства, совершенно противна; послѣднее представляется ему языческимъ идолопоклонствомъ, мѣсто котораго должна заступить истинная религія іудейско-деистическаго евангелія. Образуется новый порядокъ вещей; духъ дѣлаетъ изобрѣтенія, благопріятствующія преуспѣянію матеріи; процвѣтаніе промышленности и философіи роняетъ въ общественномъ мнѣніи спиритуализмъ; третье сословіе подымается; революція уже бродитъ въ сердцахъ и головахъ; и все то, что̀ время чувствуетъ и думаетъ, и чего оно хочетъ, и въ чемъ нуждается—все это высказывается, и въ этомъ состоитъ содержаніе новой литературы.

2) Духъ обработки уже не романтическій, а классическій. Возрожденіе древней литературы распространило по всей Европѣ радостное сочувствіе къ греческимъ и римскимъ писателямъ, и ученые, единственные люди, писавшіе въ то время, старались усвоить себѣ духъ классической древности, или, по крайней мѣрѣ, подражать въ своихъ произведеніяхъ классическимъ формамъ искусства. Если имъ не удавалось, какъ грекамъ, достигнуть гармоніи между формой и идеей, то они тѣмъ строже держались внѣшней стороны греческаго способа изображенія, они, согласно греческимъ предписаніямъ, отличали разные роды поэзіи, воздерживались отъ всякихъ романтическихъ крайностей—и въ этомъ отношеніи мы называемъ ихъ классическими.

3) Общій характеръ новой литературы состоитъ въ томъ, что теперь господствуютъ индивидуальность и скептицизмъ. Авторитеты ниспровергнуты; только разумъ—единственный

свѣтильникъ нынѣшняго человѣка, и его совѣсть — единственный посохъ для него въ странствіяхъ по темнымъ лабиринтамъ этой жизни. Человѣкъ стоитъ теперь одинъ передъ своимъ Создателемъ и поетъ ему свою пѣснь. Оттого-то эта литература начинается духовными пѣснями. Но и впослѣдствіи, когда она сдѣлалась уже свѣтскою, продолжалось въ ней господство задушевнѣйшаго самосознанія, чувства личности. Нынѣшняя поэзія уже не объективна, эпична и наивна, а субъективна, лирична и рефлективна.

КНИГА ВТОРАЯ.

Въ первой книгѣ мы говорили о великомъ религіозномъ переворотѣ, представителемъ котораго въ Германіи былъ Мартинъ Лютеръ. Теперь предстоитъ говорить о переворотѣ философскомъ, происшедшемъ изъ перваго, и который даже есть ничто иное, какъ послѣдній продуктъ протестантизма.

Но прежде, чѣмъ приступимъ къ разсказу, какимъ образомъ этотъ переворотъ совершенъ былъ Эммануиломъ Кантомъ, намъ необходимо припомнить философскія событія въ другихъ странахъ, значеніе Спинозы, судьбы философіи Лейбница, взаимныя отношенія этой философіи и религіи, ихъ столкновенія, распри, и т. д. Но никогда не будемъ мы терять изъ виду тѣ изъ вопросовъ философіи, которымъ мы приписываемъ соціальное значеніе и рѣшенію коихъ она содѣйствуетъ вмѣстѣ съ религіей.

Тутъ на первомъ планѣ вопросъ о существѣ Бога. «Богъ есть начало и конецъ всякой премудрости»—говорятъ вѣрующіе въ своемъ смиреніи, и философъ при всей кичливости своимъ знаніемъ, вынужденъ соглашаться съ этимъ благочестивымъ изреченіемъ.

Не Бэконъ, какъ обыкновенно учатъ, а Рене Декартъ есть отецъ новѣйшей философіи, и въ какой степени происходитъ отъ него германская философія, это мы покажемъ вполнѣ явственно.

Рене Декартъ французъ, и здѣсь опять великой Франціи принадлежитъ слава иниціативы. Но великая Франція, шумная, безпокойная, болтливая страна французовъ, никогда не была пригодной почвой для философіи, и эта послѣдняя, можетъ-быть, никогда не будетъ процвѣтать на ней, и это чувствовалъ Рене Декартъ и удалился въ Голландію, въ спокойную и молчаливую страну трешкоутовъ и голландцевъ,

и тамъ написалъ свои философскія произведенія. Только тамъ могъ онъ освободить свой умъ традиціоннаго формализма и соорудить цѣлое философское зданіе чистыхъ мыслей, не заимствованныхъ ни у вѣры, ни у эмпиризма— условіе, требовавшееся съ тѣхъ поръ отъ всякой истинной философіи. Тамъ только могъ онъ настолько глубоко погрузиться въ пучины мысли, чтобы выслѣдить ее до послѣднихъ основъ самосознанія, и только именно мыслью доказать самосознаніе въ знаменитомъ изреченіи: cogito, ergo sum.

Но, можетъ-быть, также нигдѣ, кромѣ Голландіи, не осмѣлился бы Декартъ проповѣдовать философію, вступившую въ самую открытую борьбу со всѣми преданіями минувшаго. Ему принадлежитъ честь основанія автономіи философіи; съ тѣхъ поръ она уже не имѣла надобности испрашивать у богословія дозволенія мыслить, и могла отнынѣ стать на ряду съ ней, какъ самостоятельная наука. Не говорю противостать ей, ибо тогда существовало положеніе: истины, до которыхъ мы доходимъ съ помощью философіи, въ сущности тѣ же самыя, которыя намъ передаетъ по традиціи религія. Напротивъ того, схоластики, какъ я уже замѣтилъ выше, не только отдавали первенство религіи надъ философіей, но еще признавали эту послѣднюю ничтожною игрою, пустымъ фехтованьемъ словами, какъ только она начинала противорѣчить религіознымъ догматамъ. Исключительною цѣлью схоластиковъ было выражать свои мысли, все равно при какихъ условіяхъ. . . .

. . . . . .

Втайнѣ схоластики составляли философскую оппозицію церкви. Но открыто они притворялись въ самой глубокой покорности ей, во многихъ случаяхъ даже ратовали за церковь, и въ процессіяхъ парадировали въ ея свитѣ почти такъ, какъ французскіе оппозиціонные депутаты при торжествахъ реставраціи. Комедія схоластиковъ продолжалась болѣе шести вѣковъ и становилась все болѣе и болѣе тривіальною. Разрушая схоластицизмъ, Декартъ разрушалъ въ то же время одряхлѣвшую оппозицію среднихъ вѣковъ. Старыя метлы истерлись отъ долгаго употребленія, къ нимъ прилипло слишкомъ много всякой грязи, и новое время требовало новыхъ метлъ. Послѣ всякаго переворота, предшествовавшая оппозиція должна отрекаться отъ власти; иначе происходитъ много нелѣпостей. Мы сами это пережили. Въ тѣ времена, о которыхъ я говорю, противъ кар-

тезіанской философіи гораздо менѣе возстала впервые сама католическая церковь, чѣмъ ея старые противники, арьергардъ схоластиковъ. Папа запретилъ ее только въ 1663 году.

Я предполагаю во французскихъ читателяхъ достаточное знакомство съ философіею ихъ великаго соотечественника и потому не имѣю надобности показывать здѣсь, какъ ученія самыя противоположныя могли почерпать у него необходимый для нихъ матеріалъ. Я говорю здѣсь объ идеализмѣ и матеріализмѣ.

Такъ какъ оба эти ученія обыкновенно обозначаютъ, и преимущественно во Франціи, названіями спиритуализмъ и сенсуализмъ, а я употребляю эти выраженія въ другомъ смыслѣ, то для предупрежденія всякой путаницы въ понятіяхъ долженъ точнѣе опредѣлить эти два выраженія.

Съ самыхъ отдаленныхъ временъ существуютъ два противоположныхъ мнѣнія о натурѣ человѣческаго мышленія, т. е. о послѣднихъ источникахъ умственнаго познаванія, о происхожденіи идей. Одни утверждаютъ, что мы получаемъ наши идеи только извнѣ, что нашъ духъ есть только пустой сосудъ, гдѣ переработываются поглощенныя чувствами воззрѣнія, почти такъ же, какъ пища, введенная въ нашъ желудокъ. Употребляя болѣе красивое сравненіе, скажу, что эти господа смотрятъ на нашъ духъ, какъ на tabula rasa, на которой, по нѣкоторымъ опредѣленнымъ графическимъ правиламъ, опытъ послѣдовательно и ежедневно вписываетъ что-нибудь новое.

Другіе, придерживающіеся противоположнаго взгляда, утверждаютъ, что идеи прирождены человѣку, что человѣческій духъ есть первобытное вмѣстилище идей и что внѣшній міръ, опытъ и служащія посредниками чувства приводятъ насъ къ познаванію только того, что уже существовало въ нашемъ духѣ, и лишь будятъ тамъ дремлющія идеи.

Первое воззрѣніе получило названіе сенсуализма, иногда эмпиризма; другое называли спиритуализмомъ, а иногда и раціонализмомъ. Впрочемъ, отсюда легко могутъ возникнуть недоразумѣнія, такъ какъ съ нѣкотораго времени, о чемъ я уже упоминалъ въ первой книгѣ, этими названіями мы обозначаемъ также двѣ соціальныя системы, находящія себѣ мѣсто во всѣхъ проявленіяхъ жизни. Вслѣдствіе этого, названіе спиритуализма мы оставляемъ за преступнымъ притязаніемъ духа, который, стремясь къ возвеличенію

ючительно себя, усиливается попрать матерію, по край-

пей мѣрѣ заклеймить ее позоромъ; названіе же сенсуализма мы предоставляемъ оппозиціи противъ такого притязанія, имѣющей цѣлью возстановленіе матеріи и требующей признанія за чувствами ихъ правъ, хотя она не отрицаетъ при этомъ ни правъ, ни даже верховнаго господства духа. Напротивъ того, философскимъ мнѣніямъ о природѣ нашихъ познаваній я придаю охотнѣе названія идеализма и матеріализма, и разумѣю подъ первымъ ученіе о прирожденныхъ идеяхъ, идеяхъ a priori, а подъ вторымъ — ученіе о познаваніи посредствомъ опыта, посредствомъ чувствъ, ученіе объ идеяхъ a posteriori.

Знаменателенъ фактъ, что идеалистическая сторона картезіанской философіи никогда не могла имѣть успѣха во Франціи. Многіе знаменитые янсенисты слѣдовали нѣкоторое время по этому направленію; но вскорѣ они потерялись въ католическомъ спиритуализмѣ. Можетъ-быть, вслѣдствіе этого обстоятельства идеализмъ пересталъ пользоваться довѣріемъ во Франціи. Народы имѣютъ инстинктивное предчувствіе того, что имъ необходимо для исполненія ихъ миссіи. Французы уже были на пути къ той политической революціи, которая вспыхнула только въ концѣ XVIII вѣка, и для которой имъ были потребны топоръ и такая же холодная и острая матеріалистическая философія. Христіанскій спиритуализмъ ратовалъ въ рядахъ ихъ противниковъ, и поэтому сенсуализмъ сталъ ихъ естественнымъ союзникомъ. Такъ какъ французскіе сенсуалисты обыкновенно были матеріалистами, то возникло ошибочное мнѣніе, что сенсуализмъ истекаетъ лишь изъ матеріализма. Нѣтъ, сенсуализмъ можетъ заявить себя также результатомъ пантеизма, и въ этомъ случаѣ его явленіе прекрасно и великолѣпно. Мы, однако, никакимъ образомъ не хотимъ отвергать заслугъ, оказанныхъ французскимъ матеріализмомъ. Французскій матеріализмъ былъ хорошимъ противоядіемъ отъ бѣдствій прошедшаго, отчаяннымъ цѣлебнымъ средствомъ въ отчаянной болѣзни, меркуріальнымъ лѣкарствомъ для зараженнаго народа. Французскіе философы избрали своимъ наставникомъ Локка. Это былъ спаситель, въ которомъ они нуждались. Его Essay on human understanding сдѣлался ихъ священною книгою, ею клялись и присягали они. Джонъ Локкъ прошелъ школу Декарта и перенялъ отъ него все, что можетъ перенять англичанинъ: механику, искусство расчлененія, комбинированіе, построеніе, счисленіе. Одного не могъ онъ понять — прирожденныхъ идей.

Поэтому онъ усовершенствовалъ ученіе, что мы пріобрѣтаемъ наши знанія извнѣ, помощью опыта. Онъ сдѣлалъ изъ человѣческаго ума нѣчто въ родѣ счетнаго ящика, весь человѣкъ сталъ англійскою машиной. Это замѣчаніе также примѣняется къ человѣку, какимъ его построили ученики Локка, хотя они старались отличаться другъ отъ друга различными наименованіями. Они страшно боятся послѣднихъ выводовъ своего основного начала, и послѣдователь Кондильяка пугается, когда его ставятъ въ одну категорію съ Гельвеціусомъ, или еще съ Гольбахомъ, или, пожалуй, даже съ ла-Метри; а между тѣмъ, это неизбѣжно, и поэтому я вынужденъ французскихъ философовъ XVIII вѣка и ихъ теперешнихъ послѣдователей называть матеріалистами. «L'homme machine» есть самая послѣдовательная книга французской философіи, и уже одно заглавіе обличаетъ послѣднее слово всего ея міровоззрѣнія.

Эти матеріалисты были по большей части также приверженцы деизма, ибо существованіе машины предполагаетъ и существованіе сдѣлавшаго ее механика, а одно изъ высшихъ совершенствъ ея состоитъ въ томъ, чтобы она умѣла по достоинству цѣнить техническія познанія такого мастера, частью по своей собственной конструкціи, частью по его остальнымъ произведеніямъ.

Матеріализмъ исполнилъ свою миссію во Франціи. Въ настоящее время онъ, можетъ-быть, исполняетъ то же дѣло и въ Англіи, и въ Локкѣ коренятся тамъ революціонныя партіи, именно бентамисты, проповѣдники утилитарности. Это могучіе умы, овладѣвшіе какъ разъ тѣмъ рычагомъ, который способенъ расшевелить Джона Булля. Джонъ Буллъ— рожденный матеріалистъ, и его христіанскій спиритуализмъ большею частью традиціонное лицемѣріе, или даже только матеріальная ограниченность: плоть его смиряется, потому что духъ ее не поддерживаетъ. Совсѣмъ иное въ Германіи, и нѣмецкіе революціонеры ошибаются, воображая, что матеріалистическая философія благопріятствуетъ ихъ стремленіямъ. Да, тамъ невозможна никакая общая революція до тѣхъ поръ, пока ея принципы не будутъ выведены изъ болѣе народной, болѣе религіозной и болѣе нѣмецкой философіи, и не сдѣлаются господствующими помимо ея силы. Какая же это философія? Мы впослѣдствіи будемъ прямо и откровенно обсуждать ее. Я говорю прямо и откровенно, ибо разсчитываю, что и нѣмцы будутъ читать эти страницы.

Германія недавно выказывала нерасположеніе къ мате-

ріализму и вслѣдствіе этого въ продолженіе полутора вѣка была настоящею обителью идеализма. Нѣмцы также пошли въ школу Декарта, и его великій ученикъ носилъ имя Готфрида Вильгельма Лейбница. Онъ принялъ идеалистическое направленіе учителя, какъ Локкъ избралъ матеріальное. У Лейбница мы находимъ въ самомъ опредѣленномъ видѣ ученіе о прирожденныхъ идеяхъ. Онъ оспаривалъ Локка въ своихъ «Nouveaux essays sur l'entendement humain». Съ нимъ расцвѣло въ нѣмцахъ сильное рвеніе къ изученію философіи. Онъ пробудилъ умы и повелъ ихъ по новымъ путямъ. Задушевная мягкость, религіозное чувство, одушевлявшія его сочиненія, примирили до нѣкоторой степени его противниковъ съ его смѣлостью и произвели громадное дѣйствіе. Смѣлость этого мыслителя особенно проявляется въ его ученіи о монадахъ, самой замѣчательной гипотезѣ, какая когда-либо вышла изъ головы философа. Это вмѣстѣ съ тѣмъ лучшее, что совершилъ Лейбницъ, ибо тутъ уже пробивается предчувствіе важнѣйшихъ законовъ, признанныхъ нашей новѣйшей философіей. Ученіе о монадахъ было, можетъ-быть, только слабою формулировкой тѣхъ же законовъ, которые въ лучшихъ формулахъ были выражены въ наше время натуръ-философами. Мнѣ бы слѣдовало собственно употребить здѣсь, вмѣсто слова «законъ»,—слово «формула», ибо Ньютонъ совершенно вѣрно замѣчаетъ, что то, что мы называемъ закономъ въ природѣ, собственно не существуетъ, и только формулы помогаютъ нашему разуму объяснять послѣдовательность явленій въ природѣ. Изъ всѣхъ сочиненій Лейбница возбудила наиболѣе толковъ въ Германіи «Теодицея». А между тѣмъ, это его слабѣйшее произведеніе. Книга эта, какъ и нѣкоторыя другія сочиненія, въ которыхъ высказывается религіозное чувство Лейбница, навлекла на него много дурной славы, много горькихъ и несправедливыхъ осужденій. Враги обвиняли его въ сентиментальнѣйшемъ слабоуміи, а друзья, защищая его, выставляли, напротивъ того, хитрымъ лицемѣромъ. Характеръ Лейбница долгое время служилъ у насъ предметомъ споровъ. Самые благосклонные не могли оправдать его отъ обиненія въ двусмысленности. Всего болѣе поносили его сводные мыслители и люди «просвѣщенія». Какъ могли они ростить философу защиту ученія о св. Троицѣ, вѣчныхъ ках въ аду и божественности Христа! Такъ далеко ихъ ерпимость не простиралась. Но Лейбницъ не былъ ни безземъ, ни негодяемъ, и со своей гармонической высоты

онъ могъ очень хорошо защищать все христіанство. Я говорю—все христіанство, потому что онъ защищалъ его противъ полу-христіанства. Онъ показалъ послѣдовательность ортодоксовъ въ противоположность половинности ихъ противниковъ. Ничего больше онъ и не хотѣлъ. И притомъ онъ стоялъ на той точкѣ равнодушія, съ которой различнѣйшія системы представляются только какъ разныя стороны одной и той же истины. Эту точку равнодушія призналъ впослѣдствіи и Шеллингъ, а Гегель обосновалъ ее научно, какъ систему системъ. Такимъ же путемъ занимался Лейбницъ уясненіемъ гармоніи между Платономъ и Аристотелемъ. Эта задача обсуждалась у насъ довольно часто и въ послѣдующія времена. Была ли она рѣшена?

Нѣтъ, поистинѣ, нѣтъ! Ибо эта задача есть ничто иное, какъ сдѣлка въ борьбѣ идеализма съ матеріализмомъ. Платонъ вполнѣ идеалистъ и знаетъ только прирожденныя или, вѣрнѣе, вмѣстѣ съ человѣкомъ рожденныя идеи: человѣкъ приноситъ на свѣтъ вмѣстѣ съ собою идеи, и потомъ, когда сознаетъ ихъ, онѣ представляются ему, какъ воспоминанія о прежде бывшемъ существованіи. Отсюда неопредѣленность и мистицизмъ Платона: онъ вспоминаетъ болѣе или менѣе ясно. Напротивъ, у Аристотеля все ясно, все понятно, опредѣленно, ибо познанія его не представляются ему, какъ воспоминанія о прежде бывшемъ мірѣ, но онъ все добываетъ изъ опыта и умѣетъ все классифицировать самымъ точнымъ образомъ. Поэтому онъ навсегда останется образцомъ для всѣхъ эмпириковъ, а они не знаютъ, какъ благодарить Бога за то, что Онъ сдѣлалъ Аристотеля наставникомъ Александра, который своими побѣдами доставилъ ему такъ много средствъ подвигать науку, и подарилъ ему столько тысячъ талантовъ для зоологическихъ цѣлей. Эти деньги старый педагогъ употреблялъ добросовѣстно, на нихъ онъ вскрылъ порядочное количество млекопитающихъ, набилъ достаточное число птичьихъ чучелъ и при этомъ сдѣлалъ самыя важныя наблюденія; но на то большое животное, которое онъ чаще всего имѣлъ передъ глазами, которое онъ самъ воспитывалъ и которое было замѣчательнѣе всего всемірнаго звѣринца того времени, онъ, къ сожалѣнію, не обратилъ вниманія и оставилъ его неизслѣдованнымъ. Дѣйствительно, онъ не оставилъ намъ никакой замѣтки о природѣ этого царя-юноши, чья жизнь и дѣянія до сихъ поръ изумляютъ насъ, какъ чудо и загадка. Кто былъ Александръ? Чего хотѣлъ онъ? Былъ онъ безумецъ или богъ? Мы и до сихъ

поръ не знаемъ этого. Зато Аристотель даетъ намъ полнѣйшія свѣдѣнія о вавилонскихъ морскихъ кошкахъ, о попугаяхъ Индіи и о греческихъ трагедіяхъ, которыя онъ также подвергалъ анатомическому вскрытію.

Платонъ и Аристотель! Это не только двѣ системы, но и типы двухъ различныхъ человѣческихъ натуръ, которые, съ незапамятныхъ временъ, подъ разными одеждами стоятъ болѣе или менѣе враждебно, одинъ противъ другого. Такимъ образомъ сражались особенно въ теченіе среднихъ вѣковъ до нашего времени, и эта борьба составляетъ существеннѣйшее содержаніе церковной исторіи первыхъ временъ. Какія бы имена ни выставляли, всегда подъ ними рѣчь идетъ о Платонѣ и Аристотелѣ. Натуры мечтательныя, мистическія, платоновскія, выпускаютъ на свѣтъ изъ тайниковъ своей души идеи христіанскія и соотвѣтствующіе имъ символы. Натуры практическія, все приводящія въ порядокъ, аристотелевскія, созидаютъ изъ этихъ идей и символовъ прочную систему, догматику и культъ. Католическая церковь, наконецъ, замыкаетъ въ себя обѣ натуры, изъ которыхъ однѣ дѣлаютъ для себя крѣпостью клиръ, а другія—монашество, но безпрерывно воюютъ другъ съ другомъ. Та же борьба обнаруживается и въ протестантской церкви: это распря между піетистами и правовѣрными, въ нѣкоторой степени соотвѣтствующими католическимъ мистикамъ и догматикамъ. Протестантскіе піетисты—мистики безъ воображенія, а протестантскіе правовѣрные—догматики безъ ума.

Эти двѣ протестантскія партіи мы встрѣчаемъ вовлеченными въ ожесточенную борьбу во время Лейбница, а его философія вмѣшалась въ эту борьбу позднѣе, когда Христіанъ Вольфъ овладѣлъ ею, примѣнилъ ее къ требованіямъ времени, и, что было самое важное, сталъ поучать на нѣмецкомъ языкѣ. Но прежде, нежели мы станемъ еще говорить объ этомъ ученикѣ Лейбница, о результатахъ его стремленій и о послѣдующихъ судьбахъ лютеранства, мы должны упомянуть объ избранномъ судьбою человѣкѣ, который одновременно съ Локкомъ и Лейбницемъ образовался въ школѣ Декарта, долгое время возбуждалъ лишь осмѣяніе и ненависть, но въ настоящее время становится самодержцемъ въ царствѣ умовъ.

говорю о Бенедиктѣ Спинозѣ.

ликій геній образуется при пособіи другого великаго не столько посредствомъ ассимиляціи, сколько посредъ тренія. Алмазъ полируетъ алмазъ. Такъ философія а отнюдь не произвела философію Спинозы, но только

содѣйствовала происхожденію ея. Вотъ почему въ ученикѣ мы прежде всего находимъ методъ учителя; это—важное достоинство. Потомъ находимъ у Спинозы, какъ у Декарта, доказательства, заимствованныя изъ математики. Это большой недостатокъ. Математическая форма придаетъ Спинозѣ жесткую оболочку. Но это то же, что̀ миндальная кожица; ядро оказывается тѣмъ вкуснѣе. При чтеніи Спинозы охватываетъ насъ такое чувство, какъ при созерцаніи великой природы въ ея оживленнѣйшемъ спокойствіи. Это лѣсъ мыслей, высокихъ, какъ небеса, мыслей, цвѣтущія вершины которыхъ колышатся словно волны, между тѣмъ, какъ непоколебимые стволы ихъ внѣдряютъ корни въ вѣчную землю. Въ произведеніяхъ Спинозы слышится какое-то дыханіе, совершенно неизъяснимое. На васъ вѣетъ какъ будто воздухъ грядущаго. Духъ еврейскихъ пророковъ, можетъ-быть, почивалъ еще на ихъ позднемъ потомкѣ. И при этомъ онъ полонъ серьезности, сознающей самоё себя гордости, грандецы мыслей, которая также кажется наслѣдственною; ибо Спиноза принадлежалъ къ тѣмъ мученическимъ семействамъ, которыхъ изгоняли тогда изъ Испаніи всекатолическіе короли. Прибавьте къ тому терпѣніе голландца, которое также никогда не измѣнило себѣ ни въ произведеніяхъ, ни въ жизни этого человѣка.

Доказано, что частная жизнь Спинозы была безупречна и осталась чиста и незапятнана... Онъ страдалъ за свое ученіе, онъ носилъ мученическій вѣнецъ. Это удѣлъ всякаго великаго ума, высказывающаго свои мысли.

Любезный читатель, если ты когда-нибудь будешь въ Амстердамѣ, прикажи лонъ-лакею показать себѣ испанскую синагогу. Это — прекрасное зданіе; кровля его поддерживается четырьмя колоссальными колоннами, посрединѣ возвышается каѳедра, съ которой нѣкогда была произнесена анаѳема противъ гидальго Бенедикта Спинозы, измѣнника Моисееву закону. При этомъ случаѣ трубили въ козлиный рогъ, называемый шофаръ. Съ этимъ рогомъ, вѣроятно, связаны какія-нибудь страшныя представленія. Ибо я прочелъ въ жизнеописаніи Соломона Маймона, какъ однажды альтонскій раввинъ вознамѣрился возвратить его, ученика Канта, къ вѣрѣ отцовъ, и когда тотъ упорствовалъ въ своей философской ереси, раввинъ пригрозилъ ему и, показавъ шофаръ, сдѣлалъ мрачный вопросъ: «знаешь ли ты это?» Когда же ученикъ Канта спокойно отвѣтилъ: «знаю, это козлиный рогъ», раввинъ отъ ужаса упалъ навзничь.

Звуки этого рога были аккомпанементомъ отлученія Спинозы, онъ былъ торжественно изгнанъ изъ общины Израиля и объявленъ недостойнымъ носить впредь имя еврея. Христіанскіе враги его были настолько великодушны, что оставили ему это имя. Но евреи, эта лейбъ-гвардія деизма, были неумолимы, и до сихъ поръ еще показываютъ то мѣсто передъ испанской синагогой въ Амстердамѣ, гдѣ они напали на Спинозу со своими длинными кинжалами.

Я не могъ воздержаться, чтобы не обратить особеннаго вниманія читателя на личныя невзгоды этого человѣка. Его образовала не только школа, но и жизнь. Этимъ онъ отличался отъ большей части философовъ, и въ произведеніяхъ его мы находимъ косвенныя явленія его жизни. Для него теологія не была только наукой, точно также и политика. И эту послѣднюю изучилъ онъ также на практикѣ. Отецъ его возлюбленной, въ наказаніе за политическія преступленія, былъ повѣшенъ въ Нидерландахъ. А нѣтъ на землѣ мѣста, гдѣ бы вѣшали хуже, чѣмъ въ Нидерландахъ. Вы не имѣете понятія о безконечныхъ приготовленіяхъ и церемоніяхъ, исполняемыхъ при этомъ. Казнимый умираетъ также отъ скуки, а зрителю дается достаточный досугъ на размышленіе. Поэтому я убѣжденъ, что Бенедиктъ Спиноза много думалъ о казни стараго Ванъ-Энда; и какъ прежде онъ уразумѣлъ еврейскую религію съ ея кинжалами, такъ теперь понялъ политику съ ея веревками. Свидѣтельство тому въ его Tractatus politicus.

Задача моя состоитъ лишь въ томъ, чтобы показать, насколько философы болѣе или менѣе родственны одинъ другому, и я ограничиваюсь указаніемъ степени ихъ родства и наслѣдственности. Эта философія Спинозы, третьяго сына Рене Декарта, какъ онъ преподаетъ ее въ своемъ главномъ сочиненіи, «Этикѣ», настолько же далека отъ матеріализма брата его, Локка, какъ и отъ идеализма другого его брата, Лейбница. Спиноза не возится аналитически съ вопросомъ о послѣднихъ основахъ нашихъ познаній. Онъ даетъ намъ свой великій синтезъ, свое объясненіе божества.

Бенедиктъ Спиноза учитъ: Существуетъ только одна суб-
ція, и это — Богъ. Эта единая субстанція безконечна,
абсолютна. Всѣ конечныя субстанціи истекаютъ изъ
содержатся въ ней, въ нее погружаются; ихъ суще-
ніе только относительное, преходящее, случайное.
ая субстанція проявляется въ формѣ какъ безпре-
мышленія, такъ и безпродѣльнаго протяженія. Обѣ

онѣ, безпредѣльное мышленіе и безпредѣльное протяженіе, суть два аттрибута абсолютной субстанціи. Мы познаемъ только эти два аттрибута. Но Богъ, абсолютная субстанція, имѣетъ, можетъ-быть, много другихъ аттрибутовъ, намъ невѣдомыхъ. «Non dico, me Deum omnino cognoscere, sed me quaedam ejus attributa, non autem omnia neque maximam intelligere partem».

Только неразуміе и злоба могли называть такое ученіе «атеистическимъ». Никто никогда не выражался о божествѣ возвышеннѣе, чѣмъ Спиноза. Вмѣсто того, чтобы говорить, что онъ отрицалъ Бога, можно бы сказать, что онъ отрицалъ человѣка. Все конечное для него только modi безпредѣльной субстанціи. Всѣ конечныя вещи содержатся въ Богѣ; человѣческій умъ есть только свѣтлый лучъ безпредѣльнаго мышленія, человѣческое тѣло есть лишь атомъ безпредѣльнаго протяженія. Богъ есть безпредѣльная причина обоихъ, мыслей и тѣлъ, natura naturans.

Въ письмѣ къ г-жѣ дю-Деффанъ, Вольтеръ въ полномъ восторгѣ отъ мысли этой женщины, что все, чего человѣку отнюдь не дано знать, безъ сомнѣнія таково, что знаніе его ни къ чему бы не послужило. Это замѣчаніе я могъ бы примѣнить къ приведенному мною выше собственными словами Спинозы положенію его, что божеству принадлежатъ не только два познаваемыхъ аттрибута — мышленіе и протяженіе, но также, можетъ-быть, и другіе, которыхъ мы знать не можемъ. То, чего мы не можемъ познать, не имѣетъ для насъ никакой цѣны, по крайней мѣрѣ съ соціальной точки зрѣнія, гдѣ дѣло идетъ о перенесеніи въ осязаемое явленіе того, что было сознано умомъ. Въ нашемъ объясненіи божественнаго начала мы поэтому имѣемъ въ виду только вышеупомянутые два познаваемыхъ аттрибута. Притомъ же вѣдь все, что мы называемъ аттрибутами Бога, въ концѣ концовъ только различныя формы нашего пониманія, и эти различныя формы тождественны въ абсолютной субстанціи. Мысль, въ сущности, есть только невидимое протяженіе, а протяженіе — только видимая мысль. Здѣсь встрѣчаемся мы съ главнымъ положеніемъ нѣмецкой философіи тождественности, которая въ своей сущности отнюдь не отличается отъ философіи Спинозы. Пусть г. Шеллингъ рьяно доказываетъ, что его философія отличается отъ спинозизма, что она, скорѣе, «живое проникновеніе идеальнаго и реальнаго другъ другомъ», что она настолько же не похожа на спи-

нозизмъ, какъ «художественныя греческія изваянія на

жесткіе египетскіе оригиналы»; тѣмъ не менѣе, я долженъ положительнѣйшимъ образомъ заявить, что г. Шеллингъ, въ первый свой періодъ, въ то время, когда онъ былъ еще философомъ, нисколько не отличался отъ Спинозы. Онъ только другою дорогой пришелъ къ той же самой философіи, и это я объясню ниже, когда буду говорить, какимъ образомъ Кантъ вступилъ на новый путь, какъ Фихте за нимъ послѣдовалъ, какъ Шеллингъ пошелъ по слѣдамъ Фихте, и какъ, бродя по темнымъ лѣсамъ натуръ-философіи, онъ очутился тамъ, наконецъ, лицомъ къ лицу съ великимъ образомъ Спинозы.

Заслуга новой натуръ-философіи состоитъ лишь въ томъ, что она самымъ убѣдительнымъ образомъ показала вѣчную параллельность духа и матеріи; я говорю—духа и матеріи, и употребляю эти выраженія, какъ равнозначащія тому, что Спиноза называетъ мышленіемъ и протяженіемъ. Въ нѣкоторой степени равнозначаще и то, что нѣмецкіе философы называютъ духомъ и натурою, или идеальнымъ и реальнымъ.

Впослѣдствіи я буду обозначать названіемъ пантеизма не столько систему, сколько способъ воззрѣнія Спинозы. Пантеизмъ, точно такъ же, какъ и деизмъ, принимаетъ единство Бога. Но Богъ пантеистовъ находится въ самомъ мірѣ, а не проникаетъ его своею божественностью, какъ старался въ этомъ родѣ пояснить св. Августинъ, когда сравнивалъ Бога съ большимъ озеромъ, а міръ съ большою губкой, которая лежитъ посреди̇нѣ озера и впитываетъ въ себя божество; нѣтъ, міръ, по мнѣнію пантеистовъ, не только напоенъ, пропитанъ божествомъ, онъ тождественъ съ Богомъ. «Богъ», котораго Спиноза называетъ единою субстанціею, а нѣмецкіе философы — абсолютомъ, «есть все, что̀ есть». Онъ столько же матерія, сколько духъ, первая и второй равно божественны, и кто оскорбляетъ священную матерію, столько же грѣшенъ, сколько тотъ, кто грѣшитъ противъ священнаго духа.

Такимъ образомъ, Богъ пантеистовъ отличается отъ Бога деистовъ тѣмъ, что Онъ въ самомъ мірѣ, тогда какъ деисты помѣщаютъ Его совершенно внѣ міра, или, что̀ то же самое, ъ міромъ. Богъ деистовъ управляетъ міромъ сверху изъ... Только въ вопросѣ о способѣ этого управленія сты держатся различныхъ взглядовъ. Евреи предста-ютъ себѣ Бога грознымъ громовержцемъ, христіане— ящимъ отцомъ, ученики Руссо, вся женевская школа— мъ *и великимъ художникомъ*, создавшимъ міръ, и

какъ знатоки въ искусствѣ, они изумляются творенью и прославляютъ творца.

Для деиста, помѣщающаго такимъ образомъ Бога внѣ міра или надъ нимъ, священенъ только духъ, и этотъ духъ онъ считаетъ какъ бы божественнымъ дыханіемъ, которое Создатель міра вдохнулъ въ человѣческое тѣло, слѣпленное изъ глины твореніе своихъ рукъ. Поэтому евреи смотрѣли на тѣло, какъ на нѣчто ничтожное, какъ на жалкую оболочку «руахъ-гакодаша», священнаго дыханія, духа, и только этому послѣднему посвящали они свои заботы, свое благоговѣніе, свой культъ. Вслѣдствіе этого они сдѣлались въ полномъ смыслѣ слова народомъ духа, цѣломудреннымъ, съ скромными потребностями, серьезнымъ, отвлеченнымъ, упорствующимъ, пригоднымъ для мученичества. . . . . .

Но если евреи относились къ тѣлу такъ презрительно, то христіане пошли на этомъ пути еще дальше и смотрятъ на него, какъ на нѣчто достойное всякой хулы, нѣчто дурное, какъ на само зло. И вотъ, чрезъ нѣсколько столѣтій послѣ рожденія Христа, возникаетъ религія, которая будетъ вѣчно повергать въ изумленіе человѣчество и вызывать въ позднѣйшихъ поколѣніяхъ благоговѣйный трепетъ. Да, великая, священная, безконечнымъ блаженствомъ наполненная была эта религія, желавшая завоевать на этой землѣ для духа безусловнѣйшее господство; но именно эта религія была слишкомъ возвышенна, слишкомъ чиста, слишкомъ хороша для этой земли, гдѣ ея идея провозглашалась только въ теоріи, но никогда не могла быть выполнена на практикѣ. Попытка осуществленія этой идеи вызвала въ исторіи безконечно много великолѣпныхъ явленій, и поэты всѣхъ временъ будутъ долго еще говорить и пѣть на эту тему. Но окончилась попытка выполненія идеи христіанства очень несчастливо, и эта несчастная борьба стоила человѣчеству много громадныхъ жертвъ, и печальнымъ послѣдствіемъ является нашъ теперешній соціальный недугъ во всей Европѣ... Матерія, свѣтское, было первымъ христіанствомъ предоставлено въ руки римскаго цезаря и его еврейскихъ прислужниковъ, и оно довольствовалось тѣмъ, что первому отказывало въ верховномъ господствѣ, а вторыхъ клеймило въ общественномъ мнѣніи... Но—увы!—ненавистный мечъ и презираемыя деньги, въ концѣ концовъ, все-таки достигли высшей власти, и представителямъ духа пришлось входить съ ними въ соглашеніе...

Въ настоящее время человѣчество съ улыбкой сострада-

нія вспоминаетъ свои юношескіе идеалы, которыхъ оно не могло осуществить, несмотря на всѣ свои усилія, и становится мужественно практическимъ. Человѣчество поклоняется теперь земной системѣ полезности, оно серьезно думаетъ о гражданскомъ зажиточномъ существованіи, о разумномъ веденіи хозяйства и о приготовленіи комфорта себѣ на старость лѣтъ... Главная задача—быть здоровымъ; потому что мы все еще ощущаемъ большую слабость въ членахъ. Средневѣковые католическіе вампиры высосали у насъ такъ много жизненной крови. А кромѣ того, должно принести матеріи еще немало искупительныхъ жертвъ для того, чтобы она простила за старыя оскорбленія. Я бы даже совѣтовалъ учредить торжественныя игры и воздать матеріи еще больше необыкновенныхъ почестей въ видѣ вознагражденія. Потому что средневѣковое католичество, не будучи въ силахъ уничтожить матерію, стало повсюду позорить ее, оно унижало самыя благородныя наслажденія, и внѣшнимъ чувствамъ пришлось лицемѣрить, и возникли ложь и грѣхъ. Мы должны теперь надѣвать на нашихъ женщинъ новыя рубашки и новыя мысли, а всѣ наши чувства обкуривать, какъ послѣ минувшей чумы.

Такимъ образомъ, ближайшая цѣль нашихъ новыхъ установленій есть возстановленіе матеріи въ ея правахъ и ея достоинствѣ, нравственное признаніе ея, примиреніе ея съ духомъ. Пуруша снова вступаетъ въ бракъ съ Пракгити. Вслѣдствіе ихъ насильственнаго разъединенія, какъ очень глубокомысленно представлено въ индійскомъ миѳѣ, возникла великая міровая разорванность, возникло міровое зло.

А извѣстно вамъ, что̀ такое въ мірѣ зло? Спиритуалисты всегда ставили намъ въ укоръ, что при пантеистическомъ воззрѣніи уничтожается различіе между добромъ и зломъ. Но зло есть, съ одной стороны, ложное понятіе ихъ собственнаго міровоззрѣнія, съ другой стороны, оно реальный результатъ ихъ собственнаго міроустройства. По ихъ міровоззрѣнію матерія сама по себѣ зла,—но вѣдь это клевета, страшное богохульство. Матерія только тогда становится злою, когда она должна составлять тайный заговоръ противъ узурпацій , когда духъ заклеймилъ ее позоромъ, и она простиуетъ себя изъ презрѣнія къ самой себѣ, или же, когда мститъ за себя въ порывѣ ненависти отчаянія; и такимъ омъ зло есть только результатъ крайнихъ увлеченій туалистическаго міроустройства.

тождественъ съ міромъ. Онъ проявляетъ себя въ

растеніяхъ, безсознательно ведущихъ космическую, повинующуюся силѣ магнитнаго притяженія жизнь. Онъ проявляетъ себя въ животныхъ, которыя въ своей чувственной жизни грёзъ ощущаютъ болѣе или менѣе смутное существованіе. Но великолѣпнѣе всего проявляетъ Онъ себя въ человѣкѣ, который въ одно и то же время и чувствуетъ, и мыслитъ, который умѣетъ индивидуально отличать самого себя отъ объективной природы и носитъ уже въ своемъ умѣ тѣ идеи, которыя обнаруживаются для него въ мірѣ внѣшнихъ явленій. Въ человѣкѣ божественное начало приходитъ къ самосознанію, и такое самосознаніе оно, въ свою очередь, проявляетъ чрезъ посредство человѣка. Но это совершается не въ отдѣльномъ человѣкѣ и не чрезъ отдѣльнаго человѣка, а въ совокупности людей и чрезъ эту совокупность; такъ что каждый отдѣльный человѣкъ объемлетъ и представляетъ собою только одну часть Бога—вселенной, всѣ же люди вмѣстѣ объемлютъ и представляютъ собою въ идеѣ и въ дѣйствительности всего Бога—вселенную. Быть-можетъ, каждый народъ имѣетъ миссію познать и обнаружить извѣстную опредѣленную часть этого Бога—вселенной, постигать рядъ явленій и давать внѣшнее проявленіе ряду идей, и затѣмъ результатъ передавать слѣдующимъ народамъ, на которыхъ возложена такая же миссія. Богъ поэтому есть истинный Герой всемірной исторіи; она — Его постоянная мысль, Его постоянное дѣйствіе, Его слово, Его дѣло; и обо всемъ человѣчествѣ можно справедливо сказать, что оно есть воплощеніе Бога!

Ошибочно мнѣніе, что пантеизмъ приводитъ къ индифферентизму. Напротивъ того, человѣкъ, благодаря образовавшемуся въ немъ сознанію своей божественности, воодушевляется желаніемъ и проявлять ее, и только теперь истинно великіе подвиги истиннаго героизма возвеличатъ нашу землю.

Политическій переворотъ, опирающійся на принципы французскаго матеріализма, найдетъ въ пантеистахъ не противниковъ, а помощниковъ, но помощниковъ такихъ, которые почерпнули свои убѣжденія изъ болѣе глубокаго источника, изъ религіознаго синтеза. Мы содѣйствуемъ благосостоянію матеріи, матеріальному счастью народовъ, не потому, что подобно матеріалистамъ презираемъ духъ, но потому, что намъ извѣстно, что божественность человѣка обнаруживается и въ его тѣлесномъ существованіи, а *бѣдствіе и страданіе* разрушаютъ или унижаютъ тѣло, создан-

ное по образу Божью, чрезъ что погибаетъ и духъ. Извѣстное слово революціи, произнесенное Сенъ-Жюстомъ: le pain est le droit du peuple, у насъ видоизмѣнено въ le pain est le droit divin de l'homme. Мы сражаемся не за человѣческія права народа, а за божескія права человѣка. Этимъ и еще многимъ другимъ мы отличаемся отъ людей революціи. Мы не хотимъ быть ни санкюлотами, ни скромно живущими гражданами, ни дешевыми президентами; мы основываемъ демократію одинаково радостныхъ, одинаково счастливыхъ, одинаково неприкосновенныхъ людей. Вы требуете простыхъ одеждъ, нравственнаго воздержанія и неприправленныхъ никакими пряностями наслажденій; мы, напротивъ того, требуемъ нектара и амврозіи, пурпурныхъ мантій, драгоцѣнныхъ благоуханій, нѣги и роскоши, веселой пляски нимфъ, музыки и сценическихъ представленій... Поэтому не гнѣвайтесь, вы, добродѣтельные республиканцы! На ваши цензорскіе упреки мы отвѣтимъ вамъ возраженіемъ, которое сдѣлалъ уже шутъ у Шекспира: «По твоему мнѣнію, изъза того, что ты добродѣтеленъ, на землѣ не должно быть ни вкусныхъ пирожныхъ, ни сладкаго вина?»

У сенъ-симонистовъ были почти такого же рода мысли и желанія. Но они стояли на неблагопріятной почвѣ, и окружавшій ихъ матеріализмъ придавилъ ихъ, по крайней мѣрѣ на нѣкоторое время. Въ Германіи ихъ оцѣнили лучше. Ибо Германія самая плодотворная почва для пантеизма; онъ — доктрина нашихъ великихъ мыслителей, нашихъ лучшихъ художниковъ, а деизмъ, о чемъ я буду говорить впослѣдствіи, тамъ давно уже ниспровергнутъ въ теоріи. Тамъ онъ держится еще только въ неразмышляющей массѣ, безъ разумнаго основанія, какъ и многое другое. Этого не высказываютъ, но всякому это извѣстно; пантеизмъ составляетъ въ Германіи гласную тайну. Дѣйствительно, мы переросли деизмъ... Доктрина деизма пригодна для несвободныхъ людей, для дѣтей, для женевцевъ...

Пантеизмъ—скрытая религія Германіи, и что дѣло придетъ къ тому, это предвидѣли тѣ нѣмецкіе писатели, которые уже пятьдесятъ лѣтъ назадъ такъ усердно ратовали ротивъ Спинозы. Самымъ яростнымъ изъ этихъ противни- въ Спинозы былъ Фридрихъ Генрихъ Якоби, которому гда оказываютъ честь помѣщенія между нѣмецкими фи- фами. Онъ былъ ничто иное, какъ драчливый пролазъ, рый маскировался въ плащъ философіи и пролѣзалъ въ философовъ, *сперва* жалобно распѣвалъ имъ о своей

любви и своемъ нѣжномъ сердцѣ, а потомъ начинаетъ поносить разумъ. Всегда у него былъ одинъ и тотъ же припѣвъ: философія, познаваніе посредствомъ разума — пустой бредъ, разумъ самъ не знаетъ, куда онъ ведетъ, онъ приводитъ человѣка въ темный лабиринтъ заблужденій и противорѣчій, и только вѣра можетъ быть его надежнымъ руководителемъ. Слѣпой кротъ! Онъ не зналъ, что разумъ подобенъ вѣчному солнцу, которое, шествуя твердымъ шагомъ въ небесной вышинѣ, освѣщаетъ себѣ дорогу своимъ собственнымъ свѣтомъ. Ни съ чѣмъ не сравнима лицемѣрная, сентиментальная ненависть маленькаго Якоби къ великому Спинозѣ.

Замѣчательно, какъ самыя различныя партіи одинаково нападали на Спинозу. Онѣ образуютъ армію, пестрый составъ которой доставляетъ самое забавное зрѣлище. Рядомъ съ роемъ черныхъ и бѣлыхъ капуциновъ маршируетъ фаланга энциклопедистовъ, тоже ратовавшихъ противъ этого penseur téméraire. Возлѣ раввина амстердамской синагоги, трубящаго къ атакѣ въ козлиный рогъ, шествуетъ Аруэ Вольтеръ, играющій на флейтѣ насмѣшки аріи въ пользу деизма. И тутъ же визжитъ старая баба Якоби, маркитантка этого воинства.

Уйдемъ какъ можно скорѣе отъ этого шаривари. Отъ нашей пантеистической экскурсіи возвращаемся снова къ философіи Лейбница, и намъ предстоитъ разсказать о послѣдующихъ судьбахъ ея.

Извѣстныя вамъ произведенія свои Лейбницъ писалъ частью по-латыни, частью по-французски. Христіанъ Вольфъ — имя того превосходнаго человѣка, который не только систематизировалъ идеи Лейбница, но и передавалъ ихъ въ лекціяхъ на нѣмецкомъ языкѣ. Его истинная заслуга не въ томъ, что онъ заключилъ идеи Лейбница въ твердую систему, еще менѣе въ томъ, что онъ, переводомъ на нѣмецкій языкъ, сдѣлалъ ихъ доступными для болѣе многочисленной публики, его заслуга состоитъ въ томъ, что онъ побудилъ насъ философствовать и на нашемъ родномъ языкѣ. Какъ до Лютера мы умѣли излагать богословіе только по-латыни, такъ до Вольфа мы дѣлали тоже съ философіей. Примѣръ нѣкоторыхъ немногихъ ученыхъ, уже прежде говорившихъ объ этихъ предметахъ по-нѣмецки, остался безъ подражанія; тѣмъ не менѣе, историкъ литературы долженъ воздать имъ особую хвалу. Здѣсь упомянемъ въ особенности о Іоганнѣ Таулерѣ, доминиканскомъ монахѣ, родившемся въ началѣ

XIV вѣка, на Рейнѣ, и умершемъ въ 1361 году тамъ же, кажется, въ Страсбургѣ. Онъ былъ человѣкъ благочестивый и принадлежалъ къ тѣмъ мистикамъ, которыхъ я назвалъ платоническою партіей среднихъ вѣковъ. Въ послѣдніе годы своей жизни этотъ мужъ отрекся отъ всякой кичливости ученыхъ, не устыдился проповѣдывать на скромномъ языкѣ народа, и собранныя имъ проповѣди, равно какъ нѣмецкіе его переводы нѣкоторыхъ изъ прежнихъ его латинскихъ проповѣдей, принадлежатъ къ замѣчательнѣйшимъ памятникамъ нѣмецкаго языка. Ибо этотъ языкъ доказалъ уже здѣсь, что для метафизическихъ разсужденій онъ не только годится, вообще, но пригоденъ еще больше латинскаго. Этотъ послѣдній, языкъ римлянъ, никогда не можетъ утратить свой коренной характеръ. Это командный языкъ для военачальниковъ, языкъ указовъ для администраторовъ, судебный языкъ для ростовщиковъ, лапидарный языкъ для твердаго, какъ камень, римскаго народа. Онъ сталъ удобнымъ языкомъ для матеріализма. Хотя христіанство съ истинно христіанскимъ терпѣніемъ долѣе тысячи лѣтъ билось надъ одухотвореніемъ этого языка, но никогда того не достигло; и когда Іоганнъ Таулеръ хотѣлъ совершенно погружаться въ самыя страшныя пучины мысли, а сердце его переполнялось самыми священными чувствованіями, тогда онъ долженъ былъ говорить по-нѣмецки. Его языкъ—словно горный ручей, пробивающій твердую скалу, чудно насыщенный невѣдомыми благоуханіями травъ и таинственными силами камней. Но только въ новѣйшія времена ясно поняли пригодность нѣмецкаго языка для философіи. Ни на какомъ другомъ языкѣ природа не могла бы проявить свое самое таинственное дѣло такъ, какъ на нашемъ миломъ, родномъ нѣмецкомъ языкѣ. Только на могучемъ дубѣ можетъ произрастать священная омела.

Здѣсь было бы кстати сказать о Парацельсѣ, или, какъ онъ самъ называлъ себя, о Теофрастѣ Парацельсѣ Бомбастѣ фонъ-Гогенгеймъ; ибо онъ также почти всегда писалъ по-нѣмецки. Но о Парацельсѣ мнѣ предстоитъ говорить ниже по отношенію къ болѣе важному предмету. Его философія именно тѣмъ, что мы называемъ теперь натуръ-филой; и такое ученіе объ оживленной идеями природѣ, таинственно любезное нѣмецкому духу, развилось бы ъ уже тогда, если бы, вслѣдствіе случайнаго вліянія, нная механическая физика картезіанцевъ не получила о господства. Парацельсъ былъ великій шарлатанъ

и всегда носилъ ярко-красный кафтанъ, ярко-красные штаны, красные чулки и красную шапку, и утверждалъ, что можетъ сотворять человѣчковъ, homunculi; по крайней мѣрѣ, онъ былъ на самой дружеской ногѣ съ невидимыми существами, живущими въ разныхъ стихіяхъ. Но онъ былъ въ то же время однимъ изъ самыхъ глубокомысленныхъ натуралистовъ, которые нѣмецкимъ пытливымъ сердцемъ поняли до-христіанскія народныя вѣрованія, германскій пантеизмъ, и очень вѣрно угадывали то, чего не знали.

Слѣдовало бы собственно упомянуть здѣсь и о Яковѣ Бёме, потому что онъ также употреблялъ нѣмецкій языкъ для философскихъ разсужденій и въ этомъ отношеніи вызывалъ много похвалъ. Но я до сихъ поръ не могъ рѣшиться прочесть его. Я не люблю позволять себя дурачить. Дѣло въ томъ, что я подозрѣваю хвалителей этого мистика въ намѣреніи мистифировать публику. Что касается до содержанія его сочиненій, то Сенъ-Мартенъ отчасти познакомилъ васъ съ ними на французскомъ языкѣ. Англичане тоже переводили его. Карлъ I имѣлъ объ этомъ теозофѣ-башмачникѣ такое высокое мнѣніе, что нарочно послалъ къ нему въ Герлицъ одного ученаго для изученія его. Этотъ ученый былъ счастливѣе своего царственнаго повелителя; ибо между тѣмъ, какъ голова послѣдняго упала въ Уайтгаллѣ подъ топоромъ Кромвеля, первый, подъ вліяніемъ теозофіи Якова Бёме, лишился въ Герлицѣ только ума.

Какъ я уже сказалъ, Христіанъ Вольфъ первый съ успѣхомъ ввелъ нѣмецкій языкъ въ философію. Болѣе слабую заслугу его составляютъ приведеніе въ систему и популяризація идей Лейбница. Оба эти дѣла заслуживаютъ даже самаго бо̀льшаго порицанія, и мы не должны кстати умолчать объ этомъ. Его систематизированіе было лишь пустою видимостью, и этой видимости онъ принесъ въ жертву самое важное въ философіи Лейбница, напримѣръ, лучшую часть—ученіе о монадахъ. Правда, Лейбницъ оставилъ не систематическое зданіе своего ученія, а только необходимыя для постройки его идеи. Нуженъ былъ гигантъ, чтобы соединить эти колоссальныя плиты и колонны, гигантомъ извлеченныя изъ глубочайшихъ мраморолом̀ней и изящно имъ обточенныхъ. Изъ этого могъ бы выйти великолѣпный храмъ. Но Христіанъ Вольфъ былъ очень невеликъ ростомъ и могъ совладать только съ частью такихъ строительныхъ матеріаловъ, и онъ употребилъ ихъ на постройку жалкой хижины деизма. Голова Вольфа была скорѣе энциклопедическая, не-

жели систематическая, и единство ученія онъ понималъ только въ формѣ полноты. Онъ считалъ достаточнымъ построить какъ бы шкапъ съ ящиками, гдѣ каждый ящикъ въ прекрасномъ порядкѣ, прекрасно наполненъ и снабженъ ярлыкомъ съ четкою надписью. Въ такомъ духѣ его «Энциклопедія философскихъ наукъ». Что онъ, какъ внукъ Декарта, унаслѣдовалъ форму математическихъ доказательствъ его дѣдушки, это понятно само собою. Уже въ Спинозѣ я не одобрялъ этой математической формы. Она принесла много вреда въ рукахъ Вольфа. Въ ученикахъ его она выродилась въ нестерпимѣйшій схематизмъ и смѣшную манію все доказывать математическимъ способомъ. Возникъ такъ-называемый Вольфіанскій догматизмъ. Всякое болѣе глубокое изслѣдованіе прекратилось, и скучное поклоненіе ясности заняло его мѣсто. Философія Вольфа стала постепенно совершенно водяниста и, наконецъ, затопила всю Германію. Слѣды этого потопа замѣтны и донынѣ, и на нашихъ высочайшихъ пріютахъ музъ еще попадаются старыя ископаемыя Вольфовой школы.

Христіанъ Вольфъ родился въ 1679 году, въ Бреславлѣ, умеръ въ Галлэ въ 1754 г. Болѣе полувѣка продолжалось въ Германіи его умственное господство. Особое вниманіе мы должны обратить на его отношенія къ нѣмецкимъ теологамъ того времени, и такимъ образомъ мы дополнимъ нашъ разсказъ о судьбахъ лютеранства.

Во всей исторіи церкви нѣтъ такого запутаннаго дѣла, какъ раздоры между протестантскими теологами со времени тридцатилѣтней войны. Только софистическіе споры византійцевъ могутъ сравниться съ ними, но они все-таки не были такъ скучны, такъ какъ подъ ними скрывались крупныя, интересныя въ государственномъ отношеніи, придворныя интриги, тогда какъ протестантская драка имѣла источникомъ преимущественно педантизмъ узкихъ магистерскихъ головъ и школьныхъ фуксовъ. Университеты, и особенно Тюбингенъ, Виттенбергъ, Лейпцигъ и Галлэ, были аренами этихъ теологическихъ сраженій. Двѣ партіи, которыя мы видѣли сражающимися въ католическомъ нарядѣ во все родолженіе среднихъ вѣковъ, платоники и аристотелики, ько перемѣнили одежду и дерутся, какъ прежде. Это тисты и правовѣрные, о которыхъ я уже говорилъ, и орыхъ назвалъ мистиками безъ воображенія и догмати- безъ ума. Іоганъ Шпенеръ былъ Скотусъ Эригенъ естантизма, и какъ послѣдній своимъ переводомъ басно-

словнаго Діонисія Ареопагита положилъ начало католическому мистицизму, такъ первый основалъ протестантскій піетизмъ своими назидательными сборищами, colloquia pietatis, откуда, можетъ-быть, его послѣдователи и получили названіе піетистовъ. Это былъ мужъ благочестивый, да будетъ почтена его память! Берлинскій піетистъ, г. Францъ Горнъ, написалъ хорошую его біографію. Жизнь Шпенера есть безпрерывное мученичество за христіанскую идею. Въ этомъ отношеніи онъ былъ выше своихъ современниковъ. Онъ неотступно требовалъ добрыхъ дѣлъ и набожности, онъ былъ проповѣдникомъ скорѣе духа, чѣмъ слова. Его гомелетическая дѣятельность была весьма похвальна для того времени. Ибо вся теологія, какъ преподавали ее въ вышесказанныхъ университетахъ, состояла только изъ узкой догматики и бранчивой полемики. Экзегетика и церковная исторія находились въ совершенномъ пренебреженіи.

Ученикъ этого Шпенера, Германъ Франке, открылъ въ Лейпцигѣ преподаваніе по примѣру и въ духѣ своего учителя. Онъ читалъ лекціи по-нѣмецки — заслуга, о которой мы всегда будемъ говорить съ благодарностью. Успѣхъ этихъ лекцій возбудилъ зависть въ его коллегахъ, которые вслѣдствіе того жестоко портили жизнь нашему бѣдному піетисту. Онъ былъ вынужденъ очистить мѣсто и удалился въ Галлэ, гдѣ поучалъ христіанству словомъ и дѣломъ. Память его тамъ будетъ вѣчно чтима, ибо онъ основалъ тамошній сиротскій домъ. Галлэскій университетъ наполнился теперь піетистами, и ихъ называли «партіей сиротскаго пріюта». Кстати сказать, партія эта удержалась тамъ до настоящаго времени; Галлэ и теперь еще трущоба піетистовъ, и ссоры ихъ съ протестантскими раціоналистами еще нѣсколько лѣтъ назадъ вызывали скандалъ, который распространилъ по всей Германіи свое зловоніе. Счастливые французы, вы о томъ ничего не слышали! Вы не знаете даже существованія этихъ сплетническихъ газетъ евангелической церкви, гдѣ ея набожныя торговки ругались до отвала. Счастливые французы, вы не имѣете никакого понятія о томъ, какъ злобно, какъ мелочно, какъ противно могутъ драться наши евангелическіе пасторы. Вы знаете, я не приверженецъ католицизма. Въ теперешнихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ моихъ уже не живетъ, правда, догматика, но все еще сохраняется духъ протестантизма. Итакъ, я не перестаю оставаться пристрастнымъ къ протестантской церкви. Однако же, въ интересахъ правды, я долженъ сознаться, что въ

лѣтописяхъ папизма никогда не находилъ такихъ дрянныхъ и жалкихъ вещей, какія встрѣтилъ въ берлинской «Евангелической церковной газетѣ», при вышеупомянутомъ скандалѣ. Самыя трусливыя козни католическихъ монаховъ, самыя мелочныя монастырскія интриги представляются благородными и великодушными дѣйствіями въ сравненіи съ геройскими христіанскими подвигами нашихъ протестантскихъ правовѣрныхъ и піетистовъ въ ихъ схваткѣ съ ненавистными раціоналистами. О ненависти, возгорающейся въ подобныхъ случаяхъ, вы, французы, не имѣете никакого понятія. Нѣмцы вообще злопамятнѣе народовъ романскаго происхожденія.

Это оттого, что они даже въ ненависти идеалисты. Мы не ненавидимъ другъ друга, какъ вы, изъ-за пустяковъ, напримѣръ, за оскорбленное самолюбіе, за эпиграмму, за неотданный визитъ; нѣтъ, мы ненавидимъ въ нашихъ врагахъ самое глубокое, самое существенное, что̀ есть въ нихъ, мысль. Вы, французы, вѣтрены и поверхностны въ ненависти, какъ и въ любви. Мы, нѣмцы, ненавидимъ радикально и продолжительно; слишкомъ честные и, можетъ-быть, слишкомъ безпомощные, чтобы мстить съ быстрымъ коварствомъ, мы ненавидимъ до послѣдней минуты жизни.

«Я понимаю, м. г., это нѣмецкое спокойствіе,—говорила на-дняхъ одна дама, глядя на меня пристально, съ недовѣріемъ и нѣкоторымъ страхомъ:—я знаю, что на вашемъ языкѣ, «простить» и «отравить» вы выражаете однимъ и тѣмъ же словомъ». И она была права: слово vergeben имѣетъ это двоякое значеніе.

Если не ошибаюсь, это галлэскіе правовѣрные, въ распряхъ своихъ съ переселившимися туда піетистами, первые призвали на помощь философію Вольфа.

...Но съ той минуты, какъ религія находитъ себя вынужденной просить помощи у философіи, ея погибель становится несократимой. Она старается защищаться и словопреніями только глубже погружаетъ себя въ бездну. Религія не должна оправдываться. Прометея приковала къ утесу безмолвная сила. Эсхилъ не влагаетъ ни единаго слова въ олицетворенной силы. Она должна быть нѣма... И вотъ ѣхъ поръ, какъ протестантская религія обратилась за щью къ философіи, нѣмецкіе ученые, независимо отъ нія ея въ новое платье, стали еще дѣлать съ нею енные эксперименты. Захотѣли устроить ей новую ь, и при этомъ дѣйствовали почти такъ же, какъ

Медея при возвращеніи молодости царю Эзону . . . дѣлалась попытка вынуть изъ христіанства все историческое содержаніе и сохранить только нравственную часть. Такимъ путемъ превращали христіанство въ чистѣйшій деизмъ. . . . Эти богословы, устранившіе изъ христіанства все историческое, назывались раціоналистами, и противъ нихъ обратилось яростное негодованіе піетистовъ, а равно и правовѣрныхъ, которые съ тѣхъ поръ уже не такъ ожесточенно воевали другъ съ другомъ, а нерѣдко и вступали между собою въ союзъ. Чего не могла сдѣлать любовь, то сдѣлала общая ненависть, ненависть противъ раціоналистовъ.

Это направленіе въ протестантской теологіи началось съ спокойнымъ Землеромъ, котораго вы не знаете, достигло опасной высоты съ яснымъ Теллеромъ, котораго вы также не знаете, и дошло до своего апогея съ скучнымъ Бардтомъ, о незнаніи котораго вамъ совершенно нечего жалѣть. Самыя сильныя побужденія исходили изъ Берлина, гдѣ царствовали Фридрихъ Великій и книгопродавецъ Николаи.

О первомъ, этомъ коронованномъ матеріализмѣ, вы имѣете достаточныя свѣдѣнія. Вы знаете, что онъ писалъ французскіе стихи, отлично игралъ на флейтѣ, одержалъ побѣду при Росбахѣ, нюхалъ много табаку и вѣрилъ только въ пушки. Нѣкоторые изъ васъ, конечно, бывали въ Санъ-Суси, и старый инвалидъ, тамошній дворцовый сторожъ, показывалъ вамъ въ библіотекѣ французскіе романы, которые Фридрихъ, будучи наслѣднымъ принцемъ, читалъ въ церкви, приказавъ переплесть ихъ въ черный сафьянъ, чтобы его строгій родитель думалъ, что онъ читаетъ лютеранскій молитвенникъ. Вы знаете этого царственнаго мудреца, прозваннаго вами сѣвернымъ Соломономъ. Франція была Офиромъ этого сѣвернаго Соломона, и оттуда онъ бралъ своихъ поэтовъ и своихъ философовъ, къ которымъ имѣлъ большое пристрастіе, какъ Соломонъ юга, получавшій изъ Офира, чрезъ посредство своего друга Гирама, цѣлые грузы золота, слоновой кости, поэтовъ и философовъ, какъ вы можете прочесть о томъ въ книгѣ Царствъ, глава X. Это предпочтеніе иностранныхъ талантовъ, конечно, мѣшало Фридриху Великому пріобрѣсть значительное вліяніе на нѣмецкіе умы. Онъ скорѣе оскорблялъ, унижалъ нѣмецкое національное чувство. Презрѣніе, которое Фридрихъ Великій питалъ къ нашей литературѣ, донынѣ еще должно огорчать насъ, и томковъ тогдашнихъ писателей. За исключеніемъ стари Геллерта, никто изъ нихъ не былъ осчастливленъ его во

милостивѣйшимъ благоволеніемъ. Разговоръ, бывшій у него съ этимъ писателемъ, удивителенъ.

Но если Фридрихъ Великій осмѣивалъ насъ, не оказывая намъ поддержки, то тѣмъ болѣе поддерживалъ насъ книгопродавецъ Николаи, надъ которымъ, несмотря на это, мы не стѣснялись смѣяться. Этотъ человѣкъ цѣлую жизнь свою былъ неутомимо дѣятеленъ на благо отечества, онъ не щадилъ ни трудовъ, ни денегъ, когда надѣялся сдѣлать этимъ доброе дѣло, а между тѣмъ, ни одинъ человѣкъ еще не былъ осмѣянъ въ Германіи такъ жестоко, такъ немилосердно, такъ смертельно, какъ именно онъ. Хотя мы, позднѣйшіе потомки, очень хорошо знаемъ, что старый Николаи, другъ «просвѣщенія», въ главной сущности былъ совершенно правъ; хотя мы знаемъ, что его освистывали большею частью наши собственные враги, обскуранты, но все-таки не можемъ вспоминать о немъ съ совершенно серьезнымъ выраженіемъ лица. Старикъ Николаи хотѣлъ сдѣлать въ Германіи то, что во Франціи сдѣлали французскіе философы: онъ старался ниспровергнуть въ умѣ народа прошедшее, — похвальная приготовительная работа, безъ которой не можетъ совершиться ни одинъ радикальный переворотъ. Но, напрасно, такая работа была ему не по силамъ. Ветхія развалины еще стояли прочно, и изъ нихъ являлись привидѣнія и насмѣхались надъ нимъ; тогда онъ пришелъ въ ярость и очертя голову устремился на этихъ враговъ, а зрители смѣялись, когда летучія мыши со свистомъ летали вокругъ его головы и путались въ его пудреномъ парикѣ. Иногда ему случалось также сражаться съ вѣтряными мельницами, которыя онъ принималъ за великановъ. Но еще хуже доставалось ему, когда онъ принималъ за простыя вѣтряныя мельницы дѣйствительныхъ гигантовъ, какъ, напримѣръ, Вольфганга Гёте. Онъ написалъ на его «Вертера» сатиру, въ которой самымъ тупымъ образомъ не понялъ намѣреній автора. Однако, въ главной сущности онъ былъ правъ; хотя онъ и не понялъ, что собственно Гёте хотѣлъ сказать своимъ «Вертеромъ», тѣмъ не менѣе, очень вѣрно предугадалъ его дѣйствіе—женственную мечтательность, безплодную сентиментальность, возникшія подъ вліяніемъ этого романа и

ебно противорѣчившія разумному настроенію, въ ко-

ъ мы нуждались. Въ этомъ Николаи совершенно схо-

съ Лессингомъ, который писалъ одному изъ своихъ

слѣдующее мнѣніе о Вертерѣ:

бы такое жаркое произведеніе не принесло болѣе

вреда, чѣмъ пользы, не полагаете ли вы, что къ нему долженъ быть присоединенъ небольшой, холодный эпилогъ? Два три намека на причины, развившія въ Вертерѣ такой странный характеръ, на то, что другой молодой человѣкъ, одаренный отъ природы такими же наклонностями, долженъ остерегаться этихъ причинъ. Какъ вы думаете, могъ ли бы молодой римлянинъ или грекъ лишить себя жизни такимъ образомъ и изъ-за подобнаго повода? Конечно нѣтъ. Греки и римляне совершенно иначе умѣли предохранять себя отъ увлеченій любви; и во время Сократа, подобную ἐξ ἔσοτος κατόχη, которая побуждаетъ τι τολμάν παρα φῦσιν, едва ли простили бы даже дѣвочкѣ. Порождать такихъ оригиналовъ мелко великихъ, ничтожно цѣнныхъ, было предоставлено только аскетическому воспитанію, которое такъ прекрасно умѣетъ превратить тѣлесную потребность въ духовное совершенство. Итакъ, милый Гёте, еще главку для окончанія, и чѣмъ циничнѣе, тѣмъ лучше».

И другъ Николаи дѣйствительно подарилъ намъ измѣненнаго по этимъ указаніямъ Вертера. Въ этой редакціи герой не убиваетъ себя, но только обагряется куриною кровью, потому что пистолетъ вмѣсто свинца былъ заряженъ только кровянымъ пузыремъ. Вертеръ становится смѣшнымъ, остается въ живыхъ, женится на Шарлотѣ, словомъ, кончаетъ еще трагичнѣе, чѣмъ въ Гётевомъ подлинникѣ.

«Всеобщая Нѣмецкая Библіотека» назывался журналъ, который основалъ Николаи, и въ которомъ онъ и друзья его боролись съ суевѣріемъ, іезуитами, придворными лакеями и проч. Нельзя отрицать, что не одинъ ударъ, направленный противъ суевѣрія, попалъ, по несчастью, въ поэзію. Такъ, напр., Николаи возставалъ противъ возникавшей страсти къ древне-нѣмецкой народной поэзіи. Но въ сущности онъ опять-таки былъ правъ; эти пѣсни, при всѣхъ ихъ достоинствахъ, содержали въ себѣ, однако, много воспоминаній, неудобныхъ именно для того времени: эти старые звуки средневѣковыхъ пастушескихъ свирѣлей могли снова заманить народъ въ хлѣвы увлеченія прошедшимъ. Подобно Улиссу, Николаи пытался заткнуть своимъ собратіямъ уши, чтобы они не слыхали пѣнія сиренъ, не соображая, что черезъ это они сдѣлаются глухи и къ невиннымъ пѣснямъ соловья. Чтобы радикально очистить почву настоящаго отъ старыхъ плевелъ, этотъ практическій человѣкъ не стѣснялся вырывать съ корнями и цвѣты За это противъ него возстала *самымъ враждебнымъ* образомъ партія цвѣтовъ и соловьевъ

и все, что принадлежитъ къ этой партіи: красота, грація, остроуміе и шутка—и бѣдный Николаи палъ.

Теперь обстоятельства перемѣнились въ Германіи, и партія цвѣтовъ и соловьевъ тѣсно связана съ революціей. Будущность принадлежитъ намъ, и уже занимается заря побѣды. Если когда-либо ея свѣтлый день обольетъ своими лучами все наше отечество, мы вспомнимъ тогда и усопшихъ; конечно, вспомнимъ и тебя, старый Николаи, бѣдный мученикъ разума! Мы отнесемъ твой прахъ въ германскій пантеонъ, окруживъ саркофагъ ликующимъ торжественнымъ шествіемъ въ сопровожденіи хора музыкантовъ, между духовыми инструментами которыхъ не будетъ ни одной свистящей дудки; мы возложимъ на твою гробницу самый приличный лавровый вѣнокъ и употребимъ всѣ усилія, чтобы не смѣяться при этомъ.

Желая дать понятіе о положеніи философіи и религіи того времени, я долженъ упомянуть здѣсь и о мыслителяхъ, трудившихся въ Берлинѣ болѣе или менѣе въ сообществѣ съ Николаи и составлявшихъ какъ бы juste-milieu между философами и беллетристами. У нихъ не было опредѣленной системы, но была только опредѣленная тенденція. Они сходны съ англійскими моралистами по стилю и конечнымъ выводамъ. Они пишутъ безъ соблюденія научно-строгой формы, и нравственное сознаніе—единственный источникъ ихъ познаній. Ихъ тенденція совершенно одинакова съ тою, которую мы находимъ у французскихъ филантроповъ. Въ религіи они раціоналисты. Въ политикѣ они космополиты. Въ морали они люди благородные, добродѣтельные, строгіе къ самимъ себѣ, снисходительные къ другимъ. По таланту, замѣчательнѣе всѣхъ прочихъ Мендельсонъ, Зульцеръ, Абтъ, Морицъ, Гарве, Энгель и Бистеръ. Морица я предпочитаю всѣмъ. Онъ много сдѣлалъ въ опытной психологіи. Онъ обладалъ драгоцѣнною наивностью, мало понятою его друзьями. Его біографія—одинъ изъ важнѣйшихъ памятниковъ того времени. Но Мендельсонъ имѣетъ, въ сравненіи со всѣми прочими, гораздо болѣе важное общественное значеніе. Онъ былъ реформаторомъ нѣмецкихъ евреевъ, своихъ единовѣр-

ъ разрушилъ авторитетъ Талмуда, онъ основалъ
озаизмъ. Этотъ человѣкъ, котораго современники
нѣмецкимъ Сократомъ и къ которому они относи-
кимъ почтительнымъ изумленіемъ за благородство
и силу ума, былъ сынъ бѣднаго сторожа дессауской
Кромѣ этого низкаго происхожденія, Провидѣніе

дало ему еще горбъ, какъ бы въ рѣзкое поученіе черни, что о человѣкѣ должно судить по его внутреннему достоинству, а не по наружности. Или, можетъ-быть, Провидѣніе дало ему горбъ именно съ доброю цѣлью, для того, чтобы онъ разныя несправедливости черни приписывалъ физическому несчастью, въ которомъ мудрецъ можетъ легко утѣшиться?

Какъ Лютеръ поборолъ папизмъ, такъ Мендельсонъ ниспровергнулъ талмудъ, и даже тѣмъ же пріемомъ, т. е. отклонивъ преданіе, объявивъ источникомъ религіи Библію и переведя изъ нея главнѣйшую часть. Этимъ онъ разрушилъ еврейскій католицизмъ, какъ Лютеръ—католицизмъ христіанскій. Талмудъ дѣйствительно есть католицизмъ евреевъ. Это готическій храмъ, правда, обремененный ребяческими украшеніями, но тѣмъ не менѣе удивляющій насъ своею необычайно смѣлою колоссальностью. Это іерархія религіозныхъ законовъ, которые нерѣдко касаются самыхъ мелкихъ, самыхъ смѣшныхъ тонкостей, но такъ искусно положенныхъ другъ на друга, или другъ подъ друга, что онѣ взаимно поддерживаются и дѣйствуютъ вмѣстѣ съ такою страшною послѣдовательностью, что изъ нихъ образуется колоссальное, ужасающе грозное цѣлое.

За паденіемъ католицизма христіанскаго должно было послѣдовать паденіе еврейскаго, талмуда. Ибо съ тѣхъ поръ талмудъ потерялъ свое значеніе; онъ служилъ только обороною противъ Рима, и ему евреи обязаны тѣмъ, что могли устоять противъ христіанскаго Рима такъ же геройски, какъ нѣкогда противъ Рима языческаго. И они не только устояли, но и побѣдили... Какъ нѣкогда Римъ языческій, такъ теперь Римъ католическій былъ побѣжденъ, и этотъ послѣдній даже сдѣлался данникомъ евреевъ. Если пожелаешь, любезный читатель, отправиться въ первыхъ числахъ трехмѣсячія въ улицу Лафита, въ домъ № 15, то увидишь, какъ передъ высокимъ крыльцомъ остановится тяжелая карета, изъ которой выйдетъ плотный человѣкъ. Онъ входитъ по лѣстницѣ въ маленькую комнату, гдѣ сидитъ молодой бѣлокурый человѣкъ, который, однако, старше, чѣмъ кажется, и у котораго въ гордой небрежности знатнаго барина есть, однако, нѣчто такое солидное, такое положительное, такое властное, какъ будто у него въ карманѣ лежатъ деньги цѣлаго міра. И дѣйствительно, деньги цѣлаго міра у него въ карманѣ, и зовутъ его monsieur Джемсъ де-Ротшильдъ, а плотный человѣкъ—монсиньоръ Гримбальди, посланецъ его святѣйшества

папы, и онъ вноситъ отъ его имени проценты римскаго займа—римскую дань.

На что же годится теперь талмудъ?

Поэтому Моисей Мендельсонъ заслуживаетъ великихъ похвалъ за разрушеніе этого еврейскаго католицизма, по крайней мѣрѣ въ Германіи. Что излишне, то вредно. Отвергнувъ преданіе, онъ старался, однако, удержать, какъ религіозную обязанность, обрядовые законы Моисея. Было это трусостью или благоразуміемъ? Скорбная ли любовь потомка воспрепятствовала ему наложить разрушительную руку на предметы, которые были священнѣе всего его предкамъ и за которые пролито столько мученической крови и мученическихъ слезъ? Не думаю. Какъ цари матеріи, такъ и цари духа должны быть неумолимы относительно семейныхъ чувствъ; на тронѣ мысли тоже не слѣдуетъ поддаваться никакимъ нѣжнымъ сентиментальностямъ. Я поэтому скорѣе полагаю, что Моисей Мендельсонъ видѣлъ въ чистомъ мозаизмѣ учрежденіе, которое служитъ деизму какъ бы послѣднимъ оплотомъ; ибо деизмъ былъ самымъ задушевнымъ его вѣрованіемъ и самымъ глубокимъ убѣжденіемъ. Когда умеръ другъ его Лессингъ, и его обвинили въ спинозизмѣ, Мендельсонъ защищалъ его съ самымъ тревожнымъ усердіемъ, и при этомъ случаѣ такъ разсердился, что умеръ.

Я уже второй разъ произнесъ здѣсь имя, которое ни одинъ нѣмецъ не можетъ произнесть безъ того, чтобъ не услышать въ своей груди болѣе или менѣе звучнаго отголоска. Но со времени Лютера Германія и не произвела болѣе великаго и достойнаго, какъ Богданъ Евфраимъ Лессингъ. Оба эти человѣка—наша гордость и наша радость. Въ бѣдствіяхъ настоящаго, мы возводимъ взоры наши къ ихъ утѣшительнымъ образамъ и читаемъ въ ихъ глазахъ блестящія обѣщанія. Да, придетъ третій человѣкъ, который докончитъ то, что началъ Лютеръ, что продолжалъ Лессингъ, и въ которомъ такъ нуждается нѣмецкое отечество—третій освободитель!.. Я уже вижу его золотой панцырь, блестящій изъ-подъ пурпурнаго императорскаго плаща, «какъ солнце изъ лучей утренней зари»!

[illegible]обно Лютеру, Лессингъ дѣйствовалъ не только тѣмъ, [illegible]вершалъ нѣчто опредѣленное, но и тѣмъ, что шевелъ нѣмецкомъ народѣ самыя сокровенныя чувства его [illegible]водилъ спасительное движеніе въ умахъ своею кри[illegible]своею полемикой. Онъ былъ живою критикой своего [illegible] и вся жизнь его была полемика. Эта критика про-

стиралась на самыя широкія области мысли и чувства, на религію, на науку, на искусство. Эта полемика ниспровергала всякаго противника и становилась крѣпче послѣ каждой побѣды. Лессингъ, какъ самъ онъ сознавался, имѣлъ потребность именно въ борьбѣ для развитія своего ума. Онъ совершенно походилъ на того баснословнаго нормана, который наслѣдовалъ дарованія, знанія и силы отъ людей, сраженныхъ имъ на поединкѣ, и такимъ путемъ пріобрѣлъ, наконецъ, всевозможныя качества и совершенства. Понятно, что такой воинственный боецъ надѣлалъ много шуму въ Германіи, въ этой тихой Германіи, въ которой тогда было еще больше субботней тишины, чѣмъ теперь. Большинство было смущено его литературною смѣлостью. Но именно эта смѣлость лучше всего ему помогла; потому что oser!—вотъ тайна удачи въ литературѣ, точно такъ же, какъ въ революціи и—въ любви. Передъ мечомъ Лессинга трепетали всѣ. Ничья голова не была обезопасена отъ его ударовъ. Да, не одинъ черепъ срубилъ онъ даже изъ капризной вспышки, и при этомъ бывалъ такъ золъ, что приподнималъ отсѣченную голову и показывалъ публикѣ, что она была внутри пуста. Кого не могъ достать его мечъ, того онъ убивалъ стрѣлами своего остроумія. Его друзья изумлялись пестротѣ перьевъ на этихъ стрѣлахъ, враги чувствовали остріе ихъ въ своемъ сердцѣ. Остроуміе Лессинга не имѣетъ сходства съ тѣмъ enjouement, съ тою gaité, съ тѣми рѣзвыми saillies, которыя знакомы Франціи. Его остроуміе было не маленькая французская левретка, гоняющаяся за своею собственною тѣнью; его остроуміе было скорѣе большой нѣмецкій котъ, который сперва поиграетъ съ мышью, а потомъ уже задушитъ ее.

Да, полемика была наслажденіемъ нашего Лессинга, и поэтому онъ никогда долго не соображалъ, былъ ли противникъ его достоинъ ея. Такимъ образомъ, именно этою полемикою онъ спасъ много именъ отъ весьма заслуженнаго забвенія. Многихъ мелкихъ писакъ онъ какъ бы сковалъ самою остроумной насмѣшкой, самымъ неоцѣненнымъ юморомъ, и они будутъ вѣчно сохраняться въ твореніяхъ Лессинга, какъ насѣкомыя, залитыя въ янтарь. Убивая своего противника, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ давалъ ему безсмертіе. Узналъ ли бы кто изъ насъ когда-либо о какомъ-нибудь Клотцѣ, на котораго Лессингъ потратилъ столько насмѣшекъ и остроумія? Громадные камни, которыми онъ раздавилъ этого бѣднаго антикварія, служатъ теперь Клотцу несокрушимымъ памятникомъ.

—

Замѣчательно, что этотъ остроумнѣйшій человѣкъ Германіи былъ и честнѣйшимъ человѣкомъ ея. Ни съ чѣмъ нельзя сравнить любовь его къ истинѣ. Лжи Лессингъ никогда не дѣлалъ ни малѣйшей уступки, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда могъ, какъ обыкновенно дѣлаютъ практики-мудрецы, ускорить этимъ побѣду истины. Онъ могъ все совершить для истины — все, только не солгать. «Тотъ, — сказалъ онъ однажды:—кто рѣшается представлять народу истину подъ всевозможными прикрасами и личинами, можетъ быть ея сводникомъ, но никогда не былъ ея любовникомъ».

Прекрасное изреченіе Бюфона: «въ стилѣ весь человѣкъ!» ни къ кому не примѣнимо такъ, какъ къ Лессингу. Его стиль совершенно тотъ же, что и характеръ его—правдивый, твердый, безъ вычуръ, прекрасный и внушающій уваженіе своею внутреннею силой. Стиль его —вполнѣ стиль римскихъ зданій: величайшая прочность соединена съ величайшей простотой; періоды лежатъ одинъ на другомъ, какъ каменныя плиты, и какъ въ тѣхъ древнихъ зданіяхъ невидимымъ связующимъ средствомъ служилъ законъ тяжести, такъ въ этихъ періодахъ это средство заключается въ логической послѣдовательности. Отсюда въ прозѣ Лессинга такъ мало тѣхъ побочныхъ словъ и хитросплетенныхъ оборотовъ, которые мы употребляемъ при постройкѣ нашихъ періодовъ въ видѣ цемента. Еще рѣже встрѣчаются въ ней тѣ каріатиды мысли, которыя вы называете la belle phrase.

Что такой человѣкъ, какъ Лессингъ, никогда не могъ быть счастливъ, это вы легко поймете. И если бы даже онъ не любилъ истины, и если бы добровольно не отстаивалъ ее всюду, ему все-таки пришлось бы быть несчастнымъ; потому что онъ былъ геній. «Вамъ простятъ все,—говорилъ недавно одинъ вздыхающій поэтъ: — простятъ богатство, простятъ знатность, простятъ красоту, простятъ даже дарованіе, но будутъ неумолимы къ генію. И—увы!—если на него и не обрушится злоба извнѣ, онъ тѣмъ не менѣе найдетъ въ самомъ себѣ врага, готовящаго ему погибель. Вотъ почему исторія великихъ людей всегда мученическая легенда; если они не страдали за великое человѣчество, то страдали
собственное величіе, за широту въ образѣ жизни,
тствіе филистерства, за отвращеніе къ тщеславной
и, улыбающейся дрянности всего окружающаго—
очіе, естественно доводящее ихъ до крайнихъ увле-
примѣръ, средою актеровъ или даже игорнымъ до-
къ случилось съ бѣднымъ Лессингомъ.

Но ни въ чемъ другомъ клеветники не могутъ упрекнуть его, и изъ его біографіи мы узнаемъ, что красивыя актрисы тѣшили его лучше гамбургскихъ пасторовъ, а безмолвныя карты занимали больше болтливыхъ вольфіанцевъ.

Сердце разрывается, когда читаешь въ этой біографіи, какъ судьба отказала этому человѣку и во всѣхъ радостяхъ и даже не дала ему отдохнуть отъ ежедневныхъ бореній въ тихой семейной жизни. Разъ только судьба, повидимому, хотѣла ему улыбнуться: она дала ему любимую жену, ребенка, но это счастіе было лучомъ солнца, позолотившаго крыло улетающей птички, оно пролетѣло также быстро, жена умерла послѣ родовъ, а дитя—черезъ нѣсколько часовъ по рожденіи, и объ этомъ ребенкѣ онъ написалъ одному изъ друзей своихъ слѣдующія ужасающе остроумныя строки:

«Радость моя была непродолжительна. Я потерялъ съ великимъ сожалѣніемъ этого сына! Онъ былъ такъ уменъ! такъ уменъ!.. Не думай, чтобы въ нѣсколько короткихъ часовъ моего пребыванія отцомъ, я сдѣлался похожимъ на всѣхъ отцовъ! Я знаю, что говорю... Развѣ то было въ немъ не доказательство ума, что онъ далъ себя вывести на свѣтъ только желѣзными щипцами? Что онъ такъ скоро замѣтилъ гадость нашего общества?.. Развѣ не доказательство ума, что онъ воспользовался первымъ случаемъ изъ него выйти?.. Я хотѣлъ быть хоть разъ счастливымъ, какъ другіе. Но это не удалось мнѣ...»

Было несчастіе, на которое Лессингъ никогда не жаловался своимъ друзьямъ; то было его страшное одиночество, его умственное уединеніе. Нѣкоторые изъ современниковъ любили его, но ни одинъ не понялъ. Его лучшій другъ, Мендельсонъ, съ жаромъ защищалъ его, когда онъ обвинялся въ спинозизмѣ. И защита, и жаръ были столько же смѣшны, сколько и ненужны. Успокойся въ твоей могилѣ, старый Моисей, твой Лессингъ былъ, правда, на пути къ этому ужасному заблужденію, къ этому страшному несчастію, т. е. къ спинозизму... но Всевышній, Отецъ нашъ, сущій на небесахъ, во-время спасъ его отъ этого смертью. Успокойся, твой Лессингъ не былъ спинозистомъ, какъ утверждала клевета, онъ умеръ вѣрнымъ деистомъ, какъ ты, и Николаи, и Тельеръ, и «Всеобщая Нѣмецкая Библіотека»!

Я назвалъ Лессинга продолжателемъ Лютера, и въ этомъ собственно отношеніи буду о немъ говорить здѣсь. Его значеніе для нѣмецкаго искусства я покажу въ другомъ мѣстѣ. Пусть онъ совершилъ спасительное преобразованіе не только

своею критикой, но еще и своимъ примѣромъ, и эта сторона его дѣятельности обыкновенно всего чаще выставляется на показъ и освѣщается. Но мы смотримъ на него съ другой точки зрѣнія, и его философскія и теологическія войны для насъ важнѣе, чѣмъ его «Драматургія» и его драмы. Однако, эти послѣднія, какъ и всѣ его произведенія, имѣютъ соціальное значеніе, и «Натанъ Мудрый» не только въ сущности хорошая комедія, но также философско-теологическій трактатъ въ защиту чистаго деизма. Искусство было для Лессинга тоже трибуной, и когда его сгоняли съ церковной или академической каѳедры, онъ устремлялся на сцену, говорилъ тамъ еще яснѣе и пріобрѣталъ еще болѣе многочисленную публику.

Говорю, что Лессингъ продолжалъ Лютера. Послѣ того, какъ Лютеръ освободилъ насъ отъ преданія и возвысилъ Библію на степень единственнаго источника христіанства, возникло, о чемъ я уже разсказалъ, сухое поклоненіе буквѣ, и эта буква Библіи господствовала такъ же безусловно, какъ нѣкогда преданіе. Освобожденію отъ этой буквы всего болѣе способствовалъ Лессингъ. Какъ Лютеръ также не былъ единственнымъ бойцомъ противъ преданія, такъ и Лессингъ, также не одинъ, но мужественнѣе всѣхъ ратовалъ противъ буквы. Тутъ его боевой голосъ раздается звучнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Тутъ наирадостнѣе размахиваетъ онъ своимъ мечомъ, и этотъ мечъ блещетъ и поражаетъ. Но въ то же время здѣсь Лессингъ болѣе всего стѣсненъ черной фалангой, и въ такомъ стѣснительномъ положеніи онъ воскликнулъ однажды:

«O sancta simplicitas!... Но я еще не тамъ, гдѣ добрый человѣкъ, произнесшій эти слова, не могъ уже болѣе произнесть никакихъ другихъ. (Гуссъ воскликнулъ ихъ на кострѣ).

Только тотъ пусть слышитъ насъ, только тотъ пусть судитъ о насъ, кто и умѣетъ, и желаетъ слышать и судить!

«О, если бы это возможно было для *него*, для него, котораго я желалъ бы имѣть своимъ судьею больше, чѣмъ кого бы то ни было!.. Лютеръ, ты!.. Великій непризнанный человѣкъ! И никѣмъ непризнанный такъ сильно, какъ тѣми [illegible]орукими упрямцами, которые съ твоими туфлями въ [illegible]ъ тащатся, крича и вопя, но равнодушно, по проложенной тобою дорогѣ!.. Ты освободилъ насъ отъ ига традиціи; [illegible] освободитъ насъ отъ невыносимаго ига буквы? Кто, [illegible]ецъ, принесетъ намъ, нѣмцамъ, такое христіанство, [illegible]проповѣдывалъ бы самъ Христосъ?»

Да, утверждалъ Лессингъ, только по уничтоженіи мертвой буквы выйдетъ наружу духъ. Но этотъ духъ есть не что иное, какъ то, что старались доказать вольфіанскіе философы, что чувствовали въ душѣ филантропы, что Мендельсонъ нашелъ въ мозаизмѣ, что пѣли франмасоны, что свистѣли поэты, что въ ту пору заявляло себя въ Германіи подъ всяческими формами—чистый деизмъ.

Лессингъ умеръ въ Брауншвейгѣ, въ 1781 году, непризнанный, ненавидимый и оклеветанный. Въ томъ же году явилась въ Кенигсбергѣ «Критика чистаго разума», Эммануила Канта. Съ этою книгой, которая, по странному замедленію, сдѣлалась извѣстною всей публикѣ только въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ, начинается въ Германіи умственная революція, представляющая самую странную аналогію съ матеріальной революціей во Франціи, и въ глазахъ болѣе глубокаго мыслителя долженствующая быть не менѣе важною, чѣмъ эта послѣдняя. Она развивается въ одинаковыхъ съ первою фазахъ, и между этими двумя революціями существуетъ самый замѣчательный параллелизмъ. На обоихъ берегахъ Рейна мы видимъ одинаковый разрывъ съ прошедшимъ, традиція теряетъ всякое уваженіе, какъ здѣсь во Франціи всякое право, такъ тамъ въ Германіи всякая мысль вынуждены оправдываться, и какъ здѣсь падаетъ королевская власть, основной камень стараго общественнаго порядка, такъ тамъ рушится деизмъ, основной камень прежняго умственнаго режима.

Объ этой катастрофѣ, объ этомъ 21 января деизма, мы будемъ говорить въ слѣдующей книгѣ. Какой-то особенный страхъ, таинственное, благочестивое почтеніе не позволяетъ намъ сегодня писать дальше. Наша грудь полна ужаснаго состраданья. . . . . .

. . . . . .

Слышите вы звонъ колокольчиковъ? Преклоните колѣни... Это несутъ св. Дары умирающему...

КНИГА ТРЕТЬЯ.

Есть легенда, что одному англійскому механику, уже придумавшему самыя остроумныя машины, вздумалось, наконецъ, сработать человѣка; и онъ успѣлъ въ этомъ, дѣло рукъ его ло двигаться и дѣйствовать совершенно, какъ человѣкъ; носило въ кожаной груди даже нѣчто въ родѣ чело-

вѣческаго чувства, не весьма отличавшагося отъ обыкновенныхъ чувствъ англичанъ; оно могло передавать членораздѣльными звуками свои ощущенія, слышавшійся тогда внутренній шумъ колесъ, пружинъ и рычаговъ придавалъ этимъ звукамъ настоящій англійскій выговоръ; однимъ словомъ, этотъ автоматъ былъ совершенный джентльменъ, и чтобы сдѣлаться вполнѣ человѣкомъ, ему не доставало — только души. Но эту душу англійскій механикъ не могъ вложить въ него, и бѣдное созданіе, сознавъ такое несовершенство, денно и нощно мучило своего творца просьбою дать ему душу. Эта просьба, становившаяся съ каждымъ днемъ неотступнѣе, наконецъ, сдѣлалась бѣдному художнику до такой степени невыносимою, что онъ убѣжалъ отъ своего собственнаго произведенія. Но автоматъ тотчасъ же беретъ почтовыхъ лошадей, преслѣдуетъ его на материкѣ, неотступно ѣздитъ вслѣдъ за нимъ, иногда ловитъ, и тогда скрипитъ и визжитъ: Give me a soul! Эти двѣ фигуры мы встрѣчаемъ теперь во всѣхъ странахъ, и только тотъ, кто знаетъ ихъ исключительное положеніе, пойметъ ихъ странную суетливость и тревожное недовольство. Но когда это исключительное положеніе уже извѣстно, то въ немъ находишь нѣчто общее; видишь, какъ одной части англійскаго общества надоѣло ея механическое существованіе, и она требуетъ души, тогда какъ другая, изъ боязни такого требованія, мечется во всѣ стороны; но и для первой, и для второй невыносимо оставаться у себя дома.

Это ужасная исторія. Страшное дѣло, когда созданныя нами тѣла требуютъ отъ насъ душу. Но еще ужаснѣе, страшнѣе, когда вы создали душу, и она требуетъ отъ васъ тѣла, и преслѣдуетъ васъ этимъ требованіемъ. Мысль, порожденная нами въ нашемъ умѣ, есть такая душа, и она не оставляетъ насъ въ покоѣ, пока мы не дадимъ ей тѣла, пока не осуществимъ ея въ осязаемомъ явленіи. Мысль стремится стать дѣломъ, слово хочетъ стать плотью, и удивительно! человѣку стоитъ лишь выразить свою мысль—и создается, возникаетъ свѣтъ или тьма, воды отдѣляются отъ суши, или даже появляются хищные звѣри. Міръ есть внѣшнее

еніе слова.

ѣтьте себѣ это вы, гордые люди дѣла. Вы не что иное,
езсознательные работники людей мысли, которые часто
нѣйшей тишинѣ начертываютъ вамъ самый опре-
планъ вашихъ дѣйствій. Максимиліанъ Робес-
ь не что иное, какъ рука Жанъ-Жака Руссо, кро-

вавая рука, вытащившая изъ нѣдръ времени тѣло, котораго душу создалъ Руссо. Тревожная тоска, отравлявшая жизнь Руссо, происходила, можетъ-быть, отъ того, что онъ уже предчувствовалъ, какой акушеръ понадобится для тѣлесныхъ родовъ его мысли!

Старый Фонтенель былъ, можетъ-быть, правъ, когда говорилъ: «Если бы я сжималъ въ моей рукѣ всѣ мысли здѣшняго міра, то поостерегся бы раскрыть ее». Я же думаю совершенно иначе. Если бы я держалъ въ рукѣ всѣ мысли этого міра, я, можетъ-быть, попросилъ бы васъ немедленно отсѣчь эту руку; ни въ какомъ случаѣ я не держалъ бы ее сжатою такъ долго. Я не рожденъ быть тюремщикомъ мыслей. Видитъ Богъ! я всегда выпускалъ ихъ на волю. Пусть воплощаются онѣ въ самыя опасныя явленія, пусть бурно проносятся по всѣмъ странамъ, какъ неистовая вакханалія, пусть своими тирсами разбиваютъ самые невинные наши цвѣты, пусть вломятся въ наши больницы и насильственно совлекутъ съ одра больной старый міръ — сердце мое, конечно, очень огорчится, и самъ я понесу оттого вредъ. Потому что,—увы!—я вѣдь самъ тоже принадлежу къ этому больному старому міру, и справедливо говоритъ поэтъ: сколько ни смѣйся надъ своими костылями, лучше ходить оттого не станешь. Я боленъ сильнѣе всѣхъ васъ и тѣмъ болѣе достоинъ сожалѣнія, что знаю, что̀ такое здоровье. Вы же этого не знаете, вы, завидные люди! Вы способны умереть, даже не замѣтивъ того. Да, многіе изъ васъ давно уже умерли и утверждаютъ, что именно только теперь начинается ихъ настоящая жизнь. Когда я возстаю противъ такого безумія, на меня сердятся, меня бранятъ и, страшное дѣло! трупы подскакиваютъ ко мнѣ и оскорбляютъ меня, и еще болѣе, чѣмъ ихъ ругательства, непріятенъ для меня ихъ гнилой запахъ. Прочь, привидѣнія! Я буду говорить теперь о человѣкѣ, одно имя котораго имѣетъ силу заклинанія—я буду говорить объ Эммануилѣ Кантѣ.

Говорятъ, что ночные духи пугаются, когда увидятъ сѣкиру палача. Какой же испугъ долженъ объять ихъ, когда имъ поднесутъ Кантову «Критику чистаго разума»! Эта книга—мечъ, которымъ казненъ былъ въ Германіи деизмъ.

Поистинѣ, вы, французы, были въ сравненіи съ нами, нѣмцами, смирны и умѣренны. Самое бо̀льшее, что̀ вы могли сдѣлать, это — умертвить вашего Людовика XVI, да и онъ уже потерялъ голову прежде, чѣмъ вы отсѣкли ее. И при этомъ вамъ приходилось столько барабанить и кричать,

и топать ногами, что весь земной шаръ трясся. Въ самомъ дѣлѣ, Максимиліану Робеспьеру дѣлаютъ слишкомъ много чести, сравнивая его съ Эммануиломъ Кантомъ. У Максимиліана Робеспьера, великаго мѣщанина улицы Сентъ-Оноре, конечно, являлись припадки бѣшеной маніи разрушенія, когда шелъ вопросъ о королевской власти, и въ это время онъ довольно страшно бился въ своей цареубійственной эпилепсіи; но какъ только заходила рѣчь о Верховномъ Существѣ, онъ обтиралъ пѣну, бѣлѣвшую на его губахъ, умывалъ свои окровавленныя руки, надѣвалъ праздничный голубой кафтанъ съ зеркальными пуговицами и еще сверхъ того прикалывалъ пучокъ цвѣтовъ къ своему широкому камзолу.

Исторію жизни Эммануила Канта написать трудно. Потому что у него не было ни жизни, ни исторіи. Онъ жилъ механически правильною, почти отвлеченною жизнью холостяка, въ тихой отдаленной улицѣ Кенигсберга, стариннаго города на сѣверо-восточной нѣмецкой границѣ. Не думаю, чтобы большіе часы тамошняго собора исполняли свое ежедневное дѣло съ меньшею страстностью и съ большею правильностью, чѣмъ это дѣлалъ ихъ землякъ, Эммануилъ Кантъ. Встать, выпить кофе, писать, прочесть свою лекцію, пообѣдать, прогуляться — все это совершалось въ опредѣленный часъ, и сосѣди навѣрное знали, что было половина четвертаго, когда Эммануилъ Кантъ въ своемъ сѣромъ сюртукѣ, съ тросточкой въ рукѣ, выходилъ изъ дома и направлялся къ небольшой липовой аллеѣ, которую еще и теперь называютъ, въ память его, аллеей философа. Онъ проходилъ ее восемь разъ взадъ и впередъ во всякое время года, а когда было пасмурно, или сѣрыя тучи предвѣщали дождь, его слуга, старый Лампе, бдительно и тревожно слѣдовалъ за нимъ, съ зонтикомъ подъ мышкой, точно изображеніе бдящаго Промысла.

Странная противоположность между внѣшнею жизнью этого человѣка и его разрушительными міросокрушительными мыслями. Въ самомъ дѣлѣ, если-бъ кенигсбергскіе граждане чуяли все значеніе этихъ мыслей, они ощущали бы ъ этимъ человѣкомъ содроганіе болѣе ужасное, чѣмъ идѣ палача, палача, умерщвляющаго только людей... бряки всегда видѣли въ немъ только профессора офіи, и когда онъ проходилъ мимо нихъ въ урочное они дружески ему кланялись и повѣряли на немъ сы.

Но если Эммануилъ Кантъ, этотъ великій разрушитель въ области мысли, далеко превзошелъ терроризмомъ Максимиліана Робеспьера, то онъ все-таки имѣетъ съ нимъ нѣкоторое сходство, вызывающее сравненіе между этими двумя личностями. Прежде всего мы находимъ въ обоихъ одну и ту же непреклонную, рѣзкую, лишенную всякой поэзіи, трезвую честность. Затѣмъ, въ обоихъ одинаковый даръ недовѣрчивости, только одинъ обращаетъ его противъ идей и называетъ критикой, другой примѣняетъ къ людямъ и называетъ республиканскою доблестью. Но оба представляютъ собой въ высшей степени типъ бюргерскаго мѣщанства — природа предназначила обоихъ вѣшать кофе и сахаръ; но рокъ сулилъ имъ держать другіе вѣсы...

И они взвѣсили правильно.

«Критика чистаго разума»—главное произведеніе Канта, и поэтому мы должны предпочтительно заняться ею. Ни одно изъ его сочиненій не имѣетъ такой великой важности. Эта книга, какъ я уже сказалъ, явилась въ 1781 году, но стала общеизвѣстна только въ 1789 г. Сначала ее совсѣмъ не замѣтили, появились только два незначительныхъ объявленія о ней, и лишь позднѣе, статьями Шютца, Шульца и Рейнгольда вниманіе публики было привлечено на эту великую книгу. Такое позднее признаніе слѣдуетъ приписать неупотребительной формѣ и дурному слогу сочиненія. Въ отношеніи слога Кантъ, болѣе всякаго другого философа, заслуживаетъ порицанія, тѣмъ болѣе, когда сравнимъ съ прежнимъ его, болѣе удовлетворительнымъ, слогомъ. Недавно изданное собраніе его мелкихъ сочиненій содержитъ первые опыты, и мы удивляемся въ нихъ хорошей, иногда весьма остроумной, манерѣ писанія. Эти мелкія статьи онъ легко набрасывалъ въ то время, когда уже разрабатывалъ въ головѣ свое великое произведеніе. Въ нихъ онъ улыбается, какъ солдатъ, спокойно вооружающійся для битвы съ увѣренностью въ побѣдѣ. Особенно замѣчательны между этими мелкими произведеніями: «Всеобщая естественная исторія и Теорія неба», написаннаго уже въ 1755 г., «Наблюденія надъ чувствомъ прекраснаго и возвышеннаго», написанное десять лѣтъ спустя такъ же, какъ и «Сны духовидца», исполненное веселаго остроумія, наподобіе французскихъ essais. Остроуміе Канта, какимъ оно является въ этихъ статейкахъ, отличается чѣмъ-то крайне своеобразнымъ. Острота цѣпляется въ немъ за мысль и, несмотря на свою слабость, достигаетъ такимъ образомъ пріятной высоты. Безъ

подобной поддержки не могло бы, конечно, преуспѣть даже самое богатое остроуміе; какъ виноградной лозѣ безъ подпорки, ему пришлось бы печально ползти по землѣ и гнить въ ней съ своими драгоцѣннѣйшими плодами.

Но зачѣмъ Кантъ написалъ свою «Критику чистаго разума» слогомъ такимъ сѣрымъ, сухимъ, оберточнобумажнымъ? Полагаю, что, отбросивъ математическую форму Декарто-Лейбнице-Вольфіанцевъ, онъ боялся, чтобы наука не потеряла отчасти достоинства своего, выражаясь легкимъ, привѣтливо свѣтлымъ тономъ. Поэтому онъ придалъ ему жесткую, отвлеченную форму, холодно отталкивавшую всякую интимность съ умами низшаго разряда. Онъ хотѣлъ горделиво отдѣлиться отъ тогдашнихъ популярныхъ философовъ, стремившихся къ самой мѣщанской ясности, и облекъ свои мысли въ чиновнически холодный канцелярскій языкъ. Тутъ-то вполнѣ проявляется филистеръ. Но, можетъ-быть, также, что для тщательно размѣреннаго хода своихъ идей Кантъ нуждался и въ языкѣ тщательно размѣренномъ, и не былъ въ состояніи создать лучшаго. Только геній находитъ для новой идеи и новое слово. Но Эммануилъ Кантъ не былъ геніемъ. Сознавая въ себѣ этотъ недостатокъ, Кантъ, точно такъ же, какъ добрый Максиміліанъ, былъ тѣмъ недовѣрчивѣе къ геніальности, и въ своей «Критикѣ силы сужденія» дошелъ даже до утвержденія, что генію въ наукѣ создавать нечего, что его дѣятельность относится къ области искусства.

Тяжелымъ, неповоротливымъ слогомъ главнаго своего произведенія Кантъ причинилъ много вреда. Бездарные подражатели переняли эту внѣшнюю форму, и у насъ возникло нелѣпое убѣжденіе, будто бы нельзя быть философомъ, коли пишешь изящно. Математическая форма, однако, не могла уже, послѣ Канта, вновь появиться въ философіи. Этой формѣ онъ въ «Критикѣ чистаго разума» безжалостно нанесъ смертельный ударъ. Математическая форма — говорилъ онъ — порождаетъ въ философіи только карточные домики, равно какъ философская форма въ математикѣ порождаетъ одну болтовню. Ибо въ философіи не можетъ быть такихъ опредѣленій, какъ въ математикѣ, гдѣ опредѣленія не дис-
чны, но интуитивны, то-есть могутъ быть доказаны на-
то, что̀ называютъ опредѣленіями въ философіи,
ся только предположительно, въ видѣ попытки; собо-
о правильное опредѣленіе является лишь въ концѣ,
зультатъ.
же философы такъ пристрастны къ математиче-

ской формѣ? Это пристрастіе начинается уже со временъ Пиѳагора, обозначившаго начала вещей числами. То была мысль геніальная. Изъ числа исключено все осязательное и конечное, и все-таки число означаетъ нѣчто опредѣленное и отношеніе этого предмета къ другому чему-то опредѣленному, которое, если оно обозначено тоже числомъ, принимаетъ тотъ же характеръ неосязательности и безконечности. Въ этомъ число сходствуетъ съ идеями, имѣющими тотъ же характеръ и то же взаимное отношеніе. Можно очень вѣрно выразить числами идеи, какими онѣ являются въ нашемъ умѣ и въ природѣ; но число всегда вѣдь остается только изобразительнымъ знакомъ идеи, а не самою идеею. Учитель еще сознаетъ это различіе, но ученикъ его забываетъ и передаетъ слѣдующимъ за нимъ ученикамъ только числовые іероглифы, мертвыя цифры, живого значенія которыхъ никто уже не понимаетъ и которыя механически повторяются съ гордостью школьника. Это замѣчаніе примѣняется также и къ остальнымъ элементамъ математической формы. Духовное, въ своей вѣчной подвижности, не допускаетъ никакой фиксировки, оно такъ же мало дозволяетъ фиксировать себя линіями, треугольниками, квадратами и кругами, какъ и числами. Мысль не можетъ быть ни исчислена, ни измѣрена.

Такъ какъ задача моя состоитъ главнымъ образомъ въ облегченіи для Франціи изученія нѣмецкой философіи, то я всегда наиболѣе касаюсь этихъ внѣшнихъ трудностей, легко пугающихъ иноземца, когда его о томъ не предупредили. Литераторовъ, которые пожелали бы обработать Канта для французской публики, я особенно предваряю, что они могутъ откинуть изъ его философіи ту часть, которая служитъ для опроверженія нелѣпостей философіи Вольфа. Эта, повсюду проглядывающая полемика, лишь сбила бы съ толку французовъ, безъ всякой для нихъ пользы. Какъ я слышалъ, г. докторъ Шенъ, нѣмецкій ученый въ Парижѣ, занятъ французскимъ изданіемъ Канта. О философскихъ воззрѣніяхъ его я слишкомъ хорошаго мнѣнія для того, чтобы обратить и къ нему вышесдѣланное указаніе, и ожидаю отъ него столько же полезной, сколько важной книги.

«Критика чистаго разума», какъ я уже сказалъ, главное произведеніе Канта, и прочія его сочиненія можно въ нѣкоторой степени обойти, или, по крайней мѣрѣ, считать ихъ только комментаріями. О соціальной важности этого *главнаго творенія можно* будетъ судить изъ послѣдующаго.

Философы, предшествовавшіе Канту, правда, также размышляли о происхожденіи нашихъ познаній, и слѣдовали, какъ мы видѣли, по двумъ различнымъ путямъ, смотря потому, какъ принимали они идеи, a priori или a posteriori; но самою способностью познаванія, объемомъ и предѣлами этой способности нашей они занимались менѣе. Эту задачу принялъ на себя Кантъ; онъ подвергъ нашу способность познаванія безпощадному изслѣдованію, онъ измѣрилъ всю глубину этой способности и обозначилъ всѣ ея предѣлы. Тутъ онъ, правда, нашелъ, что многаго, съ чѣмъ мы считали себя очень близко знакомыми, мы рѣшительно знать не можемъ. Это было очень досадно. Но всегда вѣдь было полезно узнать, чего именно никакъ не можемъ мы знать. Предостерегающій насъ отъ безполезной дороги оказываетъ намъ такую же услугу, какъ тотъ, кто намъ указываетъ настоящій путь. Кантъ доказалъ намъ, что о предметахъ, каковы они сами въ себѣ и сами по себѣ, мы ничего не знаемъ, а знаемъ лишь настолько, насколько они отражаются въ нашемъ умѣ. Такимъ образомъ, мы совершенно сходны съ тѣми плѣнниками, о которыхъ Платонъ разсказываетъ такія печальныя вещи въ седьмой книгѣ своей «Республики». Эти несчастные, прикованные за шею и за ноги, такъ что не могутъ повернуть головы, посажены въ темницу, открытую сверху, и сверху получаютъ нѣсколько свѣта. Но этотъ свѣтъ происходитъ отъ огня, пламя котораго поднимается сзади ихъ, и притомъ отдѣлено отъ нихъ небольшою стѣной. Вдоль этой стѣны ходятъ люди, носящіе всякія статуи, деревянныя и каменныя изображенія, и говорящіе между собою. Бѣдные плѣнники не могутъ видѣть этихъ людей, которые ростомъ ниже стѣны; а отъ приносимыхъ статуй, выходящихъ изъ-за стѣны, они видятъ только тѣни, отбрасываемыя на стоящую впереди ихъ стѣну; и вотъ эти тѣни они принимаютъ за дѣйствительные предметы и, обманываемые эхомъ своей тюрьмы, полагаютъ что это разговариваютъ между собою тѣни.

Предшествовавшая философія, повсюду шарившая для собиранія обо всемъ указаній и фактовъ, которые потомъ она классифицировала, исчезла съ появленіемъ Канта, и возобновилъ изысканія въ области человѣческаго ума, алъ изслѣдовать, что̀ тамъ происходило. Не безъ осно- поэтому сравниваетъ онъ свою философію съ мето- Коперника. Въ былыя времена, когда думали, что стоитъ, а солнце *обращается* вокругъ нея, астроно-

мическія вычисленія не особенно бывали согласны между собою; тогда Коперникъ заставилъ солнце стоять неподвижно, а землю обращаться вокругъ солнца, и вмигъ все пошло отлично. Прежде разумъ, подобно солнцу, вращался вокругъ міра явленій и старался ихъ освѣщать; но Кантъ остановилъ разумъ, солнце, и міръ явленій вращается вокругъ него и освѣщается по мѣрѣ приближенія къ этому солнцу.

Этихъ немногихъ словъ, которыми я опредѣлилъ задачу Канта, достаточно, чтобы дать каждому понять, что я считаю самою важною частью, средоточіемъ его философіи, тотъ отдѣлъ его книги, гдѣ онъ говоритъ о такъ-называемыхъ феноменахъ и нуменахъ. Кантъ дѣлаетъ именно различіе между явленіями предметовъ и самими предметами. Такъ какъ мы можемъ знать предметы лишь настолько, насколько они представляются намъ въ своихъ явленіяхъ, и такъ какъ вслѣдствіе этого предметы кажутся намъ не такими, какими они существуютъ сами въ себѣ и сами по себѣ, то Кантъ назвалъ предметы, какими они намъ являются, феноменами, а предметы, каковы они сами въ себѣ, нуменами. Знать что-нибудь мы можемъ только о предметахъ, какъ феноменахъ; предметы же, какъ нумены, намъ рѣшительно неизвѣстны. Эти послѣдніе только проблематическіе: мы не можемъ сказать ни что они существуютъ, ни что не существуютъ. Да, слово ноуменъ сопоставлено съ словомъ феноменъ лишь для того, чтобы дать возможность говорить о вещахъ настолько, насколько мы познаемъ ихъ, не занимая нашего мышленія тѣми, которыя нами непознаваемы.

Итакъ, Кантъ не раздѣлялъ предметовъ, подобно другимъ учителямъ, которыхъ не хочу называть, на феномены и нумены, на вещи существующія для насъ и вещи для насъ несуществующія. Это было бы «ирландскимъ «bull» въ философіи. Онъ хотѣлъ выразить только пограничное

ту, есть ноуменъ... И Кантъ показываетъ,
уменѣ мы не можемъ знать рѣшительно
асти «Критики чистаго разума» надпи-
вслія слова: «Оставьте всякую надежду!»
тель охотно избавитъ меня отъ попу-
і этой части, гдѣ говорится о «доказа-
тивнаго разума въ пользу существованія
». Хотя обсужденіе этихъ доказательствъ
мало мѣста и собственно начинается

только во второй половинѣ книги, но оно поставлено уже здѣсь самымъ умышленнымъ образомъ... Къ этому присоединяется «Критика всей спекулятивной теологіи», и уничтожаются остальные воздушные образы декстонъ. Я долженъ замѣтить, что Кантъ, нападая на три главныхъ способа вышеупомянутыхъ доказательствъ — онтологическій, космологическій и физикотеологическій, можетъ, по моему мнѣнію, разрушить два послѣднихъ, но не первый. Я не знаю, извѣстны ли здѣсь во Франціи эти разсужденія, и потому привожу то мѣсто изъ «Критики чистаго разума», гдѣ Кантъ формулируетъ отличія этихъ способовъ другъ отъ друга:

«Возможны только три способа вывода доказательствъ бытія Божьяго изъ спекулятивнаго разума. Всѣ пути, какіе ни избирались бы для этой цѣли, или начинаются съ опредѣленнаго опыта и познанной посредствомъ его особеннаго строенія чувственнаго міра, и отсюда, по законамъ причинности, восходятъ къ высшей причинѣ внѣ міра; или они кладутъ въ основаніе только неопредѣленный опытъ, т. е. какое-нибудь бытіе; или, наконецъ, они устраняютъ всякій опытъ и совершенно a priori, только по понятіямъ, заключаютъ о существованіи высшей причины. Первое доказательство — физикотеологическое, второе — космологическое, третье — онтологическое. Больше доказательствъ нѣтъ и больше ихъ и не можетъ быть».

Послѣ многократнаго изученія главнаго труда Канта я пришелъ къ выводу, что обсужденіе вышеупомянутыхъ доказательствъ всюду проглядываетъ въ немъ, и я счелъ бы нужнымъ говорить о немъ подробнѣе, если бы не удерживало меня отъ этого религіозное чувство. Уже при встрѣчѣ съ человѣкомъ, обсуждающимъ вопросъ о бытіи Божьемъ, я ощущаю такую же особенную боязнь, такое же зловѣщее стѣсненіе въ груди, какія охватили меня однажды въ лондонскомъ Нью-Бедламѣ, когда я, будучи окруженъ исключительно сумасшедшими, потерялъ изъ виду моего провожатаго. «Богъ есть все, что есть въ мірѣ», и сомнѣніе въ Немъ есть сомнѣніе въ жизни, есть смерть.

чѣмъ болѣе заслуживаетъ хулы всякій споръ о су-
ваніи Бога, тѣмъ цѣннѣе размышленіе о природѣ
го размышленіе есть истинное богослуженіе, имъ
уша отвлекается отъ преходимаго и конечнаго и
ъ сознанія первобытной благости и вѣчной гар-
го сознаніе проникаетъ трепетомъ человѣка чув-

ства въ молитвѣ или при созерцаніи церковныхъ символовъ; мыслитель обрѣтаетъ это священное настроеніе въ примѣненіи къ дѣлу той возвышенной силы духа, которую мы называемъ разумомъ и высшая задача которой состоитъ въ изслѣдованіи свойства Бога. Особенно занимаются этою задачей съ самаго дѣтства религіозные люди, она таинственно охватываетъ ихъ уже при первыхъ движеніяхъ разума. Авторъ настоящихъ страницъ съ величайшей радостью сознаетъ въ себѣ присутствіе такой ранней, первобытной религіозности, и она никогда не оставляла его. Богъ былъ всегда началомъ и концомъ всѣхъ моихъ мыслей. Если я теперь спрашиваю: что̀ такое Богъ? какая Его природа? то уже ребенкомъ я спрашивалъ: какой внѣшній образъ у Бога? И въ ту пору я могъ по цѣлымъ днямъ смотрѣть на небо, и вечеромъ очень печалился, что никогда не посчастливилось мнѣ узрѣть всесвятой ликъ Бога, а видѣлъ я постоянно только сѣрыя, безобразныя фигуры тучъ. Совершенно сбивали меня съ толку астрономическія свѣдѣнія, отъ которыхъ не избавляли въ то время, въ періодъ «просвѣщенія», даже самыхъ маленькихъ дѣтей, и я не могъ достаточно надивиться, что всѣ эти тысячи милліоновъ звѣздъ суть такіе же большіе, прекрасные земные шары, какъ нашъ, и что всѣмъ этимъ ярко блистающимъ множествомъ правитъ только одинъ единственный Богъ. Помню, какъ однажды во снѣ я увидѣлъ Бога, совсѣмъ вверху, въ самомъ далекомъ отдаленіи. Онъ привѣтливо смотрѣлъ внизъ... и сыпалъ на землю несмѣтное количество хлѣбныхъ сѣмянъ, которыя во время своего паденія съ неба какъ бы расплывались въ безконечномъ пространствѣ, принимали громадные размѣры и, наконецъ, становились лучезарными, цвѣтущими, населенными мірами, изъ которыхъ каждый былъ такъ же великъ, какъ нашъ земной шаръ. Этотъ Божій ликъ я не могъ забыть никогда, и еще часто послѣ того видѣлъ во снѣ, какъ Господь сыпалъ на землю міровыя сѣмена; однажды мнѣ послышалось даже какъ бы кудахтанье цыплятъ, которыхъ звали поклевать этого корма. Но я могъ видѣть только одно—какъ падавшія хлѣбныя сѣмена постепенно расширялись въ огромные, блистающіе міровые шары; тѣхъ же большихъ цыплятъ, которые, быть-можетъ, стояли гдѣ-нибудь съ раскрытыми клювами, въ ожиданіи, что ихъ покормятъ посыпанными съ неба міровыми шарами, я увидѣть не могъ.

Большіе цыплята, любезный читатель, вызываютъ у тебя

улыбку. По это дѣтское представленіе не особенно разнится отъ воззрѣнія самыхъ зрѣлыхъ деистовъ. Для того, чтобы дать понятіе о существующемъ внѣ міра божествѣ, востокъ и западъ истощились на дѣтскія гиперболы. Но съ безпечностью пространства и времени фантазія деистовъ, какъ ни мучилась, не могла справиться. Тутъ обнаруживается вполнѣ ихъ безсиліе, несостоятельность ихъ міровоззрѣнія, ихъ представленія о свойствѣ Бога. Поэтому насъ не очень огорчаетъ, что эта идея была до основанія разрушена. А это горе дѣйствительно причинилъ имъ Кантъ, уничтоживъ тѣ доказательства бытія Бога, которыя приводили они.

Спасеніе доказательства онтологическаго не особенно бы помогло деизму, потому что это доказательство можетъ употреблять въ свою пользу также пантеизмъ. Для болѣе яснаго пониманія считаю нужнымъ замѣтить, что доказательство онтологическое есть то, которое выставилъ Декартъ, и которое уже задолго до него, въ средніе вѣка, высказано Ансельмомъ Кентерберійскимъ въ формѣ молитвы. Можно даже сказать, что уже св. Августинъ, во 2-й книгѣ De libero arbitrio, привелъ онтологическое доказательство.

Я воздерживаюсь, какъ уже сказано, отъ всякаго популярнаго объясненія полемики Канта противъ деистовъ. Ограничусь увѣреніемъ, что съ тѣхъ поръ деизмъ совершенно потускнѣлъ въ области спекулятивнаго разума. Для распространенія повсюду этого печальнаго извѣстія о смерти понадобится, быть-можетъ, пройти еще нѣсколькимъ столѣтіямъ; но мы уже давно надѣли трауръ. De profundis!

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Я уже сказалъ, что при своемъ появленіи «Критика чистаго разума» не произвела никакого впечатлѣнія. Лишь нѣсколько лѣтъ спустя, когда нѣкоторые проницательные философы написали объясненія этой книги, она возбудила общее вниманіе, и въ 1789 году ни о чемъ другомъ не говорили въ Германіи, какъ только о философіи Канта, и у нея тогда явились въ нескончаемомъ количествѣ комментаріи, хрестоматіи, толкованія, оцѣнки, апологіи, и проч., и проч. Довольно взглянуть на первый попавшійся подъ руку философическій каталогъ: несмѣтное число сочиненій, предметомъ которыхъ былъ тогда Кантъ, достаточно свидѣтельствуютъ объ умственномъ движеніи, возбужденномъ однимъ этимъ человѣкомъ. Въ однихъ обнаруживался ки-

пучій энтузіазмъ, въ другихъ горькая досада, во многихъ тупое ожиданіе исхода этой умственной революціи. У насъ были возмущенія въ мірѣ мысли, точно такъ же, какъ у васъ въ мірѣ матеріальномъ, и при разрушеніи стараго ученія мы горячились такъ же, какъ вы при штурмѣ Бастиліи. Оставалось, конечно, нѣсколько старыхъ инвалидовъ, защищавшихъ философію Вольфа. То была революція, и въ ней не было недостатка въ ужасахъ. Изъ партіи минувшаго, истинные христіане всего менѣе взволновались отъ этихъ ужасовъ. Они дошли даже до того, что желали еще сильнѣйшихъ, дабы мѣра переполнилась и, благодаря этому, скорѣе совершилась контръ-революція, какъ необходимая реакція. У насъ были пессимисты въ философіи, какъ у васъ въ политикѣ. Многіе изъ нашихъ пессимистовъ дошли въ своемъ самоослѣпленіи до того, что вообразили, будто Кантъ находится въ тайномъ соглашеніи съ ними и разрушилъ доводы деистовъ только для того, чтобы міръ увидѣлъ, что однимъ разумомъ невозможно достигнуть познанія и что поэтому здѣсь должны держаться религіи Откровенія.

Такой сильный толчокъ Кантъ далъ умамъ не столько содержаніемъ своихъ сочиненій, сколько господствовавшимъ въ нихъ критическимъ духомъ, который съ того времени проникъ во всѣ науки. Имъ были охвачены всѣ области, даже поэзія подпала его вліянію. Шиллеръ, напримѣръ, былъ могучимъ кантіанцемъ, и его эстетическіе взгляды пропитаны духомъ Кантовой философіи. Изящной словесности и изящнымъ искусствамъ отвлеченная сухость этой философіи принесла большой вредъ. Къ счастію, она не коснулась повареннаго искусства.

Нѣмецкій народъ нелегко приводить въ движеніе; но разъ его толкнуть по извѣстному пути, онъ пойдетъ по немъ до конца съ самымъ упорнымъ постоянствомъ. Такими мы показали себя въ дѣлахъ религіи. Такими показали мы себя и въ философіи. Будемъ ли мы также послѣдовательно подвигаться въ политикѣ?

Германія была увлечена Кантомъ на философскій путь, и философія стала національнымъ дѣломъ. Густая толпа великихъ мыслителей внезапно выросла изъ нѣмецкой почвы, словно вызванная волшебствомъ. Если для нѣмецкой философіи, какъ для французской революціи, явятся когда-либо свой Тьеръ и свой Минье, эта исторія будетъ такое же замѣчательное произведеніе, и нѣмецъ прочтетъ ее съ гордостью, а французъ—съ изумленіемъ.

Между учениками Канта рано возвысился Іоаннъ Готлибъ Фихте.

Я почти отчаиваюсь дать точное понятіе о значеніи этого человѣка. У Канта намъ приходилось разсматривать только книгу. Здѣсь же, кромѣ книги, мы должны еще принять въ соображеніе и человѣка; въ этомъ человѣкѣ мысль и настроеніе одно и то же, и въ этомъ-то величавомъ единеніи онѣ дѣйствуютъ на современный міръ. Поэтому намъ предстоитъ разобрать не только философію, но еще и характеръ, какъ бы обусловливающій ее; и для уразумѣнія ихъ вліянія, надлежало бы очертить общее состояніе той эпохи. Какая обширная задача! И насъ, конечно, вполнѣ извинятъ, если мы дадимъ здѣсь только скудныя указанія.

Уже о мысляхъ Фихте очень трудно дать понятіе. Мы наталкиваемся и тутъ на совершенно особыя затрудненія. Они касаются не только содержанія, но также формы и метода,—двухъ вещей, съ которыми прежде всего необходимо познакомить чужеземцевъ. Итакъ, начнемъ съ метода Фихте. Въ первое время онъ цѣликомъ заимствованъ у Канта. Но вскорѣ этотъ методъ измѣняется по причинѣ свойства предмета. Канту предстояло выставить только критику, то-есть нѣчто отрицательное, а Фихте пришлось впослѣдствіи составить систему, слѣдственно нѣчто положительное. Это отсутствіе твердой системы въ философіи Канта было причиною, что ей не разъ отказывали въ имени философіи. Въ отношеніи самого Канта были въ этомъ случаѣ правы, но отнюдь не относительно кантіанцевъ, построившихъ изъ положеній Канта достаточное количество твердыхъ системъ. Въ первыхъ своихъ произведеніяхъ Фихте, какъ я уже сказалъ, оставался совершенно вѣренъ методу Канта, такъ что первое его разсужденіе, появившееся безъ имени автора, можно было приписать Канту. Но такъ какъ впослѣдствіи Фихте построилъ систему, то съ жаромъ и даже упорствомъ предался страсти къ постройкамъ, и когда построилъ цѣлый міръ, то сталъ съ прежнимъ жаромъ и упорствомъ демонстрировать возведенное имъ зданіе. Въ этихъ работахъ постройки и демонстрированія Фихте обнаруживаетъ, такъ сказать, отвлеченную страстность. Какъ въ самой его системѣ, субъективность вскорѣ начинаетъ преобладать и въ его изложеніи. Напротивъ того, Кантъ кладетъ передъ собою мысль, и формируетъ ее, и разсѣкаетъ ее до самыхъ тончайшихъ

волоконъ, и его «Критика чистаго разума» есть какъ бы анатомическій театръ разума. Самъ же онъ остается при этомъ холоденъ и нечувствителенъ, какъ настоящій хирургъ.

Съ методомъ Фихте сходствуетъ и форма его произведеній. Она живетъ, но имѣетъ также и всѣ недостатки жизни — она неспокойна и спутана. Чтобы оставаться истинно живымъ, Фихте пренебрегаетъ обыкновенною философскою терминологіею, которая кажется ему чѣмъ-то мертвеннымъ, но при такомъ способѣ онъ становится намъ еще менѣе понятенъ. Вообще, насчетъ этой понятливости у него свои собственные, совсѣмъ особенные взгляды. Когда Рейнгольдъ раздѣлялъ его мнѣнія, Фихте объявлялъ, что никто не понимаетъ его лучше Рейнгольда. Когда же впослѣдствіи Рейнгольдъ разошелся съ нимъ, Фихте сказалъ: «онъ меня никогда не понималъ». Когда онъ отдѣлился отъ Канта, то напечаталъ, что Кантъ не понималъ самъ себя. Я затрогиваю здѣсь вообще комическую сторону нашихъ философовъ. Они постоянно жалуются, что ихъ не понимаютъ. Гегель на смертномъ одрѣ сказалъ: «Только одинъ человѣкъ меня понялъ»; но вслѣдъ за тѣмъ сердито прибавилъ: «но и тотъ меня не понималъ».

По безотносительному содержанію своему, философія Фихте не имѣетъ важнаго значенія. Она не дала обществу никакихъ результатовъ. Ученіе Фихте представляетъ нѣкоторый интересъ только поскольку оно есть вообще одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ фазисовъ нѣмецкой философіи вообще, поскольку оно обнаруживаетъ безплодность идеализма въ его послѣднихъ выводахъ, и поскольку оно составляетъ необходимый переходъ къ нынѣшней натуръ-философіи. Такъ какъ, слѣдовательно, это содержаніе болѣе важно въ историческомъ и научномъ отношеніи, нежели въ соціальномъ, то я изложу его только въ немногихъ словахъ.

Фихте ставитъ себѣ слѣдующую задачу: какія основанія имѣемъ мы допускать, что наши представленія о предметахъ соотвѣтствуютъ и предметамъ, находящимся внѣ насъ? И рѣшаетъ этотъ вопросъ такъ: всѣ предметы дѣйствительны только въ нашемъ умѣ.

Какъ «Критика чистаго разума» была главнымъ твореніемъ Канта, такъ «Ученіе о наукѣ» было главнымъ произведеніемъ Фихте. Это второе сочиненіе есть какъ бы продолженіе перваго. «Ученіе о наукѣ» также обращаетъ

духъ на самого себя. Но тамъ, гдѣ Кантъ анализируетъ, Фихте строитъ. «Ученіе о наукѣ» начинается отвлеченною формулой (Я = Я); оно создаетъ міръ изъ глубины духа, оно снова соединяетъ отдѣленныя одна отъ другой части, оно возвращается тѣмъ же путемъ отвлеченности и доходитъ до міра явленій. И тогда духъ можетъ провозгласить этотъ міръ явленій необходимыми актами умственной дѣятельности.

У Фихте есть еще та особенная трудность, что онъ предполагаетъ, будто умъ наблюдаетъ самъ за собою, пока дѣйствуетъ. *Я* будто наблюдаетъ за своими умственными отправленіями въ то время, когда оно ихъ совершаетъ. Мысль будто прислушивается къ себѣ въ то время, когда мыслитъ, когда мало-по-малу разгорячается, и наконецъ, доходитъ до кипучести. Эта операція напоминаетъ намъ обезьяну у очага, передъ котелкомъ, въ которомъ она варитъ собственный хвостъ, потому что полагаетъ, что настоящее поваренное искусство состоитъ не только въ объективномъ варенiи, но и въ субъективномъ сознаніи его.

Интересно, что философіи Фихте всегда приходилось много терпѣть отъ сатиры. Я однажды видѣлъ карикатуру, изображавшую фихтеанскаго гуся. Печень птицы раздулась такъ, что она недоумѣваетъ — гусь она, или печень. На брюхѣ у нея написано Я = Я. Жанъ Поль самымъ безжалостнымъ образомъ осмѣялъ философію Фихте въ книгѣ, названной: «Clavis Fichteana». Что идеализмъ дошелъ въ послѣдовательности своихъ выводовъ даже до отрицанія дѣйствительности матеріи, это показалось большинству публики черезчуръ уже смѣлой шуткой. Мы довольно натѣшились надъ Фихтевскимъ *Я*, которое однимъ своимъ мышленіемъ производило цѣлый міръ явленій. Нашимъ насмѣшникамъ пришлось на руку еще одно недоразумѣніе, получившее такую популярность, что я не могу умолчать о немъ. Именно, масса вообразила, что это Фихтево *Я* было личнымъ *Я* Іоганна Готлиба Фихте и что это личное *Я* отрицало всѣ прочія существованія. «Какое нахальство!—восклицали добрые люди:—этотъ человѣкъ не вѣритъ, что мы существуемъ, мы, у которыхъ больше мяса, чѣмъ у него, и которые по званію бургомистровъ и актуаріевъ суда стоимъ даже выше его!» Дамы спрашивали: «Вѣритъ ли онъ, по крайней мѣрѣ, въ существованіе своей ны?—Нѣтъ?—И г-жа Фихте это переноситъ!»

ежду тѣмъ Фихтево *Я* не есть *Я* индивидуальное, по

Я всеобщее, дошедшее до самосознанія, *Я* цѣлаго міра. Мышленіе Фихте не есть мышленіе одного опредѣленнаго человѣка, называющагося Іоганномъ Готлибомъ Фихте; это скорѣе мышленіе всеобщее, проявляющееся въ одной личности. Какъ говорятъ: идетъ дождь, гремитъ громъ, и проч., такъ и Фихте не долженъ былъ бы говорить: «я думаю», но «оно думаетъ», — то-есть «общее міровое мышленіе думаетъ во мнѣ».

Сравнивая нѣкогда французскую революцію съ нѣмецкою философіею, я скорѣе шутя, чѣмъ серьезно, сравнилъ Фихте съ Наполеономъ. Но тутъ дѣйствительно существуетъ замѣчательная аналогія. Послѣ того, какъ послѣдователи Канта совершили свой подвигъ террористическаго разрушенія, является Фихте, какъ явился Наполеонъ послѣ того, какъ Конвентъ, съ помощью тоже критики чистаго разума, разрушилъ все прошедшее. И Фихте, и Наполеонъ — представители великаго неумолимаго *Я*, у котораго мысль и дѣло — одно, и колоссальныя зданія, воздвигнутыя обоими ими, свидѣтельствуютъ о колоссальной волѣ. Но отъ отсутствія всякихъ границъ въ этой волѣ эти зданія скоро рушатся, и какъ ученіе о наукѣ, такъ и имперія падаютъ и исчезаютъ такъ же быстро, какъ возникли.

Имперія принадлежитъ теперь только исторіи, но движеніе, произведенное въ мірѣ императоромъ, еще не остановилось, и этимъ движеніемъ живетъ и по сю пору наше настоящее. То же самое и съ философіей Фихте. Она совершенно погибла, но умы еще возбуждены мыслями, высказанными Фихте, и какъ велико будетъ вліяніе его слова на будущее — это нельзя себѣ и представить. Если въ цѣломъ трансцендентальный идеализмъ и былъ заблужденіемъ, тѣмъ не менѣе въ сочиненіяхъ Фихте жили гордая независимость, любовь къ свободѣ, мужественное достоинство, оказавшія особенно благодѣтельное дѣйствіе на юношество. — Фихтево *Я* вполнѣ согласовалось съ его желѣзнымъ, упрямымъ, непреклоннымъ характеромъ. Ученіе о такомъ же могучемъ *Я* могло зародиться, быть-можетъ, только въ подобномъ характерѣ, и подобный характеръ, пуская въ свою очередь корни въ такое ученіе, становится еще упорнѣе, еще непреклоннѣе, еще желѣзнѣе.

Какое отвращеніе должны были питать къ этому человѣку безумные скептики, поверхностные эклектики и умѣ*ренные* всѣхъ цвѣтовъ! Вся его жизнь была постоянною *борьбою*. *Исторія* его юности представляетъ рядъ огорче-

ній, какъ бываетъ почти со всѣми нашими замѣчательными личностями. Бѣдность садится у ихъ колыбели, баюкаетъ, пока онѣ не выростутъ, и эта тщедушная кормилица остается вѣрною спутницей ихъ жизни.

Чрезвычайно трогательно видѣть, какъ Фихте, человѣкъ съ самою гордою волей, ищетъ проложить себѣ дорогу въ свѣтѣ учительствомъ. На своей родинѣ онъ не можетъ найти даже и это горькое пропитаніе и принужденъ выселиться въ Варшаву. Тамъ старая исторія. Учитель не нравится барынѣ, а можетъ-быть, даже и горничной. Его поклоны не довольно изящны, не достаточно французскіе, и его не считаютъ уже достойнымъ воспитывать польскаго барчонка. Іоганнъ Готлибъ Фихте отсылается какъ лакей, получаетъ отъ своихъ недовольныхъ господъ нѣсколько грошей, покидаетъ Варшаву и, полный юношескаго восторга, ѣдетъ въ Кенигсбергъ знакомиться съ Кантомъ. Встрѣча этихъ двухъ людей интересна во всѣхъ отношеніяхъ, и я полагаю, что не могу дать болѣе полнаго понятія о положеніи и образѣ жизни обоихъ ихъ, какъ приведя отрывокъ изъ дневника Фихте, помѣщеннаго въ его біографіи, изданной недавно его сыномъ.

«Іюня 25-го, я выѣхалъ въ Кенигсбергъ съ тамошнимъ извозчикомъ и безъ всякихъ приключеній прибылъ туда 1-го іюля.—4-го сдѣлалъ визитъ Канту, который, однако, принялъ меня не особенно привѣтливо. Я слушалъ его курсъ, и тутъ мое ожиданіе также не удовлетворилось. Его изложеніе наводитъ сонъ. Между тѣмъ, я началъ этотъ дневникъ...

«...Я уже давно хотѣлъ имѣть съ Кантомъ болѣе серьезное свиданіе, но не зналъ, какое придумать средство. Наконецъ, я вздумалъ написать «Критику всѣхъ откровеній» и представить ее ему вмѣсто рекомендательнаго письма. Я началъ писать около 13-го и съ тѣхъ поръ работалъ безъ отдыха... 18-го августа я, наконецъ, отослалъ мой оконченный трудъ къ Канту, а 25-го пошелъ къ нему узнать его мнѣніе. Онъ принялъ меня съ особеннымъ радушіемъ и казался очень доволенъ моимъ трактатомъ. До настоящаго философскаго разговора не дошло; за разрѣшеніемъ моихъ философскихъ сомнѣній, онъ отослалъ меня къ своей «Критикѣ чистаго разума» и къ придворному проповѣднику Шульцу, къ которому я сейчасъ пойду. 26-го я обѣдалъ у Канта съ профессоромъ Зоммеромъ и нашелъ въ немъ *очень остроумнаго* и пріятнаго человѣка. Только

теперь я замѣтилъ въ немъ черты, достойныя высокаго ума, которымъ запечатлѣны его сочиненія.

«27-го окончилъ этотъ дневникъ, сдѣлавъ извлеченія изъ Кантова курса антропологіи, который одолжилъ мнѣ г. С. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшаюсь правильно продолжать этотъ дневникъ каждый вечеръ передъ сномъ и вписывать въ него все, что встрѣчу занимательнаго, въ особенности характеристики и наблюденія.

«28-го вечеромъ. Еще вчера я началъ просматривать мою «Критику», и мнѣ пришли въ голову истинно хорошія, глубокія мысли, которыя, къ несчастію, убѣдили меня, что первая редакція совершенно поверхностна. Сегодня я хотѣлъ продолжать новыя изслѣдованія, но воображеніе мое такъ меня завлекло, что я цѣлый день не могъ ничего дѣлать. Въ моемъ настоящемъ положеніи это, къ несчастью, неудивительно. Я разсчиталъ, что у меня остается средствъ къ существованію только на четырнадцать дней. Правда, я уже бывалъ въ подобныхъ затрудненіяхъ, но то было на родинѣ, и притомъ съ годами и съ болѣе тонкимъ понятіемъ о чести это становится все болѣе и болѣе тяжко... Я ни на что не рѣшился и не могу ни на что рѣшиться... Пастору Боровскому, къ которому направилъ меня Кантъ, я не откроюсь; если кому-нибудь могу открыться, то только самому Канту, никому больше.

«29-го я былъ у Боровскаго и нашелъ въ немъ истинно добраго, честнаго человѣка. Онъ предложилъ мнѣ мѣсто, которое, впрочемъ, еще не очень вѣрно и притомъ не совсѣмъ мнѣ нравится, но его откровенность вызвала и у меня признаніе, что мнѣ необходимо поскорѣе отыскать мѣсто. Онъ совѣтовалъ мнѣ повидаться съ профессоромъ В. Работать сегодня я не могъ... На другой день я дѣйствительно отправился къ В., а потомъ къ придворному проповѣднику Шульцу. Свѣдѣнія, полученныя отъ перваго, очень неблагопріятны; впрочемъ, онъ говорилъ мнѣ о мѣстѣ учителя въ Курляндіи, которое только самая крайняя нужда вынудитъ меня принять. Затѣмъ—къ придворному проповѣднику, гдѣ сперва я былъ принятъ его женой. Потомъ онъ явился самъ, но замкнутый въ математическомъ кругѣ однако, когда онъ явственнѣе разслышалъ мое имя, т рекомендація Канта сдѣлала его тѣмъ болѣе привѣтливым Это—угловатая прусская физіономія, но правдивость доброта свѣтятъ въ его чертахъ. Впослѣдствіи я позна мился у него съ г. Брайтлихомъ и его воспитанник

графомъ Денгофомъ, съ г. Бютнеромъ, племянникомъ проповѣдника и съ молодымъ нюрнбергскимъ ученымъ, г. Эрхардомъ, добрымъ и славнымъ малымъ, но незнакомымъ съ свѣтскими привычками и съ жизнью.

«1-го сентября я принялъ твердое рѣшеніе, о которомъ хотѣлъ сообщить Канту. Даже учительскаго мѣста, которое мнѣ такъ не хочется принять, въ виду не имѣется, и неопредѣленность моего положенія мѣшаетъ мнѣ работать съ ясной головой и пользоваться образовательнымъ знакомствомъ съ моими друзьями. Итакъ, надо вернуться на родину! При посредствѣ Канта я, можетъ-быть, могъ бы достать взаймы небольшую сумму, которая мнѣ необходима для этой поѣздки. Но когда я шелъ къ нему открыть мое намѣреніе, бодрость меня покинула. Я рѣшился написать. Вечеромъ я былъ приглашенъ къ придворному проповѣднику и провелъ тамъ очень пріятный вечеръ.

«2-го, я кончилъ письмо къ Канту и пошелъ къ нему».

Какъ ни замѣчательно это письмо, я не могу рѣшиться привести его здѣсь, на французскомъ языкѣ. Мнѣ чудится, будто у меня на лицѣ выступаетъ краска, и у меня на душѣ такъ, какъ будто я долженъ открыть передъ чужими самыя сокровенныя страданія моего собственнаго семейства. Вопреки моимъ стараніямъ достигнуть французской свѣтской утонченности, несмотря на мой философскій космополитизмъ, въ моей груди все еще живетъ старая Германія со всѣми своими мѣщанскими чувствами... Однимъ словомъ, не могу перевести это письмо и ограничусь сообщеніемъ: Эммануилъ Кантъ былъ такъ бѣденъ, что, несмотря на трогательный, раздирающій душу тонъ письма, не могъ одолжить денегъ Іоганну Готлибу Фихте. Но тотъ нимало не разсердился, какъ можемъ видѣть изъ словъ его дневника, которыя еще приведу здѣсь.

«3-го сентября, я былъ приглашенъ къ Канту. Онъ меня принялъ съ своимъ обычнымъ радушіемъ, но сказалъ, что не могъ ничего сдѣлать по моей просьбѣ, и двѣ недѣли не будетъ въ состояніи удовлетворить ее. Какая милая откровенность! Впрочемъ, онъ оспаривалъ мои предположенія и тѣмъ доказывалъ, что не довольно хорошо зналъ наше положеніе въ Саксоніи... Всѣ эти дни я ничего не дѣлалъ;

ко, хочу приняться за работу и предоставить остальное

сти Божіей...

-6-го. Я былъ приглашенъ къ Канту, который предло-

мнѣ продать книгопродавцу Гартунгу, черезъ посред-

ство пастора Боровскаго, мою рукопись «Критики всѣхъ откровеній». «Она написана хорошо», сказалъ онъ мнѣ, когда я заговорилъ о ея передѣлкѣ... Такъ ли? Однако, это говоритъ Кантъ!.. Впрочемъ, онъ отклонилъ мою первую просьбу.—10-го, я обѣдалъ у Канта. О нашемъ дѣлѣ—ни слова; магистръ Гензихенъ былъ тоже тамъ, разговоръ общій, отчасти очень интересный; Кантъ въ отношеніи ко мнѣ рѣшительно не измѣнился.

«13-го. Хотѣлъ сегодня работать, и ничего не дѣлаю. Безпокойство подавляетъ меня. Чѣмъ это кончится? Что со мною станется черезъ недѣлю? Тогда выйдутъ всѣ мои деньги».

Послѣ многихъ скитальчествъ, послѣ долгаго пребыванія въ Швейцаріи, Фихте находитъ, наконецъ, постоянную должность въ Іенѣ, и отсюда начинается самое его блестящее время. Іена и Веймаръ, два саксонскихъ городка, отдѣленные другъ отъ друга разстояніемъ въ нѣсколько часовъ, были тогда центромъ умственной жизни Германіи. Въ Веймарѣ были дворъ и поэзія, въ Іенѣ—университетъ и философія. Тамъ видимъ величайшихъ нѣмецкихъ поэтовъ, здѣсь—величайшихъ ученыхъ Германіи. Въ 1794 году Фихте началъ свой курсъ въ Іенѣ. Этотъ годъ знаменателенъ и поясняетъ какъ духъ его тогдашнихъ сочиненій, такъ и напасти, которымъ онъ сталъ подвергаться съ того времени и которыя окончательно сломили его черезъ четыре года. Именно, въ 1798 году начались обвиненія его въ атеизмѣ, навлекшія на него нестерпимыя гоненія и бывшія также причиною удаленія его изъ Іены. Это событіе, самое замѣчательное въ жизни Фихте, имѣетъ также общее значеніе, и мы не можемъ умолчать о немъ. Здѣсь собственно должна быть рѣчь и о Фихтевыхъ идеяхъ о существѣ Бога.

Въ «Философскомъ Журналѣ», который тогда издавалъ Фихте, онъ напечаталъ статью подъ заглавіемъ: «Развитіе понятія религіи», присланную ему нѣкіимъ Форбергомъ, учителемъ изъ Заальфельда. Къ этой статьѣ онъ приложилъ еще небольшое объяснительное разсужденіе подъ заглавіемъ: «О причинахъ нашей вѣры въ управленіе міра Богомъ».

Объ эти статьи были конфискованы саксонскимъ правительствомъ подъ тѣмъ предлогомъ, что въ нихъ содержится атеизмъ, и въ то же время къ веймарскому двору была послана изъ Дрездена просьба строго наказать Фихте. Понятно, что веймарскій дворъ не обратилъ никакого вниманія на это требованіе, но такъ какъ Фихте надѣлалъ при этомъ

случаѣ много крупнѣйшихъ промаховъ, такъ какъ онъ написалъ «Воззваніе къ публикѣ», не испросивъ на то разрѣшенія официальной власти, то эта послѣдняя, веймарское правительство, разсерженное этимъ и подъ вліяніемъ внѣшнихъ настояній, нашло необходимымъ отрезвить легкимъ выговоромъ неосторожнаго профессора. Фихте же, считавшій себя правымъ, не захотѣлъ терпѣливо вынести выговоръ и оставилъ Іену. Судя по его тогдашнимъ письмамъ, онъ особенно былъ оскорбленъ поведеніемъ двухъ людей, официальное положеніе которыхъ давало имъ весьма большой вѣсъ въ его дѣлѣ, и эти два человѣка были: его преподобіе, главный консисторіальный совѣтникъ, фонъ-Гердеръ, и его превосходительство, тайный совѣтникъ фонъ-Гёте. Но оба они могутъ быть легко оправданы. Трогательно читать въ посмертныхъ письмахъ Гердера, какъ жутко приходилось бѣдному Гердеру отъ кандидатовъ богословія, когда, окончивъ курсъ въ Іенѣ, они являлись къ нему въ Веймаръ экзаменоваться на званіе протестантскихъ проповѣдниковъ. О нѣкоторыхъ вещахъ онъ даже не рѣшался ихъ спрашивать... Что касается Гёте, то объ этомъ происшествіи онъ въ своихъ «Запискахъ» выражается слѣдующимъ образомъ:

«Послѣ отъѣзда Рейнгольда изъ Іены, отъѣзда, справедливо считавшагося великою потерею для университета, этотъ послѣдній имѣлъ смѣлость, даже дерзость, призвать на его мѣсто Фихте, который въ своихъ произведеніяхъ съ величіемъ, но, можетъ-быть, не совсѣмъ прилично высказался насчетъ важнѣйшихъ предметовъ, касающихся нравовъ и политики. Это была одна изъ самыхъ замѣчательныхъ личностей, какая когда-либо существовала, и съ высшей точки зрѣнія его мнѣнія были безукоризненны; но могъ ли онъ оставаться на равной ногѣ съ міромъ, на который онъ смотрѣлъ, какъ на свою, имъ же созданную, собственность?

«Такъ какъ ему не давали часовъ, выбранныхъ имъ на недѣлѣ для своего курса, то онъ рѣшилъ читать свои лекціи по воскресеньямъ, въ чемъ, однако, встрѣтилъ препятствіе. Едва успѣли, не безъ хлопотъ для высшей власти, уладить возникшія отсюда мелкія и болѣе важныя затрудненія, какъ ученіе профессора о Богѣ и о божественныхъ предметахъ, о которыхъ, конечно, было бы лучше хранить всякое молчаніе, навлекло на насъ извнѣ непріятности.

Фихте осмѣлился, въ своемъ «Философскомъ Журналѣ», высказаться о Богѣ и предметахъ божественныхъ въ такихъ выраженіяхъ, которыя противорѣчили языку, общепринятому для

такихъ таинствъ. Его упрекнули въ этомъ; но его оправданія не поправили дѣла потому, что онъ выказалъ въ нихъ страстность, не замѣтивъ добраго расположенія, которое здѣсь къ нему питали, хотя хорошо умѣли толковать его мысли и его рѣчи; конечно, ему не могли замѣтить этого прямо, а онъ также не подозрѣвалъ, что ему хотятъ помочь самымъ деликатнымъ образомъ. Слова за и противъ, сомнѣнія, утвержденія, подтвержденія и рѣшенія смѣшались въ университетѣ въ множество смутныхъ толковъ: говорили о министерской резолюціи, по которой Фихте ожидалъ не болѣе, ни менѣе, какъ публичный выговоръ. Тогда онъ потерялъ всякую умѣренность и счелъ себя въ правѣ написать министерству рѣзкое письмо, въ которомъ, предполагая вышесказанную мѣру несомнѣнною, объявлялъ съ гнѣвомъ и высокомѣріемъ, что никогда этого не потерпитъ, предпочтетъ немедленно оставить университетъ и исполнитъ это не одинъ, потому что многіе лучшіе профессора, съ нимъ согласные, тоже намѣревались удалиться изъ Іены!

«Вслѣдствіе этого милостивое къ нему расположеніе ослабѣло, даже исчезло; не оставалось болѣе никакого исхода, никакой возможности устроить дѣло, и самое мягкое, что можно было сдѣлать—немедленно уволить его. Объ оборотѣ, который хотѣли дать дѣлу, онъ узналъ только тогда, когда зло было неисправимо, и такъ же, какъ и мы, пожалѣлъ о своей опрометчивости».

Не весь ли тутъ, душой и тѣломъ, министерственный, сглаживающій, сушевывающій Гёте? Въ сущности, онъ порицалъ Фихте лишь за то, что тотъ высказалъ свои мысли, и высказалъ ихъ не въ общепринятыхъ маскирующихъ выраженіяхъ. Онъ осуждаетъ не мысль, а слово. Паденіе деизма въ кругу нѣмецкихъ мыслителей послѣ Канта было, какъ я уже сказалъ, тайной, которую всѣ знали, но о которой все-таки не слѣдовало разглашать на площадяхъ. Гёте былъ такъ же мало деистъ, какъ и Фихте, потому что былъ пантеистъ. Но именно съ высоты пантеизма, Гёте могъ лучше всякаго другого видѣть своимъ проницательнымъ глазомъ несостоятельность Фихтевой философіи, и это вызывало улыбку на его кроткія губы. Въ глазахъ евреевъ каковыми вѣдь, въ концѣ концовъ, оказываются всѣ деисты ученіе Фихте было гнусно; въ глазахъ великаго язычника оно было только нелѣпо. Гёте дѣйствительно называли въ Германіи великимъ язычникомъ. Впрочемъ, такое назв по совсѣмъ вѣрно. Язычество Гёте удивительно проник

духомъ новаго времени. Сильная языческая натура его обнаруживается въ его ясномъ, проницательномъ пониманіи всѣхъ внѣшнихъ явленій, всѣхъ красокъ и формъ; но въ то же время христіанство одарило его болѣе глубокимъ пониманіемъ, христіанство, несмотря на его сопротивленіе, посвятило его въ таинства духовнаго міра. Благодаря этому, Гёте получилъ возможность понимать самые таинственные голоса природы, подобно Зигфриду, герою «Нибелунговъ», уразумѣвшему языкъ птицъ, лишь только капля крови убитаго дракона смочила его губы. Удивительно, какъ у Гёте эта языческая натура была вся пропитана нашей нынѣшней сентиментальностью, какъ въ античномъ мраморѣ бился пульсъ новаго времени, какъ страданія юнаго Вертера онъ прочувствовалъ такъ же глубоко, какъ и радости древне-греческаго божества. Итакъ, пантеизмъ Гете совершенно отличенъ отъ пантеизма языческаго. Чтобы выразить мою мысль короче, скажу: Гете былъ Спиноза поэзіи. Всѣ стихотворенія Гёте проникнуты тѣмъ же духомъ, который вѣетъ на насъ изъ твореній Спинозы. Что Гёте былъ полнымъ приверженцемъ ученія Спинозы, это не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію. По крайней мѣрѣ, онъ занимался имъ всю свою жизнь: въ началѣ своихъ «Записокъ», равно какъ въ послѣднемъ, только-что вышедшемъ томѣ ихъ, онъ заявляетъ это съ полною откровенностью. Не помню, гдѣ я читалъ, что Гердеръ, разсердившись на это постоянное занятіе Спинозою, однажды воскликнулъ: «Хоть бы разъ Гёте взялъ въ руки другую латинскую книгу, кромѣ Спинозы!» Впрочемъ, это относится не къ одному Гёте: многіе его друзья, сдѣлавшіеся позже болѣе или менѣе извѣстными, какъ поэты, рано обратились къ пантеизму, и онъ процвѣталъ въ германскомъ искусствѣ на практикѣ еще прежде, чѣмъ достигъ у насъ господства, какъ философская теорія. Именно, во время Фихте, когда идеализмъ торжествовалъ свое величайшее процвѣтаніе въ области философіи, онъ былъ насильственно разрушенъ въ области искусства, и тогда-то вспыхнула у насъ та знаменитая художественная революція, которая не прекратилась и донынѣ и которая началась борьбою романтиковъ противъ древне-классическаго режима, Шлегелевскими возмущеніями.

Дѣйствительно, наши первые романтики дѣйствовали по пантеистическому инстинкту, котораго они сами не поняли. Чувство, которое они принимали за тоску сына по матери—католической церкви, коренилось глубже, чѣмъ они

предполагали, и ихъ уваженіе и любовь къ средневѣковымъ преданіямъ, средневѣковымъ народнымъ вѣрованіямъ, бѣсамъ, чародѣйствамъ и колдовству—все это было внезапно проснувшеюся въ нихъ, но непонятою ими, склонностью къ пантеизму древнихъ германцевъ, и въ этихъ отвратительно выпачканныхъ и злобою изуродованныхъ образахъ они собственно любили только до-христіанскую религію своихъ отцовъ. Здѣсь я долженъ напомнить первую книгу этого сочиненія, гдѣ я показалъ, какъ христіанство восприняло въ себя элементы древне-германской религіи, какъ элементы эти, послѣ позорнѣйшаго превращенія, сохранились въ народныхъ вѣрованіяхъ среднихъ вѣковъ, такъ что прежнее поклоненіе природѣ считалось за не что иное, какъ злобное чародѣйство, старые боги—за гадкихъ бѣсовъ, а ихъ цѣломудренныя жрицы—за гнусныхъ вѣдьмъ. Съ этой точки зрѣнія, на заблужденія нашихъ романтиковъ можно смотрѣть болѣе снисходительно, чѣмъ это дѣлаютъ обыкновенно. Они хотѣли возстановить католическій бытъ среднихъ вѣковъ, потому что чувствовали, что въ немъ сохранилось много святынь первыхъ изъ предковъ, много сокровищъ ихъ первобытной національности, эти-то изувѣченныя и поруганныя реликвіи пробудили въ душѣ ихъ такое сильное сочувствіе, и они возненавидѣли протестантизмъ и либерализмъ, стремившіеся разрушить все это вмѣстѣ со всѣмъ католическимъ прошлымъ.

Но объ этомъ я еще буду говорить ниже. Здѣсь же достаточно сказать, что уже во время Фихте пантеизмъ проникъ въ нѣмецкое искусство, что даже католическіе романтики безсознательно слѣдовали этому направленію, и что Гёте выразилъ его самымъ опредѣленнымъ образомъ. Это сдѣлано уже въ его «Вертерѣ», гдѣ онъ томится по блаженно любовномъ отождествленіи съ природой. Въ «Фаустѣ» онъ ищетъ установить съ природою связь путемъ дерзновенно мистическимъ, непосредственнымъ; онъ заклинаетъ тайныя силы земли чародѣйскими формулами «Адскаго Ключа». Но всего чище и прелестнѣе обнаружился этотъ пантеизмъ Гёте въ его маленькихъ пѣсняхъ. Ученіе Спинозы сбросило съ себя оболочку математической хризолиды и порхаетъ вокругъ насъ въ видѣ гётевской пѣсни. Отсюда озлобленіе правовѣрныхъ и пістистовъ противъ гётевской пѣсни. Своими добродѣтельными медвѣжьими лапами они пытаются схватить этого мотылька, постоянно отъ нихъ ускользающаго. Онъ такъ нѣжно эфиренъ, съ такими бла-

гоухающими крылышками! Вы, французы, не можете имѣть о ней никакого понятія, если не знаете языка. Эти пѣсни Гёте имѣютъ невыразимо дразнящую прелесть. Гармоническіе стихи обнимаютъ ваше сердце, какъ нѣжная возлюбленная; слово обнимаетъ васъ, между тѣмъ какъ мысль цѣлуетъ.

Итакъ, въ поведеніи Гёте относительно Фихте мы рѣшительно не видимъ тѣхъ гнусныхъ побужденій, о которыхъ говорили многіе изъ современниковъ въ еще болѣе гнусныхъ выраженіяхъ. Они не поняли различія въ натурѣ этихъ двухъ людей. Самые умѣренные истолковали въ дурную сторону пассивность Гёте, когда впослѣдствіи Фихте подвергся сильнымъ притѣсненіямъ и преслѣдованіямъ. Они не взяли во вниманіе положенія Гёте. Этотъ гигантъ былъ министромъ крошечнаго нѣмецкаго государства. Онъ никогда не имѣлъ свободы въ своихъ движеніяхъ. Объ олимпійскомъ Юпитерѣ, котораго Фидій представилъ сидящимъ, говорили, что если-бъ онъ вдругъ всталъ, то продавилъ бы сводъ храма. Совершенно таково было и положеніе Гёте въ Веймарѣ; если-бъ, желая выйти изъ своего сидячаго спокойствія, онъ вдругъ выпрямился во весь ростъ, то пробилъ бы крышу государства, или, что еще вѣроятнѣе, разбилъ бы при этомъ себѣ голову. И подвергаться такому риску изъ-за ученія не только ложнаго, но даже смѣшного! Нѣмецкій Юпитеръ продолжалъ спокойно сидѣть и спокойно принималъ поклоненія и воскуренія.

Я слишкомъ бы удалился отъ моего предмета, если бы для болѣе полнаго оправданія поведенія Гёте въ дѣлѣ Фихте сталъ на точку зрѣнія тогдашнихъ интересовъ искусства. Въ пользу Фихте говоритъ только то обстоятельство, что взведенное на него обвиненіе было собственно только предлогомъ и что подъ нимъ скрывалась травля политическая. Ибо за атеизмъ можно предавать суду богослова, такъ какъ онъ обязался излагать своимъ ученикамъ извѣстную доктрину. Но философъ не принимаетъ на себя такихъ обязательствъ, не можетъ ихъ принимать, и его мысль свободна, какъ птица въ воздухѣ... Съ моей стороны, быть-можетъ, несправедливо, что я, щадя частью мои собственныя чувства, частью чувства другихъ, не привожу всего того, что служило основаніемъ вышеупомянутому обвиненію и оправдывало его... По присущему упрямымъ людямъ свойству, Фихте въ своей «Апелляціи къ [illegible]» и въ своемъ отвѣтѣ суду высказался еще рѣзче [illegible], чѣмъ въ своихъ статьяхъ — и употребилъ тутъ

при томъ выраженія, оскорбляющія наши сокровеннѣйшія чувства. На насъ, вѣрующихъ въ дѣйствительно существующаго Бога, Который проявляется нашимъ внѣшнимъ чувствамъ въ безконечномъ протяженіи, нашему духу—въ безконечной мысли; на насъ, чтущихъ видимаго Бога въ природѣ и слышащихъ Его незримый голосъ въ нашей душѣ—на насъ очень непріятно дѣйствуютъ рѣзкія слова, въ которыхъ Фихте выражаетъ свое сомнѣніе въ существованіи Бога, даже иронизируя на этотъ счетъ! Дѣйствительно, трудно рѣшить — иронія или просто безуміе побуждаютъ Фихте отрицать существованіе Бога на томъ основаніи, что понятіе существованія есть понятіе чувственное, и только какъ таковое возможно!.. Богъ Фихте, такимъ образомъ, проявляетъ Себя только какъ чистое дѣйствіе, какъ порядокъ происходящихъ въ мірѣ событій, какъ ordo ordinans, какъ міровой законъ. . . . . .

. . . . . .

Идеализмъ Фихте — одно изъ самыхъ колоссальныхъ заблужденій, какое когда-либо породилъ умъ человѣческій. Онъ болѣе безбоженъ и болѣе предосудителенъ, чѣмъ самый грубый матеріализмъ. То, что̀ называютъ во Франціи атеизмомъ матеріалистовъ, было бы, какъ я легко могъ бы доказать, еще чѣмъ-то назидательнымъ, чѣмъ-то набожно вѣрующимъ въ сравненіи съ выводами трансцендентальнаго идеализма Фихте. Я, по крайней мѣрѣ, хорошо знаю, что оба эти ученія мнѣ противны. Они оба также антипоэтичны. Французскіе матеріалисты писали такіе же плохіе стихи, какъ и нѣмецкіе трансцендентальные идеалисты. Но въ политическомъ отношеніи ученіе Фихте не представляло никакой опасности, и еще менѣе заслуживало оно преслѣдованія, какъ политически опасное. Для того, чтобы ввести въ заблужденіе этой ересью, надлежало быть одареннымъ такою спекулятивною дальновидностью, какая встрѣчается не у многихъ. Массѣ, съ ея тысячами тупыхъ головъ, это ложное ученіе было совершенно недоступно. Понятія Фихте о Богѣ слѣдовало поэтому разбивать путемъ раціональнымъ, а не полицейскимъ. Философа подвергнуть обвиненію въ атеизмѣ было и въ Германіи такъ странно, что [illegible] сперва въ самомъ дѣлѣ не зналъ, чего отъ него х[illegible] [illegible]го словамъ, вопросъ, атеистична ли та или другая [illegible] [illegible]редставляется философу такимъ же страннымъ, [illegible]ку вопросъ, зеленаго или краснаго цвѣта то [illegible]еугольникъ?

Итакъ, это обвиненіе имѣло свои тайныя причины, и Фихте вскорѣ понялъ ихъ. Такъ какъ онъ былъ честнѣйшій человѣкъ на свѣтѣ, то мы вполнѣ должны вѣрить письму его къ Рейнгольду, гдѣ онъ говоритъ объ этихъ тайныхъ причинахъ; а такъ какъ это письмо, отъ 22 мая 1799 года, даетъ картину всего того времени и наглядно представляетъ всѣ тяжелыя испытанія этого человѣка, то мы приведемъ изъ него отрывокъ:

«Упадокъ духа и отвращеніе побуждаютъ меня на рѣшеніе, о которомъ я уже сообщалъ тебѣ—совершенно исчезнуть на нѣсколько лѣтъ. По моему тогдашнему взгляду на вещи, я даже былъ убѣжденъ, что принять такое рѣшеніе повелѣваетъ мнѣ долгъ, потому что при теперешнемъ броженіи меня и безъ того не слушали бы, и я только усиливалъ бы это броженіе; между тѣмъ какъ черезъ нѣсколько лѣтъ, когда утихло бы первое волненіе, я могъ бы заговорить тѣмъ съ большею силой... Теперь я думаю иначе. Я не долженъ теперь болѣе молчать, ибо если буду молчать въ настоящее время, то мнѣ никогда уже не придется заговорить снова. То, что̀ прежде я считалъ вполнѣ вѣроятнымъ, стало для меня несомнѣннымъ съ послѣднихъ событій, особенно послѣ ужаснаго умерщвленія французскихъ пословъ (которому здѣсь восторженно радуются и по поводу котораго Ш. и Г. воскликнули: «отлично, этихъ собакъ надо душить!»): деспотизмъ съ этихъ поръ будетъ отчаянно защищаться, съ помощью Питта и др. онъ будетъ дѣйствовать послѣдовательно, основаніе его плана—вырвать съ корнемъ свободу мысли, и нѣмцы не помѣшаютъ ему въ достиженіи этой цѣли...

«Не воображай, напримѣръ, чтобы веймарскій дворъ думалъ, что мое присутствіе повредитъ поступленію студентовъ въ университетъ. Онъ очень хорошо увѣренъ въ противномъ. Вслѣдствіе общаго плана, особенно сильно поддержаннаго саксонскимъ дворомъ, онъ былъ вынужденъ удалить меня. Посвященный въ эти тайны Буршеръ въ Лейпцигѣ, уже въ концѣ прошлаго года, держалъ значительное пари, что раньше окончанія года я буду высланъ. [illegible]игтъ давно былъ возстановленъ противъ меня Бюрг[illegible]орфомъ. Департаментъ наукъ въ Дрезденѣ объявилъ, что [illegible], кто станетъ держаться новой философіи, не удостоится [illegible]ышенія, или, если повышеніе уже состоялось, будетъ [illegible]утъ назадъ. Въ лейпцигской «свободной школѣ» сочли [illegible]ыми даже нововведенія Розенмюллера; въ ней снова

ввели катехизисъ Лютера, и профессора снова были конфирмованы по символическимъ книгамъ. Это примется и будетъ распространяться... Въ итогѣ — несомнѣннѣе самаго несомнѣннаго, что если французы черезъ нѣсколько лѣтъ не пріобрѣтутъ громаднѣйшаго преобладанія въ Германіи и не введутъ перемѣнъ, по крайней мѣрѣ, въ большей ея части, то черезъ нѣсколько лѣтъ человѣкъ, извѣстный тѣмъ, что хоть одинъ разъ въ жизни имѣлъ свободную мысль, не найдетъ себѣ въ Германіи спокойнаго пріюта... Итакъ, для меня несомнѣннѣе самаго несомнѣннаго, что если бы я и сыскалъ теперь гдѣ-нибудь для себя уголокъ, то не прошло бы двухъ лѣтъ, какъ меня выгнали бы оттуда; а допускать выгонять себя изъ многихъ мѣстъ опасно. Этому научаетъ исторически примѣръ Руссо.

«Предположимъ, что я совсѣмъ замолчу, не напишу больше ни одной строчки; оставятъ ли меня въ покоѣ на такомъ условіи? Не думаю; но допустивъ, что я могъ бы разсчитывать на это со стороны дворовъ — духовенство не взбунтуетъ ли противъ меня черни, не заставитъ ли ее, гдѣ бы я ни былъ, забросать меня каменьями, и потомъ... не начнетъ ли убѣждать правительство удалить меня, какъ человѣка, возбуждающаго смуты? Но долженъ ли я изъ-за этого молчать? Нѣтъ, поистинѣ не долженъ, ибо имѣю основаніе вѣрить, что если можетъ быть еще спасено что-либо изъ области нѣмецкой мысли, то въ состояніи спасти его мое слово; при моемъ же молчаніи философія подвергнется полной и слишкомъ преждевременной гибели. Тѣ, которые, какъ я увѣренъ, не позволятъ мнѣ существовать при моемъ молчаніи, конечно, въ чемъ я еще болѣе убѣжденъ, тѣмъ менѣе позволятъ мнѣ говорить.

«Но я имъ докажу безвредность моего ученія... Милый Рейнгольдъ, какъ ты можешь предполагать въ этихъ людяхъ расположеніе ко мнѣ? Чѣмъ чище буду становиться я, тѣмъ невиннѣе буду я являться передъ ними, тѣмъ чернѣе будутъ становиться они, и тѣмъ болѣе вообще увеличится мое настоящее преступленіе. Я никогда не думалъ, что они преслѣдуютъ мой мнимый атеизмъ: они преслѣдуютъ во мнѣ свободнаго мыслителя, начинающаго становиться понятнымъ (счастье Канта была его темнота), и отъявленнаго демократа; ихъ, какъ привидѣніе, пугаетъ самостоятельность, пробуждаемая, какъ они смутно предчувствуютъ, моей философіей».

Еще разъ замѣчу, что письмо это не вчерашнее, но по-

мѣчено 22 мая 1799 года. Политическія обстоятельства того времени представляютъ очень печальное сходство съ новѣйшимъ состояніемъ Германіи, съ тою только разницею, что тогда чувство свободы процвѣтало больше среди ученыхъ, поэтовъ и вообще литераторовъ, теперь же оно въ нихъ гораздо слабѣе, зато гораздо сильнѣе обнаруживается въ дѣятельной массѣ, между работниками и ремесленниками. Между тѣмъ, какъ въ эпоху первой революціи, самая свинцово-нѣмецкая спячка тяготѣла надъ народомъ, и во всей Германіи царствовало какое-то животное спокойствіе, въ литературѣ нашей происходило самое дикое броженіе и движеніе. Самый уединенный писатель, проживавшій въ отдаленнѣйшемъ уголкѣ Германіи, участвовалъ въ этомъ движеніи; не зная въ точности политическихъ событій, онъ почти симпатически чувствовалъ ихъ соціальное значеніе и выражалъ его въ своихъ произведеніяхъ. Этотъ феноменъ напоминаетъ мнѣ большія морскія раковины, которыя мы иногда раскладываемъ въ видѣ украшеній на каминахъ, и которыя, несмотря на свое удаленіе отъ моря, съ наступленіемъ времени прилива, когда волны дробятся о берегъ, вдругъ начинаютъ гудѣть. Когда у васъ въ Парижѣ, въ этомъ великомъ человѣческомъ океанѣ, вздувалась революція, когда она тамъ ревѣла и билась, тогда шумѣли и кипѣли по ту сторону Рейна нѣмецкія сердца... Но они были такъ одиноки, окружены только безчувственнымъ фарфоромъ, чайными чашками, и кофейниками, и китайскими пагодами, механически качавшими головой, какъ будто онѣ знали, о чемъ идетъ дѣло. Ахъ, эта симпатія къ революціи дорого обошлась нашимъ бѣднымъ предшественникамъ въ Германіи. Дворянчики и духовенство сыграли съ ними самыя грубыя и самыя пошлыя продѣлки. Одни изъ нихъ бѣжали въ Парижъ и тутъ погибли въ нищетѣ и бѣдствіи. Я недавно видѣлъ стараго слѣпого земляка, который съ тѣхъ поръ оставался въ Парижѣ; я его видѣлъ въ Пале-Роялѣ, куда онъ пришелъ погрѣться на солнышкѣ. Тяжело было смотрѣть, какъ онъ былъ блѣденъ и худъ, и ощупывалъ дорогу вдоль домовъ. Мнѣ сказали, что это старый Гейбергъ. Видѣлъ я недавно также чердакъ, гдѣ ,, гражданинъ Георгъ Форстеръ. Но еще болѣе пе- ная участь постигла бы друзей свободы, оставшихся ерманіи, если бы Наполеонъ и его французы не по- ли побѣдить насъ. Наполеонъ, конечно, и не подозрѣ- самъ былъ спасителемъ идеологіи. Безъ него висѣлица

и колесо уничтожили бы съ корнемъ нашихъ философовъ и ихъ идеи. Но нѣмецкіе друзья свободы, слишкомъ вѣрные республиканскому духу, чтобы покланяться Наполеону, и вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ благородные, чтобы примкнуть къ чужеземному господству, облеклись въ глубокое молчаніе. Они печально влачились съ разбитымъ сердцемъ, съ сомкнутыми устами. Когда Наполеонъ палъ, они улыбнулись, но съ грустью, и продолжали молчать; они почти не раздѣляли патріотическаго энтузіазма, который, съ позволенія высшихъ властей, ликовалъ тогда по Германіи. Они знали, что знали, и молчали. А такъ какъ эти республиканцы ведутъ жизнь очень цѣломудренную, простую, то они обыкновенно достигаютъ глубокой старости, и когда вспыхнула іюльская революція, многіе изъ нихъ еще были живы, и немало изумились мы, когда эти старые чудаки, которыхъ мы всегда видѣли согбенными и почти идіотски молчаливыми, теперь вдругъ подняли голову, и дружески улыбнулись намъ, молодымъ людямъ, и пожали намъ руки, стали разсказывать веселыя исторіи. Я даже слышалъ, какъ одинъ изъ нихъ пѣлъ; въ одномъ кафе пропѣлъ онъ намъ марсельскій гимнъ, и тутъ мы узнали мелодію и прекрасныя слова, и скоро умѣли пѣть ее не хуже самого старика, потому что онъ, въ лучшихъ мѣстахъ, смѣялся, какъ безумный, или плакалъ, какъ дитя. Всегда хорошо, когда остаются въ живыхъ такіе старые люди, чтобы научать пѣснямъ молодыхъ людей. Мы, молодые, ихъ не позабудемъ, и нѣкоторые изъ насъ научатъ имъ своихъ внуковъ, еще не родившихся. Но многіе изъ насъ сгніютъ до того времени или дома въ тюрьмахъ, или на чердакахъ чужбины.

Возвратимся къ философіи. Я показалъ выше, какъ философія Фихте, построенная изъ самыхъ утонченныхъ отвлеченностей, все-таки обнаруживала желѣзную непреклонность въ своихъ выводахъ, доходившихъ до самой смѣлой высоты. Но въ одно прекрасное утро мы замѣтили въ ней большую перемѣну. Она начала пищать и пыть, и становилась кроткою и скромною. Титанъ-идеалистъ, взлѣзшій по лѣстницѣ мыслей на небо и ощупывавшій дерзкою рукой небесную пустоту, сдѣлался теперь смиренно христіанскимъ существомъ, много воздыхающимъ о любви. Это — второй періодъ Фихте, который здѣсь мало занимаетъ насъ. Вся его система подверглась самымъ страннымъ измѣненіямъ. Въ это время онъ написалъ «Назначеніе чел

вѣка» — сочиненіе, которое вы перевели недавно. Къ тому же времени относится написанное въ томъ же духѣ: «Наставленіе къ достиженію благоденственной жизни».

Само собою разумѣется, что Фихте, какъ человѣкъ упрямый, никогда не хотѣлъ сознаться въ этомъ великомъ переворотѣ, происшедшемъ въ немъ. Онъ утверждалъ, что философія его все та же, и только выраженія ея измѣнились, улучшились, что его никогда не понимали. Онъ также утверждалъ, что натуръ-философія, возникшая тогда въ Германіи и вытѣснившая идеализмъ, была въ сущности совершенно его собственная система, и что его ученикъ Іосифъ Шеллингъ, который отъ него отдѣлился и ввелъ эту новую философію, только измѣнилъ термины и расширилъ его прежнее ученіе непріятными дополненіями.

Мы приходимъ здѣсь къ новому фазису нѣмецкой мысли. Мы произнесли имя Іосифа Шеллинга и названіе натуръ-философіи; но такъ какъ первый почти неизвѣстенъ Франціи, и терминъ натуръ-философія тоже не всѣ понимаютъ, то я долженъ пояснить значеніе того и другого. Мы, конечно, не можемъ исчерпать этотъ предметъ въ настоящемъ очеркѣ; этой задачѣ посвятимъ мы позднѣйшее сочиненіе. Здѣсь мы хотимъ только устранить нѣкоторыя главныя заблужденія и привлечь нѣкоторое вниманіе только на соціальную важность этой философіи.

Прежде всего надо сказать, что Фихте не совсѣмъ былъ неправъ, утверждая, что ученіе Іосифа Шеллинга было собственно его ученіе, только формулированное и дополненное. Фихте, такъ же, какъ Іосифъ Шеллингъ, училъ, что существуетъ только одно существо, *Я*, абсолютъ; онъ проповѣдывалъ тождество идеальнаго и реальнаго. Въ «Ученіи о наукѣ, какъ я уже показалъ, Фихте, съ помощью умственной строительной работы, хотѣлъ построить изъ идеальнаго реальное. Іосифъ Шеллингъ перевернулъ дѣло: онъ старался вывести изъ реальнаго идеальное. Выражусь яснѣе: исходя отъ принципа, что мысль и природа одно и то же, Фихте доходитъ, посредствомъ умственной операціи, до міра явленій, изъ мысли онъ создаетъ природу, изъ идеальнаго — реальное. Напротивъ того, для Шеллинга, хотя онъ исходитъ изъ того же принципа, міръ явленій разрѣшается въ чистыя идеи, природа — въ мысль, реальное — въ идеальное. Поэтому эти два направленія — Фихте и Шеллинга, до извѣстной степени дополняютъ одно другое. Ибо по вышеупомянутому высшему принципу, философія могла распасться

на двѣ части, изъ которыхъ въ одной показывали бы, какъ изъ идеи природа приходитъ къ внѣшнему проявленію, а въ другой показывали бы, какъ природа становится чистою идеей. Такимъ образомъ, философія могла распасться на трансцендентальный идеализмъ и натуръ-философію. И г. Шеллингъ дѣйствительно призналъ эти двѣ системы, и послѣднюю развивалъ въ своей книгѣ: «Идеи къ философіи природы», а первую—въ своей «Системѣ трансцендентальнаго идеализма».

Объ этихъ двухъ произведеніяхъ, изъ которыхъ одно появилось въ 1797 г., а другое въ 1800, я упоминаю только потому, что вышеупомянутыя, дополняющія одно другое, направленія выражены уже въ самомъ заглавіи, а не потому, что они содержатъ въ себѣ полную систему. Нѣтъ, такой системы не встрѣчается ни въ одной изъ книгъ г. Шеллинга. У него нѣтъ, какъ у Канта и у Фихте, главнаго произведенія, которое можно было бы принять за средоточіе его философіи. Было бы несправедливо судить о Шеллингѣ по объему одной его книги и по строго буквальному смыслу. Его книги скорѣе слѣдуетъ читать хронологически, слѣдить въ нихъ за постепеннымъ развитіемъ его мысли, и уже затѣмъ придерживаться его основной идеи. Мнѣ кажется даже равно необходимымъ часто различать у него, гдѣ прекращается мысль и начинается поэзія. Ибо г. Шеллингъ—одно изъ тѣхъ существъ, которымъ природа дала болѣе склонности къ поэзіи, чѣмъ поэтической силы, и которыя, будучи неспособны удовлетворить парнасскихъ дѣвъ, бѣгутъ въ лѣса философіи, и тамъ живутъ съ отвлеченными гамадріадами въ самыхъ безплодныхъ бракахъ. Чувство ихъ поэтично, но орудіе, слово, слабо, они тщетно стремятся къ художественной формѣ, въ которой могли бы передавать свои мысли и знанія. Поэзія составляетъ и слабую, и сильную сторону г. Шеллинга. Ею отличается онъ отъ Фихте, сколько къ своей выгодѣ, столько же и въ ущербъ себѣ. Фихте только философъ, и его мощь заключается въ діалектикѣ, и его сила заключается въ демонстрированіи. Но это-то и составляетъ слабую сторону г. Шеллинга; онъ живетъ болѣе въ созерцаніяхъ, ему неловко на холодныхъ вершинахъ логики, онъ охотно бродитъ по цвѣтущимъ долинамъ символики, и философская сила его состоитъ въ строительной работѣ. Но эта послѣдняя есть способность ума, встрѣчающаяся въ посредственныхъ поэтахъ такъ же часто, какъ и въ лучшихъ философахъ.

По этому послѣднему указанію становится понятнымъ, что въ той части философіи, которая есть лишь трансцендентальный идеализмъ, г. Шеллингъ остался и долженъ былъ остаться только отголоскомъ Фихте, но что въ философіи природы, гдѣ ему приходилось распоряжаться цвѣтами и звѣздами, онъ долженъ былъ великолѣпно цвѣсти и сіять. Вслѣдствіе этого, не только онъ, но и его единомышленники-друзья тоже примкнули преимущественно къ этому направленію философіи, и шумъ, возникшій при этомъ случаѣ, былъ какъ бы реакціей поэтничанья противъ предшествовавшей ему отвлеченной философіи разума. Какъ вырвавшіеся школьники, цѣлый день протомившіеся въ узкихъ залахъ подъ гнетомъ вокабулъ и цифръ, такъ ученики Шеллинга ринулись въ природу, въ благоуханную, лучезарную дѣйствительность, и ликовали, и кувыркались, и страшно шумѣли.

Выраженіе «ученики Шеллинга» тоже не должно принимать здѣсь въ обыкновенномъ смыслѣ. Самъ г. Шеллингъ говоритъ, что онъ хотѣлъ основать школу только по образцу древнихъ поэтовъ, школу поэтическую, гдѣ никто не связанъ опредѣленною доктриной и опредѣленными правилами, но гдѣ каждый повинуется своему уму и обнаруживаетъ его по-своему. Онъ могъ бы также сказать, что основывалъ школу пророковъ, гдѣ вдохновенные начинаютъ пророчествовать, какъ имъ вздумается, и такимъ языкомъ, какой имъ нравится. Такъ, дѣйствительно, поступили ученики, которыхъ возбудилъ духъ учителя; самыя ограниченныя головы стали пророчествовать, всякая своимъ особымъ языкомъ...

Какъ все самое значительное и великолѣпное можетъ быть употреблено на маскарады и дурачества, какъ толпа трусливыхъ плутишекъ и меланхолическихъ паяцовъ въ состояніи скомпрометировать великую идею—это мы видимъ здѣсь въ натуръ-философіи. Но смѣшной характеръ, приданный ей школою пророковъ или поэтическою школой г. Шеллинга, на самомъ дѣлѣ нельзя ставить ей въ вину. Ибо идея натуръ-философіи въ сущности вѣдь не что иное,

идея Спинозы, пантеизмъ.

евіе Спинозы и натуръ-философія, какъ излагалъ ее

ингъ въ лучшее свое время, въ сущности одно и то же.

ы, отвергнувъ матеріализмъ Локка и доведя до по-

ь крайностей идеализмъ Лейбница, оказавшійся

зплоднымъ, дошли, наконецъ, до третьяго сына До-

карта, до Спинозы. Философія снова совершила великій круговоротъ и, можно сказать, такой же, какой она уже совершила за двѣ тысячи лѣтъ до того, въ Греціи. Но, сравнивая ближе эти два движенія, открываемъ въ нихъ существенное различіе. У грековъ были такіе же смѣлые скептики, какъ и у насъ, элеаты отрицали дѣйствительность внѣшняго міра такъ же рѣшительно, какъ наши новѣйшіе трансцендентальные идеалисты. Платонъ находилъ, точно такъ же, какъ г. Шеллингъ, міръ духа въ мірѣ явленій. Но мы имѣемъ передъ греками, равно какъ и передъ картезіанскою школою, слѣдующее преимущество: мы начали наше философское круговращеніе изслѣдованіемъ источниковъ человѣческаго познанія, критикой чистаго разума нашего Эммануила Канта.

Упомянувъ о Кантѣ, я долженъ прибавить къ предшествовавшимъ разсужденіямъ, что доказательство существованія Бога, которое онъ допускалъ, именно такъ-называемое нравственное доказательство, было съ великимъ шумомъ опровергнуто г. Шеллингомъ. Но это доказательство не отличается особенною силой, и Кантъ привелъ его, можетъ-быть, только изъ добродушія. Высшее божественное начало Шеллинга есть Богъ — вселенная Спинозы. По крайней мѣрѣ, оно было такимъ въ 1801 г., во второмъ томѣ «Журнала умозрительной физики». Здѣсь божественное начало есть абсолютное тождество природы и мышленія, матеріи и духа, и абсолютное тождество не причина вселенной, а сама вселенная, слѣдовательно оно—Богъ—вселенная. Въ немъ нѣтъ ни противорѣчій, ни раздѣльности. Абсолютное тождество есть также абсолютная цѣлостность. Годомъ позже, Шеллингъ еще болѣе развилъ свое ученіе въ книгѣ подъ заглавіемъ: «Бруно, или о божественномъ и естественномъ принципѣ вещей». Это заглавіе напоминаетъ намъ благороднѣйшаго мученика нашего ученія, приснопамятнаго Джордано Бруно изъ Нолы. Итальянцы утверждаютъ, что г. Шеллингъ заимствовалъ у стараго Бруно свои лучшія мысли, и обвиняютъ его въ плагіатѣ. Они не правы, потому что въ философіи нѣтъ плагіатовъ. Въ 1804 году, Шеллингово божественное начало явилось вполнѣ законченнымъ въ сочиненіи «Философія и религія». Здѣсь-то находимъ во всей полнотѣ ученіе объ абсолютѣ. Здѣсь абсолютъ выраженъ въ трехъ формулахъ. Первая—категорическая: абсолютъ не есть ни идеальное, ни реальное (ни духъ, ни матерія), но тождество обоихъ ихъ. Вторая формула—гипоте-

тическая: когда существуетъ субъектъ и объектъ, тогда абсолютъ есть существенное равенство обоихъ ихъ. Третья формула раздѣлительная: есть только одно существо, но это единое существо можетъ быть разсматриваемо въ одно и то же время или поочередно, какъ совершенно идеальное или совершенно реальное. Первая формула вполнѣ отрицательная; вторая предполагаетъ условіе еще болѣе трудное для пониманія, чѣмъ само обусловленное; а третья формула совершенно спинозовская: абсолютная субстанція признаваема или какъ мышленіе, или какъ протяженіе. Такимъ образомъ Шеллингъ не могъ пойти по философскому пути далѣе Спинозы, потому что абсолютъ можетъ быть понятъ только въ формѣ этихъ двухъ аттрибутовъ — мышленія и протяженія. Но тутъ г. Шеллингъ покидаетъ философскій путь и съ помощью какого-то мистическаго наитія старается достигнуть до созерцанія самаго абсолюта, онъ стремится усмотрѣть его въ его средоточіи, въ самой его сущности, гдѣ нѣтъ ни идеальнаго, ни реальнаго, ни мысли, ни протяженія, ни субъекта, ни объекта, ни духа, ни матеріи, но... какъ мнѣ знать, что̀ тутъ есть?

Тутъ у г. Шеллинга кончается философія и начинается поэзія, хочу сказать—безуміе. Но здѣсь именно онъ встрѣчаетъ наиболѣе отклика въ толпѣ сумасбродовъ, которымъ именно удобно откинуть спокойное мышленіе и какъ бы подражать тѣмъ вертящимся дервишамъ, которые, какъ разсказываетъ другъ нашъ Жюль Давидъ, кружатся до тѣхъ поръ, пока и объективный, и субъективный міръ не исчезнутъ изъ ихъ глазъ, пока эти два міра не сольются въ бѣлое ничто, ни идеальное, ни реальное, пока они не увидятъ чего-то, что невидимо, не услышатъ чего-то, что неслышимо, не увидятъ звуковъ и не услышатъ цвѣтовъ, пока абсолютное не явится имъ наглядно.

Мнѣ кажется, что эта попытка постигнуть умозрѣніемъ абсолютное заканчиваетъ собою философскую карьеру Шеллинга. Теперь выступаетъ болѣе великій мыслитель, вырабатывающій натуръ-философію въ прочную систему, объясняющій изъ ея синтеза весь міръ явленій, дополняющій великія идеи своихъ предшественниковъ идеями еще болѣе великими, дающій имъ научное основаніе. Онъ—ученикъ Шеллинга, но ученикъ, который въ области философіи постепенно овладѣлъ всею властью своего учителя, властолюбиво превзошелъ его и, наконецъ, повергнулъ въ забвеніе. великій Гегель, величайшій изъ философовъ, порожден-

ныхъ Германіей со времени Лейбница. Нечего и говорить, что онъ стоитъ гораздо выше Канта и Фихте. Онъ проницателенъ, какъ первый, и силенъ, какъ второй, и при этомъ еще обладаетъ созидательнымъ спокойствіемъ души, гармоніей мысли, какихъ мы не находимъ ни у Канта, ни у Фихте, потому что въ нихъ болѣе господствуетъ духъ революціонный. Сравнивать этого человѣка съ г. Іосифомъ Шеллингомъ рѣшительно невозможно, ибо Гегель былъ человѣкъ съ характеромъ. И если онъ, подобно Шеллингу, далъ существующему порядку вещей въ государствѣ и церкви нѣсколько слишкомъ натянутыхъ оправданій, то сдѣлалъ это для государства, которое уважало, по крайней мѣрѣ въ теоріи, прогрессивное начало, и для церкви, которая признаетъ жизненнымъ своимъ элементомъ принципъ свободнаго обсужденія; и онъ не скрывалъ этого, онъ сознавался во всѣхъ своихъ цѣляхъ. Напротивъ того, г. Шеллингъ пресмыкается въ прихожихъ столько же практическаго, сколько и теоретическаго абсолютизма, и помогаетъ ковать умственныя цѣпи въ вертепахъ іезуитизма; а при этомъ хочетъ увѣрить насъ, что онъ всегда неизмѣнно тотъ же передовой человѣкъ, какимъ былъ прежде, онъ отрицаетъ свое отреченіе и къ позору отпаденія прибавляетъ еще трусливость лжи!

Мы не скроемъ этого, ни изъ благочестія, ни изъ благоразумія не скроемъ: человѣкъ, нѣкогда самымъ дерзновеннымъ образомъ провозглашавшій въ Германіи религію пантеизма, тотъ, кто громче всѣхъ провозгласилъ святость природы и возстановленіе человѣка въ его божественныхъ правахъ—этотъ человѣкъ сталъ отступникомъ отъ своего собственнаго ученія, покинулъ алтарь, имъ самимъ освященный, уползъ въ темные подвалы прошедшаго, сдѣлался ревностнымъ католикомъ... Пусть его единомышленники радуются и ликуютъ по поводу этого обращенія—оно все-таки ничего не доказываетъ въ пользу ихъ воззрѣній; оно доказываетъ только, что человѣкъ склоняется къ католицизму, когда онъ усталъ и состарѣлся, когда онъ утратилъ свои физическія и духовныя силы, когда онъ не можетъ уже наслаждаться и мыслить. На смертномъ одрѣ обратилось такимъ образомъ уже столько свободныхъ мыслителей—но вы не хвалитесь этимъ! Эти исторіи обращенія принадлежатъ развѣ что къ области патологіи и вашему дѣлу оказываютъ очень плохую услугу. Онѣ въ концѣ концовъ доказываютъ только, что вамъ было невозможно обратить

этихъ свободныхъ мыслителей до тѣхъ поръ, пока они въ здоровомъ состояніи ходили по Божьему свѣту и вполнѣ владѣли своимъ разумомъ.

Балланшъ, кажется, сказалъ, что таковъ уже законъ природы, чтобы люди иниціативы умирали тотчасъ по исполненіи своего иниціаторскаго дѣла. Ахъ, любезный Балланшъ, это справедливо лишь отчасти; и я скорѣе могъ бы утверждать, что когда дѣло иниціативы совершено, иниціаторъ умираетъ, или становится отступникомъ. И такимъ образомъ мы, можетъ-быть, могли бы смягчить до нѣкоторой степени строгое осужденіе, произнесенное мыслящею Германіей надъ г. Шеллингомъ; мы, можетъ-быть, могли бы измѣнить въ тихое соболѣзнованіе то тяжелое крупное презрѣніе, которое лежитъ на немъ, и его отпаденіе отъ собственнаго его ученія мы пояснили бы, какъ слѣдствіе того закона природы, по которому человѣкъ, посвятившій всѣ свои силы на выраженіе или осуществленіе идеи, по исполненіи этой задачи падаетъ изнеможенный, падаетъ или въ объятія смерти, или въ объятія своихъ прежнихъ противниковъ.

Съ помощью подобнаго объясненія, мы, можетъ-быть, поймемъ и другіе, болѣе рѣзкіе современные феномены, такъ глубоко огорчающіе насъ. Мы поймемъ, можетъ-быть, почему люди, всѣмъ пожертвовавшіе за свое убѣжденіе, боровшіеся и страдавшіе за него, наконецъ, одержавъ побѣду, покидаютъ это убѣжденіе и переходятъ въ враждебный лагерь! Послѣ такого объясненія, я долженъ обратить ваше вниманіе еще на то, что въ отступничествѣ можно обвинить не только г. Іосифа Шеллинга, но отчасти также Канта и Фихте. Фихте умеръ еще довольно во-время, чтобы его отпаденіе отъ собственной его философіи не совершилось съ публичнымъ скандаломъ. А Кантъ измѣнилъ «Критикѣ чистаго разума» уже въ ту минуту, какъ написалъ «Критику практическаго разума». Иниціаторъ умираетъ—или дѣлается отступникомъ.

Не знаю, отчего эта послѣдняя строка дѣйствуетъ такъ меланхолически умиротворительно на мою душу, что въ настоящую минуту я не въ состояніи привести здѣсь другія такія истины, относящіяся до нынѣшняго г. Шеллинга. Лучше восхвалять Шеллинга прежняго, память которого вѣчно будетъ цвѣсти въ лѣтописяхъ нѣмецкой мысли; прежній Шеллингъ, подобно Канту и Фихте, представляетъ собою одинъ изъ великихъ фазисовъ нашей фи-

лософской революціи, которую я сравнилъ на этихъ страницахъ съ фазисами политической революціи во Франціи. Въ самомъ дѣлѣ, если въ Кантѣ мы усматриваемъ террористскій конвентъ, а въ Фихте—Наполеоновскую имперію, то въ Шеллингѣ является реставраціонная реакція, затѣмъ послѣдовавшая. Но то была реставрація въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Г. Шеллингъ снова утвердилъ природу въ ея законныхъ правахъ, онъ искалъ примиренія ума съ природой, онъ желалъ соединить ихъ въ вѣчной душѣ міра. Онъ реставрировалъ ту великую натуръ-философію, которую мы встрѣчаемъ у древнихъ греческихъ философовъ, которая только Сократомъ была сильнѣе проведена въ человѣческій духъ и которая впослѣдствіи расплылась въ идеальное. Онъ реставрировалъ ту великую натуръ-философію, которая, тайно зародившись изъ древней пантеистической религіи нѣмцевъ, обнаруживала во времена Парацельса прекраснѣйшій цвѣтъ, но была заглушена введеннымъ картезіанизмомъ. И—ахъ!—подъ конецъ онъ реставрировалъ то, за что его можно сравнить съ французской реставраціей въ дурномъ ея смыслѣ. Но общественный разумъ не сталъ долѣе выносить его, онъ былъ постыдно свергнутъ съ трона мысли, Гегель, его мажордомъ, сорвалъ съ него корону и остригъ его, и съ того времени развѣнчанный Шеллингъ жилъ жалкимъ монашенкомъ въ Мюнхенѣ, городѣ, проявляющемъ свой монашескій характеръ уже въ своемъ названіи и называющемся по-латыни Monacho monachorum. Тамъ видѣлъ я его, бродящаго какъ привидѣніе, съ большими, тусклыми глазами, съ печальнымъ, отупѣлымъ лицомъ, какъ грустный образъ падшаго величія. А Гегель, между тѣмъ, короновался въ Берлинѣ и царствовалъ съ тѣхъ поръ надъ нѣмецкою философіей.

Наша философская революція завершилась. Гегель заключилъ собою ея великій кругъ. Съ тѣхъ поръ мы видимъ только развитіе и усовершенствованіе натуръ-философскаго ученія. Оно, какъ я сказалъ уже, проникло во всѣ науки и произвело въ нихъ самые необыкновенные и самые грандіозные результаты. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ я тоже замѣтилъ, должно было обнаружиться и много безотраднаго. Явленія такъ многочисленны и разнообразны, что уже исчисленія ихъ потребовалась бы цѣлая книга. Здѣсь с ственно интересная и богатая яркими красками ча нашей исторіи философіи. Я, однако, убѣжденъ, что *французовъ* будетъ полезнѣе ничего не узнать изъ

части. Потому что подобныя свѣдѣнія содѣйствовали бы къ еще бо́льшему затемнѣнію французскихъ голо́въ; многія изъ положеній натуръ-философіи, взятыя не въ ихъ совокупной связи, могли бы причинить у васъ много вреда. Сколько я знаю, будь вы въ 1830 году знакомы съ нѣмецкою натуръ-философіею, никогда бы не произвести вамъ іюльской революціи. Для этого подвига требовались сосредоточеніе мыслей и силъ, благородная односторонность, самодовольное легкомысліе—свойства, существованіе которыхъ допускаетъ только старая ваша школа. Философскія измышленія, которыми во всякомъ случаѣ можно было бы оправдывать легитимизмъ и нѣкоторые католическіе догматы, охладили бы ваше воодушевленіе, ослабили бы вашу отвагу. Я считаю поэтому всемірно-исторически важнымъ, что вашъ великій эклектикъ, желавшій въ то время научить васъ нѣмецкой философіи, ничего не понималъ въ ней. Его невѣжество въ этомъ отношеніи было благодѣтельно для Франціи и всего человѣчества.

Ахъ, натуръ-философія, принесшая великолѣпнѣйшіе плоды во многихъ областяхъ науки, особенно въ собственно наукахъ естественныхъ, породила въ остальныхъ областяхъ самые вредные плевелы. Въ то самое время, какъ Окенъ, геніальнѣйшій мыслитель и одинъ изъ величайшихъ гражданъ Германіи, открывалъ новые міры идей и воодушевлялъ нѣмецкое юношество на служеніе исконнымъ правамъ человѣчества, свободѣ и равенству—ахъ, въ то же самое время Адамъ Мюллеръ излагалъ теорію кормленія народовъ на манеръ скота, по натуръ-философскимъ принципамъ; въ то самое время г. Герресъ проповѣдывалъ средневѣковый обскурантизмъ, опираясь на естественно-научное мнѣніе, что государство есть не что иное, какъ дерево, и въ своемъ, органическомъ расчлененіи должно такъ же имѣть стволъ, вѣтви и листья, какъ это прекрасно существовало въ іерархіи средневѣковыхъ корпорацій; въ то самое время г. Стефенсъ провозглашалъ философскій законъ, въ силу котораго крестьянское сословіе отличается отъ дворянства тѣмъ, что крестьянинъ созданъ природою для труда безъ наслажденія, а дворянинъ имѣетъ право наслажденія безъ труда. Мало этого: еще нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, какъ разсказывали мнѣ, одинъ вестфальскій дворянчикъ, дуралей, имя котораго, кажется, Гакстгаузенъ, издалъ сочиненіе, гдѣ онъ проситъ правительство его величества короля прусскаго принять во вниманіе посѣдо-

вательный параллелизмъ, который философія открываетъ во всемъ организмѣ міра, и установить болѣе строгія раздѣленія сословій; ибо подобно тому, какъ въ природѣ существуютъ четыре стихіи—огонь, воздухъ, вода и земля, такъ и въ обществѣ заключаются четыре аналогическихъ элемента: дворянство, духовенство, граждане и крестьяне.

Когда увидѣли, что изъ философіи выростали и распускались ядовитѣйшими цвѣтами такія безотраднѣйшія глупости; когда вообще замѣтили, что нѣмецкая молодежь, погруженная въ метафизическія отвлеченности, забыла ближайшіе современные интересы и стала негодна для практической жизни—тогда патріоты и друзья свободы почувствовали справедливое негодованіе противъ философіи, и нѣкоторые изъ нихъ дошли до того, что даже совсѣмъ бросили ее, какъ праздную, безполезную войну съ вѣтряными мельницами.

Мы не будемъ такъ глупы, чтобы серьезно опровергать этихъ недовольныхъ. Нѣмецкая философія—дѣло важное, касающееся всего человѣчества, и только наши позднѣйшіе потомки будутъ въ состояніи рѣшить—порицанія или похвалы стоимъ мы за то, что выработали сперва нашу философію, а потомъ уже—нашу революцію. Мнѣ кажется, что такой методическій народъ, какъ мы, долженъ былъ начать съ реформаціи, только послѣ этого могъ заняться философіей, и только по закончаніи ея перейти къ политической революціи. Такой порядокъ я нахожу вполнѣ разумнымъ. Головы, которыя философія употребила на мышленіе, могутъ быть скошены потомъ революціей для любыхъ цѣлей. Но философія никакъ не могла бы употребить для своихъ цѣлей головы, которыя были срублены предшествовавшей ей революціей. Впрочемъ, не безпокойтесь вы, нѣмецкіе республиканцы: нѣмецкая революція не сдѣлается снисходительнѣе и мягче оттого, что ей предшествовали критика Канта, трансцендентальный идеализмъ Фихте и даже натуръ-философія. Эти ученія развили революціонныя силы, ожидающія только мгновенія, чтобы вспыхнуть и наполнить міръ изумленіемъ и ужасомъ. Тогда появятся кантіанцы, для которыхъ и въ мірѣ явленій нѣтъ ничего священнаго и которые безъ милосердія, топоромъ и мечомъ, перероютъ почву нашей европейской жизни, для истребленія въ ней и послѣднихъ корней прошедшаго. Тогда выйдутъ на сцену вооруженные фихтеанцы, въ которыхъ фанатизмъ воли нельзя обуздать ни угрозами, ни подкупомъ; ибо они

живутъ духомъ, они презираютъ матерію, подобно первымъ христіанамъ, которыхъ такъ же не могли укротить ни тѣлесными истязаніями, ни тѣлеснымъ наслажденіями; да, при общественномъ переворотѣ такіе трансцендентальные идеалисты были бы еще непреклоннѣе первыхъ христіанъ, ибо послѣдніе переносили земное мученичество для достиженія блаженства небеснаго, тогда какъ трансцендентальный идеалистъ считаетъ самое мученичество простою внѣшностью и держится недоступно въ крѣпости своей мысли. Но еще страшнѣе всѣхъ были бы натуръ-философы, которые приняли бы активное участіе въ нѣмецкой революціи и сами отождествились бы съ дѣломъ разрушенія. Да, если рука кантіанца бьетъ сильно и мѣтко, потому что сердце его не волнуется никакимъ переходящимъ по преданію уваженіемъ; если фихтеанецъ смѣло презираетъ всякія опасности, потому что онѣ въ дѣйствительности для него не существуютъ—то натуръ-философъ страшенъ потому, что вступаетъ въ союзъ съ первородными силами природы, что онъ можетъ вызвать заклинаніями демоническія силы древне-германскаго пантеизма, и что въ немъ пробуждается та жажда борьбы, которую мы встрѣчаемъ у древнихъ германцевъ и которая сражается не для разрушенія, не для побѣды, но только для того, чтобы сражаться. Христіанство—и это его прекраснѣйшая заслуга—смягчило до нѣкоторой степени эту грубую страсть германцевъ къ битвамъ, но не могло ее уничтожить, и если нѣкогда распадается талисманъ, ее сковывающій, тогда снова вспыхнетъ звѣрство древнихъ бойцовъ, воспѣваемое столькими поэтами сѣвера. Тогда древнія каменныя божества возстанутъ изъ своего забытаго мусора и стряхнутъ съ глазъ своихъ тысячевѣковую пыль, и Торъ воспрянетъ со своимъ исполинскимъ молотомъ, и разрушитъ свои готическіе соборы. Если при этомъ вы услышите шумъ и стукъ, остерегитесь вы, наши сосѣди-французы, и не мѣшайтесь въ дѣло, которое мы затѣемъ у себя въ Германіи. Это вмѣшательство можетъ дурно окончиться для васъ. Берегитесь раздувать огонь, берегитесь и тушить его. Можете легко обжечь пальцы. И смѣйтесь надъ моимъ совѣтомъ, совѣтомъ мечтателя, предостерегающаго васъ отъ кантіанцевъ, фихтеанцевъ и натуръ-философовъ. Не смѣйтесь надъ фантазеромъ, оживающимъ въ мірѣ явленій такой же революціи, какая совершилась въ области духа. Мысль предшествуетъ дѣйствію, молнія грому. Громъ въ Германіи, конечно, тоже нѣ-

мецъ; онъ не очень быстръ и приближается медленными раскатами; но все-таки онъ грянетъ, и когда вы услышите трескъ, какой никогда еще не раздавался въ исторіи міра, знайте, что нѣмецкій громъ, наконецъ, достигъ до своей цѣли. При этомъ грохотѣ орлы падутъ мертвые съ воздушныхъ высотъ, и львы, въ самыхъ далекихъ пустыняхъ Африки, опустятъ хвосты и уползутъ въ свои властительскіе вертепы. Въ Германіи разыграютъ пьесу, передъ которою французская революція будетъ лишь невинная идиллія. Правда, теперь все довольно тихо, и если вы замѣчаете тамъ и сямъ нѣсколько человѣкъ, немного живѣе другихъ размахивающихъ руками, то не думайте, что это люди, которые выступятъ впослѣдствіи въ качествѣ настоящихъ актеровъ. Это только собачонки, бѣгающія по пустой аренѣ, грызясь между собою и лая другъ на друга, пока не выйдетъ толпа гладіаторовъ, которые станутъ биться на смерть.

И этотъ часъ наступитъ. Народы сгруппируются вокругъ Германіи, какъ на ступеняхъ амфитеатра, и станутъ глядѣть на великія боевыя игры. Совѣтую вамъ, французы, держитесь тогда очень спокойно, и Боже васъ упаси рукоплескать. Мы легко можемъ перетолковать въ другую сторону ваши аплодисменты и грубо отдѣлать васъ по нашей неучтивой манерѣ; ибо если нѣкогда, даже въ состояніи рабскаго негодованія, мы могли иногда одолѣвать васъ, то еще скорѣе сдѣлаемъ это въ заносчивомъ упоеніи нашей свободой. Вы вѣдь по себѣ знаете, что можно сдѣлать въ подобномъ состояніи—и вы изъ такого состоянія уже вышли. Будьте осторожны! Намѣренія мои добрыя, и потому-то я говорю вамъ горькую истину. Для васъ освобожденная Германія опаснѣе, чѣмъ весь священный союзъ, со всѣми кроатами и казаками. Потому что, во-первыхъ, вы не любимы въ Германіи, что̀ почти непонятно, такъ какъ вы вѣдь очень любезны и во время вашего пребыванія въ нашемъ отечествѣ такъ усердно старались нравиться, по крайней мѣрѣ, лучшей и красивѣйшей половинѣ нѣмецкаго народа. Но если-бъ эта половина и любила васъ, то вѣдь это, именно, та половина, которая не носитъ оружія и которой дружба поэтому будетъ вамъ безполезна. Въ чемъ васъ собственно укоряютъ, я никогда не могъ понять. Однажды, въ геттингенскомъ пивномъ погребѣ одинъ молодой старогерманецъ сказалъ, что французамъ слѣдуетъ отмстить за Конрадина Гогенштауфена, обезглавленнаго въ Неаполѣ. Вы, конечно, давно уже забыли про это. Но мы ничего не

забываемъ. Вы видите, что если намъ придетъ когда-нибудь охота разсчитаться съ вами, то у насъ не будетъ недостатка въ мелочныхъ поводахъ. Во всякомъ случаѣ, совѣтую вамъ поэтому остерегаться. Что бы ни случилось въ Германіи, королевскій ли прусскій принцъ, или докторъ Виртъ, достигнетъ господства, вы всегда оставайтесь вооруженными, спокойно стойте на вашемъ посту, съ ружьемъ въ рукѣ. Я вамъ желаю добра, и почти испугался, когда на-дняхъ услышалъ, что наши министры намѣрены обезоружить Францію...

Такъ какъ, несмотря на вашъ нынѣшній романтизмъ, вы все-таки рожденные классики, то вы знаете Олимпъ. Между нагими богами и богинями, которые услаждаются тамъ нектаромъ и амврозіей, вы видите богиню, которая, хотя окружена такимъ весельемъ и миромъ, все-таки сохраняетъ свою броню и шлемъ на головѣ и копье въ рукѣ.

Это богиня мудрости.

САЛОНЪ.

Часть третья.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Я долженъ предпослать этой книгѣ нѣсколько весьма неутѣшительныхъ замѣчаній и намѣренъ высказаться болѣе относительно того, чего въ ней нѣтъ, нежели о томъ, что составляетъ ея содержаніе. Что касается послѣдняго, то надлежитъ довести до свѣдѣнія читателя, что я не могъ ввести въ составъ этой книги продолженіе «Флорентинскихъ ночей», въ которыхъ нашли отголосокъ разнаго рода интересы данной минуты. «Стихійные Духа» представляютъ только переработку на нѣмецкій ладъ одной главы изъ моей книги «De l'Allemagne»; все, что проникало въ область политики и государственной религіи, было тщательно вычеркнуто, и ничего не осталось, кромѣ ряда безобидныхъ сказокъ, которыя, подобно новелламъ «Декамерона», могли бы быть годны на то, чтобы заставить забыть на нѣсколько часовъ ту зачумленную дѣйствительность, которая насъ окружаетъ въ настоящее время. Стихотвореніе, находящееся въ концѣ книги *), принадлежитъ моему собственному перу и, я полагаю, доставитъ немалое удовольствіе моимъ врагамъ; я не былъ въ состояніи написать что-либо лучшее. Вообще время стиховъ у меня прошло къ концу; поистинѣ я не въ силахъ выжать изъ себя ни одного порядочнаго стиха, и швабскіе стихоплеты, вмѣсто того, чтобы на меня дуться, должны бы были съ братскими объятьями принять въ свою школу... Да, вѣроятно, потѣха тѣмъ кончится, что я усядусь рядомъ съ другими, съ колпачкомъ на головѣ, на ма-

*) «Тангейзеръ».

ленькой скамейкѣ, среди школы швабскихъ поэтовъ, и начну воспѣвать прекрасную погоду, весеннее солнце, наслажденіе майскимъ днемъ, желтофіоли и сливочныя деревья. Я давно уже убѣдился, что стихи теперь не совсѣмъ-то идутъ на ладъ, и потому принялся за хорошую прозу. Но такъ какъ, выражаясь прозой, многаго не скажешь о прекрасной погодѣ, весеннемъ солнцѣ, прелести мая, желтофіоляхъ и сливахъ, то я вынужденъ былъ для новой формы поискать также новаго матеріала. Это навело меня на злополучную мысль обратиться къ занятію идеями, и я началъ размышлять о внутреннемъ значеніи явленій, о конечныхъ причинахъ вещей, о назначеніи человѣческаго рода, о средствахъ, которыми можно сдѣлать людей лучшими и счастливыми и т. д. Восторженное сочувствіе, которое я чувствовалъ отъ природы къ такого рода предметамъ, облегчало мнѣ трудъ, и вскорѣ я былъ въ состояніи весьма красивой, превосходной прозой излагать свои мысли... Но— увы! Когда я, наконецъ, достигъ такихъ успѣховъ въ писательствѣ—само писательство было мнѣ запрещено. Вамъ извѣстно постановленіе союзнаго сейма въ декабрѣ 1835 г., подвергнувшее запрещенію всю мою литературную дѣятельность. Я плакалъ, какъ дитя! Я столько трудился надъ нѣмецкимъ языкомъ, надъ винительнымъ и дательнымъ падежами, умѣлъ такъ мило нанизывать одно слово на другое, точно бисеръ, занятіе это начинало доставлять мнѣ удовольствіе, оно разгоняло скуку длинныхъ зимнихъ вечеровъ въ изгнаніи, и когда я писалъ по-нѣмецки, то даже воображалъ себя въ отечествѣ, около матери... И вдругъ мнѣ запретили писать! Я былъ въ весьма мягкомъ настроеніи, когда писалъ тоже извѣстное вамъ прошеніе къ сейму, которое многими изъ васъ осуждалось, какъ черезчуръ вѣрноподданное. Мои совѣтники, къ которымъ я обратился съ запросами по этому поводу, всѣ были того мнѣнія, что я долженъ затѣять большой скандалъ, изготовить огромный мемуаръ и доказать въ немъ: «что тутъ оказывается нарушеніе права собственности, что только въ силу судебнаго приговора можетъ мнѣ быть запрещено пользованіе моимъ обладаніемъ, моими писательскими способностями, что союзный сеймъ не судъ и не имѣетъ права произносить судебные приговоры, что я долженъ протестовать, требовать вознагражденія проторей и убытковъ—словомъ, произвести скандалъ. Однако, къ подобнаго рода выходкамъ я нимало не чувствовалъ себя расположеннымъ: мнѣ въ высшей сте-

нени противны всѣ декламаторскія юридическія ухищренія, и я слишкомъ хорошо зналъ причину этихъ вещей, чтобы быть разсерженнымъ самими вещами. Въ глубинѣ сердца мнѣ было извѣстно, что цѣлью этого запрещенія ни въ какомъ случаѣ не было намѣреніе огорчить меня лично; я зналъ, что союзный сеймъ, имѣя въ виду исключительно спокойствіе Германіи, въ силу весьма похвальной заботливости объ общемъ благоденствіи, такъ сурово относился къ отдѣльнымъ личностямъ. Мнѣ было извѣстно, что самымъ гнуснымъ доносомъ удалось ввести въ заблужденіе нѣкоторыхъ членовъ высокоименитаго собранія, дѣятельныхъ государственныхъ людей, которые, безъ сомнѣнія, весьма мало могли быть знакомы съ моими новѣйшими произведеніями, и увѣрить ихъ, будто я глава партіи, которая сговорилась ниспровергнуть всѣ гражданскія и нравственныя установленія... И сознавая все это, я написалъ не протестъ, но прошеніе къ сейму, въ которомъ, нимало не оспаривая его права высшей судебной инстанціи, разсматривалъ печальное постановленіе, какъ заочное рѣшеніе, и, основываясь на предшествовавшихъ обстоятельствахъ, почтительнѣйше просилъ дозволить мнѣ оправдаться предъ лицомъ высокоименитаго собранія въ обвиненіяхъ, взводившихся на меня въ его приговорѣ. Объ опасности, угрожавшей моимъ денежнымъ интересамъ, я не упомянулъ ни слова. Какая-то совѣстливость заставила меня воздержаться отъ подобнаго заявленія. Тѣмъ не менѣе, именно то, о чемъ я умолчалъ, вызвало глубокое сочувствіе многихъ благородныхъ людей въ Германіи, какъ я замѣтилъ изъ нѣкоторыхъ мѣстъ въ написанныхъ мнѣ по этому случаю письмахъ утѣшенія. И въ самомъ дѣлѣ, если и безъ того достаточно печально, что я, нѣмецкій поэтъ, долженъ жить въ изгнаніи, далеко отъ отечества, то навѣрное каждому чувствующему человѣку покажется вдвое больнѣе, что, сверхъ того, я лишенъ моего литературнаго имущества, моего маленькаго имущества поэта, которое могло бы меня, по крайней мѣрѣ, оградить на чужбинѣ отъ физическихъ бѣдствій.

Я говорю это съ грустью, но безъ неудовольствія. Ибо кого же я могу обвинять? Не государей, такъ какъ я, в качествѣ сторонника монархическаго принципа, признающаго святость королевской власти, какимъ я заявлялъ с со времени іюльской революціи, не обращая вниманія весьма опасный вой окружавшихъ меня — я, безъ сомнѣ не захотѣлъ бы своими сѣтованьями доставить нѣкото

поддержку недостойной партіи якобинцевъ. Точно также я не могу жаловаться на совѣтниковъ этихъ государей; потому что, какъ мнѣ извѣстно изъ самыхъ вѣрныхъ источниковъ, многіе изъ высокопоставленныхъ государственныхъ людей съ большимъ участіемъ соболѣзновали о томъ исключительномъ положеніи, въ которое я былъ поставленъ, и обѣщали наивозможно скорую помощь; да, мнѣ извѣстно, что только вслѣдствіе медленности дѣлопроизводства эта помощь не могла еще войти въ законную силу, и быть-можетъ, въ то время, когда я пишу эти строки, новое постановленіе въ отмѣну перваго уже обнародуется въ Германіи въ мою пользу. Даже самые рѣшительные мои противники изъ числа нѣмецкихъ государственныхъ людей дали мнѣ знать, что строгость упомянутаго рѣшенія сейма не должна коснуться *всего* писателя, но только политической и религіозной стороны его, а его поэтическая сторона можетъ безпрепятственно высказываться въ стихотвореніяхъ, драмахъ, повѣстяхъ, въ тѣхъ прекрасныхъ играхъ фантазіи, для которыхъ я обладаю такимъ геніальнымъ дарованіемъ... Такъ что я могъ даже придти къ тому убѣжденію, что мнѣ хотѣли оказать услугу и принудить не расточать свои таланты на неблагодарныя темы... И въ самомъ дѣлѣ, онѣ были чрезвычайно неблагодарны и навлекли на меня только преслѣдованіе и огорченіе... Слава Богу! При содѣйствіи жандармовъ меня поведутъ по лучшей дорогѣ, и вскорѣ я буду у васъ, сыны швабской школы, и если только не получу въ дорогѣ насморка, вы будете обрадованы тонкостью моего голоса, когда я вмѣстѣ съ вами воспою прекрасную погоду, весеннее солнце, прелесть мая, желтофіоли и сливы.

Эта книга служитъ уже доказательствомъ моего успѣшнаго движенія назадъ. Потому-то я надѣюсь, что ея изданіе не будетъ ложно истолковано во вредъ мнѣ, ни въ высшихъ, ни въ низшихъ сферахъ. Значительнѣйшая часть рукописи уже цѣлый годъ, какъ была передана моему книгопродавцу, уже полтора года, какъ я условился съ нимъ относительно ея изданія, и мнѣ было невозможно не выполнить этого условія.

Относительно этого обстоятельства я выскажусь подробнѣе въ другое время, потому что оно находится въ нѣкоторой связи съ тѣми предметами, которыхъ я не имѣю права касаться. То же самое соображеніе препятствуетъ мнѣ

ѣтить вполнѣ ту паутину клеветъ, посредствомъ кото-

къ удалось неслыханнымъ въ лѣтописяхъ нѣмецкой лите-

ратуры доносамъ выставить мои убѣжденія опасными для государства и вызвать противъ меня вышеупомянутое запрещеніе. Какъ и какимъ способомъ это произошло, знаетъ всякій, и давно уже самый доносчикъ, этотъ литературный сыщикъ, навлекъ на себя общее презрѣніе; будетъ совершенно излишнею роскошью, если къ столькимъ благороднымъ голосамъ негодованія присоединюсь и я, чтобы на постыдную голову господина Вольфганга Менцеля въ Штутгардѣ призвать позоръ и безчестіе. Никогда и ни одного жалкаго грѣшника нѣмецкая молодежь не бичевала такъ остроумно и не клеймила такой жесткой насмѣшкой! Право, мнѣ жаль его, этого несчастнаго, которому природа довѣрила маленькій талантъ, а Котта большую газету, и который такъ грязно, такъ пошло употребилъ во зло какъ то, такъ и другое!

Я оставляю открытымъ вопросъ, что способствовало тому, что голосъ господина Менцеля распространился такъ далеко; дарованіе ли его было тому причиной, или газета, въ которой онъ работалъ, дала возможность его доносамъ имѣть такое прискорбное вліяніе, что обремененные дѣлами государственные люди, которые читаютъ охотнѣе газеты, нежели книги, повѣрили ему на слово. Знаю только, что слово его должно было раздаваться тѣмъ громче, чѣмъ боязливѣе было царившее тогда въ Германіи безмолвіе... Коноводы партіи движенія замыкали себя въ благоразумномъ молчаніи, или сидѣли въ заточеніи за надежными рѣшетками и ждали рѣшенія своей участи, быть-можетъ, смертнаго приговора... Самое большое, что можно было услышать иной разъ, это—рыданіе матери, сынъ которой взялъ приступомъ полицейскій постъ во Франкфуртѣ — государственное преступленіе, несомнѣнно столько же необдуманное, сколько достойное наказанія и оправдавшее повсюду самую чуткую подозрительность правительствъ... Господинъ Менцель превосходно выбралъ время для доноса о томъ обширномъ заговорѣ, который подъ именемъ «Молодая Германія» будто бы былъ направленъ противъ престола и алтаря, и въ лицѣ пишущаго эти страницы чтилъ своего опаснѣйшаго главу.

Удивительное дѣло! И постоянно всѣ скверные субъекты прикрашиваютъ свои нападенія религіей, моралью, патріотизмомъ! Они нападаютъ на насъ не изъ грязныхъ частныхъ интересовъ, не изъ писательской зависти, не изъ прирожденнаго лакейства, но только ради Господа Бога, чтобы спасать нравственность и отечество. Г. Менцель, который въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ своихъ дружескихъ

отношеній къ г. Гуцкову съ пренсполненнымъ горести безмолвіемъ наблюдалъ, какъ религіи угрожала смертельная опасность — онъ внезапно приходитъ къ убѣжденію, что христіанство безнадежно погибнетъ, если онъ не поспѣшитъ схватить мечъ и не вонзитъ его, подкравшись сзади, въ сердце Гуцкова. Конечно, чтобы спасти христіанство, ему самому приходится дѣйствовать немножко не по-христіански; но онъ увѣренъ, что ангелы на небѣ и набожные люди на землѣ охотно вмѣнятъ ему въ добрыя дѣла маленькія клеветы и иного рода мелкія домашнія средства, которыя освящаются цѣлью.

Если бы христіанству дѣйствительно пришлось когда-нибудь погибнуть (отъ какового бѣдствія да избавятъ насъ вѣчные боги!), то виноваты въ этомъ будутъ ужъ, конечно, не его противники. Во всякомъ случаѣ, не г. Менцелю и его баварскимъ собратьямъ христіанская церковь должна быть обязана тѣмъ, что она твердо стоитъ на своемъ утесѣ!

Да и дѣйствительно ли г. Менцель хорошій христіанинъ, лучше христіанинъ, чѣмъ Гуцковъ и остальная «Молодая Германія»? Вѣритъ ли онъ всему, что̀ написано въ Библіи? Всегда ли онъ строго слѣдовалъ ученію нагорной проповѣди? Всегда ли онъ прощалъ врагамъ своимъ, т. е. всѣмъ тѣмъ, которые играли въ литературѣ болѣе блестящую роль, нежели онъ самъ? Подставлялъ ли г. Менцель смиренно свою лѣвую щеку, когда книгопродавецъ Франкъ давалъ ему въ правую пощечину, или, выражаясь по-швабски, плюху? Всегда ли г. Менцель хорошо говорилъ о вдовахъ и сиротахъ? Былъ ли онъ когда-либо честенъ, было ли его слово всегда рѣшительнымъ «да» или «нѣтъ»? Навѣрное, нѣтъ; послѣ заряженнаго пистолета, г. Менцель страшился больше всего честности рѣчи, онъ всегда былъ двуличнымъ, коварнымъ человѣкомъ, вполовину зайцемъ, вполовину флюгеромъ, въ одно и то же время грубымъ и нахальнымъ, какъ полицейскій служитель. Если бы ему пришлось жить въ первые вѣка, когда христіанину надлежало свидѣтельствовать истину Евангелія собственной кровью, то, навѣрное, онъ выступилъ бы не защитникомъ Евангелія, а скорѣе [illegible]винителемъ тѣхъ, которые были преданы христіанству и [illegible]ыхъ въ тѣ времена обвиняли въ атеизмѣ и безнравственности. Если бы г. Менцель жилъ въ Пекинѣ, а не въ [illegible]гартѣ, онъ, можетъ статься, писалъ бы теперь длинноносы противъ «молодого Китая», который, судя по послѣднимъ указамъ китайскаго правительства, пред-

ставляетъ собою, повидимому, шайку негодяевъ, письмомъ и словомъ распространяющихъ христіанство, вслѣдствіе чего мандарины небесной имперіи объявили ихъ крайне опасными врагами гражданскаго порядка и нравственности.

— Да, кромѣ религіи, г. Менцель страшится также паденія нравственности. Но, быть-можетъ, въ самомъ дѣлѣ такъ добродѣтеленъ этотъ неумолимый стражъ нравственности Штутгарта? Извѣстнаго рода физическую нравственность я нисколько не намѣренъ отвергать въ г. Менцелѣ. Трудно въ Штутгартѣ быть *не* нравственнымъ. Въ Парижѣ это гораздо легче! Порокъ—дѣло совершенно особаго рода. Въ добродѣтели каждый можетъ упражняться въ одиночку—никого на это не нужно, кромѣ самого себя; но для порока всегда нужны двое. И г. Менцель самымъ блестящимъ образомъ защищенъ своей наружностью отъ нападенія порока. Я слишкомъ выгоднаго мнѣнія о хорошемъ вкусѣ порока, чтобы допустить, что онъ когда-либо станетъ бѣгать слѣдомъ за какимъ-нибудь Менцелемъ. Бѣдный Гёте не былъ одаренъ такъ счастливо, и ему не было дозволено оставаться всегда добродѣтельнымъ. Швабская школа должна была бы въ своемъ ближайшемъ «Альманахѣ Музъ» помѣстить впереди всего изображеніе г. Менцеля; это было бы весьма поучительно. Публика тотчасъ бы замѣтила, что онъ вовсе не похожъ на Гёте. И еще съ бо̀льшимъ изумленіемъ замѣтили бы, что этотъ герой нѣмечничества, этотъ рыцарь германизма, вовсе не похожъ на нѣмца, а напротивъ того, смотритъ совершеннымъ монголомъ... каждой скулой калмыкъ!

Конечно, это весьма досадно человѣку, который постоянно носится съ національностью, безпрестанно ратуетъ противъ всего чужеземнаго и живетъ исключительно среди тевтомановъ, которые относятся къ нему только какъ къ полезному союзнику, но ни въ какомъ случаѣ не смотрятъ на него, какъ на истаго соплеменника. Но мы не принадлежимъ къ старонѣмецкимъ торгашамъ племенъ, мы смотримъ на все человѣчество, какъ на огромное семейство, члены котораго проявляютъ свое достоинство не въ цвѣтѣ кожи и строеніи костей, но въ стремленіяхъ своей души, въ сво дѣйствіяхъ. Если это можетъ доставить г. Менцелю удов ствіе, я охотно призналъ бы его чистокровнымъ потом Тевта, даже, пожалуй, законнымъ внукомъ Германа и пельды, если бы только его внутренняя сторона, его теръ, его поступки могли оправдать такого рода пр

женіе; но именно всѣ эти внутреннія свойства противорѣчатъ его нѣмечничеству еще рѣзче, чѣмъ его лицо.

Первая добродѣтель германцевъ есть извѣстнаго рода вѣрность, нѣсколько неуклюжая, но трогательно великодушная вѣрность. Нѣмецъ сражается даже за самое скверное дѣло, если заручится задаткомъ, или хотя бы только спьяна обѣщаетъ свое содѣйствіе; онъ бьется тогда со вздохами и стонами, но все же бьется; если даже внутренній голосъ нашептываетъ ему лучшія убѣжденія, онъ все-таки не можетъ рѣшиться покинуть знамя, и особенно не покидаетъ его тогда, когда партія его находится въ опасности, или, быть-можетъ, совершенно окружена превосходствомъ непріятельскихъ силъ... Въ такихъ случаяхъ перебѣгать къ противникамъ несообразно не только съ нѣмецкимъ характеромъ, но и съ характеромъ всякаго другого народа... Но дѣйствовать въ подобномъ случаѣ, еще какъ доносчикъ— можетъ только отъявленный плутъ.

Лежитъ также въ характерѣ германцевъ нѣкотораго рода совѣстливость; противъ слабаго и безоружнаго нѣмецъ никогда не обнажаетъ меча и никогда не дозволитъ себѣ оскорблять непріятеля, лежащаго на полу связаннымъ, до тѣхъ поръ, пока тотъ не освободится отъ своихъ узъ и снова встанетъ твердо на ноги. Но г. Менцель направлялъ свое оружіе охотнѣе всего противъ женщинъ; онъ рубилъ дюжинами нѣмецкихъ писательницъ, этихъ несчастныхъ созданій, которыя, чтобы добыть хлѣбъ своимъ дѣтямъ, брались за перо, и грубому, открытому посмѣянью могли противопоставить только затаенныя слезы! Нѣтъ сомнѣнія, что онъ оказалъ весьма важную услугу намъ, мужчинамъ, избавивъ насъ отъ конкуренціи писательницъ-женщинъ; онъ, можетъ-быть, принесъ этимъ нѣкоторую пользу также литературѣ, но я бы ни за какія блага не захотѣлъ пріобрѣсти свои рыцарскія шпоры въ подобномъ походѣ. Точно то же и въ отношеніи къ г. Гуцкову; если бы даже Гуцковъ былъ отцеубійцей, то и тогда у меня не хватило бы духа гремѣть противъ него филиппиками въ то время, когда онъ томился въ тюрьмѣ, или находился подъ судомъ. А я [illegible]о не могу заявить притязанія на всѣ германскія до[illegible]тели и, быть-можетъ, наименѣе всего на извѣстнаго [illegible] добросовѣстность, которая также можетъ быть разсма[illegible]ваема, какъ особенный отличительный признакъ германъ[illegible] Я многихъ дураковъ въ глаза называлъ умными, но [illegible]палъ такъ изъ вѣжливости. Я многихъ разумныхъ

людей обзывалъ ослами, но дѣлалъ это изъ ненависти. Никогда не былъ я умышленно двоедушенъ, не выжидалъ боязливо событій какъ въ политикѣ, такъ и въ частной жизни, и никогда жалкое своекорыстіе не лежало въ основаніи моихъ рѣчей. О менцелевской политикѣ по отношенію къ политикѣ я не имѣю права говорить здѣсь, ибо это политика. Впрочемъ, общественная жизнь Менцеля достаточно знакома, и всякому извѣстно, что поведеніе его въ качествѣ виртембергскаго депутата было столько же лицемѣрно, сколько смѣшно. О его частной плутовской жизни я тоже не могу говорить уже по недостатку мѣста. Точно также не намѣренъ я упоминать о его литературныхъ мошенническихъ продѣлкахъ; было бы весьма скучно, если бы мнѣ пришлось подробно указать, какимъ образомъ г. Менцель, этотъ честный человѣкъ, критикуя какихъ-либо авторовъ, цитируетъ такого рода вещи, которыхъ вовсе нѣтъ въ написанныхъ ими книгахъ, какъ онъ постоянно подмѣниваетъ подлинныя слова искажающими смыслъ синонимами, и т. п. Не могу только удержаться, чтобы, ради шутки, не привести здѣсь небольшого юмористическаго анекдота о томъ, какимъ образомъ г. Менцель предложилъ старому барону Котта изданіе своего сочиненія «Нѣмецкая Литература». Рукопись этой книги заключала въ концѣ самыя великолѣпныя похвалы Коттѣ, которыя, однако, нимало не склонили послѣдняго согласиться на требовавшійся гонораръ. Но во всякомъ случаѣ, покойному барону сильно польстило видѣть себя осыпаннымъ такими похвалами, и когда вскорѣ послѣ того книга была издана братьями Франкъ, онъ радостно сказалъ своему сыну: «Георгъ, прочти эту книгу; въ ней воздается должное моимъ заслугамъ, въ ней хвалятъ меня, какъ слѣдуетъ!» Однако, Георгъ нашелъ, что въ книгѣ всѣ похвалы были вычеркнуты и замѣнены самыми грубыми выходками противъ его отца. Старикъ былъ удивительно милъ, когда разсказывалъ этотъ анекдотъ.

Есть еще добродѣтель, существующая у германцевъ, и которой лишенъ г. Менцель: храбрость. Г. Менцель трусъ. Я вовсе не говорю этого съ цѣлью унизить его, какъ человѣка; можно быть честнымъ гражданиномъ и все же почитать табачный дымъ пороховому, и къ свинцовым лямъ чувствовать бо́льшее отвращеніе, чѣмъ къ швабс клецкамъ, потому что послѣднія хоть тяжело ложатся желудокъ, но все же далеко не такъ непереваримы, первыя. Притомъ, убійство вѣдь грѣхъ, а дуэль и по

Развѣ они не запрещаются самымъ положительнымъ образомъ религіей, моралью и философіей? Но коли ты хочешь постоянно хвастать нѣмецкой національностью, хочешь прослыть героемъ нѣмечничества, то ужъ будь храбръ, дерись каждый разъ, какъ только оскорбленный честный человѣкъ потребуетъ у тебя удовлетворенія, отстаивай жизнью высказанное мнѣніе. Самый храбрый народъ—нѣмцы. Другіе народы тоже бьются хорошо, но ихъ воинственность всегда поддерживается разнаго рода побочными причинами. Французъ дерется славно, когда кругомъ него много зрителей, или когда въ дѣлѣ замѣшаны какіе-либо изъ его любимыхъ коньковъ, напримѣръ, свобода и равенство, слава и тому подобное. Русскіе отлично дрались противъ французовъ, потому что ихъ генералы увѣрили ихъ, что тѣ, которые погибнутъ во французской или нѣмецкой землѣ, немедленно послѣ этого воскреснутъ въ Россіи; чтобы поскорѣе вновь очутиться дома, они отважно бросались на французскіе штыки; несправедливо, что только палка и водка одушевляли ихъ въ то время. Но нѣмцы храбры безъ всякой побочной мысли: они дерутся для того, чтобы драться, точно такъ же, какъ пьютъ для того, чтобы пить. Нѣмецкаго солдата не влечетъ къ битвѣ ни тщеславіе, ни стремленіе къ славѣ, ни невѣдѣніе опасности; онъ спокойно становится въ ряды и исполняетъ свою обязанность—холодно, безстрашно, увѣренно. Я говорю здѣсь о грубой массѣ, а не объ избранной части націи, образующейся въ университетахъ, этихъ высшихъ школахъ чести, и достигающей тамъ высшей степени развитія, если рѣдко въ наукахъ, то тѣмъ чаще въ понятіяхъ о человѣческомъ достоинствѣ. Я почти семь лѣтъ провелъ студентомъ въ нѣмецкихъ университетахъ, и нѣмецкая страсть къ битвамъ сдѣлалась для меня такимъ обыкновеннымъ зрѣлищемъ, что я почти пересталъ вѣрить въ трусость. Эту охоту подраться я въ особенности находилъ у моихъ коренныхъ земляковъ, вестфальцевъ, самыхъ добродушныхъ малыхъ, но которые при возникающихъ недоразумѣніяхъ, не жалуя долгаго обмѣна словъ, обыкновенно склонны къ тому, чтобы поскорѣе покончить споръ естественнымъ, такъ сказать, дружественнымъ способомъ, именно пеніемъ меча. Вотъ почему въ университетахъ наибольшее число поединковъ происходитъ между вестфальцами. г. Менцель не вестфалецъ, не нѣмецъ; г. Менцель трусъ. Когда онъ самыми наглыми словами оскорбилъ гражданскую [illegible] г. Гуцкова и вылилъ на него самыя личныя клеветы,

и когда обиженный, по обычаю нѣмецкой молодежи, потребовалъ у него надлежащаго удовлетворенія—тогда германскій герой прибѣгнулъ къ самымъ жалкимъ уловкамъ: онъ говорилъ, что вѣдь въ распоряженіи г. Гуцкова есть перо, что онъ можетъ точно также печатать противъ него, г. Менцеля, все, что̀ ему вздумается, что онъ, г. Менцель, не прочь дать Гуцкову это удовлетвореніе, но не въ глухомъ лѣсу, съ матеріальнымъ оружіемъ въ рукахъ, а публично, на открытой аренѣ журналистики, употребляя въ дѣло умственное оружіе... И германскій герой предпочелъ браниться, какъ старая баба, въ своемъ сплетническомъ листкѣ, вмѣсто того, чтобы драться на мѣстѣ чести, какъ прилично мужчинѣ.

Это прискорбно, это плачевно, но тѣмъ не менѣе справедливо, что г. Менцель трусъ. Я говорю это съ грустью, но для высшихъ интересовъ необходимо, чтобы я высказалъ во всеуслышаніе: г. Менцель трусъ. Я въ этомъ убѣжденъ. Если угодно г. Менцелю убѣдить меня въ противномъ, то я охотно готовъ выступить противъ него. Или онъ мнѣ также предложитъ защищаться посредствомъ печатнаго станка, журналовъ и брошюръ, противъ инсинуацій, на которыхъ основывались его первые доносы, которые онъ продолжалъ съ тѣхъ поръ и, безъ сомнѣнія, въ настоящее время усилитъ еще вдвое? Эта уловка могла быть употреблена въ ту пору противъ г. Гуцкова, потому что тогда извѣстный указъ сейма еще не появлялся, да и послѣ появленія его онъ обрушился на г. Гуцкова не такъ тяжело, какъ на меня. Наконецъ, въ полемикѣ Менцеля съ Гуцковымъ главную роль играли личности, такъ какъ Гуцкову приходилось отражать клеветы на частную жизнь и нападки на личность. Мнѣ же приходилось бы болѣе всего оспаривать клеветы на мой духъ, на мой образъ мыслей и чувствъ, и мнѣ невозможно было бы защищаться иначе, какъ безъ обиняковъ излагая свои религіозныя и нравственныя воззрѣнія; только положительными признаніями я могу вполнѣ освободить себя отъ взводимыхъ на меня обвиненій въ отрицаніи, атеизмѣ и безнравственности. А вамъ извѣстно, какъ ограничено нынѣ поле, разработывать которое можетъ себѣ позволить мое перо.

Какъ я уже сказалъ, г. Менцель не затронулъ меня лично и право, я не чувствую противъ него никакой личной злобы. Мы были даже въ былое время добрыми пріятелями, и онъ часто свидѣтельствовалъ мнѣ чрезъ посредство другихъ свою сильную любовь. Онъ никогда не упрекалъ меня въ томъ что я дурной писатель, и я тоже хвалилъ его. Онъ мнѣ

вился, и я хвалилъ его въ одномъ журналѣ, который недолго просуществовалъ послѣ этой похвалы. Я былъ тогда молодымъ мальчикомъ, и для меня величайшей забавой было помѣщать блохъ подъ микроскопъ и указывать людямъ ихъ большіе размѣры. Г. Менцель, напротивъ, помѣщалъ тогда Гёте подъ уменьшительное стекло, и это также доставляло мнѣ дѣтское удовольствіе. Шутки г. Менцеля мнѣ нравились; онъ былъ тогда остроуменъ и, не обладая собственно никакой основной идеей, никакимъ синтезомъ, умѣлъ весьма хитро комбинировать и группировать свои измышленія, такъ что подчасъ казалось, будто онъ написалъ не безсвязныя фразы, а книгу. Онъ имѣлъ также нѣкоторыя дѣйствительныя заслуги относительно нѣмецкой литературы; съ метлой въ рукахъ стоялъ онъ съ утра до вечера въ грязи и выметалъ дерьмо, скопившееся въ нѣмецкой литературѣ. Но, занимаясь такой неопрятно поденной работой, онъ сдѣлался самъ до такой степени грязенъ и вонюч, что подъ конецъ стоять подлѣ него было невыносимо, и какъ чистящихъ отхожія мѣста выводятъ за ворота, по выполненіи ихъ работы, такъ и г. Менцель долженъ быть удаляемъ подалѣе отъ литературы. Къ несчастію для него, это неблаговонное занятіе до такой степени вполнѣ поглотило его время, что онъ ровно ничему новому не выучился. Что предпринять ему въ настоящую минуту? Его прежнія познанія были едва достаточны для литературнаго домашняго обихода; его невѣжество было постоянной мишенью для насмѣшекъ его ближайшихъ знакомыхъ; только его супруга была высокаго мнѣнія о его учености. Да и рисовался же онъ передъ ней немало! Недостатокъ въ свѣдѣніяхъ и потребность скрыть этотъ недостатокъ, быть-можетъ, вызвали большую часть промаховъ или плутней г. Менцеля. Если бы онъ зналъ по-гречески, ему бы никогда не пришла въ голову мысль выступить противъ Гёте. Къ несчастію, въ латыни онъ былъ также слабъ, и ему приходилось болѣе всего держаться германскаго, и ежедневно возрастало его влеченіе къ средневѣковымъ нѣмецкимъ поэтамъ, къ благородному гимнастическому искусству и къ Якову Бему, нѣмецкій слогъ котораго весьма трудно понять и котораго онъ тоже хотѣлъ дать въ научномъ видѣ.

Я говорю это только съ цѣлью прослѣдить начало и за-
ченіе его тевтоманіи, но не затѣмъ, чтобы огорчить его;
что вообще, какъ нахожу нужнымъ повторить, говорю
не изъ ненависти и озлобленія. Если мои слова

жестки, то это не моя вина. Здѣсь дѣло идетъ о томъ, чтобы указать публикѣ, что̀ за личность этотъ хвастливый герой національности, этотъ стражъ нѣмечничества, который безпрестанно ругаетъ французовъ, а насъ, бѣдныхъ писателей молодой Германіи, объявилъ всѣхъ поголовно французами и жидами. Что касается жидовъ, это бы еще никакого значенія не имѣло; мы не заискиваемъ сближенія съ простонародьемъ, а образованный человѣкъ, конечно, знаетъ, что люди, которыхъ обличали, какъ противниковъ деизма, не могли имѣть никакой симпатіи къ синагогѣ; тотъ не обращается къ поблекшимъ прелестямъ матери, кому перестала нравиться ея старѣющая дочь. Но выставленіе насъ врагами Германіи, которые измѣняли отечеству, предавая его Франціи, было столько же трусливое, сколько коварное плутовство.

Можетъ-быть, и есть нѣсколько честныхъ французоненавистниковъ въ этой сворѣ, которая насъ, за наши симпатіи къ Франціи, такъ жалко не понимаетъ и такъ нелѣпо обвиняетъ. Другіе же — не что иное, какъ старые кобели, которые все еще попрежнему лаютъ, какъ въ 1813 году, и которыхъ тявканіе служитъ доказательствомъ нашего прогресса. «Собака лаетъ, караванъ подвигается впередъ», говоритъ бедуинъ. Они лаютъ болѣе по привычкѣ, чѣмъ отъ злости, какъ старая паршивая дворняжка, которая тоже свирѣпо лаетъ на всякаго чужого, не разбирая, замышляетъ ли тотъ что-либо доброе или злое. Быть-можетъ, бѣдное животное пользуется этимъ удобнымъ случаемъ, чтобы рваться на своей цѣпи и грозно звенѣть ею, не навлекая этимъ на себя неудовольствія хозяина дома. Но большинство этихъ французоненавистниковъ — плуты, умышленно напускающіе на себя эту ненависть, негодяи лживые, безстыдные, безчестные и трусливые, которые, будучи лишены всѣхъ добродѣтелей нѣмецкаго народа, наряжаются въ его пороки, чтобы давать себѣ видъ патріотовъ и въ этомъ одѣяніи имѣть возможность безопасно ругать истинныхъ друзей отечества. Это вдвойнѣ фальшивая игра. Воспоминанія о наполеоновской имперіи еще не совершенно исчезли въ нашемъ отечествѣ; тамъ еще не вполнѣ забыли, какъ грубо обращались французы съ нашими мужчинами и какъ нѣжно съ нашими женщинами; для огромнаго большинства еще до сихъ поръ ненависть къ французамъ значитъ то же самое, что̀ любовь къ отечеству; такимъ образомъ, люди, искусно эксплуатирующіе эту ненависть, имѣютъ, по крайней мѣрѣ, на своей

сторонѣ черпь, когда выступаютъ въ походъ противъ молодыхъ писателей, которые стараются вызвать дружескія отношенія между Франціей и Германіей. Конечно, эта ненависть въ былое время принесла пользу государству, когда дѣло шло о томъ, чтобы вытѣснить чужеземное господство; нынѣ же намъ не грозитъ никакая опасность съ запада, Франція не угрожаетъ уже болѣе нашей самостоятельности, современные намъ французы не то, что французы вчерашняго дня, даже ихъ характеръ измѣнился: мѣсто легкомысленной страсти къ завоеваніямъ замѣнила основательная, почти нѣмецкая серьезность, они братски соединяются съ нами въ области духа, и въ то же время въ области матеріи ихъ интересы ежедневно сплетаются тѣснѣе съ нашими; въ настоящее время Франція — нашъ естественный союзникъ. Кто этого не понимаетъ, тотъ глупецъ; но кто это понимаетъ и дѣйствуетъ противоположно—измѣнникъ.

Однако, что могъ потерять какой-нибудь г. Менцель при погибели Германіи? Возлюбленное отечество? Но гдѣ есть палка, тамъ и отечество раба. Свою безсмертную славу? Но она угаснетъ въ тотъ же самый часъ, когда кончится срокъ контракта, который обезпечиваетъ за нимъ редакцію штутгартскаго «Литературнаго Листка». Да, пусть только пожелаетъ баронъ Котта пустить въ трубу небольшую сумму денегъ, которая была выговорена въ видѣ неустойки — и тотчасъ же покончится безсмертіе Менцеля. Или, быть-можетъ, онъ боится за свою личность? Праведное небо! Да, если бы случилось нашествіе монгольскихъ ордъ на Штутгартъ, г. Менцелю стоитъ принести себѣ изъ театральнаго гардероба костюмъ амура, вооружиться лукомъ и стрѣлами — и башкиры, какъ только увидятъ его лицо, радостно воскликнутъ: «Это нашъ возлюбленный братъ!»

Я сказалъ, что у нашихъ тевтомановъ выставляемая напоказъ ненависть къ французамъ есть двойная фальшивая игра. Такимъ путемъ они стараются прежде всего пріобрѣсти популярность, которая добывается очень дешево, такъ какъ при этомъ нечего опасаться потерять ни должность, ни свободу. Метать громы противъ мѣстныхъ властей значительно опаснѣе. Но чтобы получить значеніе нашихъ трибуновъ, нашимъ тевтоманамъ приходится иной [illegible] рискнуть произнести свободное слово противъ нѣмецправительствъ, и въ нагломъ малодушіи своего сердца воображаютъ, что правительства охотно извинятъ имъ [illegible] демагогизма, если они зато еще неотступнѣе

будутъ проповѣдывать ненависть къ французамъ. Они не понимаютъ, что наши государи уже не боятся теперь Франціи, не нуждаются уже въ національной ненависти, какъ въ средствѣ къ защитѣ, и смотрятъ на короля французовъ, какъ на надежнѣйшій оплотъ монархическаго принципа.

Тотъ, кому приходилось проводить дни въ изгнаніи, сырохолодные дни и долгія черныя ночи, кому приходилось когда-либо подниматься и опускаться по жесткимъ лѣстницамъ чужбины, тотъ пойметъ, почему я отклоняю отъ себя подозрѣніе въ отсутствіи патріотизма съ болѣе энергическимъ негодованіемъ, чѣмъ всѣ другія клеветы, вотъ уже нѣсколько лѣтъ появляющіяся противъ меня въ такомъ изобиліи и переносимыя съ терпѣніемъ и гордостью. Я говорю—съ гордостью, потому что это могло вызвать во мнѣ заносчивую мысль, что я принадлежу къ ряду тѣхъ избранниковъ славы, воспоминаніе о которыхъ не умираетъ въ памяти людей и которые повсюду на землѣ оставляютъ по себѣ, рядомъ съ священными, свѣтлыми слѣдами ногъ, длинныя, грязныя тѣни клеветы.

Точно также желалъ бы я оправдать — не себя, но мои произведенія—въ обвиненіи въ атеизмѣ и безнравственности. Но это невыполнимо до тѣхъ поръ, пока мнѣ не будетъ дозволено съ высоты синтеза развить свои мнѣнія о религіи и нравственности. Надѣюсь, какъ я уже упомянулъ о томъ выше, что это будетъ мнѣ вскорѣ дозволено. До того времени я позволю себѣ только одно замѣчаніе въ мою пользу. Тѣ двѣ книги, которыя собственно, какъ corpora delicti, были приведены въ свидѣтельство противъ меня и гдѣ хотятъ найти предосудительныя тенденціи, въ которыхъ меня обвиняютъ, напечатаны не въ такомъ видѣ, какъ были мною написаны, и до такой степени искажены посторонней рукой, что въ другое время, когда можно было бы не опасаться ложнаго истолкованія моихъ побужденій, я бы не призналъ себя ихъ авторомъ. Именно я говорю о второй части «Салона» и о «Романтической Школѣ». Вслѣдствіе большихъ безчисленныхъ пропусковъ, которые были тамъ сдѣланы, первоначальная тенденція обѣихъ книгъ совершенно исчезла, и позже въ нихъ вложили совершенно ин тенденцію. Въ чемъ заключалась тенденція первоначальн я не скажу, но имѣю полное основаніе утверждать, что е не была непатріотическая. Именно во второй части «Сало выключенныя мѣста заключали въ себѣ такое блестя признаніе величія нѣмецкой націи, какое никогда не до

влялось на рынокъ натянутымъ патріотизмомъ нашихъ тевтомановъ; во французскомъ изданіи, въ книгѣ «De l'Allemagne», каждый можетъ найти подтвержденіе этому. Точно также французское изданіе моихъ осужденныхъ книгъ убѣдитъ каждаго, что направленіе ихъ вовсе не относилось къ области религіи и морали. Да, многіе языки обвиняютъ меня въ равнодушіи относительно всякаго рода религіозныхъ и нравственныхъ системъ и полагаютъ, что мнѣ приходится по сердцу всякое ученіе, если только оно расположено содѣйствовать благосостоянію народовъ Европы, или, по крайней мѣрѣ, можетъ служить оружіемъ въ борьбѣ для достиженія его. Но такое мнѣніе обо мнѣ несправедливо. Я бы никогда не употребилъ въ дѣло ложь для борьбы за истину.

Что такое истина? «Принесите мнѣ умывальникъ», сказалъ бы Понтій Пилатъ.

Я писалъ это предисловіе въ странномъ настроеніи. Въ это время я болѣе думалъ о Германіи, чѣмъ о нѣмецкой публикѣ, мысли мои носились вокругъ предметовъ, болѣе милыхъ, чѣмъ тѣ, которыми въ эти минуты занято было мое перо... Да, я подъ конецъ совершенно потерялъ охоту писать, подошелъ къ окну и смотрѣлъ на бѣловатыя облака, которыя, точно похоронный поѣздъ, тянулись по ночному небу. Одно изъ этихъ меланхолическихъ облаковъ кажется мнѣ такъ знакомо и безпрерывно вызываетъ во мнѣ вопросъ — гдѣ и когда я уже прежде видѣлъ подобное воздушное очертаніе? Я полагаю, что это было въ сѣверной Германіи, шесть лѣтъ тому назадъ, вскорѣ послѣ іюльской революціи, въ тотъ тяжелый вечеръ, когда я навсегда простился съ преданнѣйшимъ товарищемъ по оружію, съ безкорыстнѣйшимъ другомъ человѣчества. Онъ, конечно, зналъ печальную участь, которая ожидала каждаго изъ насъ. Когда онъ въ послѣдній разъ пожалъ мнѣ руку, то поднялъ глаза къ небу, долго смотрѣлъ на то облако, котораго печальное подобіе такъ грустно меня настраиваетъ въ настоящую минуту, и печально сказалъ: «Только дурныя и дюжинныя натуры выигрываютъ во время революціи. Въ худшемъ случаѣ, если она не удалась, они все-таки умѣютъ всегда во-время вытянуть голову изъ петли. Но люди съ великимъ сердцемъ всегда будутъ жертвами революціи, удаченъ или нѣтъ ея исходъ».

Ѣмъ, которые страдаютъ тамъ, въ отечествѣ, мой привѣтъ.

Писано въ Парижѣ, 24 января 1837 г.

СТИХІЙНЫЕ ДУХИ.

Утверждаютъ, что въ Вестфаліи можно встрѣтить стариковъ, которые до сихъ поръ знаютъ, гдѣ погребены старые идолы; на смертномъ одрѣ передаютъ они эту дорогую тайну самому меньшему изъ внуковъ своихъ, а тотъ носитъ ее въ своемъ молчаливомъ саксонскомъ сердцѣ. Въ Вестфаліи, бывшей Саксоніи, не все то умерло, что похоронено. Когда бродишь по тамошнимъ старымъ дубовымъ рощамъ, то слышишь еще голоса старины, слышишь отголосокъ того глубокомысленнаго волшебнаго языка, въ которомъ кипитъ больше жизни, чѣмъ во всей литературѣ марка бранденбургскаго. Какое-то таинственное благоговѣніе проникло мнѣ въ душу, когда я, разъ проходя черезъ эти рощи, подошелъ къ старому Зигбургу. «Здѣсь,—сказалъ мой проводникъ:—жилъ когда-то король Витекиндъ»—и онъ глубоко вздохнулъ. Это былъ простой дровосѣкъ, съ большимъ топоромъ въ рукахъ.

Я увѣренъ, что этотъ человѣкъ до сихъ поръ готовъ биться за короля Витекинда, и горе черепу, на который упадетъ топоръ его.

То былъ черный день для Саксоніи, когда Витекиндъ, храбрый ея герцогъ, былъ разбитъ императоромъ Карломъ при Энгтерѣ. Спасаясь бѣгствомъ, онъ шелъ къ Эллербруху, и все, женщины и дѣти, бѣжало за нимъ; одна только старуха не въ силахъ была идти дальше, но такъ какъ они не хотѣли, чтобъ она попала въ руки враговъ живою, то саксонцы зарыли ее заживо въ песчаномъ холмѣ у Б мансъ-Кампа и при этомъ говорили: «Полѣзай въ зе полѣзай въ землю, свѣтъ тебѣ на мѵку, ты не можешь довать за нами».

Говорятъ, что старуха еще жива; не все то умерло въ Вестфаліи, что̀ похоронено.

Братья Гриммы разсказываютъ этотъ случай въ своихъ «Нѣмецкихъ Сагахъ»; я буду иногда на слѣдующихъ страницахъ пользоваться совѣстливыми и прилежными изслѣдованіями этихъ славныхъ ученыхъ. Заслуга ихъ въ области германскихъ древностей безцѣнна. Одинъ Яковъ Гриммъ сдѣлалъ для языкознанія больше, чѣмъ вся французская академія со временъ Ришелье. Его нѣмецкая грамматика—колоссальное произведеніе, готическій соборъ, въ которомъ голоса всѣхъ народовъ Германіи сливаются въ какіе-то исполинскіе хоры, каждый на своемъ діалектѣ. Можетъ-быть, Яковъ Гриммъ заложилъ свою душу чорту съ тѣмъ, чтобы тотъ доставлялъ ему матеріалы и служилъ въ качествѣ работника при постройкѣ этого громаднаго лингвистическаго зданія. Дѣйствительно, для того, чтобы стащить въ одно мѣсто всѣ эти плиты учености, чтобы изъ этихъ ста тысячъ цитатъ составить что-нибудь, нужны нечеловѣческая жизнь и нечеловѣческое терпѣніе.

Главнымъ источникомъ для изученія древнихъ германскихъ народныхъ вѣрованій служитъ Парацельсъ. Я уже не разъ упоминалъ о немъ. Его сочиненія переведены на латинскій языкъ недурно, но неполно; въ нѣмецкомъ же подлинникѣ трудно его читать: слогъ тяжелый, но кое-гдѣ проглядываетъ великія мысли въ великомъ словѣ. Онъ натуръ-философъ въ самомъ пынѣшнемъ значеніи этого слова. Его терминологію не нужно всегда понимать въ ея традиціонномъ смыслѣ. Въ своемъ ученіи о стихійныхъ духахъ онъ употребляетъ названія нимфъ, ундинъ, сильвановъ, саламандръ, но только оттого, что эти названія уже извѣстны публикѣ, а не оттого, что они означаютъ то, о чемъ онъ хочетъ говорить. Вмѣсто того, чтобы произвольно придумывать новыя слова, онъ предпочелъ прінскивать для своихъ мыслей старыя выраженія, которыя до сихъ поръ означали нѣчто подобное. Поэтому его часто понимали неправильно, одни обвиняли его въ насмѣшливости, другіе даже въ невѣріи. Одни думали, что онъ для шутки хочетъ привести систему дѣтскія сказки, другіе же порицали его за то, о онъ, уклоняясь отъ христіанскаго воззрѣнія, не хочетъ знать стихійныхъ духовъ исключительно нечистою силою. насъ нѣтъ основанія думать,—говоритъ онъ въ одномъ гѣ:—что эти существа принадлежатъ дьяволу, а что такое ь дьяволъ—мы тоже не знаемъ». Онъ утверждаетъ, что

духи стихій такъ же, какъ и мы, дѣйствительныя творенія Бога, но что они не произошли отъ Адама и что Богъ далъ имъ во владѣніе четыре стихіи. Ихъ тѣлесный организмъ сообразенъ этимъ стихіямъ. И по четыремъ стихіямъ распредѣляетъ Парацельсъ различныхъ духовъ, и тутъ даетъ онъ намъ опредѣленную систему.

Нѣкоторые стараются привести въ систему и народныя вѣрованія, но это такъ же невозможно, какъ заключить въ рамку мимо идущія облака. Въ крайнемъ случаѣ, схожія между собой вѣрованія можно подвести подъ опредѣленныя рубрики. Это мы и попытаемся сдѣлать въ отношеніи стихійныхъ духовъ.

О кобольдахъ мы уже говорили. Они—призраки, смѣсь умершаго человѣка съ дьяволомъ; ихъ нужно съ точностью отличать отъ собственно духовъ земли. Эти послѣдніе преимущественно живутъ въ горахъ и называются гномами, металларіями, маленькимъ народомъ, карлами. Сказаніе объ этихъ карлахъ сходно съ сказаніемъ о великанахъ и указываетъ на присутствіе двухъ различныхъ племенъ, которыя нѣкогда болѣе или менѣе мирно обитали въ странѣ, но потомъ уничтожились. Великаны навсегда исчезли изъ Германіи. Карлы же встрѣчаются до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ рудникахъ, гдѣ они, одѣтые, какъ маленькіе рудокопы, откапываютъ дорогіе металлы и драгоцѣнные камни. Карлы искони обладали множествомъ золота, серебра и брильянтовъ, потому что могли невидимо летать куда хотѣли; не было отверстія, которое они сочли бы слишкомъ тѣснымъ для того, чтобъ имъ проскользнуть въ него, лишь бы только оно привело ихъ, въ концѣ концовъ, къ источникамъ богатства. Исполины же оставались всегда бѣдны, и если бы кто-нибудь далъ имъ взаймы, то долги ихъ сдѣлались бы исполинскими. Кромѣ того, великаны никогда не хотѣли обратиться въ христіанство. Это заключеніе я вывожу изъ одной старой датской баллады, въ которой великаны собираются для празднованія свадьбы. Невѣста за однимъ завтракомъ пожираетъ четыре бочки супа, шестнадцать entrecôtes de boeuf и осьмнадцать свиныхъ грудей, и при этомъ выпиваетъ еще семь бочекъ пива. Женихъ основательно замѣтилъ: «Я еще никогда не видѣлъ молодой дѣвушки, у которой былъ бы такой хорошій аппетитъ». Въ числѣ гостей находился карликъ Миммерингъ, котораго маленькій ростъ представлялъ противоположность съ фигурами этихъ великановъ. И баллада оканчивается словами: «Карликъ Миммо-

рингъ былъ среди этой языческой компаніи единственнымъ христіаниномъ».

Что касается до свадебъ маленькаго племени, какъ иногда называютъ въ Германіи карликовъ, то сохранились самыя граціозныя преданія, напримѣръ, слѣдующее:

Разъ маленькое племя хотѣло отпраздновать свадьбу въ замкѣ Эйленбургѣ, въ Саксоніи, и ночью они проникли въ залу сквозь замочную скважину и щели въ ставняхъ, и посыпались на натертый воскомъ полъ, какъ горохъ на полъ амбара. Шумъ разбудилъ стараго графа, спавшаго въ этой залѣ подъ балдахиномъ своей кровати, и видъ этого множества крошечныхъ людей сильно удивилъ его. Тогда одинъ изъ нихъ, богато наряженный герольдомъ, подошелъ къ нему и въ вѣжливыхъ, приличныхъ случаю выраженіяхъ, пригласилъ его принять участіе въ торжествѣ. «Но,—прибавилъ онъ:—мы просимъ васъ объ одномъ: вы должны присутствовать здѣсь одни; ни одинъ изъ вашихъ домашнихъ не долженъ позволить себѣ даже кинуть взглядъ на это празднество». Старый графъ привѣтливо отвѣчалъ: «Такъ какъ вы меня разбудили, то я охотно буду въ вашей компаніи». Послѣ этого къ нему подвели маленькую женщину; маленькіе факельщики стали по мѣстамъ, и началась маленькая, таинственная музыка. Графу стоило много труда не потерять въ танцѣ свою маленькую даму, которая легко ускользала отъ него своими прыжками и, наконецъ, стала такъ сильно кружиться съ нимъ, что онъ едва не задохнулся. Вдругъ, въ самомъ разгарѣ этой оживленной пляски, все остановилось; музыка умолкла, и все общество кинулось къ щелямъ дверей, мышинымъ норамъ и всюду, гдѣ только представлялась малѣйшая возможность выхода. Но новобрачные, герольды и танцоры подняли глаза къ отверстію въ потолкѣ залы и увидѣли тамъ лицо старой графини, которая, спрятавшись, смотрѣла на веселое общество. Тогда они поклонились графу, и тотъ, который пригласилъ его, вторично приблизился къ нему и поблагодарилъ за гостепріимство.—«Но,—прибавилъ онъ:—такъ какъ наше веселье и свадебное пиршество нарушены тѣмъ, что на него взглядругой человѣческій глазъ, то съ этихъ поръ въ вашей ліи никогда не будетъ жить въ одно время больше Эйленбурговъ».—Послѣ этого карлики поспѣшно убѣснова водворилась тишина, и старый графъ остался въ темной залѣ. Проклятіе карликовъ сбывается до поръ; какъ только въ фамиліи Эйленбурговъ родится

седьмой членъ семейства, одинъ изъ шести, бывшихъ доселѣ въ живыхъ, умираетъ.

Объ искусствѣ карликовъ въ работѣ часто съ большою похвалою упоминается въ старыхъ пѣсняхъ. Они выковывали лучшіе мечи, но только исполины могли сражаться этими мечами. Но были ли въ самомъ дѣлѣ такъ велики эти исполины? Можетъ-быть, страхъ изобразилъ ихъ нѣсколькими футами выше ихъ дѣйствительнаго роста. Византіецъ Никетасъ, описавшій взятіе Константинополя крестоносцами, сознается совершенно серьезно, что одинъ изъ этихъ желѣзныхъ рыцарей сѣвера, гнавшій впереди себя всѣхъ побѣжденныхъ парами, казался имъ въ эти страшныя минуты пятидесяти футовъ роста.

Мѣстомъ жительства карловъ, какъ уже сказано, были горы. Маленькія отверстія въ скалахъ народъ до сихъ поръ называетъ отверстіями карловъ. На Гарцѣ, именно въ Боденской долинѣ, я видѣлъ много такихъ отверстій. Многіе сталактиты, встрѣчаемые въ горныхъ пещерахъ, а также странныя вершины скалъ, народъ называетъ свадьбою карловъ. Это тѣ карлы, которыхъ злой волшебникъ превратилъ въ камни, когда они сѣменили домой изъ своей маленькой церкви послѣ вѣнчанія, или когда пировали на свадьбѣ. Саги о такихъ превращеніяхъ въ камни такъ же родственны сѣверу, какъ и востоку, гдѣ ограниченный мусульманинъ считаетъ статуи и каріатиды въ древнихъ греческихъ храмахъ окаменѣлыми людьми. Какъ на Гарцѣ, такъ и въ Бретани я видѣлъ много странно и разнообразно группированныхъ камней, которые крестьяне назвали «свадьбами карловъ»; камни у Loc Maria Ker—дома торригановъ, куриловъ, какъ называется тамъ этотъ маленькій народъ.

По этому случаю я могу разсказать еще одну свадебную исторію.

Въ Богеміи, недалеко отъ Эльбогена, въ дикой, но прекрасной долинѣ, по которой рѣка Эгеръ вьется разнообразными изгибами до окрестностей Карлсбада, находится знаменитая пещера карликовъ. Между обитателями окрестныхъ городовъ и долинъ ходитъ слѣдующій разсказъ. Въ старое время на этихъ утесахъ вели спокойную жизнь горные карлики. Они никому не дѣлали зла; напротивъ того, при случаѣ даже помогали своимъ сосѣдямъ въ бѣдѣ и затруднительномъ положеніи. Долго ими управлялъ одинъ могущественный волшебникъ; но разъ, когда они праздновали свадьбу и для *этого отправились* въ свою маленькую церковь, онъ страшно

разсердился и превратилъ ихъ въ камни, или вѣрнѣе, заперъ ихъ въ камни, такъ какъ они были духи неуничтожимые. Это собраніе утесовъ до сихъ поръ называется «свадьбою заколдованныхъ карликовъ», и на горныхъ вершинахъ расположены они во всевозможныхъ формахъ. Въ серединѣ одного утеса показываютъ фигуру карлика, который, въ то время, какъ другіе спѣшили ускользнуть отъ волшебника, слишкомъ долго остался въ своемъ жилищѣ и былъ превращенъ въ камень въ то мгновеніе, какъ смотрѣлъ изъ окошка, отыскивая глазами помощи.

Карлы носятъ маленькія шапочки, посредствомъ которыхъ они становятся невидимыми; эти шапочки называются Tarnkappen или туманными шапочками. Разъ крестьянинъ, молотя, сбилъ своимъ цѣпомъ шапочку съ карла; тотъ сдѣлался видимымъ и поскорѣе проскользнулъ въ земляную разсѣлину.

Впрочемъ, посредствомъ заклинаній можно также дѣлать карликовъ видимыми.

Въ Нюрнбергѣ жилъ нѣкто Павелъ Крейцъ, употребившій особенно удивительный родъ заклинанія. На извѣстномъ мѣстѣ онъ поставилъ маленькій, совершенно новый столъ, покрытый бѣлымъ полотномъ, а на него—двѣ чашечки молока, двѣ чашечки меду, двѣ тарелочки и девять пожичковъ. Затѣмъ онъ взялъ черную курицу и надъ кухонной печью отрубилъ ей голову, такъ что кровь пролилась въ кушанья. Послѣ того бросилъ одну часть курицы къ западу, а другую къ востоку и началъ свои заклинанія. Сдѣлавъ это, онъ поспѣшно спрятался за высокое дерево и увидѣлъ, какъ два карлика вышли изъ-подъ земли и сѣли за столъ. Тутъ онъ обратился къ нимъ съ вопросами, на которые они отвѣчали—и эту процедуру онъ повторилъ еще нѣсколько разъ, и карлики, наконецъ, такъ сдружились съ нимъ, что приходили къ нему въ домъ, какъ гости. Если онъ не приготовлялъ всего, что слѣдовало къ ихъ пріему, они или совсѣмъ не являлись, или тотчасъ же уходили. Наконецъ, онъ привлекъ и ихъ короля, который пришелъ одинъ, въ пурпурно-красномъ плащикѣ, держа подъ
кою книгу, которую онъ бросилъ на столъ, позволивъ
му заклинателю читать въ ней, сколько ему было угодно.
авелъ Крейцъ почерпнулъ изъ этой книги много муд-
и много тайнъ особеннаго рода.
лы показывались иногда людямъ тоже по своей волѣ,
и вели съ ними знакомство и бывали довольны, если

мы имъ не дѣлали никакого зла. Мы же, какъ всегда злые, часто играли съ ними скверныя штуки. Въ «Народныхъ Сказаніяхъ» Виса читаемъ мы слѣдующую исторію:

«Лѣтомъ, большой рой карловъ часто спускался съ горъ въ долины и собирался или для помощи рабочимъ, или чтобъ поглядѣть на работы; особенно во время жатвы и уборки сѣна. Тутъ они весело усаживались на длинной и толстой вѣтви тѣнистаго клена. Но разъ ночью, злые люди подпилили эту вѣтвь, такъ что она едва держалась на стволѣ, и когда безвредныя существа утромъ снова сѣли на нее, она сломалась, карлы упали на землю, были осмѣяны, ужасно разсердились и сказали:

«О, какъ небо высокó,
Какъ измѣна велика!
Вонъ отсюда—и навѣки!»

Съ тѣхъ поръ, говорятъ, они оставили страну.

Я сомнѣваюсь, чтобы карлики смотрѣли на людей, какъ на добрыхъ духовъ; глядя на наши дѣйствія, они, конечно, не подозрѣваютъ нашего божественнаго происхожденія. Существа не нашей породы не могутъ быть о насъ хорошаго мнѣнія, и чортъ считаетъ насъ сквернѣйшими изъ всѣхъ созданій. Разъ, на одной деревенской сценѣ, мнѣ привелось увидѣть представленіе комедіи о докторѣ Фаустѣ. Фаустъ вызываетъ чорта и, увѣренный въ своей неустрашимости, требуетъ, чтобы тотъ появился ему въ самомъ страшномъ видѣ, въ образѣ ужаснѣйшаго изъ всѣхъ твореній... и послушный чортъ является въ видѣ человѣка... Причина, почему карлики такъ внезапно оставили насъ, не извѣстна съ точностью.

Есть, однако, еще два преданія, которыя также приписываютъ уходъ карловъ нашей злости и страсти къ насмѣшкамъ. Одно изъ нихъ передано слѣдующимъ образомъ въ вышеупомянутыхъ «Народныхъ Сказаніяхъ»:

«Карлы, жившіе въ пещерахъ и разсѣлинахъ скалъ, всегда благоволили къ людямъ и ночью, когда люди спали, дѣлали за нихъ тяжелыя работы. Утромъ, когда крестьяне выходили съ возами и орудіями и удивлялись, что все уже было сдѣлано, карлы, спрятавшись въ кустарники, громко смѣялись. Часто крестьяне сердились, находя еще несозрѣвшій хлѣбъ сжатымъ, но тутъ вдругъ налетала буря съ градомъ, и они, увидя, что у нихъ не уцѣлѣло бы ни *одного колоска*, отъ сердца благодарили предусмотритель-

пыхъ карловъ. Но, наконецъ, люди, за свои злодѣянія, потеряли благосклонность и любовь карловъ, и съ тѣхъ поръ никто не видѣлъ ихъ больше. Причина этому была слѣдующая: Одинъ пастухъ посадилъ на горѣ превосходное вишневое дерево. Когда лѣтомъ плоды созрѣли, случилось, что три ночи сряду дерево было опустошаемо, и фрукты относились въ кладовыя и загородки, въ которыхъ пастухъ обыкновенно хранилъ свои вишни. Въ деревнѣ говорили: «Этого некому дѣлать, кромѣ честныхъ карловъ, которые ночью приходятъ въ длинныхъ плащахъ и съ закрытыми ногами тихо, какъ птицы, и усердно исполняютъ за человѣка его дневную работу. Разъ уже тайкомъ подсмотрѣли ихъ, но имъ не мѣшаютъ, и они продолжаютъ свое дѣло». Эти слова возбудили любопытство пастуха, и ему очень захотѣлось узнать, зачѣмъ карлы закрываютъ такъ тщательно свои ноги, и такія ли у нихъ ноги, какъ у человѣка. И вотъ, когда на слѣдующій годъ снова пришло лѣто и наступило время, когда карлы стали тайно обрывать вишни и носить ихъ въ амбары, пастухъ взялъ золы и обсыпалъ ею мѣсто вокругъ горы. На другое утро, на разсвѣтѣ, онъ поспѣшилъ къ этому мѣсту и увидѣлъ, что съ дерева всѣ плоды сорваны, а на золѣ отпечаталось множество слѣдовъ гусиныхъ лапокъ. Пастухъ сталъ смѣяться и злобно радоваться, что онъ открылъ тайну карловъ. Но тѣ сейчасъ же сломали и опустошили свои жилища, ушли глубоко въ горы и, разсердясь на человѣческій родъ, отказались больше помогать ему. Пастухъ же, выдавшій ихъ, заболѣлъ, сошелъ съ ума и остался такимъ до самой смерти».

Другое преданіе, передаваемое въ «Народныхъ Сказаніяхъ» Отмара, гораздо печальнѣе этого.

«Между Валькенридомъ и Нейгофомъ, въ графствѣ Гогенштейнъ, владѣли нѣкогда карлы двумя королевствами. Одинъ изъ жителей этой страны замѣтилъ однажды, что каждую ночь у него съ поля крадутъ овощи, но не могъ подстеречь вора. Наконецъ, по совѣту одной умной старухи, онъ съ наступленіемъ ночи пошелъ на свое гороховое поле и сталъ размахивать по воздуху тоненькой палочкой. Прошло немного времени—и онъ увидѣлъ передъ со-
о нѣсколько карловъ: это онъ сбилъ съ нихъ шапочки-
идимки. Карлы, дрожа, упали ему въ ноги и призна-
ь, что это они опустошаютъ крестьянскія поля, но что
му побудила ихъ крайняя нужда. Извѣстіе о пойман-
. *карлахъ подняло на ноги* всю страну. Наконецъ,

народъ карловъ послалъ депутатовъ и предлагалъ выкупъ за себя и за своихъ плѣнныхъ братьевъ, обѣщая при этомъ навсегда оставить страну. Но способъ отъѣзда породилъ новые споры. Жители не хотѣли отпустить карловъ съ ихъ собранными и спрятанными богатствами, а карлы заявляли желаніе уйти незамѣтно. Наконецъ, рѣшили, чтобы карлы ушли черезъ узкій нейгофскій мостъ и при проходѣ бросали въ поставленный тамъ сосудъ опредѣленную часть своего богатства, какъ пошлину, но чтобы ни одинъ изъ жителей не присутствовалъ при этомъ. Такъ и сдѣлали. Однако, нѣсколько любопытныхъ спрятались подъ мостомъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, слышать уходъ карловъ. И нѣсколько часовъ сряду они слышали топанье маленькихъ людей, и имъ казалось, какъ будто черезъ мостъ переходило большое стадо овецъ.

По одному варіанту этой саги, каждый уходившій карликъ долженъ былъ бросать по одной золотой монетѣ въ бочку, поставленную у моста, и на другое утро бочка была вся наполнена старыми золотыми монетами. Тутъ же разсказывается, что самъ король карловъ приходилъ въ своемъ красномъ плащикѣ просить жителей не выгонять его и его народъ. Съ мольбой поднималъ онъ ручонки къ небу и плакалъ трогательнѣйшими слезами, какъ нѣкогда донъ Исаакъ Абарбанель предъ Фердинандомъ Аррагонскимъ.

Отъ карловъ, духовъ земли, надо положительно отличать духовъ воздуха, эльфъ, больше извѣстныхъ также во Франціи и особенно такъ прелестно прославляемыхъ въ англійскихъ стихотвореніяхъ. Если бы эльфы не были безсмертны по своей природѣ, то уже одинъ Шекспиръ сдѣлалъ бы ихъ такими: онѣ живутъ вѣчно въ «Снѣ въ лѣтнюю ночь» поэзіи.

Вѣрованіе въ эльфъ, по моему мнѣнію, гораздо больше кельтическаго, чѣмъ скандинавскаго происхожденія. Поэтому сказаній объ эльфахъ больше на западномъ сѣверѣ, чѣмъ на восточномъ. Въ Германіи мало знаютъ объ эльфахъ, да и это тусклый отблескъ бретонскихъ сагъ, каковъ, напр., «Оберонъ», Виланда. То, что въ Германіи народъ называетъ эльфами или эльбами, есть уродливое порожденіе вѣдьмы, отъ связи ея со злымъ духомъ. Настоящія сказанія объ эльфахъ родились въ Ирландіи и сѣверной Франціи. Перейдя отсюда до Прованса, они смѣшиваются съ *сказаніями востока* о феяхъ. Изъ такого смѣшенія расцвѣли *превосходныя* пѣсни о графѣ Лавалѣ, которому прекрас-

ная фея дарит свою благосклонность съ тѣмъ, чтобы графъ никому не разсказывалъ о своемъ счастьѣ. Но разъ, на пиру въ Кордуалѣ, когда король Артусъ назвалъ жену свою Джиневру прекраснѣйшею женщиною въ свѣтѣ, графъ Ланваль не вытерпѣлъ, онъ разсказалъ все, и его счастье, по крайней мѣрѣ на землѣ, исчезло. Не лучшая участь постигаетъ рыцаря Грюэланда: и онъ не могъ не проболтаться о своемъ счастіи, и тогда возлюбленная фея исчезаетъ, и напрасно ѣздитъ онъ по свѣту на своемъ конѣ, Жедефрѣ, отыскивая ее. Но въ странѣ фей, въ Авалунѣ, несчастные рыцари снова находятъ своихъ возлюбленныхъ. Тутъ графъ Ланваль и рыцарь Грюэландъ могутъ болтать, сколько ихъ душѣ угодно. Тутъ же и датчанинъ Ожье можетъ, окончивъ свои геройскія странствованія, отдыхать въ объятіяхъ своей Морганы. Вы, французы, знаете всѣ эти исторіи. Вы знаете Авалунъ, но и персіянинъ знаетъ его и называетъ Джинистаномъ. Это—страна поэзіи.

Наружность эльфъ, жизнь ихъ и дѣйствія тоже довольно хорошо извѣстны вамъ. «Королева Эльфъ» Спенсера давно уже перелетѣла къ вамъ изъ Англіи.

Кто не знаетъ Титанію? Чей мозгъ такъ толстъ, что не слышитъ иногда веселаго звона ея воздушнаго поѣзда? Но правда ли, что если увидѣть живыми глазами эту королеву и если она еще пошлетъ веселое привѣтствіе—это предвѣстіе смерти? Я очень бы хотѣлъ узнать, правда ли это, потому что—

Разъ въ лѣсу, при лунномъ свѣтѣ,
Видѣлъ я, какъ эльфы мчались;
Колокольчики съ рожками
Всюду звонко раздавались.

Кони бѣлые сквозь воздухъ,
Словно лебеди, летѣли
И оленьими рогами,
Золочеными, блестѣли.

И съ улыбкой королева
Мнѣ кивнула головою...
Что же будетъ?—полюблю я,
Или смерть придетъ за мною?

датскихъ народныхъ пѣсняхъ встрѣчаются два прообъ эльфахъ, очень вѣрно характеризующія этихъ духа. *Одно изъ нихъ* разсказываетъ о сновидѣ-

ніи молодого щеголя, который легъ на вершинѣ Эльверса и мало-по-малу заснулъ. Ему снилось, что онъ стоитъ, опершись на свой мечъ, а эльфы танцуютъ вкругъ него и ласками и обѣщаніями хотятъ заставить его принять участіе въ ихъ пляскѣ. Одна изъ эльфъ подходитъ къ нему, гладитъ его рукою по щекѣ и шепчетъ: «Танцуй съ нами, молодой красавецъ, и мы споемъ тебѣ такія сладчайшія пѣсни, какихъ только жаждетъ твое сердце». И тутъ начинается пѣснь такой всепокоряющей любви, что даже кипѣвшая до тѣхъ поръ рѣка мгновенно утихаетъ, и рыбки выплываютъ на спокойную поверхность ея и весело играютъ хвостиками своими. Другая эльфа шепчетъ: «Танцуй съ нами, молодой красавецъ, и мы выучимъ тебя руническому языку, которымъ ты можешь усмирять медвѣдя и дикаго вепря, и дракона, стерегущаго золото; его золото будетъ твоимъ». Но молодой человѣкъ противустоитъ всѣмъ этимъ обольщеніямъ, и разсерженныя дѣвы грозятъ ему, наконецъ, поразить его сердце холодною смертью. Онѣ уже направляютъ свои острые ножи, но къ счастью въ это время вскрикиваетъ пѣтухъ, и мечтатель просыпается цѣлъ и невредимъ.

Другая пѣсня — съ менѣе воздушнымъ характеромъ; эльфы являются въ ней уже не во снѣ, а въ дѣйствительности, и ихъ ужасающе граціозная личность тѣмъ рѣзче выступаетъ предъ нами. Это—пѣсня о рыцарѣ Олуфѣ, который поздно вечеромъ поѣхалъ приглашать гостей на свою свадьбу. Постоянный припѣвъ ея: «А пляска все быстро по лѣсу идетъ». Тутъ кажется, что слышишь зловѣще похотливыя мелодіи, и между ними хихиканье и шопотъ, точно капризныхъ дѣвушекъ. Олуфъ видитъ, наконецъ, предъ собою нѣсколько танцующихъ дѣвушекъ, и дочь лѣсного царя протягиваетъ ему руку. Она очень нѣжно проситъ его войти въ кругъ и потанцовать съ нею. Но рыцарь не соглашается и въ оправданіе говоритъ: «завтра моя свадьба». Тогда эльфы предлагаютъ ему обольстительнѣйшіе подарки, но ни сапоги изъ бараньей кожи, которые отлично сидѣли бы на ногѣ, ни золотыя шпоры, которыя такъ красиво можно бы привинтить къ нимъ, ни шелковая бѣлая рубашка, которую сама королева эльфъ выбѣлила свѣтомъ луны, ни даже серебряный шарфъ, который тоже восхваляютъ, какъ драгоцѣнность, ничто не можетъ убѣдить рыцаря присоединиться къ эльфамъ и танцовать съ ними. Его постоянное оправданіе «завтра моя свадьба». Тутъ, на-

конецъ, эльфы теряютъ, конечно, терпѣніе, наносятъ ему въ сердце такой ударъ, какого онъ никогда еще не получалъ, потомъ подымаютъ упавшаго на землю рыцаря, сажаютъ на коня и съ насмѣшкою говорятъ: «Ну, теперь поѣзжай къ своей невѣстѣ». Ахъ! когда онъ пріѣхалъ къ своему замку, щеки его были очень блѣдны, а тѣло очень больное, и когда на другое утро невѣста и провожатые пріѣхали съ музыкою и пѣніемъ, Олуфъ былъ уже безмолвный человѣкъ, потому что онъ лежалъ мертвый подъ краснымъ одѣяломъ.

«А пляска все быстро по лѣсу идетъ!»

Пляска—характеристическая особенность духовъ воздуха. Они слишкомъ эфирныя созданія, чтобы, какъ мы, прозаически обыкновенной походкой ходить по землѣ. Между тѣмъ, какъ ни легки они, ножки ихъ все-таки оставляютъ слѣды на дернѣ, гдѣ они собираются плясать по ночамъ. Это—отпечатлѣвшіеся круги, которые народъ называетъ кольцами эльфъ.

Въ одной части Австріи есть преданіе, отчасти сходное съ приведеннымъ, хотя оно по происхожденію своему славянское. Это—преданіе о призракахъ-танцовщицахъ, извѣстныхъ тамъ подъ именемъ виллисъ. Виллисы — невѣсты, умершія до свадьбы. Бѣдныя молодыя созданія не могутъ спокойно лежать въ гробу; въ ихъ мертвомъ сердцѣ, въ ихъ мертвыхъ ногахъ сохранилась еще та страсть къ танцамъ, которой не могли онѣ удовлетворить при жизни, и въ полночь выходятъ онѣ изъ могилъ, толпами собираются на дорогахъ, и горе молодому человѣку, который ихъ тамъ встрѣтитъ! Онъ долженъ съ ними танцовать, онѣ обнимаютъ его съ необузданною жаждою веселья, и онъ пляшетъ безъ отдыха, пока не упадетъ мертвымъ. Одѣтыя въ вѣнчальныя платья, съ цвѣточными вѣнками и развѣвающимися лентами на головахъ, съ блистающими кольцами на пальцахъ, танцуютъ виллисы при свѣтѣ мѣсяца, точно такъ же, какъ эльфы. Ихъ лица, хотя и бѣлыя, какъ снѣгъ, молоды и прекрасны, онѣ смѣются такъ страшно весело, такъ преступно граціозно, киванье ихъ такъ таинственно сладострастно, такъ много обѣщаетъ... устоять противъ этихъ мертвыхъ вакханокъ невозможно.

Народъ, видя, какъ умирали цвѣтущія невѣсты, не могъ увѣрить себя, что молодость и красота могутъ такъ внезапно сдѣлаться жертвою чернаго уничтоженія, и такимъ образомъ легко возникло вѣрованіе, что невѣста послѣ смерти ищетъ потерянныхъ радостей.

Это напоминаетъ намъ объ одномъ изъ прелестнѣйшихъ стихотвореній Гёте, «Коринѳская Невѣста», съ которымъ г-жа Сталь давно уже познакомила французскую публику. Сюжетъ этого сочиненія очень старъ и теряется въ мрачной таинственности ѳессалійскихъ сказокъ. Объ этомъ говоритъ Эліанъ, и то же сообщаетъ Филостратъ въ біографіи Аполлона Тіанскаго. Это печальная свадебная исторія, на которой невѣстою была ламія.

Одна изъ особенностей народныхъ преданій та, что всѣ самыя ужасныя катастрофы происходятъ въ нихъ на свадебныхъ пирахъ. Внезапно появляющійся ужасъ составляетъ тѣмъ болѣе страшный контрастъ съ радостною обстановкою, съ приготовленіями къ веселью, съ веселою музыкою. Покуда край кубка не коснулся губъ, драгоцѣнный напитокъ можетъ еще пролиться. Можетъ войти мрачный гость, котораго никто не зналъ, и ни у кого, однако, не хватаетъ духа прогнать его. Онъ что-то говоритъ на ухо невѣстѣ, и она блѣднѣетъ. Она дѣлаетъ почти незамѣтный знакъ жениху, и тотъ выходитъ изъ залы, слѣдуетъ за нимъ въ ночную темноту и больше уже не возвращается. Обыкновенно тутъ играетъ роль прежде данное обѣщаніе любви, вслѣдствіе чего холодная рука духа внезапно разлучаетъ жениха и невѣсту. Когда Петръ фонъ-Штауфенбергъ сидѣлъ за своимъ свадебнымъ пиромъ и нечаянно взглянулъ вверхъ, онъ замѣтилъ чью-то бѣлую ножку, проходившую черезъ потолокъ. Онъ узналъ ножку той никсы, съ которою когда-то находился въ нѣжной любовной связи, и по этому знаку онъ догадался, что за свою невѣрность долженъ поплатиться жизнью. Онъ посылаетъ за священникомъ, причащается и готовится къ смерти. Объ этомъ случаѣ въ Германіи до сихъ поръ много разсказывается и поется. Говорятъ тоже, что обиженная никса невидимо обняла и этимъ объятіемъ задушила невѣрнаго рыцаря. Глубоко трогаетъ этотъ трагическій разсказъ женщинъ. Но наши молодые скептики смѣются надъ нимъ и ни за что не хотятъ вѣрить, что никсы такъ опасны. Когда-нибудь они горько раскаются въ этомъ невѣріи.

Никсы имѣютъ самое большое сходство съ эльфами. Какъ тѣ, такъ и другія, обольстительны, прелестны и любятъ пляску. Эльфы пляшутъ на болотахъ, зеленыхъ лугахъ, лѣсныхъ прогалинахъ и охотнѣе всего подъ старыми дубами. Никсы танцуютъ у прудовъ и рѣкъ; часто ихъ видѣли танцующими на самой водѣ, наканунѣ того дня, въ который

кому-нибудь предстояло утонуть въ этомъ мѣстѣ. Иногда онѣ приходятъ также къ людямъ и танцуютъ съ ними совершенно, какъ мы. Никсъ-женщинъ узнаютъ по рубцу ихъ бѣлаго платья, который всегда мокръ, также по тонкости, съ которою сотканы ихъ вуали, и по аристократической манерности. Никса-мужчину узнаютъ по зеленымъ зубамъ, похожимъ почти на рыбьи кости, и внутренняя дрожь охватываетъ человѣка, если взять его за необычайно мягкую, холодную, какъ ледъ, руку; обыкновенно онъ ходитъ въ зеленой шляпѣ. Горе той дѣвушкѣ, которая, не зная его, беззаботно танцуетъ съ нимъ; онъ увлекаетъ ее въ свое влажное царство. Разсказываютъ слѣдующую исторію: Въ Лайбахѣ жилъ въ рѣкѣ, носящей такое же названіе, водяной духъ, котораго звали никсомъ или водянымъ человѣкомъ. Ночью онъ показывался рыбакамъ и лодочникамъ, а днемъ—другимъ людямъ, такъ что каждый могъ разсказать, какъ этотъ духъ выходилъ изъ воды и появлялся въ человѣческомъ видѣ. Въ 1547 г., въ первое іюльское воскресенье, все туземное населеніе собралось, по старому обыкновенію, на лайбахской старой площади, подлѣ источника, который весело осѣняла красивая липа. Начался дружескій обѣдъ добрыхъ сосѣдей при звукахъ музыки, а затѣмъ—танцы. Черезъ нѣсколько времени пришелъ молодой человѣкъ, статный и хорошо одѣтый, повидимому, желавшій принять участіе въ танцахъ. Онъ вѣжливо поклонился всему собранію и дружески протянулъ каждому свою руку, которая была очень мягка и холодна, какъ ледъ, и при прикосновеніи вызывала какое-то странное ощущеніе дрожи. Затѣмъ онъ пригласилъ на танецъ дѣвушку, красивую и разряженную, которая была свѣжа, смѣла, очень общительна и звалась Урсула Пастушка; она сумѣла отлично попасть въ его тонъ и вторила его забавнымъ шуткамъ. Живо потанцовавъ нѣсколько времени, они, продолжая кружиться, удалились съ площадки, на которой обыкновенно происходили танцы, потомъ стали уходить все дальше и дальше, сперва отъ липы дошли до Ситтихергофа, потомъ еще дальше до рѣки Лайбаха, гдѣ онъ, въ виду многихъ лодочниковъ, прыгнулъ съ нею въ воду, и оба исчезли. Липа стояла до 1638 г., когда ее срубили вслѣдствіе дряхлости.

То же самое преданіе существуетъ во множествѣ варіантъ. Прекраснѣйшій изъ нихъ—датскій, въ циклѣ пѣсней, пѣвающихъ погибель цареубійцы Марска Стига и всего семейства. Марскъ Стигъ, цареубійца, имѣлъ двухъ пре-

красныхъ дочерей, изъ которыхъ младшая попалась во власть никса даже въ то время, когда была въ церкви. Никсъ явился въ видѣ красиваго рыцаря; его мать сдѣлала ему лошадь изъ чистѣйшей воды и сѣдло и уздечку изъ бѣлоснѣжнаго песка, и беззаботная красавица привѣтливо протянула ему руку. Будетъ ли она вѣрна ему, какъ обѣщала, на днѣ моря? Не знаю,—но знаю одну сагу о другомъ такомъ никсѣ, который тоже похитилъ дѣвушку на землѣ, и потомъ самымъ коварнымъ образомъ былъ обманутъ ею. Это—преданіе о никсѣ Росмерѣ, который, самъ того не подозрѣвая, спряталъ въ ящикъ свою собственную жену и на спинѣ принесъ ее къ ея матери. Это стоило ему впослѣдствіи самыхъ горькихъ слезъ.

Никсамъ точно также часто приходится платиться за то, что они находятъ удовольствіе въ сношеніяхъ съ людьми. И объ этомъ я знаю одну исторію, послужившую для нѣмецкихъ поэтовъ предметомъ многихъ пѣсенъ. Но трогательнѣе всего излагается она въ слѣдующемъ простомъ разсказѣ, передаваемомъ братьями Гриммами въ ихъ «Нѣмецкихъ Сказаніяхъ».

«Въ Эпфенбахѣ, у Синцгейма, въ комнатѣ, въ которой собирались поселяне для пряжи, каждый вечеръ являлись три молодыя красавицы, одѣтыя въ бѣлыя платья. Онѣ приносили все новыя пѣсни и новыя мелодіи, знали чудесныя сказки и игры, и ихъ прялки и веретена имѣли въ себѣ тоже что-то особенное: ни одна пряха не могла такъ тонко и ровно вить нитки. Но ровно въ одиннадцать часовъ онѣ вставали, укладывали прялки, и никакія просьбы не могли удержать ихъ дольше ни на минуту. Никто не зналъ, куда шли онѣ и откуда приходили; ихъ называли только дѣвами изъ озера или сестрами изъ озера. Молодые люди влюблялись въ нихъ, въ особенности же влюбился сынъ школьнаго учителя. Онъ не могъ достаточно насытиться бесѣдою съ ними, и мучительнѣе всего было для него то, что онѣ такъ рано уходили. Но вотъ ему пришла мысль переставить часы часомъ назадъ, и вечеромъ, въ шуткахъ и разговорахъ, никто не замѣтилъ, какъ летѣло время. Когда часы пробили одиннадцать, между тѣмъ, какъ было уже двѣнадцать, три дѣвушки встали, сложили прялки и ушли. На другое утро нѣсколько человѣкъ шли мимо озера и услышали выходившіе оттуда жалобные звуки, а на поверхности его были три кровавыхъ пятна. Съ тѣхъ поръ три сестры не приходили больше прясть, а сынъ школьнаго учителя началъ сохнуть и вскорѣ умеръ».

Въ дѣйствіяхъ никсовъ есть что-то такое таинственное. Подъ этимъ водянымъ покровомъ человѣкъ можетъ представить себѣ столько сладкаго и вмѣстѣ съ тѣмъ столько ужаснаго. Рыбы, которыя однѣ только и знаютъ объ этомъ, нѣмы. Или, можетъ-быть, онѣ молчатъ съ умысломъ? Боятся ли онѣ тяжелаго наказанія, если разболтаютъ тайны водяного царства? Такое водяное царство со своими сладострастными тайнами и скрытыми ужасами напоминаетъ Венецію. Да и не была ли Венеція прежде такимъ царствомъ, выплывшимъ случайно на свѣтъ Божій изъ глубины Адріатическаго моря со своими мраморными дворцами, дельфиноглазыми куртизанками, жемчужными и коралловыми фабриками, государственными инквизиторами, тайными учрежденіями для утапливанія людей, яркими, смѣющимися масками? Если бы Венеція могла опять погрузиться на дно лагунъ, ея исторія звучала бы, какъ сказка о никсахъ, и няня разсказывала бы дѣтямъ о великомъ водяномъ народѣ, который посредствомъ хитрости и твердости господствовалъ даже надъ твердою землею, но, наконецъ, былъ закусанъ на смерть двуголовымъ орломъ.

Таинственность — отличительное свойство никсъ, какъ соединеніе мечтательности съ веселостью—эльфъ. Въ первыхъ сагахъ эльфы и никсы, можетъ-быть, и не очень отличались другъ отъ друга, и только въ позднѣйшія времена совершилось ихъ раздѣленіе. Самыя имена ихъ не даютъ никакого вѣрнаго рѣшенія. Въ Скандинавіи всѣ духи называются эльфами, альфами, и раздѣляются на бѣлыхъ и черныхъ альфъ; послѣдніе суть собственно кобольды. Имя никсовъ даютъ въ Даніи также домовымъ, которыхъ называютъ и ниссами.

Потомъ, есть еще уроды—такіе никсы, которые только до половины носятъ человѣческій образъ, другая же половина у нихъ рыбья, или такіе, у которыхъ верхняя часть тѣла—удивительно красивой женщины, а нижняя—чешуйчатой змѣи, какова, напримѣръ, ваша французская Мелузина, любовница графа Раймонда де Пуатье.

Счастливецъ Раймондъ! Его любовница была только на половину змѣею!

Часто случается также, что никсы, вступая въ любовную связь съ людьми, не только требуютъ тайны, но и просятъ, чтобы ихъ никогда не спрашивали о ихъ происхожденіи, [ро]чнѣ и родствѣ. Они никогда не говорятъ своего настоя[щ]о имени, а придаютъ себѣ между людьми, такъ сказать,

nom de guerre. Супругъ клевской принцессы называлъ себя Геліасомъ. Былъ онъ никсъ или эльфъ? Лебедь, привозившій его на берегъ, напоминаетъ мнѣ легенду о существахъ, которыхъ называли женщинами-лебедями. Исторія этого Геліаса излагается въ нашихъ народныхъ сказкахъ слѣдующимъ образомъ:

Въ 711 году жила Беатриса, единственная дочь герцога клевскаго. Ея отца уже не было на свѣтѣ, и она правила герцогствомъ клевскимъ и многими другими землями. Разъ сидѣла молодая владѣтельница въ нимвегенскомъ замкѣ; была прекрасная, свѣтлая погода, и принцесса смотрѣла въ Рейнъ. Тамъ увидѣла она удивительную вещь. Бѣлый лебедь скользилъ внизъ по рѣкѣ, и на шеѣ у него была золотая цѣпочка. Къ цѣпочкѣ была прикрѣплена ладья, которую лебедь тащилъ за собою; въ ладьѣ сидѣлъ очень красивый мужчина; онъ держалъ въ рукѣ золотой мечъ, на боку у него висѣлъ охотничій рогъ, а на пальцѣ красовалось драгоцѣнное кольцо. Молодой человѣкъ выскочилъ на берегъ и долго разговаривалъ съ дѣвушкой, онъ сказалъ ей, что сдѣлается охранителемъ ея страны и прогонитъ ея враговъ. Молодой человѣкъ такъ понравился ей, что она вызвала и его любовь и взяла его къ себѣ въ мужья. Но онъ сказалъ ей: «Не спрашивайте меня никогда о моемъ происхожденіи и родѣ, потому что въ тотъ день, когда вы спросите, я долженъ буду съ вами разстаться, и вы никогда больше не увидите меня». И онъ сказалъ ей еще, что его имя Геліасъ. Онъ былъ высокаго роста, почти великанъ. Они прижили вмѣстѣ много дѣтей. Но нѣсколько лѣтъ спустя, разъ ночью, когда Геліасъ лежалъ въ постели подлѣ своей жены, принцесса, забывъ о предостереженіи, сказала: «Супругъ мой, не скажешь ли ты нашимъ дѣтямъ, откуда ты родомъ»? При этихъ словахъ Геліасъ оставилъ свою жену, вскочилъ въ свой лебединый корабль—и съ той поры его уже не видѣли. Жена начала сильно горевать и въ томъ же самомъ году умерла отъ раскаянія. Кажется, однако, что онъ оставилъ своимъ троимъ дѣтямъ три своихъ клейнода—мечъ, рогъ и кольцо. Его потомки живутъ до сихъ поръ, и надъ клевскимъ замкомъ возвышается большая башня, на вершинѣ которой стоитъ лебедь; ее называютъ «лебединою башнею», въ воспоминаніе объ этомъ происшествіи. Часто, проѣзжая Рейномъ, мимо клевской Лебединой Башни, вспоминалъ я о таинственномъ рыцарѣ, такъ строго сохранявшемъ свое инкогнито и котораго одинъ вопросъ о его

происхожденіи могъ уже вырвать изъ объятій любви... Но дѣйствительно непріятно, когда женщины слишкомъ много спрашиваютъ. Употребляйте ваши губки для поцѣлуевъ, а не для вопросовъ, красавицы! Молчаніе—главнѣйшее условіе счастья. Когда человѣкъ выбалтываетъ всѣмъ о доказательствахъ своего счастья, или когда женщина съ любопытствомъ доискивается тайныхъ источниковъ своего счастья—тогда они оба теряютъ это счастье.

Эльфы и никсы умѣютъ колдовать, умѣютъ обращаться въ какой угодно образъ; но иногда и ихъ самихъ обращаютъ въ разнообразныхъ уродовъ болѣе могущественные волшебники и духи. Ихъ избавляетъ, однако, отъ этого превращенія любовь, какъ въ сказкѣ о Земирѣ и Азорѣ; нужно только три раза поцѣловать это чудовище, и оно превращается въ красавца-принца. Чуть ты побѣдишь свое отвращеніе къ чудовищу и даже полюбишь его, то оно дѣлается прекраснымъ. Никакое колдовство не устоитъ противъ любви. Любовь вѣдь сама сильнѣйшее волшебство, и всѣ другія должны смиряться предъ нею. Только предъ одною властью безсильна она. Какая же это власть? Это не огонь, не вода, не воздухъ, не земля со всѣми ея металлами, это—время.

Самыя любопытныя саги о духахъ стихій находимъ мы у добраго старика Іоганна Преторіуса, въ его «Anthropodemus plutonicus или новое описаніе міра и всѣхъ родовъ удивительныхъ людей», вышедшемъ въ Магдебургѣ въ 1666 г. Самый годъ уже замѣчателенъ: это годъ, на который предсказывали страшный судъ. Содержаніе этой книги—громада безсмыслицы, отвсюду набраннаго суевѣрія, всяческихъ дикихъ исторій и ученыхъ цитатъ, рѣдьки и капусты. Всѣ предметы въ ней расположены по азбучному порядку ихъ именъ, которыя тоже приданы имъ совершенно произвольно. Не менѣе забавны раздѣленія предметовъ; напримѣръ, когда издатель хочетъ говорить о призракахъ, онъ дѣлитъ ихъ на: 1) призраковъ вымышленныхъ, 2) призраковъ настоящихъ, т. е. обманщиковъ, маскирующихся въ призраки. Но книга эта очень полезна; въ ней, какъ и въ другихъ сочиненіяхъ Преторіуса, записаны преданія, которыя частью весьма важны для изученія древней германской религіи, частью весьма интересны просто какъ курьезы. Я увѣренъ, что вы не знаете, что есть морскіе епископы? Я даже сомнѣваюсь, знаетъ ли объ этомъ Gazette de France. А между тѣмъ, многимъ важно было бы знать, что католицизмъ имѣетъ своихъ приверженцевъ даже на днѣ океана, и несомнѣнно въ большомъ ко-

личествѣ. Быть-можетъ, большинство морского населенія составляютъ христіане, по крайней мѣрѣ, такіе же добрые христіане, какъ большинство французовъ. Я охотно бы умолчалъ объ этомъ, чтобы не доставить удовольствія католической партіи во Франціи, но такъ какъ я заговорилъ здѣсь о никсахъ, водяныхъ людяхъ, то моя нѣмецко-совѣстливая основательность требуетъ, чтобы я упомянулъ о морскихъ епископахъ. Преторіусъ разсказываетъ слѣдующее:

«Въ голландскихъ хроникахъ читаемъ, что Корнелій Амстердамскій писалъ въ Римъ доктору Гельберту: въ 1531 г., въ Сѣверномъ морѣ, близъ Эльпаха, былъ пойманъ одинъ изъ обитателей моря, похожій на епископа римской церкви. Его отослали къ королю польскому. Но онъ ничего не ѣлъ изъ того, что̀ ему предлагали, и поэтому умеръ на третій день, не сказавъ ни слова и только глубоко вздыхая».

На слѣдующей страницѣ Преторіусъ разсказываетъ другой случай.

«Въ 1433 году, въ Балтійскомъ морѣ, около Польши, нашли морского человѣка, очень похожаго на епископа. На головѣ его была епископская шапка, въ рукахъ епископскій посохъ, и на тѣлѣ ряса. Его привели къ мѣстнымъ епископамъ, и онъ засвидѣтельствовалъ имъ свое почтеніе, но молча. Король хотѣлъ заключить его въ башню, чему противился онъ жестами, и епископы просили пустить его снова въ его стихію, что̀ и было исполнено, и два епископа привели его къ морю, и онъ очень обрадовался. Какъ только онъ очутился въ водѣ, то перекрестился и нырнулъ на дно, и никогда больше уже не показывался. Это читаемъ мы въ Flandr. Chronic., въ Hist. Ecclesiast. Spondani, равно какъ въ Memorabilibus Wolfii».

Я сообщилъ оба эти случая буквально и привелъ источники, изъ которыхъ почерпнулъ ихъ, для того, чтобы кто-нибудь не подумалъ, что я выдумалъ морскихъ епископовъ. Изобрѣтать еще новыхъ католическихъ епископовъ у меня нѣтъ никакой охоты.

Вчера я разговаривалъ съ нѣкоторыми англичанами о реформахъ англиканско-епископальной церкви и далъ имъ совѣтъ—всѣхъ своихъ земныхъ епископовъ сдѣлать епископами морскими.

Чтобы пополнить преданія объ эльфахъ и никсахъ, долженъ еще сказать о вышеупомянутыхъ лебедяхъ-женщинахъ. Преданіе о нихъ очень неопредѣленно и покрыто слишкомъ непроницаемою таинственностью. Водяные лю-

духи? Воздушные ли? Волшебницы ли? Иногда онѣ спускаются изъ воздуха въ видѣ лебедей, сбрасываютъ свою бѣлую пуховую одежду, выходятъ изъ нея красавицами-дѣвами и купаются въ тихихъ водахъ. Но если застанетъ ихъ тутъ какой-нибудь любопытный парень, онѣ поспѣшно выпрыгиваютъ изъ воды, быстро одѣваются въ свои перья и, сдѣлавшись опять лебедями, улетаютъ. Превосходный Музей разсказываетъ въ своихъ «Народныхъ Сказкахъ» прекрасную исторію о молодомъ рыцарѣ, которому удалось украсть одну такую одежду; когда дѣвушки вышли изъ воды, быстро одѣлись и улетѣли, осталась одна изъ нихъ, напрасно искавшая своего платья. Она не можетъ улетѣть, горько плачетъ, прекрасна собою, и хитрый рыцарь женится на ней. Семь лѣтъ живутъ они счастливо; но разъ, въ отсутствіе супруга, жена пошла рыться въ секретныхъ шкапахъ и сундукахъ и нашла тамъ свое старое платье изъ перьевъ; быстро надѣваетъ она его—и улетаетъ.

Въ старинныхъ датскихъ пѣсняхъ часто говорится о такомъ платьѣ изъ перьевъ, но темно и крайне странно. Въ этихъ разсказахъ мы находимъ слѣды старѣйшаго міра колдуновъ. Здѣсь встрѣчаемъ мы отголоски сѣвернаго язычества, которые, какъ полузабытые сны, находятъ чудный отголосокъ въ нашемъ воспоминаніи. Я не могу не сообщить здѣсь старую пѣсню, въ которой говорится не только о платьѣ изъ перьевъ, но и ночныхъ воронахъ, составляющихъ какъ бы pendant къ лебедямъ-дѣвамъ. Эта пѣсня такъ зловѣща, такъ полна ужаса, такъ мрачна, какъ скандинавская ночь, и несмотря на это, въ ней горитъ та любовь, которая, по дикой сладости и жгучей глубинѣ, не имѣетъ себѣ подобной, та любовь, которая, пылая все больше и больше, наконецъ, загорается, какъ сѣверное сіяніе и своими страстными лучами ярко освѣщаетъ все небо. Приводя здѣсь эту необъятную пѣсню любви, я долженъ предварительно замѣтить, что я позволилъ себѣ только передѣлать размѣръ и немножко урѣзать только внѣшнюю форму. Припѣвъ послѣ каждой строфы: «Тамъ онъ черезъ море летитъ».

Въ соленое море пустились они,
Король съ королевой, вдвоемъ.
Къ бѣдѣ королева поѣхала съ нимъ,
Въ краю не осталась родномъ.

Вдругъ сталъ неподвижно на мѣстѣ корабль,
Встрѣчая съ упоромъ волну;

Тутъ воронъ ночной налетѣлъ на него,
Онъ сталъ погружаться ко дну.

— Не скрылся ли кто-нибудь въ темныхъ вол
И крѣпко корабль ухватилъ?
Я дамъ ему золота, дамъ серебра,
Лишь только-бъ онъ насъ отпустилъ.

Ужъ это не ты-ль, дикій воронъ ночной?
Избавь отъ погибели насъ;
Я дамъ тебѣ золота, дамъ серебра,
Хоть фунтовъ пятнадцать сейчасъ.

— Ни то, ни другое не надобно мнѣ,
Мнѣ хочется лучшихъ даровъ:
Что̀ носишь подъ поясомъ ты у себя,
То взять я охотно готовъ.

— Все то, что имѣю подъ поясомъ я,
Съ охотой тебѣ отдаю;
Вѣдь это мой ключикъ—возьми же его,
Но жизнь лишь не трогай мою.

Она вынимаетъ свой маленькій ключъ
И въ волны бросаетъ его,
И радостно воронъ уносится вверхъ,
Обѣта держась своего.

Когда-жъ королева домой прибыла
И на берегъ вышла морской —
Вдругъ слышитъ движенье подъ поясомъ: то
Былъ Германъ—веселый герой.

Когда же полгода съ тѣхъ поръ протекло,
Идетъ она въ спальню скорѣй,
Прекраснаго сына родитъ она тамъ
Къ бѣдѣ превеликой своей.

Ребенокъ родился въ глубокой ночи
И утромъ тотчасъ же крещенъ.
Онъ названъ былъ Германъ—веселый герой,
И былъ, какъ казалось, спасенъ.

Росъ мальчикъ и ѣздилъ верхомъ на конѣ
И славно умѣлъ фехтовать;

Но часто съ тоскою на игры его
Смотрѣла печальная мать.

— Скажи мнѣ, родная, скажи мнѣ, зачѣмъ,
Когда я бываю съ тобой,
Зачѣмъ такъ печально глядишь на меня,
А даже и плачешь порой?

— Ахъ, жизни недолго продлиться твоей,
Знай, Германъ—веселый герой:
Когда я носила тебя, ты въ залогъ
Обѣщанъ былъ ворону мной.

— Родная моя, не горюй обо мнѣ,
Пускай твое горе пройдетъ,
И что ни сулилъ бы мнѣ рокъ, но меня
Никто отъ него не спасетъ.

То осенью было однажды въ четвергъ,
Лишь утро чуть-чуть занялось,
Сквозь окна раскрытыя карканье вдругъ
Внезапно вблизи раздалось.

Тутъ воронъ уродъ къ королевѣ влетѣлъ
И сѣлъ надъ ея головой:
— Отдай, королева, мнѣ сына теперь,
Что былъ мнѣ обѣщанъ тобой.

Она же клянется и Богомъ самимъ,
И всѣхъ призываетъ святыхъ:
Ни дочерь, ни сына, рожденныхъ отъ ней,
Не знаетъ она никакихъ.

Со злобою воронъ уродъ закричалъ,
Взлетѣвъ надъ ея головой:
— Гдѣ-бъ я ни нашелъ его, мой онъ вездѣ
Твой Германъ—веселый герой.

Такъ Германъ достигнулъ пятнадцати лѣтъ
И думать о бракѣ ужъ сталъ.
За дочь королевскую сватался онъ
И въ Англію сватовъ послалъ.

И вотъ съ королевною онъ обрученъ
И въ Англію ѣхать спѣшитъ.

— Ахъ, скоро-ль пріѣду къ невѣстѣ моей?
Вкругъ острова море шумитъ!

И это былъ Германъ—веселый герой.
Онъ въ красный нарядъ облеченъ,
И въ пурпурно-красной одеждѣ своей
Является къ матери онъ.

— Послушай, родная, вотъ что у тебя
Теперь попросить я хочу:
Одежду изъ перьевъ ты мнѣ одолжи,
Я за море въ ней полечу.

— Изъ перьевъ одежда въ углу тамъ виситъ,
Но выпали перья изъ ней;
Я думаю, нужно заняться къ веснѣ
Поправкой одежды моей.

И крылья ужъ плохи теперь черезчуръ —
Ихъ тучи придавятъ собой.
Въ чужбину ты ѣдешь, и я никогда
Опять не увижусь съ тобой.

Одеждой изъ перьевъ покрылъ онъ себя
И въ ней надъ водой полетѣлъ;
Тамъ встрѣтилъ онъ ворона; воронъ ночной
На камнѣ подводномъ сидѣлъ.

И вотъ, онъ, надъ моремъ высоко летя,
Средины залива достигъ,
И слышитъ онъ страшнаго голоса звукъ,
И слышитъ онъ мерзостный крикъ.

— А! милости просимъ; ну, долго-жъ я ждалъ,
Мой Германъ—веселый герой!
Когда ты обѣщанъ былъ матерью мнѣ,
Ты былъ еще крошкой такой...

— О, воронъ, пусти меня къ милой моей,
Лишь съ ней повидаться: клянусь,
Скажу ей два слова, и послѣ къ тебѣ
На это же мѣсто вернусь.

— *Пожалуй*, а все-жъ я отмѣчу тебя,
Чтобъ всюду ты узнанъ былъ мной;

И знакъ этотъ можетъ напомнить тебѣ
О словѣ, мнѣ данномъ тобой.

Тутъ правый онъ выклюнулъ глазъ у него,
Напился сердечной крови,
И рыцарь понесся къ невѣстѣ своей
Съ глубокой тоскою любви.

И въ дѣвичью залу приходитъ онъ къ ней,
Весь блѣденъ и кровью покрытъ;
Оставили дѣвушки свой разговоръ,
И тотчасъ все въ залѣ молчитъ.

Оставили дѣвушки шутки и смѣхъ
И молча сидѣли вокругъ;
Но бросила гордая Аделюцъ прочь
Иголку и ножницы вдругъ.

Окончили дѣвушки шутки и смѣхъ,
Въ безмолвіи губки сомкнувъ;
Но гордая Аделюцъ, видя его,
Сказала, руками всплеснувъ:

— Привѣтъ вамъ, о, Германъ—веселый герой!
Гдѣ такъ позабавились вы?
Что блѣдны такъ щеки у васъ, а костюмъ
Весь кровью покрытъ съ головы?

— Прощай, моя гордая Аделюцъ, я
Вновь къ ворону долженъ спѣшить:
Онъ выклюнулъ глазъ мнѣ, и пилъ мою кровь,
И хочетъ и тѣло вкусить.

Тутъ кудри ему она стала чесать
Своимъ золотымъ гребешкомъ,
И льетъ она слезы обильной рѣкой
Надъ каждымъ его волоскомъ.

Надъ локономъ каждымъ, который завьетъ,
Потоки струитъ она слезъ
И мать проклинаетъ, которой обѣтъ
Имъ горя такъ много принесъ.

Тутъ гордая Аделюцъ дѣва рукой
Такъ нѣжно его *обвила:*

— Будь проклята мать твоя злая, она
Намъ столько надѣлала зла.

— О, гордая Аделюцъ, дѣва моя,
Ты мать проклинать не должна;
Не въ силахъ съ судьбою бороться никто,
Ни въ чемъ невиновна она...

Одежду изъ перьевъ надѣвши опять,
Онъ быстро оттуда летитъ;
Она надѣваетъ другую, и въ ней
Во слѣдъ ему тоже спѣшитъ.

То кверху взлетитъ онъ, то спустится внизъ,
Среди облаковъ, въ вышинѣ,
Она-жъ постоянно летаетъ за нимъ,
Съ его быстротой наравнѣ.

— Вернулась бы, гордая Аделюцъ, ты
Домой поскорѣе назадъ;
Ты отпертой въ залу оставила дверь,
Ключи на полу тамъ лежатъ.

— Пусть въ залу осталася дверь отперта,
Ключи пусть лежатъ возлѣ ней;
Туда, гдѣ несчастье постигло тебя,
Я спутницей буду твоей.

То кверху взлетитъ онъ, то спустится внизъ...
Но тучи закрыли все мглой,
Она потеряла изъ виду его,
Лишь сумракъ упалъ надъ водой.

Всѣхъ птицъ она рѣжетъ и крошитъ въ куски,
Въ дорогѣ встрѣчая своей,
Лишь дикій, уродливый воронъ ночной
Нигдѣ не встрѣчается ей...

И гордая Аделюцъ дѣва тогда
На берегъ печально сошла...
Гдѣ Германъ сокрылся? Она отъ него
Лишь правую руку нашла.

Тогда она гнѣвно взвивается вновь,
Чтобъ ворона встрѣтить скорѣй,

Летитъ на востокъ и на западъ летитъ:
Онъ долженъ погибнуть отъ ней.

И птицъ, что подъ ножницы ей попадутъ,
«Всѣхъ» крошитъ она по кускамъ,
Когда же ей встрѣтился воронъ—его
Она порвала пополамъ.

Рвала и терзала, покамѣстъ сама,
Уставъ отъ труда, умерла.
Такъ много ей Германъ—веселый герой
И горести стоилъ, и зла.

Крайне важное значеніе имѣетъ въ этой пѣснѣ не только упоминаніе о платьѣ изъ перьевъ, но и самое летаніе. Во времена язычества именно о королевахъ и благородныхъ дамахъ говорили, что онѣ умѣли летать, и это волшебное искусство, считавшееся тогда почетнымъ, во времена христіанства обратили въ гадкую принадлежность вѣдьмъ. Народныя вѣрованія о воздушныхъ полетахъ вѣдьмъ — передѣлки старыхъ германскихъ преданій и одолжены своимъ происхожденіемъ отнюдь не христіанству, какъ ошибочно заключали нѣкоторые по тому мѣсту Евангелія, гдѣ дьяволъ носитъ по воздуху нашего Спасителя. Это мѣсто во всякомъ случаѣ могло служить оправданіемъ народнаго вѣрованія, такъ какъ имъ было доказано, что дьяволъ дѣйствительно въ состояніи носить людей по воздуху.

Лебедей-дѣвъ, о которыхъ я говорилъ, нѣкоторые смѣшиваютъ съ скандинавскими валкиріями. Это дѣйствительно созданія женскаго пола, разсѣкающія воздухъ своими бѣлыми крыльями и обыкновенно появляющіяся наканунѣ битвы, исходъ которой они заранѣе рѣшаютъ въ тайномъ совѣщаніи. У нихъ также въ привычкѣ появляться героямъ на уединенныхъ лѣсныхъ дорогахъ и предсказывать имъ побѣду или пораженіе. Вотъ что мы читаемъ у Преторія:

«Разъ случилось, что Готеръ, король Даніи и Швеціи, на охотѣ былъ унесенъ своею лошадью далеко отъ своихъ спутниковъ въ окутанное туманомъ мѣсто и здѣсь очутился ередъ молодыми дѣвушками, которыя знали его, назвали имени и заговорили съ нимъ. Когда же онъ спросилъ, онѣ такія, онѣ отвѣчали, что въ ихъ рукахъ побѣда ъ врагами въ битвѣ, что онѣ всегда участвуютъ въ ѣ и помогаютъ сражаться, хотя никто не видитъ ихъ и; что кому онѣ хотятъ даровать побѣду, тотъ побѣ-

ваетъ и одолѣваетъ своихъ враговъ и удерживаетъ за собою побѣду и поле битвы, и врагъ не можетъ причинить ему никакого вреда. Сказавъ ему это, онѣ исчезли со всѣмъ, что̀ ихъ окружало, и король остался одинъ въ широкой степи, подъ открытымъ небомъ».

Главный моментъ этого разсказа напоминаетъ появленіе трехъ вѣдьмъ въ «Макбетѣ». Вѣрованіе въ валкирій перешло здѣсь въ вѣрованіе въ вѣдьмъ. Точно также мы находимъ въ нѣмецкихъ преданіяхъ трехъ норнъ, но въ образѣ старыхъ волшебницъ или уродливыхъ пряхъ, изъ которыхъ одна крутитъ ленъ, другая смачиваетъ нитку, а третья вертитъ колесо прялки. Эти сѣверныя парки чаще всего появляются въ дѣтскихъ сказкахъ, изъ которыхъ вотъ самая граціозная, извлекаемая мною изъ книги Гримма:

Жила была на свѣтѣ лѣнивая дѣвушка и не хотѣла она прясть. Мать могла уговаривать ее сколько душѣ угодно— отъ этого не было никакого проку. Наконецъ, старуха такъ разгнѣвалась и вышла изъ терпѣнія, что поколотила дочь, вслѣдствіе чего та начала громко плакать. Какъ разъ въ это время проѣхала мимо королева, и какъ услыхала плачъ, велѣла остановить свой экипажъ, вошла въ домъ и спросила мать, за что она била дочь такъ сильно, что даже на улицѣ были слышны крики. Матери было стыдно открыть лѣность своей дочери, и она сказала: «Я не могу оторвать ее отъ веретена, она безъ устали прядетъ и прядетъ, а я бѣдна, и не могу добывать для нея ленъ». Тогда королева отвѣчала: «Я больше всего люблю слушать, когда прядутъ, и для меня не можетъ быть ничего пріятнѣе шума веретена; отпустите вашу дочь ко мнѣ. Въ замкѣ у меня довольно льна, и она можетъ прясть сколько душѣ угодно». Мать обрадовалась отъ всего сердца, и королева взяла съ собой дѣвушку. Когда онѣ пріѣхали въ замокъ, королева повела дѣвушку наверхъ въ три комнаты, которыя были наполнены съ верху до низу превосходнѣйшимъ льномъ. «Спряди мнѣ этотъ ленъ,—сказала королева:—и когда кончишь, я дамъ тебѣ въ мужья моего старшаго сына. Что ты бѣдна, это мнѣ все равно: твое неутомимое прилежаніе— достаточное приданое». Дѣвушка въ душѣ испугалась. тому что проживи она на свѣтѣ хоть триста лѣтъ и за работой каждый день съ утра до вечера, ей не сп бы этого льна. Оставшись одна, она начала плакать и *просидѣла* три дня, не шевельнувъ рукой. На третій *пришла къ ней* королева, и когда увидѣла, что

чего не было сдѣлано, удивилась; но дѣвушка извинилась тѣмъ, что огорченіе вслѣдствіе разлуки съ материнскимъ домомъ помѣшало ей начать работать. Королева удовлетворилась этимъ отвѣтомъ, но уходя сказала:—«Ну, такъ завтра ты примешься за работу».

Когда дѣвушка снова осталась одна, она не знала, что̀ ей дѣлать и какъ помочь себѣ, и въ печали подошла къ окошку. Въ это время мимо проходили три старухи, изъ которыхъ у первой была плоская нога, у второй—нижняя губа, покрывавшая собой подбородокъ, а у третьей—широкій большой палецъ. Передъ окошкомъ онѣ остановились, посмотрѣли наверхъ и предложили дѣвушкѣ свою помощь, сказавъ: «Если ты пригласишь насъ на твою свадьбу, не будешь стыдиться насъ и станешь называть насъ своими тетками, сажать съ собою за столъ, то мы спрядемъ весь твой ленъ, и въ короткое время». — «Отъ всего сердца согласна,—отвѣчала она:—войдите и сейчасъ же принимайтесь за работу». Тутъ она впустила трехъ странныхъ женщинъ и на полу первой комнаты очистила мѣсто, гдѣ онѣ сѣли и начали прясть. Одна тянула нитку и вертѣла колесо, другая смачивала нитку, третья вертѣла ее и била пальцемъ по скамейкѣ веретена, и каждый разъ, какъ она ударяла, на полъ падалъ клубокъ самой тонкой пряжи. Отъ королевы дѣвушка спрятала трехъ пряхъ, и когда та пришла, показала ей безчисленное количество оконченной пряжи, такъ что королева не могла достаточно нахвалиться ею. Когда первая комната очистилась, перешли во вторую, и, наконецъ, въ третью, въ которой тоже скоро не осталось ничего. Тогда три женщины простились съ дѣвушкой и сказали ей: «Не забудь того, что̀ ты намъ обѣщала: это составитъ твое счастье».

Когда дѣвушка показала королевѣ пустыя комнаты и огромную кучу пряжи, королева начала дѣлать приготовленія къ свадьбѣ, и женихъ радовался, что ему доставалась такая прилежная жена, и много хвалилъ ее.— «У меня есть три тетушки,—сказала дѣвушка:—и такъ какъ онѣ сдѣлали мнѣ много добра, то мнѣ не хотѣлось бы забыть ихъ въ моемъ счастьѣ; поэтому позвольте мнѣ посадить ихъ за нашъ сва-[illegible]ный столъ». Королева и женихъ согласились. Когда на-[illegible]ось празднество, три женщины въ чудныхъ одеждахъ [illegible]ли въ комнату, и невѣста сказала: «Милости просимъ, [illegible]ныя тетушки!»—«Ахъ,—сказалъ женихъ:—зачѣмъ это [illegible] была *себѣ такихъ отвратительныхъ* друзей?» Потомъ

онъ подошелъ къ первой, съ плоской ногой, и спросилъ, отчего у ней такая плоская нога? — «Отъ битья по колесу прялки,—отвѣчала она:—отъ битья по колесу».—Онъ перешелъ ко второй и спросилъ: «Отчего у васъ такая отвислая губа?»—«Отъ лизанья льна,—отвѣчала она:—отъ лизанья льна». — Онъ спросилъ третью: «Отчего у васъ такой широкій большой палецъ?»—«Отъ верченья нитки,—отвѣчала она:—отъ верченья нитки».—Тутъ сынъ королевы испугался и вскричалъ: — «Ну, такъ съ этихъ поръ моя красавица невѣста никогда не прикоснется къ веретену». — И вотъ какъ она избавилась отъ проклятой обязанности прясть ленъ.

Какая же мораль? Французы, которымъ я разсказывалъ эту сказку, всегда предлагали мнѣ этотъ вопросъ. Друзья мои, въ этомъ-то и заключается различіе между вами и нами. Морали мы требуемъ только въ дѣйствительной жизни, а отнюдь не въ созданіяхъ поэзіи. Во всякомъ случаѣ, вы можете научиться изъ этой сказки, что можно заставлять прясть за себя другихъ и при этомъ все-таки сдѣлаться принцессой. Со стороны няньки великодушно объяснять дѣтямъ съ самыхъ раннихъ поръ, что есть на свѣтѣ нѣчто, еще болѣе дѣйствительное, чѣмъ трудъ — именно, счастье. У насъ часто разсказываютъ сказки о дѣтяхъ, которыя родились въ сорочкѣ и которымъ впослѣдствіи все удавалось. Вѣра въ счастье, какъ нѣчто врожденное или полученное случайно, языческаго происхожденія и представляетъ прелестный контрастъ съ христіанскими понятіями, по которымъ страданія и лишенія считаются величайшею благостью неба.

Задача, конечная цѣль язычества состояла въ достиженіи счастья. Греческій герой называетъ его золотымъ руномъ, герой нѣмецкій — сокровищемъ Нибелунговъ. Напротивъ того, задачею христіанства было самоотреченіе, и христіанскіе герои терпѣли пытки мученичества; они сами возлагали на себя крестъ, и ихъ величайшія битвы никогда не приносили имъ ничего, кромѣ могилы.

Всякій, правда, помнитъ, что золотое руно и сокровище Нибелунговъ причинили ихъ владѣтелямъ много бѣдъ. въ томъ-то и заключалось заблужденіе этихъ героевъ, они считали счастьемъ золото. Въ сущности, они, коне были правы. Человѣкъ долженъ стремиться на этой з къ пріобрѣтенію счастья, сладостнаго счастья, а не м ническаго креста... увы! пусть онъ только подождетъ,

его снесутъ на кладбище; тогда на его могилѣ и водрузятъ этотъ крестъ.

Не могу не привести здѣсь одну сказку, мѣсто дѣйствія которой пробуждаетъ въ моемъ воспоминаніи цвѣтущую и улыбающуюся мою рейнскую родину. И въ этой сказкѣ тоже являются три женщины, о которыхъ не могу я опредѣлительно сказать, духи ли онѣ стихій, или древне-языческія волшебницы, которыя своимъ поэтическимъ колоритомъ такъ рѣзко отличаются отъ своихъ позднѣйшихъ сестеръ—вѣдьмъ. Я не помню вполнѣ точно всей этой исторіи; если не ошибаюсь, весьма подробно разсказана она въ «Рейнскихъ Преданіяхъ» Шрейбера. Это — сказаніе о «Шепчущей Долинѣ», которая лежитъ при Рейнѣ, недалеко отъ Лорха. Долина эта названа такъ отъ голосовъ, шепчущихъ тамъ въ ухо прохожему и напоминающихъ звукъ «пстъ, пстъ!», который мы слышимъ обыкновенно по вечерамъ въ извѣстныхъ переулкахъ столицы. Черезъ эту-то долину проходили однажды три молодыхъ работника, очень веселые и очень любопытствовавшіе узнать, что же означало это постоянное «пстъ, пстъ». Старшій и смѣтливѣйшій изъ нихъ, шпажный мастеръ по ремеслу, закричалъ, наконецъ, громко: «Это голоса женщинъ, которыя вѣрно такъ некрасивы, что боятся показываться». Едва произнесъ онъ эти вызывающія хитрыя слова, какъ предъ нимъ появились три чудно красивыя женщины, приглашавшія граціозными жестами его и двухъ товарищей къ себѣ въ замокъ, отдохнуть отъ усталости путешествія и повеселиться. Этотъ замокъ, стоявшій въ нѣсколькихъ шагахъ отъ молодыхъ людей, только теперь былъ замѣченъ ими, можетъ-быть, оттого, что онъ не былъ выстроенъ отдѣльно, а вырубленъ въ скалѣ, такъ что можно было видѣть только маленькія остроконечныя окошечки и большія ворота. Войдя въ замокъ, они немало удивлялись блиставшему тамъ повсюду великолѣпію. Три дѣвы, повидимому, жившія тутъ одни, подали гостямъ прекрасный обѣдъ, причемъ сами наливали имъ вино. Молодые работники, сердца которыхъ бились все радостнѣе, никогда не видѣли такихъ цвѣтущихъ, очаровательныхъ красавицъ и обручились съ ними многими пламенными поцѣлуями. На третій день дѣвушки сказали имъ: «Если хотите всегда жить съ нами, милые женихи, то прежде пойдите въ лѣсъ и узнайте, что поютъ и говорятъ птицы; когда хорошо поймете слова воробья, сороки и совы, приходите снова въ наши объятія».

Молодые люди пошли въ лѣсъ и, прокладывая себѣ дорогу между кустарникомъ и сучковатыми пнями, укалываясь терномъ, спотыкаясь о корни, подошли, наконецъ, къ дереву, на которомъ сидѣлъ воробей и чирикалъ:

«Въ уголокъ дурацкой земли
Разъ три глупыхъ парня пришли;
Вдругъ мимо ихъ ртовъ—оглянуться не успѣли!
Жареные гуси пролетѣли.
И говорятъ парни: «Ахъ, ужъ эти дураки!
Ничего не умѣютъ сдѣлать бѣдняки:
Вотъ и гуси такіе крупные тутъ,
Что прямо въ ротъ никакъ не попадутъ.»

— Да, да,—вскричалъ шпажный мастеръ:— вотъ совершенно справедливое замѣчаніе! Да, да, если жареные гуси пролетаютъ даже мимо самыхъ губъ милой глупости, ей отъ этого все-таки никакого проку. Ротъ ея слишкомъ малъ, а гуси слишкомъ велики, и глупость не умѣетъ себѣ помочь.

Пошли три работника дальше, прокладывая себѣ дорогу между кустарникомъ и сучковатыми пнями, укалываясь терномъ, спотыкаясь о корни, и вотъ подошли къ дереву, на вѣткахъ котораго скакала сорока, и стрекотала она: «Моя мать была сорока, моя бабушка тоже сорока, моя прабабушка опять сорока, моя прапрабабушка—сорока, и если-бъ моя прапрабабушка не умерла, то жила бы до сихъ поръ».

— Да, да,—вскричалъ шпажный мастеръ:—понимаю: это всеобщая исторія міра! Это, въ концѣ концовъ, результатъ всѣхъ нашихъ изслѣдованій, и много больше этого людямъ никогда не узнать на этомъ свѣтѣ.

Пошли три работника дальше, прокладывая себѣ дорогу между кустарникомъ и сучковатыми пнями, укалываясь терномъ, спотыкаясь о корни, и вотъ подошли къ дереву, въ дуплѣ котораго сидѣла сова и про себя ворчала: «Кто говоритъ съ одною женщиною, того обманываетъ одна женщина, кто говоритъ съ двумя женщинами, того обманываютъ двѣ женщины, а кто говоритъ съ тремя женщинами, того обманываютъ три женщины».

— Молчи,—гнѣвно вскричалъ шпажный мастеръ:—ты гадкая, жалкая птица, со всею твоею гадкою, жалкою мудростью, которую можетъ продать за копейку самый
ный нищій! Это старая, избитая клевета. Ты бы гор
лучше судила о женщинахъ, если бы была хороша и
села, какъ мы, или если бы знала нашихъ невѣстъ, і
рыя хороши, какъ солнце, и вѣрны, какъ золото.

Послѣ этого пустились три работника въ обратн

шли, весело посвистывая и распѣвая, довольно долго, и увидѣли, наконецъ, снова замокъ въ скалѣ и въ шумной радости запѣли пѣсенку:

Отворяйтесь, запирайтесь, ворота!
Чѣмъ ты, милая подружка, занята?
Спишь ли ты, иль мила друга ждешь?
Ты смѣешься-ль, или слезы льешь?

Ликуя такимъ образомъ, стояли наши работники у воротъ замка, и вотъ отворились надъ воротами три окошечка, и изъ каждаго показалась старушонка, длинноносая, съ гноящимися глазами; онѣ радостно трясли сѣдыми головами, раскрывали свои беззубые рты, и пищали: «Вотъ тамъ внизу наши милые женихи! Погодите, милые женихи, мы сейчасъ вамъ отопремъ ворота, примемъ васъ поцѣлуями, и теперь вы насладитесь земнымъ счастіемъ въ объятіяхъ любви».

До смерти смущенные парни не стали ожидать, покуда отопрутся ворота замка и объятія ихъ невѣсть, и то земное счастье, которымъ имъ предстояло наслаждаться въ этихъ объятіяхъ; во весь духъ бросились они бѣжать и дѣлали такіе шаги, что въ тотъ же день прибѣжали въ городокъ Лорхъ. Сидя вечеромъ въ корчмѣ за виномъ, имъ нужно было выпить нѣсколько кружекъ, чтобы совсѣмъ прійти въ себя отъ страха. Шпажный мастеръ съ торжественными проклятіями заявилъ, что сова—умнѣйшая птица міра и недаромъ слыветъ символомъ мудрости.

Я привелъ этотъ разсказъ въ связи съ сказкой о трехъ пряхахъ. Эти послѣднія, по мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ эллинистовъ — три парки; но наши патріоты антикваріи, мало симпатизирующіе всему, что отзывается классицизмомъ, относятъ этихъ трехъ женщинъ въ область скандинавской миѳологіи, утверждая, что онѣ — три норны. Эти обѣ гипотезы могутъ быть примѣнены и къ тремъ женщинамъ «Шепчущей Долины». Трудно опредѣлить съ точностью, что такое скандинавскія норны. Можно отождествить ихъ съ валкиріями, о которыхъ я уже говорилъ. Саги исландскихъ поэтовъ разсказываютъ намъ объ этихъ валкиріяхъ самыя удивительныя вещи. То онѣ парятъ на коняхъ въ воздухѣ надъ сражающимися войсками и рѣшаютъ участь битвы; то онѣ—амазонки, носящія названіе дѣвъ со щитомъ и сражающіяся за своихъ любовниковъ, то являются онѣ въ образѣ тѣхъ женщинъ-лебедей, которыя уже отчасти [illegible]ены мною. Въ этихъ преданіяхъ господствуетъ запу-

танность, такая же туманная, какъ небо сѣвера. Одною изъ валкирій такого рода была доблестная Сигрунъ; въ сагѣ, разсказывающей о ней, есть трогательный эпизодъ, напоминающій Бюргерову «Ленору». Но «Ленора» оказывается очень безцвѣтною въ сравненіи съ героинею скандинавской поэмы. Приведу извлеченіе изъ этой саги.

Король Зигмундъ, сынъ Вельзунга, имѣлъ женою Борггильду Бралундскую, и они назвали своего сына Гельги, въ честь Гельги, сына Сорвардова. Зигмундъ и мужчины его фамиліи называли себя Вельзунгами. Гундингъ былъ королемъ богатой страны, называвшейся по его имени Гундландъ; онъ былъ славный воитель и отецъ многочисленныхъ сыновей, отправившихся сражаться. Этотъ король Гундингъ и король Зигмундъ жили между собою во враждѣ и войнѣ, и каждый изъ нихъ убивалъ друзей другого. Гранмаръ былъ могущественный король, жившій на возвышеніи, называвшемся Сваринсгохъ; онъ имѣлъ нѣсколькихъ сыновей, изъ которыхъ первый назывался Годброддъ, второй— Гудмундъ, третій — Старкоддръ. Годброддъ былъ однажды въ собраніи королей, и его обручили съ Сигрунъ, дочерью Гогена. Но когда Сигрунъ узнала объ этомъ, она съ валкиріями вскочила на коня и полетѣла черезъ воздухъ и моря, чтобъ отыскать Гельги. Гельги былъ въ то время въ Логафьеллѣ; онъ сражался съ сыновьями Гундинга, умертвилъ Альфа, Эіольфа, Горварда и Герварта и, уставъ отъ битвы, отдыхалъ подъ Орлинымъ Утесомъ. Тутъ нашла его Сигрунъ; она упала къ нему на шею, обняла его и сказала: «Мой отецъ обручилъ меня съ злымъ сыномъ Гранмара, но я назвала его храбрымъ, какъ сынъ кошки. Черезъ нѣсколько ночей принцъ придетъ, если ты не вызовешь его на поле битвы и не похитишь королевскую дочь». При этихъ словахъ герой почувствовалъ любовь къ дѣвѣ; но Сигрунъ страстно любила сына Зигмунда еще прежде, чѣмъ увидѣла его. Поэтому дочь Гогена слѣдовала влеченію своего сердца, когда говорила, что ей нужна любовь Гельги. «Но,—продолжала Сигрунъ:—я предвижу, о принцъ, гнѣвъ друзей нашего дома, потому что я разрушила задушевнѣйшее желаніе моего отца». — Гельги отвѣчалъ: «Не заботься ни о гнѣвѣ Гогена, ни о негодованіи твоей милліи; ты будешь жить у меня, молодая дѣвушка, ты, какъ я вижу, благороднаго происхожденія». Гельги собралъ (большое число воиновъ, велѣлъ имъ сѣсть на корабли и *плылъ съ ними* къ Фрекаштейну; на морѣ застигла

сильная буря, подвергнувшая ихъ жизнь опасности; молніи бороздили небо, одна изъ нихъ упала на ихъ корабли. Въ эту минуту они увидѣли въ воздухѣ скачущихъ на коняхъ валкирій и узнали между ними Сигрунъ; буря скоро унялась, и они благополучно достигли берега. Сыновья Гранмара стояли лагеремъ на одной горѣ. Гудмундъ тотчасъ же сѣлъ на коня и поѣхалъ внизъ къ морю, чтобы поближе взглянуть на пріѣхавшихъ. Завидѣвъ его, Вельзунги подняли свои паруса, и Гудмундъ спросилъ: «Кто этотъ король, повелѣвающій этимъ флотомъ и приведшій въ нашу страну это страшное войско?» Сынъ Зигмунда далъ ему гордый и вызывающій отвѣтъ, и Гудмундъ вернулся домой съ вѣстью о войнѣ. Сыновья Гранмара тотчасъ же собрали войско, въ которомъ находилось много королей, и въ томъ числѣ Гогенъ, отецъ Сигрунъ, и его сыновья, Браги и Дагъ. И послѣдовало большое сраженіе, въ которомъ пали всѣ сыновья Гранмара и всѣ ихъ военачальники, за исключеніемъ Дага, сына Гогена, который заключилъ миръ и поклялся въ вѣрности Вельзунгамъ. Сигрунъ пошла на поле и нашла Годбродда, лежавшаго при послѣднемъ издыханіи. Она сказала ему: «Никогда, о, король Годброддъ, Сигрунъ Севафьель не будетъ лежать въ твоихъ объятіяхъ; жизнь твоя кончена. Скоро волчьи когти растерзаютъ сыновей Гранмара». Послѣ этого она снова пошла къ Гельги и была исполнена радости; молодой воинъ сказалъ ей: «Къ несчастью, о, Альвитръ! (всевѣдущая — одно изъ названій, которыя давались валкиріямъ)—къ несчастью, не все исполнилось согласно съ твоими желаніями, но наши судьбы въ рукахъ норнъ. Браги и Гогенъ пали сегодня утромъ при Фрекаштейнѣ, и я былъ ихъ убійцею. И Старкоддръ палъ при Стирклейффѣ, а въ Глебіоргѣ пали сыновья Гролланга; одинъ изъ нихъ былъ самый бѣшеный герой, какого я только зналъ: голова его уже была отсѣчена—а тѣло все еще продолжало сражаться. Почти весь твой родъ лежитъ теперь на землѣ, раненый и убитый; ты ничего не выиграла въ этомъ сраженіи; тебѣ было предопредѣлено только битвами достигнуть исполненія твоихъ желаній». Тогда Сигрунъ заплакала, а Гельги сказалъ: «Утѣшься, Сигрунъ, ...л была наша Гильдуръ (богиня войны, воспламенявшая ...битвѣ); сами короли не избѣгаютъ своей участи!» Она ...кала: «Ахъ, если бы я могла оживить тѣхъ, которые ...ли, но въ то же время покоиться въ твоихъ объятіяхъ!» ...льги *женился на Сигрунъ*, и она родила ему сыновей.

Гельги жилъ недолго. Дагъ, сынъ Гогена принесъ Одину нѣсколько жертвъ и молилъ его помочь ему отомстить за отца — и Одинъ ссудилъ его своимъ страшнымъ копьемъ. Дагъ засталъ своего зятя въ мѣстности, называющейся Фьетурландъ, и пронзилъ его копьемъ Одина. Такъ палъ Гельги; но Дагъ тотчасъ же поѣхалъ въ Севафьель и привезъ къ Сигрунъ извѣстіе о смерти ея возлюбленнаго героя. «Сестра,—сказалъ онъ:—я долженъ сообщить тебѣ печальную вѣсть. Я поставленъ въ необходимость заставить тебя плакать: сегодня утромъ въ Фьетурландѣ палъ одинъ король—король, лучшій изъ всѣхъ земныхъ королей и чья голова высоко возносилась надъ головами храбрѣйшихъ воиновъ». Сигрунъ воскликнула: «Да пронзятъ твое сердце всѣ клятвы, которыя ты давалъ Гельги, клятвы свѣтозарнымъ Лейптромъ (рѣка ада) и ледянымъ утесомъ, омываемымъ его волнами! Пусть никогда ни одинъ корабль не двигается подъ тобою, какой бы попутный вѣтеръ ни гналъ его; пусть никогда ни одинъ боевой конь не уноситъ тебя, если бы даже тебя преслѣдовали злѣйшіе враги твои! Пусть мечъ, который ты обнажаешь, потеряетъ свое остріе, исключая развѣ ту минуту, когда онъ засвиститъ вокругъ твоей собственной головы! О, чтобы увидѣть на себѣ отмщеніе смерти Гельги, превратись въ волка и живи въ лѣсу, лишенный всякаго достоянія, всякой радости и всякой пищи, развѣ только будешь ты ее находить въ падали!» Дагъ сказалъ: «Ты въ бѣшенствѣ, сестра моя, и съ твоей стороны безумно проклинать брата. Богъ Одинъ — единственная причина всѣхъ этихъ несчастій, это онъ посѣялъ раздоръ между близкими родственниками. Твой братъ предлагаетъ тебѣ теперь красные перстни примиренья, онъ предлагаетъ тебѣ всѣ страны Вландильсве и Вигдали; возьми, о, женщина, украшенная перстнями, возьми для себя и для твоего сына половину царства въ вознагражденіе твоей скорби». Сигрунъ отвѣчала: «Никогда не буду я счастливо жить въ Севафьелѣ, и никогда, ни днемъ, ни ночью, не буду наслаждаться жизнью, если блескъ моего героя не появится у дверей могилы, и если конь моего короля, Вигблеръ, съ золотыми удилами не помчится подъ нимъ, чтобы я могла схват его и сжать въ своихъ объятіяхъ! Всѣ враги Гельги друзья ихъ бѣжали отъ него съ такимъ ужасомъ, съ как убѣгаютъ отъ волка горныя козы. Такъ же высоко воздыма Гельги между героями, какъ благородный ясень воз шается между ползучимъ кустарникомъ, или какъ увлажен

росою олень выше всѣхъ другихъ животныхъ, подымая къ небу свои блестящіе рога!»

Надъ трупомъ Гельги воздвигнули могильный холмъ, а когда онъ прилетѣлъ въ Валгаллу, Одинъ предложилъ ему раздѣлить съ нимъ господство надъ вселенной. И Гельги, увидѣвъ Гундинга, сказалъ ему: «Ты Гундингъ, будешь каждый день, прежде чѣмъ ложиться спать, приготовлять для каждаго живущаго здѣсь его ножную ванну, будешь зажигать огни, привязывать собакъ, смотрѣть за лошадьми и давать кормъ свиньямъ».

Служанка Сигрунъ проходила разъ вечеромъ мимо могильнаго холма Гельги—и вдругъ увидѣла Гельги, въѣзжавшаго на возвышеніе съ многочисленною свитою воиновъ. Служанка сказала: «Мерещатся ли только мнѣ привидѣнія, или наступилъ конецъ свѣту? Умершіе люди ѣдутъ верхомъ; вы шпорите своихъ коней. Развѣ возвращеніе изъ могилы дозволено героямъ?» Гельги сказалъ: «Тебѣ не мерещатся привидѣнія, и конецъ свѣту еще не наступилъ, хотя ты и видишь насъ, и хотя мы шпоримъ нашихъ коней; но возвращеніе изъ могилы дозволено героямъ». Служанка поспѣшно побѣжала домой и сказала Сигрунъ: «Иди на холмъ, Сигрунъ Севафьельская, если желаешь увидѣть государя народовъ; холмъ открылся, Гельги пришелъ, его раны сочатся кровью; онъ зоветъ тебя залѣчить ихъ». Сигрунъ поспѣшила на холмъ, вошла въ него къ Гельги и сказала: «Какъ я рада, что снова вижу тебя! Рада, какъ кровожадные соколы Одина, когда они чуютъ запахъ труповъ, или когда, увлаженные росою, видятъ, какъ занимается утренняя заря. Сперва я обниму тебя, мертвый король, прежде чѣмъ ты снимешь свой окровавленный панцырь. О, Гельги, твои волосы посѣдѣли отъ зимняго инея, ты весь покрытъ росою мертвыхъ (кровью), и руки твои холодны, какъ ледъ. Чѣмъ могу я, о, король, устранить твои страданія?» Гельги отвѣчалъ: «Ты одна, Сигрунъ Севафьельская, причина того, что Гельги покрытъ росою несчастія: каждый вечеръ, передъ сномъ, ты, о, королева, украшенная золотомъ и драгоцѣнными камнями, долго проливаешь горькія слезы. Каждая [illegible]этихъ слезъ падала кровяною каплей на мою грудь, на [illegible]ледяную и разбитую скорбью грудь. Но мы еще будемъ [illegible]вмѣстѣ сокъ блаженства, несмотря на то, что лиши[illegible]сякой радости и всякаго состоянія! Да, пусть никто [illegible]ъ похоронной пѣсни, хотя и видитъ на моей груди [illegible]раны! Женщины пришли къ намъ теперь тайкомъ,

королевскія жены у насъ, у мертвыхъ!» Сигрунъ приготовила постель въ холмѣ. «Вотъ постель покоя и чуждая заботъ, которую я приготовила для тебя, о, Гельги, сынъ Вельзунга! Я хочу уснуть въ твоихъ объятіяхъ, о, король, какъ засыпала, когда ты былъ живъ!» Гельги сказалъ: «Теперь я утверждаю, что ничто не невѣроятно въ Севафьелѣ, если ты, чудная дочь Гогена, королевскаго происхожденія, покоишься въ моихъ безжизненныхъ рукахъ—ты, находящаяся, однако, еще въ числѣ живыхъ! Но уже пора мнѣ пойти дальше своею свѣтлой дорогой, пора моему блѣдному коню снова вступить на свою воздушную тропинку, которую уже начала румянить утренняя заря; потому что прежде чѣмъ Салгофуиръ (пѣтухъ) разбудитъ народъ побѣдителей, я долженъ быть къ западу отъ Виндгілмскаго моста (радуга)». Гельги и его свита уѣхали на своихъ коняхъ, а женщины возвратились домой. На слѣдующій вечеръ Сигрунъ поставила свою служанку на стражѣ у могильнаго холма. Но послѣ захожденія солнца пришла къ холму сама Сигрунъ и сказала: «Если бы сынъ Зигмунда намѣревался пріѣхать сегодня изъ чертоговъ Одина, онъ въ настоящую минуту уже былъ бы здѣсь. Моя надежда снова увидѣть героя исчезаетъ, потому что орлы уже усаживаются на вѣтви ясеня, и весь міръ торопится погрузиться въ царство сновъ». Служанка сказала: «О, дочь Скіолдундовъ, не будь настолько смѣлой, чтобы отправляться одной въ жилища духовъ; ночью мертвецы гораздо могущественнѣе, чѣмъ при свѣтѣ дня». Сигрунъ жила недолго въ страданіяхъ и скорби.

Тутъ оканчивается сага, но разсказчикъ прибавляетъ уже отъ себя: «Въ древнія времена господствовало вѣрованіе въ возрожденіе людей послѣ смерти; но въ наши дни это называютъ бабьими сказками. О Гельги и Сигрунъ разсказываютъ, что они жили два раза; во второй разъ онъ назывался Гельги, герой Гадьюгіи, а она — Кара, дочь Галфдана, и была она валкирія».

Приведу еще начало другого скандинавскаго преданія, называющагося Велундуровой пѣснью, — привожу потому, что ею, повидимому, довольно ясно доказывается сродство, или даже тождество, валкирій, трехъ пряхъ или ле женщинъ, о которыхъ я уже прежде говорилъ. Тамъ ска

«Нидгудуромъ звался одинъ король въ Свитіодѣ (Шв
у него было два сына и одна дочь, по имени Баудвиль
А въ Финляндіи жили три брата, сыновья тамошняго
изъ которыхъ первый звался Слагфидръ, второй—

третій — Велундуръ. Они погнали на пастбища свои стада и пришли въ Ульфдалиръ (волчья долина), гдѣ построили себѣ дома. Въ этомъ мѣстѣ было озеро, называвшееся Ульффіаръ (волчье озеро), и на берегу его королевскіе сыновья увидали разъ утромъ, очень рано, трехъ женщинъ, которыя пряли ленъ, сидя и положивъ подлѣ себя на землю свои лебединыя рубашки. Это были валкиріи, и двѣ изъ нихъ имѣли отцомъ короля Лодвера; одну изъ нихъ звали Гладгуръ Свандгвитъ (бѣлая, какъ лебедь), а другую — Гервоэръ Альвитръ (всевѣдущая), третья же была Аулрунъ, дочь Кіяра Валландскаго. Три брата увели ихъ къ себѣ домой, и Эгилъ женился на Аулрунъ, Слагфидуръ — на Свангвитъ, а Велундуръ—на Альвитръ. Они прожили вмѣстѣ семь зимъ, но на осьмой годъ женщины улетѣли, чтобы присутствовать при битвахъ, и больше не вернулись. Эгилъ отправился отыскивать Аулрунъ, Слагфидуръ—свою Свангвитъ, но Велундръ остался въ Ульфдалирѣ. По сказанію древнихъ сагъ, онъ былъ искуснѣйшій мастеръ въ своемъ ремеслѣ. Онъ вставлялъ драгоцѣнные перлы въ червонное золото и нанизывалъ всѣ свои перстни на мочальную веревку. Такъ ожидалъ онъ возвращенія своей блистательной супруги.—Когда Нидгудуръ, король Свитіода, узналъ что Велундуръ живетъ одинъ въ Ульфдалирѣ, онъ выступилъ ночью со своими воинами; ихъ вооруженіе прочно сидѣло на нихъ, и ихъ щиты блестѣли при свѣтѣ луны. Придя къ жилищу Велундура, они напали врасплохъ на королевскаго сына и связали его во время сна, и Нидгудуръ увелъ его въ плѣнъ». И т. д., и т. д.

Въ настоящихъ страницахъ я только слегка затронулъ предметъ, о которомъ можно бы написать нѣсколько интереснѣйшихъ томовъ, именно о томъ, какъ христіанство старалось или истребить древне-германскую религію, или воспринять ее въ себя, и какъ слѣды этой послѣдней удержались въ народномъ вѣрованіи. Какъ велась эта истребительная война—извѣстно... Когда народъ, привыкши къ старому поклоненію природѣ, продолжалъ сохранять благоговѣніе къ нѣкоторымъ мѣстамъ и послѣ своего обращенія въ христіанство, тогда это чувство старались или употреблять въ пользу для новой вѣры, или выставлять, какъ происки злого духа... Священные дубы, сопротивлявшіеся католическимъ топорамъ, подвергались оклеветанію: утверждали, что подъ этими деревьями по ночамъ пируютъ дьяволы, и совершаютъ адскія безстыдства вѣдьмы. Но дубъ все-таки остался до

сихъ поръ любимымъ деревомъ нѣмцевъ, дубъ до сихъ поръ есть символъ нѣмецкой національности: онъ—самое большое и крѣпкое дерево лѣса; корни его доходятъ до самаго центра земли; вершина его, какъ зеленое знамя, гордо развѣвается въ воздухѣ; эльфы поэзіи живутъ въ его стволѣ; хмель самой священной мудрости вьется по вѣтвямъ его, и только плоды его малы и не годятся въ пищу человѣка.

Въ древне-германскихъ законахъ и преимущественно у алеманновъ, есть, однако, еще много запрещеній касательно исполненія религіозныхъ обрядовъ у рѣкъ, деревьевъ и камней, вслѣдствіе еретическаго заблужденія, что въ нихъ обитаетъ божество. Карлъ Великій въ своихъ Капитуляріяхъ положительно постановилъ: у рѣкъ, деревьевъ и камней нельзя приносить жертву и возжигать освященныя свѣчи.

Эти три вещи—камни, деревья и рѣки, являются тремя главными моментами германскаго культа, и имъ соотвѣтствуетъ вѣрованіе въ существъ, живущихъ въ камняхъ, то-есть, карловъ, живущихъ въ деревьяхъ, то-есть эльфъ, и живущихъ въ водѣ, то-есть никсъ. Если хотятъ установить здѣсь систему, то лучше систематизировать такъ, а не по стихіямъ, между которыми и въ огнѣ нѣкоторые, напримѣръ Парацельсъ, также помѣщаютъ еще четвертый классъ стихійныхъ духовъ — саламандръ. Но народъ, не имѣющій никогда никакой системы, никогда не вѣрилъ въ этихъ огненныхъ духовъ, и я увѣренъ, что вѣрованіе въ нихъ обязано своимъ происхожденіемъ только Парацельсу. Въ народѣ есть собственно только преданіе о животномъ, которое можетъ жить въ огнѣ и называется саламандрою. Всѣ мальчики — ревностные естествоиспытатели, и я, маленькимъ ребенкомъ, очень усердно доискивался, дѣйствительно ли можетъ саламандра жить въ огнѣ. Когда разъ моимъ товарищамъ удалось поймать такое животное, я, какъ можно скорѣе, бросилъ его въ печь, гдѣ оно сначала брызнуло на огонь бѣлою жидкостью, стало шипѣть все тише и тише и, наконецъ, испустило духъ. Это животное походитъ на ящерицу, но оно шафраннаго цвѣта, съ черными крапинками, и бѣлая жидкость, которую оно изъ себя испускаетъ въ огнѣ и которою, можетъ-быть, иногда тушитъ пламя, вѣроятно, подала поводъ къ вѣрованію, что оно можетъ жить въ огнѣ.

Огненные люди, бродящіе ночью, не духи стихій, а при-
зраки умершихъ людей, мертвыхъ ростовщиковъ, без-
лостныхъ людей и злодѣевъ. Блудящіе огоньки тож

духи. Навѣрное нельзя сказать, что они такое; они заманиваютъ путешественника въ болота и трясины. Англичане называютъ ихъ Will with a wisp, или еще Jack with a lantern. Итакъ, весь классъ огненныхъ духовъ, описываемыхъ Парацельсомъ, народу неизвѣстенъ. Онъ знаетъ развѣ только объ одномъ огненномъ духѣ — и это никто иной, какъ Люциферъ, сатана, дьяволъ. Въ старинныхъ балладахъ онъ называется огненнымъ царемъ, а на сценѣ, когда онъ входитъ или проваливается, непремѣнно показывается пламя. Такъ какъ поэтому онъ единственный огненный духъ и служитъ для насъ представителемъ цѣлаго класса такихъ духовъ, то мы и займемся имъ подробнѣе.

Въ самомъ дѣлѣ, если бы дьяволъ не былъ огненный духъ, какъ бы могъ онъ жить въ аду? Онъ существо такое холодное, что ему только въ огнѣ и хорошо. На эту холодную натуру дьявола жаловались всѣ бѣдныя женщины, бывшія съ нимъ въ близкихъ сношеніяхъ. Въ этомъ отношеніи удивительно согласны между собою показанія вѣдьмъ, какія мы можемъ найти въ процессахъ вѣдьмъ всѣхъ странъ и преимущественно въ сочиненіяхъ криминалиста Карпцова. Эти дамы, сознаваясь въ плотской связи съ дьяволомъ, даже подъ пыткой всегда жалуются на холодъ его объятій: ледяныя, говорятъ онѣ, были проявленія этой нѣжности дьявола. Онъ являлся имъ обыкновенно въ образѣ знатнаго господина, съ краснымъ перомъ на головѣ.

Дьяволъ холоденъ даже, какъ любовникъ. Но онъ не гадокъ, потому что можетъ принимать на себя какой угодно образъ. Нерѣдко онъ облекался даже въ женскія прелести, чтобы оторвать отъ молитвъ какого-нибудь благочестиваго инока или даже соблазнить его на чувственныя наслажденія. Иногда, желая только испугать человѣка, онъ, вмѣстѣ со своими адскими помощниками, являлся въ образѣ звѣря. Большею частью является онъ подъ видомъ животнаго, когда онъ въ хорошемъ настроеніи, много сожралъ и выпилъ. Жилъ нѣкогда въ Саксоніи рыцарь и пригласилъ онъ разъ къ себѣ на обѣдъ друзей. Когда столъ былъ накрытъ, и пришелъ часъ обѣда, и все было готово, гости ...слали одинъ за другимъ просить извиненія, что не мо...ъ придти. Разсердившись, онъ вскричалъ: «Если ни ...нъ человѣкъ не хочетъ придти ко мнѣ, то пусть обѣ...гъ здѣсь дьяволъ со всѣмъ адомъ»,—и ушелъ изъ дома, ...бы разсѣять свой гнѣвъ. Между тѣмъ, въѣхали на дворъ ...ые и большіе рыцари и послали слугу отыскать хо-

зяина дома и сказать ему, что пріѣхали приглашенные за нѣсколько минутъ передъ этимъ гости. Слуга, послѣ долгихъ поисковъ, нашелъ, наконецъ, своего господина, возвратился съ нимъ домой, но ни тотъ, ни другой не отважились войти въ домъ, потому что слышали, какъ тамъ все безумнѣе и безумнѣе раздавались визжанье, пѣсни, крики, и, наконецъ, увидѣли они, какъ пьяные дьяволы, въ видѣ медвѣдей, кошекъ, козловъ, волковъ и лисицъ стали выходить изъ оконъ, держа въ лапахъ полныя чаши и дымящіяся тарелки, и кланялись внизъ лоснящимися рылами, весело скаля зубы. Что дьяволъ, въ образѣ хромого козла, предсѣдательствуетъ въ конвентѣ вѣдьмъ, это всѣмъ извѣстно. Какую роль играетъ онъ, будучи въ этомъ видѣ, я скажу послѣ, когда буду говорить о вѣдьмахъ и волшебствѣ. Изъ удивительной книги, въ которой высоко ученый Георгіусъ Годельманусъ сообщаетъ объ этомъ послѣднемъ предметѣ справедливыя и основательныя свѣдѣнія, я вижу, что дьяволъ являлся также нерѣдко въ образѣ монаха. Годельманусъ разсказываетъ слѣдующій примѣръ:

«Когда я изучалъ права въ знаменитой виттенбергской высшей школѣ, то помню, часто слышалъ отъ моихъ профессоровъ, что къ дверямъ Лютера подошелъ однажды монахъ, сильно постучался и спросилъ у отворившаго ему слуги: дома ли Лютеръ? Когда Лютеръ узналъ, что спрашиваютъ его, то велѣлъ впустить пришедшаго, такъ какъ онъ уже давно не видалъ монаховъ. Тотъ вошелъ и сказалъ, что хотѣлъ бы поговорить съ Лютеромъ касательно нѣкоторыхъ папистскихъ заблужденій и предложилъ ему на разрѣшеніе нѣсколько силлогизмовъ и изреченій, и когда Лютеръ безъ труда разрѣшилъ ихъ, то предложилъ другіе, которые разрѣшить было не такъ легко. Поэтому Лютеръ, немного смущенный, сказалъ: «ты мнѣ задаешь много работы, а у меня и безъ того много дѣла», и тотчасъ всталъ и показалъ ему въ Библіи разрѣшеніе предложеннаго вопроса. А когда въ той же бесѣдѣ онъ замѣтилъ, что руки монаха не были чужды сходства съ птичьими когтями, то сказалъ: «ты не *тотъ* ли? постой же, послушай, вотъ этотъ приговоръ произнесенъ противъ тебя»—и тотчас показалъ ему въ Бытіи, первой книгѣ Моисея, с «сѣмя жены сотретъ главу змія». Побѣжденный этим вами, дьяволъ разгнѣвался и ушелъ, ворча, бросил нильницу за печь и распространилъ вонь, которая е *сколько дней* слышалась въ этой комнатѣ».

Въ этомъ разсказѣ замѣчаемъ одно изъ свойствъ дьявола, которое обнаруживалось уже искони и сохранилось до сихъ поръ: это его страсть къ диспуту, его софистика, его «силлогизмы». Дьяволъ знаетъ логику и уже восемьсотъ лѣтъ назадъ показалъ это папѣ Сильвестру, знаменитому Герберту, во вредъ ему. Именно Сильвестръ, бывши еще ученикомъ въ Кордовѣ, заключилъ союзъ съ сатаною, и съ его адскою помощью изучилъ геометрію, алгебру, астрономію, ботанику, многія полезныя искусства, въ томъ числѣ искусство сдѣлаться папою. Умереть онъ долженъ былъ, по договору, въ Іерусалимѣ. Сильвестръ, конечно, избѣгалъ поѣздки туда. Но разъ, когда онъ служилъ обѣдню въ одной римской капеллѣ, явился къ нему дьяволъ, чтобы взять его съ собою, и когда папа сталъ сопротивляться, чортъ доказалъ ему, что капелла, гдѣ они находились, называется Іерусалимомъ, что условія договора исполнены и что папа долженъ слѣдовать за нимъ въ адъ. И дьяволъ увлекъ папу, со смѣхомъ нашептывая ему въ ухо:

Tu non pensavi qu'io loico fossi!

(Dante, Inferno, c. 28.)

«Ты не думалъ, что я логикъ!»

Дьяволъ знаетъ логику, онъ мастеръ въ метафизикѣ и своими діалектическими тонкостями умѣетъ перехитрить всѣхъ своихъ союзниковъ. Если они небрежно читаютъ контрактъ при заключеніи его и перечитываютъ внимательно уже потомъ, то съ ужасомъ находятъ, что дьяволъ, вмѣсто лѣтъ, написалъ мѣсяцы, или недѣли, или дни, и вотъ онъ внезапно является предъ ними, доказываетъ, что срокъ контракта истекъ. Въ одной изъ старинныхъ кукольныхъ комедій, представляющихъ союзъ съ сатаной, постыдную жизнь и жалкую кончину доктора Фауста, выведенъ такой же примѣръ. Фаустъ, потребовавшій отъ дьявола наслажденія всѣми земными благами, продалъ ему за это свою душу и обязался отправиться въ адъ, когда совершитъ три убійства. Онъ уже убилъ двухъ человѣкъ и думаетъ, что пока не убьетъ третьяго, дьяволъ не можетъ взять его. Но тотъ доказываетъ ему, что самый союзъ съ дьяволомъ, убійство собственной души, есть третье убійство и по этой проклятой логикѣ увлекаетъ Фауста въ адъ. Какъ широко Гёте въ своемъ Мефистофелѣ эксплуатировалъ эту характеристическую черту — софистику, можетъ судить всякій. Нѣтъ ничего забавнѣе чтенія контрактовъ

людей съ дьяволомъ, удержавшихся со временъ процессовъ вѣдьмъ, и гдѣ контрагентъ осторожно обезпечиваетъ себя отъ этихъ ябедническихъ придирокъ дьявола и подробнѣйшимъ образомъ обсуждаетъ всѣ условія.

Дьяволъ—логикъ. Онъ представитель не только свѣтскаго великолѣпія, чувственныхъ наслажденій, плоти, но также человѣческаго разума, именно потому, что разумъ отстаиваетъ всѣ эти права матеріи, и этимъ онъ составляетъ противоположность христіанскому ученію, которое есть представитель не только духа, аскетическаго отсутствія чувственности, небеснаго спасенія, но и вѣры. Дьяволъ не вѣруетъ; онъ не опирается слѣпо на чужіе авторитеты, онъ довѣряетъ только своему собственному мышленію, онъ дѣлаетъ употребленіе изъ разума. Это, конечно, что-то ужасное, и католицизмъ основательно проклялъ самостоятельное мышленіе, какъ чертовщину, и провозгласилъ дьявола, представителя разума, отцомъ лжи.

О внѣшнемъ видѣ дьявола нельзя, дѣйствительно, ничего вѣрнаго сказать. Нѣкоторые утверждаютъ, какъ я уже говорилъ, что онъ не имѣетъ никакого опредѣленнаго вида и можетъ являться въ какомъ угодно образѣ. Это вѣроятно. Въ «Демономаніи» Горста я, напримѣръ, прочелъ, что дьяволъ можетъ преобразиться даже въ салатъ. Одна инокиня, очень почтенная, однако, нестрого соблюдавшая постановленія своего ордена, ѣла разъ салатъ. Какъ только она кончила, то почувствовала нѣкоторыя ощущенія, ей до тѣхъ поръ неизвѣстныя и вовсе несовмѣстимыя съ ея саномъ. Ей дѣлалось какъ-то особенно скверно вечеромъ, при лунномъ свѣтѣ, когда такъ сильно пахли цвѣты, и въ такомъ томленіи, съ такими рыданіями пѣли соловьи. Нѣсколько времени спустя, свела она знакомство съ однимъ молодымъ и милымъ парнемъ. Когда они познакомились поближе, красивый юноша спросилъ ее: «А знаешь ли ты, кто я?»—«Нѣтъ», отвѣчала она, немного испугавшись.—«Я дьяволъ,—сказалъ молодой человѣкъ.—Помнишь тотъ салатъ? Салатъ-то былъ я».

Нѣкоторые утверждаютъ, что чортъ всегда похожъ на звѣря, и что если мы видимъ его въ другомъ обра это просто оптическій обманъ. Правда, въ чортѣ есть циническаго, и эту черту его характера никто не ос лучше нашего поэта Вольфганга Гёте. Другой н писатель, великій своими достоинствами, такъ же недостатками, но котораго во всякомъ случаѣ до

числить къ поэтамъ первоклассным, Граббе, тоже отлично описалъ чорта въ этомъ отношеніи. Холодность въ натурѣ дьявола онъ тоже понялъ совершенно правильно. Въ одной изъ драмъ этого геніальнаго писателя, чортъ сходитъ на землю, потому что его мать моетъ полъ въ аду шваброй; мытье такимъ способомъ у насъ въ обычаѣ: каменный полъ обливаютъ горячей водой и начинаютъ тереть его шваброй — и тутъ происходитъ такой визгъ и такой приторный дымъ, что разумное существо не въ состояніи оставаться дома. Поэтому-то чортъ долженъ сходить въ это время изъ жарко натопленнаго ада на холодную землю и, несмотря на то, что въ это время стоятъ жаркіе іюльскіе дни, ему бѣдному становится такъ холодно, что онъ едва не замерзаетъ, и только при помощи врачей остается въ живыхъ.

Мы только-что замѣтили, что у чорта есть мать; но нѣкоторые утверждаютъ, что у него есть собственно только бабушка. Она тоже часто спускается на землю, и къ ней, можетъ-быть, относится поговорка: «куда чортъ самъ не поспѣетъ, туда старую бабу пошлетъ». Но большею частью она занята стряпнею въ аду, или сидитъ тамъ въ своемъ красномъ креслѣ, и когда чортъ, уставъ отъ дневныхъ трудовъ, возвращается вечеромъ домой, то поспѣшно жретъ обѣдъ, приготовленный ему матерью, и потомъ кладетъ свою голову на колѣни старухи и понемногу засыпаетъ; она ищетъ въ это время у него въ головѣ и напѣваетъ при этомъ пѣсню, начинающуюся слѣдующими словами:

«Во садочкѣ, во садочкѣ,
Стоитъ розовый цвѣточекъ,
Алый точно кровь».

Многіе увѣряютъ, что когда бѣдный ребенокъ не можетъ уснуть, добрая старуха обыкновенно начинаетъ читать ему вслухъ берлинскую «Gazette ecclésiactique».

Обстановкѣ сатаны въ аду народная поэзія рѣзко противопоставляетъ обстановку Христа въ небѣ. Сатана окруженъ дьяволами, Христосъ—ангелами. Сатана и его слуги черны, Христосъ и его ангелы бѣлы. Въ народныхъ пѣсняхъ сѣвера всегда говорится о «бѣломъ» Христѣ. Мы обыкновенно называемъ дьявола чернымъ, княземъ тьмы. Къ свѣтлому
Христа и темной фигурѣ сатаны тотъ же народъ
инилъ еще двѣ неразрушимыя фигуры—Смерть и
о Жида. Средніе вѣка завѣщали новому искусству
-ре колоссальныхъ олицетворенія добра, зла, разру-
человѣчества. Вѣчнаго Жида, этотъ грустный сим-

волъ всего человѣчества, никто не понялъ такъ глубоко, какъ Эдгаръ Кине, одинъ изъ величайшихъ поэтовъ Франціи. Мы, нѣмцы, недавно переведшіе его «Агасѳера», были немало изумлены, встрѣтивъ у француза такой гигантскій замыселъ.

А, можетъ-быть, французы и призваны къ тому, чтобы съ самою большою правильностью объяснять намъ символы среднихъ вѣковъ. Французы давно уже вышли изъ средневѣковой эпохи, они смотрятъ на нее съ спокойствіемъ и могутъ оцѣнить ея красоты съ философскимъ и артистическимъ безпристрастіемъ. Мы, нѣмцы, сидимъ еще глубоко въ этихъ среднихъ вѣкахъ, мы еще боремся съ ихъ дряхлыми представителями: поэтому мы можемъ дивиться имъ съ большимъ снисхожденіемъ. Напротивъ того, намъ надо воспламенять себя ненавистью партій, чтобы не парализировать нашей силы разрушенія.

Вы, французы, можете удивляться рыцарству и любить его. У васъ остались отъ него только красивыя хроники и желѣзныя вооруженія. Вы не рискуете ничѣмъ, когда веселите такимъ образомъ вашу фантазію, удовлетворяете вашему любопытству. Но у насъ, нѣмцевъ, хроника среднихъ вѣковъ еще не закончена; страницы самыя послѣднія еще влажны отъ крови нашихъ родственниковъ и друзей, и эти блистающія латы еще защищаютъ живыя тѣла отъ нашихъ палачей. Вамъ, французамъ, ничто не мѣшаетъ справедливо оцѣнять древнія готическія формы. Для васъ грандіозные соборы, каковъ, напр., Notre Dame de Paris, не что иное, какъ зодчество и романтизмъ; для насъ они—страшнѣйшія крѣпости нашихъ враговъ. Для васъ сатана и его адскіе товарищи—только поэзія; у насъ есть много плутовъ и болвановъ, которые успливаются снова утвердить философскимъ путемъ вѣрованіе въ дьявола и въ адскія преступленія вѣдьмъ. Что такія вещи совершаются въ Мюнхенѣ—это въ порядкѣ вещей; но что въ просвѣщенномъ Виртембергѣ дѣлаютъ попытки оправдывать древніе процессы противъ вѣдьмъ, что почтенный писатель, Юстинъ Кернеръ, принялся тамъ за воскрешеніе вѣрованія въ «порченыхъ»—это столько же печально, сколько и противно.

О, ханжи, плуты и вы, глупцы всѣхъ цвѣтовъ! Доканчивайте ваше дѣло, разжигайте мозгъ народа старыми суевѣріями, гоните его на дорогу фанатизма! Вы сами сдѣлаетесь когда-нибудь его жертвами; вы не избѣгнете участи неловкихъ заклинателей, которые, наконецъ, оказались не въ си-

лахъ совладать съ вызванными ими духами и были ими разорваны на куски.

Быть-можетъ, духъ революціи не можетъ расшевелить нѣмецкій народъ посредствомъ разума, быть-можетъ, выполненіе этого великаго труда выпало на долю безумія? Когда кровь народа, наконецъ, закипитъ и ударитъ ему въ голову, когда онъ почувствуетъ, что сердце снова забилось у него въ груди, тогда онъ перестанетъ слушать лицемѣрныя пѣсенки баварскихъ ханжей и мистическое нашептыванье швабскихъ фантазеровъ; ухо его будетъ въ состояніи внимать только великому голосу человѣка.

Кто этотъ человѣкъ?

Это человѣкъ, котораго ожидаетъ нѣмецкій народъ, человѣкъ, который возвратитъ ему, наконецъ, жизнь и счастье, счастье и жизнь, по которымъ онъ такъ долго томился въ своихъ сновидѣніяхъ. Какъ медлишь ты появиться—ты, чье пришествіе старики возвѣщали съ такимъ пламеннымъ желаніемъ, ты, кого молодежь ожидаетъ съ такимъ нетерпѣніемъ, ты, держащій въ рукахъ божественный скипетръ свободы?

Здѣсь, впрочемъ, не мѣсто для воззваній, тѣмъ болѣе, что они отдалили бы меня отъ моего предмета. Мнѣ приходится говорить только о невинныхъ преданіяхъ, о томъ, что говорится и поется за нѣмецкими печками. Я замѣчаю, что сказалъ весьма мало о духахъ, живущихъ въ горахъ; такъ, напр., мною ничего не сказано о горѣ Кифгейзерѣ, въ которой живетъ императоръ Фридрихъ. Онъ, конечно, не стихійный духъ, а только о нихъ мнѣ слѣдуетъ говорить въ этой статьѣ. Но эта легенда слишкомъ граціозна и восхитительна; каждый разъ, какъ я вспоминаю о ней, сердце мое дрожитъ отъ священнаго желанья и таинственной надежды. Само собой разумѣется, что не одна простая сказка заключается въ вѣрованіи, что императоръ Фридрихъ, старый Барбаросса, не умеръ, но, уставъ отъ интригъ своего духовенства, бѣжалъ въ гору, называющуюся Кифгейзеръ. Говорятъ, что онъ скрывается тамъ со всѣмъ своимъ дворомъ, но когда-нибудь снова появится на свѣтъ, чтобы осчастлив нѣмецкій народъ. Эта гора въ Тюрингіи, недалеко отъ рдгаузена. Я часто проѣзжалъ мимо нея, и въ одну пре-ную зимнюю ночь стоялъ тамъ больше часа и нѣсколько кричалъ: «приди, Барбаросса, приди!»—И сердце го-у меня въ груди, какъ огонь, и слезы текли по моимъ ъ. Но онъ не пришелъ, онъ, возлюбленный импера-

торъ Фридрихъ, и я могъ обнимать только утесъ, въ которомъ онъ живетъ.

Одинъ молодой пастухъ изъ сосѣдней мѣстности былъ счастливѣе меня. Онъ пасъ своихъ овецъ подлѣ Кифгейзера и началъ играть на свирѣли, и когда ему показалось, что за эту игру можетъ быть дана хорошая награда, онъ громко закричалъ: «Императоръ Фридрихъ, это я тебѣ сыгралъ серенаду!» Говорятъ, что императоръ вышелъ изъ горы, показался пастуху и сказалъ ему:—«Богъ въ помочь тебѣ, молодой пастухъ! Въ честь кого игралъ ты?»—«Въ честь императора Фридриха».—«Если такъ, то пойдемъ со мной, онъ наградитъ тебя».—«Я не смѣю отойти отъ моихъ овецъ».—«Иди только со мной, съ твоими овцами не случится ничего дурного».

Пастухъ послѣдовалъ за императоромъ, который повелъ его за руку къ одному отверстію въ горѣ. Они дошли до желѣзной двери, которая открылась, и глазамъ пастуха представилась большая и прекрасная зала, въ которой находилось много рыцарей и славныхъ слугъ, почтительно встрѣтившихъ его. Послѣ того императоръ обратился къ нему весьма благосклонно и спросилъ, какой награды онъ желаетъ. Пастухъ отвѣчалъ: никакой. На это императоръ сказалъ ему: «Ступай и возьми себѣ въ награду одну изъ ножекъ моей золотой чаши для питья». Пастухъ сдѣлалъ, какъ ему было сказано, и хотѣлъ удалиться; но императоръ показалъ ему еще много замѣчательныхъ оружій, латъ, мечей и пищалей и велѣлъ сказать людямъ, что этимъ оружіемъ онъ завоюетъ Святой Гробъ.

Пастухъ, безъ сомнѣнія, фальшиво понялъ его. У Барбароссы въ умѣ завоеваніе совсѣмъ не Святого Гроба. Или, можетъ-быть, пастухъ, изъ боязни быть заточеннымъ въ тюрьму, какъ демагогъ, немного исказилъ правду. Не гробъ, холодную постель мертвеца, хочетъ завоевать старикъ Барбаросса, а великолѣпное мѣстопребываніе для живыхъ, теплое царство свѣта и радости, гдѣ онъ можетъ царствовать весело, держа въ рукѣ божественный жезлъ свободы...

Что касается до вышеупомянутаго пастуха, то въ концѣ разсказа говорится, что онъ вышелъ изъ нѣдръ горы здоровымъ и бодрымъ и на слѣдующее утро снесъ къ ювелиру ножку подаренной ему чаши. Ювелиръ призналъ ее за чеканное золото и заплатилъ за императорскій подарокъ триста червонцевъ.

Разсказываютъ также о другомъ поселянинѣ изъ деревни

Реблингенъ, что онъ видѣлъ императора въ Кифгейзерѣ и получилъ отъ него хорошій подарокъ. Что касается меня, то знаю только, что если моя звѣзда приведетъ меня когда-нибудь въ эту гору, я не попрошу у Барбароссы ни золотой чаши, ни подобныхъ ей драгоцѣнностей,—а ужъ если онъ захочетъ что-нибудь подарить мнѣ, то пусть это будетъ его сочиненіе De tribus impostoribus. Эту книгу я напрасно искалъ въ библіотекахъ, и полагаю, что авторъ, старый Барбаросса, вѣрно сохранилъ нѣсколько экземпляровъ ея въ Кифгейзерѣ.

Многіе увѣряютъ, что императоръ въ своей горѣ сидитъ за каменнымъ столомъ и спитъ, или думаетъ о средствахъ возвратить себѣ свое государство. Онъ безпрерывно качаетъ головою и мигаетъ. Борода его въ настоящее время доходитъ до земли. По временамъ онъ какъ бы во снѣ вытягиваетъ руку и какъ будто хочетъ схватиться за мечъ и щитъ. Говорятъ, когда императоръ снова вернется на землю, онъ повѣситъ этотъ щитъ на засохшее дерево, и тогда дерево снова пуститъ почки и зазеленѣетъ, и для Германіи снова начнется лучшее время. А о его мечѣ говорятъ, что это оружіе будетъ несть передъ императоромъ поселянинъ въ полотняной блузѣ и что имъ будутъ срубать головы у всѣхъ тѣхъ, кто будетъ еще настолько простъ, чтобы считать свою кровь благороднѣе крови поселянина. Но старые разсказчики прибавляютъ къ этому, что никто не можетъ знать съ точностью, когда и какъ это сдѣлается.

Говорятъ еще, что разъ, когда одинъ карликъ привелъ въ Кифгейзеръ одного пастуха, императоръ всталъ и спросилъ пришедшаго, продолжаютъ ли еще вороны летать вокругъ горы. Пастухъ отвѣчалъ утвердительно, и императоръ со вздохомъ вскричалъ: «Значитъ, мнѣ приходится спать еще сто лѣтъ!»

Конечно,—увы!—вороны все еще летаютъ вокругъ горы—тѣ черные вороны, которые такъ хорошо знакомы намъ и которыхъ лицемѣрно-набожное карканье мы постоянно слышимъ. Но годы ослабили ихъ, и теперь есть хорошіе стрѣлки, попадающіе въ нихъ на лету. Я знаю одного изъ этихъ рѣлковъ, который въ настоящее время живетъ въ Парижѣ, оттуда онъ умѣетъ убивать воронъ, летающихъ вокругъ ргейзера. Когда императоръ снова возвратится въ міръ, найдетъ на своей дорогѣ не одного изъ этихъ вороновъ, зеннаго стрѣлами. И старый владыка замѣтитъ съ улыбчто вотъ у этого охотника хорошій лукъ.

Писательство имѣетъ свою особенную судьбу. Одному везетъ въ этой профессіи, другому нѣтъ счастья. Самая большая невзгода, быть-можетъ, обрушилась на моего бѣднаго друга, Генриха Кицлера, magister artium въ Геттингенѣ. Никто тамъ не такъ ученъ, такъ богатъ идеями, такъ прилеженъ, какъ этотъ другъ,—однако же по сей часъ ни одна книга его сочиненія не появилась еще въ свѣтъ на лейпцигской ярмаркѣ. Старый Штифель въ университетской библіотекѣ всегда улыбался, когда Генрихъ Кицлеръ просилъ выдать ему ту или другую книгу, въ которой онъ очень нуждался для сочиненія, какъ разъ въ это время приготовлявшагося имъ къ печати. «Долго еще будетъ оно приготовляться!» ворчалъ старый Штифель, взлѣзая по приставной лѣстницѣ. Даже кухарки улыбались, когда имъ выдавали изъ библіотеки книги «для Кицлера». Человѣкъ этотъ всюду слылъ осломъ, а въ сущности онъ былъ только честный человѣкъ. Никто не зналъ истинной причины, почему не появилась ни одна книга его сочиненія, и только случайно открылась мнѣ она, когда я разъ въ полночь зашелъ къ нему зажечь мою свѣчу—такъ какъ мы были съ нимъ сосѣди по комнатамъ. Онъ, именно, только-что закончилъ свой большой трудъ о превосходствѣ христіанства; но, повидимому, нисколько не радовался этому и съ грустью смотрѣлъ на свою рукопись. «Ну, вотъ теперь, наконецъ,—сказалъ я:—твое имя будетъ красоваться въ лейпцигскомъ ярмарочномъ каталогѣ среди вышедшихъ въ свѣтъ книгъ».—«Ахъ, нѣтъ,—отвѣтилъ онъ съ глубочайшимъ вздохомъ:—и это сочиненіе мнѣ придется бросить въ огонь, какъ предыдущія»... И тутъ онъ высказалъ мнѣ свою страшную тайну. На бѣднаго магистра, дѣйствительно, обрушивалась крупнѣйшая невзгода каждый разъ, какъ онъ писалъ книгу. Дѣло въ томъ, что послѣ того, какъ имъ были приведены всѣ доводы въ пользу темы, которую онъ хотѣлъ доказать, ему представлялось необходимымъ сообщить также и возраженія, которыя могли возникнуть со стороны противника; и тутъ онъ начиналъ измышлять съ противоположной точки зрѣнія самые остроумные аргументы, и такъ какъ они, невѣдомо для него самого, пускали корни въ его умѣ, то оканчивалось тѣмъ, что ко времени, когда книга была готова, взгляды бѣднаго автора постепенно измѣнялись, и въ немъ образовывалось убѣжденіе, совершенно противоположное основной идеѣ книги. И тутъ онъ оказывался настолько честнымъ(точно такъ же поступилъ бы и французскій писа-

тель), что приносилъ лавры литературной славы въ жертву на алтарь истины, т. е. кидалъ свою рукопись въ огонь. Оттого-то и вздыхалъ онъ такъ глубоко, доказавъ превосходство христіанства.

«Вотъ для этой книги,—печально говорилъ онъ мнѣ:—я набралъ двадцать корзинъ цитатъ изъ отцовъ церкви; цѣлыя ночи на пролетъ гнулся я надъ письменнымъ столомъ и читалъ Acta Sanctorum въ то самое время, когда въ твоей комнатѣ пили пуншъ и пѣли народный гимнъ; за богословскія книжныя новинки, которыя мнѣ были необходимы для моего сочиненія, я заплатилъ Ванденгеку и Руперехту 38 тяжко заработанныхъ талеровъ, вмѣсто того, чтобы купить себѣ трубку; вотъ ужъ два года, два драгоцѣнныхъ года жизни, я работаю, какъ собака!.. и все это для того, чтобъ сдѣлать себя смѣшнымъ, чтобы, какъ пойманный на мѣстѣ преступленія болтунъ, опускать глаза каждый разъ, какъ госпожа консисторіальная совѣтница Планкъ спроситъ меня: «Когда же появится ваше «Превосходство христіанства?»—«Ахъ, сочиненіе готово,—продолжалъ бѣднякъ:—и, надѣюсь, понравилось бы публикѣ, потому что въ немъ я прославилъ побѣду христіанства надъ язычествомъ и доказалъ, что этимъ путемъ была одержана также побѣда истины и разума надъ лицемѣріемъ и безуміемъ. Но въ глубинѣ души я, несчастнѣйшій, чувствую, что...

— Остановись! — вскричалъ я въ справедливомъ негодованіи: — не дерзай, ослѣпленный, чернить возвышенное и топтать во прахъ блистающее! Если ты и останавливаешься въ сомнѣніи предъ чудесами Евангелія, то вѣдь не можешь ты сомнѣваться въ томъ, что самая побѣда Евангелія была чудо. Маленькій кружокъ беззащитныхъ людей проникъ въ великій римскій міръ, пошелъ наперекоръ его палачамъ и мудрецамъ и восторжествовалъ единою силою слова. Но какое слово! Гнилое язычество задрожало и затрещало, услышавъ слово этихъ пришлыхъ мужчинъ и женщинъ, возвѣщавшихъ новое небесное царство и не боявшихся на старой землѣ ничего — ни лапъ дикихъ звѣрей, ни злобы еще болѣе дикихъ людей, ни меча, ни огня... потому что [illegible]ами были мечъ и пламя, пламя и мечъ Бога! Этотъ [illegible]срубилъ увядшіе листья и сухія вѣтви съ дерева [illegible]и этимъ излѣчилъ его отъ разъѣдающей гнили; это [illegible]снова согрѣло внутри окоченѣвшій отъ холода стволъ, [illegible]онъ пустилъ свѣжіе листья и благоуханные цвѣты... [illegible]е выступленіе христіанства, его борьба и полная

побѣда — самое поразительное и возвышенное явленіе всемірной исторіи».

Эти слова я произнесъ съ благородною выразительностью, и голосъ мой звучалъ съ особенною силою... Но Генриха Кицлера они нисколько не смутили, и съ иронически болѣзненною улыбкой онъ отвѣчалъ:

— Милый другъ, не трудись напрасно. Все, что ты сказалъ теперь, гораздо лучше и гораздо основательнѣе разъяснено мною самимъ въ этой рукописи. Самыми рѣзкими красками нарисовалъ я здѣсь испорченность міра въ пору язычества, и льщу себя мыслью, что мои смѣлые взмахи кисти напоминаютъ сочиненія лучшихъ отцовъ церкви. Я показалъ, какими порочными сдѣлалъ грековъ и римлянъ дурной примѣръ тѣхъ боговъ, которые, судя по приписываемымъ имъ позорнымъ поступкамъ, едва ли были бы достойны считаться людьми. Я, не стѣсняясь, высказалъ, что даже Юпитеръ, глава боговъ, былъ бы по королевскогановерскимъ уголовнымъ законамъ сотни разъ приговоренъ къ заключенію въ смирительный домъ, если не къ висѣлицѣ. А въ противоположность этому я подробно разобралъ нравственныя изреченія, находящіяся въ Евангеліи и показалъ, какъ первые христіане по образцу своего божественнаго Учителя, несмотря на презрѣніе и гоненія, которымъ они подвергались, проповѣдывали и сами сохраняли только прекраснѣйшую чистоту нравовъ. Это — самая лучшая часть моего сочиненія, въ которой я съ воодушевленіемъ изображаю, какъ молодое христіанство, маленькій Давидъ, вступаетъ въ бой съ старымъ язычествомъ и убиваетъ этого огромнаго Голіаоа. Но,—ахъ!—этотъ поединокъ представляется мнѣ съ тѣхъ поръ въ странномъ свѣтѣ... Ахъ, всякое наслажденіе моею апологіею изсякло въ моей груди, когда я живо представилъ себѣ — какъ могъ бы изобразить побѣду Евангелія какой-нибудь противникъ ея. На мое несчастье попали мнѣ въ руки нѣкоторые новые писатели, напримѣръ, Эдвардъ Гиббонъ, которые не особенно благосклонно высказываются насчетъ этой побѣды и, повидимому, не находятъ для себя назидательности въ томъ, что первые христіане, въ тѣхъ случаяхъ, когда духовный мечъ и духовное пламя оказывались недостаточны, прибѣгали къ помощи матеріальнаго меча и матеріальнаго пламени. Да, я долженъ сознаться, что мною овладѣло, наконецъ, трепетное состраданіе къ остаткамъ язычества, этимъ прекраснымъ храмамъ и статуямъ, потому что они

не принадлежали уже больше къ религіи, которая умерла уже задолго, задолго до рожденія Христа, а принадлежали искусству, которое живетъ вѣчно. У меня даже однажды увлажились глаза, когда я случайно прочелъ въ библіотекѣ «Рѣчь въ защиту храмовъ», гдѣ старый грекъ Либаніосъ болѣзненнѣйшимъ образомъ заклиналъ набожныхъ варваровъ щадить тѣ дорогія произведенія искусства, которыми пластическій духъ эллиновъ украсилъ міръ. Но тщетно! Эти памятники той весенней поры человѣчества, которая уже никогда не возвратится и могла цвѣсти только одинъ разъ, безвозвратно погибли отъ разрушительнаго рвенія христіанъ... Нѣтъ,—продолжалъ магистръ:—нѣтъ, я не хочу изданіемъ этой книги продолжать съ своей стороны принимать участіе въ этомъ преступленіи, нѣтъ, ни за что... И вамъ, разбитыя статуи красоты, вамъ, тѣни мертвыхъ боговъ, вамъ, которыя остались только милыми сновидѣніями въ призрачномъ царствѣ поэзіи—вамъ приношу я въ жертву эту книгу!

Съ этими словами Генрихъ Кицлеръ бросилъ свою рукопись въ огонь камина, и отъ разсужденія о превосходствѣ христіанства остался только пепелъ.

Это случилось въ Геттингенѣ зимою 1820 г., за нѣсколько дней до того рокового кануна новаго года, когда педель Дорисъ былъ ужаснѣйшимъ образомъ поколоченъ, а между корпораціями буршей и ландмановъ произошло восемьдесятъ пять дуэлей. Ужасны были тѣ побои, которые въ ту ночь сыпались, какъ деревянный ливень, на широкую спину бѣднаго педеля. Но какъ добрый христіанинъ, онъ утѣшался убѣжденіемъ, что на небѣ мы будемъ нѣкогда вознаграждены за страданія, незаслуженно претерпѣнныя нами на землѣ. Давно уже это было. Старикъ Дорисъ давно претерпѣлъ и спитъ въ своемъ мирномъ убѣжищѣ предъ Вендскими воротами. Двѣ большія партіи, нѣкогда наполнявшія сабельнымъ стукомъ своей полемики поляны Бовдена, Ритшенкруга и Розенмюлэ, давно уже, въ сознаніи своего обоюднаго ничтожества, выпили самымъ нѣжнымъ образомъ на брудершафтъ, а на пишущаго эти строки законъ времени также оказалъ свое могущественное вліяніе. Въ моемъ мозгу пробѣгаютъ уже не такія свѣтлыя краски, какъ прежде, и сердце мое отяжелѣло; гдѣ я нѣкогда ...ялся, тамъ теперь плачу, и сердито сжигаю я священ... предметы моего прежняго поклоненія.

...о *время, когда у каждаго* капуцина, котораго я встрѣ-

чалъ на улицѣ, я набожно цѣловалъ руку. Я былъ дитя, и мой отецъ спокойно допускалъ это, хорошо зная, что мои губы не всегда будутъ довольствоваться капуцинскимъ мясомъ. И дѣйствительно, я подросъ и сталъ цѣловать красивыхъ женщинъ... Но онѣ по временамъ смотрѣли на меня съ такою блѣдною скорбью, и я пугался въ объятьяхъ радости... Тутъ скрывалось несчастье, которое никому не было замѣтно и отъ котораго всякій страдалъ — и я часто размышлялъ объ этомъ. Размышлялъ я и о томъ, дѣйствительно ли самоотреченіе и лишеніе должно предпочитать всѣмъ наслажденіямъ земли, и правда ли, что тѣ, которые здѣсь на землѣ довольствовались волчецами, тамъ вверху тѣмъ обильнѣе будутъ угощаться ананасами. Нѣтъ, кто ѣлъ волчецы, былъ оселъ, а на кого сыпались побои, на томъ они и остались. Бѣдный Дорисъ!

Но мнѣ не дозволено опредѣленными словами говорить здѣсь обо всемъ томъ, о чемъ я размышлялъ, и еще менѣе дозволено мнѣ сообщать другимъ результаты моихъ размышленій. Суждено ли мнѣ сойти въ могилу съ замкнутыми устами, какъ и многимъ другимъ?

Только немногіе банальные факты дозволено мнѣ, быть-можетъ, привести здѣсь, чтобы въ сказочныя подробности, которыя я компилирую здѣсь, внести нѣкоторую разумность, или, по крайней мѣрѣ, разумность кажущуюся. Эти факты относятся къ побѣдѣ христіанства надъ язычествомъ. Я отнюдь не согласенъ съ мнѣніемъ моего друга Кицлера, что разрушительное рвеніе первыхъ христіанъ заслуживаетъ такого рѣзкаго порицанья; они не могли и не имѣли права щадить старые храмы и статуи, потому что въ тѣхъ и другихъ жила еще та греческая свѣтлая безмятежность, та жизнерадостность, которая христіанину представлялась дѣломъ дьявола. Въ этихъ статуяхъ и храмахъ христіанинъ усматривалъ не только предметы чуждаго культа, ничтожнаго заблужденія, въ которомъ отсутствовала всякая реальность; нѣтъ, эти храмы онъ считалъ жилищами дѣйствительныхъ демоновъ, и богамъ, которыхъ изображали эти статуи, онъ приписывалъ несомнѣнное существованіе; всѣ они были для него не что иное, какъ черти. Въ тѣхъ случаяхъ, когда первые христіане отказывались преклонять колѣни предъ изображеніями боговъ, и ихъ за это тащили въ судъ, они всегда отвѣчали одно: мы не можемъ обоготворять демоновъ! Они предпочитали мученичество заявленію какого бы то ни было почитанія предъ чортомъ Юпи-

теромъ, или чертовкою Діаной, или даже архичертовкой Венерой.

Бѣдные греческіе философы! Это противорѣчіе они никогда не могли понять, какъ и впослѣдствіи никогда не понимали, что въ своей полемикѣ съ христіанами имъ надо было защищать отнюдь не старое умершее ученіе, а вещи гораздо больше живыя. Дѣло именно было не въ томъ, чтобы доказывать глубокое значеніе миѳологіи неоплатоническими ухищреніями, не въ томъ, чтобы вливать въ умершихъ боговъ новую символическую кровь жизни и со дня на день безпрерывно возиться съ матеріальными возраженіями первыхъ отцовъ церкви, которые особенно издѣвались почти вольтеріански надъ нравственнымъ характеромъ боговъ; гораздо нужнѣе было защищать самый эллинизмъ, греческій образъ мышленія и чувствованія и противодѣйствовать распространенію юдаизма, іудейскаго образа мыслей и чувствъ. Вопросъ заключался въ томъ—что должно господствовать въ мірѣ: сверхчувственный юдаизмъ назареевъ, или эллинская свѣтлая безмятежность, любовь къ красотѣ и цвѣтущая жизнерадостность? Эти прекрасные боги были не главное, никто уже не вѣрилъ въ благоухавшихъ амврозіею обитателей Олимпа, но люди божественно веселились въ ихъ храмахъ, на ихъ праздничныхъ играхъ, мистеріяхъ; тутъ увѣнчивали головы цвѣтами, тутъ проносились въ торжественно граціозныхъ пляскахъ, тутъ возлежали за радостными пирами... если не за еще болѣе пріятными наслажденіями.

Все это веселье, весь этотъ радостный смѣхъ давно замолкли, и въ развалинахъ старыхъ храмовъ, по мнѣнію народа, до сихъ поръ еще живутъ дневне-греческія божества; только побѣда христіанства лишила ихъ всякой силы и власти, они бѣдные черти, которые днемъ скрываются между совами и жабами въ мрачныхъ развалинахъ своего прежняго великолѣпія, а ночью выходятъ оттуда въ чарующихъ образахъ, чтобы отуманивать или соблазнять какого-нибудь неосторожнаго путника или смѣлаго парня.

Вотъ на этомъ народномъ вѣрованіи построены удивительнѣйшія легенды и сказки, и отсюда черпали новые [illegible]ы мотивы своихъ прекраснѣйшихъ произведеній. Мѣсто [illegible]ствія обыкновенно Италія, и герой обыкновенно нѣмец-[illegible]рыцарь, котораго, благодаря его молодой неопытности, [illegible]же стройности его фигуры, демоны въ образѣ краса-[illegible]опутываютъ особенно очаровательными коварствами. [illegible]нъ прогуливается въ прекрасный осенній день со

своими одинокими грёзами; думаетъ, быть-можетъ, о родныхъ дубовыхъ лѣсахъ и бѣлокурой дѣвушкѣ, которую оставилъ тамъ онъ, безпечный вѣтреникъ! Но вдругъ передъ нимъ мраморная статуя, при видѣ которой онъ останавливается въ сильномъ смущеніи. Это, быть-можетъ, богиня красоты, и онъ стоитъ лицомъ къ лицу съ нею, и сердце молодого варвара тайно охватываютъ старыя чары. Что это такое? Такихъ стройныхъ членовъ онъ еще не видѣлъ никогда, и въ этомъ мраморѣ чуется ему жизнь, такая живая, какой онъ никогда не находилъ въ румяныхъ щекахъ и зубахъ, во всей тѣлесности своихъ соотечественницъ. Эти бѣлые глаза смотрятъ на него такъ сладострастно, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ болѣзненно печально, что грудь его наполняется любовью и состраданьемъ, состраданьемъ и любовью. И начинаетъ онъ съ этихъ поръ чаще прогуливаться между старыми развалинами, и земляки дивятся, что теперь почти не видать его на пирушкахъ и турнирахъ. Ходятъ между ними странные слухи о его поведеніи между развалинами язычества. Но вотъ, однажды утромъ онъ вбѣгаетъ съ блѣднымъ и разстроеннымъ лицомъ въ гостиницу, расплачивается по счету, подвязываетъ свою дорожную сумку и поспѣшно уходитъ за Альпы. Что съ нимъ случилось?

Разсказываютъ, что однажды онъ отправился къ своимъ милымъ развалинамъ позже обыкновеннаго, когда солнце уже зашло, но вслѣдствіе наступившей темноты не могъ найти мѣсто, гдѣ съ нѣкоторыхъ поръ стоялъ по цѣлымъ часамъ въ созерцаніи статуи прекрасной богини. Послѣ долгаго блужданія, когда уже, вѣроятно, наступила полночь, онъ вдругъ очутился передъ виллой, которую до этого времени никогда не видѣлъ въ этой мѣстности, и немало изумило его, когда оттуда вышли слуги съ факелами и отъ имени своей госпожи пригласили его переночевать здѣсь. Но какъ велико было его изумленіе, когда, войдя въ бѣлую, освѣщенную залу, онъ увидѣлъ тамъ даму, которая ходила по комнатѣ совсѣмъ одна и по фигурѣ и чертамъ лица была поразительнѣйшимъ похожа на прекрасную статую его любви. Да, она походила на то мраморное изображеніе тѣмъ болѣе, что была одѣта въ ослѣпительно бѣлую кисею и что лицо ея было печально блѣдно. Когда рыцарь подошелъ къ ней съ почтительнымъ поклономъ, она долго смотрѣла на него серьезно и молча, и, наконецъ, съ улыбкою, спросила: не голоденъ ли онъ? Въ груди рыцаря сердце, правда, сильно дрожало, но у него все-таки былъ нѣмецкій желудокъ, вслѣдствіе долгаго блу-

жданія по лѣсу онъ, дѣйствительно, очень не прочь былъ покушать, и потому съ удовольствіемъ послѣдовалъ за красавицей въ столовую. Она привѣтливо взяла его за руку и повела по высокимъ комнатамъ, которыя, несмотря на все свое великолѣпіе, обличали какую-то зловѣщую пустоту. Жирандоли кидали такой призрачно блѣдный свѣтъ на стѣны, пестрыя фрески которыхъ изображали всяческія языческія любовныя исторіи, напримѣръ, Париса и Елену, Діану и Эндиміона, Калипсо и Улисса. Большіе причудливые цвѣты, стоявшіе въ мраморныхъ вазахъ вдоль подоконниковъ, имѣли такія щемящія сердце, хотя и роскошныя, формы, и пахли такъ могильно, такъ ошеломляюще. При этомъ вѣтеръ въ комнатахъ стоналъ, какъ страдающій человѣкъ. Въ столовой красавица усѣлась, наконецъ, противъ рыцаря, наливала ему вино и съ улыбкой подавала самые лакомые куски. Многое на этомъ ужинѣ должно было казаться рыцарю очень страннымъ. Когда онъ попросилъ соли, которой на столѣ не было, бѣлое лицо красавицы подернулось почти отвратительнымъ неудовольствіемъ, и только послѣ повторенной просьбы его, она съ видимымъ раздраженіемъ приказала слугамъ принести солонку. Тѣ поставили ее на столъ дрожащими руками и просыпали почти половину содержимаго. Но славное вино, вливавшееся въ горло рыцаря точно огонь, мало-по-малу успокоило тайный ужасъ, по временамъ охватывавшій его; онъ даже постепенно впалъ въ нѣжный тонъ, сталъ ощущать похотливыя вожделѣнія, и когда прекрасная дама спросила его—знаетъ ли онъ, что̀ такое любовь? онъ отвѣчалъ ей пламенными поцѣлуями. Скоро, упоенный любовью, а можетъ-быть, и сладкимъ виномъ, онъ уснулъ на груди своей нѣжной хозяйки. Но дикія грёзы толпились въ его головѣ—рѣзкія ночныя видѣнія, какія обыкновенно подкрадываются къ намъ въ сумасшедшемъ полуснѣ нервной горячки. То ему казалось, что онъ видитъ свою старую бабушку, которая на родинѣ сидитъ въ своемъ красномъ креслѣ и молится своими быстро шевелящимися губами. То слышалось ему язвительно насмѣшливое хихиканье, и оно исходило отъ большихъ летучихъ мышей, носившихся вокругъ [illegible] съ факелами въ когтяхъ; но когда онъ взглянулъ на [illegible] пристальнѣе, то ему показалось, что это тѣ самые [illegible] которые прислуживали ему за столомъ. Наконецъ, [illegible]игрезилось, что его красавица-хозяйка внезапно пре[illegible]сь въ безобразное чудовище, а онъ самъ, въ быстро [illegible]шемъ его смертельномъ страхѣ, схватилъ свой мечъ

и имъ отрубилъ у ней голову. Только поздно на слѣдующе утро, когда солнце стояло уже высоко на небѣ, рыцар проснулся. Но вмѣсто великолѣпной виллы, въ которой, как ему казалось, онъ переночевалъ, передъ нимъ и вокруг него были хорошо знакомыя развалины, и съ ужасомъ уви дѣлъ онъ, что прекрасная статуя, которую онъ такъ сильн любилъ, упала со своего пьедестала на землю, и у ногъ ег лежала ея отбитая голова.

Такой же характеръ имѣетъ легенда о молодомъ рыцарѣ который, играя однажды въ мячъ съ нѣсколькими друзьям въ одной виллѣ около Рима, снялъ съ своего пальца мѣ шавшее ему въ этой игрѣ кольцо и, чтобъ оно не затеря лось, надѣлъ его на палецъ стоявшей тутъ мраморной ста туи. Но когда, по окончаніи игры, рыцарь подошелъ к этой статуѣ, изображавшей одну изъ греческихъ богинь, т онъ съ ужасомъ увидѣлъ, что палецъ, на который было им надѣто кольцо, мраморная женщина держала не прямо, как прежде, а совершенно согнутымъ, такъ что рыцарю был невозможно снять кольцо безъ того, чтобъ не сломать вс руку, чего, однако, не позволило ему какое-то странно состраданіе. Пошелъ онъ тогда къ своимъ товарищамъ п игрѣ, чтобъ разсказать имъ объ этомъ чудѣ и пригласил ихъ удостовѣриться въ немъ собственными глазами. Н когда онъ вернулся со своими друзьями, палецъ мраморно статуи былъ снова прямо вытянутъ, и кольцо исчезло. Че резъ нѣсколько времени послѣ этого происшествія рыцар рѣшилъ вступить въ законный бракъ и отпраздновалъ сво свадьбу. Но въ первую ночь, какъ разъ въ ту минуту, когд онъ хотѣлъ лечь въ постель, къ нему подошла женщин совершенно похожая лицомъ и фигурой на вышеупомянуту женщину, и стала увѣрять, что онъ, возложеніемъ своег кольца на ея палецъ, обручился съ нею и принадлежитъ с какъ законный супругъ. Напрасно противился рыцарь это притязанію; каждый разъ, какъ онъ пытался приблизить къ обвѣнчанной съ нимъ женщинѣ, языческое существо ст новилось между нею и имъ, такъ что въ эту ночь ему пр шлось отказаться отъ всякихъ супружескихъ наслажден То же самое случилось и во вторую ночь, затѣмъ и въ треть и у рыцаря на душѣ было очень мрачно. Никто не умѣ ему помочь и даже самые набожные люди пожимали пл чами. Но, наконецъ, дошелъ къ нему слухъ о священник *по имени* Палумнусѣ, который уже не разъ оказывалъ л *дямъ большія* услуги въ борьбѣ съ языческими козня

сатаны. Долго пришлось разыскивать этого человѣка, прежде чѣмъ онъ обѣщалъ рыцарю свою помощь: этимъ, по его словамъ, онъ подвергалъ самого себя величайшимъ опасностямъ. Затѣмъ священникъ Палумнусъ написалъ нѣсколько странныхъ буквъ на кускѣ пергамента и далъ рыцарю слѣдующую инструкцію: Пусть онъ въ полночь отправится въ окрестности Рима и станетъ на извѣстномъ перекресткѣ; тамъ будутъ проходить мимо него разныя удивительныя явленія, но пусть онъ нисколько не смущается тѣмъ, что будетъ видѣть и слышать, и остается на мѣстѣ совершенно спокойнымъ; только тогда, когда увидитъ онъ женщину, на пальцъ которой было имъ надѣто кольцо, пусть подойдетъ къ ней и подастъ исписанный кусокъ пергамента. Рыцарь подчинился этому предписанію; но не безъ сердцебіенія стоялъ онъ въ полночь на вышеупомянутомъ перекресткѣ, гдѣ передъ нимъ проходила странная процессія. То были блѣдные мужчины и женщины, великолѣпно одѣтые въ праздничные костюмы языческаго времени; у многихъ изъ нихъ были на печально понуренныхъ головахъ золотыя короны, у другихъ лавровые вѣнки; несли тутъ также съ боязливой поспѣшностью разные серебряные сосуды, кубки и утварь, составлявшіе принадлежность древняго богослуженія; въ толпѣ замѣчались также большіе быки съ вызолоченными рогами и увѣшанные цвѣточными гирляндами; наконецъ, на высокой тріумфальной колесницѣ, лучезарно блистая пурпуромъ и увѣнчанная розами, появилась высокая, чудно прекрасная богиня. Къ ней-то подошелъ рыцарь и подалъ ей пергаментный листокъ священника Палумнуса, потому что въ ней призналъ онъ мраморную статую, владѣвшую его кольцомъ. Когда красавица увидѣла знаки, начертанные на этомъ пергаментѣ, она жалобно подняла руки къ небу, слезы брызнули изъ ея глазъ, и съ жестами отчаянія она вскричала: «Жестокій священникъ Палумнусъ! Для тебя все еще мало тѣхъ страданій, которыя ты причинилъ мнѣ! Но твоимъ преслѣдованіямъ скоро будетъ поставленъ предѣлъ, жестокій священникъ Палумнусъ!» Произнеся эти слова, она отдала рыцарю его кольцо, и на слѣдующую затѣмъ ночь онъ уже безпрепятственно вступилъ въ свои брачныя права. Священникъ же Палумнусъ умеръ черезъ три дня послѣ этого событія.

Эту исторію я прочелъ впервые въ «Mons Veneris» Корнелія. Недавно я нашелъ ее также переведенною въ нелѣпой книгѣ *о волшебствѣ* дель-Ріо, который передалъ ее по

сочиненію одного испанца; вѣроятно, онъ испанскаго происхожденія. Баронъ Эйхендорфъ, современный нѣмецкій писатель, прелестно воспользовался ею для поэтическаго разсказа. А предшествующую исторію тоже переработалъ нѣмецкій писатель, Вилибальдъ Алексисъ, въ новеллу, которая принадлежитъ къ его поэтически умнѣйшимъ произведеніямъ.

Вышеупомянутое сочиненіе Корнмана «Mons Veneris», или «Венерина Гора», есть важнѣйшій источникъ для той темы, которую я здѣсь разрабатываю. Давно уже то было, когда оно случайно попалось мнѣ на глаза, и только по отдаленнымъ воспоминаніямъ могу я говорить о немъ. Но она все еще хранится въ моей памяти эта маленькая страницъ въ полтораста, книжечка, съ ея милымъ старымъ шрифтомъ; напечатана она, надо думать, въ срединѣ XVII ст. Ученіе о стихійныхъ духахъ изложено въ ней очень вкратцѣ, и къ этому авторъ присоединилъ свои удивительныя сообщенія о Венериной Горѣ. Именно, по примѣру Корнмана мнѣ пришлось по поводу стихійныхъ духовъ говорить о преобразованіи древне-языческихъ боговъ. Эти послѣдніе не призраки, потому что, какъ я уже неоднократно объяснялъ, они не умерли: это никѣмъ не созданныя, безсмертныя существа, которыя послѣ побѣды христіанства были принуждены удалиться въ подземные тайники, гдѣ они теперь, живя вмѣстѣ съ остальными стихійными духами, ведутъ свое демоническое хозяйство. Наиболѣе своеобразно, романтически чудесно звучитъ въ нѣмецкомъ народѣ сказаніе о богинѣ Венерѣ, которая, по разрушеніи ея храмовъ, бѣжала въ тайную гору и тамъ ведетъ самую разнообразную веселую жизнь въ сообществѣ беззаботнѣйшихъ воздушныхъ созданій, прекрасныхъ водяныхъ и лѣсныхъ нимфъ, а также и многихъ знаменитыхъ героевъ, которые внезапно исчезли изъ міра. Уже издали, направляясь къ горѣ, слышишь радостный смѣхъ и сладостные звуки цитры, которые, точно невидимая цѣпь, обматываютъ твое сердце и тянутъ тебя внутрь горы. Къ счастью, недалеко отъ входа стоитъ на сторожѣ старый рыцарь, по имени вѣрный Эккартъ; онъ стоитъ, опершись на свой большой боевой мечъ, какъ статуя, но его честная сѣдая голова безпрестанно качается, съ мрачнымъ видомъ предостерегаетъ онъ васъ отъ нѣжныхъ опасностей, грозящихъ вамъ въ горѣ. Многіе успѣвали во-время воспользоваться предостереженіемъ, но было и много такихъ, которые пренебрегали дребезжащимъ

Когда я снова вернулся къ матери, она сидѣла у окна, глубоко задумавшись; голова ея склонилась на правую руку, и слезы струились по щекамъ. Никогда еще не видалъ я, чтобы она такъ плакала. Она поцѣловала меня съ порывистою нѣжностью и попросила извинить ее за то, что черезъ небрежность Ивана у меня не будетъ хорошей постели. «Старуха Марта,—сказала она:—опасно больна и не можетъ, милое дитя мое, уступить тебѣ свою постель; но Иванъ приладитъ для тебя подушки изъ экипажа и укроетъ тебя своимъ плащомъ. Я буду спать здѣсь на соломѣ, это была комната моего отца; когда-то въ ней было гораздо лучше. Оставь меня одну». И слезы еще сильнѣе полились изъ глазъ ея.

Постель ли не пришлась мнѣ по вкусу, сердечное ли волненіе мучило меня—только я не могъ уснуть. Лучи мѣсяца свободно проходили сквозь разбитыя стекла и, казалось, приглашали меня любоваться свѣтлою лѣтнею ночью. Напрасно я поворачивался на всѣ стороны, напрасно то закрывалъ, то нетерпѣливо открывалъ глаза: мысль о прекрасной мраморной статуѣ, лежавшей на травѣ, не оставляла меня. Я не могъ объяснить себѣ стыдливое смущеніе, овладѣвшее мною при взглядѣ на нее; я сердился на себя за это ребяческое чувство. «Завтра,—тихо проговорилъ я:—завтра мы поцѣлуемъ тебя, прекрасное мраморное лицо; поцѣлуемъ, именно, эти прекрасные уголки рта, въ которыхъ губы сливаются въ такую обаятельную ямочку. Но при этомъ совершенно незнакомое мнѣ нетерпѣніе пробѣгало по всѣмъ моимъ членамъ, я не могъ противиться долѣе этому странному влеченію и, наконецъ, съ смѣлою отвагою вскочилъ съ постели и сказалъ: «Что бы ни было, я сегодня же поцѣлую тебя, прекрасное лицо».

Легкими шагами, чтобы матушка не услышала, я вышелъ изъ комнаты тѣмъ легче, что на крыльцѣ красовался еще большой гербъ, но не было уже ни одной двери—и быстро проложилъ себѣ дорогу чрезъ растенія дикаго сада. Не было слышно никакого звука, и все отдыхало безмолвно и серьезно, освѣщенное молчаливыми лучами мѣсяца. Тѣни деревьевъ были точно пригвождены къ землѣ. На зеленой травѣ лежала прекрасная богиня, также неподвижная, и однако же, это не была каменная смерть; казалось, только глубокій сонъ оковалъ ея нѣжные члены, и я, подходя, почти боялся разбудить ее малѣйшимъ шумомъ. Я сдерживалъ дыханіе въ ту минуту, какъ, склонившись къ статуѣ,

смотрѣлъ на чистыя линіи лица ея; тревожное безпокойство отталкивало меня, дѣтское броженіе страсти снова привлекало, сердце мое билось такъ, какъ будто я собирался совершить убійство; и, наконецъ, я поцѣловалъ прекрасную богиню съ такимъ жаромъ, такою нѣжностью, такимъ отчаяніемъ, съ какими никого уже не цѣловалъ въ этой жизни. Не забуду я никогда и того ужасающе сладостнаго ощущенія, которое залило душу мою, когда благодатный холодъ этихъ мраморныхъ губъ коснулся моего рта... И знаете ли, Марія, въ ту минуту, какъ я стоялъ передъ вами, вы, въ вашемъ бѣломъ платьѣ, на этомъ зеленомъ диванѣ, напомнили мнѣ бѣлую мраморную статую на зеленой травѣ. Если-бъ вы не проснулись такъ скоро, я бы не выдержалъ, и губы мои...

— Максъ, Максъ!—вскричала молодая женщина голосомъ, вышедшимъ изъ глубины души:—это ужасно, вы знаете, что одинъ поцѣлуй вашъ...

— Молчите; я знаю, что для васъ этотъ поцѣлуй былъ бы чѣмъ-то ужаснымъ. Не смотрите только на меня умоляющимъ взглядомъ. Я не перетолковалъ вашихъ чувствъ въ дурную сторону, хотя главная причина ихъ скрыта отъ меня. Я никогда не смѣлъ коснуться поцѣлуемъ вашихъ губъ...

Но Марія помѣшала ему договорить; она схватила его руку, покрыла ее самыми порывистыми поцѣлуями и сказала, смѣясь: «Пожалуйста, пожалуйста, разскажите мнѣ еще что-нибудь про ваши любовныя увлеченія... Сколько времени вы любили эту мраморную красавицу, которую вы цѣловали въ замковомъ саду вашей матери?»

— Мы уѣхали на слѣдующій день, и съ тѣхъ поръ я не видѣлъ милаго образа,—сказалъ Максимиліанъ:—но она еще почти четыре года сильно занимала мое сердце. Съ тѣхъ поръ страсть къ мраморнымъ статуямъ развивалась въ моей душѣ; и еще сегодня утромъ я почувствовалъ непреодолимое могущество ея. Возвращаясь изъ Лоренціаны, библіотеки Медичисовъ, я зашелъ, самъ не знаю какъ, въ ту часовню, гдѣ эта великолѣпнѣйшая фамилія Италіи приготовила для себя изъ драгоцѣнныхъ камней ложе, на которомъ она спитъ спокойно. Цѣлый часъ простоялъ я тамъ, погруженный въ созерцаніе мраморной женщины, энергическія формы которой доказываютъ смѣлую силу Микель-Анжело, между тѣмъ какъ вся фигура плаваетъ въ какой-то эфирной нѣжности, не встрѣчающейся обыкновенно въ произведеніяхъ этого скуль-

штора. Въ этой статуѣ заключенъ цѣлый міръ сновъ со всѣми ихъ безмолвными блаженствами, въ прекрасныхъ членахъ ея лежитъ нѣжное спокойствіе, по всѣмъ жиламъ точно течетъ успокоительный свѣтъ луны... Это—Ночь Микель-Анжело Буанаротти. О, какъ бы я хотѣлъ уснуть вѣчнымъ сномъ въ объятіяхъ этой Ночи!

— Женщины нарисованныя,—продолжалъ Максимиліанъ послѣ небольшого молчанія:—всегда занимали меня меньше статуй. Только одинъ разъ я влюбился въ картину. Это была чудная мадонна въ одной кельнской церкви. Въ ту пору я былъ очень ревностный посѣтитель церквей, и душа моя погружалась въ мистику католицизма. Подобно испанскому рыцарю, я въ ту пору безпрерывно сражался бы на жизнь и смерть за Царицу Неба... И съ такимъ же чувствомъ относился я ко всему св. Семейству и съ особенною теплотой снималъ шляпу, когда проходилъ мимо изображенія св. Іосифа. Но такое состояніе длилось недолго... Я встрѣтилъ въ одной античной галлереѣ греческую нимфу, и она долго держала меня въ своихъ мраморныхъ цѣпяхъ.

— И вы всегда любили только нарисованныхъ или мраморныхъ женщинъ?—спросила, подсмѣиваясь, Марія.

— О, нѣтъ, я любилъ еще мертвыхъ,—отвѣчалъ Максиміліанъ, лицо котораго вдругъ сдѣлалось снова очень серьезнымъ. Не замѣтивъ, что при этихъ словахъ Марія вздрогнула отъ испуга, онъ спокойно продолжалъ:

— Да, это весьма удивительно, а между тѣмъ, я любилъ разъ дѣвушку, которая умерла за семь лѣтъ передъ этимъ. Когда я узналъ маленькую Вери, она мнѣ необыкновенно понравилась. Три дня сряду я занимался этою молодою особой и находилъ очень большое удовольствіе во всемъ, что она дѣлала и говорила, во всѣхъ поступкахъ этого обаятельно страннаго существа—но въ душѣ моей не было никакой излишней нѣжности. Меня даже не слишкомъ сильно потрясло извѣстіе о томъ, что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ нашего знакомства она умерла отъ нервической горячки. Я совершенно забылъ ее, и убѣжденъ, что за многіе годы ни единаго разу не подумалъ о ней. Прошло съ тѣхъ по[illegible] семь лѣтъ, и я пріѣхалъ въ Потсдамъ, чтобы въ тиуединеніи провести тамъ прекрасное лѣто. Я не вини съ кѣмъ и поддерживалъ знакомство только съ ми въ саду Санъ-Суси. Но вотъ разъ, случайно, я вызвала наружу черты одного лица и необычайную рѣчей и движеній, причемъ, однако, я никакъ не

могъ вспомнить, кому все это принадлежало. Ничто не мучительно такъ, какъ подобные поиски ощупью въ старыхъ воспоминаніяхъ, и поэтому я былъ пріятно удивленъ, когда черезъ нѣсколько дней припомнилъ маленькую Вери и убѣдился, что это ея милый и забытый образъ снова тревожно занялъ мои думы. Да, это открытіе порадовало меня, какъ человѣка, который нашелъ совершенно неожиданно своего лучшаго друга; стертыя краски постепенно ожили, и, наконецъ, милая малютка снова живо явилась передо мною, веселая, умная, капризная и болѣе, чѣмъ прежде, прекрасная. Съ тѣхъ поръ этотъ прелестный образъ уже не покидалъ меня, онъ наполнилъ всю мою душу, куда бы ни шелъ я, гдѣ бы ни стоялъ, онъ шелъ и стоялъ рядомъ со мной, говорилъ со мною, смѣялся со мною, но очень невинно и безъ большой нѣжности. Я же, напротивъ, больше и больше поддавался очарованію этого образа, принимавшаго для меня съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе реальный характеръ. Легко вызывать привидѣнія, но трудно опять спроваживать ихъ въ мрачное ихъ ничто; они въ это время смотрятъ на насъ такимъ умоляющимъ взглядомъ, наше собственное сердце такъ могущественно проситъ за нихъ!.. Я уже не могъ освободиться и влюбился въ маленькую Вери черезъ семь лѣтъ послѣ ея смерти. Шесть мѣсяцевъ жилъ я въ Потсдамѣ этой жизнью, совершенно погружаясь въ любовь мою. Еще тщательнѣе прежняго я сталъ избѣгать всякихъ сношеній съ внѣшнимъ міромъ, и если кто-нибудь на улицѣ нечаянно толкалъ меня, я чувствовалъ самое тяжелое стѣсненіе. Всякія встрѣчи были для меня предметомъ глубокаго страха—такого, какой испытываютъ, можетъ-быть, блуждающіе по ночамъ духи умершихъ. Вѣдь они, какъ ходитъ повѣрье, при встрѣчѣ съ живымъ человѣкомъ пугаются такъ же сильно, какъ пугается живой, когда встрѣчаетъ привидѣніе. Случилось, что въ Потсдамъ пріѣхалъ человѣкъ, съ которымъ я не могъ не видѣться—это былъ мой братъ. При свиданіи съ нимъ, слушая его разсказы о послѣднихъ современныхъ событіяхъ, я будто проснулся отъ глубокаго сна и съ ужасомъ вдругъ почувствовалъ, въ какомъ страшномъ одиночествѣ такъ долго прожилъ. Въ этомъ состояніи я не замѣчалъ даже перемѣнъ временъ года, и теперь съ удивленіемъ увидѣлъ, что деревья, уже давно лишившіяся листьевъ, были покрыты осеннимъ инеемъ. Тотчасъ же я оставилъ Потсдамъ и маленькую Вери—въ другомъ городѣ, куда меня призвали

важныя дѣла, былъ очень скоро брошенъ очень прозаическими обстоятельствами и отношеніями въ грубую существенность.

— Боже мой!—продолжалъ Максимиліанъ съ печальной улыбкой, подернувшей его верхнюю губу:—Боже мой! какъ живыя женщины, съ которыми я приходилъ тогда въ неизбѣжныя соприкосновенія, мучили меня, нѣжно мучили своими капризами, ревностью и неоставленіемъ ни на минуту въ покоѣ! Сколько собраній долженъ я былъ посѣтить съ ними, во сколько сплетенъ вмѣшаться! Какое безустанное тщеславіе, какое наслажденіе ложью, какое цѣлующее надувательство, какіе ядовитые цвѣты! Эти женщины сдѣлали то, что я возненавидѣлъ любовь, и нѣсколько времени былъ такимъ врагомъ женщинъ, что проклиналъ весь полъ ихъ. Я былъ въ такомъ положеніи, въ какомъ находился одинъ французскій офицеръ, который въ русскомъ походѣ только съ трудомъ перебрался черезъ льдины Березины, но съ тѣхъ поръ получилъ такое отвращеніе ко всему замороженному, что самые изящные и вкусные сорбеты въ кондитерской Тортони казались ему противными. Да, воспоминаніе о перейденной мною въ ту пору Березинѣ любви нѣкоторое время дѣлало для меня весьма невкусными самыхъ прелестныхъ дамъ, женщинъ, подобныхъ ангеламъ, дѣвушекъ, сладкихъ какъ ванильное мороженое.

— Пожалуйста,—сказала Марія:—не говорите дурно о женщинахъ. Это избитая, старая привычка мужчинъ. А между тѣмъ, чтобъ быть счастливымъ, вы не можете обойтись безъ женщинъ.

— Ахъ,—отвѣчалъ со вздохомъ Максимиліанъ:—это, конечно, правда. Но, къ сожалѣнію, женщины имѣютъ только одинъ способъ дѣлать насъ счастливыми и умѣютъ на тридцать тысячъ манеръ составлять наше несчастіе.

— Дорогой другъ мой,—сказала Марія, сдерживая легкую улыбку:—я говорю о гармоніи двухъ одинаково настроенныхъ душъ. Неужели вы никогда не испытывали этого блаженства?.. Но по вашимъ щекамъ пробѣжалъ необычный румянецъ... Скажите же, Максъ...

...авда,—говорилъ Максимиліанъ:—я чувствую почти ...ое смущеніе, сознаваясь вамъ теперь въ счастливой ...торая когда-то надѣлила меня безконечнымъ бла... . Это воспоминаніе еще не исчезло, и душа моя ...оръ часто прячется подъ свѣжую тѣнь его въ то ...а жгучая пыль и зной жизни становятся невы-

носимыми. Но я не въ состояніи дать вамъ точное понятіе объ этой любимой женщинѣ. Это было такое воздушное существо, что только во снѣ могъ я постичь ее. Я полагаю, Марія, что вы не имѣете никакихъ пустыхъ предразсудковъ противъ сновидѣній; эти ночныя явленія, конечно, такъ же реальны, какъ и тѣ грубые дневные образы, которые мы можемъ трогать руками и о которые такъ часто пачкаемся. Да, во снѣ видѣлъ я ее, это чудное созданіе, болѣе всѣхъ другихъ дѣлавшее меня счастливымъ. Немного могу я сказать объ ея наружности, не въ состояніи подробно описать всѣ черты ея лица. Это было лицо, какого я никогда не видѣлъ до тѣхъ поръ и никогда въ жизни не встрѣчалъ послѣ того. Помню только, что оно не было ни бѣлое, ни розовое, но совершенно одноцвѣтное, съ легкимъ румянцемъ, желтовато-бѣлое и прозрачное, какъ янтарь. Прелесть этого лица не заключалась ни въ строгой красотѣ линій, ни въ заманчивой подвижности. Отличительною чертою его была скорѣе искренность—обольстительная, восхитительная, почти ужасающая. Это было лицо, полное разумной любви и граціозной доброты; это была скорѣе душа, чѣмъ лицо—и вотъ почему никогда не могъ я удержать его внѣшнія формы вѣрно въ памяти. Глаза были кротки, какъ цвѣты, губы отчасти блѣдныя, но прекрасно очерчены. Она носила шелковый пеньюаръ синеватаго цвѣта, никакого другого одѣянія на ней при этомъ не было. Ноги и шея были обнажены, и сквозь мягкій тонкій покровъ проглядывала изрѣдка, будто украдкою, стройная нѣжность членовъ. Не могу я также передать рѣчи, которыя вели мы съ нею; знаю только, что мы обручились и что взаимныя ласки наши были безмятежны и счастливы, наивны и задушевны, какъ ласки жениха и невѣсты, даже почти какъ брата и сестры. Иногда, однако, случалось, что мы совсѣмъ молчали и только смотрѣли другъ другу въ глаза и безконечно долго забывались въ этомъ блаженномъ созерцаніи... Что пробудило меня—этого тоже не знаю, но я долго еще жилъ сладкимъ воспоминаніемъ объ этой любви. Долго я былъ какъ бы пропитанъ какими-то неслыханными наслажденіями, томящійся тайникъ души моей былъ какъ бы наполненъ блаженствомъ, радость, до тѣхъ поръ мнѣ незнакомая, была какъ бы разлита по всѣмъ моимъ чувствованіямъ, и я былъ счастливъ и покоенъ, хотя моя дорогая никогда съ тѣхъ поръ не являлась мнѣ во снѣ. Но развѣ я не исчерпалъ во взглядѣ ея цѣлую вѣчность? А она тоже,

хорошо знала меня, чтобы не понимать, что я не люблю повтореній.

— Право,—воскликнула Марія:—вы homme à bonnes fortunes... Но разскажите мнѣ—мадмуазель Лорансъ была мраморная статуя или картина? Мертвецъ или сновидѣніе?

— Можетъ-быть, все это вмѣстѣ,—отвѣчалъ Максимиліанъ очень серьезно.

— Я такъ и догадывалась, дорогой другъ, что эта возлюбленная, вѣроятно, была изъ весьма сомнительнаго мяса Когда же вы разскажете мнѣ эту исторію?

— Завтра. Исторія эта длинна, а я сегодня усталъ. Я пришелъ къ вамъ изъ оперы, и у меня слишкомъ много музыки въ ушахъ.

— Вы теперь часто ходите въ оперу, и мнѣ кажется, Максъ, что вы тамъ больше смотрите, чѣмъ слушаете.

— Вы не ошиблись, Марія; я дѣйствительно хожу въ оперу, чтобы смотрѣть на прекрасныхъ итальянокъ. Право, онѣ чудно-хороши и внѣ театра, и физіономисту легко было бы по идеальности ихъ чертъ показать вліяніе изящныхъ искусствъ на тѣлесныя формы итальянскаго народа. Природа взяла здѣсь назадъ у артистовъ капиталъ, который она прежде дала имъ взаймы, и посмотрите, какіе чудесные проценты приноситъ онъ. Природа, давши прежде художникамъ образцы, теперь, въ свою очередь, копируетъ произведенія, созданныя по этимъ образцамъ. Чувство прекраснаго овладѣло всѣмъ народомъ, и какъ нѣкогда плоть дѣйствовала на духъ, такъ теперь духъ дѣйствуетъ на плоть. И не остается безплодно обожаніе прекрасныхъ мадоннъ, украшающихъ алтари! Образы эти напечатлѣваются въ сердцѣ жениха, между тѣмъ какъ невѣста глубоко хранитъ въ душѣ изображеніе какого-нибудь прекраснаго святого. Благодаря этому избирательному сродству возникло здѣсь племя еще прекраснѣе земли, на которой цвѣтетъ оно, яркаго солнца, которое окружаетъ его лучами, какъ золотою рамкой. Мужчины интересуютъ меня только въ статуяхъ и картинахъ, и я предоставляю вамъ на волю, Марія, восторгаться, сколько хотите, этими прекрасными, стройными лицами, у которыхъ такіе дико черные бакенбарды, и смѣло благородные носы, и такіе кротко умные глаза. лятъ, что въ Ломбардіи живутъ самые красивые муж- Я на этотъ счетъ не дѣлалъ никакихъ изслѣдованій, о очень старательно изучалъ ломбардскихъ женщинъ и ихъ вполнѣ оправдываетъ всѣ громкія похвал

Кажется, впрочемъ, что онѣ славились ею уже въ
едніе вѣка. Вѣдь разсказываютъ же, что красота милан-
ихъ женщинъ была одною изъ тайныхъ причинъ, побу-
вшихъ Франциска I совершить походъ въ Италію: королю-
ыцарю, конечно, очень любопытно было узнать, были ли
дочери его крестнаго отца такъ хороши, какъ о нихъ шла
молва... Несчастный король! Онъ дорого заплатилъ за это
любопытство подъ стѣнами Павіи...

Но какъ хороши эти итальянки именно тогда, когда
музыка освѣтитъ ихъ лица! Я говорю освѣтитъ, потому что
замѣчаемое мною въ оперѣ дѣйствіе музыки на лица пре-
красныхъ итальянокъ совершенно похоже на тѣ свѣтовые
и тѣневые эффекты, которые изумляютъ насъ, когда мы
смотримъ на статуи ночью, при свѣтѣ факеловъ. Эти мра-
морныя лица раскрываютъ передъ нами въ то время, съ
ужасающей истиною, свой задушевный смыслъ и свои без-
молвныя, приводящія въ трепетъ, тайны. Такимъ точно
образомъ раскрывается передъ нами вся жизнь прекрасныхъ
итальянокъ, когда мы видимъ ихъ въ оперѣ; переходъ
одной мелодіи въ другую пробуждаетъ въ душѣ ихъ рядъ
чувствъ, воспоминаній, желаній и досадъ, и все это мгно-
венно обнаруживается въ движеніяхъ лицъ, въ блѣдности,
румянцѣ, даже въ глазахъ. Тотъ, кто умѣетъ читать, мо-
жетъ тутъ прочесть на этихъ прекрасныхъ лицахъ много
милыхъ и интересныхъ вещей, разсказовъ, такихъ же уди-
вительныхъ, какъ новеллы Боккаціо, чувствъ нѣжныхъ,
какъ сонеты Петрарки, капризовъ причудливыхъ, какъ
октавы Аріосто, иногда и много ужаснаго вѣроломства и
величавой злобы, поэтической, какъ адъ великаго Данта.
Стоитъ въ это время смотрѣть на ложи. Если-бъ только
мужчины не выражали своего энтузіазма такимъ ужаснымъ
шумомъ! Это бѣснованіе въ итальянскихъ театрахъ иногда
невыносимо для меня. Но музыка для этихъ людей душа,
жизнь, народность. Конечно, и въ другихъ странахъ есть
музыканты, не уступающіе самымъ крупнымъ итальянскимъ
знаменитостямъ, но нѣтъ тамъ музыкальнаго народа. Пред-
ставители музыки въ Италіи не отдѣльныя лица, но цѣла
нація: здѣсь музыка сдѣлалась народомъ. У насъ, жителе
сѣвера, совсѣмъ другое: у насъ музыка сдѣлалась отдѣл
нымъ человѣкомъ, и имя ей—Моцартъ или Мейерберъ;
и тутъ, вглядываясь ближе въ произведенія этихъ сѣв
ныхъ музыкантовъ, видишь въ нихъ и солнце Италіи
благоуханіе деревьевъ ея; и они гораздо меньше прина

жатъ нашей Германіи, чѣмъ прелестной Италіи, отечеству музыки. Да, Италія всегда останется отчизною музыки, хоть и сойдутъ преждевременно въ могилу, или замолкнутъ великіе маэстро, хоть умретъ Беллини или замолчитъ Россини...

— Да,—сказала Марія:—Россини очень упорно хранитъ молчаніе. Если я не ошибаюсь, онъ уже десять лѣтъ молчитъ.

— Это, можетъ-быть, остроумная выходка съ его стороны; онъ хотѣлъ показать, что данное ему прозваніе Пезарскаго Лебедя вовсе не шло къ нему. Лебеди поютъ передъ окончаніемъ своей жизни, а Россини пересталъ пѣть въ срединѣ жизни; и, какъ мнѣ кажется, онъ хорошо сдѣлалъ и доказалъ тѣмъ, что онъ дѣйствительно геній. Художникъ съ обыкновеннымъ талантомъ до конца жизни сохраняетъ въ себѣ влеченіе развивать этотъ талантъ; честолюбіе подстрекаетъ его, онъ чувствуетъ, что съ каждымъ днемъ дарованіе его совершенствуется, и старается достичь высшей ступени. Геній, напротивъ, достигнувъ сразу этой ступени, удовлетворяется, презираетъ свѣтъ и мелочное честолюбіе и, или удаляется домой, въ Страдфортъ, какъ Вильямъ Шекспиръ, или гуляетъ, смѣясь и шутя, по бульвару des Italiens, какъ Джіакомо Россини. Если у генія при этомъ не совсѣмъ дурной тѣлесный организмъ, то онъ живетъ такимъ образомъ еще долго послѣ созданія великихъ произведеній своихъ, или, какъ обыкновенно выражаются, послѣ исполненія своего призванія. Предразсудокъ думать, что геній долженъ рано умереть; кажется, что время между тридцатью и тридцатью пятью годами считается самымъ опаснымъ для генія. Сколько разъ я дразнилъ этимъ бѣднаго Беллини и шутя предсказывалъ ему, что онъ, въ качествѣ генія, достигшаго критическаго возраста, долженъ скоро умереть. Странно! Несмотря на шутливый тонъ мой, онъ тревожился при этомъ предсказаніи, онъ назвалъ меня своимъ jettatore и всегда дѣлалъ при этомъ заклинательный знакъ... Ему такъ хотѣлось жить, у него была почти страстная антипатія къ смерти, онъ не могъ слышать о

ъ боялся ея, какъ дитя боится спать въ темнотѣ...

лъ милое, доброе дитя, порою довольно капризное,

ло только погрозить ему близкою смертью, и онъ

скроменъ и уступчивъ, и двумя поднятыми паль-

ъ заклинательный знакъ... Бѣдный Беллини!

значитъ, знали его лично? Онъ былъ хорошъ собою?

— Онъ былъ недуренъ; видите, и мы, мужчины, не мо-
мъ отвѣчать прямо *да*, когда намъ дѣлаютъ подобный
просъ насчетъ кого-нибудь изъ нашего пола. Онъ былъ
троенъ и высокъ, съ граціозными, я сказалъ бы—кокет-
ливыми движеніями; одѣтъ всегда съ иголочки; лицо пра-
вильное, продолговатое, блѣдно-розоватое; свѣтлые, почти
золотистые волосы въ легкихъ завиткахъ, благородный, вы-
сокій, очень высокій лобъ, прямой носъ, благородный, вы-
глаза, прекрасно очерченный ротъ, круглый подбородокъ.
Въ чертахъ его было что-то неопредѣленное, безхарактер-
ное, что-то въ родѣ молока, и это молочное лицо принимало
часто сладко-кислое выраженіе скорби. Это выраженіе
скорби замѣняло на лицѣ Беллини отсутствовавшій умъ; но
это была скорбь неглубокая, она безъ поэзіи блуждала въ
глазахъ его и безъ страсти дрожала на губахъ. Эту вялую,
безхарактерную печаль молодой маэстро хотѣлъ, казалось,
высказать во всей своей фигурѣ. Волосы его были завиты
такъ мечтательно-грустно, платье съ такими вздохами си-
дѣло на нѣжномъ тѣлѣ, свою камышевую тросточку онъ но-
силъ такъ идиллически, что всегда напоминалъ мнѣ тѣхъ
юныхъ пастушковъ, которые жеманно выступаютъ въ на-
шихъ пасторалях, одѣтые въ яркаго цвѣта панталончики
и курточки и съ красиво убраннымъ посохомъ въ рукахъ;
и походка его была такая дѣвическая, такая элегическая,
такая воздушная! Онъ много успѣвалъ у женщинъ, но со-
мнѣваюсь, чтобы когда-нибудь онъ внушилъ страсть. Соб-
ственно для меня въ немъ всегда было что-то забавное, не-
удобоваримое, и причина этого прежде всего заключалась
въ томъ, какъ онъ говорилъ по-французски. Хотя Беллини
уже нѣсколько лѣтъ жилъ во Франціи, но говорилъ по-
французски такъ дурно, какъ едва ли, можетъ-быть, гово-
рятъ въ Англіи. Мнѣ не слѣдовало бы употребить здѣсь
выраженіе «дурно», оно слишкомъ снисходительно. Нужно
бы сказать: ужасно, преступно, святотатственно. Когда вы
бывали съ нимъ въ обществѣ, и онъ точно палачъ колесо-
валъ бѣдныя французскія слова и безъ всякаго стѣсненія
выкапывалъ и выкладывалъ свои колоссальные coq-a l'ane
то порою вамъ казалось, что вотъ-вотъ при громовом
ударѣ разрушится міръ... И во всей гостиной водворяла
гробовая тишина, смертельный испугъ появлялся на вс
лицахъ, женщины не знали—падать имъ въ обморокъ
бѣжать, мужчины въ смущеніи осматривали свои панта
чтобы убѣждаться, что это одѣяніе дѣйствительно на них

и страшнѣе всего то, что этотъ испугъ въ то же время возбуждалъ конвульсивное, только съ трудомъ сдерживавшееся желаніе смѣяться. Поэтому присутствіе Беллини въ обществѣ всегда вызывало во всѣхъ другихъ нѣкоторое тревожное волненіе, которое, благодаря смѣшанному съ ужасомъ обаянію, одновременно отталкивало отъ него и привлекало къ нему. Иногда его невольные каламбуры были только забавны и въ своей комической нелѣпости напоминали замокъ его соотечественника, принца Паллагоніи, о которомъ Гете, въ «Путешествіи въ Италію», говоритъ, какъ о музеѣ необыкновенныхъ странностей, набросанныхъ безъ всякаго порядка. Такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ Беллини не сомнѣвался, что сказалъ нѣчто совершенно невинное и совершенно серьезное, то лицо его всегда представляло самый смѣшной контрастъ со словами. То, что не нравилось мнѣ въ его лицѣ, выступало при этомъ наружу съ тѣмъ большею силою. Но это, мнѣ не нравившееся, не могло назваться собственно недостаткомъ, и особенно въ глазахъ женщинъ. Лицо Беллини, какъ и вся фигура его, отличалось тою физической свѣжестью, тѣмъ здоровымъ цвѣтомъ, тѣмъ легкимъ румянцемъ, который непріятно дѣйствуетъ на меня, любящаго скорѣе мертвенное и мраморное. Уже спустя нѣсколько времени, послѣ долговременнаго знакомства, я сталъ чувствовать къ нему нѣкоторую пріязнь; это сдѣлалось именно тогда, когда я узналъ, что онъ очень добръ и благороденъ. Душа его осталась чистою и незапятнанною никакими грязными отношеніями. Въ немъ были и также то наивное добродушіе, та дѣтскость, которыми отличаются геніальные люди, хотя не даютъ замѣчать ихъ первому встрѣчному.

— Да, я помню,—продолжалъ Максимиліанъ, садясь на стулъ, у котораго до сихъ поръ стоялъ:—я помню минуту, въ которую Беллини явился мнѣ въ такомъ прекрасномъ свѣтѣ, что я съ удовольствіемъ смотрѣлъ на него, и тогда же обѣщалъ себѣ познакомиться съ нимъ поближе. Но, къ сожалѣнію, это было послѣднее наше свиданіе! Это было вечеромъ, послѣ того, какъ мы вмѣстѣ пообѣдали въ домѣ
і большой барыни, у которой самая маленькая нога
аріжѣ; всѣ были въ очень хорошемъ расположеніи
и прелестнѣйшія мелодіи раздавались на фортепіано.
теперь вижу я добраго Беллини, когда онъ, уставъ,
ецъ, отъ множества сказанныхъ имъ забавныхъ *бел-*
овъ, сѣлъ на стулъ... Стулъ этотъ былъ не выше

скамейки, такъ что Беллини сидѣлъ почти у ногъ одной красавицы, лежавшей на диванѣ и смотрѣвшей на него съ милымъ злорадствомъ, между тѣмъ какъ онъ старался занимать ее французскими фразами и находилъ необходимымъ объяснять на своемъ сицилійскомъ жаргонѣ то, что онъ сказалъ, чтобы доказать, что сказанное имъ—не глупость, а напротивъ—тончайшій комплиментъ. Но мнѣ казалось, что красавица совсѣмъ не слушала рѣчей Беллини. Она взяла изъ рукъ его тросточку, которою онъ приходилъ иногда на помощь своей слабой реторикѣ, и очень спокойно разрушала ею изящно завитые локоны на обоихъ вискахъ молодого маэстро. Это своенравное занятіе, вѣроятно, вызвало на уста ея улыбку, придавшее ея лицу такое выраженіе, какого я никогда не встрѣчалъ ни на одномъ живомъ человѣческомъ лицѣ. Навсегда это лицо осталось въ моей памяти. Это было одно изъ тѣхъ лицъ, которыя больше принадлежатъ къ міру поэтическихъ грезъ, чѣмъ грубой существенности; контуры, напоминающіе Леонардо да-Винчи, благородный овалъ съ наивными ямочками на щекахъ и сентиментально острымъ подбородкомъ ломбардской школы. Цвѣтъ больше римски мягкій, матовый блескъ жемчуга, аристократическая блѣдность, morbidezza. Словомъ, лицо, какое можно встрѣтить только на старомъ итальянскомъ портретѣ, представляющемъ одну изъ тѣхъ знатныхъ барынь, въ которыхъ были влюблены художники XVI в. во время созданія произведеній своихъ, о которыхъ думали поэты той поры, когда сочиняли свои пѣсни и по которымъ страдали нѣмецкіе и французскіе рыцари, надѣвая мечъ и устремляясь черезъ Альпы... Да, да, это было именно одно изъ тѣхъ лицъ, оживленное улыбкой прелестнѣйшаго злорадства и самаго гордаго своенравія въ то время, какъ красавица разрушала тросточкою зданіе бѣлокурыхъ волосъ Беллини. Въ эту минуту Беллини представился мнѣ такимъ, какъ будто его коснулся волшебный жезлъ, представился какъ бы преобразившимся въ очень близкое мнѣ существо—и онъ вдругъ сдѣлался родственнымъ моему сердцу. Лицо его засіяло подъ отблескомъ этой улыбки, то была, можетъ-быть, самая цвѣтущая минута его жизни... Я никогда не забуду ея... Двѣ недѣли спустя, я прочелъ въ газетахъ, что Италія потеряла одного изъ славнѣйшихъ сыновей своихъ!

Странное дѣло! Въ то же время сообщили о смерти Паганини. Этому извѣстію я повѣрилъ сейчасъ же, потому что

старый, землянистаго цвѣта, Паганини всегда походилъ на умирающаго; но смерть молодого, розоваго Беллини показалась мнѣ невѣроятною. А между тѣмъ, свѣдѣніе о смерти перваго оказалось газетною ошибкой. Паганини живъ и здоровъ въ Генуѣ, а Беллини лежитъ въ могилѣ въ Парижѣ!

— Любите ли вы Паганини?—спросила Марія.

— Этотъ человѣкъ,—отвѣчалъ Максимиліанъ:—украшеніе своего отечества и, конечно, заслуживаетъ почетнѣйшаго упоминанія при исчисленіи музыкальныхъ знаменитостей Италіи.

— Я никогда не видала его,—сказала Марія:—но если вѣрить слуху, наружность его не удовлетворяетъ чувству изящнаго. Мнѣ попадались портреты его.

— Изъ которыхъ ни одинъ не похожъ,—перебилъ ее Максимиліанъ:—всѣ они представляли его или хуже, или лучше настоящаго, и ни одинъ не передалъ его дѣйствительнаго характера. По моему мнѣнію, только одинъ человѣкъ вѣрно представилъ на бумагѣ физіономію Паганини, это—Лизеръ, глухой живописецъ, который въ своемъ остроумномъ безуміи, нѣсколькими штрихами карандаша такъ удачно схватилъ сходство, что оно заставляетъ васъ смѣяться и въ то же время пугаетъ. «Дьяволъ водилъ моею рукою», говорилъ мнѣ глухой живописецъ, таинственно хихикая и покачивая головою съ ироническимъ добродушіемъ, какъ обыкновенно дѣлалъ при своихъ геніальныхъ дурачествахъ. Живописецъ этотъ былъ странный человѣкъ. Несмотря на свою глухоту, онъ восторженно любилъ музыку и, вѣроятно, умѣлъ, когда сидѣлъ близко у оркестра, читать на лицахъ музыкантовъ игравшееся ими и по движенію ихъ пальцевъ судить о болѣе или менѣе удачномъ исполненіи; онъ даже писалъ рецензіи на оперы въ одномъ уважаемомъ гамбургскомъ журналѣ. Что собственно тутъ удивительнаго? Глухой живописецъ могъ узнавать звуки по видимымъ формамъ игры. Вѣдь есть же люди, для которыхъ звуки только невидимыя формы, въ которыхъ они слышатъ цвѣта и образы.

— И вы одинъ изъ такихъ людей!—воскликнула Марія.

— Мнѣ жаль, что я потерялъ маленькій рисунокъ Лизера; онъ, можетъ-быть, далъ бы вамъ понять о наружности Паганини. Только рѣзко черные, бѣглые штрихи могли вѣрно представить эту баснословную физіономію, которая, по-видимому, больше принадлежитъ къ фосфорному царству [illegible] чѣмъ къ лучезарному міру живущихъ. — «Право,

дьяволъ водилъ моею рукою», повторялъ мнѣ глухой живописецъ, стоя со мной передъ Альстерскимъ павильономъ, въ Гамбургѣ, въ тотъ день, какъ Паганини давалъ тамъ свой первый концертъ. «Да, другъ мой,—продолжалъ онъ:—правду говоритъ весь міръ, что Паганини продалъ душу и тѣло дьяволу, чтобы сдѣлаться первымъ скрипачомъ, зарабатывать милліоны смычкомъ и главное — уйти съ проклятыхъ галеръ, на которыхъ онъ томился уже столько времени. Дѣло въ томъ, другъ мой, что, бывши капельмейстеромъ въ Луккѣ, онъ влюбился въ одну театральную королеву, сталъ ее ревновать къ какому-то маленькому аббату, сдѣлался, можетъ-быть, coco, какъ истый итальянецъ убилъ свою невѣрную amata, былъ сосланъ на генуэзскія галеры и, какъ я уже сказалъ вамъ, наконецъ, отдался дьяволу для того, чтобы освободиться, сдѣлаться лучшимъ скрипачомъ и чтобы сегодня вечеромъ брать со всѣхъ насъ налогъ въ два талера... Но, смотрите! всѣ добрые духи поютъ хвалу Господу! Смотрите—вотъ и самъ онъ идетъ по аллеѣ, со своимъ двусмысленнымъ фамулусомъ.»

Дѣйствительно, противъ насъ шелъ самъ Паганини. На немъ былъ темно-сѣрый сюртукъ, падавшій до пятъ, и этимъ еще болѣе увеличивавшій высокій ростъ артиста. Длинные черные волосы его падали на плечи кривыми прядями и составляли какъ будто темную рамку вокругъ блѣднаго мертвеннаго лица, на которомъ печаль, геній и адъ оставили неизгладимую печать. Подлѣ него шелъ, подпрыгивая, маленькій человѣкъ съ розовымъ морщинистымъ лицомъ, въ свѣтло-сѣромъ сюртучкѣ съ стальными пуговицами; онъ кланялся во всѣ стороны съ невыносимою привѣтливостью, но изрѣдка бросалъ искоса безпокойно боязливые взгляды на мрачную фигуру, задумчиво шедшую подлѣ него. Казалось, что видишь картину Рецша, на которой Фаустъ гуляетъ съ Вагнеромъ передъ воротами Лейпцига. Глухой живописецъ началъ на свой ладъ комментировать мнѣ эти оба лица и попросилъ меня обратить особое вниманіе на медленную, мѣрную походку Паганини.

— Не правда ли,—сказалъ онъ:—кажется, что у него на ногахъ до сихъ поръ цѣпи? Онъ навсегда сохранилъ такую походку. Посмотрите также, съ какою презрительною ироніею онъ смотритъ по временамъ на своего спутника, когда тотъ слишкомъ надоѣдаетъ ему своими прозаическими вопросами. А между тѣмъ, онъ не можетъ обойтись безъ него; кровавымъ договоромъ связанъ онъ съ

этимъ прислужникомъ, который никто иной, какъ сатана. Невѣдающіе люди думаютъ, конечно, что этотъ спутникъ — Гаррисъ изъ Ганновера, авторъ комедій и анекдотовъ, котораго Паганини взялъ съ собою въ путешествіе для наблюденія за денежными сборами въ концертахъ. Люди не знаютъ, что дьяволъ принялъ образъ г. Георга Гарриса и что бѣдная душа этого бѣднаго человѣка будетъ въ это время лежать въ Ганноверѣ, въ сундукѣ съ разнымъ другимъ хламомъ, до тѣхъ поръ, пока чортъ не возвратитъ ей тѣлесной оболочки и пойдетъ провожать Паганини въ болѣе приличномъ видѣ, напримѣръ, хоть чернаго пуделя.

Но если Паганини уже среди бѣла-дня въ зеленой аллеѣ гамбургскаго Юнгферштига показался мнѣ существомъ довольно баснословнымъ, то вечеромъ, въ концертѣ, я еще болѣе былъ пораженъ его зловѣщею странною наружностью. Мѣстомъ этого концерта была зала гамбургскаго театра, и любители музыки собрались такъ рано и въ такомъ количествѣ, что я едва могъ добыть себѣ мѣстечко въ оркестрѣ. Хотя былъ почтовый день, но въ ложахъ перваго яруса сидѣлъ весь образованный торговый міръ — цѣлый Олимпъ банкировъ и иныхъ милліонеровъ, боговъ сахара и кофе, съ ихъ законными толстыми богинями. При этомъ и священное молчаніе царствовало въ залѣ. Всѣ взоры были устремлены на сцену. Всѣ уши готовились слушать. Мой сосѣдъ, старый торговецъ мѣхами, вынулъ изъ ушей грязную вату, чтобы лучше впивать въ себя драгоцѣнные звуки, стоившіе ему два талера. Наконецъ, на сцену появилась мрачная фигура, вышедшая, какъ казалось, изъ царства тѣней. Это былъ Паганини въ своемъ черномъ парадномъ костюмѣ: черный фракъ и черный жилетъ ужаснѣйшаго покроя, какой, можетъ-быть, предписанъ адскимъ этикетомъ при дворѣ Прозерпины, черные панталоны, робко болтавшіеся на тощихъ ногахъ. Длинныя руки казались еще длиннѣе отъ скрипки, которую онъ держалъ въ одной рукѣ, и отъ смычка въ другой, которымъ онъ почти касался пола, когда началъ отвѣшивать публикѣ свои неслыханные поклоны. Въ угловатыхъ сгибаніяхъ тѣла его проявлялась [illegible]ная деревянность и вмѣстѣ съ тѣмъ было въ ней [illegible] дурацки животное, такъ что эти поклоны невольно [illegible]и странное желаніе смѣяться; но въ лицѣ его, [illegible]чая блѣдность котораго еще усиливалась рѣзкимъ [illegible]емъ оркестра, было и столько мольбы, столько ту- [illegible]ности, что полная ужаса жалость убила это же-

ланіе смѣяться. Кто выучилъ его такимъ поклонамъ:—автоматъ или собака? Кому принадлежалъ этотъ умоляющій взглядъ—смертельно больному, или хитрому скрягѣ, маскирующему имъ свою насмѣшку? Живой ли человѣкъ умираетъ здѣсь и, какъ умирающій гладіаторъ, готовится на аренѣ искусства потѣшить публику своими предсмертными судорогами? Или это мертвецъ вышедъ изъ могилы—скрипачъ-вампиръ, явившійся высосать, если не кровь изъ нашего сердца, то деньги изъ нашихъ кармановъ?

Такіе вопросы перекрещивались въ нашихъ головахъ въ то время, какъ Паганини отвѣшивалъ свои нескончаемые поклоны; но всѣ подобныя думы внезапно улеглись, когда чудный артистъ поднялъ скрипку и заигралъ на ней. Что касается меня, то вы знаете мое музыкальное второе зрѣніе, мою способность въ каждомъ слышимомъ звукѣ видѣть и лицо, ему соотвѣтствующее. Такъ было и теперь: съ каждымъ ударомъ смычка Паганини, передо мною проходили видимые образы и положенія, и въ звучащихъ образныхъ письменахъ артистъ разсказалъ мнѣ много любопытнаго, провелъ передо мною какъ бы. цвѣтную игру тѣней, въ которой онъ со своей игрой на скрипкѣ дѣйствовалъ, какъ главное лицо. Декорація сцены преобразилась уже при первомъ ударѣ смычка. Паганини со своимъ пюпитромъ вдругъ очутился въ свѣтлой, небрежно убранной комнатѣ, наполненной вычурной мебелью во вкусѣ Помпадуръ: вездѣ маленькія зеркала, вызолоченные амурчики, китайскій фарфоръ, милѣйшій хаосъ лентъ, цвѣточныхъ гирляндъ, бѣлыхъ перчатокъ, порванныхъ блондъ, фальшивыхъ жемчуговъ, жестяныхъ діадемъ и всякой другой мишуры, какою обыкновенно полна уборная примадонны. Наружность самого Паганини тоже преобразилась совершенно и притомъ, какъ нельзя больше въ его пользу: на немъ были короткіе атласные панталоны лиловаго цвѣта, бѣлый вышитый серебромъ жилетъ, свѣтло-синій бархатный кафтанъ съ золочеными пуговицами, а тщательно завитые въ мелкія кудри волосы обвивали лицо его, блиставшее молодостью и здоровьемъ и оживлявшееся тихою нѣжностью въ то время, какъ онъ кидалъ взоръ на хорошенькую синьорину, стоявшую подлѣ него у пюпитра, между тѣмъ, какъ онъ игралъ.

Дѣйствительно, рядомъ съ нимъ я увидѣлъ молодое и красивое созданье, одѣтое по старой модѣ въ бѣлое атласное платье, широко взбитое подъ бедрами, отчего талія становилась еще прелестнѣе въ своей стройности; подъ на-

пудренными, высоко завитыми волосами, смѣло блистало круглое, красивое лицо съ сверкающими глазами, нарумяненными щечками и дерзко милымъ носикомъ. Она держала въ рукѣ свертокъ бѣлой бумаги и, какъ можно было заключить по движенію ея губъ и кокетливому колыханію груди, пѣла; но я не могъ разслушать ни одной изъ ея трелей и только по игрѣ молодого Паганини, аккомпанировавшаго милому ребенку, угадывалъ, что она пѣла и что самъ онъ чувствовалъ, слушая ея голосъ. О, это были мелодіи, какія поетъ соловей въ вечернихъ сумеркахъ, когда благоуханіе розы опьяняетъ его волнующееся весеннее сердце тайными желаніями! О, это было расплывающееся, сладострастно изнывающее блаженство! Это были звуки, которые то цѣловались, то бѣжали другъ отъ друга, сердясь и капризничая, и, наконецъ, снова весело сплетались въ нераздѣльное единое и замирали въ опьянѣломъ единеніи. Да, эти звуки наслаждались своими играми, какъ бабочки, которыя шаловливо преслѣдуютъ одна другую, прячутся за цвѣты, ловятъ другъ друга и послѣ минуты безпечно вѣтреннаго блаженства пропадаютъ въ золотыхъ лучахъ солнца. Но паукъ, паукъ можетъ вдругъ трагически закончить судьбу этихъ влюбленныхъ бабочекъ. Прокралось ли тяжелое предчувствіе въ молодое сердце? Жалобно печальный звукъ, какъ предвѣстіе близкаго несчастія, тихо проскользнулъ въ очаровательнѣйшихъ мелодіяхъ, лучезарно слетѣвшихъ со скрипки Паганини... Глаза его наполнились слезами... Благоговѣйно склоняетъ онъ колѣни предъ своею возлюбленной... Но, ахъ! Въ то время, какъ онъ припадаетъ къ ногамъ ея, глаза его встрѣчаютъ подъ кроватью маленькаго аббата!.. Не знаю, что сдѣлалъ ему этотъ бѣднякъ, но генуэзецъ поблѣднѣлъ, какъ смерть, схватилъ маленькаго человѣчка, съ неистовою яростью надѣлилъ пощечинами, равно какъ и значительнымъ количествомъ пинковъ, вышвырнулъ за дверь и потомъ, вынувъ изъ кармана длинный кинжалъ, вонзилъ его въ грудь молодой красавицы...

Но въ эту минуту въ залѣ раздалось со всѣхъ сторонъ: «браво! браво!» Мужское и женское народонаселеніе Гамбурга платило шумнымъ энтузіазмомъ великому артисту, ившему первую часть своего концерта и раскланивав- еще угловатѣе и ниже, чѣмъ прежде. Мнѣ казало и лицо его приняло выраженіе еще болѣе умопокорности. Взглядъ его былъ неподвиженъ и , какъ у бѣднаго преступника.

— Божественно! — вскричалъ, почесывая за ухомъ, мой сосѣдъ, мѣховщикъ: — эта одна пьеса уже стоитъ два талера.

Когда Паганини снова заигралъ, въ глазахъ моихъ потемнѣло. Звуки уже не превращались въ свѣтлыя формы и краски; напротивъ того, вся фигура артиста подернулась густою тѣнью, и изъ этой тьмы вылетали страшно рѣзкіе звуки скорби. Только изрѣдка, въ тѣ минуты, какъ падалъ на него свѣтъ тусклой лампы, висѣвшей надъ его головою, я могъ различать его блѣдное лицо, на которомъ, однако, не погасла еще молодость. Платье его было странно составлено изъ матерій двухъ цвѣтовъ, краснаго и желтаго; на ногахъ висѣли тяжелыя цѣпи. Позади его шевелилась фигура, лицо которой обличало веселую козлиную натуру, а длинныя, обросшія волосами руки, повидимому, тоже ей принадлежавшія, по временамъ ложились на струны скрипки Паганини, помогая ему. Онѣ даже водили иногда его рукою, и одобрительный козлиный смѣхъ сопровождалъ струившіеся со скрипки, все болѣе и болѣе жалобные и кровавые звуки. Это были звуки, подобные пѣснѣ падшихъ ангеловъ, которые, за обольщеніе земныхъ женщинъ, были изгнаны изъ царства блаженныхъ и низринуты въ бездну, съ клеймомъ позора на лицѣ. Это были звуки, въ бездонной мрачности которыхъ не свѣтили ни утѣшеніе, ни надежда. Когда эти звуки долетаютъ въ небо, тогда на блѣднѣющихъ устахъ святыхъ замираетъ хвала Богу, и они, плача, закрываютъ набожныя лица свои! Порою, когда среди этихъ мелодическихъ мукъ гнусливо раздавался хохотъ козла, я видѣлъ въ глубинѣ сцены толпу маленькихъ женщинъ, качавшихъ съ злобной радостью своими безобразными головами. Въ эти минуты изъ струнъ скрипки вылетали звуки тоски и такіе раздирающіе вздохи и рыданія, какихъ не было никогда слышно на землѣ, и какіе раздадутся, можетъ-быть, только въ Іосафатовой долинѣ, когда зазвучатъ колоссальныя трубы страшнаго суда, и обнаженные трупы выползутъ изъ гробовъ, ожидая рѣшенія своей судьбы... Но вдругъ артистъ сильно повелъ смычкомъ; это былъ такой звукъ безумія и отчаянія, что цѣпи съ трескомъ упали съ ногъ его, и его зловѣщій помощникъ вдругъ исчезъ вмѣстѣ съ злобно насмѣшливыми чудовищами-женщинами.

Въ эту минуту мой сосѣдъ-мѣховщикъ вскричалъ: «Какъ жаль! струна лопнула... Это отъ безпрерывнаго pizzicato...»

Дѣйствительно ли лопнула струна? Не знаю. Я замѣтилъ только преображеніе звуковъ, и тутъ Паганини, со всѣмъ, окружающимъ его, предсталъ мнѣ опять въ совершенно новомъ видѣ. Я едва узналъ его подъ темною монашескою рясой. Полуукутавъ капюшономъ лицо, принявшее теперь какое-то дикое выраженіе, опоясанный веревкой, босой, онъ гордо и уединенно стоялъ на выступѣ скалы у моря и игралъ на скрипкѣ. Наступилъ, какъ мнѣ казалось, вечерній сумракъ, огни заката ложились на далекія волны, которыя покрывались все болѣе и болѣе краснымъ цвѣтомъ и шумѣли все торжественнѣе, въ таинственной гармоніи со звуками скрипки. Но чѣмъ краснѣе становилось море, тѣмъ болѣе блѣднѣло небо, и когда, наконецъ, бурныя волны будто покрылись алою кровью — небо побѣлѣло, какъ мертвецъ, какъ привидѣніе, и заблестѣли на немъ звѣзды огромныя и угрожающія... и звѣзды эти были черны, какъ блестящій каменный уголь. Между тѣмъ, звуки скрипки раздавались все смѣлѣе и порывистѣе; въ глазахъ страшнаго артиста блистала такая насмѣшливая жажда разрушенія, и тонкія губы его дрожали съ такою ужасающей поспѣшностью, что, казалось, онъ шепталъ тѣ старыя волшебныя заклинанія, которыми вызываются бури и выпускаются на волю злые духи, заключенные на днѣ морскомъ. Порою, длинная, сухая рука его выходила обнаженная изъ широкаго рукава, била воздухъ смычкомъ — и въ эти минуты онъ дѣлался настоящимъ волшебникомъ, повелѣвающимъ стихіями жезломъ своимъ, и слышался тогда въ глубинѣ морской точно безумный вой, и прыгали такъ высоко страшныя кровавыя волны, что красная пѣна ихъ почти брызгала на блѣдное небо и на черныя звѣзды. И все выло, ревѣло и трещало, точно вселенная разрушалась,—и монахъ игралъ на своей скрипкѣ съ возрастающимъ упрямствомъ. Силою своей бѣшеной воли онъ хотѣлъ сломать тѣ семь печатей, которыми Соломонъ запечаталъ желѣзныя урны, куда онъ заключилъ побѣжденныхъ демоновъ. Мудрый царь спряталъ эти урны на дно моря, и между тѣмъ какъ скрипка Паганини издавала свои гнѣвные басовые звуки, мнѣ казалось, что я слышу голосъ этихъ заключенныхъ [illegible]. Наконецъ, однако, я будто разслышалъ ликующіе [illegible] освобожденія; и передъ моими глазами выплыли изъ [illegible]ихъ волнъ головы освобожденныхъ демоновъ, баснобезобразныя чудовища, крокодилы съ крыльями ле[illegible]лышей, змѣи съ оленьими рогами, обезьяны съ на-

дѣтыми на голову раковинами, тюлени съ патріархально длинными бородами, женскія лица съ грудями вмѣсто щекъ, головы зеленыхъ верблюдовъ, гермафродиты съ непонятнымъ устройствомъ тѣла—и все это бросало холодно умные взгляды и протягивало къ монаху-музыканту длинныя плавательныя перья... А онъ, въ своемъ безумномъ порывѣ заклинанія, сбросилъ съ головы капюшонъ, и длинные волосы, развѣваемые вѣтромъ, обвили голову его, какъ черныя змѣи...

Это видѣніе было такое ошеломляющее, что я, чтобы не сойти съ ума, заткнулъ уши и закрылъ глаза. Когда я снова открылъ ихъ, всѣ привидѣнія уже исчезли, и я увидѣлъ, какъ бѣдный генуэзецъ, въ обыкновенномъ видѣ своемъ, по своему обыкновенію раскланивался съ публикою, которая восторженно аплодировала.

«Это, стало-быть, знаменитая штука на струнѣ sol,— замѣтилъ сосѣдъ мой: — я вѣдь самъ играю на скрипкѣ и понимаю, какое удивительное дѣло—умѣть въ такой степени подчинять себѣ инструментъ!»—Къ счастію, пауза длилась недолго; иначе мой мѣховщикъ-знатокъ затянулъ бы меня въ длинный разговоръ объ искусствѣ. Паганини снова спокойно приставилъ скрипку къ подбородку, и съ первымъ ударомъ смычка началось снова чудное преобразованіе звуковъ. Но на этотъ разъ цвѣта были не такъ рѣзки и формы не такъ опредѣленны. Звуки неслись спокойно и величественно, они переливались и становились полнѣе, будто звуки органа подъ сводами собора, и все вокругъ постепенно распростерлось на необозримое пространство, и только духовный взоръ, отнюдь не тѣлесный, могъ обнять его. Посреди этого пространства носился блестящій шаръ, и въ немъ стоялъ человѣкъ гигантскаго роста, съ величественной осанкой, и игралъ на скрипкѣ. Былъ ли этотъ шаръ—солнце, я не знаю; но въ человѣкѣ я узналъ Паганини, только обновленнаго идеальною красотою, небесно просвѣтленнаго, съ улыбкою примиренія. Тѣло его цвѣло мужественнѣйшею силою, свѣтло-синяя одежда облекала благородные члены, на плечи струились блестящими кудрями черные волосы; онъ стоялъ твердо и увѣренно, какъ великій образъ божества, и игралъ на скрипкѣ, и казалось, что все сотворенное повиновалось его аккордамъ. Это былъ человѣкъ-планета, вокругъ котораго вселенная вращалась съ торжественнымъ тактомъ и звучала небесными мелодіями. Эти прекрасные, спокойные огни, въ

такомъ спокойномъ блескѣ парившіе вокругъ него, были ли звѣзды неба, и эта звучащая гармонія, производившаяся ихъ движеніями, было ли то пѣніе сферъ, о которомъ поэты и ясновидящіе говорили столько чудеснаго? Порою, когда я старался проникнуть взоромъ въ туманную даль, мнѣ видѣлись бѣлые широкіе плащи, въ которыхъ шли пилигримы-великаны, съ бѣлыми палками въ рукахъ—и странное дѣло!—золотые набалдашники этихъ палокъ были тѣ же самые огни, которые я принялъ за звѣзды. Эти пилигримы составляли огромный кругъ около музыканта, отъ звуковъ его скрипки все ярче и ярче блестѣли золотые набалдашники, и пѣнье, звучавшее изъ устъ ихъ, и которое я принялъ за пѣнье сферъ, было собственно только замиравшимъ оттолоскомъ звуковъ скрипки. Святая, невыразимая задушевность жила въ этихъ аккордахъ, которые то дрожали едва слышно, какъ таинственный шопотъ волнъ, то снова раздавались съ приводящею въ трепетъ прелестью, будто звуки рога при лунномъ свѣтѣ, то, наконецъ, неслись на просторъ съ неукротимымъ ликованіемъ, какъ будто тысячи бардовъ взялись за арфы и слили голоса свои въ побѣдной пѣснѣ. Это были звуки, какихъ не можетъ никогда слышать ухо, какіе только грезятся сердцу, когда оно лежитъ ночью на груди возлюбленной. Можетъ-быть, впрочемъ, сердце можетъ понимать ихъ и днемъ, при яркомъ свѣтѣ, когда оно упоительно погружается въ созерцаніе прекрасныхъ линій и оваловъ произведенія греческаго искусства...

— Или, когда человѣкъ выпилъ лишнюю бутылку шампанскаго, — перебилъ вдругъ смѣющійся голосъ, заставивши нашего разсказчика пробудиться точно отъ сна. Обернувшись, онъ увидѣлъ доктора, который, вмѣстѣ съ чернокожею Деборой, тихо вошелъ въ комнату, чтобы узнать, какъ его лѣкарство подѣйствовало на больную.

— Этотъ сонъ мнѣ не по-сердцу,—сказалъ онъ, указывая на диванъ.

Максимиліанъ, въ увлеченіи собственнымъ своимъ разсказомъ не замѣтившій, что Марія уже давно заснула, за[illegible]ъ съ досадой губы.

Этотъ сонъ, — сказалъ докторъ: — придаетъ ея лицу [illegible] выраженіе смерти. Не правда ли, что она похожа [illegible] на ту бѣлую гипсовую маску, посредствомъ которой [illegible]аемся сохранить черты умершаго?

[illegible]ѣ бы очень хотѣлось,—сказалъ ему Максимиліанъ

па ухо:—снять такую маску съ лица нашей подруги... Она и какъ трупъ будетъ чудно хороша.

— Не совѣтую вамъ дѣлать это,—отвѣчалъ докторъ:—эти маски портятъ воспоминаніе о дорогихъ для насъ существахъ. Намъ кажется, что этотъ гипсъ можетъ сохранить для насъ кое-что изъ ихъ жизни, а между тѣмъ то, что мы тутъ сохраняемъ, есть собственно сама смерть. Правильно прекрасныя черты принимаютъ въ маскахъ какое-то ужасающе неподвижное, ироническое, фатальное выраженіе, которое болѣе пугаетъ насъ, чѣмъ радуетъ. Особенно карикатурны маски лицъ, которыхъ главная прелесть была духовнаго свойства и которыхъ черты были менѣе правильны, чѣмъ привлекательны; потому что, какъ только угаснетъ на этихъ лицахъ грація жизни, дѣйствительныя уклоненія отъ линіи идеальной красоты не вознаграждаются уже въ нихъ духовною прелестью. Общую же всѣмъ этимъ гипсовымъ лицамъ особенность составляетъ что-то загадочное, которое, послѣ долгаго разсматриванія ихъ, невыносимо леденитъ душу; всѣ они похожи на людей, собирающихся въ трудную дорогу.

— Куда теперь?—спросилъ Максимиліанъ, когда докторъ взялъ его за руку и вывелъ изъ комнаты

НОЧЬ ВТОРАЯ.

— Зачѣмъ же вы мучите меня этимъ отвратительнымъ лѣкарствомъ, если я такъ скоро должна умереть?

Это говорила Марія въ ту минуту, какъ Максимиліанъ вошелъ въ ея комнату. Передъ больною стоялъ докторъ, держа въ одной рукѣ склянку, а въ другой—маленькую чашку, въ которой отвратительно пѣнилась синеватая жидкость.

— Любезный другъ,—сказалъ онъ вошедшему:—я очень радъ, что вы пришли. Уговорите пожалуйста синьору проглотить хоть нѣсколько капель; мнѣ некогда.

— Марія, я прошу васъ! — прошепталъ Максимиліанъ нѣжнымъ голосомъ, не часто замѣчавшимся у него и выходившимъ, казалось, изъ такого разбитаго сердца, что больная, странно взволнованная, почти забыла свои страданія и взяла чашку. Но, не поднося еще ея къ губамъ, она съ улыбкою сказала:

— Въ награду за это вы разскажете мнѣ потомъ исторію Лорансъ, да?

— Всѣ ваши желанія будутъ исполнены.

Блѣдная больная, полуулыбаясь, полудрожа, тотчасъ же выпила лекарство.

— Мнѣ некогда, — сказалъ докторъ, надѣвая свои черныя перчатки. — Лежите же спокойно, синьора, и дѣлайте какъ можно меньше движеній. Мнѣ некогда.

Въ сопровожденіи черной Деборы, свѣтившей ему, онъ вышелъ изъ комнаты. Когда оба друга остались одни, они долго и безмолвно смотрѣли другъ на друга. Въ душѣ ихъ обоихъ говорили мысли, которыя одинъ старался скрыть отъ другого. Но женщина вдругъ схватила руку мужчины и покрыла ее горячими поцѣлуями.

— Ради Бога,—сказалъ Максимиліанъ:—не волнуйтесь такъ и лежите спокойно.

Марія повиновалась; онъ очень заботливо укрылъ ея ноги шалью, до которой прежде коснулся губами. Марія вѣроятно замѣтила это, потому что глаза ея заискрились, какъ у счастливаго ребенка.

— Что, Лоранса была очень хороша собой?

— Если вы не будете перебивать меня, милый другъ, и обѣщаете слушать совсѣмъ спокойно и безмолвно, то я вамъ подробно разскажу все, что вы желаете знать.

И, дружески улыбнувшись въ отвѣтъ на утвердительный знакъ Маріи, онъ сѣлъ на стулъ, стоявшій у дивана, и такъ началъ разсказъ:

— Восемь лѣтъ назадъ я отправился въ Лондонъ, чтобы изучать тамъ языкъ и народъ. Чтобъ чортъ побралъ и народъ, и его языкъ! Они напихаютъ себѣ въ ротъ какую-нибудь дюжину односложныхъ словъ, жуютъ ихъ, коверкаютъ и потомъ выплевываютъ—и это называется у нихъ—говорить. Къ счастію, они по своей натурѣ довольно молчаливы и хотя всегда смотрятъ на васъ съ раскрытымъ ртомъ, но не мучатъ длинными разговорами. Но горе тому, кто попадетъ въ руки сыну Альбіона, совершившему путешествіе и на материкѣ учившемуся говорить по-французски. Онъ сейчасъ захочетъ воспользоваться случаемъ примѣнить на практикѣ свои лингвистическія познанія и засыплетъ васъ всевозможными вопросами насчетъ всевозможныхъ предметовъ; вы еще не отвѣтили на одинъ, а онъ предлагаетъ уже вамъ другой, касающійся или вашихъ лѣтъ, или родины, или намѣренія прожить долго или недолго въ этомъ мѣстѣ—и думаетъ, что васъ очень занимаетъ этотъ безпрерывный допросъ. Одинъ изъ моихъ па-

рижскихъ друзей, быть-можетъ, правъ, утверждая, что англичане учатся французскому языку въ паспортной конторѣ. Полезнѣе всего ихъ разговоръ за столомъ, когда они разрѣзываютъ свои гигантскіе ростбифы и съ самымъ серьезнымъ видомъ спрашиваютъ васъ, что̀ вы лучше любите: красное мясо или зажаренное, жирныя части или нежирныя. Но эти ростбифъ и жареная баранина—единственныя хорошія вещи у англичанъ. Боже, избави всякаго христіанина отъ англійскихъ суповъ, составленныхъ изъ одной трети муки и двухъ третей масла, или, для разнообразія, изъ одной трети масла и двухъ третей муки! Боже сохрани также всякаго отъ ихъ наивныхъ овощей, вареныхъ на водѣ совершенно въ томъ видѣ, какъ ихъ создала природа! Но еще отвратительнѣе англійской кухни ихъ тосты и обязательныя рѣчи, произносимыя въ то время, когда, по уходѣ дамъ, снимается со стола скатерть и приносится число бутылокъ съ портвейномъ, равное числу ушедшихъ женщинъ, ибо вино считается у нихъ самою достойною замѣною прекраснаго пола. Я говорю—прекраснаго пола, потому что англичанки заслуживаютъ это названіе. Это красивыя, бѣлыя и стройныя тѣла. Жаль только, что слишкомъ большое пространство между носомъ и ртомъ, встрѣчающееся у англійскихъ женщинъ такъ же часто, какъ и у мужчинъ, портило для меня въ Англіи самыя красивыя лица. Это уклоненіе отъ типа красоты еще непріятнѣе дѣйствуетъ на меня, когда я встрѣчаю англичанъ здѣсь, въ Италіи, гдѣ скудные размѣры ихъ носовъ и широкая мясная плоскость, простирающаяся отъ носа до рта, представляютъ тѣмъ болѣе рѣзкій контрастъ съ лицами итальянцевъ, черты которыхъ скорѣе антично правильны и которыхъ римско-согнутые или греческо-продолговатые носы часто слишкомъ велики. Одинъ нѣмецкій путешественникъ очень справедливо замѣтилъ, что англичане, прохаживающіеся въ толпѣ итальянцевъ, всѣ похожи на статуи, у которыхъ сломанъ кончикъ носа.

Да, только встрѣчая англичанъ въ чужой землѣ, благодаря контрасту, яснѣе видишь ихъ недостатки. Это боги скуки, разъѣзжающіе съ экстра-почтой по всѣмъ государствамъ въ блестящихъ экипажахъ и оставляющіе повсюду за собою темную пыль тоски. Прибавьте къ этому ихъ безучастное любопытство, нарядную неповоротливость, дерзкую неловкость, угловатый эгоизмъ и холодное наслажденіе всѣми меланхолическими предметами. Вотъ уже три недѣли,

какъ здѣсь, на площади del Gran Duca, можно видѣть каждый день англичанина, по цѣлымъ часамъ смотрящаго, разинувъ ротъ, на шарлатана, который, сидя на лошади, дергаетъ зубы у поселянъ. Это зрѣлище вознаграждаетъ, можетъ-быть, благороднаго сына Альбіона за пытки, которыхъ онъ не видитъ теперь въ любезной своей отчизнѣ; потому что послѣ боксовъ и пѣтушиныхъ боевъ для англичанина величайшее удовольствіе состоитъ въ томъ, чтобы смотрѣть на предсмертныя муки несчастнаго, укравшаго овцу или поддѣлавшаго чужую подпись и выставляемаго, съ веревкой на шеѣ, на показъ передъ Олд-Белеемъ до тѣхъ поръ, пока не отправятъ его на тотъ свѣтъ. Я не преувеличиваю, говоря, что покража овцы и поддѣлка подписи наказываются въ этой отвратительно жестокой странѣ наравнѣ съ ужаснѣйшими преступленіями, съ кровосмѣшеніемъ и отцеубійствомъ. Я самъ по грустной случайности видѣлъ въ Лондонѣ, какъ вѣшали человѣка, укравшаго барана—и съ тѣхъ поръ совсѣмъ не люблю жареной баранины; жиръ ея постоянно напоминаетъ мнѣ бѣлую фуражку бѣднаго преступника. Подлѣ него вздѣвали на висѣлицу ирландца, поддѣлавшаго подпись богатаго банкира; у меня до сихъ поръ предъ глазами простодушный ужасъ этого бѣдняка, который передъ судомъ присяжныхъ не могъ понять, почему его такъ жестоко наказываютъ за поддѣлку подписи, тогда какъ онъ готовъ былъ позволить первому встрѣчному поддѣлать его подпись!.. И этотъ народъ постоянно толкуетъ о христіанствѣ, и не пропускаетъ по воскресеньямъ ни одной обѣдни, и наводняетъ библіями всю вселенную.

Сознаюсь вамъ, однако, Марія, если ничто, ни кухня, ни люди въ Англіи не пришлись мнѣ по вкусу, то я самъ отчасти былъ виноватъ въ этомъ. Я привезъ съ собою изъ дома порядочный запасъ дурного расположенія духа и искалъ веселыхъ развлеченій у народа, который самъ убиваетъ свою скуку только въ вихрѣ политической и меркантильной дѣятельности. Совершенство машинъ, употребляемыхъ во всей Англіи и взявшихъ на себя столько работъ человѣка, также въ моихъ глазахъ что-то зловѣщее; эта искусная жизнь колесъ, пистоновъ, цилиндровъ и тысячъ крючковъ, зубчиковъ, винтиковъ, работающихъ то-то страстью, приводила меня въ ужасъ. Опредѣленная аккуратность, точность и размѣренность жизни не меньше мучили меня; потому что если ма-

шины въ Англіи похожи на людей, то люди являются д
насъ совершенно схожими съ машинами. Да, дерево, ста
и желѣзо будто похитили для себя у англичанъ разумъ
отъ излишества этого разума сдѣлались почти безумными,
лишившійся разума человѣкъ, какъ привидѣніе, совершает
совсѣмъ машинообразно свои обычныя дѣла: въ назначе
ныя минуты жуетъ бифштексы, говоритъ рѣчи въ парл
ментѣ, чиститъ ногти, садится въ дилижансъ, или вѣшаетс

Вы легко можете представить себѣ, какъ съ кажды
днемъ все сильнѣе развивалось въ той странѣ мое неуд
вольствіе. Но ничто не можетъ сравниться съ тѣмъ мра
нымъ настроеніемъ, которое овладѣло мною разъ вечером
когда я стоялъ на Ватерлооскомъ мосту и смотрѣлъ
глубину Темзы. Мнѣ казалось, что въ водахъ ея отражает
моя душа, что она смотритъ на меня оттуда со всѣми св
ими ранами. При этомъ я припоминалъ самыя печальны
исторіи... Я думалъ о розѣ, которую каждый день поливал
уксусомъ и которая отъ этого потеряла свой чудный запах
и завяла преждевременно... Я думалъ о заблудившемся м
тылькѣ, котораго одинъ естествоиспытатель встрѣтилъ
Монбланѣ одиноко порхавшимъ между ледяными стѣнами.
Я думалъ о прирученной обезьянѣ, которая совсѣмъ пр
выкла къ людямъ, и съ ними играла, съ ними ѣла,
узнавши разъ въ жаркомъ, поданномъ къ обѣду, свое со
ственное дитя, поспѣшно схватила его, унесла въ лѣсъ
больше уже не показывалась къ своимъ друзьямъ-людямъ.
Ахъ, душа моя наполнилась такою скорбью, что жгучі
слезы полились изъ глазъ... Онѣ упали въ Темзу и унес
лись въ океанъ, поглотившій уже столько человѣческих
слезъ, не обращая на нихъ никакого вниманія.

Въ эту минуту странная музыка прервала мрачныя гре
мои, и, осмотрѣвшись кругомъ, я увидѣлъ на берегу толп
составившую кружокъ около какого-то занимательнаго зр
лища. Я подошелъ ближе и увидѣлъ семейство артистов
состоявшее изъ слѣдующихъ четырехъ лицъ:

Во-первыхъ, старой коренастой старухи, одѣтой въ че
ное платье, съ очень маленькою головою и огромнымъ то
стымъ животомъ. На этомъ животѣ висѣлъ громадный бар
банъ, на которомъ она совсѣмъ безжалостно барабанила.

Во-вторыхъ, карлика, одѣтаго, какъ французскій маркі
стараго времени въ вышитый кафтанъ, съ большою
пудреною головой, но худощавымъ и жиденькимъ тѣло
онъ игралъ на треугольникѣ и постоянно подпрыгивалъ.

Въ-третьихъ, молодой дѣвушки, лѣтъ пятнадцати, въ коротенькой и узкой шелковой курточкѣ синяго цвѣта съ полосками и тоже полосатыхъ синихъ широкихъ панталонахъ. Это было существо воздушное и граціозное, лицо гречески прекрасное, благородный прямой носъ, мило очерченныя губы, мечтательно мягко округленный подбородокъ, южно оливковый цвѣтъ, волосы блестящаго, чернаго цвѣта, поднятые на вискахъ. Стройная и серьезная, даже немного угрюмая, стояла она и смотрѣла на четвертое лицо компаніи, именно въ это время показывавшее публикѣ свои штуки.

Это четвертое лицо была ученая собака, подававшій большія надежды въ будущемъ пудель; къ великой радости зрителей-англичанъ, она составила изъ деревянныхъ буквъ, положенныхъ предъ нею, имя лорда Веллингтона и прибавила къ нему очень лестный эпитетъ, именно—Heros. Такъ какъ собака, уже судя по ея умной наружности, не могла быть животнымъ англійскимъ, а явилась такъ же, какъ и остальные члены труппы, изъ Франціи, то сыны Альбіона радовались, видя, что ихъ великій полководецъ признанъ, по крайней мѣрѣ, французскими собаками, между тѣмъ какъ остальныя творенія во Франціи такъ постыдно для него отказывались отъ такого признанія.

Дѣйствительно, эту труппу составляли французы, и карликъ, рекомендовавшій себя подъ именемъ monsieur Тюрлютю, началъ разглагольствовать по-французски и съ такими страстными жестами, что бѣдные англичане разинули рты и подняли носы еще шире и выше обыкновеннаго. По временамъ, послѣ длиннаго періода, онъ подражалъ крику пѣтуха, и бѣдные зрители понимали, конечно, только эти кукуреку, равно какъ и имена многихъ императоровъ, королей и принцевъ, которыми карликъ уснащалъ свою рѣчь. Эти императоры, короли и принцы, по словамъ его, были его покровителями и друзьями. Онъ увѣрялъ, что, будучи еще восьмилѣтнимъ ребенкомъ, имѣлъ долгое совѣщаніе съ покойнымъ королемъ, Людовикомъ XVI, который и впослѣдствіи всегда обращался къ нему за совѣтомъ въ важныхъ случаяхъ. Какъ многіе другіе, онъ спасся бѣгомъ отъ ужасовъ революціи и возвратился въ милую ...изну только во время имперіи, чтобы раздѣлить славу ...икой націи. Наполеонъ, говорилъ онъ, никогда не люби... его; зато его почти обожалъ его святѣйшество папа ...VII. Императоръ Александръ угощалъ его конфетами, ...нцесса *фонъ-Кирицъ* всегда сажала его къ себѣ на

колѣни. Его свѣтлость, герцогъ Карлъ Брауншвейгскій иногда давалъ ему ѣздить верхомъ на своихъ собакахъ, а его величество король Людовикъ Баварскій читалъ ему свои возвышенныя стихотворенія; принцы Рейсъ-Шлейсъ-Крейтцскій и Шварценбургъ-Зондергаузенскій любили его, какъ брата, и всегда курили изъ одной трубки съ нимъ. Да, съ самаго дѣтства, по его словамъ, онъ жилъ всегда только съ государями; нынѣшніе монархи какъ бы выросли вмѣстѣ съ нимъ, онъ считалъ ихъ своими и надѣвалъ трауръ каждый разъ, какъ кто-нибудь изъ нихъ платилъ долгъ природѣ. Послѣ этихъ важныхъ рѣчей онъ запѣлъ пѣтухомъ.

Monsieur Тюрлютютю былъ одинъ изъ интереснѣйшихъ карликовъ, какихъ только я встрѣчалъ; его старое, сморщенное лицо представляло забавную противоположность съ дѣтски маленькимъ тѣльцемъ, а вся фигура — такую же смѣшную противоположность съ штуками, которыя онъ показывалъ. Именно, онъ становился въ самыя смѣлыя фехтовальныя позы и кололъ въ воздухѣ направо и налѣво безчеловѣчно длинною рапирой, увѣряя честью, что его кварты и тьерсы неотразимы и что своими парадами онъ уничтожитъ всякаго смертнаго, и онъ приглашалъ любого изъ зрителей помѣряться съ нимъ въ благородномъ фехтовальномъ искусствѣ. Поигравъ нѣсколько времени такимъ образомъ и не найдя никого, кто бы пожелалъ вступить съ нимъ въ публичный поединокъ, онъ поклонился съ французскою граціею стараго времени, поблагодарилъ зрителей, удостоившихъ его своихъ похвалъ, и попросилъ почтеннѣйшую публику приготовиться къ такому необыкновенному зрѣлищу, какого еще не было на англійской землѣ. «Видите ли вы эту особу?—спросилъ онъ, надѣвши грязныя лайковыя перчатки и введя въ середину круга, съ почтительною любезностью, молодую дѣвушку, бывшую въ труппѣ; — эта особа mademoiselle Лорансъ, единственная дочь многоуважаемой и почтенной дамы, которую вы видите съ большимъ барабаномъ и которая до сихъ поръ носитъ трауръ по своемъ нѣжно любимомъ супругѣ, величайшемъ европейскомъ вантрилогѣ! Mademoiselle Лорансъ будетъ теперь танцовать. Дивитесь же теперь танцамъ mademoiselle Лорансъ!» Послѣ этой рѣчи карликъ опять запѣлъ пѣтухомъ.

Молодая дѣвушка, казалось, не обращала никакого вниманія ни на эти слова, ни на взгляды зрителей. Сердито углубясь въ самое себя, она оставалась неподвижною до тѣхъ поръ, пока карликъ разостлалъ у ногъ ея большой

коверъ и началъ снова играть на треугольникѣ, съ аккомпанементомъ барабана. Это была странная музыка, смѣшеніе грубаго ворчанія и сладострастнаго щекотанія, и я разслышалъ въ ней напѣвъ патетически дурацкій, грустно дерзкій, странный и вмѣстѣ съ тѣмъ необыкновенно простой. Но всю эту музыку я позабылъ, какъ только молодая дѣвушка начала танцовать.

Танцы и танцовщица совершенно овладѣли моимъ вниманіемъ. Это не былъ классическій танецъ, отличающій до сихъ поръ наши большіе балеты, гдѣ господствуютъ только, какъ и въ классической трагедіи, напыщенныя единства и искусственности; это не были тѣ пляшущіе александрійскіе стихи, тѣ декламаторскіе прыжки, тѣ антитезныя антрша, не была та благородная страсть, которая такъ головокружительно пируэтируетъ на одной ногѣ, что вы не видите ничего, кромѣ неба и трико, ничего, кромѣ идеализаціи и лжи! Правду сказать, мнѣ ничто не противно такъ, какъ парижскій балетъ, въ которомъ сохранилась во всей чистотѣ традиція того классическаго танца, между тѣмъ какъ классическая система въ другихъ искусствахъ, въ музыкѣ, поэзіи и живописи, совершенно отброшена французами. Но имъ трудно будетъ произвести подобный переворотъ въ танцовальномъ искусствѣ, развѣ только и здѣсь, какъ въ своей политической революціи, они пустятъ въ ходъ терроризмъ и будутъ гильотинировать ноги закоренѣлыхъ танцоровъ и танцовщицъ стараго режима. Mademoiselle Лорансъ не была великою танцовщицею, кончики ея пальцевъ не были очень гибки, ноги не были выломаны для всѣхъ возможныхъ позицій, она ничего не смыслила въ томъ танцѣ, которому обучаетъ Вестрисъ, но она танцовала такъ, какъ природа велитъ людямъ танцовать, все существо ея гармонировало съ ея па; не только ноги, но и все тѣло ея танцовало, ея лицо танцовало... По временамъ, щеки ея покрывались блѣдностью, блѣдностью почти смертельною, глаза широко раскрывались, какъ у привидѣнія, на губахъ дрожали вожделѣніе и скорбь, а черные волосы, ложившіеся на виски гладкими начесами, двигались, точно развѣвающіяся крылья [illegible]а. Танецъ ея дѣйствительно не былъ классическимъ [illegible]ъ, но онъ не былъ и романтическимъ, въ томъ смыслѣ, [illegible]ромъ выразился бы молодой французъ школы Евге[illegible]ядюэля. Въ этомъ танцѣ не было ни чего средне[illegible], ничего венеціанскаго, ничего макабрскаго, не было [illegible]ни луннаго свѣта ни грѣха кровосмѣшенія... Это

былъ танецъ, который не старался позабавить наружными движеніями, а эти движенія казались, напротивъ, словами какого-то особеннаго языка, хотѣвшаго сказать что-то особенное. Но что говорилъ этотъ танецъ? Я не могъ понять его, несмотря на всю страстность, съ которой двигался этотъ языкъ. Только иногда могъ я догадываться, что тутъ дѣло шло о чемъ-то ужасномъ и печальномъ. Я, такъ легко понимающій всегда сокрытый смыслъ всѣхъ явленій, никакъ не могъ, однако, разгадать эту протанцованную загадку, и вѣроятно, въ этомъ случаѣ была виновата музыка, которая, конечно, нарочно сбивала меня съ дороги, коварно старалась спутать мои мысли и постоянно мѣшала мнѣ. Треугольникъ monsieur Тюрлютютю хихикалъ порою такъ лукаво! А мадамъ-матушка колотила въ барабанъ съ такимъ гнѣвомъ, что лицо ея блестѣло подъ чернымъ чепчикомъ, словно кровавое сѣверное сіяніе.

Когда труппа удалилась, я долго еще оставался на томъ же мѣстѣ и все думалъ о смыслѣ этого танца. Былъ это танецъ южной Франціи, или народный испанскій? На такой характеръ его указывала необузданность, съ которою танцовщица бросалась то въ ту, то въ другую сторону, и дикость, съ какою она по временамъ закидывала назадъ голову, подобно преступно смѣлымъ движеніямъ вакханокъ, возбуждающимъ наше удивленіе на рельефахъ античныхъ вазъ. Въ это время танецъ ея становился чѣмъ-то безсознательнымъ, какъ въ минуты опьянѣнія, чѣмъ-то мрачно неотразимымъ, чѣмъ-то фаталистическимъ; она танцовала, какъ судьба. Не былъ ли это отрывокъ изъ какой-нибудь древней, исчезнувшей пантомимы? Или это былъ только танцуемый разсказъ изъ частной жизни?.. Иногда молодая дѣвушка наклонялась къ землѣ, будто прислушиваясь, не несется ли къ ней подземный голосъ... И въ эти минуты она дрожала, какъ осиновый листъ, быстро перелетала въ другую сторону и дѣлала тамъ прыжки самые безумные, самые необузданные, потомъ снова склоняла къ землѣ ухо, прислушивалась еще тревожнѣе, чѣмъ прежде, кивала головою, краснѣла, блѣднѣла, вздрагивала, стояла нѣсколько мгновеній прямо, какъ свѣча, неподвижно, какъ камень, и наконецъ дѣлала жестъ, будто умывала руки. Не кровь ли смывала она съ нихъ такъ старательно долго, такъ зловѣще старательно?.. При этомъ она кинула въ сторону *взглядъ, такой* умоляющій, такой трогательный взглядъ... И *случайно этотъ* взглядъ упалъ на меня...

Всю слѣдующую ночь я думалъ объ этомъ взглядѣ, объ этомъ танцѣ, о странной музыкѣ, и когда, на другой день утромъ, по обыкновенію, пошелъ бродить по улицамъ Лондона, меня охватило страстное желаніе еще разъ встрѣтить красавицу-танцовщицу, и все прислушивался я — не раздадутся ли гдѣ-нибудь звуки барабана и треугольника. Наконецъ-то я нашелъ въ Лондонѣ вещь, занимавшую меня, и не бродилъ уже безъ цѣли по его зѣвающимъ улицамъ.

Однажды я вышелъ изъ Тоуэра, гдѣ внимательно разсматривалъ топоръ, обезглавившій Анну Болленъ, брилліанты англійской короны и львовъ — какъ вдругъ, на площади, посреди большой толпы, увидѣлъ мадамъ-матушку съ большимъ барабаномъ и услыхалъ пѣтушиный крикъ monsieur Тюрлютютю. Ученая собака опять стала складывать имя героя Веллингтона, карликъ снова показалъ свои неотразимые тьерсы и кварты, и Лорансъ снова понеслась въ своемъ загадочномъ танцѣ. Это были опять тѣ же загадочныя движенія, тотъ же языкъ, который говорилъ что-то, чего я не понималъ, то же порывистое опрокидываніе назадъ головы, то же внимательное наклоненіе къ землѣ, ужасъ и стараніе успокоиться отъ него все болѣе и болѣе безумными прыжками, потомъ снова прислушиваніе къ какому-то подземному голосу, дрожь, блѣдность, окаменѣніе, опять таинственно ужасное омовеніе рукъ и, наконецъ,—умоляющій взглядъ, который на этотъ разъ дольше, чѣмъ прежде, остановился на мнѣ.

Да, женщины, молодыя дѣвушки такъ же, какъ и замужнія, сразу замѣчаютъ, когда мужчина обращаетъ на нихъ вниманіе. Хотя mademoiselle Лорансъ, въ то время, когда она не танцовала, стояла неподвижно, и съ сердитымъ видомъ, и хотя, танцуя, она бросала по временамъ только одинъ взглядъ на окружающихъ, но съ этихъ поръ этотъ взглядъ не случайно только падалъ на меня, и чѣмъ чаще я видѣлъ ее танцующею, тѣмъ выразительнѣе, но и тѣмъ непонятнѣе сверкалъ онъ. Я былъ точно околдованъ этимъ взглядомъ и три недѣли съ утра до вечера бродилъ по лондонскимъ улицамъ, останавливаясь вездѣ, гдѣ танцовала mademoiselle [illegible]ансъ. Даже при самомъ сильномъ шумѣ толпы я на [illegible]мъ далекомъ разстояніи могъ различать звуки барабана [illegible]угольника, и monsieur Тюрлютютю, какъ только я [illegible]цилъ къ нимъ, подымалъ самый привѣтливый пѣтушиный крикъ. Не сказавши ни разу ни слова ни съ нимъ, *ни съ mademoiselle Лорансъ*, ни съ madame-матушкой, ни

съ ученой собакой, я, между тѣмъ, наконецъ сдѣлался будто членомъ ихъ труппы. Когда monsieur Тюрлютютю ходилъ собирать деньги съ зрителей, то съ тончайшимъ тактомъ велъ себя относительно меня и всегда поворачивалъ голову въ другую сторону въ то время, какъ я бросалъ мелкую монету въ его треугольную шляпу. Пріемы его дѣйствительно были аристократически приличны, они напоминали собою хорошія манеры стараго времени, видно было, что онъ выросъ въ компаніи монарховъ, и тѣмъ болѣе страннымъ казалось, что онъ, совершенно забывая иногда свое достоинство, пѣлъ пѣтухомъ.

Не могу выразить вамъ, какъ тяжело мнѣ стало, когда однажды, послѣ безуспѣшныхъ трехдневныхъ поисковъ по лондонскимъ улицамъ, я догадался наконецъ, что маленькая труппа уѣхала изъ города. Скука опять охватила меня своими свинцовыми руками и опять сдавила мое сердце. Наконецъ положеніе мое сдѣлалось невыносимымъ, я простился съ мобомъ, съ черною гвардіей, англійскими джентльменами и фешенебелями, съ четырьмя сословіями государства—и уѣхалъ обратно на образованный материкъ, гдѣ благоговѣйно сталъ на колѣни передъ первымъ, попавшимся мнѣ навстрѣчу, поваромъ въ бѣломъ передникѣ. Тутъ я опять могъ обѣдать, какъ разумное твореніе, и радоваться, смотря на добродушныя, безкорыстныя лица. Но mademoiselle Лорансъ я никакъ не могъ совершенно позабыть, она долго еще танцовала въ моихъ воспоминаніяхъ, и въ часы уединенія я часто думалъ о загадочной пантомимѣ прекраснаго дитяти, особенно о томъ, какъ она прислушивалась къ подземному голосу. Прошло также довольно времени прежде чѣмъ странные звуки треугольника и барабана замерли въ моей памяти.

— И это вся ваша исторія?—вскричала Марія, порывисто поднимаясь.

Но Максиміанъ нѣжно уложилъ ее и, выразительно прикладывая палецъ къ губамъ, сказалъ:

— Тише, тише, ни слова! Лежите спокойнѣе, и вы узнаете окончаніе исторіи. Только ради Бога не прерывайте меня.

Потомъ, усѣвшись покойнѣе въ креслахъ, онъ продолжалъ свой разсказъ:

— Черезъ пять лѣтъ послѣ этого происшествія, я пріѣхалъ въ первый разъ въ Парижъ — и въ замѣчательное время. Французы только-что окончили представленіе своей ію*льской революціи*, и вселенная аплодировала имъ. Эта пьеса

не была такъ страшна, какъ предшествовавшія ей трагедіи республики и имперіи. На полѣ битвы осталось только нѣсколько тысячъ труповъ. Но политическіе романтики были не совсѣмъ довольны этимъ и обѣщали представить новую пьесу, гдѣ потечетъ больше крови и гдѣ палачу будетъ больше работы.

Парижъ очень утѣшилъ меня своею веселостью, которая проявляется тамъ во всемъ и оказываетъ вліяніе даже на самыхъ мрачныхъ людей. Странно! Парижъ — сцена, на которой разыгрываются самыя великія трагедіи всемірной исторіи, трагедіи, воспоминаніе о которыхъ заставляетъ дрожать и плакать жителей даже отдаленнѣйшихъ странъ; но зритель этихъ великихъ трагедій испытываетъ въ самомъ Парижѣ то же самое, что̀ испыталъ я однажды въ Сенмартенскомъ театрѣ, при представленіи пьесы «La tour de Nesle». Я сидѣлъ позади дамы въ газовой розовой шляпкѣ; эта шляпка была такъ велика, что совершенно загораживала мнѣ сцену, и я видѣлъ всю трагедію только сквозь ея розовый газъ; такимъ образомъ, всѣ ужасы «Tour de Nesle» являлись мнѣ въ самомъ веселомъ, розовомъ свѣтѣ. Да, въ Парижѣ есть такой розовый свѣтъ, благодаря которому всѣ трагедіи представляются близкому зрителю далеко не такъ страшными для того, чтобы онъ могъ спокойно наслаждаться жизнью. Даже черныя мысли, пріѣзжающими въ Парижъ привозимыя въ собственномъ сердцѣ, теряютъ здѣсь свой мучительный характеръ. Горести утихаютъ здѣсь удивительно скоро. Всѣ раны залѣчиваются въ этомъ парижскомъ воздухѣ скорѣе, чѣмъ во всякомъ другомъ мѣстѣ. Этотъ воздухъ носитъ въ себѣ что-то великодушное, сострадательное, отрадное, какъ самый народъ.

Больше всего нравились мнѣ въ этомъ народѣ вѣжливые пріемы и аристократическое изящество. О, благоуханіе вѣжливости, подобное запаху ананаса!.. Какъ благотворно освѣжило ты мою больную душу, напитавшуюся въ Германіи такимъ количествомъ табачнаго дыма, запаха капусты и грубости! Россиніевскими мелодіями зазвучали въ моихъ ушахъ вѣжливыя извиненія француза, который, въ день моего прибытія, слегка толкнулъ меня на улицѣ. Я почти ...ался такой милой обходительности, я, чьи бока при... къ мужицкимъ нѣмецкимъ толчкамъ безъ всякаго ...енія. Въ первую недѣлю моего пребыванія въ Парижѣ, ...то старался, чтобъ меня толкали, единственно съ ...услаждать слухъ этою музыкою извиненій. Впрочемъ,

рижскихъ друзей, быть-можетъ, правъ, утверждая, что англичане учатся французскому языку въ паспортной конторѣ. Полезнѣе всего ихъ разговоръ за столомъ, когда они разрѣзываютъ свои гигантскіе ростбифы и съ самымъ серьезнымъ видомъ спрашиваютъ васъ, что вы лучше любите: красное мясо или зажаренное, жирныя части или нежирныя. Но эти ростбифъ и жареная баранина—единственныя хорошія вещи у англичанъ. Боже, избави всякаго христіанина отъ англійскихъ суповъ, составленныхъ изъ одной трети муки и двухъ третей масла, или, для разнообразія, изъ одной трети масла и двухъ третей муки! Боже сохрани также всякаго отъ ихъ наивныхъ овощей, вареныхъ на водѣ совершенно въ томъ видѣ, какъ ихъ создала природа! Но еще отвратительнѣе англійской кухни ихъ тосты и обязательныя рѣчи, произносимыя въ то время, когда, по уходѣ дамъ, снимается со стола скатерть и приносится число бутылокъ съ портвейномъ, равное числу ушедшихъ женщинъ, ибо вино считается у нихъ самою достойною замѣною прекраснаго пола. Я говорю—прекраснаго пола, потому что англичанки заслуживаютъ это названіе. Это красивыя, бѣлыя и стройныя тѣла. Жаль только, что слишкомъ большое пространство между носомъ и ртомъ, встрѣчающееся у англійскихъ женщинъ такъ же часто, какъ и у мужчинъ, портило для меня въ Англіи самыя красивыя лица. Это уклоненіе отъ типа красоты еще непріятнѣе дѣйствуетъ на меня, когда я встрѣчаю англичанъ здѣсь, въ Италіи, гдѣ скудные размѣры ихъ носовъ и широкая мясная плоскость, простирающаяся отъ носа до рта, представляютъ тѣмъ болѣе рѣзкій контрастъ съ лицами итальянцевъ, черты которыхъ скорѣе антично правильны и которыхъ римско-согнутые или греческо-продолговатые носы часто слишкомъ велики. Одинъ нѣмецкій путешественникъ очень справедливо замѣтилъ, что англичане, прохаживающіеся въ толпѣ итальянцевъ, всѣ похожи на статуи, у которыхъ сломанъ кончикъ носа.

Да, только встрѣчая англичанъ въ чужой землѣ, благодаря контрасту, яснѣе видишь ихъ недостатки. Это боги скуки, разъѣзжающіе съ экстра-почтой по всѣмъ государствамъ въ блестящихъ экипажахъ и оставляющіе повсюду за собою темную пыль тоски. Прибавьте къ этому ихъ безучастное любопытство, нарядную неповоротливость, дерзкую неловкость, угловатый эгоизмъ и холодное наслажденіе всѣми меланхолическими предметами. Вотъ уже три недѣли,

какъ здѣсь, на площади del Gran Duca, можно видѣть каждый день англичанина, по цѣлымъ часамъ смотрящаго, разинувъ ротъ, на шарлатана, который, сидя на лошади, дергаетъ зубы у поселянъ. Это зрѣлище вознаграждаетъ, можетъ-быть, благороднаго сына Альбіона за пытки, которыхъ онъ не видитъ теперь въ любезной своей отчизнѣ; потому что послѣ боксовъ и пѣтушиныхъ боевъ для англичанина величайшее удовольствіе состоитъ въ томъ, чтобы смотрѣть на предсмертныя муки несчастнаго, укравшаго овцу или поддѣлавшаго чужую подпись и выставляемаго, съ веревкой на шеѣ, на показъ передъ Олд-Белеемъ до тѣхъ поръ, пока не отправятъ его на тотъ свѣтъ. Я не преувеличиваю, говоря, что покража овцы и поддѣлка подписи наказываются въ этой отвратительно жестокой странѣ наравнѣ съ ужаснѣйшими преступленіями, съ кровосмѣшеніемъ и отцеубійствомъ. Я самъ по грустной случайности видѣлъ въ Лондонѣ, какъ вѣшали человѣка, укравшаго барана—и съ тѣхъ поръ совсѣмъ не люблю жареной баранины; жиръ ея постоянно напоминаетъ мнѣ бѣлую фуражку бѣднаго преступника. Подлѣ него вздѣвали на висѣлицу ирландца, поддѣлавшаго подпись богатаго банкира; у меня до сихъ поръ предъ глазами простодушный ужасъ этого бѣдняка, который передъ судомъ присяжныхъ не могъ понять, почему его такъ жестоко наказываютъ за поддѣлку подписи, тогда какъ онъ готовъ былъ позволить первому встрѣчному поддѣлать его подпись!.. И этотъ народъ постоянно толкуетъ о христіанствѣ, и не пропускаетъ по воскресеньямъ ни одной обѣдни, и наводняетъ библіями всю вселенную.

Сознаюсь вамъ, однако, Марія, если ничто, ни кухня, ни люди въ Англіи не пришлись мнѣ по вкусу, то я самъ отчасти былъ виноватъ въ этомъ. Я привезъ съ собою изъ дома порядочный запасъ дурного расположенія духа и искалъ веселыхъ развлеченій у народа, который самъ убиваетъ свою скуку только въ вихрѣ политической и меркантильной дѣятельности. Совершенство машинъ, употребляемыхъ во всей Англіи и взявшихъ на себя столько работъ человѣка, [illegible]ѣло также въ моихъ глазахъ что-то зловѣщее; эта искусственная жизнь колесъ, пистоновъ, цилиндровъ и тысячъ [illegible]ческихъ крючковъ, зубчиковъ, винтиковъ, работающихъ [illegible]какою-то страстью, приводила меня въ ужасъ. Опредѣленность, аккуратность, точность и размѣренность жизни [illegible]анъ не меньше мучили меня; потому что если ма-

шины въ Англіи похожи на людей, то люди являются для насъ совершенно схожими съ машинами. Да, дерево, сталь и желѣзо будто похитили для себя у англичанъ разумъ и отъ излишества этого разума сдѣлались почти безумными, а лишившійся разума человѣкъ, какъ привидѣніе, совершаетъ совсѣмъ машинообразно свои обычныя дѣла: въ назначенныя минуты жуетъ бифштексы, говоритъ рѣчи въ парламентѣ, чиститъ ногти, садится въ дилижансъ, или вѣшается.

Вы легко можете представить себѣ, какъ съ каждымъ днемъ все сильнѣе развивалось въ той странѣ мое неудовольствіе. Но ничто не можетъ сравниться съ тѣмъ мрачнымъ настроеніемъ, которое овладѣло мною разъ вечеромъ, когда я стоялъ на Ватерлооскомъ мосту и смотрѣлъ въ глубину Темзы. Мнѣ казалось, что въ водахъ ея отражается моя душа, что она смотритъ на меня оттуда со всѣми своими ранами. При этомъ я припоминалъ самыя печальныя исторіи... Я думалъ о розѣ, которую каждый день поливали уксусомъ и которая отъ этого потеряла свой чудный запахъ и завяла преждевременно... Я думалъ о заблудившемся мотылькѣ, котораго одинъ естествоиспытатель встрѣтилъ на Монбланѣ одиноко порхавшимъ между ледяными стѣнами... Я думалъ о прирученной обезьянѣ, которая совсѣмъ привыкла къ людямъ, и съ ними играла, съ ними ѣла, но узнавши разъ въ жаркомъ, поданномъ къ обѣду, свое собственное дитя, поспѣшно схватила его, унесла въ лѣсъ и больше уже не показывалась къ своимъ друзьямъ-людямъ... Ахъ, душа моя наполнилась такою скорбью, что жгучія слезы полились изъ глазъ... Онѣ упали въ Темзу и унеслись въ океанъ, поглотившій уже столько человѣческихъ слезъ, не обращая на нихъ никакого вниманія.

Въ эту минуту странная музыка прервала мрачныя грезы мои, и, осмотрѣвшись кругомъ, я увидѣлъ на берегу толпу, составившую кружокъ около какого-то занимательнаго зрѣлища. Я подошелъ ближе и увидѣлъ семейство артистовъ, состоявшее изъ слѣдующихъ четырехъ лицъ:

Во-первыхъ, старой коренастой старухи, одѣтой въ черное платье, съ очень маленькою головою и огромнымъ толстымъ животомъ. На этомъ животѣ висѣлъ громадный барабанъ, на которомъ она совсѣмъ безжалостно барабанила.

Во-вторыхъ, карлика, отъ того, какъ французскій маркизъ старого времени въ вышитый кафтанъ, съ большою напудреною головой, но хуѣщавымъ и жиденькимъ тѣломъ онъ игралъ на треугольникѣ и постоянно подпрыгивалъ.

Въ-третьихъ, молодой дѣвушки, лѣтъ пятнадцати, въ коротенькой и узкой шелковой курточкѣ синяго цвѣта съ полосками и тоже полосатыхъ синихъ широкихъ панталонахъ. Это было существо воздушное и граціозное, лицо гречески прекрасное, благородный прямой носъ, мило очерченныя губы, мечтательно мягко округленный подбородокъ, южно оливковый цвѣтъ, волосы блестящаго, чернаго цвѣта, поднятые на вискахъ. Стройная и серьезная, даже немного угрюмая, стояла она и смотрѣла на четвертое лицо компаніи, именно въ это время показывавшее публикѣ свои штуки.

Это четвертое лицо была ученая собака, подававшій большія надежды въ будущемъ пудель; къ великой радости зрителей-англичанъ, она составила изъ деревянныхъ буквъ, положенныхъ предъ нею, имя лорда Веллингтона и прибавила къ нему очень лестный эпитетъ, именно—Heros. Такъ какъ собака, уже судя по ея умной наружности, не могла быть животнымъ англійскимъ, а явилась такъ же, какъ и остальные члены труппы, изъ Франціи, то сыны Альбіона радовались, видя, что ихъ великій полководецъ признанъ, по крайней мѣрѣ, французскими собаками, между тѣмъ какъ остальныя творенія во Франціи такъ постыдно для него отказывались отъ такого признанія.

Дѣйствительно, эту труппу составляли французы, и карликъ, рекомендовавшій себя подъ именемъ monsieur Тюрлютютю, началъ разглагольствовать по-французски и съ такими страстными жестами, что бѣдные англичане разинули рты и подняли носы еще шире и выше обыкновеннаго. По временамъ, послѣ длиннаго періода, онъ подражалъ крику пѣтуха, и бѣдные зрители понимали, конечно, только эти кукуреку, равно какъ и имена многихъ императоровъ, королей и принцевъ, которыми карликъ уснащалъ свою рѣчь. Эти императоры, короли и принцы, по словамъ его, были его покровителями и друзьями. Онъ увѣрялъ, что, будучи еще восьмилѣтнимъ ребенкомъ, имѣлъ долгое совѣщаніе съ покойнымъ королемъ, Людовикомъ XVI, который и впослѣдствіи всегда обращался къ нему за совѣтомъ въ важныхъ случаяхъ. Какъ многіе другіе, онъ спасся бѣгствомъ отъ ужасовъ революціи и возвратился въ милую отчизну только во время имперіи, чтобы раздѣлить славу великой націи. Наполеонъ, говорилъ онъ, никогда не любилъ его; зато его почти обожалъ его святѣйшество папа
і VII. Императоръ Александръ угощалъ его конфетами,
ринцесса фонъ-Кирицъ всегда сажала его къ себѣ на

колѣни. Его свѣтлость, герцогъ Карлъ Брауншвейгскій иногда давалъ ему ѣздить верхомъ на своихъ собакахъ, а его величество король Людовикъ Баварскій читалъ ему свои возвышенныя стихотворенія; принцы Рейсъ-Шлейсъ-Крейтцскій и Шварценбургъ-Зондергаузенскій любили его, какъ брата, и всегда курили изъ одной трубки съ нимъ. Да, съ самаго дѣтства, по его словамъ, онъ жилъ всегда только съ государями; нынѣшніе монархи какъ бы выросли вмѣстѣ съ нимъ, онъ считалъ ихъ своими и надѣвалъ трауръ каждый разъ, какъ кто-нибудь изъ нихъ платилъ долгъ природѣ. Послѣ этихъ важныхъ рѣчей онъ запѣлъ пѣтухомъ.

Monsieur Тюрлютютю былъ одинъ изъ интереснѣйшихъ карликовъ, какихъ только я встрѣчалъ; его старое, сморщенное лицо представляло забавную противоположность съ дѣтски маленькимъ тѣльцемъ, а вся фигура — такую же смѣшную противоположность съ штуками, которыя онъ показывалъ. Именно, онъ становился въ самыя смѣлыя фехтовальныя позы и кололъ въ воздухѣ направо и налѣво безчеловѣчно длинною рапирой, увѣряя честью, что его кварты и тьерсы неотразимы и что своими парадами онъ уничтожитъ всякаго смертнаго, и онъ приглашалъ любого изъ зрителей помѣряться съ нимъ въ благородномъ фехтовальномъ искусствѣ. Поигравъ нѣсколько времени такимъ образомъ и не найдя никого, кто бы пожелалъ вступить съ нимъ въ публичный поединокъ, онъ поклонился съ французскою граціею стараго времени, поблагодарилъ зрителей, удостоившихъ его своихъ похвалъ, и попросилъ почтеннѣйшую публику приготовиться къ такому необыкновенному зрѣлищу, какого еще не было на англійской землѣ. «Видите ли вы эту особу?—спросилъ онъ, надѣвши грязныя лайковыя перчатки и введя въ середину круга, съ почтительною любезностью, молодую дѣвушку, бывшую въ труппѣ; — эта особа mademoiselle Лорансъ, единственная дочь многоуважаемой и почтенной дамы, которую вы видите съ большимъ барабаномъ и которая до сихъ поръ носитъ трауръ по своемъ нѣжно любимомъ супругѣ, величайшемъ европейскомъ вантрилогѣ! Mademoiselle Лорансъ будетъ теперь танцовать. Дивитесь же теперь танцамъ mademoiselle Лорансъ!» Послѣ этой рѣчи карликъ опять запѣлъ пѣтухомъ.

Молодая дѣвушка, казалось, не обращала никакого вниманія ни на эти слова, ни на взгляды зрителей. Сердито углубясь въ самое себя, она оставалась неподвижною до тѣхъ поръ, пока карликъ разостлалъ у ногъ ея большой

коверъ и началъ снова играть на треугольникѣ, съ аккомпанементомъ барабана. Это была странная музыка, смѣшеніе грубаго ворчанія и сладострастнаго щекотанія, и я разслышалъ въ ней напѣвъ патетически дурацкій, грустно дерзкій, странный и вмѣстѣ съ тѣмъ необыкновенно простой. Но всю эту музыку я позабылъ, какъ только молодая дѣвушка начала танцовать.

Танцы и танцовщица совершенно овладѣли моимъ вниманіемъ. Это не былъ классическій танецъ, отличающій до сихъ поръ наши большіе балеты, гдѣ господствуютъ только, какъ и въ классической трагедіи, напыщенныя единства и искусственности; это не были тѣ пляшущіе александрійскіе стихи, тѣ декламаторскіе прыжки, тѣ антитезныя антрша, не была та благородная страсть, которая такъ головокружительно пируэтируетъ на одной ногѣ, что вы не видите ничего, кромѣ неба и трико, ничего, кромѣ идеализаціи и лжи! Правду сказать, мнѣ ничто не противно такъ, какъ парижскій балетъ, въ которомъ сохранилась во всей чистотѣ традиція того классическаго танца, между тѣмъ какъ классическая система въ другихъ искусствахъ, въ музыкѣ, поэзіи и живописи, совершенно отброшена французами. Но имъ трудно будетъ произвести подобный переворотъ въ танцовальномъ искусствѣ, развѣ только и здѣсь, какъ въ своей политической революціи, они пустятъ въ ходъ терроризмъ и будутъ гильотинировать ноги закоренѣлыхъ танцоровъ и танцовщицъ стараго режима. Mademoiselle Лорансъ не была великою танцовщицею, кончики ея пальцевъ не были очень гибки, ноги не были выломаны для всѣхъ возможныхъ позицій, она ничего не смыслила въ томъ танцѣ, которому обучаетъ Вестрисъ, но она танцовала такъ, какъ природа велитъ людямъ танцовать, все существо ея гармонировало съ ея па; не только ноги, но и все тѣло ея танцовало, ея лицо танцовало... По временамъ, щеки ея покрывались блѣдностью, блѣдностью почти смертельною, глаза широко раскрывались, какъ у привидѣнія, на губахъ дрожали вожделѣніе и скорбь, а черные волосы, ложившіеся на виски гладкими начесами, двигались, точно развѣвающіяся крылья ворона. Танецъ ея дѣйствительно не былъ классическимъ танцемъ, но онъ не былъ и романтическимъ, въ томъ смыслѣ, въ которомъ выразился бы молодой французъ школы Евге Рандюэля. Въ этомъ танцѣ не было ни чего средневого, ничего венеціанскаго, ничего макабрскаго, не бы ло ни луннаго свѣта ни грѣха кровосмѣшенія... Э

былъ танецъ, который не старался позабавить наружными движеніями, а эти движенія казались, напротивъ, словами какого-то особеннаго языка, хотѣвшаго сказать что-то особенное. Но что говорилъ этотъ танецъ? Я не могъ понять его, несмотря на всю страстность, съ которой двигался этотъ языкъ. Только иногда могъ я догадываться, что тутъ дѣло шло о чемъ-то ужасномъ и печальномъ. Я, такъ легко понимающій всегда сокрытый смыслъ всѣхъ явленій, никакъ не могъ, однако, разгадать эту протанцованную загадку, и вѣроятно, въ этомъ случаѣ была виновата музыка, которая, конечно, нарочно сбивала меня съ дороги, коварно старалась спутать мои мысли и постоянно мѣшала мнѣ. Треугольникъ monsieur Тюрлютютю хихикалъ порою такъ лукаво! А мадамъ-матушка колотила въ барабанъ съ такимъ гнѣвомъ, что лицо ея блестѣло подъ чернымъ чепчикомъ, словно кровавое сѣверное сіяніе.

Когда труппа удалилась, я долго еще оставался на томъ же мѣстѣ и все думалъ о смыслѣ этого танца. Былъ это танецъ южной Франціи, или народный испанскій? На такой характеръ его указывала необузданность, съ которою танцовщица бросалась то въ ту, то въ другую сторону, и дикость, съ какою она по временамъ закидывала назадъ голову, подобно преступно смѣлымъ движеніямъ вакханокъ, возбуждающимъ наше удивленіе на рельефахъ античныхъ вазъ. Въ это время танецъ ея становился чѣмъ-то безсознательнымъ, какъ въ минуты опьянѣнія, чѣмъ-то мрачно неотразимымъ, чѣмъ-то фаталистическимъ; она танцовала, какъ судьба. Не былъ ли это отрывокъ изъ какой-нибудь древней, исчезнувшей пантомимы? Или это былъ только танцуемый разсказъ изъ частной жизни?.. Иногда молодая дѣвушка наклонялась къ землѣ, будто прислушиваясь, не несется ли къ ней подземный голосъ... И въ эти минуты она дрожала, какъ осиновый листъ, быстро перелетала въ другую сторону и дѣлала тамъ прыжки самые безумные, самые необузданные, потомъ снова склоняла къ землѣ ухо, прислушивалась еще тревожнѣе, чѣмъ прежде, кивала головою, краснѣла, блѣднѣла, вздрагивала, стояла нѣсколько мгновеній прямо, какъ свѣча, неподвижно, какъ камень, и наконецъ дѣлала жестъ, будто умывала руки. Не кровь ли смывала она съ нихъ такъ старательно долго, такъ зловѣще старательно?.. При этомъ она кинула въ сторону взглядъ, такой умоляющій, такой трогательный взглядъ... *случайно* этотъ взглядъ упалъ на меня...

Всю слѣдующую ночь я думалъ объ этомъ взглядѣ, объ этомъ танцѣ, о странной музыкѣ, и когда, на другой день утромъ, по обыкновенію, пошелъ бродить по улицамъ Лондона, меня охватило страстное желаніе еще разъ встрѣтить красавицу-танцовщицу, и все прислушивался я — не раздадутся ли гдѣ-нибудь звуки барабана и треугольника. Наконецъ-то я нашелъ въ Лондонѣ вещь, занимавшую меня, и не бродилъ уже безъ цѣли по его зѣвающимъ улицамъ.

Однажды я вышелъ изъ Тоуэра, гдѣ внимательно разсматривалъ топоръ, обезглавившій Анну Болленъ, брилліанты англійской короны и львовъ — какъ вдругъ, на площади, посреди большой толпы, увидѣлъ мадамъ-матушку съ большимъ барабаномъ и услыхалъ пѣтушиный крикъ monsieur Тюрлютютю. Ученая собака опять стала складывать имя героя Веллингтона, карликъ снова показалъ свои неотразимые тѣрсы и кварты, и Лорансъ снова понеслась въ своемъ загадочномъ танцѣ. Это были опять тѣ же загадочныя движенія, тотъ же языкъ, который говорилъ что-то, чего я не понималъ, то же порывистое опрокидываніе назадъ головы, то же внимательное наклоненіе къ землѣ, ужасъ и стараніе успокоиться отъ него все болѣе и болѣе безумными прыжками, потомъ снова прислушиваніе къ какому-то подземному голосу, дрожь, блѣдность, окаменѣніе, опять таинственно ужасное омовеніе рукъ и, наконецъ,—умоляющій взглядъ, который на этотъ разъ дольше, чѣмъ прежде, остановился на мнѣ.

Да, женщины, молодыя дѣвушки такъ же, какъ и замужнія, сразу замѣчаютъ, когда мужчина обращаетъ на нихъ вниманіе. Хотя mademoiselle Лорансъ, въ то время, когда она не танцовала, стояла неподвижно, и съ сердитымъ видомъ, и хотя, танцуя, она бросала по временамъ только одинъ взглядъ на окружающихъ, но съ этихъ поръ этотъ взглядъ не случайно только падалъ на меня, и чѣмъ чаще я видѣлъ ее танцующею, тѣмъ выразительнѣе, но и тѣмъ непонятнѣе сверкалъ онъ. Я былъ точно околдованъ этимъ взглядомъ и три недѣли съ утра до вечера бродилъ по лондонскимъ улицамъ, останавливаясь вездѣ, гдѣ танцовала mademoiselle Лорансъ. Даже при самомъ сильномъ шумѣ толпы я на самомъ далекомъ разстояніи могъ различать звуки барабана и треугольника, и monsieur Тюрлютютю, какъ только я подходилъ къ нимъ, подымалъ самый привѣтливый пѣтушиный крикъ. Не сказавши ни разу ни слова ни съ нимъ, ни съ mademoiselle Лорансъ, ни съ madame-матушкой, ни

съ ученой собакой, я, между тѣмъ, наконецъ сдѣлался будто членомъ ихъ труппы. Когда monsieur Тюрлютютю ходилъ собирать деньги съ зрителей, то съ тончайшимъ тактомъ велъ себя относительно меня и всегда поворачивалъ голову въ другую сторону въ то время, какъ я бросалъ мелкую монету въ его треугольную шляпу. Пріемы его дѣйствительно были аристократически приличны, они напоминали собою хорошія манеры стараго времени, видно было, что онъ выросъ въ компаніи монарховъ, и тѣмъ болѣе страннымъ казалось, что онъ, совершенно забывая иногда свое достоинство, пѣлъ пѣтухомъ.

Не могу выразить вамъ, какъ тяжело мнѣ стало, когда однажды, послѣ безуспѣшныхъ трехдневныхъ поисковъ по лондонскимъ улицамъ, я догадался наконецъ, что маленькая труппа уѣхала изъ города. Скука опять охватила меня своими свинцовыми руками и опять сдавила мое сердце. Наконецъ положеніе мое сдѣлалось невыносимымъ, я простился съ мобомъ, съ черною гвардіей, англійскими джентльменами и фешенебелями, съ четырьмя сословіями государства—и уѣхалъ обратно на образованный материкъ, гдѣ благоговѣйно сталъ на колѣни передъ первымъ, попавшимся мнѣ навстрѣчу, поваромъ въ бѣломъ передникѣ. Тутъ я опять могъ обѣдать, какъ разумное твореніе, и радоваться смотря на добродушныя, безкорыстныя лица. Но mademoiselle Лорансъ я никакъ не могъ совершенно позабыть, она долго еще танцовала въ моихъ воспоминаніяхъ, и въ часы уединенія я часто думалъ о загадочной пантомимѣ прекраснаго дитяти, особенно о томъ, какъ она прислушивалась къ подземному голосу. Прошло также довольно времени прежде чѣмъ странные звуки треугольника и барабана замерли въ моей памяти.

— И это вся ваша исторія?—вскричала Марія, порывисто поднимаясь.

Но Максиміанъ нѣжно уложилъ ее и, выразительно прикладывая палецъ къ губамъ, сказалъ:

— Тише, тише, ни слова! Лежите спокойнѣе, и вы узнаете окончаніе исторіи. Только ради Бога не прерывайте меня!

Потомъ, усѣвшись покойнѣе въ креслахъ, онъ продолжалъ свой разсказъ:

— Черезъ пять лѣтъ послѣ этого происшествія, я пріѣхалъ въ первый разъ въ Парижъ — и въ замѣчательное время. Французы только-что окончили представленіе своей історической революціи, и вселенная аплодировала имъ. Эта пье-са

не была такъ страшна, какъ предшествовавшія ей трагедіи республики и имперіи. На полѣ битвы осталось только нѣсколько тысячъ труповъ. Но политическіе романтики были не совсѣмъ довольны этимъ и обѣщали представить новую пьесу, гдѣ потечетъ больше крови и гдѣ палачу будетъ больше работы.

Парижъ очень утѣшилъ меня своею веселостью, которая проявляется тамъ во всемъ и оказываетъ вліяніе даже на самыхъ мрачныхъ людей. Странно! Парижъ — сцена, на которой разыгрываются самыя великія трагедіи всемірной исторіи, трагедіи, воспоминаніе о которыхъ заставляетъ дрожать и плакать жителей даже отдаленнѣйшихъ странъ; но зритель этихъ великихъ трагедій испытываетъ въ самомъ Парижѣ то же самое, что̀ испыталъ я однажды въ Сенмартенскомъ театрѣ, при представленіи пьесы «La tour de Nesle». Я сидѣлъ позади дамы въ газовой розовой шляпкѣ; эта шляпка была такъ велика, что совершенно загораживала мнѣ сцену, и я видѣлъ всю трагедію только сквозь ея розовый газъ; такимъ образомъ, всѣ ужасы «Tour de Nesle» являлись мнѣ въ самомъ веселомъ, розовомъ свѣтѣ. Да, въ Парижѣ есть такой розовый свѣтъ, благодаря которому всѣ трагедіи представляются близкому зрителю далеко не такъ страшными для того, чтобы онъ могъ спокойно наслаждаться жизнью. Даже черныя мысли, пріѣзжающими въ Парижъ привозимыя въ собственномъ сердцѣ, теряютъ здѣсь свой мучительный характеръ. Горести утихаютъ здѣсь удивительно скоро. Всѣ раны залѣчиваются въ этомъ парижскомъ воздухѣ скорѣе, чѣмъ во всякомъ другомъ мѣстѣ. Этотъ воздухъ носитъ въ себѣ что-то великодушное, сострадательное, отрадное, какъ самый народъ.

Больше всего нравились мнѣ въ этомъ народѣ вѣжливые пріемы и аристократическое изящество. О, благоуханіе вѣжливости, подобное запаху ананаса!.. Какъ благотворно освѣжило ты мою больную душу, напитавшуюся въ Германіи такимъ количествомъ табачнаго дыма, запаха капусты и грубости! Россиніевскими мелодіями зазвучали въ моихъ ушахъ вѣжливыя извиненія француза, который, въ день моего прибытія, слегка толкнулъ меня на улицѣ. Я почти [illegible]ался такой милой обходительности, я, чьи бока привыкъ мужицкимъ нѣмецкимъ толчкамъ безъ всякаго [illegible]нія. Въ первую недѣлю моего пребыванія въ Парижѣ, [illegible]о старался, чтобъ меня толкали, единственно съ [illegible]слаждать слухъ этою музыкою извиненій. Впрочемъ,

не только вѣжливость французовъ, но и языкъ ихъ были причиною, что этотъ народъ, въ моихъ глазахъ, носилъ на себѣ извѣстную печать аристократичности; потому что, какъ вы знаете, у насъ, на сѣверѣ, французскій языкъ составляетъ одну изъ принадлежностей высшаго сословія, и съ самаго дѣтства моего съ говоромъ на этомъ языкѣ слито для меня понятіе объ аристократичности. И любая парижанка съ рынка говорила по-французски лучше нѣмецкой графини, имѣющей шестьдесятъ четыре предка.

Этотъ языкъ, сообщающій французскому народу такую аристократичность, придавалъ ему въ моихъ глазахъ что-то очаровательно сказочное. Причина этого заключалась въ другомъ воспоминаніи дѣтства. Именно, первая книга, въ которой я выучился читать по-французски, была басни Лафонтена; простодушно разумные обороты ихъ языка врѣзались неизгладимо въ мою память, и, пріѣхавъ въ Парижъ, слыша на каждомъ шагу французскій языкъ, я постоянно вспоминалъ Лафонтеновскія басни, и мнѣ казалось, что я слышу знакомые голоса животныхъ. Со мной говорили то левъ, то волкъ, то ягненокъ, то журавль, то голубка. Часто слышалъ я и лисицу, и въ моей памяти пробуждались по временамъ слова:

Eh, bonjour, monsieur du corbeau,
Que vous êtes joli! que vous me sem-
blez beau!

Но такія сказочныя воспоминанія стали являться въ душѣ моей еще гораздо чаще, когда я проникъ въ Парижѣ въ ту высшую сферу, которая называется свѣтомъ; это былъ вѣдь, именно, тотъ самый свѣтъ, въ которомъ Лафонтенъ почерпнулъ типы своихъ животныхъ. Скоро послѣ моего пріѣзда начался зимній сезонъ, и я сталъ жить жизнью гостиныхъ, въ которую «свѣтъ» бросается съ большею или меньшею охотою. Какъ интереснѣйшее въ этой жизни поразила меня не столько одинаковость тонкости обращенія, сколько различіе составныхъ частей ея. Часто наблюдая за людьми, мирно сидѣвшими въ большой гостиной, я будто видѣлъ себя въ тѣхъ магазинахъ рѣдкостей, гдѣ драг ные остатки всѣхъ временъ лежатъ въ безпорядкѣ подлѣ другой: греческій Аполлонъ рядомъ съ китайско годой, мексиканскій Вицлипутцли подлѣ готическаго homo, египетскіе идолы съ собачьими головами, фетиш дерева, слоновой кости, металла и проч. Въ этихъ

ихъ я видѣлъ старыхъ мускетеровъ, танцовавшихъ когда-
съ Маріею-Антуанетою, республиканцевъ, которыхъ обо-
ли въ Національномъ Собраніи, монтаньяровъ, безжа-
стныхъ и безукоризненныхъ, прежнихъ членовъ Директорій,
рившихъ въ Люксембургѣ, высшихъ сановниковъ имперіи,
едъ которыми дрожала вся Европа, властительныхъ іезуи-
въ реставраціи—словомъ, всѣ божества разныхъ временъ,
асшія и исковерканныя и въ которыя никто больше не
ритъ. Имена ихъ воюютъ при соприкосновеніи одного съ
угимъ, но сами люди стоятъ мирно и дружески другъ
длѣ друга, какъ старинныя рѣдкости въ вышеупомянутыхъ
вкахъ Вольтеровской набережной. Въ странахъ германскихъ, гдѣ страсти поддаются меньшей дисциплинѣ, совмѣстная общественная жизнь столькихъ разнохарактерныхъ ществъ, была бы нѣчто совершенно невозможное. Да кромѣ го, на нашемъ холодномъ сѣверѣ потребность разговора такъ сильна, какъ въ теплой Франціи, гдѣ самые непримиримые враги, встрѣчаясь въ гостиной, не могутъ долго анить мрачное молчаніе. Притомъ, желаніе нравиться у анцузовъ такъ велико, что они усердно стараются нра-иться не только друзьямъ своимъ, но и врагамъ; они то и ло драпируются и кокетничаютъ, и для женщинъ немало-жный трудъ—превзойти мужчинъ въ кокетствѣ; онѣ, одна-ко-жъ, все-таки, успѣваютъ въ этомъ.

Это замѣчаніе не заключаетъ въ себѣ, конечно, ничего биднаго; особенно ничего обиднаго для француженокъ, и ужъ какъ для парижанокъ. Вѣдь я самый ревностный поклон-никъ ихъ и гораздо больше чту ихъ за недостатки, чѣмъ добродѣтели. По-моему, нѣтъ ничего удачнѣе легенды, го парижанки рождаются на свѣтъ со всѣми возможными ороками, но добрая фея изъ состраданія къ нимъ каждому ороку придаетъ какую-нибудь прелесть, вслѣдствіе чего нъ даже дѣйствуетъ, какъ новое обаяніе. Эта благодѣтель-ая волшебница—грація. Хороши ли собою парижанки? то это знаетъ? Кто проникнетъ во всѣ интриги туалета, то отличитъ истинное въ томъ, что̀ проглядываетъ сквозь юль, и поддѣльное въ томъ, что̀ хвастливо разукрашено лотною шелковою матеріею? А если взгляду и удастся ройти сквозь эту кору, и мы уже почти дошли до самаго ерна, то оно вдругъ закроетъ себя новою корою, потомъ пять новою, и, съ помощью этой постоянной перемѣны ода, онѣ совершенно сбиваютъ съ толку проницательный зглядъ мужчины. Хороши ли, по крайней мѣрѣ, ихъ лица?

И это трудно узнать. Такъ какъ черты ихъ находятся въ постоянномъ движеніи, то у каждой парижанки тысяча лицъ, одно веселѣе, умнѣе, привлекательнѣе другого, и затруднительно положеніе человѣка, который хочетъ выбрать самое красивое изъ этихъ лицъ, или угадать, какое между ними настоящее. Большіе ли глаза у парижанокъ? Кто знаетъ! Вѣдь мы не измѣряемъ калибра пушки въ ту минуту, какъ ядро ея срываетъ съ насъ голову. А когда эти глаза не убиваютъ, то они по крайней мѣрѣ ослѣпляютъ своимъ огнемъ, и счастливъ тотъ, кто находится внѣ ихъ выстрѣловъ. Пространство между носомъ и губами у нихъ широко или узко? Иногда широко, когда онѣ вздернутъ носъ; иногда узко, когда верхняя губа капризно поднимается. Великъ или малъ ротъ ихъ? Кто опредѣлитъ, гдѣ оканчивается ротъ, гдѣ начинается улыбка? Чтобы вѣрно судить объ этомъ, нужно, чтобы наблюдатель и предметъ наблюденія были совершенно покойны. Но кто въ состояніи остаться покойнымъ подлѣ парижанки, и какая парижанка когда-либо покойна? Есть люди, которымъ кажется, что они могутъ хорошо разсмотрѣть бабочку, приколовъ ее къ бумагѣ булавкою. Это столь же безумно, сколько жестоко. Бабочка, приколотая и неподвижная, уже не бабочка. Нужно смотрѣть на нее, когда она порхаетъ по цвѣтамъ; также точно нужно смотрѣть на парижанку не въ семейномъ кругу, гдѣ она прикрѣплена булавкою въ груди, но въ гостиной, на вечерахъ и балахъ, когда она летаетъ на вышитыхъ шелковыхъ и газовыхъ крыльяхъ при блестящемъ свѣтѣ хрустальныхъ жирандолей! Въ эти-то минуты раскрываются въ ней нетерпѣливая любовь къ жизни, желаніе сладостнаго забытья, жажда опьяненія, и все это придаетъ ей еще большую, почти ужасающую прелесть, которая вмѣстѣ восхищаетъ и пугаетъ нашу душу.

Эта жажда наслаждаться жизнью, точно смерть должна чрезъ нѣсколько минутъ унести ихъ изъ кипучаго источника наслажденій, или точно этотъ источникъ долженъ сейчасъ же изсякнуть, эта торопливость, это неистовство, это безуміе парижанокъ напоминаютъ мнѣ всегда преданіе о мертвыхъ танцовщицахъ, которыя у насъ называются виллисами. Онѣ—молодыя невѣсты, умершія до свадьбы своей, но въ сердцѣ такъ живо сохранившія неудовлетворенную страсть къ танцамъ, что по ночамъ выходятъ изъ гробовъ, собираются кружками на большихъ дорогахъ и въ полночный часъ предаются самымъ дикимъ плескамъ. Одѣтыя въ подвѣ-

нечныя платья, увѣнчанныя цвѣтами, украсивъ мертвенно блѣдныя руки блестящими кольцами, страшно улыбаясь, неодолимо прекрасныя, пляшутъ виллисы при свѣтѣ мѣсяца, и пляшутъ тѣмъ страстнѣе и быстрѣе, чѣмъ больше чувствуютъ, что данный имъ для пляски часъ истекаетъ, и онѣ снова должны сойти въ свои холодныя, какъ ледъ, могилы.

Всѣ эти мысли сильно волновали мою душу на одномъ вечерѣ, въ Шоссе д'Антенской улицѣ. Это было великолѣпное собраніе, гдѣ были соединены всѣ традиціонныя условія для увеселенія общества: достаточно свѣчей, чтобы быть освѣщенными, достаточно зеркалъ, чтобы смотрѣться въ нихъ, достаточно людей, чтобы задыхаться отъ тѣсноты, достаточно сироповъ и сорбетовъ для освѣженія. Сначала занялись музыкою. Францъ Листъ подошелъ къ фортепьяно, закинулъ волосы на свой геніальный лобъ и далъ одно изъ самыхъ блестящихъ сраженій своихъ. Клавиши, казалось, истекали кровью. Если я не ошибаюсь, онъ игралъ отрывокъ изъ «Палингенезіи» Балланша, идеи которой онъ перевелъ въ звуки—вещь очень полезная для тѣхъ, которые не могутъ читать въ подлинникѣ творенія этого знаменитаго писателя. Потомъ онъ сыгралъ la marche au supplice—отправленіе на казнь—Берліоза, превосходную пьесу, которую этотъ молодой композиторъ сочинилъ, если не ошибаюсь, въ утро дня своей свадьбы. Во всей залѣ блѣдныя лица, волнующіяся груди, прерывистое дыханіе во время паузъ—и наконецъ шумныя рукоплесканія. Женщины всегда точно опьянены, когда Листъ сыграетъ имъ что-нибудь. Съ болѣе безумною радостью понеслись послѣ этого въ танцахъ онѣ, виллисы гостиныхъ, и я, стѣсненный толпою, едва могъ пробраться въ сосѣднюю комнату. Тамъ играли въ карты, а въ большихъ креслахъ отдыхало нѣсколько дамъ, смотрѣвшихъ на игроковъ, или по крайней мѣрѣ показывавшихъ видъ, что игра интересуетъ ихъ. Проходя около одной изъ этихъ дамъ и дотронувшись нечаянно рукою до ея платья, я почувствовалъ въ рукѣ легкое сотрясеніе, какъ отъ очень слабаго электрическаго удара, пробѣжавшее отъ кисти руки до самаго плеча. Но оно еще сильнѣе пробѣжало
му моему сердцу, когда я увидѣлъ лицо женщины.
а или не она? Я узналъ то же самое лицо, похожее
ичное изображеніе формою и южнымъ цвѣтомъ, только
шее немного прежнюю мраморную чистоту и мра-
гладкость. Опытнымъ глазомъ можно было разли-
лбу и на щекахъ маленькія крапинки. можетъ-быть,

легкіе слѣды оспы, похожіе на пятнышки, встрѣчающіяся на лицахъ тѣхъ статуй, которыя долго стояли подъ открытымъ небомъ во время непогоды. То были и тѣ же самые черные волосы, ложившіеся на виски гладкими начесами, будто крылья ворона. Но когда глаза ея встрѣтились съ моими, когда при этомъ упалъ на меня этотъ знакомый косвенный взглядъ, быстрый блескъ котораго такъ загадочно всегда поражалъ мою душу, я пересталъ сомнѣваться: это была mademoiselle Лорансъ.

Гордо полулежа въ креслѣ, держа въ одной рукѣ букетъ, а другою опираясь на ручку кресла, mademoiselle Лорансъ смотрѣла на одинъ изъ сосѣднихъ ломберныхъ столовъ и, казалось, вся погрузилась въ наблюденіе за игрою. Одѣта она была изящно и благородно, но совсѣмъ просто, въ бѣломъ атласѣ. Кромѣ жемчужныхъ брошки и браслетовъ, на ней не было никакихъ другихъ украшеній. Кружева въ изобиліи покрывали ея молодую грудь, почти пуритански укутывали ее до самой шеи, и въ этой простой, цѣломудренной одеждѣ она представляла трогательную, милую противоположность съ нѣсколькими пожилыми дамами, которыя, сидя около нея, блестѣли алмазами и пестрыми украшеніями и показывали всѣмъ меланхолически обнаженныя развалины своего прежняго величія—мѣсто, гдѣ нѣкогда стояла Троя. Лицо Лорансъ попрежнему было удивительно красиво и восхитительно сердито: непреодолимое чувство влекло меня къ ней, и, наконецъ, я сталъ за ея кресломъ, сгорая желаніемъ говорить съ нею, но сдерживая себя изъ робкой деликатности.

Нѣсколько времени я стоялъ безмолвно, какъ вдругъ она вынула цвѣтокъ изъ своего букета и, не глядя на меня, протянула мнѣ его черезъ плечо. Страненъ былъ запахъ этого цвѣтка, и какое-то своеобразно чарующее дѣйствіе произвелъ онъ на меня. Я почувствовалъ себя освобожденнымъ отъ всѣхъ свѣтскихъ формальностей, почувствовалъ себя какъ-будто во снѣ, когда мы говоримъ и дѣлаемъ всяческія вещи, которымъ сами удивляемся, и когда слова наши принимаютъ характеръ дѣтскій, простой и интимный. Съ спокойнымъ, равнодушнымъ и небрежнымъ видомъ, въ бесѣдѣ съ старыми друзьями, я облокотился на спинку кресла и сказалъ на ухо молодой женщинѣ: «Mademoiselle Лорансъ, гдѣ же ваша матушка съ барабаномъ?»

— Она умерла,—отвѣчала она такимъ же спокойнымъ, равнодушнымъ, небрежнымъ тономъ.

Послѣ небольшого молчанія, я опять наклонился и сказалъ на ухо молодой женщинѣ:—«Mademoiselle Лорансъ, гдѣ же ученая собака?»

— Ушла и бѣгаетъ по свѣту,—отвѣчала она снова тѣмъ же спокойнымъ, равнодушнымъ и небрежнымъ тономъ.

Потомъ, опять послѣ небольшого молчанія, я наклонился и сказалъ на ухо молодой женщинѣ:—«Mademoiselle Лорансъ, гдѣ же карликъ, monsieur Тюрлютютю?»

— Онъ у великановъ на Тампльскомъ бульварѣ,—отвѣчала она.

Но только-что она произнесла эти слова, и все тѣмъ же спокойнымъ, равнодушнымъ и небрежнымъ тономъ, какъ къ ней подошелъ старый господинъ высокаго роста, съ серьезнымъ выраженіемъ и съ военною осанкою, и объявилъ, что карета ея подана. Поднявшись медленно съ креселъ, она оперлась на руку этого господина и, не бросивъ на меня ни одного взгляда, уѣхала.

Я подошелъ къ хозяйкѣ дома, стоявшей весь вечеръ у входа въ гостиную и улыбавшейся всѣмъ входящимъ и выходящимъ, и спросилъ у нея объ имени молодой дамы, только-что уѣхавшей со старымъ господиномъ; но она очень мило расхохоталась и сказала: «Боже мой! Развѣ можно знать имена всѣхъ? Я такъ же мало знаю эту даму, какъ и...» Она остановилась, потому что, вѣроятно, хотѣла сказать: «такъ же мало, какъ и васъ»; я былъ въ первый разъ въ ея домѣ.

— Можетъ-быть,—спросилъ я у нея:—вашъ мужъ удовлетворитъ моему любопытству; гдѣ мнѣ найти его?

— На охотѣ, въ Сенъ-Жерменѣ, — отвѣтила хозяйка, смѣясь еще сильнѣе;—онъ уѣхалъ сегодня утромъ и возвратится только завтра вечеромъ... Впрочемъ, погодите, я знаю здѣсь одного человѣка, много говорившаго съ этою дамой; имя его мнѣ неизвѣстно, но вы его очень легко отыщете: спросите только, гдѣ молодой человѣкъ, котораго Казимиръ Перье ударилъ, не знаю куда, ногою.

Какъ ни трудно узнать человѣка по пинку, который онъ получилъ отъ министра, но я скоро отыскалъ этого господина и попросилъ у него болѣе подробныхъ свѣдѣній о заочномъ существѣ, интересовавшемъ меня, и которое я хотѣлъ нарисовать ему довольно явственно. «Да,—сказалъ молодой человѣкъ:—я очень хорошо знакомъ съ нею; мы встрѣчались на многихъ вечерахъ».—И онъ передалъ мнѣ [illegible] пустые разговоры, которыми онъ занималъ ее. Осо-

бенно удивлялъ его серьезный взглядъ, который она бросала на него каждый разъ, какъ онъ говорилъ ей комплиментъ. Непонятнымъ казалось ему и то, что она всегда отклоняла его предложеніе протанцовать контрдансъ, увѣряя, что не умѣетъ танцовать. Ни имени ея, ни общественнаго положенія онъ не зналъ. И, кого бы я ни разспрашивалъ, никто не могъ дать мнѣ точныхъ свѣдѣній. Напрасно я являлся на всевозможные вечера, нигдѣ уже не встрѣчалъ я больше Лорансъ.

— И это вся исторія?—спросила Марія, медленно поворачиваясь и зѣвая:—это вся ваша удивительная исторія? И вы больше не встрѣчали ни матушку съ ея барабаномъ, ни mademoiselle Лорансъ, ни карлика Тюрлютютю, ни ученую собаку?

— Лежите покойно,—отвѣчалъ Максимиліанъ:—я увидѣлъ снова всѣхъ ихъ, даже ученую собаку. Правда, я встрѣтилъ несчастное животное въ Парижѣ въ очень несчастную для него минуту. Это было въ Латинскомъ кварталѣ. Я проходилъ передъ зданіемъ Сорбонны, когда изъ воротъ его выскочила собака, за нею человѣкъ двѣнадцать студентовъ съ палками, потомъ двѣ дюжины старухъ, и всѣ они хоромъ кричали: бѣшеная собака! Несчастное животное, чуя близкую смерть, смотрѣло почти человѣческимъ взоромъ, точно слезы текли изъ глазъ его; и когда она, задыхаясь, пробѣжала подлѣ меня, и я увидѣлъ ея влажный взглядъ, то сейчасъ же узналъ моего стараго друга—ученую собаку, панегириста лорда Веллингтона, ту самую, которая внушала такое удивленіе англійскому народу. Можетъ-быть, она дѣйствительно взбѣсилась? Можетъ-быть, она потеряла разсудокъ отъ излишества учености, когда продолжала заниматься наукой въ Латинскомъ кварталѣ? Или, можетъ-быть, ворчаньемъ и лаемъ она высказала свое неодобреніе шарлатанству какого-нибудь надутаго профессора, и онъ, чтобы избавиться отъ непріятнаго слушателя, объявилъ ее бѣшеной? Но—увы!—молодежь недолго разсуждаетъ, кѣмъ впервые издается восклицаніе: «собака взбѣсилась!»—обиженнымъ ли ученымъ педантизмомъ, или соперничествомъ по ремеслу; она принимается колотить своими безсмысленными палками, а тутъ старухи подоспѣваютъ со своимъ воемъ и заглушаютъ голосъ невинности и разсудка. Мой бѣдный другъ палъ; въ моихъ глазахъ его убили, надъ нимъ поругались и бросили, наконецъ, его на навозную кучу. Бѣдный мученикъ науки!

Не менѣе печальнымъ оказалось положеніе карлика

monsieur Тюрлютютю, когда я нашелъ его на Тампльскомъ бульварѣ. Хотя mademoiselle Лорансъ и сказала мнѣ, что онъ живетъ тамъ, но потому ли, что я не думалъ его серьезно розыскивать, или толпа мѣшала мнѣ, только я, уже много времени спустя, замѣтилъ палатку, въ которой показывались великаны. Когда я вошелъ туда, два высокихъ лѣнтяя, праздно развалившіеся на скамейкахъ, поспѣшно встали и приняли позы великановъ. На самомъ дѣлѣ они совсѣмъ не были такъ высоки ростомъ, какъ хвастливо возвѣщала вывѣска. Это были длинные бездѣльники, одѣтые въ розовое трико, носившіе огромные и, можетъ-быть, поддѣльные, черные бакенбарды, и махавшіе надъ головами выдолбленными деревянными дубинами. Я спросилъ о карликѣ, о которомъ тоже извѣщала вывѣска, и великаны отвѣчали мнѣ, что онъ очень боленъ и поэтому уже съ мѣсяцъ не показывается публикѣ; но что я могу видѣть его, если заплачу за входъ вдвое. Съ какимъ удовольствіемъ платимъ мы вдвое, чтобы увидѣть стараго друга! А этотъ другъ лежалъ на смертномъ одрѣ! Этотъ смертный одръ составляла собственно дѣтская колыбель, и въ ней лежалъ бѣдный карликъ съ старческимъ, желто сморщеннымъ лицомъ. Маленькая дѣвочка, лѣтъ четырехъ, сидя подлѣ него, качала ногою колыбель и пѣла, смѣясь:

«Спи, Тюрлютютюша, спи!»

Замѣтивъ меня, карликъ раскрылъ, сколько могъ, свои потухшіе стеклянные глаза, и поблѣднѣвшія губы его подернулись печальной улыбкою. Онъ, какъ видно, тотчасъ же узналъ меня, протянулъ мнѣ высохшую ручонку и чуть слышно прохрипѣлъ: «Мой старый другъ!»

Дѣйствительно, грустно было положеніе, въ которомъ я засталъ человѣка, имѣвшаго уже на восьмомъ году жизни долгое совѣщаніе съ Людовикомъ XVI, человѣка, котораго царь Александръ кормилъ конфетами, качала на колѣняхъ принцесса Кирицкая, который ѣздилъ на собакахъ герцога Брауншвейгскаго, которому читалъ свои стихи король Баварскій, съ которымъ германскіе принцы курили изъ одной трубки, котораго обожалъ папа и никогда не любилъ Наполеонъ. Это послѣднее обстоятельство огорчало несчастнаго на смертномъ одрѣ его, или, какъ я сказалъ, въ его мертвой колыбели,—и онъ плакалъ о трагической судьбѣ стараго императора, никогда не любившаго его, но въ тажалкомъ положеніи окончившаго жизнь на островѣ

св. Елены. «Совершенно такъ, какъ кончаю теперь я,—прибавилъ карликъ: — одинокій, непризнанный, оставленный всѣми королями и принцами, жалкій образъ прошедшаго величія!»

Хотя я и не совсѣмъ хорошо понялъ, какъ карликъ, умирающій между великанами, могъ сравнивать себя съ великаномъ, умершимъ среди карликовъ, но, все-таки я былъ тронутъ словами бѣднаго Тюрлютютю и особенно его одиночествомъ въ послѣднія минуты. Я не могъ не выразить ему моего удивленія тому, что mademoiselle Лорансъ, ставшая большою барыней, не заботилась о немъ. Но чуть только я произнесъ это имя, какъ съ карликомъ въ колыбели сдѣлались страшнѣйшія судороги, и своими бѣлыми губами онъ пропищалъ: «Неблагодарное дитя! Я воспиталъ тебя, хотѣлъ возвысить въ санъ моей супруги, училъ, какъ должно обращаться съ великими міра сего, какъ улыбаться, какъ кланяться при дворѣ, какъ представляться... Ты хорошо воспользовалась моими уроками, ты сдѣлалась большою барыней, ты имѣешь теперь карету и лакеевъ, и много денегъ, и много гордости, и мало сердца... Ты допускаешь меня умирать здѣсь, умирать одинокимъ и несчастнымъ, какъ Наполеонъ на св. Еленѣ. О, Наполеонъ! ты никогда не любилъ меня!» Слѣдующихъ словъ карлика я не могъ разобрать. Онъ поднялъ голову, сдѣлалъ рукою нѣсколько движеній, будто фехтовалъ съ кѣмъ-то, можетъ-быть, со смертью. Но съ косою этого противника не совладаетъ никто: ни Наполеонъ, ни Тюрлютютю. Всѣ маневры противъ него безполезны. Истомленный, будто побѣжденный, карликъ снова опустилъ голову, долго смотрѣлъ на меня неописуемо призрачнымъ взглядомъ, вдругъ запѣлъ пѣтухомъ и умеръ.

Смерть эта тѣмъ болѣе огорчила меня, что умершій не сообщилъ мнѣ никакихъ болѣе подробныхъ свѣдѣній о mademoiselle Лорансъ. Гдѣ теперь мнѣ найти ее? Я не былъ влюбленъ въ нее, и никакое особенно сильное чувство не влекло меня къ ней, а между тѣмъ, таинственное желаніе подстрекало меня искать ее повсюду. Войдя въ какую-нибудь гостиную, осмотрѣвъ общество и не встрѣтивъ хорошо знакомаго лица, я терялъ тотчасъ же всякое спокойствіе и немедленно уходилъ. Разъ ночью я стоялъ у театра, думая о своемъ чувствѣ и поджидая фіакра, но поджидая очень сердито, потому что шелъ сильный дождь. Но фіакровъ не было, а были только чужія кареты, въ которыхъ владѣльцы ихъ самодовольно усаживались и уѣзжали,

мало-по-малу все совершенно опустѣло вокругъ меня. «Такъ поѣзжайте со мной», сказала, наконецъ, дама, которая, плотно укутавшись въ черную мантилью, тоже простояла нѣсколько времени подлѣ меня въ ожиданіи экипажа и теперь садилась въ него. Голосъ этой женщины заставилъ дрогнуть мое сердце, знакомый косвенный взглядъ опять магически подѣйствовалъ на меня, и мнѣ показалось, что это сонъ, когда я очутился подлѣ mademoiselle Лорансъ въ уютной, покойной каретѣ. Мы не сказали другъ другу ни слова; притомъ же, невозможно было бы разслышать что-нибудь при ужасномъ трескѣ, съ которымъ карета катилась по парижской мостовой. Мы ѣхали очень долго и, наконецъ, остановились передъ воротами большого дома.

Слуги въ блестящихъ ливреяхъ свѣтили намъ на лѣстницѣ и въ длинномъ рядѣ комнатъ. Заспанная горничная, вышедшая къ намъ навстрѣчу, объявила, сильно извиняясь, что каминъ затопленъ только въ красной комнатѣ. Лорансъ знакомъ велѣла ей выйти и сказала мнѣ, смѣясь: «Случай заводитъ васъ сегодня очень далеко; каминъ горитъ только въ моей спальнѣ...»

Въ этой спальнѣ, гдѣ мы скоро остались наединѣ, ярко сверкалъ огонь въ каминѣ, пришедшійся тѣмъ болѣе кстати, что самая комната была очень велика и высока. Въ ней было какъ-то странно пусто. Мебель и украшенія носили на себѣ печать того времени, котораго блескъ кажется намъ теперь до того запыленнымъ, а величіе до того сухимъ, что остатки его вызываютъ какое-то непріятное чувство, если еще не тайную улыбку. Это было именно время имперіи, время золотого орла, гордо развѣвавшихся перьевъ, греческихъ прическокъ, славы, высокихъ тамбуръ-мажоровъ, военныхъ обѣденъ, официальнаго безсмертія, дававшагося указами Монитера, континентальнаго кофе, сдѣланнаго изъ цикорія, и дурного сахара изъ свекловицы, принцевъ и герцоговъ, сдѣлавшихся ими изъ ничего. И однако-жъ, оно все-таки имѣло свою прелесть, это время патетическаго матеріализма: Тальма декламировалъ, Гро рисовалъ, Биготтини танцовала, Грассини пѣла, Мори проповѣдовалъ, Ровиго былъ начальникомъ полиціи, императоръ читалъ Оссіана, Полина Боргезе становилась натурщицей для изваянія Венеры, и притомъ совершенно нагой, потому что комната была хорошо вытоплена, какъ спальня, въ которой я сидѣлъ теперь съ mademoiselle Лорансъ.

Мы усѣлись у камина, мы дружески болтали, и она раз-

сказала мнѣ, вздыхая, что мужъ ея—бонапартовскій герой, который каждый вечеръ на сонъ грядущій угощаетъ ее описаніемъ одного изъ своихъ сраженій; нѣсколько дней назадъ, передъ своимъ отъѣздомъ, онъ водилъ ее въ битву при Іенѣ, человѣкъ онъ очень болѣзненный и едва ли переживетъ русскій походъ. Когда я спросилъ у нея, сколько времени прошло со смерти ея отца, она разсмѣялась и созналась, что никогда не знала его, и что ея такъ-называемая мать никогда не была замужемъ.

— Не была замужемъ!—вскричалъ я: — но вѣдь я самъ видѣлъ ее въ Лондонѣ въ глубокомъ траурѣ по мужѣ.

— О!—отвѣчала Лорансъ: — она двѣнадцать лѣтъ сряду носила черное платье, чтобы внушать состраданіе къ положенію несчастной вдовы, или, можетъ-быть, чтобы соблазнить какого-нибудь дурака, охотника до женитьбы: подъ чернымъ флагомъ она надѣялась скорѣе въѣхать въ пристань брака. Но только смерть сжалилась надъ нею, и она умерла отъ кровотеченія. Я никогда не любила ея, потому что получала отъ нея много побоевъ и мало пищи. Я умерла бы съ голоду, если-бъ monsieur Тюрлютютю не давалъ мнѣ по временамъ тайкомъ хлѣба, но въ награду за это карликъ требовалъ, чтобы я вышла за него замужъ, и когда надежды его лопнули, онъ составилъ союзъ съ моею матерью (я называю ее матерью по привычкѣ), и они стали мучить меня вдвоемъ. Безпрестанно говорили они, что я безполезное твореніе, что ученая собака въ тысячу разъ цѣннѣе меня и моего гадкаго танца. И тутъ они расхваливали собаку на мой счетъ, превозносили ее до небесъ, ласкали, кормили пирожками, бросая мнѣ однѣ крошки. Собака, по ихъ словамъ, была лучшею ихъ подпорою; она очаровывала публику, которая нисколько не интересовалась мною, она должна была кормить меня своими трудами, я ѣла милостыню, которую давала мнѣ собака... Проклятая собака!

— О, не проклинайте ее больше,—сказалъ я, прерывая этотъ взрывъ гнѣва:—она умерла, на моихъ глазахъ умерла...

— Неужели это животное издохло?—вскричала Лорансъ, подпрыгнувъ отъ радости, покрывшей ея лицо румянцемъ.

— И карликъ умеръ,—прибавилъ я.

— Monsieur Тюрлютютю!—вскричала она съ тою же радостью. Но веселое выраженіе мало-по-малу исчезло съ ея лица, и болѣе кроткимъ, почти грустнымъ тономъ она сказала:—Бѣдный Тюрлютютю!

Когда я разсказалъ ей, что карликъ въ предсмертную минуту очень горько жаловался на нее, она пришла въ сильнѣйшее волненіе и стала клясться, что желаніе ея было — обезпечить будущность его, и что она предлагала ему пожизненную пенсію, съ тѣмъ, чтобы онъ жилъ скромно и спокойно гдѣ-нибудь въ провинціи. «Но честолюбивый карликъ,— продолжала Лорансъ: — хотѣлъ остаться въ Парижѣ и даже жить въ моемъ отелѣ: онъ надѣялся черезъ мое посредство возобновить свои старыя связи въ сенъ-жерменскомъ предмѣстьѣ и занять въ обществѣ прежнее блестящее положеніе. Когда я наотрѣзъ отказала ему въ этомъ, то онъ прислалъ сказать мнѣ, что я проклятое привидѣніе, вампиръ, дитя смерти...»

Лорансъ вдругъ остановилась, задрожала всѣмъ тѣломъ и, наконецъ, сказала съ глубокимъ вздохомъ: «Увы! Зачѣмъ не оставили они меня въ могилѣ, подлѣ моей матери!» Я сталъ убѣдительно просить ее объяснить мнѣ эти таинственныя слова; тогда она залилась слезами, дрожа и рыдая, созналась мнѣ, что черная женщина съ барабаномъ, выдававшая себя за ея мать, объявила ей однажды, что слухъ, ходившій насчетъ ея рожденія, не былъ пустою выдумкой. «Дѣло въ томъ, что въ городѣ, гдѣ мы жили,— сказала Лорансъ:—меня всегда называли дитя смерти. Старухи увѣряли, что я была собственно дочь одного тамошняго графа, очень дурно обращавшагося со своею женою и, когда она умерла, похоронившаго ее съ большою пышностью; но, что графиня была въ то время беременна въ послѣдніе дни и только уснула летаргическимъ сномъ; когда воры раскопали могилу, чтобы снять съ умершей богатыя украшенія, то застали ее, живою и въ родахъ; но она умерла тутъ же, и они опять спокойно уложили ее въ гробъ, и взяли дитя, которое и было воспитано ихъ укрывательницею, любовницею великаго чревовѣщателя. И вотъ этому бѣдному ребенку, зарытому въ землю до рожденія, дали съ тѣхъ поръ прозваніе: дитя смерти... О, вы не можете понять, какъ горько было мнѣ уже съ самыхъ малыхъ лѣтъ, когда меня называли этимъ именемъ! Когда вантрилогъ былъ еще живъ и оставался недоволенъ мною, что случалось часто, онъ кричалъ: «Проклятое дитя смерти! Лучше бы я не вынималъ тебя изъ гроба!» Какъ искусный вантрилогъ, онъ умѣлъ такъ измѣнять голосъ, что, казалось, то-то говорилъ изъ-подъ земли, и тогда онъ увѣрялъ меня, что моя умершая мать разсказываетъ мнѣ жизнь свою,

Страшную эту жизнь человѣкъ этотъ могъ знать хорошо, потому что былъ прежде камердинеромъ у графа. Онъ жестоко наслаждался неописаннымъ ужасомъ, который испытывала я, бѣдное дитя, слушая слова, выходившія, казалось, изъ-подъ земли. Эти слова, выходившія, казалось, изъ-подъ земли, разсказывали мнѣ ужасныя вещи, которыхъ я никакъ не могла понять въ ихъ связи, которыя потомъ мало-по-малу и были забыты мною, но снова живо воскресали въ памяти моей каждый разъ, какъ я начинала танцовать. Да, во время танца меня всегда охватывало страшное воспоминаніе, я забывала самое себя, я казалась самой себѣ совсѣмъ другимъ лицомъ, и меня мучили печали и тайны этого другого лица. Но чуть только я переставала танцовать, все изглаживалось изъ моей памяти».

Между тѣмъ, какъ Лорансъ говорила это медленнымъ и странно вопросительнымъ тономъ, она стояла передо мной у камина, въ которомъ огонь горѣлъ все пріятнѣе, а я сидѣлъ въ томъ самомъ креслѣ, на которомъ, вѣроятно, помѣщался мужъ Лорансъ, когда разсказывалъ ей на сонъ грядущій о своихъ битвахъ. Она смотрѣла на меня своими большими глазами и какъ будто спрашивала моего совѣта; она качала головою съ такою грустной задумчивостью; она внушала мнѣ такое сладостное, такое благородное участіе; она была такъ стройна, такъ молода, такъ прекрасна, эта лилія, выросшая изъ могилы, это дитя смерти, это привидѣніе съ лицомъ ангела и тѣломъ баядерки! Не знаю, какимъ образомъ это случилось, можетъ-быть, отъ вліянія кресла, въ которомъ я сидѣлъ,—только я вообразилъ себя старымъ генераломъ, разсказывавшимъ наканунѣ на этомъ самомъ мѣстѣ объ іенскомъ сраженіи, вообразилъ, что долженъ продолжать этотъ разсказъ, и сказалъ:—Послѣ битвы при Іенѣ, всѣ прусскія крѣпости сдались въ теченіе нѣсколькихъ недѣль почти безъ сопротивленія. Первымъ сдался Магдебургъ; онъ былъ самымъ укрѣпленнымъ мѣстомъ, и съ тремя стами пушекъ. Развѣ это не постыдно?

Mademoiselle Лорансъ помѣшала мнѣ продолжать; все черное настроеніе слетѣло съ ея прекраснаго лица, она разсмѣялась, какъ дитя, и вскричала:—О, да, это постыдно больше чѣмъ постыдно! Будь я крѣпостью, да еще вооруженною пушками, я бы никогда не сдалась!

Но такъ какъ Лорансъ не была крѣпостью, и у нея было трехсотъ пушекъ...

При этихъ словахъ Максимиліанъ вдругъ останови

и послѣ небольшого молчанія, спросилъ вполголоса: — Марія, вы спите?

— Сплю,—отвѣчала Марія.

— Тѣмъ лучше,—сказалъ онъ, тонко улыбаясь:—я, значитъ, не наскучу вамъ, если стану описывать подробно, по примѣру нынѣшнихъ романистовъ, мебель комнаты, въ которой я находился.

— Не забудьте только кровать, любезный другъ.

— Дѣйствительно, это была великолѣпная кровать. Ножки ея, какъ и всѣхъ кроватей временъ имперіи, состояли изъ каріатидъ и сфинксовъ, она блестѣла отъ богатой позолоты и особенно отъ золотыхъ орловъ, которые цѣловались, точно горлицы, быть-можетъ, — символъ любви во время имперіи. Занавѣсы кровати были изъ красной шелковой матеріи, и такъ какъ пламя камина очень сильно проникало сквозь нихъ, то я очутился съ Лорансъ въ совершенно огненномъ освѣщеніи и воображалъ себя богомъ Плутономъ, который, при свѣтѣ сверкающихъ адскихъ огней, держитъ въ объятіяхъ уснувшую Прозерпину. Она спала, а я смотрѣлъ на это прекрасное лицо и искалъ въ ея чертахъ разгадку той симпатіи, которую чувствовала къ ней моя душа. Что̀ означаетъ эта женщина? Какой смыслъ скрывается подъ символикой этихъ прекрасныхъ формъ? Эта граціозная загадка лежала теперь въ моихъ объятіяхъ, какъ моя собственность, и все-таки разгадки ея я не нашелъ.

Но не безуміе ли отыскивать внутренній смыслъ чуждаго явленія, когда мы не можемъ разъяснить загадку нашей собственной души? Вѣдь мы же не знаемъ въ точности, существуютъ ли дѣйствительно вещи, которыя не мы сами! Вѣдь случается же, что мы не умѣемъ отличить сны отъ существенности! То, что̀ я видѣлъ и слышалъ въ эту ночь, было произведеніемъ моей фантазіи или страшною дѣйствительностью? Не знаю. Помню только, что въ то время, какъ самыя дикія мысли наводнили мое сердце, слухъ мой былъ пораженъ страннымъ шумомъ. Это была сумасшедшая, странно негромкая мелодія. Она показалась мнѣ очень знакомою, и, наконецъ, я различилъ звуки треугольника и барабана. Эта щебечущая и жужжащая музыка неслась, казалось, издалека, но когда я поднялъ глаза, то увидѣлъ подлѣ себя, посреди комнаты, очень знакомую картину: старикъ, monsieur Тюрлютютю, игралъ на треугольникѣ, madame матушка колотила въ большой барабанъ, а ученая [illegible]ка обнюхивала землю, будто искала свои деревянныя

буквы. Собака съ трудомъ двигалась, и кожа ея была обрызгана кровью. Матушка, попрежнему, была въ траурѣ, но животъ ея уже не былъ такъ забавно выступающій впередъ, какъ прежде, а отвратительно обвисъ; маленькое лицо тоже изъ краснаго сдѣлалось блѣднымъ. Карликъ все еще въ своемъ вышитомъ кафтанѣ и съ напудреннымъ тупэ французскаго маркиза стараго времени, казалось, подросъ немного, можетъ-быть, потому, что онъ такъ ужасно похудѣлъ. Онъ попрежнему показывалъ свое фехтовальное искусство и будто опять пустился въ свое прежнее хвастовство, но онъ говорилъ такъ тихо, что я не могъ понять ни слова и только по движенію губъ его догадывался, что по временамъ онъ снова пѣлъ пѣтухомъ.

Между тѣмъ какъ эти комически ужасныя карикатуры проходили передо мною, будто китайскія тѣни съ зловѣщею поспѣшностью я почувствовалъ, что mademoiselle Лорансъ дышитъ все тревожнѣе. Холодная дрожь пробѣгала по всему ея тѣлу, какъ будто невыносимыя боли терзали ея прелестные члены. Наконецъ она выскользнула изъ моихъ рукъ, какъ гибкій угорь, вдругъ очутилась посреди комнаты и начала танцовать подъ глухіе звуки треугольника карлика и барабана матушки. Она танцовала точно такъ, какъ нѣкогда на Ватерлооскомъ мосту и въ лондонскихъ переулкахъ. Здѣсь была также таинственная пантомима, были тѣ же страстные прыжки, то же вакхическое закидываніе назадъ головы, иногда то же наклоненіе къ землѣ, какъ будто съ прислушиваніемъ къ тайному голосу,— и опять дрожь, и блѣдность, и окаменѣніе, и новое вслушиваніе въ подземныя рѣчи. Она такъ же снова потирала руки, будто умывала ихъ. Наконецъ, она, казалось, опять бросила на меня свой глубокій, болѣзненный и умоляющій взглядъ... Но этотъ взглядъ я прочелъ только въ чертахъ ея мертвенно блѣднаго лица, а не въ глазахъ, потому что они оставались закрытыми. Музыка стихала въ болѣе и болѣе замирающихъ звукахъ; барабанная матушка и карликъ, постепенно блѣднѣя и слившись въ туманные образы, наконецъ совершенно исчезли; но mademoiselle Лорансъ все танцовала съ закрытыми глазами. Этотъ танецъ съ закрытыми глазами ночью, въ тихой комнатѣ, придавалъ прелестному созданію видъ привидѣнія въ такой степени, что мнѣ стало очень жутко, что меня прохватила дрожь; и я былъ очень радъ, когда она перестала танцовать и съ такою же гибкостью, съ какою

выскользнула изъ моихъ объятій, снова проскользнула въ нихъ.

Понятно, что въ этой сценѣ не было для меня ничего пріятнаго. Но человѣкъ привыкаетъ ко всему. И возможно даже, что непріятная таинственность придавала этой женщинѣ еще особенную прелесть, что къ моимъ ощущеніямъ примѣшивалась приводящая въ тревожный трепетъ нѣжность... Какъ бы то ни было, черезъ нѣсколько недѣль послѣ этого я совсѣмъ пересталъ уже удивляться, когда ночью раздавались тихіе звуки барабана и треугольника, а моя дорогая Лорансъ вдругъ вставала и танцовала соло съ закрытыми глазами. Мужъ ея, старый бонапартистъ, командовалъ въ окрестностяхъ Парижа и только дни могъ проводить въ городѣ. Само собой разумѣется, что онъ сдѣлался моимъ лучшимъ другомъ, и горько плакалъ онъ, когда, спустя нѣсколько времени, надолго простился со мною. Онъ уѣзжалъ въ то время съ женою въ Сицилію, и съ тѣхъ поръ я уже не встрѣчалъ ни его, ни ея.

Окончивъ свой разсказъ, Максимиліанъ быстро взялъ шляпу и выскользнулъ изъ комнаты.

САЛОНЪ.

Часть четвертая.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА.

(1833 г.)

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

Настоящія страницы, написанныя для «Europe littéraire», одного изъ парижскихъ журналовъ, составляютъ только введеніе къ дальнѣйшимъ статьямъ; но, тѣмъ не менѣе, я долженъ уже теперь дать ихъ нѣмецкой публикѣ для того, чтобы кто-нибудь другой не оказалъ мнѣ чести перевести ихъ съ французскаго языка на нѣмецкій.

Въ «Europe littéraire» не достаетъ нѣсколькихъ мѣстъ, которыя я здѣсь возстановляю вполнѣ; условія мѣста въ журналѣ требовали нѣсколькихъ маловажныхъ исключеній...

Служащее основаніемъ этой книги сочиненіе г-жи Сталь называется «De l'Allemagne». Не могу тутъ же не сказать о примѣчаніи, которое редакція «Europe littéraire» сдѣлала отъ себя къ этимъ статьямъ. Именно она замѣтила, что «изображеніе нѣмецкой литературы для католической Франціи должно быть сдѣлано съ протестантской точки зрѣнія». Напрасно я возражалъ, что католической Франціи нѣтъ; что я не пишу ни для какой католической Франціи; что достаточно, если я самъ упомяну, что въ Германіи я принадлежу къ протестантской церкви; что это упоминовеніе, *заявляющее* только тотъ фактъ, что я имѣю удовольствіе

значиться въ лютеранскихъ метрическихъ книгахъ христіанином евангелическаго вѣроисповѣданія, тѣмъ не менѣе дозволяетъ мнѣ высказывать въ научныхъ сочиненіяхъ какое бы то ни было мнѣніе, даже если оно противорѣчитъ протестантскому догмату, и, напротивъ того, замѣчаніе о томъ, что я пишу мои статьи съ протестантской точки зрѣнія, налагало бы на меня догматическія оковы. Напрасно редакція «Europe littéraire» оставляла безъ вниманія эти тонкія, чисто германскія различія. Говорю объ этомъ частью для того, чтобы меня не обвинили въ непослѣдовательности, частью также, чтобъ на меня не пало подозрѣніе, что я придаю цѣну различіямъ, установляемымъ церковною догматикою.

Такъ какъ французы не понимаютъ нашего нѣмецкаго школьнаго языка, то я, при нѣкоторыхъ замѣчаніяхъ о сущности высшаго духовнаго начала, употреблялъ выраженія, съ которыми они, благодаря рвенію сенъ-симонистовъ, хорошо ознакомились, а такъ какъ эти выраженія высказываютъ мои взгляды совершенно открыто и опредѣленно, то я ихъ удержалъ и въ нѣмецкомъ текстѣ. Дворянчики и клерикалы, въ послѣднее время боявшіеся, болѣе чѣмъ когда-либо, могущества моего слова и старавшіеся поэтому уничтожить мою популярность, вѣроятно, будутъ злоупотреблять этими выраженіями, чтобы съ нѣкоторою правдоподобностью обвинять меня въ матеріализмѣ или даже атеизмѣ; пусть они дѣлаютъ это; пусть себѣ выставляютъ меня жидомъ или сенъ-симонистомъ; пусть взводятъ на меня предъ судомъ своей черни всевозможныя ереси; никакія трусливыя соображенія не заставятъ меня прикрывать обычными, двусмысленными словами мои взгляды въ области высшихъ духовныхъ вопросовъ. Пусть, съ другой стороны, и мои враги гнѣваются на меня за то, что я недостаточно глубоко скрываю свои мысли, что самые щекотливые предметы я безпощадно разоблачаю; ни злоба моихъ враговъ, ни хитрая глупость моихъ друзей не воспрепятствуютъ мнѣ прямо и безъ всякаго стѣсненія высказывать мои воззрѣнія на важнѣйшій вопросъ человѣчества — вопросъ о сущ-

божественнаго начала.

не принадлежу къ матеріалистамъ, придающимъ плоть

скорѣе, я возвращаю тѣлу его духъ, я снова одухо-

тѣло, я освящаю его.

принадлежу къ атеистамъ, которые вѣдь отрицаютъ;

утвердительно.

Индифферентисты и тѣ такъ-называемые умные люди, которые не хотятъ высказаться насчетъ божественнаго начала, суть собственно настоящіе отрицатели его. Такое молчаливое отрицаніе становится въ настоящее время даже гражданскимъ преступленіемъ, ибо въ немъ находятъ себѣ содѣйствіе тѣ ложныя понятія, которыя еще до сихъ поръ продолжаютъ служить опорою деспотизму.

Начало и конецъ всѣхъ вещей есть Богъ.

Писано въ Парижѣ, 2 апрѣля 1833.

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ.

Предисловіе къ первой части этой книги должно оправдать появленіе и второй части. Въ первой излагалась исторія романтической школы вообще, вторая говоритъ о главныхъ ея дѣятеляхъ въ особенности. Въ третьей и четвертой части будетъ говориться объ остальныхъ герояхъ Шлегелевскаго легендарнаго цикла, а затѣмъ будетъ рѣчь о трагическихъ писателяхъ послѣдняго Гётевскаго времени, и наконецъ, о моихъ современникахъ.

Убѣдительно прошу благосклоннаго читателя не забывать, что эти страницы я написалъ для «Europe littéraire», и потому долженъ былъ подчиняться извѣстнымъ ограниченіямъ, которыхъ держится этотъ журналъ въ области политики. — Прошу извинить нѣкоторыя ошибки, сдѣланныя мною по разсѣянности. Такъ, я долженъ очень серьезно замѣтить, что императоръ Генрихъ не внукъ Барбароссы, и что г. Вильгельмъ Шлегель родился однимъ годомъ раньше того, который я привелъ здѣсь. Годъ рожденія Арнима показанъ мною неправильно. Сказавъ, что высшая критика въ Германіи никогда не занималась Гофманомъ, я забылъ [illegible]януть, что Вилибальдъ Алексисъ, авторъ «Кабаниса», ...исалъ характеристику Гофмана.

Парижъ, 30 іюня 1833 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ПОСЛѢДНЕМУ (ПОЛНОМУ) ИЗДАНІЮ.

Значительнѣйшую часть этого сочиненія, написаннаго сначала на французскомъ языкѣ и обращеннаго къ французамъ, я нѣсколько времени тому назадъ сообщилъ нѣмецкой публикѣ въ нѣмецкомъ текстѣ, подъ заглавіемъ: «Къ исторіи новой изящной литературы въ Германіи». Въ теперешнемъ дополненномъ видѣ это сочиненіе имѣетъ основаніе явиться съ новымъ заглавіемъ: «Романтическая Школа», потому что, какъ я полагаю, она въ самомъ вѣрномъ и наглядномъ видѣ представляетъ читателю главные моменты литературнаго движенія, вызваннаго этой школой.

Я имѣлъ намѣреніе представить въ такой же формѣ и позднѣйшіе періоды нашей литературы; но болѣе спѣшныя занятія и внѣшнія обстоятельства не позволили мнѣ приступить къ осуществленію этого плана. Вообще, способъ обработки и изданія моихъ послѣднихъ произведеній всегда обусловливался временными обстоятельствами. Такъ, мои матеріалы «Къ исторіи религіи и философіи въ Германіи» я былъ принужденъ издать въ видѣ второй части «Салона»; а между тѣмъ, по моему плану, этотъ трудъ долженъ былъ составить собственно общее введеніе къ исторіи нѣмецкой литературы. Объ особенномъ бѣдствіи, постигшемъ меня при изданіи этой второй части «Салона», я уже сообщилъ чрезъ газеты. Мой издатель, котораго я обвинилъ въ самовольномъ изуродованіи моей книги, возразилъ на это обвиненіе тѣмъ же самымъ газетнымъ путемъ: онъ объявилъ, что изуродованія—доблестный подвигъ мужей, стоящихъ выше всякихъ порицаній.

Состраданію вѣчныхъ боговъ поручаю я спасеніе отечества и беззащитныя мысли его писателей.

Писано въ Парижѣ, осенью 1835 г.

КНИГА ПЕРВАЯ.

Книга г-жи Сталь—«De l'Allemagne»—составляетъ единственное пространное сочиненіе, знакомящее французовъ съ умственной жизнью Германіи. Но съ тѣхъ поръ, какъ появилась эта книга, прошло много времени, и въ теченіе его развилась въ Германіи совершенно новая литература. Но что это за литература? Переходная ли только? Достигла ли она уже своего расцвѣта? Или же уже отцвѣла? Обо всемъ этомъ мнѣнія расходятся. Большинство думаетъ, что новый литературный періодъ начинается въ Германіи со смертью Гёте, что съ нимъ вмѣстѣ сошла въ могилу и старая Германія, что аристократическое время литературы пришло къ концу, что началось демократическое, или—какъ недавно выразился одинъ французскій журналистъ—«индивидуальный духъ исчезъ, духъ массы возникъ».

Что касается до меня, то я не рѣшаюсь такъ опредѣлительно говорить о будущихъ эволюціяхъ германскаго духа. Окончаніе же «Гётевскаго художественнаго періода» — названіе, которымъ я обозначилъ этотъ періодъ—я уже давно предсказывалъ. Мое пророчество сбылось! Я очень хорошо зналъ всѣ средства и пути тѣхъ недовольныхъ, которые хотѣли положить конецъ Гётевскому царству искусства; нѣкоторые думали даже, что и я принималъ участіе въ тогдашнихъ возмущеніяхъ противъ этого великаго деспота. Теперь Гёте умеръ, и мною при этомъ воспоминаніи овладѣваетъ какая-то удивительная скорбь.

Такъ какъ эти страницы служатъ какъ бы продолженіемъ сочиненія г-жи Сталь—«De l'Allemagne», то я, цѣня вполнѣ всю важность этого сочиненія, долженъ, однако, посовѣтовать тѣмъ, которые читаютъ его, быть осторожными, потому что это книга партіи въ полномъ смыслѣ этого слова. Г-жа Сталь, славной памяти, здѣсь какъ бы откры-

вала салонъ, гдѣ она принимала нѣмецкихъ писателей, предоставляя имъ случай явиться предъ французскимъ образованнымъ кругомъ; но изъ разнообразнѣйшихъ голосовъ, крики которыхъ постоянно раздаются въ глубинѣ книги, явственнѣе всѣхъ слышится дискантъ г. А. В. Шлегеля. Тамъ, гдѣ г-жа Сталь является самолично, гдѣ эта глубоко чувствующая женщина выражается безъ посредниковъ, всѣмъ своимъ лучезарнымъ сердцемъ, всѣмъ фейерверкомъ ракетъ своего ума и блестящихъ причудъ — тамъ ея книга превосходна. Но лишь только авторъ начнетъ поддаваться чужимъ внушеніямъ, лишь только начнетъ она поклоняться школѣ, духъ которой ей совершенно чуждъ и непонятенъ, лишь только прославленіемъ этой школы станетъ она содѣйствовать извѣстнымъ ультрамонтанскимъ тенденціямъ, совершенно расходящимся съ ея яснымъ протестантскимъ умомъ, — книга ея становится жалкой и неудобоваримой. При этомъ еще, къ пристрастію безсознательному у ней присоединяется пристрастіе сознательное; интеллектуальную нѣмецкую жизнь, нѣмецкій идеализмъ она прославляетъ для того только, чтобъ произносить осужденіе реализму французовъ, матеріальному великолѣпію императорскаго періода. Ея книга «De l'Allemagne» похожа, въ этомъ отношеніи, на «Германію» Тацита, который тоже, быть-можетъ, своею апологіею германцевъ хотѣлъ написать косвенную сатиру на своихъ соотечественниковъ.

Упомянувъ о школѣ, которой поклонялась г-жа Сталь и тенденціямъ которой она содѣйствовала, я имѣлъ въ виду школу романтическую. Дальнѣйшее наше изложеніе ясно покажетъ, что эта школа въ Германіи не имѣла ничего общаго съ школой того же имени во Франціи, что стремленія ея совершенно расходились съ стремленіями французскихъ романтиковъ.

Но что же такое была романтическая школа въ Германіи?

Не что иное, какъ пробужденіе средневѣковой поэзіи, какою эта поэзія проявляется въ пѣсняхъ, въ произведеніяхъ живописи и архитектуры, въ искусствѣ и жизни. Но поэзія эта возникла изъ христіанства; это былъ цвѣто пассифлоры, родившійся изъ крови Спасителя. Я не зн носитъ ли этотъ меланхолическій цвѣтокъ то же самое званіе во Франціи, какъ у насъ, и приписало ли ему родное преданіе такое же мистическое происхожденіе, к у насъ? Это тотъ странно окрашенный цвѣтокъ, въ чаше

котораго начерчены орудія пытки, служившія для истязанія Спасителя—молотъ, клещи, гвозди и проч., цвѣтокъ, въ которомъ нѣтъ ничего отталкивающаго, но есть что-то, имѣющее видъ привидѣнія, и видъ котораго возбуждаетъ въ насъ даже смѣшанное съ ужасомъ удовольствіе, похожее на то судорожно сладкое чувство, которое вызывается самою болью. Въ этомъ отношеніи этотъ цвѣтокъ долженъ служить самымъ подходящимъ символомъ христіанства, котораго ужасающая прелесть заключается въ сладостномъ ощущеніи, доставляемомъ болью.

Хотя во Франціи подъ этимъ именемъ христіанства понимаютъ только римскій католицизмъ, но я все-таки долженъ особенно заявить, что говорю только объ этомъ послѣднемъ Я говорю, слѣдовательно, о той религіи, первые догматы которой заключаютъ въ себѣ осужденіе всего того, что̀ есть плоть, и которая не только присвоиваетъ духу верховное господство надъ плотью, но даже хочетъ уничтожить плоть, чтобы возвеличить духъ; я говорю о той религіи, которая своими противоестественными ученіями ввела въ міръ грѣхъ и лицемѣріе, такъ какъ именно вслѣдствіе безусловнаго осужденія плоти самыя невинныя чувственныя удовольствія обратились въ грѣхъ, а вслѣдствіе невозможности для человѣка быть всецѣло и исключительно духомъ, должно было возникнуть и развиться лицемѣріе; я говорю о той религіи, которая, благодаря своему ученію о необходимости отвергать и презирать всякія земныя блага и о самой слѣпой, чисто собачьей покорности, сдѣлалась самою испытанной опорой безграничнаго деспотизма. Люди поняли теперь сущность этого католицизма, они знаютъ, что и въ матеріи есть свое хорошее, и въ настоящее время отстаиваютъ наслажденія земли, этого прекраснаго Божьяго сада, нашего неотъемлемаго наслѣдственнаго достоянія.

Именно потому, что теперь мы такъ хорошо понимаемъ всѣ послѣдствія такого абсолютнаго спиритуализма, имѣемъ мы право думать, что католическое міросозерцаніе приходитъ къ концу, ибо всякая эпоха есть сфинксъ, который низвергается въ бездну, какъ только разоблачится его за-
[illegible].

Намъ не менѣе, однако, мы нисколько не отрицаемъ [illegible]ы, принесенной Европѣ этимъ католическимъ міросо-[illegible]ніемъ. Оно было необходимо, какъ благодѣтельная ре-[illegible] противъ страшнаго, колоссальнаго матеріализма, раз-[illegible]гося въ римской имперіи и грозившаго уничтожить

все умственное величіе человѣка. Какъ скандалезные мемуары послѣдняго столѣтія могутъ составлять какъ бы pièces justificatives французской революціи; какъ намъ, читавшимъ задушевныя исповѣди французской знати со временъ регенства, можетъ казаться необходимымъ лѣкарствомъ и самый терроризмъ какого-нибудь comité de salue public, такъ точно слѣдуетъ признавать и цѣлительную силу аскетическаго спиритуализма, читая сочиненія Петронія или Апулея—книги, на которыя можно смотрѣть, какъ на pieces justificatives первыхъ временъ католичества. Плоть въ этомъ римскомъ мірѣ дошла уже до такой наглости, что нужно было употребить всѣ средства христіанской дисциплины, чтобъ смирить ее. Послѣ роскошнаго Трималкіоновскаго пиршества нужно было посадить на такое лѣченіе голодомъ, какъ католичество.

Или, быть-можетъ, подобно тому, какъ старые развратники возбуждаютъ свое истощенное тѣло розгами для возстановленія способности къ половымъ наслажденіямъ, хотѣлъ дряхлѣющій Римъ подвергать себя аскетическимъ бичеваніямъ, чтобы находить раффинизованныя наслажденія въ мукѣ и сладострастіе въ боли?

Скверное возбудительное средство: оно отняло у римскаго государственнаго тѣла послѣднія силы. Римъ погибъ не отъ раздѣленія на двѣ имперіи. У Босфора, какъ и на Тибрѣ, Римъ былъ истощаемъ все тѣмъ же еврейскимъ спиритуализмомъ, и тамъ, какъ здѣсь, римская исторія была медленнымъ вымираніемъ, агоніей, длившейся нѣсколько вѣковъ. Быть-можетъ, коварная Іудея, навязывая римлянамъ свой спиритуализмъ, хотѣла отомстить побѣдоносному врагу, подобно тому, какъ нѣкогда умирающій центавръ вѣроломно надѣлилъ сына Юпитера платьемъ, отравленнымъ своею собственною кровью. Дѣйствительно, Римъ, этотъ Геркулесъ между народами, былъ такъ страшно отравленъ еврейскимъ ядомъ, что забрало и латы упали съ его ослабѣвшихъ членовъ, и его повелительно боевой крикъ болѣзненно превратился въ тихій шопотъ жрецовъ и визгливость кастратовъ.

Но что обезсиливаетъ старика, то даетъ силы юношѣ. Этотъ самый спиритуализмъ благопріятно подѣйствовалъ изобиловавшіе здоровьемъ народы сѣвера, переполненные черезъ край кровью, тѣла варваровъ были христіански хотворены; началась европейская цивилизація. Въ прекрасная, святая сторона христіанства. Въ этомъ шеніи католическая церковь пріобрѣла самыя неотъе

права на наше уваженіе и удивленіе. Своими великими, геніальными установленіями она умѣла обуздать звѣрство сѣверныхъ варваровъ и укротить животную матерію.

Средневѣковыя произведенія искусствъ указываютъ на это порабощеніе духомъ матеріи, и въ этомъ одномъ часто заключается вся ихъ задача. По степени этого порабощенія можно легко сдѣлать классификацію эпическихъ произведеній того времени.

О поэзіи лирической и драматической здѣсь не можетъ быть и рѣчи; ибо послѣдняя еще не существовала, а первая такъ схожа во всѣхъ вѣкахъ, какъ схожи пѣсни соловья каждою весною.

Хотя средневѣковая эпическая поэзія дѣлится на духовную и свѣтскую, но эти вѣтви по своей сущности еще всецѣло принадлежали христіанству; ибо если духовная поэзія воспѣвала исключительно еврейскій народъ, который одинъ только считался народомъ священнымъ, и его исторію, которая одна только называлась священною, героевъ Ветхаго и Новаго Завѣта, однимъ словомъ, воспѣвала церковь, то, тѣмъ не менѣе, вся жизнь того времени, со всѣми его христіанскими воззрѣніями и стремленіями, отразилась и въ поэзіи свѣтской. Цвѣтъ средневѣковой духовной нѣмецкой поэзіи составляетъ, быть-можетъ, «Варлаамъ и Іосафатъ»— поэма, въ которой доктрина отреченія, воздержанія, самоотверженія, презрѣнія ко всякому свѣтскому блеску высказана самымъ послѣдовательнымъ образомъ. Затѣмъ можно упомянуть о «Хвалебной Пѣснѣ въ честь св. Анно», какъ о лучшей піесѣ въ этомъ родѣ. Впрочемъ, это стихотвореніе далеко не чуждо и дѣлъ міра сего. Оно вообще отличается отъ названной поэмы почти настолько же, насколько византійскій ликъ святого древне-нѣмецкаго. Въ «Варлаамѣ и Іосафатѣ», какъ на византійскихъ образахъ, мы встрѣчаемъ высшую простоту: нигдѣ нѣтъ перспективныхъ побочныхъ украшеній, и изможденныя, длинныя, похожія на статуи, тѣла и идеально серьезныя лица рѣзко выступаютъ предъ нами, какъ будто бы изъ мягкаго золотого фона. «Пѣснѣ о св. Анно», какъ на древне-нѣмецкихъ картинахъ, побочныя украшенія составляютъ почти главное, и здѣсь детали, вопреки грандіозному плану, отдѣланы самымъ тщательнымъ образомъ, такъ что не знаешь, чему удивляться въ нихъ — замыслу ли гиганта, или терпѣнью карлика. «Евангельская Гармонія» Отфрида, на которую обыкновенно указываютъ, какъ на главное произведеніе ду-

ховной поэзіи, далеко не такъ замѣчательна, какъ названныя мною два сочиненія.

Изъ произведеній свѣтской поэзіи, идя путемъ мною указаннымъ, мы встрѣчаемъ прежде всего легендарный циклъ «Нибелунговъ» и «Книги Героевъ»; тутъ царитъ еще совершенно до-христіанскій образъ мыслей и чувствъ, тутъ грубая сила еще не укрощена, перейдя въ рыцарство; тутъ на сценѣ еще суровые сѣверные бойцы, похожіе на высѣченныя изъ камня фигуры, и кроткій свѣтъ и благонравное дыханіе христіанства еще не проникли сквозь желѣзную кольчугу. Но заря уже постепенно занимается въ старыхъ германскихъ лѣсахъ, крушатся старые идолы—дубы, расчищается боевая арена, гдѣ христіанинъ выступаетъ на битву съ язычникомъ,—и это мы встрѣчаемъ въ циклѣ сказаній о Карлѣ Великомъ, гдѣ собственно уже видимъ отсвѣтъ крестовыхъ походовъ съ ихъ священными цѣлями. Но затѣмъ изъ христіанской спиритуализирующей силы развивается оригинальнѣйшее средневѣковое явленіе—рыцарство, часть котораго еще, въ концѣ концовъ, принимаетъ видъ рыцарства духовнаго. Свѣтское рыцарство всего граціознѣе воспѣвается въ циклѣ сказаній о королѣ Артурѣ, гдѣ царятъ самая утонченная галантность, самая изысканная учтивость и самая сильная жажда битвъ и приключеній. Изъ мило причудливыхъ арабесковъ и фантастическихъ цвѣточныхъ образовъ этихъ поэмъ насъ привѣтствуютъ драгоцѣнный «Ивейнъ», превосходный «Ланцелотъ» и храбрый, вѣжливый, благородный, но немного скучный «Вигалуа». Рядомъ съ этими сказаніями мы встрѣчаемъ еще одинъ, родственный и сплетеный съ ними циклъ сказаній о «св. Гралѣ», гдѣ превозносятся подвиги духовнаго рыцарства, и тутъ находимъ мы и три самыя грандіозныя средневѣковыя поэмы — «Титурель», «Парциваль» и «Лоэнгринъ»; здѣсь мы сталкиваемся, такъ сказать, лицомъ къ лицу съ романтической поэзіей, глубоко смотримъ въ ея большія меланхолическія очи, и она незамѣтно опутываетъ насъ своими схоластическими сѣтями и влечетъ въ глубину бреда средневѣкового мистицизма. Наконецъ, находимъ мы въ тотъ же періодъ и такія произведенія, которыя уже не проникнуты безусловно однимъ христіанскимъ спиритуализмомъ, гдѣ онъ даже отчасти осуждается, гдѣ поэтъ сбрасываетъ съ себя цѣпи отвлеченной христіанской добродѣтели и съ удовольствіемъ погружается въ міръ наслажденій прославляемой чувственности.—И поэтъ, оставившій намъ одно изъ глав-

ныхъ произведеній въ этомъ родѣ, поэму «Тристанъ и Изольда», совсѣмъ не изъ худшихъ поэтовъ. Да, я долженъ сознаться, что Готфридъ Страсбургскій, авторъ этой прекраснѣйшей средневѣковой поэмы, есть, быть-можетъ, и одинъ изъ величайшихъ средневѣковыхъ поэтовъ, и его созданія стоятъ выше всего великолѣпія Вольфрама Эшенбаха, которому мы такъ удивляемся въ «Парцивалѣ» и въ отрывкахъ «Титуреля». Въ настоящее время, кажется, позволительно безусловно цѣнить и восхвалять мейстера Готфрида. Въ его время его книгу, конечно, считали опасною, какъ и многія другія поэтическія произведенія, къ числу которыхъ принадлежалъ уже и «Ланцелотъ». Впрочемъ, тамъ дѣйствительно встрѣчаются щекотливыя вещи. Франческа да-Полента и ея прекрасный другъ дорого поплатились за то, что однажды вмѣстѣ читали эту книгу... самая большая опасность, разумѣется, заключалась въ томъ, что они вдругъ перестали читать!

Во всѣхъ этихъ средневѣковыхъ поэтическихъ произведеніяхъ поэзія имѣетъ опредѣленный характеръ, отличающій ее отъ поэзіи греческой и римской. Чтобы обозначить это отличіе, мы послѣднюю называемъ классической, а первую— романтической. Но эти названія только слишкомъ общія рубрики и до сихъ поръ вели къ плачевнѣйшимъ запутанностямъ, которыя еще болѣе увеличились съ тѣхъ поръ, какъ поэзію древнихъ стали называть вмѣсто классической пластическою. Это-то въ особенности и подавало поводъ къ недоразумѣніямъ. Художники именно должны всегда обрабатывать свои сюжеты пластически, будь сюжетъ заимствованъ изъ языческаго, или изъ христіанскаго міра, обязанность художника изобразить его въ ясныхъ чертахъ; словомъ, пластическая изобразительность, какъ въ новѣйшемъ, романтическомъ искусствѣ, такъ и въ искусствѣ древнемъ, должна составлять главное. И дѣйствительно, развѣ лица въ «Божественной Комедіи» Данта, или фигуры на картинахъ Рафаэля не такъ же пластичны, какъ въ созданіяхъ Виргилія, или на стѣнахъ Геркулана? Разница въ томъ, что въ древнемъ искусствѣ пластическія фигуры совершенно тождественны съ тѣмъ, что онѣ должны изображать, съ той идеей, которую хотѣлъ воспроизвести художникъ; такъ, напримѣръ, странническая жизнь Одиссея означаетъ не что иное, какъ странствія человѣка, бывшаго сыномъ Лаэрта и мужемъ Пенелопы и называвшагося Одиссеемъ; Бахусъ, котораго мы видимъ въ Луврѣ, не что иное, какъ милый

сынъ Семелы, съ отважной задумчивостью въ глазахъ и съ олимпійскимъ сладострастіемъ на округленныхъ мягкихъ губахъ. Иное въ искусствѣ романтическомъ: тамъ странствованія рыцаря имѣютъ еще эзотерическое значеніе, они намекаютъ, быть-можетъ, на странствованія по житейскому пути вообще; побѣжденный драконъ означаетъ грѣхъ; миндальное дерево, обдающее издали своимъ утѣшительнымъ ароматомъ героя, есть Божественная Троица—Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, Богъ Духъ Святой, составляющіе единое цѣлое, какъ орѣхъ, скорлупа и ядро составляютъ единый миндаль. Когда Гомеръ описываетъ доспѣхи своего героя, то они именно не что иное, какъ вооруженіе, стоящее столько-то быковъ; но когда средневѣковой монахъ описываетъ въ своемъ стихотвореніи части одежды Богоматери, то можно быть увѣреннымъ, что подъ ними онъ разумѣетъ столько же различныхъ добродѣтелей подъ святымъ покровомъ, что особенный смыслъ скрытъ у него подъ этими священными покровами Пречистой Дѣвы Маріи, которая, въ виду того, что Ея Сынъ представляется фантазіи поэта ядромъ миндаля, воспѣвается, какъ цвѣтъ миндальнаго дерева. Въ этомъ-то и заключается характеръ средневѣковой поэзіи, которую мы называемъ романтической.

Классическое искусство стремилось воспроизвести только конечное, и его образы могли отождествляться съ идеей художника. У романтическаго искусства была цѣль изображать, или, вѣрнѣе, указывать на безконечное, и только на спиритуалистическія отношенія, а потому оно прибѣгало къ системѣ традиціонныхъ символовъ, или, скорѣе, параболъ, какъ и самъ Христосъ высказывалъ Свои спиритуалистическія идеи въ формѣ всевозможныхъ прекрасныхъ притчъ. Отсюда мистическое, загадочное, чудесное и причудливое въ произведеніяхъ средневѣкового искусства; воображеніе тамъ дѣлаетъ страшнѣйшія усилія, чтобы выразить въ чувственныхъ образахъ чисто духовное, и чтобъ достигнуть неба, оно придумываетъ самыя гигантскія причуды, оно громоздитъ Пеліонъ на Оссу, «Парциваля» на «Титуреля».

У народовъ, у которыхъ поэзія равнымъ образомъ желала изобразить безконечное, и гдѣ появлялись громаднѣйшія до безобразія порожденія поэзіи, какъ, напримѣръ, у скандинавовъ и индійцевъ, мы находимъ произведенія, которыя также признаемъ романтическими и тоже обыкновенно называемъ романтическими.

О среднсвѣковой музыкѣ трудно намъ сказать много. У

насъ нѣтъ для этого документовъ. Только позже, уже въ XVI столѣтіи, появляются образцовыя произведенія католической церковной музыки, которыя въ этомъ отношеніи нельзя оцѣнить достаточно высоко, ибо они наиболѣе чисто выражаютъ христіанскій спиритуализмъ. Поэзія и музыка, какъ искусства по самой природѣ своей спиритуалистическія, должны были достаточно хорошо процвѣтать въ сѣни христіанства; менѣе благопріятна была христіанская религія для искусствъ пластическихъ. Хотя и они также стремились изобразить побѣду духа надъ матеріей, но въ то же время употребляли именно матерію, какъ средство для воспроизведенія своихъ идей, то имъ приходилось разрѣшать какъ бы противоестественную задачу. Поэтому-то и появились въ живописи и скульптурѣ такія антиэстетическія темы, какъ изображенія пытаемыхъ мучениковъ, погибающихъ святыхъ, разрушенія плоти. Самыя задачи были мученичествомъ скульптуры, и когда я смотрю на эти обезображенныя фигуры, гдѣ христіанское воздержаніе и презрѣніе ко всему чувственному изображаются въ видѣ едва держащихся головъ, длинныхъ исхудалыхъ рукъ, высохшихъ ногъ и безпомощно накинутыхъ на тѣла одеждъ, мною овладѣваетъ несказанное состраданіе къ художникамъ того времени. Живописцы были въ лучшемъ положеніи, такъ какъ матеріалъ, которымъ они воспроизводили свои идеи—краски въ ихъ неуловимыхъ переливахъ, цвѣта въ ихъ пестрой игрѣ свѣта и тѣней—не сопротивлялся спиритуализму такъ рѣзко, какъ матеріалъ скульптурный; однако, и живописцы принуждены были покрывать свое стонущее полотно отталкивающими страдальческими фигурами. Въ самомъ дѣлѣ, смотря на многія коллекціи картинъ и не находя на нихъ ничего, кромѣ кровавыхъ сценъ, орудій пытки и казней, невольно думаешь, что эти старые мастера работали для картинной галлереи какого-нибудь палача.

Но геній человѣка умѣетъ художественно побѣждать даже противоестественное, многимъ живописцамъ удавалось прекрасно и возвышающимъ душу образомъ разрѣшать противоестественную задачу, и въ особенности живописцы льянскіе умѣли поклоняться красотѣ отчасти въ ущербъ ритуализму и подниматься до той идеальности, которая игаетъ своего высшаго совершенства въ столь многихъ раженіяхъ Мадонны. Вообще, когда дѣло шло объ ніи Мадонны, католическое духовенство всегда дѣ- которыя уступки чисто человѣческому чувству. Этотъ

образъ непорочной красоты, въ то же время просвѣтленный материнской любовью и скорбью, всегда былъ привилегированной темой для поэтовъ и живописцевъ, которые при этомъ могли украшать его всѣми земными прелестями. Этотъ ликъ былъ магнитомъ, притягивавшимъ массу въ лоно христіанской церкви...

Характеръ архитектуры въ средніе вѣка былъ схожъ съ характеромъ другихъ искусствъ, какъ и вообще въ то время всѣ проявленія жизни удивительнѣйшимъ образомъ гармонировали между собою. Здѣсь, въ архитектурѣ, проявляется та же параболическая тенденція, какъ и въ поэзіи. Входя нынѣ въ старинный соборъ, мы едва догадываемся теперь объ эзотерическомъ смыслѣ его каменной символики. На насъ теперь производитъ непосредственное впечатлѣніе только общій видъ этой массы. Мы чувствуемъ здѣсь возношеніе духа и умерщвленіе плоти. Сама внутренность собора—выдолбленный крестъ, и мы находимся въ одномъ изъ орудій мученичества; сквозь цвѣтныя стекла на насъ льется красный и зеленый свѣтъ, точно капли крови и гной ранъ; погребальное пѣніе раздается вокругъ насъ; подъ ногами у насъ могилы и тлѣніе, и духъ нашъ возносится къ небу вмѣстѣ съ колоссальными колоннами храма, съ болью отрываясь отъ плоти, оставляемой на землѣ, какъ бременящая одежда. Только смотря извнѣ на эти готическіе соборы, на эти громадныя зданія, такія легкія, прозрачныя, воздушныя, что они кажутся какъ будто мраморными брабантскими кружевами, постигаешь всю мощь того времени, которая умѣла такъ одолѣть самый камень, что онъ представляется какимъ-то одухотвореннымъ привидѣніемъ, что даже этотъ самый жесткій матеріалъ является выразителемъ христіанскаго спиритуализма.

Но искусство суть только зеркало жизни, и когда католицизмъ ослабѣлъ въ жизни, онъ заглохъ и померкъ въ искусствѣ. Въ эпоху реформаціи католическая поэзія постепенно исчезла въ Европѣ, а ея мѣсто заступила давно умершая и теперь снова воскреснувшая поэзія греческая. Правда, это была весна искусственная—дѣло рукъ садовника, а не солнца, и цвѣты и деревья росли только въ узкихъ вазахъ, и стеклянный навѣсъ защищалъ ихъ отъ холода и сѣвернаго вѣтра.

Во всемірной исторіи не всегда одно событіе есть непосредственный результатъ другого; скорѣе событія стоятъ *одно на* другое взаимно. Совсѣмъ не благодаря

грекамъ, начавшимъ переселяться въ Европу со времени взятія Византіи, распространилась у насъ повсюду любовь къ Греціи и страсть подражать ей; какъ въ жизни, такъ и въ искусствѣ одновременно сталъ дѣйствовать протестантизмъ; Левъ X., этотъ роскошный Медичи, былъ такой же ревностный протестантъ, какъ и Лютеръ; и какъ въ Виттенбергѣ протестовали латинской прозой, такъ въ Римѣ протестовали мраморомъ, красками, риѳмованными октавами. Могучія мраморныя фигуры Микель Анджело, веселыя нимфы Джуліо Романо и радостное упоенье жизнью въ стихахъ маэстро Людовико Аріосто—развѣ это не протестующая оппозиція старому, мрачному, угрюмому католицизму? Полемика итальянскихъ живописцевъ съ римскимъ духовенствомъ была, быть-можетъ, повліятельнѣе полемики саксонскихъ богослововъ. Цвѣтущее здоровьемъ тѣло на картинахъ Тиціана—все это протестантизмъ. Бедра его Венеръ—тезисы, гораздо ослѣпительнѣе тѣхъ, которые прибилъ нѣмецкій монахъ къ дверямъ виттенбергской церкви. Въ то время люди какъ будто бы вдругъ почувствовали себя свободными отъ тысячелѣтнихъ узъ, въ особенности легко снова вздохнули художники, когда кошмаръ аскетическаго католичества пересталъ давить имъ грудь. Съ энтузіазмомъ бросились они въ море греческой жизнерадостности, изъ пѣны которой для нихъ снова стали выходить богини красоты; живописцы снова начали изображать наслажденья амврозіей на Олимпѣ; скульпторы снова стали съ прежнимъ увлеченіемъ вызывать изъ глыбъ мрамора древнихъ героевъ; поэты снова начали воспѣвать домъ Атрея и Лайя; начался періодъ новоклассической поэзіи.

Какъ новая жизнь выработалась въ самой большой полнотѣ во Франціи, при Людовикѣ XIV, такъ и новоклассическая поэзія здѣсь достигла до высшей степени совершенства и даже до нѣкоторой степени самостоятельной оригинальности. Вслѣдствіе политическаго вліянія великаго французскаго короля эта новоклассическая поэзія распространилась по остальной Европѣ; въ Италіи, гдѣ она сдѣлалась уже туземной, она приняла французскій колоритъ, въ Испанію съ герцогомъ Анжуйскимъ проникли и герои французской трагедіи, въ Англію они явились вмѣстѣ съ madame Henriette; а мы, нѣмцы, какъ само собою понятно, стали посвящать напудренному версальскому Олимпу свои ...жіе храмы. Знаменитѣйшимъ верховнымъ жрецомъ ...ь былъ Готшедъ, этотъ великій панкъ съ косою,

котораго такъ хорошо описалъ нашъ дорогой Гёте въ своихъ мемуарахъ.

Лессингъ былъ литературнымъ Арминіемъ, освободившимъ нашу сцену отъ этого чужеземнаго господства. Онъ показалъ намъ ничтожность, комизмъ, безвкусіе нашихъ подражаній французской драмѣ, которая сама была подражаніемъ греческой трагедіи. Но Лессингъ не одною только своею критикой, но и своими собственными художественными произведеніями сдѣлался создателемъ новой нѣмецкой литературы. За всѣми проявленіями духа, за всѣми сторонами жизни слѣдилъ этотъ человѣкъ съ энтузіазмомъ и безпристрастіемъ. Въ искусствѣ, богословіи, археологіи, поэзіи, драматургіи, исторіи—всюду преслѣдовалъ онъ одну цѣль, и съ одинаковымъ рвеніемъ. Всѣ его произведенія проникнуты одной и той же великой соціальной идеей, одной и той же идущей все впередъ гуманностью, одной и той же религіей разума, которой онъ былъ предтечею, и Мессію которой мы все еще ожидаемъ. Свое ученіе проповѣдывалъ онъ постоянно, но, къ сожалѣнію, часто одиноко и въ пустынѣ. Къ тому же у него не было умѣнья превращать камни въ хлѣбъ; большую часть своей жизни онъ проводилъ въ бѣдности и бѣдствіяхъ; это — проклятіе, лежащее почти на всѣхъ великихъ умахъ Германіи, и которое снимется, быть-можетъ, только съ политическимъ освобожденіемъ. Политическія идеи тоже волновали Лессинга болѣе, нежели предполагаютъ—черта, какой мы совсѣмъ не встрѣчаемъ у его современниковъ. Намъ только теперь стало ясно, что онъ имѣлъ въ виду, рисуя деспотизмъ мелкихъ князей въ «Эмиліи Галотти». Тогда Лессинга принимали только за поборника свободы мысли и противника клерикальной нетерпимости, потому что его богословскія сочиненія были для современниковъ уже понятнѣе другихъ. Отрывки «О воспитаніи человѣческаго рода», переведенные на французскій языкъ Евгеніемъ Родригомъ, могутъ, кажется, дать французамъ понятіе о всеобъемлемости ума Лессинга. Изъ критическихъ сочиненій его наибольшее вліяніе въ сферѣ искусства оказали «Гамбургская Драматургія» и «Лаокоонъ, или о границахъ живописи и поэзіи». Замѣчательнѣйшія изъ драматическихъ его пьесъ: «Эмилія Галотти», «Минна фонъ-Барнгельмъ» и «Натанъ Мудрый».

Готтольдъ Ефраимъ Лессингъ родился въ Каменцѣ Лузаціи, 22 января 1729 г., а умеръ въ Брауншв 15 февраля 1781 г. Это былъ человѣкъ цѣлостный,

рый, если разрушалъ старое своею полемикой, то тутъ же создавалъ новое и лучшее. По словамъ одного нѣмецкаго писателя, «онъ и походилъ на тѣхъ благочестивыхъ евреевъ, которыхъ во время постройки второго іерусалимскаго храма часто тревожили непріятели, такъ что они одною рукою разили враговъ, а другою продолжали воздвигать Божій домъ». Здѣсь не мѣсто говорить о Лессингѣ подробнѣе, но не могу удержаться отъ замѣчанія, что во всей исторіи литературы онъ мой самый любимый писатель. Упомяну здѣсь также о другомъ писателѣ, который работалъ въ томъ же духѣ и съ той же цѣлью, и котораго можно назвать прямымъ наслѣдникомъ Лессинга; подробно говорить о немъ здѣсь такъ же не мѣсто, какъ и вообще, онъ еще до сихъ поръ стоитъ въ нашей исторіи литературы особнякомъ и до сихъ поръ еще не могутъ быть съ точностью опредѣлены его отношенія къ его времени и современникамъ; это— Іоаннъ Готфридъ Гердеръ, родившійся въ 1744 г., въ Морунгенѣ, въ восточной Пруссіи, и умершій въ 1803 г., въ Веймарѣ, въ Саксоніи.

Исторія литературы—огромная «morgue», куда всякій приходитъ отыскивать своихъ покойниковъ, которыхъ или любилъ, или съ которыми былъ связанъ узами родства. Когда я вижу тамъ, среди столь многихъ ничтожныхъ труповъ, Лессинга или Гердера, съ ихъ величественными человѣческими лицами, у меня начинаетъ сильно биться сердце. Могу ли я пройти мимо, не положивъ бѣглаго поцѣлуя на ихъ посинѣвшія губы!

Но если Лессингъ такъ могущественно разрушилъ ложное подражаніе греческой древности, заимствованное у французовъ, то онъ самъ нѣкоторымъ образомъ подалъ поводъ къ новому роду нелѣпыхъ подражаній, именно, благодаря своимъ указаніямъ на истинно художественныя произведенія древней Греціи. Ратуя противъ религіознаго суевѣрія, онъ этимъ даже содѣйствовалъ той жаждѣ къ сухому «просвѣщенію», которая широко развилась тогда въ Берлинѣ и главнымъ органомъ которой служилъ покойный Николаи, а арсеналомъ — «Всеобщая нѣмецкая библіотека». Самая жалкая посредственность начала въ ту пору дѣйствовать отвратительнѣе, чѣмъ когда-нибудь, и все дрянное и пустое раздувалось, какъ лягушка въ баснѣ.

Весьма ошибутся тѣ, которые подумаютъ, что Гёте, въ то время уже заявившій себя, былъ уже и признанъ всѣми. «Гецъ фонъ Берлихингенъ» и его «Вертеръ» были

приняты съ энтузіазмомъ; но съ такимъ же энтузіазмомъ принимались и сочиненія обыкновенныхъ кропателей, и Гёте въ храмѣ литературы было отведено только маленькое мѣстечко. Какъ я сказалъ, публика съ увлеченіемъ прочла только «Геца» и «Вертера», но это было скорѣе вслѣдствіе сюжета ихъ, чѣмъ артистическихъ достоинствъ, которыхъ почти никто въ то время не умѣлъ оцѣнить въ этихъ художественныхъ произведеніяхъ. «Гецъ» былъ рыцарскимъ романомъ въ драматической формѣ, а этотъ родъ литературы нравился въ то время. Въ «Вертерѣ» видѣли только обработку дѣйствительно бывшаго случая, исторію молодого Іерузалема, юноши, застрѣлившагося отъ любви и черезъ то надѣлавшаго большого шума въ ту пору глубокаго затишья; при чтеніи писемъ Вертера проливались слезы; по поводу того, какимъ образомъ онъ былъ удаленъ изъ знатнаго общества, остроумно замѣчали, что это обстоятельство увеличило въ немъ еще болѣе отвращеніе къ жизни. Вопросъ о самоубійствѣ заставилъ еще болѣе говорить о романѣ, въ головѣ нѣсколькихъ глупцовъ явилась мысль наложить по этому случаю и на себя руки; своимъ сюжетомъ книга произвела значительный ракетный эффектъ. Но въ то время также сильно зачитывались романами Августа Лафонтена, а такъ какъ онъ писалъ безъ устали, то былъ знаменитѣе Вольфганга Гёте. Виландъ былъ великимъ поэтомъ своего времени и имѣлъ развѣ одного только соперника—г. одописца Раммлера въ Берлинѣ. Виланда боготворили, какъ никогда не чтили Гёте за все время его дѣятельности. Въ театрѣ господствовали Ифландъ съ его мѣщански слезливыми драмами и Коцебу съ его пошло остроумными фарсами.

Противъ этой-то литературы образовалась въ Германіи, въ послѣдніе годы прошлаго столѣтія, литературная школа, названная нами романтическою и вожаками которой рекомендуются намъ братья Августъ Вильгельмъ и Фридрихъ Шлегели. Центромъ, изъ котораго исходила и распространялась новая эстетическая доктрина, была Іена, гдѣ жили и работали эти два брата вмѣстѣ со многими своими единомышленниками. Я говорю доктрина, потому что школа эта начала съ обсужденія произведеній искусства прошедшаго времени и съ рецепта къ произведеніямъ искусства въ будущемъ. Въ обоихъ этихъ отношеніяхъ школа Шлегелей оказала большія услуги эстетической критикѣ. При обсужденіи уже существовавшихъ художественныхъ произве-

деній указывались ихъ недостатки, или освѣщались ихъ достоинства и красоты. Въ полемикѣ, въ раскрытіи артистическихъ ошибокъ и промаховъ, Шлегели были совершенными подражателями стараго Лессинга, они овладѣли большимъ боевымъ мечомъ его; только рука Августа Вильгельма Шлегеля была слишкомъ нѣжно слаба, а глазъ его брата Фридриха слишкомъ отуманенъ мистицизмомъ для того, чтобъ первый могъ разить такъ же сильно, а второй такъ же мѣтко, какъ это дѣлалъ Лессингъ. Но въ анализирующей критикѣ, гдѣ наглядно выставляются красоты художественнаго произведенія, гдѣ дѣло шло о тонкомъ чутьѣ ихъ особенностей, гдѣ надо было сдѣлать ихъ понятными для читателя—тамъ Шлегели безусловно превосходили стараго Лессинга. Но что сказать мнѣ о ихъ рецептахъ для изготовленія художественныхъ произведеній? Здѣсь они обнаруживали безсиліе, которое, впрочемъ, мы находимъ и у Лессинга. И Лессингъ, насколько онъ силенъ въ отрицаніи, настолько же слабъ въ утвержденіи, рѣдко можетъ онъ установлять принципъ, еще рѣже принципъ правильный. Ему не доставало философской почвы, философской системы. Этимъ недостаткомъ братья Шлегели страдаютъ въ еще болѣе безотрадной степени. Много толкуютъ о вліяніи идеализма Фихте и натуръ-философіи Шеллинга на романтическую школу, и даже считаютъ ихъ источниками этой послѣдней. Но я вижу здѣсь по большей мѣрѣ только вліяніе нѣкоторыхъ отрывочныхъ мыслей Фихте и Шеллинга, и ни въ какомъ случаѣ вліяніе философіи. Шеллингъ, читавшій въ то время лекціи въ Іенѣ, оказывалъ, однако, во всякомъ случаѣ большое вліяніе на романтическую школу; онъ тоже, чего во Франціи не знаютъ, отчасти поэтъ, и говорятъ, что еще подвержено сомнѣнію—не слѣдовало ли бы ему издать свои лекціи по философіи въ поэтической, даже метрической формѣ. Это сомнѣніе характеризуетъ человѣка.

Но если братья Шлегели не могли установить никакой опредѣленной теоріи для поэтовъ своей школы, то этотъ недостатокъ они замѣняли тѣмъ, что указывали, какъ на [illegible]ы, на лучшія художественныя произведенія прежняго [illegible]они и дѣлали ихъ доступными для своихъ учениковъ. [illegible] были преимущественно произведенія средневѣкового [illegible]анско-католическаго искусства. Шекспиръ, стоящій на [illegible]ѣ этого искусства и уже улыбающійся нашему но[illegible]ремени съ протестантскою ясностью, былъ переводимъ

въ то время только съ полемическими цѣлями, объясненіе которыхъ здѣсь было бы слишкомъ длинно. И Августъ Вильгельмъ Шлегель началъ переводить Шекспира въ то время, когда еще не начался восторженный возвратъ къ среднимъ вѣкамъ. Впослѣдствіи же, когда это совершилось, стали переводить и Кальдерона, и ставили его выше Шекспира, такъ какъ у него находили средневѣковую поэзію въ ея полнѣйшей чистотѣ, и притомъ въ ея главныхъ проявленіяхъ — монашествѣ и рыцарствѣ. Благочестивымъ комедіямъ кастильскаго священника-поэта, поэтическіе цвѣты которыхъ окроплены святою водою и окурены церковнымъ ѳиміамомъ, подражали, удерживая всю ихъ священную грандеццу, всю ихъ священнослужительскую роскошь, все ихъ мистическое безуміе, а въ Германіи расцвѣтали теперь странно набожныя, безумно глубокомысленныя произведенія, въ которыхъ люди мистически влюблялись, какъ напримѣръ, въ «Обожаніи Креста», или бились во славу Св. Дѣвы, какъ въ «Стойкомъ Принцѣ»; и Захарій Вернеръ зашелъ въ этомъ отношеніи такъ далеко, какъ только можно зайти, не подвергаясь опасности попасть въ домъ умалишенныхъ.

«Поэзія наша дряхла,—говорили братья Шлегели,—наша муза старуха съ самопрялкой; купидонъ нашъ уже не бѣлокурый ребенокъ, а морщинистый карликъ, покрытый сѣдинами; чувства наши увяли, воображеніе высохло; намъ нужно освѣжиться, нужно снова найти засыпанные источники наивной, простой средневѣковой поэзіи, дабы оттуда брызнула на насъ возвращающая молодость вода». И нашъ народъ, сухой и изможденный, не заставилъ вторично повторять себѣ эти слова; особенно несчастныя пересохшія глотки, сидѣвшія въ прусскихъ пескахъ, пожелали снова зацвѣсти и помолодѣть, и бросились къ этимъ чудодѣйственнымъ источникамъ, и стали пить, и глотать, и бражничать съ непомѣрной алчностью. Но съ ними случилась та же самая исторія, что̀ съ одной старухой-горничной, о которо разсказываютъ слѣдующее: замѣтивъ, что у госпожи е есть волшебный эликсиръ, возвращающій молодость, он однажды воспользовалась ея отсутствіемъ и вытащила из ея туалетнаго ящика флаконъ съ этимъ эликсир вмѣсто того, чтобъ принять нѣсколько капель, хлебн сильно, что, благодаря волшебному свойству молод питка, не только помолодѣла, но сдѣлалась даж нымъ ребенкомъ. Ну, вотъ то же самое было и с *милымъ* Тикомъ, однимъ изъ лучшихъ поэтовъ я

онъ такъ много хлебнулъ изъ народныхъ книгъ и стихотвореній среднихъ вѣковъ, что сталъ почти дитятей и дошелъ до той лепечущей наивности, удивляться которой стоило такого труда г-жѣ Сталь. Она сама признается, что ей курьезно слышать, когда какое-нибудь лицо въ драмѣ дебютируетъ монологомъ, который начинается словами: «Я храбрый Бонифацій и пришелъ сказать вамъ» и т. д.

Людвигъ Тикъ, своимъ романомъ: «Странствованія Штернбальда» и изданною имъ книгою нѣкоего Вакенродера: «Сердечныя изліянія любящаго искусства монаха», также представилъ образцами и для пластическихъ художниковъ наивные, грубые шаги искусства. Онъ совѣтовалъ подражать младенчеству и благочестію этихъ произведеній, проявляющимся именно въ безпомощности ихъ технической стороны. О Рафаэлѣ не хотѣли больше и слышать, едва-едва говорили и о его учителѣ, Перуджино, котораго, однако, ставили выше Рафаэля, и въ чьихъ произведеніяхъ находили остатки тѣхъ высшихъ достоинствъ, всей полнотѣ которыхъ такъ благоговѣйно удивлялись на безсмертныхъ созданіяхъ Фра-Джіованно Анжелико да-Фіезоле. Кто хочетъ составить себѣ понятіе о вкусѣ энтузіастовъ того времени, тотъ пусть съѣздитъ въ Лувръ, гдѣ висятъ еще лучшія картины этихъ старыхъ мастеровъ, служившія въ то время предметомъ безусловнаго почитанія; а если у кого есть желаніе составить себѣ понятіе обо всей кучѣ поэтовъ, которые въ ту пору стихами во всевозможныхъ родахъ подражали средневѣковымъ стихотвореніямъ, тотъ пусть отправится въ Шарантонскій домъ сумасшедшихъ.

Впрочемъ, мнѣ кажется, что эти картины въ первой луврской залѣ слишкомъ граціозны для того, чтобы по нимъ можно было составить понятіе о художественномъ вкусѣ, господствовавшемъ въ то время. Для этого нужно сверхъ того представить себѣ эти древне-итальянскія фигуры переведенными на старо-нѣмецкій ладъ, потому что въ то время въ произведеніяхъ старыхъ нѣмецкихъ живописцевъ находили еще гораздо больше простоты и дѣтскости, чѣмъ въ старо-итальянскихъ, и поэтому считали ихъ болѣе заслуживающими подражанія. Вѣдь нѣмцы, говорилось тогда, съ ихъ нѣмецкою душою, глубже другихъ умѣютъ понимать христіанство — и вотъ Фридрихъ Шлегель со своимъ другомъ, Іосифомъ Герресомъ, рылись въ старинныхъ рейнскихъ городахъ, отыскивая остатки старо-нѣмецкихъ картинъ

и статуй, предъ которыми преклонялись со слѣпой вѣрой, какъ передъ святыми реликвіями.

Я только-что сравнилъ нѣмецкій Парнассъ того времени съ Шарантономъ. Но мнѣ кажется, что и это сравненіе все еще довольно слабо. Французское безуміе далеко еще не такъ безумно, какъ нѣмецкое, потому что въ нѣмецкомъ, какъ сказалъ бы Полоній, есть метода. Съ безпримѣрнымъ педантствомъ, съ ужасающею добросовѣстностью, о которой поверхностный французскій сумасшедшій не можетъ имѣть ни малѣйшаго понятія, практиковалось это нѣмецкое помѣшательство.

Политическое состояніе Германіи еще особенно благопріятствовало этому христіански-древне-германскому направленію. «Нужда научаетъ молиться», говоритъ пословица— и дѣйствительно, никогда нужда не была въ Германіи такъ велика, какъ въ то время, и поэтому народъ никогда не былъ такъ склоненъ къ молитвѣ, религіи и христіанству. Нѣтъ народа въ мірѣ, у котораго привязанность къ своимъ королямъ была бы такъ сильна, какъ у нѣмцевъ, и нѣмцевъ больше всего сокрушало въ то время не столько то, что война и иноземное господство ввергли въ плачевное состояніе страну, сколько жалкое зрѣлище ихъ побѣжденныхъ государей, пресмыкавшихся у ногъ Наполеона; весь народъ походилъ на тѣхъ старинныхъ вѣрныхъ слугъ въ большихъ домахъ, которые отъ униженій, переносимыхъ ихъ господами, страдаютъ глубже, чѣмъ сами эти господа, и тайкомъ проливаютъ горьчайшія слезы, когда приходится продавать господское серебро, и даже втайнѣ жертвуютъ своими скудными сбереженіями, лишь бы не видѣть на столѣ своихъ баръ мѣщанской сальной свѣчи вмѣсто аристократической восковой свѣчи, какъ это представляется съ достаточною трогательностью въ старинныхъ пьесахъ. Всеобщее уныніе находило утѣшеніе въ религіи, и такимъ образомъ возникло піетистическое порученіе себя волѣ Бога, отъ Котораго только и ожидали помощи. И дѣйствительно, избавить отъ Наполеона могъ одинъ только Богъ. На земныя арміи разсчитывать было нечего, и оставалось только съ вѣрою и надеждой возводить очи горѣ.

Мы преспокойно бы перенесли и Наполеона. Но у нашихъ государей, не переставшихъ надѣяться въ этомъ случаѣ на Бога, въ то же время существовала мысль, что соединенныя силы ихъ народовъ тоже могутъ оказать здѣсь очень сильное содѣйствіе. Въ этихъ видахъ старались про-

буждать въ нѣмцахъ чувство единенія, и даже высочайшія особы заговорили о нѣмецкой національности, общемъ для всѣхъ отечествѣ, о соединеніи христіанскихъ расъ Германіи, о германскомъ единствѣ. Намъ приказали имѣть патріотизмъ, и мы стали патріотами, потому что мы дѣлаемъ безпрекословно все, что̀ намъ приказываютъ наши властители.

Подъ нѣмецкимъ патріотизмомъ, однако, не слѣдуетъ понимать то же самое чувство, которое называютъ такъ во Франціи. Французскій патріотизмъ состоитъ въ томъ, что сердце согрѣвается, вслѣдствіе этой теплоты расширяется, такъ что обнимаетъ своею любовью не только близкихъ, родныхъ, но всю Францію, всю страну цивилизаціи. Нѣмецкій патріотизмъ, напротивъ, состоитъ въ томъ, что сердце суживается, стягивается, какъ кожа отъ холода, нѣмецъ начинаетъ ненавидѣть чужеземное, перестаетъ быть гражданиномъ міра, европейцемъ, и хочетъ быть лишь узкимъ нѣмцемъ. И вотъ мы увидѣли въ Германіи только идеальную тупость, приведенную въ систему господиномъ Яномъ, и началась грубая, паршивая, неумытая оппозиція противъ самаго святого и самаго благороднаго чувства, какое когда либо породила Германія—противъ той любви къ человѣчеству, того всеобщаго братства людей, того космополитизма, служителями которыхъ всегда являлись наши великіе умы—Лессингъ, Гердеръ, Шиллеръ, Гёте, Жанъ-Поль, всѣ образованные люди Германіи.

Что̀ сталось съ Германіей скоро вслѣдъ затѣмъ — вамъ слишкомъ хорошо извѣстно. Когда Богъ, морозъ и казаки уничтожили лучшія силы Наполеона, тогда и мы, нѣмцы, получили высочайшее повелѣніе стряхнуть себя иноземное ярмо, и тутъ мы распалились самымъ мужественнымъ гнѣвомъ изъ-за нашего слишкомъ долгаго рабства, и вдохновлялись хорошею музыкою и скверными стихами пѣсенъ Кернера, и завоевали свою свободу, потому что дѣлаемъ все, что̀ приказываютъ намъ наши властители.

Въ тотъ періодъ, когда подготовлялась эта борьба, школа, враждебно расположенная ко всему французскому и превозносившая всенародно германское въ искусствѣ и въ жизни, должна была процвѣтать какъ нельзя лучше. Романтическая школа шла тогда рука объ руку съ желаніями правительствъ и тайныхъ обществъ, и А. В. Шлегель съ [illegible]ми же цѣлями составлялъ заговоръ противъ Расина, съ [illegible]ми и министръ Штейнъ противъ Наполеона. Романтическая школа плыла по теченію, именно тому теченію, ко-

торое возвращалось къ своему источнику. Когда, наконецъ, нѣмецкій патріотизмъ и нѣмецкая національность одержали полную побѣду, восторжествовала окончательно и школа народно-германо-христіанско-романтическая, «ново-нѣмецко-религіозно-патріотическое искусство». Наполеонъ, великій классикъ, такой же классикъ, какъ Александръ и Цезарь, палъ, а гг. Августъ Вильгельмъ и Фридрихъ Шлегели, маленькіе романтики, столь же романтичные, какъ мальчикъ съ пальчикъ и котъ въ сапогахъ, съ торжествомъ поднялись, какъ побѣдители.

Но реакція, которая всегда слѣдуетъ за всякими крайностями, не замедлила появиться и теперь. Какъ спиритуалистическое христіанство было реакціею противъ грубаго господства матеріализма римской имперіи; какъ вновь возродившаяся любовь къ свѣтлому искусству и наукѣ Греціи можетъ быть признана реакціею противъ извращеннаго христіанскаго спиритуализма, дошедшаго въ это время до самаго безумнаго умерщвленія плоти; какъ въ пробужденіи средневѣковой романтики можно также видѣть реакцію противъ сухого подражанія древнему классическому искусству— такъ точно и теперь начинается реакція противъ возстановленія феодально католическаго образа мыслей, противъ этого рыцарства и клерикализма, которые проповѣдывались словомъ и пластическимъ искусствомъ, и притомъ при обстоятельствахъ весьма странныхъ. Дѣло въ томъ, что, ставя высоко старыхъ средневѣковыхъ художниковъ, какъ рекомендуемые образцы, и удивляясь ихъ произведеніямъ, превосходство ихъ умѣли объяснять только тѣмъ, что эти люди вѣрили въ обработывавшуюся ими тему, что въ чуждой искусства простотѣ своей они могли идти далѣе позднѣйшихъ невѣрующихъ художниковъ, гораздо болѣе искусныхъ сравнительно съ ними, въ техникѣ; что вѣра производила въ нихъ чудеса. И дѣйствительно, можно ли было иначе объяснить прелесть какого-нибудь Фра-Анжелико да-Фіезоле, или поэму брата Отфрида?.. И вотъ, съ тѣхъ поръ художники, смотрѣвшіе на искусство серьезно и желавшіе подражать необъяснимому мистицизму древнихъ произведеній, рѣшились совершать странствіе къ той же Гипп гдѣ старые мастера также почерпали свой чудодѣйс энтузіазмъ: они отправлялись пилигримами въ І намѣстникъ Христа долженъ былъ молокомъ своей укрѣплять силы чахоточнаго нѣмецкаго искусства словомъ, они удалялись въ лоно едино спасающ

католическо-апостольской церкви. Многіе изъ приверженцевъ романтической школы не имѣли надобности въ формальномъ обращеніи въ католицизмъ, они были католиками по рожденію, какъ напр., гг. Герресъ и Брентано, и имъ пришлось только отречься отъ либеральныхъ мнѣній, которыхъ они держались до тѣхъ поръ. Но другіе, напр.: Фридрихъ Шлегель, Людвигъ Тикъ, Новалисъ, Вернеръ, Шюцъ, Карове, Адамъ Мюллеръ, и т. д. родились и воспитались въ нѣдрахъ протестантской церкви, и ихъ переходъ въ католицизмъ долженъ былъ совершиться офиціально. Я здѣсь упомянулъ только о писателяхъ; число живописцевъ, которые толпами отрекались отъ евангелическаго исповѣданія и отъ разума, было гораздо больше.

Когда такимъ образомъ увидѣли, что эти молодые люди дѣлали, такъ сказать, хвостъ передъ римско-католическою церковью и снова спѣшили наложить на себя старыя, сковывавшія духъ, цѣпи, отъ которыхъ съ такимъ усиліемъ освободились отцы ихъ, тогда многіе въ Германіи тревожно покачивали головою. Когда же открыли, что тутъ орудовала пропаганда клерикаловъ и дворянчиковъ, составившихъ заговоръ противъ политической и религіозной свободы Европы, когда открыли, что тутъ дѣйствовалъ собственно іезуитизмъ, который заманивалъ нѣмецкое юношество сладкими звуками романтики точно такъ же, какъ нѣкогда сказочный крысоловъ—ребятъ въ Гаммельнѣ, тогда глубокое негодованіе и пламенный гнѣвъ охватили друзей свободы духа и протестантства въ Германіи.

Я назвалъ вмѣстѣ свободу духа и протестантство; надѣюсь, однако, что несмотря на то, что въ Германіи я принадлежу къ протестантской церкви, никто не обвинитъ меня въ пристрастіи къ ней. Да, безъ всякаго пристрастія я поставилъ вмѣстѣ свободу духа и протестантство; и дѣйствительно, между ними въ Германіи существуетъ дружеская связь; во всякомъ случаѣ они между собою родственны, какъ мать и дочь. Хотя протестантскую церковь справедливо упрекаютъ въ значительномъ присутствіи фатальной узкости идей, но нельзя не признать за нею той безсмертной славы, что она, позволивъ свободное изслѣдованіе въ области христіанской религіи и освободивъ умы отъ оковъ авторитета, этимъ дала возможность свободѣ изслѣдованія вообще пустить корни въ Германіи и наукѣ развиваться самостоятельно. Нѣмецкая философія, несмотря на то, что она ставитъ теперь себя врагомъ съ протестантской церковью и даже хочетъ возвы-

ситься надъ ней, есть все-таки не что иное, какъ дочь ея; какъ таковая, она обязана вседа относиться къ матери съ снисходительнымъ почтеніемъ, и когда ихъ общій врагъ, іезуитизмъ, сталъ грозить имъ обѣимъ, то интересы родства потребовали, чтобъ онѣ сдѣлались союзниками. Всѣ друзья свободы мышленія и протестантской церкви, какъ скептики, такъ и ортодоксы, возстали въ одно время противъ реставраторовъ католицизма, и само собою разумѣется, что либералы, которые стояли собственно не за интересы философіи или протестантской церкви, а за интересы гражданской свободы, вошли также въ ряды этой оппозиціи. Но въ Германіи либералы были всегда до этихъ поръ въ одно и то же время и школьными философами и теологами, и бились постоянно только все за ту же идею свободы, какая бы тема ни обсуждалась ими—чисто политическая, или философская, или богословская. Это яснѣе всего видно изъ жизни человѣка, который подкопался подъ романтическую школу въ Германіи уже съ самаго ея рожденія и теперь болѣе всѣхъ другихъ содѣйствовалъ ея ниспроверженію. Это Іоганнъ Генрихъ Фоссъ.

Человѣкъ этотъ совсѣмъ неизвѣстенъ во Франціи, а между тѣмъ мало людей, которымъ бы германская нація обязана была больше, чѣмъ ему, своимъ умственнымъ развитіемъ. Послѣ Лессинга, это, быть-можетъ, величайшій гражданинъ въ нѣмецкой литературѣ. Во всякомъ случаѣ, это былъ великій человѣкъ, и онъ заслуживаетъ, чтобы я сказалъ здѣсь о немъ въ не слишкомъ короткихъ словахъ.

Біографія этого человѣка есть біографія почти всѣхъ нѣмецкихъ писателей старой школы. Родился онъ въ Мекленбургѣ, въ 1751 г., отъ бѣдныхъ родителей, изучалъ богословіе, потомъ оставилъ его, когда познакомился съ поэзіею и съ древними греками, занялся серьезно и тѣмъ и другимъ, давалъ уроки, чтобы не умереть съ голоду, былъ школьнымъ учителемъ въ Оттерндорфѣ, въ области Гадельнъ, переводилъ древнихъ классиковъ и жилъ бѣднякомъ, попросту, работая до семидесяти пяти лѣтъ. Имя его было выдающимся между поэтами старой школы; но новые романтическіе поэты безпрестанно обрывали его лавровый вѣнокъ и много трунили надъ старомоднымъ честнымъ Фоссомъ, который простодушнымъ языкомъ, иногда даже на провинціальномъ нѣмецкомъ нарѣчіи, воспѣвалъ мелкую мѣщанскую жизнь на берегахъ нижней Эльбы; который выбиралъ въ герои своихъ стихотвореній не средневѣковыхъ рыцарей и мадоннъ,

простого протестантскаго пастора и его благочестивое семейство; который самъ былъ такъ здоровъ, такъ бюргерски простъ и такъ натураленъ, между тѣмъ какъ они, новые трубадуры, были такъ лунатично болѣзненны, такъ рыцарски надменны и такъ геніально неестественны. Какъ фаталенъ долженъ былъ быть этотъ трезвый Фоссъ, со своею цѣломудренною «Луизою» и своимъ старымъ, почтеннымъ «Пасторомъ Грюнаускимъ», для Фридриха Шлегеля, этого опьянѣлаго пѣснопѣвца похотливо романтической Люцинды! Августъ Вильгельмъ Шлегель, который къ развратничеству и католицизму не относился такъ искренно, какъ его братъ, могъ гораздо лучше гармонировать съ старымъ Фоссомъ, и между ними существовало соперничество собственно только какъ между переводчиками, соперничество, принесшее, впрочемъ, большую пользу нѣмецкому языку. Уже до возникновенія новой школы, Фоссъ перевелъ Гомера; затѣмъ онъ принялся переводить съ неслыханнымъ прилежаніемъ другихъ древнихъ языческихъ писателей, между тѣмъ какъ А. В. Шлегель переводилъ христіанскихъ поэтовъ романтико-католической эпохи. Трудами того и другого руководили скрытыя полемическія цѣли. Фоссъ своими переводами хотѣлъ распространять классическую поэзію и классическія идеи, а А. В. Шлегель желалъ сдѣлать доступными публикѣ въ хорошихъ переводахъ романтическихъ христіанскихъ поэтовъ. Антагонизмъ двухъ переводчиковъ проявился даже въ формахъ ихъ языка. Между тѣмъ какъ Шлегель все манернѣе и слащавѣе выглаживалъ свои произведенія, Фоссъ въ своихъ переводахъ становился все проще и жестче, и позднѣйшія изъ этихъ работъ даже очень трудно читать вслухъ вслѣдствіе крайней грубости формъ языка, такъ что читатель, легко скользившій по блестящему, прекрасно натертому паркету стиховъ Шлегеля, также легко спотыкался о стихотворныя мраморныя глыбы старика Фосса. Наконецъ, по тому же соперничеству Фоссъ принялся переводить Шекспира, котораго Шлегель, въ первый періодъ своей дѣятельности, такъ превосходно передалъ по-нѣмецки; но тутъ плохо пришлось старику Фоссу, и еще хуже его издателю; переводъ не имѣлъ ни малѣйшаго успѣха. Тамъ, гдѣ Шлегель переводилъ, можетъ-быть, уже слишкомъ мягко, гдѣ его стихи иногда похожи на сбитыя сливки, съ которыми не знаешь, что̀ дѣлать, ѣсть ихъ или пить, тамъ Фоссъ является жесткимъ, какъ камень, такъ что боишься раздробить себѣ челюсть, произнося его стихи. Но что̀ именно

всего больше отличаетъ Фосса—это сила, съ которою онъ преодолѣвалъ всѣ трудности, и онъ боролся не только съ нѣмецкимъ языкомъ, но и съ тѣмъ іезуитски-аристократическимъ чудовищемъ, которое высовывало въ то время свою безобразную голову изъ мрачныхъ лѣсовъ нѣмецкой литературы, и Фоссъ нанесъ ему глубокую рану.

Господинъ Вольфгангъ Менцель, нѣмецкій писатель, извѣстный за самаго ожесточеннаго противника Фосса, назвалъ его нижнесаксонскимъ мужикомъ. Несмотря на намѣреніе оскорбить этимъ названіемъ, оно весьма мѣтко. Фоссъ дѣйствительно былъ нижнесаксонскимъ мужикомъ, какъ былъ имъ и Лютеръ; въ немъ не было ничего рыцарскаго, изящнаго, граціознаго; онъ вполнѣ принадлежалъ къ той энергической, сильной, мужественной расѣ, которую просвѣщать христіанствомъ нужно было посредствомъ огня и меча, которая восприняла эту религію не прежде, какъ проигравъ три сраженія, но которая и послѣ этого всегда сохраняла въ своихъ нравахъ и обычаяхъ большую долю сѣверно-языческой жесткости и въ своихъ матеріальныхъ и духовныхъ битвахъ является столь же храброй и упорной, какъ ея древніе боги. Да, когда я разсматриваю Іоганна Генриха Фосса, какъ въ его полемикѣ, такъ и во всей его натурѣ, мнѣ все кажется, будто передо мной самъ старый одноглазый Одинъ, который оставилъ свой замокъ, чтобы сдѣлаться школьнымъ учителемъ въ Оттерндорфѣ, и учитъ бѣлокурыхъ голштинцевъ латинскимъ склоненіямъ и христіанскому катехизису, а въ часы досуга переводитъ греческихъ авторовъ на нѣмецкій языкъ, и беретъ у бога Тора его тяжелый молотъ, чтобъ плотно сколачивать стихи, и, наконецъ, уставъ отъ тяжелаго труда, поднимаетъ молотъ надъ бѣднымъ Фрицомъ Штольбергомъ и наноситъ ему ударъ въ голову.

Это была славная исторія. Фридрихъ, графъ Штольбергъ, былъ поэтъ старой школы и весьма знаменитъ въ Германіи, быть-можетъ, не столько за свой поэтическій талантъ, сколько за титулъ графа, который въ то время имѣлъ въ нѣмецкой литературѣ гораздо болѣе значенія, чѣмъ теперь. Но Фрицъ Штольбергъ былъ человѣкъ либеральный, съ благороднымъ сердцемъ, и другъ тѣхъ молодыхъ бюрг
которые основали поэтическую школу въ Геттинге
рекомендую французскимъ литераторамъ прочесть преди
къ стихотвореніямъ Гельти, гдѣ Іоганъ Генрихъ Фос
сываетъ идиллическое сожительство поэтическаго с
которому принадлежали онъ самъ и Фрицъ Ш

Наконецъ изъ всей этой группы молодыхъ поэтовъ остались только эти двое. Когда же Фридрихъ Штольбергъ торжественно перешелъ въ католическую церковь, и отрекся отъ разума и любви къ свободѣ, и сдѣлался распространителемъ обскурантизма, и своимъ аристократическимъ примѣромъ увлекъ многихъ слабыхъ духомъ, тогда Іоганъ Генрихъ Фоссъ, уже семидесятилѣтній старикъ, открыто выступилъ противъ друга своего дѣтства, такого же старика, какъ онъ, и написалъ маленькую книжку, подъ заглавіемъ: «Какъ Фрицъ Штольбергъ сталъ несвободнымъ». Тутъ онъ анализировалъ всю его жизнь и показалъ, какъ аристократическая натура всегда оставалась скрытою въ этомъ графѣ, какъ она стала все болѣе и болѣе обнаруживаться въ немъ со времени французской революціи, какъ Штольбергъ тайно примкнулъ къ такъ-называемой дворянской цѣпи, которая хотѣла противодѣйствовать французскимъ принципамъ свободы, какъ эти дворяне соединились съ іезуитами, какъ возстановленіемъ католицизма надѣялись служить и интересамъ дворянства, какъ вообще работали надъ возстановленіемъ феодально-христіанско-католическихъ среднихъ вѣковъ и уничтоженіемъ протестантской свободы мысли и политическаго бюргерства. Нѣмецкая демократія и нѣмецкая аристократія, которыя до революціи, когда первой еще не на что было надѣяться, а второй еще нечего бояться, съ такимъ увлеченіемъ молодости составили братскій союзъ, теперь, сдѣлавшись стариками, стали лицомъ къ лицу и затѣяли смертельную борьбу между собою.

Та часть нѣмецкой публики, которая не понимала значенія и страшной необходимости этой борьбы, бранила бѣднаго Фосса за безжалостное разоблаченіе домашнихъ обстоятельствъ, маленькихъ житейскихъ происшествій, которыя въ совокупности составляли, однако, обличительное цѣлое. Нашлись также такъ-называемыя высокія души, которыя высокомѣрно порицали мелочное откапываніе бездѣлицъ и обвиняли бѣднаго Фосса въ сплетничествѣ. Другіе, простые бюргеры, боясь, чтобъ не сдернули завѣсу, скрывавшую и ихъ собственную плачевность, горячо возставали противъ нарушенія установившагося въ литературѣ обычая, строго запрещавшаго всѣ личности, всѣ разоблаченія частной жизни. Когда же вскорѣ послѣ этого Фридрихъ Штольбергъ умеръ, смерть его приписали огорченію, а затѣмъ появилась забавокъ его посмертная «Книжечка любви», въ которой нищемѣрно христіанскимъ, всепрощающимъ, чисто іезуит-

скимъ тономъ говорилъ о своемъ бѣдномъ, ослѣпленномъ другѣ, тогда полились слезы нѣмецкаго состраданія, тогда расплакался нѣмецкій Михель въ три ручья, накопилось много мягкосердечнаго бѣшенства противъ бѣднаго Фосса, и большая часть оскорбленій была нанесена ему именно тѣми людьми, за духовныя и свѣтскія блага которыхъ онъ сражался.

Вообще въ Германіи можно разсчитывать на состраданіе и ручьи слезъ массы, когда въ полемическомъ спорѣ васъ кто-нибудь сильно отдѣлаетъ. Въ этомъ случаѣ нѣмцы похожи на тѣхъ старыхъ бабъ, которыя не пропустятъ ни одной казни, толпятся тамъ, какъ самые любопытные зрители, при видѣ бѣднаго преступника и его страданій горько плачутъ и даже защищаютъ его. Но эти плакальщицы, такъ сильно скорбящія на литературныхъ экзекуціяхъ, страшно разсердились бы, если-бъ бѣдный преступникъ, наказанія котораго онѣ именно ожидали, вдругъ былъ помилованъ, и имъ пришлось бы потащиться домой, ничего не увидѣвъ. Въ этихъ случаяхъ ихъ гнѣвъ сильнѣе всего обрушивается на того, кто обманулъ ихъ ожиданія.

Однако, полемика Фосса произвела сильное впечатлѣніе на массу и разрушила въ общественномъ мнѣніи утрированную любовь къ среднимъ вѣкамъ. Полемика эта взволновала Германію, большая часть публики объявила себя безусловно за Фосса, а еще бо́льшая—только за его дѣло. Посыпались статьи и опроверженія, и всѣ эти препирательства немало отравили послѣдніе дни старика. Ему приходилось имѣть дѣло съ самыми сквернымъ противниками—съ католическимъ духовенствомъ, которое нападало на него подъ всяческими масками. Не только криптокатолики, но и піетисты, квіетисты, лютеранскіе мистики, словомъ, всѣ суперъ-натуралистическія секты протестантской церкви, которыя такъ разнятся между собою въ убѣжденіяхъ, соединились въ одинаковой ненависти къ раціоналисту Фоссу. Раціоналистами называютъ въ Германіи тѣхъ людей, которые даютъ разуму мѣсто и въ области религіи, въ противоположность суперъ-натуралистамъ, которые въ этой области болѣе или менѣе отреклись отъ всякаго познанія посредствомъ разума. Эти послѣдніе, въ своей ненависти къ бѣднымъ раціоналистамъ, похожи на помѣшанныхъ въ сумасшедшемъ домѣ, которые, хотя помѣшаны на разныхъ предметахъ, все-таки живутъ кое-какъ въ ладу между собой, но исполнены страшнѣйшаго озлобленія противъ человѣка, ко-

тораго они считаютъ своимъ общимъ врагомъ и который есть не кто иной, какъ докторъ, желающій возвратить имъ разсудокъ.

Но если романтическая школа совершенно погибла въ общественномъ мнѣніи вслѣдствіе разоблаченія католическихъ интригъ, то разрушительный ударъ былъ нанесенъ ей въ то же время въ ея же собственномъ храмѣ, и притомъ устами одного изъ тѣхъ боговъ, которыхъ она сама тамъ воздвигла. Именно Вольфгангъ Гёте сошелъ со своего пьедестала и произнесъ обвинительный приговоръ господамъ Шлегелямъ, тѣмъ самымъ жрецамъ, которые воскуряли ему столько ѳиміама. Этотъ голосъ разогналъ весь призрачный міръ; средневѣковыя привидѣнія исчезли, совы снова попрятались въ развалины старинныхъ замковъ, вороны снова отлетѣли на башни старыхъ церквей; Фридрихъ Шлегель уѣхалъ въ Вѣну, гдѣ каждый день ходилъ къ обѣднѣ и ѣлъ жареныхъ пулярокъ; Августъ Вильгельмъ Шлегель удалился въ пагоду Брамы.

Говоря откровенно, Гёте игралъ въ то время весьма двусмысленную роль, и его нельзя похвалить безусловно. Правда, Шлегели тоже никогда не поступали съ нимъ честно: можетъ-быть, только потому, что въ полемикѣ со старой школой имъ нуженъ былъ, какъ образецъ, и живой поэтъ, а они никого не находили болѣе пригоднымъ для этой цѣли, какъ Гёте, да и ждали отъ него нѣкоторой литературной поддержки,—только потому воздвигнули они ему алтарь, и курили ему ѳиміамъ, и заставляли народъ преклонять предъ нимъ колѣни. Такимъ образомъ они имѣли его подъ рукою. Изъ Іены въ Веймаръ ведетъ аллея изъ прекрасныхъ деревьевъ, на которыхъ растутъ сливы, весьма вкусныя, когда чувствуешь жажду во время солнечнаго жара. И Шлегели очень часто ходили по этой аллеѣ, и въ Веймарѣ много разъ бесѣдовали съ г. тайнымъ совѣтникомъ Гёте, который былъ всегда большимъ дипломатомъ, и спокойно выслушивалъ Шлегелей, любезно улыбался имъ, иногда и оставлялъ у себя обѣдать, оказывалъ и другія любезности, и т. п. Шлегели поддѣлывались также и къ Шиллеру, но это былъ человѣкъ честный и не хотѣлъ слышать о нихъ. Переписка между Шиллеромъ и Гёте, напечатанная три года тому назадъ, пролила значительный свѣтъ на отношенія обоихъ поэтовъ къ Шлегелямъ. Гёте, рѣчь заходитъ о нихъ, свысока улыбается, а Шиллеръ злится ихъ нахальная страсть къ скандалу, ихъ манія

заставлять говорить о себѣ посредствомъ скандала, и онъ называетъ ихъ «дуралеями».

Какъ бы, однако, ни смотрѣлъ свысока Гёте на Шлегелей, онъ все-таки обязанъ имъ большею частью своей славы: они содѣйствовали изученію и пониманію его произведеній. Оскорбительная, постыдная заносчивость, съ которою онъ подъ конецъ далъ этимъ двумъ людямъ отставку, сильно отзывается неблагодарностью. Быть-можетъ, однако, прозорливый Гёте былъ разсерженъ тѣмъ, что Шлегели хотѣли употреблять его только какъ орудіе для своихъ цѣлей; быть-можетъ, онъ, министръ протестантскаго государства, находилъ, что эти цѣли грозятъ его компрометировать; а, можетъ-быть, пробудился въ немъ и древне-языческій гнѣвъ боговъ при видѣ этихъ темныхъ католическихъ продѣлокъ: ибо какъ Фоссъ походилъ на одноглазаго тяжелаго Одина, такъ Гёте, по своей наружности и образу мыслей, былъ великій Юпитеръ. Первому нужно было, правда, разить изо всѣхъ силъ Торовымъ молотомъ, Гёте же стоило только сердито встряхнуть своими, умащенными амврозіей, кудрями—и Шлегели дрожали и ползкомъ удалялись отъ него. Гласный документъ этого нападенья со стороны Гёте появился во второмъ номерѣ его журнала «Искусство и Древность», и носитъ заглавіе: «О христіанско-патріотическо-ново-нѣмецкомъ искусствѣ». Этой статьею Гёте произвелъ какъ бы свое 18-е брюмера въ нѣмецкой литературѣ, ибо жестоко выгнавъ ею Шлегелей изъ храма, привлекши къ себѣ многихъ изъ ихъ ревностнѣйшихъ послѣдователей, и встрѣченный громкими рукоплесканіями публики, которая давно уже смотрѣла на директорію Шлегеля, какъ на злодѣяніе, онъ положилъ основаніе своему единодержавію въ нѣмецкой литературѣ. Съ этой минуты о Шлегеляхъ не было уже и рѣчи; только изрѣдка заговаривали о нихъ, какъ говорятъ еще иногда о Барра или Гойе. Перестали говорить о поэзіи романтической или классической, говорили только о Гёте, и снова о Гёте. Правда, въ это время выступали на литературную арену поэты, которые немногимъ уступали Гёте въ силѣ и фантазіи, но они изъ вѣжливости признавали его своимъ верховнымъ главою и съ покло
ніями окружали его, цѣловали у него руку, падали пре
нимъ на колѣни; эти парнасскіе гранды и отличались, одна
отъ массы тѣмъ, что имѣли право не снимать съ
лавроваго вѣнка и въ присутствіи Гёте. Иногда о
брюзжали на него, но зато сердились, когда видѣли

поэты, стоявшіе ниже ихъ, считали себя въ правѣ дѣлать то же. Аристократы, какое бы ни чувствовали нерасположеніе къ своему властелину, всегда, однако, гнѣваются, когда и чернь возстаетъ противъ него. А у умственныхъ нѣмецкихъ аристократовъ были, въ теченіе двухъ послѣднихъ десятилѣтій, весьма основательныя причины негодовать на Гёте. Я самъ въ то время съ достаточною горечью открыто высказалъ, что Гёте былъ похожъ на Людовика XI, который тѣснилъ высшее дворянство и возвышалъ среднее сословіе.

Это было очень противно. Гёте боялся всякаго самостоятельнаго писателя, онъ расточалъ похвалы всѣмъ незначительнымъ умишкамъ; въ этомъ отношеніи онъ зашелъ даже такъ далеко, что похвала Гёте считалась патентомъ на посредственность.

Ниже я говорю о новыхъ поэтахъ, которые явились въ періодъ императорства Гёте. Это былъ молодой лѣсъ, стволы котораго стали показываться въ своемъ величіи лишь теперь, съ тѣхъ поръ, какъ рухнулъ столѣтній дубъ, вѣтви котораго такъ высоко возносились надъ ними и такъ закрывали ихъ своею тѣнью.

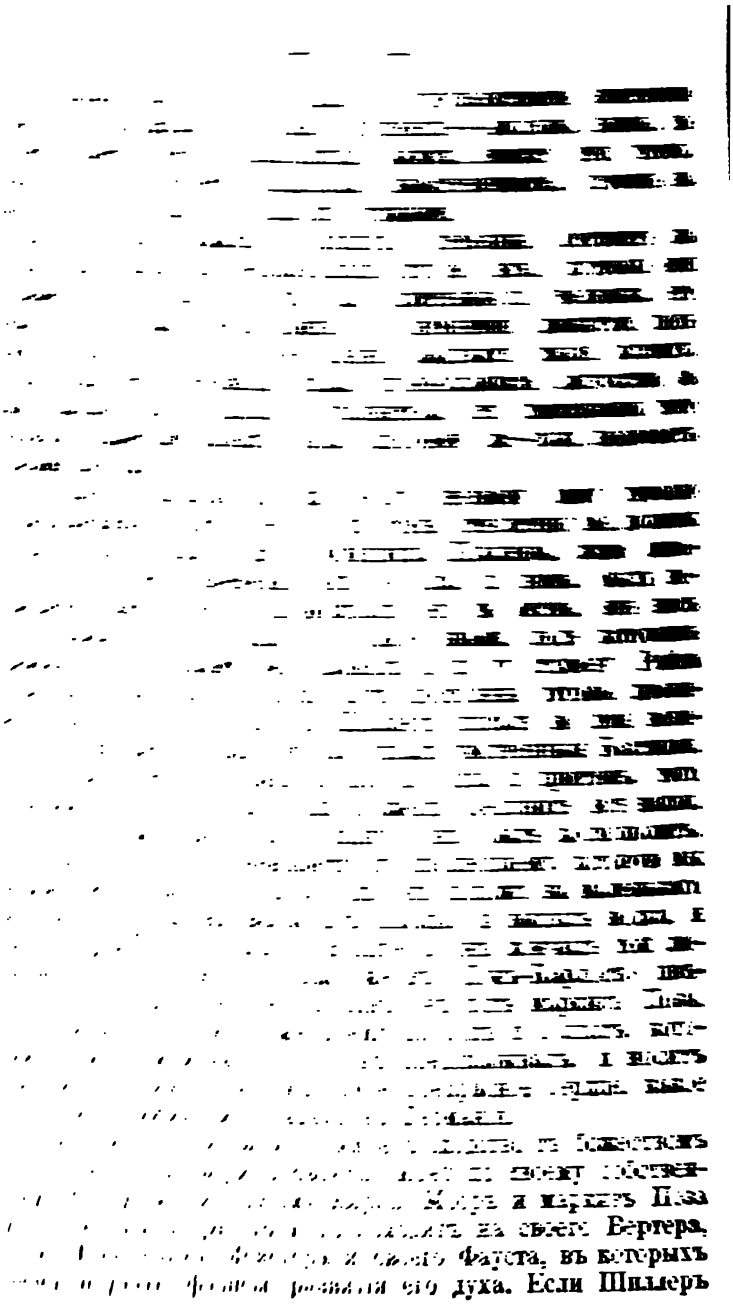
Какъ я сказалъ уже, не было недостатка въ озлобленной оппозиціи противъ Гёте, этого великаго дерева. Люди самыхъ противоположныхъ мнѣній соединились въ этой оппозиціи. Старовѣры ортодоксы сердились за то, что въ стволѣ этого великаго дерева не было ни одного углубленія съ образкомъ католическаго святого, что даже обнаженныя дріады язычества занимались въ немъ своимъ колдовствомъ, и подобно св. Бонифацію, они охотно бы срубили священной сѣкирой этотъ старый заколдованный дубъ. Нововѣры, приверженцы либерализма, сердились, напротивъ, за то, что это дерево нельзя было сдѣлать деревомъ свободы, и ужъ ни въ какомъ случаѣ употребить его на постройку баррикады. Дерево, дѣйствительно, было слишкомъ высоко, невозможно было прицѣпить къ его вершинѣ красный колпакъ и танцовать подъ нимъ карманьолу. Но масса уважала это дерево именно за его столь самостоятельное ве- олѣпіе, за то, что оно такъ прелестно наполняло міръ имъ ароматомъ, за то, что его вѣтви такъ роскошно воз- лись къ небу, такъ что казалось, будто самыя звѣзды о золотые плоды этого чуднаго дерева.

позиція противъ Гёте начинается собственно съ выхода вѣтъ такъ-называемыхъ «фальшивыхъ страннических

годовъ»—книги, которая появилась въ 1821 году въ Квед-линбургѣ, слѣдовательно нѣсколько времени спустя послѣ паденія Шлегеля, у Готфрида Бассе, подъ заглавіемъ: «Годы странствованія Вильгельма Мейстера». Гёте объявилъ подъ этимъ заглавіемъ продолженіе «Годовъ ученія Вильгельма Мейстера», и по странному случаю, это продолженіе появилось въ одно время со своимъ литературнымъ двойникомъ, гдѣ не только подражалось Гётевской манерѣ писанія, но и гдѣ дѣйствующимъ лицомъ былъ герой романа Гёте. Это обезьянство свидѣтельствовало не столько объ умѣ, сколько о большомъ тактѣ автора, а такъ какъ авторъ сумѣлъ сохранить на нѣкоторое время свою анонимность, которую напрасно старались разгадать, то интересъ въ публикѣ былъ еще искусственно усиленъ этимъ. Наконецъ, однако, сдѣлалось извѣстно, что авторъ былъ неизвѣстный до тѣхъ поръ деревенскій пасторъ, по имени Пусткухенъ, что̀ по-французски значитъ omelette soufflée—названіе, выражавшее и всю натуру этого писателя. Книга его была не что иное, какъ старое піетистическое кислое тѣсто, эстетически вздувшееся. Тутъ упрекали Гёте за то, что въ его произведеніяхъ нѣтъ никакой моральной цѣли, что онъ не умѣетъ создавать благородные характеры, а только вульгарныя фигуры, что, напротивъ того, Шиллеръ изображаетъ идеально благороднѣйшихъ людей, а потому онъ и поэтъ выше Гёте.

Это послѣднее замѣчаніе, то-есть, что Шиллеръ выше поэтъ, чѣмъ Гёте, было главнымъ спорнымъ пунктомъ, порожденнымъ этою книгой. Началась манія сравнивать произведенія этихъ двухъ поэтовъ, и мнѣнія раздѣлились. Шиллерьянцы настойчиво указывали на нравственную прелесть Макса Пикколомини, Теклы, маркиза Позы и другихъ театральныхъ героевъ Шиллера, называя, въ противоположность имъ, безнравственными женщинами лицъ, созданныхъ Гёте—Филину, Кетхенъ, Клерхенъ и другихъ очаровательныхъ созданій! Гётеанцы замѣчали съ улыбкой, что эти лица, какъ и героевъ Гёте, дѣйствительно съ трудомъ можно находить нравственными, но что проповѣдываніе нравственности, чего требовали отъ поэтическихъ
деній Гёте, отнюдь не составляетъ цѣли искусства.
искусствѣ нѣтъ никакихъ цѣлей, какъ нѣтъ ихъ и
зданіи, гдѣ только человѣкъ откапываетъ понятія
средство»; искусство, какъ міръ, существуетъ
себя, и, какъ міръ, остается вѣчно однимъ и т

люди въ воззрѣніяхъ на него безпрерывно мѣняютъ свои сужденія, такъ и искусство должно оставаться независимымъ отъ временныхъ взглядовъ человѣческихъ; слѣдственно, искусство должно оставаться независимымъ особенно отъ морали, которая измѣняется на землѣ всякій разъ, какъ возникаетъ новая религія и вытѣсняется старая. Дѣйствительно, такъ какъ по прошествіи нѣсколькихъ столѣтій въ мірѣ постоянно возникаетъ новая религія и такъ какъ она, переходя въ нравы, создаетъ и новую мораль, то, если судить о произведеніяхъ искусства по масштабу нравственности даннаго времени, всякая эпоха художественныя произведенія прошедшаго признавала бы еретическими и безнравственными. И, дѣйствительно, мы были свидѣтелями тому, какъ добрые христіане, проклинающіе плоть, какъ нѣчто дьявольское, всегда испытывали гнѣвъ при видѣ изваяній греческихъ боговъ; какъ цѣломудренные католическіе монахи подвязывали передникъ къ статуѣ древней Венеры; даже въ самое новое время къ голымъ статуямъ приклеивали смѣшные виноградные листья; одинъ набожный квакеръ пожертвовалъ всѣмъ своимъ имуществомъ для того, чтобъ скупить прекраснѣйшія миѳологическія картины Джуліо Романо и сжечь ихъ... за это, право, слѣдовало бы его переселить послѣ смерти въ Елисейскія Поля и тамъ ежедневно наказывать розгами! Религія, которая признавала бы Бога только въ матеріи и поэтому считала бы божественною только плоть, должна была бы, перейди она въ нравы, породить такую мораль, по которой цѣнны только тѣ произведенія искусства, что возвеличиваютъ плоть, и напротивъ, должны осуждаться, какъ безнравственныя, произведенія искусства, произведенія христіанскаго искусства, изображающія только ничтожество плоти. Да, произведенія искусства, признанныя нравственными въ одной странѣ, могутъ считаться безнравственными въ другой, гдѣ въ нравы перешла другая религія; такъ, напримѣръ, наши пластическія искусства возбуждаютъ ужасъ и отвращеніе въ правовѣрномъ мусульманинѣ, и наоборотъ, что въ искусствѣ считается весьма невиннымъ въ восточномъ гаремѣ, то приводитъ въ великое негодованіе христіанина. Въ Индіи, гдѣ профессія баядерки отнюдь не считается общественнымъ мнѣніемъ, драма «Вазантазена», героиня которой—публичная женщина, нисколько не считается безнравственной; но если-бъ эту пьесу дали на Théâtre Français, весь партеръ закричалъ бы о безнравственности—



цѣликомъ кидается въ исторію, если онъ относится съ энтузіазмомъ къ соціальному прогрессу человѣчества и воспѣваетъ всемірную исторію, то Гёте погружается больше въ чувства индивидуальныя, или въ искусство, или въ природу. Пантеиста Гёте должна была въ концѣ-концовъ исключительно заинтересовать, какъ главный предметъ изученія, исторія природы, и результаты своихъ изысканій онъ далъ намъ не только въ поэтическихъ произведеніяхъ, но и въ научныхъ трудахъ. Индиферентизмъ его былъ также результатомъ его пантеистическаго міровоззрѣнія.

Къ сожалѣнію, правда, мы должны въ этомъ сознаться, что нерѣдко пантеизмъ дѣлалъ людей индиферентистами. Они думаютъ: если все есть Богъ, то все равно, чѣмъ бы ни заниматься—облаками или античными монетами, народными пѣснями или костями обезьянъ, людьми или комедіантами. Но въ этомъ-то и ошибка: все не есть Богъ, а Богъ есть все; Богъ проявляется не въ одинаковой мѣрѣ во всѣхъ вещахъ, Онъ проявляется скорѣе въ различныхъ степеняхъ, въ различныхъ вещахъ, и все въ мірѣ несетъ въ себѣ стремленіе достигнуть высшей степени божественности; это-то и есть великій законъ прогресса въ природѣ. Признаніе этого закона, наиболѣе глубокомысленно провозглашеннаго сенсимонистами, дѣлаетъ теперь изъ пантеизма міровоззрѣніе, которое приводитъ отнынѣ не къ индиферентизму, а къ исполненному неодолимой жажды самопожертвованія стремленію впередъ. Нѣтъ, Богъ проявляется неравномѣрно во всѣхъ вещахъ, какъ думалъ Вольфгангъ Гёте, который сдѣлался черезъ это индиферентистомъ и вмѣсто высочайшихъ интересовъ человѣчества занялся только игрушками искусства, анатоміей, ученіемъ о цвѣтахъ, ботаникой и наблюденіями надъ облаками; Богъ проявляется въ вещахъ болѣе или менѣе, онъ живетъ въ этомъ постоянномъ проявленіи, Богъ есть въ движеніи, въ дѣйствіяхъ, во времени, Его святое дыханіе вѣетъ въ листахъ исторіи, которая есть настоящая книга Божья; и это чувствовалъ и подозрѣвалъ Фридрихъ Шиллеръ, и сдѣлался онъ «обращеннымъ назадъ пророкомъ», и напи-
ъ «Отпаденіе Нидерландовъ», «Тридцатилѣтнюю войну»,
леанскую дѣву» и «Вильгельма Телля».

нечно, и Гёте воспѣлъ нѣсколько великихъ исторій
сипаціи, но онъ воспѣлъ ихъ какъ артистъ. Такъ какъ
гіанскій энтузіазмъ онъ непріязненно отклонялъ отъ
а философскаго энтузіазма нашего времени не хо-

нялъ, или не хотѣлъ понять, потому что боялся быть черезъ это вырваннымъ изъ своего душевнаго спокойствія, то и смотрѣлъ вообще на энтузіазмъ только съ исторической точки зрѣнія, какъ на нѣчто данное, какъ на матеріалъ для разработки; подъ его руками духъ становился матеріею, и онъ давалъ ему прекрасную, пріятную форму. Такимъ образомъ онъ сдѣлался величайшимъ художникомъ въ нашей литературѣ, и все, что написалъ онъ, было законченнымъ произведеніемъ искусства.

Примѣръ учителя увлекъ учениковъ, и въ Германіи возникъ этимъ путемъ тотъ литературный періодъ, который я назвалъ нѣкогда «періодомъ искусства», и въ которомъ я указалъ вредное вліяніе его на политическое развитіе нѣмецкаго народа. Тѣмъ не менѣе, я нисколько не отрицалъ при этомъ случаѣ самостоятельнаго достоинства художественныхъ произведеній Гёте: они украшаютъ наше дорогое отечество, какъ прекрасныя статуи украшаютъ садъ; но они статуи. Въ нихъ можно влюбиться, но они безплодны; поэзія Гёте не порождаетъ дѣйствія, какъ поэзія Шиллера. Дѣйствіе есть дитя слова, а прекрасныя слова Гёте бездѣтны. Въ этомъ проклятіе всего, что порождено только искусствомъ. Статуя, сдѣланная Пигмаліономъ, изображала прекрасную женщину, даже авторъ ея влюбился въ нее, своими поцѣлуями онъ вдохнулъ въ нее жизнь, но, сколько намъ извѣстно, у нея никогда не было дѣтей. Кажется, что-то подобное въ этомъ отношеніи сказалъ Шарль Нодье, и я думалъ объ этомъ вчера, проходя по нижнимъ заламъ Лувра и разсматривая древнія статуи боговъ. Тамъ стояли они, съ нѣмыми бѣлыми глазами, тайной меланхоліей въ мраморной улыбкѣ—можетъ-быть, грустное воспоминаніе объ Египтѣ, странѣ мертвецовъ, откуда они ведутъ свое происхожденіе, или страдальческое томленіе по жизни, изъ которой они вытѣснены другими божествами, или же скорбь о своемъ мертвомъ безсмертіи... казалось, они ждали слова, долженствующаго снова вызвать ихъ къ жизни, освободить ихъ отъ каменной, холодной неподвижности. Странно! эти антики напомнили мнѣ поэтическія созданія Гёте, которыя столь же закончены, столь же великолѣпны, столь же спокойны, и кажется, тоже чувствуютъ съ горестью, что ихъ неподвижность и холодность разлучаютъ ихъ съ нашей теперешней одушевленно го[illegible] жизнью, что они не могутъ ликовать и страдать съ что они не люди, а несчастная смѣсь изъ божества и

Эти немногія указанія объясняютъ причины нерасположенія различныхъ партій, возставшихъ въ Германіи противъ Гёте. Правовѣрные вознегодовали на великаго язычника, какъ обыкновенно называютъ въ Германіи Гёте; они боялись его вліянія на народъ, въ который онъ проводилъ свое міросозерцаніе улыбающимися стихотвореніями, даже самыми незначительными пѣсенками; они видѣли въ немъ опаснѣйшаго врага католическаго догматизма, который былъ для него такъ же невыносимъ, какъ клопы, чеснокъ и табакъ; такъ, приблизительно, гласитъ ксенія, которую Гёте осмѣлился высказать въ Германіи, странѣ, гдѣ эта тройка—чеснокъ, табакъ и католическій догматизмъ, господствуетъ въ своемъ дружномъ союзѣ. Но намъ, людямъ движенія, совсѣмъ не это не нравилось въ Гёте. Я уже сказалъ, что мы порицали безплодность его слова, поклоненіе исключительно искусству, распространенное имъ по Германіи, поселившее въ нашей молодежи квіетизмъ, сдѣлавшееся преградой для политическаго возрожденія нашего отечества. Вслѣдствіе этого, на равнодушнаго пантеиста нападали съ самыхъ противоположныхъ сторонъ, или, выражаясь по-французски, противъ Гёте соединились и крайняя правая, и крайняя лѣвая, съ одной стороны устремлялся на него католическій монахъ, съ другой—въ то же самое время, бѣшеный санкюлотъ. Г. Вольфгангъ Менцель, употребившій на войну съ Гёте остроуміе, достойное лучшей цѣли, не выказалъ въ своей полемикѣ такой односторонности спиритуалистическаго католика или недовольнаго патріота; часть своихъ нападеній онъ строилъ больше на послѣднихъ сужденіяхъ Фридриха Шлегеля, который послѣ своего паденія, изъ глубины своего католическаго храма, посылалъ проклятія на Гёте, на этого Гёте, «котораго поэзія не имѣетъ средоточія». Менцель зашелъ еще дальше: онъ доказывалъ, что Гёте не былъ геніемъ, а только талантомъ, онъ превозносилъ Шиллера, какъ противоположность ему, и т. п. Это было за нѣсколько времени до іюльской революціи. Менцель въ то время былъ величайшимъ почитателемъ среднихъ вѣковъ, въ отношеніи какъ произведеній искусства, такъ и установленій, онъ бранилъ съ безпрерывною злобой ...нриха Фосса и съ неслыханнымъ энтузіазмомъ восхва...ъ Іосифа Герреса. Поэтому его ненависть противъ ...е была искренна; онъ писалъ противъ него по убѣжде... а не для того, чтобъ сдѣлаться черезъ это извѣстнымъ, ...это думали многіе. Хотя я самъ также былъ въ то

время противникомъ Гёте, но мнѣ была непріятна грубость, съ которою Менцель критиковалъ его, и я обвинялъ Менцеля въ недостаткѣ благочестія. Я говорилъ, что Гёте былъ все-таки царемъ нашей литературы; когда къ такому лицу подходятъ съ критическимъ ножомъ, то это слѣдуетъ дѣлать съ почтительною вѣжливостью, подобно тому палачу, которому пришлось отрубить голову Карлу I и который, прежде исполненія этого дѣла, сталъ передъ Карломъ на колѣни и попросилъ у него извиненія.

Въ числѣ противниковъ Гёте былъ и знаменитый надворный совѣтникъ Мюльнеръ, и единственный другъ, оставшійся ему вѣрнымъ, — профессоръ Шюцъ, сынъ стараго Шюца. Къ явнымъ противникамъ его принадлежали нѣсколько и другихъ, менѣе знаменитыхъ лицъ, напримѣръ, нѣкій Шпаунъ, долго просидѣвшій за политическія преступленія въ смирительномъ домѣ. Говоря между нами, то было очень разнокалиберное общество. Что они дѣлали, я уже сказалъ довольно подробно; труднѣе было бы угадать, для каждаго изъ этихъ людей отдѣльно, особенную побудительную причину, заставлявшую его открыто высказывать свои антигётеанскія убѣжденія. Основательно я знаю эту причину относительно только одного лица, и такъ какъ это лицо—я самъ, то и выскажу откровенно, что причиною была зависть. Но къ моей похвалѣ я долженъ еще разъ высказать, что въ Гёте я никогда не нападалъ на поэта, а только на человѣка. Я никогда не порицалъ его произведеній. Я никогда не могъ открыть въ нихъ какихъ-нибудь недостатковъ, подобно тѣмъ критикамъ, которые, съ помощью своихъ тонко отшлифованныхъ очковъ, открываютъ пятна и на лунѣ; прозорливые люди! то, что принимаютъ они за пятна, то—цвѣтущіе лѣса, серебристыя рѣки, величественныя горы, веселыя долины.

Ничего не можетъ быть нелѣпѣе этого приниженія Гёте въ пользу Шиллера, съ которымъ поступали въ этомъ отношеніи вовсе не искренно, и котораго всегда ставили такъ высоко только для того, чтобъ тѣмъ унизить Гёте. Или они въ самомъ дѣлѣ не знали, что создавать эти, столь превозносимые высоко, идеальные образы, эти статуи на алтарѣ добродѣтели и нравственности, которыя воздвигалъ Шиллеръ, было гораздо легче, чѣмъ творить изъ грѣшныя, житейски обыденныя, запятнанныя существа, которыхъ мы видимъ въ произведеніяхъ Гёте? Неужели они не знаютъ, что посредственные живописцы бо-

частью покрываютъ свое полотно фигурами святыхъ въ естественную величину, но что нужно быть великимъ художникомъ, чтобъ нарисовать, съ сохраненіемъ всей жизненной правды и всѣхъ правилъ техники, какого-нибудь испанскаго нищаго мальчика, ищущаго у себя вшей, или фламандскаго мужика, котораго рветъ, или у котораго выдергиваютъ зубъ, или этихъ безобразныхъ старухъ, которыхъ мы видимъ на маленькихъ голландскихъ картинахъ голландской школы? Великое и страшное изображать въ искусствѣ гораздо легче, чѣмъ малое и смѣшное. Египетскіе чародѣи могли подражать Моисею во многихъ, творившихся имъ, чудесахъ, каковы, напр., змѣи, кровь, даже лягушки; но когда онъ сотворилъ чудо, повидимому, гораздо болѣе легкое, именно мелкихъ гадовъ, тогда они сознались въ своемъ безсиліи, и не могли сотворить то же самое, и сказали: «это перстъ Божій». Браните, сколько хотите грубыя сцены въ «Фаустѣ», сцены на Брокенѣ, въ погребѣ Ауэрсбаха, браните неприличности въ «Мейстерѣ»—всего этого вамъ, однако, никогда не удастся скопировать; это перстъ Гёте! Но вы и не хотите этого копировать, и я слышу, какъ вы съ отвращеніемъ говорите: «мы не колдуны, мы добрые христіане!» Что вы не колдуны—это я знаю.

Величайшая заслуга Гёте заключается именно въ законченности всего, имъ изображаемаго. У него нѣтъ соединенія подробностей вполнѣ хорошихъ со слабыми, полной законченности въ рисункѣ съ легкимъ наброскомъ, нѣтъ никакой робости, никакого традиціоннаго нагроможденія матеріала, никакой склонности къ подробностямъ. Каждое лицо въ своихъ драмахъ и романахъ онъ обрисовываетъ съ такою полнотой, какъ если бы оно было главное. То же самое и у Гомера, то же и у Шекспира. Въ произведеніяхъ всѣхъ великихъ художниковъ нѣтъ, собственно говоря, второстепенныхъ лицъ; каждое лицо есть главное на своемъ мѣстѣ. Подобные поэты похожи на самодержавныхъ государей, которые признаютъ въ человѣкѣ достоинство и значеніе только на основаніи своего собственнаго благоусмотрѣнія. Когда, однажды, французскій посланникъ, въ бесѣдѣ
[illegible]сскимъ императоромъ Павломъ, замѣтилъ, что одинъ
[illegible]ый человѣкъ въ этомъ государствѣ интересуется ка-
[illegible]то дѣломъ, императоръ строго перебилъ его замѣча-
[illegible]ими словами: «Въ этомъ государствѣ нѣтъ важнаго
[illegible], кромѣ того, съ которымъ *я* разговариваю,
[illegible]до тѣхъ поръ, пока я съ нимъ разговариваю, о[illegible]

важенъ». Самодержавный поэтъ, тоже получившій свой талантъ милостью Божьей, признаетъ тоже въ своемъ умственномъ царствѣ самымъ важнымъ лицомъ то, которому онъ даетъ говорить въ данную минуту, которое въ данную минуту попало подъ его перо, и въ такомъ абсолютизмѣ искусства заключается источникъ удивительной законченности малѣйшихъ фигуръ въ произведеніяхъ Гомера, Шекспира и Гёте.

Если я говорилъ съ нѣкоторою жесткостью о противникахъ Гёте, то еще съ большею жесткостью долженъ говорить о его хвалителяхъ. Въ пылу своего рвенія большая часть изъ нихъ надѣлала еще бо̀льшихъ глупостей. Въ этомъ отношеніи на границѣ смѣшного стоитъ нѣкто г. Эккерманнъ, въ которомъ, впрочемъ, нельзя отрицать умъ. Въ борьбѣ съ Пусткухеномъ, Карлъ Иммерманнъ, нашъ величайшій современный драматическій поэтъ, заслужилъ свои критическія шпоры, написавъ по этому случаю превосходную книжечку. Въ особенности отличались въ этомъ случаѣ берлинцы. Самымъ значительнымъ защитникомъ Гёте былъ постоянно Варнгагенъ фонъ-Энзе, человѣкъ, носящій въ сердцѣ мысли, громадныя, какъ міръ, и облекающій ихъ въ слова, драгоцѣнныя и красивыя, какъ отшлифованный драгоцѣнный камень. Сужденіямъ этого высокаго ума Гёте всегда придавалъ большое значеніе. Здѣсь, можетъ-быть, будетъ полезно упомянуть, что Вильгельмъ Гумбольдтъ уже прежде написалъ прекрасную книгу о Гёте. Въ послѣднія десять лѣтъ на каждой лейпцигской ярмаркѣ появлялось нѣсколько новыхъ сочиненій о Гёте. Изысканія Шубарта о Гёте принадлежатъ къ достопримѣчательностямъ высшей критики. Все, написанное о Гёте въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ Герингомъ, пишущимъ подъ псевдонимомъ Виллибальда Алексиса, было такъ же умно, какъ и важно. Циммерманнъ, профессоръ въ Гамбургѣ, высказалъ въ своихъ устныхъ лекціяхъ много прекраснѣйшихъ сужденій о Гёте, которыя затѣмъ повторены, правда, кратко, но тѣмъ болѣе глубокомысленно, въ его драматургическихъ статьяхъ. Во многихъ германскихъ университетахъ читались курсы о Гёте, и изъ всѣхъ его произведеній г
въ особенности занималась «Фаустомъ». Его много
вали и перетолковывали, онъ сдѣлался свѣтскою
нѣмцевъ.

Я не былъ бы нѣмцемъ, если-бъ, упомянувъ о
не высказалъ нѣсколько объяснительныхъ мысле

Потому что, начиная отъ великаго мыслителя до послѣдняго маркера, отъ философа до доктора философіи, всякій пробуетъ свою проницательность надъ этой книгой. Но содержаніе этой книги дѣйствительно громадно: она обнимаетъ небо и землю, вмѣстѣ съ человѣкомъ и его экзегетикой. Главнѣйшая причина такой популярности «Фауста» заключается и здѣсь въ его сюжетѣ; но что̀ Гёте заимствовалъ его изъ народныхъ преданій, это именно доказываетъ безсознательное глубокомысліе Гёте, его геній, который всегда умѣлъ выбирать самое близкое и самое надлежащее. Я предполагаю, что содержаніе «Фауста» уже извѣстно, ибо въ послѣднее время книга эта сдѣлалась весьма знаменитой и во Франціи. Но я не знаю, извѣстно ли во Франціи старинное народное преданіе, продаютъ ли и здѣсь на ярмаркахъ маленькую, скверно напечатанную на сѣрой оберточной бумагѣ и украшенную лубочными картинками книжечку, въ которой подробно разсказывается, какъ архи-чародѣй Іоганнъ Фаустъ, ученый докторъ, изучившій всѣ науки, кончилъ тѣмъ, что бросилъ свои книги и, чтобъ насладиться всѣми земными благами, заключилъ договоръ съ дьяволомъ, обязавшись отдать за это свою душу на погибель въ аду. Народъ въ средніе вѣка всегда приписывалъ мощнымъ умамъ подобный союзъ съ дьяволомъ, и Альбертусъ Магнусъ, Раймондъ Луллусъ, Теофрастъ Парацельсъ, Агриппа Неттесгеймскій, а также въ Англіи Рожеръ Бэконъ, прослыли за чародѣевъ, чернокнижниковъ, заклинателей духовъ. Но гораздо болѣе своеобразнаго пѣлось и говорилось о докторѣ Фаустѣ, который потребовалъ у дьявола не только познанія вещей, но и самыхъ реальныхъ наслажденій; и это тотъ самый Фаустъ, который изобрѣлъ книгопечатаніе, и жилъ въ то время, когда начались проповѣди противъ строгаго авторитета церкви и самостоятельныя изслѣдованія; такъ что съ Фаустомъ оканчивается средневѣковой періодъ безусловной вѣры и начинается новѣйшая критико-научная эпоха. Дѣйствительно, весьма замѣчательно, что именно въ то время, когда, по народному преданію, жилъ докторъ Фаустъ, началась реформація, и что самъ Фаустъ, какъ говоритъ молва, изобрѣлъ искусство, доставившее наукѣ побѣду надъ преданіемъ, именно книгопечатаніе, искусство, похитившее, однако, у насъ католическое спокойствіе души и ввергшее насъ въ сомнѣніе и революціонныя смуты, даже — сказалъ бы кто-нибудь другой, не я — предавшее насъ, наконецъ, во власть дьявола. Но нѣтъ

знаніе, познаваніе вещей разумомъ, наука доставляетъ намъ, въ концѣ концовъ, тѣ наслажденія, которыхъ такъ долго лишалъ насъ католицизмъ, мы познаемъ, что люди призваны не для одного загробнаго, но и для земного равенства, политическое братство, проповѣдуемое намъ философіей, для насъ благодѣтельнѣе братства чисто духовнаго, и знаніе дѣлается словомъ, и слово дѣломъ, и мы можемъ быть счастливы въ этомъ мірѣ, находясь еще въ живыхъ... а если, сверхъ того, послѣ смерти достанется намъ такъ положительно обѣщаемое блаженство, то это должно быть весьма пріятно для насъ.

Все это нѣмецкій народъ давно уже глубокомысленно продумалъ, потому что онъ самъ тотъ ученый докторъ Фаустъ, онъ самъ тотъ спиритуалистъ, который духомъ позналъ, наконецъ, недостаточность духа, и требуетъ матеріальныхъ наслажденій, и возвращаетъ плоти ея права. Но пока люди были въ цѣпяхъ символики католической поэзіи, гдѣ Богъ являлся представителемъ духа, а дьяволъ представителемъ плоти, это возстановленіе правъ плоти называли отпаденіемъ отъ Бога, союзомъ съ дьяволомъ.

Однако, пройдетъ еще нѣсколько времени, прежде чѣмъ осуществится въ нѣмецкомъ народѣ то, что онъ такъ глубокомысленно предсказалъ въ трагедіи Гёте, прежде, чѣмъ именно духъ приведетъ его къ познаванію узурпацій духа, и онъ станетъ отстаивать права плоти. Тогда наступитъ революція, великая дочь реформаціи.

Менѣе, чѣмъ «Фаустъ», извѣстенъ во Франціи «Западно-восточный Диванъ» Гёте, книга, написанная позже, о которой m-me Сталь еще не знала, и которую мы должны въ особенности припомнить здѣсь. Оно заключаетъ въ себѣ мысли и чувства востока, въ цвѣтистыхъ стихахъ и вѣскихъ изреченіяхъ; и все это горитъ и благоухаетъ въ ней, какъ гаремъ, наполненный страстными одалисками съ черными, накрашенными глазами газели и полными нѣги бѣлыми руками. При чтеніи этой книги душу читателя охватываетъ такой же трепетъ вожделѣнія, какой ощущалъ счастливый Гаспаръ Дебюро, когда онъ въ Константинополѣ стоялъ высоко на лѣстницѣ и видѣлъ de haut en bas то, что велитель правовѣрныхъ обыкновенно видитъ только de en haut. Иногда читателю кажется тоже, будто онъ фортно растянулся на персидскомъ коврѣ и покури желтый турецкій табакъ изъ длиннаго кальяна, между какъ черная раба навѣваетъ на него прохладу пес

опахаломъ изъ павлиньихъ перьевъ, а хорошенькій мальчикъ подноситъ чашку настоящаго мокскаго кофе. Упоительнѣйшее наслажденіе востока жизнью перенесъ здѣсь Гёте въ стихи, и эти стихи такъ удачны, легки, такъ воздушны, что дивишься, какъ это можно было сдѣлать на нѣмецкомъ языкѣ. При этомъ Гёте дѣлаетъ и въ прозѣ прекраснѣйшія замѣтки о нравахъ и жизни востока, о патріархальномъ бытѣ арабовъ, и тутъ онъ постоянно остается спокойно улыбающимся и наивнымъ, какъ ребенокъ, и мудрымъ, какъ старецъ. Эта проза прозрачна, какъ зеленое море въ ясный лѣтній вечеръ, когда полное затишье, и взоръ можетъ погружаться въ морскую глубь, гдѣ ему представляются поглощенные города, съ ихъ прошлымъ великолѣпіемъ... Но порой эта самая проза такъ же магична, такъ же загадочна, какъ небо, когда наступаютъ сумерки — и тутъ великія мысли Гёте выступаютъ, чистыя и золотыя, какъ звѣзды. Невыразима прелесть этой книги; это селямъ, посылаемый западомъ востоку, и въ немъ такіе странные цвѣты: чувственно красныя розы, гортензіи, похожія на бѣлую, обнаженную грудь дѣвушки, забавные львиные зѣвы, пурпурныя наперстянки, точно длинные человѣческіе пальцы, карикатурныя медвѣжьи уши, и въ срединѣ букета, прячась и точно прислушиваясь къ чему-то, молчаливыя нѣмецкія фіалки. Но этотъ селямъ означаетъ, что западу надоѣлъ его тощій, знобящій спиритуализмъ, и онъ хочетъ погрѣться у здороваго тѣла востока. Гёте, выразивъ въ «Фаустѣ» свое отвращеніе къ отвлеченно духовному и свою жажду дѣйствительныхъ наслажденій, какъ бы кинулся вмѣстѣ съ самимъ духомъ въ объятія сенсуализма, когда написалъ «Западно-восточный Диванъ».

Поэтому весьма знаменательно, что эта книга появилась скоро послѣ «Фауста». Это былъ послѣдній фазисъ Гёте, и его примѣръ имѣлъ огромное вліяніе на литературу. Наши лирики принялись воспѣвать востокъ. Небезполезно также замѣтить, что Гёте, воспѣвая такъ радостно Персію и Аравію, выказалъ самое положительное отвращеніе къ Индіи. Ему не нравились въ этой странѣ странное, спутанное, [illegible], а, быть-можетъ, Гёте не взлюбилъ Индіи и за то, [illegible] санскритскихъ изслѣдованіяхъ Шлегелей и господъ [illegible]друзей чуялъ католическую заднюю мысль. Эти господа [illegible]о смотрѣли на Индостанъ, какъ на колыбель католи[illegible]о мірового строя, въ немъ они видѣли образецъ своей [illegible]іи, въ немъ находили свои покаянные обряды, свои

самобичеванія и всякіе другіе любимые коньки свои. Отвращеніе Гёте къ Индіи немало раздражало этихъ людей, и Августъ Вильгельмъ Шлегель съ стеклянною досадою назвалъ его «обратившимся въ исламизмъ язычникомъ».

Въ числѣ книгъ о Гёте, появившихся въ этомъ году, заслуживаетъ самой большой похвалы посмертное сочиненіе Іоганна Фалька, подъ заглавіемъ: «Гёте, изображенный въ своихъ близкихъ, личныхъ отношеніяхъ». Здѣсь сверхъ подробнаго разсужденія о «Фаустѣ» (безъ этого нельзя обойтись!), авторъ сообщаетъ намъ интереснѣйшія подробности о Гёте, показываетъ намъ его во всѣхъ его житейскихъ отношеніяхъ, вполнѣ вѣрно, вполнѣ безпристрастно, со всѣми его добродѣтелями и недостатками. Здѣсь мы видимъ Гёте въ его отношеніяхъ къ матери, натура которой такъ удивительно отразилась въ сынѣ; видимъ его, какъ натуралиста, наблюдающаго гусеницу, которая вышла изъ своей хризалиды и должна улетѣть бабочкой, видимъ его подлѣ великаго Гердера, который серьезно журитъ его за индиферентизмъ, съ которымъ Гёте оставляетъ безъ вниманія превращеніе изъ куколки въ бабочку человѣчества; видимъ его при дворѣ герцога веймарскаго весело импровизирующимъ въ кругу бѣлокурыхъ фрейлинъ, подобно Аполлону среди овецъ царя Адмета; видимъ, затѣмъ, какъ онъ, съ гордостью Далай-Ламы, отказывается признать Коцебу, какъ тотъ, чтобъ унизить его, устраиваетъ общественное торжество въ честь Шиллера... но всюду видимъ мы его умнымъ, красивымъ, любезнымъ, всюду передъ нами благодатно чарующій образъ, подобный вѣчнымъ богамъ.

Въ Гёте дѣйствительно находили ту полную гармонію между личностью и геніемъ, который мы требуемъ отъ людей необыкновенныхъ. Наружность его была такъ же значительна, какъ слово, жившее въ его писаніяхъ; вся фигура гармонична, свѣтла, радостна, благородно пропорціональна, и по немъ можно было, какъ по античной статуѣ, изучать греческое искусство. Католическое пресмыкательство никогда не сгибало этого горделиваго тѣла; черты этого лица никогда не искажались мистическимъ изможденіемъ; эти глаза никогда не были католически грѣховно р
возносились лицемѣрно горѣ, не бѣгали во всѣ ст
нѣтъ! эти глаза были покойны, какъ очи боговъ.
вѣдь отличительный признакъ боговъ—твердый в
отсутствіе въ немъ этого тревожнаго бѣганья.
когда Агни, Варуна, Яма и Индра приняли об

на свадьбѣ Дамаянти, то она узнала своего возлюбленнаго по движенію его зрачковъ, ибо, какъ сказано, глаза у боговъ всегда неподвижны. У Наполеона глаза также имѣли это свойство, а потому я убѣжденъ, что онъ тоже былъ богъ. Глаза у Гёте оставались такими же божественными въ преклонной старости, какими были въ молодости. Время могло обѣлить его голову, но не склонить ее. Онъ всегда держалъ ее прямо и гордо, и когда говорилъ, то постепенно выросталъ, и когда поднималъ руку, казалось, что перстъ его можетъ указывать звѣздамъ небеснымъ путь, какимъ онѣ должны слѣдовать. Говорили онѣ, что у него въ очертаніи рта проглядывалъ холодный эгоизмъ; но это также одна изъ чертъ вѣчныхъ боговъ, въ особенности отца боговъ, великаго Юпитера, съ которымъ я уже выше сравнилъ Гёте. Право, посѣтивши Гёте въ Веймарѣ и стоя противъ него, я невольно поглядывалъ по сторонамъ—нѣтъ ли около него и молніеноснаго орла. Я чуть-чуть не заговорилъ съ нимъ по-гречески; но замѣтивъ, что онъ понимаетъ по-нѣмецки, разсказалъ ему по-нѣмецки, что сливы по дорогѣ между Іеной и Веймаромъ очень вкусны. Много длинныхъ зимнихъ ночей продумалъ я надъ тѣмъ, что бы такое сказать повозвышеннѣе и поглубокомысленнѣе, если придется встрѣтиться съ Гёте; а, наконецъ, встрѣтившись, сказалъ только, что саксонскія сливы очень вкусны. И Гёте улыбнулся. Онъ улыбнулся тѣми самыми губами, которыми онъ нѣкогда цѣловалъ прекрасную Леду, Европу, Данаю, Семелу и множество другихъ царицъ или тоже простыхъ нимфъ...

Les dieux s'en vont. Гёте умеръ. Онъ умеръ 22 марта прошедшаго года, знаменательнаго года, который похитилъ у нашей земли ея величайшія украшенія. Въ этотъ годъ смерть какъ будто бы вдругъ сдѣлалась аристократкой, какъ будто захотѣла особенно отличать земную знать, отсылая ее одновременно въ могилу. Быть-можетъ, ей хотѣлось основать перство въ царствѣ тѣней, и въ такомъ случаѣ выборъ ея былъ сдѣланъ очень удачно. А быть-можетъ, и наоборотъ, не захотѣлось ли смерти поблагодѣтельствовать въ прошедшемъ году демократіи, содѣйствуя установленію дуго равенства уничтоженіемъ, вмѣстѣ съ этими величностями, и ихъ авторитета . . . . . .

. . . . . .

КНИГА ВТОРАЯ.

I.

Добросовѣстность, которой я строго придерживаюсь, заставляетъ меня упомянуть здѣсь, что многіе французы упрекали меня въ томъ, что я слишкомъ рѣзко отзывался о Шлегеляхъ, въ особенности объ Августѣ Вильгельмѣ. Но мнѣ кажется, что будь во Франціи лучше знакомы съ исторіей нѣмецкой литературы, мнѣ такихъ упрековъ не дѣлали бы. Объ Августѣ Вильгельмѣ Шлегелѣ многіе французы знаютъ только по сочиненіямъ его благородной покровительницы, г-жи Сталь. Большинство знаетъ его только по имени; и это имя звучитъ въ ихъ памяти, какъ нѣчто почтенное, знаменитое, какъ имя какого-нибудь Озириса, о которомъ они тоже знаютъ только, что это былъ чудный богъ, чтимый въ Египтѣ. Какое другое сходство существуетъ между г. Августомъ Вильгельмомъ Шлегелемъ и Озирисомъ, этого они почти совсѣмъ не знаютъ.

Такъ какъ я нѣкогда былъ въ числѣ университетскихъ учениковъ старшаго Шлегеля, то, пожалуй, могутъ найти, что вслѣдствіе этого я обязанъ ему нѣкоторою снисходительностью. Но развѣ Августъ Вильгельмъ Шлегель пощадилъ стараго Бюргера, своего учителя и литературнаго отца? Нѣтъ, и въ этомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ по общепринятому обыкновенію и по традиціи. Въ литературѣ, какъ въ лѣсахъ сѣверо-американскихъ дикарей, дѣти убиваютъ отцовъ, какъ скоро тѣ сдѣлаются старыми и дряхлыми.

Я уже въ первой книгѣ замѣтилъ, что Фридрихъ Шлегель имѣетъ больше значенія, чѣмъ Августъ Вильгельмъ; и дѣйствительно, послѣдній питался только идеями своего брата и только обладалъ искусствомъ ихъ пере[illegible]ывать.

Фридрихъ Шлегель былъ глубокомысленный человѣкъ. Онъ постигалъ все великолѣпіе прошлаго и чувствовалъ всѣ скорби настоящаго. Но онъ не понималъ святости этихъ скорбей и ихъ необходимости для будущаго спасенія міра. Онъ видѣлъ, что солнце зашло, и съ грустью смотрѣлъ на то мѣсто, гдѣ оно исчезло, и сокрушался о спускавшемся на землю мракѣ; но онъ не замѣчалъ, что съ противоположной стороны уже загоралась новая заря. Фридрихъ Шлегель назвалъ однажды историка «пророкомъ навыворотъ». Это названіе всего лучше идетъ къ нему самому. Настоящее было ему ненавистно, будущее страшило, и къ одному только прошедшему, дорогому для него, устремлялъ онъ свои ясновидящія очи.

Бѣдный Фридрихъ Шлегель, въ скорбяхъ нашего вѣка онъ не предугадалъ мукъ новыхъ родовъ, а видѣлъ только агонію смерти, не понималъ, почему разрывалась завѣса храма, почему тряслась земля и сокрушались скалы, и въ смертельномъ страхѣ бѣжалъ въ дрожащія развалины католической церкви. Она была во всякомъ случаѣ лучшимъ убѣжищемъ для его душевнаго настроенія. Въ его прошломъ было много проявленій жизнерадостной необузданности, но онъ считалъ ихъ грѣховными, смотрѣлъ на нихъ, какъ на грѣхъ, требовавшій искупленія—и авторъ «Люцинды» долженъ былъ непремѣнно сдѣлаться католикомъ.

«Люцинда»—романъ, и кромѣ нѣсколькихъ стихотвореній и драмы «Аларкосъ», подражанія испанскому, онъ составляетъ единственно оригинальное произведеніе, оставленное Фридрихомъ Шлегелемъ. Въ свое время романъ этотъ много хвалили; теперешній высокопочтенный г. Шлейермахеръ писалъ и печаталъ о «Люциндѣ» полныя энтузіазма письма. А иные критики прославляли даже это произведеніе, какъ образцовое, и положительно предсказывали, что со временемъ оно будетъ считаться лучшей книгой въ нѣмецкой литературѣ. Такихъ людей начальству слѣдовало бы сажать подъ арестъ, подобно тому, какъ въ Россіи пророковъ, предвозвѣщающихъ какое-либо общественное несчастіе, до исполненія пророчества держатъ въ острогѣ. Нѣтъ, боги предохранили нашу литературу отъ этого бѣдствія, романъ Шлегеля вскорѣ былъ всѣми брошенъ за свою безнравственную ничтожность и теперь совершенно забытъ. Люцинда—имя героини романа; она—чувственно остроумная женщина, или, скорѣе, смѣсь чувственности и остроумія. Ея порокъ именно въ томъ и заключается, что она не

женщина, а безотрадное смѣшеніе двухъ отвлеченностей— остроумія и чувственности. Богъ, быть-можетъ, проститъ автору за то, что онъ писалъ эту книгу, музы не простятъ никогда. Подобный же романъ, подъ заглавіемъ «Флорентина», былъ по ошибкѣ приписанъ покойному Шлегелю. Это, говорятъ, произведеніе его жены, дочери знаменитаго Моисея Мендельсона, которую Шлегель увезъ у перваго мужа и которая потомъ перешла вмѣстѣ съ нимъ въ лоно католической церкви.

Я думаю, что Фридрихъ Шлегель относился къ католицизму искренно. О многихъ его друзьяхъ я этого не думаю. Въ этихъ случаяхъ весьма трудно доискаться правды. Ханжество и религіозность—близнецы, и они подчасъ такъ походятъ другъ на друга, что ихъ трудно различить. У нихъ одна наружность, одинъ костюмъ, одинъ языкъ. Только первая изъ двухъ сестеръ какъ-то мягче произноситъ слова и чаще повторяетъ словечко «любовь». Это я говорю о Германіи; во Франціи одна изъ этихъ сестеръ умерла, а другая продолжаетъ носить по ней глубокій трауръ.

Со времени появленія книги г-жи Сталь «О Германіи», Фридрихъ Шлегель подарилъ публикѣ еще двѣ большихъ книги, которыя составляютъ, быть-можетъ, его лучшія произведенія и во всякомъ случаѣ заслуживаютъ самаго почетнаго отзыва. Это: «Языкъ и мудрость индѣйцевъ» и «Лекціи по исторіи литературы». Первымъ изъ этихъ сочиненій Фридрихъ Шлегель не только ввелъ у насъ изученіе санскритскаго языка, но и положилъ этому изученію основаніе. Онъ сдѣлался для Германіи тѣмъ же, чѣмъ былъ Вильямъ Джонсъ для Англіи. Геніальнѣйшимъ образомъ изучилъ онъ санскритскій языкъ, и приведенные имъ въ этой книгѣ нѣсколько отрывковъ переведены превосходно. Благодаря своей глубокой способности созерцанія, онъ понялъ все значеніе эпической метрики индѣйцевъ, — слоки, которая течетъ такъ же широко, какъ Гангесъ, священная, прозрачная рѣка. Какимъ ничтожнымъ, напротивъ того, явился А. В. Шлегель, когда онъ перевелъ нѣсколько отрывковъ съ санскритскаго гекзаметромъ, и при этомъ не могъ достаточно нахвалиться собою за то, что не далъ проскользнуть въ свой переводъ ни одному трохею и такимъ образомъ сфабриковалъ нѣсколько артистическихъ игрушекъ по образцу александринцевъ. Сочиненіе Фридриха Шлегеля объ Индіи, безъ сомнѣнія, переведено на французскій языкъ, и потому я могу себя избавить отъ дальнѣй-

шихъ похвалъ ему; заслуживаетъ порицанія только его задняя мысль. Книга написана въ интересахъ католицизма. Не только его мистеріи, но и всю католическую іерархію и всю борьбу ея съ свѣтскою властью, отыскали эти господа въ индѣйскихъ поэтическихъ произведеніяхъ. Въ «Магабаратѣ» и «Рамаянѣ» они видѣли какъ бы средніе вѣка въ образѣ слона. И дѣйствительно, въ «Рамаянѣ» вражда царя Висвамитра съ жрецомъ Васиштой касается тѣхъ же интересовъ, за которые боролись у насъ между собою императоръ и папа, хотя предметъ спора въ Европѣ называется инвеституров, а въ Индіи—коровой Сабалой.

Такое же порицаніе можно сдѣлать и по поводу Шлегелевыхъ лекцій по литературѣ. Здѣсь Фридрихъ Шлегель разсматриваетъ всю литературу съ высокой точки зрѣнія, но эта высокая точка зрѣнія всегда, однако, остается колокольнею католической церкви. И при всемъ, что говоритъ Шлегель, слышишь звонъ колоколовъ, а иногда слышишь даже карканье вороновъ, летающихъ вокругъ колокольни. Меня всегда какъ будто обдаетъ ладаномъ изъ этой книги, и изъ лучшихъ страницъ точно смотрятъ на меня мысли съ тонзурою на головѣ. Несмотря на эти недостатки, я все-таки не знаю лучше книги въ этой области. Только собранныя вмѣстѣ работы Гердера по этому предмету могли бы доставить лучшій обзоръ литературы всѣхъ народовъ. Потому что Гердеръ не садился въ качествѣ литературнаго великаго инквизитора чинить судъ надъ различными націями и вязать или разрѣшать ихъ, смотря по степени ихъ религіозности. Нѣтъ, Гердеръ смотрѣлъ на все человѣчество, какъ на великую арфу въ рукѣ великаго мастера, каждый народъ ему казался особенно настроенной струной на этой исполинской арфѣ, и онъ понималъ универсальную гармонію ея различныхъ звуковъ.

Фридрихъ Шлегель умеръ лѣтомъ 1829 г. вслѣдствіе, какъ говорятъ, гастрономической неумѣренности. Ему было тогда пятьдесятъ семь лѣтъ. Смерть его подала поводъ къ отвратительнѣйшему литературному скандалу. Его друзья, партія святошъ, главной квартирой которой былъ Мюнхенъ, разсвирѣпѣли за неофиціозный отзывъ либеральной прессы о его смерти; поэтому они ругали, и поносили, и клеветали на нѣмецкихъ либераловъ. Ни объ одномъ изъ нихъ, однако, не могли они сказать, что онъ «соблазнилъ жену своего друга и долго жилъ потомъ подаяніями оскорбленнаго мужа».

Теперь я долженъ говорить, такъ какъ этого требуютъ, о старшемъ братѣ, о Августѣ Вильгельмѣ Шлегелѣ. Заговори я о немъ въ Германіи, на меня всякій посмотрѣлъ бы съ удивленіемъ.

Кто въ Парижѣ говоритъ до сихъ поръ о жирафѣ?

Августъ Вильгельмъ Шлегель родился въ Ганноверѣ, 5 сентября 1767 г. Это я зналъ не отъ него: я никогда не былъ такъ нелюбезенъ, чтобъ справляться у него о его лѣтахъ. Если не ошибаюсь, я это свѣдѣніе нашелъ въ «Лексиконѣ нѣмецкихъ писательницъ» Шпиндлера. Такимъ образомъ, А. В. Шлегелю теперь шестьдесятъ четыре года. Александръ Гумбольдтъ и нѣкоторые другіе натуралисты утверждаютъ, что онъ старше. Шамполліонъ былъ того же мнѣнія. Если нужно говорить о литературныхъ заслугахъ Августа Шлегеля, то я долженъ прежде всего снова похвалить его, какъ переводчика. Здѣсь онъ безспорно оказалъ необычайныя услуги. Въ особенности превосходенъ, незамѣнимъ его переводъ Шекспира. Быть-можетъ, за исключеніемъ г. Гриса и графа Платена, А. В. Шлегель выше всѣхъ въ Германіи по части метрики. Во всѣхъ же другихъ областяхъ ему можно уступить только второе, если даже не третье мѣсто. Въ эстетической критикѣ ему недостаетъ, какъ я уже сказалъ, философской почвы, и тутъ другіе современники, въ особенности Зольгеръ, далеко опередили его. Въ изученіи древне-германскаго языка онъ ничтожно малъ въ сравненіи съ Яковомъ Гриммомъ, который своей нѣмецкой грамматикой освободилъ насъ отъ поверхности, съ которою, по примѣру братьевъ Шлегелей, начали объяснять памятники древне-нѣмецкаго языка. Быть-можетъ, Шлегель въ нѣмецкихъ древностяхъ пошелъ бы далеко, если-бъ не ударился въ санскритъ. Но древне-нѣмецкое вышло изъ моды, а санскритомъ можно было снова обратить на себя вниманіе. Но и тутъ Шлегель оставался нѣкотораго рода дилетантомъ; иниціатива его мыслей все-таки принадлежитъ его брату Фридриху, а все основательное, научное въ его санскритскихъ работахъ принадлежитъ, какъ всякій это знаетъ, его ученому сотруднику, г. Лассену. Настоящій санскритологъ въ Германіи—это Францъ Боппъ, въ Берлинѣ; онъ первый въ своей области. Въ исторической наукѣ Шлегель тоже однажды вздумалъ [illegible] карабкаться вверхъ на славѣ Нибура, на котораго онъ напалъ; но если Шлегеля сравнить съ этимъ великимъ и[illegible] *дователемъ*, или сравнить его съ Іоганномъ Мюллер[illegible]

Гереномъ, съ Шлоссеромъ и съ подобными имъ историками, то надо только пожать плечами. Каковы же заслуги Шлегеля, какъ поэта? Это трудно опредѣлить.

Скрипачъ Саломонсъ, дававшій уроки англійскому королю Генриху III, сказалъ однажды своему августѣйшему ученику: «Скрипачей можно раздѣлить на три класса. Къ первому принадлежатъ вовсе неумѣющіе играть, къ второму—играющіе очень плохо, и къ третьему, наконецъ—играющіе хорошо. Ваше величество дошли уже до второго класса».

Къ какому же классу принадлежитъ Шлегель—первому или второму? Одни говорятъ, что онъ вовсе не поэтъ, другіе—что онъ очень плохой поэтъ. Сколько знаю я, онъ не Паганини.

Знаменитостью своею А. В. Шлегель обязанъ собственно только неслыханной дерзости, съ какою онъ нападалъ на существовавшіе тогда литературные авторитеты. Онъ срывалъ лавровые вѣнки со старыхъ париковъ и при этомъ вызывалъ много пыли. Его слава—побочная дочь скандала.

Я уже нѣсколько разъ замѣчалъ, что критика, которою Шлегель нападалъ на литературные авторитеты, отнюдь не основывалась на философіи. Придя въ себя отъ удивленія, въ которое приводитъ насъ всякая дерзкая самоувѣренность, мы вполнѣ познаемъ внутреннюю пустоту такъ-называемой Шлегелевой критики. Напримѣръ, желая унизить поэта Бюргера, онъ сравниваетъ его баллады со старыми англійскими балладами, собранными Перси, и показываетъ, насколько послѣднія написаны проще, наивнѣе, древнѣе, а слѣдовательно, и поэтичнѣе. Шлегель достаточно понялъ духъ прошлаго, въ особенности среднихъ вѣковъ, и вслѣдствіе этого ему удается открывать этотъ духъ и въ старинныхъ памятникахъ и объяснять ихъ красоты съ этой точки зрѣнія. Но всего того, что̀ есть настоящее, онъ не понимаетъ; много-много, если онъ подмѣчаетъ кое-что изъ физіономіи настоящаго времени, кой-какія наружныя черты, и это обыкновенно черты менѣе красивыя; не понимая духа, животворящаго ихъ, онъ видитъ въ нашей современной жизни только прозаическую рожу. Вообще, понять поэзію своего времени можетъ только великій поэтъ; поэзія прошлаго открывается для насъ легче, и ея познаніе легче передавать другимъ. Оттого Шлегелю и удалось возвысить въ глазахъ массы ту поэзію, въ которой похоронено прошедшее, въ ущербъ той, которою дышитъ и живетъ наше

настоящее. Но смерть не поэтичнѣе жизни. Древне-англійскія стихотворенія, собранныя Перси, выражаютъ духъ своего времени, а стихи Бюргера выражаютъ духъ нашего. Этого духа Шлегель не понялъ; иначе онъ принялъ бы дикую силу, съ которою этотъ духъ прорывается иногда въ стихахъ Бюргера, отнюдь не за грубый крикъ необразованнаго магистра, а скорѣе за мощные звуки скорби титана, замученнаго до смерти аристократіей ганноверскихъ дворянчиковъ и школьныхъ педантовъ. Таково именно было положеніе автора «Леонора» и положеніе многихъ другихъ геніальныхъ людей, голодавшихъ въ Геттингенѣ бѣдными доцентами и умершихъ въ бѣдности. Могъ ли знатный, покровительствуемый знатными милостивцами, баронизированный, украшенный разными орденами, кавалеръ Августъ Вильгельмъ фонъ-Шлегель понять тѣ стихи Бюргера, въ которыхъ тотъ громко восклицаетъ, что «честный человѣкъ долженъ скорѣе умереть съ голоду, чѣмъ выпрашивать милости у сильныхъ міра сего!»

Слово «Бюргеръ» по-нѣмецки значитъ *гражданинъ*.

Славу Шлегеля еще болѣе усилило то впечатлѣніе, которое онъ произвелъ во Франціи, когда началъ нападать и на французскіе литературные авторитеты. Мы съ гордою радостью видѣли, какъ нашъ воинственный соотечественникъ доказывалъ французамъ, что вся ихъ классическая литература ровно ничего не стоитъ, что Мольеръ фарсеръ и вовсе не поэтъ, что Расинъ тоже ничтожество, что мы, нѣмцы, напротивъ того, настоящіе цари Парнаса. Постоянно у него былъ одинъ только припѣвъ, что французы самый прозаическій народъ въ мірѣ и что во Франціи вовсе нѣтъ поэзіи. И это говорилъ этотъ человѣкъ въ то время, когда передъ его глазами еще продолжали выступать живыми столько корифеевъ Конвента, великой трагедіи титановъ; въ то время, когда Наполеонъ каждый день импровизировалъ хорошій эпосъ; когда Парижъ кишѣлъ героями, королями и богами... Ничего этого Шлегель, однако, не видѣлъ; будучи въ Парижѣ, онъ видѣлъ только самого себя въ зеркалѣ, а потому и неудивительно, что онъ не нашелъ во Франціи никакой поэзіи.

Но Шлегель, какъ я уже замѣтилъ, могъ понимать поэзію прошлаго, а не настоящаго. Все что̀, есть в жизнь, должно было казаться ему прозаичнымъ Франціи, родины новѣйшаго общества, осталась недоступною. Расина онъ могъ понять меньше,

прочихъ, потому что этотъ великій поэтъ стоитъ уже какъ глашатай новаго времени, подлѣ великаго короля, съ которымъ начинается новое время. Расинъ первый новый поэтъ, какъ Людовикъ XIV, былъ первымъ новымъ королемъ. Въ Корнелѣ еще вѣютъ средніе вѣка. Въ немъ, какъ и во Фрондѣ, еще хрипитъ старое рыцарство. Поэтому его иногда и называютъ романтичнымъ. У Расина же образъ мыслей среднихъ вѣковъ окончательно исчезъ; въ немъ пробуждаются только новыя чувства; онъ органъ новаго общества; въ груди его заблагоухали первыя фіалки нашей новой жизни; мы увидѣли въ ней даже почки тѣхъ лавровъ, которые позже, уже въ послѣднее время, развернулись такъ роскошно. Кто знаетъ, сколько подвиговъ расцвѣло изъ нѣжныхъ стиховъ Расина? Французскіе герои, покоящіеся у Пирамидъ, на поляхъ Маренго, Аустерлица, Іены, Москвы и Ватерлоо, всѣ они нѣкогда слушали стихи Расина, и ихъ императоръ слышалъ ихъ изъ устъ Тальмы. Какъ знать, сколькими центнерами славы Вандомская колонна обязана собственно Расину! Кто больше поэтъ—Эврипидъ или Расинъ, этого я не знаю. Но знаю, что Расинъ былъ живымъ источникомъ любви и чувства чести и своимъ напиткомъ опьянялъ, и чаровалъ, и воодушевлялъ цѣлый народъ. Чего же больше хотите вы отъ поэта? Мы всѣ люди, мы сходимъ въ могилу и оставляемъ за собой наше слово, а когда это слово выполнило свою миссію, оно возвращается въ лоно Бога, убѣжище словъ поэта, отечество всякой гармоніи.

Если-бъ Шлегель ограничился утвержденіемъ, что миссія Расиновскаго слова уже совершилась и что ушедшее впередъ время требуетъ совсѣмъ новыхъ поэтовъ, тогда его нападенія имѣли бы нѣкоторое основаніе. Но они были лишены всякой основы, когда онъ хотѣлъ показать недостатки Расина сравненіемъ его съ поэтами болѣе древними. Онъ не только совсѣмъ не понялъ безконечной граціи, милой шутки, глубокой прелести, заключавшихся въ томъ, что Расинъ облекалъ въ античные костюмы своихъ новыхъ французскихъ героевъ и къ интересу страсти новаго времени присоединялъ еще интересъ остроумнаго маскарада. Шлегель былъ даже такъ тупъ, что принялъ эти переодѣванья наличную монету, сталъ судить о версальскихъ грекахъ грекамъ аѳинскимъ и сравнивалъ Федру Расина съ рой Эврипида! Эта манера мѣрить настоящее масштаб прошедшаго такъ глубоко вкоренилась въ г. Шлегелѣ, нъ постоянно хлесталъ по спинѣ новыхъ поэтовъ хав-

ровыми вѣнками старыхъ, и чтобъ въ свою очередь унизить Эврипида, не нашелъ ничего лучше, какъ сравнивать его съ болѣе старымъ Софокломъ и даже съ Эсхиломъ.

Я зашелъ бы слишкомъ далеко, если-бъ захотѣлъ развить здѣсь, какъ Шлегель, желая унизить посредствомъ такой методы Эврипида, выказался относительно его столь же несправедливымъ, какимъ былъ нѣкогда Аристофанъ. Послѣдній, Аристофанъ, находился въ этомъ отношеніи на точкѣ зрѣнія, которая представляетъ самое большое сходство съ точкой зрѣнія романтической школы; въ основѣ его полемики лежатъ подобныя же чувства и тенденціи, и если Тика называли романтическимъ Аристофаномъ, то пародиста Эврипида и Сократа можно справедливо назвать классическимъ Тикомъ. Какъ Тикъ и Шлегели, вопреки своему невѣрію, сокрушались, однако, о паденіи католицизма; какъ они старались возстановить это исповѣданіе въ массѣ; какъ они, съ этой цѣлью, поносили и осыпали клеветами протестантскихъ раціоналистовъ, людей «просвѣщенія», истинныхъ еще больше, чѣмъ фальшивыхъ; какъ они высказывали самое озлобленное отвращеніе къ людямъ, проводившимъ въ жизнь и литературу почтенную гражданственность; какъ они осмѣивали эту гражданственность, какъ филистерскую жалкую мелочность, и постоянно съ восхваленіями противопоставляли ей широкую героическую жизнь средневѣкового феодализма—такъ же точно и Аристофанъ, самъ издѣвавшійся надъ богами, ненавидѣлъ, однако, философовъ, готовившихъ гибель всему Олимпу; онъ ненавидѣлъ раціоналиста Сократа, который проповѣдывалъ лучшую мораль; онъ ненавидѣлъ поэтовъ, которые какъ бы уже выражали словами новую жизнь, столь же отличную отъ древняго періода боговъ, героевъ и царей Греціи, сколько наше настоящее время отлично отъ феодальнаго періода среднихъ вѣковъ; и онъ ненавидѣлъ Эврипида, который уже не былъ такъ очарованъ средними вѣками Греціи, какъ Эсхилъ и Софоклъ, но уже приближался въ «мѣщанской» трагедіи. Я сомнѣваюсь, чтобъ Шлегель сознавалъ истинный мотивъ, побудившій его такъ низко поставить Эврипида въ сравненіи съ Эсхиломъ и Софокломъ; мнѣ кажется, что имъ руководило чувство
знательное, что въ древнемъ трагикѣ онъ чуялъ но
мократическій и протестантскій элементъ, которы
такъ ненавистенъ уже рыцарственно настроенному
пійско католическому Аристофану.

Но я, быть-можетъ, оказываю г. А. В. Шл

служенную честь, приписывая ему опредѣленныя антипатіи и симпатіи. Возможно, что у него совсѣмъ не было нитѣхъ, ни другихъ. Въ молодости своей онъ былъ эллинистъ и только впослѣдствіи сдѣлался романтикомъ. Онъ былъ корифеемъ новой школы, отъ него и отъ его брата получила она свое названіе, и, можетъ-быть, что онъ-то менѣе всѣхъ придавалъ серьезное значеніе Шлегелевой школѣ. Онъ поддерживалъ ее своими талантами, онъ помогалъ ей своими учеными трудами и былъ доволенъ, пока дѣло шло хорошо, а когда для его школы наступилъ плохой конецъ, онъ направилъ свои занятія въ другую сторону.

Но хотя школа пала, усилія г. Шлегеля все-таки принесли для нашей литературы хорошіе плоды. Онъ показалъ, какъ можно писать о предметахъ научныхъ изящнымъ языкомъ. До него немногіе нѣмецкіе ученые отваживались писать научное сочиненіе легкимъ и привлекательнымъ слогомъ. Писали обыкновенно сухо, темно, такимъ нѣмецкимъ языкомъ, отъ котораго пахло табакомъ и сальными свѣчами. Шлегель былъ одинъ изъ немногихъ нѣмцевъ, не курящихъ табаку—добродѣтель, которою онъ обязанъ компаніи г-жи Сталь. Вообще этой дамѣ онъ одолженъ внѣшнимъ лоскомъ, который онъ съ такимъ успѣхомъ умѣлъ заставить оцѣнить въ Германіи. Въ этомъ отношеніи смерть славной г-жи Сталь была огромной потерей для этого ученаго нѣмца, которому въ ея салонѣ представлялось столько случаевъ знакомиться съ новѣйшими модами и который, въ качествѣ ея провожатаго по всѣмъ столицамъ Европы, могъ увидѣть изящный свѣтъ и усвоить самыя изящныя манеры и привычки. Эта образовательная обстановка до такой степени сдѣлалась для него отрадною жизненною потребностью, что по смерти своей благородной покровительницы онъ не прочь былъ предложить себя въ компаньоны знаменитой Каталани на время ея путешествій.

Главная заслуга Шлегеля, какъ я уже сказалъ, заключается въ содѣйствіи распространенію изящества, и благодаря именно ему, немного цивилизаціи проникло и въ жизнь нѣмецкихъ поэтомъ. Уже Гёте далъ вліятельнѣйшій примѣръ, какъ можно быть нѣмецкимъ поэтомъ и, несмотря на это, сохранять внѣшнее приличіе. Прежде нѣмецкіе поэты презирали всѣ условныя формы, и названіе «нѣмецкій поэтъ», или даже «поэтическій геній» имѣло самое непривлекательное значеніе. Нѣмецкій поэтъ былъ въ прежнее время человѣкъ, носившій истертое, разорванное платье,

писавшій за таллеръ стихи на свадьбы и крестины, и вмѣсто хорошаго общества, куда его не пускали, наслаждавшійся тѣмъ болѣе хорошими напитками, а иногда и валявшійся пьяный на мостовой, нѣжно лобзаемый любовными лучами луны. Подъ старость такіе люди обыкновенно еще глубже погружались въ свое бѣдственное положеніе, и это положеніе было, конечно, беззаботное, или сопровождавшееся одной только заботой—гдѣ бы какъ можно подешевле выпить какъ можно больше водки.

Такимъ я и представлялъ себѣ нѣмецкаго поэта. Какъ же пріятно былъ я удивленъ, когда въ 1819 г., еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ посѣщая боннскій университетъ, имѣлъ честь встрѣтиться тамъ лицомъ къ лицу съ г. поэтомъ Шлегелемъ, поэтическимъ геніемъ. За исключеніемъ Наполеона, это былъ первый великій человѣкъ, котораго я тогда видѣлъ, и это величественное зрѣлище никогда не выйдетъ изъ моей памяти. Еще теперь чувствую я тотъ священный трепетъ, который прошелъ по моей душѣ, когда я очутился передъ каѳедрой г. Шлегеля и услышалъ его рѣчь. На мнѣ были тогда сюртукъ изъ толстаго бѣлаго сукна и красная шапка, длинные бѣлокурые волосы и никакихъ перчатокъ. А г. А. В. Шлегель былъ въ лайковыхъ перчаткахъ и одѣтъ по послѣдней парижской модѣ; отъ него еще сильно пахнуло высшимъ обществомъ и духами eau de mille fleurs; онъ былъ само изящество и сама утонченность, и когда говорилъ объ англійскомъ великомъ канцлерѣ, то прибавлялъ: «мой другъ»; а подлѣ него стоялъ лакей въ баронской ливреѣ Шлегелей и снималъ съ восковыхъ свѣчъ, вставленныхъ въ серебряные подсвѣчники, которые, рядомъ со стаканомъ съ сахарной водой, стояли на каѳедрѣ удивительнаго человѣка. Лакей въ ливреѣ! Восковыя свѣчи! Серебряные подсвѣчники! Мой другъ великій канцлеръ Англіи! Лайковыя перчатки! Сахарная вода! Какія неслыханныя вещи въ аудиторіи нѣмецкаго профессора! Этотъ блескъ немало ослѣплялъ насъ, молодыхъ людей, а меня въ особенности, и я тогда написалъ въ честь г. Шлегеля три оды, и каждую начиналъ словами: «О, ты, который» и проч. Но только въ стихахъ я осмѣливался говорить «ты» такому знатному Его наружность дѣйствительно придавала ему знатность. На тощей головенкѣ блестѣло нѣск волосковъ, а тѣло его было такъ тщедушно, та такъ прозрачно, что казалось совсѣмъ духо *имѣло* видъ спиритуализма.

Несмотря на это, Шлегель въ то время женился, и онъ, глава романтиковъ, женился на дочери главы нѣмецкихъ раціоналистовъ, совѣтника консисторіи въ Гейдельбергѣ, Паулуса. То былъ символическій бракъ, романтизмъ какъ бы сочетался съ раціонализмомъ, но этотъ союзъ остался безплоднымъ. Но вслѣдствіе того, его разрывъ между романтизмомъ и раціонализмомъ еще болѣе усилился, и уже на другое утро послѣ брака раціонализмъ убѣжалъ домой и не хотѣлъ имѣть никакого дѣла съ романтизмомъ. Ибо раціонализмъ, какъ и всегда, разумный, не захотѣлъ быть женатымъ символически и, познавъ деревянную ничтожность романтическаго искусства, тотчасъ же удалился. Я знаю, что слова мои темны, и потому скажу сколько возможно понятнѣй.

Тифонъ, злой Тифонъ, ненавидѣлъ Озириса (египетскаго бога, какъ вамъ извѣстно), и когда поймалъ его, то разорвалъ въ куски. Изида, бѣдная Изида, жена Озириса, старалась сплотить эти куски, сшила ихъ и успѣла возстановить вполнѣ своего разорваннаго супруга. Вполнѣ? Ахъ, нѣтъ, не доставало главной части, которую бѣдная богиня никакъ не могла найти. Бѣдная Изида! она должна была удовольствоваться деревянной замѣной; но дерево всегда только дерево, бѣдная Изида! Отсюда произошелъ въ Египтѣ скандалезный миѳъ, а въ Гейдельбергѣ — мистическій скандалъ.

Съ тѣхъ поръ г. А. В. Шлегеля совсѣмъ потеряли изъ виду. Онъ былъ забытъ. Въ досадѣ на это забвеніе, онъ рѣшился, наконецъ, послѣ многихъ лѣтъ отсутствія, снова отправиться въ Берлинъ, прежнюю столицу его литературнаго блеска, и тутъ онъ прочелъ снова нѣсколько лекцій по эстетикѣ. Но за это время онъ ничему новому не научился, а говорить пришлось ему теперь передъ публикой, которая отъ Гегеля получила философію искусства, науку эстетики. Слушатели насмѣхались и пожимали плечами. Шлегель очутился въ положеніи той старой актрисы, которая, воротившись послѣ двадцати лѣтъ отсутствія на арену своихъ прежнихъ успѣховъ, не понимаетъ, отчего надъ ней смѣются,

того, чтобъ аплодировать. Шлегель ужасно измѣнился

е недѣли сряду потѣшалъ Берлинъ выставкой своихъ

ихъ нелѣпостей. Онъ сдѣлался старымъ фатомъ, на

о всюду смотрѣли, какъ на дурака. На этотъ счетъ

ваютъ невѣроятнѣйшія вещи.

въ Парижѣ я имѣлъ прискорбіе еще разъ лично

увидѣть г. А. В. Шлегеля. Право, никогда я не могъ себѣ представить, чтобъ съ человѣкомъ могла произойти такая перемѣна, пока не убѣдился въ томъ собственными глазами. Это было годъ назадъ, вскорѣ послѣ моего пріѣзда въ Парижъ. Я шелъ посмотрѣть домъ, гдѣ жилъ Мольеръ, ибо я чту великихъ поэтовъ и съ религіознымъ благоговѣніемъ отыскиваю всюду слѣды ихъ земного пребыванія. Это культъ. По дорогѣ, недалеко отъ этого священнаго дома, я увидѣлъ фигуру, потертыя черты которой имѣли нѣкоторое сходство съ прежнимъ А. В. Шлегелемъ. Мнѣ казалось, что я вижу духъ его. Но это было только его тѣло. Духъ умеръ, а тѣло бродитъ еще въ видѣ привидѣнія по землѣ, и оно за это время довольно потолстѣло; на тоненькихъ спиритуалистическихъ ножкахъ снова набралось мясо, стало даже замѣтно брюшко, надъ которымъ повыше висѣло множество орденскихъ ленточекъ. На головкѣ, нѣкогда столь сѣдой, лежалъ золото-желтый парикъ. Онъ былъ одѣтъ по послѣдней модѣ того года, въ который умерла г-жа Сталь. При этомъ онъ улыбался такъ старчески слащаво, какъ старая барыня у которой во рту кусокъ сахара, и двигался съ моложавостью кокетливаго дитяти. И дѣйствительно, онъ странно помолодѣлъ; онъ какъ бы пережилъ забавное второе изданіе своей молодости; казалось, онъ снова начиналъ цвѣсти, и я даже подозрѣваю, что румянецъ его щекъ былъ не краска румянъ а здоровая иронія природы.

Мнѣ въ эту минуту казалось, будто я вижу въ окнѣ покойнаго Мольера, и будто онъ съ улыбкой указываетъ мнѣ на эту меланхолически веселую фигуру. Вся смѣшная сторона ея представилась мнѣ тутъ разомъ во всемъ своемъ блескѣ; я понялъ всю глубину и полноту шутовства, заключавшагося въ ней; я понялъ комическій характеръ этого баснословно смѣшного лица, которое, къ сожалѣнію, не нашло ни одного великаго комика для того, чтобы онъ могъ воспользоваться имъ для сценической обработки. Одинъ только Мольеръ былъ способенъ перенести подобную фигуру на французскій театръ, только онъ имѣлъ необходимый для этого талантъ. И это давно уже понялъ А. В. Шлегель, онъ ненавидѣлъ Мольера, по той самой причинѣ, Наполеонъ ненавидѣлъ Тацита. Какъ Наполеонъ французскій Цезарь, хорошо чувствовалъ, что р скій историкъ тоже не изобразилъ бы его раду ками, такъ и г. А. В. Шлегель, нѣмецкій О предчувствовалъ, что ему никакъ не уверн

Мольера, великаго комика, если-бъ только тотъ былъ живъ въ настоящее время. Наполеонъ говорилъ о Тацитѣ, что тотъ оклеветалъ Тиберія, и А. В. Шлегель говорилъ о Мольерѣ, что тотъ былъ не поэтъ, а только простой фарсеръ.

А. В. Шлегель вскорѣ послѣ того оставилъ Парижъ, предварительно получивъ еще отъ его величества Людовика Филиппа I, короля французовъ, орденъ Почетнаго Легіона. «Moniteur» до сихъ поръ не рѣшился официально извѣстить объ этомъ событіи; но Талія, муза комедіи, поспѣшила внести его въ свою смѣющуюся записную книжку.

2.

Послѣ Шлегелей однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ писателей романтической школы былъ Людвигъ Тикъ. За нее онъ воевалъ и для нея писалъ. Тикъ былъ поэтъ—названіе, котораго не заслуживалъ ни одинъ изъ Шлегелей. Онъ былъ дѣйствительно сынъ Феба Аполлона и, подобно своему вѣчно юному отцу, дѣйствовалъ не только лирой, но и лукомъ съ колчаномъ, наполненнымъ звучными стрѣлами. Подобно дельфійскому богу, онъ былъ опьяненъ лирическимъ энтузіазмомъ и критическою жестокостью. Подобно ему, онъ, безпощадно содравъ кожу съ какого-нибудь литературнаго Марсіаса, вслѣдъ затѣмъ весело переносилъ свои окровавленные пальцы на золотыя струны своей лиры и принимался пѣть радостную пѣснь любви.

Поэтическая полемика, которую Тикъ велъ въ драматической формѣ съ противниками школы, составляетъ одно изъ необыкновеннѣйшихъ явленій нашей литературы. Это сатирическія драмы, которыя обыкновенно сравниваютъ съ комедіями Аристофана. Но онѣ столько же непохожи на Аристофановскія, сколько трагедія Софокла непохожа на трагедію Шекспира. Именно, если въ древней комедіи были три единства, строго опредѣленный ходъ и изящнѣйше выработанный метрическій языкъ древней трагедіи, которой она могла считаться пародіею, то въ драматическихъ сатирахъ Тика столько же капризнаго, столько же англійски неправильнаго и столько же метрически произвольнаго, сколько и въ трагедіяхъ Шекспира. Такая форма была ли новымъ изобрѣтеніемъ Тика? Нѣтъ, она уже существовала въ народѣ, въ особенности въ народѣ Италіи. Знающіе по-итальянски могутъ составить себѣ довольно правильное понятіе объ этихъ драмахъ Тика, прибавивъ только нѣсколько нѣмецкаго луннаго свѣта къ пестро причудливымъ, вене-

ціански фантастическимъ сказкамъ-комедіямъ Гоцци. Даже большую часть своихъ масокъ Тикъ заимствовалъ у этого веселаго сына лагунъ. По его примѣру, многіе изъ нѣмецкихъ поэтовъ тоже усвоили эту форму, и у насъ появились комедіи, комическое дѣйствіе которыхъ вызывалось не оригинальнымъ характеромъ или забавной интригой, но которыя вводили насъ непосредственно въ комическій міръ, міръ, гдѣ животныя говорятъ и дѣйствуютъ, какъ люди, и гдѣ случай и произволъ заступаютъ мѣсто естественнаго порядка вещей. То же самое мы видимъ и у Аристофана. Только послѣдній выбралъ эту форму для того, чтобы раскрывать предъ нами сокровеннѣйшую глубину своихъ воззрѣній на общество, какъ напр., въ «Птицахъ», гдѣ безумнѣйшее свойство людей, ихъ страсть создавать великолѣпнѣйшіе воздушные замки, ихъ дерзкое возстаніе противъ вѣчныхъ боговъ и тщеславная гордость своими мнимыми побѣдами представлены въ самыхъ смѣшныхъ карикатурахъ. Тѣмъ-то и великъ Аристофанъ, что его міровоззрѣніе было такъ велико, что оно выше, даже трагичнѣе воззрѣній самихъ трагиковъ, что его комедіи дѣйствительно «смѣющіяся трагедіи»; его Пайстетеросъ, напримѣръ, не изображенъ, какъ это сдѣлалъ бы новый поэтъ, въ концѣ пьесы въ его смѣшномъ ничтожествѣ, а напротивъ того, онъ пріобрѣтаетъ Базилею, прекрасную, чудно могущественную Базилею, онъ поднимается въ свой заоблачный городъ съ этой божественной супругой своей, богамъ приходится подчиняться его волѣ, безуміе торжествуетъ свое бракосочетаніе съ силой, и пьеса оканчивается ликующими пѣснями Гименея. Существуетъ ли для разумнаго человѣка что-нибудь трагично страшнѣе этой побѣды, этого торжества безумцевъ? Но наши нѣмецкіе Аристофаны не поднимались такъ высоко; они воздерживались отъ всякаго широкаго міросозерцанія; въ двухъ важнѣйшихъ вопросахъ человѣчества, политическомъ и религіозномъ, они постоянно хранили самое скромное молчаніе, только на ту тему, которую разработалъ Аристофанъ въ «Лягушкахъ», осмѣливались и они затрогивать. Главнымъ предметомъ своей сатиры они избирали самый театръ и подсмѣивались, съ бо̀льшимъ или меньшимъ остроуміемъ, надъ недост
нашей сцены.

Но тутъ надо принять въ соображеніе и отсутс
литической свободы Германіи. Наши остряки пр
воздерживаться отъ всякихъ намековъ на дѣйст
высокопоставленныхъ особъ, и за это ограниченіе

ждаютъ себя нападеніемъ на театральныхъ королей и кулисныхъ принцевъ. Не имѣя почти никакихъ политическихъ журналовъ, мы всегда были тѣмъ благодатнѣе надѣлены безчисленнымъ количествомъ эстетическихъ газетъ, наполненныхъ исключительно пустыми сказочками и театральными рецензіями, такъ что, взглянувъ на наши періодическія изданія, почти можно было подумать, что вся германская нація состоитъ только изъ болтливыхъ нянюшекъ да театральныхъ критиковъ. Но такое заключеніе было бы ошибочное. Насколько подобное бумагомаранье мало удовлетворяетъ насъ, это стало ясно послѣ іюльскихъ дней, лишь только, повидимому, дозволено было свободное слово и въ нашемъ дорогомъ отечествѣ. Внезапно появились газеты, разбиравшія хорошую или дурную игру не театральныхъ, а дѣйствительныхъ высокопоставленныхъ особъ, и не одна изъ этихъ послѣднихъ, забывавшая свою роль, была освистываема въ собственной резиденціи. Наши литературныя Шехеразады, имѣвшія обыкновеніе усыплять своими сказками публику, неповоротливаго султана, принуждены были замолчать, и комедьянты увидѣли съ удивленіемъ, что ихъ партеръ былъ пустъ, несмотря на божественность ихъ игры, и что даже кресло страшнаго городского рецензента очень часто оставалось незанятымъ. Прежде добрые театральные герои жаловались, что только они служатъ постоянно общественнымъ предметомъ обсужденія, и что даже ихъ домашнія добродѣтели обличаются газетами. Каковъ же былъ ихъ испугъ, когда они увидѣли, что, пожалуй, о нихъ скоро не будетъ рѣчи!

Въ самомъ дѣлѣ, когда въ Германіи вспыхнула революція, театръ и театральная критика покончили свое существованіе, и испуганные сочинители повѣстей, комедьянты и театральные рецензенты выразили справедливое опасеніе, что «искусство погибаетъ». Но то страшное, которое грозило нашему отечеству, было счастливо отвращено отъ него мудростью и силою франкфуртскаго союзнаго сейма; революція, надо надѣяться, въ Германіи не вспыхнетъ; отъ гильотины и отъ всѣхъ ужасовъ свободы печати мы обезпечены; даже палаты депутатовъ, конкуренція которыхъ надѣлала столько вреда театрамъ, прежде пользовавшимся концессіей, закрыты, и искусство спасено. Въ настоящую минуту въ Германіи, а въ особенности въ Пруссіи, для искусства дѣлается все возможное. Музы блещутъ подобранными со вкусомъ цвѣтами, оркестры звучатъ, танцовщицы выдѣлываютъ свои милліоны

антрша, публику забавляютъ тысячью и одной новеллой, и театральная критика снова процвѣтаетъ.

Юстинъ разсказываетъ въ своей исторіи: «Когда Киръ подавилъ возстаніе лидійцевъ, онъ сумѣлъ обуздать безпокойный, свободолюбивый духъ ихъ только тѣмъ, что повелѣлъ имъ заняться изящными искусствами и другими веселыми вещами. Съ тѣхъ поръ о возстаніи у лидійцевъ уже не было рѣчи, зато тѣмъ сильнѣе прославились лидійскіе рестораторы, сводники и артисты».

Теперь у насъ въ Германіи спокойно, театральная критика и повѣсти снова на первомъ планѣ, а такъ какъ Тикъ мастеръ и въ томъ и въ другомъ, то всѣ друзья искусства воздаютъ ему должную дань удивленія. Въ самомъ дѣлѣ, онъ лучшій новеллистъ въ Германіи. Но не всѣ его повѣствовательныя произведенія въ одномъ родѣ и одинаковаго достоинства. У Тика, какъ у живописцевъ, можно различить нѣсколько манеръ. Его первая манера принадлежитъ исключительно старинной школѣ. Онъ писалъ тогда только по просьбѣ и заказамъ книгопродавца, который былъ никто иной, какъ самъ покойный Николаи, самый упрямый поборникъ «просвѣщенія» и гуманности, заклятый врагъ суевѣрія, мистицизма и романтизма. Николаи былъ плохой писатель, прозаическій парикъ, подчасъ весьма смѣшной тѣмъ, что вездѣ чуялъ іезуитовъ. Но мы, родившіеся позже, должны, однако, сознаться, что старикъ Николаи былъ человѣкъ глубоко честный, искренно желавшій добра нѣмецкому народу и изъ любви къ святому дѣлу правды не боявшійся даже самаго ужаснаго мученичества—быть смѣшнымъ. Тикъ, какъ мнѣ разсказывали въ Берлинѣ, прежде жилъ въ домѣ этого человѣка, однимъ этажомъ выше его квартиры, и новое время уже топотало надъ головою стараго.

Произведенія, написанныя Тикомъ по первой манерѣ, по большей части разсказы и большіе, длинные романы, между которыми лучшій — «Вильямъ Ловелль», весьма незначительны, даже лишены поэзіи. Кажется, какъ будто эта поэтически богатая натура въ молодости была скупа и берегла всѣ свои умственныя богатства до позднѣйшей поры. Или, быть-можетъ, Тикъ и самъ не зналъ скрытыхъ въ его груди богатствъ, и открыть ихъ было суждено впервые Шлегелямъ съ помощью волшебной палочки? Но лишь только Тикъ пришелъ въ соприкосновеніе съ Шлегелями, раскрылись всѣ сокровища его воображенія, его души и его остроумія. и бриллианты, посыпались чистѣйшіе перлы, и ярче

всего заблестѣлъ карбункулъ, баснословный драгоцѣнный камень, о которомъ романтическіе поэты столько говорили и пѣли въ то время. Эта богатая грудь была собственно та сокровищница, изъ которой Шлегели черпали на военныя издержки для своихъ литературныхъ походовъ. Тикъ долженъ былъ въ одно и то же время писать для школы вышеупомянутыя сатирическія комедіи и изготовлять по новымъ эстетическимъ рецептамъ множество стиховъ всякаго рода. И вотъ это-то—вторая манера г. Людвига Тика. Замѣчательнѣйшія въ этой манерѣ драматическія произведенія его — «Императоръ Октавіанъ», «Святая Женевьева» и «Фортунатъ», три драмы, составленныя по народнымъ книгамъ того же имени. Здѣсь старыя легенды, хранимыя до сихъ поръ нѣмецкимъ народомъ, поэтъ облекъ въ новое драгоцѣнное одѣяніе. Но, говоря по совѣсти, я предпочитаю ихъ въ старой, простой и наивной формѣ. Какъ ни хороша «Женевьева» Тика, но мнѣ гораздо больше нравится старая, очень скверно напечатанная въ Кельнѣ на Рейнѣ, народная книга, съ ея дрянными лубочными картинками, на которыхъ, однако, трогательно изображено, какъ бѣдная палатинская принцесса, вся нагая, цѣломудренно прикрыта только своими длинными волосами, и сосками сострадательной лани кормитъ свое маленькое сокровище.

Гораздо драгоцѣннѣе этихъ драмъ новеллы, написанныя Тикомъ по второй манерѣ. Онѣ также, по большей части, суть подражанія стариннымъ народнымъ легендамъ. Самыя лучшія изъ нихъ—«Бѣлокурый Экбертъ» и «Руненбергъ». Въ этихъ произведеніяхъ господствуютъ полная таинственности искренность, странное единеніе съ природой, въ особенности съ міромъ растеній и камней. Читатель чувствуетъ себя здѣсь какъ въ заколдованномъ лѣсу; онъ слышитъ, какъ мелодично журчатъ подземные источники; по временамъ въ шелестѣ листьевъ ему слышится даже его собственное имя; широколиственныя вьющіяся растенія иногда опутываютъ его ноги и затрудняютъ ходъ; дико чуждые чудесные цвѣты смотрятъ на него своими пестрыми, полными томленія глазами; невидимыя губы цѣлуютъ его щеки съ шаловливою нѣжностью; высокіе грибки, какъ золотые колокольчики, звуча, вырастаютъ у подножія деревьевъ, больчія молчаливыя птицы качаются на вѣтвяхъ и киваютъ низъ своими умными, длинными клювами; все дышитъ, все слушивается, все полно трепетнаго ожиданія... Но вдругъ ается мягкій звукъ рожка, и на бѣломъ иноходцѣ мчится

красавица съ развѣвающимися на беретѣ перьями, съ соколомъ на рукѣ. И эта красавица-барышня такъ хороша, такъ бѣлокура, съ такими фіалковыми глазами, такая улыбающаяся и вмѣстѣ такая серьезная, такая искренняя и вмѣстѣ такая ироническая, такая цѣломудренная и вмѣстѣ полная такой нѣги, какъ фантазія нашего превосходнаго Людвига Тика. Да, его фантазія—очаровательная рыцарша, охотящаяся въ заколдованномъ лѣсу за баснословными животными, быть-можетъ, за рѣдкостнымъ единорогомъ, который поддается только чистой дѣвѣ.

Но въ настоящую минуту совершается въ Тикѣ странная перемѣна, и она проявилась въ его третьей манерѣ. Послѣ паденія Шлегелей онъ долго хранилъ молчаніе и затѣмъ опять появился передъ публикой, и появился въ такомъ видѣ, какого всего менѣе можно было ожидать отъ него. Прежній энтузіастъ, нѣкогда бросившійся съ ревностью фанатика въ лоно католической церкви, человѣкъ, столь сильно боровшійся съ просвѣщеніемъ и протестантизмомъ, дышавшій только феодальными средними вѣками, любившій искусство только въ наивныхъ изліяніяхъ сердца — онъ теперь выступилъ противникомъ мечтательности, изобразителемъ современной бюргерской жизни, художникомъ, требующимъ въ искусствѣ яснѣйшаго самосознанія, словомъ, разумнымъ человѣкомъ. Такимъ представляется онъ намъ въ рядѣ новыхъ новеллъ, изъ которыхъ иныя извѣстны и во Франціи. Въ нихъ видно изученіе Гёте, какъ и вообще въ своей третьей манерѣ Тикъ является истиннымъ ученикомъ Гёте. Та же артистическая чистота, ясность, спокойствіе и иронія. Если школѣ Шлегелей прежде не удавалось привлечь къ себѣ Гёте, то теперь сама школа, въ лицѣ Людвига Тика, перешла къ Гёте. Это напоминаетъ одну мусульманскую легенду. Пророкъ сказалъ горѣ: «Гора, подойди ко мнѣ!» Но гора не подошла, и вотъ совершилось бо́льшее чудо: пророкъ подошелъ къ горѣ.

Тикъ родился въ Берлинѣ, 31 мая 1773 года. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ поселился въ Дрезденѣ, гдѣ особенно занимался театромъ, и онъ, постоянно осмѣивавшій въ своихъ прежнихъ произведеніяхъ гофратовъ, ка
смѣшного, самъ теперь сдѣлался гофратомъ его в
короля саксонскаго. У судьбы, что́ ни говори,
больше ироніи, чѣмъ у г. Тика.

Теперь возникъ странный раздоръ между
воображеніемъ этого писателя. Первый, разумъ

ный, трезвый бюргеръ, чтущій систему полезности и не желающій даже слышать о мечтательности; второе же, воображеніе Тика, остается по-старому рыцарственной дамой съ развѣвающимися перьями на беретѣ и съ соколомъ на рукѣ. Эти двое составляютъ прелюбопытную брачную чету, и грустно становится подчасъ, видя, какъ бѣдная высокородная дама принуждена помогать своему супругу-бюргеру въ хозяйствѣ и даже въ его сливочной лавкѣ. Но иногда въ ночную пору, когда г. супругъ спокойно храпитъ, надвинувъ на лобъ бумажный колпакъ, благородная дама сходитъ съ своего принудительнаго брачнаго ложа, и садится на бѣлаго коня, и снова весело мчится по заколдованному романтическому лѣсу.

Не могу умолчать, что разумъ Тика еще значительнѣе отрезвѣлъ въ его послѣднихъ новеллахъ и что, вмѣстѣ съ тѣмъ, его воображеніе теряетъ все больше и больше своей романтической натуры, и въ прохладныя ночи даже съ наслажденіемъ позѣвываетъ на брачномъ ложѣ, прижимаясь чуть-чуть не съ любовью къ своему тощему супругу.

Однако, Тикъ все-таки великій поэтъ. Ибо онъ можетъ создавать образы, и изъ его сердца исторгаются слова, волнующія и наши сердца. Но робость, что-то неопредѣленное, шаткое, какая-то слабость замѣтны въ немъ не только теперь, но существовали и всегда прежде. Этотъ недостатокъ силы и рѣшимости слишкомъ чувствовался во всемъ, что онъ дѣлалъ и писалъ. По крайней мѣрѣ, ни въ немъ, написанномъ имъ, не видно никакой самостоятельности. Въ произведеніяхъ первой манеры онъ является ровно ничѣмъ; во второй—вѣрнымъ оруженосцемъ Шлегеля; въ третьей онъ подражаетъ Гёте. Наибольшею своеобразностью отличаются еще его критическія статьи о театрѣ, собранныя подъ названіемъ «Драматическихъ Листовъ». Но это только критическія статьи о театрѣ.

Чтобъ обрисовать вполнѣ Гамлета, какъ человѣка слабаго, Шекспиръ заставляетъ и его въ разговорѣ съ комедіантами выказаться хорошимъ театральнымъ критикомъ.

Серьезнымъ ученымъ Тикъ никогда не былъ. Онъ изучалъ новые языки и древніе памятники нашей отечественной поэзіи. Классической древностью онъ, кажется, никогда не занимался, какъ истый романтикъ. Никогда не занимался онъ философіею; она даже, кажется, была противна ему. На поляхъ науки Тикъ срывалъ только цвѣты да тонкіе стебли, и первыми угощалъ носы своихъ друзей, а вторыми—

спины своихъ противниковъ. Ученому полеводству онъ никогда не предавался. Произведенія его — букеты и пучки розогъ; снопа съ колосьями у него нѣтъ нигдѣ.

Послѣ Гёте, особенно подражалъ Тикъ Сервантесу. Юмористическая иронія, я бы могъ также сказать ироническій юморъ, обоихъ этихъ новыхъ писателей сообщаетъ свой ароматъ и тѣмъ новелламъ Тика, которыя принадлежатъ къ его третьей манерѣ. Иронія и юморъ въ нихъ сплотились такъ, что, повидимому, образуютъ одно и то же. Объ этой юмористической иронiи у насъ толкуютъ много. Гётевская художественная школа прославляетъ ее, какъ одно изъ великолѣпнѣйшихъ достоинствъ своего главы, и въ настоящее время она играетъ важную роль въ нѣмецкой литературѣ. Но она только признакъ нашей политической несвободы; и какъ Сервантесъ, писавшій во время инквизиціи, долженъ былъ прибѣгать къ юмористической иронiи, чтобъ выражать свои мысли, не давая осязательныхъ уликъ служителямъ священной инквизиціи, такъ и Гёте обыкновенно высказывалъ тономъ юмористической иронiи то, о чемъ онъ не дерзалъ говорить прямо, будучи министромъ и придворнымъ. Гёте никогда не скрывалъ правды; но только онъ никогда не смѣлъ показать ее во всей наготѣ, облекалъ ее въ юморъ и иронію. Писатели, томящіеся подъ цензурой и разнаго рода умственными стѣсненіями и, несмотря на это, не могущіе отречься отъ своихъ сердечныхъ убѣжденій, въ особенности принуждены прибѣгать къ иронической и юмористической формѣ. Это единственный исходъ, оставшійся еще для честности, и въ юмористико-ироническомъ притворствѣ эта честность высказывается самымъ трогательнымъ образомъ. Это мнѣ снова напоминаетъ страннаго принца датскаго. Гамлетъ честнѣйшая душа на свѣтѣ. Его притворство служитъ только для замѣны внѣшнихъ проявленій; онъ страненъ потому, что странность все-таки меньше шокируетъ придворный этикетъ, чѣмъ рѣзкая откровенность. Во всѣхъ своихъ юмористико-ироническихъ шуткахъ онъ постоянно умышленно даетъ понять, что только притворяется; во всемъ, что онъ говоритъ и дѣлаетъ, видно его настоящее мнѣніе для всякаго, у кого есть глаза, даже для короля, которому открыто сказать правду онъ не можетъ (онъ слишкомъ слабъ для этого), но отъ котораго, однако, нисколько не желаетъ и скрывать ее. Гамлетъ без[illegible] и всецѣло честенъ; только честнѣйшій человѣкъ сказать: «мы всѣ обманщики»; и притворяясь сума

онъ не желаетъ обманывать насъ и внутренно сознаетъ, что онъ дѣйствительно сумасшедшій.

Изъ трудовъ Тика мнѣ остается похвалить еще два, которыми онъ особенно пріобрѣлъ право на признательность нѣмецкой публики. Это его переводъ ряда англійскихъ драмъ времени до Шекспира и переводъ «Донъ Кихота». Нѣкоторыя изъ этихъ драмъ схожи по названію и содержанію съ пьесами Шекспира; въ нихъ та же интрига, тотъ же сценическій ходъ, словомъ, вся трагедія Шекспира, только безъ поэзіи. Нѣкоторые комментаторы вообразили, что эти пьесы— наброски великаго поэта, такъ сказать, его драматическіе картоны; и если не ошибаюсь, Тикъ самъ утверждалъ, что одна изъ этихъ старинныхъ пьесъ, «Король Іоаннъ», написана Шекспиромъ и составляетъ прелюдію къ великому произведенію, которое извѣстно подъ этимъ именемъ; но это неправда. Эти трагедіи не что иное, какъ тѣ старинныя пьесы, которыя впослѣдствіи были, частью или вполнѣ, передѣланы Шекспиромъ, согласно требованіямъ директоровъ театра, платившихъ ему отъ двѣнадцати до шестнадцати шиллинговъ за пьесу. Это былъ бѣдный передѣлыватель, который, конечно, стоилъ гораздо дороже самыхъ знаменитыхъ литературныхъ царей нашего времени. Другой великій поэтъ, Мигуэль Сервантесъ, игралъ не менѣе скромную роль въ дѣйствительной жизни. Оба эти человѣка, авторъ «Гамлета» и авторъ «Донъ-Кихота», суть величайшіе поэты, какихъ только произвело новое время. Но для меня Сервантесъ, еще больше, чѣмъ кроткій Вильямъ, имѣетъ невыразимую прелесть. Я люблю его до слезъ, любовь эта очень давняя.

Переводъ «Донъ-Кихота» особенно удался Тику; никто лучше его не понялъ смѣшной grandezza остроумнаго гидальго Ламанчскаго, и никто не передалъ ее такъ вѣрно, какъ нашъ превосходный Тикъ.

Довольно забавно, что именно романтическая школа дала намъ лучшій переводъ книги, въ которой ея собственное безуміе представлено самымъ забавнымъ образомъ. Потому что вѣдь эта школа была охвачена тѣмъ же безуміемъ, которое вдохновляло и благороднаго ламанчца на всѣ его нѣ[illegible]ные подвиги; и она хотѣла возстановить средневѣковое [illegible]ыцарство; и она хотѣла снова вызвать къ жизни умершее [illegible]рошедшее. Или, быть-можетъ, Мигуэль Сервантесъ Саавед[illegible]а хотѣлъ въ своей комической эпопеѣ осмѣять и другихъ [illegible]ыцарей, именно всѣхъ людей, сражающихся и страждущихъ за какую-нибудь идею?

Дѣйствительно ли онъ хотѣлъ въ лицѣ своего длиннаго, сухого рыцаря пародировать идеальный энтузіазмъ вообще, а въ лицѣ толстаго оруженосца — положительный умъ? Во всякомъ случаѣ, однако, этотъ послѣдній играетъ болѣе смѣшную роль, ибо положительный умъ со всѣми его общеполезными пословицами и поговорками, все-таки принужденъ тащиться на смиренномъ ослѣ сзади энтузіазма; несмотря на всю свою проницательность, онъ, вмѣстѣ съ своимъ осломъ, все-таки принужденъ раздѣлять всѣ невзгоды, такъ часто случающіяся съ благороднымъ рыцаремъ; мало того— идеальный энтузіазмъ обладаетъ такою мощно увлекательной силой, что положительный умъ, со всѣми своими ослами, невольно принужденъ постоянно за нимъ слѣдовать.

Или, можетъ-быть, глубокомысленный испанецъ хотѣлъ еще глубже осмѣять человѣческую натуру? Не представилъ ли онъ аллегорически въ образѣ донъ-Кихота нашъ духъ, а въ образѣ Санхо-Панса наше тѣло, и въ такомъ случаѣ это произведеніе не есть ли не что иное, какъ великая мистерія, гдѣ вопросъ о духѣ и матеріи обсуждается во всей своей ужасающей правдѣ? Что касается меня, то я въ этой книгѣ вижу только, что бѣдному матеріальному Санхо приходится много страдать ради спиритуалистическихъ донъ-кихотствъ, что за благороднѣйшія стремленія своего господина онъ очень часто выноситъ самые неблагородные побои и что онъ постоянно оказывается разумнѣе своего, красующагося на высокомъ конѣ, барина; ибо онъ знаетъ, что побои весьма непріятны, колбаски же въ olla podrida— весьма вкусны. Дѣйствительно, тѣло, повидимому, часто бываетъ проницательнѣе духа, и человѣкъ часто гораздо лучше мыслитъ спиною и желудкомъ, чѣмъ головой.

3.

Изъ всѣхъ сумасшествій романтической школы въ Германіи, упорство, съ какимъ она хвалила и превозносила Якова Беме, заслуживаетъ особеннаго упоминовенія. Это имя было какъ бы священнымъ лозунгомъ этихъ людей. Когда они произносили имя Якова Беме, то строили самую глубокомысленную мину. Дѣлали они это серьезно шутку?

Яковъ Беме былъ сапожникъ, увидѣвшій свѣтъ въ въ Герлицѣ, въ Верхней Лузаціи и оставившій теологическихъ сочиненій. Они написаны на языкѣ и вслѣдствіе этого были тѣмъ достушнѣе

мантикамъ. Былъ ли этотъ странный сапожникъ такимъ великимъ философомъ, какимъ признаютъ его многіе нѣмецкіе мистики, я не берусь опредѣлительно рѣшить, ибо ничего не читалъ изъ него; но я убѣжденъ, что онъ никогда не шилъ сапоговъ такъ хорошо, какъ г. Саковскій. Сапожники вообще играютъ роль въ нашей литературѣ, а Ганса Сакса, сапожника, родившагося въ 1454 г., въ Нюренбергѣ, и проведшаго тамъ жизнь, романтическая школа прославила, какъ одного изъ нашихъ лучшихъ поэтовъ. Его сочиненія я читалъ, и долженъ признаться, что сомнѣваюсь, чтобъ г. Саковскій сочинялъ когда-нибудь такіе славные стихи, какъ нашъ старый, превосходный Гансъ Саксъ.

О вліяніи г. Шеллинга на романтическую школу я уже упомянулъ. Такъ какъ я ниже буду подробно говорить о немъ, то здѣсь могу ограничиться этимъ краткимъ указаніемъ. Во всякомъ случаѣ этотъ человѣкъ заслуживаетъ нашего полнѣйшаго вниманія. И это потому, что въ первое время своей дѣятельности онъ произвелъ въ мірѣ нѣмецкой мысли огромный переворотъ, а въ позднѣйшее измѣнился такъ, что неопытные люди впадутъ въ величайшее заблужденіе, если захотятъ обмѣнить прежняго Шеллинга на теперешняго. Прежній Шеллингъ былъ смѣлый протестантъ, протестовавшій противъ идеализма Фихте. Этотъ идеализмъ былъ странная система, долженствовавшая казаться непонятною, особенно для француза. Потому что въ то самое время, какъ во Франціи распространилась философія, какъ бы воплотившая духъ, признавшая духъ только видоизмѣненіемъ матеріи, словомъ, въ то самое время, какъ сдѣлался господствующимъ матеріализмъ, въ Германіи возникла философія, которая совершенно наоборотъ принимала только духъ, какъ нѣчто дѣйствительное, объявляла всякую матерію только видоизмѣненіемъ духа, даже отрицала существованіе матеріи. Казалось почти, что духъ искалъ по ту сторону Рейна мести за оскорбленія, которымъ онъ подвергался по сю сторону его. Когда духъ здѣсь во Франціи стали отрицать, онъ какъ бы эмигрировалъ въ Германію и сталъ тамъ отрицать матерію. Въ этомъ отношеніи на Фихте можно было смотрѣть, какъ на герцога брауншвейгскаго доктрины спиритуализма, и на его идеальную философію, какъ на манифестъ противъ французскаго матеріализма. Но [illegible] философія, дѣйствительно составляющая крайнюю вершину спиритуализма, могла продержаться такъ же недолго, [illegible]ъ и грубый матеріализмъ французовъ, и Шеллингъ былъ

человѣкъ, выступившій съ ученіемъ, что матерія, или, какъ онъ ее называлъ, природа, существуетъ не только въ нашемъ духѣ, но и въ дѣйствительности, что наше воззрѣніе на вещи тождественно съ самими вещами. Это-то и есть Шеллингово ученіе о тождественности, или, какъ его называютъ также, натуръ-философія.

Это случилось въ началѣ столѣтія. Въ то время Шеллингъ былъ великій человѣкъ. Но между тѣмъ, на философской аренѣ появился Гегель; Шеллингъ, въ послѣднее время ничего не писавшій, былъ затемненъ, преданъ даже забвенію и удерживалъ за собою еще только историко-литературное значеніе. Философія Гегеля сдѣлалась господствующею, Гегель сталъ государемъ въ царствѣ умовъ, и бѣдный Шеллингъ, погибшій медіатизированный философъ, мрачно странствовалъ между другими медіатизированными господами въ Мюнхенѣ. Тутъ мнѣ привелось однажды увидѣть его, и хотѣлось почти плакать при этомъ жалкомъ зрѣлищѣ. И то, что онъ говорилъ, было еще самое жалкое: то было завистливое порицаніе Гегеля, занявшаго его мѣсто. Какъ одинъ сапожникъ обвиняетъ другого, что тотъ укралъ у него кожу и сдѣлалъ изъ нея сапоги, такъ Шеллингъ, когда я случайно встрѣтился съ нимъ, говорилъ о Гегелѣ, который «похитилъ его идеи», и постояннымъ припѣвомъ бѣднаго человѣка было: «это моими идеями онъ завладѣлъ», и опять «мои идеи». Право, если сапожникъ Яковъ Бемъ говорилъ нѣкогда, какъ философъ, то философъ Шеллингъ говоритъ теперь, какъ сапожникъ.

Ничего не можетъ быть смѣшнѣе притязанія на право собственности идеями. Правда, Гегель воспользовался для своей философіи весьма многими идеями Шеллинга; но Шеллингъ никогда и ничего не сумѣлъ бы сдѣлать съ этими идеями. Онъ всегда только философствовалъ, но никогда не могъ дать философію. Притомъ же, мы имѣли бы право сказать, что Шеллингъ заимствовалъ у Спинозы больше, чѣмъ Гегель у него самого. Если когда-нибудь Спинозу освободятъ отъ его жесткой, древне-картезіанской, математической формы и сдѣлаютъ больше доступнымъ массѣ, то окажется, можетъ-быть, что онъ, больше чѣмъ
гой, имѣетъ основаніе жаловаться на похище
Всѣ наши нынѣшніе философы, можетъ-быть,
своего вѣдома, смотрятъ въ очки, отшлифован
Спинозою.

Ненависть и зависть были причиною п

къ сожалѣнію, слишкомъ вѣрно, что досада при видѣ того, какъ значенія Гегеля постоянно возростало, привела бѣднаго Шеллинга туда, гдѣ мы его видимъ теперь, т. е. въ сѣти той католической пропаганды, главная квартира которой въ Мюнхенѣ. Шеллингъ измѣнилъ философіи для католицизма. Всѣ свидѣтели согласны съ этимъ, и эту развязку давно уже можно было предвидѣть. Изъ устъ нѣсколькихъ мюнхенскихъ властителей я такъ часто слышалъ слова: «съ званіемъ нужно соединять вѣру». Фраза эта была невинна, какъ цвѣтокъ, но подъ нимъ скрывается змѣя. Теперь я знаю, чего вы хотѣли. Въ настоящую минуту г. Шеллингъ долженъ служить для того, чтобы всѣми силами своего ума оправдывать католицизмъ, и все, что онъ преподаетъ намъ теперь подъ именемъ философіи, есть не что иное, какъ оправданіе католицизма. При этомъ спекулировали еще на то побочное выгодное обстоятельство, что знаменитое имя будетъ привлекать въ Мюнхенъ всю нѣмецкую жаждущую мудрости молодежь, и ее будетъ тѣмъ легче опутать іезуитской ложью въ одеждѣ философіи. Благоговѣйно преклоняется эта молодежь передъ человѣкомъ, на котораго смотритъ, какъ на жреца истины, и, ничего не подозрѣвая, беретъ изъ рукъ его отравленные дары.

Изъ числа учениковъ Шеллинга Германія съ особенно большою похвалою отзывается о Стефенсѣ, который въ настоящую минуту профессоръ философіи въ Берлинѣ. Онъ жилъ въ Іенѣ, когда тамъ орудовали Шлегели, и имя его часто встрѣчается въ лѣтописяхъ романтической школы. Впослѣдствіи онъ тоже написалъ нѣсколько новеллъ, въ которыхъ много ума и мало поэзіи. Важнѣе его научныя произведенія, въ особенности его «Антропологія»; она полна оригинальныхъ идей. Въ этомъ отношеніи ему воздано менѣе справедливости, чѣмъ онъ заслуживаетъ. Другіе сумѣли воспользоваться его идеями и выдать ихъ публикѣ за свои. Стефенсъ больше своего учителя имѣлъ право жаловаться на похищеніе его идей; въ числѣ этихъ идей есть одна, которую никто не присвоивалъ, и это—его главная идея, возвышенная идея: «Генрихъ Стефенсъ, родившійся 2 мая 1773 г., въ Ставенгерѣ у Дронтгейма, въ Норвегіи, величайшій человѣкъ своего вѣка».

Въ послѣднее время этотъ человѣкъ попалъ въ руки пістистовъ, и его философія теперь есть не что иное, какъ гаксивый, притомъ тепловатый, водянистый піетизмъ.

Такого же рода умъ—Іосифъ Герресъ, о которомъ я уже

много разъ упоминалъ и который также принадлежитъ къ школѣ Шеллинга. Въ Германіи онъ извѣстенъ подъ именемъ «четвертаго союзника». Такъ именно назвалъ его одинъ французскій журналистъ въ 1814 г., когда, по порученію священнаго союза, онъ проповѣдывалъ ненависть противъ Франціи. Этимъ комплиментомъ Іосифъ Герресъ питается и до сего дня. Но, дѣйствительно, никто не умѣлъ такъ сильно, какъ онъ, воодушевлять нѣмцевъ ненавистью къ французамъ, помощью національныхъ воспоминаній; и журналъ, издававшійся имъ съ этой цѣлью, подъ заглавіемъ «Рейнскій Меркурій», наполненъ такими заклинательными формулами, которыя производили бы нѣкоторое вліяніе и теперь, если-бъ снова возгорѣлась война. Съ тѣхъ поръ Герресъ былъ почти забытъ. Государи не имѣли въ немъ болѣе надобности и пустили его на всѣ четыре стороны. А когда онъ за это сталъ ворчать, на него даже воздвигли гоненіе. Въ этомъ случаѣ они поступали, какъ испанцы на Кубѣ, которые во время войны съ индѣйцами натравляли на голыхъ дикарей своихъ огромныхъ, для этого дрессированныхъ, собакъ, а когда война кончилась, и собаки, которымъ пришлась по вкусу человѣческая кровь, стали иногда кусать за ляжки и своихъ хозяевъ, эти послѣдніе принуждены были силою отдѣлываться отъ своихъ кровожадныхъ псовъ. Когда Герресу, преслѣдуемому государями, некого было больше кусать, онъ бросился въ объятія іезуитовъ, имъ онъ служитъ до сихъ поръ и составляетъ главную опору католической пропаганды въ Мюнхенѣ. Тамъ я видѣлъ его нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ расцвѣтѣ его униженія. Онъ читалъ лекціи всеобщей исторіи въ аудиторіи, состоявшей преимущественно изъ католическихъ семинаристовъ, и дошелъ уже до грѣхопаденія. Что за страшный конецъ постигаетъ, однако, враговъ Франціи! Четвертый союзникъ осужденъ теперь изъ года въ годъ, изо дня въ день, разсказывать католическимъ семинаристамъ, этой политехнической школѣ обскурантизма, исторію грѣхопаденія! Въ устныхъ лекціяхъ Герреса, точно такъ же, какъ и въ написанныхъ имъ книгахъ, царствовали полнѣйшій хаосъ, полнѣйшее смѣшеніе понятій и в
ній, и не безъ основанія часто сравнивали его с
лонской башней. Онъ дѣйствительно походитъ на
ную башню, гдѣ сотни тысячъ мыслей бродятъ, р
зовутъ одна другую, ссорятся, причемъ ни одна
маетъ другую. Иногда этотъ шумъ какъ будто б

поутихалъ въ головѣ Герреса, и тогда онъ говорилъ длинно и скучно, и съ недовольныхъ губъ его спадали монотонныя слова, какъ мрачныя капли дождя съ свинцовой водосточной трубы.

Когда же подчасъ старинная демагогическая дикость снова пробуждалась въ немъ и отвратительно противорѣчила его смиреннымъ фразамъ, проникнутымъ монашескимъ самоуничиженіемъ; когда, толкуя о чемъ-нибудь нѣжнымъ христіанскимъ голоскомъ, онъ дѣлалъ бѣшено кровожадные прыжки то въ ту, то въ другую сторону, тогда казалось, что видишь гіену съ тонзурой на головѣ.

Герресъ родился въ Кобленцѣ, 25 января 1776 г.

Я прошу позволенія не касаться остальныхъ частностей жизни какъ его, такъ и большей части его товарищей. Быть-можетъ, говоря о его друзьяхъ, братьяхъ Шлегеляхъ, я и зашелъ дальше, чѣмъ слѣдовало бы при обсужденіи жизни этихъ людей.

Ахъ, какъ грустно становится, когда видишь вблизи не только этихъ діоскуровъ, но и вообще звѣзды нашей литературы! Быть-можетъ, и звѣзды на небѣ отъ того намъ кажутся такъ хороши и чисты, что мы видимъ ихъ издали и не знаемъ ихъ частной жизни. Конечно, и тамъ есть звѣзды, которыя лгутъ и выпрашиваютъ подаяніе; звѣзды, которыя ханжатъ; звѣзды, которыя принуждены дѣлать всевозможныя низости; звѣзды, которыя цѣлуютъ и предаютъ другъ друга; звѣзды, которыя льстятъ своимъ врагамъ, или, что еще печальнѣе, своимъ друзьямъ—совершенно такъ, какъ дѣлаемъ это и мы здѣсь. Кометы, которыя мы видимъ иногда пролетающими тамъ вверху, подобно небеснымъ менадамъ, съ распущенными блестящими волосами, быть-можетъ, развратныя звѣзды, которыя, наконецъ, покаянно и лицемѣрно уползли въ темный уголокъ неба и ненавидятъ солнце.

Говоря здѣсь о нѣмецкихъ философахъ, я не могу не исправить заблужденіе, слишкомъ сильно распространенное здѣсь, во Франціи, по отношенію къ нѣмецкой философіи. Именно, съ тѣхъ поръ, какъ нѣкоторые французы стали заниматься философіей Шеллинга и Гегеля, передавать на французскомъ языкѣ результаты своихъ занятій, иногда и примѣнять ихъ къ французскимъ обстоятельствамъ—съ тѣхъ поръ друзья яснаго мышленія и свободы жалуются, что изъ Германіи вносятся во Францію нелѣпѣйшія утопіи и софизмы, помощью которыхъ затемняются умы, и всякая

ложь и всякій деспотизмъ прячутся подъ маску истины и справедливости. Однимъ словомъ, эти благородные, заботящіеся объ интересахъ либерализма, люди жалуются на вредное вліяніе нѣмецкой философіи во Франціи. Но они несправедливы къ бѣдной нѣмецкой философіи. Потому что, во-первыхъ, то, что предлагалось французамъ до сихъ поръ, особенно Викторомъ Кузеномъ, подъ именемъ нѣмецкой философіи, совсѣмъ не нѣмецкая философія. Викторъ Кузенъ читаетъ весьма остроумную болтовню, но совсѣмъ не нѣмецкую философію. Во-вторыхъ, собственно нѣмецкая философія есть та, которая вышла непосредственно изъ «Критики чистаго разума» Канта и, сохраняя характеръ этого происхожденія, мало заботилась о политическихъ и религіозныхъ дѣлахъ, но тѣмъ болѣе о послѣднихъ основаніяхъ всякаго познанія.

Правда, что метафизическія системы большей части нѣмецкихъ философовъ черезчуръ уже походили на простую паутину. Но что въ этомъ было вреднаго? Вѣдь іезуитизмъ не могъ воспользоваться этою паутиною для своихъ сѣтей лжи, и точно также деспотизмъ не могъ плести изъ нея свои веревки для скрученія умовъ. Только со времени Шеллинга нѣмецкая философія утратила этотъ паутинный, но безвредный характеръ. Съ тѣхъ поръ наши философы перестали подвергать критикѣ послѣднія основы познанія и бытія вообще, перестали парить въ идеальныхъ отвлеченностяхъ, но начали, напротивъ того, отыскивать основанія для оправданія существующаго, сдѣлались оправдателями того, что̀ есть. Между тѣмъ какъ наши прежніе философы, бѣдные и отрекшіеся отъ свѣта, сидѣли на корточкахъ въ своихъ жалкихъ мансардахъ и тамъ разрабатывали свои системы, теперешніе философы наши щеголяютъ въ блестящей ливреѣ власти, они сдѣлались статсъ-философами, въ томъ именно отношеніи, что придумали философскія оправданія всѣхъ интересовъ государства, на службѣ котораго состояли. Напримѣръ, Гегель, профессоръ въ протестантскомъ Берлинѣ, ввелъ въ свою систему и всю евангелически протестантскую догматику, а Шеллингъ, профессоръ въ католическомъ Мюнхенѣ, оправдываетъ теперь въ своихъ
даже самыя крайнія ученія римско-католической

Да, какъ нѣкогда философы Александрійской требляли все свое остроуміе, чтобъ сохранить гическими толкованіями отъ совершеннаго леблющійся культъ Юпитера, такъ точно и

философы стараются дѣлать нѣчто подобное для своихъ религій. Намъ нѣтъ надобности добиваться, дѣйствуютъ ли эти философы безкорыстно; но когда мы видимъ ихъ въ связи съ партіей духовенства, матеріальные интересы котораго связаны съ поддержаніемъ католицизма, то называемъ ихъ іезуитами. Однако, они не должны воображать себѣ, что мы промѣняемъ на нихъ прежнихъ іезуитовъ. Тѣ были велики и сильны, полны мудрости и силы воли. О, слабые карлики, воображающіе, что они преодолѣютъ тѣ препятствія, передъ которыми отступили даже эти черные гиганты! Никогда человѣческій умъ не придумывалъ такихъ великихъ комбинацій, какъ тѣ, которыми старые іезуиты старались спасти католицизмъ. Но они не успѣли въ этомъ потому, что боролись не за самый католицизмъ, но только за сохраненіе католицизма. Католицизмъ, взятый самъ по себѣ, мало интересовалъ ихъ; вслѣдствіе этого, они часто профанировали самый католическій принципъ, лишь бы только доставить ему господство; они сходились и съ язычниками, съ сильными міра сего, угождали ихъ вкусамъ, дѣлались убійцами и торгашами, а тамъ, гдѣ было нужно, прикидывались даже атеистами. Но напрасно ихъ исповѣдники раздавали самыя любезныя отпущенія грѣховъ, а ихъ казуисты любезничали со всякимъ порокомъ и всякимъ преступленіемъ. Напрасно соперничали они съ мірянами въ искусствѣ и наукѣ, чтобъ сдѣлать и то, и другое своими орудіями. Здѣсь ихъ безсиліе скоро сдѣлалось совершенно очевидно. Они завидовали всѣмъ великимъ ученымъ и художникамъ, а сами не могли ни открыть, ни создать ничего необыкновеннаго. Они сочиняли священные гимны и строили соборы, но въ ихъ поэзіи не вѣетъ духъ свободы, а стонетъ только трепещущее повиновеніе начальникамъ ордена, и даже въ ихъ зданіяхъ видишь только боязливое рабство, каменную молчаливость, величіе по приказу. Справедливо сказалъ однажды Барро: «Іезуиты, не имѣя силъ вознести землю на небо, спустили небо на землю». Всѣ ихъ усилія, всѣ труды ихъ были безуспѣшны. Изъ лжи не можетъ расцѣсть никакая жизнь, и Бога не можетъ спасти дьяволъ.

ывимъ іезуитовъ покоиться въ ихъ могилахъ и съ со-
емъ пожмемъ плечами при видѣ іезуитовъ новыхъ.
уже умерли, а послѣдніе — только черви, которые
аютъ изъ ихъ труповъ. Они такъ же мало походятъ на
іезуитовъ, какъ Шеллингъ нынѣшній походитъ на
прежняго.

Г. Шеллингъ родился 27 января 1775 г., въ Виртем
бергѣ.

4.

Объ отношеніяхъ Шеллинга къ романтической школѣ
не могъ сказать особенно много. Его вліяніе было преиму
щественно личнаго свойства. Притомъ, съ тѣхъ поръ, как
онъ далъ развитіе натуръ-философіи, поэты стали гораз
глубже понимать природу. Нѣкоторые изъ нихъ погрузи
лись въ природу всѣми своими человѣческими чувствам
другіе удержали въ своемъ умѣ нѣкоторыя заклинательны
формулы, помощью которыхъ можно было и разглядѣть в
природѣ, и вложить въ ея уста нѣчто человѣческое. Первы
изъ этихъ поэтовъ были собственно мистики и во многих
отношеніяхъ походили на индѣйскихъ браминовъ, которы
насквозь проникаются природой и, наконецъ, начинаютъ чу
ствовать за одно съ нею. Вторые были скорѣе заклинател
они собственною волею вызывали изъ природы даже злых
духовъ, они походили на арабскаго колдуна, который мо
жетъ по своему усмотрѣнію одушевлять камень и превра
щать въ камень всякую жизнь. Къ первымъ ближе всѣх
принадлежалъ Новалисъ, къ послѣднимъ—Гофманъ. Нова
лису всюду видѣлись только чудеса, и чудеса милыя; он
подслушивалъ бесѣду растеній, онъ зналъ тайну кажд
юной розы, онъ, наконецъ, вполнѣ отождествился со сво
природой, а когда наступила осень и опали листья, он
умеръ. Гофману, напротивъ, всюду видѣлись только пр
зраки, они кивали ему изъ каждаго китайскаго чайни
изъ каждаго берлинскаго парика; онъ былъ чародѣй, ко
рый людей превращалъ въ животныхъ, даже въ прусски
королевскихъ гофратовъ; онъ умѣлъ вызывать мертвыхъ и
могилы, но сама жизнь отталкивала его отъ себя, ка
мрачное привидѣніе. Это онъ чувствовалъ, онъ чувствовал
что самъ сталъ привидѣніемъ; вся природа сдѣлалась дл
него кривымъ зеркаломъ, въ которомъ онъ, исковерканны
на тысячу ладовъ, видѣлъ только свое могильное лицо,
его сочиненія суть не что иное, какъ страшный вопль тос
въ двадцати томахъ.

Гофманъ не принадлежитъ къ романтической
не имѣлъ никакого соприкосновенія съ Шлегел
менѣе съ ихъ тенденціями. Я упомянулъ здѣсь
ственно ради противоположности съ Новалис
былъ уже вполнѣ поэтомъ этой школы. Нов

ціи знаютъ менѣе, чѣмъ Гофмана, котораго Леве-Веймарсъ въ такомъ блистательномъ костюмѣ представилъ французской публикѣ и тѣмъ доставилъ ему во Франціи огромную извѣстность. У насъ въ Германіи Гофманъ теперь совсѣмъ не en vogue, но прежде былъ. Въ свое время его многіе читали, но только люди съ слишкомъ крѣпкими нервами, или съ слишкомъ слабыми для того, чтобъ на нихъ можно было подѣйствовать мягкими аккордами. Настоящіе мыслители и поистинѣ поэтическія натуры не хотѣли и слышать о немъ. Они гораздо больше любили Новалиса. Однако, по совѣсти сознаться, Гофманъ, какъ поэтъ, гораздо значительнѣе Новалиса. Послѣдній, со своими идеальными образами, постоянно паритъ въ голубомъ воздухѣ, между тѣмъ какъ Гофманъ, со всѣми своими карикатурными масками, все-таки постоянно твердо цѣпляется за земную дѣйствительность. Но какъ гигантъ Антей становился непобѣдимо силенъ, когда касался ногой матери-земли и терялъ силу, какъ скоро Геркулесъ поднималъ его на воздухъ, такъ и поэтъ могучъ до тѣхъ только поръ, пока не покидаетъ почвы дѣйствительности, и становится безсиленъ, лишь только начнетъ мечтательно парить въ голубомъ воздухѣ.

Большое сходство между этими обоими поэтами состоитъ въ томъ, что ихъ поэзія была собственно болѣзнь. Оттого и говорили, что судить объ ихъ произведеніяхъ слѣдуетъ врачамъ, а не критикамъ. Розовый оттѣнокъ во всѣхъ созданіяхъ Новалиса—краска не здоровья, а чахотки, и пурпуровый колоритъ въ фантастическихъ сказкахъ Гофмана—не пламя генія, а огонь лихорадки.

Но имѣемъ ли мы право дѣлать такія замѣчанія, мы, которые тоже не слишкомъ-то надѣлены здоровьемъ? И въ особенности теперь, когда наша литература походитъ на обширный лазаретъ? Или, можетъ-быть, поэзія есть болѣзнь человѣка, какъ жемчугъ, который есть не что иное, какъ болѣзненный наростъ, отъ котораго страдаетъ бѣдное животное, устрица?

Новалисъ родился въ 1772 г., 2 мая. Его настоящая фамилія Гарденбергъ. Онъ любилъ молодую женщину, которая страдала чахоткой и умерла отъ этой болѣзни. Во мъ, что онъ писалъ, слышится эта печальная исторія, жизнь его была только мечтательное вымираніе, и онъ ръ въ 1801 г., отъ чахотки, не достигши двадцати де- лѣтъ и не докончивъ своего романа. Романъ этотъ, въ видѣ, въ какомъ онъ существуетъ теперь, только отры-

вокъ изъ большой аллегорической поэмы, которая, какъ «Божественная Комедія» Данта, должна была воспѣть всѣ земныя и божественныя вещи. Генрихъ Офтердингенъ, знаменитый поэтъ—герой этого романа. Мы видимъ его юношей въ Эйзенахѣ, миломъ городкѣ, расположенномъ у подошвы того стараго Вартбурга, гдѣ совершилось величайшее, но также и глупѣйшее дѣло, именно, гдѣ Лютеръ перевелъ Библію и гдѣ нѣсколько нелѣпыхъ нѣмечниковъ сожгли «Жандармскій Кодексъ» г. Кампца. Въ этомъ же Вартбургѣ происходило нѣкогда состязаніе пѣвцовъ, въ которомъ, среди другихъ поэтовъ, и Генрихъ Офтердингенъ имѣлъ съ Клингсоромъ Венгерскимъ опасный стихотворный поединокъ, сохранившійся для насъ въ Манесскомъ сборникѣ. Палачъ долженъ былъ снести голову побѣжденному, а ланграфъ тюрингенскій былъ судьей. Знаменательно возвышается Вартбургъ, арена позднѣйшей славы Генриха Офтердингена, надъ колыбелью героя, и первая глава романа Новалиса показываетъ намъ его, какъ выше сказано, въ Эйзенахѣ, въ отеческомъ домѣ.

Родители его уже легли и заснули, часы ходятъ со своимъ однообразнымъ стукомъ, передъ хлопающими ставнями шумитъ вѣтеръ, лунный свѣтъ по временамъ освѣщаетъ комнату.

«Молодой человѣкъ метался на кровати, думая о чужеземцѣ и его разсказахъ. Не сокровища, — говорилъ онъ себѣ:—наполнили мою душу такимъ невыразимымъ желаніемъ; отъ меня далеко всякое корыстолюбіе, но мнѣ жадно хочется увидѣть голубой цвѣтокъ. Онъ непрестанно занимаетъ мои мысли, ни о чемъ другомъ не могу я думать! Никогда не испытывалъ я подобнаго ощущенія; мнѣ кажется, будто жизнь моя до нынѣшняго дня была сномъ, или же во снѣ я перенесся въ другой міръ. Ибо въ томъ мірѣ, въ которомъ я обыкновенно жилъ, кто станетъ заниматься цвѣткомъ? А ужъ о такой странной страсти къ цвѣтку я въ то время никогда не слышалъ».

Такими словами начинается «Генрихъ Офтердингенъ», и всюду въ этомъ романѣ блещетъ и благоухаетъ голубой цвѣтокъ. Странно и замѣчательно, что даже въ са
снословныхъ лицахъ этой книги мы находимъ чт
знакомое, что кажется, будто мы когда-то очен
жили вмѣстѣ съ ними. Встаютъ старыя воспом
лицо Софіи знакомо намъ, и въ памяти нашей
цѣлыя березовыя аллеи, въ которыхъ мы съ

весело разговаривали. Но все это лежитъ позади насъ такъ смутно, какъ полузабытый сонъ.

Муза Новалиса была бѣлая, стройная дѣвушка съ серьезными голубыми глазами, съ золотистыми гіацинтовыми кудрями, улыбающимися губами и маленькимъ краснымъ родимымъ пятнышкомъ на лѣвой сторонѣ подбородка. Музой поэзіи Новалиса я представляю себѣ ту самую молодую дѣвушку, черезъ которую я познакомился съ нимъ, когда увидѣлъ однажды въ ея хорошенькихъ ручкахъ романъ «Офтердингенъ», въ красномъ сафьяновомъ переплетѣ съ золотымъ обрѣзомъ. Она носила всегда голубое платье и называлась Софьей. Жила она въ нѣсколькихъ станціяхъ отъ Геттингена, у сестры своей, г-жи почтмейстерши, веселой, толстой, краснощекой женщины, съ высокою грудью, которая со своимъ зубчатымъ воротникомъ была похожа на крѣпость; но эта крѣпость была неприступна, почтенная дама была Гибралтаромъ добродѣтели. Это была дѣятельная, практическая женщина и отличная хозяйка, а между тѣмъ, единственнымъ ея удовольствіемъ было чтеніе романовъ Гофмана. Въ Гофманѣ она нашла человѣка, который умѣлъ потрясать ея грубоватую натуру и приводить ее въ пріятное движеніе. Напротивъ того, на ея блѣдную, нѣжную сестру одинъ видъ книги Гофмана производилъ самое непріятное впечатлѣніе, а если она случайно касалась до нея, то вся вздрагивала. Она была деликатна, какъ цвѣтокъ «не тронь меня», и слова ея были такъ ароматичны, такъ гармоничны, а когда ихъ слагали вмѣстѣ, выходили стихи. Я записалъ многое, что она мнѣ говорила; и это странные стихи, совершенно въ духѣ Новалиса, только еще безтѣлеснѣе, еще болѣе какъ бы замирающіе въ отдаленіи. Одно изъ этихъ стихотвореній, которое она проговорила мнѣ, когда я прощался съ ней, уѣзжая въ Италію, для меня въ особенности дорого. Въ осеннюю ночь, въ саду, гдѣ была устроена иллюминація, слышенъ разговоръ между послѣдней плошкой, послѣдней розой и дикимъ лебедемъ. Но вотъ поднимаются утренніе туманы, погасла послѣдняя плошка, съ розы опадаютъ листья, а лебедь расправилъ бѣлыя крылья и улетаетъ на югъ.

Дѣло въ томъ, что въ ганноверскомъ королевствѣ много дикихъ лебедей, которые осенью отлетаютъ на теплый югъ, а лѣтомъ возвращаются къ намъ. Зиму они, по всей вѣроятности, проводятъ въ Африкѣ, потому что однажды мы нашли во внутренности убитаго лебедя стрѣлу, которую про-

фессоръ Блуменбахъ призналъ за африканскую. Бѣдная птица, даже со стрѣлою въ груди она вернулась, однако, в сѣверное гнѣздо, чтобы умереть въ немъ. Но у многих других лебедей, раненыхъ такими стрѣлами, быть-можетъ не достало силы окончить путешествіе, и они остались без сильные въ знойныхъ, песчаныхъ пустыняхъ, или сидят теперь съ ослабѣвшими крыльями на какой-нибудь египет ской пирамидѣ, бросая взоры томленія на сѣверъ, на про хладное лѣтнее гнѣздо въ ганноверскомъ королевствѣ.

Когда, въ концѣ осени 1828 г., я возвращался съ юга (и тоже со жгучей стрѣлою въ груди), дорога привела меня въ окрестности Геттингена, и я остановился, чтобъ пере мѣнить лошадей, у моей толстой пріятельницы почтмей стерши. Давно уже не видалъ я ея, и мнѣ показалось, чт добрая женщина очень перемѣнилась. Грудь ея все еще по ходила на крѣпость, но крѣпость разрушенную, бастіон были срыты, двѣ главныхъ башни обратились въ висячі развалины, входа не охранялъ уже ни одинъ часовой, цитадель, сердце, была разбита. Какъ сказалъ мнѣ по чтальонъ Пиперъ, она даже потеряла вкусъ къ романам Гофмана, и теперь выпивала на сонъ грядущій больш водки. Да это и гораздо проще; водка всегда есть дома, за романами Гофмана нужно ѣздить, за четыре часа пут въ библіотеку для чтенія Дейерлиха, въ Геттингенъ. По чтальонъ Пиперъ былъ маленькій человѣчекъ, съ такою к слою наружностью, точно онъ напился уксусу, и отъ это его всего стянуло. Когда я освѣдомился у него о сест почтмейстерши, онъ отвѣчалъ мнѣ: «мадмуазель Софья ско умретъ, и уже теперь ангелъ». Какими превосходными сво ствами должна была отличаться она, когда даже самъ ки лый Пиперъ говорилъ, что она ангелъ! И онъ говорилъ э разгоняя обутыми въ высокіе сапоги ногами кудахтавш и суетившееся во дворѣ птичье царство. Почтовый дом нѣкогда весело бѣленькій, измѣнился, какъ его хозяй онъ болѣзненно пожелтѣлъ, и стѣны покрылись глубоки морщинами. По двору были разбросаны изломанныя повоз на шестѣ подлѣ навозной кучи сушился мокрый красн плащъ почтальона. Мадмуазель Софья сидѣла у окна тала, и когда я вошелъ къ ней, у нея въ рукахъ была книга, переплетенная въ красный сафьянъ, с тыми обрѣзами, и опять это былъ «Офтердингенъ» лиса. Книгу эту она, значитъ, читала и читала, ставая и вычитала себѣ изъ нея чахотку, и п

блестящую тѣнь. Но теперь ея красота была безтѣлесная, и видъ этой красоты взволновалъ меня самымъ болѣзненнымъ образомъ. Я взялъ ея блѣдныя, худощавыя руки, и глубоко посмотрѣлъ въ ея синіе глаза, и, наконецъ, спросилъ ее: «Мадмуазель Софья, какъ вы себя чувствуете?»— «Хорошо,—отвѣчала она:—а скоро мнѣ будетъ еще лучше!» и она указала мнѣ въ окно на маленькій холмъ, недалеко отъ дома, на новомъ кладбищѣ. На этомъ обнаженномъ холмѣ возвышался единственный тополь, тощій, изсохшій; на немъ висѣло лишь нѣсколько листковъ, и оно шевелилось при осеннемъ вѣтрѣ не какъ живое дерево, а какъ призракъ дерева.

Подъ этимъ тополемъ покоится теперь мадмуазель Софья, а оставленная мнѣ ею на память книга въ красномъ сафьянѣ, съ золотымъ обрѣзомъ, «Генрихъ Офтердингенъ» Новалиса, лежитъ какъ разъ въ эту минуту на моемъ столѣ, и я воспользовался ею, чтобъ написать эту главу.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

1.

Знаете ли вы Китай, отечество крылатыхъ драконовъ и фарфоровыхъ чайниковъ? Вся страна есть кабинетъ ред-костей, окруженный безчеловѣчно длинной стѣной и ста тысячами татарскихъ стражей. Но птицы и мысли европейскихъ ученыхъ перелетаютъ черезъ все это и, насмотрѣвшись на все вдоволь и возвратившись домой, разсказываютъ намъ чудеснѣйшія вещи объ этой любопытной странѣ и любопытномъ народѣ. Природа съ ея рѣзкими, арабескообразными явленіями, гигантскими фантастическими цвѣтами, деревьями-карликами, выточенными горами, причудливо сладострастными плодами, смѣшно наряженными птицами, представляетъ тамъ собою такую же баснословную карикатуру, какъ и человѣкъ съ его остроконечной, украшенной косою, головой, съ его низкими поклонами, длинными ногтями, старчески умною натурой и дѣтски односложнымъ языкомъ. Природа и человѣкъ въ этой странѣ не могутъ смотрѣть другъ на друга безъ внутренняго смѣха. Но они не смѣются вслухъ, потому что оба слишкомъ цивилизованы и вѣжливы для этого, и чтобы подавить смѣхъ, дѣлаютъ уморительнѣйшія серьезныя гримасы. Нѣтъ тамъ ни тѣни, ни перспективы. На пестро раскрашенныхъ домахъ подымаются одна надъ другою, подобно раскрытымъ зонтикамъ, крыши, снабженныя металлическими колокольчиками, такъ что самый вѣтеръ, пролетая мимо, производитъ комическій звукъ и черезъ это становится смѣшнымъ.

Въ одномъ изъ такихъ домовъ съ колокольчиками жила нѣкогда принцесса, ножки которой были еще меньше ножекъ другихъ китаянокъ, маленькіе, косящіе глазки которой моргали еще слаще и задумчивѣе глазокъ

дамъ Небесной Имперіи, и въ маленькомъ хихикающемъ сердцѣ которой гнѣздились самыя безумныя прихоти. Такъ, напримѣръ, рвать драгоцѣнныя шелковыя и парчевыя ткани доставляло ей величайшее наслажденіе. Слыша, какъ скрипятъ и трещатъ онѣ подъ ея раздирающими пальцами, она ликовала отъ восторга. Растративъ, наконецъ, все свое состояніе на удовлетвореніе этой прихоти, разорвавъ въ куски все свое имущество, она, по совѣту всѣхъ мандариновъ, какъ неизлѣчимо безумная, была заключена въ круглую башню.

Эта китайская принцесса, олицетворенный капризъ, есть въ то же время олицетворенная муза одного нѣмецкаго поэта, о которомъ нельзя умолчать въ исторіи романтической поэзіи. Это—муза, улыбающаяся намъ такъ безумно изъ стиховъ Клеменса Брентано. Она также рветъ самыя гладкія атласныя ткани и самыя блестящія золотыя парчи, и ея милая страсть къ разрушенію, ея ликующе цвѣтущее безуміе наполняютъ нашу душу какимъ-то зловѣщимъ восторгомъ и сладострастною тоскою. Но уже пятнадцать лѣтъ, какъ Брентано живетъ вдали отъ свѣта, запершись, даже замуровавшись въ своемъ католицизмѣ. Ужъ нечего ему больше рвать дорогого. Онъ разрывалъ, говорятъ, сердца, его любившія, и каждый изъ его друзей жалуется на какое-нибудь капризное оскорбленіе. Въ особенности поработалъ его разрушительный духъ надъ нимъ самимъ и его поэтическимъ талантомъ. Я прошу обратить вниманіе преимущественно на одну изъ комедій этого поэта, «Понсъ де-Леонъ». Нѣтъ ничего разорваннѣе этого произведенія, въ отношеніи какъ мысли, такъ и языка. Но всѣ эти лоскутья живутъ и игриво кружатся въ воздухѣ. Вамъ кажется, что вы въ маскарадѣ словъ и мыслей. Все это толпится въ самомъ миломъ безпорядкѣ, и только общее всему безуміе даетъ картинѣ нѣкоторое единство. Безумнѣйшіе каламбуры носятся, какъ арлекины, по всей пьесѣ и бьютъ направо и налѣво своими гладкими палками. Изрѣдка выступаетъ серьезное слово, но скоро начинаетъ заикаться, какъ болонскій докторъ. Тутъ вылетаетъ фраза, какъ бѣлый Пьерро, съ слишкомъ широкими, спущенными рукавами и слишкомъ большими пуговицами. Тамъ прыгаютъ горбатыя остроты на коротких ножкахъ, точно Полишинель. Слова любви порхаютъ, какъ шаловливыя Коломбины, съ тоскою въ сердцѣ, и все это танцуетъ, и прыгаетъ, и кружится, и кричитъ, и надъ этимъ всѣмъ раздаются трубные звуки вакханальной жажды разрушенія.

Большая трагедія того же самаго поэта, «Основаніе Праги», также очень замѣчательна. Въ ней есть сцены, изъ которыхъ на васъ вѣетъ таинственнѣйшими ужасами древнихъ легендъ. Тутъ шумятъ мрачные богемскіе лѣса, тутъ еще проходятъ гнѣвныя славянскія божества, тутъ еще заливаются языческіе соловьи; но вершины деревьевъ уже освѣтила кроткая заря христіанства. Брентано написалъ также нѣсколько хорошихъ разсказовъ, между которыми лучшій «Исторія храбраго Касперля и прекрасной Наннерль». Когда прекрасная Наннерль была еще ребенкомъ и пошла однажды со своей бабушкой къ палачу, чтобъ купить у него, какъ это обыкновенно дѣлаетъ простой народъ въ Германіи, нѣкоторыя лѣкарства, то вдругъ что-то зашевелилось въ большомъ шкапу, предъ которымъ стояла прекрасная Наннерль, и ребенокъ закричалъ въ страхѣ: «мышь! мышь!». Но палачъ испугался еще гораздо больше и сдѣлался серьезенъ, какъ смерть, и сказалъ бабушкѣ: «Милая женщина, въ этомъ шкапу виситъ мечъ, которымъ я отрубаю головы, и онъ всякій разъ самъ собою колышется, когда подойдетъ къ нему тотъ, кто когда-нибудь будетъ обезглавленъ имъ. Мечъ мой жаждетъ крови этого ребенка. Позвольте мнѣ имъ хоть только оцарапать шейку этой дѣвочки. Мечъ насытится одною каплей этой крови и не будетъ впередъ желать того же». Но бабушка не послушалась благоразумнаго совѣта, и ей впослѣдствіи пришлось въ томъ раскаяться, ибо прекрасная Наннерль была дѣйствительно обезглавлена этимъ самымъ мечомъ.

Клеменсу Брентано теперь будетъ лѣтъ 50, и онъ живетъ во Франкфуртѣ, въ совершенномъ отшельничествѣ, какъ членъ-корреспондентъ католической пропаганды. Имя его въ послѣднее время почти позабыто, и о немъ отчасти вспоминаютъ только тогда, когда рѣчь зайдетъ о народныхъ пѣсняхъ, которыя онъ издалъ вмѣстѣ со своимъ покойнымъ другомъ, Ахимомъ фонъ-Арнимъ. Собраніе этихъ пѣсенъ издано ими подъ заглавіемъ: «Чудесный рогъ мальчика»; пѣсни частью записаны ими со словъ народа, частью заимствованы изъ летучихъ листковъ и рѣдкихъ книгъ. Не могу достаточно восхвалить эту книгу; она заключаетъ въ себѣ самые очаровательные цвѣты германскаго духа, и кто хочетъ познакомиться съ нѣмецкимъ народомъ съ пріятной стороны, тотъ пусть прочтетъ эти народныя пѣсни. Въ настоящую минуту книга лежитъ предо мной, и мнѣ чудится, что на меня вѣетъ ароматомъ нѣмецкихъ липъ. Липа именно

въ этихъ пѣсняхъ главную роль; въ ея тѣни нѣжно
тъ по вечерамъ влюбленные, это ихъ любимое де-
можетъ-быть, потому, что листъ липы имѣетъ форму
ескаго сердца. Это замѣчаніе сдѣлано было однажды
нѣмецкимъ поэтомъ, котораго я люблю больше всѣхъ,
мною самимъ. На заглавномъ листѣ этой книги изо-
ребенокъ, трубящій въ рогъ; и когда нѣмецъ на
торонѣ долго смотритъ на это изображеніе, ему слы-
орошо знакомые звуки, и въ сердце его, вѣроятно,
ывается тоска по родинѣ, какъ это было съ швей-
ъ ландскнехтомъ, который стоялъ въ караулѣ на
ргскомъ бастіонѣ, заслышалъ издали пастушескую
бросилъ свою пику, переплылъ Рейнъ, но тотчасъ
схваченъ и разстрѣлянъ, какъ дезертиръ. Въ «Чу-
рогѣ мальчика» есть трогательная пѣсенка по этому

Въ Страсбургѣ, на башнѣ крѣпостной,
Тутъ бѣда и стряслась надо мной,
Заигралъ на томъ берегу альпійскій рожокъ:
Переплыву-ка я въ родной уголокъ.
Нѣтъ, конецъ вышелъ плохой.

Ночью, какъ погасли огни,
Изловили меня они,
Ахъ, Господи, изъ рѣки поволокли,
Да къ капитанскому дому привели...
Покончены мои земные дни.

Завтра утромъ, часу въ восьмомъ,
Поставятъ меня передъ полкомъ,
Тамъ я пардона запрошу
И награду свою получу—
Мнѣ этотъ порядокъ знакомъ.

Братья вы мои и друзья,
Въ послѣдній разъ нынче вижу васъ я;
А вѣдь всему виной пастушокъ,
Все надѣлалъ альпійскій рожокъ;
На него и жалоба моя.

прекрасное стихотвореніе! Въ этихъ народныхъ
заключена особая чарующая прелесть. Поэты-ху-
хотятъ подражать такимъ произведеніямъ природы,
тому, какъ изготовляютъ искусственныя минераль-
ы. Но если съ помощью химическихъ процессовъ
ютъ входящія части, главное все-таки ускользаетъ
рикующихъ—неразлагаемая химически, симпатиче-

ская сила природы. Въ этихъ пѣсняхъ чувству
сердца нѣмецкаго народа. Здѣсь проявляются в
ное спокойствіе, весь его безумный умъ: здѣсь
рабанъ нѣмецкій гнѣвъ, здѣсь свиститъ нѣмецкая
здѣсь цѣлуетъ нѣмецкая любовь, здѣсь струят
ными каплями чисто нѣмецкое вино и чисто нѣм
Послѣднія иногда еще драгоцѣннѣе перваго, въ
желѣза и соли. Какая наивность въ вѣрности!
ность въ измѣнѣ! Какой честный малый это
Швартенгальсъ, хотя онъ и воруетъ на больших
Послушайте флегматически трогательный разска
момъ себѣ:

Пришелъ къ трактиру я. Меня
Спросили—кто я буду?
Я бѣдный Швартенгальсъ; я пью
И ѣмъ охотно всюду.

Тутъ въ горницу меня ввели,
И дали мнѣ напиться;
Забѣгали мои глаза,
Стаканъ изъ рукъ валится.

Сажаютъ за почетный столъ,
Какъ будто я купчина.
А какъ къ расплатѣ подошло—
Въ карманѣ ни алтына.

И для ночлега мнѣ у нихъ
Овинчикъ лишь нашелся.
Недешево мнѣ, бѣдному,
Мой смѣхъ тутъ обошелся.

Придя въ овинъ, себѣ гнѣздо
Устроилъ я привольно;
Но тутъ колосья, волчецы
Колоться стали больно.

Проснулся рано; вижу—снѣгъ
На крышѣ надо мною;
Тутъ посмѣялся я, бѣднякъ,
Самъ надъ своей бѣдою.

Я въ руки взялъ свой острый м
Онъ у меня вся ноша;
И въ путь пѣшкомъ пойдетъ бѣдня
Коль на ѣзду ни гроша.

Пошелъ большой дорогой я;
Богатый повстрѣчался
Со мной купецъ; его кошель
Въ моихъ рукахъ остался.

бѣдный Швартенгальсъ—самый нѣмецкій характеръ только я знаю. Какое спокойствіе, какая сонная сила господствуетъ въ этомъ стихотвореніи! Но съ нею Гретель вы должны познакомиться. Она честная и я очень ее люблю... Гансъ сказалъ Гретхенъ:

«Ну, живо, живо, Грейтленъ,
Одѣнься, и идемъ;
Весь хлѣбъ убрали въ полѣ,
Покончили съ виномъ».

Весело отвѣчаетъ:

«Ахъ Генслейнъ, милый Генслейнъ,
Мнѣ любо быть вдвоемъ
Съ тобою—въ будни въ полѣ,
А въ праздникъ за виномъ».

Онъ взялъ ее за ручку,
За бѣлую, какъ снѣгъ;
Въ трактиръ, въ концѣ деревни,
Онъ живо съ ней добѣгъ.

«Ну, милая хозяйка,
Давайте намъ вина;
Своимъ нарядным платьемъ
Заплатитъ вамъ она».

Тутъ стала плакать Гретлейнъ;
Такъ рѣчи тѣ пришлись
Не по-сердцу, что слезы
По щечкамъ полились.

«Ахъ, Генслейнъ, милый Генслейнъ,
Не такъ ты говорилъ,
Когда меня изъ дома
Родного уводилъ».

Онъ взялъ ее за ручку,
За бѣлую, какъ снѣгъ;
Недалеко былъ садикъ—
Онъ съ ней туда добѣгъ.

«Ахъ, Гретлейнъ, душка Гретлейнъ,
О чемъ твоя печаль?
Раскаянье-ль въ отвагѣ?
Своей ли чести жаль»?

«Не каюсь я въ отвагѣ,
И чести мнѣ не жаль;
Что платьице пропало—
О томъ моя печаль».

Гретхенъ Гете, и ея раскаяніе не могло бы поэмой для картины Шеффера. Тутъ нѣтъ нѣмец-

каго луннаго свѣта. Также мало сентиментальности въ той сценѣ, гдѣ молодой повѣса просится ночью къ своей любезной, а та ему отвѣчаетъ:

«Той самою дорогой,
Откуда ты пріѣхалъ,
И поѣзжай назадъ;
Тамъ есть широкій камень,
Поспи на немъ,—такъ въ перьяхъ
Не будетъ голова».

Но лунный свѣтъ, щедро обливающій всю душу, свѣтитъ въ пѣснѣ:

Будь птичкою я,
Два крылышка будь у меня,
Къ тебѣ я сейчасъ бы помчалась.
Но это не можетъ вѣдь быть—
И здѣсь я осталась.

Но въ дальней разлукѣ такой
Во снѣ я съ тобой,
Съ тобой говорю я...
И только проснувшись отъ сладкаго сна,
Я вижу, что я здѣсь одна.

Всю ночь на пролетъ
Не спитъ и зоветъ
Тебя мое бѣдное сердце,
И помнитъ, какъ часто ты мнѣ говорилъ,
Что сердце свое мнѣ навѣкъ подарилъ.

Если же вы приходите въ восторгъ и спрашиваете имя автора такихъ пѣсенъ, онѣ сами отвѣчаютъ вамъ въ послѣднемъ куплетѣ:

«Кто придумалъ милую пѣсенку эту?
Гуси принесли, летая по свѣту.
Два сѣрыхъ, и бѣлый одинъ».

Обыкновенно же пѣсни эти составлялись скитающимся людомъ, бродягами, солдатами, странствующими школьниками или подмастерьями. Особенно подмастерьями. Сколько разъ, путешествуя пѣшкомъ, я заводилъ знакомство съ людьми этого класса, и замѣчалъ, какъ они, возбужденные какимъ-нибудь необычайнымъ обстоятельствомъ, импровизировали или насвистывали на чистомъ воздухѣ какую-нибудь народную пѣсню, маленькія птички, сидѣвшія на древесныхъ вѣтвяхъ, подслушивали ее, и если по тому же мѣсту проходилъ вслѣдъ за тѣмъ съ котомкой за плечами и палкой въ рукѣ другой подмастерье, то птички щебетали ему въ уши эту пѣсню, и онъ подпѣвалъ недостающіе стихи, и пѣсня

была готова. Слова падаютъ на уста этихъ людей съ неба, и имъ остается только произносить ихъ, и въ этихъ словахъ еще больше поэзіи, чѣмъ во всѣхъ тѣхъ прекрасныхъ поэтическихъ фразахъ, которыя мы выкапываемъ изъ глубины нашего сердца. Въ такихъ народныхъ пѣсняхъ живетъ и дышитъ весь характеръ этихъ нѣмецкихъ подмастерьевъ. Это замѣчательный сортъ людей. Безъ копейки въ карманѣ, перекрещиваютъ они Германію, безобидные, веселые, свободные. Обыкновенно я встрѣчалъ ихъ странствовавшими по трое. Въ числѣ этихъ трехъ одинъ бывалъ постоянно резонеръ; онъ юмористически резонировалъ обо всемъ, что ни попадалось на глаза, о всякой птицѣ, пролетавшей по воздуху, о каждомъ всадникѣ, проѣзжавшемъ мимо, а когда они вступали въ бѣдную страну съ жалкими лачужками и нищими въ лохмотьяхъ, онъ замѣчалъ, тоже конечно, съ ироніей: «Благой Богъ создалъ міръ въ шесть дней, но, смотрите, много еще остается сдѣлать». Второй товарищъ прерываетъ перваго только изрѣдка нѣсколькими бѣшеными замѣчаніями; онъ не можетъ произнести слова безъ проклятій; онъ гнѣвно бранитъ всѣхъ хозяевъ, у которыхъ работалъ, и обыкновенный его припѣвъ — сильное раскаяніе въ томъ, что онъ не поколотилъ на память трактирщицу въ Гальберштадтѣ, которая каждый день подчивала его капустой и рѣпой. Но при словѣ Гальберштадтъ раздается глубочайшій вздохъ третьяго товарища: это самый молодой, онъ первый разъ еще выходитъ въ свѣтъ, все еще думаетъ о своей возлюбленной съ черными глазками, постоянно опускаетъ голову и никогда не произноситъ ни слова.

«Чудесный рогъ мальчика» составляетъ слишкомъ замѣчательный памятникъ нашей литературы, и книга эта оказала на лириковъ романтической школы, въ особенности на нашего превосходнаго Уланда, слишкомъ значительное вліяніе для того, чтобы о ней можно было умолчать. Она вмѣстѣ съ «Пѣсней Нибелунговъ» играла въ тотъ періодъ главную роль. А потому нужно особенно упомянуть здѣсь и о послѣднемъ произведеніи. Долго у насъ только и было рѣчи, что о «Пѣснѣ о Нибелунгахъ», и классическіе филологи немало сердились, слыша, что эту эпопею сравнивали съ Иліадой, и что даже возникаютъ споры о томъ, какое изъ [illegible]ихъ двухъ произведеній лучше. А публика въ этомъ случаѣ походила на тѣхъ дѣтей, у которыхъ серьезно спрашиваютъ: «Что ты лучше любишь — лошадку или пряники

каго луннаго свѣта. Также мало сентиментальности въ той сценѣ, гдѣ молодой повѣса просится ночью къ своей любезной, а та ему отвѣчаетъ:

«Той самою дорогой,
Откуда ты пріѣхалъ,
И поѣзжай назадъ;
Тамъ есть широкій камень,
Поспи на немъ,—такъ въ перьяхъ
Не будетъ голова».

Но лунный свѣтъ, щедро обливающій всю душу, свѣтитъ въ пѣснѣ:

Будь птичкою я,
Два крылышка будь у меня,
Къ тебѣ я сейчасъ бы помчалась.
Но это не можетъ вѣдь быть—
И здѣсь я осталась.

Но въ дальней разлукѣ такой
Во снѣ я съ тобой,
Съ тобой говорю я...
И только проснувшись отъ сладкаго сна,
Я вижу, что я здѣсь одна.

Всю ночь на пролетъ
Не спитъ и зоветъ
Тебя мое бѣдное сердце,
И помнитъ, какъ часто ты мнѣ говорилъ,
Что сердце свое мнѣ навѣкъ подарилъ.

Если же вы приходите въ восторгъ и спрашиваете имя автора такихъ пѣсенъ, онѣ сами отвѣчаютъ вамъ въ послѣднемъ куплетѣ:

«Кто придумалъ милую пѣсенку эту?
Гуси принесли, летая по свѣту.
Два сѣрыхъ, и бѣлый одинъ».

Обыкновенно же пѣсни эти составлялись скитающимся людомъ, бродягами, солдатами, странствующими школьниками или подмастерьями. Особенно подмастерьями. Сколько разъ, путешествуя пѣшкомъ, я заводилъ знакомство съ людьми этого класса, и замѣчалъ, какъ они, возбужденные какимъ-нибудь необычайнымъ обстоятельствомъ, импровизировали или насвистывали на чистомъ воздухѣ какую-нибудь народную пѣсню, маленькія птички, сидѣвшія на древесныхъ вѣтвяхъ, подслушивали ее, и если по тому же мѣсту проходилъ вслѣдъ за тѣмъ съ котомкой за плечами и палкой въ рукѣ другой подмастерье, то птички щебетали ему въ уши эту пѣсню, и онъ подпѣвалъ недостающіе стихи, и пѣсня

была готова. Слова падаютъ на уста этихъ людей съ неба, и имъ остается только произносить ихъ, и въ этихъ словахъ еще больше поэзіи, чѣмъ во всѣхъ тѣхъ прекрасныхъ поэтическихъ фразахъ, которыя мы выкапываемъ изъ глубины нашего сердца. Въ такихъ народныхъ пѣсняхъ живетъ и дышитъ весь характеръ этихъ нѣмецкихъ подмастерьевъ. Это замѣчательный сортъ людей. Безъ копейки въ карманѣ, перекрещиваютъ они Германію, безобидные, веселые, свободные. Обыкновенно я встрѣчалъ ихъ странствовавшими по трое. Въ числѣ этихъ трехъ одинъ бывалъ постоянно резонеръ; онъ юмористически резонировалъ обо всемъ, что ни попадалось на глаза, о всякой птицѣ, пролетавшей по воздуху, о каждомъ всадникѣ, проѣзжавшемъ мимо, а когда они вступали въ бѣдную страну съ жалкими лачужками и нищими въ лохмотьяхъ, онъ замѣчалъ, тоже конечно, съ ироніей: «Благой Богъ создалъ міръ въ шесть дней, но, смотрите, много еще остается сдѣлать». Второй товарищъ прерываетъ перваго только изрѣдка нѣсколькими бѣшеными замѣчаніями; онъ не можетъ произнести слова безъ проклятій; онъ гнѣвно бранитъ всѣхъ хозяевъ, у которыхъ работалъ, и обыкновенный его припѣвъ — сильное раскаяніе въ томъ, что онъ не поколотилъ на память трактирщицу въ Гальберштадтѣ, которая каждый день подчивала его капустой и рѣпой. Но при словѣ Гальберштадтъ раздается глубочайшій вздохъ третьяго товарища: это самый молодой, онъ первый разъ еще выходитъ въ свѣтъ, все еще думаетъ о своей возлюбленной съ черными глазками, постоянно опускаетъ голову и никогда не произноситъ ни слова.

«Чудесный рогъ мальчика» составляетъ слишкомъ замѣчательный памятникъ нашей литературы, и книга эта оказала на лириковъ романтической школы, въ особенности на нашего превосходнаго Уланда, слишкомъ значительное вліяніе для того, чтобы о ней можно было умолчать. Она вмѣстѣ съ «Пѣсней Нибелунговъ» играла въ тотъ періодъ главную роль. А потому нужно особенно упомянуть здѣсь и о послѣднемъ произведеніи. Долго у насъ только и было рѣчи, что о «Пѣснѣ о Нибелунгахъ», и классическіе филологи немало сердились, слыша, что эту эпопею сравнивали съ Иліадой, и что даже возникаютъ споры о томъ, какое изъ ихъ двухъ произведеній лучше. А публика въ этомъ случаѣ походила на тѣхъ дѣтей, у которыхъ серьезно спрашиваютъ: «Что ты лучше любишь — лошадку или пряники?»

Во всякомъ случаѣ, однако, «Пѣснь о Нибелунгахъ» полна могучей силы. Французу трудно составить себѣ о ней понятіе. Особенно о языкѣ, на которомъ она написана. Это языкъ каменный, и стихи точно риѳмованныя плиты. Тамъ и сямъ изъ разсѣлинъ проглядываютъ цвѣты, красные, какъ капли крови, или тянется ползучій плющъ, точно зеленыя слезы. И еще труднѣе вамъ, маленькимъ, прилизаннымъ человѣчкамъ, составить себѣ понятіе о тѣхъ исполинскихъ страстяхъ, которыя волнуются въ этой поэмѣ. Представьте себѣ, что стоитъ свѣтлая лѣтняя ночь, звѣзды, блѣдныя, какъ серебро, но большія, какъ солнце, выступили на голубомъ небѣ, и всѣ готическіе соборы Европы назначили другъ другу свиданіе въ необъятной равнинѣ; и вотъ спокойно пришли сюда страсбургскій соборъ, кельнскій соборъ, флорентинская колокольня, руанскій соборъ и т. д., и всѣ любезно ухаживаютъ за красавицей Notre Dame de Paris. Правда, ихъ поступь немного тяжеловата, нѣкоторые изъ нихъ принимаются за дѣло неловко, и смѣшно подчасъ становится отъ ихъ любовнаго ковылянья. Но этотъ смѣхъ прекратился бы, какъ только вы увидѣли бы, какъ они входятъ въ ярость, какъ душатъ другъ друга, какъ Notre Dame de Paris съ отчаяніемъ вздымаетъ каменныя руки къ небу, и вдругъ хватается за мечъ, и сноситъ голову самому громадному изъ этихъ соборовъ. Но нѣтъ, и тутъ вы все еще не можете составить себѣ понятіе о главныхъ лицахъ въ «Пѣснѣ о Нибелунгахъ»; нѣтъ башни до такой степени высокой и нѣтъ камня до такой степени твердаго, какъ жестокъ Гагенъ и мстительна Кримгильда.

Но кто сочинилъ эту поэму? Имя автора «Нибелунговъ» такъ же мало извѣстно, какъ и автора народныхъ пѣсенъ. Странная вещь! Творцы удивительнѣйшихъ книгъ, стихотвореній, зданій и другихъ памятниковъ искусства почти всегда остаются неизвѣстными. Какъ имя архитектора, придумавшаго кельнскій соборъ? Кто нарисовалъ въ алтарѣ этого собора картину, на которой столь чудесно изображены Божія Матерь и три царя? Кто написалъ книгу Іова, которая утѣшила столько поколѣній страждущихъ людей? Люди обыкновенно слишкомъ легко забываютъ имен
ихъ благодѣтелей; имена людей честныхъ и добрыхъ
дившихся для блага своихъ согражданъ, мы рѣдко на
въ устахъ народовъ, и ихъ толстая память хранитъ
имена притѣснителей, да лютыхъ героевъ войны.
человѣчества забываетъ молчаливаго садовника,

берегъ его отъ холода, поливалъ, чтобъ оно не засохло, и защищалъ отъ вредныхъ насѣкомыхъ; но оно вѣрно хранитъ имена, безжалостно вырѣзанныя на его корѣ острой сталью, и передаетъ ихъ въ постоянно возрастающемъ величіи будущимъ поколѣніямъ.

2.

Обыкновенно имя Брентано вообще соединяютъ съ именемъ Арнима, вслѣдствіе совмѣстнаго изданія ими книги: «Чудесный рогъ мальчика», и такъ какъ я говорилъ о первомъ, то не могу умолчать о второмъ, тѣмъ болѣе, что онъ заслуживаетъ нашего вниманія въ гораздо большей степени. Людвигъ Ахимъ фонъ-Арнимъ — большой поэтъ и былъ одною изъ самыхъ оригинальныхъ головъ романтической школы. Любителямъ фантастическаго его произведенія должны нравиться гораздо больше, чѣмъ всѣхъ другихъ нѣмецкихъ писателей. Въ этомъ отношеніи онъ превосходитъ какъ Гофмана, такъ и Новалиса. Онъ умѣлъ еще задушевнѣе Новалиса сживаться съ природой и могъ вызывать призраки, которые гораздо страшнѣе призраковъ Гофмана. Да, часто, смотря иногда на самаго Гофмана, мнѣ казалось, что его сочинилъ Арнимъ. Въ народѣ этотъ писатель остался совершенно неизвѣстнымъ, и его знали только въ кругу литераторовъ. Но и тѣ, сознавая безусловно его достоинства, все-таки гласно никогда не оцѣнивали его по заслугамъ. Нѣкоторые даже отзывались о немъ презрительно; и это были именно тѣ, которые подражали его манерѣ. Къ нимъ можно примѣнить слова Стефенса о Вольтерѣ, который бранилъ Шекспира, воспользовавшись, однако, его «Отелло» для своего «Орозмана»: «Эти люди похожи на воровъ, которые, обокравъ домъ, поджигаютъ его». Почему Тикъ никогда прилично не отзывался объ Арнимѣ — Тикъ, который умѣлъ всегда насказать столько умнаго по поводу всякихъ ничтожныхъ сочиненій? Гг. Шлегели равнымъ образомъ игнорировали Арнима. Лишь послѣ его смерти написалъ нѣчто въ родѣ некролога одинъ изъ членовъ школы.

Я думаю, что Арнимъ потому особенно не могъ составить себѣ большой извѣстности, что для своихъ друзей изъ католической партіи онъ оставался еще слишкомъ протестантомъ и что протестантская партія, въ свою очередь, считала его за тайнаго католика. Но почему не любила его публика, [illegible]ика, для которой его романы и новеллы находились въ [illegible]омъ кабинетѣ для чтенія? И о Гофманѣ тоже почти не

было говорено въ нашихъ литературныхъ журналахъ и эстетическихъ листкахъ; высшая критика относительно его хранила надменное молчаніе—но его, однако-жъ, всюду читали. Почему же нѣмецкая публика пренебрегала писателемъ, воображеніе котораго было столь обширно и обнимало столько вещей, душа котораго была такъ ужасающе глубока, и который обладалъ неподражаемымъ даромъ изображенія? Чего-то недоставало этому поэту, и это что-то было именно то, чего народъ ищетъ въ книгахъ: жизнь. Народъ требуетъ, чтобъ писатели переживали съ нимъ его обыденныя страсти, чтобъ они пріятно шевелили или оскорбляли его собственныя ощущенія; народъ хочетъ, чтобъ его волновали. А этой потребности Арнимъ не могъ удовлетворить. Это былъ поэтъ не жизни, а смерти. Во всемъ, что̀ писалъ онъ, господствуетъ тѣнеобразное движеніе, фигуры поспѣшно толпятся, шевелятъ губами, какъ будто бы говорятъ—но слова только видны, а не слышны. Фигуры эти бѣгаютъ, скачутъ, становятся вверхъ ногами, таинственно подходятъ къ намъ и шепчутъ намъ на ухо: «мы мертвецы». Не будь въ Арнимѣ граціи, которая разлита по всѣмъ его произведеніямъ, какъ улыбка дитяти, но дитяти-мертвеца, это зрѣлище было бы слишкомъ страшнымъ и мучительнымъ. Арнимъ умѣетъ изображать любовь, иногда даже и чувственность, но мы не въ состояніи и тутъ сочувствовать ему: мы видимъ прекрасныя тѣла, волнующіяся груди, тонко округленныя бедра, но холодный, влажный саванъ покрываетъ все это. Иногда Арнимъ бываетъ остроуменъ, такъ что заставляетъ даже смѣяться, но смѣемся мы такъ, какъ будто бы смерть щекочетъ насъ своей косой. Обыкновенно же онъ серьезенъ, и притомъ такъ, какъ мертвый нѣмецъ. Нѣмецъ и живой-то созданіе достаточно серьезное, а тутъ еще нѣмецъ мертвый! Французъ и представить себѣ не можетъ, какъ мы, нѣмцы, бываемъ серьезны послѣ смерти: лица наши тогда еще больше вытягиваются, и черви, кушающіе насъ, становятся меланхоличны, если при этомъ смотрятъ на насъ. Французы воображаютъ, что ничего не можетъ быть страшнѣе серьезности Гофмана; но она въ сравненіи съ серьезностью Арнима — дѣтская игра. Когда Гофманъ вызываетъ своихъ мертвецовъ, и тѣ выходятъ изъ могилъ и танцуютъ вокругъ него, тогда онъ самъ трепещетъ отъ ужаса, и самъ танцуетъ среди нихъ, и дѣлаетъ при этомъ самыя безумныя обезьяньи гримасы. Когда своихъ мертвецовъ вызываетъ Арнимъ, то похоже на то, что это генералъ дѣлаетъ смотръ войску, онъ

спокойно сидитъ на своемъ высокомъ конѣ-привидѣніи и заставляетъ проходить передъ собой страшные батальоны, а они только подымаютъ на него глаза и, повидимому, боятся его. Онъ же только привѣтливо киваетъ имъ головой.

Людвигъ Ахимъ фонъ-Арнимъ родился въ Бранденбургѣ въ 1784 году, и умеръ зимою 1830 года. Онъ писалъ драмы, романы и повѣсти. Драмы его полны задушевной поэзіи, въ особенности пьеса подъ заглавіемъ: «Тетеревъ». Отъ первой сцены въ ней не отказался бы и величайшій поэтъ. Съ какой правдой, съ какой вѣрностью изображена здѣсь самая подавляющая скука! Въ огромной залѣ осиротѣлаго замка сидитъ одинъ изъ трехъ побочныхъ сыновей умершаго ландграфа; онъ, зѣвая, говоритъ самъ съ собою и жалуется, что его ноги все длиннѣе и длиннѣе растутъ подъ столомъ и что утренній вѣтеръ такъ холодно свищетъ у него между зубами. Тутъ медленно тащится въ комнату его братъ, добрый Францъ, въ платьѣ покойнаго отца, которое слишкомъ широко для него; онъ съ грустью вспоминаетъ, какъ до сихъ поръ въ это же самое время онъ помогалъ отцу одѣваться, какъ тотъ часто бросалъ ему корку хлѣба, которая была ужъ слишкомъ суха для его старыхъ зубовъ, и иногда сердито давалъ ему пинка; это послѣднее воспоминаніе трогаетъ добраго Франца до слезъ, и онъ сѣтуетъ, что отецъ умеръ и ужъ больше не можетъ давать ему пинковъ.

Романы Арнима называются: «Королевскіе стражи» и «Графиня Долоресъ». Начало перваго изъ нихъ тоже великолѣпно. Дѣйствіе происходитъ въ сторожевой башнѣ Вайблингена, въ уютной комнатѣ привратника и его бодрой толстой супруги, которая, однако-жъ, не такъ толста, какъ объ этомъ говорятъ внизу, въ городѣ. На нее дѣйствительно клевещутъ, говоря, что она такъ растолстѣла въ башнѣ, что не можетъ уже сходить внизъ по узкой лѣстницѣ, а потому была принуждена, по смерти своего перваго мужа, стараго привратника, выйти за привратника новаго. Бѣдную женщину сильно огорчали эти злыя насмѣшки; она не могла сойти внизъ по лѣстницѣ единственно потому, что съ ней дѣлались головокруженія.

Второй романъ Арнима, «Графиня Долоресъ», начинается превосходной сценой: авторъ изобразилъ въ ней поэзію ости, притомъ бѣдности дворянской, которую онъ, въ емя самъ жившій чуть не въ нищетѣ, очень часто вы- темой для своихъ сочиненій. Какимъ мастеромъ

явился Арнимъ и здѣсь, въ описаніи разрушенія! У меня постоянно носится передъ глазами заброшенный замокъ молодой графини Долоресъ, который кажется тѣмъ запущеннѣе, что старый графъ началъ строить его въ веселомъ итальянскомъ вкусѣ, но не докончилъ. Этотъ замокъ теперь—новая руина; садъ совершенно запущенъ; стриженыя буковыя аллеи пришли въ дикое состояніе, деревья мѣшаютъ расти другъ другу, лавры и олеандры болѣзненно стелются по землѣ, прелестные, большіе цвѣты обвилъ сердитый бурьянъ, статуи боговъ попадали съ своихъ пьедесталовъ, и двое маленькихъ шалуновъ нищихъ сидятъ на корточкахъ подлѣ бѣдной Венеры, валяющейся въ высокой травѣ, и сѣкутъ ее по мраморной спинѣ крапивой. Когда старый графъ возвращается послѣ долгаго отсутствія въ свой замокъ, его сильно поражаетъ странное поведеніе его домашнихъ и въ особенности его жены; за столомъ происходитъ много очень странныхъ вещей, и причина этого заключается, разумѣется, въ томъ, что бѣдная женщина давно умерла съ тоски, такъ же, какъ и всѣ домашніе. Впрочемъ, графъ скоро самъ, повидимому, видитъ, что находится въ обществѣ привидѣній, и, не давая этого замѣтить, тихо удаляется въ обратный путь.

Изъ повѣстей Арнима самая лучшая, какъ мнѣ кажется, «Изабелла Египетская». Тутъ передъ нами скитальческая жизнь цыганъ, которыхъ во Франціи называютъ bohémiens, а также и égyptiens. Здѣсь живетъ и работаетъ этотъ любопытный, сказочный народъ, съ его смуглыми лицами, привѣтливыми вѣщуньими глазами и грустною тайной. Подъ причудливой, комедьянтской веселостью скрывается глубокая мистическая скорбь. По легендѣ, которая такъ мило разсказана въ этой повѣсти, цыгане осуждены скитаться извѣстное время по свѣту для того, чтобы искупить негостепріимную грубость, съ какой нѣкогда ихъ предки оттолкнули Матерь Божію, съ Ея Младенцемъ, когда она, во время своего бѣгства въ Египетъ, просила у нихъ пріюта на одну ночь. Вслѣдствіе этого христіане сочли себя въ правѣ жестоко обращаться и съ ними. Такъ какъ въ средніе вѣка еще не было никакихъ шеллинговскихъ философій, то скрашиваніе самыхъ безобразныхъ жестокихъ законовъ приходилось принимать на себя поэзіи. Ни къ кому не относились эти законы такъ варварски, какъ къ бѣднымъ цыганамъ. Въ нѣкоторыхъ странахъ дозволялось вѣшать всякаго *цыгана*, безъ суда и слѣдствія, по подозрѣнію въ воровствѣ.

Такъ былъ невинно повѣшенъ предводитель ихъ, Михель, прозванный герцогомъ египетскимъ. Повѣсть Арнима начинается съ этого печальнаго происшествія. Цыгане ночью снимаютъ съ висѣлицы своего повѣшеннаго вождя, накидываютъ ему на плечи красный княжескій плащъ, увѣнчиваютъ его серебряной короной и бросаютъ въ волны Шельды, твердо убѣжденные, что сострадательная рѣка отнесетъ его домой, въ милый Египетъ. Бѣдная цыганская принцесса Изабелла, его дочь, ничего не знаетъ объ этомъ печальномъ происшествіи, она живетъ одна въ развалившемся домикѣ на берегу Шельды, и вдругъ ночью слышится ей, что какъ-то странно зашумѣли волны, и видитъ она, что выплываетъ изъ рѣки ея блѣдный отецъ, въ пурпурномъ саванѣ, и мѣсяцъ кидаетъ болѣзненный свѣтъ на серебряную корону. Сердце бѣдной дѣвушки готово разорваться отъ невыразимой скорби; напрасно она силится удержать тѣло своего отца, оно спокойно плыветъ дальше, въ Египетъ, въ его родную страну чудесъ, гдѣ ждутъ его для погребенія, сообразно съ саномъ, въ одной изъ высокихъ пирамидъ. Трогательна печальная тризна, которою чтитъ бѣдное дитя умершаго отца; она разстилаетъ свое бѣлое покрывало на камнѣ въ полѣ, ставитъ на немъ кушанье и питье и торжественно потребляетъ ихъ. Глубоко трогательно все, что превосходный Арнимъ говоритъ о цыганахъ, состраданіе къ которымъ высказано и въ другихъ его произведеніяхъ, напримѣръ, въ послѣсловіи къ «Чудесному рогу», гдѣ онъ утверждаетъ, что мы многимъ хорошимъ и цѣлебнымъ, въ особенности же большей частью нашихъ лѣкарствъ, обязаны цыганамъ. И за все это мы платимъ имъ неблагодарностью и гоненіями. Несмотря на всю любовь ихъ къ намъ, сѣтуетъ онъ, мы все-таки не пріютили ихъ у себя, какъ на родинѣ. Въ этомъ отношеніи онъ сравниваетъ ихъ съ маленькими карликами, о которыхъ говоритъ легенда, что они доставляли для пиршествъ своихъ большихъ и сильныхъ враговъ все, чего тѣ желали, а ихъ грубо побили и выгнали изъ страны за нѣсколько горошинъ, одинъ разъ по нуждѣ сорванныхъ въ полѣ. Грустное было зрѣлище, когда эти ные маленькіе люди проходили ночью, подобно стаду ъ, черезъ мостъ, и обязаны были класть каждый по ечькой серебряной монетѣ, пока этими деньгами не наилась бочка.

еводъ новеллы «Изабелла Египетская» не только бы французамъ понятіе о сочиненіяхъ Арнима, но и по-

казалъ бы имъ, что всѣ тѣ страшные, мрачные разсказы о привидѣніяхъ, которые они съ такимъ трудомъ выжимали въ послѣднее время изъ своего мозга, въ сравненіи съ разсказами Арнима, не болѣе, какъ розовыя утреннія грезы оперной танцовщицы. Во всѣхъ французскихъ фантастическихъ разсказахъ, взятыхъ вмѣстѣ, не навалено столько зловѣщаго, сколько есть его въ той каретѣ, которую Арнимъ заставляетъ переѣзжать изъ Браке въ Брюссель и въ которой сидятъ рядомъ слѣдующія четыре особы:

1) Старая цыганка, которая въ то же время и вѣдьма. Она похожа на самый очаровательный изъ семи смертныхъ грѣховъ и сіяетъ въ пестрѣйшемъ, шитомъ золотомъ и шелкомъ, костюмѣ.

2) Мертвецъ Медвѣжья Шкура, привидѣніе, убѣжавшее изъ могилы, чтобъ заработать нѣсколько дукатовъ, и нанявшееся въ одинъ домъ на семь лѣтъ въ услуженіе. Это жирный трупъ въ плащѣ изъ шкуры бѣлаго медвѣдя, отъ которой онъ получилъ свое прозвище и въ которой онъ, однако-жъ, постоянно мерзнетъ.

3) Големъ, т. е. глиняная фигура, которая сформирована совершенно такъ, какъ красивая женщина, и держитъ себя, какъ красивая женщина. На лбу у нея, закрытомъ прядями черныхъ волосъ, начертано еврейскими буквами слово «правда», и если стереть его, то вся фигура снова становится неодушевленной и превращается въ глину.

4) Фельдмаршалъ Корнелій Непотъ, не состоящій ни въ какомъ родствѣ съ знаменитымъ историкомъ того же имени и не могущій похвалиться даже бюргерскимъ происхожденіемъ, потому что по рожденію это собственно корень, называемый мандрагорой. Корень этотъ растетъ подъ висѣлицей, тамъ, куда капнули двусмысленнѣйшія слезы повѣшеннаго. Когда прекрасная Изабелла вырвала его въ полночь изъ земли, онъ издалъ ужасный крикъ. Растеніе это было похоже на карлика, только у него не было ни глазъ, ни рта, ни ушей. Хорошенькая дѣвушка приложила ему къ лицу два черныхъ ячменныхъ зерна и цвѣтокъ розоваго шиповника, отчего явились глаза и ротъ. Затѣмъ она обсыпала голову маленькаго человѣка просомъ, и у него выросли волосы, правда, немного жесткіе. Она баюкала уродца на своихъ бѣлыхъ рукахъ, когда онъ кричалъ какъ ребенокъ; она такъ крѣпко цѣловала его своими розовыми губками, что почти искривила шиповникъ; и этимъ она такъ избаловала гаденькое существо, что онъ, наконецъ, захотѣлъ быть

фельдмаршаломъ, и одѣлся въ блестящій фельдмаршальскій мундиръ, и приказывалъ, чтобъ его непремѣнно титуловали г. фельдмаршалъ. И это былъ лордъ Веллингтонъ въ миніатюрѣ.

Не правда ли, что эти четыре особы весьма замѣчательны? Вы можете перерыть вдоль и поперекъ Morgue, кладбища, Cour des Miracles и всѣ средневѣковыя больницы для прокаженныхъ — и нигдѣ не найдете такой милой компаніи, какая ѣхала въ одной этой каретѣ изъ Браке въ Брюссель. Вы, французы, должны, наконецъ, понять, что страшное не ваша спеціальность, и что Франція — страна, непригодная для привидѣній этого рода. Когда вы заклинаніями вызываете привидѣнія, намъ становится смѣшно. Да, мы, нѣмцы, умѣющіе оставаться невозмутимо серьезными при вашихъ веселѣйшихъ остротахъ, тѣмъ сердечнѣе хохочемъ, читая ваши разсказы о привидѣніяхъ. Потому что ваши привидѣнія—все-таки французы; а французское привидѣніе! какое противорѣчіе въ этихъ словахъ! Въ словѣ «привидѣніе» столько одинокаго, брюзгливаго, нѣмецкаго, молчаливаго, а въ словѣ «французскій», напротивъ того, столько общежительнаго, любезнаго, французскаго, болтливаго! Какимъ образомъ французъ можетъ быть привидѣніемъ и какъ привидѣніе можетъ жить въ Парижѣ! Въ Парижѣ, фойе европейскаго общества! Въ промежутокъ между полночью и часомъ— время, которое издавна назначено для выхода привидѣній— парижскія улицы еще полны самой шумной жизни, именно въ это время раздается самый кипучій финалъ въ Оперѣ, самыя веселыя группы выходятъ изъ Variétés и Gymnase, и все это кишитъ, и подплясываетъ, и смѣется, и шалитъ на бульварахъ, и публика отправляется на вечера. Какъ бы пришлось жутко несчастному привидѣнію среди этой одушевленной, веселой толпы! И какъ могъ бы французъ, будь онъ даже мертвецъ, сохранить ту серьезность, которая необходима для привидѣнія, когда со всѣхъ сторонъ его тѣснитъ самая пестрая народная веселость! Я самъ нѣмецъ, но приведись мнѣ умереть и являться въ Парижѣ по ночамъ въ видѣ привидѣнія, я, конечно, потерялъ бы приличную привидѣнію серьезность, если-бъ на какомъ-нибудь
[illegible] улицы ко мнѣ подбѣжала одна изъ богинь вѣтрености,
[illegible]ыя такъ чудесно умѣютъ смѣяться вамъ въ лицо.
[illegible]-бъ въ Парижѣ дѣйствительно были привидѣнія, то я
[illegible]чъ, что они, даже какъ привидѣнія, непремѣнно со-
[illegible]и бы свои кружки, устроили бы кафе-ресторанъ мер-

твецовъ, стали бы издавать газету мертвецовъ, и скоро появились бы soirées мертвыхъ, ou l'on fera de la musique. Я увѣренъ, что привидѣнія въ Парижѣ веселились бы гораздо больше, чѣмъ веселятся у насъ въ Германіи живые. Что касается до меня, то знай я, что въ Парижѣ можно жить такимъ образомъ въ качествѣ привидѣнія, я бы совсѣмъ пересталъ бояться смерти. Я бы только принялъ мѣры, чтобъ меня похоронили на кладбищѣ отца Лашеза и чтобы я имѣлъ возможность появляться въ Парижѣ между полночью и часомъ. Какой это чудесный часъ!.. Вы, мои соотечественники, если пріѣдете какъ-нибудь въ Парижъ послѣ моей смерти и увидите меня ночью въ видѣ привидѣнія, не пугайтесь; я буду привидѣніе не на плачевно страшно нѣмецкій манеръ, я буду выходить изъ могилы скорѣе для своего собственнаго удовольствія.

Такъ какъ во всѣхъ исторіяхъ о привидѣніяхъ я вычиталъ, что привидѣнія обыкновенно должны бродить въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ зарыты деньги, то и я, для своего обезпеченія, зарою нѣсколько грошей гдѣ-нибудь на бульварѣ. До этихъ поръ я, правда, убивалъ въ Парижѣ деньги, но никогда не зарывалъ ихъ въ землю.

О, бѣдные французскіе писатели, вы должны бы, наконецъ убѣдиться, что ваши страшные романы и разсказы о привидѣніяхъ рѣшительно непригодны для страны, гдѣ или вовсе нѣтъ привидѣній, или же гдѣ эти привидѣнія могутъ веселиться въ обществѣ, какъ и всѣ мы, живые. Вы на мои глаза похожи на дѣтей, надѣвающихъ маски, чтобы пугать другъ друга. Маски эти серьезныя, страшныя, но сквозь отверстія для глазъ проглядываютъ веселые дѣтскіе взоры. Мы же, нѣмцы, наоборотъ, надѣваемъ по временамъ привѣтливыя дѣтскія маски, а изъ глазъ выглядываетъ старая смерть. Вы народъ изящный, любезный, разсудительный и живой, и вашему искусству доступно одно только прекрасное, и благородное, и человѣческое. Это вполнѣ поняли уже ваши старые писатели, и непремѣнно поймете наконецъ и вы, новѣйшіе. Откажитесь отъ призраковъ и страшныхъ вещей! Оставьте намъ, нѣмцамъ, всѣ ужасы бреда, горячечныхъ грезъ, царства духовъ! Германія — страна, въ которой лучше могутъ процвѣтать старыя вѣдьмы, мертвыя медвѣжьи шкуры, големы всякаго пола, а въ особенности фельдмаршалы, наподобіе маленькаго Корнелія Непота. Только по ту сторону Рейна могутъ благоденствовать такіе призраки, а никакъ не во Франціи. Когда я уѣзжалъ сюда,

мои привидѣнія провожали меня до французской границы. Тамъ они печально простились со мной. Ибо видъ трехцвѣтнаго знамени разгоняетъ привидѣнія всякаго рода. О, какъ бы мнѣ хотѣлось взобраться на шпицъ страсбургской колокольни и держать въ рукѣ трехцвѣтное знамя, которое бы развѣвалось до Франкфурта! Мнѣ кажется, что, разверни я это дорогое знамя надъ моимъ дорогимъ отечествомъ и произнеси при этомъ надлежащія заклинанія, старыя вѣдьмы полетѣли бы оттуда на своихъ метлахъ, холодныя медвѣжьи шкуры снова спрятались бы въ свои могилы, големы снова обратились бы въ глину, фельдмаршалъ Корнелій Непотъ воротился бы на мѣсто, откуда вышелъ, и всѣ привидѣнія исчезли бы навсегда.

3.

Исторію литературы писать такъ же трудно, какъ и естественную исторію. Тутъ, какъ и тамъ, вниманіе обращаютъ на рѣзко выдающіяся явленія. Но какъ маленькая рюмка воды содержитъ въ себѣ цѣлый міръ чудныхъ животныхъ, точно такъ же свидѣтельствующихъ о всемогуществѣ Божіемъ, какъ и самые громадные звѣри, такъ и самый маленькій Альманахъ Музъ заключаетъ въ себѣ иногда безчисленное количество поэтиковъ, которые для внимательнаго изслѣдователя столько же интересны, какъ и величайшіе литературные слоны. Богъ великъ!

Новѣйшіе историки литературы представляютъ намъ дѣйствительно исторію литературы, какъ хорошо устроенный звѣринецъ, и всегда въ отдѣльныхъ клѣткахъ показываютъ они эпическихъ млекопитающихъ поэтовъ, лирическихъ воздушныхъ поэтовъ, драматическихъ водяныхъ поэтовъ, прозаиковъ-амфибій, пишущихъ какъ морскіе, такъ и сухопутные романы, юмористическихъ моллюсковъ, и т. д. Другіе же, напротивъ, исторію литературы обрабатываютъ прагматически, начинаютъ съ первоначальныхъ чувствъ человѣчества, вырабатывавшихся затѣмъ въ различныя эпохи и принявшихъ, наконецъ, художественную форму. Они начинаютъ ab ovo, какъ тотъ историкъ, который начинаетъ троянскую войну съ разсказа о яйцѣ Леды. И точно такъ же, какъ онъ, поступаютъ глупо и они. Ибо я убѣжденъ, что если изъ яйца Леды сдѣлать яичницу, то и тогда Гекторъ и Ахиллъ все-таки встрѣтились бы и вступили въ рыцарскій бой у Скейскихъ воротъ. Великія событія и великія книги не происходятъ отъ мелкихъ причинъ, они—резул

татъ необходимости, они находятся въ связи съ круговращеніемъ солнца, мѣсяца и звѣздъ, они, быть-можетъ, происходятъ вслѣдствіе вліянія этихъ планетъ на землю. Факты суть лишь результаты идей... Но отчего же въ извѣстныя эпохи извѣстныя идеи пріобрѣтаютъ такую силу, что самымъ удивительнымъ образомъ измѣняютъ всю жизнь людей, ихъ дѣятельность, мышленіе, поэтическое творчество? Быть-можетъ, теперь время для написанія литературной астрологіи и объясненія происхожденія извѣстныхъ идей или извѣстныхъ книгъ, въ которыхъ онѣ высказываются, изъ совмѣстнаго круговращенія планетъ.

Или, можетъ-быть, появленіе извѣстныхъ идей соотвѣтствуетъ только моментальнымъ нуждамъ человѣчества? Можетъ-быть, люди постоянно отыскиваютъ тѣ идеи, которыя могли бы узаконить ихъ желанія въ каждую данную минуту? Дѣйствительно, люди, по самой коренной сущности своей натуры, всѣ—доктринеры: они всегда умѣютъ найти доктрину, которая бы оправдала ихъ желаніе или отреченіе. Въ тяжелые постные дни, когда всякое веселье почти недоступно, они исповѣдуютъ догматъ воздержанія, и утверждаютъ, что виноградъ міра сего еще слишкомъ зеленъ; съ наступленіемъ же болѣе веселаго времени, когда у людей уже является возможность пользоваться прекрасными плодами здѣшняго міра, создается доктрина свѣтлая, которая требуетъ отъ жизни всѣхъ радостей и полнаго неотъемлемаго права на наслажденіе.

Доживаемъ ли мы до кончины тяжелаго поста, и не начинается ли уже радужный вѣкъ наслажденія? Какой видъ приметъ свѣтлая доктрина будущаго?

Образъ будущихъ судебъ народа лежитъ уже въ груди его писателей, и критикъ, который острымъ скальпелемъ разсѣкъ бы одного изъ новѣйшихъ нѣмецкихъ поэтовъ, весьма легко могъ бы предсказать, какъ предсказывали нѣкогда по кишкамъ жертвеннаго животнаго, что со временемъ станется съ Германіей. Я съ величайшимъ удовольствіемъ, какъ литературный Калхасъ, заклалъ бы съ этою цѣлью критическимъ ножомъ нѣкоторыхъ изъ нашихъ новѣйшихъ поэтовъ, если-бъ не боялся увидѣть въ ихъ внутренностяхъ много такого, о чемъ мнѣ нельзя здѣсь высказаться. Дѣло въ томъ, что о нашей новѣйшей нѣмецкой литературѣ нельзя толковать, не заходя въ глубочайшую область политики. Во Франціи, гдѣ беллетристы стараются удаляться отъ политическаго современнаго движенія, даже больше, чѣмъ бы

слѣдовало, можно говорить о современныхъ умахъ, не говоря ни слова о самомъ времени. Но по ту сторону Рейна въ настоящее время беллетристы усердно кидаются въ политическое движеніе, отъ котораго они такъ долго держались въ сторонѣ. Вы, французы, вотъ ужъ пятьдесятъ лѣтъ какъ постоянно стоите на ногахъ, и теперь уже устали; намъ же, нѣмцамъ, приходилось до сихъ поръ сидѣть за рабочимъ столомъ и комментировать древнихъ классиковъ, и теперь хочется дѣлать хоть какой-нибудь моціонъ.

Причина, о которой я сказалъ выше, мѣшаетъ мнѣ говорить, какъ бы слѣдовало, объ одномъ авторѣ, котораго г-жа Сталь коснулась лишь слегка, и который съ тѣхъ поръ, благодаря умнымъ статьямъ Филарета Шаля, сдѣлался особеннымъ предметомъ вниманія французской публики. Я говорю о Жанъ Полѣ Фридрихѣ Рихтерѣ. Его назвали единственнымъ. Превосходное названіе, которое я вполнѣ понимаю только теперь, напрасно продумавши, въ какомъ бы мѣстѣ исторіи литературы слѣдовало говорить о немъ. Онъ выступилъ почти одновременно съ романтической школой, но не принималъ въ ней никакого участія, точно такъ же, какъ впослѣдствіи онъ не имѣлъ ни малѣйшаго общенія съ художественной школой Гёте. Онъ стоитъ совершенно особнякомъ въ своемъ времени, именно потому, что въ противоположность названнымъ двумъ школамъ онъ вполнѣ отдался своему времени, и сердце его было полно этимъ временемъ. Его сердце и произведенія составляли одно неразрывное цѣлое. Это свойство, эту цѣлостность мы встрѣчаемъ и у писателей нынѣшней «молодой Германіи», которые также не допускаютъ никакого различія между жизнью и сочинительствомъ, отнюдь не отдѣляютъ политики отъ науки, искусства отъ религіи, и въ одно и то же время являются художниками, трибунами и апостолами.

Да, я повторяю слово «апостолы», потому что не могу найти болѣе характеристическаго слова. Новая вѣра одушевляетъ ихъ такою страстностью, о какой писатели прежняго періода не имѣли и понятія. Эта вѣра въ прогрессъ, вѣра, вышедшая изъ знанія. Мы дѣлали измѣренія земель, изслѣдовали силы природы, высчитывали средства промышленности—и вотъ, наконецъ, нашли: что эта земля достаточно велика; что она даетъ каждому достаточно мѣста для того, чтобы построить себѣ на немъ хижину своего счастія; что она земля можетъ прилично питать всѣхъ насъ, если мы не хотимъ работать и не жить одинъ на счетъ другого; и

что намъ нѣтъ никакой надобности отсылать болѣе многочисленный и болѣе бѣдный классъ къ небу. Число этихъ знающихъ и вѣрующихъ, конечно, еще весьма невелико. Но настало время, когда народы считаютъ уже не по головамъ, а по сердцамъ. А развѣ великое сердце какого-нибудь одного Генриха Лаубе не гораздо цѣннѣе цѣлаго звѣринца Раупаховъ или комедьянтовъ?

Я назвалъ Генриха Лаубе, потому что возможно ли мнѣ говорить о молодой Германіи безъ того, чтобъ не вспомнить о великомъ, пламенномъ сердцѣ, ярче всѣхъ прочихъ сверкающемъ изъ нея? Генрихъ Лаубе, одинъ изъ писателей, выступившихъ послѣ іюльской революціи, имѣетъ для Германіи соціальное значеніе, вся величина котораго теперь еще не можетъ быть достаточно измѣрена. Онъ обладаетъ всѣми хорошими свойствами, находимыми нами у писателей прошедшаго періода, и присоединяетъ къ этому еще апостольское рвеніе молодой Германіи. При этомъ его могучая страстность умѣряется и просвѣтляется высокимъ художественнымъ чутьемъ. Онъ восторгается прекраснымъ точно такъ же, какъ добрымъ; у него чуткое ухо и острый глазъ для созерцанія благородныхъ формъ; и заурядныя натуры противны ему даже тогда, когда онѣ приносятъ пользу отечеству, какъ бойцы за благородныя идеи. Это художественное чутье, въ немъ врожденное, спасло его также отъ громаднаго заблужденія той патріотической черни, которая все еще не перестаетъ хулить и поносить нашего великаго учителя Гёте.

Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ также величайшей похвалы и другой новѣйшій писатель, Карлъ Гуцковъ. Если я упоминаю о немъ уже послѣ Лаубе, то совсѣмъ не потому, что считаю его не такимъ же даровитымъ, и еще менѣе потому, что для меня его тенденціи не такъ назидательны; нѣтъ, и за Карломъ Гуцковымъ я признаю прекраснѣйшія свойства творческой силы и здраво разсуждающаго художественнаго чутья, и его произведенія также радуютъ меня правильнымъ пониманіемъ нашего времени и его потребностей: но во всемъ, что пишетъ Лаубе, господствуютъ величавое спокойствіе, сознательное величіе, тихая увѣренность въ себѣ, нравящіяся лично мнѣ больше, живописная, яркая и остро пряная подвижность Гуцкова.

Карлъ Гуцковъ, душа котораго полна поэзіи, долженъ былъ, точно такъ же, какъ Лаубе, положительнѣйшимъ образомъ во-время отдѣлиться отъ людей, бранящихъ

великаго учителя. То же самое сдѣлали Людвигъ Винбаргъ и Густавъ Шлезіеръ, два замѣчательнѣйшихъ писателя новѣйшаго періода, о которыхъ я также не могу не упомянуть здѣсь, говоря о молодой Германіи. Дѣйствительно, эти люди достойны быть названными въ числѣ предводителей ея, и ихъ имя пользуется хорошей славой въ Германіи. Здѣсь не мѣсто подробнѣе говорить о ихъ способностяхъ и дѣйствіяхъ; только о Жанъ Полѣ хочу я сказать нѣсколько словъ.

Я сказалъ уже, что Жанъ Поль Фридрихъ Рихтеръ въ своемъ главномъ направленіи предшествовалъ молодой Германіи. Но эта послѣдняя, направленная практически, сумѣла воздержаться отъ странной запутанности, причудливаго способа изложенія и неудобоваримаго стиля Жанъ Поля. Французская голова, свѣтлая и хорошо устроенная, не въ состояніи составить себѣ понятіе объ этомъ стилѣ. Зданіе періодовъ Жанъ Поля состоитъ изъ крошечныхъ комнатокъ, иногда узкихъ до такой степени, что если въ нихъ встрѣтятся двѣ идеи, то разобьютъ одна другой голову. Наверху, на потолкѣ, вбиты только крючья, на которые Жанъ Поль навѣшиваетъ всякаго рода мысли, а въ стѣнахъ у него множество потайныхъ ящиковъ, куда онъ прячетъ свои чувства. Ни одинъ нѣмецкій писатель не богатъ такъ, какъ онъ, мыслями и чувствами; но онъ никогда не даетъ имъ созрѣть, и сокровища его ума и сердца не столько доставляютъ намъ наслажденія, сколько изумляютъ насъ. Тѣ мысли и чувства, которыя со временемъ разрослись бы въ гигантскія деревья, если бы онъ далъ имъ достаточно укорениться и развернуть всѣ свои вѣтки, цвѣты и листья, онъ вырываетъ изъ земли еще въ видѣ маленькаго кусточка, иногда и просто въ зародышѣ, и потчуетъ насъ цѣлыми лѣсами мыслей въ видѣ обыкновеннаго блюда овощей. И блюдо это—какое-то странное, неудобоваримое, потому что не всякій желудокъ въ состояніи переварить подобное количество молодыхъ дубовъ, кедровъ, пальмъ и банановъ. Жанъ Поль—великій поэтъ и философъ, но невозможно быть до такой степени не художникомъ, какъ именно онъ, въ своемъ творчествѣ и мышленіи. Въ своихъ романахъ онъ создалъ истинно поэтическіе образы; но всѣ эти созданія тянутъ за собой дурацки длинную пуповину, и путаются въ ней, и давятся ею. Вмѣсто мыслей онъ даетъ намъ собственно свое мышленіе, мы видимъ матеріальную дѣятельность его, онъ даетъ намъ, такъ сказать,

больше свой мозгъ, чѣмъ мысли. При этомъ, по всѣмъ направленіямъ прыгаютъ его остроты, блохи его разгоряченнаго ума. Это—самый веселый писатель и въ то же время самый сентиментальный. Да, сентиментальность всегда одолѣваетъ его, и смѣхъ его иногда вдругъ превращается въ слезы. Иной разъ онъ переодѣвается простымъ грубымъ нищимъ, но потомъ вдругъ, подобно принцамъ инкогнито, какихъ мы видимъ на сценѣ, распахиваетъ свой грубый балахонъ—и передъ нами блестящая звѣзда на его груди.

Въ этомъ Жанъ Поль вполнѣ походитъ на великаго ирландца, съ которымъ его часто сравнивали. И авторъ «Тристрема Шенди», впадающій иной разъ въ самыя грубыя тривіальности, умѣетъ также, внезапными величавыми переходами, напомнить намъ свое царственное достоинство, свою равноправность съ Шекспиромъ. Подобно Лоренцу, Стерну и Жанъ Поль разоблачалъ въ своихъ сочиненіяхъ свою личность, подобно ему онъ показывалъ себя въ совершеннѣйшей наготѣ, однако, съ чувствомъ нѣкоторой безпомощной робости, въ особенности въ половомъ отношеніи. Лоренцъ Стернъ является передъ публикой, совершенно раздѣтымъ, совсѣмъ нагимъ; у Жанъ Поля только дыры въ панталонахъ. Напрасно нѣкоторые критики думаютъ, что у Жанъ Поля больше истиннаго чувства, чѣмъ у Стерна, потому что этотъ послѣдній, лишь только предметъ, о которомъ онъ говоритъ, достигнетъ до трагической высоты, вдругъ впадаетъ въ самый веселый, самый смѣющійся тонъ, между тѣмъ какъ Жанъ Поль, чуть шутка начнетъ становиться мало-мальски серьезной, начинаетъ понемножку ныть и спокойно изливаетъ потоки своихъ слезъ. Нѣтъ, Стернъ чувствовалъ, можетъ-быть, еще глубже, чѣмъ Жанъ Поль, ибо онъ еще болѣе великій поэтъ. Онъ, какъ я уже сказалъ, равноправенъ съ Шекспиромъ, онъ, Лоренцъ Стернъ, тоже воспитанъ на Парнасѣ музами. Но, какъ это всегда дѣлаютъ женщины, онѣ съ раннихъ поръ испортили его, особенно своими ласками. Онъ былъ любимымъ чадомъ блѣдной богини трагедіи. Однажды, въ припадкѣ жестокой нѣжности, она съ такой силой, съ такой страстью поцѣловала его въ молодое сердце, что это сердце начало сочиться кровью, и вдругъ познало всѣ скорби міра сего, и преисполнилось безконечнымъ состраданіемъ. Бѣдное, молодое сердце поэта! Но тутъ младшая дочь Мнемозины, розовая богиня шутки, быстро подбѣжала, и схватила страждущаго ребенка на руки, и старалась развеселить его смѣхомъ и

пѣснями, и вмѣсто игрушки дала ему комическую маску и дурацкіе бубенчики, и ласково цѣловала его въ губы, и напечатлѣла ему поцѣлуями свое легкомысліе, всю свою капризную веселость, всю свою остроумную шаловливость.

И съ тѣхъ поръ сердце и губы Стерна впали въ странное разногласіе: когда сердце иной разъ волнуется совершенно трагически, и хочется ему выразить глубочайшія, истекающія кровью чувства своего сердца, тогда съ губъ его, къ его собственному удивленію, слетаютъ, смѣясь, самыя забавныя слова.

4.

Въ средніе вѣка въ народѣ господствовало повѣрье, что когда гдѣ-нибудь воздвигается зданіе, нужно заклать какое-нибудь живое существо и на его кровь положить основной камень; благодаря этому, зданіе никогда не разрушится. Было ли это старымъ языческимъ суевѣріемъ, что благосклонность боговъ пріобрѣтается кровавыми жертвами, или же ложное истолкованіе христіанскаго ученія объ искупленіи вызвало это мнѣніе о чудодѣйственной силѣ крови, о спасеніи посредствомъ крови—какъ бы то ни было, оно господствовало и въ народныхъ пѣсняхъ, и въ преданіяхъ живутъ страшные разсказы о дѣтяхъ или животныхъ, которыхъ убивали, чтобы ихъ кровью укрѣплять большія зданія. Нынѣ у человѣчества больше здраваго смысла; у насъ нѣтъ уже вѣрованія въ чудесную силу крови, кому бы ни принадлежала эта кровь; масса вѣритъ нынѣ только въ деньги. Но въ чемъ же состоитъ это нынѣшнее вѣрованіе? Въ превращеніи ли въ деньги Бога, или денегъ въ Бога? Такъ или иначе, но люди вѣрятъ теперь только въ деньги, только чеканенному металлу, серебру или золоту, приписываютъ они чудесную силу; деньги составляютъ теперь начало и конецъ всѣхъ ихъ дѣлъ, и если людямъ предстоитъ воздвигнуть какое-нибудь зданіе, они очень хлопочутъ, чтобъ подъ основной камень было положено нѣсколько монетъ, ящичекъ съ разными деньгами.

Да, какъ въ средніе вѣка все—и отдѣльныя постройки, и цѣлыя государственныя и церковныя сооруженія имѣли своимъ фундаментомъ вѣру въ кровь, такъ въ основаніи всѣхъ нашихъ теперешнихъ учрежденій лежитъ вѣра въ золото, въ дѣйствительное золото. Первая была суевѣріемъ, но вторая—чистый эгоизмъ. Первую разрушилъ разумъ, которую разрушитъ чувство. Основа человѣческаго общества

со временемъ улучшится, и всѣ великія сердца Европы мучительно стараются открыть эту новую, лучшую основу.

Быть-можетъ, именно недовольство нынѣшнею вѣрою въ деньги, отвращеніе къ эгоизму, который нахально выступалъ всюду, и заставило нѣкоторыхъ нѣмецкихъ поэтовъ романтической школы, полныхъ честныхъ намѣреній, бѣжать въ прошедшее изъ настоящаго и содѣйствовать возстановленію среднихъ вѣковъ. Это можетъ особенно относиться къ тѣмъ изъ нихъ, которые не составили собственно отдѣльной партіи. Къ этой послѣдней принадлежали писатели, о которыхъ я говорилъ во второй книгѣ, сказавъ прежде въ первой вообще о романтической школѣ. Прежде всего и подробно я говорилъ объ этихъ членахъ партіи, дѣйствовавшихъ сообща, лишь въ силу историко-литературнаго значенія ихъ, а не по причинѣ ихъ внутренняго достоинства. Поэтому пусть не поймутъ меня неправильно, видя, что о Захаріи Вернерѣ, баронѣ Ламоттъ-Фуке и Людвигѣ Уландѣ я говорю послѣ и короче. Эти три писателя, напротивъ того, заслуживаютъ по своимъ достоинствамъ, чтобъ о нихъ говорить гораздо подробнѣе и съ бо́льшею похвалой, чѣмъ о тѣхъ, которыми я занимался до сихъ поръ. Ибо Захарій Вернеръ былъ единственнымъ драматическимъ писателемъ школы, пьесы котораго давались на театрѣ и встрѣчали сочувствіе публики. Баронъ де-Ламоттъ-Фуке былъ единственнымъ эпическимъ поэтомъ школы, романы котораго интересовали всю публику. А Людвигъ Уландъ—единственный лирикъ школы, пѣсни котораго проникли въ сердца массы и живутъ еще до сихъ поръ въ устахъ людей.

Въ этомъ отношеніи эти три поэта выше Людвига Тика, о которомъ я отзывался, какъ объ одномъ изъ лучшихъ писателей школы. Тикъ, хотя театръ былъ его конькомъ, онъ съ дѣтства и до сихъ поръ занимается актерскимъ міромъ комедіи и его мельчайшими деталями, долженъ былъ однако, отказаться отъ возможности волновать людей с сценическихъ подмостковъ такъ, какъ это удавалось Захаріи Вернеру. Тику всегда нужна была публика друзей, передъ которою онъ самъ декламировалъ бы свои пьесы и на аплодисменты которой могъ несомнѣнно разсчитывать. тѣмъ какъ де-Ламоттъ-Фуке читали съ одинаковы вольствіемъ и герцогиня, и прачка, и онъ блистал солнце библіотекъ для чтенія, Тикъ былъ только л семейномъ столѣ, за которымъ гости, освѣщенные *свѣтомъ* его поэзіи, слушали его новеллы, бе

пивая свой чай. Сила этой поэзіи возрастала по мѣрѣ того, какъ увеличивался контрастъ съ нею слабости чая, и въ Берлинѣ, гдѣ пьютъ самый жидкій чай, Тикъ долженъ былъ прослыть за одного изъ самыхъ сильныхъ поэтовъ. Между тѣмъ какъ пѣсни нашего превосходнаго Уланда звучали въ лѣсахъ и въ долинахъ, и ихъ до сихъ поръ еще ревутъ дикіе студенты и лепечутъ нѣжныя дѣвушки, ни одна пѣсня Тика не осталась въ нашихъ ушахъ, и масса не знаетъ ни одной пѣсни этого великаго лирика.

Захарій Вернеръ родился въ Кенигсбергѣ, въ Пруссіи, 18-го ноября 1768 г. Личныхъ связей у него съ Шлегелями никогда не было; ихъ связывала только симпатія. Вдали отъ нихъ онъ понялъ, чего они хотѣли, и всѣми силами старался писать въ ихъ духѣ. Но въ вопросѣ о возстановленіи среднихъ вѣковъ его воодушевленіе было одностороннее, оно могло вызываться только іерархически-католическою стороною ихъ; сторона феодальная не производила на его духъ такого сильнаго дѣйствія. Его соотечественникъ А. Гофманъ, въ «Серапіоновыхъ Братьяхъ», далъ намъ весьма замѣчательное объясненіе на этотъ счетъ. Онъ разсказываетъ, что мать Вернера была помѣшана и во время беременности вообразила себѣ, что она Божья Матерь и готовится родить Спасителя. И вотъ духъ Вернера, во всю его жизнь, носилъ на себѣ неизгладимый отпечатокъ этого религіознаго безумія. Страшнѣйшій религіозный бредъ находимъ мы во всѣхъ его сочиненіяхъ. Одно только изъ нихъ, «Двадцать четвертое февраля», отъ него изъято и принадлежитъ къ драгоцѣннѣйшимъ произведеніямъ нашей драматической литературы. Оно больше всѣхъ прочихъ драмъ Вернера приводило зрителей въ самый сильный восторгъ. Другія его пьесы нравились массѣ меньше, потому что, при всей своей драматической силѣ, поэтъ почти совсѣмъ не былъ знакомъ съ театральными условіями.

Біографъ Гофмана, г. уголовный совѣтникъ Гитцигъ, описалъ также и жизнь Вернера. Это добросовѣстный трудъ, столь же интересный для психолога, какъ и для историка литературы. Какъ мнѣ недавно разсказывали, Вернеръ провелъ нѣсколько времени и здѣсь, въ Парижѣ, гдѣ перипатетики-философы женскаго пола, пробѣгавшія тогда въ блестящемъ туалетѣ по галлереямъ Пале-Рояля, особенно нравились ему. Онѣ безпрерывно бѣгали за нимъ, и дразнили и подсмѣивались надъ его комическимъ нарядомъ и еще комическими манерами. То было доброе старое время!

Ахъ, какъ измѣнился Пале-Рояль, такъ впослѣдствіи сильно измѣнился и Захарій Вернеръ; послѣдняя лампа веселости угасла въ сердцѣ опечаленнаго человѣка, въ Вѣнѣ онъ вступилъ въ орденъ лигоріянцевъ, и тамъ, въ церкви св. Стефана, сталъ проповѣдовать о ничтожествѣ всего земного. Онъ нашелъ, что на землѣ все суетно. Поясъ Венеры, утверждалъ онъ теперь, отвратительная змѣя, а величавая Юнона носитъ подъ бѣлой туникой почтальонскіе, не совсѣмъ чистые пантолоны изъ желтой кожи. Отецъ Захарія теперь бичевалъ себя, и постился, и горячо ратовалъ противъ нашей закоренѣлой страсти къ свѣтскимъ удовольствіямъ. «Да будетъ проклята плоть!» кричалъ онъ такъ громко и съ такимъ рѣзкимъ восточно-прусскимъ акцентомъ, что статуи въ соборѣ св. Стефана дрожали, а вѣнскія гризетки очаровательно улыбались. Кромѣ этой важной новости, онъ постоянно разсказывалъ людямъ, что онъ великій грѣшникъ.

Если взглянуть на небо поближе, то оказывается, что этотъ человѣкъ всегда оставался послѣдователенъ, только сначала онъ воспѣвалъ то, что впослѣдствіи дѣлалъ. Герои большей части его драмъ любовники, уже монашески отрекшіеся отъ міра, сладострастные аскеты, нашедшіе въ воздержаніи утонченное блаженство, одухотворяющіе свою потребность наслажденія истязаніемъ плоти, отыскивающіе въ глубокихъ тайникахъ религіознаго мистицизма самыя страшныя упоенія...

Незадолго до смерти, Вернеръ почувствовалъ въ себѣ еще разъ радостную потребность драматическаго творчества и написалъ еще одну трагедію, подъ заглавіемъ: «Мать Маккавеевъ». Здѣсь, однако, дѣло шло не о томъ, чтобъ прикрывать романтическими шутками свѣтскую серьёзность жизни. Сообразно религіозному сюжету, избралъ онъ и церковно протяжный тонъ, ритмы торжественно размѣрены, какъ колокольный звонъ, они двигаются медленно, какъ процессія въ страстную пятницу, это палестинская легенда въ формѣ греческой трагедіи. Жителямъ земли она не особенно понравилась; пришлась ли она больше по вкусу на томъ свѣтѣ, этого я не знаю. Но отецъ Захарія умеръ скоро послѣ этого, въ началѣ 1823 года, проскитавшись болѣе пятидесяти четырехъ лѣтъ на нашей грѣшной землѣ.

Оставимъ его, мертвеца, въ покоѣ и обратимся къ второму поэту романтическаго тріумвирата. Это—превосходный баронъ де-Ламоттъ-Фуке, родившійся въ брандебургскомъ маркѣ въ 1777 г., и сдѣланный профессоромъ галлескаго универ

ситета въ 1833 году. Прежде онъ былъ маіоромъ въ королевско-прусской военной службѣ и принадлежитъ къ тѣмъ героямъ пѣснопѣнія или пѣвцамъ героевъ, лира и мечъ которыхъ особенно громко звучали въ такъ-называемую войну за свободу. Лавры его неподдѣльные. Онъ настоящій поэтъ, и святость поэзіи лежитъ на его головѣ. Немного поэтовъ пользовалось такой всеобщей любовью, какая выпала въ былое время на долю нашего милаго Фуке. Теперь его читаетъ только публика, посѣщающая кабинеты для чтенія, но эта публика достаточно велика, и Фуке можетъ гордиться, что онъ единственный писатель романтической школы, произведенія котораго нравятся и низшему классу. Въ то время какъ въ Берлинѣ, въ эстетическихъ чайныхъ кружкахъ, съ пренебреженіемъ отзывались о рыцарѣ, упавшемъ такъ низко, я въ одномъ маленькомъ городѣ Гарца встрѣтилъ молодую дѣвушку, чудной красоты, которая говорила о Фуке съ очаровательнымъ энтузіазмомъ и призналась, краснѣя, что она охотно отдала бы цѣлый годъ жизни за возможность хоть одинъ разъ поцѣловать автора «Ундины»... А у этой дѣвушки были такія прелестныя губки, какихъ я еще никогда не видывалъ.

Но что за очаровательное произведеніе—«Ундина»! Эта поэма сама—поцѣлуй; геній поэзіи поцѣловалъ заснувшую весну, и она съ улыбкой раскрыла глаза, и всѣ розы заблагоухали, и всѣ соловьи запѣли, и все, чѣмъ благоухали розы, все, что пѣли соловьи, нашъ превосходный Фуке облекъ въ слово и назвалъ «Ундиной».

Я не знаю, переведена ли эта новелла на французскій языкъ. Это исторія прелестной водяной феи, у которой не было души и которая получила ее только потому, что влюбилась въ рыцаря. Но—увы!—вмѣстѣ съ этой душой она получила и наши человѣческія скорби; ея рыцарь-мужъ измѣнилъ ей, и она зацѣловала его до смерти. Ибо смерть въ этой книгѣ есть тоже только поцѣлуй.

На эту Ундину можно смотрѣть, какъ на музу поэзіи Фуке. Хотя она безконечно прекрасна, хотя она страдаетъ, какъ и мы, и достаточно сгибается подъ бременемъ земныхъ мукъ, но она все-таки не собственно земное созданіе. А наше время отталкиваетъ отъ себя эти воздушные и водяные образы, даже самые прекрасные, оно требуетъ образовъ изъ дѣйствительной жизни, и наименѣе нужны ему русалки, являющіяся въ благородныхъ рыцарей. Такъ оно здѣсь и было. Ретроградное направленіе, безпрерывныя восхвале-

нія благороднаго сословія, постоянное возвеличиваніе стараго феодализма, вѣчная возня съ рыцарствомъ—все это, наконецъ, опротивѣло бюргерски образованнымъ людямъ въ нѣмецкой публикѣ, и они всѣ отвернулись отъ отсталаго поэта. Дѣйствительно, это безпрерывное воспѣваніе ратныхъ сбруй, коней, владѣтельницъ замковъ, почтенныхъ цеховыхъ старшинъ, карликовъ, оруженосцевъ, замковыхъ капеллъ, любви и вѣры, всевозможной средневѣковой ветоши, наконецъ, надоѣло намъ; и когда остроумный гидальго, Фридрихъ Ламоттъ-Фуке, началъ погружаться все глубже и глубже въ свои рыцарскія книги и среди грёзъ о прошломъ потерялъ пониманіе настоящаго, тогда даже лучшіе друзья его принуждены были съ жалостью отвернуться отъ него.

Сочиненія, написанныя имъ въ это послѣднее время, никуда не годятся. Недостатки его первыхъ произведеній здѣсь доведены до послѣдней крайности. Его рыцарскія фигуры состоятъ исключительно изъ желѣза и чувства; у нихъ нѣтъ ни тѣла, ни разума. Женщины его—только образы, или, скорѣе, куклы, золотистые волосы которыхъ мило ниспадаютъ на граціозныя розовыя лица. Подобно романамъ Вальтеръ-Скотта, рыцарскіе романы Фуке напоминаютъ вышитые ковры, которые мы называемъ гобленами и которые обиліемъ фигуръ и великолѣпіемъ красокъ тѣшатъ больше глаза, чѣмъ душу. Тутъ турниры, игры пастуховъ, дуэли, старые костюмы, все это, расположенное красиво, прихотливо, безъ глубокой мысли, въ поверхностной пестротѣ. У подражателей Фуке, точно такъ же, какъ и у подражателей В.-Скотта, эта манера описывать только наружность и костюмъ людей и вещей, вмѣсто ихъ внутренней натуры, выработаны еще болѣе плачевнымъ образомъ. Этотъ легкій и плоскій жанръ распложается нынѣ въ Германіи, точно такъ же, какъ во Франціи и Англіи. Хотя сочиненія этого рода не восхваляютъ болѣе временъ рыцарства, а касаются и предметовъ современныхъ, но это все та же прежняя манера—въ явленіяхъ жизни схватывать только случайное, вмѣсто самой сущности. Вмѣсто знанія людей наши современные романисты обнаруживаютъ знакомство только съ платьемъ, и, можетъ-быть, они держатся пословицы: платье краситъ человѣка. Не такъ было у старыхъ романистовъ, въ особенности у англійскихъ. Ричардсонъ даетъ намъ анатомію ощущеній. Гольдсмитъ прагматически трактуетъ движенія сердца своихъ героевъ. Авторъ «Тристрема Шенди» раскрываетъ передъ нами самую сокровенную глубь души, даетъ намъ заглянуть въ ея про-

пасти, въ ся рай и грязные уголки, и затѣмъ тотчасъ же опускаетъ занавѣсъ. Мы взглянули спереди на эту странную сцену, освѣщеніе и перспектива произвели свой эффектъ, и мы, думая, что увидѣли безконечное, познали чувство безграничное, поэтическое. Что касается до Фильдинга, то онъ насъ тотчасъ же ведетъ за кулисы, показываетъ намъ фальшивыя румяна на всѣхъ чувствахъ, самыя неуклюже сколоченныя пружины деликатнѣйшихъ поступковъ, бенгальскій огонь, который на самой сценѣ вспыхиваетъ передъ нами въ видѣ энтузіазма, палочку, которая лежитъ покамѣстъ спокойно подлѣ большого барабана, а позднѣе будетъ выбивать по немъ сильнѣйшій громъ страсти; однимъ словомъ, онъ показываетъ намъ весь этотъ внутренній механизмъ, громадную ложь, благодаря которой люди кажутся намъ не тѣмъ, что они есть, и которая лишаетъ насъ всей отрадной реальности жизни. Но къ чему брать въ примѣръ англичанъ, когда нашъ Гёте, въ своемъ «Вильгельмѣ Мейстерѣ», представилъ самый лучшій образецъ романа?

Число романовъ Фуке — легіонъ; это одинъ изъ самыхъ плодовитыхъ писателей. «Заколдованное Кольцо» и «Тіодольфъ Исландецъ» въ особенности заслуживаютъ почетнаго отзыва. Его драмы въ стихахъ, не назначенныя для сцены, содержатъ въ себѣ большія красоты. Въ особенности «Сигурдъ, истребитель драконовъ», есть произведеніе смѣлое, въ которомъ героическія саги древней Скандинавіи отражаются со всѣмъ своимъ міромъ гигантовъ и чародѣевъ. Главное лицо драмы, Сигурдъ—фигура колоссальная. Онъ крѣпокъ, какъ норвежская скала, и буренъ, какъ шумящее вокругъ нея море. Онъ храбръ, какъ сто львовъ, и уменъ, какъ два осла.

Фуке писалъ также пѣсни. Онѣ само изящество. Онѣ такъ легки, такъ ярки, такъ весело порхаютъ; это—милыя лирическія колибри.

Но истинный поэтъ пѣсенъ—Людвигъ Уландъ, родившійся въ Тюбингенѣ, въ 1787 году, и теперь живущій въ Штутгартѣ въ званіи адвоката. Этотъ сочинитель написалъ томъ стиховъ, двѣ трагедіи, разсужденіе о Вальтерѣ фонъ-деръ-Фогельвейде и другое—о французскихъ трубадурахъ. Это
ольшихъ историческихъ изслѣдованія, свидѣтельствую-
примѣрномъ изученіи среднихъ вѣковъ. Трагедіи
тся: «Людвигъ Баварскій» и «Эрнестъ Швабскій».
я не читалъ, и мнѣ о ней говорили, какъ не о
ей. Вторая же содержитъ первостепенныя красоты
дитъ отрадное впечатлѣніе благородствомъ чувствъ

и достоинствомъ мыслей. Въ ней чувствуется сладостное вѣяніе поэзіи, чего никогда не найдешь въ пьесахъ, вызывающихъ въ настоящее время столько аплодисментовъ на нашей сценѣ. Нѣмецкая вѣрность—тема этой драмы; и эта вѣрность является здѣсь сильною, какъ дубъ, и презирающею всѣ бури; нѣмецкая любовь расцвѣтаетъ едва замѣтная вдали, но ея запахъ фіалки тѣмъ трогательнѣе проникаетъ въ наше сердце. Въ этой драмѣ, или вѣрнѣе, въ этой пѣснѣ, есть мѣста, которыя принадлежатъ къ драгоцѣннѣйшимъ перламъ нашей литературы. Но театральная публика встрѣтила эту драму равнодушно, или, скорѣе, отстранила ее. Я не стану слишкомъ бранить за это добрыхъ людей партера. У этихъ людей есть опредѣленныя потребности, и они требуютъ ихъ удовлетворенія отъ поэта. Произведенія писателя должны соотвѣтствовать не столько симпатіямъ его собственнаго сердца, сколько желаніямъ публики. Эта послѣдняя совершенно похожа на того голоднаго бедуина, который, найдя въ пустынѣ мѣшокъ, подумалъ, что онъ съ горохомъ, развязалъ его быстро—и увы!—въ мѣшкѣ оказался одинъ только жемчугъ. Публика съ наслажденіемъ пожираетъ сухой горохъ г. Раупаха и бобы госпожи Бирхъ-Пфейферъ; перлы Уланда для нея неудобоваримы.

Такъ какъ весьма вѣроятно, что французы не знаютъ, кто такіе госпожа Бирхъ-Пфейферъ и г. Раупахъ, то я долженъ объяснить, что эта божественная чета, стоящая рядомъ, какъ Діана и Аполлонъ, наиболѣе чтимая въ храмахъ нашего драматическаго искусства. Да, г. Раупахъ столько же заслуживаетъ сравненія съ Аполлономъ, сколько г-жа Бирхъ-Пфейферъ съ Діаной. Что касается до ихъ дѣйствительнаго положенія въ жизни, то послѣдняя—придворная актриса въ императорскомъ вѣнскомъ театрѣ, а первый занимаетъ въ Берлинѣ должность театральнаго поэта его величества короля прусскаго. Дама написала уже множество драмъ, въ которыхъ сама играетъ. Здѣсь я не могу удержаться, чтобъ не указать на одно явленіе, которое французамъ покажется почти невѣроятнымъ: большое число нашихъ актеровъ въ то же время драматурги и сами пишутъ для себя пьесы. Говорятъ, что причиной этого несчастья—одно нес
мѣчаніе Тика. Въ одной изъ своихъ критиче
онъ высказалъ замѣчаніе, что актеры всегда
играть въ плохой пьесѣ, чѣмъ въ хорошей.
этой аксіомѣ, комедьянты толпами хватают
шутъ въ огромномъ количествѣ драмы и

разъ намъ было трудно рѣшить — нарочно ли комедьянтъ написалъ плохую пьесу, чтобъ имѣть возможность играть въ ней хорошо, или нарочно игралъ плохо въ пьесѣ своего сочиненія, чтобъ подумали, что она хороша. Актеръ и поэтъ, которые до сихъ поръ находились между собой въ нѣкотораго рода коллегіальныхъ отношеніяхъ (почти такъ, какъ палачъ и преступникъ), теперь вступили въ открытую войну. Актеры стремятся совершенно изгнать поэтовъ изъ театра, подъ предлогомъ, что тѣ ничего не смыслятъ въ требованіяхъ сцены, ничего не понимаютъ въ драматическихъ эффектахъ и coups de théatre, и что только одни актеры, изучившіе эти вещи на практикѣ, знаютъ, какое нужно дѣлать изъ нихъ употребленіе въ пьесѣ. Вслѣдствіе этого, комедьянты, или, какъ они особенно любятъ себя называть, артисты, предпочитаютъ играть въ своихъ собственныхъ пьесахъ, написанныхъ однимъ изъ ихъ братіи, артистомъ. Дѣйствительно, эти пьесы вполнѣ соотвѣтствуютъ всѣмъ ихъ потребностямъ; они находятъ въ нихъ свои любимые костюмы, свою поэзію изъ трико тѣльнаго цвѣта, свои уходы со сцены съ аплодисментами, свои традиціонныя гримасы, свои мишурныя фразы, все свое аффектированное цыганство искусства: языкъ, которымъ говорятъ только на театральныхъ подмосткахъ, цвѣты, которые распускаются только на этой почвѣ обмана, плоды, которые зрѣютъ только при свѣтѣ рампы, природу, въ которой вѣетъ дыханіе не божества, а суфлера, ярость, которая потрясаетъ только кулисы, нѣжную меланхолію съ щекочущимъ аккомпаниментомъ флейтъ, нарумяненную невинность съ соблазнами порока, чувства, получающія мѣсячное жалованье, трубные туши, и проч., и проч.

Такимъ образомъ, актеры въ Германіи эманципировались отъ поэтовъ и тоже отъ самой поэзіи. Одной лишь посредственности они дозволяли еще выступать въ ихъ области. Но при этомъ строго наблюдаютъ, чтобъ ни одинъ истинный поэтъ не пробрался къ нимъ подъ плащомъ посредственности. Сколько испытаній пришлось вынести г. Раупаху, прежде чѣмъ удалось ему стать твердою ногою на театрѣ! Даже и теперь еще они тщательно наблюдаютъ за нимъ, и ему иной разъ случится написать пьесу не совсѣмъ ю, то, дабы не подвергнуться остракизму комедьянонъ долженъ сейчасъ же скропать дюжину самыхъ ыхъ вещей. Слово «дюжина» васъ, можетъ-быть, уди-

) Но тутъ нѣтъ ни малѣйшаго преувеличенія съ моей л. Этотъ человѣкъ, дѣйствительно, ежегодно можетъ

писать по дюжинѣ драмъ, и мы дивимся такой плодовит
«Но,—какъ говоритъ Янтженъ амстердамскій, знамен
фокусникъ, когда мы удивляемся его фокусамъ:—тутъ
колдовства, тутъ только быстрота».

Что г. Раупаху удалось выдвинуться на нѣмецкой с
на то была еще особенная причина. Этотъ писатель, ро
нѣмецъ, долго жилъ въ Россіи, тамъ довершилъ свое
зованіе, и въ поэты посвятила его московская муза.
муза, укутанная въ соболь красавица, съ мило вздернут
носомъ, поднесла нашему поэту цѣлую чашу водки вд
венія, повѣсила ему черезъ плечо колчанъ съ киргиз
стрѣлами остроумія и дала ему въ руки трагическую п
Когда онъ въ первый разъ хлестнулъ по нашимъ серд
этой плетью, какъ сильно были мы потрясены! Стран
всего этого явленія должна была немало изумить
Господинъ этотъ, конечно, не понравился намъ въ об
ванной Германіи; но его сарматская необузданность, неу
жее проворство, какая-то ворчливая грубость во всѣхъ
ствіяхъ, смутили публику. Зрѣлище, во всякомъ случаѣ,
оригинальное, когда г. Раупахъ, на своемъ славянскомъ
гасѣ, маленькой казачьей лошадкѣ, мчался по степямъ п
и, по истинно башкирскому обычаю, подъ сѣдломъ заг
валъ свои драматическіе сюжеты. Это было встрѣчено
бреніемъ въ Берлинѣ, гдѣ, какъ вы знаете, все русское
нимается радушно; г. Раупаху удалось стать тамъ тве
ногою, онъ сумѣлъ поладить съ актерами, и съ нѣкото
времени, какъ уже сказано выше, Раупахъ-Аполлонъ, вм
съ Діаною-Бирхъ-Пфейферъ, обоготворяются въ храмѣ
матическаго искусства. За каждый актъ, имъ написан
онъ получаетъ тридцать талеровъ, а пишетъ онъ пьес
иначе, какъ въ шесть актовъ, при чемъ первому д
названіе «пролога». Всевозможные сюжеты онъ уже з
дилъ подъ сѣдломъ своего Пегаса. Ни одинъ герой не
печенъ отъ такой трагической участи. Даже Зигфр
истребитель драконовъ, попалъ къ нему подъ сѣдло.
нѣмецкой исторіи въ отчаяніи. Подобно Ніобеѣ, она съ б
ною скорбью смотритъ на благородныхъ дѣтей, котор
такъ страшно обработалъ Раупахъ-Аполлонъ. О, Юпит
Онъ дерзнулъ наложить руку даже на Гогенштауфен
нашихъ старыхъ и любимыхъ швабскихъ император
Мало было того, что ихъ умертвилъ исторически г.
дрихъ Раумеръ—теперь еще г. Раупахъ стряпаетъ изъ
блюда для театра. Деревянныя фигуры Раумера онъ о

каетъ своею кожаною поэзіею, своею русскою юхтью, и зрѣлище подобныхъ карикатуръ и ихъ скверный запахъ, въ концѣ концовъ, отравляютъ намъ воспоминаніе о прекраснѣйшихъ и благороднѣйшихъ императорахъ нѣмецкаго отечества. И полиція не останавливаетъ такихъ преступленій? А можетъ-быть, она и сама имъ способствуетъ? Новыя, старающіяся получить господство, династіи не любятъ, чтобы въ народѣ сохранялось воспоминаніе о старыхъ императорскихъ родахъ, мѣсто которыхъ онѣ такъ желали бы занять. Не Иммерману, не Граббе, даже не Юхтрицу берлинская театральная дирекція поручила обработать Барбароссу, а г. Раупаху. Но строго запрещается г. Раупаху класть къ себѣ подъ сѣдло одного изъ Гогенцоллерновъ; приди ему когда-нибудь охота сдѣлать это, Геликонъ тотчасъ бы замѣнили для него городскою тюрьмою.

Сцѣпленіе идей, вызываемое контрастомъ, виною тому, что я вдругъ вспомнилъ о Раупахѣ и госпожѣ Бирхъ-Пфейферъ, когда хотѣлъ говорить объ Уландѣ. Впрочемъ, хотя эта божественная парочка—и наша театральная Діана еще меньше, чѣмъ нашъ театральный Аполлонъ, и не принадлежитъ къ истинной литературѣ, однако я все-таки долженъ былъ сказать о ней нѣсколько словъ, потому что она у насъ теперь представительница сценическаго міра. Во всякомъ случаѣ, я провинился бы передъ нашими истинными поэтами, если бы не упомянулъ нѣсколькими словами въ этой книгѣ, какого сорта люди, захватившіе въ свои руки господство надъ нашею сценою.

5.

Въ настоящую минуту я нахожусь въ странномъ затрудненіи. Не говорить о собраніи стихотвореній Людвига Уланда я не могу, а между тѣмъ, теперь я въ настроеніи духа, отнюдь не благопріятномъ для такого дѣла. Молчаніе здѣсь можетъ показаться трусостью, если даже не вѣроломствомъ, а честная, прямая откровенность очень легко можетъ быть перетолкована, какъ недостатокъ любви къ ближнему. Дѣйствительно, близкіе приверженцы музы Уланда [х]ранители его славы едва ли будутъ удовлетворены тѣмъ [эн]тузіазмомъ, который я имѣю теперь въ своемъ распоря[же]ніи. Но я прошу васъ взять надлежащимъ образомъ во [вни]маніе время и мѣсто, когда и гдѣ я пишу эти строки. [Не]ъ двадцать назадъ, когда я былъ юношей, съ какимъ [не]зданнымъ одушевленіемъ я прославилъ бы превосход-

наго Уланда! Въ ту пору я, быть-можетъ, лучше чувствовалъ его превосходство, чѣмъ теперь; тогда онъ былъ мнѣ ближе по уму и чувству. Но съ тѣхъ поръ сколько событій совершилось! Что мнѣ казалось столь великолѣпнымъ, этотъ рыцарственный и католическій міръ, эти рыцари, колящіе и рубящіе другъ друга на благородныхъ турнирахъ, эти кроткіе оруженосцы и добродѣтельныя женщины, эти сѣверные герои и миннезингеры, эти монахи и монахини, эти отцовскія могилы съ ихъ таинственными ужасами, эти отреченія отъ міра при звонѣ колоколовъ, это вѣчное меланхолическое хныканье—какъ все это съ тѣхъ поръ сдѣлали для меня противнымъ и горькимъ! Да, прежде не такъ было. Сколько разъ, бывало, сидѣлъ я на развалинахъ стараго дюссельдорфскаго замка на Рейнѣ и декламировалъ прелестнѣйшую изъ всѣхъ пѣсенъ Уланда:

Проходилъ пастухъ—красавецъ
Мимо замка королевны;
Дѣва съ башни увидала,
И забилось сильно сердце.

Слышитъ онъ призывъ любовный:
«О, къ тебѣ бы мнѣ спуститься!
Какъ твои овечки бѣлы,
Какъ цвѣты твои румяны!»

И пастухъ ей отвѣчаетъ:
«О, спустись ко мнѣ скорѣе!
Какъ твои румяны щечки,
Какъ твои ручонки бѣлы!»

Утро каждое печально
Проходилъ онъ мимо замка,
И смотрѣлъ, пока на башнѣ
Не являлась дорогая.

И тогда кричалъ онъ нѣжно:
«Будь здорова, королевна!»
И звучалъ отвѣтъ любовный:
«Будь здоровъ, пастухъ мой милый!»

Вотъ весна зиму смѣнила,
Зацвѣли цвѣточки всюду.
Вновь стоитъ пастухъ у замка
Но она не появилась.

Онъ зоветъ съ глубокой скорбью:
«Будь здорова, королевна».
Голосъ духа отвѣчаетъ:
«Мой пастухъ, прости навѣки!»

Когда я сидѣлъ на развалинахъ стараго за
мировалъ эту пѣсню мнѣ тоже слышалось п

какъ русалки Рейна, который протекалъ тутъ же, пародировали мои слова, съ комическимъ пафосомъ жалобно вздыхали:

Голосъ духа отвѣчаетъ:
«Мой пастухъ, прости навѣки!»

Но меня не смущали такія проказы русалокъ даже тогда, когда онѣ иронически хихикали, слушая лучшія мѣста въ стихахъ Уланда. Это хихиканье я скромно относилъ въ то время къ себѣ, въ особенности подъ вечеръ, когда наступала темнота, и я декламировалъ, нѣсколько повысивъ голосъ, чтобъ преодолѣть тотъ таинственный страхъ, который внушали мнѣ старинныя развалины замка. Ходила именно молва, что въ этихъ мѣстахъ по ночамъ ходила женщина безъ головы. Иногда мнѣ казалось, что я слышу подлѣ себя шелестъ ея длиннаго шелковаго платья, и у меня билось сердце... Вотъ мѣсто и время, гдѣ и когда я приходилъ въ восторгъ отъ «Стихотвореній Людвига Уланда».

Ту же самую книгу держу я и теперь въ рукахъ, но двадцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, а въ это время я много увидѣлъ и услышалъ, очень много, я уже не вѣрю въ людей безъ головы, и прежнія привидѣнія не имѣютъ уже вліянія на мою душу. Домъ, въ которомъ я въ настоящую минуту сижу и читаю, стоитъ на Монмартрскомъ бульварѣ, а здѣсь разбиваются и пѣнятся самыя бурныя современныя волны, здѣсь раздаются самые громкіе голоса новаго времени; смѣхъ, брань, грохотъ барабановъ; мимо меня скорымъ шагомъ проходитъ національная гвардія, и всѣ говорятъ по-французски. Мѣсто ли здѣсь читать Уланда? Три раза продекламировалъ я себѣ конецъ вышеприведеннаго стихотворенія, но не почувствовалъ болѣе той невыразимой меланхоліи, которая прежде овладѣвала мной, когда королевна умираетъ, а красавецъ пастухъ такъ жалобно взываетъ къ ней: «Здравствуй, королевна!»

Голосъ духа отвѣчаетъ:
«Мой пастухъ, прости навѣки!»

Быть можетъ также, что къ этого рода стихамъ я
[illegible]ладѣлъ съ тѣхъ поръ, какъ испыталъ, что есть любовь
[illegible]раздо мучительнѣе той, которая никогда не обладала сво-
[illegible] возлюбленнымъ предметомъ, или потеряла его вслѣдъ
[illegible] смерти. Да, гораздо мучительнѣе, когда этотъ возлю-
[illegible]ный предметъ покоится день и ночь на нашихъ ру-
[illegible]но день и ночь мучитъ насъ своимъ постояннымъ

противорѣчіемъ и безсмысленными капризами, такъ что, наконецъ, мы выбрасываемъ изъ своего сердца то, что это сердце больше всего любило, и сами сажаемъ проклятую возлюбленную женщину въ почтовую карету, и отсылаемъ ее:

«Добрый путь, прощай, принцесса!»

Да, мучительнѣе утраты вслѣдствіе смерти та, которую совершаетъ жизнь, когда, напримѣръ, наша возлюбленная, по безумному легкомыслію, отворачивается отъ насъ, когда она непремѣнно хочетъ ѣхать на такой балъ, куда ни одинъ порядочный человѣкъ не рѣшится сопровождать ее, и когда поэтому она, причудливо разодѣтая и въ кокетливой прическѣ, беретъ подъ руку перваго попавшагося бездѣльника и оборачивается къ вамъ спиной:

«Мой пастухъ, прости навѣки!»

Быть-можетъ, и съ самимъ Уландомъ случилось то же, что и съ нами. И его настроеніе съ тѣхъ поръ, вѣроятно, измѣнилось. За немногими исключеніями, онъ уже двадцать лѣтъ не пишетъ стиховъ. Я не думаю, чтобъ эта прекрасная поэтическая душа была столь скудно одарена отъ природы, что могла имѣть только одну весну. Нѣтъ, я объясняю себѣ молчаніе Уланда тѣмъ противорѣчіемъ, которое возникло между склонностями его музы и требованіями его политическаго положенія. Элегическій поэтъ, умѣвшій воспѣвать феодально-католическое прошедшее въ такихъ прекрасныхъ романсахъ и балладахъ, средневѣкой Оссіанъ, сдѣлался затѣмъ въ собраніи виртембергскихъ государственныхъ чиновъ ревностнымъ представителемъ правъ народныхъ, смѣлымъ борцомъ за гражданское равенство и свободу духа. Подлинность и доброкачественность этого демократическаго и протестантскаго образа мыслей Уландъ доказалъ личными большими жертвами, какія принесъ онъ; если нѣкогда онъ пріобрѣлъ себѣ лавровый вѣнокъ поэзіи, то теперь стяжалъ дубовый вѣнокъ гражданской добродѣтели. Но именно потому, что онъ такъ честно относится къ новому времени, не могъ онъ болѣе пѣть съ прежнимъ энтузіазмомъ старую пѣсню о прошломъ времени; а какъ Пегасъ его былъ рыцарскій конь, который охотно гарцовалъ въ прошломъ, но не трогался съ мѣста, лишь только приходилось въѣзжать въ современную жизнь, то нашъ славный Уландъ съ улыбкой сошелъ съ него, спокойно велѣлъ разсѣдлать и отвести въ конюшню своего упрямаго коня. Тамъ остается онъ и до сихъ поръ и, подобно сво-

ему коллегѣ, коню Баяра, имѣетъ всевозможныя достоинства и только одинъ недостатокъ: онъ мертвъ.

Глаза, болѣе проницательные, чѣмъ мои, замѣтили, что этотъ статный ратный конь, со своею пестрою гербовою попоною, убранствомъ и гордо развѣвающимися перьями, никогда не былъ подъ-стать своему простому всаднику, который, вмѣсто ботфортъ съ золотыми шпорами, носилъ башмаки и шелковые чулки, а на головѣ, вмѣсто шлема, шапочку тюбингенскаго доктора правъ. Эти люди увѣряютъ, будто бы они открыли, что Уландъ никогда не могъ вполнѣ слиться со своей темой, что наивные, ужасающе энергическіе звуки среднихъ вѣковъ онъ не передаетъ съ идеализирующей правдой, но скорѣе распускаетъ ихъ въ болѣзненно-сентиментальную меланхолію, что онъ, такъ-сказать, варитъ всмятку въ своей душѣ мощные звуки героическаго преданія и народной пѣсни, чтобъ сдѣлать ихъ болѣе пріятными для вкуса современной публики. И дѣйствительно, если взглянуть поближе на женщинъ Уланда, то это не больше, какъ прекрасныя тѣни, какъ облеченный въ плоть свѣтъ луны, съ молокомъ въ жилахъ, а въ глазахъ съ сладкими слезами, т. е. съ слезами безъ соли. Если сравнить рыцарей Уланда съ рыцарями старинныхъ пѣсенъ, то кажется, что они всѣ состоятъ изъ однѣхъ только жестяныхъ латъ, наполненныхъ цвѣтами, вмѣсто костей и мяса. Рыцари Уланда пахнутъ поэтому для нѣжныхъ носовъ пріятнѣе, чѣмъ старинные богатыри, которые носили толстые желѣзные штаны, ѣли много и еще больше пили.

Но все это не порицаніе. Уландъ никогда и не думалъ показывать намъ прошедшее Германіи въ вѣрной копіи, онъ, быть-можетъ, хотѣлъ только позабавить насъ его воссозданіемъ и далъ ему мило отразиться на подернутой сумерками поверхности своего духа. Это, можетъ-быть, придаетъ даже особенную прелесть его произведеніямъ и пріобрѣло ему любовь многихъ кроткихъ и добрыхъ людей. Картины прошедшаго сохраняютъ свои волшебныя чары даже тогда, когда вызываніе ихъ лишено всякой силы и энергіи. Даже люди, ставшіе на сторонѣ новаго времени, всегда хранятъ тайную симпатію къ преданіямъ прежнихъ дней; удивительно трогаютъ насъ эти голоса духовъ даже въ самомъ слабомъ отголоскѣ. И весьма понятно, что баллады и романсы нашего превосходнаго Уланда встрѣчаютъ радушнѣйшій пріемъ не только у патріотовъ 1813 года,

набожныхъ юношей и мечтательныхъ дѣвушекъ, но и у многихъ, болѣе крѣпкихъ и настроенныхъ въ новомъ духѣ, натуръ.

Къ слову «патріоты» я прибавилъ 1813 г., дабы отличить ихъ отъ нынѣшнихъ друзей отечества, которые уже не питаются воспоминаніями о такъ-называемой войнѣ за свободу. Этимъ старымъ патріотамъ поэзія Уланда должна была доставлять величайшее наслажденіе, потому что большая часть его стихотвореній совершенно проникнута духомъ ихъ времени, времени, когда эти люди сами еще были переполнены молодыми чувствами и гордыми надеждами. Эту любовь къ поэзіи Уланда они передали и своимъ послѣдователямъ, и покупка экземпляра Уландовскихъ стиховъ считалась дѣломъ патріотизма для молодыхъ членовъ гимнастическихъ обществъ. Они находили тамъ пѣсни, лучше которыхъ не написали бы даже ни Максъ Шенкендорфъ, ни Эрнстъ Морисъ Арндтъ. И, дѣйствительно, какого внука славнаго Арминія и бѣлокурой Туснельды не удовлетворитъ стихотвореніе Уланда:

«Впередъ! постоянно впередъ! У Россіи вырвалось гордое слово: Впередъ!

«Пруссія услышала гордое слово, услышала его съ удовольствіемъ и громко повторила: Впередъ!

«Вставай, могущественная Австрія! Впередъ! Дѣлай, какъ другіе! Впередъ!

«Вставай, старая Саксонія! Постоянно впередъ, рука въ руку! Впередъ!

«Баварія, Гессенъ, подражайте имъ! Швабія, Франконія, идите на Рейнъ! Впередъ!

«Впередъ, Голландія, Нидерланды! Подымите высоко мечъ свободной рукой! Впередъ!

«Привѣтъ вамъ, швейцарскій союзъ! Эльзасъ, Лотарингія, Бургундія! Впередъ!

«Впередъ, Испанія, Англія! Протяните руки вашимъ братьямъ! Впередъ!

«Впередъ! постоянно и постоянно! Добрый вѣтеръ, близкій портъ! Впередъ!

«Впередъ!—имя одного фельдмаршала. Впередъ, всѣ храбрые бойцы! Впередъ!»

Повторяю, люди 1813 года въ стихахъ Уланда находятъ превосходно сохранившимся духъ ихъ времени, и духъ только политическій, но и нравственный и эстетиче Уландъ—представитель цѣлаго періода, и предст въ настоящее время единственный, ибо другіе пр тели забыты, и на самомъ дѣлѣ всѣ они резюмиру *одномъ* этомъ писателѣ. Тонъ. господствующій въ

балладахъ и романсахъ Уланда, былъ тономъ всѣхъ современныхъ ему романтиковъ, и иные изъ нихъ написали кое-что если не лучше, то по крайней мѣрѣ такъ же хорошо. Здѣсь было бы у мѣста съ похвалою упомянуть и о нѣкоторыхъ другихъ писателяхъ романтической школы, которые, какъ замѣчено выше, по сюжету своихъ стихотвореній и тону, представляютъ полнѣйшее сходство съ Уландомъ, не уступаютъ ему и въ поэтическомъ достоинствѣ и отличаются отъ него развѣ только меньшею увѣренностью въ формѣ. Дѣйствительно, какой превосходный поэтъ баронъ Эйхендорфъ! Стихи, которые онъ вставилъ въ свой романъ «Предчувствіе и Настоящее», ничѣмъ не уступаютъ стихамъ Уланда, даже самымъ лучшимъ. Различіе состоитъ, быть-можетъ, только въ болѣе зеленой, лѣсной свѣжести и болѣе хрустально прозрачной правдивости стиховъ Эйхендорфа. Юстинъ Кернеръ, поэтъ почти неизвѣстный, заслуживаетъ здѣсь также почетнаго упоминовенія; и онъ писалъ самыя энергическія пѣсни въ томъ же духѣ и томъ же тонѣ: онъ землякъ Уланда. То же нужно сказать и о Густавѣ Швабѣ, поэтѣ болѣе извѣстномъ, который также расцвѣлъ на швабской почвѣ и до сихъ поръ ежегодно утѣшаетъ насъ своими прекрасными и благоухающими пѣснями. Особенный даръ у него къ балладѣ, и въ этой формѣ онъ превосходно воспѣлъ мѣстныя легенды. Вильгельмъ Мюллеръ, котораго смерть похитила у насъ въ пору его самой цвѣтущей молодости, также долженъ быть упомянутъ здѣсь. Въ подражаніи нѣмецкой народной пѣснѣ онъ совершенно сходится съ Уландомъ, мнѣ даже кажется, что въ этой области онъ иной разъ счастливѣе его и превосходитъ его естественностью. Онъ глубже проникнулся духомъ старинныхъ формъ пѣсни, и ему не нужно было поэтому подражать имъ съ внѣшней стороны; у него мы встрѣчаемъ поэтому больше свободы въ переходахъ и полное отсутствіе устарѣвшихъ оборотовъ и выраженій. Долженъ я напомнить здѣсь также о покойномъ Ветцелѣ, который теперь совсѣмъ забытъ; и у него также есть сродство съ нашимъ дорогимъ Уландомъ, а въ нѣкоторыхъ своихъ пѣсняхъ, читанныхъ мною, онъ превосходитъ его мягкостью и задушевностью. Эти пѣсни, полуцвѣты, полубабочки, похоронены со своимъ ароматомъ и порханіемъ въ одномъ изъ первыхъ томовъ «Уранiи» Брокгауза. Что Клеменсъ Брентано большинство своихъ пѣсень написалъ въ томъ же тонѣ и въ томъ же духѣ, какъ Уландъ,

это понятно само собою; они оба черпали изъ одного и того же источника, изъ народной пѣсни, и оба подносили намъ одинъ и тотъ же напитокъ; только кубокъ, форма у Уланда законченнѣе, изящнѣе. Объ Адальбертѣ Шамиссо мнѣ собственно не слѣдуетъ здѣсь говорить. Хотя онъ и былъ современникомъ романтической школы, принимавшимъ участіе въ ея движеніяхъ, но сердце этого человѣка въ послѣднее время такъ удивительно поюнѣло, что онъ перешелъ въ совершенно новый тонъ, и заставилъ цѣнить себя, какъ одного изъ самыхъ оригинальныхъ и значительнѣйшихъ поэтовъ нашего времени, и принадлежитъ гораздо больше молодой, чѣмъ старой Германіи. Но въ пѣсняхъ его перваго періода вѣетъ то же самое дыханіе, какое мы слышимъ и въ стихахъ Уланда: тотъ же звукъ, тѣ же краски, тотъ же ароматъ, та же меланхолія, тѣ же слезы. И слезы Шамиссо, быть-можетъ, еще трогательнѣе, потому что, подобно роднику, бьющему изъ скалы, истекаютъ изъ болѣе сильнаго сердца.

Стихи, написанные Уландомъ въ южныхъ формахъ, точно такъ же близко родственны сонетамъ, ассонансамъ и ottaverime его собратій романтической школы, и ихъ никакъ нельзя отличить отъ тѣхъ, ни по формѣ, ни по содержанію. Но, какъ я уже сказалъ, большая часть современниковъ Уланда, вмѣстѣ съ ихъ стихами, теперь забыты; стихи эти можно еще съ трудомъ найти только въ старыхъ, забытыхъ сборникахъ, каковы: «Лѣсъ Поэтовъ», «Странствованіе Пѣвцовъ», въ нѣкоторыхъ «Дамскихъ Альманахахъ» и «Альманахахъ Музъ», изданныхъ Тикомъ и Фуке, въ старинныхъ журналахъ, особенно въ «Утѣшительномъ Уединеніи» Ахима Арнима и въ «Волшебномъ Жезлѣ», редактировавшемся Генрихомъ Штраубе и Рудольфомъ Христіани, въ тогдашнихъ газетахъ, и Богъ знаетъ еще гдѣ!

Уландъ не былъ отцомъ школы, подобно Шиллеру, или Гёте, или кому-нибудь другому, изъ индивидуальности которыхъ исходилъ особенный тонъ, нашедшій опредѣлительный отголосокъ въ поэтическихъ произведеніяхъ ихъ современниковъ. Уландъ не отецъ, а скорѣе самъ сынъ школы, передавшей ему свой тонъ, который тоже не принадлежитъ исключительно этой школѣ, но который она съ трудомъ выкопала изъ произведеній старыхъ поэтовъ. Но въ возмездіе за этотъ недостатокъ оригинальности, Уландъ по своеобразной повизнѣ представляетъ много достоинствъ, которыя такъ же прекрасны, какъ рѣдки. Онъ составляетъ

гордость счастливой Швабіи, и всѣмъ, принадлежащимъ къ нѣмецкому нарѣчію, мила эта благородная поэтическая душа. Въ немъ резюмируется бо̀льшая часть его лирическихъ товарищей по романтической школѣ, которыхъ въ настоящее время публика любитъ и чтитъ въ этомъ одномъ человѣкѣ. И мы, можетъ-быть, тѣмъ сильнѣе любимъ и чтимъ его, что теперь намѣрены навсегда разстаться съ нимъ.

Ахъ, не изъ вѣтренности, но покоряясь закону необходимости, приходитъ въ настоящее время Германія въ движеніе... Набожная, миролюбивая Германія!.. Она бросаетъ грустный взглядъ на прошедшее, оставляемое ею позади себя, еще разъ съ глубокимъ чувствомъ склоняется головою къ старому времени, съ такою смертною блѣдностью смотрящему на насъ изъ стиховъ Уланда, и съ поцѣлуемъ разстается съ нимъ. Еще одинъ поцѣлуй, пожалуй, даже и слеза... Но не будемъ долѣе оставаться въ бездѣйственной чувствительности.

«Впередъ и постоянно впередъ! Франція крикнула гордое слово. впередъ!»

6.

«Когда, по истеченіи многихъ лѣтъ, императоръ Оттонъ III посѣтилъ гробницу, въ которой похоронены кости Карла, онъ вошелъ въ склепъ съ двумя епископами и графомъ Ломелемъ (разсказавшимъ обо всемъ этомъ). Трупъ не лежалъ, какъ всѣ мертвецы, но сидѣлъ прямо, какъ живой человѣкъ, на стулѣ. На головѣ была золотая корона, скиптръ держалъ онъ въ рукахъ, одѣтыхъ въ перчатки, но ногти прорвали кожу перчатокъ и выросли оттуда. Гробница была весьма прочно задѣлана мраморомъ и известью. Чтобы войти въ нее, надо было проломить отверстіе; а войдя, посѣтители услышали сильный запахъ. Всѣ тотчасъ же стали на колѣни и воздали мертвому почтеніе. Императоръ Оттонъ надѣлъ на него бѣлую одежду, остригъ его ногти и велѣлъ исправить всѣ поврежденія. Изъ членовъ ни одинъ не сгнилъ; только въ носѣ не доставало нѣсколько кусочковъ; Оттонъ приказалъ сдѣлать ихъ изъ золота. Наконецъ, онъ вынулъ изо рта Карла одинъ зубъ, велѣлъ снова задѣлать склепъ и вышелъ оттуда. — Говорятъ, что въ слѣдующую затѣмъ ночь ему явился во снѣ Карлъ и возвѣстилъ, что Оттонъ не доживетъ до старости и не оставитъ послѣ себя наслѣдниковъ».

Такое извѣстіе встрѣчаемъ мы въ «Нѣмецкихъ Легендахъ». Но это не единственный примѣръ въ такомъ родѣ. Вашъ король Францискъ точно такъ же открылъ гробъ знаменитаго Роланда, чтобы убѣдиться, дѣйствительно ли этотъ герой былъ такого исполинскаго роста, какъ увѣряли поэты. Это случилось незадолго до сраженія при Павіи. Себастіанъ португальскій, отправляясь въ Африку, также велѣлъ открыть гробницы своихъ предковъ и смотрѣлъ на мертвыхъ королей.

Странное и мучительное любопытство, часто побуждающее людей заглядывать въ могилы прошедшаго! Это случается въ необыкновенные періоды, послѣ окончанія какой-нибудь эпохи или незадолго до катастрофы. Въ наше новое время мы пережили подобное явленіе: великій властитель — французскій народъ, вдругъ почувствовалъ желаніе открыть могилу прошедшаго и при свѣтѣ дня взглянуть на давно истлѣвшее, исчезнувшее время. Тутъ не было недостатка въ ученыхъ могильщикахъ, которые тотчасъ же явились съ лопатами и ломами и стали вскапывать старый прахъ и ломать гробницы. Распространился сильный запахъ, который, какъ готическій haut-gout, весьма пріятно защекоталъ въ носахъ, пресыщенныхъ розовымъ масломъ. Французскіе писатели почтительно склонили колѣни предъ открытыми средними вѣками. Одинъ надѣлъ на нихъ новое платье, другой остригъ имъ ногти, третій приставилъ новый носъ; наконецъ, пришло даже нѣсколько поэтовъ, вырвавшихъ у среднихъ вѣковъ зубы—все, какъ императоръ Оттонъ.

Явился ли во снѣ этимъ вырывателямъ зубовъ духъ среднихъ вѣковъ и предсказалъ ли онъ скорую кончину ихъ романтическому господству—этого я не знаю. Вообще я упоминаю объ этомъ явленіи французской литературы только для того, чтобы положительно объявить, что если въ этой книгѣ я отчасти рѣзко отозвался о подобномъ же явленіи въ Германіи, то не имѣю въ виду ни прямо, ни косвенно нападать на романтизмъ французскій. Писатели, которые въ Германіи вынули изъ могилы средніе вѣка, имѣли совсѣмъ иныя цѣли, какъ видно изъ настоящихъ страницъ, и вліяніе, которое они могли оказать на массу, грозило опасностью свободѣ и счастью моего отечес[illegible] писателей французскихъ были только артистическ[illegible] ресы, и французская публика стремилась къ удовле[illegible] только своего, внезапно пробудившагося, любо[illegible] Большая часть французовъ заглядывала въ гробн[illegible] шедшаго только для того, чтобы отыскать себѣ

костюмъ для карнавала. Мода на готическое была во Франціи именно только модой, и служила она только для того, чтобы возвысить наслажденіе настоящимъ. Тутъ отпускаютъ себѣ длинные волосы по средневѣковому, но при самомъ бѣгломъ замѣчаніи парикмахера, что эта прическа не къ лицу, остригаютъ волосы покороче вмѣстѣ съ принадлежавшими къ нимъ средневѣковыми идеями. Ахъ, въ Германіи не то! Можетъ-быть, не то именно потому, что средніе вѣка тамъ не совсѣмъ умерли и сгнили, какъ у васъ. Нѣмецкіе средніе вѣка не лежатъ сгнившими въ гробѣ, ихъ, напротивъ, иногда оживляетъ злой духъ, и они при яркомъ свѣтѣ дня приходятъ къ намъ и высасываютъ изъ нашей груди красную жизнь...

Ахъ, развѣ вы не видите, какъ Германія печальна и блѣдна? Особенно нѣмецкая молодежь, которая еще недавно ликовала съ такимъ одушевленіемъ. Развѣ вы не видите, сколько крови на губахъ уполномоченнаго вампира, который имѣетъ своею резиденціею Франкфуртъ, и тамъ такъ страшно медленно и скучно сосетъ сердце нѣмецкаго народа?

То, что̀ я сказалъ о среднихъ вѣкахъ вообще, совершенно особенно примѣняется къ средневѣковой религіи. Честность обязываетъ меня самымъ опредѣлительнымъ образомъ отличить ту партію, которую во Франціи называютъ католическою, отъ тѣхъ жалкихъ господъ, которые называютъ себя католиками въ Германіи. Только объ этихъ послѣднихъ говорилъ я на этихъ страницахъ, и притомъ въ выраженіяхъ, которыя все еще мнѣ кажутся черезчуръ мягкими. Это враги моего отечества, пресмыкающаяся сволочь, лицемѣры, лгуны и неисправимые трусы. Они шипятъ въ Берлинѣ, шипятъ въ Мюнхенѣ, и, гуляя по Монмартрскому бульвару, вы вдругъ чувствуете, что васъ ужалили въ пятку. Это партія лжи, это лакеи деспотизма и возстановители всей ничтожности, всѣхъ ужасовъ и нелѣпостей прошедшаго. Какъ неизмѣримо выше ихъ та партія, которую здѣсь называютъ католическою и предводители которой принадлежатъ къ даровитѣйшимъ писателямъ Франціи! Если они и не наши соратники, то все же мы сражаемся за одни и тѣ же интересы, именно за интересы человѣчества. Въ любви къ человѣчеству мы единодушны; мы ичаемся только въ воззрѣніяхъ на то, что̀ нужно для . Они думаютъ, что человѣчество нуждается только въ вномъ утѣшеніи; мы, напротивъ того, полагаемъ, что нужно скорѣе матеріальное счастіе. Если эта католи-

ческая партія во Франціи, сама не понимая своего истинаго значенія, объявляетъ себя партіей прошедшаго, возстановителями его вѣрованій, то мы должны защищать ее противъ самой себя. Осьмнадцатое столѣтіе такъ окончательно раздавило католицизмъ во Франціи, что отъ него не осталось почти ни одного живого слѣда, и тотъ, кто хочетъ возстановить католицизмъ во Франціи, какъ бы проповѣдуетъ совершенно новую религію. Подъ Франціею я понимаю Парижъ, а не провинціи; потому что до того, что̀ думаетъ провинція, такъ же мало дѣла, какъ до того, что̀ думаютъ наши ноги; средоточіе нашихъ мыслей находится в головѣ. Мнѣ говорили, что французскіе провинціалы—хорошіе католики; я не могу ни утверждать, ни отрицать это люди, которыхъ я видѣлъ въ провинціи, всѣ были похожи на верстовые столбы, на лбу которыхъ было обозначено ихъ бо̀льшее или меньшее разстояніе отъ столицы. Тамошнія женщины ищутъ утѣшенія въ католицизмѣ, можетъ быть потому, что не могутъ жить въ Парижѣ. Въ самомъ Парижѣ католицизмъ не существуетъ со времени революціи, да и до того уже онъ потерялъ всякое дѣйствительное значеніе. Лежалъ онъ, точно паукъ, въ темномъ углу мрачнаго готическаго собора, подкарауливалъ и поспѣшно выпрыгивалъ каждый разъ, какъ представлялась возможность схватить дитя въ колыбели или старика въ гробу. Только въ два момента жизни, при появленіи на свѣтъ и при уходѣ изъ него, французъ попадаетъ во власть католическаго священника; все остальное время онъ живетъ умомъ и скептически смѣется надъ многимъ... Но развѣ это можно назвать господствомъ католицизма? Именно по тому, что онъ совершенно исчезъ во Франціи, нѣкоторые, даже безкорыстные люди могли, при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X, перейти на его сторону, привлеченные интересомъ новизны. Католицизмъ былъ въ то время чѣмъ-то такой степени неслыханнымъ, свѣжимъ, поразительнымъ! Религія, господствовавшая во Франціи незадолго до того, была классическая миѳологія, и французскіе писатели, поэты и художники съ такимъ успѣхомъ проповѣдовали ее французскому народу, что въ концѣ прошедшаго столѣтія и мысли, и дѣйствія французовъ были костюмированы совершенно по-языčески. Во время революціи классическая религія процвѣтала въ своемъ блистательнѣйшемъ ве лѣпіи; это не было александрійское обезьянничанье, п *былъ* естественнымъ продолженіемъ Аѳинъ и Р

время имперіи этотъ античный духъ снова исчезъ, греческіе боги господствовали только на сценѣ, а римская доблесть существовала только на поляхъ сраженія; возникла новая вѣра, и она резюмировалась въ великомъ имени: Наполеонъ! Эта вѣра царитъ до сихъ поръ въ массѣ. Кто поэтому говоритъ, что французскій народъ нерелигіозенъ, тотъ неправъ. Скорѣе надо сказать: нерелигіозность французовъ состоитъ въ томъ, что они теперь вѣруютъ уже не въ безсмертныхъ боговъ, а въ одного человѣка. Должно сказать: нерелигіозность французовъ состоитъ въ томъ, что они уже не вѣруютъ въ Юпитера, въ Діану, въ Минерву, въ Венеру. Впрочемъ, послѣднее подвержено сомнѣнію; сколько мнѣ извѣстно, относительно грацій француженки все еще остаются правовѣрными.

Надѣюсь, что эти замѣчанія не будутъ ложно поняты; они именно и сдѣланы для того, чтобы предохранить читателя этой книги отъ досаднаго заблужденія.

ДОБАВЛЕНІЕ.

Я былъ бы въ отчаяніи, если бы бѣглыя замѣчанія, вырвавшіяся у меня (кн. II, гл. 3) по поводу великаго эклектика, были перетолкованы совсѣмъ въ другую сторону. Право, оть меня далека мысль умалить значеніе Виктора Кузена. Заслуги этого знаменитаго философа обязываютъ меня даже восхвалить его. Онъ принадлежитъ къ тому живому пантеону Франціи, который мы называемъ перствомъ, и его умныя кости покоятся на бархатныхъ креслахъ Люксембурга. При этомъ у него любящее сердце, и онъ не любитъ тѣхъ банальныхъ предметовъ, которые можетъ любить каждый французъ, напр., Наполеона, онъ не любитъ Вольтера, котораго уже не такъ легко любить... нѣтъ, сердце г. Кузена испытываетъ себя на болѣе трудныхъ вещахъ: онъ любитъ Пруссію. Я былъ бы злодѣемъ, если-бъ захотѣлъ умалить такого человѣка, я былъ бы чудовищемъ неблагодарности... потому что я самъ пруссакъ. Кто будетъ насъ любить, когда великое сердце Виктора Кузена перестанетъ биться?

Право, я долженъ насильственно подавлять всѣ личныя чувства, которыя могутъ возбудить во мнѣ слишкомъ громкій энтузіазмъ. Я долженъ дѣлать это именно для того, чтобы меня не заподозрѣли въ сервилизмѣ, потому что г. Кузенъ человѣкъ очень вліятельный въ государствѣ по своему положенію и языку. Это соображеніе можетъ даже побудить меня говорить такъ же свободно о его недостаткахъ, какъ и о добродѣтеляхъ. Разсердится ли онъ за это? Конечно, нѣтъ. Я знаю, что великимъ умамъ ничѣмъ нельзя воздать честь и хвалу такъ, какъ одинаково добросовѣстнымъ освѣщеніемъ ихъ недостатковъ и добродѣтелей. Когда воспѣваешь Геркулеса, слѣдуетъ также упомянуть, что онъ *разъ* въ жизни снялъ съ себя львиную шкуру и сѣлъ за

прялку: это вѣдь не мѣшаетъ ему оставаться Геркулесомъ! Когда мы разсказываемъ точно такія же вещи о г. Кузенѣ, то въ видѣ тонкаго восхваленія должны прибавить: если г. Кузенъ и болталъ иногда, сидя за прялкой, то никогда не снималъ съ себя львиной шкуры.

Продолжая сравненіе его съ Геркулесомъ, мы должны упомянуть еще объ одномъ, лестномъ для г. Кузена, различіи между ними. Именно, сыну Алкмена народъ приписывалъ и тѣ дѣла, которыя были совершены различными его современниками; дѣянія же г. Кузена такъ колоссальны, такъ поразительны, что народъ никогда не могъ понять, какъ одинъ человѣкъ могъ совершить ихъ, и возникла легенда, что произведенія, появившіяся съ именемъ этого господина, дѣло рукъ многихъ изъ его современниковъ.

То же самое будетъ нѣкогда съ Наполеономъ; уже теперь мы не можемъ понять, какъ одинъ герой могъ совершить столько чудныхъ подвиговъ. Какъ о великомъ Викторѣ Кузенѣ теперь уже говорятъ, что онъ умѣлъ эксплуатировать чужія дарованія и выдавать ихъ работы за свои, такъ нѣкогда о бѣдномъ Наполеонѣ будутъ утверждать, что совсѣмъ не онъ, а Богъ вѣсть кто, можетъ-быть, даже г. Себастіани, выигралъ сраженія при Маренго, Аустерлицѣ и Іенѣ.

Великіе люди вліяютъ на другихъ не только своими подвигами, но и личною жизнью. Въ этомъ отношеніи г. Кузену надо воздать безусловную похвалу. Здѣсь онъ является въ своемъ безукоризненнѣйшемъ великолѣпіи. Собственнымъ примѣромъ онъ содѣйствовалъ разрушенію предразсудка, который, можетъ-быть, до сихъ поръ удерживалъ большинство его соотечественниковъ отъ изученія философіи, важнѣйшаго изъ всѣхъ стремленій. Дѣло въ томъ, что во Франціи господствовало мнѣніе, будто занятіе философіею непригодно для практической жизни, будто метафизическія соображенія уничтожаютъ способность къ соображеніямъ промышленнымъ и будто, наконецъ, тотъ человѣкъ, который хочетъ сдѣлаться великимъ философомъ, долженъ отречься отъ всякаго служебнаго блеска и жить въ наивной бѣдности, вдали отъ всѣхъ интригъ. Этотъ бредъ, отдалявшій столькихъ французовъ отъ области отвлеченнаго, г. Кузенъ успѣшно разрушилъ, и собственнымъ примѣромъ доказалъ, что можно въ одно и то же время быть безсмертнымъ философомъ и пожизненнымъ перомъ Франціи.

Правда, нѣкоторые вольтеріанцы объясняютъ этотъ фе-

номенъ тѣмъ простымъ обстоятельствомъ, что изъ двухъ вышеупомянутыхъ свойствъ г. Кузена только послѣднее, т. е. перство, не подвержено сомнѣнію. Можетъ ли быть болѣе непріязненное, болѣе нехристіанское объясненіе? Только вольтеріанецъ способенъ на подобную фривольность!

Но какой великій человѣкъ избѣгнулъ насмѣшекъ своихъ современниковъ? Развѣ аѳиняне не сыпали своихъ аттическихъ эпиграммъ на великаго Александра? Развѣ римляне не пѣли сатирическихъ пѣсней о Цезарѣ? Развѣ берлинцы не сочиняли пасквилей на Фридриха Великаго? Виктора Кузена постигла та же участь, которой подверглись уже Александръ, Цезарь и Фридрихъ и которой подвергнутся еще въ Парижѣ и многіе другіе великіе люди. Чѣмъ выше человѣкъ, тѣмъ легче попадаетъ въ него стрѣла насмѣшки. Въ карликовъ попадать труднѣе.

Но масса, народъ, не любитъ насмѣшки. У народа, какъ у генія, какъ у любви, какъ у лѣса, какъ у моря, серьезная натура; ему противно всякое злобное салонное остроуміе, и великія явленія онъ объясняетъ глубокомысленно мистически. Всѣ его толкованія носятъ на себѣ поэтическій, чудесный, легендарный характеръ. Такъ, напримѣръ, изумительную игру на скрипкѣ Паганини народъ старается объяснить тѣмъ, что этотъ музыкантъ изъ ревности убилъ свою возлюбленную, за это долго просидѣлъ въ тюрьмѣ, тамъ въ видѣ единственнаго развлеченія имѣлъ у себя только скрипку и, упражняясь на ней день и ночь, дошелъ наконецъ, до высочайшаго мастерства на этомъ инструментѣ. Философскую виртуозность г. Кузена народъ старается объяснить такимъ же образомъ, и разсказываютъ, что нѣкогда нѣмецкія правительства приняли нашего великаго эклектика за героя свободы и засадили его въ тюрьму, что тамъ не давали ему читать ничего, кромѣ «Критики чистаго разума» Канта, что отъ скуки онъ постоянно изучалъ эту книгу, и что вслѣдствіе этого дошелъ въ нѣмецкой философіи до той виртуозности, которая впослѣдствіи, когда онъ публично объяснялъ въ Парижѣ труднѣйшія мѣста этой философіи, снискала ему столько аплодисментовъ.

Это превосходная народная легенда, сказочная, причудливая, какъ преданіе объ Орфеѣ, о Валаамѣ, сынѣ Веора, о Квазерѣ Мудромъ, о Буддѣ, и каждое столѣтіе будетъ передѣлывать ее по-своему, пока, наконецъ, имя
не пріобрѣтетъ символическаго значенія, и миѳолог
нутъ смотрѣть на г. Кузена не какъ на дѣйстви

существо, а какъ на олицетвореніе мученика свободы, который, сидя въ тюрьмѣ, ищетъ утѣшенія и мудрости въ критикѣ чистаго разума; будущій Балланшъ, можетъ-быть, усмотритъ въ немъ аллегорію его времени, времени, когда и критика, и чистый разумъ, и мудрость обыкновенно сидѣли въ темницѣ.

Что касается, въ самомъ дѣлѣ, этого разсказа о тюремномъ заключеніи г. Кузена, то происхожденіе его отнюдь не вполнѣ аллегорическое. Дѣйствительно, онъ, заподозрѣнный въ демагогіи, высидѣлъ нѣкоторое время въ нѣмецкой тюрьмѣ, точно такъ же, какъ Лафайетъ и Ричардъ Львиное Сердце. Но что, сидя тамъ, г. Кузенъ на досугѣ изучалъ Кантову «Критику чистаго разума», это сомнительно по тремъ причинамъ. Во-первыхъ, эта книга написана по-нѣмецки. Во-вторыхъ, чтобы понимать эту книгу, надо знать нѣмецкій языкъ. И въ-третьихъ, г. Кузенъ не знаетъ нѣмецкаго языка.

Все это я говорю отнюдь не съ цѣлью порицанія. Величіе г. Кузена является въ еще болѣе рѣзкомъ свѣтѣ, когда мы видимъ, что онъ изучилъ нѣмецкую философію, не зная языка, на которомъ она преподается. Какъ сильно это обстоятельство возвышаетъ этого генія надъ нами, обыкновенными людьми, понимающими эту философію съ большимъ трудомъ, несмотря на то, что съ нѣмецкимъ языкомъ мы знакомы съ самаго дѣтства! Натура такого генія всегда останется для насъ необъяснимою; это одна изъ тѣхъ интуитивныхъ натуръ, которымъ Кантъ приписываетъ способность мгновеннаго пониманія вещей въ ихъ цѣлостности, въ противоположность намъ, обыкновеннымъ, аналитическимъ натурамъ, доходящимъ до такого пониманія только постепенно и посредствомъ комбинаціи отдѣльныхъ частей вещей. Кантъ, повидимому, предугадывалъ, что появится когда-нибудь человѣкъ, который даже его «Критику чистаго разума» пойметъ посредствомъ простого интуитивнаго воззрѣнія, не изучивъ дискурсивно аналитически нѣмецкаго языка. Впрочемъ, можетъ-быть, французы вообще организованы счастливѣе, чѣмъ мы, нѣмцы, и я замѣтилъ, что имъ достаточно сказать хоть нѣсколько словъ о какой-нибудь доктринѣ, о какомъ-нибудь ученомъ изслѣдованіи, о какомъ-нибудь научномъ мнѣніи — и они сумѣютъ такъ отлично скомбинировать и переработать эти нѣсколько словъ въ своемъ умѣ, что поймутъ дѣло еще гораздо лучше насъ и растолкуютъ намъ же наше собственное знаніе. Иногда мнѣ

кажется, что головы французовъ, точно такъ же, какъ ихъ кофейни, снабжены внутри зеркальными стѣнами, такъ что каждая идея, попадающая въ эти головы, отражается тамъ безчисленное множество разъ; это—оптическое устройство, вслѣдствіе котораго даже самыя узкія и скудоумныя головы являются весьма обширными и ярко освѣщенными. Эти блестящія головы, точно такъ же, какъ блестящія кофейни, обыкновенно ослѣпляютъ бѣднаго нѣмца, когда онъ впервые пріѣзжаетъ въ Парижъ.

Я боюсь, что изъ сладкихъ ручьевъ похвалы нечаянно перейду въ горькое море порицанія. Да, я не могу удержаться отъ горькаго порицанія г. Кузену вслѣдствіе одного обстоятельства: онъ, любящій правду еще больше, чѣмъ Платона и Теннемана, онъ несправедливъ къ самому себѣ, онъ клевещетъ на самого себя, увѣряя насъ, что заимствовалъ многое изъ философіи Шеллинга и Гегеля. Отъ этого самообвиненія я считаю долгомъ защищать г. Кузена. Клянусь совѣстью, этотъ честный человѣкъ не укралъ рѣшительно ничего изъ философіи Шеллинга и Гегеля, и если онъ привезъ домой что-нибудь на память отъ этихъ двухъ людей, то это была только ихъ дружба. Это дѣлаетъ честь его сердцу. Но примѣры подобныхъ ложныхъ самообвиненій часто встрѣчаются въ психологіи. Я зналъ человѣка, который увѣрялъ, что онъ укралъ за обѣдомъ у короля серебряныя ложки, а между тѣмъ, мы всѣ знали, что этотъ бѣднякъ не имѣлъ доступа ко двору и обвинялъ себя въ воровствѣ ложекъ только для того, чтобы заставить насъ подумать, что онъ бываетъ во дворцѣ.

Нѣтъ, г. Кузенъ всегда исполнялъ въ нѣмецкой философіи шестую заповѣдь, тутъ онъ не укралъ ни одной идеи, ни одной чайной ложечки идеи. Всѣ очевидцы единогласно свидѣтельствуютъ, что г. Кузенъ въ этомъ отношеніи—я говорю въ этомъ отношеніи—олицетворенная честность. И въ этомъ удостовѣряютъ не только его друзья, но и противники. Такъ, напримѣръ, такое свидѣтельство помѣщено въ журналѣ «Berliner Jahrbücher der wissenschaftlichen Kritik» за нынѣшній годъ, и такъ какъ авторъ этого документа, великій Гинрихсъ, отнюдь не панегиристъ, и потому его слова, тѣмъ не менѣе, могутъ быть заподозрены, то я впослѣдствіи приведу ихъ цѣликомъ. Теперь дѣло шло о томъ, чтобы освободить великаго человѣка отъ тяжкаго обвиненія, и только поэтому я упомянулъ о свидѣтельствѣ означеннаго журнала, который, конечно, отчасти насмѣшли-

вымъ тономъ, съ какимъ онъ говоритъ о кузенѣ, на меня производитъ непріятное впечатлѣніе. Потому что я искренній почитатель великаго эклектика, какъ это доказано мною на настоящихъ страницахъ, гдѣ я сравнилъ его со всевозможными великими людьми, съ Геркулесомъ, Наполеономъ, Александромъ, Цезаремъ, Фридрихомъ, Орфеемъ, Валаамомъ, сыномъ Воера, Квазеромъ Мудрымъ, Буддою, Лафайетомъ, Ричардомъ Львиное Сердце и Паганини.

Я, можетъ-быть, первый, поставившій имя Кузена на ряду съ этими великими именами. Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas!—скажутъ, конечно, его враги, его фривольные противники, тѣ вольтеріанцы, для которыхъ нѣтъ ничего святого, у которыхъ нѣтъ никакой религіи, которые не вѣруютъ даже въ г. Кузена. Но это уже не первый разъ впервые научаетъ націю цѣнить одного изъ ея великихъ людей чужеземецъ. Я, можетъ-быть, оказалъ услугу Франціи тѣмъ, что оцѣнилъ достоинство г. Кузена по отношенію къ настоящему времени и значеніе его для будущаго. Я показалъ, какъ народъ уже при жизни поэтически разукрашиваетъ его и разсказываетъ о немъ чудеса. Я показалъ, какъ онъ, мало-по-малу, переходитъ въ нѣчто легендарное и какъ настанетъ время, когда имя Виктора Кузена сдѣлается миѳомъ. Онъ уже и теперь сказка,—говорятъ, подсмѣиваясь, вольтеріанцы.

О вы, хулители всего высокаго и святого, вы, злодѣи, которые, какъ поетъ Шиллеръ, «обыкновенно черните блестящее и валяете въ пыли возвышенное», я предсказываю вамъ, что слава г. Кузена, подобно французской революціи, совершаетъ кругосвѣтное путешествіе!.. Но я слышу, что вы и тутъ злобно замѣчаете: «Дѣйствительно, слава г. Кузена совершаетъ кругосвѣтное путешествіе, и изъ Франціи она уже уѣхала».

О ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНѢ.

ИНТИМНЫЯ ПИСЬМА КЪ АВГУСТУ ЛЕВАЛЬДУ.

(Писаны въ маѣ 1837 г., въ деревнѣ около Парижа).

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Наконецъ, наконецъ погода позволила оставить Парижъ и теплый каминъ, и первые часы, которые я провожу въ деревнѣ, должны быть снова посвящены любимому другу. Какъ красиво смотритъ солнце на мою бумагу и золотитъ буквы, несущія къ вамъ мои самые веселые поклоны! Да, зима убѣгаетъ за горы, а позади ея вѣетъ шаловливый весенній воздухъ, точно рой вѣтреныхъ гризетокъ, преследующихъ влюбленнаго старика веселымъ хохотомъ, или даже березовыми вѣтками. Какъ пыхтитъ и стонетъ этотъ сѣдой волосый волокита! Какъ неумолимо гонятъ его молодыя дѣвушки! Какъ шумно развѣваются и блестятъ пестрыя ленты на ихъ груди! То тутъ, то тамъ бантики падаютъ на траву. Фіалки съ любопытствомъ выглядываютъ и съ боязливымъ наслажденіемъ смотрятъ на веселую травлю. Наконецъ старикъ совершенно обращенъ въ бѣгство, и соловьи поютъ пѣснь побѣды. Они поютъ такъ прекрасно и такъ свѣжо! Наконецъ, можемъ мы обойтись безъ Большой Оперы, съ Мейербероmъ и Дюпре включительно. Безъ Нурри мы обходимся уже давно. Каждый въ этомъ мірѣ доживаетъ до того, что безъ него можно обойтись, каждый, кромѣ развѣ солнца и меня. Потому что безъ этихъ двухъ предметовъ я не могу себѣ представить никакую весну, а также никакой веселый воздухъ, и никакихъ гризетокъ, и никакую нѣмецкую литературу... Безъ нихъ весь міръ былъ бы зіяющимъ ничто тѣнью нуля, сномъ блохи, стихотвореніемъ Карла Штрекфуса!

Да, на дворѣ весна, и я могу, наконецъ, снять фуфайку. Маленькіе мальчики сняли съ себя сюртуки и прыгаютъ вокругъ высокаго дерева, стоящаго подлѣ маленькой деревенской церкви и служащаго колокольнею. Теперь это дерево все покрыто цвѣтами и похоже на стараго напудреннаго дѣдушку, который, спокойно и улыбаясь, стоитъ среди бѣлокурыхъ внуковъ, весело танцующихъ вокругъ него. По временамъ онъ шаловливо посыпаетъ ихъ своими бѣлыми хлопьями. Но при этомъ восторгъ дѣтей дѣлается еще шумнѣе. Имъ строго, подъ страхомъ розогъ, запрещено трогать за веревку отъ колокола. Но старшій изъ нихъ, который долженъ бы подавать хорошій примѣръ другимъ, не можетъ устоять противъ соблазна, онъ украдкой дергаетъ запрещенную веревку, и тогда звонъ колокола раздается точно напоминаніе дѣдушки.

Позднѣе, лѣтомъ, когда дерево все блещетъ зеленью и вѣтви совсѣмъ закрываютъ колоколъ, въ звукахъ его слышится что-то таинственное; то чудно глухіе звуки, и едва раздаются они, какъ болтливыя птицы, качавшіяся на вѣтвяхъ, вдругъ умолкаютъ и со страхомъ несутся прочь.

Осенью звонъ колокола еще гораздо серьезнѣе, еще гораздо таинственнѣе, и слушая его, кажется, что слышишь голосъ духовъ. Особенно, когда кого-нибудь хоронятъ, звуки колокола отдаются въ воздухѣ невыразимо тоскливо; при каждомъ ударѣ его, съ дерева падаетъ нѣсколько желтыхъ больныхъ листьевъ, и это звучащее паденіе, этотъ звучащій символъ смерти наполнили однажды мою душу такою неодолимою печалью, что я заплакалъ, какъ дитя. Это случилось въ прошедшемъ году, когда Марго хоронила своего мужа. Онъ утонулъ въ Сенѣ во время необыкновенно сильнаго разлива ея. Три дня и три ночи плавала бѣдная женщина въ своей рыбачьей лодкѣ у береговъ рѣки, пока успѣла отыскать мужа и похоронить его по-христіански. Она его умыла и одѣла, и сама уложила его въ гробъ, и на кладбищѣ сняла крышку, чтобы еще разъ взглянуть на мертваго. Она не произнесла ни одного слова и не выронила ни одной слезы, но глаза ея были наполнены кровью, [illegible]икогда не позабуду я этого бѣлаго каменнаго лица съ [illegible]итыми кровью глазами...

Но теперь превосходная весенняя погода, солнце смѣется, [illegible]ги ликуютъ даже шумнѣе, чѣмъ бы слѣдовало, и изъ [illegible]аленькаго деревенскаго домика, въ которомъ я уже въ [illegible]шломъ году провелъ лучшіе мѣсяцы, намѣреваюсь я

писать вамъ цѣлый рядъ писемъ о французскомъ театрѣ и при этомъ, согласно вашему желанію, не упускать изъ виду и отечественной сцены. Это послѣднее имѣетъ свои трудности, такъ какъ воспоминаніе о нѣмецкомъ закулисномъ мірѣ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе изглаживается изъ моей памяти. Изъ театральныхъ пьесъ, написанныхъ въ послѣднее время, мнѣ извѣстны только двѣ трагедіи Иммермана: «Мерлинъ» и «Петръ Великій», которыя обѣ, конечно, не могутъ быть играны, одна изъ-за поэзіи, другая изъ-за политики... И представьте себѣ мою гримасу: въ пакетѣ, заключавшемъ въ себѣ эти созданія любимаго великаго поэта, я нашелъ нѣсколько книжекъ, озаглавленныхъ: «Драматическія сочиненія Эрнеста Раупаха»!

Этого любимца нѣмецкихъ театральныхъ дирекцій я зналъ въ лицо, но не читалъ ни одного изъ его произведеній. Нѣкоторыя изъ его пьесъ я видѣлъ только на сценѣ; а на сценѣ никогда нельзя съ точностью опредѣлить, кто кого казнитъ—авторъ актера, или актеръ автора. И вотъ теперь благосклонной судьбѣ угодно было, чтобы на чужбинѣ я могъ прочитать на досугѣ нѣсколько комедій доктора Эрнеста Раупаха. Не безъ напряженія добирался я въ нихъ до послѣдняго дѣйствія. За скверныя остроты я бы охотно простилъ ему, тѣмъ болѣе, что ими онъ только хотѣлъ льстить публикѣ; дѣйствительно, слушая ихъ, бѣдный посѣтитель партера непремѣнно скажетъ: «такія остроты и я умѣю отпускать», и за это удовлетвореніе чувству своего достоинства принесетъ автору благодарность. Но для меня былъ невыносимъ стиль его. Я такъ сильно избалованъ, хорошій тонъ въ разговорѣ, истинный, легкій языкъ общества сдѣлались для меня такою потребностью вслѣдствіе моего долгаго пребыванія во Франціи, что при чтеніи раупаховскихъ комедій мнѣ становилось какъ-то особенно скверно. Въ этомъ стилѣ есть что-то такое уединенное, отчужденное, необщественное, сдавливающее грудь. Разговоръ въ этихъ комедіяхъ выдуманный, онъ—не что иное, какъ чревовѣщательный монологъ на разные голоса, складъ холостыхъ мыслей, мыслей, которыя спятъ однѣ, утромъ сами варятъ себѣ кофе, сами бреются, гуляютъ въ одиночествѣ предъ Бранденбургскими воротами и для самихъ себя срываютъ цвѣты. Гдѣ Раупахъ заставляетъ говорить женщинъ, тамъ обороты рѣчи носятъ подъ бѣлымъ муслиновымъ платьемъ грязные панталоны изъ фланели и воняютъ табакомъ и ѳфтью.

Но въ царствѣ слѣпыхъ и одноглазый—король, и между нашими скверными комическими писателями Раупахъ, самый лучшій. Когда я говорю: скверные комическіе писатели, то подразумѣваю здѣсь только тѣхъ бѣдняковъ, которые свою жалкую работу ставятъ на сцену подъ названіемъ «комедія», или, такъ какъ они большею частью въ то же время комедьянты, то сами играютъ ихъ. Но эти такъ-называемыя комедіи собственно только прозаическія пантомимы съ традиціонными масками: отцами, злодѣями, гофратами, шевалье, любовниками, любовницами, субретками, благородными матерями и т. п., или какъ тамъ онѣ называются въ контрактахъ нашихъ актеровъ, которые выдрессированы только для такихъ, разъ навсегда установленныхъ ролей по традиціоннымъ типамъ. Подобно итальянской комедіи масокъ, наша нѣмецкая комедія собственно только одна пьеса, но съ безчисленнымъ множествомъ варіацій. Характеры и положенія даны, и у кого есть способность комбинаціи, тотъ принимается за соединеніе этихъ данныхъ характеровъ и положеній, составляетъ изъ этого, повидимому, новую пьесу, приблизительно по такому же способу, по какому, какъ въ китайской игрѣ, изъ извѣстнаго числа разнообразно вырѣзанныхъ деревянныхъ листиковъ составляютъ всевозможныя фигуры. Этою способностью часто обладаютъ самые незначительные люди, и напрасно старается сдѣлать то же самое истинный писатель, умѣющій давать своему творчеству только свободное движеніе и создавать только живые образы, а не вырѣзанныя деревянныя фигуры. Нѣкоторые истинные писатели, принимавшіе на себя неблагодарный трудъ сочиненія нѣмецкихъ комедій, создали нѣсколько новыхъ комическихъ масокъ; но тутъ они приходили въ столкновеніе съ актерами, которые, будучи дрессированы къ воспроизведенію уже извѣстныхъ масокъ и желая скрасить свое невѣжество или лѣность, такъ дѣятельно интриговали противъ новыхъ пьесъ, что эти послѣднія никакъ не могли попасть на сцену.

Очень можетъ быть, что въ основаніи мнѣнія, которое я только-что высказалъ о сочиненіяхъ доктора Раупаха, лежитъ тайная непріязнь моя къ личности автора. Видъ человѣка заставилъ меня разъ задрожать, а вы знаете, того не прощаетъ ни одинъ государь. Вы смотрите на съ удивленіемъ, вы находите, что докторъ Раупахъ ъ не такъ страшенъ да притомъ вы не привыкли , чтобы я дрожалъ предъ живымъ человѣкомъ? Однако это дѣйствительно случилось, докторъ Раупахъ навелъ

на меня однажды такой страхъ, что колѣни мои начал
подгибаться а зубы стучать. Я не могу смотрѣть на пор
портретъ Эрнеста Раупаха, приложенный къ собранію его драма
матическихъ сочиненій, безъ того, чтобы сердце и теперь еще
не начало трепетать въ груди... Любезный другъ, вы см
смотрите на меня съ большимъ изумленіемъ, слышу я такж
кже
подлѣ васъ и женскій голосъ, съ любопытствомъ умоляющій
щій
меня: «пожалуйста, разскажите».

Но это длинная исторія, и разсказывать ее мнѣ сегодн
дня
некогда. Притомъ же, по этому случаю мнѣ пришлось
бы
вспомнить о многихъ вещахъ, которыя я очень желалъ
бы
забыть, напр., о мрачныхъ дняхъ, которые я провелъ
въ
Потсдамѣ, и о великой скорби, прогнавшей меня въ
то
время въ уединеніе. Я прогуливался одинъ-одинешенекъ
въ
забытомъ Санъ-Суси, подъ апельсинными деревьями бол
ль-
шой аллеи... Боже мой, какъ безотрадны, непоэтичны э
ти
апельсинныя деревья! Они похожи на переодѣтые дубов
ые
кусты, и при этомъ каждое дерево имѣетъ свой номе
ръ,
точно сотрудникъ въ «Konversationsblatt» Брокгауза, и
въ
этой номерованной природѣ есть что-то такъ насмѣшли
во
скучное, такъ капральски - палочно принужденное! М
нѣ
всегда представлялось, что это апельсинныя деревья нюха
ть
табакъ, какъ ихъ покойный хозяинъ, старый Фрицъ, ко
го-
рый, какъ вы знаете, былъ великимъ героемъ въ то вре
я,
когда Рамлеръ былъ великимъ поэтомъ. Бога ради,
не
думайте, что я хочу умалить славу Фридриха Великаго!
Я
даже признаю его заслуги въ отношеніи къ нѣмецк
ой
поэзіи. Развѣ онъ не подарилъ Геллерту бѣлую лошадь,
а
госпожѣ Каршинъ—пять талеровъ? Развѣ для содѣйств
ія
преуспѣянію нѣмецкой литературы онъ не писалъ свои
хъ
собственныхъ плохихъ стихотвореній на французскомъ язык
ѣ?
Издай онъ ихъ на нѣмецкомъ, его высокій примѣръ мо
гъ
бы повлечь за собою неизмѣримо вредныя послѣдств
ія.
Нѣмецкая муза никогда не забудетъ ему этой услуги.

Итакъ, я былъ въ Потсдамѣ не въ особенно весело
мъ
расположеніи духа, а тутъ еще тѣло точно побилось об
ъ
закладъ съ душою — кто изъ нихъ сумѣетъ сильнѣе изм
у-
чить меня. Ахъ, душевную болѣзнь перенести легче,
физическую, и если-бъ мнѣ дали, напримѣръ, на выборъ
лую совѣсть или гнилой зубъ, я выбралъ бы первую.
нѣтъ ничего ужаснѣе зубной боли! Въ этомъ я убѣди
Потсдамѣ, я забылъ всѣ мои душевныя страданія и рѣ
поѣхать въ Берлинъ, чтобы тамъ вырвать больно

Какая это страшная, ужасная операція! Она отчасти похожа на обезглавленіе! Тутъ тоже надо сѣсть на стулъ, и не двигаться, и спокойно ожидать страшнаго удара! При одной мысли объ этомъ у меня волосы становятся дыбомъ. Но Провидѣніе въ своей мудрости все устроило къ нашему благу, и даже страданія людей, въ концѣ концовъ, приводятъ къ ихъ спасенію. Конечно, зубная боль ужасна, невыносима; но благодѣтельно разсчитывающій Промыслъ придалъ нашей зубной боли этотъ ужасный, невыносимый характеръ именно для того, чтобы мы въ отчаяніи, наконецъ, бѣжали къ зубному врачу и вырывали больной зубъ. Несомнѣнно, что будь зубная боль хоть чуть-чуть выносима, никто не рѣшился бы на эту операцію, или, говоря вѣрнѣе, экзекуцію!

Вы не можете себѣ представить, какой страхъ и какое малодушіе испытывалъ я во время трехчасового переѣзда въ почтовой каретѣ. Пріѣхавъ въ Берлинъ, я былъ совсѣмъ разбитъ, и такъ какъ въ такія минуты человѣкъ рѣшительно не думаетъ о деньгахъ, то я далъ почтальону двѣнадцать грошей на водку. Онъ посмотрѣлъ на меня съ странно нерѣшительнымъ выраженіемъ лица, потому что по новому почтовому положенію почтальонамъ строго запрещено брать на водку. Онъ долго держалъ монету на рукѣ, точно взвѣшивалъ ее, и прежде, чѣмъ спряталъ въ карманъ, сказалъ тоскливымъ голосомъ: «Ужъ двадцать лѣтъ я почтальономъ и совершенно привыкъ получать на водку, а теперь господинъ почтъ-директоръ, подъ страхомъ строгаго наказанія, запретилъ брать деньги у пассажировъ; но это безчеловѣчный законъ, ни одинъ человѣкъ не можетъ отказываться отъ платы на водку, это противно природѣ!» Я пожалъ честному человѣку руку и вздохнулъ. Вздыхая, я добрался, наконецъ, до гостиницы и сейчасъ же спросилъ, нѣтъ ли тутъ хорошаго зубного врача; хозяинъ гостиницы съ большою радостью отвѣчалъ мнѣ: «Вотъ какъ это отлично, у меня только-что остановился знаменитый зубной врачъ изъ С.-Петербурга, и если вы придете обѣдать за табльд'отъ, то увидите его». Да, подумалъ я, я прежде съѣмъ свой предсмертный обѣдъ, и потомъ уже сяду на стулъ осужденнаго. Но за столомъ мнѣ ничего рѣшительно не хотѣлось ѣсть. Я былъ голоденъ, но не имѣлъ никакого аппетита. Несмотря на мое легкомысліе, я никакъ не могъ выбить у себя изъ головы ужасы, предстоявшіе мнѣ черезъ нѣсколько минутъ. Даже любимое кушанье мое, баранина съ рѣпой,—не соблазнило меня. Глаза мои невольно начали

искать ужаснаго человѣка, зубного палача изъ С.-Петербурга, и инстинктъ страха скоро помогъ мнѣ выискать его между присутствующими. Онъ сидѣлъ далеко отъ меня, на концѣ стола; кругловатое лицо его было похоже на клещи, которыми выдергиваютъ зубы. Это была фатальная фигура въ сюртукѣ пепельно-сѣраго цвѣта съ блестящими стальными пуговицами. Я едва осмѣливался смотрѣть на него, и когда онъ взялъ въ руки вилку, я испугался, точно онъ уже приближался съ клещами къ моему подбородку. Съ трепетомъ отвернулся я отъ него и готовъ былъ также зажать себѣ уши, чтобы только не слышать звука его голоса. По этому звуку я догадался, что онъ былъ одинъ изъ тѣхъ людей, у которыхъ внутренность вымазана сѣрой краской и кишки сдѣланы изъ дерева. Онъ говорилъ о Россіи, гдѣ онъ жилъ долго, но гдѣ его искусство не нашло достаточнаго поприща для дѣятельности. Онъ говорилъ съ тою тихою, нахальною воздержанностью, которая еще болѣе невыносима, чѣмъ самое крикливое хвастовство. Каждый разъ, какъ онъ раскрывалъ ротъ, меня тошнило, и по душѣ пробѣгала дрожь. Съ отчаянія я вступилъ въ разговоръ съ моимъ сосѣдомъ и, со страхомъ поворотившись спиною къ ужасному человѣку, началъ говорить такъ самооглушительно громко, что, наконецъ, голосъ его сдѣлался мнѣ не слышенъ. Мой сосѣдъ былъ очень милый человѣкъ, съ самою аристократическою осанкою, самыми утонченными манерами, и его привѣтливый разговоръ уменьшалъ то мучительное состояніе, въ которомъ я находился. Онъ былъ олицетворенная скромность. Слова кротко текли съ его кротко-округленныхъ губъ, глаза его были ясны и привѣтливы, и когда онъ услышалъ, что у меня болятъ зубы, то покраснѣлъ и предложилъ мнѣ свои услуги—«Бога ради,—вскричалъ я:—кто же вы?»—«Я зубной врачъ Мейеръ изъ С.-Петербурга», отвѣчалъ онъ. Я почти невѣжливо отодвинулся отъ него и въ большомъ смятеніи проговорилъ:—«А кто же тотъ, сидящій на концѣ стола, въ сюртукѣ пепельно-сѣраго цвѣта съ блестящими стальными пуговицами?»—«Не знаю», отвѣчалъ мой сосѣдъ, посмотрѣвъ на меня съ изумленіемъ. Но кельнеръ, услышавшій мой вопросъ, шепнулъ мнѣ на ухо съ очень важнымъ видомъ: «Это господинъ театральный сочинитель Раупахъ».

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

...Или въ самомъ дѣлѣ справедливо, что мы, нѣмцы, не можемъ написать хорошую комедію и навѣки осуждены заниматъ произведенія этого рода у французовъ?

Мнѣ сказали, что у васъ въ Штутгардѣ такъ долго мучились разрѣшеніемъ этого вопроса, что, наконецъ, съ отчаянія назначили плату за голову лучшаго сочинителя комедіи. Какъ я слышалъ, вы сами, любезный Левальдъ, принадлежали къ присяжнымъ, обсуждавшимъ этотъ вопросъ, и книжная торговля І. Г. Котты до тѣхъ поръ держала васъ взаперти, безъ пива и табаку, пока вы не произнесли вашего драматическаго приговора. По крайней мѣрѣ, этимъ вы пріобрѣли матеріалъ для хорошей комедіи.

Нѣтъ ничего неосновательнѣе доводовъ, которыми обыкновенно подкрѣпляютъ утвердительный отвѣтъ на вышеприведенный вопросъ. Утверждаютъ, напримѣръ, что у нѣмцевъ нѣтъ хорошей комедіи потому, что они серьезный народъ, а что французы, напротивъ того, народъ веселый и потому способнѣе для сочиненія комедій. Это мнѣніе совершенно ложно. Французы отнюдь не веселый народъ. Я, напротивъ того, начинаю думать, что Лоренцъ Стернъ былъ правъ, когда доказывалъ, что они уже черезчуръ серьезны. А въ то время, когда Іорикъ писалъ свое «Сентиментальное путешествіе во Францію», тамъ еще были въ полномъ цвѣтѣ вся вѣтреность и парфюмированная приторность стараго режима и французы еще не получили надлежащихъ уроковъ въ размышленіи и обдумываніи отъ гильотины и Наполеона. Тѣмъ болѣе теперь, со времени іюльской революціи, какіе скучнѣйшіе успѣхи сдѣлали они въ серьезности, или по крайней мѣрѣ въ невеселости! Ихъ лица вытянулись, губы опустились болѣе глубокомысленно; они выучились у насъ философіи и куренію табака. Огромный переворотъ совершился съ тѣхъ поръ съ французами, они болѣе не похожи на самихъ себя. Нѣтъ ничего плачевнѣе болтовни нашихъ тевтомановъ, которые, когда начнутъ нападать на французовъ, то все еще имѣютъ въ виду французовъ имперіи, которыхъ они видѣли въ Германіи. Они не думаютъ о томъ, что этотъ жадный къ перемѣнамъ народъ, о непостоянствѣ котораго они сами же кричатъ такъ усердно, уже двадцать лѣтъ не можетъ сохранять устойчивости въ способѣ мышленія и чувствованій!

Нѣтъ, французы не веселѣе насъ; мы, нѣмцы, мы, на

юмора, можетъ-быть, болѣе французовъ способны понимать и воспринимать комическое. Къ тому же въ Германіи больше благодарныхъ матеріаловъ для смѣха, больше дѣйствительно смѣшныхъ характеровъ, чѣмъ во Франціи, гдѣ насмѣшка общества убиваетъ въ зародышѣ все необычайно смѣшное, гдѣ никакой оригинальный дуракъ не можетъ безпрепятственно развиться и выработаться. Нѣмецъ можетъ съ гордостью утверждать, что только на нѣмецкой почвѣ дураки могутъ доростать до той титанической вышины, о которой плоскій, рано приплюснутый французскій дуракъ не имѣетъ никакого понятія. Только Германія порождаетъ тѣхъ колоссальныхъ безумцевъ, которыхъ дурацкій колпакъ достигаетъ до неба и звономъ своихъ погремушекъ увеселяетъ звѣзды! Не будемъ несправедливы къ заслугамъ нашихъ соплеменниковъ и не станемъ поклоняться иноземной глупости; не будемъ несправедливы къ нашему собственному отечеству!

Точно также ошибочно приписываютъ безплодіе нѣмецкой Таліи отсутствію свободнаго воздуха, или—позвольте мнѣ это легкомысленное выраженіе — отсутствію политической свободы. То, что обыкновенно называютъ политическою свободой, рѣшительно не нужно для процвѣтанія комедіи. Припомните только Венецію, гдѣ, несмотря на свинцовыя камеры и тайныя заведенія, чтобы топить людей, Гольдони и Гоцци писали свои лучшія произведенія,—или Испанію, гдѣ, несмотря на топоръ деспотизма и католическій огонь, сочинялись отличныя пьесы «плаща и шпаги»; припомните Мольера, писавшаго въ царствованіе Людовика XIV; наконецъ, даже Китай имѣетъ превосходныя комедіи... Нѣтъ, не политическимъ положеніемъ обусловливается развитіе комедіи у народа, и я бы подробно доказалъ это, если-бъ, такимъ образомъ, мнѣ не пришлось войти въ область, отъ которой я очень радъ держать себя въ сторонѣ. Да, любезный другъ, я очень боюсь политики и каждую политическую мысль обхожу на десять шаговъ, точно бѣшеную собаку. Когда я въ моемъ ходѣ мыслей нечаянно встрѣчаю политическую мысль, то быстро произношу молитвенное заклинаніе...

Знаете вы, милый другъ, заклинаніе, которо
произносятъ при встрѣчѣ съ бѣшеною собакой?
его еще съ моихъ дѣтскихъ лѣтъ, и выучилъ м
ту пору старый капланъ Астгёверъ. Когда м
нашихъ прогулокъ замѣчали собаку, у которой
поджатъ нѣсколько двусмысленно, то быстро

съ, песъ, въ тебя дьяволъ болѣзнь занесъ; ты проклятъ вѣчные дни, отъ твоего укуса Господь меня сохрани; инь!»

Какъ боюсь я политики, такъ безконечный страхъ внушаетъ мнѣ католическое богословіе, которое тоже не принило мнѣ ничего, кромѣ огорченія. Сатанѣ не удастся ольше соблазнить меня, я даже воздерживаюсь отъ всякихъ азмышленій о католической религіи, и теперь уже не такой уракъ, чтобы стараться совратить къ наслажденію жизнью енгстенберга и компанію; пусть себѣ эти несчастные до онца дней своихъ жрутъ только чертополохъ, вмѣсто ананасовъ, и бичуютъ свою плоть; tant mieux, я готовъ даже амъ доставить имъ для этого розги. Католическое боголовіе составило мое несчастіе; вы знаете, вслѣдствіе какого едоразумѣнія. Вы знаете, какъ союзный сеймъ, безъ моей томъ просьбы, помѣстилъ меня на службу въ «Молодой ерманіи», и какъ я до нынѣшняго дня напрасно просилъ ъ увольненіи меня въ отставку. Напрасно подаю я смиеннѣйшія прошенія, напрасно утверждаю, что уже не вѣрю ольше во всѣ мои религіозныя заблужденія... ничто не поогаетъ! Я, право, не прошу ни одного гроша пенсіи, но тставка мнѣ весьма желательна. Любезный другъ, вы сдѣлаете мнѣ дѣйствительное одолженіе, если въ вашемъ журналѣ, при удобномъ случаѣ, обвините меня въ обскурантизмѣ сервилизмѣ, это можетъ принесть мнѣ пользу. У моихъ раговъ мнѣ не зачѣмъ просить особенно этой пріятельской слуги, они клевещутъ на меня съ величайшею предупредительностью.

...Я только-что замѣтилъ, что французы, у которыхъ комедія процвѣтаетъ лучше, чѣмъ у насъ, обязаны этимъ реимуществомъ не своей политической свободѣ; вы, можетъ ыть, позволите мнѣ объяснить подробнѣе, почему причина ервенства французскихъ сочинителей комедіи заключается корѣе въ соціальномъ положеніи Франціи.

Вы знаете, что̀ я понимаю подъ «соціальнымъ положеіемъ». Это нравы и обычаи, вся общественная и домашняя изнь народа, насколько въ ней выражается господствующее оззрѣніе на жизнь. Французскій комическій писатель рѣдко збираетъ общественную дѣятельность народа главнымъ матеріаломъ, обыкновенно онъ пользуется только отдѣльными моментами ея; на этой почвѣ онъ только мѣстами срываетъ кое-какіе смѣшные цвѣты и украшаетъ ими зеркало, изъ ически шлифованныхъ граней котораго намъ улыбается

домашняя жизнь французовъ. Правда, все, являющееся намъ въ этомъ зеркалѣ—карикатура; но такъ какъ у французовъ все подвергается самому сильному преувеличенію и обращается въ карикатуру, то эти карикатуры все-таки представляютъ намъ безпощадную истину—истину если и не нынѣшняго дня, то ужъ навѣрное завтрашняго. Больше матеріала находитъ комическій писатель въ контрастахъ, существующихъ между многими учрежденіями и нынѣшними нравами, равно какъ между нынѣшними нравами и скрытымъ образомъ мышленія народа; и наконецъ, особенно обильный матеріалъ доставляютъ ему противорѣчія, такъ забавно выступающія наружу, когда благородный энтузіазмъ, который у французовъ такъ легко вспыхиваетъ и такъ же легко потухаетъ, приходитъ въ столкновеніе съ положительными, промышленными тенденціями дня. Тутъ мы стоимъ на почвѣ, на которой великій деспотъ, революція, уже пять—десять лѣтъ господствуетъ по произволу, здѣсь разрушая тамъ щадя, но повсюду расшатывая фундаментъ общественной жизни, и это бѣшеное стремленіе къ равенству, которое могло не возвысить низкое, но только унизить возвышенное, эта вражда настоящаго съ прошедшимъ, которыя издѣваются другъ надъ другомъ, вражда сумасшедшаго съ призракомъ, это низверженіе всякихъ авторитетовъ, какъ умственныхъ, такъ и матеріальныхъ, эта пляска на послѣднихъ развалинахъ этихъ авторитетовъ, и это тупоуміе въ страшно роковые часы, когда необходимость авторитета становится основательною и когда разрушившій его съ боязнью отступаетъ отъ своего собственнаго дѣла, со страха начинаетъ пѣть и, наконецъ, разражается громкимъ хохотомъ—все это, видите ли, страшно, даже въ нѣкоторомъ родѣ ужасно, но для комедіи—превосходный матеріалъ!

Но у нѣмца становится здѣсь на душѣ какъ-то тяжело. Клянусь вѣчными богами, мы должны бы каждый день благодарить Бога за то, что у насъ нѣтъ такой комедіи, какъ у французовъ, что у насъ нѣтъ цвѣтковъ, которые могутъ распуститься только на такой грудѣ черепковъ, на такой кучѣ развалинъ, какою является французское общество! Французскій комическій писатель иногда кажется мнѣ обезьяною, сидящею на развалинахъ разрушеннаго города и строющею рожи и начинающею со смѣхомъ скалить зубы въ то время, когда изъ разломанныхъ арокъ собора выглядываетъ голова настоящей лисицы, когда въ бывшемъ *будуарѣ* королевской фаворитки настоящая свинья разрѣшается

отъ бремени, или когда вороны важно собираются въ засѣданіе на зубчатыхъ стѣнахъ ратуши, или даже когда гіена отрываетъ старыя кости въ могилахъ государей...

Я уже упомянулъ, что главные мотивы французская комедія заимствуетъ не изъ общественной, но изъ домашней жизни народа; и тутъ самую богатую тему представляютъ отношенія между мужчиной и женщиной. Какъ во всѣхъ житейскихъ отношеніяхъ французовъ, такъ и въ семьѣ у нихъ не существуетъ никакихъ узъ и ниспровергнуты всякіе авторитеты. Что значеніе отца не признается сыномъ и дочерью, это легко объясняется разрушительнымъ могуществомъ того критицизма, который породила матеріалистическая философія. Это отсутствіе благочестиваго почтенія обнаруживается еще рѣзче въ отношеніяхъ между мужемъ и женою какъ въ законныхъ, такъ и въ незаконныхъ связяхъ, которыя получаютъ здѣсь характеръ, дѣлающій ихъ особенно пригодными для комедіи. Здѣсь первоначальная арена всѣхъ тѣхъ половыхъ войнъ, которыя намъ въ Германіи извѣстны только по плохимъ переводамъ или передѣлкамъ и которыя нѣмецъ можетъ еще съ трудомъ описать какъ Полибій, но ужъ отнюдь не какъ Цезарь. Конечно, мужъ и жена воюютъ, какъ вообще воюютъ супруги во всѣхъ странахъ, но въ другихъ мѣстахъ прекрасный полъ не можетъ дѣйствовать такъ свободно, какъ во Франціи, и потому эта война ведется въ нихъ не такъ открыто; она не можетъ являться на показъ, въ драматической формѣ. Въ другихъ странахъ женщина рѣшается развѣ только на маленькое возмущеніе, въ крайнемъ случаѣ — на бунтъ. Здѣсь же обѣ супружескія державы стоятъ одна противъ другой съ равными боевыми силами, и между ними происходятъ страшнѣйшія семейныя битвы. При однообразіи нѣмецкой жизни, вамъ очень весело смотрѣть въ нѣмецкомъ театрѣ на походы двухъ половъ, которые хотятъ перехитрить другъ друга стратегическимъ искусствомъ, скрытыми засадами, ночными нападеніями, двусмысленными перемиріями или даже заключеніемъ вѣчнаго мира. Но когда находишься здѣсь, во Франціи, на самомъ мѣстѣ битвы, гдѣ эти сцены происходятъ не только для виду, но и въ дѣйствительности, и когда при этомъ въ груди нѣмецкое чувство, тогда смотришь безъ удовольствія на лучшую французскую комедію. И ахъ!—меня давно уже не смѣшитъ фиглярь, когда онъ съ неоцѣненнымъ простодушіемъ представляетъ рогоносца. И не смѣшитъ меня больше Женни

Верпре, когда она, въ роли знатной дамы, выказывая всевозможную грацію, шалитъ цвѣтами супружеской невѣрности. И не смѣшитъ меня болѣе мадмуазель Дежазе, которая, какъ вы знаете, такъ превосходно, съ такимъ классическимъ безстыдствомъ, играетъ роли гризетокъ. Сколько пораженій въ добродѣтели должна была перенести эта женщина для того, чтобы достигнуть, наконецъ, такихъ тріумфовъ въ искусствѣ! Она, можетъ-быть, лучшая актриса Франціи. Какъ удивительно изображаетъ она бѣдную модистку, которая, вслѣдствіе щедрости любовника, внезапно видитъ себя окруженною всею роскошью знатной дамы, или скромную прачку, которая въ первый разъ слышитъ любезности какого-нибудь carabin (по-нѣмецки—studiosus medicinae) и отправляется въ его сообществѣ на bal champêtre въ Grande Chaumière... Ахъ, все это очень хорошо и забавно, и зрители смѣются, глядя на эти сцены; но я, когда подумаю въ душѣ, что эти комедіи въ дѣйствительности оканчиваются въ притонахъ разврата, въ госпиталяхъ св. Лазаря, на анатомическихъ столахъ, гдѣ carabin развиваетъ свои познанія присутствованіемъ при вскрытіи своей прежней любовницы... тогда смѣхъ застываетъ у меня въ горлѣ, и если бы я не боялся показаться дуракомъ передъ самой образованной публикой въ мірѣ, то не сталъ бы удерживать свои слезы...

Видите ли, дорогой другъ, въ томъ-то и состоитъ тайно проклятіе изгнанія, что мы никогда не можемъ совершенно свыкнуться съ атмосферой чужбины, что съ нашимъ родным, привезеннымъ изъ отчества, образомъ мыслей и чувствованій мы стоимъ всегда одинокіе среди народа, чувствующаго и думающаго совсѣмъ не такъ, какъ мы, что насъ постоянно оскорбляютъ нравственныя или, скорѣе, безнравственныя явленія, съ которыми туземецъ давно уже примирился, на которыя онъ даже, вслѣдствіе привычки, не обращаетъ вниманія, какъ на явленія природы въ своемъ отечествѣ... Ахъ, духовный климатъ на чужбинѣ дѣйствуетъ на насъ такъ же неблагопріятно, какъ и физическій; съ этимъ послѣднимъ можно даже скорѣй свыкнуться, и въ крайнемъ случаѣ отъ него заболѣваетъ только тѣло, а не душа!

Революціонерка лягушка, которая охотно вылѣ
толстой стоячей воды своей родины и смотрѣла
ществованіе птицы въ воздухѣ, какъ на идеа
не могла бы, однако, прожить долго въ сухомъ,
ваемомъ свободномъ, воздухѣ и вѣрно скор
снова томиться по своему тяжелому, солид

болоту. Сначала она дышитъ очень сильно и радостно привѣтствуетъ солнце, которое въ іюлѣ такъ великолѣпно свѣтитъ, и говоритъ сама себѣ: «Я выше моихъ земляковъ, рыбъ, нѣмыхъ водяныхъ животныхъ, мнѣ Юпитеръ далъ даръ слова, я даже пѣвица, и уже поэтому чувствую себя родною птицамъ, и мнѣ не достаетъ только крыльевъ...» Бѣдная лягушка! А дай ей крылья, она все-таки не подымется высоко надо всѣми, и въ воздухѣ не будетъ у нея легкаго настроенія птицъ, и невольно будетъ она все смотрѣть внизъ на землю, только съ этой вышины ясно увидитъ она болѣзненныя явленія въ долинѣ земной скорби, и тогда окрыленной лягушкѣ сдѣлается еще тяжелѣе, чѣмъ прежде, въ самомъ нѣмецкомъ изъ нѣмецкихъ болотъ!

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Мозгъ у меня тяжелъ и пустъ. Сегодня ночью я совсѣмъ не могъ уснуть. Я то и дѣло ворочался на постели, а въ головѣ то и дѣло ворочалась мысль: кто былъ замаскированный палачъ, обезглавившій въ Уайтгаллѣ Карла I? Только къ утру я задремалъ, и тутъ мнѣ приснилось, что на дворѣ ночь, а я стою одинъ на Pont-Neuf въ Парижѣ и смотрю въ темную Сену. Но внизу, между столбами моста, виднѣлись голые люди, подымавшіеся изъ воды до пояса, державшіе въ рукахъ лампы и, повидимому, чего-то искавшіе. Они бросали мнѣ наверхъ значительные взгляды, и я самъ кивалъ имъ головою, точно между нами было самое таинственное соглашеніе... Наконецъ, раздался тяжелый звонъ колокола на башнѣ Notre Dame, и я проснулся. И теперь я вотъ уже цѣлый часъ ломаю себѣ голову: чего собственно искали голые люди подъ Pont-Neuf? Мнѣ кажется, во снѣ я зналъ это, а потомъ забылъ.

Блестящій утренній туманъ обѣщаетъ отличный весенній день. Пѣтухъ поетъ. Старый инвалидъ, живущій подлѣ меня, сидитъ уже передъ дверью своего домика и поетъ свои наполеоновскія пѣсни. Его внукъ, бѣлокурый мальчикъ, также уже на своихъ босыхъ ножкахъ, и стоитъ предъ моимъ окномъ, держитъ въ ручонкѣ кусокъ сахару и хочетъ кормить имъ розы. Воробей сѣменитъ тутъ же маленькими лапками и смотритъ на милаго ребенка отчасти съ любопытствомъ, отчасти съ удивленіемъ. Но поспѣшно приходитъ мать, красивая поселянка, беретъ дитя на руки и уноситъ его въ комнату, чтобы онъ не простудился на утреннемъ воздухѣ.

А я снова берусь за перо, чтобы мои спутанныя мысли о французскомъ театрѣ нацарапать на бумагѣ еще болѣе запутаннымъ слогомъ. Едва ли въ этой написанной пустынѣ попадется что-нибудь, могущее быть поучительнымъ для васъ, дорогой другъ. Вамъ, драматургу, знающему театръ во всѣхъ его отношеніяхъ и видящему, что̀ дѣлается у комедьянтовъ въ самой сокровенной ихъ внутренности,—вамъ, который на подмосткахъ, означающихъ дѣйствительный міръ, нѣкогда жилъ, любилъ и страдалъ, — вамъ я не скажу, конечно, ничего новаго ни о нѣмецкомъ, ни о французскомъ театрѣ! Рѣшусь ограничиться здѣсь только бѣглыми замѣчаніями, которыя должны вызвать благосклонное одобреніе съ вашей стороны.

Такъ, напримѣръ, я надѣюсь, вы согласны съ тѣмъ, что̀ я говорилъ въ предыдущемъ письмѣ о французской комедіи. Нравственныя отношенія или, скорѣе, нравственный разладъ между мужемъ и женою служитъ во Франціи навозомъ, превосходно удобряющимъ почву комедіи. Бракъ или, вѣрнѣе, нарушеніе брака есть средоточіе всѣхъ тѣхъ ракетъ комедіи, которыя такъ блестяще взлетаютъ наверхъ, но оставляютъ послѣ себя меланхолическую темноту, если еще не скверный запахъ. Старая религія, католическое христіанство, освящавшее бракъ и грозившее невѣрному мужу адомъ, исчезло здѣсь вмѣстѣ съ этимъ адомъ. Мораль, которая есть не что иное, какъ сросшаяся съ нравами религія, потеряла черезъ это всѣ свои жизненные корни и теперь тоскливо вянетъ на тощихъ вѣтвяхъ разума, посаженнаго на мѣсто религіи. Но и эта жалкая, опирающаяся только на разумъ мораль не пользуется здѣсь должнымъ уваженіемъ, и общество чтитъ только приличіе, которое есть не что иное, какъ внѣшній видъ морали, какъ обязательство заботливо избѣгать всего, что̀ можетъ повлечь за собою публичный скандалъ; я говорю—публичный, а не тайный скандалъ, потому что все скандальное, не выходящее наружу, не существуетъ для общества; оно наказываетъ грѣхъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда языки забормочутъ о немъ слишкомъ громко. Но и въ этомъ случаѣ существуютъ милостивыя смягченія вины. Грѣшницу вполнѣ осудятъ только тогда, когда мужъ самъ признаетъ ее виновною. Самой развратной Мессалинѣ двери во французскіе салоны открыты до тѣхъ поръ, пока рогатый супругъ ея терпѣливо шествуетъ рядомъ съ нею. Напротивъ того, дѣвушку, которая съ безумнымъ великодушіемъ, съ женскимъ

амопожертвованіемъ, бросается въ объятія возлюбленнаго, авсегда изгоняютъ изъ общества. Но это случается рѣдко, -первыхъ, потому, что дѣвушки во Франціи никогда не обятъ, а во-вторыхъ, потому, что, почувствовавъ влеченіе ъ человѣку, онѣ стараются какъ можно скорѣе выйти за-ужъ, чтобы сдѣлаться участницами той свободы, которую ычай предоставляетъ только замужнимъ женщинамъ.

Это такъ. У насъ въ Германіи, точно такъ же, какъ въ нгліи и въ другихъ германскихъ земляхъ, дѣвушкамъ ется возможно большая свобода, а замужнія женщины, напротивъ того, поступаютъ въ самую строгую зависимость ъ своего мужа и подъ самую бдительную охрану его. Во анціи, какъ выше сказано, совсѣмъ напротивъ; молодыя вушки до тѣхъ поръ остаются въ монастырскомъ зато-ніи, пока или выйдутъ замужъ, или вступятъ въ свѣтъ дъ строжайшимъ надзоромъ какого-нибудь родственника. свѣтѣ, т. е. во французскомъ салонѣ, онѣ сидятъ всегда лча, и на нихъ обращаютъ мало вниманія, потому что Ѣсь считается и нехорошимъ тономъ, и глупо ухаживать незамужнею дѣвушкой.

Это такъ. Мы, нѣмцы, какъ и наши германскіе сосѣди, свящаемъ свою любовь только дѣвушкамъ, и только ихъ спѣваютъ наши поэты; у французовъ же, напротивъ, едметомъ любви, какъ въ жизни, такъ и въ искусствѣ, ужитъ женщина замужняя.

Я только-что указалъ на фактъ, лежащій въ основаніи щественнаго различія между нѣмецкою и французскою рагедіею. Героини нѣмецкихъ трагедій почти всегда дѣ-шки, французскихъ трагедій — замужнія женщины, и бо-ѣе сложныя отношенія, возникающія здѣсь отъ этого, от-рываютъ, можетъ-быть, болѣе широкое поприще для дѣй-ствія и для страсти.

Мнѣ никогда не придетъ на умъ восхвалять французскую рагедію на счетъ нѣмецкой, или наоборотъ. Литература искусство каждой страны обусловливаются мѣстными по-ребностями, которыхъ никакъ нельзя упускать изъ виду ри оцѣнкѣ произведеній этой литературы и этого искус-ства. Достоинство нѣмецкихъ трагедій, какъ, напр., Гёте, Шиллера, Клейста, Иммермана, Граббе, Эленшлегера, Уланда, Грильпарцера, Вернера и другихъ крупныхъ писателей, заключается больше въ поэзіи, чѣмъ въ дѣйствіи и страсти. Но какъ ни драгоцѣнна поэзія, она все-таки дѣйствуетъ сильнѣе на одинокаго читателя, чѣмъ на большое собраніе.

Самое сильное вліяніе на массу публики производятъ именно дѣйствіе и страстность, а въ томъ и другомъ особенно отличаются французскіе сочинители трагедій. Французы уже по натурѣ своей дѣятельнѣе и страстнѣе насъ, и трудно опредѣлить—вслѣдствіе ли врожденной дѣятельности страстность проявляется у нихъ сильнѣе, чѣмъ у насъ, или же врожденная страстность сообщаетъ ихъ дѣйствіямъ болѣе страстный характеръ и вслѣдствіе этого придаетъ всей ихъ жизни болѣе драматическій видъ, чѣмъ тотъ, съ которымъ является наша жизнь, тихія воды которой спокойно текутъ въ берегахъ насильственнаго преданія и надѣлены скорѣе глубиною, чѣмъ шумными волнами. Однимъ словомъ, жизнь здѣсь, во Франціи, драматичнѣе, и зеркало жизни, театръ, воспроизводитъ дѣйствіе и страстность въ высшей ихъ степени.

Страстность, какою она является во французской трагедіи, эта непрестанная буря чувствъ, эти постоянные громы и молніи, это вѣчное движеніе душевныхъ ощущеній,—настолько же соотвѣтствуютъ потребностямъ французской публики, насколько потребностямъ публики нѣмецкой соотвѣтствуетъ то, что авторъ сначала медленно мотивируетъ безшумнѣйшіе взрывы страсти, потомъ выводитъ на сцену тихія положенія, чтобы дать возможность нѣмецкому чувству снова придти въ безмятежное состояніе, даетъ нашим чувствамъ и уму маленькіе отдыхи для того, чтобы м могли чувствовать волненіе безъ неудобствъ и поспѣшн сти. Въ нѣмецкомъ партерѣ сидятъ миролюбивые граждан и чиновники, которые желали бы спокойно перевари здѣсь свою кислую капусту, а вверху въ ложахъ сидя голубоокія дочери образованныхъ сословій, прекрасныя б локурыя души, явившіяся въ театръ со своимъ вязаніе чулка или другимъ какимъ-нибудь рукодѣльемъ и жела щія тихо мечтать, не спуская при этомъ ни одной пет И всѣ зрители обладаютъ этою нѣмецкою добродѣтелью, к торая врождена намъ, или по крайней мѣрѣ привита воспи таніемъ — терпѣніемъ. Ходимъ мы также въ театръ дл того, чтобы произносить приговоръ игрѣ комедьянтовъ, или, какъ мы выражаемся, исполненію артистовъ, и даетъ матеріалъ для разговоровъ въ нашихъ журналахъ. Французъ, напротивъ того, идетъ въ того, чтобы посмотрѣть пьесу, чтобы испыта Изображаемое заставляетъ его совершенно за зителя, да и вообще объ актерахъ говорятъ в

цуза гонитъ въ театръ безпокойство, и здѣсь онъ меньше всего ищетъ спокойствія. Дай ему авторъ успокоиться хотя на одну минуту, онъ былъ бы способенъ «позвать Азора», что̀ по-нашему значитъ—начать свистать. Такимъ образомъ, главная задача французскаго драматическаго писателя состоитъ въ томъ, чтобы не позволить своей публикѣ ни на минуту придти въ себя, чтобы производить одно потрясеніе немедленно вслѣдъ за другимъ, чтобы любовь, ненависть, честолюбіе, ревность, гордость, point d'honneur,—словомъ, всѣ тѣ страстныя чувства, которыя въ дѣйствительной жизни французовъ уже и безъ того обнаруживаются съ такимъ шумомъ, воспроизводить на подмосткахъ въ еще болѣе дикомъ неистовствѣ.

Но для того, чтобы рѣшить, въ слишкомъ ли преувеличенномъ свѣтѣ выставлена страсть во французской трагедіи, переступлены ли въ ней всѣ границы, необходимо быть очень близко знакомымъ съ самою французскою жизнью, служившею автору образцомъ. Для того, чтобы подвергнуть французскую пьесу справедливой критикѣ, надо мѣрить ее не нѣмецкимъ, а французскимъ масштабомъ. Страсти, которыя кажутся намъ совершенно преувеличенными, когда мы смотримъ или читаемъ французскую пьесу въ спокойномъ уголкѣ безмятежной Германіи, можетъ-быть, представляютъ вѣрную копію съ дѣйствительной жизни, и то, что̀ въ театральномъ костюмѣ принимается нами за возмутительно неестественное, въ обыденнѣйшей дѣйствительности случается въ Парижѣ каждый день и часъ. Нѣтъ, въ Германіи невозможно составить себѣ понятіе объ этой французской страстности. Мы видимъ ея дѣйствія, слышимъ ея слова, но эти дѣйствія и слова, правда, повергаютъ насъ въ удивленіе, даже, можетъ-быть, возбуждаютъ въ душѣ смутное пониманіе, но никогда не знакомятъ насъ опредѣлительно съ чувствами, породившими ихъ. Кто хочетъ знать, что̀ значитъ обжогъ, долженъ положить руку въ огонь; видъ обожженнаго человѣка для этого недостаточенъ, а наименѣе достаточно, когда о свойствѣ огня мы узнаемъ только по слуху или изъ книгъ. Люди, живущіе у сѣвернаго полюса общества, не имѣютъ никакого понятія о той легкости, съ которою сердца воспламеняются въ жаркомъ климатѣ французской société, или еще менѣе о томъ, какъ страшно въ іюльскіе дни разгорячаютъ головы безумнѣйшіе лучи солнца. Когда мы слышимъ, какъ они кричатъ тамъ, и видимъ, какія рожи корчатъ они, когда этотъ

жаръ охватываетъ ихъ мозгъ и сердце, тогда мы, нѣмцы, совсѣмъ изумляемся, и покачиваемъ головою, и называемъ все это противоестественностью или даже безуміемъ.

Какъ мы, нѣмцы, не можемъ понять въ произведеніяхъ французскихъ писателей безпрестанную «бурю и натискъ» страсти, такъ для французовъ непонятна та спокойная задушевность, та жизнь среди грёзъ, полная воспоминаній и предчувствій, которая постоянно выступаетъ наружу даже въ самыхъ страстныхъ произведеніяхъ нѣмецкой поэзіи. Люди, которые думаютъ только о настоящемъ днѣ, только настоящему дню придаютъ высшее значеніе и вслѣдствіе этого управляются съ нимъ съ изумительнѣйшею увѣренностью — эти люди не понимаютъ образа чувствованій народа, у котораго есть только вчера и завтра, но нѣтъ сегодня, который постоянно вспоминаетъ о прошедшемъ и постоянно чувствуетъ будущее, но никогда не умѣетъ понять настоящее, какъ въ любви, такъ и въ политикѣ. Съ удивленіемъ глядятъ они на насъ, нѣмцевъ, которые часто цѣлыхъ семь лѣтъ съ мольбой смотримъ въ голубые глаза возлюбленной, и уже послѣ того осмѣливаемся обнять ея станъ. Они смотрятъ на насъ съ удивленіемъ, когда мы сперва основательно проштудируемъ всю исторію французской революціи, со всѣми комментаріями, и выжидаемъ появленія въ свѣтъ послѣднихъ дополнительныхъ томовъ, прежде чѣмъ перевести эту работу на нѣмецкій языкъ, прежде чѣмъ сдѣлать роскошное изданіе человѣческихъ правъ, съ посвященіемъ королю баварскому...

«О, песъ, песъ, въ тебя дьяволъ болѣзнь занесъ; ты проклятъ на вѣчные дни, отъ твоего укуса Господь меня сохрани; аминь!»

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Сегодня утромъ, любезнѣйшій другъ, я въ удивительномъ мягкомъ настроеніи. Весна очень странно дѣйствуетъ на меня. Днемъ я ошеломленъ, и душа моя дремлетъ. Но ночью я нахожусь въ такомъ возбужденномъ состояніи, что засыпаю только къ утру, и тутъ охватываютъ меня мучительно восхитительнѣйшіе сны. О, болѣзненное счастье, какъ грустно прижимало ты меня къ сердцу еще за нѣсколько часовъ! Мнѣ снилась она, та, которую я не хочу и не долженъ любить, и страсть которой все-таки надѣляетъ меня тайнымъ блаженствомъ. Это было въ ея сель-

скомъ домикѣ, въ маленькой, погруженной въ сумерки комнатѣ, гдѣ дикія олеандровыя деревья переросли окно балкона. Окно было отворено, и свѣтлый мѣсяцъ глядѣлъ къ намъ въ комнату, и бросалъ свои серебряные лучи на ея бѣлыя руки, обвившія меня съ такою любовью. Мы молчали и думали только о нашей сладкой несчастной долѣ... На стѣнахъ двигались тѣни деревьевъ, цвѣты которыхъ все сильнѣе и сильнѣе благоухали. По саду звучали сперва въ отдаленіи, потомъ ближе, звуки скрипки, протяжные, медленные звуки, то печальные, то добродушно веселые, порою похожіе на тоскливое рыданіе, порою сердитые, но постоянно милые, прекрасные и правдивые... «Кто это?» прошепталъ я. И она отвѣчала: «это мой братъ играетъ на скрипкѣ». Но скоро скрипка умолкла, и вмѣсто ея мы услышали расплывавшіеся въ постепенномъ замираніи звуки флейты, и они звучали такою мольбою, они будто сочились кровью, и такая таинственная жалоба слышалась въ нихъ, что душа наполнялась безумнымъ ужасомъ, что въ голову приходили мысли о самыхъ страшныхъ вещахъ, о жизни безъ любви, о смерти безъ воскресенія, о слезахъ, которыхъ нельзя выплакать... «Кто это?»—тихо прошепталъ я. И она отвѣчала: «это мой мужъ играетъ на флейтѣ».

Дорогой другъ, пробужденіе еще хуже, чѣмъ сновидѣніе.

Какъ счастливы французы! Они никогда не грезятъ. Объ этомъ я получилъ самое точное свѣдѣніе, и этимъ обстоятельствомъ объясняется также, почему они съ такою недремлющею увѣренностью ведутъ днемъ всѣ свои дѣла и, какъ въ искусствѣ, такъ и въ жизни, не предаются смутнымъ, носящимся въ призрачномъ туманѣ, мыслямъ и чувствамъ. Въ трагедіяхъ нашихъ великихъ нѣмецкихъ писателей грёзы играютъ важную роль, а французскіе трагическіе писатели не имѣютъ о нихъ ни малѣйшаго понятія. Вообще, мечтательность незнакома имъ. Если въ новыхъ французскихъ пьесахъ и встрѣчается кое-что въ этомъ родѣ, то оно не соотвѣтствуетъ природнымъ свойствамъ ни писателя, ни публики, а только заимствовано у нѣмцевъ, можетъ-быть, жалкимъ образомъ только украдено у нихъ. Потому что французы совершаютъ плагіаты не только мыслей, они берутъ у насъ не только поэтическіе фигуры и образы, идеи и мнѣнія, но крадутъ также у насъ ощущенія, настроенія, душевныя состоянія, совершаютъ плагіаты чувствъ. Это особенно замѣтно тогда, когда нѣкото-

[illegible] изъ нихъ [illegible] выражаютъ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Шеллинга.

За [illegible] исключеніями, французы не могутъ [illegible] отъ того, что даже ихъ [illegible] [illegible] все больше или меньше матеріалисты, смотря по тому, въ большей или меньшей степени получили они французское воспитаніе, которое есть продуктъ матеріалистической философіи. Вслѣдствіе этого, писатели ихъ лишены наивности, задушевности, способности познавать посредствомъ наблюденій и [illegible]ія себя наблюдаемымъ предметомъ. У нихъ есть только размышленіе, страстность и сентиментальность.

Да, мнѣ хочется здѣсь же высказать мнѣніе, которое было бы полезно для произнесенія приговора надъ произведеніями многихъ нѣмецкихъ писателей: сентиментальность есть продуктъ матеріализма. Дѣло въ томъ, что матеріалистъ носитъ въ душѣ смутное сознаніе, что въ мірѣ, однако, не все матерія; если близорукій умъ его и заставляетъ его видѣть матерію во всѣхъ вещахъ, то чувство возстаетъ противъ этого; въ него прокрадывается иногда тайная потребность признавать въ корнѣ вещей и нѣчто духовное; и это смутное стремленіе и смутная потребность порождаютъ ту неясную чувствительность, которую мы называемъ сентиментальностью. Сентиментальность есть отчаяніе матеріи, которая не удовлетворяется сама собою и мечтательно, неопредѣленнымъ чувствомъ, стремится къ чему-нибудь лучшему. И въ самомъ дѣлѣ, я убѣдился, что именно сентиментальные авторы у себя дома, или когда вино развязывало имъ языкъ, выкладывали наружу свой матеріализмъ самыми рѣзкими непристойностями. Сентиментальный же тонъ, особенно когда онъ приправленъ патріотическими, нравственно-религіозными идейками, считается въ массѣ публики признакомъ прекрасной души!

Франція — страна матеріализма, онъ обнаруживается во всѣхъ явленіяхъ здѣшней жизни. Нѣкоторые даровитые умы стараются, правда, вырвать его съ корнями, но эти попытки влекутъ за собою еще болѣе вредныя послѣдствія. Въ разрыхленную почву падаютъ сѣмена тѣхъ спиритуалистическихъ лжеученій, ядъ которыхъ самымъ неисцѣлимымъ образомъ ухудшаетъ соціальное положеніе Франціи.

Съ каждымъ днемъ во мнѣ усиливается страхъ при мысли о кризисахъ, которые можетъ произвести это соціальное положеніе Франціи; если-бъ французы хоть немного думали о *будущности*, они бы ни на минуту не могли спокойно на-

аждаться своимъ существованіемъ. Да и дѣйствительно
и никогда не наслаждаются имъ спокойно. Они не сидятъ
комфортомъ на пирѣ жизни, но поспѣшно проглатываютъ
немъ вкусныя кушанья, поспѣшно вливаютъ себѣ въ
рло сладкій напитокъ и никогда не могутъ безмятежно
едаваться житейскимъ наслажденіямъ. Они напоминаютъ
нѣ ту старую картинку въ нашей домашней Библіи, на
торой дѣти Израиля, передъ выступленіемъ изъ Египта,
ершаютъ праздникъ Пасхи и ѣдятъ своихъ агнцевъ, стоя,
всѣмъ готовые въ дорогу и съ посохами въ рукахъ. Если
мъ, въ Германіи, житейскія наслажденія даны гораздо
уднѣе, то зато мы надѣлены возможностью пользоваться
и съ самымъ комфортнымъ спокойствіемъ. Наши дни
ользятъ гладко, какъ волосъ, который тащатъ по молоку.
Любезнѣйшій Левальдъ, это сравненіе сдѣлано не мной,
однимъ раввиномъ; я недавно прочелъ его въ одномъ
рникѣ раввинской поэзіи, гдѣ авторъ сравниваетъ жизнь
аведника съ волосомъ, который тащатъ черезъ молоко.
ачала меня немного стошнило отъ этого сравненія, по-
му что для моего желудка самое тошнотворное, когда я,
моимъ утреннимъ кофе, нахожу въ молокѣ волосъ. А
тъ еще длинный волосъ, который тянется тихо и гладко,
къ жизнь праведника! Но это моя идіосинкразія; я хочу
что бы то ни стало привыкнуть къ этому сравненію и
ду примѣнять его при каждомъ удобномъ случаѣ. Писа-
ль не долженъ вполнѣ подчиняться своей субъективности,
ъ долженъ быть въ состояніи писать все, что̀ угодно,
къ бы плохо ему ни приходилось отъ этого.

Жизнь нѣмца похожа на волосъ, который тянутъ по мо-
ку. Да, это сравненіе было бы еще болѣе вѣрно, если бы
азали: нѣмецкій народъ похожъ на косу изъ тридцати
ліоновъ вмѣстѣ сплетенныхъ волосъ, безмятежно плаваю-
ую въ большомъ горшкѣ молока. Половину этого образа
могъ бы удержать и французскую жизнь сравнить съ
ршкомъ молока, куда ринулись сотни тысячъ мухъ, изъ
торыхъ каждая хочетъ выкарабкаться на спинѣ другой, и
торыя, наконецъ, все-таки погибаютъ всѣ, за исключе-
іемъ весьма немногихъ, сумѣвшихъ случайно или съ по-
щью ума добраться до края горшка, и ползающихъ тамъ
а сушѣ, но съ мокрыми крыльями.

Я имѣю особенныя основанія высказывать вамъ только не-
огія соображенія о соціальномъ положеніи Франціи; но
разрѣшатся запутанныя усложненія, этого не можетъ

предугадать ни одинъ человѣкъ. Можетъ-быть, Франція близка къ страшной катастрофѣ. Тѣ, которые начинаютъ революцію, становятся обыкновенно ея жертвами, и эта участь постигаетъ, можетъ-быть, народы точно такъ же, какъ отдѣльныхъ индивидуумовъ. Французскій народъ, начавшій великую революцію Европы, можетъ-быть, погибнетъ, между тѣмъ какъ послѣдующіе народы пожнутъ плоды его начинаній.

Но я надѣюсь, что мои предположенія ошибочны. Французскій народъ—кошка, которая, падая даже съ самой опасной вышины, никогда не сломитъ себѣ шеи, а напротивъ того, сейчасъ же снова станетъ на ноги.

Собственно говоря, любезный Левальдъ, я не знаю, правда ли, что кошки всегда падаютъ на четыре лапы и поэтому никогда не причиняютъ себѣ вреда, какъ мнѣ разсказывали, когда я еще былъ ребенкомъ. Въ ту пору я сейчасъ же захотѣлъ сдѣлать опытъ, взлѣзъ съ нашею кошкою на крышу и сбросилъ ее оттуда на улицу. Но случайно, мимо нашего дома въ это время проѣзжалъ казакъ; бѣдная кошка попала какъ разъ на остріе его пики, и онъ весело поѣхалъ дальше съ проткнутымъ насквозь животнымъ.— Если дѣйствительно правда, что кошки всегда падаютъ на ноги, не причиняя себѣ вреда, то имъ бы слѣдовало, однако, въ такихъ случаяхъ беречься казачьихъ пикъ.

Въ прошедшемъ письмѣ моемъ я высказалъ, что не политическое положеніе Франціи причина тому, что комедія въ ней поставлена въ болѣе благопріятныя условія, чѣмъ въ Германіи. То же самое должно сказать и о трагедіи. Да, я рѣшаюсь утверждать, что политическое положеніе Франціи даже вредно для процвѣтанія французской трагедіи. Трагическій писатель долженъ имѣть вѣру въ геройство, что совершенно невозможно въ странѣ, гдѣ господствуютъ свобода печати, представительное правленіе и буржуазія. Ибо свобода печати, ежедневно освѣщая самымъ дерзкимъ образомъ человѣческія стороны героя, лишаетъ его чрезъ это благодѣтельнаго тумана, который обезпечиваетъ ему слѣпое почтеніе народа и поэта. Не хочу и упоминать о томъ, что республиканизмъ во Франціи пользуется свободою печати для того, чтобы насмѣшкою или клеветою подавлять всѣ, выходящія изъ ряда, величины и до основанія истреблять всякое восторженное поклоненіе личностямъ. Теперь же эта страсть къ опозоренью сильно поддерживается такъ-называемымъ представительнымъ правленіемъ, тою системою *фикцій*, которая скорѣе вредитъ, чѣмъ приноситъ пользу

дѣлу свободы, и не допускаетъ появленія великихъ личностей ни въ народѣ, ни на тронѣ. Потому что эта система, это издѣвательство надъ истиннымъ представительствомъ національныхъ интересовъ, эта смѣсь мелкихъ избирательныхъ происковъ, недовѣрія, сплетничества, публичнаго нахальства, тайной продажности и офиціальной лжи — все это деморализуетъ государей такъ же сильно, какъ и народы. Тутъ короли должны играть комедію, на ничего незначащую болтовню отвѣчать еще менѣе значащими общими мѣстами, милостиво улыбаться своимъ врагамъ, жертвовать своими друзьями, дѣйствовать всегда не прямо и вѣчнымъ самоотреченіемъ убивать въ своей груди всѣ свободныя, великодушныя и энергическія движенія царственнаго героизма. Но этимъ умаленіемъ всякаго величія и радикальнымъ истребленіемъ героизма мы особенно обязаны буржуазіи, этому сословію, которое, вслѣдствіе паденія родовой аристократіи, добилось во Франціи господства и доставило побѣду во всѣхъ сферахъ жизни своимъ узкимъ торгашескимъ наклонностямъ. Пройдетъ еще немного времени, и всѣ героическія мысли и чувства должны будутъ если не совсѣмъ погаснуть здѣсь, то по крайней мѣрѣ сдѣлаться посмѣшищемъ. Боже меня сохрани желать возвращенія стараго правленія дворянскихъ привилегій,—потому что оно было не что иное, какъ покрытая лакомъ гнилость, нарумяненный и раздушенный трупъ, который слѣдовало бы или спокойно положить въ гробъ, или насильственно зарыть въ яму, въ случаѣ, если бы онъ захотѣлъ продолжать свою безотрадную призрачную жизнь и черезчуръ упорно противиться своему погребенію. Но новое правленіе, заступившее мѣсто стараго, еще гораздо фатальнѣе; и еще отвратительнѣе должны дѣйствовать на насъ эта нелакированная грубость, эта жизнь безъ благоуханія, это суетливое денежное рыцарство, эта національная гвардія, этотъ вооруженный страхъ, который заколетъ тебя интеллигентнымъ штыкомъ, если ты станешь утверждать, что управленіе міромъ должно принадлежать не мелкому уму счетчика, не способности дѣлать расчеты и вычисленія, а генію, красотѣ, любви и силѣ.

Люди мысли, такъ неутомимо подготовлявшіе революцію XVIII столѣтія, покраснѣли бы, если бы увидѣли для [illegible] людей они работали; если бы увидѣли, какъ корыстные строитъ свои жалкія избушки на мѣстѣ разрушенныхъ дворцовъ, и какъ изъ этихъ избушекъ вырастаетъ [illegible]мъ новая аристократія, которая, еще плачевнѣе,

чѣмъ первая, не старается оправдать свое существованіе хотя бы идеею, идеальною вѣрою въ живучесть добродѣтели, но полагаетъ главною цѣлью своею тѣ пріобрѣтенія, которыми люди обыкновенно бываютъ обязаны мелочной устойчивости, если не самымъ грязнымъ порокамъ.

Если смотрѣть на эту новую аристократію пристально, то нельзя не найти аналогіи между нею и прежнею аристократіею, какою именно эта послѣдняя выказала себя незадолго до своей кончины. Родовое преимущество опиралось въ то время на документы, которыми доказывалось число предковъ, а не на нравственное превосходство ихъ. Эти документы были какъ бы родовыми бумажными деньгами, утверждавшими за дворянствомъ Людовика XV и Людовика XVI его цѣнность и классифицировавшими ихъ, смотря по различнымъ степенямъ значенія, точно такимъ же образомъ, какъ нынѣшнія торговыя бумажныя деньги даютъ значеніе промышленному сословію въ царствованіе Людовика Филиппа и ставятъ членовъ его въ тотъ или другой классъ. Оцѣнку цѣнности и опредѣленіе класса, соотвѣтственно праву, которое дается бумажнымъ документамъ, принимаетъ здѣсь на себя торговая биржа, дѣйствующая въ этомъ случаѣ съ тою же добросовѣстностью, съ которою въ прошедшемъ столѣтіи присяжный геральдикъ разбиралъ дипломы, предъявлявшіеся дворяниномъ, какъ доказательство его привилегированности. Эти денежные аристократы, несмотря на то, что они, подобно прежнимъ родовымъ аристократамъ, образуютъ іерархію, въ которой одинъ всегда считаетъ себя выше другого, имѣютъ все-таки извѣстный esprit de corps; въ опасныхъ случаяхъ они солидарны между собой; когда дѣло идетъ о спасеніи чести корпораціи, они приносятъ жертвы, и, какъ я слышалъ, ими основываются даже благотворительныя учрежденія для разорившихся членовъ ихъ сословія.

Сегодня я озлобленъ, любезный другъ, и не признаю даже духа благотворительности, который новое дворянство выказываетъ больше, чѣмъ старое. Я говорю «выказываетъ», потому что эта благотворительность не боится свѣта и больше всего любитъ являться людямъ при яркомъ сол помъ освѣщеніи. Въ нынѣшнемъ денежномъ дворянствѣ благотворительность составляетъ похвальную добродѣт примѣненіе которой, однако, оскорбляетъ наши чувств которая иногда кажется намъ рафинированнымъ на ствомъ. О, я ненавижу милліонеровъ благотворител

ещe больше, чѣмъ богатаго скрягу, который боязливо прячетъ подъ нѣсколько замковъ свои сокровища. Онъ оскорбляетъ насъ меньше, чѣмъ благотворитель, который выставляетъ на показъ свои богатства, пріобрѣтенныя эксплоатаціею нашихъ нуждъ и потребностей, и бросаетъ намъ изъ нихъ нѣсколько копеекъ въ видѣ милостыни.

ПИСЬМО ПЯТОЕ.

Мой сосѣдъ, старый гренадеръ, сидитъ сегодня въ задумчивости передъ дверью своего дома, по временамъ онъ начинаетъ пѣть одну изъ своихъ старыхъ бонапартистскихъ пѣсенъ, но голосъ его обрывается отъ внутренняго волненія, глаза его красны, и по всему видно, что старикъ плакалъ.

Но вчера вечеромъ онъ былъ у Франкони и видѣлъ тамъ аустерлицкую битву. Въ полночь онъ ушелъ изъ Парижа, и воспоминанія такъ сильно овладѣли его душою, что онъ всю ночь проходилъ какъ лунатикъ и, къ своему собственному удивленію, пришелъ нынче утромъ въ деревню. Онъ объяснилъ мнѣ ошибки, замѣченныя имъ въ пьесѣ, потому что онъ самъ былъ при Аустерлицѣ, гдѣ было такъ холодно, что ружье примерзало къ его рукамъ; у Франкони же была такая жара, что онъ едва могъ высидѣть. Дымомъ пороха онъ остался доволенъ, также и запахомъ лошадей, но утверждалъ, что при Аустерлицѣ лошади кавалеріи не были такъ отлично выдрессированы. Правильно ли были представлены маневры инфантеріи, этого онъ не могъ съ точностью рѣшить, потому что въ аустерлицкомъ, какъ и во всякомъ другомъ, сраженіи дымъ пороха былъ такъ силенъ, что едва можно было различать происходившее въ самомъ близкомъ разстояніи. Дымъ же у Франкони, по словамъ старика, удался отлично и такъ пріятно подѣйствовалъ на его грудь, что онъ вылѣчился отъ своего кашля.—«А императоръ?»—спросилъ я его. «Императоръ,—отвѣчалъ старикъ:—совсѣмъ не измѣнился; онъ былъ тотъ же, что и прежде, въ своемъ сѣромъ сюртукѣ и треугольной шляпѣ, и сердце забилось въ моей груди. Ахъ, императоръ! — прибавилъ старикъ.— Онъ Богъ знаетъ, какъ я его люблю! Не разъ въ этой войнѣ я ходилъ за него въ огонь, и даже послѣ смерти я хочу пойти за него въ огонь!»

Послѣднія слова Рику — такъ звали старика—произнесъ отвратительно мрачнымъ тономъ; уже много разъ до этого онъ повѣрялъ меня, что за своего императора попадетъ въ

адъ. Сегодня я присталъ къ нему съ настоятельною просьбою разъяснить мнѣ эти загадочныя слова, и вотъ какую страшную исторію онъ разсказалъ мнѣ.

Въ то время, когда Наполеонъ увезъ папу Пія VII изъ Рима и заточилъ его въ высокій, горный замокъ Савоны, Рику принадлежалъ къ отряду гренадеровъ, державшихъ папу подъ карауломъ. Сначала Пію давали нѣкоторыя льготы; онъ могъ во всякое время безпрепятственно оставлять свои комнаты и отправляться въ часовню замка, гдѣ онъ каждый день самъ служилъ обѣдню. Проходя чрезъ большую залу, гдѣ императорскіе гренадеры стояли на стражѣ, папа каждый разъ протягивалъ къ нимъ руки и благословлялъ ихъ. Но однажды утромъ гренадеры получили положительное приказаніе — строже, чѣмъ до тѣхъ поръ, стеречь дверь папскихъ комнатъ и не позволять папѣ проходить чрезъ большую залу. Къ несчастію, выполненіе этого приказанія выпало именно на долю Рику, который, какъ бретонецъ родомъ, былъ, слѣдовательно, архикатоликъ и въ плѣненномъ папѣ чтилъ намѣстника Христа. Бѣдный Рику стоялъ на караулѣ передъ дверью папы, когда тотъ по обыкновенію направился черезъ большую залу въ часовню для служенія обѣдни. Но Рику загородилъ ему дорогу и объявилъ о полученномъ приказаніи не пропускать св. отца. Напрасно нѣкоторые священники, сопровождавшіе папу, старались усовѣстить гренадера и объяснить ему, какое преступленіе, какой грѣхъ, какое проклятіе онъ навлекалъ на себя тѣмъ, что препятствовалъ его святѣйшеству, верховному владыкѣ церкви, служить обѣдню... Но Рику оставался непоколебимымъ, онъ все ссылался на невозможность нарушить приказаніе, и когда папа, несмотря на это, захотѣлъ двинуться впередъ, Рику рѣшительнымъ тономъ закричалъ: «Au nom de l'empereur!»—и, держа передъ собою штыкъ, заставилъ его святѣйшество повернуть назадъ. Черезъ нѣсколько дней строгое приказаніе было снова отмѣнено, и папа получилъ дозволеніе снова служить обѣдню и проходить для этого чрезъ большую залу. Теперь онъ попрежнему сталъ благословлять всѣхъ присутствующихъ, кромѣ бѣднаго Рику, на котораго онъ смотрѣлъ съ тѣхъ поръ всегда очень и карательно и къ которому поворачивался спиной самое время, когда къ другимъ протягивалъ благую руку. «А между тѣмъ,—такъ заключилъ свою историю старый инвалидъ:—я вѣдь не могъ ствовать, я получилъ приказаніе, я долженъ

ваться императору, а ради его приказанія, да проститъ мнѣ Богъ, я бы проткнулъ штыкомъ кого угодно!..»

Я увѣрилъ бѣдняка, что за всѣ грѣхи великой арміи отвѣтственность лежитъ на императорѣ, въ чемъ, однако, для него нѣтъ опасности, такъ какъ ни одинъ чортъ въ аду не посмѣетъ поднять руку на Наполеона. Старикъ охотно согласился со мною и сталъ разсказывать, по обыкновенію со своимъ болтливымъ воодушевленіемъ, о великолѣпіи имперіи, того времени, когда все такъ блистало золотомъ и процвѣтало, между тѣмъ какъ въ теперешнее время весь міръ имѣетъ такой увядшій и безцвѣтный видъ.

Но дѣйствительно ли время имперіи во Франціи было такъ прекрасно и надѣляло ее счастьемъ въ такой степени, какъ это хвастливо увѣряютъ эти бонапартисты, большіе и маленькіе, начиная отъ инвалида Рику и до герцогини Абрантесъ? Не думаю. Поля лежали невоздѣланными, а людей водили на бойню. Повсюду слезы матерей и опустѣніе домовъ. Но эти бонапартисты похожи на того пьянаго нищаго, который остроумно замѣтилъ, что пока онъ трезвъ, его квартира остается жалкою хижиной, жена ходитъ въ лохмотьяхъ, а дитя лежитъ больное и голодное; но чуть только онъ выпьетъ нѣсколько рюмокъ водки, какъ вся эта картина нищеты внезапно измѣняется: хижина его превращается въ дворецъ; жена дѣлается разряженною принцессой, а дитя улыбается ему, какъ самое упитанное здоровье. Когда его бранили за скверное хозяйство, онъ неизмѣнно увѣрялъ, что дай ему только вдоволь водки, и все въ его домѣ тотчасъ же приметъ блестящій видъ. Для бонапартистовъ водку замѣняли слава, честолюбіе и жажда завоеваній, до того опьянявшія ихъ, что они не видѣли въ настоящемъ свѣтѣ положенія дѣлъ во время имперіи, и теперь, каждый разъ, какъ слышалась жалоба на дурныя времена, восклицали: «Все это сейчасъ измѣнилось бы, Франція начала бы блистать и процвѣтать, если бы намъ опять, какъ прежде, давали нить ордена, эполеты, contributions volontaires, испанскія картины, герцогства — и все это полными чашами!»

Какъ бы то ни было, но не только старые бонапартисты, а и масса народа охотно убаюкиваетъ себя этими иллюзіями, и дни времени имперіи—поэзія этихъ людей, поэзія, составляющая притомъ оппозицію умственной трезвости побѣдившей буржуазіи. Героизмъ императорскаго господства—единственный героизмъ, находящій еще отголосокъ въ сердцѣ

французовъ, и Наполеонъ—единственный герой, въ котораго они еще вѣрятъ.

Если вы, любезный другъ, сообразите это, то поймете и значеніе Наполеона для французскаго театра, и успѣхъ, съ которымъ нынѣшніе драматическіе писатели такъ часто эксплоатируютъ этотъ единственный въ пустынѣ индиферентизма источникъ воодушевленія. Когда въ маленькихъ водевиляхъ бульварныхъ театровъ приведена сцена изъ времени имперіи, или еще самъ императоръ выходитъ на подмостки, то какъ бы плоха ни была пьеса, въ аплодисментахъ недостатка нѣтъ, и это потому, что душа зрителей участвуетъ въ игрѣ, и они аплодируютъ своимъ собственнымъ чувствамъ и воспоминаніямъ. Въ куплетахъ этихъ водевилей попадаются слова, которыя или ошеломляютъ мозгъ француза, какъ ударъ палки, или дѣйствуютъ, какъ запахъ лука, на слезныя железы. Публика ликуетъ, плачетъ, горитъ при словахъ: Aigle français, soleil d'Austerlitz, Jena, les pyramides, la grande armée, l'honneur, la vieille garde, Napoléon... А что дѣлается съ нею, когда онъ самъ, онъ, l'homme, выходитъ на сцену въ концѣ пьесы, какъ deus ex machina! На головѣ его все та же треугольная шляпа, руки такъ же сложены на спинѣ, и говоритъ онъ сколько возможно лаконичнѣе. Онъ никогда не поетъ. Я не видѣлъ ни одного водевиля, въ которомъ бы Наполеонъ пѣлъ. Всѣ другіе поютъ. Мнѣ приходилось даже слышать, какъ пѣлъ старый Фрицъ, Frédéric le grand, и пѣлъ онъ притомъ такіе скверные стихи, что ихъ почти можно было принять за его собственные.

Дѣйствительно, стихи этихъ водевилей скверны до смѣшного; но этого нельзя сказать о мелодіи ихъ, особенно въ тѣхъ пьесахъ, гдѣ старые инвалиды воспѣваютъ полководческое величіе и горестный конецъ императора. Граціозная вѣтренность водевиля переходитъ тутъ въ элегически сентиментальный тонъ, который могъ бы растрогать даже нѣмца. Дѣло въ томъ, что къ скверному тексту такихъ complaintes примѣняютъ тѣ извѣстныя мелодіи, которыя народъ употребляетъ въ своихъ наполеоновскихъ пѣсняхъ. Эти пѣсни звучатъ здѣсь повсюду; можно подумать, что онѣ носятся въ воздухѣ, или что птицы распѣваютъ ихъ на вѣтвяхъ деревьевъ. У меня не выходятъ изъ головы эти элегически сентиментальныя мелодіи, которыя пѣли не разъ при мнѣ, со всевозможными аккомпаниментами и всяческими варіаціями, молодыя дѣвушки, маленькія дѣти, изувѣченные солдаты. Са-

мымъ трогательнымъ образомъ пѣлъ ихъ слѣпой инвалидъ въ діепской цитадели. Домъ, въ которомъ я жилъ, плотно примыкалъ къ цитадели, въ томъ мѣстѣ, гдѣ она выступаетъ въ море, и тутъ, на темной стѣнѣ, просиживалъ старикъ цѣлыя ночи, и пѣлъ про подвиги императора Наполеона. Море какъ будто подслушивало его пѣсни, слово gloire всегда торжественно проносилось по волнамъ, которыя по временамъ переставали шумѣть, словно охваченныя удивленіемъ, и потомъ снова тихо пускались въ свое путешествіе... Когда онѣ приплывали на Святую Елену, то, можетъ-быть, съ почтеніемъ кланялись трагическому утесу, или шумѣли съ болѣзненнымъ негодованіемъ. Много ночей стоялъ я у окна и слушалъ его, стараго діепскаго инвалида. Я не могу позабыть его. Я теперь все еще вижу, какъ онъ сидитъ на старой стѣнѣ, между тѣмъ какъ мѣсяцъ выходитъ изъ темныхъ тучъ и тоскливо освѣщаетъ его, Оссіана времени имперіи.

Какое значеніе Наполеонъ будетъ когда-нибудь имѣть для французской сцены—это невозможно опредѣлить. До сихъ поръ императоръ появлялся только въ водевиляхъ или пьесахъ съ великолѣпной постановкой. Но высокій образъ этотъ будетъ присвоенъ, какъ законная собственность, богинею трагедіи. Вѣдь похоже на то, какъ будто Фортуна, такъ чудно направлявшая его жизнь, предназначила его совершенно особеннымъ подаркомъ своей кузинѣ Мельпоменѣ. Трагическіе писатели всѣхъ временъ будутъ въ стихахъ и прозѣ прославлять судьбу этого человѣка; французскимъ же писателямъ долженъ быть особенно нуженъ этотъ герой, такъ какъ французскій народъ разорвалъ связь со всѣмъ своимъ прошедшимъ, питаетъ самую холодную симпатію, если не гадкую антипатію, къ героямъ феодальнаго и куртизанскаго времени Валуа и Бурбоновъ, и Наполеонъ, сынъ революціи, есть единственный великій образъ властителя, единственный царственный герой, которому новая Франція можетъ отдать всю свою душу.

Въ письмахъ моихъ я мимоходомъ замѣтилъ, что политическое положеніе французовъ не можетъ благопріятствовать процвѣтанію ихъ трагедіи. Когда они принимаются за разработку историческихъ сюжетовъ изъ среднихъ вѣковъ или временъ послѣднихъ Бурбоновъ, то никакъ не могутъ отрѣшиться отъ вліянія извѣстнаго духа партіи, и такимъ образомъ писатель уже заранѣе и помимо своего вѣдома составляетъ ново-либеральную оппозицію старому королю или

рыцарю, котораго онъ хотѣлъ прославить. Отсюда происходитъ дисгармонія, самымъ непріятнымъ образомъ дѣйствующая на нѣмца, не разорвавшаго еще фактически связи съ прошедшимъ, а тѣмъ болѣе на нѣмецкаго писателя, воспитавшагося на безпристрастіи художественнаго міросозерцанія Гёте. Только тогда, когда навѣки умолкнутъ послѣдніе звуки Марсельезы, писатель и публика во Франціи снова будутъ находить для себя надлежащее назиданіе въ герояхъ своей прежней исторіи. И если бы душа автора была даже очищена отъ всякой примѣси ненависти, все-таки слово его не нашло бы безпристрастнаго уха въ партерѣ, гдѣ сидятъ люди, не могущіе забыть кровавыхъ стычекъ своихъ съ роднею тѣхъ героевъ, которые драматизируютъ на сценѣ. Тѣ люди не могутъ съ особеннымъ удовольствіемъ смотрѣть на отцовъ, которые рубили на place de Grève головы сы-новьямъ. Такія вещи омрачаютъ чистое сценическое наслажденіе. Нерѣдко зрители до того несправедливо толкуютъ безпристрастіе автора, что обвиняютъ его въ антиреволюціонномъ образѣ мыслей. «Къ чему мнѣ это рыцарство, это фантастическое тряпье?»—восклицаетъ разсерженный республиканецъ и шлетъ проклятіе на автора, который, возвеличивая своими стихами героевъ стараго времени, обольщаетъ народъ и пробуждаетъ въ немъ симпатіи къ аристократизму.

Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ вещахъ, обнаруживается родственное сходство между французскими республиканцами и англійскими пуританами. Почти одинъ и тотъ же тонъ господствуетъ въ ихъ театральной полемикѣ, съ тою только разницею, что самые нелѣпые аргументы внушаются пуританамъ фанатизмомъ религіознымъ, а республиканцамъ политическимъ. Въ числѣ документовъ изъ кромвелевскаго періода есть одна политическая брошюра знаменитаго пуританина Принна, подъ заглавіемъ «Histriomastix» (напечатанная въ 1633 г.), изъ которой я для вашего увеселенія извлекаю слѣдующую выходку противъ театра:

«There is scarce one devil in hell, hardly a notorios sin or sinner upon earth, either of modern or ancient times, but hath some part or other in our stage-plays.

«O, that our players, our play-hounters would now consider, that the persons whose parts, whose sins and see, are even then yelling in the eternal flam for these particular sins of theyrs, even then, w are playing of these sins, these parts of theyrs c

Oh, that they would now remember the sighs, the groans, the tears, the anguish, weeping and gnashing of teeth, the crys and shrieks that these wickednesses cause in hell, whiles they are acting, applauding, committing and laughing at them in the playhouse».

ПИСЬМО ШЕСТОЕ.

Мой дорогой, нѣжно любимый другъ! У меня на душѣ такъ, какъ будто сегодня утромъ на моей головѣ надѣтъ вѣнокъ изъ маковыхъ цвѣтовъ, усыпляющій всю мою мыслительную способность. По временамъ я съ досадой встряхиваю головой, и тогда пробуждаются въ ней кое-какія мысли; но онѣ скоро снова ложатся и начинаютъ храпѣть взапуски. Остроты, эти блохи мозга, прыгающія между дремлющими мыслями, тоже оказываются не особенно рѣзвыми, и скорѣе сентиментальны и лѣнивы. Весенній ли воздухъ, или измѣненіе въ образѣ жизни произвели такое ошеломленіе головы? Здѣсь я ложусь каждый день въ постель въ девять часовъ вечера, не будучи утомленнымъ, сплю не тѣмъ здоровымъ сномъ, который сковываетъ всѣ члены человѣка, но цѣлую ночь ворочаюсь на постели въ какомъ-то полуснѣ, полномъ разныхъ грёзъ. Напротивъ того, въ Парижѣ, гдѣ я могъ ложиться только черезъ нѣсколько часовъ послѣ полночи, сонъ мой былъ точно желѣзный. Вѣдь только въ восемь часовъ мы вставали изъ-за стола, и затѣмъ отправлялись въ театръ. Докторъ Детмольдъ изъ Ганновера, проведшій прошедшую зиму въ Парижѣ и всегда ѣздившій съ нами въ театръ, поддерживалъ насъ въ бодрствующемъ состояніи даже тогда, когда пьесы имѣли усыпительное свойство. Мы много смѣялись, и критиковали, и злословили. Будьте спокойны, милѣйшій другъ, васъ оцѣнивали мы самымъ достойнымъ образомъ. Мы воздавали вамъ самую радостную похвалу.

Вы удивляетесь, что я такъ часто хожу въ театръ; вы знаете, что посѣщеніе театра не совсѣмъ принадлежитъ къ моимъ привычкамъ. Нынѣшнею зимою я изъ чистаго каприза воздерживался отъ салонной жизни, и для того, чтобъ друзья, у которыхъ я бываль рѣдко, не видѣли меня въ театрѣ, я обыкновенно занималъ мѣсто въ ложѣ авансцены, въ углу которой удобнѣе всего скрыть себя отъ глазъ пуб[illegible]и. Эти авансценныя ложи вообще мои любимыя мѣста. [illegible]ь нихъ видишь не только то, что разыгрывается на сценѣ, [illegible]о и то, что происходитъ за кулисами, тѣми кулисами, гдѣ

прекращается искусство и снова начинается милая натура. Когда на сценѣ разыгрывается предъ вами патетическая трагедія, а за кулисами въ то же самое время то тутъ, то тамъ, вы увидите что-нибудь изъ безалаберной комедьянтской жизни, то это напоминаетъ древнія изображенія на стѣнахъ, или фрески въ мюнхенской глиптотекѣ и многихъ итальянскихъ палаццо, гдѣ въ углахъ большихъ историческихъ картинъ помѣщены шутовскія арабески, веселыя шутки боговъ, вакханаліи и сатирическія идилліи.

Théatre Français я посѣщалъ очень рѣдко; въ этомъ зданіи есть для меня что-то пустынное, непріятное. Тутъ ходятъ еще привидѣнія древней трагедіи, съ кинжалами и кубками яду въ блѣдныхъ рукахъ; тутъ носится еще въ воздухѣ пудра классическихъ париковъ. Самое невыносимое состоитъ здѣсь въ томъ, что на этой классической почвѣ допускаются по временамъ причудливыя игры новой романтики, или что требованіямъ старой и молодой публики удовлетворяютъ смѣшеніемъ классическаго и романтическаго, что такимъ образомъ устраиваютъ какъ бы трагическое juste milieu. Эти французскіе писатели трагедій—эмансипированные рабы, которые все еще тащатъ за собою кусокъ старой классической цѣпи; тонкое ухо все еще слышитъ при каждомъ ихъ шагѣ бряцанье, какъ во время господства Агамемнона и Тальмы.

Я очень далекъ отъ того, чтобы безусловно осуждать старую французскую трагедію. Я уважаю Корнеля и люблю Расина. Оба они создали образцовыя произведенія, которыя будутъ стоять на вѣчныхъ постаментахъ въ храмѣ искусства. Но для театра время ихъ прошло, они выполнили свое призваніе передъ аристократическою публикой, которая любила считать себя наслѣдницею древняго героизма, или по крайней мѣрѣ не выказывала мѣщанскаго презрѣнія къ этому героизму. И во время имперіи герои Корнеля и Расина также могли еще разсчитывать на самую горячую симпатію, когда они разыгрывали свои роли передъ ложей великаго императора и партеромъ королей. Это время минуло, старая аристократія умерла, и Наполеонъ умеръ, и французскій тронъ сдѣлался не что иное, какъ обыкновенный деревянный стулъ, обтянутый краснымъ бархатомъ, и теперь царствуетъ буржуазія, царствуютъ герои Поль де-Кока и Евгенія Скриба.

Двуполый стиль и анархія вкуса, господствующіе теп въ Théatre Français, отвратительны. Большая часть и

водителей склоняются даже въ пользу натурализма, который для высокой трагедіи не годится точно такъ же, какъ голое подражаніе классическому пафосу. Вы, любезный Левальдъ, хорошо знаете, что̀ такое эта система натуральности, этотъ иффландіанизмъ, который нѣкогда свирѣпствовалъ въ Германіи и былъ побѣжденъ Веймаромъ, особенно благодаря вліянію Шиллера и Гёте. Такая система хочетъ распространиться и здѣсь, и ея приверженцы ратуютъ противъ метрической формы и декламаціонной читки. Если бы первая состояла исключительно изъ александринскихъ стиховъ, а вторая—изъ завываній древняго періода, то эти люди были бы правы, и для сцены было бы выгоднѣе употребленіе простой прозы и самаго обыкновеннаго, принятаго въ обществѣ, тона. Но въ такомъ случаѣ истинная трагедія должна погибнуть. Эта трагедія требуетъ ритма и отличной отъ общепринятаго тона декламаціи. По-моему, и то и другое необходимо почти во всѣхъ драматическихъ произведеніяхъ. По крайней мѣрѣ сцена никогда не должна быть банальнымъ повтореніемъ жизни, и ей слѣдуетъ выказывать эту жизнь въ извѣстномъ аристократическомъ облагороженіи, которое проявляется, если и не въ размѣрѣ и читкѣ, то во всякомъ случаѣ—въ основномъ тонѣ, во внутренней торжественности пьесы. Потому что театръ есть совершенно иной міръ, отдѣленный отъ нашего такъ, какъ сцена отдѣлена отъ партера. Между театромъ и дѣйствительностью лежатъ оркестръ, музыка и огненная полоса рампы. Дѣйствительность, перейдя черезъ царство звуковъ и переступивъ черезъ знаменательные огни рампы, является передъ нами на сценѣ просвѣтленная, какъ поэзія. Замирающимъ отголоскомъ отдается еще въ ней милая гармонія музыки, и она сказочно освѣщена таинственными лампами. Тутъ волшебные звуки и волшебный блескъ, которые прозаическая публика весьма легко принимаетъ за нѣчто сверхъестественное, тогда какъ они гораздо болѣе натуральны, чѣмъ обыкновенная натура; тутъ натура, облагороженная искусствомъ, возведенная на степень самой цвѣтущей божественности натура.

Лучшими изъ французскихъ трагическихъ писателей все еще остаются Александръ Дюма и Викторъ Гюго. Гюго я назвалъ послѣ Дюма потому, что его сценическая дѣятельность не такъ велика и богата результатами, несмотря на то, что по своему поэтическому значенію онъ стоитъ выше всѣхъ своихъ современниковъ по сю сторону Рейна. Я

отнюдь не желаю оспаривать присутствіе въ немъ драматическаго дарованія, какъ это дѣлаютъ многіе, которые съ коварною цѣлью постоянно прославляютъ его лирическое величіе. Онъ поэтъ и командуетъ поэзіею во всѣхъ ея формахъ. Драмы его заслуживаютъ такой же похвалы, какъ и его оды. Но на сценѣ поэтическій элементъ не производитъ такого впечатлѣнія, какъ риторическій, и упреки, дѣлаемые поэту въ случаѣ паденія его пьесы, должны быть съ большою справедливостью отнесены къ массѣ публики, которая къ наивнымъ натуральнымъ звукамъ, глубокомысленнымъ образамъ и психологическимъ тонкостямъ воспріимчива не такъ, какъ къ громкимъ фразамъ, неуклюжему завыванію страсти и закулиснымъ эффектамъ. Производить эти послѣдніе называется въ Парижѣ brûler les planches.

Во Франціи вообще Виктора Гюго не оцѣниваютъ вполнѣ по достоинству. Нѣмецкая критика и нѣмецкое безпристрастіе умѣютъ мѣрить его заслуги лучшимъ масштабомъ и воздавать ему болѣе свободную похвалу. Здѣсь же справедливой оцѣнкѣ этого писателя мѣшаетъ не только жалкая злоба бездарной критики, но и политическій духъ партій. Карлисты смотрятъ на него, какъ на отступника, который еще въ то время, когда лира его звучала послѣдними аккордами пѣсни о помазаніи Карла X, сумѣлъ настроить ее для гимна въ честь іюльской революціи. Республиканцы не вѣрятъ его преданности народному дѣлу и въ каждой фразѣ его чуютъ скрытую любовь къ дворянству и католицизму. Даже невидимая церковь сенъ-симонистовъ, которая всюду и вездѣ, и та противъ него, потому что она смотритъ на искусство, какъ на жречество, и требуетъ, чтобы каждое произведеніе поэта, живописца, ваятеля, музыканта—свидѣтельствовало о высшемъ призваніи своего автора, доказывало его священную миссію, имѣло цѣлью надѣленіе рода человѣческаго счастьемъ и красотою. Лучшія произведенія Виктора Гюго не выносятъ такого нравственнаго масштаба: они даже совершенно грѣшатъ противъ этихъ благородныхъ, но ложныхъ понятій сенъ-симонистской церкви. Я называю ихъ ложными, потому что, какъ вы знаете, я стою за автономію искусства; оно не должно находиться въ [illegible] ни у религіи, ни у политики, оно, какъ самъ [illegible] жить само себѣ послѣднею цѣлью. Тутъ встрѣчаемъ тѣми же самыми односторонними упреками, которыми дилось выслушивать уже Гёте отъ нашихъ набо дей,—и на Гюго, какъ на Гёте, отвсюду сыпл

ныя обвиненія, что онъ не выказываетъ никакого восторженнаго сочувствія къ идеальному, что въ немъ нѣтъ нравственнаго устоя, что онъ холодный эгоистъ и т. д. Къ этому присоединяется еще фальшивая критика, которая признаетъ недостаткомъ лучшее достоинство его—способность къ чувственному изображенію, и эти критики доказываютъ, что созданіямъ Гюго недостаетъ внутренней поэзіи, la poèsie intime, что для него самое главное — внѣшняя рисовка и краски, что онъ матеріалистъ, однимъ словомъ, нападаютъ на него именно за то, что составляетъ его похвальнѣйшее свойство—способность пластическаго выраженія.

И съ такою несправедливостью относятся къ нему не старые классики, нападавшіе на него только съ аристотелевскимъ оружіемъ и давно уже потерпѣвшіе пораженіе, но прежніе его соратники, часть романтической школы, совершенно порвавшая связь со своимъ литературнымъ знаменоносцемъ. Почти всѣ прежніе друзья отпали отъ него, и — нечего таить правду отпали по его собственной винѣ, оскорбленные тѣмъ эгоизмомъ, который при созданіи великихъ произведеній очень выгоденъ, но въ общественныхъ сношеніяхъ дѣйствуетъ очень неблагопріятно. Даже Сентъ-Бевъ не могъ долѣе ужиться съ нимъ; даже Сентъ-Бевъ, онъ, бывшій нѣкогда однимъ изъ самыхъ вѣрныхъ щитоносцевъ его славы, теперь порицаетъ его. Какъ въ Африкѣ, когда дарфурскій король совершаетъ торжественный выѣздъ, впереди его бѣжитъ панегиристъ, безпрерывно кричащій самымъ громкимъ голосомъ: «смотрите на буйвола, потомка буйвола, буйвола всѣхъ буйволовъ, всѣ остальные—быки, и только этотъ настоящій буйволъ!»—точно такъ же въ былое время, каждый разъ, какъ Викторъ Гюго выступалъ съ новымъ произведеніемъ, Сентъ-Бевъ бѣжалъ впереди его, и трубилъ, и прославлялъ буйвола поэзіи. Теперь это время минуло, Сентъ-Бевъ прославляетъ теперь обыкновенныхъ телятъ и лучшихъ коровъ французской литературы, голоса прежнихъ друзей молчатъ или бранятъ, и величайшій поэтъ Франціи никогда не будетъ оцѣненъ въ своемъ отечествѣ по достоинству.

Да, Викторъ Гюго величайшій поэтъ Франціи и, что очень много значитъ, онъ могъ бы занять мѣсто даже между первыми поэтами Германіи. У него много фантазіи и чувства, и при этомъ такое отсутствіе такта, какое можно встрѣтить только у нѣмцевъ, а отнюдь не у французовъ.

Его генію недостаетъ гармоніи, и онъ полонъ многихъ безвкусныхъ крайностей, какъ Граббе и Жанъ-Поль. Въ немъ нѣтъ того прекраснаго чувства мѣры, которому мы удивляемся въ классическихъ писателяхъ. Его муза, несмотря на свое великолѣпіе, связана какою-то нѣмецкою безпомощностью. О его музѣ можно бы сказать то, что говорятъ о красивыхъ англичанкахъ: у нея двѣ лѣвыхъ руки.

Александръ Дюма не такой великій поэтъ, какъ Гюго, но у него есть свойства, съ помощью которыхъ онъ можетъ сдѣлать на сценѣ гораздо больше, чѣмъ тотъ. Въ его распоряженіи находится та способность непосредственно выражать страсть, которую французы называютъ verve, и потомъ онъ больше французъ, чѣмъ Гюго, онъ симпатизируетъ всѣмъ добродѣтелямъ и порокамъ, современнымъ нуждамъ и тревогамъ своихъ соотечественниковъ, онъ восторженъ, горячъ, комедьянтенъ, благороденъ, легкомысленъ, хвастливъ, болтливъ; онъ настоящій сынъ Франціи, этой Гаскони Европы. Онъ говоритъ съ сердцами сердцемъ, и его понимаютъ, и ему апплодируютъ. Его голова — гостиница, куда по временамъ заѣзжаютъ хорошія мысли, но гдѣ онѣ никогда не останавливаются дольше, чѣмъ на одну ночь; очень часто она остается пустою. Ни одинъ писатель не надѣленъ драматическимъ талантомъ въ такой степени, какъ Дюма. Театръ—его настоящее призваніе. Онъ рожденъ драматическимъ писателемъ, и ему повинуются всѣ драматическіе сюжеты, находитъ ли онъ ихъ въ природѣ, или въ Шиллерѣ, Шекспирѣ и Кальдеронѣ. Во всѣхъ онъ находитъ новые эффекты, онъ переливаетъ старыя монеты для того, чтобы онѣ могли снова поступить въ живое обращеніе, и мы должны даже быть ему благодарными за кражи у прошедшаго, потому что ими онъ обогащаетъ настоящее. Одна несправедливая рецензія, одна, появившаяся на свѣтъ при печальныхъ обстоятельствахъ, статья въ «Journal des Dèbats», сильно повредила нашему бѣдному писателю въ глазахъ невѣжественной массы, приведя многія сцены изъ его трагедій и тутъ же поставивъ въ параллель поразительно схожія съ ними мѣста изъ иностранныхъ трагедій. Но ничего не можетъ быть глупѣе этого упрека въ плагіатѣ; въ искусствѣ не существуетъ шестой заповѣди, поэтъ можетъ брать вездѣ, гдѣ находитъ матеріалъ для своихъ произведеній, и даже присваивать цѣлыя колонны съ изваянными капителями имѣетъ онъ право, если только храмъ, кото

онъ подпираетъ ими, прекрасенъ. Это очень хорошо понималъ Гёте, а прежде него даже Шекспиръ. Ничего не можетъ быть глупѣе требованія, чтобы писатель всѣ свои сюжеты создавалъ самъ, потому что въ этомъ будто бы заключается оригинальность. Я помню басню, въ которой паукъ разговариваетъ съ пчелой и упрекаетъ ее, что она изъ тысячи цвѣтовъ собираетъ матеріалъ, изъ котораго приготовляетъ потомъ свои соты и медъ; «я же, — съ торжествомъ замѣчаетъ онъ:—дѣлаю всю мою ткань изъ оригинальныхъ нитокъ, которыя выпускаю изъ самого себя».

Статья Journal des Dèbats, какъ я только-что сказалъ, появилась на свѣтъ при печальныхъ обстоятельствахъ; именно, она была написана однимъ изъ тѣхъ молодыхъ поэтовъ, которые слѣпо повинуются приказаніямъ Виктора Гюго, и напечатана въ газетѣ, редакторы котораго ближайшіе друзья этого поэта. Гюго былъ настолько благороденъ, что не оспаривалъ появленіе статьи съ его вѣдома; ею онъ разсчитывалъ какъ разъ во-время нанести цѣлесообразный смертельный ударъ своему старому другу Дюма, какъ обыкновенно дѣлается между литературными друзьями. Дѣйствительно, на славу Дюма легъ съ тѣхъ поръ черный траурный покровъ, и многіе утверждали, что если снять этотъ покровъ, то подъ нимъ не окажется ничего. Но послѣ появленія такой драмы, какъ «Эдмундъ Кинъ», слава Дюма снова выступила съ блескомъ изъ этой темноты, и ею онъ снова доказалъ свой крупный драматическій талантъ.

Эта пьеса, которую, конечно, присвоила и нѣмецкая сцена, задумана и написана съ такою живостью, какой мнѣ еще никогда не случалось видѣть; тутъ отливка, новизна средствъ, которыя какъ бы сами предлагаютъ себя, фабула, сплетенія которой совершенно естественно выходятъ одно изъ другого, чувство, выходящее изъ сердца и говорящее сердцу, однимъ словомъ—созданіе. Если во внѣшностяхъ, касающихся костюмировки и мѣстности дѣйствія, Дюма, можетъ-быть, и дѣлаетъ небольшіе промахи, то въ цѣлой картинѣ, тѣмъ не менѣе, господствуетъ потрясающая правда: поэтъ перенесъ меня снова цѣликомъ въ старую Англію, и мнѣ казалось, что передо мною дѣйствительно стоитъ покойный Кинъ, котораго я такъ часто видѣлъ тамъ. Этой иллюзіи, конечно, способствовалъ и актеръ, игравшій роль Кина, несмотря на то, что его внѣшность, величавая наружность Фредерика Леметра такъ далеко не похожа на маленькую, приземистую фигуру покойнаго Кина. Но этотъ послѣдній

имѣлъ въ своей личности, а также и въ игрѣ, нѣчто такое, что я снова нахожу въ Фредерикѣ Леметрѣ. Между этими двумя актерами существуетъ удивительное сродство. Кинъ былъ одна изъ тѣхъ исключительныхъ натуръ, которыя поражающимъ движеніемъ тѣла, непостижимымъ звукомъ голоса и еще болѣе непостижимымъ выраженіемъ глазъ передаютъ не столько обыкновенныя простыя чувства, сколько все, что можетъ совершаться въ человѣческой груди необыкновеннаго, страннаго, сверхъестественнаго. То же самое надо сказать и о Фредерикѣ Леметрѣ; и онъ былъ тоже однимъ изъ тѣхъ страшныхъ фарсеровъ, при видѣ которыхъ Талія блѣднѣетъ отъ ужаса, а Мельпомена улыбается отъ блаженства. Кинъ былъ одинъ изъ тѣхъ людей, характеръ которыхъ нечувствителенъ ни къ какимъ соприкосновеніямъ съ цивилизаціею и которые созданы, не скажу изъ лучшаго, но совсѣмъ изъ иного матеріала, чѣмъ мы; это угловатые чудаки съ одностороннимъ дарованіемъ, но въ этой односторонности необычайные, стоящіе выше всего, окружающаго ихъ, полные той безграничной, неисповѣдимой, невѣдомой, дьявольски божественной мощи, которую мы называемъ демоническимъ. Болѣе или менѣе это демоническое встрѣчается во всѣхъ великихъ людяхъ дѣла или слова. Кинъ былъ совсѣмъ не многосторонній актеръ; онъ, правда, могъ играть много ролей, но во всѣхъ этихъ роляхъ игралъ самого себя. Этимъ, однако, онъ всегда являлъ намъ потрясающую правду, и несмотря на то, что съ тѣхъ поръ прошло десять лѣтъ, онъ все еще стоитъ передо мной, какъ Шейлокъ, Отелло, Ричардъ, Макбетъ, и не одно изъ темныхъ мѣстъ въ этихъ шекспировскихъ пьесахъ разъяснилъ онъ мнѣ вполнѣ своею игрою. Въ голосѣ его были модуляціи, обнаруживавшія цѣлую жизнь ужаса, въ глазахъ его сверкали огни, освѣщавшіе весь мракъ титанической души, въ внезапныхъ движеніяхъ его руки, ноги, головы было много такихъ внезапностей, которыя говорили больше, чѣмъ четырехтомные комментаріи Франца Горна.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ.

Вы знаете, любезный Левальдъ, что я не имѣ
говорить много и съ удовольствіемъ объ игрѣ ка
или, какъ выражаются торжественно, о дѣятель
стовъ. Но Эдмундъ Кинъ, о которомъ я упомина
идущемъ письмѣ и къ которому возвращаюсь

необыкновенный герой подмостковъ, и сознаюсь вамъ, что въ моемъ англійскомъ дневникѣ я не считалъ неумѣстнымъ, на ряду съ разборомъ рѣчей знаменитѣйшихъ парламентскихъ ораторовъ, помѣщать бѣглыя замѣтки о каждой роли Кина. Къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ многими изъ моихъ лучшихъ бумагъ пропалъ и этотъ дневникъ. Но мнѣ помнится, что въ Вандсбекѣ я читалъ вамъ изъ него кое-что объ изображеніи Киномъ Шейлока. Венеціанскій жидъ была первая героическая роль, въ которой я видѣлъ его. Я говорю героическая роль, потому что онъ игралъ ее не старымъ разбитымъ старикомъ, чѣмъ-то въ родѣ Шевы ненависти, какъ дѣлалъ нашъ Девріентъ, а героемъ. До сихъ поръ еще онъ стоитъ у меня передъ глазами, одѣтый въ черный шелковый кафтанъ, безъ рукавовъ и доходящій только до колѣнъ, вслѣдствіе чего исподнее платье кровяного цвѣта, падавшее до пятокъ, выступало тѣмъ рѣзче. Черная, съ широкими полями, но сплюснутая съ обѣихъ сторонъ войлочная шляпа, высокая тулья съ лентою кровяного цвѣта, покрываетъ голову, волосы которой такъ же, какъ и волосы бороды, длинные и какъ смоль черные, падаютъ локонами и составляютъ какъ будто страшную рамку для здорово-краснаго лица, изъ котораго выглядываютъ, наводя боязнь, два бѣлыхъ, жадныхъ глазныхъ яблока. Въ правой рукѣ онъ держитъ палку, служащую ему не столько опорою, сколько оружіемъ. Онъ опирается на нее только локтемъ лѣвой руки, и на этой лѣвой рукѣ лежитъ измѣннически задумчиво черная голова съ еще болѣе черными мыслями, въ то время, какъ онъ объясняетъ Бассаніо, что̀ надо понимать подъ употребительнымъ до сихъ поръ выраженіемъ «добрый человѣкъ». Разсказывая притчу о праотцѣ Іаковѣ и овцахъ Лавана, онъ чувствуетъ себя какъ бы запутавшимся въ своихъ собственныхъ словахъ и вдругъ прерываетъ рѣчь: «Ay, he was the third»; потомъ въ теченіе долгой паузы, онъ какъ будто обдумываетъ то, что̀ хочетъ сказать, зритель видитъ, какъ разсказъ мало-по-малу округляется въ его головѣ, и когда послѣ этого онъ вдругъ, какъ бы снова найдя нить этого разсказа, продолжаетъ: «No, not take interest», то кажется, что слышишь не выученную наизусть роль, а съ трудомъ выдуманную самимъ актеромъ рѣчь. Въ концѣ разсказа онъ улыбается, какъ актеръ, довольный собственнымъ произведеніемъ. Медленно начинаетъ онъ: «Signor Antonio, many a time and oft», и медленно произноситъ этотъ монологъ до слова «dog», которое гово-

ритъ уже съ болѣе сильнымъ удареніемъ. Злоба начинаетъ разгораться при словахъ: «and spit upon my jevish gabardine»; послѣ слова «own» онъ ближе подходитъ къ Антоніо, держится прямо и гордо и съ язвительною горечью говоритъ: «well then» до «ducats». Но вдругъ спина его сгибается, онъ снимаетъ шляпу и съ униженнымъ поклономъ говоритъ: «or shall J bend low» до «monies». Да, въ то время и голосъ его полонъ униженія, только чуть-чуть слышна въ немъ затаенная злоба, на привѣтливыхъ губахъ бѣгаютъ маленькія рѣзвыя змѣи, только глаза не могутъ притворяться, они не перестаютъ пускать изъ себя ядовитыя стрѣлы, и эта враждебная борьба внѣшняго смиренія съ внутреннею злобою оканчивается при послѣднемъ словѣ (monies) страшнымъ смѣхомъ, который вдругъ круто прекращается, между тѣмъ какъ судорожно искривленное для униженнаго выраженія лицо нѣсколько минутъ остается неподвижнымъ, какъ трупъ, и только глаза, злые глаза сверкаютъ на немъ, грозные и смертоносные.

Но я напрасно говорю все это. Никакое описаніе не можетъ дать вамъ понятія объ Эдмундѣ Кинѣ. Его декламаціи, отрывистости его читки, удачно подражали многіе, потому что попугай можетъ отлично подражать голосу орла, царя воздуха. Но орлинаго взгляда, смѣлаго огня, который можетъ смотрѣть на родственное ему солнце, выраженія глазъ Кина, этого магическаго взгляда, этого волшебнаго пламени, всего этого не могла присвоить себѣ ни одна изъ обыкновенныхъ театральныхъ птицъ. Только въ глазахъ Фредерика Леметра, и то когда онъ игралъ Кина, я подмѣтилъ кое-что, имѣвшее поразительное сходство съ взглядомъ настоящаго Кина.

Я поступилъ бы несправедливо, если бы послѣ такого восхваленья Фредерика Леметра не упомянулъ о другомъ большомъ актерѣ, которымъ Парижъ можетъ гордиться. Бокажъ пользуется здѣсь такою же блестящею славою, какъ и Леметръ, и его личность, если не столько же удивительна, то не менѣе интересна, чѣмъ личность его коллеги. Бокажъ— красивый, величественный человѣкъ съ самыми благородными пріемами. Онъ обладаетъ металлическимъ, по
всѣмъ тонамъ рѣчи голосомъ, который такъ же хо
выражать самый страшный громъ гнѣва и зл
самую расплывающуюся нѣжность шопота любви
дикихъ взрывахъ страсти онъ не теряетъ
няетъ достоинство искусства и никогда не

грубую натуру, какъ это дѣлаетъ Фредерикъ Леметръ, который такимъ путемъ производитъ болѣе сильные эффекты, но эффекты, восхищающіе насъ не поэтическою красотой. Леметръ исключительная натура, которою демоническая сила его владѣетъ больше, чѣмъ онъ ею, и его я сравниваю съ Киномъ; Бокажъ въ органическомъ отношеніи то же, что и другіе люди, но и отличается отъ нихъ болѣе усовершенствованною организаціею: онъ не двуполое соединеніе Аріеля и Калибана, но гармонически созданный человѣкъ, прекрасный, стройный образъ, какъ Фебъ Аполлонъ. Выраженіе его глазъ не такъ значительно, но движеніемъ головы онъ можетъ производить громадные эффекты, особенно въ то время, когда гордо откидываетъ ее назадъ, какъ будто издѣваясь надъ міромъ. У него есть холодные иронические вздохи, которые прорѣзываютъ душу зрителя, какъ стальная игла. Въ голосѣ его есть такія слезы и такіе глубокіе звуки скорби, что можно подумать, что душа его сочится кровью. Когда онъ вдругъ закрываетъ обѣими руками глаза, у зрителя на душѣ становится такъ, какъ будто смерть произноситъ слова: «да будетъ мракъ!» Когда же послѣ этого онъ снова улыбается, улыбается со всѣми своими сладкими чарами, тогда кажется, что на углахъ его губъ восходитъ солнце.

Такъ какъ я началъ уже разбирать игру актеровъ, то позволю себѣ сообщить вамъ нѣсколько замѣчаній о различіи декламаціи въ трехъ государствахъ образованнаго міра, Англіи, Франціи и Германіи.

Когда я въ первый разъ увидѣлъ въ Англіи представленіе англійскихъ трагедій, меня особенно поразила жестикуляція, имѣвшая величайшее сходство съ жестикуляціею въ пантомимныхъ представленіяхъ. Но это показалось мнѣ не неестественностью, а скорѣе преувеличеніемъ натуры, и прошло много времени, пока я привыкъ къ ней, пока получилъ возможность, несмотря на карикатурную читку, наслаждаться на англійской почвѣ красотами шекспировской трагедіи. Не могъ я также вначалѣ переносить криковъ, пронзительныхъ криковъ, съ которыми какъ мужчины, такъ и женщины произносятъ свои роли. Можетъ-быть, въ Англіи, гдѣ театры такъ обширны, эти крики необходимы для того, чтобы слова не замирали въ огромномъ пространствѣ? Не есть ли вышеупомянутая карикатурная жестикуляція тоже [illegible]стная необходимость, такъ какъ большая часть зрителей [illegible]одится въ такомъ большомъ разстояніи отъ сцены? Не

знаю. Можетъ-быть, что на англійской сценѣ господствуетъ право привычки, и ему слѣдуетъ приписать эти преувеличенія, особенно поражавшія меня въ актрисахъ, когда я видѣлъ, какъ нѣжные органы, шествуя на ходуляхъ, нерѣдко падали съ нихъ въ отвратительнѣйшіе фальшивые звуки, или какъ дѣвственныя страсти мечутся, точно двугорбые верблюды. Можетъ-быть, и то обстоятельство, что въ прежнее время женскія роли игрались на англійской сценѣ мужчинами, имѣетъ и до сихъ поръ вліяніе на декламацію актрисъ, продолжающихъ, быть-можетъ, играть по старымъ преданіямъ, по театральнымъ традиціямъ.

Однакожъ, какъ ни велики недостатки англійской декламаціи, они значительно вознаграждаются задушевностью и наивностью, по временамъ проявляющимися въ ней. Этими достоинствами она обязана англійскому языку, который собственно есть діалектъ и обладаетъ всѣми хорошими качествами нарѣчія, вышедшаго непосредственно изъ народа. Французскій языкъ есть скорѣе продуктъ общества, и ему недостаетъ этой задушевности и этой наивности, которыя можетъ дать только вышедшій изъ сердца народа и насыщенный кровью этого сердца источникъ словъ. Но зато французская декламація обладаетъ граціею и плавностью, совершенно чуждыми англійской декламаціи, даже невозможными для нея. Во Франціи болтливая общественная жизнь до такой степени фильтрировала языкъ въ теченіе трехъ столѣтій, что онъ безвозвратно утратилъ всѣ грубыя выраженія и неясные обороты, все мрачное и дюжинное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и весь тотъ запахъ, всѣ тѣ дикія цѣлебныя силы, всѣ тѣ тайныя чары, которыя текутъ и струятся въ первобытной рѣчи. Французскій языкъ, а вслѣдствіе этого и французская декламація, заняты, какъ и самъ народъ, только настоящимъ днемъ; сумрачное царство воспоминаній и предчувствій закрыто для него; онъ расцвѣтаетъ подъ лучами солнца, и отъ нихъ происходятъ его прекрасная ясность и теплота; чужда и непріятна ему ночь съ блѣднымъ луннымъ свѣтомъ, мистическими звѣздами, сладостными грёзами и страшными привидѣніями.

Что же касается собственно игры франц
ровъ, то въ этомъ отношеніи они стоятъ
коллегъ во всѣхъ странахъ міра, и это по той
причинѣ, что всѣ французы рожденные ко
такъ легко разучиваютъ всѣ свои житейскія
такъ удачно драпируются, что на нихъ

Всѣ французы—одна труппа, которую можно бы назвать les comédiens ordinaires du bon Dieu, и вся французская исторія по временамъ кажется мнѣ большою комедіею, которая, однако, разыгрывается ко благу человѣчества. Въ жизни французовъ, точно такъ же, какъ въ ихъ литературѣ и пластическихъ искусствахъ, господствуетъ театральный характеръ.

Что касается насъ, нѣмцевъ, то мы честные люди и хорошіе граждане. Въ чемъ намъ отказала природа, того мы достигаемъ изученіемъ. Только когда мы начинаемъ черезчуръ сильно ревѣть, на насъ нападаетъ страхъ, что сидящіе въ ложахъ испугаются и накажутъ насъ, и тогда мы довольно хитро даемъ замѣтить, что мы совсѣмъ не настоящіе львы, а только зашитые въ трагическія львиныя шкуры ерлычки—и эту инсинуацію называемъ ироніею. Мы честные люди и лучше всего играемъ роли честныхъ людей. Величайшее наслажденіе наше составляютъ празднующіе свои юбилеи чиновники, безкорыстные оберъ-форстмейстеры и вѣрные слуги. Герои намъ приходятся очень не по вкусу, но мы все-таки можемъ съ ними справиться, особенно въ гарнизонныхъ городахъ, гдѣ у насъ передъ глазами хорошіе образцы. Съ королями намъ не везетъ. Въ королевскихъ резиденціяхъ уваженіе не позволяетъ намъ играть роли королей съ неограниченною смѣлостью. Это можетъ быть истолковано въ дурную сторону, и потому мы изъподъ горностаевой мантіи просовываемъ на показъ кусочекъ вѣрноподданническаго смиренія. Въ нѣмецкихъ вольныхъ городахъ, въ Гамбургѣ, Любекѣ, Бременѣ и Франкфуртѣ, въ этихъ достославныхъ республикахъ, актеры могли бы совершенно правдиво разыгрывать королевскія роли; но патріотизмъ побуждаетъ ихъ злоупотреблять сценою для политическихъ цѣлей, и они съ намѣреніемъ такъ дурно играютъ роли королей, что дѣлаютъ королевскую власть если не ненавистною для зрителя, то по крайней мѣрѣ очень смѣшною. Они косвенно содѣйствуютъ развитію республиканскаго чувства, и это особенно замѣтно въ Гамбургѣ, гдѣ роли королей исполняются самымъ жалкимъ образомъ. Еслибъ тамошній высокомудрый сенатъ не былъ такъ неблагодаренъ, какъ правительства всѣхъ республикъ, аѳинской, римской, флорентинской, то гамбургская республика воздвигнула бы для своихъ актеровъ большой пантеонъ съ надписью: «Скернымъ комедьянтамъ благодарное отечество!»

Помните вы еще, любезный Левальдъ, въ Гамбургѣ по-

койнаго Шварца, который, играя короля Филиппа въ «Донъ-Карлосѣ», всегда медленно пускалъ слова внизъ до самаго глубокаго пункта земли и затѣмъ внезапно съ быстротой кидалъ ихъ къ небу, такъ что передъ нашими глазами они оставались только какую-нибудь секунду?

Но чтобы не быть несправедливыми, мы должны сознаться, что если на нашемъ театрѣ декламація хуже, чѣмъ у англичанъ и французовъ, то это главнымъ образомъ зависитъ отъ свойства нѣмецкаго языка. Языкъ англичанъ—діалектъ, языкъ французовъ—произведеніе общественной жизни; нашъ языкъ ни то, ни другое, вслѣдствіе этого онъ лишенъ какъ наивной задушевности, такъ и плавной граціи, онъ не что иное какъ книжный языкъ, безпочвенная фабрикація писателей, которую мы получаемъ съ лейпцигской ярмарки черезъ посредство книжной торговли. Декламація англичанъ есть преувеличеніе натуры, наша—антинатура. Декламація французовъ—аффектированный тонъ, тирадъ, наша—ложь. На нашей сценѣ традиціонный визгъ, часто портившій мнѣ впечатлѣніе отъ лучшихъ пьесъ Шиллера, особенно въ сентиментальныхъ мѣстахъ, гдѣ наши актрисы расплываются въ водянистой нѣвучести, какъ выражается Губицъ—«мочатся сердцемъ». Но я не хочу говорить ничего дурного о нѣмецкихъ актрисахъ; онѣ вѣдь мои соотечественницы, и притомъ вѣдь гуси спасли Капитолій, и притомъ между ними есть тоже столько добропорядочныхъ дамъ, и наконецъ... Но мнѣ мѣшаетъ писать дьявольскій шумъ, начавшійся передъ моимъ окномъ, на кладбищѣ.

Въ дѣтяхъ, еще недавно такъ мирно плясавшихъ подъ высокимъ деревомъ, зашевелился ветхій Адамъ, или, вѣрнѣе, ветхій Каинъ, и они начали драться. Чтобы возстановить спокойствіе, я долженъ былъ выйти къ нимъ, и мнѣ едва удалось успокоить ихъ словами. Между ними былъ одинъ мальчишка, который съ особенною яростью колотилъ по спинѣ другого мальчика. На вопросъ мой: «что сдѣлалъ тебѣ это бѣдное дитя?»—онъ посмотрѣлъ на меня большими глазами и, заикаясь, отвѣчалъ:—«да вѣдь это мой братъ».

И у меня въ квартирѣ сегодня тоже далеко не процвѣтаетъ вѣчный миръ. Именно въ эту минуту такой шумъ, какъ будто внизъ съ лѣстницы штоковская ода. Хозяинъ и хозяйка ссорятся: упрекаетъ своего бѣднаго мужа въ томъ, что онъ проѣдаетъ все ея приданое и что она чали. Она дѣйствительно больна, но отъ ск

кусокъ, который ея мужъ кладетъ въ ротъ, вредитъ ей. Даже тогда, когда ея мужъ принимаетъ лѣкарство и оставляетъ его немного недопитымъ, она выпиваетъ эти остатки, чтобы не пропала ни одна капля дорогого снадобья, и отъ этого заболѣваетъ. Этотъ бѣдный человѣкъ, портной по націи и нѣмецъ по ремеслу, удалился въ деревню, чтобы провести остатокъ дней въ сельскомъ спокойствіи. Но это спокойствіе онъ найдетъ, конечно, только на гробѣ своей супруги. Можетъ-быть, именно потому онъ купилъ себѣ домъ подлѣ кладбища и съ такимъ томленіемъ смотритъ на могилы умершихъ. Единственное удовольствіе его заключается въ табакѣ и розахъ, и этихъ цвѣтовъ онъ умѣетъ разводить лучшія породы. Сегодня утромъ онъ посадилъ передъ моимъ окошкомъ нѣсколько горшковъ съ розами. Онѣ удивительно красивы. Но, любезный Левальдъ, спросите у вашей жены, отчего эти розы не пахнутъ? Или у нихъ насморкъ, или у меня.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ.

Въ предыдущемъ письмѣ я говорилъ объ обоихъ вождяхъ французской драмы. Однакожъ, нынѣшнюю зиму, на бульварныхъ театрахъ процвѣтали имена не Виктора Гюго и Александра Дюма... Три имени постоянно повторялись публикою, хотя до сихъ поръ они были неизвѣстны въ литературѣ. Это Мальфиль, Ружмонъ и Бушарди. На перваго я возлагаю самыя лучшія надежды; сколько я замѣчаю, онъ обладаетъ большимъ поэтическимъ дарованіемъ. Вы помните, можетъ-быть, его «Семь инфантовъ Лары», пьесу съ ужасами, которую мы когда-то видѣли съ вами вмѣстѣ въ театрѣ Porte Saint-Martin. Въ этой дикой смѣси изъ крови и свирѣпости попадались иногда чудныя, дѣйствительно возвышенныя сцены, доказывавшія присутствіе въ авторѣ романтической фантазіи и драматическаго таланта. Другая трагедія Мальфиля, «Гленарвонъ», еще болѣе замѣчательна, такъ какъ она менѣе запутана и темна, чѣмъ первая, и заключаетъ въ себѣ экспозицію потрясающе прекрасную и грандіозную. Въ обѣихъ этихъ пьесахъ роли клятвопреступницъ-матерей превосходно исполняются мадмуазель Жоржъ, этимъ громаднымъ, лучезарнымъ солнцемъ изъ мяса на небѣ бульварныхъ театровъ. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ Мальфиль поставилъ новую пьесу подъ заглавіемъ: «Альпійскій Пастухъ» (Le paysan des Alpes). Тутъ онъ

казалъ больше простоты, чѣмъ въ прежнихъ пьесахъ, но
го въ ущербъ поэтическому содержанію. Эта пьеса слабѣе
го прежнихъ трагедій. Въ ней такъ же, какъ и въ нихъ,
брачныя узы патетически разрушаются.

Второй лауреатъ бульварныхъ театровъ, Ружмонъ, поло-
жилъ основаніе своей славы тремя трагедіями, которыя
были представлены одна вслѣдъ за другой въ теченіе шести
недѣль и имѣли огромнѣйшій успѣхъ. Первая называлась
«Герцогиня Лавобальеръ», это слабая фабрикація, въ ко-
торой много дѣйствія, но оно развивается не поразительно
смѣло или естественно, а всегда съ трудомъ, съ помощью
мелочного расчета; точно такъ же и огонь страстности въ
ней притворный и въ сущности вялый и леденистый. Вто-
рая пьеса, подъ заглавіемъ «Леонъ», уже лучше первой, и
хотя тоже страдаетъ вышеупомянутою искусственностью, но
заключаетъ въ себѣ нѣкоторыя величаво потрясающія сцены.
На прошедшей недѣлѣ видѣлъ я третью пьесу, «Элалія
Гранже», чисто мѣщанскую драму, вполнѣ прекрасную, по-
тому что въ ней авторъ повинуется натурѣ своего даро-
ванія, и съ умною ясностью, во вставленной въ очень хо-
рошую рамку картинѣ, изображаетъ печальную безурядицу
нынѣшняго общества.

Бушарди, третій лауреатъ, до сихъ поръ поставилъ на
сцену только одну пьесу, но она была увѣнчана безпри-
мѣрнымъ успѣхомъ. Заглавіе ея «Гаспардо», въ теченіе
пяти мѣсяцевъ ее играютъ каждый день, и если дальше
дѣло будетъ идти такъ же, то она выдержитъ нѣсколько со-
тенъ представленій. Говоря откровенно, я рѣшительно ста-
новлюсь втупикъ, когда думаю о причинахъ этого колос-
сальнаго успѣха. Пьеса посредственная, если не совсѣмъ
скверная. Дѣйствія бездна, но одинъ эффектъ лѣзетъ на
голову другому и ломаютъ другъ другу шею. Идея, на ко-
торый движется вся пьеса, узкая, и ни одинъ характеръ,
ни одно положеніе не развиваются естественно. Правда,
уже у двухъ вышепоименованныхъ драматурговъ это сцѣ-
пленіе эффектовъ невыносимо; но авторъ «Гаспардо» еще
превзошелъ ихъ. Между тѣмъ, это дѣлается умышленно, въ
силу принципа, какъ увѣряютъ меня нѣкоторые молоды
драматурги; этимъ скопленіемъ въ одно разнородныхъ сц
жетовъ, періодовъ времени и мѣстностей нынѣшній рома
тикъ отличается отъ прежнихъ классиковъ, ко
замкнутыхъ границахъ драмы такъ строго держа
ства времени, мѣста и дѣйствія.

Дѣйствительно ли эти нововводители расширили предѣлы французской драмы? Не знаю. Но эти французскіе драматурги всегда напоминаютъ мнѣ того тюремщика, который все жаловался на тѣсноту тюрьмы и, чтобы расширить ее, не нашелъ лучшаго средства, какъ запирать въ нее все больше и больше людей; но они, вмѣсто того, чтобы расширять стѣны тюрьмы, только давили другъ друга.

Замѣчу еще, что въ «Гаспардо» и «Элаліи Гранже», какъ во всѣхъ остальныхъ Діонисовыхъ играхъ бульварныхъ театровъ, бракъ служитъ приносимымъ въ жертву козломъ очищенія.

Мнѣ хотѣлось бы, любезный другъ, разсказать вамъ и о другихъ бульварныхъ драматургахъ; но если у нихъ попадаются иногда сносныя пьесы, то онѣ отличаются только легкостью исполненія, свойственною всѣмъ французамъ, а отнюдь не оригинальностью замысла. Потому-то я, какъ только видѣлъ эти пьесы, тотчасъ же забывалъ ихъ, и никогда не освѣдомлялся объ имени автора. Но взамѣнъ этого я сообщу вамъ имена тѣхъ евнуховъ, которые служили камергерами царю Агасверу въ Сузѣ; ихъ звали: Мегуманъ, Биста, Гарбона, Бигта, Абгата, Сетаръ и Харкасъ.

Бульварные театры, о которыхъ я говорилъ выше и которые постоянно имѣлъ въ виду, когда писалъ эти письма, и суть собственно народные театры; они начинаются у Porte Saint-Martin и идутъ вдоль всего Тампльскаго бульвара, начиная съ лучшаго и кончая самымъ худшимъ. Да, этотъ мѣстный порядокъ сообразно достоинству совершенно правиленъ. Первый—театръ, носящій имя Porte Saint-Martin, безспорно лучшій въ Парижѣ для драмъ; на немъ превосходно исполняются пьесы Гюго и Дюма, и у него превосходная труппа, въ которой, между прочимъ, находятся мадмуазель Жоржъ и Бокажъ. Затѣмъ слѣдуетъ Ambigu-Comique, гдѣ исполнители и репертуаръ уже хуже, чѣмъ въ первомъ, но гдѣ все еще представляются романтическія драмы. Отсюда мы переходимъ къ Франкони, но этого театра не слѣдуетъ считать въ этой категоріи, такъ какъ въ немъ даются больше лошадиныя, чѣмъ человѣческія пьесы. Потомъ слѣдуетъ La Gaité, театръ, недавно сгорѣвшій, но теперь вновь отстроенный и какъ извнѣ, такъ и внутри соотвѣтствующій своему веселому названію. Романтическая драма также имѣетъ здѣсь право гражданства, и въ этомъ привѣтливомъ зданіи тоже текутъ иногда слезы и бьются сердца отъ страшнѣйшихъ волненій; но тутъ уже больше поютъ и

смѣются, и водевиль уже поселился на сценѣ со своими легкими пѣсенками. То же самое слѣдуетъ сказать и о сѣднемъ театрѣ Folies Dramatiques, на которомъ тоже даются драмы и еще больше водевили; назвать этотъ театръ дурнымъ нельзя, и я видѣлъ въ немъ исполненіе, и притомъ хорошее исполненіе, весьма недурныхъ пьесъ. За Folies Dramatiques, какъ по достоинству, такъ и по мѣстности, слѣдуетъ театръ madame Sacqui, на которомъ также даютъ еще драмы, но самыя посредственныя, и самые жалкіе водевильчики, переходящіе, наконецъ, въ сосѣднемъ съ нимъ театрѣ Funambules въ грубѣйшіе фарсы. Позади Funambules, гдѣ корчитъ свои, вымазанныя бѣлой краской, рожи одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ Пьерро, знаменитый Дебюро, я нашелъ еще одинъ маленькій театръ, называющійся Lazary, гдѣ уже играютъ совсѣмъ скверно, скверное достигаетъ уже предѣловъ, и искусство заколочено гвоздями.

Во время вашего отсутствія, въ Парижѣ построенъ еще одинъ новый театръ, на самомъ концѣ бульвара, подлѣ Бастиліи; онъ называется Théatre de la Porte Saint-Antoine. Этотъ театръ во всѣхъ отношеніяхъ hors de ligne, и ни по артистическому достоинству, ни по мѣстности не можетъ стоять на ряду съ вышеупомянутыми бульварными театрами. Притомъ, онъ еще слишкомъ новъ для того, чтобы о его достоинствѣ можно было сказать что-нибудь опредѣленное. Впрочемъ, пьесы, играемыя на немъ, не совсѣмъ плохи. Еще недавно видѣлъ я тамъ, въ сосѣдствѣ Бастиліи, драму, носящую названіе этой тюрьмы и заключающую въ себѣ нѣсколько сильныхъ мѣстъ. Героиня, что само собою понятно, жена губернатора Бастиліи и бѣжитъ съ однимъ государственнымъ преступникомъ. Видѣлъ я также въ этомъ театрѣ хорошую комедію «Mariez-vous donc!», изображающую приключенія супруга, который не хотѣлъ вступить въ бракъ съ знатною особою, которую онъ не любилъ, а женился на красавицѣ изъ простого народа. Ея двоюродный братъ дѣлается ея любовникомъ, который вмѣстѣ съ тещею и женою, составляютъ домашнюю оппозицію противъ мужа и совершенно разоряютъ его своею роскошью и скверным хозяйничаньемъ. Для доставленія
ству средствъ къ существованію, несчастный
наконецъ, открыть у заставы танцкласссъ для
въ кадрили недостаетъ одного танцора, о
плясать своего семилѣтняго сынишку, и р
уже приправлять свои па распутнѣйшими

кана. Въ такомъ видѣ застаетъ этого бѣдняка одинъ изъ его пріятелей, и тотъ, вприпрыжку, командуя танцами со скрипкой въ рукѣ, пользуется паузами, чтобы разсказывать пріятелю исторію своихъ брачныхъ несчастій. Въ высшей степени печаленъ контрастъ между этимъ разсказомъ и одновременнымъ съ нимъ занятіемъ разказчика, который часто долженъ прерывать исторію своихъ страданій для того, чтобы съ крикомъ chassez! или en avant deux! вырыгнуть въ ряды танцующихъ и плясать вмѣстѣ съ ними. Его игра, служащая мелодраматическимъ аккомпаниментомъ этимъ брачнымъ разсказамъ, эти веселые звуки, съ ужасною ироніею врѣзываются въ сердце зрителя. Я не могъ хохотать съ остальною публикою. Смѣшила меня только фигура тестя, стараго пьяницы, который пропиваетъ все свое имущество и, наконецъ, принужденъ идти просить милостыню. Но онъ проситъ ее въ высшей степени юмористично. Это здоровенный толстякъ, съ краснымъ отъ пьянства лицомъ, ведущій на веревочкѣ паршивую слѣпую собаку, которую онъ называетъ своимъ Велизаріемъ. Человѣкъ, по его словамъ, неблагодаренъ къ собакамъ, которыя такъ часто служатъ вѣрными вожатаями слѣпыхъ людей; онъ же хочетъ вознаградить этихъ животныхъ за ихъ любовь къ человѣку и служитъ теперь вожатаемъ своему бѣдному Велизарію, своей слѣпой собакѣ.

Я такъ сердечно хохоталъ, что сосѣди, по всей вѣроятности, приняли меня за «chatouilleur» этого театра.

Знаете ли вы, что̀ такое chatouilleur? Я самъ только очень недавно узналъ значеніе этого слова и обязанъ этимъ свѣдѣніемъ моему цырюльнику, братъ котораго служитъ въ должности chatouilleur въ одномъ изъ бульварныхъ театровъ. Именно, онъ получаетъ плату за то, чтобы при представленіи комедій, какъ только произнесется удачная острота, хохотать во все горло и тѣмъ возбуждать смѣхъ въ публикѣ. Это очень важная должность, и отъ нея зависитъ успѣхъ многихъ комедій. Потому что хорошія остроты иногда очень плохи, и публика рѣшительно не смѣялась бы, если бы chatouilleur не обладалъ искусствомъ принуждать ее къ этому всевозможными модуляціями своего смѣха, начиная отъ самаго тихаго хихиканья и кончая самымъ сердечнымъ хохотомъ. Смѣхъ такъ же заразителенъ, какъ зѣвота, и я рекомендую вамъ для нѣмецкой сцены учрежденіе должности chatouilleur, запѣвалы въ смѣхѣ. Запѣвалъ въ зѣвотѣ у васъ тамъ, конечно, достаточно. Но исполнять эту должность не легко, и

по увѣренію моего цырюльника, на это нуженъ большой талантъ. Его братъ занимается этимъ дѣломъ уже пятнадцать лѣтъ и довелъ свое искусство до такой виртуозности, что ему стоитъ испустить своею фистулою одинъ изъ тоненькихъ, полусдержанныхъ, полувыскользнувшихъ звуковъ, для того, чтобы вся публика разразилась ликующимъ смѣхомъ.— «Онъ человѣкъ съ талантомъ,—прибавилъ мой цырюльникъ:— и зарабатываетъ больше денегъ, чѣмъ я; потому что онъ, кромѣ того, служитъ факельщикомъ въ компаніи Pompes funébres, и часто въ одно утро ему приходится участвовать въ полдюжинѣ похоронныхъ процессій; посмотрѣли бы вы тутъ на него, какъ онъ идетъ въ своемъ черномъ, какъ ворона, траурномъ костюмѣ, съ бѣлымъ носовымъ платкомъ и опечаленнымъ лицомъ, — просто присягнуть готовъ, что онъ слѣдуетъ за гробомъ своего собственнаго отца».

Сознаюсь вамъ, любезный Левальдъ, я съ уваженіемъ отношусь къ этой многосторонности, — но будь я даже на нее способенъ, ни за какія деньги на свѣтѣ я не принялъ бы на себя должностей этого человѣка. Представьте себѣ это ужасное положеніе: въ весеннее утро, только-что съ удовольствіемъ напившись кофе и озаренные веселыми лучами солнца, вы обязаны скорчить похоронную рожу и проливать слезы по какомъ-нибудь умершемъ москательщикѣ, котораго вы часто совсѣмъ не знаете и смерть котораго только радуетъ васъ, потому что приноситъ факельщику семь фр. и десять су. А потомъ, шесть разъ совершивъ путешествіе на кладбище и обратно, уставъ, какъ собака, страшно сердитые и полные серьезнаго настроенія, извольте цѣлый вечеръ хохотать отъ всѣхъ скверныхъ остротъ, которыя вы уже слышали столько разъ, хохотать всею физіономіей, всѣми мускулами, всѣми судорогами тѣла и души, чтобы вызвать смѣхъ въ пресыщенномъ партерѣ... Это ужасно. Я лучше бы согласился быть королемъ Франціи.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ.

Но что такое музыка? Этотъ вопросъ вчера долго занималъ меня передъ тѣмъ, какъ я уснулъ. У музыки
свойства, я готовъ даже сказать, что музыка — чу
занимаетъ средину между мыслями и обнаруженіе
она стоитъ какъ неясно видимая посредница ме
и матеріею; она родственна съ ними обоими и въ
тлична отъ обоихъ; она духъ, но духъ, которы

въ мѣрѣ времени, она матерія, но матерія, которая можетъ обойтись безъ пространства.

Мы не знаемъ, что̀ такое музыка. Но что̀ такое хорошая музыка, это мы знаемъ, а еще лучше знаемъ, что̀ такое дурная музыка, потому что этой послѣдней слыхали больше, чѣмъ первой. Музыкальная критика можетъ опираться только на опытъ, а не на синтезъ; ей слѣдовало бы классифицировать музыкальныя произведенія только по ихъ сходству и принимать масштабомъ впечатлѣніе, которое они произвели на массу.

Ничего не можетъ быть недостаточнѣе теоризаціи въ музыкѣ; конечно, въ ней есть законы, математически опредѣленные законы, но эти законы не музыка, а только ея условія, точно такъ же, какъ искусство рисованія и ученье о краскахъ, или, еще больше, палитра и кисти, не живопись, а только ея необходимыя средства. Сущность музыки есть откровеніе, въ ней нельзя давать никакого отчета, и настоящая музыкальная критика есть наука эмпирическая.

Я не знаю ничего печальнѣе критическихъ статей monsieur Fétis, или его сына, monsieur Foetus, въ которыхъ они обсуждаютъ a priori достоинство музыкальнаго произведенія. Такія статьи, написанныя на извѣстномъ «арго» и напичканныя техническими выраженіями, понятными не для вообще образованныхъ людей, а только для артистовъ-исполнителей, придаютъ этой пустой болтовнѣ нѣкоторое значеніе въ глазахъ большинства. Какъ мой другъ Детмольдъ написалъ о живописи книгу, которая въ теченіе двухъ часовъ дѣлаетъ васъ знатокомъ искусства, такъ слѣдовало бы написать подобную книжку относительно музыки и ироническимъ словаремъ музыкальныхъ критическихъ фразъ и оркестроваго жаргона, положить конецъ сухому ремеслу господъ Фетиса и Фетуса. Лучшую музыкальную критику, единственную, которая, можетъ-быть, что-нибудь доказываетъ, я слышалъ въ прошедшемъ году въ Марсели за табльд'отомъ, гдѣ два комми-вояжера спорили на современную тему—кто выше, Россини или Мейерберъ. Какъ только одинъ признавалъ высшее превосходство за итальянцемъ, другой возражалъ, но не сухими словами, а тѣмъ, что напѣвалъ нѣкоторыя особенно прелестныя мелодіи изъ «Robert le Diable». На это первый не находилъ ничего убѣдительнѣе, какъ тотчасъ же отвѣчать напѣвами изъ «Barbiere di Seviglia», и такъ диспутировали они въ продолженіе всего обѣда; вмѣсто шумнаго обмѣна ничего незначащихъ словъ,

они угощали насъ превосходной застольной музыкой, и я, наконецъ, долженъ былъ сознаться, что о музыкѣ слѣдуетъ или совсѣмъ не спорить, или спорить такимъ реалистическимъ способомъ.

Вы замѣчаете, дорогой другъ, что по отношенію къ оперѣ я не стану обременять васъ никакими традиціонными фразами. Но, говоря о французской сценѣ, я не могу пройти оперу полнымъ молчаніемъ. Вамъ нечего также бояться сравнительнаго разсужденія о Россини и Мейерберѣ, какъ это обыкновенно дѣлается. Я ограничиваюсь тѣмъ, что люблю ихъ обоихъ, и ни одного изъ нихъ не люблю въ ущербъ другому. Если я симпатизирую, можетъ-быть, первому больше, чѣмъ послѣднему, то это просто личное чувство, а никакъ не признаніе бо̀льшаго достоинства одного сравнительно съ другимъ. Можетъ-быть, причина этой симпатіи заключается именно въ недостаткахъ, которые находятся въ близкомъ родствѣ со многими моими недостатками. По натурѣ я склоненъ къ извѣстному dolce far niente, и люблю ложиться на покрытой цвѣтами травѣ и оттуда смотрѣть на спокойныя гряды облаковъ и любоваться ихъ освѣщеніемъ; но случаю было угодно, чтобы жесткіе толчки судьбы часто пробуждали меня отъ этихъ спокойныхъ грёзъ, и я невольно [долженъ былъ принимать участіе въ скорбяхъ и битвахъ времени, и честно выполнялъ свое дѣло, и дрался съ храбрѣйшими... Но—не знаю, какъ бы это выразить—мои ощущенія не переставали извѣстнымъ образомъ отличаться отъ ощущеній другихъ людей; я зналъ, что̀ чувствуютъ эти люди, но самъ чувствовалъ совсѣмъ иное; и хотя я пришпоривалъ моего боевого коня съ большою энергіею и рубилъ врага своимъ мечомъ безъ всякой пощады, но меня никогда не охватывала ни горячка битвы, ни страсть къ ней, ни боязнь ея; не разъ наполняла мое сердце непріятная тревога по моемъ внутреннемъ спокойствіи; я замѣчалъ, что въ самомъ сильномъ разгарѣ партійной битвы мысли мои находились въ другомъ мѣстѣ, и иногда я представлялся самому себѣ въ видѣ датчанина Ожье, который сражался съ сарацинами, глубоко погруженный въ грёзы. Такому человѣку Россини долженъ нравиться больше, чѣмъ Мейерберъ; но время, когда онъ если не совершенно покоряется этого послѣдняго, то восторженно увлекается ею. П на волнахъ россиніевской музыки спокойнѣе всег ваться личнымъ радостямъ и скорбямъ людей; л *нависть*, нѣжность и тоскливое томленіе, ревнос

дованіе—все здѣсь есть отдѣльное чувство, отдѣльнаго индивидуума. Вслѣдствіе этого въ россиніевской музыкѣ характерно преобладаніе мелодіи, которая служитъ всегда непосредственнымъ выраженіемъ отдѣльнаго ощущенія. Напротивъ того, у Мейербера мы находимъ полное господство гармоніи; въ потокѣ гармоническихъ массъ заглушаются, даже тонутъ мелодіи, подобно тому, какъ личныя ощущенія отдѣльнаго человѣка погибаютъ въ общемъ чувствѣ цѣлаго народа, и въ эти-то гармоническіе потоки охотно бросается наша душа, когда она охватывается страданіями и радостями всего человѣческаго рода и ратуетъ за великіе общественные вопросы. Музыка Мейербера больше соціальна, чѣмъ индивидуальна; благодарные современники, находящіе въ ней свои внутреннія и внѣшнія битвы, свой душевный разладъ, свою борьбу воли, свои страданія и надежды, аплодируя великому маэстро, этимъ самымъ чествуетъ свои собственныя страсти и энтузіазмъ. Музыка Россини болѣе приличествовала времени реставраціи, когда послѣ великихъ битвъ и разочарованій люди поневолѣ утратили сочувствіе къ своимъ общимъ великимъ интересамъ, и чувства своего *я* снова вступили въ свои законныя права. Во время революціи и имперіи Россини никогда не достигъ бы своей громадной популярности. Робеспьеръ, можетъ-быть, обвинилъ бы его въ антипатріотическихъ, умѣренныхъ мелодіяхъ, а Наполеонъ, конечно, не сдѣлалъ бы его капельмейстеромъ при великой арміи, гдѣ ему нужно было одушевленіе цѣлой массы... Бѣдный цезарскій лебедь! Гальскій пѣтухъ и императорскій орелъ, можетъ-быть, разорвали бы тебя, и боевыя поля гражданской доблести и славы были бы для тебя не такъ удобны, какъ тихое озеро, съ береговъ котораго мирно кивали бы тебѣ кроткія лиліи, и гдѣ ты могъ бы спокойно плавать взадъ и впередъ, съ красотою и граціею въ каждомъ движеніи! Реставрація была временемъ торжества Россини, и даже небесныя звѣзды, для которыхъ въ то время наступила пора праздничнаго отдыха и которыя перестали заботиться о судьбѣ народовъ, слушали его съ восторгомъ. Между тѣмъ, іюльская революція произвела большое волненіе какъ на землѣ, такъ и на небѣ: звѣзды и люди, ангелы и короли лишились спокойствія, пришлось снова работать, устраивать новый порядокъ вещей; ни у кого не хватало свободнаго времени и душевнаго спокойствія для того, чтобы услаждаться мелодіями личнаго чувства, и только тогда, когда большіе хоры «Роберта Дьявола», а еще больше «Гугенотовъ» гар-

монически негодуютъ, гармонически ликуютъ, гармонически рыдаютъ,—сердца чутко слушаютъ и восторженно вторятъ своими рыданіями, ликованіями и негодованіемъ.

Въ этомъ обстоятельствѣ заключается, можетъ-быть, послѣдняя причина того неслыханнаго, колоссальнаго успѣха, которымъ пользуются въ цѣломъ мірѣ двѣ большія оперы Мейербера. Онъ человѣкъ своего времени, и время, всегда умѣющее выбирать своихъ людей, шумно подняло его на щитъ, и провозглашаетъ его господство, и радостно сопровождаетъ его въ шествіи. Быть несеннымъ въ этомъ положеніи, конечно, не совсѣмъ удобно: неловкость хоть одного изъ щитоносцевъ можетъ повлечь за собою опасный толчокъ или даже сильное поврежденіе; цвѣточные вѣнки, кидаемые ему въ голову, могутъ иногда не столько утѣшить, сколько ранить, а порою и запачкать, если ихъ бросаютъ грязными руки, и избытокъ лавровъ, конечно, можетъ облить потомъ тоски того, кого они покрываютъ... Россини, встрѣчаясь съ такимъ шествіемъ, улыбается крайне иронически своими тонкими итальянскими губами, и потомъ начинаетъ жаловаться на свой скверный желудокъ, который съ каждымъ днемъ все портится больше и больше, такъ что онъ не можетъ ничего ѣсть.

Это жестоко потому, что Россини былъ всегда однимъ изъ величайшихъ гурмановъ. Мейерберъ представляетъ въ этомъ отношеніи совершенную противоположность съ нимъ; какъ во внѣшнемъ видѣ своемъ, такъ и въ пользованіи житейскими благами, онъ олицетворенная скромность. Хорошій столъ у него только тогда, когда онъ приглашаетъ къ обѣду своихъ друзей. Разъ я пришелъ къ нему пообѣдать à la fortune du pot и увидѣлъ, что весь обѣдъ его состоялъ изъ жалкаго блюда трески; понятно, я увѣрилъ его, что уже обѣдалъ.

Многіе утверждали, что онъ скупъ. Это неправда. Онъ скупъ только въ тѣхъ расходахъ, которые касаются его собственной личности. Въ отношеніи къ другимъ онъ—сама щедрость, и этою щедростью особенно пользуются, до злоупотребленія, его бѣдствующіе соотечественники. Благотворительность составляетъ фамильную добродѣтель семейства Мейербера, особенно матери композитора, къ которой я посылаю, и никогда безъ успѣха, всѣхъ, нуждающихся въ помощи. Но вѣдь эта женщина—счастливѣйшая мать въ мірѣ. Повсюду кругъ нея торжество ея сына; куда бы она ни *бы ни* стала, вездѣ порхаютъ вокругъ ея слу

его произведеній, вездѣ сверкаетъ ей навстрѣчу его слава, а ужъ въ оперѣ, гдѣ цѣлая масса публики самыми шумными рукоплесканіями выражаетъ свое восторженное сочувствіе къ Джіакомо, материнское сердце ея трепещетъ въ упоеніи, которое мы едва можемъ понять. Во всей всемірной исторіи я знаю только одну мать, которую можно бы сравнить съ нею; это мать св. Боромея, которая еще при жизни своей увидѣла причисленіе своего сына къ лику святыхъ и могла вмѣстѣ съ тысячами вѣрующихъ преклонить предъ нимъ колѣни и молиться ему.

Мейерберъ пишетъ теперь новую оперу, которую я ожидаю съ большимъ любопытствомъ. Развитіе этого генія составляетъ для меня въ высшей степени замѣчательное зрѣлище. Съ участіемъ слѣжу я за фазисами его музыкальной и частной жизни и наблюдаю взаимное вліяніе его на европейскую публику и ея на него. Десять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ я въ первый разъ встрѣтилъ его въ Берлинѣ, между университетскимъ зданіемъ и гауптвахтою, между наукою и барабаномъ, и онъ, повидимому, былъ очень доволенъ этимъ положеніемъ. Я помню, что сошелся съ нимъ у доктора Маркса, принадлежавшаго въ то время къ своего рода музыкальной régence, которая, во время несовершеннолѣтія одного молодого генія, признававшагося законнымъ наслѣдникомъ престола Моцарта, не переставала поклоняться Себастіану Баху. Восторженное поклоненіе Баху должно было, однако, не только наполнить время этого междуцарствія, но и уничтожить славу Россини, котораго régence больше всѣхъ боялась и потому больше всѣхъ ненавидѣла. Мейерберъ считался въ то время подражателемъ Россини, и докторъ Марксъ относился къ нему съ какимъ-то пренебреженіемъ, съ какою-то добродушно покровительственною надменностью, которая теперь сердечно смѣшитъ меня. Россинизмъ считался тогда главнымъ преступленіемъ Мейербера, ему еще было очень далеко до чести имѣть враговъ за свои собственныя дѣла. Впрочемъ, онъ и самъ благоразумно воздерживался отъ всякихъ притязаній, и когда я ему разсказалъ про восторгъ, съ которымъ незадолго до того смотрѣлъ въ Италіи на представленіе его «Crociato», онъ улыбнулся съ капризной грустью и сказалъ: «Вы компрометируете себя, хваля меня, бѣднаго итальянца, здѣсь, въ Берлинѣ, въ столицѣ Себастіана Баха».

Дѣйствительно, Мейерберъ сдѣлался въ то время рѣшительнымъ подражателемъ итальянцевъ. Непріязнь къ сихъ-

холодному, сухо-остроумному, безцвѣтному беранжіанизму рано произвела въ немъ естественную реакцію; онъ ушелъ въ Италію, весело наслаждался тамъ жизнью, совершенно предался своимъ личнымъ чувствамъ и сочинилъ тѣ двѣ превосходныя оперы, гдѣ россинизмъ доведенъ до самаго преувеличенія, золото еще болѣе вызолочено, и цвѣты надушены еще болѣе сильными благоуханіями. Это было счастливѣйшее время въ жизни Мейербера; онъ писалъ въ веселомъ упоеніи итальянскою чувственностью, и въ жизни, какъ и въ искусствѣ, срывалъ самые легкіе цвѣты.

Но этою жизнью нѣмецкая натура не могла долго довольствоваться. Въ сердцѣ Мейербера не засыпала какая-то тоска по серьезности отечества; въ то время, какъ онъ лежалъ подъ итальянскими миртами, въ душу его прокрадывалось воспоминаніе о таинственномъ трепетѣ нѣмецкихъ дубовыхъ лѣсовъ; въ то время, какъ на него вѣяли южные зефиры, онъ думалъ о суровыхъ хоралахъ сѣвернаго вѣтра, и, можетъ-быть, съ нимъ повторилось то, что было съ г-жею Севинье, которая такъ долго жила подлѣ оранжереи, гдѣ постоянно окружало ее благоуханіе апельсинныхъ деревъ, что начала, наконецъ, томиться по скверному запаху здороваго навоза... Словомъ, началась новая реакція: синьоръ Джіакомо вдругъ снова сдѣлался нѣмцемъ и опять примкнулъ къ Германіи—не къ старой, гнилой, отжившей Германіи узкосердечнаго мѣщанства, но къ Германіи молодой, великодушной, свободной, къ Германіи новаго поколѣнія, которая обратила всѣ вопросы человѣчества въ свои собственные и носитъ великіе вопросы человѣчества если не всегда на своемъ знамени, то тѣмъ неизгладимѣе въ своемъ сердцѣ.

Скоро послѣ іюльской революціи, Мейерберъ выступилъ съ новымъ произведеніемъ, которое геній его создалъ въ шумѣ этой революціи, съ «Робертомъ Дьяволомъ», героемъ, никогда не знающимъ съ точностью, чего онъ хочетъ, постоянно борющимся съ самимъ собою, человѣкомъ, вѣрнымъ изображеніемъ нравственнаго колебанія того времени, времени, которое съ такимъ мучительнымъ безпокойствомъ вращалось между добродѣтелью и порокомъ, истощалс
стремленіяхъ и борьбѣ съ преградами и не всег
достаточно силы для того, чтобы противостоять ис
сатаны! Я совсѣмъ не люблю этой оперы, этого сh
робости; я говорю робости, по отношенію не то
жету, но и къ выполненію, такъ какъ компози

довѣряетъ своему генію, не рѣшается дѣйствовать вполнѣ по его волѣ и вмѣсто того, чтобы неустрашимо повелѣвать толпою, съ трепетомъ служитъ ей. Въ то время Мейербера справедливо называли боязливымъ геніемъ; ему не доставало побѣдоносной вѣры въ самого себя, онъ обнаруживалъ страхъ предъ общественнымъ мнѣніемъ, малѣйшее порицаніе пугало его; онъ льстилъ всѣмъ прихотямъ публики и самымъ усерднымъ образомъ раздавалъ вправо и влѣво poignées de main, какъ будто и въ музыкѣ онъ признавалъ самодержавіе народа и основывалъ свою власть на большинствѣ голосовъ, въ противоположность Россини, который, какъ король Божіею милостью, неограниченно властвовалъ въ царствѣ звуковъ. Эта боязливость и до сихъ поръ не оставила Мейербера; въ жизни онъ все еще заботится о мнѣніи публики, но успѣхъ «Роберта Дьявола» счастливо подѣйствовалъ на него въ томъ отношеніи, что во время работы эта забота не обременяетъ его, что онъ сочиняетъ съ гораздо большею увѣренностью въ себѣ, что въ своихъ созданіяхъ обнаруживаетъ великую волю своей души. И съ этою расширенною свободою духа онъ написалъ «Гугенотовъ», въ которыхъ нѣтъ уже никакихъ сомнѣній, прекратилась внутренняя борьба съ самимъ собою и началась внѣшняя битва, колоссальные размѣры которой повергаютъ насъ въ изумленіе. Только этимъ произведеніемъ Мейерберъ пріобрѣлъ свое безсмертное право гражданства въ вѣчномъ городѣ духа, въ небесномъ Іерусалимѣ искусства. Въ «Гугенотахъ» Мейерберъ обнаруживаетъ, наконецъ, себя безъ боязни; неустрашимыми линіями начерталъ онъ здѣсь всѣ свои мысли, и все, что волновало его грудь, онъ дерзнулъ высказать въ ничѣмъ несдерживаемыхъ звукахъ.

Особенно отличаетъ это произведеніе эта равномѣрность, существующая между энтузіазмомъ и артистическою законченностью, или, чтобы выразиться точнѣе, одинаковая высота, которой достигаютъ здѣсь страсть и искусство; человѣкъ и художникъ состязаются тутъ, и когда первый бьетъ въ набатный колоколъ самыхъ дикихъ страстей, второй очищаетъ грубые звуки природы таинственно сладостною гармоніею. Въ то время, какъ массу охватываетъ внутренняя сила, страсть «Гугенотовъ», знатокъ искусства удивляется совершенству, обнаруживающемуся въ формахъ. Эта опера готическій соборъ, котораго колонны, достигающія облаковъ, и колоссальный куполъ, какъ будто созданы смѣлою рукой исполина, между тѣмъ какъ безчисленное множество красныхъ, тон-

кихъ фестоновъ, розетокъ и арабесокъ, накинутыхъ на все зданіе, какъ каменный кружевной покровъ, свидѣтельствуютъ о неутомимомъ терпѣніи карлика. Исполинъ въ сочиненіи и воспроизведеніи цѣлаго, карликъ въ трудномъ выполненіи частностей, строитель «Гугенотовъ» такъ же непонятенъ для насъ, какъ строители старыхъ соборовъ. Недавно я стоялъ съ однимъ пріятелемъ передъ амьенскимъ соборомъ; пріятель мой съ испугомъ и состраданіемъ смотрѣлъ на этотъ несокрушимый, какъ скала, памятникъ силы исполина и неутомимаго въ мелкой работѣ терпѣнія карлика, и наконецъ спросилъ меня, отчего въ наше время не могутъ уже возводить подобныя зданія? «Любезный Альфонсъ,—отвѣчалъ я:—люди того стараго времени имѣли убѣжденія, мы же, новые, имѣемъ только мнѣнія, а для того, чтобы построить такой готическій соборъ, надо обладать кое-чѣмъ посильнѣе простого мнѣнія».

Въ этомъ-то и дѣло. Мейерберъ—человѣкъ убѣжденія. Но это относится не собственно къ современнымъ общественнымъ вопросамъ, хотя и въ этомъ отношеніи образъ мыслей Мейербера обоснованъ тверже, чѣмъ у другихъ художниковъ. Мейерберъ, котораго государи земного міра осыпаютъ всевозможными почестями и который вѣдь такъ любитъ эти почести, онъ носитъ, однако, въ груди сердце, пламенно сочувствующее священнѣйшимъ интересамъ человѣчества, и открыто высказываетъ свое поклоненіе героямъ революціи. Для него счастіе, что многія сѣверныя правительства совсѣмъ не понимаютъ музыки; иначе они увидѣли бы въ «Гугенотахъ» не одну партійную борьбу протестантовъ съ католиками. Но несмотря на это, его убѣжденія не собственно политическаго и подавно не религіознаго свойства; да, не религіознаго, потому что его религія только отрицательная; она состоитъ только въ томъ, что онъ, въ противоположность другимъ художникамъ, можетъ-быть, изъ гордости, не хочетъ пятнать свои губы никакою ложью... Истинная религія Мейербера—это религія Моцарта, Глюка, Бетговена; это музыка; только въ нее вѣритъ онъ, только въ этой вѣрѣ онъ находитъ блаженство и живетъ съ убѣжденіемъ, похожимъ по глубинѣ, страстности и прочности на [illegible] прошлыхъ столѣтій. Да, я готовъ даже назвать е ломъ этой религіи. Съ апостольскимъ рвеніемъ онъ всѣмъ, что̀ касается его музыки. Между другіе художники удовлетворяются послѣ создани прекраснаго, а нерѣдко утрачиваютъ даже вс

къ своему произведенію, какъ скоро оно окончено, Мейерберъ, напротивъ того, начинаетъ чувствовать сильнѣйшую любовь къ своему дитяти только послѣ разрѣшенія отъ бремени; онъ не успокаивается до тѣхъ поръ, пока созданіе его духа не является въ блестящемъ видѣ и всѣмъ остальнымъ людямъ, пока его музыка не проникнетъ въ сердце всей публики, пока его опера не наполнитъ всѣ души чувствами, которыя онъ хочетъ проповѣдывать всему міру, пока не совершится его общеніе со всѣмъ человѣчествомъ. Какъ апостолъ, для спасенія одной человѣческой души, не боится ни трудовъ, ни страданій, такъ Мейерберъ, чуть услышитъ, что кто-нибудь отвергаетъ его музыку, неутомимо преслѣдуетъ его до тѣхъ поръ, пока не привлечетъ на свою сторону; и одна спасенная овца, будь это хоть душа самаго незначительнаго фельетониста, для него пріятнѣе цѣлаго стада вѣрующихъ, не переставшихъ поклоняться ему съ правовѣрною преданностью.

Музыка—убѣжденіе Мейербера, и въ этомъ обстоятельствѣ заключается, можетъ-быть, причина той боязни и того безпокойства, которыя великій маэстро обнаруживаетъ такъ часто и которыя нерѣдко вызываютъ у насъ улыбку. Надо видѣть его въ то время, когда въ театрѣ разучиваютъ его новую оперу; тутъ онъ становится бичомъ всѣхъ музыкантовъ и пѣвцовъ, мучитъ ихъ безпрестанными репетиціями. Онъ ни на минуту не успокаивается, малѣйшій фальшивый тонъ въ оркестрѣ для него точно ударъ кинжала, отъ котораго онъ готовъ умереть. Это безпокойство преслѣдуетъ его еще долго уже послѣ исполненія оперы и принятія ея съ восторгомъ. Тутъ онъ начинаетъ волноваться еще болѣе, и какъ мнѣ кажется, успокаивается только тогда, когда умерли и похоронены нѣсколько тысячъ людей, слышавшихъ его оперу и удивлявшихся ей; по крайней мѣрѣ отъ этихъ душъ онъ не боится измѣны и совершенно увѣренъ въ нихъ. Въ тѣ дни, когда даются его оперы, ничто не удовлетворяетъ его; если идетъ дождь и холодно, онъ боится, что mademoiselle Фальконъ схватитъ насморкъ; если же вечеръ теплый и свѣтлый, онъ опасается, что хорошая погода побудитъ публику отправиться за городъ, и театръ будетъ пустъ. Ничто не можетъ сравниться съ мучительнымъ чувствомъ, которое Мейерберъ испытываетъ при чтеніи корректуры своихъ произведеній, поступившихъ, наконецъ, въ печать; эта неутомимая жажда исправленій во время чтенія корректуры вошла въ пословицу у парижскихъ артистовъ. Но не надо забы-

вать, что вѣдь музыка для него дороже всего, конечно, дороже жизни. Когда въ Парижѣ начала свирѣпствовать холера, я умолялъ Мейербера уѣхать оттуда какъ можно скорѣе; но у него было еще на нѣсколько дней дѣло, которое онъ не хотѣлъ оставить—надо было аранжировать съ однимъ итальянцемъ итальянское либретто «Роберта Дьявола».

«Гугеноты» гораздо больше, чѣмъ «Робертъ», произведеніе убѣжденія, относительно какъ формы, такъ и содержанія. Какъ я уже замѣтилъ, между тѣмъ какъ массу увлекаетъ содержаніе, болѣе спокойный наблюдатель удивляется громаднымъ успѣхамъ искусства, новымъ формамъ, выступающимъ здѣсь наружу. По мнѣнію самыхъ компетентныхъ судей, всѣ музыканты, желающіе писать оперы, должны прежде изучить «Гугенотовъ». Въ инструментовкѣ Мейерберъ достигъ высшей степени совершенства. Неслыханный характеръ приданъ хорамъ, которые выражаются какъ отдѣльныя личности и отреклись отъ всѣхъ оперныхъ традицій. Со времени «Донъ-Жуана», въ царствѣ музыки, конечно, не было явленія крупнѣе четвертаго акта «Гугенотовъ», гдѣ къ поражающей ужасомъ и потрясающей сценѣ освященія мечей, благословенія смертоноснымъ замысламъ, прибавленъ дуэтъ, еще усиливающій этотъ первый эффектъ; колоссальная смѣлость, которой нельзя было ожидать отъ боязливаго генія, но удача которой возбуждаетъ въ насъ столько же удивленія, сколько и восторга. Что касается меня, то я думаю, что Мейерберъ выполнилъ эту задачу съ помощью не искусства, а натуры, потому что въ этомъ знаменитомъ дуэтѣ высказывается рядъ чувствъ, которыя, можетъ-быть, никогда, или по крайней мѣрѣ никогда такъ правдиво не выступали на сцену въ оперѣ и, несмотря на это, зажигаютъ въ современныхъ умахъ самую пылкую симпатію. Что касается меня, то долженъ сознаться, что ни одна музыка не заставляла мое сердце биться такъ бурно, какъ музыка четвертаго акта «Гугенотовъ», но что я охотно обхожу этотъ актъ и производимыя имъ возбужденія и съ гораздо бо̀льшимъ удовольствіемъ смотрю актъ второй. Онъ идиллія, похожая по задушевности и граціи на романтическія комедіи Шекспира, а можетъ-быть, еще «Аминту» Тассо. Дѣйствительно, въ немъ по
дости проглядываетъ кроткая тоска, напомин
счастномъ придворномъ поэтѣ Феррары. Т
скливое стремленіе къ радости, чѣмъ сама
сердечный смѣхъ, а улыбка сердца, сердца,

даетъ тайнымъ недугомъ и о здоровьѣ можетъ только грезить. Какимъ образомъ случилось, что художникъ, который съ колыбели былъ отданъ отъ всѣхъ, сосущихъ кровь, житейскихъ заботъ, который, будучи рожденъ въ лонѣ богатства, взлелѣянный всѣмъ своимъ семействомъ, удовлетворявшимъ съ полною готовностью и даже энтузіазмомъ всѣмъ его склонностямъ, имѣлъ на счастіе гораздо больше права, чѣмъ всякій другой смертный художникъ — какимъ образомъ случилось, что несмотря на все это, онъ испыталъ всю ту необъятную скорбь, стоны и рыданія которой мы слышимъ въ его музыкѣ? Вѣдь того, чего композиторъ не испыталъ самъ, онъ не можетъ высказать такъ мощно, такъ потрясающе. Удивительно, что художникъ, матеріальныя потребности котораго удовлетворены, тѣмъ сильнѣе мучится отъ нравственныхъ страданій! Но въ томъ счастіе для публики, что самымъ идеальнымъ наслажденіемъ своимъ она обязана скорбямъ художника. Художникъ есть то дитя, о которомъ народная сказка разсказываетъ, что всѣ его слезы—жемчуги. Ахъ, злая мачеха, свѣтъ, для того бьетъ бѣдное дитя безъ всякой пощады, чтобы оно какъ можно больше плакало жемчугомъ!

«Гугенотовъ», еще больше чѣмъ «Роберта Дьявола», упрекали въ недостаткѣ мелодіи. Этотъ упрекъ основанъ на ошибочномъ взглядѣ. «Изъ-за сплошного лѣса не видно отдѣльныхъ деревьевъ». Мелодія подчинена здѣсь гармоніи, и уже при сравненіи съ музыкой Россини, которая отличается совершенно противоположнымъ отношеніемъ, я замѣтилъ, что именно это преобладаніе гармоніи придаетъ музыкѣ Мейербера характеръ человѣчественно двигающейся, общественно новой музыки. Въ мелодіяхъ она совсѣмъ не имѣетъ недостатка, только эти мелодіи не выступаютъ съ крутымъ упрямствомъ, скажу даже—съ эгоизмомъ; онѣ служатъ только цѣлому, онѣ дисциплинированы, между тѣмъ какъ у итальянцевъ мелодіи дѣйствуютъ изолированно, я сказалъ бы даже—внѣ закона, почти такъ, какъ дѣйствуютъ ихъ знаменитые бандиты. Этого только не замѣчаютъ; многіе простые солдаты дерутся въ большомъ сраженіи такъ же хорошо, какъ калабрійцы, одинокіе разбойники, храбрость которыхъ не такъ поражала бы насъ, еслибъ мы встрѣтили ихъ въ ряду регулярныхъ войскъ. Я отнюдь не хочу отнимать у преобладанія мелодіи его достоинства, но долженъ замѣтить, что слѣдствіемъ этого преобладанія сдѣлалось въ Италіи то равнодушіе къ ансамблю оперы, къ оперѣ, какъ законченному произведенію, которое проявляется до такой степени наивно,

что въ ложахъ, въ то время, когда не поются бравурныя партіи, принимаютъ посѣтителей, безцеремонно болтаютъ, чуть-чуть не играютъ въ карты.

Преобладаніе гармоніи въ произведеніяхъ Мейербера есть, можетъ-быть, необходимое слѣдствіе его обширнаго образованія, обнимающаго царство мысли и внѣшнихъ явленій. На воспитаніе его было потрачено много денегъ, и умъ его былъ очень воспріимчивъ; его рано познакомили со всѣми науками, и этимъ онъ также отличается отъ большей части музыкантовъ, которыхъ блестящее невѣжество отчасти простительно имъ, такъ какъ у нихъ обыкновенно не достаетъ времени и средствъ пріобрѣтать себѣ большія познанія внѣ своей сферы. Выученное сдѣлалось у Мейербера натурою, и школа жизни довела его развитіе до высшей степени; онъ принадлежитъ къ тому незначительному числу нѣмцевъ, которыхъ даже Франція должна была признать образцами цивилизованныхъ людей. Такая высокая степень образованія была, можетъ-быть, необходима для того, чтобы собрать въ одно и надежною рукою воспроизвести матеріалъ, изъ котораго слагались «Гугеноты». Но не повредили ли эта широта пониманія и ясность взгляда другимъ достоинствамъ—это еще вопросъ. Образованность уничтожаетъ въ художникѣ тотъ рѣзкій способъ выраженія, тѣ яркія краски, ту первобытность мыслей, ту непосредственность чувствъ, которымъ мы такъ удивляемся въ грубоограниченныхъ необразованныхъ натурахъ.

Образованность вообще покупается дорогою цѣною, и маленькая Бланка права. Эта осьмилѣтняя дочка Мейербера завидуетъ праздности маленькихъ мальчиковъ и дѣвочекъ, играющихъ на улицѣ, и недавно выразилась такъ: «Какое несчастье, что у меня образованные родители! Съ утра до вечера я должна учить наизусть всевозможныя вещи, и сидѣть тихо, и вести себя хорошо, между тѣмъ какъ необразованныя дѣти такъ весело бѣгаютъ цѣлый день по улицѣ и могутъ забавляться, сколько имъ угодно!»

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ.

Кромѣ Мейербера, Académie royale de musique мало композиторовъ, о которыхъ стоитъ говорит
А между тѣмъ, французская опера все-таки п
какъ нельзя больше, или, чтобы выразиться і
дѣлаетъ каждый день отличный сборъ. Это ці

стояніе началось шесть лѣтъ тому назадъ, при управленіи знаменитаго Верона, принципы котораго были потомъ примѣнены къ дѣлу съ такимъ же успѣхомъ новымъ директоромъ, г. Дюпонтелемъ. Я говорю принципы, потому что у г. Верона дѣйствительно были принципы, результаты его размышленій въ области искусства и науки, и какъ будучи аптекаремъ, онъ изобрѣлъ отличную микстуру противъ кашля, точно такъ же, сдѣлавшись оперным директоромъ, нашелъ лѣкарство отъ музыки. Именно, онъ замѣтилъ на самомъ себѣ, что представленіе у Франкони доставляло ему больше удовольствія, чѣмъ самая лучшая опера; онъ убѣдился, что большая часть публики одушевлена тѣми же самыми чувствами, что большинство ходитъ въ Grand Opéra только изъ приличія и только тогда вполнѣ довольно, когда прекрасныя декораціи, костюмы и танцы до того приковываютъ его вниманіе, что оно совсѣмъ позабываетъ о фатальной музыкѣ. Вслѣдствіе этого великій Веронъ пришелъ къ геніальной мысли до такой степени удовлетворять этой страсти къ зрѣлищамъ, чтобы музыка нимало не безпокоила зрителей, чтобы въ Grand Opéra они находили такое же удовольствіе, какъ у Франкони. Великій Веронъ и великая публика поняли другъ друга; первый сумѣлъ сдѣлать музыку безвредною и подъ именемъ «оперы» давалъ только пьесы съ великолѣпной постановкой; вторая получила возможность ходить со своими дочерьми и супругами въ Большую Оперу, какъ прилично образованнымъ классамъ, и при этомъ не умирать отъ скуки. Америка была открыта, яйцо поставлено на острый конецъ, оперный театръ наполнялся каждый день. Франкони обанкрутился, а г. Веронъ сдѣлался богатымъ человѣкомъ. Имя Верона будетъ вѣчно жить въ лѣтописяхъ музыки; онъ украсилъ храмъ богини, но ее самоё вытолкалъ за дверь. Ничто не можетъ сравниться съ роскошью, занявшею первое мѣсто въ Большой Оперѣ, и этотъ театръ сдѣлался теперь раемъ глухихъ людей.

Нынѣшній директоръ слѣдуетъ принципамъ своего предшественника, несмотря на то, что между личностями ихъ существуетъ самая забавно-рѣзкая противоположность. Видѣли ли вы когда-нибудь г. Верона? Въ Café de Paris или на бульварѣ Coblence вамъ вѣрно бросалась иногда въ глаза эта тучная карикатурная фигура съ косо нахлобученною шляпою, въ громадномъ бѣломъ галстукѣ, въ воротничкахъ, закрывающихъ даже уши, такъ что красное, веселое лицо съ маленькими блестящими глазами едва видно изъ-за этого

наряда. Полный сознаніемъ своего пониманія людей и своихъ удачъ, онъ прохаживается такъ безмятежно, такъ нахально безмятежно, окруженный придворнымъ штатомъ молодыхъ, а иногда и старыхъ денди литературы, которыхъ онъ обыкновенно угощаетъ шампанскимъ или красивыми фигурантками. Это богъ матеріализма, и при моихъ встрѣчахъ съ нимъ, его издѣвающійся надъ духовною жизнью взглядъ не разъ мучительно впивался въ мое сердце; иногда мнѣ казалось, что изъ глазъ его выползало множество червяковъ, липкихъ и блестящихъ.

Г. Дюпоншель—тощій, желто-блѣдный человѣкъ; видъ его если не благороденъ, то гордъ, онъ постоянно печаленъ, похожъ на человѣка, присутствующаго на похоронахъ, и кто-то совершенно вѣрно назвалъ его: «un deuil perpétuel». По внѣшнему виду его можно принять скорѣе за надзирателя на Père Lachaise, чѣмъ за директора Большой Оперы. Онъ всегда напоминаетъ мнѣ меланхолическаго придворнаго шута Людовика XIII. Этотъ рыцарь печальнаго образа теперь maître de plaisirs парижанъ, и мнѣ хотѣлось бы когда-нибудь подсмотрѣть, какъ онъ, сидя одинъ въ своей комнатѣ, обдумываетъ новыя шутки для увеселенія своего повелителя, французской публики, какъ онъ тоскливо шутовски покачиваетъ головой, такъ что бубенчики на его черномъ колпакѣ звенятъ, точно вздыхая, когда онъ раскрашиваетъ рисунокъ новаго костюма для г-жи Фальконъ, или раскрываетъ красную книгу, чтобы узнать, дѣйствительно ли Тальони...

Вы смотрите на меня съ удивленіемъ? Да, это серьезная книга, значеніе которой весьма трудно объяснить, приличными словами. Только аналогическими сравненіями я могу заставить понять себя. Знаете ли вы, что̀ такое насморкъ пѣвицъ? Я слышу ваши вздохи, вижу, что вы снова вспоминаете о времени вашего мученичества: послѣдняя репетиція сдѣлана, опера уже объявлена на вечеръ, и вдругъ примадонна приходитъ и объявляетъ, что она не можетъ пѣть, потому что у нея насморкъ. Тутъ ужъ нечего дѣлать, на небо возводится взглядъ, взглядъ необъятной скорби и печатается новая афиша, въ которой почтенной публикѣ объявляютъ, что по нездоровью дѣвицы Шна вленіе «Весталки» не можетъ состояться, и вм данъ «Рохусъ Пумперникель». Танцовщицамъ какой пользы объявлять, что у нихъ насмор эта болѣзнь не могла мѣшать имъ танцоват завидовали пѣвицамъ, изобрѣвшимъ это прос

съ помощью котораго онѣ могли во всякое время себѣ доставить отдыхъ, а своему врагу, директору театра, причинить большое огорченіе. Вслѣдствіе этого, онѣ обратились къ богамъ съ просьбою о помощи, и боги, подобно всѣмъ монархамъ, друзья балета, надѣлили ихъ недугомъ, который, будучи безвреденъ самъ по себѣ, не позволяетъ, однако, дѣлать публично пируэты и который мы, по аналогіи съ thé dansant, назовемъ танцовальнымъ насморкомъ. Такимъ образомъ, теперь танцовщица, не желающая танцовать, имѣетъ такой же неопровержимый предлогъ къ отказу, какъ и любая пѣвица. Бывшій директоръ Большой Оперы часто посылалъ себя ко всѣмъ чертямъ, когда надо было давать «Сильфиду», а Тальони извѣщала его, что она не можетъ надѣть крылья и трико, потому что у ней танцовальный насморкъ... Великій Веронъ, въ своей глубокой мудрости, открылъ, что танцовальный насморкъ отличается отъ насморка поющаго извѣстною періодичностью появленія, и что наступленіе его можно разсчитать заранѣе, потому что боги, вообще любя порядокъ, снабдили танцовщицъ такимъ недугомъ, который находится въ связи съ законами астрономіи, физики, гидравлики, словомъ—всей вселенной, и слѣдовательно подлежитъ вычисленію; напротивъ того, насморкъ пѣвицъ есть изобрѣтеніе людское, изобрѣтеніе женской прихоти, и слѣдовательно вычисленію не подлежитъ. Въ этомъ обстоятельствѣ вычисляемости періодическаго возвращенія танцовальнаго насморка великій Веронъ нашелъ средство противъ капризовъ великихъ танцовщицъ, и каждый разъ, какъ только какая-нибудь изъ нихъ получала такой насморкъ, онъ заносилъ число этого событія въ особенную книгу, и это-то и есть та красная книга, которую г. Дюпоншель держалъ въ рукахъ, чтобы разсчитать, въ какой день Тальони... Эта книга, характеризующая изобрѣтательный умъ и вообще умъ бывшаго директора Оперы, г. Верона, конечно, имѣетъ практическую пользу.

Предыдущія замѣтки могутъ дать вамъ понятіе о теперешнемъ значеніи французской Большой Оперы. Она примирилась съ врагами музыки, и зажиточная буржуазія проникла въ Académie de musique, какъ проникла она въ Гюильри, между тѣмъ какъ знатный кругъ ушелъ оттуда. Аристократія, это избранное общество, отличающееся саномъ, образованностью, происхожденіемъ, фешіонебельностью и праздностью, бѣжала въ Итальянскую Оперу, въ этотъ музыкальный оазисъ, гдѣ все еще не перестали заливаться

великіе соловьи искусства, гдѣ все еще волшебно струятся потоки мелодіи и гдѣ пальмы красоты машутъ въ знакъ одобренія своими гордыми опахалами, между тѣмъ какъ кругомъ разстилается блѣдная, печальная пустыня, Сахара музыки. Только отдѣльные хорошіе концерты выплываютъ иногда на поверхность этой пустыни и утоляютъ томительную жажду друзей музыки. Къ числу этихъ концертовъ принадлежали нынѣшнею зимою воскресенья въ консерваторіи, нѣсколько частныхъ вечеровъ въ rue de Bondy, и особенно концерты Берліоза и Листа. Два послѣдніе—безспорно замѣчательнѣйшія явленія въ здѣшнемъ музыкальномъ мірѣ; я говорю замѣчательнѣйшія, но не прекраснѣйшія, не отраднѣйшія. Берліозъ скоро дастъ намъ оперу. Сюжетъ ея— эпизодъ изъ жизни Бенвенуто Челлини, отлитіе статуи Персея— Ожидаютъ необыкновеннаго, потому что этотъ композиторъ создалъ уже необыкновенныя вещи. Направленіе его ума— фантастическое, соединенное не съ задушевностью, но с сентиментальностью; онъ очень похожъ на Калло, Гоцци и Гофмана. Уже одинъ внѣшній видъ его указываетъ на это свойство. Жаль, что онъ остригъ свои огромнѣйшіе, допотопные волосы, стоявшіе на его головѣ, какъ лѣсъ на крутомъ утесѣ; въ этой прическѣ я видѣлъ его въ первый разъ шесть лѣтъ тому назадъ, и такимъ онъ всегда останется въ моей памяти. Это было въ Conservatoire de musique; давали большую симфонію его сочиненія, странную, мрачную пьесу, которая только по временамъ освѣщается сентиментально бѣлымъ женскимъ платьемъ, развѣвающимся въ ней то въ ту, то въ другую сторону, или сѣрно-желтою молніею ироніи. Лучшее въ ней—шабашъ вѣдьмъ, гдѣ чортъ служитъ обѣдню и гдѣ католическая церковная музыка парадируется съ самымъ страшнымъ, самымъ кровавымъ шутовствомъ. Это фарсъ, въ которомъ выползаютъ съ радостнымъ шипѣніемъ всѣ тайныя змѣи, носимыя нами въ сердцѣ. Мой сосѣдъ по ложѣ, говорливый молодой человѣкъ, показалъ мнѣ композитора, стоявшаго въ углу оркестра и игравшаго на литаврахъ. Потому что литавры—его инструментъ. «Видите въ ложѣ авансцены,—сказалъ мой сосѣдъ:—эту толстую англичанку? Это миссъ Смитсонъ; въ эту даму господинъ уже три года смертельно влюбленъ, и этой страс заны дикою симфоніею, которую вы сегодня Дѣйствительно, въ ложѣ авансцены сидѣла актриса ковентгарденскаго театра; Берліозъ не смотрѣть на нее, и каждый разъ, какъ ихъ в

чались, онъ точно въ бѣшенствѣ ударялъ въ литавры. Миссъ Смитсонъ сдѣлалась потомъ госпожею Берліозъ, а супругъ ея обстригъ себѣ волосы. Нынѣшнею зимою я опять слушалъ въ консерваторіи его симфонію, и онъ снова сидѣлъ за литаврами въ углу оркестра, толстая англичанка попрежнему помѣщалась на авансценѣ, ихъ взоры снова встрѣчались... но онъ уже не ударялъ съ прежнимъ бѣшенствомъ въ литавры.

Листъ находится въ ближайшемъ артистическомъ родствѣ съ Берліозомъ, и никто не исполняетъ лучше его музыкальныхъ произведеній этого послѣдняго. Мнѣ нечего говорить вамъ о талантѣ Листа; онъ пользуется европейской славой. Онъ безспорно тотъ художникъ, который находитъ въ Парижѣ самыхъ безусловныхъ поклонниковъ, но въ то же время и самыхъ ревностныхъ противниковъ. Знаменательно то, что никто не можетъ отзываться о немъ равнодушно. Безъ положительнаго содержанія нельзя возбуждать въ этомъ мірѣ ни дружескихъ, ни враждебныхъ страстей. Для того, чтобы воспламенять людей какъ къ ненависти, такъ и къ любви, нуженъ огонь. Лучше всего говоритъ въ пользу Листа то полное уваженіе, съ которымъ даже противники его признаютъ его личное достоинство. Онъ человѣкъ странный, но благородный, безкорыстный и чуждый фальши. Въ высшей степени замѣчательно направленіе его ума; у него большіе задатки философской спекулятивности, и изслѣдованія различныхъ школъ, работающихъ надъ разрѣшеніемъ великихъ, обнимающихъ небо и землю, вопросовъ, занимаютъ его еще больше, чѣмъ интересы его искусства. Долгое время питалъ онъ пламенное сочувствіе къ прекрасному воззрѣнію сенъ-симонистовъ, потомъ отуманили его спиритуалистическія или, скорѣе, туманныя идеи Балланша, теперь онъ преданъ республиканско-католическому ученію Ламнэ, повѣсившаго на крестъ якобинскій колпакъ... Богъ знаетъ, въ какихъ умственныхъ ясляхъ найдетъ онъ своего слѣдующаго конька. Но во всякомъ случаѣ, похвально это неутомимое стремленіе къ свѣту и божественности, оно доказываетъ пониманіе этимъ человѣкомъ святого, религіознаго. Что такая неспокойная голова, которую постоянно спутываютъ современныя нужды и доктрины, которая чувствуетъ потребность заботиться о всѣхъ нуждахъ человѣчества и любитъ совать носъ во всѣ горшки, въ которыхъ боги варятъ будущность,—что Францъ Листъ не можетъ быть невиннымъ піанистомъ спокойныхъ гражданъ и безмятежныхъ добряковъ, это понимается само

собою. Когда онъ садится за фортепіано и, нѣсколько разъ откинувъ назадъ волосы, начинаетъ импровизировать, тогда нерѣдко руки его бьютъ съ особеннымъ безуміемъ по костянымъ клавишамъ, и тутъ звучитъ передъ нами пустыня, наполняемая небесно высокими мыслями, между которыми изрѣдка насажены прелестнѣйшіе цвѣты, распространяющіе вокругъ свое благоуханіе, такъ что въ одно и то же время ощущаешь и скорбную тревогу, и блаженство, но больше—скорбную тревогу!

Сознаюсь вамъ, какъ ни люблю я Листа, но музыка его не совсѣмъ пріятно дѣйствуетъ на мою душу, тѣмъ болѣе, что тѣ привидѣнія, которыя другіе люди только слышатъ, я, кромѣ того, вижу, и что при каждомъ звукѣ, извлекаемомъ рукою изъ клавишъ, въ моемъ умѣ возстаетъ соотвѣтствующій ему образъ; словомъ, музыка видима моему внутреннему глазу. Мозгъ мой до сихъ поръ дрожитъ при воспоминаніи о концертѣ, въ которомъ я въ послѣдній разъ слышалъ Листа. Это было въ концертѣ въ пользу несчастныхъ итальянцевъ, дававшемся въ отелѣ той прекрасной и благородной страдалицы-княгини, которая является такою чудною представительницею своей физической и своей духовной отчизны, Италіи и неба... Вы вѣрно видѣли въ Парижѣ эту идеальную фигуру, которая, однако, есть не что иное, какъ тюрьма, служащая мѣстомъ заточенія самой святой ангельской души. Но эта тюрьма такъ хороша, что каждый останавливается предъ нею и смотритъ на нее точно околдованный. И въ этомъ концертѣ въ пользу несчастныхъ итальянцевъ я въ послѣдній разъ слышалъ Листа прошедшею зимою; не помню, какую пьесу онъ игралъ, но готовъ поклясться, что это была варіаціи на нѣкоторыя темы изъ Апокалипсиса. Сначала я не могъ явственно различить четырехъ мистическихъ звѣрей, я слышалъ только ихъ голоса, особенно ревъ льва и крикъ орла. Быка съ книгой въ рукѣ я видѣлъ совершенно ясно. Лучше всего разыгралъ онъ Іосафатову долину. Тутъ глазамъ моимъ явилась арена, какъ на турнирѣ, вокругъ этого необъятнаго пространства толпились зрителя возставшіе изъ гробовъ народы, съ покрытыми смертельною блѣдностью лицами и съ трепетомъ во всѣхъ членахъ. Первымъ поскакалъ на арену Сатана, въ черномъ вооруженіи, на бѣлоснѣжномъ конѣ. Позади его медленно ѣ[illegible] Смерть на чалой лошади. Наконецъ, появился Христосъ одеждѣ, на черномъ конѣ, и своимъ священн[illegible] Онъ повергъ на землю сначала Сатану, пото

зрители возликовали... Бурными аплодисментами отвѣчала публика на игру Листа, который въ утомленіи всталъ изъ-за фортепіано и раскланивался передъ дамами... На губахъ лучшихъ красавицъ появилась та меланхолически сладостная улыбка, которая напоминаетъ Италію и заставляетъ предчувствовать небо.

Только-что упомянутый концертъ имѣлъ для публики еще особенный интересъ. Изъ газетъ вы хорошо знаете, какая несчастная вражда существуетъ между Листомъ и вѣнскимъ піанистомъ Тальбергомъ, какого шуму надѣлала въ музыкальномъ мірѣ статья Листа противъ Тальберга и какую роль играли при этомъ подкарауливающіе враги и сплетники, въ ущербъ какъ рецензенту, такъ и критикуемому. Въ самомъ разгарѣ этихъ скандалезныхъ столкновеній оба героя дня рѣшились играть въ одномъ и томъ же концертѣ, одинъ послѣ другого. Они оба отложили въ сторону чувство оскорбленной личности, чтобы служить благотворительной цѣли, и публика, которой они дали случай на мѣстѣ сравнить и оцѣнить ихъ отличительныя свойства, щедро заплатила артистамъ заслуженными рукоплесканіями.

Да, стоитъ только одинъ разъ сравнить музыкальный характеръ того и другого, чтобы убѣдиться, что похвала одному въ ущербъ другому доказываетъ только столько же ограниченность, сколько коварство хвалящаго. Техническое искусство обоихъ ихъ совершенно одинаково, а что касается духовнаго характера ихъ игры, то невозможно представить себѣ контрастъ рѣзче того, который представляетъ благородный, полный чувства, разсудительный, задушевный, спокойный, нѣмецкій, даже австрійскій Тальбергъ, съ дикимъ, молніеноснымъ, огнедышащимъ, все ниспровергающимъ Листомъ.

Сравненіе двухъ виртуозовъ основывается обыкновенно на заблужденіи, которое нѣкогда господствовало и въ теоріи поэзіи, именно на такъ-называемомъ принципѣ побѣжденія трудностей. Но точно такъ же, какъ потомъ убѣдились, что значеніе метрической формы состоитъ совсѣмъ не въ томъ, что она свидѣтельствуетъ объ умѣньѣ автора владѣть языкомъ, и что прекрасными стихами мы восхищаемся не потому, что сочиненіе ихъ стоило писателю большого труда,— точно такъ же скоро убѣдятся, что достаточно, если музыкантъ жетъ передать на своемъ инструментѣ все, что онъ чувствуетъ и думаетъ, или что чувствовали и думали другіе, и что всѣ виртуозническіе tours de force, доказывающіе

только преодолѣніе трудностей, должны быть отброшены, какъ вещь безполезная, и причислены къ области фокусничества, умѣнья глотать сабли, искусства ходить по канату и танцовать на яйцахъ. Достаточно, если музыкантъ настолько владѣетъ своимъ инструментомъ, что заставляетъ совершенно забывать матеріальное посредничество и слышать только духъ ея. Вообще, съ тѣхъ поръ, какъ Калькбреннеръ довелъ техническое искусство въ музыкѣ до высшей степени совершенства, піанистамъ нечего слишкомъ гордиться своимъ техническимъ умѣньемъ. Только тупоуміе и злоба могутъ говорить въ педантическихъ выраженіяхъ о переворотѣ, произведенномъ Тальбергомъ на фортепіано. Этому великому, превосходному артисту оказали дурную услугу тѣмъ, что вмѣсто того, чтобы восхвалять юношескую красоту, нѣжность и грацію его игры, представляли его какимъ-то Колумбомъ, открывшимъ на фортепіано Америку, между тѣмъ какъ другіе до сихъ поръ не могли переплыть за мысъ Доброй Надежды, когда хотѣли угостить публику музыкальными пряностями. Какъ, я думаю, смѣялся Калькбреннеръ, когда услышалъ о новомъ открытіи!

Было бы несправедливо, если бы я не упомянулъ здѣсь о піанистѣ, который послѣ Листа пользуется самою громкою славою. Это Шопенъ, который не только блещетъ, какъ виртуозъ, техническимъ совершенствомъ, но и создаетъ превосходнѣйшія вещи, какъ композиторъ. Это человѣкъ первоклассный. Шопенъ—любимецъ того избраннаго круга, который ищетъ въ музыкѣ высшихъ духовныхъ наслажденій. Слава его—артистическаго свойства, она парфюмирована восхваленіями хорошаго общества, она аристократична, какъ его личность.

Шопенъ родился въ Польшѣ отъ французскихъ родителей и часть воспитанія получилъ въ Германіи. Эти вліянія трехъ національностей сдѣлали изъ его личности въ высшей степени замѣчательное явленіе; онъ присвоилъ себѣ все, что есть лучшаго въ этихъ трехъ народахъ: Польша передала ему свое рыцарское чувство и свою историческую скорбь, Франція дала ему свою легкую грацію, Германія дала ему романтическое глубокомысліе. Природа же дала ему нѣжную, стройную, немного болѣзненную фигуру, благороднѣйшее сердце и геній. Да, Шопена должно назвать геніемъ въ полномъ смыслѣ этого слова; онъ не только и поэтъ; онъ можетъ дѣлать для насъ на живущую въ его душѣ, онъ композиторъ, и

сравниться съ тѣмъ наслажденіемъ, которое онъ доставляетъ намъ, когда садится за рояль и импровизируетъ. Въ эти минуты онъ не полякъ, не французъ, не нѣмецъ; въ немъ обличается гораздо болѣе высокое происхожденіе, тотчасъ же замѣчаешь, что онъ родился тамъ же, гдѣ Моцартъ, Рафаэль, Гёте; настоящая отчизна его — фантастическое царство поэзіи. Когда онъ сидитъ за роялемъ и импровизируетъ, у меня на душѣ становится такъ, какъ будто ко мнѣ прилетъ землякъ изъ дорогой родины и разсказываетъ мнѣ о любопытнѣйшихъ вещахъ, случившихся тамъ во время моего отсутствія... По временамъ мнѣ хочется перебить его вопросами: а какъ поживаетъ прекрасная русалка, которая умѣла такъ кокетливо набрасывать серебряное покрывало на свои зеленыя кудри? Все ли еще она преслѣдуетъ бѣлобородаго морского бога съ его дурацкой изношенною любовью? Все ли еще розы у насъ такъ пламенно горды? Все ли еще наши деревья такъ хорошо поютъ при лунномъ свѣтѣ?...

Ахъ! давно уже я живу на чужбинѣ, и иногда мнѣ кажется, что я и моя сказочная тоска по родинѣ—летучій голландецъ и его спутники, которые вѣчно качаются на холодныхъ волнахъ и напрасно томятся по тихимъ набережнымъ, тюльпанамъ, глинянымъ трубкамъ и фарфоровымъ чашкамъ Голландіи... «Амстердамъ! Амстердамъ! Когда же мы снова будемъ въ Амстердамѣ?»—стонутъ они подъ шумъ бури, между тѣмъ какъ ревущій вѣтеръ не перестаетъ вскидывать ихъ туда и сюда по проклятымъ волнамъ ихъ водяного ада. Я хорошо понимаю скорбь, съ которою капитанъ заколдованнаго корабля сказалъ однажды: «Если только удастся мнѣ вернуться когда-либо въ Амстердамъ, я лучше сдѣлаюсь какимъ-нибудь камнемъ на углу улицы, чѣмъ рѣшусь снова уѣхать изъ города!» Бѣдный ванъ-деръ-Декенъ!

Я надѣюсь, любезный другъ, что эти письма застанутъ васъ здоровымъ и веселымъ, и что меня не постигнетъ участь летучаго голландца, который обыкновенно посылалъ письма людямъ, давно умершимъ на родинѣ во время его отсутствія!

Ахъ, сколько любимыхъ мною умерло на родинѣ въ то время, когда злѣйшія бури кидали на чужбинѣ мой жизненный корабль во всѣ стороны! У меня начинаетъ кружиться голова, и я думаю, что звѣзды на небѣ тоже перестали твердо стоять на своихъ мѣстахъ и вращаются въ тревожно страстныхъ кругахъ. Я закрываю глаза, и тогда

самыя безумныя грезы хватаютъ меня своими длинными руками, и переносятъ меня въ неслыханныя страны, какъ причудливо удивительны мѣстности, которыя я вижу въ грезахъ, и какія ужасныя страданія мучатъ меня даже во снѣ!

Прошедшею ночью я видѣлъ себя въ громадномъ соборѣ. Въ немъ царствовалъ полусвѣтъ... Только въ самомъ верху, по галлереямъ, устроеннымъ надъ первыми колоннами, тянулись колеблющіеся огни процессіи: пѣвчіе въ красныхъ одеждахъ впереди, неся огромныя восковыя свѣчи и хоругви, вслѣдъ за ними коричневые монахи и священники въ пестрыхъ ризахъ. И это шествіе сказочно страшно двигалось въ высотѣ, вдоль по куполу, но постепенно опускаясь все ниже, между тѣмъ какъ я, внизу, держа на ру-
кахъ несчастную женщину, леталъ по церкви. Не помню
уже, вслѣдствіе какого испуга мы начали летать съ сердце-
біеніемъ, нѣсколько разъ старались, но напрасно, укрыться
за одною изъ исполинскихъ колоннъ, и испытывали все
больше и больше ужаса, потому что процессія, спускаясь
по витымъ лѣстницамъ, наконецъ, приблизилась къ намъ...
Изъ устъ ея вылетало непонятно грустное пѣнье, и, что
было еще непонятнѣе, впереди шла высокая, блѣдная, уже
пожилая женщина, носившая еще на лицѣ слѣды большой
красоты и направившаяся къ намъ размѣренными па, почти
такъ, какъ ходятъ оперныя танцовщицы. Въ рукахъ она
держала букетъ изъ черныхъ цвѣтовъ и протянула намъ
его съ театральными жестами, между тѣмъ какъ въ ея
большихъ, блестящихъ глазахъ, казалось, плакала истин-
ная, необъятная печаль... Но вдругъ сцена измѣнилась, и,
вмѣсто мрачнаго собора, мы очутились въ сельской мѣст-
ности, гдѣ горы двигались и принимали разныя положе-
нія, точно люди, и гдѣ деревья съ красными огненными
листьями, казалось, горѣли—и дѣйствительно горѣли... По-
тому что когда горы, послѣ самыхъ безумныхъ движеній,
превратились въ равнины, деревья тоже сгорѣли сами со-
бой и разсыпались пепломъ... И наконецъ, очутился я со-
всѣмъ одинокій на широкой, пустынной равнинѣ, гдѣ подъ
моими ногами не было ничего, кромѣ желтаго песка
мною ничего, кромѣ безотрадно безцвѣтнаго неба.
одинъ. Спутница моя исчезла, и когда я началъ
искать ее, то нашелъ въ пескѣ статую женщины
ной красоты, но безъ рукъ, какъ Венера Мило
плачевной порчею мрамора во многихъ мѣста

ремени съ грустью смотрѣлъ я на нее, пока ко мнѣ не одъѣхалъ всадникъ. Это была большая птица, страусъ, и халъ онъ на верблюдѣ, что выходило довольно смѣшно. нъ тоже остановился передъ разломанною статуей, и мы олго разговаривали объ искусствѣ. Что такое искусство? просилъ я. И онъ отвѣчалъ: «Спросите объ этомъ у боль-ого каменнаго сфинкса, сидящаго на корточкахъ въ пе-еднемъ дворѣ парижскаго мужского музея».

Дорогой другъ, не смѣйтесь надъ моею ночною исторіею! Или, можетъ-быть, вы тоже заражены будничными пред-азсудками противъ грёзъ?.. Завтра я ѣду въ Парижъ. Прощайте.

БАХАРАХСКІЙ РАВВИНЪ

(Отрывокъ).

(1821 г.).

Своему любимому другу

Генриху Лаубе

Посвящаетъ легенду о Бахарахскомъ Раввинѣ, съ сердечнымъ привѣтомъ

Авторъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ нижней части рейнскаго округа, гдѣ берега рѣки теряютъ свою смѣющуюся физіономію, гдѣ горы и утесы съ ихъ причудливыми развалинами замковъ принимаютъ болѣе суровый видъ, и возстаетъ болѣе дикое, болѣе серьезное великолѣпіе—тамъ расположенъ, какъ зловѣщая легенда былыхъ временъ, мрачный, старый городъ Бахарахъ. Не всегда были такъ гнилы и полуразрушены эти стѣны съ ихъ беззубыми зубцами и слѣпыми сторожевыми башенками, въ расщелинахъ которыхъ свиститъ вѣтеръ и вьютъ гнѣзда воробьи; въ этихъ жалко безобразныхъ глиняныхъ улицахъ, которыя видишь сквозь разломанныя ворота, не всегда царила эта мертвенная тишина, теперь по временамъ прерываемая крикомъ дѣтей, визгомъ женщинъ и мычаньемъ коровъ. Нѣкогда эти стѣны были горды и сильны, и въ этихъ улицахъ двигалась свѣжая, свободная жизнь, были мощь и пышность, радость и муки, много любви и много ненависти. Бахарахъ принадлежалъ нѣкогда къ тѣмъ муниципіямъ, которыя были основаны римлянами въ пору ихъ владычества на Рейнѣ, и его обитатели, несмотря на то, что послѣдую-

щія времена были очень бурны и что имъ пришлось позднѣе подпасть господству Гогенштауфеновъ, а наконецъ виттельбахскому—все-таки умѣли, по примѣру другихъ нѣмецкихъ городовъ, сохранять довольно свободное общинное устройство. Оно состояло изъ союза нѣсколькихъ корпорацій, изъ которыхъ корпораціи старыхъ гражданъ-патриціевъ и цеховая, въ свою очередь имѣвшая нѣсколько отдѣловъ сообразно съ различными ремеслами, боролись между собою изъ-за единодержавія; такимъ образомъ, всѣ онѣ были тѣсно сплочены для внѣшнихъ дѣйствій—борьбы съ сосѣднимъ хищническимъ дворянствомъ, въ своихъ же владѣніяхъ находились въ постоянномъ раздорѣ изъ-за спорныхъ интересовъ, вслѣдствіе чего и было между ними мало взаимной общительности, много недовѣрія, часто даже фактическіе взрывы страсти. Правящій фогтъ сидѣлъ въ высоко помѣщавшемся замкѣ Сарекѣ и оттуда, подобно своему соколу, быстро слеталъ внизъ, когда его звали, а иногда и незваный. Духовенство господствовало въ темнотѣ затемнѣніемъ духа. Наиболѣе обособленною, безсильною и постепенно лишавшеюся гражданскихъ правъ корпораціею была маленькая еврейская община, которая уже въ римское время поселилась въ Бахарахѣ и впослѣдствіи, въ пору общаго гоненія евреевъ, принимала цѣлыя толпы своихъ единовѣрцевъ-бѣглецовъ.

Великое гоненіе евреевъ началось съ крестовыми походами и самымъ ужаснымъ образомъ свирѣпствовало въ половинѣ XIV ст., въ послѣдніе дни чумы, вину которой, какъ всѣхъ общественныхъ несчастій, взваливали на евреевъ, утверждая, что они своими заклинаніями привлекли Божій гнѣвъ и съ помощью прокаженныхъ отравили колодцы. Разграженная чернь, въ особенности орды флагеллантовъ, полунагихъ мужчинъ и женщинъ, которые проходили по рейнскимъ землямъ и остальной южной Германіи, покаянно бичуя себя и распѣвая безумныя духовныя пѣсни, умерщвляла тогда евреевъ тысячами, или истязала ихъ, или насильственно крестила. Другое обвиненіе, которое уже въ прежнія времена, во все продолженіе среднихъ вѣковъ до начала прошедшаго столѣтія, стоило имъ много крови и мукъ, было нелѣпая, до отвращенія часто повторявшаяся въ хроникахъ и легендахъ сказка, что евреи крадутъ освященныя причастныя облатки и прокалываютъ ихъ ножами до тѣхъ поръ, пока изъ нихъ не потечетъ кровь, и что въ свой праздникъ Пасхи они убиваютъ христіанскихъ дѣтей,

чтобы употреблять ихъ кровь въ своихъ ночныхъ богослуженіяхъ. Евреи, достаточно ненавидимые за ихъ вѣру, ихъ богатство и ихъ долговыя книги, въ этотъ праздникъ были вполнѣ въ рукахъ своихъ враговъ, которымъ не стоило никакого труда губить ихъ, распространяя слухи о подобныхъ дѣтоубійствахъ, а можетъ-быть, даже подбрасывая окровавленный дѣтскій трупъ въ проклятый домъ еврея и затѣмъ, нападая ночью на молящуюся семью—при чемъ начинали убивать, грабить и крестить, устраивая вмѣстѣ съ тѣмъ чудеса, якобы совершаемыя найденнымъ мертвымъ ребенкомъ, котораго католическая церковь, въ концѣ концовъ, даже причисляла къ лику святыхъ. Св. Вернеръ именно такой святой, и въ его честь воздвигнуто въ Обервезелѣ то великолѣпное аббатство, которое въ настоящее время есть одна изъ прекраснѣйшихъ развалинъ на Рейнѣ и готическою прелестью своихъ длинныхъ остроконечныхъ оконъ, гордо возносящихся колоннъ и каменныхъ вырѣзныхъ украшеній, приводитъ насъ въ такой восторгъ, когда мы въ ясно зеленый день проходимъ мимо нея и не знаемъ о ея происхожденіи. Въ честь этого святого построены на Рейнѣ еще три другихъ церкви и умерщвлено или подвергнуто всяческимъ мученіямъ несчетное количество евреевъ. Это происходило въ 1287 г., и въ Бахарахѣ, гдѣ сооружена одна изъ этихъ церквей св. Вернера, также пришлось евреямъ много вытерпѣть и выстрадать. Но въ теченіе двухъ столѣтій послѣ того на нихъ уже не обрушивались подобные взрывы народнаго бѣшенства, хотя все-таки не было недостатка во враждѣ и угрозахъ.

Но чѣмъ больше угнетала ихъ ненависть извнѣ, тѣмъ задушевнѣе и дружески сплоченнѣе была ихъ домашняя жизнь, тѣмъ глубже пускали корни набожность и богобоязнь бахарахскихъ евреевъ. Образцомъ богоугоднаго образа жизни былъ тамошній раввинъ, рабби Авраамъ, человѣкъ еще молодой, но широко и далеко славившійся за свою ученость. Онъ родился въ этомъ городѣ, и его отецъ, также бывшій тамъ раввиномъ, завѣщалъ ему, какъ свою послѣднюю волю, посвятить себя той же должности и никогда не покидать Бахараха, развѣ только въ случаѣ опасности для жизни. Этотъ завѣтъ, да еще шкапъ съ рѣдкими книгами—вотъ все, что оставилъ ему отецъ, жившій т[illegible] бѣдности и книжной учености. И рабби Авраам несмотря на это, очень богатый человѣкъ: единственной дочери своего умершаго дяди

драгоцѣнными камнями, онъ получилъ въ наслѣдство его большія богатства. Нѣкоторые злые языки въ общинѣ, правда, намекали, что рабби именно изъ-за денегъ и женился, но всѣ женщины опровергали это; онѣ разсказывали старыя исторіи о томъ, какъ рабби, уже до своего путешествія въ Испанію, былъ влюбленъ въ красавицу Сарру, и какъ Саррѣ пришлось ждать семь лѣтъ, до возвращенія рабби изъ Испаніи, потому что онъ, вопреки волѣ ея отца и даже не получивъ ея собственнаго согласія, женился на ней посредствомъ обручальнаго кольца: каждый еврей можетъ сдѣлать дѣвушку своею законной женой, если ему удалось надѣть ей на палецъ кольцо и при этомъ произнести слова: «Беру тебя себѣ въ жены по обычаямъ Моисея и Израиля!» Когда упоминалась Испанія, злые языки улыбались какъ-то особенно, и причина заключалась, вѣроятно, въ ходившемъ темномъ слухѣ, что рабби Авраамъ въ толедской высшей школѣ занимался, правда, очень усердно изученіемъ Закона Божія, но вмѣстѣ съ тѣмъ подражалъ и христіанскимъ обычаямъ и всосалъ либеральный образъ мышленія, подобно тѣмъ испанскимъ евреямъ, которые въ ту пору стояли на необычайно высокой ступени образованности. Въ глубинѣ души, однако, бахарахскіе злые языки очень мало вѣрили въ справедливость этого слуха, потому что чрезвычайно чистъ, набоженъ и серьезенъ былъ образъ жизни раввина со времени его возвращенія изъ Испаніи, самыя мелочныя предписанія церкви онъ исполнялъ съ тщательною добросовѣстностью, мясо ѣлъ и вино пилъ только по субботамъ или большимъ праздникамъ, день проводилъ въ молитвѣ и благочестивыхъ занятіяхъ, днемъ объяснялъ Законъ Божій въ кругу учениковъ, которыхъ привлекала слава его имени въ Бахарахъ, а ночью смотрѣлъ на звѣзды неба или въ глаза прекрасной Сарры. Дѣтей у раввина не было, но это не мѣшало присутствію вокругъ него жизни и движенія. Большая зала въ его домѣ, находившемся около синагоги, была всегда открыта для всей общины; сюда входили и отсюда уходили безъ всякихъ церемоній, наскоро совершали молитвы, или почерпали новости, или совѣщались въ случаяхъ общей невзгоды; здѣсь дѣти играли громъ по субботамъ, между тѣмъ какъ въ синагогѣ читался молящимся глава данной недѣли; здѣсь собирались для свадебныхъ и похоронныхъ процессій, и ссорились и мирились; здѣсь озябшій находилъ горячую печь, а голодный — открытый столъ. Сверхъ того, двигалось вокругъ рабби еще

много родныхъ, братьевъ и сестеръ съ ихъ женами и дѣтьми, равно какъ и общіе его и его жены дяди и тетки—обширная родня, которая вся смотрѣла на раввина, какъ на главу семьи, наполняла его домъ съ утра до ночи, а въ большіе праздники обыкновенно обѣдала тамъ въ полномъ составѣ. Такія общія семейныя трапезы въ домѣ раввина имѣли мѣсто особенно въ годовой праздникъ Пасхи, этотъ старый, удивительный праздникъ, который евреи въ цѣломъ мірѣ до сихъ поръ еще празднуютъ слѣдующимъ образомъ наканунѣ четырнадцатаго дня мѣсяца ниссена, въ вѣчное воспоминаніе ихъ избавленія отъ египетскаго рабства.

Какъ только наступаетъ ночь, хозяйка дома зажигаетъ свѣчи, покрываетъ скатертью столъ, ставитъ посрединѣ его три изъ плоскихъ прѣсныхъ хлѣбовъ, покрываетъ ихъ салфеткой и на это возвышеніе помѣщаетъ шесть маленькихъ блюдцевъ съ символическими кушаньями—яйцомъ, салатомъ, корнемъ хрѣна, костью ягненка и коричневою смѣсью изъ корицы, изюма и орѣховъ. За этотъ столъ садится хозяинъ со всѣми чадами и домочадцами и читаетъ имъ изъ фантастической книги, названіе которой Агада, а содержаніе составляетъ странная смѣсь сказаній о предкахъ, чудесныхъ разсказовъ изъ египетской жизни, курьезныхъ анекдотовъ, спорныхъ вопросовъ, молитвъ и праздничныхъ пѣсенъ. Празднество на половинѣ прерывается большимъ ужи[redacted]номъ, да и во время чтенія, въ опредѣленные сроки, вку[redacted]шаютъ отъ символическихъ яствъ, съ прибавленіемъ кусо[redacted]ковъ прѣснаго хлѣба и четырехъ бокаловъ краснаго вин[redacted]а. Грустно свѣтелъ, серьезно игривъ и сказочно таинственен[redacted]нъ характеръ этого вечерняго празднества, и традиціонно п[redacted]вучій тонъ, которымъ отецъ семейства читаетъ Агаду [redacted]и которому отъ времени до времени вторятъ хоромъ слуш[redacted]атели, звучитъ такою повергающею въ трепетъ задушевность[redacted]ю, такимъ материнскимъ убаюкиваніемъ и, вмѣстѣ съ тѣм[redacted]ъ, такимъ призывомъ поскорѣе пробудиться, что даже тѣ евре[redacted]и, которые давно уже отпали отъ вѣры своихъ отцовъ и по[redacted]гнались за чужими радостями и почестями, чувствуют[redacted]ъ глубокое душевное потрясеніе, когда случайно заслышат[redacted]ъ давно знакомые пасхальные звуки.

Въ большой залѣ своего дома сидѣлъ однажды раб[redacted]и Авраамъ и со своими родными, учениками и другими го[redacted]тями совершалъ вечернее празднество Пасхи. Р[redacted]было нарядѣе, чѣмъ обыкновенно; на столѣ р[redacted]пестро расшитая скатерть, золотыя кисти кото[redacted]

до полу; привѣтно блестѣли блюдцо съ символическими кушаньями и высокіе, наполненные виномъ, бокалы, украшеніе которыхъ составляли вычеканенные на нихъ разсказы изъ св. исторіи; мужчины сидѣли въ своихъ черныхъ плащахъ, черныхъ плоскихъ шляпахъ и бѣлыхъ воротничкахъ; женщины—въ причудливо сверкающихъ платьяхъ, съ золотыми и жемчужными украшеніями на головѣ и шеѣ; а серебряная субботняя лампа лила свой праздничный свѣтъ на набожно радостныя лица стариковъ и молодыхъ. На пурпурной бархатной подушкѣ высокаго болѣе остальныхъ кресла и, согласно обычаю, прислонившись къ его спинкѣ, сидѣлъ рабби Авраамъ; онъ читалъ и пѣлъ Агаду, а хоръ слушателей вторилъ, или отвѣчалъ въ установленныхъ мѣстахъ. На раввинѣ было тоже черное праздничное платье, благородныя, нѣсколько строгія черты его лица были нѣсколько мягче обыкновеннаго, губы улыбались изъ каштановой бороды, точно хотѣли разсказать много милаго, а въ глазахъ плавало что-то похожее на блаженное воспоминаніе и предчувствіе. Красавица Сарра, сидѣвшая рядомъ съ нимъ тоже на высокомъ креслѣ, не имѣла на себѣ, какъ подобало хозяйкѣ, никакихъ украшеній, и только бѣлая полотняная ткань облекала ея стройный станъ и набожное лицо. Лицо это было трогательно прекрасно, какъ и вообще красота евреекъ отличается своеобразною трогательностью; сознаніе глубокаго страданія, горькаго позора и печальныхъ испытаній, среди которыхъ приходится жить ихъ родственникамъ и друзьямъ, разливаютъ по ихъ милымъ лицамъ какую-то страждущую задушевность и зорко слѣдящую тревожность любви, странно плѣняющую наши сердца. Съ такимъ выраженіемъ сидѣла сегодня прекрасная Сарра и постоянно смотрѣла въ глаза своего мужа; по временамъ она кидала взгляды въ лежавшую предъ ней Агаду, красивую пергаментную книгу въ золотомъ и бархатномъ переплетѣ, старую наслѣдственную вещь съ выцвѣтшими винными пятнами, временъ дѣдушки Сарры и съ множествомъ размашистро нарисованныхъ картинокъ, которыя она, еще маленькой дѣвушкой, такъ любила разсматривать въ пасхальный вечеръ; тутъ изображались разныя библейскія исторіи — какъ Авраамъ разбиваетъ молоткомъ каменные идолы своего отца, какъ къ нему приходятъ ангелы, какъ Моисей убиваетъ Мицри, какъ Фараонъ великолѣпно сидитъ на тронѣ, какъ жабы не даютъ ему покоя даже за столомъ, какъ онъ, слава Богу утонулъ, какъ дѣти Израиля

осторожно переходятъ черезъ Красное море, какъ они, разинувъ ротъ, стоятъ со своими овцами, коровами и быками передъ горой Синаемъ, затѣмъ, какъ набожный царь Давидъ играетъ на арфѣ, и наконецъ, какъ Іерусалимъ, съ башнями и зубцами его храма, озаряется блескомъ солнца!..

Второй бокалъ былъ уже выпитъ, лица и голоса становились все свѣтлѣе, и раввинъ, взявъ одинъ изъ пѣсныхъ хлѣбовъ и радостно поклонившись всѣмъ, прочелъ слѣдующія слова изъ Агады: «Смотрите! Это пища, которую вкушали наши отцы въ Египтѣ! Всякій голодный да прійдетъ и кушаетъ! Каждый печалящійся да прійдетъ раздѣлить нашу пасхальную радость! Въ нынѣшнемъ году мы свершаемъ праздникъ здѣсь, но въ будущемъ году будемъ праздновать его въ землѣ Израиля! Въ нынѣшнемъ году мы празднуемъ еще рабами, но въ слѣдующемъ будемъ праздновать уже какъ сыны свободы!»

Тутъ отворилась дверь залы, и вошли двое блѣдныхъ людей, укутанныхъ въ очень широкіе плащи, и одинъ изъ нихъ сказалъ: «Буди миръ съ вами, мы путешествующіе единовѣрцы и желаемъ отпраздновать съ вами праздникъ Пасхи». И раввинъ отвѣчалъ быстро и привѣтливо: «Будь и съ вами миръ, садитесь около меня!» Оба незнакомца сѣли тотчасъ же за столъ, и раввинъ продолжалъ чтеніе. По временамъ, между тѣмъ какъ остальные еще повторяли прочитанную фразу, онъ обращался съ нѣжными словами къ своей женѣ и, намекая на старую шутку, что еврейскій отецъ семейства въ этотъ вечеръ считаетъ себя королемъ, говорилъ ей: «Радуйся, моя королева!» Она же, грустно улыбаясь, отвѣчала: «Но не достаетъ намъ принца!» и тутъ подразумѣвала сына семьи, который, какъ того требуетъ одно мѣсто въ Агадѣ, долженъ установленными словами спрашивать своего отца о значеніи этого праздника. Раввинъ ничего не отвѣтилъ и только пальцемъ указалъ на одну, открытую въ Агадѣ картинку, гдѣ чрезвычайно мило было изображено, какъ къ Аврааму приходятъ три ангела, чтобы возвѣстить имъ, что у него родится отъ жены его Сарры сынъ, а въ это время она съ женскою хитростью стоитъ за дверью палатки и подслушиваетъ разговоръ. Этотъ легкій намекъ вызвалъ тройной румянецъ на щекахъ красавицы, она опустила глаза и затѣмъ снова ласково подняла ихъ на мужа, который продолжалъ нараспѣвъ читать удивительную исторію о томъ, какъ рабби Іегошуа, рабби Эліезеръ, рабби Азарія, рабби Акиба и рабби Тарфонъ

дѣли въ Бона-Бракѣ и всю ночь бесѣдовали объ исходѣ дѣтей Израиля изъ Египта, пока не пришли ихъ ученики объявить, что уже день, и въ синагогѣ уже читается большая утренняя молитва.

Но вотъ между тѣмъ какъ прекрасная Сарра набожно слушала, не переставая смотрѣть на своего мужа, она замѣтила, какъ его лицо вдругъ застыло и исказилось отъ ужаса, кровь отхлынула отъ щекъ и губъ, и глаза выпучились, какъ ледяные шарики... Но почти въ ту же минуту увидѣла она, что его черты снова приняли прежнее выраженіе спокойствія и безмятежности, губы и щеки снова зарумянились, глаза бодро задвигались, и даже какое-то судорожно веселое, до тѣхъ поръ совершенно ему чуждое настроеніе охватило все его существо. Прекрасная Сарра испугалась, какъ никогда еще не пугалась въ своей жизни, и внутренній ужасъ подымался въ ней леденящею струею, не столько вслѣдствіе страшнаго оцѣпенѣнія, которое въ продолженіе одной минуты она видѣла на лицѣ своего мужа, сколько изъ-за смѣнившей его веселости, которая постепенно перешла въ ничѣмъ несдерживаемое ликованіе. Раввинъ, точно играя, передвигалъ свою шапочку съ одного уха на другое, дергалъ и шутовски завивалъ свою бороду, пѣлъ текстъ Агады на манеръ уличныхъ пѣвцовъ, а при перечисленіи египетскихъ казней, во время котораго нѣсколько разъ погружаютъ палецъ въ наполненный бокалъ и остающуюся на пальцѣ каплю вина стряхиваютъ на полъ, обрызгалъ краснымъ виномъ молоденькихъ дѣвушекъ, чѣмъ были вызваны громкія жалобы по поводу испорченныхъ воротничковъ и оглушительный хохотъ. Все болѣе и болѣе зловѣщее чувство овладѣвало прекрасною Саррой при видѣ этой, конвульсивно бившей ключомъ веселости ея мужа и, подавленная невыразимою боязнью, смотрѣла она на шумливую толпу ярко освѣщенныхъ людей, которые самодовольно покачивались на своихъ стульяхъ, грызли тонкій пасхальный хлѣбъ, или прихлебывали вино, или болтали другъ съ другомъ, или громко пѣли въ чрезвычайно веселомъ расположеніи духа.

Наконецъ, наступило время ужинать; всѣ встали, чтобы умыться, и прекрасная Сарра, принеся большой серебряный, богато украшенный вычеканенными золотыми фигурами умывальникъ, держала его передъ каждымъ гостемъ, пока ему лили на руки воду. Когда она подошла съ тѣмъ же къ раввину, онъ значительно мигнулъ ей и украдкой вы-

шелъ изъ комнаты. Сарра немедленно послѣдовала за нимъ; быстро схватилъ раввинъ свою жену за руку, поспѣшно повлекъ ее за собою по темнымъ улицамъ Бахараха, поспѣшно вывелъ за городскія ворота на большую дорогу, которая ведетъ вдоль Рейна къ Бингену.

Была одна изъ тѣхъ весеннихъ ночей, которыя хотя и теплы, и яркозвѣздны, но наполняютъ души странною тревогой. Трупами пахли цвѣты, злорадно и вмѣстѣ съ тѣмъ съ боязнью щебетали птицы, мѣсяцъ кидалъ коварно желтыя полосы на журчавшую въ темнотѣ рѣку, высокія массы береговыхъ утесовъ казались угрожающе качающимися головами исполиновъ, башенный стражъ въ замкѣ Штралекѣ трубилъ особенно меланхолично и среди всего этого рѣзко и усердно звенѣлъ, сопровождая предсмертный обрядъ, колокольчикъ церкви св. Вернера. Прекрасная Сарра несла въ правой рукѣ серебряный умывальникъ, лѣвою все еще держалась за мужа и чувствовала, какъ ея пальцы были совсѣмъ ледяные, и рука дрожала; но она слѣдовала безмолвно, можетъ-быть, потому, что издавна привыкла повиноваться мужу слѣпо и не спрашивая, а можетъ-быть, и оттого, что ея губы сковалъ внутренній страхъ.

Внизъ по дорогѣ отъ замка Соннека, противъ Лорха, приблизительно въ томъ мѣстѣ, гдѣ въ настоящее время находится деревушка Нидеррейнбахъ, возвышается скалистая площадка, свѣсившаяся въ видѣ свода надъ берегомъ Рейна. На нее взошелъ съ женой раввинъ Авраамъ, осмотрѣлся кругомъ во всѣ стороны и поднялъ глаза къ звѣздамъ. Дрожа и цѣпенѣя отъ смертельной тревоги, стояла подлѣ него прекрасная Сарра и смотрѣла на его блѣдное лицо, которое призрачно освѣщала луна и по которому призрачно пробѣгали скорбь, страхъ, набожное чувство и бѣшенство. Когда же раввинъ вдругъ вырвалъ изъ ея руки серебряный умывальникъ и стремительно кинулъ его въ Рейнъ, ужасающее предчувствіе сдѣлалось для нея невыносимымъ, и съ восклицаніемъ: «Шадаи всеблагой!» она упала къ ногамъ мужа и заклинала его объяснить, наконецъ, темную загадку.

Раввинъ, не имѣя силъ говорить, долго шевел
звучно губами и, наконецъ, воскликнулъ: «Видишь т
смерти? Вотъ онъ носится тамъ внизу, надъ Ба
Но мы избѣжали его меча. Слава Господу!» И
еще дрожавшимъ отъ внутренняго ужаса, онъ
что во время радостнаго чтенія Агады случайно

онъ подъ столъ—и увидѣлъ у своихъ ногъ окровавленный трупъ ребенка.

— И тутъ я понялъ,—продолжалъ раввинъ:—что два нашихъ позднихъ гостя не принадлежали къ общинѣ Израиля, а пришли изъ собранія нечестивыхъ, которые условились подкинуть этотъ трупъ въ нашъ домъ, чтобы обвинить насъ въ дѣтоубійствѣ и подстрекнуть народъ грабить и убивать насъ. Мнѣ нельзя было дать замѣтить, что я обнаружилъ дѣло тьмы; этимъ я только ускорилъ бы мою погибель, и только хитрость спасла насъ обоихъ. Хвала Господу! Не тревожься, прекрасная Сарра: наши друзья и родственники будутъ тоже спасены. Только моей крови жаждутъ нечестивые; я убѣжалъ отъ нихъ — и они удовольствуются моимъ серебромъ и золотомъ. Пойдемъ со мной, прекрасная Сарра, въ другую сторону, оставимъ несчастіе позади себя, и для того, чтобы несчастіе не преслѣдовало меня, я кинулъ ему для умиротворенія мое послѣднее имущество — серебряный умывальникъ. Богъ нашихъ отцовъ не оставитъ насъ... Сойдемъ внизъ, ты устала; тамъ внизу нѣмой Вильгельмъ со своею лодкой; онъ повезетъ насъ вверхъ по Рейну.

Не произнося ни слова и какъ бы съ разбитыми членами, упала прекрасная Сарра на руки раввина, и онъ медленно снесъ ее къ берегу. Тутъ стоялъ Вильгельмъ, глухонѣмой, но поразительно красивый мальчикъ, который, для поддержанія усыновившей его старухи, сосѣдки раввина, занимался рыбною ловлей и въ этомъ мѣстѣ поставилъ свою лодку. Но можно было подумать, что онъ сразу угадалъ намѣреніе раввина; казалось даже, будто онъ именно его и ожидалъ здѣсь; по его сомкнутымъ губамъ пробѣжало самое милое состраданіе, большіе голубые глаза многозначительно устремились на прекрасную Сарру, и онъ бережно снесъ ее въ лодку.

Взглядъ нѣмого мальчика вывелъ прекрасную Сарру и изъ обморока, она вдругъ сознала, что все, разсказанное ей, было не сонъ, и горькія слезы потокомъ полились на ея щеки, теперь бѣлыя, какъ ея платье. И сидѣла она посрединѣ лодки, какъ плачущая мраморная статуя; рядомъ съ нею сидѣли и усердно гребли ея мужъ и нѣмой Вильгельмъ.

Но вслѣдствіе ли однообразнаго удара веселъ, или отъ покачиванія судна, или благодаря благоуханію тѣхъ горныхъ береговъ, на которыхъ растетъ веселье—только всегда бываетъ такъ, что и самый опечаленный человѣкъ ощущаетъ странное успокоеніе, когда въ весеннюю ночь легко сколь-

зитъ по милому, чистому Рейну. Въ самомъ дѣлѣ, старый, добросердечный отецъ Рейнъ не выноситъ, чтобъ его дѣти плакали; осушая ихъ слезы, онъ качаетъ ихъ на своихъ вѣрныхъ рукахъ, и разсказываетъ имъ свои чудеснѣйшія сказки, и обѣщаетъ имъ свои самыя золотыя сокровища, можетъ-быть, даже — давно спрятанный на его днѣ кладъ Нибелунговъ. Такъ и слезы прекрасной Сарры текли все спокойнѣе и спокойнѣе, ея мучительнѣйшая скорбь смывалась шепчущими волнами, ночь теряла свой мрачный ужасъ, и горы родины какъ будто говорили свое нѣжнѣйшее прости. Но сердечнѣе всѣхъ прощалась съ нею ея любимая гора, Кедрихъ, и при обливавшемъ ее странномъ лунномъ освѣщеніи казалось, будто на вершинѣ снова стоитъ дѣвушка съ тревожно распростертыми руками, будто изъ расщелинъ скалъ выползаютъ рои проворныхъ карликовъ и будто на гору несется во весь галопъ какой-то всадникъ... И прекрасной Саррѣ чудилось, что она снова маленькая дѣвушка, и снова сидитъ на колѣняхъ у своей тетки изъ Лорха, и та разсказываетъ ей чудесную исторію о смѣломъ рыцарѣ, освободившемъ бѣдную, похищенную карликами дѣвушку, и еще другія истинныя исторіи — о диковинной Долинѣ Шопота, гдѣ птицы говорятъ, какъ совсѣмъ разумныя существа, и о Пряничной Странѣ, куда приводятъ послушныхъ дѣтей, и о заколдованныхъ принцессахъ, поющихъ деревьяхъ, стеклянныхъ замкахъ, золотыхъ мостахъ, смѣющихся русалкахъ... Но среди всѣхъ этихъ прекрасныхъ сказокъ, начинавшихъ жить, звуча и свѣтясь, слышала прекрасная Сарра голосъ своего отца, сердито бранившаго бѣдную тетку за то, что она набивала голову ребенка столькими глупостями! Затѣмъ стало казаться ей, что ее посадили на скамеечку передъ бархатнымъ кресломъ ея отца, и онъ нѣжною рукой гладитъ ея длинные волосы, и весело смѣется глазами, и самодовольно покачивается въ своемъ широкомъ субботнемъ халатѣ изъ синей шелковой матеріи... Вѣроятно, это происходило въ субботу, ибо на столъ была разостлана цвѣтная скатерть, вся утварь въ комнатѣ, тщательно вычищенная, блестѣла, какъ зеркало, сѣдобородый служка общины сидѣлъ рядомъ съ отцомъ и жевалъ изюмъ, и го
еврейски, а тутъ пришелъ и маленькій Авраамъ
гуще большой книгой и скромно попросилъ у
ленія объяснить одну главу Св. Писанія, чтобы
убѣдился, что онъ прошедшую недѣлю много у
*служив*аетъ много похвалы и пирожнаго... И во

положилъ книгу на широкую ручку кресла и сталъ разсказывать исторію Іакова и Рахили, какъ Іаковъ возвысилъ голосъ и громко заплакалъ, когда увидѣлъ въ первый разъ свою кузиночку Рахиль, какъ онъ дружески разговаривалъ съ ней у колодца, какъ пришлось ему ради Рахили прослужить семь лѣтъ, и какъ они быстро прошли для него, и какъ онъ женился на Рахили, и никогда, никогда не переставалъ любить ее... И вдругъ вспомнила также прекрасная Сарра, какъ ея отецъ въ то врёмя весело спросилъ: «А не хочешь ли и ты точно также жениться на твоей кузиночкѣ Саррѣ?»—на что маленькій Авраамъ серьезно отвѣтилъ: «Хочу, и пусть она подождетъ семь лѣтъ». Призрачно проходили эти картины въ душѣ красавицы, ей видѣлось, какъ она и ея маленькій двоюродный братъ, теперь уже выросшій, сдѣлавшійся ея мужемъ, тогда дѣтски играли въ кущѣ, какъ они забавлялись пестрыми коврами, цвѣтами, зеркалами и позолоченными яблоками, какъ маленькій Авраамъ постепенно становился все нѣжнѣе въ бесѣдахъ съ нею, а затѣмъ, подрастая, дѣлался все болѣе и болѣе угрюмымъ, и наконецъ совсѣмъ выросъ и сталъ совсѣмъ угрюмъ... Но вотъ, наконецъ, сидитъ она разъ въ субботній вечеръ одна въ своей комнатѣ, мѣсяцъ ярко свѣтитъ въ окно, и распахнулась дверь, и быстро ворвался въ комнату ея кузенъ Авраамъ въ дорожномъ платьѣ и блѣдный, какъ смерть, и хватаетъ онъ ея руку, надѣваетъ на ея палецъ золотое кольцо, и торжественно говоритъ: «Этимъ беру тебя себѣ въ жены, по законамъ Моисея и Израиля!.. Теперь же—прибавляетъ онъ дрожащимъ голосомъ:—теперь я долженъ уѣхать въ Испанію. Прощай, жди меня семь лѣтъ!» И онъ убѣгаетъ, а прекрасная Сарра съ плачемъ разсказываетъ все это своему отцу... Тотъ шумитъ и бѣсится. «Остриги свои волосы, потому что ты замужняя женщина!»— И онъ хочетъ пуститься въ догоню за Авраамомъ, чтобы вынудить у него письменный разводъ; но Авраамъ уже далеко за горами, отецъ, молча, возвращается домой, и когда прекрасная Сарра, помогая ему снять дорожные сапоги, успокоительно замѣчаетъ, что Авраамъ черезъ семь лѣтъ вернется, отецъ съ проклятіями восклицаетъ: «семь лѣтъ вамъ нищенствовать!»—и скоро послѣ того умираетъ.

Такъ, точно быстрая игра тѣней, проходили въ душѣ Сарры старыя исторіи; причудливо перемѣшивались между собою картины, и сквозь нихъ проглядывали полузнакомыя, получужія бородатыя лица и большіе цвѣты съ баснословно

широкими листьями. Казалось тоже, что Рейнъ журчитъ мелодіи Агады, и картинки ея выступали изъ нея во весь ростъ и въ странныхъ формахъ: праотецъ Авраамъ тщательно разбиваетъ идолы, которые тотчасъ же сами собой снова складываются въ прежній видъ; Мицри страшно обороняется отъ разгнѣваннаго Моисея; гора Синай сверкаетъ и объята пламенемъ; царь Фараонъ плыветъ по Красному морю, держа въ зубахъ зубчатую золотую корону; лягушки съ человѣческимъ лицомъ плывутъ за нимъ, а волны шумятъ и кипятъ, и темная рука исполина угрожающе высовывается изъ нихъ.

То была Мышиная Башня Гаттона, и лодка именно въ это время проходила черезъ бингенскій водоворотъ. Прекрасную Сарру это вывело нѣсколько изъ ея грезъ, и она смотрѣла на берега рѣки, на вершинахъ которыхъ мерцали огни замковъ, а у подошвы тянулись освѣщенные луной ночные туманы. Но вдругъ ей почудилось, будто она видитъ своихъ друзей и родныхъ, какъ они, съ лицами труповъ и въ широко развѣвающихся саванахъ, въ ужасѣ бѣгутъ мимо нея, вдоль Рейна... И у нея почерпѣло въ глазахъ, ледяной потокъ разлился въ ея душѣ, и какъ во снѣ слышала она только, что раввинъ читалъ надъ нею вечернюю молитву, читалъ медленно печально, какъ читаютъ надъ умершими, и въ забытьи лепетала она слова: «Десять тысячъ направо, десять тысячъ налѣво; чтобъ отъ ужаса ночи царя защищать»...

Но вотъ внезапно разсѣялись вся тьма и все страшное, мрачная завѣса была сорвана съ неба, въ вышинѣ показался священный городъ Іерусалимъ съ его башнями и воротами, въ золотомъ великолѣпіи сіялъ храмъ, въ предверіи его прекрасная Сарра увидѣла своего отца въ его субботнемъ желтомъ халатѣ и съ весело смѣющимися глазами, изъ круглыхъ оконъ храма радостно кланялись всѣ ея друзья и родные, въ Святая Святыхъ стоялъ на колѣняхъ благочестивый царь Давидъ въ пурпурной мантіи и блестящей коронѣ, и очаровательно раздавались его пѣніе и звуки арфы—и блаженно улыбаясь, заснула прекрасная Сарра.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Когда прекрасная Сарра открыла глаза, ее почти ослѣпили лучи солнца. Передъ нею возвышались высокія баш[illegible] шого города, а нѣмой Вильгельмъ стоялъ съ б[illegible] лодкѣ и проводилъ ее сквозь веселое сборище м[illegible]

раблей съ пестрыми флагами, экипажъ которыхъ или праздно смотрѣлъ на проѣзжавшихъ мимо, или былъ хлопотливо занятъ выгруживаніемъ ящиковъ, тюковъ и бочекъ, которые затѣмъ перевозились на берегъ на маленькихъ судахъ; при этомъ оглушительный шумъ, постоянные крики «берегись!» лодочниковъ, шумные разговоры купцовъ на берегу и пронзительные голоса таможенныхъ надсмотрщиковъ, перепрыгивавшихъ съ корабля на корабль въ своихъ красныхъ сюртукахъ, съ бѣлыми палочками и бѣлыми лицами.

— Да, прекрасная Сарра,—сказалъ раввинъ, весело улыбаясь, своей женѣ:—это знаменитый во всемъ мірѣ, свободный имперскій и торговый городъ Франкфуртъ на Майнѣ, и плывемъ мы теперь именно по рѣкѣ Майну. Вотъ тѣ смѣющіеся дома, окруженные зелеными холмами — это Саксенгаузенъ, откуда хромой Гумперцъ приносилъ намъ на праздникъ кущей прекрасную мирру. Здѣсь видишь ты также крѣпкій майнскій мостъ съ его тринадцатью арками, и много народа, экипажей и лошадей совершенно безопасно переходятъ по немъ, а посрединѣ стоитъ домикъ, о которомъ тетушка Тайбхенъ разсказывала, что въ немъ живетъ крещеный еврей, платящій каждому, приносящему ему мертвую крысу, шесть геллеровъ за счетъ еврейской общины, которая обязана ежегодно поставлять городскому совѣту пять тысячъ крысьихъ хвостовъ.

Эта война, которую франкфуртскимъ евреямъ приходилось вести съ крысами, заставила прекрасную Сарру громко разсмѣяться; яркій солнечный свѣтъ и новый пестрый міръ, явившійся передъ нею, прогналъ изъ ея души весь ужасъ прошедшей ночи, и когда мужъ и нѣмой Вильгельмъ вывели ее на берегъ изъ причалившей лодки, она почувствовала себя какъ бы проникнутою чувствомъ радостной безопасности. А нѣмой Вильгельмъ долго смотрѣлъ въ ея лицо своими прекрасными, темно-голубыми глазами, смотрѣлъ полупечально, полурадостно, потомъ кинулъ значительный взглядъ на раввина, прыгнулъ въ свою лодку и скоро исчезъ.

«Какъ, однако, нѣмой Вильгельмъ похожъ на моего умершаго брата!»—замѣтила прекрасная Сарра.—«Ангелы всѣ похожи другъ на друга»,—отвѣтилъ раввинъ и, взявъ жену за руку, повелъ ее чрезъ толпу, покрывавшую берегъ, на которомъ теперь, по случаю пасхальной ярмарки, было выстроено множество деревянныхъ лавочекъ. Войдя темными майнскими воротами въ городъ, они нашли тамъ не менѣе шумное оживленіе. Тутъ въ узкой улицѣ одна лавка тѣсно

примыкала къ другой, и дома, какъ всюду во Франкфуртѣ, были совсѣмъ особенно приспособлены къ торговлѣ: въ нижнемъ этажѣ никакихъ оконъ, а только открытыя сводчатыя двери, такъ что всякій проходящій могъ видѣть всю внутренность помѣщенія и явственно разсмотрѣть всѣ выставленные товары. Какъ изумлялась прекрасная Сарра, глядя на массу другихъ вещей и ихъ невиданное ею великолѣпіе! Тутъ стояли венеціанцы, дешево продававшіе всю роскошь востока и Италіи, и прекрасная Сарра стояла точно прикованная при видѣ цѣлыхъ кучъ нарядовъ и драгоцѣнностей пестрыхъ шапокъ и корсетовъ, золотыхъ браслетовъ и ожерелій, всей этой блестящей мишуры, которою женщины такъ охотно любуются, а еще охотнѣе украшаютъ себя. Богато расшитыя бархатныя и шелковыя матеріи точно хотѣли заговорить съ прекрасной Саррой и блескомъ своимъ воскресить въ ея памяти всяческія чудеса, и дѣйствительно на душѣ у нея было такъ, какъ будто она снова маленькая дѣвочка, и тетушка Тайбхенъ исполнила свое обѣщаніе и привезла ее на франкфуртскую ярмарку, и именно въ эту минуту она стоитъ предъ красивыми платьями, о которыхъ ей такъ много разсказывали. Съ тайной радостью обдумывала она уже, что̀ изъ этихъ вещей привезти ей въ Бахарахъ, кому изъ двухъ ея племянницъ, маленькой Блюмхенъ, или маленькой Фегельхенъ, лучше понравится голубой шелковый поясъ, придутся ли впору зеленые панталончики маленькому Готшальку... но вдругъ сказала она себѣ: «Ахъ, Господи! да вѣдь они за это время совсѣмъ выросли, и вчера ихъ убили!» Задрожала она отъ ужаса, и страшныя картины прошедшей ночи уже снова начинали вставать въ ея душѣ; но расшитыя золотомъ платья мигали ей какъ бы тысячью блестящихъ плутовскихъ глазъ и выгоняли изъ ума все мрачное, а когда она подняла взглядъ на лицо своего мужа, то увидѣла, что оно ничѣмъ не омрачено и сохраняло свою обычную серьезную кротость. «Закрой глаза, прекрасная Сарра»,—сказалъ раввинъ и повелъ жену дальше сквозь толпу.

Какая пестрота! Большею частью тутъ были купцы, которые громко торговались другъ съ другомъ, или разговаривали про себя, что-то высчитывая по пальцамъ, или заставляли тяжело нагруженныхъ и бѣгавшихъ за ними собачьей рысью носильщиковъ тащить въ гостиницу сдѣланныя ими покупки. По лицамъ другихъ было замѣтно, что ихъ привлекло сюда только любопытство. По красному

плащу и золотой цѣпи узнавался толстый совѣтникъ ратуши. Черный, зажиточно широкій камзолъ обличалъ почтеннаго гордаго гражданина. Желѣзный шлемъ, камзолъ изъ желтой кожи и бренчащія фунтовыя шпоры возвѣщали тяжелаго рейтскнехта. Подъ чернымъ бархатнымъ чепчикомъ, остріемъ сходившимся на лбу, пряталось розовое лицо дѣвушки, и молодые люди, попрыгивавшіе вслѣдъ за нею, какъ отыскивающія дичь гончія собаки, являлись полнѣйшими щеголями, благодаря своимъ беретамъ съ лихо насаженными на нихъ перьями, звенящимъ башмакамъ съ пряжками и шелковымъ костюмамъ двухъ цвѣтовъ, гдѣ правая сторона зеленая, а лѣвая — красная, или одна радужно полосатая, другая въ пестрыхъ клѣточкахъ, такъ что эти смѣшные парни казались какъ бы разсѣченными пополамъ. Увлекаемые теченіемъ толпы, раввинъ съ женою достигли Ремера. Это большая, окруженная высокими домами, черепичными крышами, рыночная площадь, получившая названіе отъ громаднаго дома съ вывѣской «Zum Römer», который былъ купленъ магистратомъ и обращенъ въ ратушу. Въ этомъ зданіи избирали германскихъ императоровъ, и предъ нимъ часто происходили игры благородныхъ рыцарей. Король Максимиліанъ, страстный любитель подобныхъ вещей, былъ какъ разъ въ это время во Франкфуртѣ, и еще наканунѣ устроили въ честь его на Ремерѣ большой турниръ. У деревянныхъ загородокъ, которыя теперь снимались плотниками, стояло еще много праздныхъ людей, разсказывавшихъ одинъ другому, какъ вчера герцогъ брауншвейгскій и маркграфъ бранденбургскій налетѣли другъ на друга при звукахъ литавровъ и трубъ, какъ г. Вальтеръ Лумпъ такъ сильно выбилъ изъ сѣдла Медвѣжьяго Рыцаря, что осколки копья разлетѣлись въ воздухѣ, и какъ высокій, бѣлокурый король Максъ стоялъ на балконѣ въ кругу своихъ придворныхъ и отъ удовольствія потиралъ руки. Покрывала изъ золотой парчи еще висѣли на перилахъ балкона и остроконечныхъ оконъ ратуши. Оставались также празднично украшенными и съ гербовыми щитами на стѣнахъ остальные дома площади, особенно домъ Лимбурга, на знамени котораго была нарисована дѣвушка, несущая на рукѣ кобчика, между тѣмъ какъ обезьяна держитъ передъ ней зеркало. На балконѣ этого дома стояло много рыцарей и дамъ, въ веселой бесѣдѣ смотрѣвшихъ внизъ на народъ, двигавшійся изъ стороны въ сторону причудливыми группами и въ разнообразныхъ костюмахъ. Какое множество праздныхъ людей всѣхъ

сословій и возрастовъ толпилось здѣсь для удовлетворенія своей страсти къ зрѣлищамъ! Тутъ смѣялись, визжали, воровали, щипали за ляжки, восторгались, и среди этого пронзительно раздавалась труба врача, который въ красномъ плащѣ стоялъ со своимъ паяцомъ и обезьяной на высокомъ помостѣ, шумно возвѣщалъ публикѣ о своемъ искусствѣ, восхвалялъ свои тинктуры и чудодѣйственныя мази, или серьезно разсматривалъ склянку съ мочой, которую держала передъ нимъ какая-нибудь старуха, или же готовился выдернуть зубъ бѣдному крестьянину. Два фехтовальщика въ пестрыхъ, развѣвавшихся по воздуху лентахъ, размахивая рапирами, какъ бы случайно встрѣчались и съ притворнымъ гнѣвомъ кидались другъ на друга; послѣ продолжительнаго поединка, они взаимно объявляли себя непобѣдимыми и собирали нѣсколько пфениговъ. Съ барабанами и флейтами прошла мимо ратуши новоучрежденная гильдія стрѣлковъ. За нею, подъ предводительствомъ человѣка съ краснымъ флагомъ въ рукѣ, двигалась группа женщинъ изъ вюрцбургскаго публичнаго дома «Къ Ослу», направлявшаяся въ Розенталь, гдѣ высокочтимое начальство указало имъ жить во время ярмарки. «Закрой глаза, прекрасная Сарра!»—сказалъ раввинъ. Потому что эти фантастически и слишкомъ скудно одѣтыя женщины, между которыми было нѣсколько очень красивыхъ, вели себя крайне неприлично, обнажали бѣлую, наглую грудь, дразнили проходящихъ циничными словами, размахивали своими длинными дорожными палками и, скача на нихъ верхомъ, какъ на лошадкахъ, по дорогѣ къ воротамъ св. Екатерины, пѣли пронзительнымъ голосомъ пѣсню вѣдьмъ:

Гдѣ козелъ, гдѣ преисподній звѣрь?
Гдѣ козелъ? Коль не придетъ теперь,
Безъ него дорогу-путь найдемъ
Мы на палочкѣ, на палочкѣ верхомъ!

Это горланье, которое можно было слышать и въ отдаленіи, потерялось, наконецъ, въ церковно протяжныхъ звукахъ приближавшейся процессіи. То было печальное шествіе лысыхъ и босоногихъ монаховъ, несшихъ въ рукахъ зажженныя восковыя свѣчи, или хоругви съ изображеніями святыхъ, или большія серебряныя распятія. Во главѣ ихъ шли въ красныхъ и бѣлыхъ кафтанахъ мальчики съ дымившимися кадилами. Въ срединѣ процессіи, подъ вел[illegible] балдахиномъ, двигались священники въ бѣлыхъ [illegible] изъ драгоцѣнныхъ кружевъ или пестрыхъ ш[illegible]

захъ, и одинъ изъ нихъ несъ солнцеобразный золотой сосудъ, который онъ, дойдя до одной ниши на площади высоко поднялъ и при этомъ наполовину произнесъ, наполовину пропѣлъ нѣсколько латинскихъ словъ... Въ то же самое время прозвенѣлъ маленькій колокольчикъ, и весь народъ вокругъ смолкнулъ, упалъ на колѣни и перекрестился. Раввинъ же сказалъ своей женѣ: «закрой глаза, прекрасная Сарра!»—и поспѣшно повелъ ее въ узкій переулокъ, затѣмъ черезъ лабиринтъ узкихъ и кривыхъ улицъ, и наконецъ черезъ необитаемую, пустынную площадь, отдѣлявшую новый еврейскій кварталъ отъ остальной части города.

До того времени евреи жили между соборомъ и берегомъ Майна, именно отъ моста до Лумпенбруннена и отъ Мельваге до церкви св. Варѳоломея. Но католическіе священники добыли себѣ папскую буллу, которая запрещала евреямъ селиться въ такой близости отъ главной церкви, и магистратъ отвелъ имъ мѣсто на Волграбенѣ, гдѣ они построили теперешній еврейскій кварталъ. Онъ былъ снабженъ крѣпкими стѣнами и кромѣ того—желѣзными цѣпями передъ воротами, чтобы преграждать доступъ натиску черни. Это потому, что и здѣсь евреи жили въ постоянной тревогѣ и подъ гнетомъ, и еще болѣе, чѣмъ въ настоящее время, не забывали бѣдствій прежнихъ дней. Въ 1240 г. разнузданный народъ совершилъ надъ ними великое кровопролитіе, которое назвали первымъ избіеніемъ евреевъ; а въ 1349 г., когда бичующіеся, при своемъ проходѣ черезъ городъ, зажгли его и въ поджогѣ обвинили евреевъ, тогда разъяренная чернь умертвила большую часть еврейскаго населенія, или оно нашло смерть въ пламени собственныхъ домовъ—что назвали вторымъ избіеніемъ евреевъ. Впослѣдствіи евреямъ еще часто угрожали такими же бойнями, и во время внутреннихъ безпорядковъ во Франкфуртѣ, особенно при одной ссорѣ магистрата съ цехами, христіанская чернь намѣревалась взять приступомъ еврейскій кварталъ. Въ этомъ кварталѣ было двое воротъ, которыя въ католическіе праздники запирались снаружи, а въ еврейскіе — изнутри, и передъ каждыми воротами находилась караулка съ городскими солдатами.

Когда раввинъ съ женою дошли до воротъ еврейскаго квартала, ландскнехты, какъ можно было видѣть въ открытыя окна, лежали на койкахъ своей караулки, а передъ дверью, въ яркомъ солнечномъ освѣщеніи, сидѣлъ барабанщикъ и фантазировалъ на своемъ большомъ барабанѣ. Это

была тяжеловѣсная, толстая фигура, въ камзолѣ и штанахъ изъ огненно-желтаго сукна, высоко взбитыхъ на рукахъ и ляжкахъ и, точно высовывалось оттуда безчисленное количество человѣческихъ языковъ, усѣянныхъ маленькими, вшитыми въ сукно красными лоскутками; грудь и спина были защищены черными суконными подушками, на которыхъ висѣлъ барабанъ; на головѣ плоская, круглая черная шляпа; лицо такое же плоское и круглое, тоже оранжево-желтаго цвѣта, нашпигованное красными прыщами и искривленное въ зѣвающую улыбку. Такъ сидѣлъ этотъ парень и барабанилъ мелодію пѣсни, которую нѣкогда пѣли при избіеніи евреевъ бичующіеся, и своимъ грубымъ пивнымъ голосомъ выпускалъ, точно полоща горло, слова:

«Наша милая жена
Въ росу утреннюю шла—
Кирiэ элейсонъ!»

— Гансъ, это скверная мелодія!—закричалъ кто-то изъ-за запертыхъ воротъ еврейскаго квартала. — Гансъ, это и пѣсня скверная—не идетъ къ барабану, совсѣмъ не идетъ... и Боже упаси въ ярмарку и въ пасхальное утро... скверная пѣсня, опасная пѣсня... Гансъ, Генсхенъ, маленькій барабанный Генсхенъ, я человѣкъ одинокій, и коли ты меня любишь, коли любишь ты Штерна, длиннаго Штерна, длиннаго Назенштерна, то перестань!

Эти слова были выкрикнуты невидимымъ человѣкомъ, частью боязливо поспѣшно, частью съ медленнымъ вздохомъ, такимъ тономъ, въ которомъ протяжно мягкое и хрипло жесткое рѣзко чередовались, какъ это бываетъ у чахоточныхъ. Барабанщикъ оставался неподвижнымъ и, продолжая барабанить на ту же мелодію, пѣлъ дальше:

«Пришелъ мальчикъ небольшой,
А ужъ съ длинной бородой—
Аллелуіа!».

— Гансъ,—снова послышался голосъ невидимаго человѣка: Гансъ, я человѣкъ одинокій, а это опасная пѣсня, и мнѣ она не по сердцу, и на это у меня свои причины, и если ты меня любишь, то запоешь что-нибудь другое, а завтра мы выпьемъ...

При словѣ «выпьемъ» Гансъ пересталъ барабанить и пѣть и искреннимъ тономъ сказалъ:

— Чортъ побери евреевъ, но ты, любезный Назенштернъ—мой другъ, я защищаю тебя, а если мы будемъ вмѣстѣ пить часто, то я и въ христіанство обращу тебя. Я буду твоимъ

крестнымъ отцомъ, когда тебя окрестятъ, ты будешь блаженный человѣкъ, а коли есть у тебя геній и станешь ты у меня прилежно учиться, то можешь сдѣлаться даже барабанщикомъ. Да, Назенштернъ, ты можешь еще пойти далеко, я тебѣ пробарабаню весь католическій катехизисъ, когда мы завтра будемъ вмѣстѣ пить... Ну, а теперь отвори ворота, тутъ стоятъ двое чужихъ и просятъ впустить ихъ.

— Отворить ворота!—крикнулъ Назенштернъ, и голосъ почти отказался служить ему.—Это не такъ-то скоро дѣлается, любезный Гансъ; вѣдь какъ знать... Совсѣмъ нельзя знать... а я тутъ одинъ человѣкъ. Ключъ у Фейтеля Риндскопфа, а онъ теперь тихо стоитъ въ углу и бормочетъ свою осьмнадцатичленную молитву—прерывать ее нельзя. Шутъ Екель тоже здѣсь, но онъ теперь омываетъ себя. Я здѣсь одинъ человѣкъ!

— Чортъ побери жидовъ! — крикнулъ барабанщикъ и, громко смѣясь этой собственной остротѣ, побрелъ въ караульню, гдѣ тоже улегся на койку.

Раввинъ съ женой остались совсѣмъ одни предъ большими запертыми воротами. Скоро позади воротъ поднялся гнусливый, носовой, нѣсколько насмѣшливо протяжный голосъ:

— Штернхенъ, не возись такъ долго, возьми ключъ изъ Риндскопфенскаго кафтана, или возьми свой носъ и отвори имъ ворота. Люди вѣдь уже давно стоятъ и ждутъ.

— Люди,—тревожно закричалъ человѣкъ, котораго звали Назенштерномъ:—а я думалъ, что тамъ только одинъ человѣкъ, и прошу тебя, шутъ, милый Екель шутъ, выглянь, кто это тамъ.

Тутъ въ воротахъ отворилось маленькое, защищенное хорошей рѣшеткой оконце, и въ немъ появилась желтая, двурогая шляпа, а подъ нею—комически искривленное, паяническое лицо шута Екеля. Но въ ту же самую минуту окошечко снова затворилось, и голосъ сердито прохрипѣлъ:

— Отворяй, отворяй, тамъ мужчина и женщина.

— Мужчина и женщина!—простоналъ Назенштернъ.—А когда ворота откроются, женщина сброситъ юбку, и окажется, что и она мужчина, и тогда будетъ двое мужчинъ, а насъ только трое!

— Не будь зайцемъ,—возразилъ шутъ Екель:—и будь молодцомъ, и выкажи куражъ!

— Куражъ!—воскликнулъ шутъ Екель, и засмѣялся съ сердитою горечью. — Заяцъ! Заяцъ — скверное сравненіе, заяцъ—нечистое животное. Куражъ! Меня тутъ поставили

была тяжеловѣсная, толстая фигура, въ камзолѣ и штанахъ изъ огненно-желтаго сукна, высоко взбитыхъ на рукахъ и ляжкахъ и, точно высовывалось оттуда безчисленное количество человѣческихъ языковъ, усѣянныхъ маленькими, вшитыми въ сукно красными лоскутками; грудь и спина были защищены черными суконными подушками, на которыхъ висѣлъ барабанъ; на головѣ плоская, круглая черная шляпа; лицо такое же плоское и круглое, тоже оранжево-желтаго цвѣта, напшигованное красными прыщами и искривленное въ зѣвающую улыбку. Такъ сидѣлъ этотъ парень и барабанилъ мелодію пѣсни, которую нѣкогда пѣли при избіеніи евреевъ бичующіеся, и своимъ грубымъ пивнымъ голосомъ выпускалъ, точно полощa горло, слова:

«Наша милая жена
Въ росу утреннюю шла—
Кирiэ элейсонъ!»

— Гансъ, это скверная мелодія!—закричалъ кто-то изъза запертыхъ воротъ еврейскаго квартала. — Гансъ, это и пѣсня скверная—не идетъ къ барабану, совсѣмъ не идетъ... и Боже упаси въ ярмарку и въ пасхальное утро... скверная пѣсня, опасная пѣсня... Гансъ, Генсхенъ, маленькій барабанный Генсхенъ, я человѣкъ одинокій, и коли ты меня любишь, коли любишь ты Штерна, длиннаго Штерна, длиннаго Назенштерна, то перестань!

Эти слова были выкрикнуты невидимымъ человѣкомъ частью боязливо поспѣшно, частью съ медленнымъ вздохомъ, такимъ тономъ, въ которомъ протяжно мягкое и хрипло жесткое рѣзко чередовались, какъ это бываетъ у чахоточныхъ. Барабанщикъ оставался неподвижнымъ и, продолжая барабанить на ту же мелодію, пѣлъ дальше:

«Пришелъ мальчикъ небольшой,
А ужъ съ длинной бородой—
Аллелуіа!».

— Гансъ,—снова послышался голосъ невидимаго человѣка:—Гансъ, я человѣкъ одинокій, а это опасная пѣсня, и мнѣ она не по сердцу, и на это у меня свои причины, и если ты меня любишь, то запоешь что-нибудь другое, а завтра мы выпьемъ...

При словѣ «выпьемъ» Гансъ пересталъ барабанить и пѣть и искреннимъ тономъ сказалъ:

— Чортъ побери евреевъ, но ты, любезный Назенштерн мой другъ, я защищаю тебя, а если мы будемъ вмѣстѣ часто, то я и въ христіанство обращу тебя. Я буду тво

крестнымъ отцомъ, когда тебя окрестятъ, ты будешь блаженный человѣкъ, а коли есть у тебя геній и станешь ты у меня прилежно учиться, то можешь сдѣлаться даже барабанщикомъ. Да, Назенштернъ, ты можешь еще пойти далеко, я тебѣ пробарабаню весь католическій катехизисъ, когда мы завтра будемъ вмѣстѣ пить... Ну, а теперь отвори ворота, тутъ стоятъ двое чужихъ и просятъ впустить ихъ.

— Отворить ворота!—крикнулъ Назенштернъ, и голосъ почти отказался служить ему.—Это не такъ-то скоро дѣлается, любезный Гансъ; вѣдь какъ знать... Совсѣмъ нельзя знать... а я тутъ одинъ человѣкъ. Ключъ у Фейтеля Риндскопфа, а онъ теперь тихо стоитъ въ углу и бормочетъ свою осьмнадцатичленную молитву—прерывать ее нельзя. Шутъ Екель тоже здѣсь, но онъ теперь омываетъ себя. Я здѣсь одинъ человѣкъ!

— Чортъ побери жидовъ! — крикнулъ барабанщикъ и, громко смѣясь этой собственной остротѣ, побрелъ въ караульню, гдѣ тоже улегся на койку.

Раввинъ съ женой остались совсѣмъ одни предъ большими запертыми воротами. Скоро позади воротъ поднялся гнусливый, носовой, нѣсколько насмѣшливо протяжный голосъ:

— Штернхенъ, не возись такъ долго, возьми ключъ изъ Риндскопфенскаго кафтана, или возьми свой носъ и отвори имъ ворота. Люди вѣдь уже давно стоятъ и ждутъ.

— Люди,—тревожно закричалъ человѣкъ, котораго звали Назенштерномъ:—а я думалъ, что тамъ только одинъ человѣкъ, и прошу тебя, шутъ, милый Екель шутъ, выглянь, кто это тамъ.

Тутъ въ воротахъ отворилось маленькое, защищенное хорошей рѣшеткой оконце, и въ немъ появилась желтая, двурогая шляпа, а подъ нею—комически искривленное, паясническое лицо шута Екеля. Но въ ту же самую минуту окошечко снова затворилось, и голосъ сердито прохрипѣлъ:

— Отворяй, отворяй, тамъ мужчина и женщина.

— Мужчина и женщина!—простоналъ Назенштернъ.—А когда ворота откроются, женщина сброситъ юбку, и окажется, что и она мужчина, и тогда будетъ двое мужчинъ, а насъ только трое!

— Не будь зайцемъ,—возразилъ шутъ Екель:—и будь молодцомъ, и выкажи куражъ!

— Куражъ!—воскликнулъ шутъ Екель, и засмѣялся съ сердитою горечью. — Заяцъ! Заяцъ — скверное сравненіе, заяцъ—нечистое животное. Куражъ! Меня тутъ поставили

не ради куража, а ради осторожности. Мнѣ приказано—коли прійдетъ слишкомъ много, я долженъ кричать. Но самъ я сдержать ихъ не могу. Рука у меня слабая, я ношу фонтанель, и я одинъ человѣкъ. Если въ меня выстрѣлятъ, я умеръ. И тогда будетъ богатый Мендель Рейсъ сидѣть въ субботу за столомъ, и вытирать на губахъ изюмный соусъ, и гладить себѣ животъ, и, быть-можетъ, скажетъ: «А вѣдь длинный Назенштернхенъ былъ славный малый; не будь онъ, они разломали бы ворота, это его изъ-за насъ застрѣлили... Славный былъ малый, жаль, что онъ умеръ...»

Здѣсь голосъ началъ постепенно дѣлаться мягкимъ и плаксивымъ, но вдругъ перешелъ въ рѣзкій, почти озлобленный тонъ:

— Куражъ! И изъ-за того, чтобы богатый Мендель Рейсъ могъ вытирать на губахъ изюмный соусъ, и гладить себя по животу, и называть меня славнымъ малымъ—изъ-за этого мнѣ дать застрѣлить себя? Куражъ! Будь молодцомъ! Маленькій Штраусъ былъ молодцомъ, и вчера на Ремерѣ смотрѣлъ на турниръ, и думалъ, что его не узнать, оттого, что на немъ былъ фіолетовый кафтанъ изъ бархата, по три гульдена аршинъ, съ лисьими хвостиками, весь вышитый золотомъ, совсѣмъ великолѣпный!.. Ну, а они до тѣхъ поръ колотили его по фіолетовому кафтану, пока тотъ не полинялъ, да и спина его сдѣлалась фіолетовою и теперь не похожа болѣе на человѣческую... Куражъ! Кривой Лезеръ былъ очень храбрый, онъ назвалъ нашего мерзавца-судью мерзавцемъ, а они его повѣсили за ноги между двумя собаками, и барабанщикъ Гансъ барабанилъ при этомъ. Куражъ! Не будь зайцемъ! Гдѣ много собакъ, тамъ заяцъ пропалъ, я человѣкъ одинокій, и мнѣ дѣйствительно страшно...

— Поклянись!—воскликнулъ шутъ Екель.

— Мнѣ дѣйствительно страшно!—повторилъ со вздохомъ Назенштернъ.—Я знаю, что страхъ лежитъ въ крови, и это ко мнѣ перешло отъ моей покойной матери...

— Да, да!—перебилъ его шутъ Екель.—А къ твоей матери оно перешло отъ ея отца, а къ нему, въ свой чередъ—отъ его родныхъ, и такъ у твоихъ предковъ все переходило отъ одного къ другому, начиная отъ твоего перваго родоначальника, который при царѣ Саулѣ пошелъ въ походъ противъ филистимлянъ и первый изъ всѣхъ убѣжалъ съ поля битвы... Посмотри, однако, Риндскопфхенъ готовъ, онъ уже поклонился въ четвертый разъ, и вонъ скачетъ какъ блоха, проговоритъ: «святъ, святъ, святъ», и опустилъ руку въ карманъ...

Дѣйствительно, ключи забренчали, одна половинка воротъ со скрипомъ отворилась, и раввинъ съ женой вошли въ совершенно пустую еврейскую улицу. Впустившій ихъ человѣкъ, маленькая фигура съ добродушно кислымъ лицомъ, кивнулъ имъ мечтательно, какъ тотъ, кто не любитъ, чтобы ему мѣшали думать, и затѣмъ тщательно затворилъ ворота и потащился въ свой уголъ, не сказавъ пришедшимъ ни слова и безпрерывно бормоча молитвы. Менѣе молчаливымъ оказался шутъ Екель, коренастый, отчасти кривоногій парень съ смѣющимся багровымъ лицомъ и нечеловѣчески большою мясистой рукой, которую онъ протянулъ для привѣтствія изъ широкаго рукава своей пестрой куртки. Сзади его выглядывала или, вѣрнѣе, пряталась длинная тощая фигура, съ узкой шеей, обтянутой тонкимъ батистовымъ воротничкомъ, и съ худощавымъ блѣднымъ лицомъ, которое очень курьезно украшалъ почти невѣроятно длинный носъ, съ боязливымъ любопытствомъ двигавшійся то въ одну, то въ другую сторону.

— Милости просимъ! Съ счастливымъ праздникомъ!— сказалъ шутъ Екель.—Не удивляйтесь, что улица въ настоящую минуту такая пустая и тихая. Всѣ наши люди теперь въ синагогѣ, и вы пришли какъ разъ во-время, чтобы услышать чтеніе исторіи о жертвоприношеніи Исаака. Я ее знаю, это интересная исторія, и если бы я не слышалъ ея уже тридцать три раза, то охотно бы послушалъ еще разъ въ нынѣшнемъ году. И это важная исторія, потому что умертви Авраамъ дѣйствительно Исаака, а не козла, теперь на землѣ было бы больше козловъ и меньше евреевъ.

И съ сумасшедшей веселой гримасой началъ Екель пѣть слѣдующую пѣснь изъ Агады:

«Козлика, козлика купилъ батюшка, онъ далъ за него два грошика; козликъ, козликъ!

«Пришла кошечка и съѣла козлика, что купилъ батюшка, далъ за него два грошика; козликъ, козликъ!

«Пришла собачка и укусила кошечку, что съѣла козлика, что купилъ батюшка, далъ за него два грошика; козликъ, козликъ!

«Пришла палочка и побила собачечку, что укусила кошечку, что съѣла козлика, что купилъ батюшка, далъ за него два грошика; козликъ, козликъ!

«Пришелъ огонечекъ и сжегъ палочку, что побила собачечку, что укусила кошечку, что съѣла козлика, что купилъ батюшка, далъ за него два грошика; козликъ, козликъ!

«Пришла водичка и погасила огонечекъ, что̀ сжегъ палочку, что̀ побила собачечку, что̀ укусила кошечку, что̀ съѣла козлика, что̀ купилъ батюшка, далъ за него два грошика; козликъ, козликъ!

«Пришелъ бычокъ и выпилъ водичку, что̀ погасила огонечекъ, что̀ сжегъ палочку, что̀ побила собачечку, что укусила кошечку, что̀ съѣла козлика, что̀ купилъ батюшка, далъ за него два грошика; козликъ, козликъ!

«Пришелъ мясничокъ и убилъ бычка, что выпилъ водичку, что̀ погасила огонечекъ, что̀ сжегъ палочку, что̀ побила собачечку, что̀ укусила кошечку, что̀ съѣла козлика, что̀ купилъ батюшка, далъ за него два грошика; козликъ, козликъ!

«Пришелъ ангелочекъ смерти и убилъ мясничка, что̀ убилъ бычка, что̀ выпилъ водичку, что̀ погасила огонечекъ, что̀ сжегъ палочку, что̀ побила собачечку, что̀ укусила кошечку, что̀ съѣла козлика, что купилъ батюшка, далъ за него два грошика; козликъ, козликъ!

— Да прекрасная госпожа,—прибавилъ пѣвецъ:—настанетъ день, когда ангелъ смерти убьетъ мясника и вся наша кровь упадетъ на Эдомъ, ибо Богъ есть мстящій Богъ...

Но внезапно и рѣзко сбросилъ шутъ невольно овладѣвшую имъ серьезность и, снова ударившись въ свои паясничества, продолжалъ гнусливымъ тономъ площаднаго комедьянта.

— Не бойтесь, прекрасная госпожа, Назенштернъ не сдѣлаетъ вамъ ничего дурного. Онъ только для стараго Шнапперъ-Эллэ опасенъ. Она влюбилась въ его носъ, но носъ заслуживаетъ того. Онъ прекрасенъ, какъ башня, обращенная къ Дамаску, и величественъ, какъ кедръ ливанскій. Снаружи блеститъ онъ, какъ золотая мишура и сиропъ, а внутри его все музыка и изящество. Лѣтомъ онъ цвѣтетъ, зимою замерзаетъ, и лѣтомъ и зимою его холятъ бѣлыя руки Шнапперъ-Эллэ. Да, Шнапперъ-Элле влюблена въ него, совсѣмъ помѣшалась. Она ухаживаетъ за нимъ, она кормитъ его, и какъ только онъ достаточно поокрѣпнѣетъ, она выйдетъ за него замужъ; для ея лѣтъ, онъ еще достаточно молодъ, и кто прійдетъ во Франкфуртъ черезъ триста лѣтъ, не будетъ имѣть возможности видѣть неба за множествомъ Назенштерновъ, которые скроютъ его отъ глазъ!

— Вы шутъ, Екель,—сказалъ, смѣясь, раввинъ:—я [illegible] по вашимъ словамъ. Мнѣ приходилось часто сл[illegible]

— Да, да,—отвѣчалъ тотъ съ забавной скромностью:— да, да, ужъ это всегда дѣлаетъ слава. Часто тебя широко и далеко знаютъ за такого большого шута, какимъ ты и самъ себя не считаешь. Но я много тружусь для того, чтобы быть шутомъ, и прыгаю, и отряхиваюсь для того, чтобы бубенчики звенѣли. Другимъ это достается легче... Но скажите мнѣ, рабби, почему это вы путешествуете въ праздникъ?

— Мое оправданіе,—отвѣчалъ спрошенный:—написано въ Талмудѣ и гласитъ: «опасность прогоняетъ шабашъ».

— Опасность!—вдругъ закричалъ длинный Назенштернъ и засуетился въ смертельномъ страхѣ.—Опасность! Опасность! Барабанщикъ Гансъ, барабань, барабань! Опасность! Опасность! Барабанщикъ Гансъ!..

А барабанщикъ за воротами закричалъ въ отвѣтъ своимъ толстымъ пивнымъ голосомъ:

— Тысяча дьяволовъ! Чортъ бы побралъ жидовъ! Вѣдь это ты, Назенштернъ, ужъ въ третій разъ сегодня будишь меня! Не доводи ты меня до бѣшенства! Когда я взбѣшусь, то становлюсь сущимъ сатаной, и ужъ тогда, не будь я христіанинъ, примусь стрѣлять въ окошечко воротъ, и береги всякій свой носъ!

— Не стрѣляй, не стрѣляй, я одинъ человѣкъ!—жалобно завизжалъ Назенштернъ, плотно прижалъ лицо къ ближайшей стѣнѣ и остался въ этомъ положеніи, дрожа и шепча молитвы.

— Что, что такое случилось?—вскричалъ теперь и шутъ Екель съ тѣмъ торопливымъ любопытствомъ, которымъ уже въ то время отличались франкфуртскіе евреи.

Но раввинъ освободился отъ него и пошелъ съ женою дальше по еврейской улицѣ.

— Смотри, прекрасная Сарра,—вздыхая, сказалъ онъ:— какъ дурно защищенъ Израиль! Ложные друзья охраняютъ его ворота извнѣ, а внутри его сторожа—шутовство и страхъ!

Медленно шли оба по длинной, пустой улицѣ, на которой только мѣстами выглядывала изъ окна цвѣтущая дѣвичья головка, между тѣмъ, какъ солнце празднично весело отражалось въ блестящихъ стеклахъ. Въ ту пору, дома еврейскаго квартала были еще новы и красивы, притомъ ниже, чѣмъ теперь, такъ какъ только впослѣдствіи, когда евреи очень размножились во Франкфуртѣ, не пріобрѣтя, однако, права распространять свой кварталъ, они стали надстраивать этажъ надъ этажомъ, тѣснились, какъ сельди

въ боченкѣ, и этимъ изувѣчивали себѣ тѣло и душу. Та часть еврейскаго квартала, которая уцѣлѣла послѣ большого пожара и называется старою улицею, это сборище высокихъ черныхъ домовъ, гдѣ торгуетъ и барышничаетъ озлобленный, подавленный народъ—страшный памятникъ среднихъ вѣковъ. Старая синагога уже не существуетъ; она была не такъ просторна, какъ теперешняя, построенная позже, когда въ общину были приняты изгнанные изъ Нюрнберга. Она помѣщалась сѣвернѣе. Раввину не было надобности спрашивать, гдѣ это помѣщеніе. Уже издали услышалъ онъ много неясныхъ и крайне громкихъ голосовъ. Во дворѣ Божьяго дома онъ разстался съ женой. Вымывъ руки въ находившемся тутъ колодцѣ, онъ вошелъ въ нижнюю часть синагоги, гдѣ молятся мужчины, а прекрасная Сарра поднялась по лѣстницѣ и направилась въ отдѣленіе женщинъ.

Это верхнее отдѣленіе было родъ галлереи съ тремя рядами деревянныхъ, коричнево-красною краской выкрашенныхъ скамеекъ, спинки которыхъ были снабжены висячими досками, очень удобно подымавшимися для того, чтобы на нихъ можно было положить молитвенникъ. Женщины сидѣли здѣсь, болтая, одна подлѣ другой, или стояли, горячо молясь; по временамъ онѣ съ любопытствомъ подходили къ большой рѣшеткѣ, тянувшейся вдоль восточной стѣны и сквозь тонкія, зеленыя планки которой можно было видѣть происходившее въ нижнемъ отдѣленіи синагоги. Тамъ, за высокими молитвенными пультами, стояли мужчины въ своихъ черныхъ плащахъ, съ падавшими на бѣлые воротнички остроконечными бородами, съ головами въ плоскихъ шляпахъ, болѣе или менѣе укутанными въ четыреугольные платки, снабженные предписанными закономъ нитями и сдѣланные изъ бѣлой шерсти или бѣлаго шелка, а иногда и украшенные золотыми снурками. Стѣны синагоги были совершенно однообразно выбѣлены, и не было тамъ никакихъ украшеній, кромѣ вызолоченной желѣзной рѣшетки вокругъ четыреугольнаго возвышенія, на которомъ читалось св. писаніе, и священнаго ковчега—великолѣпно сдѣланнаго ящика, какъ-будто поддерживавшагося мраморными столбиками съ роскошными капителями, цвѣты и листья которыхъ очень грандіозно подымались кверху. [illegible] занавѣской изъ голубого бархата, на кот[illegible] блестками, жемчугомъ и пестрыми камнями, благочестивая надпись. Въ этомъ мѣстѣ ви[illegible]

лампада воспоминанія, и находилось тоже окруженное рѣшеткой возвышеніе, на перилахъ котораго помѣщалась разная священная утварь, между прочимъ, семисвѣщный канделябръ, а передъ нимъ, лицомъ къ ковчегу, стоялъ канторъ, пѣніе котораго инструментообразно сопровождали голоса его помощниковъ—баса и дисканта. Всю дѣйствительную инструментальную музыку евреи изгнали изъ своей церкви, думая, что пѣснопѣніе во хвалу Бога назидательнѣе возносится изъ теплой человѣческой груди, чѣмъ изъ холодныхъ трубъ органа. Чисто дѣтски обрадовалась прекрасная Сарра, когда канторъ, превосходный теноръ, запѣлъ, и старыя, серьезныя мелодіи, столь хорошо ей знакомыя, расцвѣли передъ нею въ еще никогда невѣданной, молодой прелести, между тѣмъ какъ басъ, въ противоположность ему, выпускалъ глубокіе, темные звуки, а дискантъ разливался въ паузахъ тонкими и милыми трелями. Такого пѣнія прекрасная Сарра никогда не слышала въ синагогѣ Бахараха, гдѣ должность кантора исполнялъ старшина общины, Давидъ Леви; и когда этотъ, уже очень пожилой человѣкъ принимался, точно молодая дѣвушка, пускать трели своимъ разбитымъ козлинымъ голосомъ, и въ этомъ усиленномъ напряженіи лихорадочно трясъ вяло повисшею рукою, то такая штука возбуждала больше къ смѣху, чѣмъ къ набожному настроенію.

Благоговѣйно радостное чувство, смѣшанное съ женскимъ любопытствомъ, привлекло прекрасную Сарру къ рѣшеткѣ, сквозь которую она могла смотрѣть въ нижнее отдѣленіе, такъ-называемую мужскую школу. Еще никогда не приходилось ей видѣть такое большое количество сошедшихся вмѣстѣ единовѣрцевъ, и у нея стало еще отраднѣе на душѣ въ средѣ столькихъ людей, такъ близкихъ ей по происхожденію, образу мыслей и страданіямъ. Но еще болѣе волненія ощутила ея душа, когда три старика почтительно подошли къ священному ковчегу, отдернули блестящій занавѣсъ, открыли ящикъ и бережно вынули ту книгу, которую Богъ написалъ собственноручно и за сохраненіе которой евреи выстрадали такъ много, столько бѣдствія и ненависти, столько позора и смерти, тысячелѣтнее мученичество. Эта книга—большой пергаментный свертокъ —была, словно царское дитя, укутана въ пестро расшитый плащикъ изъ краснаго бархата; на обоихъ валькахъ свертка, вверху, помѣщались два серебряныхъ ящичка, въ которыхъ красиво шевелились и звенѣли разныя гранаты и колоколь-

чики, а спереди висѣли на серебряныхъ цѣпочкахъ золотые щиты съ разноцвѣтными драгоцѣнными камнями. Канторъ взялъ книгу, и точно она въ самомъ дѣлѣ была дитя, дитя, ради котораго вынесъ сильныя боли и которое поэтому тѣмъ болѣе любишь, принялся баюкать его на своихъ рукахъ, подплясывалъ съ нимъ взадъ и впередъ, прижималъ къ груди и, полный трепета отъ такого прикосновенія, запѣлъ такую ликующе набожную благодарственную пѣснь, что прекрасной Саррѣ показалось, будто колонки священнаго ковчега начали цвѣсти, и удивительные цвѣты и листья капителей рости все выше и выше, и звуки дисканта превратились въ пѣнье соловьевъ, и сводъ синагоги распался отъ могучихъ звуковъ баса, и радостное благоволеніе Бога полилось внизъ изъ голубого неба. То былъ прекрасный псаломъ. Община повторила хоромъ заключительные стихи, и къ возвышенію въ срединѣ синагоги медленно направился со священной книгой канторъ, между тѣмъ какъ мужчины и мальчики торопливо толпились вокругъ него, чтобы поцѣловать бархатное покрывало, или хоть прикоснуться къ нему. На этомъ возвышеніи сняли со священной книги бархатный плащикъ, равно какъ исписанную пестрыми буквами пеленку, въ которую она была завернута, и изъ раскрытаго пергаментнаго свитка, тѣмъ пѣвучимъ тономъ, который въ праздникъ Пасхи принимаетъ еще совершенно особыя модуляціи, канторъ началъ читать назидательную исторію объ искушеніи Авраама.

Прекрасная Сарра скромно отошла отъ рѣшетки, и тутъ толстая, сильно разряженная женщина средняго возраста и съ чванно благосклоннымъ выраженіемъ лица, позволила ей нѣмымъ наклоненіемъ головы совмѣстно воспользоваться ея молитвенникомъ. Женщина эта, повидимому, была не изъ большихъ ученыхъ; въ то время, какъ она читала молитвы, бормоча ихъ про себя, какъ обыкновенно дѣлаютъ женщины, потому что не имѣютъ права пѣть громко съ мужчинами—прекрасная Сарра замѣтила, что многія слова она выговаривала слишкомъ ужъ по своему усмотрѣнію, а нѣкоторыя хорошія строки и совсѣмъ пропускала. Но нѣсколько минутъ спустя, водянисто-свѣтлые глаза доброй женщины поднялись томно и медленно, плоская улыбка скользнула по фарфорово-красному и бѣлому лицу, и тономъ, который старался проникнуть въ душу собесѣдника съ возможно большею аристократическою мягкостью, она сказала прекрасной Саррѣ: «Онъ поетъ очень хорошо. Но

въ Голландіи я слышала пѣніе еще гораздо лучш
здѣсь чужая и, можетъ-быть, не знаете, что этотъ к
изъ Вормса и что его хотятъ удержать у насъ, ес
удовольствуется четырьмястами гульденовъ въ годъ
милый человѣкъ, и руки у него, какъ алебастръ. Я
даю большую цѣну красивой рукѣ. Красивая рука
шаетъ всего человѣка!»—При этомъ добрая женщина
довольно положила свою руку, которая дѣйствительно
все еще красива, на спинку молитвеннаго пульта и
знать граціознымъ наклоненіемъ головы, что ей н
вится, когда ее прерываютъ, прибавила: «Пѣвчій ещ
и видъ у него совсѣмъ истощенный. Басъ очень ужа
ливъ, и нашъ Штернъ сказалъ разъ очень остр
«басъ глупъ больше, чѣмъ слѣдуетъ требовать отъ
Они всѣ трое обѣдаютъ въ моей кухмистерской, и
можетъ-быть, неизвѣстно, что я Эллэ Шнапперъ».

Прекрасная Сарра поблагодарила за это сообще
Шнапперъ-Эллэ, тоже изъ благодарности, подробно р
зала ей, какъ она нѣкогда жила въ Амстердамѣ, та
красоту была предметомъ многихъ искательствъ, и к
три дня до Пасхи она пріѣхала во Франкфуртъ и
за Шнаппера, какъ онъ, наконецъ, умеръ, какъ на
номъ одрѣ онъ говорилъ трогательнѣйшія вещи, и
трудно, стоя во главѣ кухмистерской, сохранять рук
временамъ она кидала въ сторону презрительные вз
вѣроятно, относившіеся къ нѣсколькимъ молодымъ на
вицамъ, осматривавшимъ ея нарядъ. Довольно зам
ленъ былъ этотъ костюмъ: широко вздутая юбка и
лаго атласа, на которой вышиты яркими цвѣтами в
роды животныхъ изъ Ноева ковчега, кофточка изъ з
парчи, точно кираса, съ красными бархатными рук
на головѣ нечеловѣчески высокая шапка, вокруг
всемогущій воротникъ изъ бѣлаго накрахмаленнаго п
и серебряная цѣпь, на которой висѣли вдоль всей
всевозможные монеты, камни и рѣдкости, между пр
и большое изображеніе города Амстердама. Но ко
остальныхъ женщинъ были не менѣе замѣчательны
стояли изъ смѣси модъ различныхъ временъ, и не
бабенка, покрытая золотомъ и брильянтами, походи
ходячую лавку ювелира. Правда, въ то время законъ
писывалъ евреямъ опредѣленную одежду, и въ отлич
христіанъ мужчины должны были носить на плащах
тыя кольца, а женщины—на шапкахъ высоко под

вуали съ синими полосами. Но въ еврейскомъ кварталѣ это распоряженіе начальства мало соблюдалось, и тамъ, особенно въ праздники, а тѣмъ болѣе въ синагогѣ, женщины старались самымъ усерднымъ образомъ перещеголять одна другую роскошью костюма, частью чтобъ вызвать зависть, частью же для доказательства благосостоянія и кредитоспособности своихъ супруговъ.

И въ то время, какъ въ нижнемъ отдѣленіи синагоги читаются главы изъ книгъ Моисея, набожное настроеніе мало-по-малу ослабѣваетъ. Иной удобно усаживается, перешептывается съ сосѣдомъ о свѣтскихъ дѣлахъ, или отправляется во дворъ подышать свѣжимъ воздухомъ. Маленькіе мальчики позволяютъ себѣ, между тѣмъ, навѣщать своихъ матерей въ женскомъ отдѣленіи, а тутъ благоговѣніе сдѣлало еще болѣе шаговъ назадъ; тутъ болтаютъ, судачатъ, смѣются, и, какъ это вездѣ бываетъ, молодыя женщины подшучиваютъ надъ пожилыми, а эти, въ свою очередь— надъ легкомысленностью молодежи и современной испорченностью. Но какъ въ нижнемъ отдѣленіи франкфуртской синагоги былъ канторъ, такъ вверху находилась главная сплетница. Эту должность занимала Гюндхенъ Рейсъ, плоская, зеленоватая женщина, пронюхивавшая всякое несчастье и у которой на языкѣ постоянно лежала какая-нибудь скандальная исторія. Обыкновенною мишенью ея колкостей была бѣдная Шнапперъ-Эллэ, она умѣла очень комически передразнивать ея аффектированно-аристократическіе жесты, равно какъ и томное величіе, съ которымъ она принимала плутовскіе комплименты молодежи.

— А вы знаете, — говорила теперь Гюндхенъ Рейсъ:— что̀ сказала вчера Шнапперъ-Эллэ? Она сказала: «Не будь я и хороша, и умна, и любима, не было бы у меня никакой охоты жить на свѣтѣ!»

Кругомъ довольно громко захихикали, а вблизи стоявшая Шнапперъ-Эллэ, замѣтивъ, что это на ея счетъ, презрительно подняла глаза кверху и, точно гордый великолѣпный корабль, поплыла на болѣе отдаленное мѣсто. Фегеле Оксъ, круглая, довольно неуклюжая женщина, сострадательно замѣтила, что Шнапперъ-Эллэ, хотя и
и ограниченная женщина, но очень хорошаго
лаетъ много добра людямъ, которые въ томъ
— Особенно Назенштерну,—прошипѣла Г
И всѣ, знавшіе о ихъ нѣжныхъ отношені
еще громче.

— А знаете,—язвительно прибавила Гюндхенъ:—Назенштернъ теперь уже и ночуетъ въ домѣ Шнапперъ-Эллэ... Но посмотрите-ка, у Зюскенъ Флерсгеймъ на шеѣ та цѣпочка, что̀ Даніилъ Флешъ заложилъ у ея мужа... Флешиха злится... Теперь вотъ она заговорила съ Флерсгеймихой... Экъ, какъ привѣтливо онѣ жмутъ одна другой руку!.. А вѣдь ненавидятъ одна другую, какъ Мидіанъ и Моабъ! И улыбка-то у каждой какая любезная! Смотрите только, не сожрите другъ друга отъ нѣжности! Пойду подслушаю ихъ разговоръ.

И, точно подкарауливающій звѣрь, Гюндхенъ подкралась къ двумъ женщинамъ и услышала, какъ обѣ онѣ съ взаимнымъ участіемъ жаловались, что каждой изъ нихъ пришлось на прошедшей недѣлѣ сильно поработать, чтобы все прибрать въ домѣ и до-чиста вычистить кухонную посуду—дѣло, необходимое передъ праздникомъ Пасхи, чтобы на посудѣ не осталось ни малѣйшей крошечки кислаго тѣста. У Флешихи нашлись еще особенныя сѣтованія: въ общинной пекарнѣ на ея долю выпало много непріятностей, по выпавшему жребію она попала туда только въ послѣдніе дни, наканунѣ праздника, и могла начать печь только поздно вечеромъ; старуха Ганнэ скверно замѣсила тѣсто, служанки слишкомъ тонко выкатали его своими скалками, половина хлѣбовъ сгорѣла въ печи, а вдобавокъ ко всему шелъ такой сильный дождь, что сквозь деревянную крышу пекарни постоянно капало, и имъ, вымокшимъ и усталымъ, пришлось проработать чуть не до утра.

— И въ этомъ, милая Флерсгеймъ,—замѣтила Флешъ съ деликатною привѣтливостью, въ которой не было ничего искренняго: — въ этомъ были немножко виноваты вы, оттого, что не прислали мнѣ на помощь въ пекарню вашихъ людей.

— Ахъ, простите,—отвѣчала та:—мои люди были слишкомъ заняты, надо было упаковывать товары на ярмарку, у насъ теперь столько дѣла, мой мужъ...

— Да, я знаю, — перебила Флешъ рѣзко и быстро:—я знаю, что у васъ много работы, много залоговъ, и выгодныхъ дѣлъ, и шейныхъ цѣпочекъ...

Ядовитое слово уже готово было сорваться съ губъ говорившей, и Флерсгеймиха уже покраснѣла, какъ ракъ, но тутъ вдругъ раздалось громкое восклицаніе Гюндхенъ Рейсъ: «Бога ради, чужая женщина лежитъ и умираетъ... Воды! Воды!..»

Прекрасная Сарра лежала въ обморокѣ, блѣдная, какъ смерть, и вокругъ нея толпился, суетясь и соболѣзнуя, рой женщинъ. Одна поддерживала голову, другая руку; нѣсколько старухъ вспрыскивали ее водою изъ склянокъ, висѣвшихъ позади ихъ молитвенныхъ пультовъ на предметъ омовенія рукъ каждый разъ, какъ онѣ случайно дотрагивались до своего собственнаго тѣла; другія держали подъ носомъ лишившейся чувствъ старый, нашпигованный гвоздичными головками лимонъ, оставшійся еще отъ послѣдняго постнаго дня, когда онъ служилъ для укрѣпляющаго нервы нюханья. Наконецъ, прекрасная Сарра, изнеможенная и глубоко вздыхая, открыла глаза и нѣмыми взглядами поблагодарила за добрую заботливость. Но въ эту минуту внизу торжественно запѣли осьмнадцатичленную молитву, которую не дозволено пропускать никому, и суетливыя женщины поспѣшили на свои мѣста, и приняли участіе въ этой молитвѣ, совершая ее, какъ подобаетъ, стоя и обратясь лицомъ къ востоку, т. е. мѣсту, гдѣ находится Іерусалимъ. Фегеле Оксъ, Шнапперъ-Эллэ и Гюндхенъ Рейсъ дольше всѣхъ оставались около прекрасной Сарры; двѣ первыя—усердно предлагая ей свои услуги, а послѣдняя—освѣдомляясь, отчего это она такъ внезапно упала въ обморокъ.

Но обморокъ прекрасной Сарры имѣлъ совсѣмъ особенную причину. Дѣло въ томъ, что въ синагогѣ существуетъ обычай, по которому каждый, избѣжавшій большой опасности, выступаетъ публично послѣ прочтенія главъ св. писанія и благодаритъ божественный Промыслъ за свое спасеніе. И вотъ, когда рабби Авраамъ всталъ для принесенія такой благодарности, и прекрасная Сарра узнала голосъ своего мужа, она замѣтила, какъ тонъ этого голоса постепенно переходилъ въ мрачный шопотъ молитвы за умершихъ, она слышала имена своихъ милыхъ и родныхъ, сопровождаемыя притомъ тѣми благословляющими прилагательными, которыя даются умершимъ. И послѣдняя надежда рушилась въ душѣ прекрасной Сарры, и ея душа растерзалась несомнѣнностью, что ея милые и родные дѣйствительно умерщвлены, что маленькая племянница мертва, что и ея тетушки, Блюмхе и Фегельхенъ, тоже мертвы, и маленькій Готшалькъ мертвъ всѣ убиты и мертвы! Отъ боли этого сознанія она и с бы, можетъ-быть, умерла, если бы благодѣтельный обм не пролился на всѣ ея чувства.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Когда, послѣ окончившагося богослуженія, прекрасная Сарра сошла во дворъ синагоги, раввинъ стоялъ уже тамъ, ожидая жену. Онъ кивнулъ ей съ радостнымъ выраженіемъ лица и повелъ ее по улицѣ, гдѣ прежняя тишина совершенно исчезла, и шумно толпился народъ. Бородатые мужчины въ черныхъ кафтанахъ, точно кучи муравьевъ; женщины, порхающія въ блестящихъ одеждахъ, точно золотые жуки; мальчики въ новыхъ платьяхъ, неся вслѣдъ за стариками ихъ молитвенники; молодыя дѣвушки, которымъ не дозволяется входить въ синагогу и которыя теперь выпрыгивали изъ домовъ навстрѣчу своимъ родителямъ и склоняли передъ ними кудрявыя головки для принятія благословенія—всѣ безмятежные и радостные, гуляющіе по улицѣ въ блаженномъ предвкушеніи хорошаго обѣда, милый запахъ котораго, вызывая слюнку на губахъ, подымался изъ черныхъ, намѣченныхъ мѣломъ, горшковъ, только-что вынутыхъ веселыми служанками изъ большой общинной печи.

Въ этой толпѣ особенно выдѣлялась фигура испанскаго рыцаря, юношеское лицо котораго покрывала та прелестная блѣдность, которую женщины обыкновенно приписываютъ несчастной любви, а мужчины, напротивъ—счастливой. Въ его походкѣ, хотя равнодушно медленной, была, однако, какая-то изысканная манерность; перья его берета шевелило скорѣе гордое покачиванье его головы, чѣмъ дуновеніе вѣтра; громче, чѣмъ это нужно, бренчали его золотыя шпоры и портупея меча, который онъ, казалось, несъ въ рукѣ, и рукоятка котораго блистала драгоцѣнными украшеніями изъ-подъ бѣлаго рыцарскаго плаща, облекавшаго его стройные члены повидимому небрежно, но на самомъ дѣлѣ драпированнаго самымъ тщательнымъ образомъ. По временамъ, отчасти съ любопытствомъ, отчасти съ видомъ знатока, онъ приближался къ проходившимъ мимо женщинамъ, спокойно и пристально взглядывалъ имъ въ лицо, продолжалъ смотрѣть нѣсколько минутъ, когда лицо того заслуживало, кидалъ иной милой дѣвушкѣ нѣсколько льстивыхъ словъ и затѣмъ шелъ беззаботно дальше, не дожидаясь результата. Мимо прекрасной Сарры онъ прошелъ уже неоднократно, каждый разъ отгоняемый ея повелительнымъ взглядомъ или же загадочно улыбающеюся миною ея мужа. Но, наконецъ, гордо отбросивъ робкое смущеніе онъ смѣло загородилъ обоимъ дорогу

и съ увѣренностью фата произнесъ слащаво-галантнымъ тономъ слѣдующую рѣчь:

— Синьора, клянусь! Слушайте, синьора, клянусь! Розами обѣихъ Кастилій, арагонскими гіацинтами и андалузскими гранатами! Солнцемъ, освѣщающимъ всю Испанію со всѣми ея цвѣтами, луковицами, гороховыми супами, лѣсами, горами, мулами, козлами и старокатоликами! Небеснымъ покровомъ, на которомъ это солнце—только золотая кисть! И Богомъ, который возсѣдаетъ на небесномъ покровѣ и днемъ и ночью думаетъ о созданіи все новыхъ и новыхъ прелестныхъ женскихъ образовъ... Клянусь, синьора, вы прекраснѣйшая женщина, какую я только когда-либо видѣлъ въ нѣмецкой землѣ, и если вы соблаговолите принять мои услуги, то я прошу васъ о милости и дозволеніи дерзнуть назваться вашимъ рыцаремъ и безъ страха и упрека носить ваши цвѣта!

Румянецъ скорби пробѣжалъ по лицу прекрасной Сарры, и со взглядомъ, который дѣйствуетъ тѣмъ рѣзче, чѣмъ кротче глаза, его посылающіе, и тономъ, который тѣмъ сильнѣе уничтожаетъ, чѣмъ больше въ немъ мягкой дрожи, отвѣчала глубоко оскорбленная женщина:

— Благородный господинъ! Если вы хотите быть моимъ рыцаремъ, то вамъ придется сражаться съ цѣлыми народами, а въ этой войнѣ пріобрѣтается мало благодарности и еще меньше чести! А если вы хотите еще носить мои цвѣта, то вамъ слѣдуетъ пришить къ своему плащу желтыя кольца, или обвязать голову полосатымъ синимъ шарфомъ; потому что это мои цвѣта, цвѣта моего дома, дома, который называется Израилемъ, и очень несчастенъ, и осмѣивается на улицѣ сынами счастья!

Внезапный яркій румянецъ разлился по щекамъ испанца, безконечное смущеніе выразилось во всѣхъ его чертахъ, и почти заикаясь, выговорилъ онъ:

— Синьора... вы не такъ поняли меня... невинная шутка... но, клянусь Богомъ, не насмѣшка, отнюдь не насмѣшка надъ Израилемъ... я самъ родомъ изъ дома Израиля... мой дѣдъ былъ еврей, можетъ-быть, даже, мой отецъ...

— И несомнѣнно, синьоръ, вашъ дядя еврей,—вдругъ перебилъ его раввинъ, спокойно смотрѣвшій на эту сцену, и съ весело дразнящимъ взглядомъ онъ прибавилъ: — и я самъ готовъ поручиться, что донъ Исаакъ Абарбанель, племянникъ великаго раввина, произошелъ отъ самой лучшей крови Израиля, если даже не изъ царскаго рода Давидова!

Тутъ подъ плащомъ испанца зазвенѣла портупея меча, его щеки снова покрыла самая земляная блѣдность, въ глазахъ засверкала самая гнѣвная смерть, и совершенно измѣнившимся, ледянымъ, рѣзко отрывистымъ тономъ онъ сказалъ:

— Синьоръ рабби! Вы знаете меня. Прекрасно,—слѣдовательно вы знаете также, кто я. А коли лисица знаетъ, что я принадлежу къ породѣ львовъ, то она будетъ остерегаться и не подвергать смертельной опасности свою лисью бороду, и не раздражать моего гнѣва! Пристало ли лисицѣ быть судьею льва? Только тотъ, кто чувствуетъ, какъ левъ, можетъ понимать его слабости...

— О, я хорошо понимаю,—отвѣчалъ раввинъ, и грустная серьезность прошла по его лицу:—я хорошо понимаю, что левъ изъ гордости иногда сбрасываетъ свою царственную шкуру и переодѣвается въ пестрый чешуйный панцырь крокодила, потому что вошло въ моду быть визжащимъ, хитрымъ, прожорливымъ крокодиломъ! Что же остается дѣлать менѣе крупнымъ звѣрямъ, когда левъ отрекается отъ себя? Но берегись, донъ Исаакъ, ты не созданъ для стихіи крокодила. Вода (ты хорошо знаешь, о чемъ я говорю), вода твое несчастіе, и ты погибнешь. Не въ водѣ твое царство; самой слабой форели живется въ ней лучше, чѣмъ царю лѣсовъ. Ты не забылъ еще, я думаю, какъ тебя хотѣли поглотить волны Таго...

Разразившись громкимъ хохотомъ, донъ Исаакъ вдругъ бросился на шею раввину, закрылъ ему ротъ поцѣлуями, подпрыгнулъ отъ радости, громко звеня шпорами, такъ что проходившіе мимо евреи въ испугѣ кинулись въ сторону, и своимъ естественнымъ, сердечно веселымъ тономъ воскликнулъ:

— Дѣйствительно ты Авраамъ бахарахскій! И то была славная острота и вдобавокъ дружеская услуга съ твоей стороны, когда ты въ Толедо спрыгнулъ съ Алкантарскаго моста въ воду и, схвативъ за волосы твоего друга, который умѣлъ лучше пить, чѣмъ плавать, вытащилъ его на сушу! Я былъ уже очень близокъ къ тому, чтобы приняться за весьма основательныя изслѣдованія—въ самомъ ли дѣлѣ на днѣ Таго можно находить золотой песокъ и имѣли ли римляне основаніе назвать его золотою рѣкой. Повѣрь, я еще до сихъ поръ простуживаюсь только отъ одного воспоминанія объ этой водяной прогулкѣ...

При этихъ словахъ испанецъ сдѣлалъ такое движеніе,

какъ будто стряхивалъ съ себя приставшія капли воды. Но лицо раввина теперь совершенно прояснилось. Онъ нѣсколько разъ пожалъ своему другу руку и каждый разъ при этомъ говорилъ: «Радуюсь!»

— И я тоже радуюсь!—сказалъ тотъ:—мы не видѣлись съ тобою уже семь лѣтъ; когда мы разстались, я былъ еще совсѣмъ молокососъ, а ты, ты былъ уже такой солидный и серьезный... Но что сталось съ той прекрасной донной, которая въ ту пору стоила тебѣ столько вздоховъ, звучно риѳмованныхъ вздоховъ, которымъ ты аккомпанировалъ на лютнѣ?...

— Тише, тише! Донна слышитъ насъ, она моя жена, и ты самъ представилъ ей сегодня образецъ твоего вкуса и поэтическаго дарованія.

Не безъ слѣдовъ недавняго смущенія поклонился испанецъ красавицѣ, которая съ граціозной добротой высказала теперь сожалѣніе, что выраженіемъ неудовольствія огорчила друга своего мужа.

— Ахъ синьора,—отвѣчалъ донъ Исаакъ:—кто грубой рукой трогаетъ розу, тотъ не долженъ жаловаться, что его укололи шипы! Когда вечерняя заря, сверкая золотомъ, отражается въ голубой рѣкѣ...

— Ради Бога, прошу тебя,—перебилъ его раввинъ:— перестань!... Если намъ ждать, пока вечерняя заря, сверкая золотомъ, отразится на голубой рѣкѣ, то моя жена умретъ съ голода; она со вчерашняго вечера ничего не ѣла и съ тѣхъ поръ вытерпѣла много горя и невзгодъ.

— Ну, такъ я васъ сведу въ лучшую кухмистерскую Израиля,—сказалъ донъ Исаакъ:—въ домъ моей пріятельницы, Шнапперъ-Эллэ, тутъ вблизи. Я уже отсюда слышу ея милый запахъ—т. е. кухмистерской. О, если бы ты зналъ, Авраамъ, какъ мнѣ по сердцу этотъ запахъ! Это онъ, съ тѣхъ поръ, какъ я живу въ этомъ городѣ, такъ часто привлекаетъ меня къ купцамъ Іакова. Вообще, водить компанію съ народомъ божьимъ не въ моихъ вкусахъ, и хожу я въ еврейскую улицу совсѣмъ не для того, чтобы молиться, а только, чтобъ поѣсть...

— Ты никогда не любилъ насъ донъ Исаакъ.

— Да,— продолжалъ испанецъ:—вашу кухню я гораздо больше, чѣмъ вашу вѣру; вашей вѣрѣ и надлежащаго соуса. Васъ самихъ я никогда не варивать, какъ слѣдуетъ. Даже въ ваши лучш... даже въ правленіе моего предка Давида, кот

царемъ надъ Іудою и Израилемъ, мнѣ не выжить бы среди васъ, и я вѣрно выпрыгнулъ бы въ одно прекрасное утро изъ стѣнъ Сіона и эмигрировалъ бы въ Финикію или Вавилонъ, гдѣ жизнерадостность пѣнилась во храмѣ боговъ...

— Исаакъ, ты поносишь единаго Бога,—мрачно проговорилъ раввинъ:—ты гораздо хуже христіанина, ты язычникъ, служитель идоловъ...

— Да, я язычникъ, и одинаково противны мнѣ сухіе, чуждые радостей евреи и суровые, самоистязующіеся назареи. Наша милая владычица Сидона, священная Астарта, да проститъ меня за то, что я въ молитвѣ преклоняю колѣни предъ многострадальною Матерью Распятаго... Только мои колѣни и мой языкъ поклоняются смерти, сердце же мое остается вѣрно жизни!.. Да не смотри ты такъ кисло,—продолжалъ испанецъ, замѣтивъ, какъ мало назидательна была его рѣчь для раввина:—не смотри на меня съ отвращеніемъ. Мой носъ не сдѣлался отступникомъ. Когда случай привелъ меня однажды въ полуденную пору въ эту улицу, и изъ еврейскихъ кухонь проникли мнѣ въ носъ хорошо знакомые запахи,—тогда охватило меня то томленіе, которое ощущали наши отцы при воспоминаніи о мясныхъ блюдахъ Египта; вкусныя воспоминанія молодости воскресли во мнѣ; я снова увидѣлъ въ душѣ карповъ съ коричневымъ изюмнымъ соусомъ, который такъ назидательно умѣла приготовить моя тетка для пятничнаго вечера; я снова увидѣлъ тушеную баранину съ чеснокомъ и хрѣномъ, которою можно разбудить даже мертвыхъ, и супъ съ мечтательно плавающими въ немъ клецками... И моя душа расплывалась, какъ звуки влюбленнаго соловья, и съ тѣхъ поръ я обѣдаю въ кухмистерской моей пріятельницы, донны Шнапперъ-Эллэ!

Между тѣмъ, они дошли до этой кухмистерской; Шнапперъ-Эллэ самолично стояла у дверей своего дома, радушно привѣтствуя входившихъ проголодавшихся гостей. Позади ея, высовывая голову изъ-за ея плеча, стоялъ и съ боязливымъ любопытствомъ осматривалъ приходившихъ длинный Назенштернъ. Донъ Исаакъ съ преувеличенною grandezza приблизился къ нашей трактирщицѣ, которая отвѣчала на его шаловливо глубокіе поклоны безконечными книксенами; затѣмъ онъ снялъ со своей правой руки перчатку, обернулъ руку кончикомъ плаща, взялъ ею руку Шнапперъ-Эллэ, которою медленно провелъ по своимъ усамъ, и произнесъ:

— Синьора! Ваши глаза состязаются съ пламенемъ сол-

нечныхъ лучей. Но въ противоположность яйцамъ, которыя, чѣмъ дольше ихъ варить, тѣмъ круче они становятся,—мое сердце дѣлается тѣмъ мягче, чѣмъ дольше оно варится въ пламенныхъ лучахъ вашихъ глазъ! Изъ желтка моего сердца вылетаетъ крылатый богъ Амуръ и ищетъ себѣ уютнаго гнѣздышка въ вашей груди... Эту грудь, синьора, съ чѣмъ мнѣ ее сравнить? Нѣтъ во всемъ мірозданіи ни одного цвѣтка, ни одного плода, который былъ бы ей подобенъ! Это растеніе—единственное въ своемъ родѣ. Несмотря на то, что буря разноситъ по воздуху листья самыхъ нѣжныхъ розочекъ, ваша грудь остается зимнею розой, сопротивляющеюся всякимъ вѣтрамъ! Несмотря на то, что кислый лимонъ, чѣмъ больше онъ старится, тѣмъ больше желтѣетъ и сморщивается,—ваша грудь цвѣтомъ и нѣжностью можетъ поспорить съ самымъ сладкимъ ананасомъ! О, синьора, если городъ Амстердамъ дѣйствительно такъ прекрасенъ, какъ вы описывали мнѣ вчера, и третьяго дня, и ежедневно, то почва, на которой онъ находится, все-таки еще въ тысячу разъ прекраснѣе...

Рыцарь произнесъ эти послѣднія слова съ лицемѣрною застѣнчивостью и томно покосился на большую картину, висѣвшую на шеѣ Шнапперъ-Эллэ. Назенштернъ смотрѣлъ сверху внизъ отыскивающими глазами, и прославленная грудь заволновалась такъ сильно, что городъ Амстердамъ началъ качаться изъ стороны въ сторону.

— Ахъ!—со вздохомъ сказала Шнапперъ-Эллэ:—добродѣтель дороже красоты. Какой мнѣ прокъ отъ красоты? Моя молодость проходитъ, и съ тѣхъ поръ, какъ Шнапперъ умеръ—у него были по крайней мѣрѣ красивыя руки,—какой мнѣ прокъ отъ красоты?

И при этомъ она снова вздохнула, и точно эхо, почти неслышно, вздохнулъ позади ея Назенштернъ.

— Какой вамъ прокъ отъ красоты? — воскликнулъ донъ Исаакъ. — О, донна Шнапперъ-Эллэ, не грѣшите противъ доброты творческой природы! Не хулите ея прелестнѣйшихъ даровъ! Она можетъ страшно отомстить вамъ. Эти ниспосылающіе блаженство глаза могутъ сдѣлаться тупо стеклянными, эти граціозныя губы—сплюснуться до уродства, это цѣломудренное, ищущее любви тѣло—превратиться въ тяжеловѣсную бочку съ саломъ, и городъ Амстердамъ — очутится на гниломъ болотѣ...

И такимъ образомъ онъ изображалъ часть за частью теперешнюю наружность Шнапперъ-Эллэ, такъ что душу бѣд-

пой женщины охватилъ какой-то странный страхъ, и она старалась освободиться отъ зловѣщихъ рѣчей рыцаря. Въ эту минуту вдвойнѣ обрадовало ее то, что она увидѣла прекрасную Сарру и могла по этому случаю освѣдомиться, вполнѣ ли та оправилась отъ своего обморока. Тутъ она быстро пустилась въ оживленный разговоръ, въ которомъ обнаружила все свое фальшивое чванство и всю свою истинную доброту, и больше болтливо, чѣмъ умно, разсказала фатальную исторію, какъ сама она чуть не упала отъ ужаса въ обморокъ, когда пріѣхала на трешкоутѣ въ Амстердамъ, совсѣмъ чужая, и мошенникъ носильщикъ привелъ ее не въ почтенную гостиницу, а въ гнусный женскій домъ, въ чемъ она скоро убѣдилась по тому, что тутъ пили очень много водки и дѣлали ей безнравственныя предложенія... И она, какъ сказано, дѣйствительно упала бы въ обморокъ, если бы въ тѣ шесть недѣль, которыя ей привелось провести въ этомъ непристойномъ домѣ, она хоть на одну минуту позволила себѣ закрыть глаза...

— Ради моей добродѣтели,—прибавила она:—не позволяла я себѣ этого. И все это приключилось со мною ради моей красоты! Но красота проходитъ, а добродѣтель остается.

Донъ Исаакъ намѣревался уже критически освѣтить отдѣльныя частности этой исторіи, когда, къ счастью, кривой Аронъ Гиршку изъ Гомбурга на Ланѣ, съ бѣлой салфеткой на груди, вышелъ изъ комнаты и сердито объявилъ, что супъ давно уже поданъ, и гости сидятъ за столомъ, и недостаетъ хозяйки...

(Конецъ и послѣдующія главы потеряны не по винѣ автора).

ДѢВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ШЕКСПИРА.

. . . . . .

. . . . . .

Мнѣ становится тошно, когда я подумаю, что Шекспиръ все же, въ концѣ концовъ, — англичанинъ и принадлежитъ къ противнѣйшему народу, какого когда-либо создалъ Господь въ гнѣвѣ своемъ.

Что за отвратительный народъ, что за безотрадная страна! Какой клеенчатый, домаиспеченный, себялюбивый, узкій, чисто англійскій народъ! Страна, которую давно бы проглотилъ океанъ, если бы не боялся, что отъ этого произойдетъ у него разстройство желудка... Народъ—сѣрое, зѣвающее чудовище, дыханье котораго не что иное, какъ удушливый газъ и смертельная скука, и который навѣрно, въ концѣ-концовъ, самъ повѣсится на колоссальномъ корабельномъ канатѣ.

И въ такой-то землѣ и среди такого-то народа, въ апрѣлѣ 1564 года, увидѣлъ свѣтъ Вильямъ Шекспиръ.

Но Англія того времени, когда въ Стратфордѣ на Эвонѣ родился человѣкъ, которому мы обязаны свѣтскимъ евангеліемъ, какъ можно по праву назвать шекспировскія драмы. — Англія того времени, конечно, очень отличалась отъ нынѣшней; ее и называли merry England, и цвѣла она въ блескѣ красокъ, въ веселомъ шумѣ маскарадовъ, въ глубокомысленномъ шутовствѣ, средн кипучей жажды дѣятельности и неудержимыхъ страстей... Жизнь была тамъ еще блестящимъ турниромъ, гдѣ, правда, благородные рыцари безъ страха и упрека играли главныя роли, но гдѣ громкіе трубные звуки потрясали также и сердца горожанъ... И пили

тамъ вмѣсто густого пива легкомысленное вино, демократическій напитокъ, уравнивающій во хмелю тѣхъ людей, которые еще за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, на отрезвляющей аренѣ дѣйствительности, различались по рангу и происхожденію.

Все это яркоцвѣтное веселье съ тѣхъ поръ поблекло, умолкли радостные звуки трубъ, исчезло прекрасное опьянѣніе... И книга, называемая драматическими произведеніями Вильяма Шекспира, осталась въ рукахъ народа, какъ утѣшеніе въ тягостное время и какъ доказательство, что та «merry England» дѣйствительно существовала.

Счастье, что Шекспиръ явился именно во-время, что онъ былъ современникомъ Елисаветы и Іакова, когда протестантизмъ, правда, проявился уже въ нестѣсняемомъ свободомысліи, но отнюдь не въ образѣ жизни и способѣ чувствованій, и королевство, озаряемое послѣдними лучами заходящаго рыцарства, еще цвѣло и блистало въ полномъ сіяніи поэзіи. Правда, средневѣковыя народныя вѣрованія католицизма были уже разрушены въ теоріи; но они еще жили съ ихъ полными чарами въ сердцахъ людей и сохранялись еще въ ихъ нравахъ, обычаяхъ и воззрѣніяхъ. Только впослѣдствіи удалось пуританамъ, цвѣтокъ за цвѣткомъ, основательно искоренить религію прошедшаго и распространить по всей землѣ, подобно сѣрому туманному покрывалу, то безотрадное уныніе, которое затѣмъ, лишившись духа и силы, стало расплываться въ тепловатый, плаксивый, дремотный піетизмъ. Подобно религіи, и королевская власть въ Англіи ко времени Шекспира еще не претерпѣла того безцвѣтнаго превращенія, которое нынѣ подъ именемъ конституціонной формы правленія, если служитъ на пользу европейской свободѣ, то отнюдь не благопріятствуетъ процвѣтанію искусства.

Вмѣстѣ съ кровью Карла Перваго, великаго, истиннаго, послѣдняго короля, вытекла также и вся поэзія изъ жилъ Англіи; и трижды былъ счастливъ поэтъ, не дожившій, какъ современникъ, до того печальнаго событія, которое онъ, быть-можетъ, въ душѣ предчувствовалъ. Шекспира въ наши дни очень часто называли аристократомъ. Я б
чего не возражать противъ этого обвиненія и с
нить ему его политическія склонности, когда
его ясновидящее око поэта уже заранѣе про
нымъ признакамъ то нивелирующее пурит
которое должно было положить конецъ, вмѣ

ской властью, также и всѣмъ радостямъ жизни, всякой поэзіи и всякому свѣтлому искусству.

Да, во время господства пуританъ искусство въ Англіи находилось въ опалѣ, особенно неистовствовало евангелическое рвеніе въ борьбѣ съ театромъ, и даже самое имя Шекспира заглохло на долгіе годы въ памяти народа. Просто изумляешься, когда читаешь теперь въ брошюрахъ того времени, какъ, напримѣръ, Histrio Mastix знаменитаго Принна, взрывы гнѣва, которыми накликалась анаѳема на бѣдное театральное искусство. Должны ли мы слишкомъ серьезно негодовать на пуританъ за такой фанатизмъ? Конечно, нѣтъ; въ исторіи правъ всякій, кто остается вѣренъ своимъ внутреннимъ принципамъ, и угрюмыя «стриженыя головы» повиновались только послѣдовательнымъ выводамъ того враждебнаго театральнымъ представленіямъ духа, который проявлялся уже въ первые вѣка христіанства и, болѣе или менѣе иконоборствуя, сказывается и до настоящаго времени. Это старое, непримиримое отвращеніе къ театру есть не что иное, какъ одна изъ сторонъ враждебности, господствующей уже въ теченіе восемнадцати вѣковъ между двумя, совершенно разнородными міровоззрѣніями, и изъ которыхъ одно произросло на суровой почвѣ Іудеи, а другое въ цвѣтущей Греціи. Да, уже восемнадцать вѣковъ длится кѣвный разладъ между Іерусалимомъ и Аѳинами, между Святымъ Гробомъ и колыбелью искусства, между жизнью въ духѣ и духомъ въ жизни; и возникавшія отсюда столкновенія, явныя и скрытыя распри открываются передъ изо-ерическимъ читателемъ въ исторіи человѣчества. Когда мы итаемъ въ современныхъ газетахъ, что архіепископъ на-ижскій отказывается воздать обычныя похоронныя почести бѣдному умершему актеру, то основой такого поступка вляется вовсе не особый капризъ священнослужителя, и олько близорукій видитъ въ этомъ узкое недоброжелательство. Здѣсь гораздо больше дѣйствуетъ горячность стараго спора, борьбы на смерть противъ искусства, которымъ эллинскій духъ часто пользовался, какъ трибуной, чтобы съ нея проповѣдывать жизнь наперекоръ всеумерщвляющему іудаизму; церковь преслѣдовала въ лицѣ актеровъ органы эллинизма, и такому преслѣдованію подвергались нерѣдко и поэты, черпавшіе свое вдохновеніе исключительно у Аполлона и обезпечивавшіе изгнаннымъ языческимъ богамъ убѣжище. Или, можетъ-быть, здѣсь играетъ роль мстительность? Нетерпимѣйшими врагами угнетенной церкви въ теченіе

первыхъ двухъ вѣковъ были актеры, и въ Acta Sanctorum часто разсказывается, какъ эти проклятые скоморохи занимались въ римскихъ театрахъ, на потѣху языческой черни, пародированіемъ образа жизни и священныхъ обрядовъ назареянъ. Или, быть-можетъ, это взаимная ревность произвела между служителями духовнаго и свѣтскаго слова столь горькій разладъ?

На ряду съ аскетическимъ религіознымъ рвеніемъ одушевлялъ пуританъ въ ихъ ненависти къ старому англійскому театру республиканскій фанатизмъ, ибо на этой сценѣ оказывался почетъ не только язычеству и языческому образу мыслей, но также и роялизму и старымъ дворянскимъ фамиліямъ. Въ другомъ мѣстѣ я указывалъ, какъ много сходства въ этомъ отношеніи между пуританами того времени и нынѣшними республиканцами. Сохрани насъ Аполлонъ и вѣчныя музы отъ господства этихъ послѣднихъ!

Въ водоворотѣ указанныхъ церковныхъ и политическихъ переворотовъ на долгія времена заглохло имя Шекспира, и прошло почти цѣлое столѣтіе, пока оно снова добилось славы и почести. Но съ тѣхъ поръ его значеніе возрастало съ каждымъ днемъ, и какъ бы духовнымъ солнцемъ сталъ онъ для той страны, которая лишена истиннаго солнца почти двѣнадцать мѣсяцевъ въ году, для этого острова проклятья, для этого Ботанибея безъ южнаго климата, для этой воняющей дымомъ каменнаго угля, грохочущей машинами, лицемѣрно-набожной и скверно-пьяной Англіи! Заботливая природа никогда совершенно не лишаетъ наслѣдства своихъ твореній и, отказавъ англичанамъ во всемъ, что прекрасно и мило, не давъ имъ ни голоса для пѣнья, ни склонности къ наслажденіямъ, и одаривъ ихъ, быть-можетъ, только кожаными мѣшками для портера, вмѣсто человѣческихъ душъ—она въ вознагражденіе надѣлила ихъ большой долей гражданской свободы, умѣньемъ комфортабельно устроиться дома и Вильямомъ Шекспиромъ.

Да, онъ есть духовное солнце, великолѣпно украшающее эту землю своимъ чуднымъ свѣтомъ, своими благодатными лучами. Все напоминаетъ намъ въ Англіи о Шекспирѣ, и вслѣдствіе этого самые обыкновенные предметы предстаютъ намъ просвѣтленными. Повсюду тамъ шумятъ кругъ насъ крылья его генія, изъ каждаго значительнаго явленія привѣтствуетъ насъ его свѣтлый взглядъ, а въ величественныхъ событіяхъ чудится, что онъ иногда кивнетъ намъ, киваетъ тихо-тихо и улыбается.

Это постоянное воспоминаніе о Шекспирѣ и по поводу Шекспира чувствовалось мною особенно ясно во время моего пребыванія въ Лондонѣ, когда я, въ качествѣ любознательнаго путешественника, съ утра до поздней ночи колесилъ по городу въ погонѣ за такъ-называемыми достопримѣчательностями. Каждый lion напоминалъ о бо́льшемъ lion, о Шекспирѣ. Каждое мѣсто, посѣщавшееся мною, живетъ своею безсмертною жизнью въ его историческихъ драмахъ и было мнѣ знакомо, именно вслѣдствіе этого, съ самой ранней молодости. Но эти драмы извѣстны тамъ не только образованному классу, а каждому человѣку изъ народа, даже толстому beefeater, который со своимъ краснымъ лицомъ, въ своемъ красномъ сюртукѣ, служитъ вамъ проводникомъ въ Тоуэрѣ, и показывая вамъ за средними дверьми темницу, въ которой Ричардъ велѣлъ умертвить своихъ племянниковъ, юныхъ принцевъ, ссылается на Шекспира, описавшаго ближайшія обстоятельства этой страшной исторіи. Также и пономарь, водящій насъ по Вестминстерскому аббатству, постоянно говоритъ о Шекспирѣ, въ трагедіяхъ котораго эти усопшіе короли и королевы, простертые здѣсь въ видѣ каменныхъ изваяній на своихъ саркофагахъ и показываемые публикѣ за одинъ шилингъ и шесть пенсовъ, играютъ столь буйную или плачевную роль. Онъ самъ, статуя великаго поэта, стоитъ тамъ во весь ростъ — величественная фигура съ умнымъ челомъ, со свиткомъ пергамента въ рукахъ. Быть-можетъ, на этомъ пергаментѣ написаны заколдованныя слова, и когда онъ, въ полночь, раскрываетъ свои блѣдныя губы и заклинаетъ покоящихся тамъ въ каменныхъ гробницахъ мертвецовъ, то встаютъ въ своихъ заржавленныхъ латахъ и истлѣвшихъ придворныхъ одеждахъ рыцари алой и бѣлой розы, поднимаются, вздыхая, также и дамы изъ мѣстъ своего успокоенія, и раздается звонъ мечей, и хохотъ, и проклятія... Точно какъ въ Дрюриленскомъ театрѣ, гдѣ я такъ часто видѣлъ на сценѣ историческія драмы Шекспира, и гдѣ Кинъ меня такъ сильно хваталъ за душу, когда онъ въ отчаяніи бѣгалъ по сценѣ со словами:

«A horse, a horse, my kingdom for a horse!»

Я бы долженъ былъ списать весь «Путеводитель по Лондону», если бы захотѣлъ привести мѣста, гдѣ мнѣ на память приходилъ Шекспиръ. Особенно знаменательно было это въ парламентѣ, не столько потому, что онъ помѣщается въ томъ Вестминстерскомъ залѣ, о которомъ идетъ такъ

часто рѣчь въ шекспировскихъ драмахъ, но потому, что во время присутствія моего на дебатахъ, нѣсколько разъ было говорено о самомъ Шекспирѣ и даже цитировались его стихи изъ-за ихъ не поэтическаго, но историческаго значенія. Къ моему удивленію я замѣтилъ, что въ Англіи Шекспиръ прославляется не только какъ поэтъ, но признается и какъ историкъ высшими государственными властями, парламентомъ.

Это наводитъ меня на замѣчаніе, что несправедливо предъявлять историческимъ драмамъ Шекспира такія требованія, удовлетворить которыя можетъ только драматургъ, имѣющій высшей цѣлью только поэзію и ея художественную внѣшнюю форму. Задачей Шекспира была не только поэзія, но и исторія; онъ не могъ правильно формировать данныя, онъ не могъ представлять событія и характеры по своему капризу, и столь же мало, какъ единство времени и мѣста, могъ онъ соблюдать и единство интереса къ отдѣльному лицу, или къ отдѣльному факту. Тѣмъ не менѣе въ этихъ историческихъ драмахъ поэзія разлита богаче, сильнѣе и сладостнѣе, чѣмъ въ трагедіяхъ тѣхъ поэтовъ, которые либо сами вымышляютъ фабулы, либо обрабатываютъ ихъ по своему благоусмотрѣнію, достигаютъ самой строгой соразмѣрности формы, и въ томъ, что есть собственно искусство, именно въ enchaînement des scènes, превосходятъ бѣднаго Шекспира.

Да, это такъ, великій британецъ не только поэтъ, но и историкъ; онъ владѣетъ не только книжаломъ Мельпомены, но еще болѣе острымъ рѣзцомъ Кліо. Въ этомъ отношеніи онъ подобенъ древнимъ историкамъ, которые также не знали разницы между поэзіей и исторіей, и не только давали перечень случившагося, пыльный гербаріумъ событій, но просвѣтляли истину пѣньемъ, и въ пѣніи звучалъ только голосъ истины. Такъ-называемая объективность, о которой такъ много говорятъ въ настоящее время, есть не что иное, какъ сухая ложь; невозможно изображать прошедшее, не сообщая ему окраски нашего собственнаго чувства. Да, такъ-называемый объективный историкъ вѣдь все же направляетъ ходъ своихъ мыслей по современному, вслѣдствіе этого онъ невольно пишетъ въ духѣ своего собственнаго времени, и этотъ духъ времени будетъ проявляться въ его писаніяхъ, какъ и въ письмахъ проявляется характеръ не только пишущаго, но и того, кому письмо адресовано. Эта такъ-называемая объективность, которая, кичась своимъ безпри-

страстіемъ, царитъ на лобномъ мѣстѣ фактовъ,
ствіе того должна быть отвергнута, какъ ложна
исторической правда необходимы не только точ
нія относительно факта, но и извѣстнаго рода
томъ впечатлѣніи, которое этотъ фактъ произв
современниковъ. Но въ этихъ-то данныхъ и з
труднѣйшая задача, для нихъ требуется не тол
ное знаніе событій, но и особая прозорливость
котораго, какъ говоритъ Шекспиръ, становятся
«сущность и тѣло минувшихъ временъ».

И ему были они видимы, не только событія
его родины, но также и тѣ, о которыхъ намъ ос
дѣнія древнія лѣтописи, какъ мы съ удивленіемъ
это въ драмахъ, гдѣ онъ рисуетъ намъ прав
красками минувшую жизнь Рима. Онъ видѣлъ са
венные тайники какъ средневѣковыхъ рыцарей,
роевъ античнаго міра, и повелѣвалъ имъ выска
вомъ то, что таилось въ глубинѣ ихъ души. И в
онъ возвысить дѣйствительность до поэзіи, и да
ныхъ римлянъ, этотъ жесткій, трезвый народъ
смѣсь грубаго разбойничества и тонкой адвокат
сти, эту казуистическую солдатчину, умѣлъ онъ
поэтически. Но также и по отношенію его римс
приходится Шекспиру выслушивать снова упре
ствіи формы, и даже въ высшей степени даров
тель, Дитрихъ Граббе, называетъ ихъ «поэтиче
шенными хрониками», гдѣ нѣтъ никакого ц
пункта, гдѣ не знаешь, кто главное и кто вто
лицо, и гдѣ, если даже отказаться отъ единст
времени, нѣтъ даже единства интереса. Странно
ніе тончайшаго критика! Не только единство и
также единство времени и мѣста отнюдь не отс
нашего великаго поэта. Только понятія у него
расширеннѣе нашихъ. Арена его драмъ—нашъ зе
и это есть его единство мѣста; вѣчность есть т
въ теченіе котораго разыгрываются его пьесы,
единство времени; соразмѣрно этому является
драмъ, ярко блистающій въ нихъ, какъ централь
и являющійся представителемъ единства инте
вѣчество—тотъ герой, герой, который непрестан
и непрестанно воскресаетъ,—непрестанно люб
станно ненавидитъ, но еще болѣе любитъ, чѣ
дитъ,—сегодня пресмыкается, какъ червь, завтра

титъ къ солнцу, сегодня заслуживаетъ дурацкій колпакъ, завтра лавровый вѣнокъ, еще чаще — оба одновременно, — великій карликъ, маленькій великанъ, гомеопатически состряпанный богъ, въ которомъ божественность, хотя и въ весьма разжиженномъ состояніи, но тѣмъ не менѣе всегда существуетъ... ахъ! не будемъ слишкомъ много говорить о геройствѣ этого героя—изъ скромности и стыда!

Ту же самую вѣрность и ту же правдивость, которыя соблюдаетъ Шекспиръ въ отношеніи исторіи, находимъ мы у него въ отношеніи природы. Обыкновенно говорятъ, что онъ подставлялъ природѣ зеркало. Это выраженіе неудачно, такъ какъ оно вводитъ въ заблужденіе насчетъ отношенія поэта къ природѣ. Въ духѣ поэта отражается не природа, но образъ ея, который, будучи подобенъ вѣрнѣйшему отраженію въ зеркалѣ, прирожденъ духу поэта, онъ какъ бы влечетъ нашъ міръ на показъ міру, и когда, очнувшись отъ дремоты младенческаго возраста, доходитъ до самопознанія, то ему тотчасъ же становится понятною каждая часть внѣшняго міра явленій, какъ во всей ея совокупности съ цѣлымъ; ибо онъ вѣдь носитъ образъ цѣлаго въ своей душѣ, ему извѣстны первичныя причины всѣхъ феноменовъ, которые обыкновенному уму кажутся загадочными, и путемъ общепринятаго изслѣдованія понимаются только съ трудомъ, или вовсе не понимаются.. И какъ математикъ, который, если ему дана только малѣйшая часть окружности, тотчасъ же можетъ начертить ее всю, найдя ея центръ, такъ и поэтъ, когда передъ его взоромъ имѣется только внѣшній видъ ничтожнѣйшаго осколка изъ міра явленій, тотчасъ же открываетъ всю мірскую совокупность этого осколка съ цѣлымъ; ему какъ бы извѣстны вращеніе и центры всѣхъ вещей; онъ понимаетъ вещи въ ихъ широчайшемъ объемѣ и ихъ глубочайшемъ средоточіи.

Но осколокъ міра явленій долженъ всегда быть полученъ поэтомъ извнѣ, прежде, чѣмъ можетъ въ немъ совершиться тотъ удивительный процессъ воспроизведенія всего міра въ его цѣлости. Это пользованіе осколкомъ міра явленій происходитъ посредствомъ внѣшнихъ чувствъ и служитъ какъ бы внѣшнимъ событіемъ, обусловливающимъ вну
кровенія, которымъ мы обязаны произведеніями п
крупнѣе эти послѣднія, тѣмъ болѣе любопытст
узнать тѣ внѣшнія событія, которыя послужи
поводомъ къ созданію ихъ. Мы охотно отыс
дѣнія относительно дѣйствительныхъ жизненн

ній поэта. Это любопытство тѣмъ гл
дуетъ уже изъ вышесказаннаго, крупн
тій ни въ какомъ отношеніи не связа
реній, которыя ими вызваны. Тѣ внѣ
быть весьма мелкими и безцвѣтными,
новенно и бываютъ, какъ и вообще в
обыкновенно мелка и безцвѣтна; я
цвѣтна, ибо не хочу употребить болѣ
піе. Поэмы являются передъ міромъ
ній, и особенно, когда глядишь на ни
себя ослѣпленнымъ лучами. О, не буде
ихъ образъ жизни, они подобны тѣмъ
которые такъ прелестно блистаютъ в
дерна и листвы, что ихъ можно счес
что ихъ можно принять за брильянты
гоцѣнности, повѣшенныя на кустахъ ца
шими въ саду, и тамъ ими позабыты
мать—это пылающія капли солнца, за
кой травѣ и теперь, въ прохладѣ ноч
щія, пока не наступитъ утро и крас
не впитаетъ ихъ въ себя обратно...
слѣдовъ тѣхъ звѣздъ, тѣхъ драгоцѣнн
ныхъ капель! Вмѣсто ихъ вы увидите
червячка, плачевно ползущаго по д
вамъ противенъ, и котораго ваша ног
раздавить изъ-за страннаго сострадані

Какова была частная жизнь Ше
всѣ изысканія, о немъ почти ничего
это—счастье. Только самые бездока
разсказы о юности и жизни поэта пе
родъ. Говорили, напримѣръ, что онъ у
самъ рѣзалъ быковъ... Эти послѣдні
предки тѣхъ англійскихъ комментаторо
по злобѣ, приписываютъ ему всякаго
ошибки въ поэзіи. По другимъ свѣд
торговцемъ шерстью, и дѣла его шли
думалъ, что, торгуя шерстью, онъ, на
ходить въ бархатѣ! Я ровно ничему
вѣрю; много крику, но мало толку. С
я, что нашъ поэтъ дѣйствительно сдѣ
изъ-за молодого оленя попалъ въ су
что я его, однако, не совсѣмъ осужда
вѣкъ однажды укралъ теленка» — гов

пословица. Вслѣдствіе этого онъ, говорятъ, бѣжалъ въ Лондонъ и тамъ присматривалъ за лошадьми знатныхъ господъ передъ дверьми театра, за что получалъ по гаю... Такъ, приблизительно, гласятъ сплетни, разбалтываемыя въ исторіи литературы старыми кумушками другъ другу.

Подлинными документами о жизни Шекспира служатъ его сонеты, о которыхъ я, однако, не хотѣлъ бы говорить и которые, вслѣдствіе проявляющагося въ нихъ глубокаго человѣческаго ничтожества, именно и привели меня къ вышесказаннымъ взглядамъ на частную жизнь поэтовъ.

Недостатокъ болѣе опредѣленныхъ свѣдѣній о жизни Шекспира легко объясняется, если подумать о тѣхъ политическихъ и религіозныхъ бурякъ, которыя разразились вскорѣ послѣ его смерти, вызвали на нѣкоторое время полное господство пуританъ, дѣйствовали и впослѣдствіи еще болѣе тлетворнымъ образомъ и не только вполнѣ уничтожили золотой періодъ англійской литературы временъ Елисаветы, но и привели его въ полное забвеніе. Когда въ началѣ прошлаго столѣтія снова вывели произведенія Шекспира на свѣтъ Божій, то уже не существовало никакихъ тѣхъ традицій, которыя были бы полезны для установленія правильнаго текста, и комментаторамъ приходилось прибѣгать къ критикѣ, черпавшей свои основные доводы въ плоскомъ эмпиризмѣ и еще болѣе жалкомъ матеріализмѣ. За исключеніемъ только Вильяма Гацлитта, Англія не дала ни одного выдающагося комментатора Шекспира; повсюду мелочная педантичность и самодовольная пустота, доходящее до энтузіазма самомнѣніе, ученая вздутость, почти грозящая лопнуть отъ блаженнаго самодовольства, когда она можетъ указать бѣдному поэту какую-нибудь антикварную, географическую или хронологическую погрѣшность, и по поводу ея пожалѣть, что онъ не изучалъ древнихъ на ихъ родномъ языкѣ, да и вообще не обладалъ достаточными школьными познаніями. У него вѣдь римляне носятъ шляпы, корабли причаливаютъ къ Богеміи, а во времена Трои цитируютъ Аристотеля! Это было болѣе, чѣмъ могъ перенести англійскій ученый, получившій въ Оксфордѣ степень magister artium! Единственный комментаторъ Шекспира, котораго я указалъ, какъ исключеніе, и котораго тоже во всякомъ другомъ отношеніи надо назвать единственнымъ, былъ покойный Гацлиттъ, умъ столько же блестящій, сколько и глубокій, смѣсь Дидро и Бёрне, пламенный поклонникъ революціи и горячій приверженецъ искусства, вѣчно кипящій энергіею и умомъ.

Лучше англичанъ поняли Шекспира нѣмцы. И здѣсь должно на первомъ мѣстѣ назвать снова то дорогое имя, которое мы встрѣчаемъ вездѣ, гдѣ нужна была у насъ великая инициатива. Готтольдъ Ефраимъ Лессингъ былъ первымъ, поднявшимъ въ Германіи свой голосъ за Шекспира. Онъ принесъ самый тяжелый камень для сооруженія храма величайшему изъ всѣхъ поэтовъ и, что́ еще драгоцѣннѣе, онъ взялъ на себя трудъ очистить отъ стараго мусора ту почву, на которой предстояло построить этотъ храмъ. Легкіе французскіе балаганы, широко раскинувшіеся на той почвѣ, безпощадно разрушалъ онъ въ радостномъ рвеніи строителя. Готшедъ такъ отчаянно потрясалъ кудрями своего парика, что содрогался весь Лейпцигъ, и щеки его жены блѣднѣли отъ страха, или, можетъ-быть, также отъ пудры. Можно было подумать, что вся «Драматургія» Лессинга написана въ интересѣ Шекспира.

Послѣ Лессинга должно назвать Виланда. Своимъ переводомъ великаго поэта онъ еще болѣе способствовалъ къ признанію его въ Германіи. Удивительно, что авторъ «Агатона» и «Музаріона», шаловливый cavaliere sevente грацій, приверженецъ и подражатель французовъ,—что именно онъ былъ внезапно охваченъ англійской серьезностью съ такой силой, что самъ поднялъ на щитъ героя, долженствовавшаго положить конецъ его собственному господству.

Третій великій голосъ, прозвучавшій въ Германіи за Шекспира, принадлежалъ нашему милому, дорогому Гердеру, который высказался за него съ безграничнымъ одушевленіемъ. Также и Гёте присягнулъ ему съ громкими трубными звуками; словомъ, блестящій рядъ королей, одинъ за другимъ, кидалъ свои голоса въ урну и избралъ Вильяма Шекспира въ императоры литературы.

Этотъ императоръ сидѣлъ уже твердо на своемъ тронѣ, когда и рыцарь Августъ Вильгельмъ фонъ-Шлегель, со своимъ оруженосцемъ, гофратомъ Людвигомъ Тикомъ, удостоились чести поцѣловать ему руку и увѣрили весь свѣтъ, что теперь только впервые утверждено навсегда царство, тысячелѣтнее царство великаго Вильяма.

Было бы несправедливостью, если бы я захотѣлъ отказать г. А. В. Шлегелю въ заслугахъ, которыя онъ оказалъ своими переводами шекспировскихъ драмъ и своими чтеніями о нихъ. Но по чести говоря, этимъ послѣднимъ слишкомъ недостаетъ философской почвы; они слишкомъ поверхностно блуждаютъ въ какомъ-то фривольномъ дилетантизмѣ,

и кое-какія нехорошія заднія мысли выступаютъ въ нихъ слишкомъ ясно для того, чтобы я могъ безусловно похвалить ихъ. Одушевленіе г. А. В. Шлегеля есть не что иное, какъ искусственное, умышленное пьянство безъ опьянѣнія, и у него, какъ и въ остальной романтической школѣ, апоѳеозъ Шекспира долженъ былъ косвеннымъ образомъ служить къ уничиженію Шиллера. Переводъ Шлегеля до настоящаго времени, конечно, самый удачный и отвѣчаетъ требованіямъ, которыя можно предъявить къ стихотворному переводу. Женственность его таланта является здѣсь для переводчика какъ нельзя болѣе кстати, и въ своемъ безцвѣтномъ творчествѣ онъ можетъ вполнѣ вѣрно и пріятно для читателя приноравливаться къ творчеству чужому.

Однако, я сознаюсь, что несмотря на эти достоинства, я по временамъ отдаю предпочтеніе старому переводу Эшенбурга, сдѣланному въ прозѣ, передъ Шлегелевскими—и вотъ на какихъ основаніяхъ.

Языкъ Шекспира не есть собственно его оригинальный, но переданъ ему его предшественниками и современниками; это традиціонный сценическій языкъ, на которомъ долженъ былъ писать драматургъ того времени, независимо отъ того, находилъ ли онъ этотъ языкъ подходящимъ своему таланту, или нѣтъ. Достаточно просмотрѣть бѣгло «Collection of old plays» Додслея, чтобы замѣтить, что тотъ же самый языкъ господствуетъ во всѣхъ трагедіяхъ и комедіяхъ того времени, тотъ же эуфуизмъ, та же преувеличенная манерность, тѣ же замысловатые обороты рѣчи, тѣ же concetti, остроты, вычурныя выраженія мысли, встрѣчаемыя также и у Шекспира, и которыми слѣпо восхищаются ограниченные умы, но которыя проницательнымъ читателемъ если и не отрицаются, то лишь извиняются, какъ внѣшняя форма, условіе времени, долженствовавшее по необходимости быть исполненнымъ. Только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ весь геній Шекспира выступаетъ наружу, гдѣ звучатъ его высшія откровенія, тамъ стряхиваетъ онъ съ себя тотъ традиціонный театральный языкъ и является въ возвышенно прекрасной наготѣ, въ простотѣ, соперничающей съ неподкрашенной природой и наполняющей насъ самымъ сладкимъ тр
Да, въ такихъ мѣстахъ появляется у Шекспира и
опредѣленная особенность, но которая никогда н
быть вѣрно передана переводчикомъ стихотворным
щимся за мыслями подлинника со связанными сл
ногами. При стихотворномъ переводѣ эти необы

теряются въ обычной колеѣ театральнаго языка, и этой судьбы не избѣгъ и г. Шлегель. Но для чего же трудъ стихотворнаго перевода, если именно самое лучшее, что̀ есть у автора, теряется, а передается только самое слабое? Поэтому переводъ въ прозѣ легче, воспроизводящій чуждую напыщенности, простую, естественную цѣломудренность нѣкоторыхъ мѣстъ, конечно, заслуживаетъ предпочтенія передъ стихотворнымъ.

Непосредственно за Шлегелемъ имѣетъ нѣкоторыя заслуги, какъ толкователь Шекспира, г. Л. Тикъ. Этого онъ достигъ своими драматургическими статьями, появившимися четырнадцать лѣтъ тому назадъ въ «Вечерней Газетѣ» и произведшими огромную сенсацію среди актеровъ и любителей театра. Къ сожалѣнію, въ этихъ статьяхъ господствуетъ широкосозерцательный, докучный, поучающій тонъ, къ которому этотъ милый бездѣльникъ, какъ его называетъ Гуцковъ, прибѣгнулъ съ хитрымъ тайнымъ умысломъ. Чего ему недоставало въ знаніи классическихъ языковъ или даже философіи, то замѣнялъ онъ благопристойностью и серьезностью, и такъ и кажется, что видишь сэра Джона на креслѣ, произносящаго принцу надгробное слово. Но несмотря на напыщенную, доктринерскую важность, которою маленькій Людвигъ старается прикрыть свое философское и филологическое невѣжество, свою ignorantia, мы находимъ въ упомянутыхъ статьяхъ остроумнѣйшія замѣчанія о характерѣ шекспировскихъ героевъ, кое-гдѣ встрѣчаемъ даже ту способность поэтическаго воззрѣнія на вещи, которой мы постоянно удивлялись въ прежнихъ произведеніяхъ г. Тика и которую признавали съ радостью.

Ахъ, этотъ Тикъ, который нѣкогда вѣдь былъ поэтомъ и причислялся если не къ высочайшимъ изъ нихъ, то по крайней мѣрѣ къ стремившимся высоко, какъ онъ съ тѣхъ поръ опустился! Какъ жалокъ тотъ запутанный урокъ, который онъ даетъ намъ ежегодно, по сравненію со свободными произведеніями его музы изъ прежняго, озареннаго луннымъ свѣтомъ, сказочнаго міра! Насколько онъ былъ прежде намъ милъ, настолько же теперь противенъ намъ онъ, безсильный завистникъ, клевещущій на вдохновенныя скорби нѣмецкой молодежи въ своихъ сплетническихъ новеллахъ! Къ нему хорошо идутъ слова Шекспира: «Ничто не имѣетъ такого отвратительнаго вкуса, какъ испорченное сладкое; ничто не пахнетъ такъ мерзко, какъ сгнившая лилія!»

Среди нѣмецкихъ комментаторовъ великаго поэта нельзя

не упомянуть о покойномъ Францѣ Горнѣ. Его толкованія Шекспира во всякомъ случаѣ самыя полныя, и составляютъ пять томовъ. Въ нихъ есть умъ, но такой разжиженный, что онъ намъ кажется еще болѣе плачевнымъ, чѣмъ самая тупая ограниченность. Удивительно. Этотъ человѣкъ, работавшій изъ любви къ Шекспиру всю жизнь надъ изученіемъ его и принадлежащій къ самымъ ревностнымъ его почитателямъ, былъ слабодушнымъ піетистомъ. Но, быть можетъ, именно чувство своей собственной духовной безцѣнности возбуждало въ немъ постоянное восхищеніе передъ мощью Шекспира, и когда перомъ британскій титанъ, въ своихъ страстныхъ сценахъ, мечетъ Пеліонъ на Осу и воротъ штурмомъ небо, тогда у бѣднаго истолкователя выпадаетъ отъ изумленія перо изъ рукъ, и онъ вздыхаетъ и тихо хныкаетъ. Какъ піетистъ, онъ долженъ былъ собственно ненавидѣть своею ханжествующею натурою того полнаго духъ котораго, весь напоенный цвѣтущею жизнерадостностью боговъ, дышалъ въ каждомъ словѣ самымъ радостнымъ язычествомъ; онъ долженъ былъ ненавидѣть его, этого исповѣдника жизни, который, тайно отрекшись отъ религіи смерти и расплываясь въ самомъ сладкомъ трепетѣ древней геройской мощи, знать ничего не хочетъ о печальныхъ сладостяхъ смиренія, и отреченія, и мученичества! Но Горнъ все-таки любитъ его, и въ своей неустанной любви онъ хотѣлъ бы обратить Шекспира къ истинной церкви; онъ навязываетъ ему своими комментаріями христіанскій образъ мыслей; есть ли это благочестивый обманъ — или самозаблужденіе—но онъ повсюду въ шекспировскихъ драмахъ открываетъ христіанскій образъ мыслей, и благочестивая водица его толкованій есть какъ бы пятитомная очистительная ванна, которую онъ выливаетъ на великаго язычника. Но, повторяю, эти толкованія не совсѣмъ лишены ума. По временамъ Францъ Горнъ производитъ на свѣтъ хорошую мысль; тогда онъ корчитъ всякія скучныя кислосладкія гримасы, и хныкаетъ, и вертится, и корчится на родильномъ ложѣ мысли; и когда, наконецъ, разрѣшится отъ бремени хорошей мыслью, то въ умиленіи разсматриваетъ пуповину и улыбается, изнуренный, какъ родильница. Это въ самомъ дѣлѣ столько же досадное, сколько и забавное явленіе, что именно нашъ слабенькій піетистъ Францъ комментировалъ Шекспира. Въ одной комедіи Граббе дѣло весьма потѣшно представлено въ обратномъ видѣ: Шекспиръ, попавшій послѣ смерти въ адъ,

суженъ писать толкованія къ произведеніямъ Франца Горна.

Дѣйствительнѣе, чѣмъ толкованія, разъясненія и кропотливыя восхваленія комментаторовъ, оказалась для популяризаціи Шекспира та одушевленная любовь, съ которою разыгрывали его драмы талантливые актеры и тѣмъ дѣлали ихъ доступными обсужденію всей публики. Лехтенбергъ, въ своихъ «Письмахъ изъ Англіи», сообщаетъ намъ важныя свѣдѣнія о томъ мастерствѣ, съ которымъ въ срединѣ прошлаго столѣтія изображались на лондонской сценѣ шекспировскіе характеры. Я говорю характеры, а не произведенія въ ихъ цѣломъ, такъ какъ до сего часа англійскіе актеры понимали въ Шекспирѣ только характеристику, а отнюдь не поэзію, и еще менѣе искусство. Но такая односторонность пониманія встрѣчается во всякомъ случаѣ еще въ бо́льшей степени у комментаторовъ, которые никогда не были въ состояніи увидѣть въ драмахъ Шекспира, сквозь запыленные очки учености, самое простое, самое близкое—натуру. Гаррикъ понималъ шекспировскія мысли яснѣе, чѣмъ докторъ Джонсонъ,—Джонсонъ, этотъ Джонъ Булль учености, на носу котораго царица Мебъ дѣлала, навѣрно, самые причудливые прыжки въ то время, когда онъ писалъ о «Снѣ въ лѣтнюю ночь»; онъ, конечно, не зналъ, почему надъ Шекспиромъ ему чихалось и зудѣло въ носу больше, чѣмъ надъ другими поэтами, которыхъ онъ разбиралъ.

Въ то время, какъ докторъ Джонсонъ анатомировалъ шекспировскіе характеры, какъ безжизненные трупы, и при томъ выкладывалъ свои самыя толстыя глупости на англо-саксоно-англійскомъ діалектѣ и покачивался съ неуклюжимъ самодовольствомъ на антитезахъ своихъ латинскихъ періодовъ, Гаррикъ стоялъ на сценѣ и потрясалъ весь англійскій народъ, вызывая къ жизни странными заклинаніями тѣни мертвецовъ, чтобы они передъ глазами всѣхъ совершали свои мрачныя, кровавыя или забавныя дѣла. Но этотъ Гаррикъ любилъ великаго поэта, и въ награду за такую любовь лежитъ онъ похороненнымъ въ Вестминстерѣ у пьедестала статуи Шекспира, какъ вѣрный песъ у ногъ своего господина.

Переходомъ гарриковской игры въ Германію мы обязаны [illegible] нитому Шредеру, который также обработалъ впервые только лучшихъ драмъ Шекспира для нѣмецкой сцены. Подобно Гаррику и Шредеръ не понялъ ни поэзіи, ни искусства, заключающихся въ этихъ драмахъ, но онъ только

умѣлъ разумно взглянуть въ натуру, которая прежде всего выражается въ нихъ; онъ болѣе старался воспроизводить въ драмѣ, съ одностороннѣйшею вѣрностью природѣ, отдѣльные характеры, чѣмъ чудную гармонію и внутреннюю законченность пьесы. Къ такому замѣчанію уполномачиваютъ меня какъ традиціи его игры, какими онѣ сохранились до нынѣшняго дня на гамбургской сценѣ, такъ и его обработки самихъ пьесъ Шекспира, откуда изглажены всякая поэзія и всякое искусство, и гдѣ, только благодаря слитію во едино наиболѣе рѣзкихъ чертъ, выступаетъ твердое изображеніе главныхъ характеровъ, нѣкоторая общедоступная естественность.

Изъ этой системы естественности развилась также игра великаго Девріента, котораго я однажды видѣлъ въ Берлинѣ одновременно съ великимъ Вольфомъ, который придерживался въ своей игрѣ болѣе системы художественной обработки. Хотя, исходя изъ самыхъ различныхъ направленій, одинъ стремился къ природѣ, другой къ искусству, какъ къ высшимъ цѣлямъ, но оба сошлись въ поэзіи и совершенно противоположными средствами потрясали и зажигали сердца зрителей.

Менѣе, чѣмъ можно было ожидать, сдѣлали для прославленія Шекспира музы живописи и музыки. Завидовали ли онѣ своимъ сестрамъ, Мельпоменѣ и Таліи, завоевавшимъ себѣ, благодаря великому британцу, свои безсмертнѣйшіе вѣнцы? Кромѣ «Ромео и Юліи» и «Отелло», ни одна шекспировская пьеса не вдохновила сколько-нибудь знаменитаго композитора къ созданію великаго произведенія. Восхвалять эти звучные цвѣты, выросшіе въ ликующемъ соловьиномъ сердцѣ Цингарелли, мнѣ нѣтъ нужды точно такъ же, какъ восхвалять и тѣ сладчайшіе звуки, которыми лебедь Пезаро воспѣлъ истекающую кровью нѣжность Дездемоны и черное пламя ея возлюбленнаго. Живопись, какъ и вообще пластическія искусства, еще слабѣе поддерживали славу нашего поэта. Такъ-называемая шекспировская галлерея въ Pall-Mall свидѣтельствуетъ, правда, о добромъ желаніи британскихъ художниковъ, но въ то же время и о ихъ холодномъ безсиліи. Это—сухія изображенія, со старомъ французскомъ духѣ, но безъ того в французы никогда не теряли окончательно нѣчто, въ чемъ англичане такіе же смѣшны какъ и въ музыкѣ; это именно живопись. Т портретовъ они дали превосходныя произ

еще могутъ нарисовать портретъ рѣзцомъ, а не красками, то превосходятъ художниковъ остальной Европы. Въ чемъ причина того явленія, что англичане, которые такъ скудно надѣлены чувствомъ краски, оказываются, однако, выдающимися рисовальщиками и могутъ создавать мастерскія произведенія гравированія на мѣди и стали? Что послѣднее именно такъ, доказываютъ прилагаемыя мною здѣсь гравюры женщинъ и дѣвушекъ изъ шекспировскихъ драмъ, безукоризненность которыхъ не нуждается ни въ какихъ комментаріяхъ. О комментаріяхъ здѣсь вообще всего менѣе рѣчи. Предстоящія страницы должны служить только бѣглымъ введеніемъ къ милой книгѣ, предварительнымъ привѣтомъ, какъ это обыкновенно дѣлается. Я привратникъ, открывающій вамъ эту галлерею, и то, что̀ вы до сихъ поръ слышали, было пустымъ бренчаньемъ ключей. Водя васъ по галлереѣ, я позволю себѣ иногда вставить короткое словечко въ ваши наблюденія; я буду иногда подражать тѣмъ чичероне, которые иногда не позволятъ слишкомъ восторженно погрузиться въ созерцаніе какой бы то ни было картины; какимъ-нибудь банальнымъ замѣчаніемъ они всегда сумѣютъ пробудить васъ отъ созерцательнаго восторга.

Во всякомъ случаѣ, я надѣюсь этимъ изданіемъ порадовать моихъ отечественныхъ друзей. Пусть видъ этихъ прекрасныхъ женскихъ лицъ прогонитъ съ ихъ чела ту печаль, на которую они теперь имѣютъ такое право. Ахъ, отчего не могу я предложить вамъ ничего реальнаго, какъ эти китайскія тѣни красоты! Отчего не могу открыть вамъ дверь радужной дѣйствительности! Нѣкогда я хотѣлъ сломать алебарды, которыми вамъ преграждали входъ въ сады наслажденій... Но рука была слаба, а носители алебардъ смѣялись и толкали въ грудь своими палками, и смѣлое, благородное сердце умолкло отъ стыда, если еще не отъ страха. Вы вздыхаете?

ТРАГЕДІИ.

Крессида.

(«Троилъ и Крессида»).

Для начала представляю здѣсь достопочтеннѣйшей публикѣ уважаемую дочь жреца Калхаса. Пандаръ былъ ей дядя; это ловкій сводникъ; впрочемъ, его посредничество оказалось бы почти излишнимъ. Троилъ, одинъ изъ сыновей многоплоднаго Пріама, былъ ея первымъ любовникомъ; она исполнила всѣ формальности, она поклялась ему въ вѣчной вѣрности, нарушила ее съ подобающимъ приличіемъ и прежде, чѣмъ отдаться Діомеду, произнесла чувствительный монологъ о слабости женскаго сердца. Подслушиватель Терситъ, всегда негалантно дающій вещамъ ихъ настоящія имена, зоветъ ее публичной женщиной. Но ему, въ концѣ концовъ, придется смягчить свои выраженія; ибо вѣдь можетъ случиться, что красавица, переходя отъ одного героя къ другому и все болѣе и болѣе ничтожному, достанется, наконецъ, и ему самому въ качествѣ милой любовницы.

Не безъ различныхъ причинъ выставилъ я у входа въ эту галлерею портретъ Крессиды. Право, не изъ-за ея добродѣтелей и не потому, что она представляетъ типъ обычнаго женскаго характера, оказываю я ей это преимущество передъ столькими прелестными и идеальными образами творчества Шекспира; нѣтъ, я открываю галлерею портретомъ этой двусмысленной дамы потому, что издавай я полное собраніе сочиненій нашего поэта, я тоже помѣстилъ бы пьесу, озаглавленную «Троилъ и Крессида», впереди всѣхъ другихъ. Стивенсъ, въ своемъ роскошномъ изданіи Шекспира, дѣлаетъ то же самое, не знаю почему; я, однако, сомнѣваюсь,

чтобы тѣ же самыя причины, на которыя я хочу теперь указать, были побудительными и для англійскаго издателя.

«Троилъ и Крессида»—единственная драма Шекспира, гдѣ онъ заставляетъ дѣйствовать тѣхъ же самыхъ героевъ, которыхъ избирали предметомъ своихъ драматическихъ произведеній и греческіе поэты, такъ что передъ нами весьма ясно обнаруживается отличіе пріема Шекспира по сравненію съ тѣми пріемами, которыми древніе поэты обрабатывали тотъ же самый матеріалъ. Между тѣмъ какъ классическіе поэты Греціи стремятся къ возвышенѣйшему просвѣтленію дѣйствительности и поднимаются до идеализаціи—нашъ современный трагикъ погружается болѣе въ глубину вещей; онъ раскапываетъ остроотточеннымъ духовнымъ заступомъ безмолвную почву явленій и обнажаетъ передъ нашими глазами сокрытые въ ней корни. Въ противоположность античнымъ трагикамъ, стремившимся, какъ и античные скульпторы, исключительно къ красотѣ и благородству и превозносившимъ форму на счетъ содержанія, Шекспиръ обращалъ главное свое вниманіе на правду и содержаніе; отсюда то мастерство характеристики, съ которымъ онъ часто, граница съ самой досадной карикатурой, снимаетъ съ героевъ ихъ блестящіе доспѣхи и заставляетъ являться въ самыхъ потѣшныхъ халатахъ. Вслѣдствіе этого критики, разбиравшіе «Троила и Крессиду» согласно принципамъ, которые Аристотель извлекъ изъ лучшихъ греческихъ драмъ, попадали въ самыя затруднительныя положенія, а иногда и въ забавнѣйшія ошибки. Какъ трагедія, эта пьеса была въ ихъ глазахъ недостаточно серьезна и патетична, такъ какъ въ ней все происходило такъ естественно, почти какъ у насъ; и герои поступали такъ же глупо, если не пошло, какъ и у насъ; и главный герой—ничтожество, и героиня—обыкновенная юбка, какихъ мы довольно встрѣчаемъ среди нашихъ самыхъ близкихъ знакомыхъ... Да и носители славнѣйшихъ именъ, знаменитости героической древности, напримѣръ, великій Пелидъ Ахиллъ, храбрый сынъ Фетиды,—какими жалкими являются они здѣсь! Съ другой стороны нельзя было признать пьесу и комедіей, такъ какъ въ ней широкимъ потокомъ лилась кровь, и достаточно возвышенно звучали тамъ длиннѣйшія рѣчи мудрости, какъ, напримѣръ, высказываемыя Одиссеемъ размышленія о необходимости авторитета, до настоящаго дня заслуживающія величайшаго сочувствія.

Нѣтъ, пьеса, въ которой обмѣниваются подобными рѣ-

чами, не можетъ быть комедіей, говорили критики, и еще менѣе могли они допустить, что жалкій бѣднякъ, который, подобно учителю гимнастики Масману, весьма мало смыслилъ въ латинскомъ и ровно ничего въ греческомъ, могъ оказаться достаточно дерзкимъ, чтобы заставить дѣйствовать знаменитыхъ классическихъ героевъ въ комедіи!

Нѣтъ, «Троилъ и Крессида» не есть ни комедія, ни трагедія въ обыкновенномъ смыслѣ; эта пьеса не принадлежитъ къ опредѣленному роду поэзіи, и еще менѣе можно измѣрять ее обыкновеннымъ масштабомъ; она самое своеобразное твореніе Шекспира. Мы можемъ только въ общемъ указать на ея высокое совершенство; для спеціальнаго обсужденія потребна намъ новая эстетика, которая еще не написана.

Если же я ставлю эту драму въ рубрику «трагедій», то этимъ я хочу заранѣе показать, насколько строго я отношусь къ такимъ названіямъ. Мой старый учитель піитики въ дюссельдорфской гимназіи однажды замѣтилъ весьма мѣтко: «Тѣ драматическія произведенія, въ которыхъ вѣетъ не веселый духъ Таліи, но скорбь Мельпомены, принадлежатъ къ области трагедіи».

Быть-можетъ, я носилъ въ умѣ это широкое опредѣленіе, когда попалъ на мысль помѣстить «Троила и Крессиду» въ разрядъ трагедій. И дѣйствительно, въ ней господствуетъ ликующая горечь, осмѣивающая весь міръ иронія, какую никогда не встрѣчаемъ мы въ произведеніяхъ комической музы. Въ этой пьесѣ несравненно болѣе выступаетъ на первый планъ богиня трагическая, только ей иногда приходитъ охота повеселиться и пошутить... И мы точно видимъ Мельпомену, танцующую канканъ на балу гризетокъ, съ нахальной улыбкой на блѣдныхъ губахъ и смертельной скорбью въ сердцѣ.

Кассандра.

(«Троилъ и Крессида»).

Здѣсь мы выставляемъ портретъ ясновидящей дочери Пріама. Она носитъ въ сердцѣ ужасное предщаго; она возвѣщаетъ паденіе Иліона, и въ когда Гекторъ вооружается, чтобы сразиться Пелидомъ, она молитъ и горько скорбитъ... въ умѣ кровь, струящуюся изъ раскрытых ранъ любимаго брата... Она молитъ и скор

Никто не слушаетъ ея совѣта, и такъ же безпомощно, какъ и весь ослѣпленный народъ, низвергается она въ бездну мрачной судьбы.

Прекрасной пророчицѣ Шекспиръ посвящаетъ мало словъ, да и то не особенно значительныхъ; у него она обыкновенная предсказательница бѣдствій, мечущаяся съ криками отчаянія по обреченному на гибель городу:

Дико взглядъ ея блуждаетъ,
Вѣтеръ кудри развѣваетъ,

какъ показываетъ здѣсь ея изображеніе.

Съ большей любовью воспѣлъ ее нашъ великій Шиллеръ въ одномъ изъ своихъ прекраснѣйшихъ стихотвореній. Здѣсь жалуется она пифійскому богу съ самыми захватывающими звуками скорби на несчастье, которое ниспослалъ тотъ своей жрицѣ... Мнѣ самому пришлось однажды декламировать на публичномъ экзаменѣ въ школѣ это стихотвореніе, и я запнулся на словахъ:

«И спасу-ль ихъ, открывая
Близкій ужасъ ихъ очамъ?
Лишь незнанье—жизнь прямая,
Знанье—смерть прямая намъ!»

Елена.

(«Троилъ и Крессида»).

Передъ вами прекрасная Елена, всю исторію которой я не могу вамъ разсказывать и разъяснять, потому что для этого мнѣ пришлось бы начать съ яйца Леды.

Ея нареченный отецъ назывался Тиндаръ, но ея дѣйствительнымъ тайнымъ родителемъ былъ богъ, оплодотворившій въ видѣ птицы ея мать, какъ это часто случалось въ древности. Рано была она отдана замужъ въ Спарту; но очень понятно, что при ея необычайной красотѣ она была тамъ скоро соблазнена и надѣлила рогами своего супруга, царя Менелая.

Милостивыя государыни, кто изъ васъ чувствуетъ себя совершенно чистой, пусть броситъ первый камень въ бѣдную сестру. Я не хочу этимъ сказать, что вполнѣ вѣрныхъ женъ не можетъ быть. Была же первая женщина, знаменитая Ева, образцомъ супружеской вѣрности. Безъ малѣйшей мысли объ измѣнѣ гуляла она рядомъ со своимъ супругомъ, знаменитымъ Адамомъ, который былъ въ то время единственнымъ мужчиной въ мірѣ и носилъ передникъ изъ фи-

говыхъ листьевъ. Только съ змѣемъ бесѣдовала она охотно, но и то исключительно изъ-за прекраснаго французскаго языка, который такимъ образомъ она усвапвала, какъ и вообще стремилась къ образованію. О вы, дочери Евы, прекрасный примѣръ оставила вамъ ваша прародительница!

Венера, безсмертная богиня всякихъ наслажденій, доставила принцу Парису расположеніе прекрасной Елены; онъ нарушилъ священный обычай гостепріимства и бѣжалъ со своей дорогой добычей въ Трою, надежный городъ... что и мы всѣ сдѣлали бы при такихъ обстоятельствахъ. Мы всѣ— и подъ этимъ словомъ я особенно разумѣю насъ, нѣмцевъ, такъ какъ мы ученѣе другихъ народовъ и съ дѣтства занимаемся пѣснями Гомера. Прекрасная Елена—наша первая возлюбленная, и уже въ дѣтскомъ возрастѣ, сидя на школьной скамьѣ и слушая учителя, объясняющаго намъ прекрасные греческіе стихи, въ которыхъ троянскіе старцы приходятъ въ восторгъ при видѣ Елены, — уже тогда слышимъ мы біеніе самыхъ сладкихъ чувствъ въ нашей юной, неопытной груди... Съ раскраснѣвшимися щеками и заикаясь, отвѣчаемъ мы на грамматическіе вопросы учителя... Позднѣе, когда мы становимся старше, дѣлаемся вполнѣ учеными и даже чародѣями и можемъ вызывать самого чорта, тогда мы начинаемъ требовать отъ служащаго намъ духа, чтобы онъ доставилъ намъ прекрасную Елену изъ Спарты. Я уже говорилъ однажды, что Іоганъ Фаустъ есть истинный представитель нѣмцевъ, народа, удовлетворяющаго свою жажду наслажденій въ наукѣ, а не въ жизни. Хотя этотъ знаменитый докторъ, нормальный нѣмецъ, въ концѣ концовъ, тоскуетъ и томится по чувственнымъ наслажденіямъ, но и тутъ онъ ищетъ предметъ удовлетворенія отнюдь не на цвѣтущихъ лугахъ дѣйствительности, но въ ученой плѣсени міра книгъ; и въ то время, какъ французскій или итальянскій чернокнижникъ потребовалъ бы отъ Мефистофеля красивѣйшую современную женщину, нѣмецкій Фаустъ желаетъ женщину, умершую уже нѣсколько тысячъ лѣтъ назадъ и улыбающуюся ему лишь чудной тѣнью съ древне-греческихъ пергаментовъ—Елену спартанскую! Какъ знаменательно характеризуетъ это требованіе самую коренную сущ
мецкаго народа!

Столь же скудно, какъ и Кассандрой, занялс
въ «Троилѣ и Крессидѣ» прекрасною Еленою.
ее выступающею рядомъ съ Парисомъ и обм
со старымъ сводникомъ Пандаромъ нѣсколько

орно веселыми фразами. Она подтрунивает надъ нимъ и, аконецъ, требуетъ, чтобы онъ спѣлъ своимъ старческимъ озлимымъ голосомъ любовную пѣсню. Но печальныя тѣни редчувствія, предвидѣніе страшнаго исхода омрачаютъ по ременамъ ея легкомысленное сердце; изъ самыхъ розовыхъ утокъ высовываютъ свои черныя головки змѣи, и она выаетъ свое душевное состояніе словами: «Пропой намъ пѣсню юбви... эта любовь погубитъ насъ всѣхъ. О, Купидонъ! Купидонъ! Купидонъ!»

Виргилія.

(«Коріоланъ»).

Это — жена Коріолана, робкая голубка, не отваживаюаяся даже ворковать въ присутствіи своего гордаго суруга. Когда онъ побѣдоносно возвращается съ поля битвы, все встрѣчаетъ его ликованьемъ, она смиренно опускаетъ ое лицо, и улыбающійся герой называетъ ее весьма остроно «мое милое молчаніе!» Въ этомъ молчаніи весь ея рактеръ; она безмолвна, какъ краснѣющая роза, какъ цѣмудренный перлъ, какъ мечтательная вечерняя звѣзда, къ восхищенное человѣческое сердце... это безмолвіе полое, драгоцѣнное, горячее, оно говоритъ болѣе всякаго краснорѣчія, болѣе всякаго риторическаго разглагольствованія. на стыдливо кроткая женщина и въ своей нѣжной прести представляетъ чистѣйшую противоположность своей екрови, римской волчицѣ Волумніи, которая нѣкогда вскорила волка Кая Марція своимъ желѣзнымъ молокомъ. Да, а женщина—настоящая матрона, и изъ ея патриціанихъ сосцовъ не всосалъ юный звѣренокъ ничего, кромѣ кой отваги, необузданнаго упорства и презрѣнія къ наду. Какъ герой, благодаря такимъ рано всосаннымъ добдѣтелямъ и порокамъ, пріобрѣтаетъ лавровый вѣнокъ авы, но зато лишается лучшей короны, гражданскаго бового вѣнка, и наконецъ, спускаясь до самаго страшго преступленія, до измѣны отечеству, позорно погибаетъ— тъ что показываетъ намъ Шекспиръ въ трагической амѣ, которая озаглавлена «Коріоланъ».

Вслѣдъ за трагедіей «Троилъ и Крессида», для которой ыпъ поэтъ запмствовалъ матеріалъ изъ героическаго пеода древней Греціи, я обращаюсь къ «Коріолану», поому что здѣсь мы видимъ, какъ умѣетъ онъ изображать имскую жизнь. Въ этой драмѣ онъ рисуетъ намъ партійую борьбу патриціевъ и плебеевъ въ древнемъ Римѣ.

Я не хочу прямо утверждать, что это изображеніе во всѣхъ своихъ частностяхъ согласуется съ лѣтописями римской исторіи; но сущность этой борьбы нашъ поэтъ понялъ и представилъ съ глубочайшею вѣрностью. Мы можемъ объ этомъ судить тѣмъ правильнѣе, что настоящее время представляетъ много явленій, подобныхъ тому мрачному раздору, который нѣкогда господствовалъ въ Римѣ между привилегированными патриціями и приниженными плебеями.

Иногда можно подумать, что Шекспиръ — современный нашъ поэтъ, живущій въ нынѣшнемъ Лондонѣ и желавшій представить подъ римскими масками теперешнихъ торіевъ и радикаловъ. Въ такомъ мнѣніи еще болѣе укрѣпляетъ насъ большое сходство, проявляющееся вообще между древними римлянами и нынѣшними англичанами и между государственными людьми обоихъ народовъ. Въ самомъ дѣлѣ, извѣстная антипоэтическая черствость, алчность, кровожадность, неутомимость, твердость характера столь же свойственны нынѣшнимъ англичанамъ, какъ и древнимъ римлянамъ, съ тою только разницей, что послѣдніе были несравненно болѣе земляными крысами, чѣмъ водяными; въ нелюбезности же, въ которой оба народа достигли высочайшей точки, они равны. У благороднаго класса обоихъ народовъ замѣчается изумительнѣйшее сродство. Англійскій, какъ и древне-римскій аристократъ,—патріотиченъ; любовь къ отечеству держитъ его связаннымъ самымъ тѣснымъ образомъ съ плебеями, несмотря на все различіе политическихъ правъ, и вслѣдствіе этихъ-то симпатическихъ узъ англійскіе аристократы и демократы, какъ нѣкогда въ Римѣ, составляютъ цѣлое, одинъ нераздѣльный народъ. Въ другихъ странахъ, гдѣ дворянинъ прикованъ болѣе къ личности государя, чѣмъ къ землѣ, или всецѣло отдается частнымъ интересамъ своего сословія, этого нѣтъ. Затѣмъ, у англійскаго дворянства, какъ нѣкогда у римскаго, мы находимъ стремленіе къ господству, какъ къ чему-то высшему, славнѣйшему и, косвеннымъ образомъ, такъ же прибыльнѣйшему; я говорю косвенно прибыльнѣйшему, ибо какъ нѣкогда въ Римѣ, такъ и теперь въ Англіи, управленіе высшими государственными должностями оплачивается только злоупотребляемымъ вліяніемъ и традиціонными поборами, слѣдовательно косвенно. Такія долж
вляютъ цѣль воспитанія юношества въ аристо
семьяхъ англичанъ, совершенно такъ же, ка
и у тѣхъ военное

юрѣчіе считаются лучшими вспомогательными средствами для будущаго господства. Какъ у римлянъ, такъ и у англичанъ традиція управленія и административной власти составляетъ наслѣдственную долю знатныхъ родовъ; и вслѣдствіе этого, быть-можетъ, англійскіе торіи будутъ столь же долго необходимы и столь же долго находиться у власти, какъ и сенаторскія фамиліи древняго Рима.

Но ничто не походитъ на теперешніе порядки Англіи въ какой степени, какъ то домогательство права голоса, которое изображено въ «Коріоланѣ». Съ какой затаенной злостью, съ какой язвительной ироніей выпрашиваетъ римскій торій, какъ милостыню, выборные голоса у добрыхъ гражданъ, которыхъ онъ въ душѣ такъ глубоко презираетъ, но согласіе которыхъ ему такъ необходимо, чтобы стать консуломъ! Разница только та, что большая часть англійскихъ лордовъ, получившая раны не въ битвахъ, а на охотахъ за лисицами, и лучше обученная своими матерями искусству приворяться,—что она не такъ ясно выставляетъ на показъ при нынѣшнихъ парламентскихъ выборахъ свою злость и чумленіе, какъ это дѣлалъ упрямый Коріоланъ.

Какъ всегда, Шекспиръ и въ этой драмѣ выказалъ высшее безпристрастіе. Здѣсь аристократъ правъ, когда онъ презираетъ своихъ плебейскихъ избирателей; ибо онъ чувствуетъ, что онъ былъ отважнѣе ихъ на войнѣ, а это считалось у римлянъ высшей доблестью. Но бѣдные избиратели, народъ, тоже правы, противясь ему вопреки этой доблести, потому что вѣдь онъ ясно высказалъ, что, ставъ консуломъ, уничтожитъ раздачу хлѣба. «А хлѣбъ — первое право народа».

Порція.

(«Юлій Цезарь»).

Главными причинами популярности Цезаря были великодушіе и щедрость его по отношенію къ народу. Народъ чтилъ въ немъ основателя тѣхъ же лучшихъ дней, которые ему предстояло переживать при преемникахъ Цезаря, императорахъ; ибо эти послѣдніе доставили народу его [illegible]ое право: они дали ему ежедневный хлѣбъ. Мы охотно [illegible]даемъ императорамъ кровавое своеволіе, съ которымъ [illegible]оступали по отношенію къ нѣсколькимъ сотнямъ па[illegible]нскихъ фамилій и осмѣивали ихъ привилегіи; мы [illegible]емъ въ нихъ, и съ благодарностью, разрушителей

того господства аристократіи, которое удѣляло народу скудную ленту за самую тяжкую службу; мы цѣнимъ ихъ, какъ спасителей, которые, принижая сильныхъ и возвышая слабыхъ, ввели гражданское равенство. Пусть патрицій Тацитъ, этотъ адвокатъ прошлаго, продолжаетъ описывать съ поэтическимъ ядомъ личные пороки и безумство цезарей; мы все же знаемъ о нихъ нѣчто лучшее: они кормили народъ.

Цезарь и есть тотъ человѣкъ, который ведетъ римскую аристократію къ паденію и подготовляетъ побѣду демократіи. Между тѣмъ, нѣкоторые древніе патриціи еще питаютъ въ сердцѣ духъ республиканства, они не могутъ еще переносить верховное господство единичной личности; они не могутъ жить тамъ, гдѣ одинъ человѣкъ поднимаетъ голову выше ихъ головъ, будь это даже великолѣпная голова какого-нибудь Юлія Цезаря,—и они точатъ свои кинжалы и убиваютъ его.

Демократія и монархизмъ не враждебны другъ другу, какъ ложно утверждаютъ въ наши дни. Лучшая демократія будетъ всегда та, гдѣ единая личность стоитъ во главѣ государства, какъ воплощеніе народной воли, какъ Богъ во главѣ правленія міромъ; подъ властью этого воплощенія народной воли, какъ подъ державой Бога, процвѣтаетъ самое устойчивое равенство людей, самая настоящая демократія. Аристократизмъ и республиканство также не враждебны другъ другу, и это мы видимъ самымъ яснымъ образомъ въ драмѣ «Юлій Цезарь», гдѣ именно въ самыхъ гордыхъ аристократахъ высказывается республиканскій духъ со своими самыми рѣзкими характерными чертами. У Кассія еще гораздо болѣе, чѣмъ у Брута, выступаютъ передъ нами эти характерныя черты. Мы уже давно высказываемъ замѣчаніе, что духъ республиканства состоитъ въ извѣстнаго рода ревности, нетерпящей ничего выше себя; въ извѣстной зависти карлика, которая не расположена ко всему возвышающемуся, которая не желала бы видѣть даже добродѣтель воплощенною въ одномъ человѣкѣ, боясь, что такой представитель добродѣтели могъ бы заставить почувствовать превосходство своей личности. Республ
этому до сихъ поръ — проповѣдующіе скромн
охотно видѣли бы въ людяхъ лишь жалкія
туры, которыя, выйдя вылѣпленными изъ
изъ рукъ Творца, должны воздержаться от
комѣрнаго желанія отличиться, отъ всяка

пскапія славы. Англійскіе республиканцы держались пѣ когда подобнаго принципа, пуританизма, и то же самое имѣло мѣсто у древне-римскихъ республиканцевъ; именно, они были стоиками. Принявъ это въ соображеніе, изумляешься, съ какимъ тонкимъ пониманіемъ Шекспиръ изобразилъ Кассія, именно въ его разговорахъ съ Брутомъ, когда онъ слышитъ, какъ народъ привѣтствуетъ восторженными кликами Цезаря, желая избрать его императоромъ:

«Не знаю я, каковъ твой взглядъ на жизнь,
Какъ на нее другіе смотрятъ люди.
Что до меня, я думаю, что лучше
Совсѣмъ не жить, чѣмъ жить и трепетать
Предъ существомъ такимъ же, какъ и я.
Мы родились свободными, какъ Цезарь;
Мы пищею такою же питались
И можемъ холодъ выносить, какъ онъ.
Я помню, разъ, въ день бурный и ненастный,
Когда кипѣлъ и волновался Тибръ,
Плеща волной о берега, мнѣ Цезарь
Сказалъ: «Ну, что, осмѣлишься-ль ты, Кассій,
Со мной прыгнуть въ бушующій потокъ
И переплыть къ той точкѣ?» О, клянусь,
Не раздѣвался, какъ былъ, поплылъ я
И звалъ его съ собой; поплылъ и онъ.
Потокъ ревѣлъ, мы съ нимъ боролись долго,
Съ усиліемъ сквозь волны пробивались
Противъ теченья, но на глубинѣ
Вдругъ Цезарь вскрикнулъ: «Кассій, помоги мнѣ!»
И какъ Эней, великій предокъ нашъ,
На плечахъ вынесъ стараго Анхиза
Изъ Трои, пламенемъ объятой, я
Изъ тибрскихъ волнъ спасъ Цезаря—и онъ
Сталъ божествомъ, а Кассій остается
Попрежнему ничтожнымъ существомъ
И спину гнетъ предъ Цезаремъ, когда
Тотъ головой кивнетъ ему небрежно.
Въ Испаніи страдалъ онъ лихорадкой;
Когда ея припадокъ наступалъ,
Я видѣлъ, какъ дрожалъ онъ, этотъ богъ,
Дрожалъ, въ лицѣ мѣняяся отъ страха;
Глаза, которыхъ взглядъ одинъ теперь
Внушаетъ всѣмъ благоговѣйный трепетъ,
Теряли блескъ; и онъ стоналъ и охалъ.
И языкомъ, котораго слова
Такъ жадно ловятъ римляне теперь,
Записывая ихъ и замѣчая,
Онъ лепеталъ: «Титиній, дай мнѣ пить!»

Цезарь самъ знаетъ того человѣка весьма хорошо и въ одномъ изъ разговоровъ съ Антоніемъ вырываются у него глубокомысленныя слова:

«. . . Я бы желалъ имѣть
Вокругъ себя людей безпечныхъ, тучныхъ,
Которые бы спали ночью. Кассій
Такъ худощавъ и голоденъ на видъ:
Онъ слишкомъ много думаетъ; опасны
Такіе люди...
. . . . . Когда-бъ онъ былъ
Потолще... Впрочемъ, я-то не боюсь.
Но если-бъ я способенъ былъ бояться,
То никого бы такъ не избѣгалъ,
Какъ Кассія. Читаетъ слишкомъ много!
Онъ наблюдателенъ и проникаетъ
Дѣла другихъ насквозь пытливымъ взоромъ;
Не любитъ зрѣлищъ, музыки не терпитъ,
Смѣется рѣдко, и его улыбка
Какъ будто бы насмѣшку выражаетъ
Надъ нимъ самимъ, презрѣніе къ уму,
Который до улыбки снизошелъ.
Такіе люди вѣчно неспокойны;
Они не терпятъ, если кто-нибудь
Стоитъ ихъ выше, потому—опасны».

Кассій—республиканецъ, и, какъ это часто встрѣчается у подобныхъ людей, у него болѣе склонности къ благородной дружбѣ съ мужчиной, чѣмъ къ нѣжной женской любви. Брутъ, напротивъ, жертвуетъ собой для республики не потому, что онъ по природѣ своей республиканецъ, но потому, что онъ герой добродѣтели и въ этомъ самопожертвованіи видитъ высшую задачу долга. Онъ воспріимчивъ ко всѣмъ нѣжнымъ чувствамъ, и мягкимъ своимъ сердцемъ преданъ своей женѣ, Порціи.

Порція, дочь Катона,—вполнѣ римлянка, но тѣмъ не менѣе одарена милой мягкостью и даже въ сильнѣйшихъ порывахъ своего героизма проявляетъ самую женственную душу и самую душевную женственность. Боязливыми глазами любви слѣдитъ она за всякою тѣнью, скользящею по лицу ея мужа и выдающею его тревожныя мысли. Она хочетъ знать, что его мучитъ, она хочетъ раздѣлить съ нимъ бремя тайны, гнетущей его душу... И когда, наконецъ, она ее узнаетъ, то остается все-таки женщиной, почти изнемогаетъ подъ тяжестью ужасныхъ опасеній, не можетъ ихъ скрыть и сама признается:

«Во мнѣ духъ мужа съ слабостію женской:
Какъ трудно тайну женщинамъ хранить!»

Клеопатра.

(«Антоній и Клеопатра»).

о знаменитая царица Египта, погубившая Антонія. нялъ очень хорошо, что эта женщина ведетъ его а погибель, онъ хочетъ избѣжать ея заколдован-ней...

«Мнѣ нужно прочь бѣжать отсюда».

бѣжитъ... но только для того, чтобы тѣмъ скорѣе ться обратно къ мяснымъ блюдамъ Египта, къ гарой нильской змѣѣ, какъ онъ ее называетъ... онъ снова валяется съ нею въ этой пышной тинѣ ріи, и тамъ, разсказываетъ Октавій, онъ—

Серебряный помостъ велѣлъ устроить
На площади; на этомъ возвышеньи
Они вдвоемъ сидѣли съ Клеопатрой,
Торжественно на тронахъ золотыхъ;
У ногъ же ихъ—Цезаріонъ, который
Слыветъ за сына моего отца,
А также весь приплодъ ихъ незаконный.
Онъ отдалъ ей Египетъ, объявилъ
Царицею ее самодержавной
И Сиріи, и Лидіи, и Кипра.
. . . . . .
. . . . . На площади для игръ
Онъ сыновей своихъ отъ Клеопатры
Провозгласилъ владыками царей.
Арменію, и Лидію Большую,
И Парфію онъ отдалъ Александру,
Сирія, Киликія, Финикія
Достались Птоломею. Клеопатра
Въ тотъ день была одѣта, какъ Изида,
И, говорятъ, она и прежде часто
Во образѣ богини появлялась.

гская волшебница владѣетъ не только его сердцемъ, ила также и его мозгъ и сбиваетъ съ толку даже нтъ полководца. Вмѣсто того, чтобы сразиться на дѣ онъ извѣдалъ столько побѣдъ, онъ даетъ битву ежномъ морѣ, гдѣ его храбрость можетъ принести пользы; и тамъ, куда капризная женщина захо-премѣнно послѣдовать за нимъ, она внезапно, въ рѣшительный моментъ битвы, обращается въ бѣг-стѣ со всѣми своими кораблями; а Антоній, «по-растному селезню» съ распростертыми крыльями— летитъ вслѣдъ за ней, оставивъ на произволъ честь, и счастье. Но не только вслѣдствіе жен-

скихъ капризовъ Клеопатры претерпѣваетъ несчастный герой позорнѣйшее пораженіе; впослѣдствіи она устраиваетъ ему даже самую черную измѣну и послѣ тайнаго соглашенія съ Октавіемъ передаетъ свой флотъ непріятелю. Она обманываетъ его самымъ низкимъ образомъ, чтобы въ гибели его счастья спасти свое собственное имущество, или даже выудить себѣ еще бо́льшія выгоды... Она доводитъ его до отчаянія и смерти коварствомъ и ложью... И однако же до послѣдняго мгновенія онъ любитъ ее всѣмъ сердцемъ; мало того—послѣ всякой ея измѣны его любовь возгорается еще пламеннѣй. Конечно, онъ каждый разъ проклинаетъ всѣ ея прежнія козни, онъ знаетъ всѣ ея прегрѣшенія и въ самыхъ грубыхъ ругательствахъ даетъ себѣ просторъ его пониманіе этой женщины, и онъ говоритъ ей самыя горькія истины:

« . . . . . Истаскана была
Ты прежде, чѣмъ я встрѣтился съ тобою.
Зачѣмъ свое супружеское ложе
Оставилъ я несмятымъ? Для чего
Лишилъ себя законнаго потомства,
И женщиной изъ женщинъ пренебрегъ?
Затѣмъ ли, чтобъ обманутымъ мнѣ быть
Царицей, что́ не брезгаетъ рабами?
. . . . . .
. . . Всегда была ты лицемѣрка.
Но если мы въ распутствѣ закоснѣли,
То горе намъ: въ премудрости своей,
Тогда глаза намъ боги ослѣпляютъ,
Нашъ здравый смыслъ ввергаютъ въ нашу грязь
И къ собственнымъ порокамъ обожанье
Внушаютъ намъ, надъ нами издѣваясь,
Межъ тѣмъ какъ мы торжественно идемъ
Къ погибели...
. . . . . .
Я взялъ тебя объѣдкомъ на столѣ
У Цезаря-отца, или вѣрнѣе,
Была ты ужъ остынувшимъ кускомъ
Помпеевымъ, не говоря о прочихъ
Твоихъ грѣхахъ, не вписанныхъ молвой,
Которымъ ты безумно предавалась...»

По подобно копью Ахилла, которое могло залѣчивать наносимыя имъ раны, уста влюбленнаго могутъ только чевать поцѣлуями смертельные уколы, которыми слово ранило сердце любимой женщины. И по низости, совершенной старою пильскою змѣей нію къ римскому волку, и послѣ каждой бран торою онъ разражается по этому поводу, от

обнимаются другъ съ другомъ; даже умирая, запечатлѣваетъ онъ на ея устахъ, послѣ столькихъ поцѣлуевъ, еще послѣдній поцѣлуй...

Но и она, египетская змѣя, какъ любитъ она своего римскаго волка! Всѣ ея измѣны суть только внѣшнія извиванья злой змѣиной натуры, она ихъ дѣлаетъ скорѣе механически, по прирожденной или усвоенной привычкѣ накостливости; но въ глубинѣ ея души живетъ неизмѣнная любовь къ Антонію, она сама не знаетъ, что эта любовь такъ сильна, она иногда думаетъ, что можетъ превозмочь эту любовь или даже играть ею, но она заблуждается, и это заблужденіе становится ей впервые совершенно яснымъ въ ту минуту, когда она навсегда теряетъ любимаго человѣка, и ея горе вырывается въ возвышенныхъ словахъ:

«Мнѣ снилось, что былъ нѣкій императоръ,
По имени Антоній. О, когда бы
Приснился мнѣ еще подобный сонъ,
Чтобъ увидать такого человѣка!
. . . . . .
Его лицо на небо походило:
Сіяли тамъ и солнце, и луна,
Бросая свѣтъ на маленькое О,
Которое землею называютъ.
. . . . . .
. . . . . Онъ ногою
Перешагнулъ чрезъ океанъ, рукою,
Вверхъ поднятой, увѣнчивалъ онъ міръ,
А въ голосѣ его соединялась
Вся музыка небесныхъ сферъ, когда
Къ своимъ друзьямъ онъ съ рѣчью обращался;
Когда же онъ желалъ поколебать
Вселенную, тогда, подобно грому,
Онъ грохоталъ. Онъ въ щедрости своей
Не зналъ зимы, всегда была въ ней осень
Обильная: чѣмъ больше жали въ ней,
Тѣмъ болѣе тамъ жатва возрастала.
Среди утѣхъ, онъ, какъ дельфинъ, игрывалъ
Всегда наверхъ, играя той стихіей,
Въ которой жилъ; слугами онъ имѣлъ
Властителей въ вѣнцахъ большихъ и малыхъ,
И изъ его кармана острова
И царства, какъ монета, высыпались.

Эта Клеопатра женщина. Она любитъ и измѣняетъ одновременно. Ошибочно думать, что женщины, когда онѣ намъ измѣняютъ, перестали также и любить насъ. Онѣ слѣдуютъ только своей прирожденной натурѣ, и если и не хотятъ

вполнѣ осушить запретный кубокъ, то все-таки имъ хочется иногда немножко отвѣдать изъ него, полизать у краевъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, попробовать, какой вкусъ имѣетъ ядъ. Послѣ Шекспира, въ этой трагедіи, никто не изобразилъ этого явленія такъ прекрасно, какъ нашъ старый аббатъ Прево въ своемъ романѣ «Манонъ Леско». Вдохновеніе величайшаго поэта здѣсь повсюду согласуется съ трезвымъ наблюденіемъ холоднѣйшаго прозаика.

Да, эта Клеопатра — женщина, въ самомъ прелестномъ и самомъ проклятомъ значеніи этого слова! Она напоминаетъ мнѣ выраженіе Лессинга: «Творя женщину, Богъ взялъ слишкомъ нѣжную глину!» Чрезмѣрная нѣжность его матеріала рѣдко уживается съ требованіями жизни. Это твореніе слишкомъ хорошо и слишкомъ дурно для этого міра, самыя милыя преимущества служатъ здѣсь причиной самыхъ непріятныхъ порочностей. Съ восхитительною правдивостью изображаетъ Шекспиръ, тотчасъ же при появленіи Клеопатры, ея непостоянный, вѣтреный, капризный духъ, который безполезно волнуется въ головѣ прекрасной царицы, нерѣдко бьетъ фонтаномъ въ формѣ самыхъ рискованныхъ вопросовъ и вожделѣній, и на который, быть-можетъ, слѣдуетъ смотрѣть, какъ на основную причину всѣхъ ея поступковъ. Ничто не характеристично такъ, какъ пятая сцена перваго акта, гдѣ она требуетъ отъ своей служительницы дать ей выпить мандрагоры, чтобы этотъ усыпляющій напитокъ наполнилъ ей то время, когда отсутствуетъ Антоній. Затѣмъ бѣсъ побуждаетъ ее позвать своего кастрата Мадріана. Онъ вѣрноподданнически спрашиваетъ, что̀ угодно его повелительницѣ? «Я не хочу слушать твоего пѣнія,—отвѣчаетъ она:—ибо теперь мнѣ не нравится ничто, свойственное евнуху—но скажи мнѣ

— Ты любить
Способенъ ли?

Мардіанъ.

Способенъ.

Клеопатра.

Въ самомъ дѣлѣ?

Мардіанъ.

Не въ дѣлѣ, нѣтъ; не въ состояньи сдѣлать
Я ничего, что было-бъ непристойно;
Но у меня есть бѣшеныя страсти:
Я думаю порой о томъ, что̀ Марсъ
Продѣлывалъ съ Венерой.

Клеопатра.

Харміана,

Гдѣ онъ теперь, по твоему расчету?
Какъ думаешь: стоитъ онъ, или ходитъ,
Или сидитъ, иль ѣдетъ на конѣ?
Счастливый конь: Антонія онъ носитъ!
Конь, будь ретивъ,—извѣстно ли тебѣ,
Кто твой сѣдокъ? Атласъ, держащій землю,
Рука и мечъ людского рода. Онъ
Не вспомнилъ ли теперь о нильской змѣйкѣ?
(Такъ онъ зоветъ меня)».

Если мнѣ слѣдуетъ высказать всю мою мысль цѣликомъ, не боясь несправедливыхъ обвиненій въ диффаматорствѣ, то я долженъ по чести сознаться: это безпорядочное чувствованіе и мышленіе Клеопатры, составляющее слѣдствіе безпорядочнаго, праздnаго и безпокойнаго образа жизни, напоминаетъ мнѣ извѣстный классъ расточительныхъ женъ, громадные расходы которыхъ покрываются внѣбрачною щедростью и которыя своихъ законныхъ супруговъ очень часто счастливятъ любовью и вѣрностью, нерѣдко и одною любовью, но постоянно тиранятъ сумасбродными капризами. И была ли она въ сущности чѣмъ-нибудь инымъ, эта Клеопатра, которая, конечно, никогда не могла бы оплатить свою неслыханную роскошь египетскими государственными доходами, а отъ своего римскаго содержателя Антонія получала въ подарки награбленныя богатства цѣлыхъ провинцій и была царицей - содержанкой въ собственномъ смыслѣ слова!

Въ возбужденномъ, измѣнчивомъ, составленномъ только изъ крайностей, гнетуще удушливомъ характерѣ Клеопатры, сверкаетъ, какъ молнія, чувственно дикое, желтое, какъ сѣра, остроуміе, которое болѣе пугаетъ насъ, чѣмъ веселитъ. Плутархъ намъ даетъ понятіе объ этомъ остроуміи, выражающемся больше въ дѣйствіяхъ, чѣмъ въ словахъ, и уже въ школѣ смѣялся я отъ всей души надъ одураченнымъ Антоніемъ, который поѣхалъ со своей царственной возлюбленной на рыбную ловлю, но вытаскивалъ на удочкѣ исключительно соленую рыбу; потому что хитрая египтянка тайно снарядила множество водолазовъ, которые подъ водою каждый разъ насаживали на крючкѣ влюбленнаго римлянина соленую рыбу. Конечно, нашъ учитель дѣлалъ при этомъ анекдотѣ весьма серьезную мину и немало порицалъ преступное своеволіе, съ которымъ царица, для устройства упомянутой шутки, ставила на карту жизнь своихъ подданныхъ, этихъ бѣдныхъ водолазовъ; вообще нашъ учитель былъ не изъ друзей Клеопатры и весьма настойчиво ук

зывалъ намъ на то, какъ изъ-за этой женщины Антоній испортилъ всю свою государственную карьеру, запутался въ домашнихъ непріятностяхъ и, наконецъ, совершенно погибъ.

Да, мой старый учитель былъ правъ; крайне опасно вступать въ близкія сношенія съ такой особой, какъ Клеопатра. Герой можетъ черезъ это погибнуть,—но именно только герой. Милой же посредственности здѣсь не грозитъ, какъ и нигдѣ, никакая опасность.

Какъ характеръ Клеопатры, такъ и положеніе ея въ высшей степени остроумно. Эта капризная, сладострастная, вѣтреная, лихорадочно кокетливая женщина, эта античная парижанка, эта богиня жизни—фиглярствуетъ и владычествуетъ въ Египтѣ, въ безмолвно неподвижной странѣ смерти... Вы вѣдь хорошо его знаете, этотъ Египетъ, этотъ таинственный Мизраимъ, эту узкую долину Нила, имѣющую видъ гроба... Въ высокомъ тростникѣ плачетъ крокодилъ или кинутое дитя откровенія... Сложенные изъ скалъ храмы съ колоссальными колоннами, съ прислоненными къ нимъ священными изображеніями звѣрей, безобразно пестро размалеванными... У воротъ киваетъ головою монахъ Изиды въ исписанной іероглифами шапкѣ... Въ роскошныхъ виллахъ, муміи совершаютъ свою сіесту, и позолоченныя маски защищаютъ ихъ отъ роевъ насѣкомыхъ тлѣнія... Какъ нѣмыя мысли, стоятъ тамъ стройные обелиски и неуклюжія пирамиды... На заднемъ планѣ Лунныя горы Эоіопіи, скрывающія истоки Нила... Повсюду смерть, камень и тайна... И надъ этою страной царила прекрасная Клеопатра!

Какъ остроумны боги!

Лавинія.

(*«Титъ Андроникъ»*).

Въ «Юліи Цезарѣ» мы видимъ послѣднія содроганія республиканскаго духа, тщетно сопротивляющагося возникновенію монархіи; республика пережила самое себя, и Брутъ съ Кассіемъ могутъ убить только человѣка, впервые стремящагося къ царской коронѣ; но они отнюдь не въ
ніи уничтожить монархію, которая уже глубоко
въ потребностяхъ времени. Въ «Антоніи и Клеоп
видимъ, какъ вмѣсто одного павшаго цезаря, три
заря протягиваютъ смѣлыя руки къ владычест
ромъ; принципіальный вопросъ рѣшенъ, и вос

между этими тріумвирами борьба есть только вопросъ личный: кому быть императоромъ, владыкой надъ всѣми землями и народами? Трагедія, озаглавленная «Титъ Андроникъ», показываетъ намъ, что и это неограниченное единодержавіе въ римскомъ государствѣ должно было подчиниться закону всѣхъ земныхъ явленій, именно, придти въ разложеніе, и ничто не представляетъ такого отвратительнаго зрѣлища, какъ тѣ позднѣйшіе цезари, которые присоединили къ безумству и преступленіямъ Нероновъ и Калигулъ еще самую легкомысленную слабость. У этихъ Нероновъ и Калигулъ, на высотѣ ихъ всемогущества, дѣлалось головокруженіе; воображая себя вознесенными надъ всѣмъ человѣчествомъ, они переставали быть людьми; считая себя самихъ за боговъ, они дѣлались безбожниками; но именно вслѣдствіе изумленія передъ ихъ чудовищностью, едва ли мы можемъ судить ихъ по разумному масштабу. Напротивъ, позднѣйшіе цезари—предметъ скорѣе нашего соболѣзнованія, нашего недовольства, нашего отвращенія; имъ недостаетъ языческаго самобоготворенія, опьянѣнья собственнымъ величіемъ, своею ужасающей безответственностью... Они—христіански сокрушенные люди, и черный духовникъ подѣйствовалъ рѣчами на ихъ совѣсть, и они чувствуютъ теперь, что они не болѣе, какъ жалкіе черви, что они зависятъ отъ милости болѣе высокаго божества, и что впослѣдствіи ихъ будутъ варить и жарить въ аду за ихъ земныя прегрѣшенія.

Хотя въ «Титѣ Андроникѣ» еще присутствуетъ внѣшній отпечатокъ язычества, но въ этой пьесѣ сказывается уже характеръ позднѣйшей христіанской эпохи, а моральная сторона во всѣхъ нравственныхъ и политическихъ дѣлахъ уже совершенно византійская. Эта пьеса принадлежитъ, безъ сомнѣнія, къ самымъ раннимъ твореніямъ Шекспира, хотя многіе критики считаютъ его авторство здѣсь спорнымъ; въ ней господствуютъ та безпощадность, то рѣзкое пристрастіе къ безобразному, та титаническая вражда съ небесными силами, какія мы обыкновенно встрѣчаемъ въ первыхъ произведеніяхъ величайшихъ поэтовъ. Герой, въ противоположность всей его окружающей деморализованной средѣ, истинный римлянинъ; остатокъ стараго, жесткаго періода. Существовали ли тогда еще подобные люди? Возможно; вѣдь природа любитъ сохранять хоть по одному экземпляру изъ всѣхъ существъ, породы которыхъ исчезаетъ или преобразовывается, будь это даже окаменѣлости, нахо-

димыя обыкновенно нами на вершинахъ горъ. Титъ Андроникъ есть такой окаменѣлый римлянинъ, и его ископаемая добродѣтель дѣйствительно рѣдкость въ эпоху позднѣйшихъ цезарей.

Опозореніе и изуродованіе его дочери, Лавиніи, принадлежитъ къ ужаснѣйшимъ сценамъ, какія только встрѣчаются у авторовъ. Исторія Филомелы въ «Превращеніяхъ» Овидія далеко не такая страшная, такъ какъ у несчастной римлянки отрублены даже руки, чтобы она не могла выдать виновника возмутительнѣйшаго преступленія. Какъ отецъ своимъ непоколебимымъ мужествомъ, такъ дочь своимъ высокимъ женскимъ достоинствомъ—напоминаютъ болѣе нравственное прошлое; ее страшитъ не смерть, а обезчещеніе, и трогательны цѣломудренныя слова, которыми она умоляетъ о пощадѣ своего врага, царицу Тамору, когда сыновья этой послѣдней хотятъ запятнать ея тѣло:

«Молю
О скорой смерти, да еще о томъ,
Что скромность мнѣ назвать не позволяетъ:
Не допусти ругаться надо мной!
Забрось меня въ какую хочешь яму,
Чтобъ глазъ людской меня не увидалъ—
И ты окажешь мнѣ благодѣянье».

Этой дѣвственной чистотой Лавинія представляетъ по[лн]ую противоположность упомянутой царицѣ Таморѣ; здѣ[сь] какъ и въ большинствѣ своихъ драмъ, Шекспиръ проти[во]поставляетъ другъ другу двѣ совершенно различныхъ по духу женскихъ личности, и этимъ контрастомъ дѣлаетъ намъ наглядными ихъ характеры. Это мы видѣли уже въ «Антоніи и Клеопатрѣ», гдѣ рядомъ съ чистой, холодной нравственной, архипрозаической и домовитой Октавіей выступаетъ тѣмъ болѣе пластично наша желтая, необуздан[ная], тщеславная и похотливая египтянка.

Но и эта Тамора—прекрасная фигура, и мнѣ думается что несправедливо поступилъ англійскій граверъ, не помѣстивъ ея портрета въ нашей галлереѣ шекспировскихъ женщинъ. Это очень красивая, величественная женщина, обаятельно царственная личность, со знаками падшей божественности на челѣ, съ глазами, полными всепожир[ающей] дострастія, роскошно развратная, алчущая кр[овей]. Съ обычною своею дальнозоркою кротостью, [Шекспиръ] уже въ первой сценѣ, гдѣ появляется Там[ора], оправдываетъ всѣ гнусности, которыя она с[овершитъ] *слѣдствіи* по отношенію къ Титу Андронику

римлянинъ, но тронутый ея скорбными материнльбами, равнодушно приказываетъ казнить какъ ъ ея глазами ея любимаго сына; и вотъ, какъ на почуяла въ заискивающей благосклонности моператора проблескъ надежды на будущую месть, бъ срываются ликующія мрачныя слова:

«О, я вамъ скоро покажу, что значитъ,
На улицѣ колѣни преклонивъ,
Молить о милосердіи...»

ько оправдывается ея жестокость перенесеннымъ комъ мученій, настолько же является облагорожен-являющеюся въ немъ романтическою поэзіею то безаспутство, съ которымъ она отдается даже отвраму мавру. Да, къ захватывающе сладкимъ, волшебртинамъ романтической поэзіи принадлежитъ сцена, ремя охоты царица Тамора, бросивъ свою свиту, въ лѣсу совершенно одна, съ возлюбленнымъ мав-

«О чемъ грустишь ты, милый Ааронъ,
Когда вокругъ все радостію дышитъ?
Какъ весело щебечутъ пташки въ чащѣ,
Подъ деревомъ раскинулась змѣя,
Блаженствуя на солнцѣ золотистомъ,
И отъ вѣтвей, колеблемыхъ прохладой,
На дернъ ложится сѣтчатая тѣнь!
Пойдемъ туда, въ счастливый полумракъ!
Прислушайся, какъ рѣзкій звукъ роговъ
И лай собакъ въ пространствѣ отдаются;
Охота здѣсь двоится передъ нами.
Садись ко мнѣ—и будешь звукамъ травли
Внимать въ тиши, мой Ааронъ; а тамъ,
Предавшися на нѣсколько мгновеній
Восторгамъ тѣмъ, какими наслаждался
Съ Дидоною въ пещерѣ бѣглый вождь,
Въ объятіяхъ другъ друга мы уснемъ
Подъ лай собакъ и громкій звукъ роговъ,
Какъ подъ сонливые напѣвы нянь».

то время, какъ глаза прекрасной царицы мечутъ юострастья и играютъ по черной фигурѣ мавра, манящимъ свѣточамъ, подобнѣ лижущимъ языкамъ —любовникъ думаетъ о вещахъ гораздо болѣе важвыполненіи самыхъ позорныхъ интригъ, и его редставляетъ самую рѣзкую противоположность поъ словамъ Таморы.

Констанца.

(«Король Джонъ»).

Это было 29 августа 1827 года по Рождествѣ Христовѣ, когда я, въ берлинскомъ театрѣ, на первомъ представленіи одной новой трагедіи г. Э. Раупаха постепенно заснулъ.

Для образованной публики, не посѣщающей театра и знакомой только съ литературой въ собственномъ смыслѣ этого слова, я долженъ замѣтить, что упомянутый г. Раупахъ—человѣкъ весьма полезный, поставщикъ трагедій и комедій, снабжающій ежемѣсячно берлинскую сцену новымъ шедевромъ. Берлинская сцена—прекрасное учрежденіе, особенно полезное для гегелевскихъ философовъ, которые подъ вечеръ, послѣ тяжелаго трудового дня, хотятъ отдохнуть отъ умственной работы. Здѣсь духъ оправляется еще гораздо натуральнѣе, чѣмъ у Висоцкаго. Идешь въ театръ, лѣниво вытягиваешься на бархатной скамейкѣ, лорнируешь глаза твоихъ сосѣдокъ или ножки только-что вышедшей на сцену актрисы, и если шельмы актеры не слишкомъ громко кричатъ, спокойно засыпаешь, какъ это я дѣйствительно сдѣлалъ 29 августа 1827 года по Рождествѣ Христовѣ.

Когда я проснулся, все вокругъ меня было темно, и при свѣтѣ тускло мерцавшей лампы я увидѣлъ, что нахожусь совершенно одинъ въ пустомъ театрѣ. Я рѣшилъ тутъ же провести остальную часть ночи, старался снова спокойно заснуть, но это мнѣ удалось не такъ хорошо, какъ нѣ[illegible] сколько часовъ тому назадъ, когда въ мой носъ проникалъ [illegible]ъ снотворный ароматъ раупаховскихъ стиховъ; безпокоилъ [illegible]ъ меня также довольно сильно шорохъ и писк мышей. И [illegible] далеко отъ оркестра скреблась цѣлая мышиная колонія, [illegible] такъ какъ я способенъ понимать не только раупаховск[illegible] стихи, но и языкъ всѣхъ другихъ животныхъ, то я не[illegible] вольно услышалъ, что говорили эти мыши. Онѣ говорили [illegible] предметахъ, которые всего болѣе должны интересовать [illegible]ь мыслящее существо: о конечныхъ причинахъ всѣхъ явле[illegible] ній, о сущности вещей an und für sich, о судьбѣ и сво[illegible] бодѣ воли, о великой раупаховской трагедіи, котора[illegible]я только-что, со всѣми возможными ужасами, развернулась, развилась и завершилась передъ ихъ собственными глазами.

— Вы, молодые люди,— медленно говорила старая мышь:— вы видѣли только одну пьесу или только немного такихъ пьесъ; я же старикъ, и много пережилъ ихъ, и всѣ наблюдалъ со вниманіемъ. И пришелъ я къ тому заключенію

что, по существу, онѣ всѣ похожи другъ на друга, что онѣ суть только варіаціи почти на одну и ту же тему, что иногда случаются совершенно одинаковыя экспозиціи, усложненія и катастрофы. Это всегда одни и тѣ же люди и однѣ и тѣ же страсти, только мѣняющіе костюмы и обороты рѣчи. Все тѣ же побудительныя причины дѣйствій—любовь, или ненависть, или честолюбіе, или ревность, носитъ ли герой римскую тогу или древне-германскія латы, чалму или войлочную шляпу, античенъ или романтиченъ его образъ дѣйствій, говоритъ ли онъ просто или цвѣтисто, плохими ямбами или еще болѣе плохими трохеями. Вся исторія человѣчества, которую такъ любятъ раздѣлить по пьесамъ, актамъ и явленіямъ, все же постоянно одна и та же исторія; это лишь замаскированное повтореніе однихъ и тѣхъ же характеровъ и событій, органическій круговоротъ, постоянно начинающійся съ начала; и разъ вы это замѣтили, васъ ужъ болѣе не возмущаетъ злое, не слишкомъ много радуетъ и доброе, вы смѣетесь надъ глупостью героевъ, которые жертвуютъ собой для облагороживанія и осчастливливанія человѣчества; вы забавляетесь съ мудрымъ хладнокровіемъ.

Хихикающій голосокъ, повидимому, маленькаго остроносого мышонка, поспѣшно возразилъ:

— И я тоже дѣлалъ наблюденія, и не съ одной только точки зрѣнія; я бѣгалъ повсюду, не зная устали, оставлялъ партеръ и разсматривалъ происходящее за кулисами, и тутъ сдѣлалъ удивительныя открытія. Этотъ герой, которымъ вы только-что восхищались—вовсе не герой; я видѣлъ, какъ одинъ молодой буянъ назвалъ его пьянымъ негодяемъ и далъ ему нѣсколько пинковъ ногой, которые тотъ спокойно перенесъ. Эта добродѣтельная принцесса, повидимому, принесшая себя въ жертву ради своей добродѣтели—вовсе не принцесса и не добродѣтельна, я видѣлъ, какъ она брала румяна изъ фарфоровой баночки, намазала ими свои щеки, и это было принято публикой за краску стыда; подъ конецъ она даже бросилась, зѣвая, въ объятья гвардейскаго поручика, увѣрявшаго ее честью, что она найдетъ въ его комнатѣ хорошій салатъ изъ селедки и стаканъ пунша. То, что вы приняли за громъ и молнію—не что иное, какъ катанье желѣзнопрокатнаго вала и сожженіе нѣсколькихъ лотовъ толченаго колофонія. А тотъ толстый, почтенный бюргеръ, который казался олицетвореніемъ безкорыстія и великодушія, онъ даже весьма сребролюбиво спорилъ съ однимъ тонень-

кимъ господиномъ, котораго онъ величалъ генералъ-интендантомъ и у котораго требовалъ нѣсколько талеровъ прибавки. Да, я все видѣлъ моими собственными глазами и слышалъ моими собственными ушами; все великое и благородное, что передъ нами здѣсь совершилось, все есть ложь и обманъ; корыстолюбіе и эгоизмъ суть тайныя пружины всѣхъ дѣйствій и разумное существо не позволитъ себя обмануть кажущимся.

Но и противъ этихъ словъ раздался охающій плаксивый голосъ, который казался мнѣ почти знакомымъ, хотя я еще не зналъ, принадлежитъ ли онъ мыши мужского или женскаго рода. Онъ началъ съ жалобы на фривольность нашего вѣка, сѣтовалъ на безвѣріе и скептицизмъ и много увѣрялъ о своей любви вообще.

— Я люблю васъ,—плаксиво говорилъ онъ:—и я говорю вамъ истину. Истина же открылась мнѣ чрезъ особую благодать въ священный часъ. Я тоже бѣгалъ повсюду, чтобы найти разгадку основныхъ причинъ событій пестрыхъ, происходившихъ на этой сценѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, отыскать и крошку хлѣба для утоленія моего тѣлеснаго голода, ибо я люблю васъ. Тутъ я внезапно открылъ довольно просторное отверстіе, или скорѣе, родъ ящика, гдѣ согнувшись сидѣлъ на корточкахъ худой, сѣденькій человѣчекъ, держа въ рукахъ свертокъ бумаги, и спокойно произносилъ тихимъ, монотоннымъ голосомъ себѣ подъ носъ всѣ тѣ рѣчи, которыя декламировались наверху, на сценѣ, такъ громко и страстно. Мистическая дрожь пробѣжала по моей шкуркѣ: несмотря на мое ничтожество, мнѣ, однако, дарована милость узрѣть всесокровеннѣйшее, я находился въ блаженной близости того таинственнаго чистаго духа, который своей волею управляетъ тѣлеснымъ міромъ, своимъ словомъ творитъ его, словомъ призываетъ его къ жизни, словомъ его уничтожаетъ; ибо я тутъ увидѣлъ, что герои на сценѣ, которымъ я такъ дивился еще незадолго передъ тѣмъ, только тогда говорили съ увѣренностью, когда съ полной вѣрой повторяли его слова, и что, напротивъ, того они боязливо бормотали и заикались, чуть только гордо удалялись отъ него и не слышали его голоса; всѣ были, видѣлъ я, зависящими отъ него твореніями, он одинъ былъ совершенно самостоятельнымъ въ своемъ таинственномъ ящикѣ. Съ каждой стороны этого ящика пылали таинственныя лампы, звучали скрипки и флейты, вокруг него лились свѣтъ и музыка, онъ плавалъ въ гармоніи лучей и въ лучахъ гармоніи...

Но эта рѣчь подъ конецъ стала такимъ гнусливымъ и плаксивымъ шопотомъ, что я изъ нея могъ понять весьма мало; только по временамъ слышалъ я слова: «Да буду я спасенъ отъ кошекъ и мышеловокъ... Да буду имѣть ежедневно мои насущныя крохи хлѣба... я люблю васъ...»

Разсказомъ объ этомъ снѣ я хотѣлъ сообщить мои мысли и взгляды на различныя философскія точки зрѣнія, съ которыхъ обыкновенно обсуждаютъ всемірную исторію, и вмѣстѣ съ тѣмъ пояснить, почему я не нагрузилъ этихъ легкихъ страницъ никакою философіей англійской исторіи.

Да я и вообще не хочу догматично комментировать тѣ драматическія произведенія, въ которыхъ Шекспиръ прославилъ великія событія англійской исторіи; моя цѣль—только украсить нѣсколькими словесными арабесками тѣ образы женщинъ, которые цвѣтутъ въ его произведеніяхъ. Такъ какъ въ этихъ англійскихъ историческихъ драмахъ женщины отнюдь не играютъ главныхъ ролей, и поэтъ выводитъ ихъ не для того, чтобы, какъ и въ другихъ пьесахъ, представлять женскіе образы и характеры, а скорѣе потому, что изображаемое историческое событіе требовало ихъ вмѣшательства, то и я буду говорить о нихъ какъ можно короче.

Констанца начинаетъ этотъ рядъ, и притомъ—скорбными движеніями. Какъ Mater Dolorosa несетъ она на рукахъ свое дитя. Бѣдное дитя, которымъ искупается все, чѣмъ прегрѣшили его близкіе... На берлинской сценѣ я видѣлъ однажды эту печальную королеву, отлично представленную тогдашнею г-жею Штихъ. Менѣе блестяща была добрая Марія-Луиза, во время нашествія игравшая на французскомъ придворномъ театрѣ королеву Констанцу. Но до послѣдней степени была жалка въ этой роли нѣкая madame Caroline, которая нѣсколько лѣтъ тому назадъ подвизалась въ провинціи, особенно въ Вандсѣ; въ ней не было недостатка ни въ талантѣ, ни въ страсти, но у ней былъ слишкомъ толстый животъ, что всегда вредитъ актрисѣ, когда ей приходится играть героическую королеву-вдову.

Леди Перси.

(«Король Генрихъ IV»).

Я воображалъ себѣ ея лицо и вообще ея фигуру менѣе мясистыми, чѣмъ они нарисованы здѣсь. Но, быть-можетъ, рѣзкія черты и стройная талія, которыя слышишь въ ея

рѣчахъ и которыя открываютъ ея духовную физіономію, составляютъ тѣмъ болѣе интересный контрастъ съ ея округленными внѣшними формами. Она весела, сердечна и здорова тѣломъ и душою. Принцъ Генрихъ хотѣлъ бы сдѣлать ея милый образъ для насъ непріятнымъ, и вотъ онъ пародируетъ ее и ея Перси:

«Я еще не дошелъ до настроенія Перси, который приносятъ вамъ шесть—семь дюжинъ шотландцевъ на завтракъ, моетъ руки и говоритъ своей женѣ: «Чортъ съ ней, этой мирной жизнью! Я долженъ что-нибудь дѣлать!»—О, Генрихъ моего сердца,—говоритъ она:—сколькихъ ты убилъ сегодня?—«Дай моему нѣгому воды»—и часъ спустя, отвѣчаетъ:—«Штукъ четырнадцать; пустяки! пустяки!»

Насколько коротка, настолько же восхитительна сцена, гдѣ мы видимъ дѣйствительную домашнюю обстановку Перси и его жены, когда она обуздываетъ буйнаго героя самыми смѣлыми словами любви:

«Не время

Теперь играть словами. Отвѣчай же
Мнѣ на вопросъ ты прямо, иль низинецъ
Тебѣ, клянусь, съ досады я сломаю!

Перси.

Ну, перестань... довольно, баловница!
Люблю-ли я тебя?—О, нѣтъ, нисколько,
И до тебя мнѣ дѣла нѣтъ! Не время
Намъ въ куколки играть и цѣловаться;
Носы въ крови, разбитыя короны—
Вотъ что для насъ теперь имѣетъ цѣнность...
Скорѣй коня!.. Что ты сказала Кетъ?
Чего еще ты хочешь?

Леди Перси.

Такъ не любишь

Нисколько ты меня? Совсѣмъ не любишь?
И не люби! Сама любить не стану
Тебя, когда не любишь ты меня!..
Не любишь ты! Не можетъ быть! Не вѣрю!
Что-жъ, говори: ты шутишь или цѣть?

Перси.

Пойдемъ... Взглянуть не хочешь ли, какъ вепрыгну
Я на коня? Когда-жъ сидѣть я буду
На немъ, тогда дамъ клятву, что безмѣрно
Люблю тебя... Но помни, Кетъ, что больше
Я не хочу, чтобъ мнѣ надоѣдали
Разспросами: куда, зачѣмъ я ѣду?
Пожалуйста-жъ, безъ всякихъ разсужденій
Пойми одно, что долгъ велитъ мнѣ ѣхать
И нынче-жъ ты разстанешься со мною.
Я знаю, ты благоразумна, впрочемъ,
Не больше, какъ супруга Генри Перси;
Ты и вѣрна, но женщина ты все же,

И тайны, какъ никто, хранить умѣешь,
А потому, конечно, ужъ не станешь
Болтать о томъ, чего совсѣмъ не знаешь:
Настолько-то я, Кетъ, въ тебѣ увѣренъ».

Принцесса Екатерина.

(«Генрихъ V»).

Дѣйствительно ли Шекспиръ написалъ сцену, гдѣ принцесса Екатерина беретъ уроки англійскаго языка, и вообще принадлежатъ ли ему всѣ тѣ французскіе обороты рѣчи, которыми онъ потѣшаетъ Джонъ Буля? Я сомнѣваюсь. Нашъ поэтъ могъ достигнуть тѣхъ же комическихъ эффектовъ англійскимъ жаргономъ, тѣмъ болѣе, что англійскій языкъ обладаетъ свойствомъ выражать до извѣстной степени французскій образъ мыслей простымъ примѣненіемъ романскихъ словъ и конструкцій, не отклоняясь отъ грамматическихъ правилъ. Подобнымъ же образомъ англійскій драматическій писатель могъ бы выразить отчасти германскій образъ мыслей, воспользовавшись древне-саксонскими словами и оборотами. Вѣдь англійскій языкъ состоитъ изъ двухъ разнородныхъ элементовъ, романскаго и германскаго, которые только смѣшаны, но не слиты въ органическое цѣлое; и они легко отпадаютъ другъ отъ друга, и тогда трудно съ точностью опредѣлить, на какой сторонѣ находится законный англійскій языкъ. Стоитъ только сравнить языкъ доктора Джонсона или Аддисона съ языкомъ Байрона или Коббета. Шекспиру, я увѣренъ, не было нужды заставлять принцессу Екатерину говорить по-французски.

Это наводитъ меня на замѣчаніе, которое я уже высказалъ въ другомъ мѣстѣ. Недостаткомъ историческихъ драмъ Шекспира является именно то обстоятельство, что онъ не противопоставляетъ нормано-французскаго духа знатнаго сословія саксобританскому духу народа, заставляя каждаго говорить свойственными ему оборотами рѣчи. Вальтеръ Скоттъ дѣлаетъ это въ своихъ романахъ и тѣмъ достигаетъ самыхъ яркихъ эффектовъ. Художникъ, доставившій намъ для этой галлереи изображеніе французской принцессы, придалъ ей, вѣроятно, изъ-за англійскаго недоброжелательства, скорѣе смѣшныя, чѣмъ красивыя черты. У ней здѣсь настоящая птичья физіономія, и глаза смотрятъ, точно взятые у кого-нибудь взаймы. Не попугаевы ли перья у ней на головѣ, и не хотѣлъ ли этимъ живописецъ выразить ея болтливую переимчивость? У ней маленькія, бѣлыя, любопытныя

руки. Тщеславная любовь къ нарядамъ и стараніе нравиться составляютъ все ея существо, и она умѣетъ весьма мило играть вѣеромъ. Бьюсь объ закладъ, что ея ножки кокетничаютъ съ землею, по которой онѣ идутъ.

Жанна Даркъ.

(«Генрихъ VI». Часть I).

Хвала тебѣ, великій Шиллеръ, что ты снова славно очистилъ высокій образъ отъ грязныхъ остротъ Вольтера и тѣхъ черныхъ пятенъ, которыми покрылъ его даже Шекспиръ!.. Да, британская ли національная ненависть или средневѣковое суевѣріе отуманили его разумъ, — но нашъ поэтъ представилъ героическую дѣвушку вѣдьмой, имѣющей сношенія съ темными силами ада. Онъ выставляетъ ее заклинательницей демоновъ подземнаго міра, и такимъ пріемомъ оправдывается ея жестокая казнь. — Глубокое негодованіе каждый разъ охватываетъ меня, когда я прохожу въ Руанѣ черезъ маленькую рыночную площадь, гдѣ сожгли дѣвственницу, и гдѣ плохая статуя увѣковѣчиваетъ это злое дѣло. Убивать съ истязаніями! Стало-быть, и тогда уже вы поступали такимъ образомъ съ побѣжденными врагами! Наряду съ островомъ св. Елены упомянутая рыночная площадь въ Руанѣ представляетъ возмутительнѣйшее свидѣтельство великодушія англичанъ.

Да, и Шекспиръ согрѣшилъ относительно дѣвственницы, и если не съ рѣшительной враждебностью, то все же не дружелюбно, не любовно относится онъ къ ней, этой благородной дѣвушкѣ, освободившей свое отечество! Да если бы она это сдѣлала и съ помощью ада, то все-таки заслуживала бы почтенія и удивленія!

Или, быть-можетъ, правы тѣ критики, которые отвергаютъ, что великій поэтъ былъ авторомъ пьесы, гдѣ выступаетъ дѣвственница, равно какъ и второй и третьей части «Генриха VI»? Они утверждаютъ, что эта трилогія надлежитъ къ тѣмъ старымъ драмамъ, которыя только ботаны Шекспиромъ. Я бы охотно одобрилъ подобный взглядъ — ради Орлеанской дѣвы. Но приводимые шатки. Эти спорныя драмы носятъ во многихъ м слишкомъ ясный отпечатокъ шекспировскаго духа.

Маргарита.

(«Король Генрихъ VI». Часть I).

Здѣсь мы видимъ прекрасную дочь графа Ренье еще дѣвушкой. Является Суффолькъ и выводитъ ее, какъ плѣнницу; но прежде чѣмъ успѣлъ онъ оглянуться, она уже наложила оковы на него самого. Онъ вполнѣ напоминаетъ намъ того рекрута, который кричитъ съ поста своему начальнику: «Я захватилъ плѣнника!»—Такъ тащи его сюда ко мнѣ!—говоритъ капитанъ.—«Я не могу,—отвѣчаетъ бѣдный рекрутъ:—мой плѣнникъ меня не пускаетъ!»

Суффолькъ говоритъ:

«Не оскорбляйся, чудо красоты,
Что въ плѣнъ ко мнѣ пришлось тебѣ попасть;
Дѣтей своихъ такъ охраняетъ лебедь
И подъ крыломъ своимъ въ плѣну ихъ держитъ!
Но если этотъ плѣнъ тебѣ обиденъ,
Свободна ты—ты только другъ Суффолька.
(Она оборачивается, какъ бы намѣревалась уйти).
Постой!.. Я отпустить ее не въ силахъ,
Рука даритъ свободу, сердце—нѣтъ.
Какъ солнца лучъ на зеркалѣ рѣки
Въ глаза огнемъ сверкаетъ отраженнымъ,
Такъ эта красота слѣпитъ мнѣ взоры.
Признался-бъ ей, но говорить не смѣю;
Велю перо принесть и напишу.
О дева Пуль, не измѣняй себѣ.
Ты развѣ нѣмъ, и не въ плѣну-ль она?
Какъ ты, при видѣ женщины, смущенъ?
Да, красоты величье таково,
Что поражаетъ разомъ рѣчь и чувство.

Маргарита.

Скажи, графъ Суффолькъ, если такъ зовешься,
Какой возьмешь ты выкупъ за свободу?
Я плѣнница твоя, я это вижу.

Суффолькъ *(въ сторону).*

Почемъ ты знаешь, что тебя отвергнуть,
Пока любви ея ты не искалъ?

Маргарита.

Зачѣмъ молчишь ты? Выкупъ мой назначь:

Суффолькъ *(въ сторону).*

Она прекрасна, и влечетъ любовь,
Но женщина, и можетъ полюбить».

Наконецъ онъ находитъ самое лучшее средство удержать плѣнницу, сватая ее своему королю и одновременно становясь ея официальнымъ подданнымъ и тайнымъ любовникомъ.

Подтверждается ли эта связь между Маргаритой и Суффолькомъ исторіей? Не знаю. Но провидящее око Шек

пира часто видитъ вещи, о которыхъ ничего не сообщаетъ хроника, но которыя тѣмъ не менѣе истинны. Онъ знаетъ даже тѣ мимолетныя грёзы прошлаго, которыя Кліо забыла записать. Быть-можетъ, на аренѣ событій остаются разные пестрые отпечатки ихъ, которые не исчезаютъ, какъ обыкновенныя тѣни вмѣстѣ съ дѣйствительнымъ явленіемъ, а какъ призраки остаются на землѣ, не замѣчаемые простыми будничными людьми въ ихъ житейскихъ занятіяхъ, но иногда становящіяся ярко видимыми для зоркаго ока тѣхъ баловней счастія, которыхъ мы называемъ поэтами?

Королева Маргарита.

(«Генрихъ VI». Часть II и III).

На этомъ портретѣ мы видимъ ту же Маргариту королевой, супругою Генриха Шестого. Почка распустилась, теперь она вполнѣ расцвѣтшая роза; но въ этой розѣ скрывается отвратительный червякъ. Она стала жестокой, преступной женщиной. Безпримѣрно безчеловѣчна какъ въ дѣйствительномъ, такъ и въ поэтически вымышленномъ мірѣ сцена, гдѣ она подаетъ плачущему Іорку страшный, смоченный кровью его сына платокъ, издѣвается надъ нимъ, предлагая ему этимъ платкомъ осушить его слезы. Ужасны ея слова:

«Вотъ, Іоркъ, платокъ его, смоченный кровью.
Изъ груди мальчика та кровь струилась;
Мечомъ открылъ ей путь отважный Клиффордъ,
И если хочешь плакать объ утратѣ,
На, вотъ платокъ, чтобъ слезы утереть.
Да, бѣдный Іоркъ, тебя я пожалѣла-бъ,
Когда-бъ не ненавидѣла смертельно.
Рыдай, чтобъ мнѣ повеселиться, Іоркъ;
Ужель все высушилъ огонь сердечный,
И слезъ ужъ нѣтъ смерть Рутланда оплакать?
Зачѣмъ ты терпѣливъ? Сходи съ ума,
Бѣсись—смѣяться надъ тобой я буду;
Реви, топчись—плясать и пѣть я буду».

Если бы художникъ, рисовавшій для этой галлереи прекрасную Маргариту, изобразилъ ее съ еще болѣе раскрытыми губами, то мы бы замѣтили, что у ней такіе же острые зубы, какъ и у хищнаго звѣря.

Въ слѣдующей драмѣ, въ «Ричардѣ III», является она и физически отвратительной, ибо время къ той порѣ искрошила ея острые зубы, она не можетъ болѣе кусаться, можетъ только проклинать, и подобно старухѣ-привидѣнію

бродитъ она по королевскимъ покоямъ, и беззубый злой ротъ бормочетъ пагубныя рѣчи и проклятья.

Ея любовью къ Суффольку, дикому Суффольку, Шекспиръ умѣетъ зародить въ насъ даже долю расположенія къ этой неистовой женщинѣ. Какъ ни преступна эта любовь, мы все-таки не можемъ отказать ей ни въ правдивости, ни въ искренности. Какъ восхитительно прекрасенъ прощальный разговоръ обоихъ влюбленныхъ! Какая нѣжность въ словахъ Маргариты:

«Ступай, не говори, ступай сейчасъ!..
О нѣтъ, постой! Такъ послѣ приговора
Прощаются друзья и горько плачутъ.
Разлука имъ сто разъ тяжелѣе смерти.
Пора, прощай! Прощаюсь вмѣстѣ съ жизнью!»

На это Суффолькъ отвѣчаетъ:

«Что мнѣ страна, когда-бъ не ты жила въ ней!
Суффольку и пустыня населенной
Казалась бы, была бы тамъ лишь ты;
Гдѣ только ты, тамъ цѣлый міръ съ тобою,
Со всѣми благами и наслажденьемъ.
Гдѣ нѣтъ тебя, тамъ остается горе!
Я больше не могу... живи счастливой!
А для меня въ тебѣ одной все счастье».

Когда позднѣе Маргарита, неся въ рукахъ окровавленную голову возлюбленнаго, испускаетъ вопли самаго дикаго отчаянія, она намъ напоминаетъ ужасную Кримгильду «Пѣсни о Нибелунгахъ». Какая закованная въ панцырь скорбь, отъ которой безсильно отскакиваютъ всѣ слова утѣшенія!

Я уже во введеніи замѣтилъ, что относительно тѣхъ драмъ Шекспира, сюжетъ которыхъ заимствованъ изъ англійской исторіи, буду воздерживаться отъ всякихъ историческихъ и философскихъ разсужденій. Тема этихъ драмъ останется не вполнѣ обработанной до тѣхъ поръ, пока будетъ продолжаться борьба современныхъ требованій промышленности съ остатками средневѣкового феодализма во всѣхъ его видоизмѣненіяхъ. Здѣсь не такъ легко высказать рѣшительный приговоръ, какъ въ римскихъ драмахъ, и каждое смѣлое и откровенное слово могло бы натолкнуться на недоброжелательный пріемъ. Только отъ одного замѣчанія не могу воздержаться.

Мнѣ именно непонятно, почему нѣкоторые нѣмецкіе комментаторы явно принимаютъ сторону англичанъ, говоря о тѣхъ французскихъ войнахъ, которыя представлены въ историческихъ драмахъ Шекспира. Вѣдь въ этихъ войнахъ на

право, ни поэзія не были на сторонѣ англичанъ, которые частью скрывали подъ ничтожными предлогами наслѣдственныхъ правъ самую грубую жажду грабежа, отчасти дрались, лишь служа пошлымъ торгашескимъ интересамъ... совершенно какъ въ наше время, съ тою лишь разницею, что въ девятнадцатомъ столѣтіи дѣло идетъ больше о кофе и сахарѣ, а въ четырнадцатомъ и пятнадцатомъ столѣтіи дѣло шло больше объ овечьей шерсти.

Мишле, въ своемъ геніальномъ сочиненіи «Исторія Франціи», совершенно справедливо замѣчаетъ:

«Тайна сраженій при Креси, при Пуатье и т. д. находится въ конторахъ торговыхъ людей Лондона, Бордо, Брюжа... Шерсть и мясо основали первобытную Англію и англійскую расу. Прежде чѣмъ стать для цѣлаго міра великою хлопчатобумажною фабрикой и желѣзною мануфактурой, Англія была фабрикой мяса. Искони этотъ народъ занимался преимущественно скотоводствомъ и питался мясными блюдами. Отсюда этотъ свѣжій цвѣтъ лица, эта сила, эта курносая и беззатылочная красота. Я позволю себѣ по этому случаю вспомнить одно изъ моихъ личныхъ впечатлѣній.

«Я посѣтилъ Лондонъ и большую часть Англіи и Шотландіи; я больше изумлялся, чѣмъ понималъ. Только при моемъ возвращеніи, когда я ѣхалъ изъ Іорка въ Манчестеръ, перерѣзая островъ поперекъ, получилъ я правильный взглядъ на Англію. Было сырое, туманное утро; мнѣ казалось, что страна не только окружена, но и затоплена океаномъ. Блѣдное солнце едва окрашивало половину ландшафта. Новые кирпично-красные дома слишкомъ рѣзко выдѣлялись бы на сочно зеленыхъ лугахъ, не будь эти кричащіе цвѣта смягчены разстилающимся морскимъ туманомъ. Повсюду тучныя пастбища со стадами пасущихся овецъ и съ высящимися надъ ними длинными огнедышащими трубами фабрикъ. Скотоводство, земледѣліе, промышленность—все было стиснуто на этомъ маленькомъ пространствѣ, одно надъ другимъ, одно питая другое: трава питалась туманомъ, овца травою, человѣкъ кровью.

«Человѣкъ, вѣчно мучимый голодомъ въ этомъ изнуряющемъ климатѣ, можетъ только трудомъ поддерживать с жизнь. Природа принуждаетъ его къ этому. Но онъ умѣ отмщать ей: онъ заставляетъ работать ее самоё, онъ бощаетъ ее желѣзомъ и огнемъ. Вся Англія задыхаетс этой борьбы. Человѣкъ тамъ точно разгнѣванъ, т *себя*. Взгляните на это красное лицо, на эти

кающіе глаза... Можно легко счесть его за пьянаго. Но его голова и его рука тверда и увѣренна. Онъ опьяненъ только кровью и силой. Онъ обращается съ самимъ собою, какъ съ паровой машиной, которую онъ черезъ мѣру пичкаетъ пищей, чтобы извлечь изъ нея насколько возможно больше дѣятельности и быстроты.

«Въ средніе вѣка англичанинъ былъ приблизительно тѣмъ же, что онъ теперь: слишкомъ сильно ушитанъ, приспособленъ къ работѣ, при отсутствіи промышленныхъ занятій— воинственъ.

«Англія, хотя занималась земледѣліемъ и скотоводствомъ, не имѣла еще фабрикъ. Англичане поставляли сырье, другіе умѣли его обрабатывать. Шерсть была по одну сторону пролива, рабочій былъ по другую. Въ то время, какъ государи спорили и враждовали, англійскіе скотоводы и фламандскіе суконные фабриканты жили, однако, въ самомъ полномъ согласіи, въ самомъ неразрушимомъ союзѣ. Французамъ, желавшимъ разрушить этотъ союзъ, пришлось поплатиться за это столѣтнею войной. Англійскіе короли стремились, правда, къ завоеванію Франціи, но народъ требовалъ только свободы торговли, свободныхъ мѣстъ для ввоза, свободнаго рынка для англійской шерсти. Собравшись вокругъ громаднаго мѣшка съ шерстью, общины держали совѣтъ о требованіяхъ короля и охотно предоставляли ему вдоволь и денегъ, и солдатъ.

«Такое смѣшеніе промышленности и рыцарства придаетъ всей этой исторіи странную окраску. Этотъ Эдуардъ, давшій за «круглымъ столомъ» гордую клятву покорить Францію, эти надменно глуповатые рыцари, повязывавшіе, въ силу обѣта, одинъ глазъ краснымъ платкомъ, всѣ они, однако, были не столь большіе глупцы, чтобъ идти въ походъ на свой собственный счетъ. Благочестивая наивность крестовыхъ походовъ уже не современна. Эти рыцари, въ сущности, не что иное, какъ продажные наемники, какъ оплачиваемые торговые агенты, какъ вооруженные commis-voyageurs лондонскихъ и гентскихъ купцовъ. Самъ Эдуардъ долженъ сильно обуржуазиться, долженъ отложить въ сторону всякую гордость, долженъ добиваться одобренія цеховъ суконщиковъ и ткачей, долженъ подать руку своему куму, пивовару Артевельду, долженъ становиться на письменный столъ скотовода, чтобы говорить къ народу.

«Англійскія трагедіи четырнадцатаго столѣтія имѣютъ очень комичныя стороны. Въ благороднѣйшихъ рыцаряхъ

сидѣло всегда что-то фальстаффское. Во Франціи, въ Италіи, въ Испаніи, въ чудныхъ южныхъ странахъ, англичане являются столь же прожорливыми, сколько храбрыми. Это — Геркулесъ быкопожиратель. Они пріѣзжаютъ въ страну буквально для того, чтобы пожирать ее. Но страна имъ отплачиваетъ за это и побѣждаетъ ихъ своими фруктами и своимъ виномъ. Ихъ короли и арміи объѣдаются и умираютъ отъ разстройства желудка и дисентеріи».

Съ этими наемными героями-обжорами сравните французовъ, самый воздержный народъ, который пьянѣетъ не столько отъ вина, сколько отъ прирожденнаго ему энтузіазма, и этотъ послѣдній былъ всегда причиной ихъ неудачъ, и уже въ серединѣ четырнадцатаго столѣтія мы видимъ, какъ они въ борьбѣ съ англичанами терпѣли пораженіе именно изъ-за излишней рыцарственности. Это было при Креси, гдѣ французы въ своемъ пораженіи являются прекраснѣе англичанъ въ ихъ побѣдѣ, которую они одержали не по-рыцарски — посредствомъ пѣхоты... До тѣхъ поръ война была только большимъ турниромъ равныхъ по происхожденію всадниковъ; но при Креси эта романтичная кавалерія, эта поэзія, позорно растаптывается современной пѣхотой, прозой въ строго расположенномъ боевомъ порядкѣ; появляются здѣсь даже пушки... Сѣдой богемскій король, слѣпой и старый, участвовавшій въ этой битвѣ въ качествѣ вассала Франціи, правильно замѣтилъ, что начинается новая эпоха, что рыцарству пришелъ конецъ, что въ будущемъ конный будетъ всегда побѣждаемъ пѣшимъ, и онъ сказалъ своимъ рыцарямъ: «Я васъ усерднѣйше прошу, сведите меня въ самую глубь битвы, такъ, чтобы я еще разъ могъ нанести добрый ударъ меча!» Они послушались его, привязали къ своимъ лошадямъ его лошадь, бросились вмѣстѣ съ нимъ въ самую дикую свалку и на слѣдующее утро ихъ всѣхъ нашли убитыми на спинахъ ихъ убитыхъ лошадей, которыя все еще оставались связанными. Какъ этотъ богемскій король со своими рыцарями, такъ пали и французы при Креси, при Пуатье; они умирали, но верхомъ на коняхъ. Англіи досталась побѣда, Франціи — слава. Да, даже своими пораженіями французы умѣютъ оставить своихъ противниковъ въ тѣни. Тріумфы англичанъ всегда остаются позоромъ человѣчества, со дней Креси и Пуатье до дня Ватерлоо. Кліо всегда женщина; несмотря на свою безпартійную холодность, она все-таки сочувственно относится къ рыцарству и геройству, и я увѣренъ, что только съ сокрушающимъ

сердцемъ отмѣчаетъ она на своихъ скрижаляхъ побѣды англичанъ.

Леди Грей.

(«Генрихъ VI»).

Она была бѣдная вдова, которая, дрожа, предстала передъ королемъ Эдуардомъ и молила его вернуть ея дѣтямъ имѣньице, перешедшее послѣ смерти ея мужа къ врагамъ. Сладострастный король, не будучи въ состояніи побѣдить ея цѣломудріе, настолько очарованъ ея прекрасными слезами, что надѣваетъ ей на голову корону. Сколько горестей принесло это обоимъ—сообщаетъ всемірная исторія.

Въ самомъ ли дѣлѣ обрисовалъ Шекспиръ характеръ этого короля согласно исторіи? Я долженъ снова вернуться къ замѣчанію, что онъ умѣлъ пополнять пробѣлы исторіи. Его характеры королей всегда изображены такъ правдиво, что иногда можно подумать, какъ замѣчаетъ одинъ англійскій писатель, что въ теченіе всей своей жизни онъ былъ канцлеромъ того короля, котораго выводитъ въ той или другой драмѣ. За вѣрность его изображеній ручается, по моему мнѣнію, то поразительное сходство, которое замѣчается между его древними королями и тѣми королями настоящаго времени, о которыхъ мы, въ качествѣ современниковъ, можемъ судить наилучшимъ образомъ.

Что Фридрихъ Шлегель говоритъ объ историкѣ, то вполнѣ относится къ нашему поэту: онъ—глядящій въ прошедшее пророкъ. Если бы мнѣ было позволено отразить въ зеркалѣ одного изъ нашихъ знаменитѣйшихъ коронованныхъ современниковъ, то каждый увидѣлъ бы, что Шекспиръ уже два столѣтія тому назадъ изготовилъ его характеристику. Дѣйствительно, при взглядѣ на этого великаго, образцоваго и, конечно, славнаго монарха, насъ охватываетъ такой же странный трепетъ, какой мы испытываемъ, когда встрѣчаемъ наяву среди бѣлаго дня лицо, видѣнное нами уже въ ночныхъ сновидѣніяхъ. Когда, восемь лѣтъ тому назадъ, мы видѣли, какъ онъ ѣхалъ по улицамъ столицы, «съ обнаженной головой и смиренно кланяясь во всѣ стороны», то все время думали о словахъ, которыми Іоркъ описываетъ въѣздъ Болингброка въ Лондонъ. Его двоюродный братъ, Ричардъ II, зналъ его очень хорошо, постоянно видѣлъ его насквозь и однажды совершенно вѣрно сказалъ:

«...Замѣтили мы сами,
И видѣли то Бэготъ, Буши, Гринъ,

Какъ ластился къ простому онъ народу:
Казалось, онъ въ сердца людей вползалъ
Униженной и панибратской лаской,
Мы видѣли—какіе онъ поклоны
Глубокіе отвѣшивалъ рабамъ,
Какъ вкрадчивой улыбкою своею,
Смиренною покорностью судьбѣ,
Мастеровымъ понравиться старался,
Какъ будто бы желая унести
Всю ихъ любовь съ собой, въ свое изгнанье.
Онъ шляпу снялъ предъ устричной торговкой;
Когда же два иль три ломовика
Ему вскричали: «Богъ вамъ помоги!»—
То, гибкое колѣно преклонивъ,
«Благодарю васъ, земляки-друзья!»

Да, сходство ужасающее. Совершенно, какъ старый Болингброкъ, вставалъ передъ нашими глазами Болингброкъ нынѣшній, завладѣвшій престоломъ послѣ низверженія своего царственнаго двоюроднаго брата и понемногу укрѣпившійся на тронѣ: лукавый герой, пресмыкающійся исполинъ, титанъ притворства, ужасно, даже возмутительно спокойный, держа въ бархатной перчаткѣ лапу и гладя ею общественное мнѣніе, уже издалека высматривающій добычу, но никогда не бросающійся на нее до тѣхъ поръ, пока она не окажется въ самой надежной близости!.. Да побѣждаетъ онъ своихъ враговъ и поддерживаетъ миръ въ государствѣ, до своего смертнаго часа, когда онъ скажетъ своему сыну слова, давно написанныя для него Шекспиромъ:

«Поближе сядь къ постели,
Мой сынъ, и выслушай, какъ мнѣ сдается,
Послѣдній мой совѣтъ. Извѣстно Богу,
Какимъ путемъ извилистымъ и темнымъ
Я добрался до власти королевской,
И лишь Ему да мнѣ извѣстно, Гарри,
Съ какимъ трудомъ, съ какой тревогой вѣчной
Удерживалъ я на челѣ корону.
Тебѣ она достанется при лучшихъ
Условіяхъ, прямѣй, законнѣй, ибо
То черное, предъ чѣмъ не отступалъ я,
Чтобъ до нея добраться, все въ могилу
Со мной сойдетъ. Да, на челѣ моемъ
Казалась всѣмъ она символомъ власти,
Захваченной рукою дерзновенной.
Въ живыхъ еще немало сохранилось
Людей, которые мнѣ помогали
Отнять ее у Ричарда, и это
Немало смутъ кровавыхъ порождало,
Губило миръ страны. Тебѣ извѣстно,
Какимъ опасностямъ я подвергался

Отъ этого: вся жизнь моя лишь рядомъ
Сплошныхъ тревогъ была; съ моею-жъ смертью
Здѣсь многое измѣнится: что міру
Въ моихъ рукахъ добычею казалось,
То перейдетъ къ тебѣ уже по праву.
Хоть будешь ты стоять на тронѣ тверже,
Чѣмъ я стоялъ, однако притязаній
Вокругъ тебя такъ много, что едва ли
И положеніе твое считать возможно
Вполнѣ упроченнымъ. Друзья мои—
Они же пусть всѣ будутъ и твои—
Еще недавно такъ когтей лишились
И жалъ своихъ. Возвыситься, конечно,
Мнѣ помогли кровавыя услуги
Такихъ друзей; могуществомъ, однако,
Своимъ они могли меня и свергнуть:
Поэтому иныхъ и уничтожилъ,
Другихъ хотѣлъ вести въ Святую Землю,
Чтобъ не дали имъ праздность и покой
Возможности попристальнѣй вглядѣться
Въ мои права. А потому, мой Гарри,
Поставь себѣ за правило—почаще
Вести войну въ странахъ далекихъ, чтобы
Вниманіе умовъ непостоянныхъ
Тѣмъ развлекать и заставлять въ походахъ
Былое забывать навѣкъ... О, какъ бы
Мнѣ многое сказать еще хотѣлось...
Но грудь моя истощена, и силы
Нѣтъ больше продолжать... Великій Боже,
Прости мнѣ путь, которымъ я короны
Достигъ и укрѣпи ее за сыномъ!»

Леди Анна.

(«Король Ричардъ III»).

ложеніе женщинъ, какъ счастье вообще, есть добро-
подарокъ, его получаешь, не зная какъ, не зная
Но существуютъ люди, умѣющіе вынудить его у
келѣзной волей, и они достигаютъ цѣли либо лестью,
ому, что внушаютъ женщинамъ страхъ, или воз-
ь въ нихъ состраданіе, или даютъ имъ случай жер-
собою... Послѣднее, именно самопожертвованіе, есть
юбимая женщинами роль, и она выставляетъ ихъ
ъ чудномъ свѣтѣ передъ людьми, и даритъ имъ
неніи столько слезообильныхъ наслажденій своею

Анна побуждается всѣмъ этимъ одновременно. Ме-
текутъ льстивыя слова изъ ужасныхъ устъ. Ей
Ричардъ, тотъ самый Ричардъ, который внушаетъ

ей всѣ ужасы ада, который убилъ ея любимаго супруга и своего друга... И въ ту минуту, когда она идетъ хоронить его, Ричардъ повелительнымъ голосомъ приказываетъ носильщикамъ поставить гробъ на землю и тутъ же обращается къ прекрасной страдалицѣ съ любовнымъ объясненіемъ... Ягненокъ уже видитъ съ ужасомъ оскаленные зубы волка, но волчья морда вдругъ настраивается на сладчайшіе звуки лести... Лесть волка такъ потрясаетъ, такъ опьяняетъ бѣдную овечью душу, что всѣ чувства въ немъ претерпѣваютъ внезапное превращеніе... И король Ричардъ тоже говоритъ о своемъ горѣ, о своей скорби, такъ что Анна не можетъ отказать ему въ соболѣзнованіи, тѣмъ болѣе, что этотъ дикій человѣкъ по своей природѣ не особенно склоненъ къ жалобамъ... И этотъ несчастный убійца тоже страдаетъ угрызеніями совѣсти, говоритъ о раскаяніи, и о томъ, что хорошая женщина, можетъ-быть, направила бы его на лучшую дорогу, если бы захотѣла пожертвовать собою для него... И Анна рѣшается стать королевой Англіи.

Королева Екатерина.

(«Король Генрихъ VIII»).

Я питаю непреодолимое предубѣжденіе противъ этой королевы, высокія добродѣтели которой я долженъ, однако, признать. Какъ супруга, она была образцомъ семейной супружеской вѣрности. Какъ королева, она вела себя съ величайшимъ достоинствомъ и величіемъ. Какъ христіанка, она была само благочестіе. Но она воодушевляла доктора Самуэля Джонсона къ чрезмѣрнѣйшимъ похваламъ; она—его избранная любимица среди всѣхъ шекспировскихъ женщинъ, онъ говоритъ о ней съ нѣжностью и трогательностью... Это невыносимо. Шекспиръ приложилъ всю силу своего генія, чтобы превознести добрую женщину, но эти старанія уничтожаются, когда видишь, что докторъ Джонсонъ, эта большая кружка портера, приходитъ при видѣ королевы Екатерины въ сладкое восхищеніе и пѣнится черезъ край въ восхваленіяхъ. Будь она моей женой, я былъ бы способенъ развестись съ ней изъ-за такихъ восхваленій. Бы
причиной разрыва съ нею бѣднаго короля Ген
не тѣлесная прелесть Анны Болейнъ, но та вост
съ которою какой-нибудь тогдашній докторъ Д
ворилъ о вѣрной, достойной и набожной Екат
Морусъ, бывшій, подобно д-ру Джонсону, при

совершенствахъ, довольно педантичнымъ, и кожанымъ, и неудобоваримымъ, не слишкомъ ли, можетъ-быть, превозносилъ выше небесъ королеву? Славному канцлеру, правда, обошелся нѣсколько дорого его энтузіазмъ: король за это вознесъ его самого на небо.

Я не знаю, чему мнѣ слѣдуетъ больше удивляться: тому ли, что Екатерина переносила своего мужа въ теченіе цѣлыхъ пятнадцати лѣтъ, или тому, что Генрихъ въ теченіе такого же времени выносилъ свою супругу? Король былъ не только капризенъ, гнѣвно вспыльчивъ и въ постоянномъ противорѣчіи со склонностями свой жены—это встрѣчается во многихъ супружествахъ, которыя тѣмъ не менѣе прекрасно уживаются, пока смерть не положитъ конца всякимъ ссорамъ; но король былъ также музыкантъ и теологъ, и въ обоихъ случаяхъ самый мизерный. Я недавно слышалъ, какъ потѣшный курьезъ, одинъ его хоралъ, который оказался столь же плохимъ, какъ и его трактатъ de septem sacramentis. Онъ навѣрно весьма удручалъ свою бѣдную жену своими музыкальными композиціями и теологическими писаніями. Лучшее въ Генрихѣ было его пониманіе пластическихъ искусствъ, и изъ любви къ прекрасному возникали, быть-можетъ, его самыя дурныя симпатіи и антипатіи. Екатерина Аррагонская была еще красива въ свои двадцать четыре года, когда Генриху было осьмнадцать лѣтъ, и онъ женился на ней, хотя она и была вдовой его брата. Но ея красота, вѣроятно, не увеличивалась съ годами, тѣмъ болѣе, что она изъ набожности постоянно изнуряла свое тѣло бичеваніемъ, постомъ, ночнымъ бдѣніемъ и сокрушеніемъ. На эти аскетическія упражненія ея супругъ жаловался достаточно часто, да и для насъ подобныя привычки жены были бы весьма фатальны.

Но есть еще одно обстоятельство, укрѣпляющее мое обвиненіе противъ этой королевы: она была дочь Изабеллы Кастильской и мать кровожадной Маріи. Что могу я думать деревѣ, выросшемъ изъ такого злого сѣмени и принесшемъ такой злой плодъ?

Если въ исторіи и не осталось никакихъ слѣдовъ ея жестокости, то ея дикая расовая надменность все-таки выступаетъ наружу при каждомъ случаѣ, когда она хочетъ явиться представительницею своего сана. Вопреки своему заученному христіанскому смиренію, она, однако, приходила въ ярость языческій гнѣвъ каждый разъ, когда нарушали установленный этикетъ, или даже отказывали ей въ королев-

скомъ титулѣ. До самой смерти сохраняла она это неугасимое высокомѣріе, и у Шекспира ея послѣднія слова тоже:

«. . . . . Тѣло
Мое набальзамируйте потомъ
И выставьте его передъ народомъ.
Хоть нѣтъ на инѣ вѣнца, но я прошу
Похоронить меня, какъ королеву,
Какъ государей дочь...»

Анна Болейнъ.

(«Король Генрихъ VIII»).

Обычное мнѣніе склоняется къ тому, что угрызенія совѣсти короля Генриха по поводу его брака съ Екатериной возникли изъ-за прелестей прекрасной Анны. Даже Шекспиръ держится этого мнѣнія, и когда новая королева выступаетъ въ коронаціонномъ шествіи, онъ влагаетъ въ уста одного молодого дворянина слѣдующія слова:

«Благослови тебя святое небо!
Я не видалъ прекраснѣе лица.
Клянусь душой, принцесса—сущій ангелъ!
Когда король ее въ объятьяхъ держитъ,
То Индіи богатство въ нихъ лежитъ...
Нѣтъ болѣе, богаче, драгоцѣннѣй!
Его винить не смѣю право я».

О красотѣ Анны Болейнъ поэтъ даетъ намъ понятіе также и въ слѣдующей сценѣ, гдѣ онъ изображаетъ энтузіазмъ, возбужденный ея видомъ во время коронаціи.

Какъ сильно Шекспиръ любилъ свою повелительницу, великую Елисавету, это показываетъ, быть-можетъ, прекраснѣе всего та обстоятельность, съ которой онъ описываетъ празднованіе коронаціи ея матери. Всѣ эти подробности санкціонируютъ права дочери на престолъ, и поэтъ умѣлъ наглядно показать всему народу оспариваемую законность своей королевы. Но и королева эта была достойна такихъ пылкихъ проявленій любви! Она считала, что нисколько не унижаетъ своего королевскаго достоинства, позволяя поэту выставить на сценѣ съ страшнымъ безпристрастіемъ всѣхъ ея предковъ и даже ея собственнаго отца! И не только какъ королева, но даже какъ женщина, никогда не желала она нарушать права поэзіи; насколько давала она нашему поэту высшую свободу слова въ политическомъ отношеніи, и настолько же она позволяла ему самыя смѣлыя слова по отношенію къ ея полу; ее нимало не шокировали самыя безцеремонныя остроты здоровой чувственности, и она, по-

maiden queen, королева-дѣвственница, даже требовала, чтобы сэръ Джонъ Фальстафъ показалъ себя хоть разъ въ роли любовника. Ея желанію посмѣяться мы обязаны: «Виндзорскими веселыми женщинами».

Шекспиръ не могъ лучше заключить свои англійскія историческія драмы, какъ вынесши на сцену, въ концѣ «Генриха VIII», новорожденную Елисавету, символъ лучшаго будущаго въ пеленкахъ.

Но дѣйствительно ли Шекспиръ представилъ характеръ Генриха VIII, отца своей королевы, совершенно согласно исторіи? Да, хотя онъ провозгласилъ здѣсь истину не въ такихъ рѣзкихъ звукахъ, какъ въ прочихъ своихъ драмахъ, во всякомъ случаѣ онъ ее высказалъ, и сравнительно болѣе мягкій тонъ дѣлаетъ каждый упрекъ тѣмъ болѣе настоятельнымъ. Этотъ Генрихъ VIII былъ самый дурной изъ всѣхъ королей, ибо въ то время, какъ всѣ другіе злые государи неистовствовали только противъ своихъ враговъ, онъ бѣшенствовалъ противъ своихъ друзей, и его любовь была всегда гораздо опаснѣе его ненависти. Супружескія исторіи этой царственной «Синей Бороды» ужасны. Во всѣ дикости ихъ онъ примѣшивалъ, сверхъ того, какую-то идіотически ужасающую галантность. Когда онъ приказалъ казнить Анну Болейнъ, то предварительно сообщилъ ей, что призвалъ для нея самаго искуснаго палача всей Англіи. Королева покорно поблагодарила его за такое нѣжное вниманіе и со свойственной ей веселой легкомысленностью обвила своими бѣлыми руками свою шею и воскликнула: «Мнѣ очень легко отрубить голову, у меня такая маленькая, тонкая шейка».

Да, не великъ и топоръ, которымъ ей отрубили голову. Мнѣ показывали его въ арсеналѣ Тоуэра въ Лондонѣ, и пока я держалъ его въ рукѣ, въ голову мою прокрадывались странныя мысли.

Будь я королевой Англіи, я бы приказалъ забросить этотъ топоръ въ самую глубь океана.

Леди Макбетъ.

(«Макбетъ»).

Отъ собственно историческихъ драмъ обращаюсь я къ тѣмъ трагедіямъ, фабула которыхъ или чисто вымышлена, или почерпнута изъ древнихъ сагъ и новеллъ. «Макбетъ» представляетъ переходъ къ этимъ произведеніямъ, въ которыхъ геній великаго Шекспира расправляетъ свои крылья

наиболѣе свободно и смѣло. Сюжетъ заимствованъ изъ старой легенды, онъ не принадлежитъ къ исторіи, тѣмъ не менѣе эта пьеса имѣетъ нѣкоторое притязаніе на историческую достовѣрность, такъ какъ въ ней играетъ роль родоначальникъ королевскаго дома Англіи: «Макбетъ» былъ поставленъ на сцену въ царствованіе Іакова I, котораго, какъ извѣстно, считали потомкомъ шотландскаго Банко. Въ этомъ отношеніи поэтъ включилъ въ свою драму также нѣсколько предсказаній въ честь царствующей династіи.

«Макбетъ» излюбленная пьеса критиковъ, находящихъ въ ней случай развивать самымъ широкимъ образомъ свои взгляды на древнюю трагедію рока, по сравненію съ пониманіемъ этого рока современными трагиками. Я позволяю себѣ сдѣлать по этому предмету только бѣглое замѣчаніе.

Идея рока у Шекспира отличается отъ той же идеи у древнихъ такимъ же образомъ, какъ прорицательницы, встрѣчающія Макбета въ старой сѣверной легендѣ обѣщаніемъ короны, отличаются отъ тѣхъ вѣдьмъ-сестеръ, которыя выступаютъ въ трагедіи Шекспира. Тѣ чудесныя жены древней сѣверной легенды — очевидно, валкиріи, страшныя богини воздуха, которыя, рѣя надъ полями битвы, рѣшаютъ побѣду или пораженіе и должны быть разсматриваемы, какъ собственно управляющія человѣческой судьбой, такъ какъ эта послѣдняя на воинственномъ сѣверѣ зависѣла прежде всего отъ исхода рукопашнаго боя. Шекспиръ превратилъ ихъ въ злокозненныхъ вѣдьмъ, лишилъ ихъ всей страшной граціи сѣвернаго чародѣйства, онъ сдѣлалъ изъ нихъ двуполыхъ уродовъ, умѣющихъ устраивать неслыханныя дьявольскія продѣлки и губить людей по злорадству или по приказанію ада, онѣ служительницы сатаны, и кто допуститъ обморочить себя ихъ рѣчами, гибнетъ и тѣломъ, и душой. Такимъ образомъ Шекспиръ перевелъ на христіанскій языкъ древне-языческихъ богинь судьбы съ ихъ достопочтенными благодатными чарами, и гибель его героя не является поэтому чѣмъ-то необходимымъ, опредѣленно предназначеннымъ заранѣе, чѣмъ-то жестоко неотвратимымъ, какъ древній фатумъ; она есть только слѣдствіе тѣхъ соблазновъ ада, которые умѣютъ опутывать человѣческое сердце
сѣтями: Макбетъ подпадаетъ власти сатаны, ис
начала.

Интересно сравнить шекспировскихъ вѣдьмъ
другихъ англійскихъ поэтовъ. Здѣсь становитс
что Шекспиръ все-таки не вполнѣ могъ о

древне-языческаго воззрѣнія, и его сестры—колдуньи поэтому несравненно грандіознѣе и почтеннѣе вѣдьмъ Миддлетона, которыя несравненно болѣе выказываютъ злую бабью натуру, производятъ и болѣе мелочныя козни, вредятъ только тѣлу, мало власти имѣютъ надъ духомъ, и въ крайнемъ случаѣ только и могутъ, что заразить наше сердце ревностью, завистью, похотливостію и тому подобными отбросками чувства.

Репутація леди Макбетъ, которую въ продолженіе двухъ столѣтій признавали весьма злою особой, за послѣднія двѣнадцать лѣтъ очень измѣнилась въ ея пользу. Именно, набожный Францъ Горнъ сдѣлалъ въ «Konversationsblatt» Брокгауза замѣчаніе, что бѣдную леди до сихъ поръ не понимали по достоинству, что она очень любила своего мужа и вообще обладала любвеобильнымъ сердцемъ. Вскорѣ послѣ того это мнѣніе постарался подкрѣпить Людвигъ Тикъ всей своей ученостью и глубиною философскаго мышленія, а затѣмъ прошло немного времени, какъ мы увидѣли на королевской придворной сценѣ мадамъ Штихъ въ роли леди Макбетъ столь чувствительно воркующей горлицей, что ни одно сердце въ Берлинѣ не осталось нетронутымъ такими нѣжными звуками, и много милыхъ глазъ переполнилось слезами при видѣ доброй леди Макбетъ.—Это случилось, какъ сказано, лѣтъ двѣнадцать тому назадъ, въ то короткое время реставраціи, когда у насъ было столько любви въ тѣлѣ. Съ тѣхъ поръ произошло большое банкротство, и если мы теперь не посвящаемъ многимъ коронованнымъ особамъ заслуживаемой ими восторженной любви, то въ томъ виноваты люди, которые, подобно королевѣ шотландской, до дна эксплоатировали наши сердца въ періодъ реставраціи.

Защищаютъ ли въ Германіи до сихъ поръ милыя качества упомянутой леди—не знаю. Но со времени іюльской революціи взгляды на многія вещи измѣнились, и, быть-можетъ, даже и въ Берлинѣ усмотрѣли, что добрая леди Макбетъ—весьма злая бестія.

Офелія.

(«Гамлетъ»).

Это бѣдная Офелія, любившая датчанина Гамлета. То была бѣлокурая, прекрасная дѣвушка, и особенно въ ея рѣчи заключалось очарованіе, трогавшее меня еще тогда, когда я хотѣлъ уѣхать въ Виттенбергъ и пришелъ проститься съ

ся отцомъ. Старикъ былъ такъ любезенъ, что снабдилъ меня на дорогу всѣми тѣми добрыми поученіями, которыя онъ самъ такъ мало примѣнялъ на дѣлѣ, а подъ конецъ онъ позвалъ Офелію, чтобы она принесла намъ выпить вина на прощаніе. Когда милое дитя скромно и граціозно подошло ко мнѣ съ подносомъ и подняло на меня большіе, лучистые глаза, я по разсѣянности взялъ пустой кубокъ вмѣсто полнаго. Она улыбнулась моей ошибкѣ. Ея улыбка уже тогда была столь чудесно блестящая, на ея губахъ играла уже та опьяняющая нѣга, которая, вѣроятно, происходила отъ поцѣлуевъ эльфъ, пріютившихся въ уголкахъ ея рта.

Когда я вернулся изъ Виттенберга, и улыбка Офеліи снова засвѣтилась передо мною, я забылъ при видѣ ея всѣ тонкости схоластики, и мое пытливое размышленіе касалось только милыхъ вопросовъ: что означаетъ эта улыбка? что означаетъ этотъ голосъ, этотъ таинственно томный звукъ флейты? Откуда заимствовали эти глаза ихъ благодатные лучи? Отраженіе ли это неба, или само небо сіяетъ только отблескомъ этихъ глазъ? Находится ли эта улыбка въ связи съ нѣмой музыкой движущихся сферъ, или это лишь земной отголосокъ самыхъ сверхчувственныхъ гармоній? Однажды, когда мы прогуливались въ саду гельсингерскаго замка, нѣжно шутя и болтая, съ сердцами въ полномъ расцвѣтѣ желаній—не могу забыть, какъ нищенски звучало пѣнье соловьевъ въ сравненіи съ небеснымъ голосомъ Офеліи, и какой убогій видъ имѣли цвѣты, съ ихъ пестрыми лицами безъ улыбки, когда я ихъ случайно сравнилъ съ очаровательными губами Офеліи. Какъ олицетворенная прелесть, рѣяла рядомъ со мною ея стройная фигура.

Ахъ, въ томъ проклятіе слабыхъ людей, что они каждый разъ, когда имъ приходится испытать большую несправедливость, тотчасъ же вымещаютъ свою досаду на самомъ лучшемъ и миломъ, чѣмъ они владѣютъ. И бѣдный Гамлетъ прежде всего затмилъ свой разумъ, эту чудную драгоцѣнность, впалъ вслѣдствіе притворнаго помѣшательства въ ужасную пропасть дѣйствительнаго сумасшествія и мучилъ бѣдную дѣвушку язвительными колкими рѣчами... Бѣдное созданіе! Этого еще недоставало, чтобы онъ принялъ ея отца за крысу и на смерть закололъ его! Конечно, отъ этого она потеряла разсудокъ... Но ея безуміе не такое мрачное и задумчиво суровое, какъ безуміе Гамлета, оно играетъ вокругъ больной головы, какъ бы успокаивая ее сладкими пѣснями... Ея нѣжный голосъ весь таетъ въ пѣснѣ, и цвѣты,

и снова цвѣты переплетаются со всѣми ея мыслями. Она поетъ, и сплетаетъ вѣнки, и украшаетъ ими свою голову, и смѣется своей лучистой улыбкой, бѣдное дитя!..

Тамъ ива есть; она, склонивши вѣтви,
Глядится въ зеркалѣ кристальныхъ водъ.
Въ ея тѣни плела она гирлянды
Изъ лилій, розъ, фіалокъ и жасмина.
Вѣнки цвѣтущіе на вѣтвяхъ ивы
Желая размѣстить, она взобралась
На дерево; вдругъ вѣтвь подъ ней сломалась —
И въ воды плачущія пали съ нею
Гирлянды и цвѣты. Ея одежда,
Широко разстилаясь по волнамъ,
Несла ее съ минуту, какъ сирену.
Несчастная, бѣды не постигая,
Плыла и пѣла, пѣла и плыла,
Какъ существо, рожденное въ волнахъ.
Но это не могло продлиться долго:
Одежда смокла—и пошла ко дну.
Умолкли жизнь и нѣжные напѣвы!

Но зачѣмъ я вамъ разсказываю эту печальную исторію! Вы всѣ ее знаете съ самой ранней юности, и вы достаточно часто плакали надъ старой трагедіей датчанина Гамлета, который любилъ бѣдную Офелію, любилъ гораздо больше, чѣмъ могли бы ее любить тысяча братьевъ ихъ совокупной любовью, и который сошелъ съ ума, потому что ему явилась тѣнь его отца; потому что міръ былъ сорванъ со своихъ петель, а онъ чувствовалъ себя слишкомъ слабымъ, чтобы снова поставить его на мѣсто, и потому что въ нѣмецкомъ Виттенбергѣ, вслѣдствіе безпрерывнаго размышленія, онъ разучился дѣйствовать, и потому что ему предстоялъ выборъ или сойти съ ума, или совершить быстрое дѣло, и потому что онъ, какъ человѣкъ, носилъ въ себѣ вообще большое предрасположеніе къ сумасшествію.

Мы знаемъ этого Гамлета такъ же, какъ знаемъ свое собственное лицо, которое мы такъ часто видимъ въ зеркалѣ и которое, однако, намъ менѣе знакомо, чѣмъ мы думаемъ; бо встрѣться съ нами на улицѣ кто-нибудь, совершенно охожій на насъ, мы бы вытаращили глаза на это столь ранно знакомое намъ лицо лишь инстинктивно и съ таймъ ужасомъ, не замѣчая, однако, что видимъ наши собенныя черты.

Корделія.

(«Король Лиръ»).

«Въ этой пьесѣ читателю разставлены западни и самострѣлы»,—говоритъ одинъ англійскій писатель. Другой замѣчаетъ, что эта трагедія есть лабиринтъ, въ которомъ комментаторъ можетъ заблудиться и въ концѣ концовъ подвергнуться опасности задушенія обитающимъ тамъ минотавромъ; критическимъ ножомъ здѣсь можно пользоваться только для самозащиты. И въ самомъ дѣлѣ, трудная штука критиковать Шекспира, его, изъ словъ котораго постоянно смѣется намъ въ лицо острая критика нашихъ собственныхъ мыслей и поступковъ; такимъ образомъ почти невозможно разбирать его въ этой трагедіи, гдѣ его геній достигнулъ головокружительной высоты.

Я дерзаю подойти только къ двери этого чуднаго зданія, только до экспозиціи, которая одна тотчасъ же возбуждаетъ наше удивленіе. Экспозиціи вообще въ трагедіяхъ Шекспира изумительны. Этими первыми вступительными сценами мы тотчасъ же отрываемся отъ нашихъ будничныхъ чувствованій и цеховыхъ мыслей и переносимся въ середину тѣхъ колоссальныхъ событій, которыми поэтъ хочетъ потрясти и очистить наши души. Такъ открывается трагедія «Макбета» встрѣчею вѣдьмъ, и вѣщія слова ихъ порабощаютъ не только сердце шотландскаго полководца, выступающаго передъ нами въ ошяненіи побѣдой, но и наше собственное сердце зрителя, которое тоже не можетъ болѣе оторваться отъ дѣйствія, пока все не исполнится и не закончится. Какъ въ «Макбетѣ» охватываетъ насъ уже сначала дикій, ошеломляющій ужасъ кроваваго заколдованнаго міра, такъ уже съ первыхъ сценъ «Гамлета» насъ пробираетъ дрожь при видѣ блѣднаго царства духовъ, и мы не можемъ здѣсь освободиться отъ чувствъ, вызываемыхъ ночными привидѣніями, отъ кошмара самаго зловѣщаго страха, пока не свершится все, пока воздухъ Даніи, чреватый человѣческой гнилью, не вполнѣ очистится снова.

Въ первыхъ сценахъ «Лира» насъ такимъ же образомъ непосредственно вовлекаютъ въ чужія судьбы, в
развертывающіяся и заканчивающіяся передъ
зами. Поэтъ даетъ намъ здѣсь зрѣлище еще
ное, чѣмъ всѣ ужасы міра колдовства и ц
именно, онъ показываетъ намъ человѣческу
торая разбиваетъ всѣ плотины разума и шум

въ потрясающемъ величіи королевскаго безумія, соперничая съ возмутившеюся природой въ ея самомъ дикомъ смятеніи. Но здѣсь, я думаю, кончаются та необычайная мощь, то игривое своеволіе, съ которымъ Шекспиръ всегда умѣлъ одолѣвать свой матеріалъ, здѣсь его геній властвуетъ надъ нимъ гораздо болѣе, чѣмъ въ упомянутыхъ трагедіяхъ, въ «Макбетѣ» и «Гамлетѣ», гдѣ онъ съ художественною небрежностью сумѣлъ рисовать, на ряду съ самыми мрачными тѣнями душевной ночи, самые розовые свѣточи остроумія, на ряду съ самыми дикими поступками — самую свѣтлую жизнь въ безмятежной тиши. Да, въ трагедіи «Макбетъ» улыбается намъ кроткая, умиротворенная природа; на оконныхъ карнизахъ замка, въ которомъ совершается самое кровавое злодѣяніе, лѣпятся тихія гнѣзда ласточекъ, привѣтливое шотландское лѣто, не слишкомъ знойное, не слишкомъ холодное, вѣетъ во всей пьесѣ; повсюду красивыя деревья и зеленая листва, а подъ конецъ движется даже лѣсъ; бирнемскій лѣсъ подходитъ къ Дунсинену. Также и въ «Гамлетѣ» очаровательная природа составляетъ контрастъ съ удушливостью дѣйствія; пусть въ груди героя царитъ ночь—солнце отъ этого восходитъ не менѣе румяно, и Полоній—забавный шутъ, и спокойно разыгрывается комедія, и подъ зелеными деревьями сидитъ бѣдная Офелія, и изъ пестрыхъ, яркихъ цвѣтовъ сплетаетъ она свои вѣнки. Но въ «Лирѣ» нѣтъ такихъ контрастовъ между поступками людей и природой, и разнузданныя стихіи ревутъ и бушуютъ взапуски съ безумнымъ королемъ. Вліяетъ ли моральное событіе совершенно необычайнаго рода также на такъ-называемую безжизненную природу? Существуетъ ли между ею и душой человѣка внѣшнее, явное родство? Призналъ ли его и хотѣлъ ли его представить нашъ поэтъ?

Съ первой сцены этой трагедіи Шекспиръ, какъ мы уже сказали, вводитъ насъ въ средину событій, и какъ ни ясно небо, острое зрѣніе можетъ уже наперед увидѣть будущую грозу. Въ разсудкѣ Лира уже имѣется облачко, которое впослѣдствіи сгустится въ самую мрачную духовную ночь. Кто такимъ образомъ все раздаетъ, тотъ уже помѣшанъ. Какъ духъ героя, такъ и характеръ дочерей, мы узнаемъ уже въ экспозиціи; именно, насъ тотчасъ же трогаетъ молчаливая нѣжность Корделіи, этой новой Антигоны, превосходящей задушевностью свою древнюю сестру. Да, она чистая душа, какъ это сознаетъ король впервые въ сумасшествіи. Совершенно чистая? Я думаю, она немного своенравна, и это

пятнышко—родимое пятно отца. Но истинная любовь очень стыдлива и ненавидитъ всякое пустословіе; она умѣетъ только плакать и истекать кровью. Грустная горечь, съ которой Корделія намекаетъ на лицемѣріе сестеръ,—самаго нѣжнаго свойства... Ея душа разражается справедливѣйшимъ недовольствомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживаетъ все свое благородство въ словахъ:

«Право, изъ одной только любви къ моему отцу не выйду я замужъ такъ, какъ мои сестры»...

Юлія.

(«Ромео и Юлія»).

Въ самомъ дѣлѣ, каждая шекспировская пьеса имѣетъ свой особый климатъ, свое опредѣленное время года и свои мѣстныя особенности. Какъ лица въ каждой изъ этихъ драмъ, такъ видимыя тамъ и земля, и небо имѣютъ свою особую физіономію. Здѣсь, въ «Ромео и Юліи», мы перешли Альпы и внезапно очутились въ прекрасномъ саду, называемомъ Италіей...

Ты знаешь страну, гдѣ лимоны цвѣтутъ?..

Залитую солнцемъ Верону избралъ Шекспиръ для великихъ подвиговъ любви, которые онъ хотѣлъ прославить въ «Ромео и Юліи». Да, не эта чета, но сама любовь является героемъ этой драмы. Любовь выступаетъ здѣсь юношески смѣло, наперекоръ всѣмъ враждебнымъ обстоятельствамъ и все побѣждая... Ибо она не страшится въ великой борьбѣ искать защиты у самаго страшнаго, но зато самаго надежнаго союзника — у смерти. Любовь въ союзѣ со смертью непобѣдима. Любовь! Она высшая и побѣдоноснѣйшая изъ всѣхъ страстей. Но ея всепобѣждающая сила заключается въ ея безграничномъ великодушіи, въ ея почти сверхчувственномъ безкорыстіи, въ ея готовомъ на всякое самопожертвованіе презрѣніи къ жизни. Для любви не существуетъ вчерашняго дня, и не думаетъ она ни о какомъ завтра... Она жаждетъ только сегодняшняго дня, но этотъ день требуетъ она весь, не урѣзанный, не омраченный... Она ничего не хочетъ сохранить отъ него для будущаго и пренебрегаетъ подогрѣтыми остатками прошедшаго... «Передо мною ночь, за мною ночь»... Она блуждающій огонь между двумя потемками...

Изъ чего она возникаетъ?.. Изъ непостижимо крошечныхъ искорокъ!.. Какъ она кончается?.. Она гаснетъ без-

слѣдно, также непостижимо... Чѣмъ сильнѣй горитъ она, тѣмъ скорѣе гаснетъ... Но это не мѣшаетъ ей вполнѣ отдаваться своему пылающему влеченію, точно этотъ огонь длится вѣчность...

Ахъ, когда насъ вторично въ жизни охватитъ великое пламя, то, къ сожалѣнію, нѣтъ уже этой вѣры въ его безсмертіе, и болѣзненнѣйшее воспоминаніе говоритъ намъ, что подъ конецъ оно само пожираетъ себя... Отсюда различіе меланхоліи въ первой любви и во вторичной... При первой мы воображаемъ, что наша страсть можетъ кончиться только трагической смертью, и дѣйствительно, когда никакъ иначе нельзя превозмочь грозящія намъ трудности, мы легко рѣшаемся сойти въ могилу вмѣстѣ съ возлюбленной... Напротивъ, при вторичной любви въ нашей душѣ кроется мысль, что самыя бурныя и прекрасныя чувства наши со временемъ обратятся въ вялое спокойствіе, что придетъ пора, когда мы будемъ хладнокровно смотрѣть на столь пламенно воодушевляющіе насъ теперь глаза, губы, бедра... Ахъ, эта мысль меланхоличнѣе всякаго предчувствія смерти!.. Безотрадное чувство—среди самаго знойнаго опьянѣнія думать о будущемъ отрезвленіи и холодѣ, и знать по опыту, что всѣ высокопоэтическія, геройскія страсти имѣютъ такой плачевно прозаическій конецъ!..

Ахъ, эти высокопоэтическія, геройскія страсти! Какъ театральныя принцессы, ярко накрашены онѣ, пышно разодѣты, увѣшаны блестящими украшеніями, и гордо расхаживаютъ по сценѣ, и декламируютъ размѣренными ямбами... Но лишь только падаетъ занавѣсъ, снова надѣваетъ бѣдная принцесса свое будничное платье, смываетъ со щекъ румяна, сдаетъ наряды гардеробмейстеру, и затѣмъ виснетъ на рукѣ перваго встрѣчнаго референдарія городского суда, говоритъ на плохомъ берлинскомъ жаргонѣ, поднимается со своимъ кавалеромъ въ мансарду, и зѣваетъ, и ложится, и начинаетъ громко храпѣть, и не слышитъ болѣе сладкихъ увѣреній: «Вы играли божественно, честное слово!»

Я не осмѣливаюсь хотя сколько-нибудь порицать Шекспира, мнѣ только хотѣлось бы высказать мое удивленіе по поводу того, что Шекспиръ заставляетъ Ромео сначала чувствовать страсть къ Розалиндѣ, прежде чѣмъ онъ приводитъ его къ Юліи. Несмотря на то, что онъ вполнѣ отдается второй любви, въ его душѣ все-таки гнѣздится нѣкоторый скептицизмъ, проявляющійся въ ироническихъ оборотахъ рѣчи и нерѣдко напоминающій Гамлета. Или,

быть-можетъ, у мужчины вторая любовь сильнѣе первой, именно потому, что тогда она идетъ рука объ руку съ яснымъ самосознаніемъ? У женщины не существуетъ второй любви, ея натура слишкомъ нѣжна для того, чтобы она могла два раза выдержать самое страшное землетрясеніе души. Посмотрите на Юлію. Развѣ она была бы въ состояніи вторично вынести всѣ эти чрезмѣрныя блаженства и ужасы, вторично, наперекоръ всякой боязни, осушить страшный кубокъ? Я думаю, достаточно и перваго раза съ этой бѣдной счастливицы, этой чистой жертвы великой страсти.

Юлія любитъ въ первый разъ и любитъ съ полнымъ здоровьемъ тѣла и души. Ей четырнадцать лѣтъ, что въ Италіи равняется семнадцати годамъ сѣвернаго курса. Она—розовый бутонъ, только-что раскрытый на нашихъ глазахъ поцѣлуемъ Ромео и распускающійся въ юной прелести. Она не учила ни по свѣтскимъ, ни по духовнымъ книгамъ, что̀ такое любовь; это сказало ей солнце, и повторилъ мѣсяцъ, и, какъ эхо, произнесло вслѣдъ за ними ея сердце, когда она думала ночью, что ее никто не подслушиваетъ. Но подъ балкономъ стоялъ Ромео, и слышалъ ея рѣчи, и ловитъ ее на словѣ. Характеръ ея любви — правдивость и здоровье. Дѣвушка дышитъ здоровьемъ и правдивостью, и трогательно слушать, какъ она говоритъ:

«Мое лицо покрыто маской ночи,
Иначе-бъ ты увидѣлъ, какъ оно
Зардѣлось отъ стыда за тѣ слова
Признанія, что̀ ты сейчасъ подслушалъ.
Желала-бъ я приличье соблюсти,
Желала бы, желала бы отречься
Отъ словъ своихъ—но прочь такая ложь!
Ты любишь ли меня? Впередъ я знаю,
Что скажешь «да», и слова твоего
Довольно мнѣ. Когда-бъ ты въ томъ поклялся
То, все равно, ты могъ бы обмануть,—
Вѣдь, говорятъ, надъ клятвами влюбленныхъ
Смѣется Зевсъ. О, милый мой Ромео,
Когда меня ты любишь, это мнѣ
Ты искренно скажи; когда-жъ находишь,
Что слишкомъ я поспѣшно отдаюсь,
То я приму сердитый видъ, нахмурюсь
И на твои мольбы отвѣчу «нѣтъ».
Да, признаюсь, я слишкомъ безразсудна,
И вѣтреной меня ты можешь звать.
Но вѣрь ты мнѣ, прекрасный мой Монтекки,
Что окажуся я вѣрнѣе тѣхъ,
Которыя искуснѣе умѣютъ
Казаться неприступными; и я

Сама была бы менѣе доступна,
Когда-бъ меня ты не засталъ врасплохъ
И истинной любви моей признанья
Не услыхалъ. Итакъ, прости меня
И не считай сговорчивости этой
За вѣтреность въ любви: мою любовь
Лишь ночи тьма нежданно такъ открыла».

Дездемона.

(«Отелло»).

Выше я замѣтилъ вскользь, что характеръ Ромео заключаетъ въ себѣ нѣчто гамлетовское. Дѣйствительно, сѣверная серьезность бросаетъ полосы тѣни на эту пламенную душу. Если сравнить Юлію съ Дездемоной, то въ первой тоже будетъ замѣтенъ сѣверный элементъ; при всей силѣ ея страсти она все-таки не теряетъ самосознанія, и въ этомъ самомъ ясномъ самосознаніи постоянно остается госпожей своихъ дѣйствій. Юлія любитъ, и мыслитъ, и дѣйствуетъ. Дездемона любитъ, и чувствуетъ, и повинуется, но не собственной волѣ, а болѣе сильному побужденію. Ея превосходство состоитъ въ томъ, что злое не можетъ произвести надъ ея благородной природой такого насилія, какъ доброе. Она бы, конечно, всегда оставалась въ палаццо своего отца робкимъ ребенкомъ, заботясь о домашнемъ хозяйствѣ; но голосъ мавра поразилъ ея слухъ, и, хотя она опускаетъ глаза, но все-таки видитъ его лицо въ его словахъ, въ его разсказахъ, или, какъ она выражается, «въ его душѣ...» И это страдающее, великодушное, прекрасное, бѣлое душевное лицо наполнило ея сердце неотразимо увлекательными чарами. Да, правъ ея отецъ, мудрый сенаторъ Брабанціо: могучее волшебство было виною тому, что робкое, нѣжное дитя почувствовало влеченіе къ мавру и не испугалось той противной черной личности, которую толпа принимала за дѣйствительное лицо Отелло...

Любовь Юліи дѣятельна, любовь Дездемоны страдательна. Она подобна подсолнечнику, который самъ не знаетъ, что постоянно обращаетъ свою голову къ высокому дневному свѣтилу. Она истая дочь юга, нѣжная, воспріимчивая, терпѣливая, какъ тѣ стройныя женщины, съ большими жгучими глазами, которыя блещутъ такъ мило, такъ нѣжно, такъ мечтательно изъ санскритскихъ поэтическихъ произведеній. Она мнѣ постоянно напоминаетъ «Саконталу» Калидасы, индѣйскаго Шекспира.

Англійскій граверъ, которому мы обязаны находящимся передъ нами изображеніемъ Дездемоны, быть-можетъ, придалъ ея глазамъ слишкомъ сильное выраженіе страсти. Но я, кажется, уже замѣтилъ, что въ противоположности между наружностью и характеромъ всегда заключается интересная привлекательность. Во всякомъ случаѣ, однако, это лицо очень красиво, и именно пишущему эти строки оно должно очень нравиться, такъ какъ напоминаетъ ему ту чудную красавицу, которая, слава Богу, никогда особенно не хулила его собственное лицо и видѣла это лицо до сихъ поръ только въ его душѣ...

«Ея отецъ любилъ меня и часто
Звалъ въ домъ къ себѣ. Онъ заставлялъ меня
Разсказывать исторію всей жизни,
Годъ за годъ—всѣ сраженія, осады
И случаи, пережитые мной.
Я пробѣгалъ все это, начиная
Отъ дѣтскихъ дней до самаго мгновенья,
Когда меня онъ слышать пожелалъ.
Я говорилъ о всѣхъ моихъ несчастьяхъ,
О бѣдствіяхъ на сушѣ и моряхъ:
Какъ ускользнулъ въ проломѣ я отъ смерти,
На волоскѣ висѣвшей отъ меня;
Какъ взятъ былъ въ плѣнъ врагомъ жестокосердымъ
И проданъ въ рабство; какъ затѣмъ опять
Я получилъ свободу. Говорилъ я
Ему о томъ, что мнѣ встрѣчать случалось
Во время странствій: о большихъ пещерахъ,
Безплоднѣйшихъ пустыняхъ, страшныхъ безднахъ,
Утесахъ неприступныхъ и горахъ,
Вершинами касающихся неба;
О канибалахъ, что̀ ѣдятъ другъ друга,
О племени антропофаговъ злыхъ
И о людяхъ, которыхъ плечи выше,
Чѣмъ головы. Разсказамъ этимъ всѣмъ
Съ участіемъ внимала Дездемона,
И каждый разъ, какъ только отзывали
Домашнія дѣла ее отъ насъ,
Она скорѣй старалась ихъ окончить,
И снова шла, и жадно въ рѣчь мою
Впивалася. Все это я замѣтилъ
И, улучивъ удобный часъ, искусно
Сумѣлъ у ней изъ сердца вырвать просьбу—
Пересказать подробно ей все то,
Что̀ слышать ей до этихъ поръ безъ связи,
Урывками одними привелось.
И началъ я разсказъ мой, и не разъ
Въ ея глазахъ съ восторгомъ видѣлъ слезы,
Когда я ей повѣствовалъ о страшныхъ
Несчастіяхъ изъ юности моей.

Окончилъ я—и цѣлымъ міромъ вздоховъ
Она меня за трудъ мой наградила,
И мнѣ клялась, что это странно, чудно,
И горестно, невыразимо горько;
Что лучше ужъ желала бы она
И не слыхать про это; но желала-бъ,
Чтобъ Богъ ее такою сотворилъ,
Какъ я; потомъ меня благодарила,
Прибавивши, что, если у меня
Есть другъ, въ нее влюбленный,—пусть онъ только
Разскажетъ ей такое-жъ о себѣ—
И влюбится она въ него. При этомъ
Намекѣ я любовь мою открылъ.
Она меня за муки полюбила,
А я ее—за состраданье къ нимъ».

Эта трагедія, вѣроятно, принадлежитъ къ послѣднимъ трудамъ Шекспира, какъ «Титъ Андроникъ» признается его первымъ произведеніемъ. Тамъ, какъ и здѣсь, разработана съ любовью страсть красивой женщины къ безобразному мавру. Зрѣлый человѣкъ снова вернулся къ задачѣ, которою занимался въ юности. Нашелъ ли онъ дѣйствительно теперь рѣшеніе? Такъ же ли правдиво это рѣшеніе, какъ и прекрасно? Иногда охватываетъ меня мрачная скорбь, когда я даю просторъ мысли, что, быть-можетъ, честный Яго съ его злыми комментаріями насчетъ любви Дездемоны къ мавру не совсѣмъ неправъ. Но особенно противно дѣйствуютъ на меня замѣчанія Отелло насчетъ влажныхъ рукъ его жены.

Столь же странный и замѣчательный примѣръ любви къ мавру, какой встрѣчаемъ мы въ «Титѣ Андроникѣ» и въ «Отелло», находимъ въ «Тысячѣ и одной ночи», гдѣ одна красивая принцесса, которая въ то же время волшебница, держитъ своего мужа въ окаменѣломъ видѣ, подобно статуѣ, и ежедневно поретъ его розгами за то, что онъ убилъ ея любовника, отвратительнаго негра. Раздирательны вопли царевны у одра чернаго трупа, который она, съ помощью своего волшебства, умѣетъ поддерживать въ состояніи кажущейся жизни, и покрываетъ полными отчаянія поцѣлуями, и желала бы, съ помощью еще бо́льшаго волшебства, любви, пробудить изъ сонной полусмерти къ полной, дѣйствительной жизни. Еще мальчикомъ я былъ пораженъ въ арабскихъ сказкахъ этою картиною страстной и непостижимой любви.

Джессика.

(«Венеціанскій Купецъ»).

Когда я смотрѣлъ эту пьесу въ Дрюриленскомъ театрѣ,

позади меня, въ ложѣ, стояла красивая британка, сильно плакавшая въ концѣ четвертаго акта и неоднократно повторявшая: the poor man is wronged! («съ бѣднымъ человѣкомъ поступаютъ несправедливо»). Лицо ея имѣло благороднѣйшій греческій характеръ, глаза были черные. Я никогда не могъ забыть этихъ большихъ и черныхъ глазъ, плакавшихъ о Шейлокѣ!

Но когда я думаю объ этихъ слезахъ, то не могу не относить «Венеціанскаго Купца» къ трагедіямъ, хотя рамка этой пьесы изукрашена самыми веселыми масками, сатирическими картинками и любовными похожденіями, да и самъ поэтъ хотѣлъ написать собственно комедію. Быть-можетъ, Шекспиръ имѣлъ намѣреніе, на потѣху толпѣ, представить затравленнаго оборотня, ненавистное сказочное существо, алчущее крови, но при этомъ лишающееся своей дочери и своихъ червонцевъ и надъ которымъ вдобавокъ еще издѣваются. Но геній поэта, присутствующій въ немъ міровой духъ, стоитъ всегда выше его личной воли, и такимъ образомъ случилось, что въ Шейлокѣ, несмотря на рѣзкую карикатуру, онъ высказалъ оправданіе несчастной сектѣ, на которую Промыслъ, по какимъ-то таинственнымъ причинамъ, обрушилъ ненависть низшихъ и высшихъ слоевъ общества, и которая не всегда хотѣла платить за такую ненависть любовью.

Но что я говорю? Геній Шекспира становится выше мелочной вражды двухъ религіозныхъ партій, и его драма собственно не выставляетъ намъ ни евреевъ, ни христіанъ, а притѣснителей и притѣсненныхъ и безумно болѣзненныя ликованія этихъ послѣднихъ, когда они могутъ отплатить съ процентами своимъ надменнымъ мучителямъ за причиненныя боли. О различіи религій въ этой пьесѣ нѣтъ и рѣчи, нѣтъ малѣйшаго намека, и въ Шейлокѣ Шекспиръ представляетъ намъ только человѣка, которому природа повелѣваетъ ненавидѣть своего врага, какъ въ Антоніо и его друзьяхъ онъ отнюдь не рисуетъ послѣдователей того божественнаго ученія, которое повелѣваетъ намъ любить нашихъ враговъ. Шейлокъ говоритъ человѣку, желающему занять у него деньги, слѣдующія слова:

« . . . . . Синьоръ
Антоніо, припомните, какъ часто
Въ Ріальто вы ругались надо мной
Изъ-за моихъ же денегъ и процентовъ,
Я это все всегда переносилъ,

Съ терпѣніемъ плечами пожимая;
Терпѣніе-жъ наслѣдственный удѣлъ
Всей націи еврейской. Вы меня
Ругали псомъ, отступникомъ, злодѣемъ,
Плевали мнѣ на мой кафтанъ жидовскій —
И это все за то лишь, что своимъ
Я пользуюсь. Теперь, какъ видно, помощь
Моя нужна—ну, что-жъ! впередъ! и вы
Приходите ко мнѣ и говорите:
«Шейлокъ, намъ нужны деньги». Это вы
Такъ просите, вы, часто такъ плевавшій
Мнѣ въ бороду, дававшій мнѣ пинки,
Какъ будто псу чужому, что забрался
На вашъ порогъ. Вамъ нужны деньги. Что-жъ
Мнѣ слѣдуетъ отвѣтить? Не сказать ли:
«Да развѣ же имѣетъ деньги песъ?
Да развѣ же возможно, чтобъ собака
Три тысячи червонцевъ вамъ дала!»
Иль, можетъ-быть, я долженъ низко шляпу
Предъ вами снять и тономъ должника,
Едва дыша, вамъ прошептать смиренно:
«Почтеннѣйшій синьоръ мой, на меня
Вы въ середу прошедшую плевали,
Въ такой-то день вы дали мнѣ пинка,
Въ другой—меня собакой обругали;
И вотъ теперь, за ласки эти всѣ,
Я приношу вамъ столько-то и столько».

іо отвѣчаетъ на это:

«Я и теперь готовъ тебя назвать
Собакою, и точно такъ же плюнуть
Въ твое лицо, и дать тебѣ пинка».

:е тутъ христіанская любовь! Поистинѣ, Шекспиръ ь бы сатиру на христіанство, если бы выставилъ іставителями тѣхъ лицъ, которыя такъ враждебно ы противъ Шейлока, но сами едва достойны раз-ремень у его обуви. Обанкрутившійся Антоніо—сла-пенная энергіи натура, лишенная силы ненависть, вательно и силы любить, съ сѣренькимъ сердцемъ , и мясо котораго дѣйствительно годится только на ы «прикармливать имъ рыбу». Занятыя три тысячи ь онъ совсѣмъ не возвращаетъ обманутому еврею. і Бассаніо не отдаетъ ему денегъ, и этотъ госпо-іастоящій fortune hunter, по выраженію одного ан-о критика; онъ занимаетъ деньги, чтобы роскошно ідиться и устроить себѣ богатую женитьбу, заполу-ирненькое приданое; ибо, — говоритъ онъ своему

«Антоніо, не безызвѣстно вамъ,
Какъ сильно я дѣла свои разстроилъ,
Живя пышнѣй, чѣмъ позволяли мнѣ
Мои, совсѣмъ не важные, рессурсы.
Я не скорблю о томъ, что не могу
Жить долѣе такъ весело и пышно,
Но главная забота у меня —
Какъ заплатить долги мои большіе
Въ которые я мотовствомъ своимъ
Былъ вовлеченъ».

Что же касается Лоренцо, то онъ является соучастникомъ самаго подлаго воровства, и по прусскимъ законамъ былъ бы присужденъ къ пятнадцатилѣтнему заключенію въ смирительномъ домѣ, заклейменію и выставкѣ у позорнаго столба, несмотря на то, что онъ полонъ трогательной любви не только къ краденымъ червонцамъ и драгоцѣнностямъ, но также и къ красотамъ природы, къ ландшафтамъ при лунномъ освѣщеніи и музыкѣ. Что касается прочихъ благородныхъ венеціанцевъ, выступающихъ товарищами Антоніо, то всѣ они тоже, повидимому, не слишкомъ ненавидятъ деньги, и для ихъ бѣднаго друга, когда онъ впалъ въ бѣду, у нихъ не находится ничего, кромѣ словъ, этого чеканеннаго воздуха. Нашъ добрый піетистъ Францъ Горнъ дѣлаетъ по этому поводу слѣдующее очень водянистое, но вполнѣ справедливое замѣчаніе: «Здѣсь естественно задать вопросъ: какимъ образомъ бѣдственное положеніе Антоніо могло дойти до такихъ предѣловъ? Вся Венеція знала и цѣнила его; его добрые знакомые отлично знали объ ужасной росписке, знали и то, что еврей не допуститъ измѣнить въ ней ни единой черточки. Тѣмъ не менѣе, они пропускаютъ день за днемъ, пока, наконецъ, не истекли три мѣсяца, и вмѣстѣ съ ними не исчезла надежда на спасеніе. Между тѣмъ, вѣдь тѣмъ добрымъ пріятелямъ, которыхъ цѣлая толпа окружаетъ королевскаго купца, было бы не трудно собрать сумму въ три тысячи червонцевъ, чтобы спасти жизнь человѣка, и какую еще жизнь! Но такого рода дѣло всегда нѣсколько неудобно; и вотъ такимъ образомъ эти милые, добрые друзья именно потому, что они только такъ-называемые друзья, или, если хотите, полудрузья или на три четверти друзья — не дѣлаютъ ничего, и снова ничего, и ровно ничего. Они сожалѣютъ превосходнаго купца, который прежде имъ задавалъ такіе прекрасные пиры, сожалѣютъ чрезвычайно, но съ должнымъ спокойствіемъ; ругаютъ Шейлока, насколько могутъ это дѣлать языкъ и сердце, что также

было совершенно безопасно, и вѣроятно полагаютъ, что этимъ они выполнили долгъ дружбы. Какъ бы ни должны мы были ненавидѣть Шейлока, все-таки нельзя порицать его за то, что онъ нѣсколько презираетъ этихъ людей, на что, конечно, имѣетъ полное право. Да и Граціано, котораго извиняетъ отсутствіе, онъ подъ конецъ, кажется, смѣшиваетъ съ ними и ставитъ на одну доску, когда рѣзкимъ отвѣтомъ клеймитъ прежнюю бездѣятельность и теперешнее многословіе:

«Ругательствамъ твоимъ не соскоблить
На векселѣ печати; значитъ, крикомъ
Ты лишь свою печенку надорвешь.
Побереги, о юноша любезный,
Свой острый умъ,—не то навѣки онъ
Разрушится. Я жду здѣсь правосудья».

Или ужъ не считать ли представителемъ христіанства Ланчелота Гоббо? О христіанствѣ, что̀ довольно странно, Шекспиръ нигдѣ не выразился такъ опредѣленно, какъ въ одномъ разговорѣ, который этотъ шутъ ведетъ со своей госпожей. На слова Джессики:

«Меня спасетъ мой мужъ, онъ сдѣлалъ меня христіанкой!»

Ланчелотъ Гоббо отвѣчаетъ:

«За это онъ достоенъ еще бо́льшаго порицанія. Насъ и безъ того довольно христіанъ на свѣтѣ,—какъ разъ столько, сколько нужно, чтобъ имѣть возможность мирно жить вмѣстѣ. Это обращеніе въ католическую вѣру возвыситъ только цѣну на свиней, такъ какъ, если мы всѣ начнемъ ѣсть свинину, то скоро ни за какія деньги не достанешь жаренаго сала».

Право, за исключеніемъ Порціи, Шейлокъ — самая почтенная фигура во всей пьесѣ. Онъ любитъ деньги, онъ не скрываетъ этой любви, онъ кричитъ о ней на площади... Но существуетъ нѣчто, цѣнимое имъ еще выше денегъ, именно—удовлетвореніе своего оскорбленнаго сердца, справедливое возмездіе за несказанныя поруганія; и хотя ему предлагаютъ возвратить занятую у него сумму удесятеренною, онъ ее отвергаетъ, и три тысячи, десять разъ три тысячи червонцевъ не прельщаютъ его, если онъ можетъ купить цѣной ихъ фунтъ мяса изъ сердца своего врага. «Что̀ ты будешь дѣлать съ этимъ мясомъ?»—спрашиваетъ его Саларино. И онъ отвѣчаетъ:

«Прикармливать рыбу. Если оно не насытитъ никого, то насытитъ мое мщеніе. Онъ ругался надо мной и сдѣлалъ мнѣ убытку на полмилліона, онъ смѣялся надъ моими потерями, надъ моими заработками, ругалъ мой народъ, мѣшалъ моимъ торговымъ дѣламъ, охлаждалъ мо-

ихъ друзей, разгорячалъ моихъ враговъ—и все это за что? За то, что я жидъ. Да развѣ у жида нѣтъ глазъ? развѣ у жида нѣтъ рукъ, органовъ, членовъ чувствъ, привязанностей, страстей? развѣ онъ не ѣстъ ту же пищу, что и христіанинъ? развѣ онъ ранитъ себя не тѣмъ же оружіемъ и подверженъ не тѣмъ же болѣзнямъ? лѣчится не тѣми же средствами? согрѣвается и знобится не тѣмъ же лѣтомъ и не тою же зимою? Когда вы насъ колете, развѣ изъ насъ не идетъ кровь? когда вы насъ щекочете, развѣ мы не смѣемся? когда вы насъ отравляете, развѣ мы не умираемъ, а когда вы насъ оскорбляете, развѣ мы не отмщаемъ? Если мы похожи на васъ во всемъ остальномъ, то хотимъ быть похожи и въ этомъ. Когда жидъ обидитъ христіанина, къ чему прибѣгаетъ христіанское смиреніе? Къ мщенію. Когда христіанинъ обидитъ жида, къ чему должно, по вашему примѣру, прибѣгнуть его терпѣніе? Ну, тоже къ мщенію. Гнусности, которымъ вы меня учите, я примѣняю къ дѣлу—и коли не превзойду своихъ учителей, такъ, значитъ, мнѣ сильно не повезетъ счастіе».

Нѣтъ, хотя Шейлокъ и любитъ деньги, но существуютъ вещи, которыя онъ любитъ еще больше, и между ними также свою дочь, «Джессику, дитя мое». Хотя онъ въ сильнѣйшемъ припадкѣ гнѣва проклинаетъ ее и желалъ бы видѣть мертвой у своихъ ногъ съ брильянтами въ ушахъ, съ червонцами въ гробу, тѣмъ не менѣе онъ ее любитъ больше, чѣмъ всѣ червонцы и драгоцѣнности. Вытѣсненному изъ общественной жизни, изъ христіанскаго общества въ ограниченное пользованіе домашнимъ счастіемъ, бѣдному еврею остаются лишь семейныя привязанности, и онѣ обнаруживаются у него съ трогательнѣйшею сердечностью. Бирюзовое кольцо, которое ему нѣкогда подарила его жена, его Лея, онъ не отдалъ бы за «цѣлый лѣсъ обезьянъ». Когда въ сценѣ суда Бассаніо говоритъ Антоніо слѣдующія слова:

«Женился я на женщинѣ такой,
Которая дороже мнѣ всей жизни;
Но жизнь мою, жену мою, весь міръ
Я не цѣню дороже вашей жизни.
Все потерять, все въ жертву принести
Вотъ этому чудовищу готовъ я,
Чтобъ васъ спасти...»

и когда Граціано тоже прибавляетъ:

«И я женатъ, люблю свою жену,
Но былъ бы радъ, чтобъ въ небесахъ витала
Она теперь, когда-бъ изъ вышнихъ силъ
Хотя одну могла склонить къ смягченью
Паршиваго жида»,

тогда въ Шейлокѣ пробуждается боязнь за участь своей дочери, которая вышла замужъ за одного изъ людей, способныхъ пожертвовать своими женами ради своихъ друзей, и не громко, но въ «сторону» говоритъ онъ самому себѣ:

«Вотъ какова супружеская жизнь
У христіанъ! Я дочь одну имѣю,
Но лучше бы желалъ, чтобъ мужемъ ей
Былъ человѣкъ изъ племени Варравы,
Чѣмъ кто-нибудь изъ христіанъ».

Это мѣсто, эти тихія слова суть основаніе того обвинительнаго приговора, который мы должны произнести надъ красавицей Джессикой. Этотъ отецъ, котораго она покинула, ограбила, которому измѣнила, былъ не жесткій, не любящій отецъ... Гнусная измѣна! Джессика даже дѣйствуетъ за одно съ врагами Шейлока, и когда они въ Бельмонтѣ говорятъ про него всякія скверности, она не опускаетъ глазъ, не блѣднѣютъ ея губы, но сама она говоритъ про своего отца самое дурное... Ужасное преступленіе! У нея нѣтъ души, есть только ищущій приключеній умъ. Она скучала въ строго замкнутомъ «честномъ» домѣ желчнаго еврея, домѣ, который, наконецъ, ей сталъ казаться адомъ. Легкомысленное сердце было слишкомъ сильно привлекаемо веселыми звуками барабана и флейтъ. Хотѣлъ ли здѣсь Шекспиръ нарисовать еврейку? Конечно, нѣтъ; онъ рисуетъ только дочь Евы, одну изъ тѣхъ прекрасныхъ птичекъ, которыя, лишь только подрастутъ крылышки, выпархиваютъ изъ отцовскаго гнѣзда. Такъ Дездемона послѣдовала за мавромъ, Имогена за Постуміемъ. Таковъ женскій нравъ. У Джессики особенно замѣтна нѣкоторая робкая стыдливость, которую она не можетъ превозмочь, когда ей приходится одѣться мальчикомъ. Быть-можетъ, въ этой чертѣ сказывается та особенная цѣломудренность, которая свойственна ея націи и придаетъ дочерямъ этой націи столь удивительную прелесть. Цѣломудріе евреевъ есть, быть-можетъ, слѣдствіе противодѣйствія, которое они искони оказывали тому восточному служенію чувственности, которое находилось нѣкогда въ полномъ расцвѣтѣ у ихъ сосѣдей, египтянъ, финикіянъ, ассиріянъ и вавилонянъ, и сохранилось, постоянно видоизмѣняясь, до настоящаго дня. Евреи — цѣломудренный, воздержный, я бы сказалъ даже — абстрактный народъ, и по чистотѣ нравовъ они всего болѣе приближаются къ германскому племени. Скромность еврейскихъ и германскихъ женщинъ, быть-можетъ, не имѣетъ абсолютнаго достоинства, но въ своемъ проявленіи она производитъ самое милое, пріятное и трогательное впечатлѣніе. Трогательно до слезъ, когда, напримѣръ, послѣ пораженія кимвровъ и тевтоновъ жены ихъ умоляютъ Марія передать ихъ, какъ рабынь, не е[illegible] солдатамъ, но жрицамъ Весты.

Въ самомъ дѣлѣ поразительно то тѣсное сродство, которое господствуетъ между этими обоими народами нравственности, евреями и германцами. Это сродство возникло не историческимъ путемъ, вслѣдствіе того, напримѣръ, что великая семейная хроника евреевъ, Библія, служила всему германскому міру воспитательною книгой; не потому также, что евреи и германцы были издавна непримиримѣйшими врагами римлянъ, и слѣдовательно естественными союзниками; у этого сродства болѣе глубокая причина, и оба народа по кореннымъ свойствамъ такъ близки другъ другу, что на древнюю Палестину можно бы было смотрѣть, какъ на восточную Германію, точно такъ же, какъ теперешнюю Германію слѣдовало бы считать за родину священнаго писанія, за материнскую землю пророчества, за крѣпость чистой духовности.

Но не только Германія носитъ физіономію Палестины, остальная Европа также возвышается до евреевъ. Я говорю возвышается, ибо евреи уже съ самаго начала носили въ себѣ тотъ новый принципъ, который у европейскихъ народовъ явственно развертывается только теперь.

Греки и римляне были восторженно преданы своей землѣ, отечеству. Позднѣйшіе сѣверные переселенцы, вторгнувшіеся въ міръ Греціи и Рима, были преданы особѣ своихъ предводителей, и на мѣсто древняго патріотизма выступаетъ въ средніе вѣка вѣрность вассаловъ, приверженность королю. Но евреи искони держались лишь закона, отвлеченной мысли, какъ наши новые республиканцы-космополиты, уважающіе не отечество и не личность государя, а законъ, какъ самое высшее. Да, космополитизмъ всецѣло выросъ на почвѣ Іудеи . . . . . .

. . . . . .

Что же касается республиканства евреевъ, то я вспоминаю прочитанное у Іосифа Флавія, что въ Іерусалимѣ были республиканцы, противившіеся монархически настроеннымъ иродіанцамъ, сражавшіеся храбрѣе всѣхъ другихъ, никому не дававшіе имени «господина» и самымъ злобнымъ образомъ ненавидѣвшіе римскій абсолютизмъ: свобода и равенство были ихъ религіей. Какая несбыточная мечта!

Но что же служитъ главной причиной той ненависти, которую мы видимъ до нынѣшняго дня между приверженцами Моисеева закона и ученія Христа, и потрясающую картину которой представилъ намъ поэтъ въ «Венеціанскомъ Купцѣ». олицетворяя общее въ частномъ? Есть ли это исконная

братская ненависть, которую мы видимъ уже тотчасъ послѣ сотворенія міра вспыхнувшею между Каиномъ и Авелемъ изъ-за различія богослуженія? Или вообще религія есть только предлогъ, и люди ненавидятъ другъ друга, чтобы только ненавидѣть, точно такъ же, какъ они любятъ другъ друга для того, чтобы любить? На чьей сторонѣ вина въ этой враждѣ? Я не могу въ отвѣтъ на этотъ вопросъ не привести здѣсь одно мѣсто изъ частнаго письма, которое также оправдываетъ и противниковъ Шейлока.

«Я не осуждаю ненависти, которою простой народъ преслѣдуетъ евреевъ, я осуждаю только тѣ несчастныя заблужденія, которыя порождаютъ эту ненависть. Народъ всегда въ сущности правъ, въ основѣ его ненависти, какъ и его любви, лежитъ всегда совершенно правильный инстинктъ, онъ только не умѣетъ правильно формулировать свои ощущенія, и вмѣсто дѣла его гнѣвъ обыкновенно направляется на личность, на невиннаго козла отпущенія временныхъ или мѣстныхъ неурядицъ. Народъ терпитъ недостатокъ, ему не хватаетъ средствъ на пользованіе жизнью, и хотя его увѣряютъ служители государственной церкви, что «человѣкъ находится на землѣ для того, чтобы терпѣть лишенія и, несмотря на голодъ и жажду, повиноваться начальству»,—но народъ все-таки имѣетъ тайное стремленіе къ средствамъ наслажденія жизнью, и онъ ненавидитъ тѣхъ, въ чьихъ ящикахъ и сундукахъ накоплены эти средства; онъ ненавидитъ богатыхъ и радуется, если религія позволяетъ ему отъ всей души отдаваться этой ненависти. Простой народъ всегда ненавидѣлъ въ евреяхъ лишь обладателей денегъ; молніи его гнѣва противъ евреевъ всегда притягивалъ накопленный металлъ. И духъ каждой эпохи давалъ этой ненависти свой пароль. Въ средніе вѣка этотъ пароль носилъ мрачныя краски католической церкви, и евреевъ убивали и грабили ихъ дома—«ибо они распяли Христа», совершенно по той же логикѣ, какъ на Санъ-Доминго нѣсколько чернокожихъ христіанъ во время возстанія бѣгали всюду съ изображеніемъ распятаго Спасителя и фанатически кричали: «Les blancs l'ont tué, tuons les blancs!»

«Мой другъ, вы смѣетесь надъ бѣдными неграми; увѣряю васъ, вестиндскіе плантаторы тогда не смѣялись и были изрублены во искупленіе Христа, какъ за нѣсколько вѣковъ до того—европейскіе евреи. Но черные христіане въ Санъ-Доминго были тоже по существу дѣла правы! Бѣлые жили праздно, въ изобиліи всѣхъ наслажденій, въ то время, какъ

негръ долженъ былъ работать на нихъ въ потѣ своего чернаго лица и въ уплату получать немного рисовой муки и весьма много ударовъ плетьми; чернокожіе были простой народъ.

«Мы не живемъ болѣе въ средніе вѣка, и простой народъ сталъ просвѣщеннѣе, онъ болѣе не убиваетъ евреевъ и не скрашиваетъ болѣе своей ненависти религіею; наше время не столь наивно вѣрующее, традиціонная вражда облекается въ современные обороты рѣчи, и чернь въ пивныхъ, точно въ палатахъ депутатовъ, декламируетъ противъ евреевъ меркатильными, промышленными, научными или даже философскими аргументами. Только лукавые лицемѣры даютъ и понынѣ своей ненависти религіозную окраску и преслѣдуютъ евреевъ во имя Христа; масса же откровенно сознается, что здѣсь въ основаніи лежатъ матеріальные интересы, и она стремится всѣми возможными способами затруднять евреямъ пользованіе ихъ промышленными способностями. Напримѣръ, здѣсь во Франкфуртѣ въ теченіе года имѣютъ право вступить въ бракъ только двадцать четыре исповѣдника Моисеевой вѣры, чтобы ихъ народонаселеніе не возрастало и не оказывало слишкомъ большой конкуренціи христіанскимъ купцамъ. Здѣсь выступаетъ наружу съ открытымъ лицомъ дѣйствительная причина ненависти къ евреямъ, и это лицо вовсе не носитъ мрачнаго, фанатически монашескаго выраженія, но имѣетъ вялыя, просвѣтленныя черты торговца, который боится, чтобы въ торговыхъ дѣлахъ израильскій торговый духъ не опередилъ его.

«Но евреи ли виновны въ томъ, что этотъ духъ торговли развился въ нихъ до такихъ угрожающихъ размѣровъ? Вина цѣликомъ заключается въ томъ безуміи, съ которымъ въ средніе вѣка отвергали значеніе промышленности, смотрѣли на торговлю, какъ на что-то неблагородное, а на денежныя дѣла, даже какъ на нѣчто позорное, и вслѣдствіе этого самую доходную часть такихъ отраслей промышленности отдавали въ руки евреевъ; такимъ образомъ эти послѣдніе, исключенные изъ всѣхъ другихъ занятій, должны были поневолѣ стать самыми утонченными купцами и банкирами. Ихъ принуждали дѣлаться богатыми, а затѣмъ ненавидѣли за ихъ богатство; и хотя въ настоящее время христіанство отреклось отъ предубѣжденія противъ промышленности, и христіане какъ въ торговлѣ, такъ и въ ремеслахъ стали такими же мошенниками и столь же богатыми, какъ и евреи, но тѣмъ не менѣе на евреяхъ не перестаетъ тяготѣть на-

родная ненависть, народъ все еще видитъ въ нихъ представителей богатства и ненавидитъ ихъ. Видите, въ міровой исторіи каждый правъ, какъ молотъ, такъ и наковальня».

Порція.

(«Венеціанскій Купецъ»).

«Вѣроятно, всѣ критики были такъ охвачены и ослѣплены поразительнымъ характеромъ Шейлока, что не воздали должнаго Порціи, хотя характеръ Шейлока въ своемъ родѣ представленъ нисколько не художественнѣе и не законченнѣе, чѣмъ характеръ Порціи въ своемъ. Объ эти блестящія фигуры достойны уваженія, достойны стоять въ богатой области чарующей поэзіи и роскошныхъ, привлекательныхъ формъ. Около ужаснаго, неумолимаго еврея, выдѣляющаяся своимъ блескомъ отъ его мощной тѣни, она виситъ, какъ роскошный, дышащій красотой Тиціанъ рядомъ съ великолѣпнымъ Рембрандтомъ.

«Порція надѣлена надлежащею частью тѣхъ пріятныхъ качествъ, которыя Шекспиръ пролилъ на многихъ своихъ женскихъ характеровъ; но кромѣ достоинства, кромѣ граціозной прелести и нѣжности, которыя вообще отличаютъ ея полъ, у нея есть совершенно своеобразные, особенные дары, высокая умственная сила, вдохновенное настроеніе, рѣшительная твердость и парящая надъ всѣмъ этимъ веселость. Эти свойства ей прирождены; но она обладаетъ и другими превосходными внѣшними качествами, вытекающими изъ ея положенія и отношеній. Она наслѣдница княжескаго имени и неисчислимаго богатства. Постоянно была она окружена свитою услужливыхъ увеселеній; съ дѣтства вдыхала она насыщенный благоуханіемъ и лестью воздухъ. Отсюда повелительная прелесть, аристократическое, свѣтлое изящество, духъ великолѣпія во всемъ, что она дѣлаетъ и говоритъ, какъ ставшая въ близкую связь съ блескомъ со дня своего рожденія. Она движется какъ бы въ мраморныхъ дворцахъ, подъ украшенными золотомъ потолками, по кедровому полу и мозаикѣ изъ яшмы и порфира, въ садахъ со статуями, цвѣтами, фонтанами и таинственной шепчущей музыкой. Она полна убѣдительной мудрости, неподдѣльной нѣжности и живого остроумія. Но такъ какъ она никогда не знала лишенія, горя, страха или неудачи, то въ ея мудрости нѣтъ и слѣда угрюмости или унынія; всѣ е

поступки полны вѣры, надежды, радости, и ея остроуміе лишено всякой злонамѣренности или язвительности».

Вышеприведенныя слова я заимствую изъ одного сочиненія г-жи Джемсонъ, озаглавленнаго: «Нравственные, поэтическіе и историческіе женскіе характеры». Въ этой книгѣ говорится только о женщинахъ Шекспира, и приведенное мѣсто свидѣтельствуетъ о духѣ автора, вѣроятно, шотландки по происхожденію. То, что говоритъ она о Порціи въ противоположность Шейлоку, не только прекрасно, но и вѣрно.

Если мы смотримъ на Шейлока по общепринятому воззрѣнію, какъ на представителя закоренѣлой, суровой, ненавидящей искусство Іудеи, то Порція, напротивъ, явится намъ представительницей того вторичнаго расцвѣта греческаго генія, который въ шестнадцатомъ столѣтіи распространилъ изъ Италіи по всему свѣту свое милое благоуханіе и которое мы еще теперь любимъ и уважаемъ подъ именемъ «Возрожденія». Въ то же время Порція есть представительница свѣтлаго счастія въ противоположность мрачному злосчастію, представитель котораго Шейлокъ. Какъ цвѣтущи, какъ розовы, какъ чисто звучатъ всѣ ея мысли и рѣчи, какъ жизнерадостны ея слова, какъ прекрасны всѣ ея образы, заимствованные по преимуществу изъ миѳологіи! Какъ, наоборотъ, унылы и безобразны мысли и рѣчи Шейлока, который, въ противоположность ей, употребляетъ только ветхозавѣтныя сравненія! Его остроуміе судорожно и ѣдко, свои метафоры ищетъ онъ среди отвратительнѣйшихъ предметовъ, и даже слова его суть сдавленные дисгармоническіе звуки, крикливые, шипящіе и вызывающіе. Каковы люди, таковы и ихъ жилища. Если мы видимъ, что слуга Іеговы не терпитъ въ своемъ «честномъ» домѣ ни Бога, ни человѣка, созданнаго по образу и подобію Божію и даже затыкаетъ уши этого дома, окна, чтобы звуки языческаго маскарада не проникали бы въ его «честный» домъ, то, наоборотъ, видимъ пышнѣйшую и изящнѣйшую загородную жизнь въ прекрасномъ палаццо въ Бельмонтѣ, гдѣ все свѣтъ и музыка, гдѣ посреди картинъ, мраморныхъ статуй и высокихъ лавровъ прогуливаются нарядные женихи, думаютъ о загадкахъ любви, а посреди всего великолѣпія, подобно богинѣ, сіяетъ синьора Порція, кудри которой «блещутъ, какъ солнце, и золотымъ руномъ съ висковъ бѣгутъ». Такимъ контрастомъ настолько индивидуализируются оба главныхъ лица драмы, что можно было бы поклясться—это настоящіе, рожденные женщиной люди, а

не вымыслы фантазіи поэта. Да, они кажутся намъ еще жизненнѣе обыкновенныхъ созданій, такъ какъ ни время, ни смерть не имѣютъ власти надъ ними, и въ ихъ жилахъ бьется безсмертная кровь, вѣчная поэзія. Когда вы пріѣзжаете въ Венецію и ходите по дворцу дожей, то отлично знаете, что ни въ залѣ сенаторовъ, ни на гигантской лѣстницѣ не встрѣтите Марино Фальери—о старомъ Дандоло вы, правда, вспоминаете въ арсеналѣ, но ни на одной изъ золотыхъ галеръ не будете искать слѣпого героя; если увидите на одномъ углу улицы Санта змѣя, вырубленнаго въ камнѣ, а на другомъ—крылатаго льва, держащаго голову змѣя въ лапѣ, то, можетъ-быть, вспомните гордаго Карманьоле, но только на минуту... Но гораздо болѣе, чѣмъ о всѣхъ подобныхъ историческихъ личностяхъ, думаете вы въ Венеціи о Шейлокѣ Шекспира, который все еще живетъ, тогда какъ тѣ давно истлѣли въ гробу, и когда вы подымаетесь на Ріальто, то вашъ взоръ ищетъ его всюду, и вамъ кажется, что онъ гдѣ-нибудь тамъ, позади одной изъ колоннъ, въ своемъ еврейскомъ кафтанѣ, со своимъ недовѣрчиво разсчитывающимъ лицомъ, и иногда вамъ чудится даже, что вы слышите его крикливый голосъ: «Три тысячи червонцевъ—хорошо!».

Я по крайней мѣрѣ, я, странствующій мечтатель, на Ріальто повсюду оглядывался, не найду ли гдѣ-нибудь Шейлока. У меня было бы сообщить ему кое-что, чѣмъ я доставилъ бы ему удовольствіе; напримѣръ, что его родственникъ, господинъ фонъ-Шейлокъ въ Парижѣ, сталъ могущественнѣйшимъ баронмъ христіанскаго міра и получилъ отъ его католическаго величества тотъ орденъ Изабеллы, который нѣкогда былъ основанъ въ ознаменованіе изгнанія мавровъ и евреевъ изъ Испаніи. Но я не замѣтилъ его нигдѣ на Ріальто и потому рѣшился искать стараго знакомаго въ синагогѣ. Евреи какъ разъ праздновали здѣсь свой священный день примиренія и стояли закутанные въ свои бѣлые талары, съ мрачно-печальными движеніями головы, почти похожіе на собраніе привидѣній. Бѣдные евреи, они стояли тамъ, постясь и молясь, съ самаго ранняго утра; со вчерашняго вечера они не ѣли и не пили, а передъ этимъ также просили у всѣхъ знакомыхъ о прощеніи за нанесенныя имъ, быть-можетъ, въ теченіе года обиды, для того, чтобы Богъ простилъ имъ также и ихъ согрѣшенія. Прекрасный обычай, который странно встрѣтить у этихъ людей, для которыхъ ученіе Христа вѣдь осталось совершенно чужимъ.

Въ то время, какъ я, ища стараго Шейлока, внимательно разсматривалъ всѣ блѣдныя, страдальческія, еврейскія лица, я сдѣлалъ одно открытіе, о которомъ, къ сожалѣнію, не могу умолчать. Именно въ этотъ день я посѣтилъ домъ умалишенныхъ Санъ-Карло, и теперь въ синагогѣ бросилось мнѣ въ глаза, что во взглядѣ евреевъ мерцаетъ тотъ же фатальный, наполовину неподвижный, наполовину блуждающій, наполовину хитрый, наполовину тупой блескъ, который я незадолго передъ этимъ замѣтилъ въ глазахъ сумасшедшихъ въ Санъ-Карло. Этотъ неописуемый, загадочный взглядъ свидѣтельствовалъ не собственно объ отсутствіи разума, а скорѣе о господствѣ одной idée fixe. Не обратился ли тотъ догматъ, что провозгласилъ Моисей, въ эту idée fixe цѣлаго народа, который, несмотря на то, что ему въ продолженіе двухъ тысячелѣтій напяливали смирительную рубашку и окатывали его холодными душами, тѣмъ не менѣе не хочетъ отъ нея отказаться, подобно тому сумасшедшему адвокату, котораго я видѣлъ въ Санъ-Карло и котораго также нельзя было разувѣрить въ томъ, что солнце есть англійскій сыръ, что его лучи состоятъ изъ красныхъ червей, и что одинъ такой упавшій лучъ-червь разъѣдаетъ ему лицо?

Этимъ я отнюдь не хочу оспаривать достоинство вышеупомянутой idée fixe, но хочу только сказать, что носители ея слишкомъ слабы для того, чтобы вполнѣ овладѣть ею, и вслѣдствіе того становятся удрученными и неизлѣчимыми. Какое мученичество вытерпѣли уже изъ-за этой идеи! Какое большее мученичество предстоитъ имъ еще впереди! Я содрогаюсь при этой мысли, и безконечное состраданіе пронизываетъ мое сердце. Въ продолженіе всѣхъ среднихъ вѣковъ и до нынѣшняго дня господствующее міровоззрѣніе не находилось въ прямомъ противорѣчіи съ этой идеей, которую Моисей взвалилъ на евреевъ, пристегнулъ къ нимъ священными ремнями, врѣзалъ имъ въ мясо; да, отъ христіанъ и магометанъ они отличались не существенно, отличались не какимъ-нибудь противоположнымъ синтезомъ, но только толкованіями и шиболетомъ. Но если побѣдитъ когда-нибудь сатана, грѣховный пантеизмъ, отъ котораго да сохранятъ насъ всѣ святые, то соберется надъ головами бѣдныхъ евреевъ гроза преслѣдованія, которая далеко превзойдетъ даже ихъ прежнія страданія...

Несмотря на то, что я въ венеціанской синагогѣ озирался по всѣмъ сторонамъ, увидѣть лицо Шейлока мнѣ не

удалось. И все-таки мнѣ казалось, что онъ стоитъ тамъ, спрятанный подъ бѣлымъ таларомъ, молясь ревностнѣе остальныхъ своихъ единовѣрцевъ, съ буйной дикостью, даже съ бѣшенствомъ взывая къ трону Іеговы, грознаго Бога мщенія! Я его не видѣлъ. Но къ вечеру, когда, по вѣрованію евреевъ, затворяются врата неба и ни одна молитва не получаетъ больше туда пропуска, услышалъ я голосъ, въ которомъ струились такія слезы, какія никогда не проливаются человѣческими глазами. Это было рыданіе, способное растрогать камень... Это были звуки боли, какіе могутъ вырываться только изъ груди, замкнувшей въ себѣ мученичество, которое цѣлый гонимый народъ выносилъ въ теченіе восемнадцати столѣтій. Это было хрипѣніе души, падающей въ смертельномъ изнеможеніи передъ небесными вратами... И этотъ голосъ казался мнѣ хорошо знакомымъ, мнѣ чудилось, будто я его слышалъ въ прежнее время, когда онъ съ такимъ же отчаяніемъ вопилъ: «Джессика, дитя мое!..»

КОМЕДІИ.

Миранда.

(«Буря»).

Фердинандъ.

. . . . . Зачѣмъ же эти слезы?

Миранда.

Надъ слабостью моею плачу я,
Которая вамъ предложить не смѣетъ
То, что́ душа желала-бъ вамъ отдать,
Которая принять отъ васъ не смѣстъ
То, безъ чего я вѣрно умерла бы.
Ребячество! Чѣмъ больше я стараюсь—
Что́ чувствую, въ душѣ моей укрыть,
Тѣмъ болѣе я душу открываю.
Прочь ложный стыдъ! Чтобъ душу всю излить,
Пусть чистая невинность дастъ мнѣ силы!
Хотите ли, я буду вамъ женой?
А если нѣтъ—умру служанкой вашей.
Вы можете не взять меня въ подруги,
Но быть рабой вы мнѣ не запретите.

Фердинандъ.

Нѣтъ, должно вамъ, прекрасное созданье,
Повелѣвать. Я буду, какъ теперь,
Васъ обожать и вамъ повиноваться!

Миранда.

И будете супругомъ вы моимъ?

Фердинандъ.

О, съ радостью, какую ощущаетъ
Несчастный рабъ, свободу получивъ!
Моя рука...

Титанія.

(«Сонъ въ Лѣтнюю Ночь»).

Титанія.

Составьте хороводъ и пойте пѣсни.
Потомъ на треть минуты удалитесь;

Ступайте—кто злыхъ гусеницъ топтать,
Кто воевать съ летучими мышами,
Чтобы потомъ для всѣхъ малютокъ эльфъ
Сшить платьица изъ кожаныхъ ихъ крыльевъ;
Кто отгонять толпы несносныхъ совъ,
Которыхъ такъ малютки удивляютъ,
Что напролетъ всю ночь они кричать.
Теперь меня вы пѣсней усыпите,
А тамъ скорѣй летите исполнять
Свои дѣла; я отдыхать здѣсь буду.

Пердита.

(«Зимняя Сказка»).

Пердита.

Приди, возьми цвѣты; мнѣ мнится, будто
Играю я, какъ, видѣла, на святкахъ
Играютъ люди. Видно, одѣянье
Мое мнѣ голову совсѣмъ кружитъ.

Флоризель.

Все, что́ ты сдѣлаешь, то будетъ хорошо.
Когда ты говоришь, тогда желаю,
Чтобъ вѣчно говорила; запоешь,—
И мнѣ хотѣлось бы, чтобъ при хозяйствѣ,
Покупкѣ и продажѣ, при молитвѣ,
Ты все бы пѣла; если пляшешь ты,
Тебя морской волной воображаю;
Хочу, чтобъ вѣчно двигалась, чтобъ только
Въ движеньи и была; что́ ни предпримешь
И что́ ни сдѣлаешь, до мелочей
Все характерно такъ въ тебѣ, чудесно;
Поступокъ всякій—вѣнчанный король.

Оливія.

(«Двѣнадцатая Ночь»).

Віола.

Красавица, позвольте взглянуть на ваше лицо.

Оливія.

Развѣ герцогъ далъ вамъ порученіе къ моему лицу? Вы сбились текста. Однакожъ, я отброшу занавѣсъ и покажу вамъ картину. *(и сбрасываетъ вуаль).* Смотрите: такова я дѣйствительно въ это ювеніе. Хороша ли работа?

Віола.

Превосходна, если одна природа создала ее.

Оливія.

Краса неподдѣльная; не боится ни дождя, ни вѣтра.

Віола.

Гдѣ розы съ лиліями сочетала
Природы нѣжная, искусная рука,
Тамъ красота чиста и неподдѣльна.
Вы будете жесточе всѣхъ, графиня,

Когда въ могилѣ скроете красу
И списка не оставите для міра.

Имогена.

(«Цимболинъ»).

Имогена.

Подъ свой покровъ меня примите, боги,
И сохраните бѣдную меня
Отъ злыхъ духовъ и грѣшныхъ искушеній!
(Она засыпаетъ. Іахимо выходитъ изъ сундука).

Іахимо.

Сверчки поютъ; уставшій отъ трудовъ
Крѣпитъ покоемъ силы. Такъ Тарквиній,
По тростнику подкравшись, разбудилъ
Невинность злодѣяньемъ. О, Цитера,
Какъ можешь ты свое украсить ложе!
Ты—лилія, бѣлѣе всѣхъ покрововъ!
Могу-ль тебя коснуться поцѣлуемъ—
Однимъ лишь поцѣлуемъ? Вы, рубины
Небесные, какъ нѣжно вы сомкнулись!
Все здѣсь ея дыханья ароматомъ
Наполнено. Огонь свѣчи—и тотъ
Склонился къ ней и хочетъ заглянуть
Подъ сѣнь рѣсницъ, чтобы увидѣть звѣзды,
Закрытыя завѣсами окна.

Юлія.

(«Два Веронца»).

Юлія.

Изъ женщинъ многія-ль исполнить могутъ
Такой приказъ? Ахъ, бѣдный мой Протей!
Лисицу ты поставилъ въ пастухи
Своихъ ягнятъ. О, глупая! зачѣмъ
Жалѣешь ты того, кто такъ жестоко
Тобой пренебрегаетъ? Отчего,
Любя ее, меня онъ презираетъ,
А я, его любя, должна жалѣть?
Кольцо ему дала я въ день разлуки,
Чтобъ о моей любви онъ вспоминалъ—
И вотъ теперь меня онъ посылаетъ
Просить того, чего бы не хотѣлось
Мнѣ получить, и предложить ей то,
Что я отвергнутымъ желала-бъ видѣть.
Я вѣрность восхвалять его должна,
Которую хотѣла-бъ опозорить.
Вѣрна я, какъ невѣста, господину,
Но не могу слугой ему быть вѣрнымъ,
Иль я должна сама себя предать.
И буду я ходатаемъ его,

Но равнодушнымъ; въ томъ свидѣтель Богъ,
Какъ сильно я желаю неудачи.

Сильвія.

(«Два Вероница»).

Сильвія.

Вотъ кошелекъ: возьми его себѣ
За преданность покинутой синьорѣ.
Прощай! *(Уходитъ).*

Юлія.

Благодарить она васъ будетъ, если
Сойдетесь съ ней. О, какъ она добра,
Какъ благодарна! Господинъ мой встрѣтитъ
Холодность въ ней, когда такъ горячо
Сочувствуетъ она моей синьорѣ.
Ахъ, какъ любовь сама себя морочитъ!
Посмотримъ на портретъ ея. О, если-бъ
Мое лицо въ такомъ уборѣ было!
Оно не хуже было-бъ, чѣмъ ея.
А все-таки польстилъ ей живописецъ.
Иль слишкомъ я къ самой себѣ пристрастна.
Ея коса каштановаго цвѣта,
Моя же—свѣтло-русаго. О, если
Лишь это къ ней любовь его влечетъ,
Я заведу парикъ такого цвѣта.
Глаза у ней такіе-жъ, какъ мои;
Но низокъ лобъ—мой лобъ гораздо выше.
Но что же въ ней его очаровало,
Чего бы онъ во мнѣ любить не могъ?

Геро.

(«Много шуму изъ ничего»).

Отецъ Францискъ.

Съ кѣмъ васъ въ связи, скажите, обвиняютъ?

Геро.

Спросите тѣхъ, кто обвиняетъ: я
Его не знаю. Если я была
Въ связи съ мужчиной, если измѣнила
Дѣвичьей скромности, да не отпуститъ
Господь грѣховъ моихъ! О, докажите,
Что съ кѣмъ-нибудь, въ часъ ночи неприличный,
Видалась я, иль что вчерашней ночью
Бесѣдовала съ существомъ живымъ,
Вы прокляните дочь свою тогда,
Втопчите въ грязь!

Беатриче.

(«Много шуму изъ ничего»).

Геро.

Но въ ней природа создала образчикъ

Надменной женщины. Ея глаза
Сверкаютъ гордостью; она на все
Глядитъ съ презрѣньемъ; по ея понятью,
Она сама стоитъ такъ высоко,
Что прочее не стоитъ и вниманья.
Съ такой любовью къ собственной особѣ
Нельзя не только что любить другихъ
Но даже и прикинуться влюбленной.

Урсула.

Я то же думаю, и, безъ сомнѣнья,
Ей говорить объ этомъ не годится:
Она его подниметь на смѣхъ.

Геро.

Да.
Ей дай хоть мудреца, хоть раскрасавца,
Она сейчасъ отыщетъ въ немъ порокъ.
Будь бѣлъ, румянъ—такъ годенъ ей въ сестрицы;
Будь черенъ, смуглъ—такъ брызга отъ чернилъ;
Высокъ—такъ шестъ, ушедшій съ голубятни;
Приземистъ—такъ камей дрянной работы;
Молчи—такъ пень, а говори—такъ флюгеръ
Она во всемъ доищется изнанки,
А справедливой похвалы заслугѣ
Отъ ней не жди.

Урсула.

Да, правда, правда: въ ней
Есть страсть язвить—и это не похвально.

Геро.

Колоть такъ зло, какъ колеть Беатриче
И какъ не принято никѣмъ, нигдѣ,
Не только не похвально—не прилично.
Но кто осмѣлится сказать ей это?
Осмѣлься я—бѣда! Ея насмѣшки
Со свѣта сгонятъ, въ порошокъ сотрутъ.
Такой конецъ грозить и Бенедикту.
Нѣтъ, пусть онъ лучше обратится въ пепелъ
Отъ скрытаго огня своей любви,
Чѣмъ быть засмѣяну. Такая смерть
Ужаснѣе, чѣмъ смерть отъ щекотанья.

Елена.

(«Конецъ всему дѣлу вѣнецъ»).

Елена.

Ну, да, я сознаюсь
Предъ Господомъ и вами на колѣняхъ,
Что я его люблю сильнѣй, чѣмъ васъ,
И столько же, какъ Бога. Родъ мой бѣденъ,
Но честенъ былъ—и такова теперь
Моя любовь.
Графиня, не сердитесь!
Вѣдь, этою любовью я вреда

Не приношу тому, кого люблю я.
Ни разу онъ не видѣлъ отъ меня
Искательства и притязаній дерзкихъ;
Его женой хотѣла бы я стать
Не ранѣе, какъ заслуживши это;
А какъ могу я это заслужить—
Рѣшительно не знаю. Знаю только,
Что я люблю безплодно, что борюсь
Съ надеждою напрасно—и однако
Все лью и лью я въ это рѣшето
Дырявое обильнѣйшія рѣки
Моей любви, не истощая ихъ.
Подобная фанатику индійцу,
Боготворю я солнце, а оно
На своего поклонника взираетъ,
Но ничего не вѣдаетъ о немъ.
О, добрая графиня, не встрѣчайте
Мою любовь враждой изъ-за того,
Что обѣ мы одно и то же любимъ!

Целія.

(«Какъ вамъ это нравится»).

Розалинда.

Да, съ этихъ поръ, кузина, я буду весела, и стану выдумывать забавы. Какъ ты думаешь, напримѣръ, объ игрѣ въ любовь?

Целія.

Отлично! Пожалуйста, сдѣлай изъ любви забаву, но не влюбляйся ни въ кого серьезно, да и шутку доведи только до той степени, чтобы имѣть возможность выйти изъ нея съ честью, сохранивъ ненарушимымъ непорочный румянецъ.

Розалинда.

Чѣмъ же мы станемъ забавляться?

Целія.

Сядемъ, и насмѣшками сгонимъ почтенную матушку-фортуну съ ея колеса, для того, чтобы впередъ она раздавала свои дары поровну.

Розалинда.

Мнѣ хотѣлось бы, чтобы мы могли сдѣлать это, потому, что ея благодѣянія распредѣлены крайне неправильно; особенно ошибается добрая слѣпая женщина при раздачѣ своихъ даровъ женщинамъ.

Целія.

Это правда: тѣ, которыхъ она дѣлаетъ красивыми, рѣдко получаютъ отъ нея добродѣтель, а тѣ, которыхъ она дѣлаетъ добродѣтельными, выходятъ изъ ея рукъ очень некрасивыми.

Розалинда.

(«Какъ вамъ это нравится»).

Целія.

Ты слышала эти стихи?

Розалинда.

О, да, я слышала ихъ, и еще прибавку къ нимъ, потомъ что

нѣкоторые изъ этихъ стиховъ имѣли больше ногъ, чѣмъ можетъ быть у стиховъ.

Целія.

Это все равно: поги могли поддержать стихи.

Розалинда.

Да, но самыя ноги хромали, не имѣя силы поддержать себя, и потому заставляли хромать стихи.

Целія.

Но могла ли ты безъ удивленія услышать, что твое имя виситъ и вырѣзано на здѣшнихъ деревьяхъ?

Розалинда.

Когда ты пришла сюда, то уже семь дней изъ девяти было проведено мною въ изумленіи, потому что посмотри, что́ я нашла на одномъ пальмовомъ деревѣ. Меня не воспѣвали такъ сильно со времени Пиѳагора, когда я была ирландскою мышью; а вѣдь это было такъ давно, что я едва помню.

Марія.

(«Двѣнадцатая Ночь»).

Сэръ Андрей.

Если ты такъ уйдешь, такъ чтобъ мнѣ никогда не обнажать шпаги! Что-жъ ты, милочка, думаешь, что водишь дураковъ за носъ?

Марія.

Нѣтъ, сударь, я васъ не вожу за носъ.

Сэръ Андрей.

Такъ вотъ, по крайней мѣрѣ, рука моя.

Марія.

Конечно, сударь, мысли свободны; но все-таки не худо было бы держать ихъ немного на привязи.

Сэръ Андрей.

Это зачѣмъ, мой сахаръ? Что́ значитъ эта метафора?

Віола.

(«Двѣнадцатая Ночь»).

Віола.

Дочь моего родителя любила,
Какъ, можетъ-быть, я полюбила-бъ васъ,
Когда бы слабой женщиной была.

Герцогъ.

А жизнь ея?

Віола.

Пустой листокъ, мой государь.
Она ни слова о своей любви
Не проронила, тайну берегла,
И тайна, какъ червякъ, сокрытый въ почкѣ,
Питалась пурпуромъ ея ланитъ.
Задумчива, блѣдна, въ тоскѣ глубокой,
Какъ геній христіанскаго терпѣнья,
Изсѣченный на камнѣ гробовомъ.

Она съ улыбкою глядѣла на тоску...
Иль это не любовь? Конечно, намъ,
Мужчинамъ, легче говорить и клясться;
Да наши обѣщанья выше воли:
Велики въ клятвахъ мы, въ любви—ничтожны.

Герцогъ.

Сестра твоя скончалась отъ любви?

Віола.

Я—вотъ всѣ дочери и сыновья
Изъ дома моего отца.

Изабелла.

(«Мѣра за мѣру»).

Анджело.

. . . . Положимъ, Изабелла,
Что средство есть спасти его отъ смерти,
Я этого ничуть не утверждаю,
Но привожу, какъ случай. Ты, сестра
Преступника, понравилась вельможѣ,
Котораго вліянье на судей
Его избавить можетъ отъ оковъ,
Наложенныхъ закономъ—и притомъ
Другого средства нѣтъ къ его спасенью,
Какъ этому вельможѣ принести
Сокровище красы своей на жертву—
Иначе, братъ твой долженъ умереть;
Что сдѣлала бы ты?

Изабелла.

Для брата то же
Я сдѣлала-бъ, что для самой себя:
Когда бы смерть висѣла надо мною,
Когда-бъ на мнѣ лежали, какъ рубины,
Рубцы отъ бичеванья, я для смерти
Раздѣлась бы такъ точно, какъ для сна
Желаннаго, но тѣла на позоръ
Не отдала-бъ.

Принцесса Французская.

(«Безплодныя усилія любви»).

Башка.

Добраго вечера всей компаніи! Позвольте васъ спросить, гдѣ здѣсь
а, стоящая во главѣ всѣхъ?

Принцесса.

Ты можешь ее узнать, пріятель, по остальнымъ, которыя всѣ безъ
овъ.

Башка.

Какая самая главная? Самая высокая?

Принцесса.

Самая толстая и самая длинная.

Башка:

И толстая, и длинная; да, такъ:
Что́ правда—остается вѣчно правдой.
Будь ваша талія узка, какъ умъ мой, вамъ
Пришелся-бъ поясокъ одной изъ этихъ дамъ.
Не вы-ль здѣсь главная? Вѣдь несомнѣнно
Вы толще всѣхъ.

Игуменья.

(«Комедія Ошибокъ»).

Игуменья.

Вотъ отчего и помѣшался онъ.
Рѣчь ядовитая жены ревнивой—
Смертельный ядъ, смертельнѣе, чѣмъ зубъ
Взбѣсившейся собаки. Нарушала
Ты сонъ его упреками—и вотъ
Безсонница разстроила разсудокъ.
Ты говоришь, что кушанья его
Укорами ты вѣчно приправляла;
Но при ѣдѣ тревожной не варитъ,
Какъ слѣдуетъ, желудокъ—и родится
Отъ этого горячки страшный пылъ.
А что же есть горячка, какъ не тотъ же
Безумія припадокъ? Говоришь
Ты также мнѣ, что весело развлечься
Мѣшала ты упреками ему.
Отсутствіе отрадныхъ развлеченій
Что́ за собой влечетъ?—одну тоску,
Озлобленную, родственницу злого
Отчаянья, лишеннаго надежд,
И вслѣдъ за ней несмѣтную фалангу
Недуговъ зачумленныхъ, въ нашу жизнь
Вливающихъ отраву. Быть лишеннымъ
Веселья, пищи, сна—отъ этого, повѣрь,
Лишится разума и человѣкъ, и звѣрь.
Изъ этого всего я вотъ что вывесть смѣю:
Его свела съ ума ты ревностью своею.

Мистрисъ Педжъ.

(«Виндзорскія Веселыя Женщины»).

Мистрисъ Куикли.

Вотъ это была бы забавная штука! Надѣюсь—онѣ не такъ просты. штука это была бы, нечего сказать! Да вотъ еще что: мистрисъ къ умоляетъ васъ всею любовью прислать ей вашего маленькаго : ея мужъ удивительно разочарованъ этимъ маленькимъ пажомъ—стеръ Педжъ, вѣрьте слову, прекрасный человѣкъ. Ни одна женъ въ Виндзорѣ не живетъ лучше ея: она дѣлаетъ все, что ей но, имѣетъ все, платитъ за все, ложится спать, когда ей вздумся, встаетъ тоже, когда ей вздумается: все дѣлается, какъ она

хочетъ, и вѣрьте слову, она вполнѣ стоитъ этого: коли есть въ Виндзорѣ милая женщина, такъ ужъ это, конечно, она. Вы должны послать къ ней вашего пажа; тутъ ужъ ничего не подѣлаешь.

Мистрисъ Фордъ.

(«Виндзорскія Веселыя Женщины»).

Фальстафъ.

Полно, Пистоль, теперь не до остротъ! Правда, въ окружности я имѣю два ярда, но теперь меня занимаетъ не убавка, а прибавка. Однимъ словомъ, имѣю я намѣреніе поиграть въ любовь съ женою этого Форда; чую носомъ благорасположеніе ея ко мнѣ. Она любезничаетъ, заигрываетъ, строитъ глазки. Я уразумѣваю смыслъ этого интимнаго стиля; въ немъ даже самая неблагопріятная для меня фраза означаетъ въ переводѣ на чистый англійскій языкъ: «я вся принадлежу сэру Джону Фальстафу».

Анна Педжъ.

(«Виндзорскія Веселыя Женщины»).

Анна.

Не угодно ли и вамъ пожаловать?

Слендеръ.

Нѣтъ, благодарю васъ, повѣрьте честному слову, отъ всего сердца благодарю; мнѣ очень хорошо.

Анна.

Обѣдъ ждетъ васъ.

Слендеръ.

Я не голоденъ; благодарю васъ, честное слово. *(Сэмплю).* Ты, какъ мой слуга, ступай прислуживать моему дядѣ Шалло. *(Сэмпль уходитъ).* И мировой судья можетъ быть иногда благодаренъ своему другу за слугу. Теперь, пока еще моя мать жива, я держу только трехъ лакеевъ, да одного мальчика. Но что-жъ такое? Я все-таки живу, какъ бѣдный, родовитый дворянинъ.

Анна.

Я не могу вернуться домой безъ васъ. Пока вы не придете, не сядутъ за обѣдъ.

Катарина.

(«Укрощеніе Строптивой»).

Петручіо.

Пускай придетъ—возьмусь за дѣло храбро.
Ругаться станетъ—я скажу на это,
Что распѣваетъ точно соловей;
Нахмурится—а я скажу, что взоры
Ея нѣжнѣе розы подъ росою;
А замолчитъ—тогда хвалить я стану
За разговорчивость ее: скажу ей,

Что краснорѣчіе ея прелестно.
Попросить вонъ—начну благодарить,
Какъ будто на недѣлю оставляетъ;
Откажетъ—день я попрошу назначить
Для оглашенья въ церкви и вѣнчанья.
Ну, вотъ, идетъ. Петручьо, говори!
(Входитъ Катарина).

Петручіо.

Здорово, Катя—такъ вѣдь ваше имя?

Катарина.

Вы плохо слышали: вы вѣрно глухи.
Меня зовутъ не Катей—Катариной.

Петручіо.

Ей-Богу, лжете вы! Зовутъ васъ Катей,
Прелестной Катенькой, сердитой Катей.

Въ введеніи къ этой картинной галлереѣ я сказалъ, какими путями распространялась популярность Шекспира въ Англіи и Германіи и какимъ образомъ здѣсь и тамъ способствовали пониманію его произведеній. Къ сожалѣнію, я не могъ сообщить столь же отрадныхъ свѣдѣній относительно романскихъ земель: въ Испаніи имя нашего поэта оставалось совершенно неизвѣстнымъ до настоящаго дня; Италія игнорируетъ его, быть-можетъ, преднамѣренно, чтобы хранить славу своихъ великихъ поэтовъ отъ заальпійскаго соперничества; и Франція, эта родина традиціоннаго вкуса и просвѣщеннаго тона, долгое время считала, что въ достаточной мѣрѣ чтитъ великаго британца, называя его геніальнымъ варваромъ и по возможности менѣе смѣясь надъ его грубостью. Между тѣмъ, политическая революція, пережитая этою страною, повлекла за собою и литературную, превзошедшую, быть-можетъ, терроризмомъ первую, и при этомъ случаѣ Шекспиръ былъ поднятъ на щитъ. Конечно, французы, какъ въ своихъ попыткахъ политическихъ переворотовъ, рѣдко бываютъ вполнѣ честны и въ революціяхъ литературныхъ; какъ тамъ, такъ и здѣсь, они цѣнятъ и прославляютъ какого-либо героя не изъ-за прирожденнаго ему истиннаго достоинства, но изъ-за минутной выгоды, которую можетъ получить ихъ дѣло вслѣдствіе такой оцѣнки и прославленія; и такимъ образомъ случается, что они сегодня то превозносятъ, что̀ завтра должны ниспровергнуть, и наоборотъ. Вотъ ужъ десять лѣтъ, какъ во Франціи Шекспиръ служитъ для партіи, совершающей литературную революцію, предметомъ самаго слѣпого преклоненія. Но нашелъ ли онъ у этихъ людей движенія дѣйствительно добросовѣстное признаніе или правильное пониманіе—еще большой

вопросъ. Французы слишкомъ дѣти своей матери, они слишкомъ всосали съ материнскимъ молокомъ общественную ложь для того, чтобы поэтъ, каждое слово котораго дышитъ правдою природы, могъ прійтись имъ особенно по вкусу, или—еще больше—чтобы они могли понять его. Правда, съ нѣкотораго времени у ихъ писателей господствуетъ неудержимое стремленіе къ такой естественности; они словно рвутъ съ себя въ отчаяніи условныя одежды и показываютъ себя въ ужасной наготѣ... Но какой-нибудь модный лоскутъ, который все-таки остается на нихъ, свидѣтельствуетъ о сохранившейся традиціонной неестественности и вызываетъ у нѣмецкаго зрителя ироническую улыбку. Эти писатели напоминаютъ мнѣ всегда гравюры тѣхъ романовъ, гдѣ изображены непристойныя любовныя похожденія восемнадцатаго столѣтія и гдѣ кавалеры и дамы, несмотря на свои райскіе натуральные костюмы, сохранили, первые—парики съ длинными косами, а вторыя—башнеобразныя прически и башмаки съ высокими каблуками.

Не прямою критикой, но косвенно, посредствомъ драматическихъ произведеній, написанныхъ болѣе или менѣе по Шекспиру, французамъ нѣсколько удалось понять великаго поэта. Какъ такого рода посредникъ, особенной славы заслуживаетъ Викторъ Гюго. Этимъ я вовсе не хочу сказать, что смотрю на него, какъ на простого подражателя великаго британца, въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова. Викторъ Гюго геній первой величины, и достойны удивленія его полетъ и его творческая сила; онъ владѣетъ и образомъ, и словомъ; онъ величайшій поэтъ Франціи; но его Пегасъ обнаруживаетъ болѣзненную боязнь передъ клокочущимъ потокомъ настоящаго и не идетъ охотно на водопой туда, гдѣ дневное свѣтило отражается въ студеныхъ струяхъ... скорѣе ищетъ онъ для своего освѣженія тѣ заглохшіе источники подъ развалинами прошлаго, гдѣ нѣкогда утолялъ свою безсмертную жажду великій крылатый конь Шекспира. Потому ли, что эти старые источники, полузасоренные и превратившіеся въ болото, не доставляютъ болѣе чистаго напитка—но во всякомъ случаѣ драматическія произведенія Виктора Гюго заключаютъ въ себѣ больше мутной плѣсени, чѣмъ живительнаго духа древне-англійской Иппокрены; имъ недостаетъ свѣтлой ясности и гармоническаго здоровья... и я долженъ сознаться, меня охватываетъ иногда ужасная мысль, что этотъ Викторъ Гюго есть тѣнь какого-либо англійскаго поэта цвѣтущей поры Елисаветы, умершій писатель, который

сердито всталъ изъ могилы, чтобы писать свои посмертныя произведенія въ другой странѣ и въ другую эпоху, когда онъ обезпеченъ отъ конкуренціи великаго Вильяма. Дѣйствительно, Викторъ Гюго напоминаетъ мнѣ людей въ родѣ Марло, Декера, Гейвуда и проч., которые такъ походили по своему языку и манерѣ на ихъ великаго современника и были только лишены глубины его взгляда и чувства красоты, его страшной и улыбающейся граціи, его миссіи совершать откровеніе тайнъ природы... Но—увы!—къ недостаткамъ Марло, Декера и Гейвуда присоединяется у Виктора Гюго еще самый большой недостатокъ: онъ лишенъ жизни. Тѣ страдали избыткомъ кипучести, самымъ буйнымъ полнокровіемъ, и ихъ поэтическое творчество было перенесенное на бумагу дыханье, ликованіе и рыданіе; Гюго же — при всемъ уваженіи, которое я питаю къ нему, я долженъ въ этомъ сознаться—имѣетъ нѣчто мертвенное, злостное, замогильное, вампирическое... Онъ не пробуждаетъ воодушевленія въ нашихъ сердцахъ, онъ высасываетъ ихъ... Онъ не умиротворяетъ нашихъ чувствъ поэтическимъ просвѣтленіемъ, онъ устрашаетъ ихъ уродливыми образами... Онъ боленъ смертью и уродливостью.

Одна молодая дама, находящаяся со мною въ весьма близкихъ отношеніяхъ, выразилась недавно насчетъ этой склонности музы Гюго къ безобразному весьма мѣтко. Именно, она сказала: «Муза Виктора Гюго напоминаетъ мнѣ сказку о той странной принцессѣ, которая, желая выйти замужъ только за самаго безобразнаго мужчину, съ этой цѣлью велѣла объявить по всей странѣ, чтобы въ опредѣленный день передъ ея замкомъ собрались всѣ молодые люди особенно уродливой наружности, какъ кандидаты въ мужья... Конечно, получился хорошій выборъ рожъ и калѣкъ, и можно было принять его за персоналъ какого-нибудь произведенія Виктора Гюго... Но Квазимодо оказался избранникомъ принцессы».

Послѣ Виктора Гюго я долженъ снова вспомнить объ Александрѣ Дюма; онъ также косвенно содѣйствовалъ пониманію Шекспира во Франціи. Если первый крайнимъ преувеличеніемъ пріучилъ французовъ искать въ драмѣ не только красивую драпировку страстей, то Дюма достигъ того, что его соотечественникамъ стало очень нравиться естественное изображеніе страстей. Но для него страсть составляла самое высшее, и она незаконно заняла мѣсто поэзіи. Вслѣдствіе этого, конечно, онъ тѣмъ сильнѣе

дѣйствовалъ на сценѣ. Онъ пріучилъ публику, въ сферѣ изображенія страстей, съ самымъ большимъ смѣлостямъ Шекспира; и кто находилъ удовольствіе въ «Генрихѣ III» и «Ричардѣ Дарлингтонѣ», тотъ уже болѣе не жаловался на отсутствіе вкуса въ «Отелло» и «Ричардѣ III». Упрекъ въ плагіатѣ, который ему какъ-то хотѣли сдѣлать, былъ настолько же глупымъ, насколько несправедливымъ. Правда, Дюма заимствовалъ въ своихъ страстныхъ сценахъ мѣстами кое-что изъ Шекспира, но нашъ Шиллеръ дѣлалъ это еще гораздо смѣлѣе, не подвергаясь никакому порицанію. Да и самъ Шекспиръ сколько заимствовалъ у своихъ предшественниковъ! И съ этимъ поэтомъ случилось, что одинъ брюзгливый памфлетистъ выступилъ противъ него съ утвержденіемъ, будто лучшее въ его драмахъ заимствовано у предшествующихъ писателей. Шекспиръ при этомъ комичномъ случаѣ былъ названъ вороной, украсившимъ себя чужими павлиньими перьями. Эвонскій лебедь молчалъ и думалъ, можетъ-быть, въ своемъ божественномъ умѣ: «я ни воронъ, ни павлинъ!» — и беззаботно качался на голубыхъ волнахъ поэзіи, порою улыбаясь звѣздамъ, золотымъ мыслямъ неба.

Здѣсь должно вспомнить также о графѣ Альфредѣ де-Виньи. Этотъ писатель, знатокъ англійскаго языка, самымъ основательнымъ образомъ занимался произведеніями Шекспира, нѣкоторыя изъ нихъ перевелъ съ большимъ искусствомъ, и это изученіе оказало также на его оригинальныя работы самое благопріятное вліяніе. При томъ весьма чуткомъ и проницательномъ художественномъ чувствѣ, которое должно признать у графа де-Виньи, его можно считать вникнувшимъ въ духъ Шекспира глубже, чѣмъ большинство его соотечественниковъ. Но талантъ этого человѣка, какъ и характеръ его мыслей и чувствованій, направленъ къ красивому и миніатюрному, и произведенія его особенно цѣнны ихъ выработанною тонкостью. Я склоненъ поэтому думать, что онъ иногда останавливался какъ бы въ сильномъ смущеніи передъ тѣми громадными красотами, которыя Шекспиръ словно высѣкаетъ изъ исполинскихъ гранитныхъ глыбъ поэзіи... Онъ, конечно, созерцалъ ихъ съ трепетнымъ удивленіемъ, подобно золотыхъ дѣлъ мастеру, глядящему въ изумленіи на тѣ колоссальныя ворота баптистеріи во Флоренціи, которыя, хотя и отлиты изъ металла за одинъ разъ, но такъ мило изящны, что ихъ можно принять за вычеканенныя, даже за тончайшую ювелирную работу. Если французамъ довольно тяжело понимать уже трагедіи Шекспира,

то пониманіе комедій его для нихъ почти совершенно недоступно. Поэзія страсти для нихъ постижима; также могутъ они до извѣстной степени понимать и правду характеристикъ, ибо ихъ сердца выучились загораться, страстность есть ихъ настоящая спеціальность, и своимъ аналитическимъ умомъ они умѣютъ разлагать каждый данный характеръ на его тончайшія составныя части и наперед разсчитывать фазисы, которые онъ приметъ всякій разъ, какъ столкнется съ опредѣленной дѣйствительностью.

Но въ волшебномъ саду шекспировскихъ комедій имъ мало пользы отъ всѣхъ этихъ опытныхъ знаній. Уже у входа туда смущенно останавливается ихъ умъ, сердце ихъ не знаетъ, какъ ему быть, и нѣтъ у нихъ того таинственнаго волшебнаго жезла, котораго простое прикосновеніе ломаетъ замокъ. И глядятъ они удивленными глазами сквозь золотую рѣшетку, и видятъ, какъ рыцари и благородныя дамы, пастухи и пастушки, шуты и мудрецы прогуливаются подъ высокими деревьями; какъ влюбленная со своимъ возлюбленнымъ ютятся въ прохладной тѣни и обмѣниваются нѣжными рѣчами; какъ тамъ и здѣсь пробѣгаетъ какое-нибудь баснословное животное, олень съ серебряными рогами, или еще выпрыгнетъ изъ кустовъ цѣломудренный носорогъ и положитъ свою голову на колѣни прекрасной дѣвушки... И они видятъ, какъ изъ ручьевъ выплываютъ русалки съ зелеными волосами и блестящими покрывалами, и какъ внезапно всходитъ мѣсяцъ... И слышатъ они тогда соловьиный рокотъ... И они покачиваютъ своими умными головами при видѣ всѣхъ этихъ непонятныхъ, странныхъ вещей! Да, солнце французъ, во всякомъ случаѣ, можетъ понять, но луну не понимаетъ онъ, и всего менѣе—блаженныя рыданія и меланхолически восторженныя трели соловьевъ...

Да, ни опытное знакомство французовъ съ человѣческими страстями, ни ихъ положительное знаніе міра не приноситъ французамъ пользы, когда они пытаются разгадать явленія и звуки, которые блещутъ и звучатъ изъ волшебнаго сада шекспировскихъ комедій... Иногда имъ кажется, что они видятъ человѣческое лицо, но при ближайшемъ разсмотрѣніи оно оказывается ландшафтомъ, и то, что они принимали за брови, былъ кустъ орѣшника, носъ былъ утесъ, ротъ—небольшой источникъ, какъ мы это видимъ на знакомыхъ каждому туманныхъ картинахъ... И наоборотъ то, что бѣдные французы принимали за страннаго вида дерево или необыкно-

венный камень, то представляется, когда всмотрѣться поближе, дѣйствительнымъ человѣческимъ лицомъ съ чудовищнымъ выраженіемъ. А когда удается имъ, съ сильнѣйшимъ напряженіемъ слуха, разобрать бесѣды влюбленныхъ, покоящихся въ тѣни деревъ, то они приходятъ въ еще бо́льшее смущеніе... Они слышатъ знакомыя слова, но слова эти имѣютъ совсѣмъ другой смыслъ; и тогда они начинаютъ утверждать, что эти люди ничего не смыслятъ въ пламенной страсти, что это остроумный ледъ, который они подаютъ другъ другу для прохлажденія, а не пылающій напитокъ любви... И они не замѣчаютъ, что эти люди не что иное, какъ разодѣтыя птицы, разговаривающія между собою на особенномъ языкѣ кружка, которому можно выучиться только въ сновидѣніи или въ самомъ раннемъ дѣтствѣ... Но всего хуже приходится французамъ, стоящимъ за рѣшеткой шекспировскихъ комедій, когда порою веселый западный вѣтеръ пронесется надъ цвѣточной грядкой того волшебнаго сада и повѣетъ имъ въ носъ самыми неслыханными благоуханіями... «Что это такое?».

Справедливость требуетъ упомянуть здѣсь объ одномъ французскомъ писателѣ, подражавшемъ съ нѣкоторымъ талантомъ шекспировскимъ комедіямъ и уже выборомъ своихъ образцовъ обнаружившемъ рѣдкую воспріимчивость къ истинному искусству поэзіи. Это Альфредъ де-Мюссе. Лѣтъ пять тому назадъ онъ написалъ нѣсколько небольшихъ пьесъ, которыя, что касается ихъ постройки и манеры, написаны совершенно по комедіямъ Шекспира. Особенно усвоилъ онъ, съ французской легкостью, господствующую въ нихъ капризность (не юморъ). Нѣтъ въ этихъ красивыхъ вещичкахъ также недостатка въ поэзіи, хотя и очень жиденькой, но все-таки хорошей пробы. Жаль только, что еще молодой въ ту пору писатель, кромѣ французскихъ переводовъ Шекспира, читалъ также и Байрона и вслѣдствіе этого поддался искушенію, нарядившись въ костюмъ больного сплиномъ лорда, прикидываться разочарованнымъ и пресыщеннымъ жизнью, какъ это было въ то время въ модѣ у парижской молодежи. Самые краснощекіе мальчишки, здоровеннѣйшіе юнцы утверждали, что ихъ способность наслаждаться истощена, о[н] притворялись старчески охлажденными и придавали се[бѣ] разсѣянный и зѣвающій видъ.

Съ тѣхъ поръ, правда, нашъ бѣдный monsieur Musset излѣчился отъ своихъ заблужденій и уже не разыгр[ываетъ] въ своихъ произведеніяхъ роли d'un blasé, но—ах!

произведенія заключаютъ въ себѣ теперь, вмѣсто притворнаго внутренняго разлада, гораздо болѣе безотрадные слѣды дѣйствительнаго упадка его физическихъ и духовныхъ силъ... Ахъ! этотъ писатель напоминаетъ мнѣ тѣ искусственныя развалины, которыя обыкновенно воздвигались въ садахъ замковъ восемнадцатаго столѣтія, тѣ игрушки дѣтской прихоти, которыя, однако, съ теченіемъ времени вызываютъ въ насъ скорбное соболѣзнованіе, когда онѣ на самомъ дѣлѣ истлѣваютъ, и вывѣтриваются, и обращаются въ дѣйствительныя развалины.

Французы, какъ сказано, мало способны понять духъ шекспировскихъ комедій, и между ихъ критиками я не нашелъ никого, кромѣ одного, которой бы имѣлъ хотя нѣкоторое представленіе объ этомъ удивительномъ духѣ. Кто же это такой? Кто это исключеніе? Гуцковъ говоритъ, что слонъ—доктринеръ между животными. И такой разумный и очень тяжеловѣсный слонъ глубже всѣхъ понялъ сущность шекспировскихъ комедій. Да, какъ ни трудно повѣрить этому, но лучшее объ этихъ граціозныхъ и шаловливѣйшихъ воздушныхъ созданіяхъ современной музы написалъ господинъ Гизо, и на удивленіе и поученіе читателя я перевожу здѣсь одно мѣсто изъ сочиненія, появившагося въ 1822 году у Ладвока въ Парижѣ и озаглавленнаго «De Shakspeare et de la poésie dramatique, par F. Guizot».

«Комедіи Шекспира не похожи ни на Мольера, ни на Аристофана, ни на римлянъ. У грековъ, и въ новое время у французовъ, комедія возникла черезъ внимательное, хотя и свободное наблюденіе дѣйствительной жизни, и ея задачей сдѣлалось представленіе этой жизни на сценѣ. Различіе комическаго и трагическаго рода поэзіи существуетъ уже съ самаго возникновенія искусства, и по мѣрѣ развитія этого послѣдняго, разъединеніе обоихъ родовъ выражалось все болѣе и болѣе опредѣленно. Оно коренится въ самой сущности вещей. Назначеніе и натура человѣка, его страсти и дѣйствія, характеръ и событія, все въ насъ самихъ и вокругъ насъ имѣетъ свою и серьезную, и забавную сторону и можетъ быть разсматриваемо и представлено какъ съ одной, такъ и съ другой точки зрѣнія. Эта двоесторонность человѣка и міра указала драматической поэзіи два естественно различныхъ пути; но между тѣмъ, какъ она избирала тотъ или другой, искусство все-таки никогда не уклонялось отъ наблюденія и изображенія дѣйствительности. Пусть Аристофанъ бичуетъ съ безграничной свободой фантазіи,

пороки и дурачества аѳинянъ; пусть Мольеръ клеймитъ пороки легковѣрія, скупости, ревности, педантизма, дворянскаго высокомѣрія, мѣщанской суетности и добродѣтели; что-жъ изъ того, что оба писателя разрабатываютъ совершенно различные предметы, что одинъ вывелъ на сцену всю жизнь и весь народъ цѣликомъ, а другой, напротивъ, случай изъ частной жизни, внутреннюю жизнь семьи и смѣшныя стороны отдѣльнаго человѣка, — это различіе комическаго матеріала является слѣдствіемъ только различія времени, мѣста и цивилизаціи... Но какъ для Аристофана, такъ и для Мольера почвою для ихъ изображеній служитъ всегда реальность, дѣйствительной міръ. Ихъ поэтическое настроеніе зажигаютъ и поддерживаютъ нравы и идеи ихъ вѣка, пороки и заблужденія ихъ согражданъ, вообще природа и жизнь. Комедія поэтому возникаетъ изъ міра окружающаго поэта, и она примыкаетъ еще гораздо ближе трагедіи къ внѣшнимъ проявленіямъ дѣйствительности...

«Не то у Шекспира. Въ его время, въ Англіи матеріалъ драматическаго искусства, природа и судьбы человѣка еще не получили изъ руки искусства вышеупомянутыхъ различія и классификаціи. Когда поэтъ желалъ обработать этотъ матеріалъ для сцены, то онъ бралъ его во всей его цѣлости, со всѣми его примѣсями, со всѣми встрѣчавшимися тамъ контрастами, а вкусъ публики никогда не подпадалъ искушенію жаловаться на подобный образъ дѣйствій. Комическое, эта часть человѣческой дѣйствительности, имѣло право появляться всюду, гдѣ правда требовала или терпѣла его присутствіе; и вполнѣ въ характерѣ англійской цивилизаціи было то, что трагедія нисколько не лишалась своего достоинства правды, если къ ней присоединяли, такимъ образомъ, комическій элементъ. При такомъ состояніи сцены и при такой склонности публики, что же могло явиться въ качествѣ собственно комедіи? Какъ могла она явиться особеннымъ родомъ поэзіи и носить свое опредѣленное названіе комедіи? Это удалось ей сдѣлать, отрѣшившись отъ той дѣйствительности, въ которой границы ея естественной области не были ни защищены, ни признаны. Эта комедія уже не ограничивалась болѣе изображеніемъ опредѣленныхъ нравовъ и характеровъ; она уже не старалась изображать вещи и лица, хотя и въ смѣшномъ, но все-таки истинномъ видѣ; нѣтъ, комедія сдѣлалась фантастическимъ и романическимъ произведеніемъ, пристанищемъ для всѣхъ тѣхъ забавныхъ невѣроятностей, которыя фантазія, изъ лѣни или прихоти,

нанизываетъ на одну тонкую нитку, чтобы дѣлать такимъ образомъ всевозможныя пестрыя усложненія, весслящія и интересующія насъ, не выдерживая, однако, критики разума. Пріятныя картинки, неожиданности, веселыя интриги, раздраженное любопытство, обманутыя ожиданія, qui pro quo, остроумныя положенія, происходящія вслѣдствіе переодѣваній—вотъ что служило матеріаломъ тѣхъ невинныхъ, сшитыхъ на живую нитку, пьесъ. Постройка испанскихъ пьесъ, которыя начинали нравиться въ Англіи, доставляла для этихъ комедій всевозможныя рамки и образцы, весьма хорошо подходившіе также къ тѣмъ хроникамъ и балладамъ, къ тѣмъ французскимъ и итальянскимъ новелламъ, которыя, на ряду съ рыцарскими романами, были излюбленнымъ чтеніемъ публики. Понятно, что эти богатые рудники и этотъ легкій родъ поэзіи уже рано обратили на себя вниманіе Шекспира. Нисколько не удивительно, что его молодая и блестящая сила воображенія охотно склонялась къ такому матеріалу, гдѣ она, свободная отъ тѣснаго ига разума, могла въ ущербъ правдоподобности создавать всевозможные серьезные и сильные эффекты. Этотъ поэтъ, духъ и рука котораго работали съ одинаковой неутомимостью, рукописи котораго не содержатъ почти никакихъ слѣдовъ исправленій,—этотъ поэтъ долженъ былъ, конечно, отдаться съ особеннымъ удовольствіемъ тѣмъ, никакими правилами не связаннымъ, причудливымъ пьесамъ, въ которыхъ онъ могъ развернуть безъ всякаго напряженія всѣ свои разнородныя способности. Онъ могъ все всыпать въ свои комедіи, и въ самомъ дѣлѣ вливалъ туда все, за исключеніемъ того, что было совершенно несовмѣстимо въ подобной системѣ, именно ту логическую связь, которая каждую отдѣльную часть пьесы подчиняетъ цѣли цѣлаго и въ каждой подробности обнаруживаетъ глубину, величіе и единство произведенія. Въ трагедіяхъ Шекспира трудно найти такую концепцію, такое положеніе, такое проявленіе страсти, такую степень порока или добродѣтели, которыя бы равнымъ образомъ не встрѣчались и въ какой-нибудь изъ его комедій; но то, что тамъ уходитъ въ недосягаемую глубину, что страшнымъ образомъ сопровождается потрясающими послѣдствіями, что строго входитъ въ рядъ причинъ и дѣйствій, то здѣсь едва намѣчено, брошено на мгновеніе, чтобы вызвать мимолетный эффектъ и столь же быстро потеряться въ новомъ усложненіи».

Въ самомъ дѣлѣ, слонъ правъ: сущность шекспировскихъ комедій состоитъ въ измѣнчивой прихоти мотылька, съ ко-

торою онъ перепархиваетъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, рѣдко прикасаясь къ почвѣ дѣйствительности. Только какъ о противоположности реалистической комедіи древнихъ и французовъ, можно сказать о комедіяхъ Шекспира нѣчто опредѣленное.

Прошлую ночь я долго обдумывалъ, нельзя ли, однако, найти положительное объясненіе этому безконечному и неограниченному роду поэзіи, комедіи Шекспира. Послѣ долгаго обсужденія я, наконецъ, заснулъ, и приснилось мнѣ вотъ что. На дворѣ звѣздная ночь, и я плыву въ маленькомъ челнокѣ по широкому, широкому озеру, и плывутъ мимо меня то вблизи, то вдали, звуча и блистая, всякаго рода лодки, наполненныя масками, музыкантами и факелами. Тутъ были костюмы всѣхъ временъ и народовъ, древне-греческія туники, средневѣковыя рыцарскія мантіи, восточныя чалмы, пастушескія шляпы съ развѣвающимися лентами, маски дикихъ и ручныхъ животныхъ... По временамъ кивала мнѣ головою какая-нибудь хорошо знакомая фигура... По временамъ кланялись пріятели-мудрецы... Но все это быстро проносилось мимо, и какъ только я начиналъ вслушиваться въ звуки радостной мелодіи, съ ликованіемъ доносившейся до меня съ одной изъ лодокъ, они быстро смолкали, и вмѣсто веселыхъ скрипокъ около меня раздавались вздохи меланхолическихъ волторнъ съ другой лодки... Иногда ночной вѣтеръ доносилъ одновременно до моего слуха и тѣ и другіе, и тогда смѣшанные звуки образовывали сладостную гармонію... Вода звучала неслыханнымъ созвучіемъ струй и горѣла въ магическомъ отблескѣ факеловъ, увѣшанныя пестрыми флагами веселыя барки съ ихъ причудливымъ замаскированнымъ міромъ плавали среди свѣта и музыки... Граціозная женская фигура, стоявшая у руля одной изъ этихъ лодокъ, мимоѣздомъ крикнула мнѣ: «Не правда ли, другъ мой, ты бы очень хотѣлъ получить опредѣленіе шекспировской комедіи?» Не знаю, отвѣчалъ ли я ей на это утвердительно, но красавица въ то же время погрузила руку въ воду и брызнула мнѣ въ глаза звенящими искрами, такъ что раздался всеобщій смѣхъ, отъ котораго я проснулся.

Кто была эта граціозная женщина, такъ пошутив[illegible] надо мною въ сновидѣніи? На ея идеально прекрасной [illegible]ловѣ была надѣта пестрая рогатая шляпа съ погремуш[illegible] бѣлое атласное платье съ развѣвающимися лентами об[illegible] почти черезъ мѣру стройные члены ея, а на груди [illegible] приколотъ красный чертополохъ. Быть-можетъ, это

богиня каприза, та странная муза, которая присутствовала при рожденіи Розалинды, Беатриче, Титаніи, Віолы и всякихъ другихъ милыхъ дѣтей шекспировской комедіи и цѣловала ихъ въ лобъ. Она, конечно, вцѣловала имъ въ молодыя головки всѣ свои капризы, прихоти и фантазіи, а это повліяло на сердца... Какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ въ комедіи Шекспира страсть совершенно лишена той страшной серьезности, той фаталической необходимости, съ которыми она обнаруживается въ трагедіи. Правда, Амуръ носитъ и тамъ повязку на глазахъ и колчанъ со стрѣлами. Но эти стрѣлы въ комедіи менѣе заострены, чѣмъ разукрашены перьями, и маленькій божокъ иногда лукаво подглядываетъ поверхъ повязки. Тамъ и огни менѣе жгутъ, чѣмъ свѣтятъ, но все-таки они остаются огнями, и какъ въ трагедіяхъ Шекспира, такъ и въ его комедіяхъ любовь носитъ вполнѣ характеръ правды. Да, правда составляетъ всегда отличительный признакъ шекспировской любви, въ какомъ бы образѣ она ни являлась, называется ли она Мирандой, или Юліей или даже Клеопатрой.

Въ то время, какъ я болѣе случайно, чѣмъ умышленно упоминаю эти имена вмѣстѣ, мнѣ напрашивается замѣчаніе, что они обозначаютъ также три самыхъ значительныхъ типа любви. Миранда есть представительница той любви, которая безъ историческихъ вліяній, какъ цвѣтокъ незапятнанной почвы, по которой имѣютъ право ступать только ноги духовъ, можетъ развернуться до высшей идеальности. Мелодіи Аріеля воспитали ей сердце, и чувственность никогда не представлялась ей иначе, какъ въ ужасно отвратительномъ образѣ Калибана. Любовь, возбуждаемая въ ней Фердинандомъ, поэтому не собственно наивна, но полна блаженнаго чистосердечія, первобытной, почти страшной чистоты. Любовь Юліи носитъ, согласно своему времени и обстановкѣ, болѣе романтически средневѣковой, расцвѣтающій уже навстрѣчу Возрожденію характеръ, она блещетъ красками, какъ дворъ Скальеровъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ сильна, какъ тѣ благородныя поколѣнія Ломбардіи, которыя обновились германскою кровью и столь же сильно любили, какъ ненавидѣли. Юлія—представительница любви молодого, еще немного грубаго, но неиспорченнаго здороваго періода. Она всецѣло проникнута пыломъ чувства и силою вѣры такого времени, и даже холодная плѣсень могильнаго склепа не можетъ ни поколебать ея упованіе, ни загасить ея пламень. Наша Клеопатра... ахъ! она представительница любви уже

больной цивилизаціи, того времени, красота котораго уже увяла, кудри котораго хотя и завиты со всевозможнымъ искусствомъ и умащены всѣми ароматами, но зато уже переплетены съ изрядным количествомъ сѣдыхъ волосъ,— времени, которое тѣмъ поспѣшнѣе хочетъ осушить кубокъ, чѣмъ быстрѣе истощается въ немъ напитокъ. Эта любовь не имѣетъ ни вѣры, ни вѣрности, но отъ этого она не менѣе дика и пламенна. Въ досадливомъ сознаніи, что этого огня не потушишь, нетерпѣливая женщина подливаетъ еще туда масла и вакхически бросается въ пылающее пламя. Она труслива, но при этомъ жадно стремится къ саморазрушенію. Любовь всегда родъ сумасшествія, болѣе или менѣе прекраснаго; но у этой египетской царицы она достигаетъ самого ужасающаго безумія... Эта любовь—бѣшеная комета, которая стремительно, неслыханными движеніями мчится по небу со своимъ огненнымъ хвостомъ, на своемъ пути пугаетъ, если еще не повреждаетъ, всѣ звѣзды и, наконецъ, плачевно разрываясь, разлетается, подобно ракетѣ, тысячами искръ.

Да, прекрасная Клеопатра, ты была подобна страшной кометѣ, и ты не только горѣла на твою собственную погибель, но была знаменіемъ несчастья и для твоихъ современниковъ... Вмѣстѣ съ Антоніемъ наступаетъ плачевный конецъ и для древняго героическаго Рима.

Но съ чѣмъ же мнѣ сравнить васъ, Юлія и Миранда? Я снова смотрю на небо и ищу тамъ вашего подобія. Оно находится, быть-можетъ, позади звѣздъ, куда не проникаетъ мой взоръ. Быть-можетъ, если бы знойное солнце обладало также кротостью, я могъ бы сравнить съ нимъ тебя, Юлія! Будь кроткая луна вмѣстѣ съ тѣмъ одарена зноемъ солнца, я сравнилъ бы съ нею тебя, Миранда!

Примѣчанія

къ 3-му тому.

Къ стр. 3. Законъ о печатаніи нѣмецкихъ сочиненій за границей есть постановленіе союзнаго сейма 5-го іюля 1832 г., по которому такія сочиненія, въ случаѣ если они состояли менѣе, чѣмъ изъ 20 листовъ, нельзя было печатать иначе, какъ съ разрѣшенія нѣмецкой цензуры; въ противномъ случаѣ пропускъ ихъ въ Германію воспрещался. Слова Гейне, что этотъ законъ нашелъ примѣненіе только къ нему, объясняются тѣмъ, что онъ былъ въ это время единственный нѣмецъ, печатавшій свои сочиненія внѣ Германіи.

Къ стр. 5. «Молодая Германія»—литературная партія, образовавшаяся въ Германіи въ началѣ 30-хъ годовъ и избравшая своими главами Гейне и Бёрне. Гейне никакого участія въ ея работахъ не принималъ, но союзный сеймъ, обрушившійся своими преслѣдованіями на «Молодую Германію», подвергъ имъ и Гейне, наложивъ запрещеніе на всѣ его сочиненія, какъ уже вышедшія, такъ и будущія.

Къ стр. 6. Арнольдъ Руге — выдающійся писатель въ области политики и философіи. Впослѣдствіи между нимъ и Гейне установились довольно близкія отношенія. Помѣщеніе отъявленнаго католика и реакціонера Герстенберга между такими людьми, какъ Фейербахъ, Бруно Бауэръ и др. имѣетъ очевидно ироническій, вѣрнѣе, шутливый, характеръ.—Между этими именами пропущенъ у насъ по недосмотру Карлъ Марксъ, извѣстный соціалистическій писатель.

Къ стр. 9. Статья «Къ исторіи религіи и философіи въ Германіи» появилась сперва на французскомъ языкѣ подъ заглавіемъ: «De l'Allemagne depuis Luther». Вслѣдъ затѣмъ Гейне перевелъ ее на нѣмецкій, но въ первомъ нѣмецкомъ изданіи, благодаря нѣмецкой цензурѣ, она появилась въ изуродованномъ видѣ.

Къ стр. 10. Самсонъ — извѣстный палачъ во время французской революціи.

Къ стр. 12. Поставленныя въ ковычкахъ слова: «когда пали его легіоны»—принадлежатъ самому Гейне.—Церинтусъ—одинъ изъ первыхъ по времени христіанскихъ гностиковъ.

Къ стр. 15—16. Разсказъ о соловьѣ Гейне заимствовалъ изъ книги Добенека: «Народныя вѣрованія и сказанія о герояхъ нѣмецкой средневѣковой эпохи», но передѣлалъ его совершенно по-своему (напр., отвѣтъ соловья, замѣчаніе, что дьяволъ увлекаетъ къ сладострастью, и друг.).

Къ стр. 18. Авалонъ — миѳическій островъ, гдѣ царитъ фея Моргана (то же, что фата Моргана).

Къ стр. 25. Анжело Полиціано—итальянскій поэтъ и ученый.

Къ стр. 35. Вульгата — названіе древняго латинскаго перевода Библіи. — Септуагинта — названіе древнѣйшаго греческаго перевода Библіи.

Къ стр. 36. Латинскія слова Лютера цитированы здѣсь неправильно; въ письмѣ сказано: «ego perdere nihil possum, quia nihil habeo» (потерять не боюсь ничего, ибо ничего не имѣю).

Къ стр. 49. Греческія трагедіи Аристотель «подвергалъ анатомическому вскрытію» въ своей «Поэтикѣ».

Къ стр. 50. Соломонъ Маймонъ — еврейскій философъ конца прошлаго столѣтія.

Къ стр. 52. Цитированныя латинскія слова Спинозы значатъ: «Не говорю, что знаю всего Бога, знаю только нѣкоторые Его атрибуты и понимаю изъ нихъ не всѣ, и даже не большую часть».

Къ стр. 55. Въ индійской миѳологіи Пуруша — природа или матерія, Практити—душа мірового духа.

Къ стр. 60. О Яковѣ Бёме см. ниже, въ статьѣ «Романтическая школа».

Къ стр. 66. Цитированныя здѣсь греческія слова значатъ: «подобный любовный экстазъ, который побуждаетъ рѣшиться на какой-нибудь сверхъестественный поступокъ».

Къ стр. 70. Клотцъ, профессоръ классической филологіи въ Галлэ, за свои разсужденія о Горація былъ жестоко разбитъ Лессингомъ въ его «Письмахъ антикварнаго содержанія».

Къ стр. 82. «Ирландскій bull» (irisch bull)—то же, что комическая безсмыслица, что въ логикѣ contradictio in adjecto.

Къ стр. 83. Нью-Бедламъ—домъ умалишенныхъ въ Лондонѣ.

Къ стр. 88. Настоящее заглавіе главнаго сочиненія Фихте — «Grundlage und Grundriss der gesammten Wissenschaftslehre».

Къ стр. 91 и слѣд. Въ приводимыхъ изъ дневника Фихте выдержкахъ Гейне дѣлаетъ нѣкоторыя стилистическія (впрочемъ, очень незначительныя) измѣненія.

Къ стр. 95. Цитированныя здѣсь (съ нѣсколькими незначительными измѣненіями) слова Гёте помѣщены въ его «Tag-und. Iahres-heften» 1794.

Къ стр. 101. Убитые венгерскими гусарами французскіе послы — Робержо и Бонье; тайнымъ виновникомъ этого преступленія считали австрійское правительство.—«Ш. и Г.»—Шиллеръ и Гёте.

Къ стр. 101. Фойгтъ — веймарскій первый министръ. — Розенмюллеръ—профессоръ богословія въ Лейпцигѣ, введшій нѣкоторыя измѣненія въ литургіи.

Къ стр. 103. Гейбергъ, датскій поэтъ, былъ изгнанъ изъ Даніи за свое свободомысліе и поселился въ Парижѣ, гдѣ и умеръ. — Георгъ Форстеръ—писатель и членъ майнцскаго якобинскаго клуба, въ качествѣ котораго онъ былъ посланъ во Францію съ политическимъ порученіемъ. Впослѣдствіи былъ изгнанъ изъ Германіи и умеръ въ Парижѣ.

Къ стр. 108. Элеаты—греческіе философы, центромъ дѣятельности которыхъ былъ Элеа, городъ въ нижней Италіи.

Къ стр. 117. Докторъ Виртъ — либеральный патріотъ, герой Гамбахскихъ празднествъ (о немъ въ ст. «Людвигъ Бёрне», 1-й т. нашего изданія).

Къ стр. 119. *Вамъ извѣстно постановленіе союзнаго сейма.* См. III т. нашего изданія, стр. 403 и примѣч. къ стр. 3 и 5.

Къ стр. 122. *Заговоръ, который подъ именемъ «Молодая Германія»*. См. предыдущее примѣчаніе.

Къ стр. 123. *Мечъ... въ сердце Гуцкова.* На Гуцкова особенно обрушились доносы Менцеля за его романъ «Валли», и Гуцковъ поплатился за это трехмѣсячнымъ заточеніемъ въ тюрьмѣ.

Къ стр. 124. *Швабская школа...* и т. д. О ней въ ст. «Швабское зеркало».

Къ стр. 125. *Когда онъ томился въ тюрьмѣ.* См. выше, прим. къ стр. 122.

Къ стр. 132. *Corpora delicti*—уличающія доказательства (въ римскомъ законодательствѣ).—*Во второй части «Салона» выключенныя мѣста.* Это въ статьѣ «Къ исторіи религіи и философіи въ Германіи». Такъ, напр., были совсѣмъ вычеркнуты послѣднія страницы этого сочиненія (въ нашемъ изданіи т. III, стр. 114, отъ словъ «Мы не будемъ такъ глупы»—до конца).

Къ стр. 134. Статья «Стихійные Духи» была написана сперва на французскомъ языкѣ и составила одинъ изъ отдѣловъ книги «De l'Allemagne». Потомъ авторъ перевелъ ее — въ сокращеніи — на нѣмецкій. Мы печатаемъ по-нѣмецкому тексту, съ добавленіями изъ французскаго.

Къ стр. 135. Парацельсъ (1493—1541), знаменитый въ свое время врачъ, алхимикъ и теозофъ.

Къ стр. 138. Правильно не «торриганы», а «курриганы», какъ называютъ ихъ въ Бретани.—«Курилы»—названіе, данное по обитателямъ Курильскихъ острововъ.

Къ стр. 146. Ламія въ древне-греческой демонологіи есть привидѣніе-красавица, заманивающая дѣтей и юношей и высасывающая у нихъ кровь.

Къ стр. 149. «*Двуголовый орелъ*»—Австрія. Венеція съ 1814—66 г. находилась подъ господствомъ Австріи.

Къ стр. 151. Gazette de France—газета крайне реакціонернаго характера въ политическомъ и религіозномъ отношеніи.

Къ стр. 153. Разсказъ о лебеди-женщинѣ Гейне передаетъ съ нѣкоторыми отступленіями отъ народнаго сказанія. Надо замѣтить кстати, что вообще въ передачѣ народныхъ легендъ, повѣрій и т. п. онъ позволяетъ себѣ небольшія — преимущественно, впрочемъ, стилистическія—отступленія.—Стихотвореніе «Въ соленое море пустились они» приведено здѣсь въ переводѣ г. Пальмина.

Къ стр. 177. Пьеса Граббе, о которой здѣсь говорится, не драма, а остроумная фантастическая комедія подъ заглавіемъ: «Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung».—Стихами «Во садочкѣ, во садочкѣ» оканчивается нѣмецкій текстъ статьи. Все остальное — заимствовано изъ французскаго подлинника.

Къ стр. 181. Слова «*я знаю одного изъ этихъ стрыяковъ*» относятся къ самому Гейне.

Къ стр. 182. Страницы отъ 182—205, до словъ «неизмѣримую глубину божественнаго милосердія» составляли въ одной изъ редакцій «Боговъ въ изгнаніи» вторую часть «Стихійныхъ Духовъ». Первымъ отдѣломъ «Боговъ въ изгнаніи» Гейне сдѣлалъ ихъ во французскомъ текстѣ, прибавивъ слѣдующее короткое вступленіе:

«Мы уходимъ всѣ—люди и боги, вѣрованія и преданія... Быть-можетъ, дѣло благочестія—сохранять эти вѣрованія и преданія отъ полнаго забвенія, бальзамируя ихъ не по отвратительному способу Ганналя, но съ помощью средствъ, которыя можно найти только въ

аптекѣ поэта. Да, вѣрованія, а съ ними и преданія, уходятъ. Они исчезаютъ не только въ странахъ цивилизованныхъ, но даже въ самыхъ сѣверныхъ странахъ міра, гдѣ нѣкогда процвѣтали самыя яркія сусвѣрія. Миссіонеры, посѣщающіе эти холодныя земли, жалуются на безвѣріе ихъ жителей. Въ описаніи путешествія на сѣверъ Гренландіи одинъ датскій священникъ разсказываетъ, что когда онъ спросилъ у одного тамошняго старика, какія въ настоящее время вѣрованія гренландцевъ, тотъ отвѣчалъ: «Нѣкогда вѣрили еще въ луну, теперь въ нее уже не вѣрятъ». (Парижъ, 10 марта 1853 г.).

Къ стр. 184. Гиббонъ—знаменитый англійскій историкъ конца прошлаго столѣтія; сочиненіе, о которомъ здѣсь упоминаетъ Гейне — «Исторія упадка и паденія римской имперіи».

Къ стр. 185. Бовденъ, Ритшенкругъ и Разенмюлэ—деревеньки около Геттингена, любимыя мѣста студенческихъ кутежей и дракъ.

Къ стр. 187. Неоплатоническая философія (въ 3-мъ ст. по Р. Х.) старалась возстановить міровоззрѣніе и миѳологію древнихъ грековъ для противодѣйствія христіанству.

Къ стр. 193. Стихотвореніе «Такъ начну теперь я пѣсню» приведено здѣсь въ переводѣ г. Орлова.

Къ стр. 195. Мѣсто отъ словъ «*Какъ это великолѣпно!*» до «*производятъ въ ихъ наивности удивительное дѣйствіе*» (стр. 196) взято изъ французскаго текста.

Къ стр. 198. Стихотвореніе Гейне здѣсь въ переводѣ А. Я. Мейснера.

Къ стр. 204. Мѣсто отъ словъ «*Я не хочу навязывать публикѣ*» до «*неизмѣримую глубину божественнаго милосердія*»—изъ французскаго текста.

Къ стр. 217. Jettatore—по народному итальянскому повѣрью, человѣкъ, обладающій способностью «сглазить» всякаго, на кого онъ взглянетъ, и навлечь на него бѣду.

Къ стр. 218. Coq-à-l'âne—чепуха, несообразность въ словахъ.

Къ стр. 220. Morbidezza—женственная болѣзненная блѣдность.

Къ стр. 222. Рецшъ — одинъ изъ лучшихъ иллюстраторовъ гётевскаго «Фауста».

Къ стр. 223. Гаррисъ—журналистъ и стихотворецъ, современникъ Гейне.

Къ стр. 233. Ольдъ-Белей—см. прим. къ стр. 463 тома 1.

Къ стр. 237. Вестрисъ — знаменитый балетный танцоръ того времени.—Рандюэль—издатель сочиненій французскихъ романтиковъ. — Макабрскій танецъ (danse macabre)—пляска мертвецовъ на кладбищѣ.

Къ стр. 240. Мобъ (mob)—чернь; «черная гвардія» (black guards)—народное англійское прозвище уличныхъ мошенниковъ.

Къ стр. 245. Балланшъ — философъ въ мистическо-соціалистическомъ духѣ.

Къ стр. 251. Мори—кардиналъ, одинъ изъ краснорѣчивѣйшихъ ораторовъ своего времени.—Полина Боргезе—вторая сестра Наполеона.

Къ стр. 258. Сочиненіе «Романтическая Школа» появилось подъ заглавіемъ: «Къ исторіи новой изящной литературы въ Германіи»— въ двухъ частяхъ. Оно было написано по-нѣмецки и потомъ переведено самимъ авторомъ на французскій языкъ. Это было въ 1832 — 1833 г., а въ 1836 обѣ эти части появились съ значительными дополненіями подъ заглавіемъ «Романтическая Школа». Изъ предисловій (стр. 258—262) видно, что это сочиненіе было написано собственно для французскихъ писателей, при чемъ, конечно, имѣлись въ виду и читатели нѣмецкіе; но непонятно, почему въ предисловіи къ послѣд-

нему (полному, изданію Гейне заявляетъ, что «значительная часть этого сочиненія» была написана сначала по-французски (стр. 262).— Въ дальнѣйшихъ примѣчаніяхъ мы отмѣчаемъ, какія мѣста, не находящіяся въ нѣмецкомъ текстѣ, заимствованы нами изъ французскаго.

Къ **стр. 263.** Предсказаніе окончанія «гётевскаго художественнаго періода» сдѣлалъ Гейне въ разборѣ статьи Менцеля «Нѣмецкая Литература».—Слова *«противъ этого великаго деспота»* находятся во французскомъ текстѣ; въ нѣмецкомъ просто «противъ Гёте».

Къ **стр. 269.** Трагическая смерть Франчески да-Полента (ди-Римини) и ея возлюбленнаго, Паоло Малатеста — въ знаменитомъ эпизодѣ дантовскаго «Ада».

Къ **стр. 273.** Madame Henriette — дочь Генриха IV французскаго, вышедшая замужъ за Карла Стюарта, впослѣдствіи англійскаго короля Карла I.—Готшедъ—распространитель въ Германіи академической французской трагедіи въ ущербъ народности и естественности; Гёте изобразилъ его въ своей автобіографіи «Dichtung und Wahrheit».

Къ **стр. 275.** Morgue — мѣсто въ Парижѣ, гдѣ выставляются найденные, неизвѣстно чьи трупы. — Николаи — книгопродавецъ и издатель, другъ Лессинга, одинъ изъ самыхъ вліятельныхъ и усердныхъ дѣятелей періода «просвѣщенія», какъ называли общее направленіе науки и литературы въ это время (Aufklärung). Журналъ его, «Всеобщая нѣмецкая библіотека»—главный органъ этой партіи.

Къ **стр. 278.** «Обожаніе Креста» и «Стойкій Принцъ»—знаменитыя трагедіи Кальдерона.—О Захаріи Вернерѣ, сочинителѣ драмъ со всевозможными ужасами, Гейне подробнѣе говоритъ ниже.

Къ **стр. 279.** *«Я храбрый Бонифаціи»* и т. д.—слова, которыми начинается драматическая сказка Тика «Жизнь и смерть св. Женевьевы».—Шарантонскій домъ сумасшедшихъ около Парижа.—Герресъ—глава реакціонной католической партіи въ Германіи.

Къ **стр. 282.** «Ново-нѣмецко-религіозно-патріотическое искусство»— заглавіе статьи, написанной другомъ Гёте, Мейеромъ, и напечатанной въ журналѣ Гёте «Искусство и Древности». Заглавіе это — ироническое, такъ какъ въ этой статьѣ было высказано отреченіе и автора, и издателя отъ новоромантическаго направленія въ искусствѣ.

Къ **стр. 285.** Луиза и пасторъ Грюнаускій — главныя дѣйствующія лица въ поэмѣ Фосса «Луиза». — «Люцинда» — романъ Шлегеля, гдѣ проповѣдывалась такъ-называемая «эмансипація плоти». О немъ говорится ниже, на стр. 307.

Къ **стр. 289.** «Обвинительный приговоръ Шлегелямъ»—въ вышеупомянутой въ примѣч. къ стр. 282 статьѣ.

Къ **стр. 290.** Слово «дуралей» въ подлинникѣ у Шиллера «Laffe».— Барра (Barras) и Гойе (Gohier)— члены французской директоріи.

Къ **стр. 297.** Слова Гёте о табакѣ, чеснокѣ и т. д.—въ «Венеціанскихъ эпиграммахъ» (67-я).

Къ **стр. 301.** Смѣшивая д-ра Фауста съ тѣмъ Фаустомъ, который участвовалъ въ изобрѣтеніи книгопечатанія Гуттенбергомъ, Гейне держится того ошибочнаго мнѣнія, которое въ то время раздѣляли многіе и которое впослѣдствіи вполнѣ опровергнуто. Впрочемъ, объ этомъ мнѣніи, какъ «заблужденіи», самъ Гейне говоритъ въ своихъ пояснительныхъ замѣткахъ къ либретто балета «Докторъ Фаустъ», написаннаго позже (см. стр. 440 и т.).

Къ **стр. 302.** Гаспаръ Дебюро—знаменитый комическій актеръ того времени.

Къ **стр. 305.** Гейне посѣтилъ Гёте въ 1824 г., когда авторъ «Пу-

тевыхъ Картинъ» былъ еще студентомъ и совершалъ свое путешествіе на Гарцъ. (См. «Путевыя картины»).

Къ стр. **306**. Вильямъ Джонсъ — англійскій знаменитый оріенталистъ и санскритологъ.

Къ стр. **309**. О враждѣ Висмавитры и Васишты изъ-за коровы см. въ 1-мъ т. нашего изданія прим. къ стр. 388.

Къ стр. **310**. Шамполліонъ—знаменитый египтологъ.—Грисъ—переводчикъ поэмъ Тассо, Аріосто и др. — Зольгеръ — тогдашній лучшій эстетикъ.

Къ стр. **319**. «*Поэтическая полемика*» Тика—въ его драматическихъ произведеніяхъ: «Котъ въ сапогахъ» и «Принцъ Цербино».

Къ стр. **327**. Мѣсто отъ словъ «*Нѣкоторыя изъ этихъ драмъ...*» до «*любовь эта очень давняя*»—взято изъ французскаго текста.

Къ стр. **329**. Герцогъ Карлъ брауншвейгскій, предводительствовавшій австрійско-прусскимъ войскомъ во время французской революціонной войны 1792 г., издалъ манифестъ, въ которомъ выступилъ защитникомъ изгнанныхъ французовъ и реставраціонной политики. Гейне сравниваетъ съ нимъ Фихте въ томъ отношеніи, что онъ вступился за изгнанный тоже изъ Франціи спиритуализмъ.

Къ стр. **330**. Въ словахъ «*Очки, отшлифованные Б. Спинозою*» намекъ на то, что Спиноза добывалъ себѣ средства къ существованію шлифованіемъ очковъ.

Къ стр. **333**. Тонзура—пробритое на головѣ у католическихъ священниковъ мѣсто.

Къ стр. **335**. Барро—французскій публицистъ, ревностный приверженецъ и распространитель сен-симонизма.

Къ стр. **338**. Кампцъ занималъ въ сороковыхъ годахъ важный постъ въ прусской полиціи и прославился жестокими преслѣдованіями «демагоговъ»; онъ—авторъ книги «Жандармскій кодексъ», которая была сожжена на вартбургскомъ празднествѣ 1816 г. вмѣстѣ съ нѣсколькими другими книгами (ср. I-й т. нашего изданія, стр. 586). — «Манесскій сборникъ»—устарѣвшее названіе рукописнаго сборника лирическихъ пѣсенъ.

Къ стр. **340**. «*Жгучая стрѣла въ груди*», съ которою Гейне возвращался съ юга—извѣстіе о смерти отца, которое онъ получилъ на обратномъ пути изъ Италіи въ Германію.

Къ стр. **343**. Болонскій докторъ, Коломбина и пр.—лица изъ итальянскихъ народныхъ комедій.

Къ стр. **345**. Заглавіе «Чудесный рогъ мальчика» — въ нѣмецкомъ подлинникѣ «Des Knaben Wunderhorn». Замѣчаніе о сходствѣ листа липы съ человѣческимъ сердцемъ сдѣлано Гейне въ стихотвореніи: «Sieh'dies Lindenblatt».

Къ стр. **347**. Ари Шефферъ—французскій живописецъ, между произведеніями котораго особенно выдаются, между прочимъ, иллюстраціи къ «Фаусту» Гёте.

Къ стр. **357**. Cour des Miracles — въ средніе вѣка главное мѣсто сборища парижскихъ нищихъ и бродягъ.

Къ стр. **374**. Раупахъ жилъ въ Россіи съ 1804—1822 г. въ качествѣ домашняго учителя. Зигфрида Раупахъ вывелъ на сцену въ пьесѣ «Сокровище Нибелунговъ».

Къ стр. **380**. Фельдмаршалъ, котораго называли «Впередъ»—знаменитый Блюхеръ.

Къ стр. **390**. Квазеръ Мудрый—лицо изъ скандинавской миѳологіи.

Къ стр. **391**. Словами «*Кантъ, повидимому, предугадывалъ*» и т. д.

Гейне иронически намекаетъ на тѣ слова Канта, которыя онъ цитировалъ въ ст. «Сѣверное Море» (см. 1-й т. нашего изданія, стр. 195).

Къ **стр. 392.** Теннеманъ—профессоръ философіи въ Марбургѣ (ум. въ 1819 г.).—Гинрихсъ—философъ гегеліанской школы, авторъ многихъ сочиненій.

Къ **стр. 394.** Дюпре и Нурри—знаменитые пѣвцы.—Штрекфусъ—плохой поэтъ, но хорошій переводчикъ Данте, Аріосто и Тассо.

Къ **стр. 398.** Геллертъ — извѣстный писатель. — Г-жа Каршинъ,— авторша множества стихотвореній «на случай». За одно изъ такихъ произведеній Фридрихъ Великій дѣйствительно подарилъ ей, всюду выпрашивавшей подачекъ, нѣсколько талеровъ.

Къ **стр. 402.** Комедіями «плаща и шпаги» назывались въ 16 и 17 ст. испанскія пьесы, основанныя на запутанныхъ любовныхъ интригахъ высшаго сословія и получившія свое названіе оттого, что лица этого сословія всегда носили плащъ и шпагу.—Астгёверъ—учитель Гейне въ Дюсельдорфѣ.

Къ **стр. 403.** Герстенбергъ—богословъ и профессоръ, отличавшійся безпощадной нетерпимостью въ своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ и имѣвшій большое вліяніе на церковную жизнь въ Пруссіи.

Къ **стр. 406.** Grande Chaumière—увеселительное мѣсто въ Парижѣ.

Къ **стр. 408.** «*Вамъ, драматургу*» и т. д.—Левальдъ, къ которому писаны письма о французской сценѣ, былъ сперва негоціантъ, потомъ актеръ, редакторъ журнала и режиссеръ придворныхъ театровъ въ Штутгардѣ и Мюнхенѣ.

Къ **стр. 411.** «Позвать Азора» (appeler Azor)—выраженіе, принятое во французскихъ театрахъ для обозначенія свиста, которымъ прерываютъ аплодисменты клаки.

Къ **стр. 419.** Франкони—циркъ въ Парижѣ.

Къ **стр. 426.** *Господства Агамемнона и Тальмы*, т. е. господство классической трагедіи и знаменитаго актера Тальмы, какъ ея главнаго представителя.

Къ **стр. 427.** Иффландіанизмъ—отъ Ифланда, актера и драматурга (ум. въ 1814); какъ драматургъ, онъ особенно прославился въ такъ-называемой «слезливой» или «мѣщанской» комедіи. Слова «*иффландіанизмъ... былъ побѣжденъ Веймаромъ*» имѣютъ отношеніе къ той роли, которую игралъ въ то время Веймаръ, какъ средоточіе новаго литературнаго движенія, во главѣ котораго стояли Шиллеръ и Гёте.

Къ **стр. 430.** Граббе—современникъ Гейне, очень даровитый поэтъ, но вслѣдствіе душевной ненормальности своей отличавшійся многими уклоненіями отъ художественнаго вкуса и вообще странными эксцентричностями. — Жанъ-Поль, т. е. Ж. П. Рихтеръ, знаменитый юмористъ.—*Настоящій сынъ Франціи, этой Гасконіи Европы.* Гасконцы слывутъ отъявленными лгунами насчетъ своихъ подвиговъ, доблестей и т. п. — *Въ искусствѣ не существуетъ шестой заповѣди:* т. е. «не укради».

Къ **стр. 431.** Сеидъ—фанатическій приверженецъ.

Къ **стр. 435.** Аріель и Калибанъ—дѣйствующія лица въ трагедіи Шекспира «Буря»; первый представитель красоты, второй—безобразія.

Къ **стр. 437.** *Мы... защитые въ трагическія львиныя шкуры ерлычки.* См. комедію Шекспира «Сонъ въ лѣтнюю ночь» — сцены, относящіяся къ представленію трагедіи.

Къ **стр. 441.** Діонисовы игры — празднества въ древней Греціи въ честь бога Діониса (Бахуса), изъ которыхъ съ теченіемъ времени возникъ театръ.

Къ стр. 443. Chatouilleur значитъ «щекотальщикъ» — отъ глагола chatouiller (щекотать).

Къ стр. 445. *Monsieur Fétis или его сына, monsieur Foetus.* Измѣненіе въ нѣсколькихъ буквахъ фамиліи сына—острота: foetus (какъ называетъ Гейне сына) значитъ зародышъ, эмбріонъ. — Argot — спеціальное, условное нарѣчіе, преимущественно воровъ, но употребляется и нѣкоторыми другими профессіями, имѣющими каждая свое.

Къ стр. 446. *Я представлялся себѣ въ видѣ датчанина Ожье...* По легендѣ фея Моргана обѣщала герою Ожье полюбить его; подъ ея покровительствомъ онъ побѣждалъ сарацинъ въ каждомъ сраженіи, и наконецъ она унесла его въ свой пріютъ на волшебномъ островѣ.

Къ стр. 447. *Пезарскій лебедь.* Россини родился въ Пезаро.— *Кроткія лиліи...* Гербъ бурбоновъ состоялъ изъ двухъ соединенныхъ щитовъ, на одномъ изъ которыхъ находились три золотыя лиліи.

Къ стр. 449. *Молодой геній*—Феликсъ Мендельсонъ-Бартольди.

Къ стр. 450. Г-жа Севинье—французская писательница конца 17-го ст.

Къ стр. 458. Deuil perpétuel—вѣчный трауръ. — Père Lachaise — кладбище въ Парижѣ.

Къ стр. 460. Калло — живописецъ и граверъ 17-го ст. — Гоцци и Гофманъ—извѣстные писатели; первый итальянскій, второй нѣмецкій.

Къ стр. 461. Ламнэ—знаменитый проповѣдникъ, основатель ученія о демократической формѣ католицизма (ум. въ 1854 г.).

Къ стр. 462. *Страдалица-княгиня*—Бельджіоіозо, писательница, принимавшая дѣятельное участіе въ политическомъ движеніи Италіи въ 1830, 1840 и 1858 годахъ.

Къ стр. 468. Большая часть рукописи «Бахарахскаго Раввина» сгорѣла во время гамбургскаго пожара, въ домѣ матери Гейне; уцѣлѣлъ только этотъ отрывокъ. Но и въ сгорѣвшей рукописи разсказъ (которымъ поэтъ занимался съ особенною любовью) былъ далеко не доведенъ до конца.

Къ стр. 473. Мицри—египтянинъ.

Къ стр. 476. Шадаи—по-еврейски «Всемогущій Богъ!»

Къ стр. 480. По сказанію, въ «Мышиной башнѣ» былъ съѣденъ мышами епископъ Гаттонъ за жестокое обращеніе съ бѣдными во время голода.

Къ стр. 481. Мы оставили «прекрасныя мирры», какъ у Гейне; но должно быть (по 3-й кн. Моисея) «мирты».

Къ стр. 483. Домъ Лимбурга—Haus Limpurg, большое зданіе около Рёмера.

Къ стр. 486. Помѣщенные здѣсь стихи—изъ пѣсни, которую секта бичующихся пѣла при своемъ прохожденіи по Германіи во время страшной чумы 1349 г.

Къ стр. 487. Молитва, которую мы перевели «осьмнадцатичленною», у евреевъ называется «молитва осьмнадцать», потому что въ назначенной на будни главной молитвѣ содержится осьмнадцать благословеній.

Къ стр. 490. Эдомиты, потомки Эдома или Исава, всегда находились во враждѣ съ израильтянами. Поэтому названіе «Эдомъ» равносильно «врагу евреевъ».—Сравненіе носа съ «*башней, обращенной къ Дамаску*»—изъ «Пѣсни Пѣсней».

Къ стр. 497. Мидіаниты и моабиты — два племени, родственныхъ съ евреями, но пользовавшихся особенною ненавистью этихъ послѣднихъ.

Къ стр. 509. Статья «Дѣвушки и женщины Шекспира» была на-

писана для нѣмецкаго изданія картинной галлереи женскихъ шекспировскихъ типовъ, выпущеннаго въ свѣтъ однимъ парижскимъ книгопродавцемъ, и по заказу этого послѣдняго.—*Мы обязаны свѣтскимъ евангеліемъ* и т. д. — сравненіе, заимствованное у Гёте; только тотъ назвалъ «свѣтскимъ евангеліемъ» «истинную поэзію» вообще.

Къ **стр. 512.** Ботанибей—бухта у Новаго Южнаго Валлиса въ Австраліи; послѣ открытія ея Кукомъ предназначалась служить мѣстомъ ссылки преступниковъ.

Къ **стр. 513.** A horse и т. д. «Коня, коня, мое царство за коня!» (Изъ Ричарда III).

Къ **стр. 515.** «*Становятся видимыми сущность и тѣло минувшихъ временъ*». Послѣднія слова (въ ковычкахъ)—отчасти передѣланное наставленіе Гамлета актерамъ.

Къ **стр. 519.** Готшедъ—(см. выше прим. къ стр. 273) былъ отъявленнымъ противникомъ того новаго направленія въ драматической литературѣ, главнымъ представителемъ котораго былъ въ Германіи Лессингъ, сокрушившій своею «Гамбургскою драматургіею» всю работу своихъ противниковъ. Жена Готшеда была его дѣятельною сотрудницею.

Къ **стр. 520.** Эуфуизмъ—господствовавшая въ англійской литературѣ вѣка Елисаветы вычурная манера выраженія, которой не былъ чуждъ и Шекспиръ. Названіе получила отъ романа «Euphues» незначительнаго, но бывшаго въ большой модѣ писателя Лили — романа, сплошь написаннаго этимъ стилемъ.

Къ **стр. 521.** «*Ничто не имѣетъ такого отвратительнаго вкуса*» и т. д. Вольный переводъ заключительныхъ стиховъ 94-го сонета Шекспира.

Къ **стр. 523.** Джонсонъ (Самуилъ)—знаменитый англійскій критикъ XVIII-го ст.—*Царица Мебъ дѣлала навѣрное самые причудливые прыжки*. Ср. описаніе царицы Мебъ въ «Ромео и Юліи» Шекспира (д. 1, стр. 4).

Къ **стр. 524.** Цингарелли — итальянскій композиторъ, написавшій между прочимъ имѣвшую огромный успѣхъ оперу «Ромео и Юлія».—«Лебедь Пезаро»—Россини (см. прим. къ стр. 447). Рѣчь идетъ о его оперѣ «Отелло».

Къ **стр. 528.** *Подобно учителю гимнастики Масману*. О «нѣмечникѣ» Масманѣ см. неоднократно въ предыдущихъ и послѣдующихъ томахъ.

Къ **стр. 529.** *Я запнулся на словахъ* и т. д. Гейне здѣсь спутался въ своихъ воспоминаніяхъ. Этотъ эпизодъ случился съ нимъ при декламированіи на экзаменѣ стихотворенія не «Кассандра», а «Кубокъ» (тоже Шиллера), и запнулся онъ, даже совсѣмъ забылъ стихи, взглянувъ на сидѣвшую въ первомъ ряду гостей красавицу-дѣвушку.

Къ **стр. 533.** «*Хлѣбъ — первое право народа*». Это слова Сенъ-Жюста, знаменитаго дѣятеля первой французской революціи.

Къ **стр. 535.** Какъ помѣщенная здѣсь цитата, такъ и всѣ остальныя въ этой статьѣ, взяты изъ Гербелевскаго изданія «Шекспиръ въ переводѣ русскихъ писателей» (4-е изданіе).

Къ **стр. 540.** «*Творя женщину, Богъ взялъ*» и т. д. Слова (нѣсколько здѣсь измѣненныя) Одоардо въ «Эмиліи Галотти».

Къ **стр. 542.** Мизраимъ—еврейское названіе Египта.

Къ **стр. 546.** Висоцкій—содержатель увеселительнаго заведенія въ Берлинѣ.

Къ **стр. 549.** Марія-Луиза—жена Наполеона, у сына которой, рим-

ского короля, была тоже отнята, какъ у сына Констанцы, корона.— Madame Caroline — герцогиня Беррійская, мать графа Шамбора.

Къ стр. 552. «*Хвала тебѣ, великій Шиллеръ*» и т. д. Рѣчь идетъ о драмѣ Шиллера «Орлеанская Дѣва» и поэмѣ Вольтера «La pucelle d'Orléans».

Къ стр. 560. *Болингброкъ нынѣшній*—Людовикъ-Филиппъ.

Къ стр. 562. Томасъ Морусъ—канцлеръ Генриха VIII, возстававшій противъ развода короля съ Екатериной.

Къ стр. 567. *Почтенные вѣдьмъ Миддлетона.* Рѣчь идетъ о пьесѣ «Вѣдьма» Миддлетона, одного изъ современниковъ Шекспира.

Къ стр. 579. Fortune hunter—охотникъ за счастьемъ.

Къ стр. 585. «Les blancs l'ont tué» и т. д.—«бѣлые убили его, будемъ убивать бѣлыхъ!»

Къ стр. 589. Карманьоле—знаменитый итальянскій полководецъ, обезглавленный по ложному обвиненію въ измѣнѣ въ 1432 г.—*Господинъ фонъ-Шейлокъ въ Парижѣ*—Джемсъ Ротшильдъ.

Къ стр. 605. Марло — высокодаровитый поэтъ, предшественникъ Шекспира, авторъ драмы «Фаустъ» и другихъ. — Декеръ — поэтъ и прозаикъ, современникъ Шекспира. — Гейвудъ — тоже современникъ Шекспира, очень плодовитый драматургъ.

Оглавленіе

III ТОМА.

стр.

Салонъ.

II часть.

Предисловіе къ 2-й части 3

Къ исторіи религіи и философіи въ Германіи. Переводъ *М. Г. Сухотиной* 9

III часть.

Предисловіе къ 3-й части 118

Стихійные духи. Переводъ *П. И. Вейнберга* 134

Флорентинскія ночи. Переводъ *П. И. Вейнберга* . . . 206

IV часть.

Романтическая школа. Переводъ *П. И. Вейнберга* . . 258

О французской сценѣ. Переводъ *П. И. Вейнберга* . . . 394

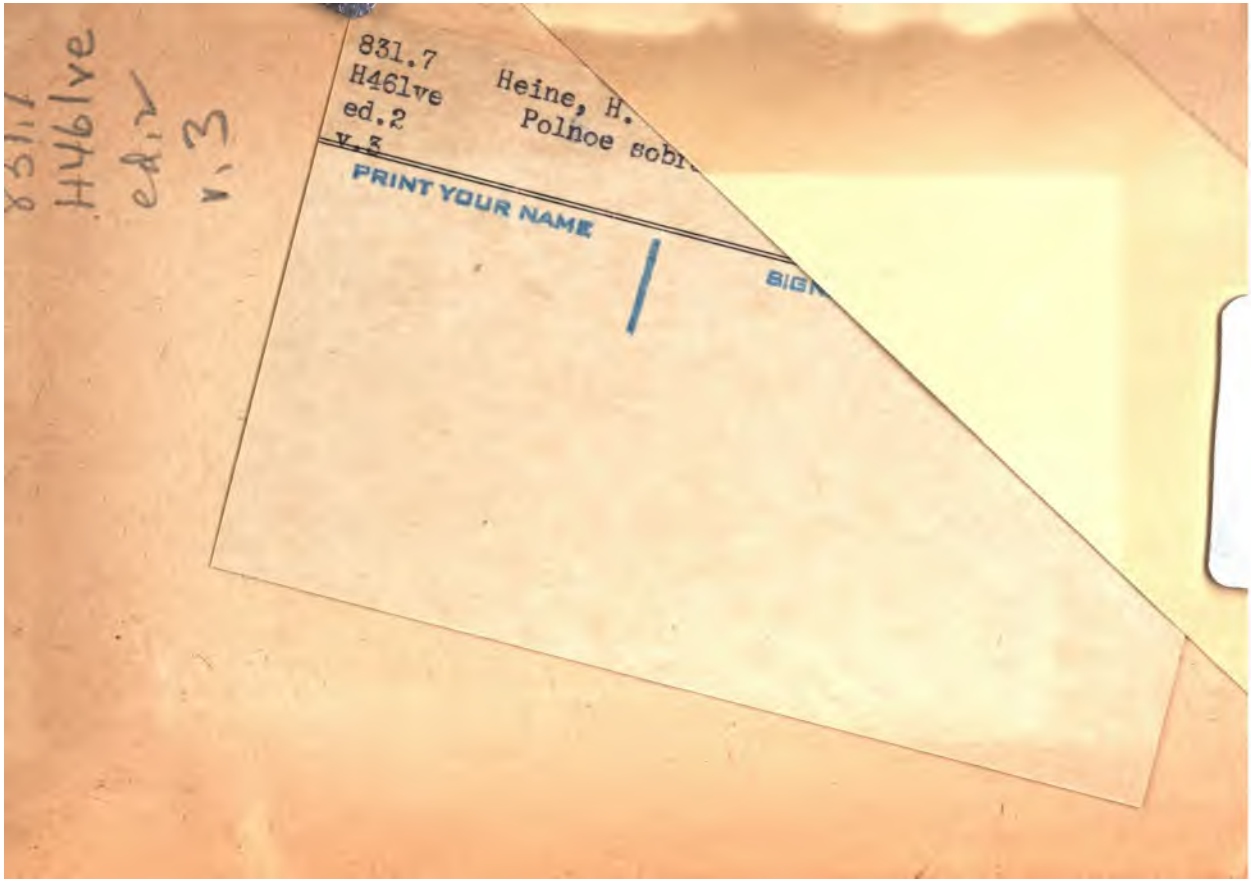
Бахарахскій раввинъ (отрывокъ). Переводъ *П. И. Вейнберга* 468

Дѣвушки и женщины Шекспира. Переводъ *Н. А. Брянскаго.* 510

Трагедіи 526

Комедіи 592

Примѣчанія къ III тому. 615


831.7
H461ve
ed.2
v.3
Heine, H.
Polnoe sobr
PRINT YOUR NAME